

Серия
«РУССКИЙ ПУТЬ»

Вл. СОЛОВЬЕВ: PRO ET CONTRA

*Личность и творчество Владимира Соловьева
в оценке русских мыслителей и исследователей*

Антология

Издательство
Русского Христианского гуманитарного института
Санкт-Петербург
2000



В. Ф. БОЙКОВ

Соловьиная песнь русской философии

С именем, личностью и деятельностью Вл. С. Соловьева (1853—1900), по существу, связана история и судьба философии в России. Писать о Вл. Соловьеве — значит писать о явлении, данном в контексте как минимум двух перекрещивающихся рядов — русской культуры и мировой философии. Перекрестились же они у Соловьева в *религиозной идее*. Образ нашего мыслителя представляется словно распятым на этом высоком кресте, и труд, которому он посвятил себя полностью, переживался им в определенном смысле как крестный труд.

Можно отвергать все миропонимание Соловьева в целом, можно опровергать его в частном, выделяя «рациональное» или «иррациональное» зерно, рискуя с водой выплеснуть и ребенка, но нельзя отрицать исторический факт — деятельность Соловьева есть неотъемлемый элемент русской культуры XIX века, без которого ее духовный облик является так же искаженным, как и без творчества Ф. Достоевского и Л. Толстого. Нужно сказать и более: без Соловьева нет русской мысли в ее *вселенском выражении*.

Направление русской философии, вдохновленное религиозными идеями ранних славянофилов и П. Чаадаева, получило в лице Соловьева своего воспитателя и оформителя¹. Именно благодаря его творчеству можно и нужно говорить о «традиции» религиозной философии в России². Вл. Соловьев представляет русскую религиозную философию в ее парадигме. Ни до, ни после Соловьева ни один из русских мыслителей не создал столь

¹ См., например: *Иванов Вяч.* О значении Вл. Соловьева в судьбах нашего религиозного сознания // О Владимире Соловьеве. М., 1911. С. 33.

² См.: *Лосский Н.* Вл. Соловьев и его преемники в русской религиозной философии // Путь. Париж, 1926. № 2. С. 13.

развернутой программы миропонимания, которая перекрывает практически все традиционные формы философии. Для позднейшей истории религиозной мысли в России и ее современных истолкователей личность Соловьева стала иконической, а тематика его сочинений канонической. И это заставляет, с одной стороны, соотносываться со всем, что написано единомышленниками после Соловьева и о Соловьеве, а с другой — снимать слой за слоем «прописи», нанесенные поверх «первозданного лика».

Сразу же нужно оговориться, что никакой «школы» Соловьева не было и быть не могло, ибо дух его философии более «профетический», чем академический. Кроме того, даже самые близкие по направлению или симпатизирующие Соловьеву мыслители вынуждены были не раз повторять: *amicus Plato, sed magis amica veritas*¹. «Богоискательство», «неохристианство», «либеральное православие», «неоправославие» в своем приятии и неприятии Соловьева обнажают те тенденции, которые у него или усилены субъективными настроениями, или ослаблены инородными построениями. Но рассматривать Соловьева только в ретроспективе религиозных «-измов» XX века так же неверно, как и не видеть их в перспективе Соловьева. Ни в одну историческую клетку мысль Соловьева нельзя запереть, но ни одну ветвь исторического древа познания она не облетает.

Дело затрудняется еще и тем, что перед нами личность экстраординарная, а фактор личности является важнейшим для понимания «феномена Соловьева». Мысль и жизнь здесь сочетались так тесно, что прикоснуться к одной нельзя, не задев другую. Но кто ищет разгадку философии Соловьева в его личности, найдет там узел противоречий. Соловьев признавался: «Во мне совмещаются самые противоположные настроения, и я представляю живой пример единства противоречий»². И вместе с тем вряд ли преувеличивал немецкий почитатель русского философа Фр. Муккерман, когда утверждал, что Соловьев «как цельная личность не имел равного себе во всей истории философии»³. По словам Ф. Степуна, «Соловьев в своей глубинной основе был именно то, что он мыслил себе в высшем понятии своей философии». «Он был субъективно тем “позитивным всеединством”, которого он объективно добивался в своей системе мысли»⁴.

¹ Платон мне друг, но истина дороже (*лат.*).

² Письма Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., 1909. В 4 т. Т. II. С. 249.

³ См.: Müller L. Solowjew und der Protestantismus. Freiburg, 1951. S. 180.

⁴ Steppuhn F. Wladimir Ssolowjew. Leipzig, o. D. S. 81.

У Соловьева в философии и жизни *цельным* могло быть только то, что воспринято личностью и лично, ибо *цель* всего — личность, в смысле сверхиндивидуального единства существа и существ. Поэтому восприятие произведений Соловьева нуждается в герменевтическом усилии и психологическом сочувствии, предъявляя к «научному» изучению текста «ненаучное» требование: слышать «мыслей без речи и чувств без названия радостно-мощный прибор».

Однако, желая понять «лицо» метафизики Соловьева через метафизику его личности, мы рискуем потерять саму эту личность, если не учтем «среду», все общественные связи, которые удерживают ее в составе реальности. Нужно еще отметить, что, несмотря на все возрастающее количество сочинений о русском философе, почти каждый исследователь буквально повторяет слова, сказанные в начале нашего века Э. Радловым: «...философский облик Вл. Соловьева еще далеко не выяснен...»¹

Сейчас и здесь нет нужды излагать последовательно учение Соловьева². Мы попытаемся набросать необходимо сжато и возможно кратко некоторые не вполне проясненные общие черты его философского творчества в целом. Но «философское творчество в целом» у Соловьева есть лишь частное определение его творческого целого. Соловьев имел ярко выраженную склонность и выдающуюся способность к умозрению платоновско-шеллинговского типа, которое обнаруживается в любом его сочинении; виртуозно владел всем доступным ему диалектическим арсеналом мировой философии, и все же его нельзя назвать «философом по преимуществу», каковым сам Соловьев очень точно называл Гегеля³. Более того, наш мыслитель выступил на поприще философии с сознательно подчеркнутым убеждением, что «философия в смысле отвлеченного, *исключительно* теоретического познания окончила свое развитие и перешла безвозвратно в мир прошедшего»⁴. Насколько идея невозможности развития

¹ Радлов Э. Л. Вл. Соловьев: Жизнь и учение. СПб., 1913. С. 1.

² См.: Трубецкой Е. Н. Миросозерцание Вл. С. Соловьева. Т. 1—2. М., 1913; Мочульский К. В. Владимир Соловьев: Жизнь и учение. Париж, 1937; Соловьев С. М. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. Брюссель, 1977; Лосев А. Ф. Владимир Соловьев и его время. М., 1990.

³ Соловьев В. С. Собр. соч.: В 10 т. 2-е изд. СПб., 1911—1914. Т. 10. С. 301.

⁴ Там же. Т. I. С. 26. Здесь Соловьев воспроизводит ту оценку «кризиса западной философии», которая перешла от Шеллинга к И. Киреевскому и стала фундаментальной константой религиозной философии в России. См.: Трубецкой Е. Н. Указ. соч. Т. I. С. 52.

«чистой» философии важна для понимания действительной философии Соловьева, свидетельствует ее расширенный эсхатологический контекст. «Современный фазис философской мысли, которой будто бы мудрено сказать что-либо действительно новое», Соловьев считал «главным признаком конца мира»¹.

Философская исключительность Соловьева состоит в его отрицании исключительной философии. Но именно через эту исключительность он включается в общее умственное движение XIX века, которое после Гегеля охарактеризовано поиском «новых начал» философии, или действительной «позитивности». Продукт автономного разума, замкнутая в своем логическом совершенстве, а потому и завершающая логическое совершенствование система Гегеля стала грандиозным памятником самодовлеющей отвлеченной философии. Уже Шеллинг, даже тогда, когда мысль его находилась в эпицентре рационалистического самополагания, почувствовал необходимость «выхода в свободное, открытое поле объективной науки». Но творческий порыв увлек его еще дальше: «От самопознания к миропознанию и к богопознанию, от теории знания к философии природы и космологии, а отсюда к философии религии — таков необходимый порядок проблем, отмечающий стадии философского развития Шеллинга»².

Если Шеллинг пытался найти позитивность в откровении исторической религии и мифологии, то Шопенгауер — в мирозерцании упанишад и буддизма, Кьеркегор — в индивидуальной религиозной вере, Конт — в данных «конкретных наук», а Маркс — в материальной практике общественного человека. Философия Соловьева задумана тоже «позитивно», но ее специфическая положительность впервые проявилась в борьбе с позитивизмом последователей О. Конта³. Однако реакция на контовский позитивизм была только злободневным поводом для того, чтобы определить свое основание философии.

Соловьев хочет удержать все *положительное*, что есть и в старой метафизике, и в гегелевской диалектике, и в «новейшем»

¹ Величко В. Владимир Соловьев: Жизнь и творения. СПб., 1903. С. 172.

² Фишер К. Шеллинг, его жизнь, сочинения и учение. СПб., 1905. С. 7.

³ Отношение Соловьева к Конту и к русским позитивистам, в частности к своему оппоненту В. Лесевичу, неоднозначно и заслуживает специального внимания. Соловьев дал, пожалуй, наиболее оригинальную и наименее вероятную для самого основателя позитивизма интерпретацию поздних идей Конта.

естественно-научном эмпиризме. Следовательно, объемлющая сила его интуиции должна проникать за пределы их собственных оснований, по которым они и расходятся. Что же увидел Соловьев, глядя сквозь системы, школы и направления? В «Кризисе западной философии» (1874) молодой годами, но зрелый умом философ, блестяще сконструировав и даже схематизировав, с некоторыми существенными потерями, *логику* развития западной философии в Новое и Новейшее время¹, делает вывод, который вызывал и вызывает справедливое недоумение. Тенденциозность Соловьева нетерпеливо сбрасывает с себя покров доказательности и оставляет читателя перед неопределенностью заветно-заведомого прозрения. «Тут оказывается, что эти последние необходимые результаты *западного* философского развития утверждают в форме *рационального познания* те *самые* истины, которые в форме *веры* и *духовного созерцания* утверждались великими теологическими учениями Востока»².

С одной стороны, возникает вопрос, поставленный Вл. Эрном: «О какой западной философии говорит Соловьев?»³ А с другой: о каких теологических учениях Востока идет здесь речь? Наконец: на каком основании приравниваются *эти* результаты к *тем* истинам, или в чем существенное их единство? Ни на один из заданных вопросов нет непосредственного ответа в магистерской диссертации Соловьева. Все его дальнейшее собственно-философское творчество проясняет *идею* западной философии, *идею* восточной теологии и *идею* их единства. Повторяем: не западной философией занимается Соловьев, а *идеями* западной философии, не восточной теологией, а *идеями* восточной теологии, не соединением первой ко второй, а *идеями* их единения.

Всеобъемлющее *единство*, единство в *идее* есть для Соловьева высшая *положительная* ценность. Ясно, что такой коренной «идеализм» не может быть исключительно философским, исключительно теологическим, но должен быть мистическим. Формы «рационального познания» призваны у Соловьева являть тайны веры и духовного созерцания. Заметим: уже в самом выражении «великие теологические учения Востока» содержится некоторый предварительный «синтез», внутренняя неопределенность кото-

¹ Соловьев как бы конкретизировал на философском материале тот «силлогизм» западной культуры, о котором с разных сторон писали П. Чаадаев и И. Киреевский.

² Соловьев В. С. Собр. соч.: В 9 т. Т. 1. С. 143.

³ Эрн Вл. Гносеология В. С. Соловьева // О Владимире Соловьеве: Сб. первый. М., 1911. С. 139.

рого внешне определена через отношение к западной философии. И синтез этот опять же «мистический». «Мистический» срез любого сознания, каков бы ни был его номинальный предмет, обесцвечивает и стирает все логические и исторические особенности. Только широта такого мистического уровня позволяет говорить о «великих теологических учениях Востока» в целокупности и в совокупности с философскими теориями Запада, невзирая на времена и конфессии. У Соловьева «азиатские и европейские мистики, александрийские платоники и еврейские каббалисты, отцы Церкви и независимые мыслители, персидские суфи и итальянские монахи, кардинал Николай Кузанский и Якоб Бёме, Дионисий Ареопagit и Спиноза, Максим Исповедник и Шеллинг — все они единым сердцем и едиными устами исповедуют недомыслимую и неизреченную абсолютность божества»¹.

Иногда суждения русского мыслителя заставляют вспомнить позднеязыческого неоплатоника Ямвлиха и указывают на неоплатонический отблеск философии Соловьева, обнаруживающийся вопреки его сознательному отмежеванию от неоплатонизма и противоречащий его общему христианскому миропониманию. У Ямвлиха неоплатонизм откровенно принимает мистическую форму догмата, «согласно которому все восточные и греческие мудрецы, маги, прорицатели и прорицательницы, поэты и философы... во все времена возвещали одну и ту же неизменную и непогрешимую доктрину, которую надо только правильно истолковать, чтобы убедиться в ее единстве»². Специфика универсальной мистики выводит философию на те широты, где она может смыкаться даже с магией, и типологически ставит Соловьева в ряд с такими мыслителями Возрождения, идущими вслед за Ямвлихом и языческими неоплатониками IV—VI веков, как Марсилио Фичино и Пико делла Мирандола, которые включали «в эту сферу предполагаемого всеобщего согласия еще еврейскую мистику Каббалы, не говоря уже о католической догматике»³. Не случайно Э. Радлов проводит сравнение Соловьева с Пико делла Мирандой⁴, и к нему мы еще вернемся.

Но, «опрокидывая» философию на основание, точнее, в бездну универсальной мистики, Соловьев хочет сохранить формаль-

¹ Соловьев В. С. Собр. соч.: В 9 т. Т. 9. С. 23.

² Культура Византии: IV—первая половина VII в. М., 1984. С. 56.

³ Там же.

⁴ См.: Радлов Э. Л. Указ. соч. С. 49.

ный строй философии. Однако философия настолько внутренне деформируется, что ее содержание при относительной внешней доступности и ясности постигается не без труда.

Итак, в общем случае мировоззренческим базисом, материнской почвой, «материей» философии Соловьева является универсальная мистика, по отношению к которой философия есть сила индивидуального разума, возводящая интуиции мистического опыта в форму всеобщей разумности. Вопрос о специфике его философии переформулируется в вопрос о специфике его мистики. Обойти или замолчать этот вопрос — значит не найти или потерять ключ ко всей деятельности Соловьева¹. Когда мистика не становится предметом исследования, мистифицируется сама ее проблема. Если идейные предшественники Вл. Соловьева — И. Киреевский и А. Хомяков — относились к мистике настороженно или иронично, то Соловьев в своих теоретических трудах уделял ей серьезное внимание. Более того, слова «мистика» и «мистик» стали чуть ли не постоянными эпитетами личности и творчества Соловьева. Обращение Соловьева к мистике не есть только его индивидуальная особенность, что само по себе представляло бы ограниченный интерес, но является своеобразным «знамением» времени и даже реакцией на мистическую стихию, все более захватывавшую так называемое образованное общество². И в этой ситуации Соловьев и его последователи ориентируют философию на выявление положительного содержания мистицизма: «В наши дни важнее настаивать на той относительной истине, которая в нем заключается, чем ратовать против злоупотреблений или суеверий мистицизма»³. Однако и здесь Соловьев не приемлет односторонней исключительности. Понимая под мистикой в общем и переносном смысле «особый род религиозно-философской познавательной деятельности», допускающий «сверх обычных способов познания истины — опыта, чистого мышления, предания и авторитета... возможность непосредственного общения между познающим субъектом и абсолютным предметом познания», Соловьев отличает *мистицизм* как исключительное направление мысли, которое такое общение признает единственным способом познания, от *мистического богословия*, *мистической философии*, или *теософии*, обозначенных «по преобладанию в них религиозного или фило-

¹ Ср.: Радлов Э. Л. Указ. соч. С. 46.

² См.: Трубецкой С. Н. Основания идеализма // Вопросы философии и психологии. 1886. № 34 (4). С. 552.

³ Там же. С. 578.

софского элемента» и принимающих «внутреннее общение человеческого духа с абсолютным... как существенную основу истинного познания»¹.

Таким образом, собственно философия Соловьева есть мистическая философия, или теософия², но не исключительный «мистицизм». В нашем кратком ее обзоре мы идем от общей характеристики к особенному характеру, разделяя руководящую мысль Вл. Эрн: «Чтобы характеризовать Соловьева как философа, вовсе не нужно углубляться в изложение его философии. Для этого нужно охватить “внутренний тон” его философствования, нужно уяснить ту *живую идею*, которая вдохновляла всю его жизнь, которая окрыляла его философским Эросом. Нужно уяснить, в чем *пафос* Соловьева, и тогда станет ясным основной и существенный характер всего дела, всего *подвига* Соловьева»³.

Оставим в стороне рассуждения Соловьева о соотношении мистического, рационалистического и эмпирического начал⁴ и зададимся вопросом: почему Соловьев настаивает на примате мистического опыта и мистических явлений и зачем хочет утвердить философию на этой зыбкой почве, подвергая последнюю жестокой формовке в логических схемах?⁵

Столь откровенное обращение к мистике и затем столь смелое желание сочетать ее с рациональными формами познания и эмпирическими данными науки отталкивало от Соловьева и «мистиков», и «метафизиков», и «эмпириков». Н. Бердяев писал: «Но досаду и критику вызывают его философско-богословские трактаты. Неприятно поражает в мистике рационалистическая манера писать, какая-то приглаженность, притупленность противоречий, отсутствие остроты и парадоксальности»⁶. Бердяеву вторит Е. Трубецкой: «Недостаточность успеха Соловьева в борьбе с рационалистическими учениями обусловливается

¹ Соловьев В. С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 10. С. 244.

² Слово «теософия» здесь используется только в том смысле, в каком употребляет его Соловьев. О разных значениях этого понятия см.: Лапшин И. Теософия // Энциклопедический словарь. СПб.: А. Брокгауз, И. А. Ефрон, 1901. Т. 64. С. 912—913; Теософия // Философская энциклопедия. М., 1970. Т. 5. С. 223.

³ Эрн Вл. Указ. соч. С. 131—132.

⁴ См.: Соловьев В. С. Собр. соч.: В 9 т. Т. 1. С. 265—281; Т. 2. С. 12—17.

⁵ О первостепенной важности мистических явлений см.: Там же. Т. 1. С. 289.

⁶ Бердяев Н. Проблема Востока и Запада в религиозном сознании Вл. Соловьева // О Владимире Соловьеве: Сб. первый. М., 1911. С. 104.

прежде всего тем, что сам он далеко не вполне отрешился от рационализма: в его собственных воззрениях сохранилась довольно сильная рационалистическая струя, которая звучит резким диссонансом в его системе»¹. А с другой стороны, например, Б. Чичерин и К. Тимирязев, отмечая несомненный талант и глубокий ум Соловьева, сожалели о нем как о человеке, «потерянном для науки». И к этому мнению явно или неявно склонялось большинство современников нашего философа: «С первого шага он жестоко скомпрометировал себя перед своим веком; век прощает все грехи, вплоть до греха против Духа Святого, — он никому не прощает одного: измены духу времени»². Дух «века сомнения и неверия», говоря словами Достоевского, дух нигилизма, материализма и позитивизма остался как бы на том берегу, от которого отчалил Соловьев. Не без горечи он иронизирует: «У меня была та невыгода, что все стадии отрицания и скептицизма были пережиты мной в первой юности, а на публичную деятельность я вступил уже прямо с метафизическими взглядами и даже мистическими убеждениями, и потому для огромного большинства публики являлся человеком отпетым»³.

Кажется, здесь есть повод переместить Соловьева в над-временные пространства его мысли. Но... «в образе мыслей его, а особенно в приемах его жизни и деятельности, была бездна “шестидесятых годов”, и нельзя сомневаться, что, хотя в “Кризисе западной философии” и выступил он “против позитивизма”, т. е. против них, — он их, однако, “горячо любил и уважал”, любил именно как “родное”, “свое”. Он был только чрезвычайно даровитый и разносторонний “шестидесятник”, так сказать король того времени, не узанный среди валетов и семерок. Духовная структура знаменитой реформационной эпохи была в значительной степени и у Соловьева»⁴. Согласимся с А. Ф. Лосевым в том, что, «кроме Розанова, вообще мало кто говорил о Вл. Соловьеве так метко и так проникновенно»⁵, и вслушаемся в эти розановские слова, и вспомним о мистике Соловьева.

Соловьев, которого даже люди, далекие от всякой мистической экзальтации (например, А. Г. Достоевская), воспринимали

¹ Трубецкой Е. Н. Миросозерцание Вл. С. Соловьева. Т. 1. С. 323.

² Блок А. Рыцарь-монах // О Владимире Соловьеве: Сб. первый. М., 1911. С. 99.

³ Соловьев В. С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. С. 273.

⁴ Розанов В. В. Около церковных стен: В 2 т. СПб., 1906. Т. 1. С. 241.

⁵ Лосев А. Ф. Владимир Соловьев. М., 1983. С. 47.

как человека «не от мира сего»¹, таков, может, был именно потому, что более других *укоренен* «в мире сем». Может быть, в страдании, углубленном и расширенном до метафизической боли за весь видимый мир, коренится мистика Соловьева, со всеми ее теоретическими производными. Понять это — значит понять задушевный мотив всей деятельности Соловьева, понять жизненный источник его всеобъемлемости. Даже на ледяных вершинах соловьевской теософии как-то напряженно и беспокойно от горячих земных потоков. Мистическое чувство философа зарождается в недрах человеческого существования — трепетного и конечного. Соловьев сам указал тот критерий, которым он мерил жизнь, знание и творчество. Отвечая своему давнему оппоненту Б. Н. Чичерину, он обращается ко всем, кто недоумевает по поводу его замыслов: «Я знаю отличный способ для оценки истинного значения наших мыслей, чувств и стремлений. Пусть Б. Н. Чичерин вообразит себя действительно на краю могилы при полном и ясном сознании. *Какие* из его мыслей, чувств и интересов сохраняют для него значение? Я уверен, что для него обнаружится тогда совершенная пустота того, что особенно его теперь занимает, а также уверен я и в том, что он не найдет тогда своего теперешнего удовлетворения в мысли, что все запредельное есть чепуха и что мы ровно ничего не знаем о будущей жизни. Я глубоко тронут искреннею скорбью Б. Н. Чичерина о том, будто я потерян для русской науки. Но есть во времени и в вечности вещи гораздо более важные, чем “русская наука”, и я твердо надеюсь, что мой критик для них не потерян»².

«Мистика» Соловьева — это предельный случай осознания жизни, или *взгляд на жизнь перед лицом смерти*. И если, по выразительному определению Андре Мальро, «великий русский роман — это европейский роман, увиденный через смерть»³, то философия Соловьева есть *европейская философия, осмысленная через смерть*.

«Мистика» Соловьева в ее первом живом явлении прежде всего «экзистенциальна» и образует *мирочувствие* философа, т. е. ощущение себя и мира «на краю могилы при полном и яс-

¹ См. воспоминания В. Кузьмина-Караваева, Э. Радлова, С. Трубецкого, Л. Лопатина, В. Величко, М. Меньшикова, А. Кони, А. Амфитеатрова, В. Розанова, В. Быховского, М. Безобразовой, Л. Пантелеева, Н. Макшеевой, Д. Цертелева, А. Белого, Н. Никифорова, В. Пыпин-ной-Ляцкой, Н. Давыдова, Е. Трубецкого и других.

² Соловьев В. С. Собр. соч.: В 9 т. Т. 7. С. 672—673.

³ Мальро А. Из книги «Бренный человек и литература» // Вопросы литературы. 1979. № 1. С. 220.

ном сознании». Отсюда объясняется и специфика его философии, или собственно *миропонимание*, и вся его эсхатология. Признание смерти в качестве жизненного фактора миропонимания звучит диссонансом в рационалистической гармонии и в общем иррационализирует философию, как это и произошло в начале XIX века у Кьеркегора и Шопенгауэра. Дело не в том, что рационализм в принципе не может преодолеть мысль о смерти, — он преодолевает ее «диалектически». Но для экзистенциальной мистики смерть вовсе не мысль и не физический факт, а тот предел, за которым открывается бездна бессмысленности, и, попадая в которую «по инерции», разум теряет собственную опору. Он попросту становится беспомощным и ненужным. Наконец, если *разум* способен примирить человека со смертью, то *любовь* не примирится с разумом. Ситуация «разум-смерть» уточняет естественную потребность в жизни до живой потребности в сверхъестественном, обостряет чувство временного в вечном до вечного во временном. А это есть основа мистического историзма. Иначе говоря, открывается перспектива религиозного миропонимания и идеи Бога как единственно спасительный для разума на краю смерти¹. Если позднейшая западноевропейская философия реагирует на эту ситуацию в терминах страха и отчаяния, как бы обнаруживая полную потерю религиозных ценностей всемогущего, но трансцендентного человеку рационализованного и институционализированного Бога и научных ценностей имманентного, но бессильного в экзистенциальном отношении разума, то Соловьев, выражая общую тенденцию религиозной мысли в России, указывает в конечном счете не на исключительный разум, чувство и волю, а на Веру, Надежду и Любовь — традиционные основы православного благочестия.

Тревожное мистическое мирочувствие, возникающее на страшно реальной, но трудноуловимой границе между жизнью и смертью, мотивирует религиозное миропонимание Соловьева, а в его пределах — философию. Нравственный коррелят смерти — грех. «Два непримиримых врага нашей высшей природы — *грех* и *смерть* — в тесном и неразрывном союзе между собою держат нас в своей власти. Двум великим желаниям — бессмертия и правды — противостоят два великих факта: неизбежное владычество смерти над всякою плотью и несокрушимое господство

¹ В связи с ясно обозначившимися настроениями в культурологии начала XX века Ф. Степун писал: «Когда душу начинают преследовать мысли о смерти, не значит ли это всегда, что в ней пробуждается, в ней обновляется религиозная жизнь?» (Освальд Шпенглер и закат Европы, М., 1922. С. 33).

греха над всякою душой. Мы только *хотим* подняться над остальной природой — смерть сравнивает нас со всею земною тварью, а грех делает нас хуже ее. По закону природы человек страдает и гибнет, а закон разума не в силах спасти его»¹. Спасение есть дело религии, ибо сущность религии, по Соловьеву, в идее спасения: «Человек, погруженный в эту дурную жизнь, должен, чтобы исправить ее, найти опору вне ее. Верующий находит такую опору в религии. Дело религии — возродить и освятить нашу жизнь, сочетать ее с жизнью божественною»².

Философия, которая ищет истинную религию в идее спасения, находит спасение своей идеи в религиозной истине. Разум недействителен, так как не может победить смерть. Действительным — побеждающим смерть — он станет тогда, когда воспримет *Победителя смерти*. У Соловьева *вера в Спасителя есть спасение разума и жизнь в разуме*, или действительная форма разумности. «Только признав данную религиозную истину, наш разум получает твердую предметную опору для своей метафизической работы и переносит философию из области человеческих измышлений в область божественной истины»³.

Однако такое оптимистическое для религии миропонимание есть только одна сторона его. Другая сторона скрывается в том напряжении, с которым Соловьев хочет привести философский разум к «божественному Писанию» и «церковному преданию». Век «сомнения и неверия», о пожизненной принадлежности к которому писал Достоевский, — это все же и век Соловьева. У нашего мыслителя, как и у героев Достоевского, вера рождается из сомнения, надежда из отчаяния, любовь из ненависти, и только принятая форма метафизики, личина ученого философа и проповедника не дают прорваться граничащему с нигилизмом отрицанию и зловещему смеху⁴. Обнажить нерв своего жизненного ощущения не позволяет целомудрие истинного философа.

Рационально-философская форма мышления Соловьева ведет к миру всеединства, а экзистенциально-мистическое содержание несет «не мир, но меч». Это противоречие заостряется последующим развитием религиозной философии в России, которая в нагнетании антиномичности, катастрофичности и трагизма на-

¹ Соловьев В. С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 3. С. 274—275.

² Там же. С. 270.

³ Соловьев В. С. Собр. соч.: В 9 т. Т. 3. С. 269.

⁴ Чтобы обосновать это, нужно было бы привлечь «непрограммные» стихи философа, письма, воспоминания — словом, все, что обычно остается в тени его монументальных творений.

ходит иногда даже успокоение. Но Соловьев ближе к Достоевскому¹ и вместе с ним к беспокойным исканиям русской социалистической мысли XIX века. И тех и других, при несомненных различиях, объединяет вера в торжество правды *на земле*.

Религиозное миропонимание определило общую задачу Соловьева: «Оправдать веру наших отцов, возведя ее на новую ступень разумного сознания, показать, как эта древняя вера, освобожденная от оков местного обособления и народного самолюбия, совпадает с вечною и вселенскою истиною...»² В связи с этим на вопрос: чему же учит Владимир Соловьев? — философ отвечает: «Своего учения не имею, но, ввиду распространения вредных подделок христианства, считаю своим долгом с разных сторон, в разных формах и по разным поводам выяснять основную идею христианства — идею царствия Божия как полноты человеческой жизни, не только индивидуальной, но и социальной и политической, воссоединяемой через Христа с полнотою Божества; а что касается союзов, то безусловно избегаю только союза с бесами, которые веруют и трепещут»³.

Соловьев решительно и сознательно встает на путь *свободной* апологетики христианства. Подчеркиваем: *свободной* потому, что, во-первых, она не обусловлена профессиональными и конфессиональными императивами и, во-вторых, стремится не принуждать разум к вере, а *в-разумлять* веру и *у-верять* разум. Прав был, в сущности, В. Л. Величко, когда писал, что «наиболее краткой из более или менее доступных формул мирозерцания Соловьева является формула Никейского собора...»⁴ Действительно, *credo* Соловьева есть христианский символ веры, а все его творчество — страстная проповедь и развернутое толкование

¹ О Соловьеве и Достоевском см.: *Трубецкой Е. Н.* Мирозерцание Вл. С. Соловьева. М., 1913. Т. 1. С. 73—78; *Радлов Э. Л.* Соловьев и Достоевский // Ф. М. Достоевский: Статьи и материалы. Пг., 1922. Сб. 1. С. 155—172; *Гессен С. И.* Борьба утопии и автономии добра в мировоззрении Ф. М. Достоевского и Вл. Соловьева // *Современные записки*. Париж, 1931. № 45. С. 271—305; № 46. С. 321—351; *Szykarsky W.* Solowjew und Dostojewskij. Bonn, 1948; *Гроссман Л.* Достоевский. 2-е изд. М., 1965. С. 488—489; *Пруцков Н. И.* Достоевский и Владимир Соловьев («Великий инквизитор» и «Антихрист») // *Русская литература 1870—1890 гг.* Свердловск, 1973. Сб. 5. С. 51—78.

² *Соловьев В. С.* Собр. соч.: В 10 т. Т. 4. С. 243.

³ Там же, Т. 6. С. 339.

⁴ *Величко В. Л.* Владимир Соловьев: Жизнь и творения. 2-е изд. СПб., 1903. С. 109.

этого символа. Правда, тут же возникает вопрос: какую исторически конкретную форму христианства Соловьев берет за основу, или что есть для него христианство?

Христианство Соловьев понимает как *православие* в прямом, первом и предельно широком смысле этого слова, которое перекрывает все конфессиональные восточные и западные границы, являясь правом и правилом славить Бога словом и делом. Универсальной конфессией, или вселенским исповеданием, для него должно и могло быть только христианство, согласное во всех своих проявлениях с универсальной богочеловеческой сущностью Христа, не допускающей внутреннего разделения и обособления. Христианство — это прежде всего Христос, а Христос для Соловьева есть природно-космический факт, всемирно-историческое событие и разумно-всеобщая истина, явленная с такой же объективной необходимостью и фактической достоверностью, с какой брошенный камень падает на землю¹.

Все мистические предчувствия, метафизические замыслы и исторические пророчества Соловьева нерасторжимо связаны с христианством. Поэтому, как верно замечает Э. Радлов, «критика в применении к мыслям Вл. Соловьева вообще поставлена в весьма затруднительное положение: ведь вся его философия покоится на вере в божественную природу Христа и его воскресение. Кто отвергает божественность Христа и его воскресение, для того все учение Вл. Соловьева должно казаться висящим на воздухе, необоснованным; напротив, для верующих его философия должна представлять большой интерес»².

Соловьева нельзя понять вне соотношения со *всей* религиозной жизнью христианства, его догматикой и стилистикой. Иначе мы потеряем внутренний ориентир соловьевского мирозерцания. На этом пути обнаруживаются вопиющие противоречия, к которым приводят Соловьева попытки решить им же самим поставленные задачи. Соловьев хочет быть не просто верующим христианином и даже не только религиозным мыслителем, а именно *христианским философом*. Его установка в качестве исходной позиции целого направления хорошо выражена Н. Бердяевым: «Воплощение смысла дано лишь в религиозном откровении, и философия религиозного откровения должна быть откровенной

¹ См.: Соловьев В. С. Жизненный смысл христианства: (Философский комментарий на учение о Логосе ап. Иоанна Богослова). М., 1883. С. 3.

² Радлов Э. Л. Указ. соч. С. 1—2.

религиозной философией»¹. Сознательный синтез религии и философии генетически связывает Соловьева с ранними славянофилами и П. Чаадаевым², а типологически сближает всех их с поздним Шеллингом³. Восторженное отношение к Шеллингу у И. Киреевского и П. Чаадаева было вызвано общностью их устремлений. Чаадаев писал Шеллингу в 1832 году: «Я, думалось мне часто, предчувствовал, что из Вашей системы должна когда-нибудь истечь религиозная философия; но я не могу Вам высказать, сколь счастлив я был, узнав, что наиглубочайший мыслитель нашего времени дошел до этой великой идеи слить (fusion) воедино философию с религией. С первого момента, когда начинал я философствовать, эта идея явилась мне как огонь маяка (fanal) и цель всей моей умственной работы... Всякая новая мысль... казалась мне камнем, который я приносил для построения храма, где некогда все люди должны будут соединиться, чтобы там — в совершенном познании — поклоняться очевидному Богу»⁴. Здесь высказано программное требование к религиозной философии Вл. Соловьева: сделать таинственного Бога Писания и предания очевидным для разума, ведомым совершенному познанию. «Ибо что это была бы за религия, которая не могла бы вынести света науки и сознания? Что за вера, которая несовместна с разумом?»⁵

Старая драматическая ситуация «вера и разум», возникшая еще на пороге средневековья в результате столкновения ближневосточной религиозности и эллинской культурности, «Афин» и «Иерусалима», на почве российской действительности XIX века разрешается если уж не по-новому, то, во всяком случае, своеобразно. Западноевропейское сознание выявляет три «классические» позиции: 1) «верую, чтобы понимать» (Августин и Ансельм Кентерберийский); 2) «понимаю, чтобы веровать» (Абеляр); 3) «верую, ибо нелепо» (приписано Тертуллиану). «Вторая позиция приводит к поглощению теологии идеалистической философией, третья — к разрыву между теологией и философией, поэтому ортодоксальная теистическая теология обычно исходила

¹ Бердяев Н. Происхождение зла и смысл истории // Вопросы философии и психологии. 1908. № 94 (4). С. 296.

² См.: Трубецкой Е. Н. Мирозерцание Вл. Соловьева. М., 1913. Т. 1. С. 59—63, 66—73; Steppuhn F. Op. cit. S. 21—79.

³ См.: Трубецкой Е. Н. Указ. соч. Т. 1. С. 50—58.

⁴ Цит. по: Бобров Е. Философия в России. Казань, 1900. С. 565.

⁵ Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 295—296.

из первой позиции»¹. Ранние славянофилы, линию которых в этом вопросе продолжает Вл. Соловьев, явно склоняются к ортодоксальной точке зрения, но значительно *оживляют* ее. Отношение разума к вере есть отношение не внешнее и принудительное, но внутреннее и проникновенное. Единство веры и разума коренится в единстве верующей и понимающей личности, причем вера охватывает всю ее сущность в живой связи с личностью божественной и потому не является чем-то исключительным и частным². Такая вера есть первое и последнее проявление сознания, она заключает в себе всю его полноту и, следовательно, «по определению» разумна, ибо разум возможен только в ее пределах, точнее говоря, вера *сверхразумна*. «Основания веры лежат глубже знания и мышления, она по отношению к ним есть факт первоначальный, а потому и сильнее их»³, фидеизм славянофилов и Соловьева сближает до отождествления *гносеологическое* понятие веры с *религиозным*. Поэтому предельный случай полноты откровения — Божественное откровение — определяет в конечном счете все человеческое познание.

Таким образом, религиозная философия Соловьева является продуктом особого типа мышления — «*верующего мышления*»⁴, — характер которого обусловлен отношением разума к вере, а следовательно, и к формулам ее — *догматам*. Догмат тринитности, как наиболее полно выражающий христианскую веру, принимается в «христианской философии» за исходный пункт всякой метафизики⁵.

Мы не можем здесь углубляться в теософские построения Соловьева, чтобы показать, с какими трудностями сталкивается мыслитель, пытаясь «свободно» подвести философию к истинам веры. Отметим только, что Соловьев стремится к максимальной логической ясности даже тогда, когда говорит о догматах⁶ и та-

¹ Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 78.

² См.: Киреевский И. В. Указ. соч. С. 333.

³ Соловьев В. С. Вера // Энциклопедический словарь. СПб., 1892. Т. VII (14). С. 641.

⁴ См.: Киреевский И. В. Указ. соч. С. 333—334.

⁵ В России это убеждение впервые было сознательно высказано И. В. Киреевским. См.: Киреевский И. В. Собр. соч.: В 2 т. М., 1912. Т. 1. С. 74; Флоренский П. Столп и утверждение истины: Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах. М., 1914. С. 805 и др.; *Его же*. Смысл идеализма // В память 100-летия (1814—1914) Императорской Московской Духовной академии. Сб. ст.: В 2 ч. Сергиев Посад, 1915. Ч. 2. С. 134.

⁶ См.: Соловьев В. С. Россия и Вселенская Церковь. М., 1911. С. 303—315.

инствах христианства. Результаты этой рационализации прямо противоположны намерениям философа. Логика метафизического разума и Разум евангельского Логоса совершенно нивелируют друг друга: логика превращается в софистику, а Логос — в пустое понятие. Когда Соловьев вливает вино Нового Завета в мехи старой метафизики, метафизика ничего не выигрывает и потому теряет свою эвристическую ценность. Религия же существенно проигрывает, обнаруживая «ничтожность» своего собственного содержания.

Глубоко религиозное мироощущение и самосознание Соловьева, формально полностью совпадающее с ортодоксальным христианством, в его оригинальном творчестве не находит адекватного выражения и на деле не только не проясняет, но затемняет и ослабляет, до уничтожения, исходные интуиции. С этим серьезным противоречием между *системой* религиозного *жизнепонимания* и *схемой* философского *боговыражения* связана критика соловьевской теософии в сочинениях М. Тареева, Е. Трубецкого, Л. Шестова, в которых усиливаются иррациональные, супрарациональные и экзистенциальные мотивы, скрытые за догматической оболочкой ортодоксального христианства. Е. Н. Трубецкой указывает, что рассуждения о Троице, «отвлекаясь от данных Откровения, по-видимому, имеют целью убедить людей, чуждых христианству; на самом деле они могут влиять и в действительности влияют в противоположном смысле...» «Подобное предприятие — на руку тому поверхностному рационализму, который отрицает тайну, сводит на нет все сверхъестественное, мистическое; попытки Соловьева доказать догмат Св. Троицы могут только дать пищу ошибочному убеждению, что его легко опровергнуть»¹. Не в бровь, а в глаз, даже в «сердце» соловьевской системы метит М. М. Тареев: «Страшно подумать, что Соловьев, столь много писавший о христианстве, ни одним словом не обнаружил чувство Христа. Игравший словами “Логос”, “Богочеловек”, “София” с ловкостью виртуоза, он не ощущал тайны исторического Христа. Логос-Богочеловек был для него отвлеченным понятием, а не предметом живого созерцания»². Насколько убийственно это обвинение, можно осознать, вспомнив слова самого Соловьева: «Где *предание* поставляется на место *преданного* (где, например, традиционная

¹ Трубецкой Е. Н. Миросозерцание Вл. С. Соловьева. М., 1913. Т. 1. С. 323.

² Тареев М. М. В. С. Соловьев // Тареев М. М. Основы христианства. 2-е изд. Сергиев Посад, 1908. Т. 4. С. 342.

правильность понятия о Христе сохраняется безусловно, но присутствие Самого Христа и Дух Его не чувствуется), там религиозная жизнь невозможна, и всякие усилия искусственно ее вызывать только яснее обличают роковую потерю»¹.

Приведенные материалы обнаруживают в религиозной философии Соловьева *реликтовый рационализм*², унаследованный им от западноевропейской метафизики, и *гностические тенденции*, которые осложняли его отношения с Церковью. Христианская церковь формировалась в борьбе с гностицизмом, но она боролась не против гнозиса вообще, а против гностической стихии, угрожавшей размыть «почву» и затопить «камень» — церковную догматику и церковный институт. Но, с тех пор как Церковь стала универсальным органом общения с Богом в реальных общественных условиях, любой рецидив гностицизма объективно уводил от нее.

Вл. Соловьев не был «церковным мыслителем», но Церковь была мыслима им всегда: образ ее представлял то в виде вселенского человечества, то в виде божественной Софии. Вырастая из своих исторических реалий, идея Церкви приобретает у Соловьева налет поэтичности и утопичности³. Не Церковь в мире, а мир в Церкви — вот идеал Соловьева. Естественно, что официальная Русская Православная Церковь во главе с К. Победоносцевым к Соловьеву относилась настороженно и даже враждебно⁴, запрещающая публично выступать по церковным вопросам. Но не нужно преувеличивать оппозицию официальной Церкви к Соловьеву и Соловьева к официальной Церкви. Здесь, как и во всем, для философа активно неприемлемы отвлеченный догматизм и исключительность, проявляющаяся в религиозной нетерпимости. Однако он никогда не отказывался от основного вероучительного содержания церковных догматов⁵. При этом идеи догматического развития Церкви, соединения церквей, особенно ценимые

¹ Соловьев В. С. Собр. соч.: В 9 т. Т. 7. С. 432.

² Л. Шестов отрицал «умозрение» Соловьева с позиций критики рационалистической философии вообще. См.: Шестов Л. Умозрение и откровение. Религиозная философия В. С. Соловьева и другие статьи. Париж, 1964. С. 25—91.

³ Ср.: Соловьев С. М. Идея Церкви в поэзии Владимира Соловьева // Соловьев С. М. Богословские и критические очерки. М., 1915. С. 143—206.

⁴ См.: К. П. Победоносцев и его корреспонденты. М.; Пг., 1923. Т. 1; Письма Победоносцева к Александру III. М., 1926. Т. II.

⁵ См.: Соловьев В. С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 4. С. 658.

в зарубежной клерикальной литературе¹, дают основания утверждать, что «в своей деятельности Соловьев выступал в роли религиозного реформатора»². Но экклезиология Соловьева, которая наряду с учением о Богочеловечестве занимает центральное место в его миропонимании, породила утопию вселенской теократии, одиозную даже для последователей философа³. Соловьева осуждали «либералы за клерикализм, а клерикалы за либерализм»⁴, потому что его понятие о Церкви было не либеральным и не клерикальным, а *радикальным*, и этот радикализм питался гностико-мистическими интуициями.

Теперь мы можем вновь вернуться к философии Соловьева, для которой его религиозное миропонимание не только фон, но живая ткань, тесно сплетающая мистику с метафизикой и метафизику с политикой.

Соловьев как философ бесспорно принадлежит к мировому платонизму, и его философия на этом метафизическом древе — цветок поздний, но яркий, по величине не уступающий философии самых выдающихся предшественников. Между Платоном и Соловьевым есть связь коренная, личная, уходящая, если угодно, в глубины психологии идеализма, которая, проявляясь на той или иной исторической почве по-разному, сохраняет свое жизненное постоянство.

Оба мыслителя объаты философским эросом, восхищены и заворожены небесным ликом истины, являющимся в чувственных образах космоса. Звездовдохновенные, они не замечают, как сходят с узкого логического пути разума на поэтический простор воображения. Ноэзис увлекается поэзисом и растворяется в нем. Платон уничтожил поэзию в рукописи, изгнал из своего «государства», но никогда не мог уничтожить ее в своей душе и изгнать из философии. Соловьев, ревностно следящий за строгостью смысловых построений, в стихах находит отдушину неисчерпанному вдохновению. Словно оправдывая свою фамилию, Соловьев, любовью возносясь из тины бытия, поет бытие истины, сверкающей земным золотом в небесной лазури.

¹ См.: *Rupp J.* Message ecclesial de Solowiew: Presage et illustration de Vatican II. Paris; Bruxelles, 1974. XVIII. 603 p.

² *Баранов С. Т.* Критика социально-политических аспектов философско-религиозной концепции Вл. Соловьева: Автореф. дис. ... канд. филос. наук. Ростов н/Д., 1974. С. 14.

³ См.: *Трубецкой Е. Н.* Крушение теократии в творениях В. С. Соловьева // *Русская мысль*. 1912. № 1.

⁴ Письма Владимира Сергеевича Соловьева: В 4 т. Т. 1. С. 179.

Поэтическое, «софийное», разумно-душевное восприятие и утверждение объективной истины, характерное в древнем мире для Платона, неоплатоников, гностиков, которых сам Соловьев назвал «мыслителями-поэтами», для Бруно, Бёме и Шеллинга в Новое время, осложняется и обостряется у нашего философа предельной персоналогизацией истины по духу и букве Нового Завета, распространяемой вслед за патристикой на все человечество и историю. Теологемы и философемы в христианском понимании воплощаются и реализуются в конкретной истории, в конкретной личности. Вообще, в традиции русской религиозной философии разумение истины закрепляет понятие абсолютной реальности: истина — «сущее», подлинно существующее в противоположность мнимому, не действительному, преходящему. П. А. Флоренский писал: «Русский язык отмечает в слове “истина” онтологический момент этой идеи. Поэтому “истина” обозначает абсолютно само-тождество и, следовательно, само-равенство, точность, подлинность... Истина — это “пребывающее” существование, это — “живущее”, “живое существо”, “дышащее”, т. е. владеющее существенным условием жизни и существования. *Истина как существо живое по преимуществу* — таково понятие о ней русского народа. Нетрудно, конечно, подметить, что именно такое понимание истины и образует своеобразную и самобытную характеристику русской философии»¹. Отсюда выясняется чрезвычайно важная для самосознания русских религиозных философов особенность, свойственная Соловьеву в первую очередь, — коренной *онтологизм*, и в большинстве случаев онтологизм теистический: «На почве этой особенности, онтологизма, возникает у русских мыслителей тяготение к реализации своих идей, жажда осуществления высшей правды»².

Для Соловьева истина есть «сущее всеединое»³. Соловьевскую философию обычно называют «метафизикой всеединства». Это действительно так потому, что ее предмет — истина — по содержанию онтологичен, а по форме универсален. Под метафизикой же Соловьев традиционно понимает «умозрительное учение о первоначальных основах всякого бытия, или сущности мира»⁴. В то время, когда интерес к метафизическим проблемам под

¹ Флоренский П. Столп и утверждение истины. С. 16—17.

² Там же. С. 615. Об «онтологизме» русской философии см.: Эрн Вл. Борьба за Логос. М., 1911. С. 72—119.

³ Соловьев В. С. Собр. соч.: В 9 т. Т. 2. С. 282.

⁴ Соловьев В. С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 10. С. 239.

влиянием «материализма» и «позитивизма» значительно упал, Соловьев выступил, по ироническому замечанию В. В. Лесевича, «родоначальником некоторого ряда метафизических попыток в нашей новейшей философской литературе». Соловьев признавался: «Это правда, что я первый предварил обращение русских умов к метафизическим вопросам...»¹

Построение «твердой и критически обоснованной метафизики» Соловьев начинает с критики «отвлеченных начал», то есть обособленных сторон и элементов всеединой идеи². Относя свою метафизику к типу наиболее полных синтетических систем, Соловьев выходит за пределы собственно метафизики и включает сюда этику и логику, или гносеологию, одновременно ставя вопрос об «истинном отношении философии к религии».

Вряд ли кто-либо знакомый с философией Соловьева по первоисточникам будет отрицать присущее ей особого рода «метафизическое» обаяние, близкое обаянию «биографической» личности философа. И дело тут не только в большой интеллектуальной одаренности и литературном мастерстве, которые привлекательны уже сами по себе, но которыми обладали и другие мыслители. Собирательная реализация принципа всеединства в философии и жизни вдохновлена и одухотворена у Соловьева *бескорыстной любовью к истине*, единосущной красоте и добру, но любовью, никогда не переходящей в слепую страсть фанатика. Он друг и рыцарь истины, а не ее завоеватель. Нетерпимость ему так же чужда, как и равнодушие. Соловьев не столько стремится *принуждать* к идее, затягивая в метаморфозы слов и понятий, что, например, свойственно Гегелю, сколько *переживать* идею, призывая свободно соединиться с ней разумом. Для Соловьева *свобода* есть необходимое условие и способ познания истины и жизни в истине. Без свободы нет истинного единства, как нет без единства истинной свободы. Соловьев выступает, по точному определению Л. Венцлера, «защитником свободы в качестве мыслителя свободы»³.

Философия всеединства, согласно Соловьеву, призвана к осуществлению той «свободы в единстве», о которой писал А. С. Хомяков, противопоставляя ей «единство в подчинении». Никакая философия в «тесном смысле», то есть в смысле основных направлений и школ, сложившихся в Европе, не способна без на-

¹ Там же.

² См.: Соловьев В. С. Собр. соч.: В 9 т. Т. 2. С. 1.

³ Wenzler L. Die Freiheit und das Böse nach Vladimir Solov'ev. Freiburg; München, 1978. S. 362.

силія вместить всю полноту жизни. Поэтому необходимо расширить границы самого философского мышления путем переориентации его с абстрактно-универсального предмета разума или конкретно-отдельного предмета чувственного опыта на универсально-конкретный предмет веры — «всеединное сущее»: «Все-единая идея должна быть собственным определением единичного центрального существа»¹.

Ключевая для всей мировой философии, преимущественно философская интуиция всеединства приобретает у Соловьева особенный смысл, отличающий его систему от западноевропейских аналогов. Ведь «цельное мировоззрение, познание из *единого* принципа со времени Канта было задачей и содержанием немецкой философии», и «ни один из немецких философов не подчинялся так рано влечению к единству и не воодушевлялся им в такой мере, как Шеллинг»². Но все же, насколько бы ни были близки Соловьев и Шеллинг, последний «развивал свою философскую точку зрения в форме решительно и определенно противоречащей теологии»³. Шеллинговский пантеизм ставит Бога в прямую зависимость от исторического разума, от человеческого познания, от философского гнозиса. Соловьев ищет опору метафизики в трансцендентном Абсолюте, который им мыслится в качестве метафизического коррелята теистического существа христианской религии и теологии. Он хочет доказать, что «Бог Авраама, Исаака и Иакова» может быть «Богом ученых и философов». На пути к этому Соловьев пересматривает традиционные категории философии, вырабатывая идеал *положительного* всеединства.

Принцип положительного всеединства требует безусловно существующего формально-материального и идеально-реального двуединого центра. Непосредственно таковым является человек — существо, для которого обособленное идеальное и обособленное материальное есть лишь абстрактные определения, или гипостазированные предикаты живого единства его сущности, проецируемой через фокус разума на условные сферы бытия. Логика всеединства возвращает от онтологии и гносеологии к антропологии, неявно всегда содержащейся в них и внутренне предшествующей им. Точнее было бы говорить об антропологическом измерении или плане, чтобы отличать антропологию как

¹ Соловьев В. С. Собр. соч.: В 9 т. Т. 3. С. 64.

² Фишер К. Шеллинг, его жизнь, сочинения и учение. СПб., 1905. С. 38.

³ Там же. С. 41.

результат, как учение — *философию* человека, от *человеческой философии* — *образа* человека, который сокровенно несет в себе любая философия. Философия упирается в антропологическую проблематику не потому, что она делает человека своим объектом, но потому, что человек является ее субъектом. Действительно, вопрос о бытии или сознании у человека, в человеческом обществе и для человека имеет смысл лишь тогда, когда в конечном счете помогает ответить на начальный вопрос: что такое человек? Противоположные мировоззрения именно в этом центральном вопросе сталкиваются прямо «не на жизнь, а на смерть», ибо в мире людей борьба идет за человека и человеком интересен мир. Проблема человека есть пробный камень философии, и насколько адекватно философия способна ее решать, настолько она и жизнеспособна.

Уже в гегелевском «учении о мире как процессе самоосвобождения Божия обнаруживается, что человек с его волею и с его нравственностью сосредотачивает в себе гордиев узел и кризис спекулятивного пантеизма»¹. Образ человека, очерченный картезианским его *cogito*, оказался, очевидно, тесным и слишком абстрактным, чтобы образовать цельное мирозерцание, способное быть действительной философией действительного человека. Тайна его бытия не стала явью спекулятивного мышления. Старые вопросы требовали новых оснований, и потому проблема человека, как проблема основная, выдвинулась особенно остро. Но здесь и разошлись дальнейшие пути философии. Если Фейербах искал разгадку теологии в антропологии, проложив путь к учению Маркса об «общественном человеке», то уже Шлейермахер указал ключ к антропологии в теологии, тем самым вновь открывая поток религиозно-антропологических и даже антропософских учений, охвативший философию XIX и XX веков. Русская философия XIX века исторически попала в эпицентр борьбы мировоззрений за человека, и человек логически стал центром русской философии. И в известных пределах прав В. В. Зеньковский, когда называет антропоцентризм главной характерной чертой философии в России: «Русская философия не *теоцентрична* (хотя в значительной части своих представителей глубоко и существенно религиозна), не *космоцентрична* (хотя вопросы натурфилософии очень рано привлекали к себе внимание русских философов), — она больше всего заня-

¹ Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. М., 1918. Т. 1. С. 277.

та темой о человеке, о его судьбе и путях, о смысле и целях истории»¹.

Мы опять же подчеркиваем, что, говоря об антропологии в связи с учением Соловьева, разумеем не философскую дисциплину, а *всеобщее самосозерцание человека в мире* — горизонт его осознанных возможностей. Метафизическую интуицию всеединства Соловьев конкретизирует религиозно-антропологически и персоналогически. Критика «отвлеченных начал» идет в направлении привлечения их к некоторому безусловному центру, способному собирательно вместить всю полноту бытия, — к абсолютному существу². В этом главнейшем пункте своей метафизики Соловьев обращает философию к теологии, так как «знание, имеющее своим первым предметом и исходною точкой абсолютную реальность, образует теологию»³. В силу того, что в теологии «абсолютная реальность» есть «абсолютное существо», а не общая идея или эмпирический факт, встает вопрос о другом начале, способном *воспринять* «абсолютное существо» в его существенности. Таковым у Соловьева выступает *духовный человек*, или «второе абсолютное»⁴. По сути дела, здесь дана метафизическая артикуляция библейских представлений о человеке как образе и подобии Божиим, но в такой абстрактной форме, под которую можно подвести самые разные мистические учения — от упанишад до каббалы, не говоря уже о всякого рода теософских вариациях. Все это является топикой мирового религиозно-мистического антропоцентризма. В данном приближении к метафизике человека как основной образующей философской системы нет еще, собственно, специфически соловьевского, кроме общей логической обработки, проникнутой духом положительного всеединства. Связав все сущее во всеедином Абсолюте и укоренив его в мистических глубинах человека, Соловьев из человеческих глубин выводит все представления о мире и даже о Боге. Но его антропоцентризм не есть антропологизм в узком смысле слова. Образ человека раздвигается так широко, захватывая предельно мыслимые крайности, что из философской абстракции превращается в космический *символ единения*. Человек — это связующее звено между божественным и природным миром, между Божеством и ничтожеством⁵.

¹ Зеньковский В. В. История русской философии. 2-е изд. Париж, 1989. Т. 1. С. 18.

² См.: Соловьев В. С. Собр. соч.: В 9 т. Т. 1. С. 280—298.

³ Там же. Т. 1. С. 236.

⁴ См.: Там же. Т. 2. С. 299—306.

⁵ См.: Там же. Т. 3. С. 111.

Мощь этого антропоцентрического пафоса не может не напомнить о сравнении Соловьева с Пико делла Мирандолой, которое делает Э. Радлов и на которое мы уже указывали¹. Отрывок из знаменитой «Речи о достоинстве человека» легендарного «князя Согласия» согласно вписывается в «Чтения о Богочеловечестве» «философа всеединства». Но что же сообщает столь высокое достоинство человеку у Соловьева?

Соловьевская метафизика человека есть логическое следствие общей мистической посылки христианства, которая конституирует все миропонимание философа. Ведь Соловьев сознательно разделяет фундаментальное для русской религиозной мысли убеждение, что «там, где философия сходится с верою, там весь человек, по крайней мере, духовный человек»². Принятие в вере Богочеловека дает понятие человека в разуме. Догматическое содержание теологемы Богочеловека ставит человека не только, как в ветхозаветной антропологии, первым в ряду равных тварей, но и рядом с несравненным творцом. «Вочеловечившийся» Бог сообщил человеку общее с Богом достоинство, а Слово, «ставшее плотью», сделало плоть безусловной: «Недостижимое стало событием и несказанное здесь совершилось»³. Теологическое содержание христианской религии провоцирует метафизическую форму учения Соловьева, конструирующего всеобщую диалектику божественного и человеческого в истории. Богочеловеческая сущность исторически реализуется как «непрерывное внутреннее взаимодействие идеальной и материальной природы»⁴.

Человек у Соловьева не есть только родовой человек или исключительный индивид, но есть вместилище *всей полноты бытия* — всеединой истины.

Энергия евангельского Логоса через метафизику человека придает философии Соловьева антропологический импульс всепроникающей силы. Из ближайших по времени предшественников русского мыслителя в западной философии созвучные идеи, но менее систематично, высказывал Ф. Баадер, для которого человек является «образом и представителем Бога в мире» — «микротеос» (Mikrotheos)⁵. Соловьев предвосхищает возрожде-

¹ См.: Радлов Э. Л. Указ. соч. С. 49—50.

² Киреевский И. В. Указ. соч. С. 343.

³ См.: Соловьев В. С. Собр. соч.: В 9 т. Т. 3. С. 367.

⁴ Там же. С. 261.

⁵ См.: Franz von Baaders simtl. Werke. Leipzig, 1851. Bd 5. S. 256; Bd 6. S. 296; Bd 8. S. 226; Bd 12. S. 205.

ние теоморфной антропологии у одного из столпов современной западной философии М. Шелера¹ и обновление ее Тейяром де Шарденом². Однако сравнительный анализ показывает, что Соловьев перед лицом этих мыслителей смотрит скорее назад, чем вперед: даже в своем «модернизме» он значительно ортодоксальнее. Соловьевская метафизика человека высвечивает очень ярко многие общие черты христианского мировоззрения, и особенно православия.

Оригинальное творчество Соловьева на базе христианской антропологии и метафизики всеединства имеет существенные корни в восточной патристике, прежде всего в христианском платонизме Григория Нисского и Максима Исповедника. К сожалению, пока нет исследований тех глубоких следов, которые оставило в учении Соловьева его изучение сочинений Максима Исповедника. Но именно Максим Исповедник для Соловьева есть «самый сильный, после Оригена, философский ум на христианском Востоке»³. Очень важно то, что воззрения Максима Исповедника действительно «представляют собою посредствующее звено между греко-христианской теософией и средневековой философией Запада»⁴. Ведь наш философ сам сознательно претендовал на подобную роль. Для Соловьева принципиальна продуманная Максимом Исповедником идея человека⁵, которая кроме онтологического и методологического смысла имеет в системе преп. Максима и свое специально важное значение: «Как образ Логоса, промыслительно ведущего мир к конечному объединению с Собою, человек получил великое предназначение — фактически осуществить это объединение и таким образом исполнить великий “совет Божий” об обожении всего бытия»⁶.

Нужно заметить, что в своем постоянном обращении к Священному преданию Соловьев не только рефлексировал опыт отцов Церкви, но и свидетельствовал о своем личном опыте. Фундаментальные образующие этого опыта типологически совпада-

¹ См.: *Dahm H.* Vladimir Solov'ev und Max Scheler. Ein Beitrag zur Geschichte der Phänomenologie im Versuch einer Vergleichenden Interpretation. München; Salzburg, 1971. 468 S.

² См.: *Truhlar K. V.* Teilhard und Solowjew. Dichtung und religiöse Erfahrung. Freiburg; München, 1966. 115 S.

³ *Соловьев В. С.* Максим Исповедник // Энциклопедический словарь. СПб.: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, 1896. Т. XVIII. С. 446.

⁴ Там же.

⁵ *Епифанович С. Л.* Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие. Киев, 1915. С. 54—70.

⁶ Там же. С. 58.

ют с исходными интуициями святоотеческой традиции. Можно восстановить общую предпосылку соловьевского и патристического мировоззрения, обусловленную новозаветной идеологией. Вся теософская система Соловьева была систематическим развитием нравственно-мистического начала, которое точнее всего выражается в формуле «любящее я». «Любящее я» есть всеединный корень разума, воли и чувства — «сердце», средоточие разумеющего, волящего и чувствующего безусловного существа. Радикальный «онтологизм» и «кардинальный» мистицизм восточной патристики получает здесь свое выражение в понимании и переживании бытия как объятия мира личной любовью Бога, хранящего мир в сердце, в «середине», в центре, и открывающегося в любви к миру, плод которой — «сын человеческий». В Богочеловеке любовь к миру достигает предельной полноты совершенной действительности, и потому мир в Нем обладает сверхбытием: отныне любить Бога — значит любить мир, а любить мир — значит уподобиться Богу. Если Бог, любя, пасет и спасает мир, воплощается и вочеловечивается, то человек, уподобляясь Богу, должен обожиться и обожить мир милостью жертвенного служения низшим, равным и высшим. Языческой любви к бытию здесь противопоставляется христианское бытие любви и личное сверхбытие любви — «Бог есть любовь».

Христианско-догматическое и патристическое зерно учения о человеке у Соловьева разрастается в наиболее своеобразную концепцию *Богочеловечества*. Метафизика Богочеловечества, собственно, и есть общая теория человека в общей связи истинно-сущего¹. Идея Богочеловечества выводит Соловьева из метафизических глубин на исторические широты, связует теософию с историософией, онтологию с социологией, мистику с этикой — выводит из сферы абсолютного в сферу относительного, из вечно-божественного мира в фактически нам данный человеческий мир. Здесь закладывается мост для перехода от *миро-понимания* к *миро-отношению* — от теоретически данного к практически заданному, от сущего к должному, от во-ображения к пре-ображению.

Для построения концепции Богочеловечества Соловьев привлекает весь понятийный аппарат своей теософии. Наряду с традиционным для христианского богословия понятием Логоса им вводится полисемантическая и полифункциональная теологема Софии. Мы не можем останавливаться сколько-нибудь подроб-

¹ См.: Трубецкой Е. Н. Миросозерцание Вл. С. Соловьева. М., 1913. Т. 1. С. 325.

но на этом смыслообразе¹, ибо он уведет нас так далеко в сторону, как уводил Соловьева от ортодоксальной теологии. Но скажем, что София в конструктивно-логической роли служит для Соловьева опосредствующим звеном между абсолютным и относительным, творцом и тварью, Богом и человеком, Богочеловеком и человечеством. Если отвлечься от множества смысловых оттенков, то Софию абстрактно можно представить как начало идеального в реальном или просто *нормальной* реальностью. С помощью Софии Соловьев конкретизирует интуицию всеединства, но не со стороны единства Бога и мира в Боге, а со стороны *единства Бога и мира в мире*. София как второе, произведенное единство есть «начало человечества, есть идеальный, или нормальный, человек»² и стратегически является у Соловьева основанием для утверждения внутренней причастности Бога человеку, основанием для *богочеловеческого* оправдания мира. Здесь творческая активность божества трансформируется в творческую активность человечества, а мирозидательная сила творца материализуется в *божественную материю* истории, оплодотворяемую духовной силой нового человека.

Но опять же все метафизические представления о Софии производны от христологического учения и связаны у Соловьева с идеей Церкви.

Если еще добавить, что к теософеме Софии непосредственно примыкает «языческое» по своему происхождению понятие о «мировой душе»³ и что София для философа была не только продуктом умозрительной спекуляции, но и предметом личной медитации, то станет совершенно ясно: о Софии Соловьева можно говорить много, но сказать что-либо окончательно определенное трудно. Любая попытка реконструкции его софиологии в результате будет с необходимостью относительно самостоятельной конструкцией. В наиболее широком контексте София у Соловьева есть религиозно-поэтический *символ* творческого общения человека с Богом — образ *встречи* и *причастия* на пути человека к Богу и Бога к человеку. В фонике соловьевского ощущения истории «Россия» и «София» — созвучные слова.

Возрождая и синтезируя представления мировой теософии о Софии, Соловьев привлек к этой проблеме активное внимание

¹ См.: Лосев А. Ф. Владимир Соловьев и его время. М., 1990. С. 209—260.

² Соловьев В. С. Собр. соч.: В 9 т. Т. 3. С. 111.

³ См.: Madey J. Wladimir S. Solowjew und seine Lehre von der Weltseele. München, 1961. S. 76—202.

своих последователей, что послужило появлению в русской религиозной мысли, особенно у П. Флоренского и С. Булгакова, так сказать, гиперсофийного уклона¹. Софийная проблематика была призвана теоретически освятить тварь и творение, а практически оживить веру в Творца и религию в условиях секулярной действительности. Софиология не возникла на пустом месте в результате чисто умственной спекуляции или визионерства, но имела культурные корни, исторически связанные с древним русским благочестием Софии Премудрости Божией². С воспоминания именно об этом образе начинается Соловьев свою вдохновенную импровизацию на тему идеи человечества у О. Конта³.

Если метафизически через Софию «обоживается» материальное, природное и телесное, то исторически она «обоживает» общественное, личное и индивидуальное. Но весьма часто за этой богословско-теософской терминологией, которая постоянно смешивается с терминологией философской, нет ничего, кроме логического конструирования идеи положительного всеединства применительно к обществу и истории. Поскольку в «положительном смысле отношение одного начала ко всему понимается как отношение всеобъемлющего духовно-органического целого к живым членам и элементам, в нем находящимся⁴, постольку логически единое начало человечества необходимо принимает все свои элементы в качестве целого и исторически все элементы целого должны свободно принять все человечество в качестве своей цели.

Методологией метафизических построений Соловьева является намеченная им «органическая логика»⁵. Органическая логика есть творческая попытка преодолеть ограниченность всякой школьной философии как исключительной теории средствами самой философии и потому есть результат переосмысления *понятия философии* вообще. Соловьев справедливо противопоставил *ограниченности* теории *органичность* жизни. Если мы захотим найти слово, наиболее точно и полно выражающее со-

¹ См.: Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. М., 1914. С. 319—392; Булгаков С. Н. Свет Невечерний. М., 1917. С. 210—276; Лосский В. Н. Спор о Софии. Париж, 1936.

² Флоровский Г. О почитании Софии Премудрости Божией в Византии и на Руси. София, 1932. Ч. 1.

³ См.: Соловьев В. С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 9. С. 172—193.

⁴ Там же. Т. 10. С. 231.

⁵ Соловьев В. С. Собр. соч.: В 9 т. Т. 1. С. 282—359; Лосев А. Ф. Владимир Соловьев. М., 1983. С. 101—119.

ловьевское понимание всеединства, то таковым будет, несомненно, *жизнь*: «Жизнь есть самое общее и всеобъемлющее название для полноты действительности везде и во всем»¹. А из всех категорий «органической логики» максимальной *жизненной органичностью* обладает София, не уместившаяся в силу своей *жизненности* в формальную сетку «Философских начал цельного знания». София интимно сближает и логическое понятие, и эмпирический факт, и поэтический образ. Но такая философия есть «более чем теория, есть преимущественно дело жизни, а потом уже и школы»². Она имеет «не только теоретическое, но также нравственное и эстетическое значение, находясь во внутреннем взаимодействии со сферами творчества и практической деятельности, хотя и различаясь от них»³. Очевидно, что эта жизненная философия есть прежде всего *философия жизни*, которая «стремится стать образующей и управляющей силой этой жизни»⁴. А. Ф. Лосев пронизательно указывает: «Всю философию Вл. Соловьева нужно представлять как философию жизни, сконструированную в виде системы категорий»⁵. Нам остается сделать существенное дополнение, чтобы отличить философию жизни Соловьева от аналогичных тенденций в западной философии XIX—XX веков. Специфика заключена в самом понимании жизни. Если общей предпосылкой философии жизни стала идея несводимости жизни к рассудку, то Соловьев вслед за славянофилами утверждает на сверхрассудочности жизни *духовной*, а не на иррациональности жизни *естественной*, о которой писали Гете, Штерн и многие другие западные мыслители⁶. Соловьев относительно близок к направлению, идущему от Фр. Шлегеля к М. Шелеру. Но западная философия жизни конца XIX века «опирается уже на инстинкт и низводит разум на уровень простого подсобного средства практики, “жизни”»⁷.

Важно подчеркнуть, что особенно выделяет Соловьева ярко выраженная гуманистическая активность его философии. В этом он внутренне солидарен с такими мыслителями, как Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой и Н. Ф. Федоров. Не случайно, что ко-

¹ Соловьев В. С. Собр. соч.: В 9 т. Т. 3. С. 262.

² Там же. Т. 1. С. 265.

³ Там же. С. 266.

⁴ Там же.

⁵ Лосев А. Ф. Владимир Соловьев. М., 1983. С. 149.

⁶ См.: Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. М., 1914. С. 608.

⁷ Современная буржуазная философия. М., 1972. С. 113.

гда сознательный противник «гуманизма» К. Леонтьев обвинил Достоевского и Толстого в том, что они «слишком верят в человека», на их защиту встал Соловьев. Нельзя забывать о религиозной основе этого спора: вопрос об отношении гуманизма к христианству весьма проблематичен и очень остро был поставлен в России XIX века. Общим полем борьбы оказалась *нравственность*, ибо гуманизм русской философии *этически* окрашен. Во многих случаях преимущественно моральное истолкование христианства было формой утверждения этического гуманизма, социально-нравственной активности человека. Даже еще среди веховцев раздавались призывы к «творческому, созидающему культуру религиозному гуманизму»¹, но, правда, они уже противопоставляли ему «нигилистический морализм». Однако существовала большая богословская и богословствующая литература, в которой говорилось о необходимости решительно и твердо различать гуманизм и христианство, этику и религию. Соловьев в этом центральном вопросе, как и во всем, занимал позицию примиряющего единства. Его практическое требование есть теоретический принцип последовательного Богочеловечества: «Старая традиционная форма религии исходит из веры в Бога, но не проводит этой веры до конца. Современная внерелигиозная цивилизация исходит из веры в человека, но и она остается непоследовательною, — не проводит своей веры до конца; последовательно же проведенные и до конца осуществленные обе эти веры — вера в Бога и вера в человека — сходятся в единой полной и всецелой истине Богочеловечества»². Но более пристально всматриваясь и вслушиваясь в публицистические выступления философа, можно заметить, что в смысловом единстве «гуманизма» и «христианства» интонационный акцент сделан на «гуманизме», а личные симпатии Соловьева на стороне «моралистов», хотя он и осуждает тех «проповедников чистой морали», которые выдают отвлеченную мораль за христианство³. С большей резкостью Соловьев критикует приверженцев самодовлеющих догматов, таинств и церковной иерархии, указывая на особый вред и смертельное действие этой «подмены» христианства. Собственный же взгляд Соловьева не моральный и не формальный, но *духовный*: «Истинное, неподдельное христианство не есть ни догмат, ни иерархия, ни богослужение, ни мораль, а животворящий дух Христов, реально, хотя невидимо,

¹ Франк С. Л. Этика нигилизма // Вехи. 2-е изд. М., 1909. С. 210.

² Соловьев В. С. Собр. соч.: В 9 т. Т. 3. С. 23.

³ См.: Соловьев В. С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. С. 327—328.

присутствующий в человечестве и действующий в нем через сложные процессы духовного развития и роста, — дух, воплощенный в религиозных формах и учреждениях, образующих земную церковь, — его видимое тело, но не исчерпанный этими формами, не осуществленный окончательно ни в каком данном факте»¹.

Таким образом, философия Соловьева есть не просто философия жизни и не только философия духовной жизни, но есть философия *животворящего духа*². В философии животворящего духа созерцательное миропонимание Соловьева перерастает в творческое мироотношение.

Наш пунктирно намеченный абрис философии Соловьева позволяет сделать несколько необходимых выводов, вводящих в конкретный анализ его произведений.

Универсум философа в плане содержания структурируется как бы на трех уровнях соответственно формуле: «Прежде всего нам нужно *жить*, потом познавать жизнь и, наконец, *исправлять жизнь*»³.

Философия Соловьева внутренне зарождается как философия жизни, ориентированная на *духовную жизнь*.

Все формы осознания жизни в мышлении философа принципиально «метафизичны». Онтологически насыщенные интуиции на уровне системы понятий образуют «метафизику всеединства».

Соловьевская *метафизика всеединства* есть всеобщий результат метафизики человека, а метафизика человека есть осознанный принцип *теологии Богочеловека*. Следовательно, вся философия Соловьева имеет *теологическую* предпосылку, обуславливающую ее специфическое содержание — вероучительный *догмат* христианства, и по своему характеру представляет разновидность христианской теософии под знаком Святой Троицы.

Основное содержание миро-понимания Соловьева в *философской* форме можно резюмировать так: идея единства *совершенной связи* всего; идея единства *совершенного человечества*, связуемого всем, — триединство идеи *совершенной жизни* во всем.

Отсюда главная задача миро-отношения: установить сознательно *совершенствующуюся связь* между несовершенной действительностью и действительным совершенством, или *осуществить идеально сущее как реально должное*.

¹ Там же. С. 329.

² См.: Письма Владимира Сергеевича Соловьева. С. 43.

³ Соловьев В. С. Собр. соч.: В 9 т. Т. 3. С. 275.

Мистическое жизнеощущение и метафизическое миропонимание Соловьева окончательно выражаются в задаче его этического мироотношения. «Этический» строй души нашего философа требовал выдвижения на первый план вопросов жизненных и действительных для всякого мыслящего человека.

Таинственна, трагична и поучительная сама *личность* Соловьева, совмещавшая разные душевные формации. Перед нами человек, который больше и глубже своего «учения». Чрезвычайная чуткость Соловьева к *духовной реальности* сделала его действительно медиумом сил мирового добра и зла. Соловьев *лично* ощущал себя на краю бездны всемирной истории. Это *эсхатологический человек*. Природные и культурные начала уже не могли в нем сдерживать вторгающиеся в мир для последней битвы начала сверхчеловеческие. Он своим личным опытом убеждает, что в последние времена ни природа, ни культура не спасают человека, ибо сами обречены на гибель.

В основании всей деятельности Соловьева лежит сознательное убеждение в том, что «существующий порядок вещей (преимущественно же порядок общественный и гражданский, отношения людей между собою, определяющие всю человеческую жизнь), что этот существующий порядок далеко не таков, каким *должен* быть, что он основан не на разуме и праве, а, напротив, по большей части на бессмысленной случайности, слепой силе, эгоизме и насильственном подчинении... Сознательное убеждение в том, что настоящее состояние человечества *не таково*, каким *быть должно*, значит для меня, что оно *должно* быть изменено, преобразовано. Я не признаю существующего зла вечным, я не верю в черта. Сознывая необходимость преобразования, я тем самым обязываюсь посвятить всю свою жизнь и все свои силы на то, чтобы это преобразование было действительно совершено. Но самый важный вопрос: где средства?»¹ Своему обязательству Соловьев был верен до конца, и вся жизнь и творчество его отмечены напряженным поиском *средств к осуществлению* одной идеи, одного идеала. Источник, из которого он черпал силы и вдохновение, — религиозный и мистический; пафос его подвижничества — нравственный и общечеловеческий. *Преобразовать мир по образу Христа* есть цель усилий Соловьева — философа, богослова, публициста и поэта. На этом пути явственно обнаруживаются его сокровенные притязания и явно встает про-

¹ Письма Владимира Сергеевича Соловьева. С. 87—88.

тивник — грядущий Антихрист. Сквозь личины философа, богослова, публициста, поэта глядит на время лик пророка. Но в лике пророка Соловьев не подлежит оценкам времени, а предаёт себя суду вечности.

1988—1990 гг.



I

**Вл. СОЛОВЬЕВ О СЕБЕ
И ПРОТИВ СЕБЯ**



ИЗ ПИСЕМ

ИЗ ПИСЬМА К Е. В. СЕЛЕВИНОЙ

11

[Москва, 31 декабря 1872 г.]

Дорогая моя Катя, собираюсь сегодня много говорить с тобою, и сначала о самом важном. Меня очень радует твое серьезное отношение к величайшему (по-моему, единственному) вопросу жизни и знания — вопросу о религии. Относительно этого твое теперешнее заблуждение (как и почти всех — заблуждение, неизбежное сначала) состоит в том, что ты смешиваешь веру вообще с одним из ее видов — с верой детской, слепой, бессознательной — и думаешь, что другой веры нет. Конечно, не много нужно ума, чтобы отвергнуть эту веру — я ее отрицал в 13 лет, конечно, человек сколько-нибудь рассуждающий уже не может верить так, как он верил, будучи ребенком; и если это человек с умом поверхностным или ограниченным, то он так и останавливается на этом легком отрицании своей детской веры в полной уверенности, что сказки его няnek или школьные фразы катехизиса составляют настоящую религию, настоящее христианство. С другой стороны, мы знаем, что все великие мыслители — слава человечества — были истинно и глубоко верующими (атеистами же были только пустые болтуны вроде французских энциклопедистов или современных Бюхнеров¹ и Фохтов², которые не произвели ни одной самобытной мысли). Известны слова Бэкона, основателя положительной науки: немножко ума, немножко философии удаляют от Бога, побольше ума, побольше философии опять приводят к Нему. И хотя Бог один и тот же, но, без сомнения, та вера, к которой приводит много философии, есть уже не та, от которой удаляет немножко ума. Немудрено догадаться, что вера христианина сознательного и мыслящего отличается чем-

нибудь от веры деревенской старухи, хотя предмет веры тот же и оба они могут быть настоящими христианами; и само внутреннее чувство веры у них одинаково; но разница в том, что деревенская старуха или вовсе не думает о том, во что верит, или если думает, то в таких представлениях, которые соответствуют ее умственному состоянию; христианин же сознательный, разумно понимая учение христианства, находит в нем разрешение для всех высших вопросов знания — такое богатство и глубину мысли, перед которой жалки все измышления ума человеческого; но для него очевидно, что не он сам вкладывает этот глубокий смысл в христианство, потому что он ясно сознает совершенное ничтожество и бессилие своего ума, своей мысли перед величием и силой мысли божественной. Теперь я не стану объяснять тебе, в чем заключается это божественное содержание христианской идеи; для того, чтобы это было доступно, нужно уже совершить тот ход внутреннего развития, который ты только еще начинаешь, — дай Бог тебе его кончить так, как я надеюсь! Теперь же позволь рассказать тебе, как человек становится сознательным христианином.

В детстве всякий принимает уже готовые верования и верит, конечно, на слово; но и для такой веры необходимо если не знание, то некоторое представление о предметах веры, и действительно, ребенок составляет себе такие представления, более или менее нелепые, свыкается с ними и считает их неприкосновенною святынею. Многие (в былые времена почти все) с этими представлениями остаются навсегда и живут хорошими людьми. У других ум с годами растет и перерастает их детские верования. Сначала со страхом, потом с самодовольством одно верование за другим подвергается сомнению, критикуется полудетским рассудком, оказывается нелепым и отвергается. Что касается до меня лично, то я в этом возрасте не только сомневался и отрицал свои прежние верования, но и ненавидел их от всего сердца, — совестно вспомнить, какие глупейшие кощунства я тогда говорил и делал. — К концу истории все верования отвергнуты, и юный ум свободен вполне. Многие останавливаются на такой свободе от всякого убеждения и даже очень ею гордятся; впоследствии они обыкновенно становятся практическими людьми или мошенниками. Те же, кто не способен к такой участи, стараются создать новую систему убеждений на месте разрушенной, заменить верования разумным *знанием*. И вот они обращаются к положительной науке, но эта наука не может основать разумных убеждений, потому что она знает только внешнюю действительность, одни факты и больше ничего; истинный смысл факта, ра-

зумное объяснение природы и человека — это наука дать отказывается. Некоторые обращаются к отвлеченной философии, но философия остается в области логической мысли, действительность, жизнь для нее не существует, а настоящее убеждение человека должно ведь быть не отвлеченным, а живым, не в одном рассудке, но во всем его духовном существе, должно господствовать над его жизнью и заключать в себе не один идеальный мир понятий, но и мир действительный. Такого живого убеждения ни наука, ни философия дать не могут. Где же искать его? И вот приходит страшное, отчаянное состояние — мне и теперь вспомнить тяжело, — совершенная пустота внутри, тьма, смерть при жизни. Все, что может дать отвлеченный разум, изведено и оказалось негодным, и сам разум разумно доказал свою несостоятельность. Но этот мрак есть начало света; потому что когда человек принужден сказать: я ничто, — он этим самым говорит: Бог есть все. И тут он познает Бога — не детское представление прежнего времени и не отвлеченное понятие рассудка, а Бога действительного и живого, который «недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем». Тогда-то все вопросы, которые разум ставил, но не мог разрешить, находят себе ответ в глубоких тайнах христианского учения, и человек верует во Христа уже не потому только, что в Нем получают свое удовлетворение все потребности сердца, но и потому, что им разрешаются все задачи ума, все требования знания. Вера слуха заменяется верой разума: как самаряне в Евангелии: «Уже не по твоим речам веруем, но сами поняли и узнали, что он истинный спаситель мира, Христос»³.

И так ты видишь, что человек относительно религии при правильном развитии проходит три возраста: сначала пора детской, или слепой, веры, затем вторая пора — развитие рассудка и отрицание слепой веры, наконец, последняя пора веры сознательной, основанной на развитии разума. <...>

ИЗ ПИСЕМ К Е. В. СЕЛЕВИНОЙ

<...> Отвечаю тебе прямо: я люблю тебя, насколько способен любить; но я принадлежу не себе, а тому делу, которому буду служить и которое не имеет ничего общего с личными чувства-

ми, с интересами и целями личной жизни. Я не могу отдать тебе себя всего, а предложить меньше считаю недостойным. <...>

15

[11 июля 1873 г.]

<...> Я думаю, ты не можешь сомневаться в моей любви: я даже не умел хорошо скрывать ее до сих пор; теперь же ты даешь мне возможность говорить открыто: я люблю тебя, как только могу любить человеческое существо, а может быть, и сильнее, сильнее, чем должен. Для большинства людей этим кончается все дело; любовь и то, что за нею должно следовать: семейное счастье, — составляют главный интерес их жизни. Но я имею совершенно другую задачу, которая с каждым днем становится для меня все яснее, определеннее и строже. Ее посильному исполнению посвящу я свою жизнь. Поэтому личные и семейные отношения всегда будут занимать *второстепенное* место в моем существовании. <...>

18

[1873 г.]

<...> С тех пор как стал что-нибудь смыслить, я сознавал, что существующий порядок вещей (преимущественно же порядок общественный и гражданский, отношения людей между собой, определяющие всю человеческую жизнь), что этот существующий порядок далеко не таков, каким *должен* быть, что он основан не на разуме и праве, а, напротив, по большей части на бессмысленной случайности, слепой силе, эгоизме и насильственном подчинении. <...> Сознательное убеждение в том, что настоящее состояние человечества *не таково, каким быть должно*, значит для меня, что *оно должно быть изменено*, преобразовано. Я не признаю существующего зла вечным, я не верю в черта. Сознавая необходимость преобразования, я тем самым обязываюсь посвятить всю свою жизнь и все свои силы на то, чтобы это преобразование было действительно совершено. Но самый важный вопрос: *где средства?* <...>

20

[1873 г.]

<...> Живого плода своих будущих трудов я во всяком случае не увижу. Для себя лично ничего хорошего не предвижу. Это еще

самое лучшее, что меня сочтут за сумасшедшего. Я, впрочем, об этом очень мало думаю. Рано или поздно успех несомненен — этого достаточно. <...>

ИЗ ПИСЬМА К Е. М. ПОЛИВАНОВОЙ

[25 сентября 1877 г.]

Я совершенно уверен, что скоро будет большое дело, которое соединит очень многих. <...> Я смотрю на Вас и на себя (как на всех порядочных людей нашего поколения) — как на будущих слугителей одного неведомого бога.

ИЗ ПИСЬМА В. П. ФЕДОРОВУ

[1883 г.]

<...> Я некоторое время серьезно интересовался спиритизмом и имел случай убедиться в реальности многих из его явлений; но практическое занятие этим предметом считаю весьма вредным и нравственно, и физически. <...>

ИЗ ПИСЕМ И. С. АКСАКОВУ

<...> Я слышал, что вся статья¹ удостоилась презрительного отзыва от самого Каткова², который назвал ее «детским лепетом»... <...> Когда я был самоуверенным мальчишкой, меня носили на руках и мой действительно «детский лепет» слушали с величайшим почтением. И теперь еще хорошо, что я не могу достигнуть совершенства в смирении, а то бы меня совсем никто не слушал. <...>

[Октябрь 1883 г.]

<...> Обо мне распространился решительный слух, что я перешел в латинство. Я бы не считал постыдным сделать это *по убеждению*, но именно мои убеждения не допускают ничего подобного. Употреблю глупое сравнение: представьте себе, что моя мать на ножах со своей сестрой и даже не хочет признавать ее за сестру. Неужели, чтобы помирить их, я должен бросить свою мать и

перейти к тетке? Это нелепо. Все, что я должен делать, — это внушать всеми силами своей матери (и своим братьям), что противница ее все-таки родная законная сестра, а не... и при всех своих старых грехах все-таки порядочная женщина, а не... и что им лучше и благороднее бросить старые счеты и быть заодно. <...>

ИЗ ПИСЬМА К О. АРХИМАНДРИТУ АНТОНИЮ ВАДКОВСКОМУ

[8 апреля 1886 г.]

<...> Вчера я чувствовал себя среди общества действительно христианского, преданного делу Божию прежде всего. Это ободряет и обнадеживает меня, а я со своей стороны могу Вас обнадежить, что *в латинство никогда не перейду*.

Если и будут какие-нибудь искушения и соблазны, то уверен с Божьей помощью и Вашими молитвами их преодолеть. <...>

ИЗ ПИСЬМА В «ЦЕРКОВНЫЙ ВЕСТНИК»

Церковный вестник. № 49. 1886 г.

<...> 1) имея свои особые мнения относительно спорных церковных вопросов, я остаюсь и уповаю всегда остаться членом Восточной православной церкви не только формально, но и действительно, ничем не нарушая своего исповедания и исполняя соединенные с ним религиозные обязанности; 2) желая полного и плодотворного соединения обеих церквей — прежде всего в духе и истине, я никогда и никого не убеждал переходить из Восточной церкви в Западную, а, напротив, имел случай отговаривать иных от такого намерения; ибо как *внешнюю* унию, так равно и всякое *частное* «обращение» считаю не только ненужным, но и весьма вредным для вселенского дела, хотя, конечно, и не могу бросать камня в «обращающихся» по искреннему, если и ошибочному, убеждению. <...>

ИЗ ПИСЕМ БРАТУ М. С. СОЛОВЬЕВУ

[1886 г.]

<...> За мною здесь ухаживают, с одной стороны, «Новое время», а с *другой* — либералы, не говоря уже о евреях. Я веду тон-

кую политику (если бы имел турнюр, то сказал бы, кокетничаю) и с теми, и с другими, и с третьими.

Зато с казенною Россией я потерял всякое соприкосновение. Дивлюсь только издалека ее мудрости. <...>

34

[1888 г.]

<...> А вообще *жить* в Москве не расположен по множеству причин. Я в иных отношениях непомерно впечатлителен, быть может потому, что у меня, яко у недоноска, слишком тонкая кожа. <...>

КРАТКАЯ АВТОБИОГРАФИЯ

[1887 г.]

Влад. Серг. Соловьев родился в 1853 г. в Москве, сын русского историка Сергея Соловьева. Учился в одной из московских гимназий и затем изучал естественные науки в Московском университете. Выдержав экзамен на кандидата историко-филологического факультета (в том же университете), поступил вольным слушателем в Московскую духовную академию. Через год выдержал экзамен на магистра философии в Петербургском университете и защитил публичную диссертацию «Кризис западной философии» в 1874 г., направленную против позитивизма. Выбранный в доценты на вакантную кафедру философии в Московском университете, читал там лекции по истории древней и новой философии и по логике. Провел один год за границей в Англии, Франции, Италии и Египте. Оставил кафедру в Московском университете вследствие нежелания участвовать в борьбе партий между профессорами, был назначен членом ученого комитета при Министерстве народного просвещения. В 1878 г. прочел в Петербурге публичный курс по философии религии. В 1880 г. напечатал сочинение «Критика отвлеченных начал» и защитил его в качестве диссертации, где потом (в 1880—1882 гг.) читал как приват-доцент лекции по метафизике и философии истории.

В то же время читал лекции по истории древней философии на Высших женских курсах. В марте 1881 г. произнес перед многочисленной публикой речь против смертной казни. Вскоре после того оставил службу в Министерстве, а затем и профессорскую деятельность, и сосредоточил свои занятия на религиозных во-

просах, преимущественно на вопросе о соединении церквей и о примирении христианства с иудейством.

Кроме двух упомянутых диссертаций и многих мелких статей напечатал: 1) «Двенадцать чтений о Богочеловечестве»; 2) «Философские начала цельного знания»; 3) «Религиозные основы жизни»; 4) «Национальный вопрос в России»; 5) «Еврейство и христианский вопрос»; 6) «Догматическое развитие Церкви».

В настоящее время приготовил к печати обширное сочинение: «История и будущность теократии» в трех томах, из коих первый содержит *философию библейской истории*, второй — *философию церковной истории* и третий — *задачи теократии*.

ИЗ ПИСЕМ Ф. Б. ГЕЦУ

9

[Декабрь 1886 г.]

<...>Вы, вероятно, знаете, что я теперь претерпеваю прямо гонение. Всякое мое сочинение, не только новое, но и перепечатка старого, *безусловно* запрещается. Обер-прокурор П-в¹ сказал одному моему приятелю, что *всякая* моя деятельность вредна для России и для православия и, следовательно, не может быть допущена. А для того, чтобы оправдать такое решение, выдумываются и распускаются про меня всякие небылицы. Сегодня я сделался иезуитом, а завтра, может быть, приму обрезание; нынче я служу папе и еп. Штрессмайеру², а завтра, наверно, буду служить Alliance Israélite и Ротшильдам. наши государственные церковные и литературные мошенники так нахальны, а публика так глупа, что всего можно ожидать. Я, конечно, не унываю и держусь своего девиза: Бог не выдаст, свинья не съест. Но все таки следует быть по возможности осторожным. <...>

16

[1887 г.]

<...>Вы видите. что мое перо всегда готово к защите бедствующего Израиля, но то, что Вы пишете о моих «друзьях», фантастично. Один из названных Вами, пожалуй, в устной беседе и заявит гуманные взгляды, но, наверно, ни одного слова в пользу евреев не напишет и не напечатает, а другой (не хочу говорить, кто именно) почти серьезно доказывает, что всех евреев нужно

подвергнуть известной операции, которая раз и навсегда отнимет у них способность к размножению! Вот Вам и коллективное заявление в пользу евреев. — Но Вы правы в том, что если кто-нибудь, хотя бы я, будет решителен и с полною подписью своего имени выступит против антисемитизма, то это может вызвать и других и наконец составить какой-нибудь противовес этим неистовствам. А пока могу предложить только свой собственный труд. <...>

21

[1888 г.]

<...> До меня доходят неопределенные слухи о сплетнях в русских газетах, будто я перешел в католичество и т. д. На самом деле я теперь еще более далек от подобного шага, чем прежде. <...>

ИЗ ПИСЬМА К о. МАРТЫНОВУ

6

[1887 г.]

<...> Но зачем сложные рассуждения, вот факт: открыто заявляя свои взгляды и провозглашенный в нашей печати тайным иезуитом, я регулярно исповедуюсь и причащаюсь у православных священников, знающих мой образ мыслей. <...>

В заключение, чтобы не оставлять ничего в неясности, я исповедаю, что Римско-католическая церковь, заменившая Римскую империю для возрожденного человечества, назначена волею Божиею иметь до конца веков всемирную державу на земле. На всю свою деятельность я могу смотреть только как на службу этой державе. Это есть долг совести. Но служить ли в качестве волонтера-союзника или же в качестве регулярного солдата легионов — это есть вопрос практический, коего решение зависит от обстоятельств времени, личного положения и т. д. <...>

ИЗ ПИСЬМА К МАТЕРИ

[1887 г.]

<...> С душевным прискорбием извещаю родных и знакомых, что 14-го минувшего мая ветхий мой человек волею Божией умре

и погребен на лоне природы под простым, но изящным монументом, на коем внимательный прохожий может прочесть следующую надпись:

Здесь тихая могила
Прах юноши взяла.
Любовь его сразила,
А дружба погребла.

А отступя несколько:

Покойся, милый прах, до радостного утра.

Желающим почтить память покойного не возбраняется выпить и закусить. <...>

ИЗ ПИСЬМА К Н. Н. СТРАХОВУ

[12 апреля 1887 г.]

<...> Я не только верю во все сверхъестественное, но, собственно говоря, только в это и верю. Клянусь четой и нечетой, с тех пор как я стал мыслить, тяготеющая над нами вещественность всегда представлялась мне не иначе как некий кошмар сонного человечества, которого давит домовой. <...>

ИЗ «АЛЬБОМА ПРИЗНАНИЙ» Т. Л. СУХОТИНОЙ

1. Главная черта Вашего характера? *Упрямство и уступчивость.*
2. Какую цель преследуете Вы в жизни? *Не скажу.*
3. В чем счастье? *В вере в любовь.*
4. В чем несчастье? *Сидеть рядом с г-м Астафьевым¹.*
5. Самая счастливая минута в Вашей жизни? *Надеюсь, еще будет, а может быть, прогулял.*
6. Самая тяжелая минута в Вашей жизни? *Встреча с г. Астафьевым.*
7. Чем или кем желали бы Вы быть? *Собою, вывороченным налицо.*
8. Где желали бы жить? *В России и в Египте.*
9. К какому народу желали бы Вы принадлежать? *Пока к русскому.*
10. Ваше любимое занятие? *Писать, когда пишется, и слушать милых людей.*

11. Ваше любимое удовольствие? *(Ответа нет).*
12. Ваша главная привычка? *Смотреть на солнце, чтобы чихнуть.*
13. Долго бы Вы хотели жить? *Безразлично.*
14. Какой смертью хотели бы Вы умереть? *Христианской.*
15. К чему Вы чувствуете наибольшее сострадание? *К покинутым женщинам.*
16. К какой добродетели Вы относитесь с наибольшим уважением? *К правдивости.*
17. К какому пороку Вы относитесь с наибольшим снисхождением? *К пьянству.*
18. Что Вы более цените в мужчине? *Постоянство.*
19. Что Вы более всего цените в женщине? *Сердечность.*
20. Ваше мнение о современных молодых людях? *Страдают собачьей старостью.*
21. Ваше мнение о современных молодых девушках? *Мало знаю.*
22. Верите ли в любовь с первой встречи? *Да.*
23. Можно ли любить несколько раз в жизни? *По-настоящему — нельзя.*
24. Были ли Вы влюблены и сколько раз? *Серьезно один раз, а так — 27 раз.*
25. Ваше мнение о женском вопросе? *Пустое занятие.*
26. Ваше мнение о браке и супружеской жизни? *Abusus non tollit usum².*
27. Каких лет следует жениться и выходить замуж? *Ну при чем же тут года?*
28. Что лучше: любить или быть любимой?
29. Покоряться или чтобы Вам покорялись?
30. Вечно подозревать или часто обманываться?
31. Желать и не получить или иметь и потерять?
32. Какое историческое событие вызывает в Вас наибольшее сочувствие? *Конец экспедиции Ашинова³.*
33. Ваш самый любимый писатель (в прозе)?⁴ *Гофман.*
34. Ваш любимый поэт? *Пушкин и Мицкевич.*
35. Ваш любимый герой в романах? *Архивариус Саландер.*
36. Ваша любимая героиня в романах? *Золотая змейка.*
37. Ваше любимое стихотворение? *Посвящение к Полтаве и пролог Конрада Валленрода.*
38. Ваш любимый художник? *Мурильо.*
39. Ваша любимая картина? *Непорочное зачатие.*
40. Ваш любимый композитор? *Моцарт и Глинка.*
41. Ваше любимое музыкальное произведение? *«Дон-Жуан» и «Руслан и Людмила»⁵.*

Не служил в легкой кавалерии.

42. Каково настроение Вашей души в настоящее время? *Благонамеренное.*
43. Ваше любимое изречение? *Соллогуб у меня его похитил*⁶.
44. Ваша любимая поговорка? *Начихать на голову.*
45. Следует ли всегда быть откровенным? *Не следует ни в чем быть педантом.*
46. Искренно ли Вы отвечали на вопросы? *Вполне.*
47. Расскажите самое выдающееся событие в Вашей жизни. *Ожидая его в будущем.*

Влад. Соловьев

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ «НОВОГО ВРЕМЕНИ»

5

№ 5026. 25 февраля 1890 г.

С удивлением узнавши из газет, что доцент здешней Духовной академии, иеромонах Антоний¹, читает публичные лекции на тему «о превосходстве православного христианства перед папистическим учением Владимира Соловьева» (или, по другой редакции, «о превосходстве учения православной Церкви перед папистическими увлечениями Владимира Соловьева»), считаю необходимым заявить следующее.

1. Я никогда не менял вероисповедания, и едва ли о. Антоний имеет право отлучать меня от Церкви.

2. Я всегда готов оправдать свои убеждения и показать в публичном споре, почему я уверен в полном своем согласии с православным учением, основанном на слове Божиим, на определении семи Вселенских Соборов и на свидетельстве святых отцов и учителей Церкви.

3. Я отклоняю от себя всякую ответственность за мысли и взгляды, которые приписываются мне на основании произвольных выводов и ссылок на отдельные места из сочинений, не находящихся в обращении среди русской публики, и по предметам, не подлежащим гласному обсуждению.

Владимир Соловьев

ИЗ ПИСЬМА В. В. РОЗАНОВУ

[28 ноября 1892 г.]

<...> Из замечаний Ваших по поводу вероисповедного вопроса я вижу, что моя действительная точка зрения по этому предмету осталась Вам неизвестною. Изложить ее в письме не нахожу возможным. Если когда-нибудь Бог приведет встретиться, то в разговоре это можно будет сделать и легче, и скорее. А пока — намекну в словах на сущность дела. Ввиду господствующей у нас, частью фальшивой, а частью благоглупой и, во всяком случае, нехристианской, папофобии, я считал и считаю нужным указывать на положительное значение самим Христом положенного камня Церкви, но я никогда не принимал его за саму Церковь, — фундамент не принимал за целое здание. Я также далек от ограниченности византийской, или аугсбургской, или женеvской. Исповедуемая мною религия Св. Духа шире и вместе с тем содержательнее всех отдельных религий: она не есть ни сумма, ни экстракт из них, как целый человек не есть ни сумма, ни экстракт своих отдельных органов. <...>

ИЗ ПИСЬМА М. М. СТАСЮЛЕВИЧУ

Дорогой и глубокоуважаемый Михаил Матвеевич, посланная мною Вам вчера статья требует некоторого объяснения. Восходя к причинам отдаленным, я должен сказать, что автор разбираемой книги вместе со своим старшим братом¹ — мои первые друзья детства, отрочества и юности. Особенно средний из этих возрастов крепко связал нас общими опасностями и утехами. Учились мы розно, но летнее время проводили вместе в подмосковном селе Покровском — Глеboве-Стрешневе, где наши родители в продолжение многих лет жили на даче. Цель нашей деятельности за это время состояла в том, чтобы наводить ужас на покровских обитателей, в особенности женского пола. Так, например, когда дачницы купались в протекающей за версту от села речке Химке, мы подбегали к купальням и не своим голосом кричали: «Пожар! Пожар! Покровское горит!» Те выскакивали в чем попало, а мы, спрятавшись в кустах, наслаждались своим торжеством. А то мы изобретали и искусно распространяли слухи о привидениях и затем принимали на себя их роль. Старший Лопатин (не философ), отличавшийся между нами физической силою и ловкостью, а также большой мастер в произведении ди-

ких и потрясающих звуков, сажал меня к себе на плечи верхом, другой брат надевал на нас обоих белую простыню, и затем эта необычайного вида и роста фигура в лунную ночь, когда публика, особенно дамская, гуляла в парке, вдруг появлялась из смежного с парком кладбища и то медленно проходила в отдалении, то устремлялась галопом в самую середину гуляющих, испуская нечеловеческие крики. Для других классов населения было устроено нами пришествие антихриста. В результате мужики не раз таскали нас за шиворот к родителям, покровский священник, не чуждый литературы, дал нам прозвание «братьев-разбойников», которое за нами и осталось, а жившие в Покровском три актрисы, г-жи Собещанская, Воронова и Шуберт, бывшие особым предметом моих преследований, сговорились меня высечь, но, к величайшему моему сожалению, это намерение почему-то не было исполнено. Впрочем, иногда наши занятия принимали научное направление. Так, мы успешно интересовались наблюдениями над историей развития земноводных, для чего в особо устроенный нами бассейн напускали множество головастиков, которые, однако, от неудобства помещения скоро умирали, не достигнув высших стадий развития. К тому же свою зоологическую станцию мы догадались устроить как раз под окнами кабинета моего отца, который объявил, что мы сами составляем предмет для зоологических наблюдений, но что ему этим заниматься некогда. Тогда мы перешли к практическому изучению географии, и моей специальностью было исследовать течение ручьев и речек и глубину прудов и болот, причем активная роль моих товарищей состояла главным образом в обращении к чужой помощи для извлечения меня из опасных положений. <...>

ИЗ ПИСЕМ Э. Л. РАДЛОВУ

[1895 г.]

Сегодня день моего рождения... <...>

Я приветствовал сам себя сегодня следующим правдивым и безыскусственным четверостишием:

В лесу болото,
А также мох.
Родился кто-то,
Потом издох.

<...>

ИЗ ПИСЬМА К В. Л. ВЕЛИЧКО

[20.10. 1895 г.]

<...> Во-первых, для меня ясно, что вопрос о православии и его истине, преимущественно перед протестантством, не имеет прямого отношения к делу. Поясню это притчей.

— В некоем городе было две школы. Одна из них отличалась превосходною программю учебною и воспитательною, — программа эта не оставляла ничего желать в смысле правильности и полноты, так что, судя по одной программе, всякий должен был сказать: какая это, право, чудная школа! Однако при всем этом начальство и учителя этой образцовой школы частью ничего не делали для обучения и воспитания юношества, частью же предавались содомскому греху и растлевали вверенных им питомцев. Вторая школа имела программу, хотя в основе правильную, но весьма неполную и скудную; однако учителя в ней, вообще говоря, добросовестно выполняли свои обязанности и от содомии и других неправильностей воздерживались. Резон ли взять младенца из этой второй школы и поместить в первую ради великолепия ее программы?

Далее: пока Ваша привязанность к греко-российской синагоге есть только внешний факт, происшедший не по Вашей воле, Вы ни за что не отвечаете; но когда Вы по собственной воле, сознательно, намеренно и без всякого принуждения присоединяете к названному учреждению малолетнее и потому безответственное существо, то Вы торжественно заявляете свою солидарность с этим учреждением и все его грехи переходят на Вас: тогда уже Вы лично виноваты и в сожжении протопопа Аввакума, и в избииении кротских крестьян, и в запрещении молитвенных собраний штундистам и в тысячах других фактов того же вкуса.

Наконец, Ваше личное положение изменилось бы еще с иной стороны.

Теперь, например, я прожил у Вас несколько недель Велико-го поста, и мы с Вами правил поста не соблюдали и в церковь не ходили, и ничего в этом дурного не было, так как все это не для нас писано, и всякий это понимает; но когда Вы торжественно себя заявите *ревнителем* господствующей Церкви, то уже нельзя будет сказать, что ее правила и уставы не для Вас писаны, и тогда одно из двух: или Вам придется радикально изменить свою жизнь (не относительно только поста и хождения в церковь, но и в других, более существенных отношениях), или Вы очутитесь в таком фальшивом положении, какого я не только своему другу, но и врагу не пожелал бы. <...>

ИЗ ПИСЕМ К ЕВГЕНИЮ ТАВЕРНЬЕ

13

[1896 г.]

<...> Что касается Вашей просьбы сообщить Вам данные для статьи, касающейся моей скромной особы, я должен по причинам, о которых Вы, может быть, догадаетесь, ограничиться кратким изложением моих религиозных взглядов. <...>

...Есть только три истины, засвидетельствованные Словом Божиим.

1. Евангелие будет проповедовано на всей земле, т. е. Истина будет предложена всему человеческому роду или всем народам.

2. Сын человеческий найдет мало веры на земле, т. е. истинно верующие составят под конец только незначительное по численности меньшинство, большая же часть человечества последует за антихристом.

3. Тем не менее после краткой и ожесточенной борьбы поборники зла будут побеждены и меньшинство истинно верующих одержит окончательную победу.

Из этих трех истин, столь же простых, как и неоспоримых для каждого верующего, я вывожу весь план христианской политики.

И прежде всего проповедование Евангелия по всей земле по причине того эсхатологического значения его, которое вызвало особое упоминание о нем самого Спасителя, не может быть ограничено таким внешним действием, как распространение Библии или молитвенников и проповедей среди негров и папуасов. Это только средства для настоящей цели, которая состоит в том, чтобы поставить человечество перед дилеммой: принять или отвергнуть истину, познав ее, т. е. истину, правильно изложенную и хорошо понятную. Потому что очевидно, что факт истины, принятой или отвергнутой по недоразумению, не может решить судьбу разумного существа. Дело идет, следовательно, о том, чтобы устранить не только материальное неведение прошлого откровения, но также формальное неведение вечных истин, т. е. устранить все духовные заблуждения, которые в настоящее время мешают людям правильно понимать открытую нам истину. Надо, чтобы вопрос, быть или не быть истинно верующим, не зависел бы от второстепенных обстоятельств и случайных условий, но чтобы он был сведен к такой окончательной и безусловной форме выражения, чтоб он мог быть разрешен чистым и волевым ак-

том или определенным решением каждого самого за себя, абсолютно моральным или абсолютно immoralным.

Теперь Вы согласитесь, без сомнения, что христианское учение в настоящем не достигло желаемого состояния и что оно еще может быть отвергнуто верующими из-за настоящих теоретических недоразумений. Дело, значит, идет:

1. Об общем установлении христианской философии, без чего проповедование Евангелия не может быть осуществлено.

2. Если несомненно, что истина будет окончательно принята только более или менее гонимым меньшинством, надо раз и навсегда отказаться от идеи могущества и внешнего величия теократии как прямой и немедленной цели христианской политики. Цель ее — справедливость, слава же есть следствие, которое придет само собой.

Наконец, уверенность в окончательной победе для меньшинства истинно верующих не должна вести нас к пассивному ожиданию. Эта победа не может быть простым и чистым чудом, абсолютным актом божественного всемогущества Иисуса Христа, ибо в таком случае вся история христианства была бы излишней. Очевидно, что Иисус Христос, чтоб восторжествовать истинно и разумно над антихристом, нуждается в нашем сотрудничестве; и так как истинно верующие и есть и будут только меньшинством, они должны тем более удовлетворять условиям своей качественной и внутренней силы; первое из этих условий — это единство, нравственное и религиозное, которое не может быть установлено произвольно, но должно иметь законную и традиционную основу; это — обязанность, налагаемая благочестием. И так как в христианском мире есть только один центр единства законного и традиционного, — следовательно, все истинно верующие должны объединиться вокруг него, что тем легче сделать, что он не обладает более внешней принудительной властью, так что каждый может примкнуть к нему в той мере, какую указывает ему совесть. Я знаю, что есть священники и монахи, которые думают иначе и требуют подчинения церковной власти без ограничений, как Богу. Это — заблуждение, которое придется назвать ересью, когда оно будет ясно сформулировано. Надо быть готовым к тому, что девяносто девять священников и монахов из ста объявят себя за антихриста. Это их полное право и дело... <...>

Я думаю, что прежде всего надо быть проникнутым духом Христа в степени достаточной, чтоб иметь возможность по совести сказать, что такое или такое-то дело или предприятие есть действительное сотрудничество с Иисусом Христом. Это оконча-

тельный критерий. Что касается дела, его изложение (поскольку это касается России) при данных условиях не годится ни для прессы, ни даже для почты. <...>

15

[1898 г.]

<...> Я напечатал первую главу моей метафизики в журнале и надеюсь окончить книгу в 15 месяцев. Кроме того, я очень занят Платоном, которого я задумал перевести целиком. Покончив с метафизикой, Платоном, эстетикой (наполовину dokonченной), книжкой о русской поэзии (окончена на $\frac{3}{4}$) и историей философии (для которой я использую мои статьи в энциклопедии), я сосредоточусь всецело на Библии, которая от Бытия до Апокалипсиса является чудесной рамкой для всего, что может впредь меня интересовать. Я еще не знаю, примет ли мой окончательный труд форму нового перевода с длинными комментариями или это будет система исторической философии, основанной на фактах и духе Библии.

Вот что я рассчитываю сделать с Божией помощью в будущем; с Вами, мой превосходный друг, моя откровенность безгранична, и я скажу Вам, что убежден, что выход в свет моего библейского труда должен предшествовать соединению церковью сначала между собой, а потом с синагогой, и пришествию антихриста.

Итак, несмотря на приближающуюся старость (в будущую пятницу мне будет 45 лет) и всякого рода затруднения и немощи, я совершенно спокоен духом, тем более что в случае моего заблуждения оно коснется только моей личной роли, ничего не меняя в моих религиозных чувствах. <...>

ИЗ ПИСЬМА Л. П. НИКИФОРОВУ

<...> Вы не совсем верно меня поняли: я говорил, что уже 12 лет как не получаю никакого жалованья, ибо не состою ни на какой службе, но когда в юности я был доцентом университета, а потом членом ученого комитета, я получал свою тысячу рублей в год и не чувствовал при этом никаких угрызений совести. Это происходило, может быть, от моей безнравственности, а может быть, от моего знакомства с росписью государственных доходов и расходов, из рассмотрения коей явствовало, что не толь-

ко мои 1000 руб., но все те два или три миллиона, которые идут на поддержание учености в России, никакой важности не представляют, а, с другой стороны, совсем без всякой учености даже турки и китайцы обходиться не могут. О французских своих книгах¹ не могу вам ничего сообщить. Их судьба меня мало интересует. Хотя в них нет ничего противного объективной истине, но то субъективное настроение, те чувства и чаяния, с которыми я их писал, мною уже пережиты. <...>

<ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ СТИХОТВОРЕНИЙ>

<...> Более серьезных оговорок требуют два других произведения: «Das Ewig-Weibliche» (слово *увещательное к морским чертям*) и «Три свидания». Они могут подать повод к обвинению меня в пагубном лжеучении. Не вносится ли здесь женское начало в самое Божество? Не входя в разбор этого теософского вопроса по существу, я должен, чтобы не вводить читателя в соблазн, а себя оградить от напрасных нареканий, заявить следующее: 1) перенесение плотских, животное-человеческих отношений в область сверхчеловеческую есть величайшая *мерзость* и причина крайней гибели (потоп, Содом и Гоморра, «глубины сатанинские» последних времен); 2) поклонение женской природе самой по себе, т. е. началу двусмыслия и безразличия, восприимчивому ко лжи и злу не менее, чем к истине и добру, — есть величайшее *безумие* и главная причина господствующего ныне размягчения и расслабления; 3) ничего общего с этой глупостью и тою мерзостью не имеет истинное почитание вечной женственности как действительно от века воспрियाвшей силу Божества, действительно вместившей полноту добра и истины, а через них — нетленное сияние красоты. Но чем совершеннее и ближе откровение настоящей красоты, одевающей Божество и Его силою ведущей нас к избавлению от страдания и смерти, тем тоньше черта, отделяющая ее от лживого ее подобия, — от той обманчивой и бессильной красоты, которая только увековечивает царство страданий и смерти. Жена, облеченная в солнце, уже мучается родами: она должна явить истину, родить слово, и вот древний змий собирает против нее свои последние силы и хочет потопить ее в ядовитых потоках благовидной лжи, правдоподобных обманов. Все это предсказано, и предсказан конец: в конце Вечная красота будет плодотворна и из нее выйдет спасение мира, когда ее обманчи-

вые подобия исчезнут, как та морская пена, что родила простонародную Афродиту. *Этой* мои стихи не служат ни единым словом, и вот единственное неотъемлемое достоинство, которое я могу и должен за ними признать <...>





ИЗ СТИХОВ

* * *

В тумане утреннем неверными шагами
Я шел к таинственным и чудным берегам.
Боролася заря с последними звездами,
Еще летали сны — и схваченная снами
Душа молилася неведомым богам.

В холодный белый день дорогой одинокой,
Как прежде, я иду в неведомой стране.
Рассеялся туман, и ясно видит око,
Как труден горный путь и как еще далеко,
Далеко все, что грезилося мне.

И до полуночи неробкими шагами
Все буду я идти к желанным берегам,
Туда, где на горе, под новыми звездами,
Весь пламенеющий победными огнями
Меня дождется мой заветный храм.

ПРОРОК БУДУЩЕГО

Угнетаемый насилем
Черни дикой и тупой,
Он питался сухожилием
И яичной скорлупой.

Из кулей рогожных мантию
Он себе соорудил

И всецело в некромантию¹
Ум и сердце погрузил.

Со стихиями надзвездными
Он в сношение вступал,
Проводил он дни над безднами
И в болотах ночевал.

А когда порой в селение
Он задумчиво входил,
Всех собак в недоумение
Образ дивный приводил.

Но, органами правительства
Быв без вида² обретен,
Тотчас он на место жительства
По этапу водворен*.

* Не скрою от читателя, что цель моего «Пророка» — восполнить или, так сказать, завершить соответствующие стихотворения Пушкина и Лермонтова. Пушкин представляет нам пророка чисто библейского, пророка времен давно минувших, когда, с одной стороны, прилетали серафимы, а, с другой стороны, анатомия, находясь в младенчестве, не препятствовала вырывать у человека язык и сердце и заменять их змеиным жалом и горячим углем, причиняя этим пациенту лишь краткий обморок. Пророк Лермонтова, напротив, есть пророк настоящего, носитель гражданской скорби, протестующий против нравственного упадка общественной среды и ею натурально изгоняемый. Согласно духу современности, в стихотворении Лермонтова нет почти ничего сверхъестественного, ибо хотя и упомянуто, что в пустыне пророка слушали звезды, но отнюдь не говорится, чтобы они отвечали ему членораздельными звуками. Мой пророк, наконец, есть пророк будущего (которое Лермонтова, напротив, является настоящим); в нем противоречие с окружающей общественной средой доходит до полной несоизмеримости. Впрочем, я прямо продолжаю Лермонтова, как и он продолжал Пушкина. Но так как в правильном развитии³ всякого сюжета третий момент всегда заключает в себе некоторое соединение или синтез двух предшествующих, то читатель не удивится, найдя в моем, третьем, пророке мистический характер, импонирующий нам в пророке Пушкина, в сочетании с живыми чертами современности, привлекающими нас в пророке Лермонтова. Но пусть дело говорит за себя.

* * *

Люблю я дам сорокалетних,
Люблю я старое вино,
Мне зимний сад дороже летних,
И разноцветное окно
Полуразрушенной светлицы
Мне так же много говорит,
Как сердцу трепетной девицы
Большого бала первый вид.

ЭПИТАФИЯ

Владимир Соловьев лежит на месте этом,
Сперва был философ, а ныне стал шкелетом.
Иным любезен быв, он многим был и враг;
Но, без ума любив, сам ввергнулся в овраг.

Он душу потерял, не говоря о теле:
Ее диавол взял, его ж собаки съели.
Прохожий! Научись из этого примера,
Сколь пагубна любовь и сколь полезна вера.

* * *

Цвет лица геморройдный,
Волос падает седой,
И грозит мне рок обидный
Преждевременной бедой.
Я на все, судьба, согласен,
Только плешью не дари:
Голый череп, ах! ужасен,
Что ты там ни говори.
Знаю, безволосых много
Меж святых отцов у нас;
Но ведь мне не та дорога:
В деле святости я — пас.
Преимуществом фальшивым
Не хочу я щеголять
И к главам мироточивым
Грешный череп причислять.

Поправка

Ах! забыл я — за святыми
Боборыкина забыл!
Позабыл, что гол, как вымя,
Череп оный вечно был.

Впрочем, этим фактом тоже
Обнадежен я, — ибо,
Если не святой я Божий,
То ведь и не Пьер Бобó? ¹

* * *

Скоро, скоро, друг мой милый,
Буду выпущен в тираж
И возьму с собой в могилу
Не блистательный багаж.

Много дряни за душою
Я имел на сей земле
И с беспечностью большою
Был не тверд в добре и зле.

Я в себе подобье Божье
Непрерывно оскорблял, —
Лишь с общественной ложью
В блуд корыстный не впадал.

А затем, хотя премного
И беспутно я любил ¹,
Никого зато, ей-Богу
Не родил и не убил ².

Вот и все мои заслуги,
Все заслуги до одной.
А теперь, прощайте, други!
Со святыми упокой! ³

* * *

Вчера, идя ко сну, я вдруг взглянул в зеркало, —
Взглянул и оробел:

И в длинной бороде седых волос немало,
И ус отчасти бел.

Не смерть меня страшит: я, как Кутузов *, смело
Обнять ее готов, —
Почто я трепещу пред каждой нитью белой
Презренных сих власов?

Иль я славянофил? Отнюдь! Но в глас народный
Я верю, как они,
А оный глас — увы! — душе моей свободной
Сулит плохие дни.

«Когда в твоей браде — я слушаю тревожно —
Блеснуло серебро,
Душевный мир сберечь тебе уж невозможно:
Ты беса жди в ребро!»

Умолкнул вещей глас. — Тоскою беспредметной,
Как встарь, душа полна

.....

Не бес один, не пять в моем ребре несчастном,
А легион чертей...
Ужель и мне искать в сем кризисе ужасном
Спасительных свиней? ²

И вот опять звенит, но не в ушах, а сбоку,
Вот и слова слышны:
«Всего-то отдохнуть тебе мы дали сроку
Одну иль две весны.

А ты уже возмнил, что с Тульским ** архиереем
Сравнялся простотой.
В противном убедить мы средства все имеем...
«Любезнейший, постой!»

* Под Кутузовым можно разуместь покойного фельдмаршала, князя Смоленского, а равно нынешнего директора трех банков и певца смерти (*примеч. авт.*)¹.

** Под Тульским архиереем сил лукавые и нечистые твари разумеют покойного преосвященнейшего Никандра, который настолько упростил свое миросозерцание, что у всякой женщины усматривал лишь «обыкновенное женское лицо» (*примеч. авт.*).

.....
 Что дальше слышал я, что увидал в мечтанье,
 Во сне что испытал, —
 Рассказывать тебе не стану в назиданье:
 Ты сущность угадал.

ПРИЗНАНИЕ

*Посвящается гг. Страхову,
 Розанову, Тихомирову и К°*

Я был ревнитель правоверия²,
 И съела бы меня свинья³,
 Но на границе лицемерия
 Поворотил оглобли я.

Душевный опыт и история,
 Коль не раскроешь ты очей,
 Тебя научат, что теория
 Не так важна, как жизнь людей.

Что правоверие с безверием
 Вспоило то же молоко
 И что с холодным лицемерием
 Вещать анафемы легко.

Стал либерал такого сорта я,
 Таким широким стал мой взгляд,
 Что снять ответственность и с черта я,
 Ей-Богу, был бы очень рад.

Он скверен, с гнусной физиономией,
 Неисправим — я знаю сам.
 Что ж делать с эдакой скотиной?
 Пускай идет ко всем чертям!

* * *

Нескладных виршей полк за полком¹
 Нам шлет Владимир Соловьев,
 И зашибает тихомолком
 Он гонорар набором слов.

Вотще! Не проживешь стихами,
 Хоть, как свинья, будь плодовит!

Торгуй, несчастный, сапогами
И не мечтай, что ты пиит.

Нам все равно, зима иль лето,
Но ты стыдись седых волос,
Не жди от старости расцвета
И петь не смей, коль безголос.

* * *

*Дорогой Михаил Альбертыч!*¹

Одержим я страшным гриппом;
Хоть ножом в меня теперь тычь,
Не явлюсь я с этим хрипом!
А затем, любезный Кавос,
Ехать мне в Москву пора же...
И схватил бы за бока вас
И умчал бы в те паражи²,
Где в рубахах Ганимеды³
Угощают всем, что надо,
Где сроднили уж обеды
С радикалом ретрограда.
Но увы! Трактиры те же,
Да года то уж иные,
Аппетит приходит реже,
Чаще снятся сны дурные.
Скрылись дни Аранхуэца⁴,
Консул Планк давно уж помер⁵.
К Ганимедам бородатым
Ехать вовсе неохота.
Не кутить теперь — куда там,
Лишь кончалась бы работа.
Не оставивши потомка,
Я хочу в потомстве славы
Объявляю это громко,
Чуждый гордости лукавой.
Но стянула жизнь у славы
Десять лет, по крайней мере,
Так теперь я должен, право,
Наверстать сию потерю.
Мысль о пьянстве, о цыганах
Навсегда я оставляю

И о внутренних органах —
Не трактирных — помышляю.

НАДПИСЬ НА КНИГЕ «ОПРАВДАНИЕ ДОБРА»

Явился я на свет под знаком Водолея.
Читатель, не страшись и смело воду пей:
Она — не из меня, ее нашел в скале я,
Из камня истины выходит сей ручей¹.

ТРИ СВИДАНИЯ

(Москва—Лондон—Египет. 1862—75—76)

Поэма

Заранее над смертью торжествуя
И цепь времен любовью одолев,
Подруга вечная, тебя не назову я,
Но ты почувешь трепетный напев...

Не веруя обманчивому миру,
Под грубою корою вещества
Я осязал нетленную порфиру
И узнавал сиянье Божества...

Не трижды ль ты далась живому взгляду —
Не мысленным движением, о нет! —
В предвестие, иль в помощь, иль в награду
На зов души твой образ был ответ.

I

И в первый раз — о, как давно то было! —
Тому минуло тридцать шесть годов,
Как детская душа неожиданно ощутила
Тоску любви с тревогой смутных снов.

Мне девять лет; *она...* * ей — девять тоже.
«Был майский день в Москве»¹, как молвит Фет.

* «Она» этой строфы была просто маленькою барышней и не имеет ничего общего с тою «ты», к которой обращено вступление (*примеч. авт.*).

Признался я. Молчание. О, Боже!
Соперник есть. А! он мне даст ответ.

Дуэль, дуэль!² Обедня в Вознесенье³.
Душа кипит в потоке страстных мук.
*Житейское... отложим... попеченье*⁴ —
Тянулся, замирал и замерз звук.

Алтарь открыт... Но где ж священник, дьякон?
И где толпа молящихся людей?
Страстей поток — бесследно вдруг иссяк он,
Лазурь кругом, лазурь в душе моей.

Пронизана лазурью золотистой,
В руке держа цветок нездешних стран,
Стояла Ты с улыбкою лучистой,
Кивнула мне и скрылась в туман.

И детская любовь чужой мне стала,
Душа моя — к житейскому слепая!..
А немка-бонна грустно повторяла:
«Володинька — ах! слишком он глупа!»

II

Прошли годá. Доцентом и магистром
Я мчуся за границу в первый раз.
Берлин, Ганновер, Кельн — в движеньи быстром
Мелькнули вдруг и скрылись из глаз.

Не света центр, Париж, не край испанский,
Не яркий блеск восточной пестроты, —
Моей мечтою был Музей Британский⁵
И он не обманул моей мечты.

Забуду ль вас, блаженные полгода?
Не призраки минутной красоты,
Не быт людей, не страсти, не природа —
Всей, всей душой одна владела ты.

Пусть там снуют людские мириады
Под грохот огнедышащих машин,
Пусть зиждуются бездушные громады, —
Святая тишина, я здесь один.

Ну, разумеется, *cum grano salis*⁶:
Я одинок был, но не мизантроп;
В уединении и люди попадались,
Из коих мне теперь назвать кого б?

Жаль в свой размер вложить я не сумею
Их имена, не чуждые молвы...
Скажу: два-три британских чудодея⁷
Да два иль три доцента из Москвы⁸.

Все ж больше я один в читальном зале;
И верьте, иль не верьте, — видит Бог,
Что тайные мне силы выбирали
Все, что о ней читать я только мог.

Когда же прихоти греховные внушали
Мне книгу взять «из оперы другой», —
Такие тут истории бывали,
Что я в смущеньи уходил домой.

И вот однажды — к осени то было —
Я ей сказал: «О, божества расцвет!
Ты здесь, я чую, — что же не явила
Себя глазам моим ты с детских лет?»

И только я помыслил это слово, —
Вдруг золотой лазурью все полно,
И предо мной она сияет снова —
Одно ее лицо — оно одно.

И то мгновенье долгим счастьем стало,
К земным делам опять душа слепа,
И если речь «серьезный» слух встречала,
Она была невнятна и глупа.

III

Я ей сказал: «Твое лицо явилось,
Но всю тебя хочу я увидеть.
Чем для ребенка ты не поскупилась,
В том — юноше нельзя же отказать!»

«В Египте будь!» — внутри раздался голос,
В Париж! — и к югу пар меня несет.
С рассудком чувство даже не боролось:
Рассудок промолчал, как идиот.

На Льон, Турин, Пьяченцу и Анкону,
На Фермо, Бари, Бриндизи⁹ — и вот
По синему трепещущему лону
Уж мчит меня британский пароход.

Кредит и кров мне предложил в Каире
Отель «Аббат», — его уж нет, увы!
Уютный, скромный, лучший в целом мире...
Там были русские, и даже из Москвы.

Всех тешил генерал — десятый номер —
Кавказскую он помнил старину...
Его назвать не грех — давно он помер,
И лихом я его не помяну.

То Ростислав Фаддеев¹⁰ был известный,
В отставке воин и владел пером.
Назвать кокотку иль собор поместный —
Ресурсов тьма была сокрыта в нем.

Мы дважды в день сходились за табльдотом;
Он весело и много говорил,
Не лез в карман за скользким анекдотом
И философствовал по мере сил.

Я ждал меж тем заветного свиданья,
И вот однажды в тихий час ночной,
Как ветерка прохладное дыханье:
«В пустыне я — иди туда за мной».

Идти пешком (из Лондона в Сахару
Не возят даром молодых людей, —
В моем кармане — хоть кататься шару,
И я живу в кредит уж много дней).

Бог весть куда, без денег, без припасов,
И я в один прекрасный день пошел, —

Как дядя Влас, что написал Некрасов¹¹
(Ну, как-никак, а рифму я нашел)*.

Смеялась, верно, ты, как средь пустыни¹²
В цилиндре высочайшем и в пальто,
За черта принятый, в здоровом бедуине
Я дрожь испуга вызвал и за то

Чуть не убит, — как шумно, по-арабски
Совет держали шейхи двух родов,
Что делать им со мной, как после рабски
Скрутили руки и без лишних слов

Подальше отвели, преблагородно
Мне руки развязали — и ушли.
Смеюсь с тобой: богам и людям сродно
Смеяться бедам, раз они прошли.

Тем временем немая ночь на землю
Спустилась прямо, без обиняков.
Кругом лишь тишину одну я внемлю
Да вижу мрак средь звездных огоньков.

Прилегши наземь, я глядел и слушал...
Довольно гнусно вдруг завыл шакал;
В своих мечтах меня он, верно, кушал,
А на него и палки я не взял.

Шакал-то что! Вот холодно ужасно...
Должно быть, нуль, — а жарко было днем...
Сверкают звезды беспощадно ясно;
И блеск, и холод — во вражде со сном.

И долго я лежал в дремоте жуткой,
И вот повеяло: «Усни, мой бедный друг!»
И я уснул: когда ж проснулся чутко, —
Дышали розами земля и неба круг.

* Прием нахождения рифмы, освященный примером Пушкина, и тем более простительный в настоящем случае, что автор, будучи более неопытен, чем молод, первый раз пишет стихи в повествовательном роде (*примеч. авт.*).

И в пурпуре небесного блистанья
Очами, полными лазурного огня *¹³,
Глядела ты, как первое сиянье
Всемирного и творческого дня.

Что есть, что было, что грядет вовеки —
Все обнял тут один недвижный взор...
Синеют подо мной моря и реки,
И дальний лес, и выси снежных гор.

Все видел я, и все одно мне было —
Один лишь образ женской красоты...
Безмерное в его размер входило, —
Передо мной, во мне — одна лишь ты.

О лучезарная! тобой я не обманут:
Я всю тебя в пустыне увидал...
В моей душе те розы на завянут,
Куда бы ни умчал житейский вал.

Один лишь миг! Видение сокрылось —
И солнца шар всходил на небосклон.
В пустыне тишина. Душа молилась,
И не смолкал в ней благовестный звон.

Дух бодр! Но все ж не ел я двое суток,
И начинал тускнеть мой внешний взгляд.
Увы! как ты ни будь душою чуток,
А голод ведь не тетка, говорят.

На запад солнца путь держал я к Нилу
И вечером пришел домой в Каир.
Улыбки розовой душа следы хранила,
На сапогах виднелось много дыр.

Со стороны все было очень глупо
(Я факты рассказал, виденье скрыв).
В молчаньи генерал, поевши супа,
Так начал важно, взор в меня вперив:

* Стих Лермонтова (примеч. авт.).

«Конечно, ум дает права на *глупость*,
Но лучше сим не злоупотреблять:
Не мастерица ведь людская тупость
Виды безумья точно различать.

А потому, коль вам прослыть обидно
Помешанным иль просто дураком, —
Об этом происшествии постыдном
Не говорите больше ни при ком».

И много он острил, а предо мною
Уже лучился голубой туман,
И, побежден таинственной красою,
Вдаль уходил житейский океан.

Еще невольник суетному миру,
Под грубою корою вещества
Так я прозрел нетленную порфиру
И ощутил сиянье божества.

Предчувствием над смертью торжествуя
И цепь времен мечтою одолев,
Подруга вечная, тебя не назову я,
А ты прости нетвердый мой напев!

26—29 сент. 1898 г.
Пустынька

П р и м е ч а н и е. Осенний вечер и глухой лес внушили мне воспроизвести в шуточных стихах самое значительное из того, что до сих пор случилось со мною в жизни. Два дня воспоминания и созвучия неудержимо поднимались в моем сознании, и на третий день была готова эта маленькая автобиография, которая понравилась некоторым поэтам и некоторым дамам (*примеч. авт.*).





СВИДЕТЕЛЬСТВА И ВОСПОМИНАНИЯ



Метрическое свидетельство о рождении и крещении Вл. С. Соловьева

По указу Его Императорского Величества, из Московской Духовной Консistorии, вследствие прошения Действительного Статского Советника Сергея Соловьева о даче ему метрического свидетельства о рождении и крещении сына его Владимира, дано сие в том, что в метрической книге Московской Воскресенской, на Остоженке, церкви тысяча восемьсот пятьдесят третьего года в статье о родившихся под № 1 написано: Генваря шестнадцатого дня родился Владимир, крещен марта 8 числа, родители его: Московского Императорского Университета Профессор, Коллежский Советник Сергей Михайлович Соловьев и законная его жена Поликсения Владимировна, оба православного исповедания; воспитателями были: Флота Капитан 2-го ранга Владимир Павлов Романов и Мариинской в Коммерческом училище церкви Протоиерея Михаила Соловьева жена Елена Ивановна. Крестил Священник Николай Добров с причтом. Сентября 30 дня 1863 года. Консistorии Член Покровский. Секретарь Богородский. Стол-начальник Соколов.





Аттестат об окончании гимназического курса № 718

21 июня 1869 г.

Предъявитель сего, ученик Московской 5-й гимназии *Соловьев* Владимир, как из документов его видно, сын Действительного Статского Советника, родился 16-го января 1853 года, православного исповедания, поступив в 1-ю гимназию в 1864 г., окончил в текущем году в 5-й гимназии полный курс гимназического учения с успехами:

- в Законе Божиим — отличными,
- Русской Словесности — отличными,
- Математике — отличными,
- Истории — отличными,
- Географии — отличными,
- Физике и Космографии — отличными,
- в язык. Латинском — отличными,
- Греческом — отличными,
- Немецком — отличными.

В продолжение учения в Гимназии вел себя отлично.

Вследствие сего, по постановлению Педагогического Совета 5-й гимназии, на основании 65 § Устава гимназий 1864 года, он, *Соловьев*, удостоен сего аттестата с предоставлением права на поступление без экзамена в Университет и другие высшие учебные заведения с присвоением тех служебных преимуществ, кои означены в §§ 121, 122 и 123 того же устава, как награждаемый за отличные успехи и поведение золотою медалью с оставлением его имени на золотой доске в гимназическом зале.

Директор М. Малиновский.

Инспектор Миллер.

Законоучитель Священник Илия Касицын.

Преподаватель	Линберг. Томсон.
Преподаватель	Д. Назаров. В. Басов. В. Добромыслов. Е. Белявский. К. Жинзифов. Ф. Будде.
Секретарь Совета	П. Поляков.





С. М. ЛУКЬЯНОВ

<Об интимных особенностях телесной организации Вл. С. Соловьева>

Нисколько не рассчитывая, при скудости фактических данных, разобраться уже теперь в этой темной области, мы не считаем себя, однако же, вправе совершенно обходить ее молчанием, ибо не подлежит, конечно, сомнению, что соматические особенности организации отражаются всегда более или менее резко и на психических отправлениях, в особенности когда дело идет о такой важной анатомо-физиологической системе, как система сексуальная. Считаем поэтому нелишним указать хотя бы мимоходом на письмо Соловьева к его брату Михаилу, относящееся, по всем вероятностям, к 1893 г. В письме этом встречается указание на некоторую анатомическую аномалию, могущую иметь известное значение в разумеемом здесь смысле (к сожалению, подробности, важные с медицинской точки зрения, скрыты в печатном тексте под многоточием)*. Припоминаются нам также слова П. С. Соловьевой¹, сестры нашего философа: в разговорах интимного свойства с близкими людьми Соловьев заявлял, что ему легче представить себе сближение с женщиной, чем с девушкой (признание, представляющее интерес не только психологический, но и физиологический). О том, что соматическая сфера — чтобы выразиться осторожно — озабочивала Соловьева, свидетельствует, далее, сообщение В. В. Розанова: «В 1894 г. только что познакомившийся с Соловьевым и со мною, покойный Ф. Э. Шперк² передал мне, не без удивления, весьма сочувственные слова Соловьева о принципе оскопления как радикального средства отвязаться от угнетающей нас “плоти”... Соловьев, так же как и Леонтьев³, как и заморивший себя постом Гоголь, не

* Письма Владимира Соловьева к брату Михаилу // Богословский вестник. 1916. Янв. С. 25.

усматривали *положительного, светлого и праведного* содержания в том, на что посягновение совершил уже Ориген⁴» *.

Намеки на какие-то оперативные воздействия со стороны врачей — далеко, впрочем, не столь решительного характера, как те, которые имел в виду В. В. Розанов, — встречались нам и в рассказах Е. И. Боратынской⁵, ссылавшейся на полушуточные замечания граф. Н. М. Соллогуб⁶ (Соловьев-де окрестился «по-еврейски»). Разъяснение всего этого содержится, по всем вероятностям, в вышеупомянутом письме к брату Михаилу (при перечислении своих болезней Соловьев называет здесь *phimosis*⁷). <...>



* Из переписки К. Н. Леонтьева / С предисловием и примечаниями В. В. Розанова // Русский вестник. 1903. Май. С. 155—182; Июнь. С. 409—498; С. 437.



С. М. СОЛОВЬЕВ

<О наружности Вл. Соловьева>

<...> Наружность Вл. С. весьма резко менялась в разные периоды его жизни. Если мы возьмем его молодые портреты, например те, которые приложены к 1-му и 3-му томам «Полного собрания сочинений», или тот, который приложен к книге Величко «Вселенский христианин»¹, то преобладающей чертой этого прекрасного лица, несколько малорусского, с черными сдвинутыми бровями, покажется нам — строгая чистота, энергия, готовность к борьбе. — На портретах 80-х годов, в соответствии с характером интересов и занятий, лицо Вл. С., обросшее жидкой черной бородой, напоминает лицо священника или монаха, выражение лица грустное и набожное. В это время писал его портрет Крамской. Портрет этот находится в Петербургском музее Александра III. Но Крамской придал лицу Вл. С. черты слащавости, совершенно ему чуждой. Соловьев Крамского — это какой-то *charmant docteur* Ренана. — В другую крайность впал Ярошенко. На портрете, написанном им в начале 90-х годов и находящемся в московской Третьяковской галерее, лицо Вл. С. сильно утрировано в материальную сторону. Вся духовность лица исчезла под грубой кистью Ярошенко; верно схвачено только выражение непомерной, почти животной или стихийной силы и чувственность нижней части лица. Замечательно похожи и сильно написаны руки. Портрет этот приложен к 1-му изданию «Полного собрания сочинений» Вл. С. Соловьева. В этом портрете отразилась отмеченная нами полоса в жизни Вл. С.: начало 90-х годов было для него временем наибольшего пробуждения страстной природы, затянутости «эротическим илом». Все усиливающаяся в нем в это время насмешливость нашла выражение в известных портретах московского фотографа Асикритова. — Резко изменилось лицо Вл. С. в последние годы. С поразительной точностью оно передано на портрете петербургского фотографа Здоб-

нова, приложенном к X тому второго издания «Полного собрания сочинений» Вл. С. В лице Вл. С. появляются какая-то прозрачность, глубокая грусть и светлая весть из иного мира — свет нездешний. Портрет Здобнова — это как бы иллюстрация к стихам Вл. С.²:

Зло пережѣтое
Тонет в крови, —
Всходит омытое
Солнце любви,

Замыслы смелые
Крепнут в груди, —
Ангелы белые
Шепчут: иди.

Различные показания имеются относительно глаз Вл. С. Это потому, что они меняли цвет. Обыкновенно они были светло-голубые, сероватые; черными делала их тень нависших бровей и расширенные зрачки. Вл. С. всегда, с юности, носил длинные волосы, только иногда летом гладко обстригался. Между прочим, он остригся перед смертельной болезнью. Странно было видеть в гробу его голову без волос: он весь как-то менялся, когда остригался; как будто в волосах у него, как у Самсона, была тайная сила. — Самой характерной чертой его наружности было что-то монашеское, даже прямо иконописное. <...>





М. Д. МУРЕТОВ

**<Воспоминания о Вл. Соловьеве
в Московской духовной академии>**

Небольшая голова, сколько помнится — круглая. Черные длинные волосы наподобие конского хвоста или лошадиной гривы. Лицо тоже небольшое, округлое, женственно-юношеское, бледное, с синеватым отливом, и большие, очень темные глаза с ярко очерченными черными бровями, но без жизни и выражения, какие-то стоячие, неморгающие, устремленные куда-то вдаль. Сухая, тонкая, длинная и бледная шея. Такая же тонкая и длинная спина, в узком и длинном, уже поношенном пиджаке-пальто темного цвета. Длинные и тонкие руки с бледно-мертвенными, вялыми и тоже длинными пальцами, большею частью засунутыми в карманы пальто или поправляющими волосы на голове. Почему-то хочется называть такие пальцы перстами. Вероятно, они были очень приспособлены к игре на скрипке или виолончели. Наконец, длинные ноги в узких и потертых черных суконных брюках с несколько обтрепанными концами и в сапогах с высокими, но стоптанными внутрь каблуками. Нечто длинное, тонкое, темное, в себе замкнутое и, пожалуй, загадочное: такое общее впечатление осталось у меня от Вл. С. Соловьева, когда он ходил на лекции в нашу академию в 1874 г.¹ Впечатление яркое, живое, сейчас как бы вижу этого юношу. Ни с кем из студентов я не видал его разговаривающим: приходил в аудиторию, садился на переднюю парту, стоявшую к наружной стене, посередине ее, и сидел один, без соседей, — никто к нему не подсаживался. Встречал я его на лекциях редко, если не ошибаюсь — у Потапова², по истории философии. Мерещится почему-то, что видел его на лекции у архимандрита Михаила Лузина³, хотя Михаил читал нашему курсу в 1875/76 году: может быть, я когда-нибудь забрел к нему любопытства ради, будучи в 1874/75 году на вто-

ром курсе. Но возможно, что видал я Соловьева и на первом курсе (1873/74 г.) — у Кудрявцева⁴ или кого другого...

Никаких связей Вл. С. здесь [т. е. в Сергиевом посаде], сколько знаю, ни с кем не заводил, и никто о нем не сообщал мне своих впечатлений. Не могу сказать даже, каким он голосом и как говорил. Расхаживал он по аудитории и коридору, в ожидании профессора, всегда один. — Посещал он Кудрявцева, Михаила и А. В. Горского...⁵ И я, и товарищи мои слишком мало интересовались будущей славой России. Обращали внимание на него только как на сына ректора Московского университета, на его оригинальную внешность или — вернее — на полное пренебрежение его, человека состоятельного, своею внешностью — костюмом, прическою, сапогами, бельем и пр. Знали мы, что он очень молод (19—20 лет), но уже окончил филологический факультет, очень учен, занимается философией. И — только.





Архиепископ НИКОЛАЙ (ЗИОРОВ)

<Воспоминания о Вл. С. Соловьеве в Московской духовной академии>

Владимира Сергеевича Соловьева я видел и знал, можно сказать, *мельком*¹. Это было в Московской духовной академии, когда я там учился. Я был тогда на втором курсе, когда он приехал в академию — слушать лекции по богословию и философии. На вид он был весьма худощавый, высокий, с длинными волосами, падавшими ему на плечи; сутуловат; угрюмый, задумчивый, молчаливый. Помню, как он в первый раз пришел к нам в аудиторию — на лекцию проф. Потапова² по истории философии. В шубе, теплых высоких сапогах, в бобровой шапке, с шарфом на шее — он, никому не кланяясь, прошел к окну и стал у окна... Побарабанил пальцами по стеклу, повернулся и ушел обратно... Профессор остановился в чтении лекции, мы все в изумлении — кто сей господин и что ему нужно?! — Кончилась лекция, и узнаем, что это Соловьев, сын знаменитого историка С. М. Соловьева, — «философ призывного возраста», как его окрестили в современной прессе после защиты им магистерской диссертации. Ему тогда было не более 21 года. — После этого случая я его видел только проходящим вместе с студентом первого курса Александром Хитровым в академию или из академии в старую гостиницу, где он останавливался и некоторое время проживал. С другими студентами он не сближался. Как он сошелся с Хитровым³, не знаю; но слышал, что их сблизил «водка». Хитров, говорили мне, впоследствии спился и умер в Москве на Хитровом рынке. Как философ Соловьев освободился от этого недуга, не знаю (он, говорят, под конец жизни уже ничего не пил)... Вот и все, что сохранилось в моей памяти о Соловьеве — из того времени, когда он ездил в Московскую духовную академию.





Н. И. КАРЕЕВ

<Воспоминания о Вл. С. Соловьеве в Московской духовной академии>

Во время пребывания Соловьева в Сергиевом посаде я виделся с ним редко. Сам хорошо помню поездку к нему с А. А. Соколовым¹ зимою. Был страшный мороз, и мы зябли. На вокзале в Москве и по дороге на станциях раза три выпивали по рюмке водки и шутили между собою, говоря, что, пожалуй, приедем к отшельнику в нетрезвом виде и тем произведем соблазн. Однако Соловьева мы застали самого пьющим чай с ромом (на столе была бутылка). — Мне доводилось слышать шутливые отзывы [Соловьева про академию], но я сам не придавал им значения подлинных мнений Соловьева об академии. В общем, однако, сквозило некоторое разочарование, выражавшееся в таких преувеличениях, как, например, заявление о том, что некоторые профессора настоящие нигилисты. Было немало веселых анекдотов. — Со студентом Александром Хитровым Соловьев действительно был в приятельских отношениях, но мне помнится, что это был студент Московского университета и я лично его знал. Судьба его мне оставалась неизвестною, но в сближение с ним Соловьева на почве водки я не верю, потому что Соловьев, кажется, водки [тогда] не пил, а если и пил что, так виноградное вино и ром, сближаясь притом с людьми совсем не на этой почве. Не думаю, чтобы Соловьев регулярно пил перед (или за) обедом, но что иногда он в компании хватал через меру — это бывало.





Е. М. ПОЛИВАНОВА

<Из воспоминаний о Вл. Соловьеве>

<...> Я поступила осенью 1873 г. на Высшие женские курсы, основанные и руководимые проф. Владимиром Ивановичем Герье¹, и пробыла на них включительно до весны 1875 г. действительной слушательницей, сдав последовательно экзамены осенью 1874 г. за первый курс и осенью 1875 г. за второй.

В последнее полугодие моего пребывания на курсах читал у нас лекции о Платоне Владимир Сергеевич Соловьев.

Помнится мне, что еще осенью 1874 г. в Москве заговорили, как о восходящем светиле, о молодом Соловьеве. Толковали и у нас на курсах о Владимире Сергеевиче, тем более что отец его, проф. Сергей Михайлович Соловьев, считался нашим начальником, хотя и не бывал никогда на курсах. И вдруг до нас дошла весть, что молодой профессор будет также и у нас читать. Весть эта возбудила всеобщий интерес на курсах.

В ожидании его первой лекции у нас было необычайное оживление, все с нетерпением ожидали появления нового профессора.

Наконец в большую аудиторию вышел В. И. Герье, и с ним молодой ученый.

Я очень близорука и не могла рассмотреть его наружности — видела только высокую и очень худую фигуру и густые темные волосы.

Когда он сел на кафедру, все замерло, все с затаенным дыханием приготовились слушать.

Раздался голос звучный, гармоничный, какой-то проникновенный.

Я не сразу могла приняться записывать: меня слишком поразили этот обаятельный голос.

Замечательно, что у Соловьева не было заметно ни малейшего смущения. Он говорил спокойно, как привычный лектор, а между тем это было дело для него совершенно новое. Впоследствии,

узнав его ближе, я поняла, что это происходило вследствие того, что он обладал в высшей степени редким качеством, а именно отсутствием всякого мелочного самолюбия, а потому всегда был прост и спокоен.

Лекция его произвела на слушательниц сильное впечатление.

Он уже умолк, сошел с кафедры и удалился, а в зале некоторое время все еще царила полная тишина, а затем все вдруг заговорили, даже старались перекричать друг друга. Огромное большинство восхищалось новым лектором.

Я после лекции собралась идти домой, потому что не чувствовала себя в расположении слушать кого бы то ни было.

<...> Уже 42 года прошло с тех пор, как я слушала Соловьева, и, не имея под руками остальных его лекций, я, разумеется, не могу сколько-нибудь подробно изложить их содержание. Однако я совершенно точно помню, что он преимущественно читал нам о Платоне, его мировоззрении и разбирал многие из его диалогов. <...>

Увлекательности лекций Владимира Сергеевича еще много способствовала его великолепная дикция и замечательно красивый голос, о чем я уже упоминала.

Тем не менее были у нас и яркие противницы нового лектора, т. е. вернее — противницы его направления, чисто идеалистического, так как в те времена еще очень сильно было противоположное учение — материалистическое, наследие 60-х годов.

Между прочим, одна курсистка, в сущности очень симпатично относившаяся к Соловьеву, но любительница рисовать карикатуры, изобразила всех наших профессоров в их любимых позах и каждому из них вложила в уста особенно характерное, по ее мнению, изречение. Вл. С. Соловьева она нарисовала похоже, но необычайно длинным и необычайно тонким², и приписала ему следующие слова: «Какую чепуху городят эти господа! Тошно даже слушать. Будто есть что-нибудь реально сущее! Все в мире — фантазмагория. И мир — призрак; и я — призрак, и все мы — призраки!».

Кстати о его наружности. Я сидела довольно далеко от кафедры и довольно долгое время имела о ней самое смутное представление. Наконец одна товарка, сидевшая почти возле самой кафедры, уступила мне однажды свое место, и вот что у меня записано в тетрадке: «У Соловьева замечательно красивые синесерые глаза, густые темные брови, красивой формы лоб и нос, густые, темные, довольно длинные и несколько вьющиеся волосы; не особенно красив у него рот, главным образом из-за слишком яркой окраски губ на матово-бледном лице; но самое это лицо

прекрасно и с необычайно одухотворенным выражением, как бы не от мира сего; мне думается, такие лица должны были быть у христианских мучеников. Во всем облике Соловьева разлито также выражение чрезвычайной доброты. Он очень худ и хрупок на вид.

До Соловьева я не имела ни малейшего представления о философии, занимаясь исключительно историей и языками. Лекции его были для меня настоящим откровением, и я с увлечением принялась за чтение таких книг, к которым прежде и прикоснуться бы не решилась. Самим Соловьевым я восхищалась и преклонялась перед ним, как перед каким-то высшим существом: он представлялся мне более духом, нежели человеком. <...> Несмотря на целую массу общих прогулок и пикников, я также проводила много времени с глазу на глаз с Владимиром Сергеевичем.

С ним было необыкновенно легко. Беседа всегда лилась сама собою, затрагивая самые разнообразные предметы. <...> Говорил он также о своих широких замыслах в будущем. Он в то время горячо верил в себя, верил в свое призвание совершить переворот в области человеческой мысли. Он стремился примирить веру и разум, религию и науку, открыть новые, неведомые до тех пор пути для человеческого сознания. Когда он говорил об этом будущем, он весь преображался. Его серо-синие глаза как-то темнели и сияли, смотрели не перед собой, а куда-то вдаль, вперед, и казалось, что он уже видит перед собой картины этого чудного грядущего.

В такие минуты я также уносила мыслью вперед, а на него смотрела с благоговейным восхищением, думая про себя: «Да, он пророк, провозвестник лучшего будущего, вождь более совершенного человечества!»

Наряду с такими возвышенными беседами были у нас и другие, в совершенно другом роде. Мы оба любили все таинственное, сверхъестественное, и на эту тему могли говорить также без конца, рассказывая друг другу всякие чудеса, слышанные нами от очевидцев, или из вторых и третьих рук, или даже вычитанные нами из книг. <...>

Не могу не упомянуть о том, что у Владимира Сергеевича был замечательный смех. Он смеялся закатисто, каким-то ребяческим смехом, но странно, что у него был необычайно красивый голос, когда он говорил, а смех его был не совсем гармоничный, но искренний и заразительный. <...>





Н. Н. СТРАХОВ

<Из письма к Л. Н. Толстому>

[1 января 1875 г.]

<...> Ваше мнение о Соловьеве я разделяю; хоть он явно и отрицается от Гегеля, но втайне ему следует. Вся критика Шопенгауэра основана на этом. Но дело, кажется, еще хуже. Обрадовавшись, что нашел *метафизическую сущность*, Соловьев уже готов видеть ее повсюду лицом к лицу и расположен к вере в *спиритизм*. Притом он страшно болезнен, как будто истощен, — за него можно опасаться — не добром кончит. А книжка его, чем больше читаю, тем больше кажется мне талантливою [речь идет о магистерской диссертации]¹. Какое мастерство в языке, какая связь и сила! <...>





А. ИЗМАЙЛОВ

Владимир Соловьев в переписке

<...> От покойного Всеволода Соловьева пишущему эти строки доводилось слышать немало рассказов о необыкновенных сеансах, какие поразительно удавались в присутствии его младшего брата [Владимира], о случаях как бы ясновидения, о свечах, гаснувших и зажигавшихся в темноте. — По словам Всеволода Соловьева, который тоже был крайним мистиком, с излишним подчас доверием к своим чувствам и чужому рассказу, однажды в его уме сложилось ночью стройное восьмистишие. Утром пришел Владимир и рассказал о странности: ему ночью приснилось стихотворение. «Когда мы сличили наши восьмистишия, — рассказывал Соловьев, — мы были поражены их почти безусловным сходством». — Всеволод Соловьев, рассказывая это, был уже седеющим стариком, а мистификаторских наклонностей у него никогда не было. <...>





<ДОНЕСЕНИЕ историко-филологического факультета в совет Московского университета>

Доцент философии В. С. Соловьев обратился в историко-филологический факультет с просьбой об исходатайствовании ему по окончании текущего полугодия заграничной командировки на один год и три месяца в Англию, преимущественно для изучения в Британском музее памятников индийской, гностической и средневековой философии. Историко-филологический факультет, имея в виду, что доцент Соловьев еще не пользовался принадлежащим ему в силу § 228 (отдела XVIII) университетских правил правом на заграничную командировку и что преподавание философии на время его отсутствия может быть поручено орд. проф. Троицкому¹, избранному Советом университета в заседании 19-го декабря минувшего 1874 г. и представленному на утверждение высшего начальства, имеет честь просить Совет университета об исходатайствовании доценту Соловьеву, согласно его просьбе, заграничной командировки, и притом с 1-го июня сего 1875 г. по 1-е января будущего 1876 г. только с сохранением содержания, с 1-го же января по 1-е сентября 1876 г. с прибавочным пособием из сумм Министерства народного просвещения в размере тысячи рублей².





В. Н. ГОРЕМЫКИНА

<Из воспоминаний о Вл. С. Соловьеве>

Сама я лично хорошо знала Вл. Соловьева. Он у нас подолгу осенью жила в нашем подмосковном имении Воскресенском. Он был страстный охотник играть в шахматы и просиживал часами на балконе, играя с братом в шахматы. Оригинал был большой и передавал мне эпизоды из своей жизни. Он три раза в жизни собирался жениться, но всегда страх его разбирал перед объяснением. Одну из предметов своей любви он загнал на колокольню¹ для объяснения. Стихи писал недурно, вроде Кузьмы Пруткова, которого был ужасный поклонник, и на все случаи жизни всегда отвечал стихами, благодаря чему я много знаю любимых стихов Соловьева. <...>





И. И. ЯНЖУЛ

<Из воспоминаний о Вл. С. Соловьеве>

<...> С. М.¹ в конце вечера отвел меня в сторону и сообщил мне интимным образом: «Вот вы теперь едете в Лондон, как сообщили, где скоро будет мой сын Володя. Знаете вы его?» Я сообщил, что видел лишь один раз. «Он мальчик хороший, — сообщил почтенный историк, — но жить еще не умеет, проживает очень много от неопытности; его обирают. Не будете ли вы так добры, если встретитесь, а это, наверное, возможно, если пожелаете, позаботиться об его устройстве и помочь ему ввиду его неопытности. Вы меня очень обяжете, и я буду покойнее, зная, что около него будет человек, дружелюбно расположенный помочь ему в случае нужды». При этом он подозвал свою супругу, которая подтвердила его просьбу. Разумеется, я обещал со своей стороны оказать возможную любезность Вл. С., насколько это будет от меня зависеть. Как я объяснил вполне точно отцу, мое знакомство с сыном, Владимиром Сергеевичем, в то время ограничивалось лишь одним каким-то мимолетным свиданием, причем он меня заинтересовал своей обаятельной симпатичной наружностью и веселым детским смехом, который, впрочем, раздавался изредка. Все же, что я о нем слышал тогда в том кружке, где я вращался, скорее говорило против него, нежели за. Магистерская диссертация его «Против позитивистов»² претила мне уже потому, что я сам был немного позитивист, а самое главное, в Москве все открыто рассказывают, что Вл. С. приятель Любимова и Леонтьева, явных врагов своего [sic!] почтенного и уважаемого родителя, и не стеснялся-де бывать там, где на него (т. е. отца) открыто клеветают. Насколько это было правда, я, конечно, не знаю, но несомненно, что уже дальше, при встрече своей со мною за границей, Вл. С. не скрывал своей близости с кружком, для меня крайне противным, — «Московских ведомостей» и даже раз, по какому-то не помню случаю, предлагал мне на-

ивно протекцию у Любимова!!!³ — Итак, я имел относительно личности и достоинства молодого Соловьева аргументы и за и против него — отношение, весьма далекое от того обожания всех его качеств, которое образовалось в последние годы его жизни в кружке «Вестник Европы», к которому отчасти, пожалуй, примкнул и я ввиду огромных перемен, заметно в нем происшедших, в самом улучшении всего его нравственного облика. — Нужно было так пошутить судьбе, что первое знакомое лицо, которое мы с женою увидели в Лондоне по приезде, был именно Владимир Соловьев. Утром мы приехали в Лондон <...> через Дувр. Вечером после обеда вышли с женой прогуляться на одну из лучших лондонских улиц «Picadilly» и у одного из ближайших магазинов увидели, почти одновременно, длинную меланхолическую фигуру Вл. С., задумчиво взиравшую на какой-то предмет за стеклом, и около него юркую фигуру, несомненно еврейского происхождения, ныряющую во все стороны. Мы окликнули; оказалось, действительно он. Из расспросов, давно ли приехал, что подделывает, оказалось, что он тоже приехал лишь сегодня, но в отличие от нас, проживавших в дешевых комнатах м-рс Сиггера, он остановился в дорогом аристократическом отеле, где в нему немедленно заботливой администрацией при гостинице был приставлен, в качестве новичка, чичероне, русский еврей, чуть не за фунт в день, который не отпускал его ни на минуту из своих цепких лап, сопровождая всюду в ознакомлении с городом. Я немедленно заявил просьбу отца, чтобы жить где-нибудь с ним поближе, если не вместе. Вл. С. без всякого разговора на это согласился, упомянув, что также имел об этом уведомление. Таким образом, в тот же день он переселился по соседству с нами в одну из свободных комнат м-рс Сиггера и сделался постоянным нашим завсегдатаем и товарищем до самого отъезда нашего из Лондона, месяца три или четыре. <...>

Все мы очень сдружились, несмотря на значительную разницу вкусов, направлений и состояний, относились взаимно дружелюбно и проводили все время сообща. Ковалевский был решительный позитивист, друг Вырубова⁴ во Франции и Гаррисона⁵ в Англии; Соловьев — мистик и антипозитивист. Я ближе подходил по своим воззрениям к Ковалевскому, но до некоторой степени чуждался некоторых его выводов и специально всегда был равнодушен к вопросам политики, придавая гораздо большее значение экономическому моменту в жизни человека и общества. В этом пункте, если угодно, мне кажется, Соловьев ближе стоял ко мне, чем М. М. [Ковалевский]. Он с удовольствием, как я убедился не раз впоследствии, читал социалистов и других фантазеров

по экономической области, но всегда старался придавать всем их построениям религиозную подкладку. Мы не раз с ним, припоминается мне, например, читая отца Ноэса⁶ и книгу Нордгофа⁷ об американских коммуннах и общинах, до некоторой степени сходились с Владимиром Сергеевичем и различались только толкованием. Он признавал будущее лишь за религиозными общинами Америки, вроде «шекеров»⁸. «Онеида»⁹ его сильно интересовала, но, например, «Новую гармонию»¹⁰ он решительно отрицал, тогда как я за нее стоял и т. д. М. М., наоборот с нами обоими, был совершенно равнодушен к подобным вопросам, но придавал всегда огромное значение и любил поговорить о истории учреждений — [об] их влиянии на нравы и обычном праве. <...>

<Из письма Е. Н. Янжул¹¹:> «Странный человек этот Соловьев... Он очень слабый, болезненный человек, с умом, необыкновенно рано развившимся, пожираемый скептицизмом и ищущий спасения в мистических верованиях в духов. Во мне лично он возбуждает симпатию и сожаление; предполагают, что он должен сойти с ума, потому что слишком много работал мозгом для своих лет. Когда я его увидела в первый раз, он меня поразил своим мрачным аскетическим видом. Совершенную противоположность с ним составляет наш другой новый знакомый, Ковалевский. Одних лет с ним, он, однако, представляет собой фигуру, равную моему супругу по размерам и подает надежду на дальнейшее усовершенствование. Его веселый характер и простые развязные манеры составляют тоже не меньший контраст со сдержанностью погруженного в себя философа. Эта простота в обращении заставила двух толстяков очень скоро сойтись, тем более что толстяк Ковалевский, по мнению толстяка Янжула, обладает необыкновенными для своих лет сведениями и очень светлым взглядом на вещи». <...>

Вл. С. не раз серьезнейшим образом сообщал Frl. фон Штудниц¹² и Е. Н. Янжул в виде особого или специального знака доверия, что он во всех решительных и важных случаях своей жизни поступает согласно указанию и совету духа одной «нормандки» XVI или XVII века, которая является к нему по желанию и дает надлежащие указания, как действовать или чего ждать. Повторяю опять, что он это сообщал несколько раз и притом самым категорическим образом, сторонясь нас — мужчин, которые поднимали его за подобные сообщения на смех. Вообще, милый и симпатичный человек, особенно каким он сделался в последнюю половину своей жизни, Вл. С. представлялся несколько ненормальным в ту эпоху, когда я с ним встретился в Лондо-

не и работал вместе в Британском музее. Целые часы, как я за ним иногда следил в музее, как он работает, он сидел по соседству, над какой-то книгой о Каббале¹³ с курьезными, диковинными рисунками и значками, совершенно углубленный и забывающий, что делается вокруг. Сосредоточенный, печальный взгляд, какая-то внутренняя борьба отражалась на его лице почти постоянно. Он сидел от меня настолько близко, что я имел возможность много раз наблюдать эту картину. Когда я к нему обращался с вопросом: «Что, Владимир Сергеевич, о чем задумались?» или «Как вам интересна ваша книга, которую вы так долго читаете? Почему вы ее не перемените?» и т. п., я получал от него такие ответы: «Я ничего... в высшей степени интересно; в одной строчке этой книги больше ума, нежели во всей европейской науке. Я очень доволен и счастлив, что нашел это издание».

Самоуглубленный Вл. С. нередко буквально забывал обедать, и когда моя жена, взявшая его под свое попечение, часто допрашивала: «Да вы обедали ли, Владимир Сергеевич, сегодня?» — [он отвечал:] «Нет, я забыл, да, кажется, и вчера я не обедал». Мы пробовали брать его с нами обедать в то время в так называемые «Tea-shops» или «Tea-house(s)», где было только ограниченное число блюд, обыкновенно из мяса, и мясо полусваренное и полужаренное, изредка пудинги (с тех пор лондонские кухмистерские значительно улучшились). От подобных обедов из одного мяса он решительно отказывался, большею частью оно ему было противно; рыбу еще иногда ел, но ее не всегда можно было найти, кушаний из плодов не было, а потому приходилось волея-неволей, не меняя собственного режима, отказываться от его общества и предложить ему ходить в более дорогие рестораны, с лучшим и более богатым выбором; тем не менее он часто забывал это сделать, если ленился по отдаленности всех лучших ресторанов от Британского музея. В самом музее собственного ресторана тогда еще не было. <...>

<Из письма Е. Н. Янжул:> «Сегодня у нас будет кутеж. Ковалевский задумал угостить нас, Соловьева и кое-кого из других знакомых обедом <...>».

Помню я замечательную сцену одного вечера. Соловьев просматривал свежий № «Русских ведомостей», жена готовила чайную посуду, а я подогревал воду, сидя около камина, как вдруг Соловьев разразился неудержимым хохотом: «Ха! ха! ха!» — «Владимир Сергеевич, что такое смешное, расскажите скорей нам». В ответ на это опять раздался его столь милый детский хохот, вызывающий невольно такой же отклик, но на этот раз с добавлением нескольких совсем не детских слов: «Ах, какие ду-

раки... можно ли быть такими глупыми?!» — «Что такое, расскажите, пожалуйста, в чем дело?» — повторяли мы с женой. Я не помню, был ли тут Ковалевский, или только мы с женой. «Представьте себе, в хронику московских происшествий занесен следующий случай, — отвечал он. — Отходники приехали очищать помойную яму в одном доме, открыли люк очень глубокой ямы и колодца, которые давно не чистили, и туда сначала отправился один рабочий, не долез, свалился и, конечно, пропал. На его поиски был отправлен другой рабочий, и повторилось то же самое: рабочий полез, упал от вредных газов в обморок и свалился; наконец третий — и только после трех несчастий люди образумились, остановили чистку, проветрили люк, бросили туда огонь и т. п., прежде чем принялись за чистку, и вытащили трех мертвых товарищей из этой ужасной ямы. Не странные, не глупые ли это люди?! Ха! ха! ха!» Мы оба с женой набросились на Соловьева: «Владимир Сергеевич, это так на вас не похоже, на ваше доброе сердце; что вы находите тут смешного, что смеетесь чуть не до истерики?.. Конечно, это действия нелепые, но ведь рабочие влезли в зловонную ужасную яму не для своего удовольствия, а из-за куска хлеба, который этим трудом добывают. Им приказали лезть, они были только исполнители. Не правильнее ли винить бессердечных, глупых хозяев, которые так неосмотрительно предпринимают работы, наконец, начальство, которое подобное ведение чистки позволяет». Я не помню точно, что нам возражал на наше замечание Вл. С., но он все-таки стоял на своем, что это все очень глупо и смешно и что, во всяком случае, не стоит и не следует так много огорчаться этим происшествием, когда увидел встревоженное и огорченное по данному поводу лицо моей жены. «Чем хуже, тем лучше», — заметил Соловьев. «Как вы полагаете, что для этих рабочих лучше, что они умерли такой ужасной смертью?!» — «Нет, я хочу сказать, что вообще здешняя жизнь на земле не составляет столь серьезного факта, за который стоило бы так держаться и дорожить, и чем человек испытывает больше неприятного и дурного в этом мире, он получит сторицею в том!?! Позвольте, я вам расскажу одну русскую народную легенду¹⁴; подобного замечательного произведения ни один европейский народ не создал». Мы, конечно, попросили его рассказать, и вот что он нам в сжатом виде передал из содержания этой легенды: «Когда-то Христос с учениками, путешествуя по земле, пришел в одну деревню к вечеру уже на ночлег. Постучался в одну избу, его не пустили, прогнали; в другую, в третью — то же самое... Собаками травили!.. Наконец пришел в последнюю бедную избушку на конце деревни, где жил бедняк, имевший

всего лишь одну коровенку. Бедняк вышел из избы, когда подходил Христос с учениками, поклонился ему до земли и обмыл ему по тогдашнему обычаю ноги, принес чашку молока, ложку, краюху хлеба, и сказал: «Кушайте с Богом, что имею, простите, что мало, больше нет». Потом принес сена, постелил, где можно, и предложил гостям спокойно спать. На другое утро Христос с учениками ушел от гостеприимного хозяина и из деревни. Вдруг на выгоне, откуда ни возмись, серый волк, и спрашивает Христа: «Я голоден, Господи, где мне поесть?» Тот говорит: «Ступай в последнюю избу, на краю деревни, там у мужика одна корова, ты ее зарежь». Все ученики в негодовании: «Господи, что Ты делаешь?!! Один добрый человек нашелся в деревне, нас угостил чем Бог послал, а Ты у него последнюю корову отнимаешь!!!» «Маловерные вы, маловерные, — ответил Господь, — чем здесь хуже, тем там лучше. Чем тяжелее мужику будет здесь, тем с большей сторицей он будет награжден на небесах!» Нам с женой оставалось, конечно, только пожать плечами от такой странной, своеобразной логики по данному поводу, и мы решительно протестовали как против величия русского народа благодаря сочинению такой легенды, так и против системы оправдания самого неуместного смеха о людском горе и несчастьи Владимира Сергеевича. <...>

<Вл. С. Соловьев> в то, по крайней мере, время людей очень мало сожалел и мало придавал значения, по-видимому, самым важным человеческим интересам.

<Вл. С. Соловьев в отношении женщин> отличался значительной долей цинизма и большой также любовью к скабрёзным анекдотам. <...>

Я не помню, по какому предмету речь коснулась Белинского, к которому я всегда, особенно в молодости, благоговел, как вдруг Вл. С. воскликнул: «Что такое Белинский? Что он сделал?.. Я уже теперь сделал гораздо больше, чем он, и надеюсь в течение жизни уйти далеко от него и быть гораздо выше...» Хотя было уже очень выпито и, может быть, поэтому я не удержался, слушая подобное самохвальство, и заметил Соловьеву, что «стыдно так говорить о самом себе, лучше подождать, когда другие вас признают ему равным!!!» Как вдруг на мое замечание, к высшему моему конфузу — это происходило в общем зале, очень наполненном публикой, — Вл. С. разразился рыданиями, слезы потекли у него обильно из глаз. Я немедленно попросил извинения, Ковалевский с своей стороны всячески старался потушить его волнение, и мы немедленно уехали домой. На другой день, однако, Соловьев встретился с нами в Британском музее как ни в чем не

бывало, и когда я вновь извинялся за то, что вызвал вчерашнюю сцену, он только засмеялся, и тем и кончилось, по-видимому, без влияния на наши добрые отношения. <...>

Вообще, довольно странные выходы замечались в то время за милым и симпатичным, каким он сделался впоследствии, Соловьевым, которые совсем как-то не вяжутся и трудно примирить с его добрым, необыкновенно сострадательным характером второй, последней половины его жизни, когда он попал в кружок «Вестника Европы». Как раз, например, в то самое последнее время, придя однажды к Соловьеву в гостиницу «Angleterre», против Исаакиевского собора, где он жил продолжительное время, я сделался свидетелем такой трогательной сцены: небольшая комната Соловьева имела обыкновенную форточку, которая была отворена настежь, и из нее валил холодный воздух морозного утра. Это было зимой. Множество голубей летало по подоконнику взад и вперед. Вл. С., легко одетый, в накинутом на ночной рубашке пальто, щипал булку французского хлеба и бросал голубям, которые без церемонии вырывали хлеб у него чуть не из рук. Комната быстро наполнилась холодом, и он, очевидно, простужался. На все мои напоминания об опасности для его здоровья такой раздачи голубям продовольствия он только смеялся своим милым смехом и запер окно, выбросивши полхлеба прямо на подоконник, когда я, наконец, напомнил ему о моем личном опасении за собственное здоровье от такого голубиного угощения.





М. М. КОВАЛЕВСКИЙ

<Из воспоминаний о Вл. С. Соловьеве>

Соловьева привел ко мне Янжул. Он с первого раза привлек мою симпатию — смешно сказать, своей красотой и своим пророческим видом. Я не видел более красивых и вдумчивых глаз. На лице была написана победа идейности над животностью. Скоро у меня явилось новое основание любить Соловьева: простота и ровность его обращения, связанная с редкой непрактичностью, большая живость ума, постоянная кипучесть мысли. Соловьев работал в Британском музее, занимаясь Каббалою и литературою о Каббале. По вечерам он нередко показывался в обществе немногих русских, сходявшихся у Янжула или у меня. Английская пища, с характеризующим ее избытком мяса, была ему неприятна. Поэтому он обыкновенно обедал у одного итальянского кондитера на Тоттенгам Корт Род (Tottenham Court Road), кормившего его яйцами, рыбой, овощами и сладкими блюдами, до которых Соловьев был большой охотник.

Соловьев интересовался спиритизмом не в смысле дамской забавы верчения столиков, в котором он сам ранее принимал участие в Москве скорее шутя, чем серьезно, а так как он надеялся найти в явлениях, выдаваемых за материализацию духов, средство общения с загробным миром¹. Он убедил меня и Янжула пойти с ним в метафизическое общество, помещавшееся в то время на Great Russell Street, почти напротив Британского музея, на спиритический сеанс. Заранее были куплены билеты, по 5 шиллингов каждый. Нас поставили в круг. Потушили огни. На расстоянии нескольких секунд слышались звуки арфы. Соловьев внезапно выдернул руку у своего соседа, русского корреспондента «Голоса», и схватил за руку державшего арфу. Он, разумеется, стал отбиваться и слегка задел ею по голове русского корреспондента. Раздался крик. Все пришли в смущение. Снова зажгли электричество. Сделали нам строгий выговор и пригро-

зили вывести при повторении. Отвели затем в соседнюю комнату, где должна была последовать материализация духа какого-то морского райзбойника. После томительного ожидания мы увидели на некотором расстоянии от себя голову довольно дикого старика с белой бородой. Вполне материализовалась только нижняя часть лица. На выраженное нами желание видеть духа во весь рост последовал ответ, что в комнате слишком много скептицизма, а духи вольны в этом случае и отказаться в полной материализации. Этот ответ вызвал с нашей стороны дружный смех, но Соловьева он рассердил — слишком уж серьезно он относился к этим вопросам. Владимир Сергеевич решил, что дело так оставить нельзя, и на следующий день пришел ко мне за подписью к подобию письменной жалобы, которую он направил комитету, заведовавшему метафизическим обществом. Нужно ли прибавлять, что никакого ответа на свою бумагу он не получил?

Интерес к спиритизму Вл. С. обнаружил и по случаю приезда туда известного русского спирита Аксакова². Целью его прибытия в Англию было найти медиума. Такой оказался в Ньюкэстле, если память мне не изменяет, какой-то кузнец. Это тот самый медиум, который разоблачен был Менделеевым на сеансе в Петрограде³. Я спрашивал Соловьева: какие причины обратили Аксакова в спирита? Он улыбаясь ответил мне: неудачный второй брак и желание свидеться с первой супругой⁴. Полушутя, полусерьезно Соловьев сообщил мне, что по ночам его смущает злой дух, Питер, пророча ему скорую гибель. Это было во время нашего совместного возвращения из музея госпожи Тюссо, музея восковых фигур. Я остановился на дороге и с некоторым раздражением, смотря в упор Соловьеву, сказал ему: «Уж не принимаете ли вы меня за одну из тех старых дев, которые, распустив уши, благоговейно внимают всему этому вздору в Москве?» Соловьев разразился детским смехом и не дал мне никакого положительного ответа. Вскоре я подал ему повод пошутить надо мной. Он просидел у меня весь вечер и собрался домой только в двенадцатом часу. Ночью я проснулся, и в незакрытой двери в гостиную мне предстал его образ, в черном сюртуке и высокой шляпе, в глубоком вольтеровском кресле. Вечером мы говорили о спиритизме. Я был еще под впечатлением этой беседы и поэтому невольно закричал, увидев материализацию духа живого человека. «А еще ничему не хотите верить», — слышался голос Соловьева. Дело объяснилось весьма просто. Крайне рассеянный, Соловьев забыл дома ключ от входа в свою квартиру. Пробродив некоторое время по улицам Лондона, он постучал ко мне. Его

впустили. Не желая никого беспокоить, он устроился на остаток ночи в моем кресле.

Как-то после вечера, проведенного в приятельской беседе с Янжулом и Соловьевым, я завел их обоих в только что открывшийся тогда в Лондоне бар, содержимый известной виноторговческой компанией Посада. Подали хороший херес. Оба моих приятеля очень быстро опьянели. Янжул стал попрекать Соловьева за его самонадеянность. «Много думаете о себе, Владимир Сергеевич! — говорил он ему. — Считаете себя вторым Белинским!» Соловьев, точно задетый этой фразой, ответил: «Белинский не был самостоятельным мыслителем, а я мыслитель самостоятельный». Мне вскоре пришлось развозить приятелей по домам. Соловьева я собственноручно уложил в постель. На следующий день он снова вернулся в наше общество тем же приятелем, и о вчерашней размолвке не было и речи.

Помню также, как однажды, не знаю уж по какой причине, Соловьев стал приглашать нас обоих пойти к Лаврову (Петру Лавровичу⁵), в это время издававшему в Лондоне «Вперед!». Я в то время очень мало интересовался, да и мало был осведомлен о русской внутренней политике, и потому не поддержал его предложения. С Лавровым мне пришлось встретиться только год спустя в доме Карла Маркса. Кажется, и сам Соловьев не дал дальнейшего хода внезапно посетившей его мысли.

Кроме меня и Янжула, он бывал еще в определенные дни у Ольги Алексеевны Новиковой, урожденной Киреевой⁶. Однажды он свел меня к ней. У нее собирались некоторые члены англиканского духовенства, озабоченные мыслью о сближении Православной и Англиканской церкви⁷. Неизменно в определенный час устраивался около камина и старик Кинглек⁸, автор известного сочинения о Крымской войне. Ольга Алексеевна в то время была еще женщиной с привлекательной наружностью. Отличное знакомство с английским языком и большие связи (ее муж был братом русского посла в Константинополе), наконец, самый тот факт, что она занимала квартиру в Вестенде на Бон Стрит, — не только в аристократическом квартале, но и на улице, соседней с клубом и редакциями многих газет, — были причиной того, что между пятью и шестью часами у нее можно было застать немало интересных англичан. Салон этот вскоре сделался и политическим. Ольга Алексеевна выступила защитницей русских и славянских интересов⁹. Во время сербской войны ее брат поступил на службу добровольцем и был убит¹⁰. Ольга Алексеевна написала Гладстону¹¹ письмо, в котором, под влиянием пережитого горя, она попрекала англичан в поддержке турок. Гладстон был

противником Дизраэли¹² в вопросах внешней политики и нашел в Ольге Алексеевне бесценного информатора по славянским делам. Между ними возникла оживленная переписка, которая продолжалась до самой смерти «великого старца». В салоне Ольги Алексеевны можно было встретить людей, редко где показывавшихся, между прочим, историка Карлейля¹³. Я привел в тот же салон однажды Фредерика Гаррисона¹⁴, известного главу английских позитивистов. В то время, когда этот салон посещаем был довольно часто Владимиром Соловьевым, политическая роль Ольги Алексеевны была еще в зародыше. Соловьева, видимо, привлекали беседы и знакомства с членами англиканской иерархии. Более частному общению с англичанами служило Соловьеву некоторым препятствием недостаточное знакомство с английским разговорным языком. Он поэтому охотнее бывал или в обществе своих соотечественников, или у тех англичан, которые, как Рольстон¹⁵, владели русским языком и интересовались Россией. Рольстон был одним из библиотекарей в Британском музее, заведовал отделом «Rossica», написал книгу о русских былинах и сказках, был в корреспонденции с Тургеневым, а в месяцы, предшествовавшие войне России с Турцией, устроил публичные лекции с целью ознакомить своих соотечественников с русским прошлым и вызвать симпатии к их освободительной миссии на Ближнем Востоке.

Во все время его пребывания в Лондоне Соловьев чувствовал себя не особенно хорошо. Начавшиеся осенние туманы переносились им с трудом. При большой худобе и бледности он легко мог вызвать опасения у любящей его матери, которая все более и более настаивала в своих письмах на его отъезде в более мягкий климат. Мне пришлось уехать в Париж и Ниццу для свидания с матерью. По моем возвращении я уже не застал Соловьева в Лондоне и вскоре узнал, что он уехал в Египет...





П. С. ПОПОВ

<Л. П. Бельский и Л. М. Лопатин о Вл. С. Соловьеве как лекторе Московского университета>

Леонид Петрович Бельский (ум. 1916), приват-доцент Московского университета, известный в Москве педагог (Высшие женские курсы, частная гимназия Креймана, Поливанова, женская гимназия Арсеньевой, Александровский институт), переводчик «Калевалы», был студентом университета одновременно с Л. М. Лопатиным (окончил историко-филологический факультет и был оставлен при университете в 1878 г.). Слушал Соловьева, когда тот был доцентом Московского университета¹; на вопрос о том, какое впечатление производил Соловьев на слушателей, ответил, что популярностью Соловьев не пользовался и лекциями его не дорожили; читал он очень трудным и тяжелым языком, чувствовалось его увлечение терминологией Гегеля; для студентов его чтения были малопонятны. Нельзя думать, чтобы эти воспоминания Л. П. [Бельского] были навеяны или подсказаны тем, что Бельский невысоко ставил Соловьева; наоборот, когда я был гимназистом старших классов Поливановской гимназии и увлекался русскими писателями, близкими в своем творчестве к философии (Гоголь в последний период его творчества, Достоевский, Мережковский *), то нашел в своем учителе горячее покровительство своим вкусам — запомнилось мне утверждение Бельского, что Достоевский и Соловьев — самые выдающиеся русские люди, корифеи русской мысли. Так что о лекторских достоинствах Соловьева Л. П. [Бельский] судил, по-видимому, объективно. Тем не менее Л. М. Лопатин не вполне согласен с его характеристикой чтений Соловьева; по впечатлению Л. М. [Ло-

* Мережковского, впрочем, Бельский не любил.

патина], студенты относились к Соловьеву с вниманием и уважением. Но читал он, действительно, тяжело, и лекции его по содержанию могли представляться «дремучими»; слог был трудный. Трудность слушания Соловьева усугублялась тем, что Соловьев не готовился к лекциям и чтения его были импровизациями. Слушал Л. М. Лопатин курс Соловьева одновременно с Бельским; Лопатин хорошо помнит и аудиторию, где читал Соловьев. По содержанию этот курс близок к «Философским началам цельного знания». Назывался курс Соловьева *логикой*. Л. М. [Лопатину] помнится, что это было в 1876 году. Соловьев читал и другие курсы — по истории философии², но Лопатин посещал систематически только чтения по логике.





А. И. СОБОЛЕВСКИЙ

<О Вл. Соловьеве как лекторе Московского университета>

Когда осенью 1874 г. я поступил на историко-филологический факультет Московского университета, на печатном расписании лекций еще стояло имя Юркевича¹ как профессора философии, но его в живых уже не было. Поэтому наш курс оставался без философии некоторое время. Затем... мы оказались слушателями уже двух профессоров философии: ординарного — Матвея Михайловича Троицкого и доцента Соловьева, из которых первый был известен как позитивист, а второй — как враг позитивизма. — Вступительные лекции и того и другого были обставлены более торжественно, чем обыкновенно. На них присутствовало по многу профессоров разных факультетов, из которых некоторые стали посещать и дальнейшие лекции. На лекциях Троицкого почти всегда сидел В. Я. Цингер², а на лекциях Соловьева — Н. В. Бугаев³. Не буду говорить о Троицком. Соловьев казался на вид лет 25. Наружность его была из ряда вон эффектная. Он был одет просто, держался и говорил просто, но его бледное, худое лицо аскета с длинными черными волосами и красивым черными глазами производило впечатление. Виден был не только специалист по философии, но и философ. Он читал нам логику. Чтения не отличались ясностью, не были достаточно понятны неподготовленным слушателям и поэтому были скучны. Как всегда в таких случаях, многие из слушателей стали отлынивать, и я сам присутствовал далеко не на всех лекциях. Сколько я мог подметить, Соловьев обратил на это внимание. Прочитав нам одно полугодие, он исчез с университетского горизонта. Мы не сдавали даже экзамена по логике ни у него, ни у кого другого. Признаться, мы не жалели, что он исчез. Я думаю, что, сделав опыт, он понял свою непригодность для скромной роли преподавателя логики.





Н. КОЛОСОВ

Об исповедании В. С. Соловьева

(Письмо к издателю)

М. Г.! Ввиду напечатанного в *«Русском слове»* рассказа бывшего священника Н. Толстого¹ о том, как он причастил покойного русского философа Владимира Сергеевича Соловьева по униатскому обряду, не откажите поместить в *«Московских ведомостях»* рассказ православного русского священника о том, как он исповедал и причастил Владимира Сергеевича перед смертью. Священник этот, С. А. Беляев, в настоящее время состоит при Московской Сокольнической больнице, а во время предсмертной болезни и смерти Владимира Сергеевича был священником в селе Узкое Московского уезда, где находится имение князя П. Н. Трубецкого, и может подтвердить помещаемый рассказ. Вот что рассказывает он: «Лето 1900 года князь П. Н. Трубецкой не жил в Узком, а жил там покойный брат его, Сергей Николаевич, впоследствии ректор Московского университета, друг Влад. Серг. Соловьева. Сюда к нему и приехал в июле погостить Владимир Сергеевич, уже больной. Еще только что выехав из Москвы, за Калужской заставой, Влад. Серг. почувствовал себя дурно и хотел было вернуться назад, в Москву, но передумал и поехал в Узкое; но, приехав туда, в тот же день, по совету врача, слег в постель, с которой уже не встал. И вот как-то вечером приходит ко мне человек Трубецких с просьбой от Сергея Николаевича отслужить на другой день литургию и после нее прийти причастить обеденными Дарами * (личное желание Влад. Серг.) приехавшего из Москвы больного барина. На другой день, в конце утрени, пришла нянька Трубецких — с просьбой исповедовать больного

* Т. е. освященными на только что отслуженной литургии.

до обедни (при этом она назвала и имя больного — Владимир, а кто он, она не знала). Отслужив утреню, я отправился в дом Трубецких. В передней встретил меня сам князь Сергей Николаевич и, повторив просьбу больного, спросил меня: знаю ли я его? Я ответил, что не знаю. Вслед за этим князь ввел меня в кабинет, где лежал на диване Влад. Сергеевич, и познакомил с ним (помню, между прочим, что волосы у Влад. Серг. были острижены). Исповедался Влад. Серг. с истинно христианским смирением (исповедь продолжалась не менее получаса) и, между прочим, сказал, что не был на исповеди уже года три, так как, исповедавшись последний раз (в Москве или Петербурге — не помню), поспорил с духовником по догматическому вопросу (по какому именно, Влад. Серг. не сказал) и не был допущен им до Св. Причастия². — “Священник был прав, — прибавил Влад. Серг., — а поспорил я с ним единственно по горячности и гордости; после этого мы переписывались с ним по этому вопросу, но я не хотел уступить, хотя и хорошо сознавал свою неправоту; теперь я вполне сознаю свое заблуждение и чистосердечно каюсь в нем”. — Когда кончилась исповедь, я спросил Влад. Серг., не припомнит ли он еще каких-нибудь грехов.

— Я подумаю и постараюсь припомнить, — отвечал он.

Я предложил ему подумать, а сам стал было собираться идти служить литургию, но он остановил меня и попросил прочитать ему разрешительную молитву, так как боялся впасть в беспамятство. Я прочитал над ним разрешительную молитву и пошел в церковь служить обедню. Отслужив обедню, я с обеденными Св. Дарами пришел снова к Влад. Серг. и спросил его: не припомнит ли он за собой еще какого-либо греха?

— Нет, батюшка, — ответил он. — Я молился о своих грехах и просил у Бога прощения в них, но нового ничего не припомнил.

Тогда я причастил его Св. Таин. При этом присутствовали князь Сергей Николаевич и супруга его Прасковья Владимировна. В этот же день Влад. Серг. впал в беспамятство и до самой кончины не приходил в себя.

Между прочим, помню, что князь Сергей Николаевич в разговоре со мной энергически опровергал молву, будто Влад. Серг. был алкоголик. Помню еще, что сам Влад. Серг. говорил мне, что его считают вегетарианцем — на том основании, что он не ест мяса, но что хотя он и на самом деле не ест мяса, но только отнюдь не потому, что придерживается вегетарианства.

Когда прах Влад. Сергеевича был опущен в могилу, я, простившись с кн. С. Н., вышел за ворота монастыря и взял первого попавшегося извозчика. Извозчик спросил меня, кого это хоро-

нили? — Я ответил, что хоронили одного известного русского ученого и писателя.

— Уж не Владимира ли Сергеевича Соловьева?

Я ответил, что его, и при этом спросил извозчика: почему он его знает? Извозчик отвечал, что он всегда стоит на том месте, где Влад. Серг. останавливался по приезде в Москву, т. е. у квартиры его матери.

— И как узнаешь, бывало, что приехал Влад. Серг., так и поджидаешь его всегда у подъезда, и как он только выйдет, спрашиваешь: куда ехать? А о цене не говоришь, потому что он сам платил всегда больше, чем следовало. Добрый был барин: таких ныне мало. Если увидит нищего, сейчас тебя остановит и слезет подать милостыню».

*Свящ. Н. Колосов.
25 октября 1910 г.*





Э.-М. ВОГЮЭ

<О русском докторе Владимире Соловьеве>

Во Франции имя Вл. С. лишь в отдельных личностях расшевелит некоторое воспоминание. Судьба как будто посмеялась над этим человеком: философ, своим пристрастием к Западу возбудивший целую бурю негодования у себя на родине, в славянофильском лагере, — на Западе почти неизвестен. А между тем это был необыкновенный человек, одан из самобытнейших русских натур, какие только появлялись в последние 25 лет на русском горизонте. Это была сила: он будил мысль, он неотразимо действовал на умы не столько своими сочинениями, доступными пониманию лишь меньшинства, сколько своей обаятельной личностью, своим красноречием. Читая лекции в университете, он наэлектризовывал молодежь, которая встречала и провожала его рукоплесканиями. У этого Doctor'a mirabilis¹ были поклонники, доходившие до фанатизма, и он испытал минуты полного торжества. Он был философ, и богослов, и поэт, но, на мой взгляд, эти определения недостаточны для его характеристики: к нему более применимо название «доктор» в том значении этого слова, какое оно имело в средние века, когда им награждали великих схоластиков. <...> В первый раз я встретился с ним в Каире, в 1876 г., в доме Лессепса². У гостеприимного хозяина было так заведено, что, когда он вечером возвращался домой, за ним тянулся целый караван, состоящий из турок, левантийцев, исследователей чудесных стран и т. д., с жадностью набрасывавшихся на его роскошный стол. Все оказывались приятелями Лессепса, обладавшего необыкновенной способностью приобретать себе друзей, на какой бы точке земного шара он ни находился. На этот раз ему удалось выудить где-то в Эзбекиях молодого русского, с которым он нас и познакомил. Достаточно было раз взглянуть на это лицо, чтобы оно навсегда запечатлелось в вашей памяти: бледное, худощавое, полузакрытое массой длинных вьющихся волос,

с прекрасными правильными очертаниями, все оно уходило в большие, дивные, пронизательные, мистические глаза, как бы олицетворяя собой мысль, едва прикрытую земной оболочкой. Такими лицами вдохновлялись древние монахи-иконописцы, когда пытались изобразить на иконах Христа славянского народа — любящего, вдумывающегося, скорбящего Христа. Несмотря на зной египетского лета, на Владимире Сергеевиче был длинный черный плащ и высокая шляпа. Он чистосердечно рассказал нам, что в этом самом одеянии он ходил один в Суэцкую пустыню, к бедуинам; он хотел разыскать там какое-то племя, в котором, как он слышал, хранились кое-какие тайны религиозно-мистического учения — Каббала и масонские предания, будто бы перешедшие к этому племени по прямой линии от Соломона. Само собою разумеется, что ничего этого он не нашел, и в конце концов бедуины украли у него часы и испортили ему шляпу <...>





С. У.

<О личности Вл. Соловьева>

<...> Личность нашего философа, ставшего в двадцать один год профессором и написавшего замеченную всем ученым миром книгу «Кризис западной философии», была в высокой степени оригинальная, но совершенно неуравновешенная и до такой степени болезненно-нервная, особенно в последние годы жизни, что о Соловьеве нельзя судить как о нормальном субъекте. Его увлечение спиритизмом и поездка в молодые годы на Восток, вслед за какой-то «розовой тенью», которая его туда манила, чего стоит! А его наивная вера в «чертей», каковые его всюду сопровождали, о чем наш ученый радатель о соединении церквей России и Запада ничуть не стеснялся печатать на страницах толстых журналов, что совершенно недопустимо у здорового человека, а его психопатическая лекция об антихристе, о котором он также, без малейшего колебания, толковал как о реальном существе, — разве все это не мешает судить о Соловьеве серьезно и говорить о нем без многочисленных оговорок. Я был знаком с Вл. Соловьевым много лет и всегда искренно удивлялся изумительной изменчивости его натуры: то он подчинял себя аскетическим подвигам, сидел на строгой диете, то усердно пил мозельвейн, так как в нем, будто, много фосфора, а это полезно от анемии мозга, которой Соловьев, по его собственному признанию, постоянно страдал, то отрицал женщин и женский вопрос, то, казалось, был не прочь ими увлекаться, то витал в высочайшей мистике, то рассказывал довольно скромные анекдоты... В личных сношениях с людьми это был довольно приятный и обязательный человек, но, в сущности, в нем было не много внутренней теплоты и сердечной привязанности, что видно и из недавно изданных в свет его писем. <...>

Происходя сам, по матери, из еврейского племени¹, Вл. Соловьев очень сочувствовал этому вопросу [т. е. предположение о

подачи петиции на счет предоставления евреям в России тех же гражданских прав, которыми пользуются коренные русские люди], принимал в нем живейшее участие и чрез своих высокопоставленных знакомых всячески старался провести петицию в благоприятном смысле. <...>





П. Г. ЧЕРКАСОВ

<Из воспоминаний о Вл. Соловьеве>

С Владимиром Сергеевичем Соловьевым мне пришлось познакомиться в 1876 г. До знакомства с ним я его видел мельком, один раз; и эта первая встреча носила характер положительно юмористический (равно как и последняя моя встреча с ним, летом 1893 г., после которой мне с ним не доводилось видеться). Вообще, надо сказать, что все мои воспоминания об этом выдающемся человеке, по странному стечению обстоятельств относятся именно к «несерьезной» его стороне. Но так как и последняя имеет свою цену для характеристики человека, то я и постараюсь изложить свои воспоминания о Владимире Сергеевиче возможно подробно. В июле 1876 г., только что оправившись от тифа, я шел с покойной матерью по проезжей дороге, пролежавшей около парка нашего подмосковного имения «Троицкое» (Подольского уезда Московской губернии); я был еще настолько слаб, что мать водила меня под руку, и приходилось частенько присаживаться для отдыха. В один из таких отдыхов наше внимание было привлечено грохотом экипажа и конским топотом. Оказалось, что от старой калужской дороги несется кавалькада, а за ней «долгуша», запряженная тройкой. Впереди кавалькады, на бойкой серой лошади, неся красивый брюнет с развевающимися по плечам волосами; пятки его, плотно прижатые к лошади, «придавали» последней ходу, и она неслась вовсю. А красивый всадник мрачного вида глядел куда-то вдаль и, ничтоже сумняшеся, летел дальше, размахивая локтями. Ясно было из всей его повадки, что езда верхом ему была не в привычку. «Ядро» кавалькады составляли наши соседки, дочери Николая Васильевича Калачова¹, (с которым я в то время еще не был знаком); оказался знакомым один из кавалеров (ехавший на «долгушке» и, видимо, уступивший свою лошадь незнакомому мне

всаднику) — С. Н. Деконский, с которым я раньше встречался в Москве. <»Незнакомый всадник» — Вл. С. Соловьев.>

Спустя несколько недель я познакомился с Калачовыми, имение которых — Воскресенское — находилось в 5 верстах от имения матери. И в ту же осень встретился я с Вл. С. Соловьевым у них в Москве — в Хамовниках, где у Н. В. Калачова был свой деревянный особнячок для временных наездов его самого и его семьи. И теперь, вспоминая эту первую встречу с Вл. С., живо чувствую то «неожиданное впечатление», какое он на меня произвел: впереди него, если можно так выразиться, «катился его неистовый смех». «Философ, ученый, такая серьезная (чтобы не сказать — мрачная) наружность... и такой смех» — вот первое «недоуменное» впечатление, какое я от него вынес. А потом — недоумение исчезло, но бока болели. И неожиданностей, чисто мальчишеского характера, в нем была масса. В числе молодых людей, бывавших в Хамовниках у Калачовых, был Павел Иванович Аристов — кажется, очень добрый и хороший человек, он был одержим страстью читать стихи. А читал он стихи гнусно. Помню, попалась ему под руку книжка «Русского вестника», в которой печатались (не помню — чьи) переводы из Гафиза: вот Павел Иванович и начинает читать с массою чувства (по-своему): «О, если б розой ты была, а я кустом, тебяносящим» и т. д., а Владимир Сергеевич, к которому он питал чувство вроде институтского обожания (между прочим, он удачно определил глаза Соловьева: «У Владимира Сергеевича такие чудные глаза — мохнатые такие», действительно, ресниц и бровей Соловьеву была отпущена «двойная порция»), мрачно «выбивает» в воздухе такт обеими руками над головой чтеца; зрители долго крепились, но наконец не выдержали и дружно фыркнули. Аристов поднял голову, а Соловьев в это время, «широким размахом», опустил обе руки, из которых одна пришлась аккуратно по темени Павлу Ивановичу. «Ах, Владимир Сергеевич, вы все шутите!» — а в ответ мрачно: «Зачем вы голову не вовремя подняли?». В другой раз Аристов что-то разглагольствовал (а надо сказать: не речист он был!) и порядком-таки «запутался» в аргументации: вдруг раздается «замогильный» голос Соловьева: «Знаете, Павел Иванович, вы мне подчас страшно напоминаете моего брата Мишу». «Чем, Владимир Сергеевич?» — радостно вопрошает польщенный Аристов. — «Он ужасно любит говорить глупости». И это «сочное» *ужасно* было сказано с таким чувством, с таким вкусом, что все, не исключая и Аристова, умирают от смеха. Надо отдать справедливость покойному: и сам он любил говорить «глупости». Тому же П. И. Аристову, когда он «терзал» нас чтением

«из Гафиза», он преподнес прутковскую басню: «Пастух, молоко и читатель»², к немалому восторгу слушателей. Вообще, он любил цитировать Пруткува и декламировал его «бессмертные» произведения с таким комическим чувством, что у слушателей после этого долго болели «подвздохи». И *как* он смеялся — это себе представить не может тот, кто сам не слышал этого стихийного, заразительного смеха! Этому смеху я обязан и последней встречей с Владимиром Сергеевичем. Летом 1893 г., когда я служил в Москве, я как-то (помнится мне — в июне) возвращался с одним из последних вечерних поездов со станции Быково. Только что мы отъехали от станции, как слух мой поразил необыкновенный смех в соседнем отделении; у меня сразу явилась уверенность, что источником его может быть *только* Соловьев (хотя мне перед этим уже много лет не приходилось с ним встречаться). Заглядываю в отделение и вижу — в серой накидке, с седой гривой и седою бородой, в углу сидит Владимир Сергеевич. Поздоровался я с ним, но он меня не узнал; а когда я себя назвал, он сразу перенесся в воспоминания о наших прошлых встречах. А так как нас связывали воспоминания — как я уже говорил выше — исключительно веселого характера, то мы и прохохотались весь остаток пути до Москвы (к немалому «соблазну» наших случайных спутников). На вокзале Соловьев меня спрашивает: «А вам в какую сторону, Павел Гаврилович?» — «На Пречистенский бульвар (я служил тогда помощником управляющего Московского удельного округа), ближе к храму Спасителя». — «Великолепно — мне по пути с вами до Арбатских ворот; едемте вместе». «Ванька» нам попался необыкновенный: замученный, сонный возница, с таковою же лошадию. Вез он нас без конца, буквально натываясь на тумбы, фонари и рогатки; а мы с Владимиром Сергеевичем вспоминали былые годы и смеялись до того, что наш возница временами выходил из своего состояния апатии и с недоумением оглядывался на нас. Оглядывались на нас и блюстители порядка, вероятно думавшие, что такое шумное веселье едва ли может быть почитаемо «безалкогольным». Такова была моя последняя встреча с этим человеком. И если мои воспоминания о нем касаются только одной «веселой» стороны его облика, то как-то удивительно ярко вызывают в моем воображении того «живого» Соловьева, которого я знал. Еще из соловьевских «неожиданностей». Пристает к нему хорошенькая барышня, чтобы он сказал экспромт. Соловьев долго отмалчивается, а затем с обычным «мрачным» видом докладывает ей: «Глаза имеет и коза (пауза — барышня недоумевает и как будто начинает конфузиться и чувствовать неудовольствие); коза — чтобы траву щипать,

а вы — чтобы сердца пленять». Сидит против него милая и красивая, но очень конфузливая барышня, у которой, когда она конфузится, привычка «перебирать губами». Соловьев в одном из своих приступов задумчивости уперся в нее глазами, не говоря ни слова; барышня конфузится и все сильнее начинает «перебирать губами». Вдруг Соловьев отверзает уста и мрачно вопрошает: «Зачем вы — имярек — мордоплясничаете?» И сам первый «грохочет» по поводу сего «несалонного» вопроса (хотя и обращенного к сестре близкого друга). Чтение стихов «из Гафиза», о котором я говорил выше. У слушателей начинают тосковать ноги; вдруг из угла, где «мрачно» восседает Соловьев, раздается: «Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану» [Козьма Прутков]. В результате чтение «из Гафиза» оказывается «гальотинизированным», что и требовалось. Пристали к нему как-то, чтобы он продекламировал что-нибудь «серьезное», Владимир Сергеевич с чувством (и с серьезным видом) начинает: «Тихо над Альгамброй, / Дремлет вся натура, / Дремлет замок Памбра, / Спит Эстремадура»³ (впрочем, он изменял, помнится, расположение стихов так: «Тихо над Альгамброй, / Спит Эстремадура, / Дремлет замок Памбра, / Вся молчит натура»). Сначала слушают внимательно и серьезно, потом с недоумением, а уже как дело дошло до унылого кавальеро («Страсть кипит унылая / В вашем кавальеро»), недоумение переходит в широкие улыбки и кончается «серьезная декламация» всеобщим безудержным хохотом. Козьма Прутков никому из нас в те времена известен не был; познакомил нас с ним Владимир Сергеевич, преподнесивший нам его стихи, мысли и афоризмы с такою неожиданностью, с таким «а рпо», что долго после того пробирал смех при воспоминании о них. Приходилось много слышать разговоров о нем и от покойного Александра Николаевича Калачова (брата моей жены), который с ним встретился и сошелся зимою 1875/76 г. за границей (сначала они жили вместе на Капри, а затем в Италии⁴, — а может быть, сначала в Италии, а потом на Капри, наверно не помню). Но и эти воспоминания носили характер веселый или, во всяком случае, несерьезный... К сожалению, нет никаких следов переписки Соловьева с А. Калачовым.





П. ШЕРЕМЕТЕВ

<Из воспоминаний о Вл. Соловьеве>

<...> На той же Николаевской железной дороге Иван Федорович [Горбунов]¹ разыграл шутку с Вл. Соловьевым, о которой я слышал еще от самого Владимира Сергеевича. На станции — кажется, в Любани — они оба сели за один стол. Горбунов обращается вдруг к Соловьеву и так говорит ему: «А какой я сейчас про вас разговор слышал!» — и указывает на сидящих неподалеку от них двух офицеров. Один офицер будто бы говорит другому: «Посмотри! Это Соловьев! Философ. А *тоже...* ест...» Не могу не вспомнить здесь, как сочувственно отзывался Соловьев о таланте Горбунова и как смеялся своим высоким звонким смехом, который и по сей час стоит в ушах, даже при моих слабых попытках читать вслух рассказы Горбунова. <...> Слышал от покойного Владимира Сергеевича Соловьева в год кончины. <...>





Н. И. ШАТИЛОВ

<Из воспоминаний о Вл. Соловьеве>

<...>Собираясь у Цертелева, мы делали опыты [спиритизма], впрочем, всегда неудачные. Кроме меня интересовался этим вопросом и Владимир Соловьев. Я встречался с ним несколько раз у Цертелева; он только что тогда кончил Московский университет, но уже выделялся среди молодежи как по своей наружности, так и по своим взглядам. Это был высокий и очень худощавый молодой человек, казавшийся еще выше благодаря своей худобе, с задумчиво бледным лицом, с небольшой бородкой и длинными волосами. В его лице больше всего поражали большие выразительные темные глаза, глубоко сидящие под густыми, очень широкими, почти сходящимися над переносицей в одну сплошную черную полосу бровями. Таких бровей я ни у кого после не видел; они придавали странный вид его лицу и как бы увеличивали и усиливали выразительность и размеры его глаз. С него можно было бы писать или библейского пророка, или демона; недаром, как он рассказывал, во время его поездки по Египту несколько феллахов, увидав его однажды одиноко расхаживающим среди развалин какого-то древнего храма, приняли его за черта и разбежались с криком: «Шайтан, шайтан!» <...>





Е. И. БОРАТЫНСКАЯ

<Из воспоминаний о Вл. Соловьеве>

<...> Познакомился Соловьев с гр. Ф. Л. Соллогубом¹, вероятно, через Фета, но возможны и другие пути. Так и представляются мне, словно живые, Федя и его жена Наталья Михайловна в их московском доме близ Ордынки, наверху. Около них — Соловьев, но он центральная фигура. Относится это к весне 1874 г., когда Соллогубы были молодоженами, да и сама я переживала первые годы брачной жизни. Соловьев был очень дружен с Федей, но и Наталья Михайловна ему нравилась. Увлечение его граф. Н. М. Соллогуб принадлежит к ранней поре его жизни, оно было заметно уже в 1874 г. Будучи влюбленной в своего мужа женой, Н. М. была окружена платоническими обожателями. Соловьев писал стихи для нее, охотно философствовал с ней, читал ей свои сочинения, спорил с ней. Ум граф. Н. М. Соллогуб был ум мужской; вообще, это была умная, образованная и начитанная женщина — эрудиция невероятная, лингвист отчаянный, философов поглощала. При этом идеально красива. Характер красоты — высокий: чудный широкий благородный лоб, золотистые волосы, коса — золотая змея до полу; огромные серые глаза. Граф. Н. М. Соллогуб и сама писала стихи, которыми восхищался Фет². Мне она приходилась троюродной тетушкой. У ее отца — Михаила Львовича, барона Боде-Колычева, была еще дочь Мария Михайловна, по мужу Сухотина; потом ее муж женился на граф. Татьяне Львовне Толстой. Соловьев опьянялся красотой. В Рождествине, имении Соллогубов, интересный дом, интересная усадьба. <...> Припоминаю чудные вечера в Рождествине. Федя предпочитал сидеть на полу, в темноте; свет получался из соседней комнаты. Рассказывали много страшных и таинственных историй. Между прочим, Соловьев, со слов А. О. Смирновой-Россет³, передавал про один удивительный случай. Дело происходило в Англии. Некий художник, мистер Хэффи — так,

кажется, его звали, — был приглашен в какой-то город ремонтировать или реставрировать собор. Ноябрьский день. В купе вагона, в котором едет художник, входит женщина с опущенным вуалем. Затем вуаль был ею отброшен, и художник убедился, что перед ним женщина дивной красоты. На одной из станций женщина эта покинула купе, исчезла. Когда художник приехал в город, его встретил слуга некоего графа с письмом от сего последнего, приглашающим художника посетить графа в его замке. Мистер Хэффи взял отпуск на несколько дней и направился в замок. Здесь к нему вышел навстречу старый лорд. Началась любезная беседа. Предложен был, как водится, и завтрак. У другого конца стола пустой стул. Вдруг входит дама, которую художник видел в купе. Потом управляющий замком сообщил художнику, что у лорда несколько времени тому назад, довольно давно уже, умерла дочь-красавица. Смерть эта очень потрясла отца, и он стал не совсем нормальным. Врачи говорили, что если бы эту 13–15-летнюю девочку можно было бы воссоздать на полотне взрослой девушкой, то это повлияло бы благотворно на безутешного старика. Художнику передаются различные материалы, относящиеся до этой рано умершей девочки, и он получает заказ написать как бы ее портрет в более зрелом возрасте. В Лондоне, куда впоследствии возвращается художник, он пытается по этюдам и наброскам осуществить этот план. Время подходит к Рождеству. Художник в своей мастерской. Слуга его куда-то ушел. Мистер Хэффи располагается у мольберта, задумывается. Внезапно отворяется дверь и входит дама. Она скидывает плащ, на ней белое платье с цветком. Дама говорит художнику: «Пишите скорее, кончайте портрет; я для него пришла». Художник принимается за работу, пишет со страстным нетерпением. На другой стороне полотна дама делает надпись: «Моему дорогому отцу от любящей его дочери, чтобы он был здоров и не тосковал», — или что-то в этом роде. При этом она бросает розу, которая была пристегнута к ее платью. В 12 часов ночи видение скрывается — дамы в мастерской нет, но роза тут. Были и другие подобные же рассказы Соловьева, — в последующие годы. Так, в Пустыньке, где он гостил у граф. С. А. Толстой, вдовы гр. А. К. Толстого, с ним произошел такой случай. Комната, которую он занимал, — последняя в коридоре. Вел он образ жизни своеобразный: от 12 часов ночи до 6 часов утра занимался, потом спал. Однажды утром ему послышалось, что скрипнула дверь его комнаты, и из-за выступа стены появилась какая-то черная фигура. Думая, что по ошибке к нему вошла гр. Софья Андреевна Толстая, Соловьев окликнул ее: «Софья Андреевна, это ведь моя комната». Соло-

вьев был еще в постели. Ответных слов не было. ему стало жутко. Он чуял за собою, у изголовья, человеческое дыхание. Затем он видит, что на полу сидит большая собака. Собака эта исчезает, а он испытывает при этом сильный удар в грудь. Расспрашивая прислугу, не входил ли кто-нибудь в его комнату, Соловьев узнает, что в этот день по комнатам дома бродит старая графиня-покойница, мать гр. А. К. Толстого. Соловьев, чтобы не смущать окружающих, ничего не рассказал тогда же о своем утреннем приключении. К вечеру, при закате солнца, дети, жившие при графе. С. А. Толстой — потомство С. П. Хитрово, — стали звать взрослых в сад, чтобы полюбоваться закатом. И вдруг видят внизу, в глубине сада, два черных женских силуэта. Женщин этих различают не только дети, но и взрослые. По бревнышку они переходят через реку. Откуда же взялись эти особы? Прохода тут нет — овраг. Стали искать, но никого не нашли, а на месте, где обнаружили было присутствие двух дам, оказался провал. Что-то вроде массовой галлюцинации. Рассказ этот известен и Л. М. Лопатину, и Н. В. Давыдову. Одна из любимых тем в повествованиях Соловьева — раздвоение личности. Жизнь Соловьева складывалась вообще несколько ненормально. Мне думается, что в ненормальном складе его холостой жизни одна из причин его болезненности. Во время какого-то разговора граф. Н. М. Соллогуб написала мне на клочке бумаги, намекая на Соловьева: «*Mysticisme et sensualité — deux fruits d'un même pommier*»⁴.

Гр. Ф. Л. Соллогуб и граф. Н. М. Соллогуб евреев не любили. Соловьев и я — мы защищали их. Чтобы поддразнить меня, Федя рисовал карикатуры на евреев и писал на них шуточные стихи. Дети Соллогубов предполагали издать два тома стихотворений — стихи отца и стихи матери. Собирались также опубликовать и рисунки отца. Теперь все это трудноосуществимо. Мы с мужем и супруги Соллогубы составляли «квартет». Когда Соловьев возвратился из Киева в Москву, одна чета поселилась на одной Никитской, а другая — на другой: Соллогубы на Большой, а мы на Малой. Соловьев являлся как бы соединительным звеном. Не будучи охотником, Федя любил спорт. Но он был и замечательным фокусником — мог соперничать со специалистами-фокусниками; радовался, когда удавалось обмануть их. Вообще, у него было много чудачеств, которые забавляли и Соловьева. <...> Натура богатая, но бестолочь чисто славянская... Вот еще кое-какие мелочи. Раз, в день рождения Феи, на праздничном обеде, были Соловьев и я. Соловьев предлагает на французском языке тост в честь виновника торжества, причем, обращаясь к матери Феи, называет его «*fils distingué*»⁵. Ф. Л. подхватывает: «*Fils*

distingué dans un autre genre»⁶, т. е. по части чинов, орденов и т. д. Или: «Le latin crée», — говорит как-то Н. М. Соллогуб. — «Et le germain pullule»⁷, — немедленно продолжает Ф. Л. Соллогуб. А Соловьев хохочет... После смерти Владимира Сергеевича граф. Н. М. Соллогуб написала прекрасное письмо кн. С. Н. Трубецкому. Она выразила радость, что он дал у себя приют (abri) такой чистой душе, как Соловьев. Тут уже не было со стороны Наталии Михайловны никакой юной мечтательности. <...>

К бабушке, Аделаиде Климентьевне⁸, проживавшей в Петербурге, я попала десяти лет. <...> Бабушка А. К. Тимирязева была чудная женщина, очень религиозная. На ее долю выпало много тяжелых горестей — смерть близких людей и т. п. У нее началось какое-то нервное перерождение, стала прогрессивно утрачиваться память. Дожила старушка, однако, до 80 лет. В последний раз, когда я ее видела, это был уже как бы не человек, а что-то страшное: ходит по комнате, сложивши руки, и что-то бормочет про себя. Относится это к концу 80-х годов. Да где же дух в человеке? — недоумевала я. Во мне пошатнулись все привычные взгляды и верования. Соловьев старался объяснить мне, как надо понимать подобные случаи, — и я начала справляться со своими недоумениями. Душа и ум — говорил Соловьев — две разные вещи. Душа вселяется в человека телесного; ум — это инструмент, служащий для общения человека с человеком. Когда душа уходит, телесная оболочка постепенно разрушается; портится и тот инструмент, который мы называем умом... На таком истолковании сходились два антипода: мистически верующий Соловьев и реалистически отрицающий Л. Толстой... После тяжелой болезни Толстого спрашивали, верит ли он в личное бессмертие. Он отвечал: «Я верю в вечность духа, который вернется к Богу; но если бы я верил, что я, Толстой, со всею грязью отойду туда, я бы с ума сошел». А Соловьев верил и в личное бессмертие. Потом, под конец, Толстой, в разговоре со мной, к вопросу о личном бессмертии высказался так: «Не знаю, не знаю; но Отец знает, что нужно, и я отдаюсь в Его руки». <...>

Знакомство мое с гр. Л. Н. Толстым относится к первой половине 80-х годов. Чуть совсем не стала толстовкой. <...> В 1887 г. я проделала, по настоянию Толстого, опыт «опрощения». Опыт вышел неудачный. <...> Одолели меня калики перехожие — толстовцы с жестянками (упрощенная кухня), грязь, дурные запахи, разная нескладница и т. д. Все ученики Толстого — слабые люди, один слабее другого. Черткова я не любила — эгоист и доктринер. Да и вообще судить о Толстом по одним толстовцам и толстовкам не следует. Недаром граф. С. А. Толстая говарива-

ла: «Толстой даже на судне барин». <...> В последний раз была я в Ясной Поляне в 1903 году; тут происходил упомянутый раньше разговор о загробной жизни. Под конец жилось Толстому в Ясной Поляне крайне тяжело. Семейные терзали этого человека. Каково, например, было ему видеть жену и сыновей шарящими ночью в его письменном столе! Вероятно, желали захватить и сберечь все, что он пишет. Ему и раньше хотелось уйти, чтобы совсем «опроститься», но он, вплоть до последнего лета, удерживался от окончательного решения, ибо это было бы эгоистично в отношении семьи. Граф. С. А. Толстая была в общем очень милая и хорошая женщина, но у нее был один большой недостаток: нет контроля на язык, слова слетали у нее с языка без удержу; нельзя же все говорить, особенно детям. Осуждала отца при детях. Между тем сама — идеальная жена и мать, работающая, заботливая. Любила подчеркнуть свою роль в писательском творчестве мужа. Она, как известно, урожденная Берс. В Берсах есть, несомненно, еврейская кровь⁹. К Черткову она ревновала Толстого как-то физически, тому следовало бы удалиться — он поступал не по-христиански. Впрочем, странное отношение в мужу — ревность к Черткову — еще можно извинить, но алчность, травлю из-за денег извинить нельзя. В этой травле мне чудится что-то специфическое. Вместе с матерью участвовал в травле и сын Андрюша. <...> Вообще, в детях гр. Л. Н. Толстого я глубоко разочаровалась; много обещал сын Лев, но и из него ничего серьезного не вышло. Еврейства своего происхождения граф. С. А. Толстая нисколько не скрывала. детей своих она прямо называла «полукровками». Берс-отец был дворцовым доктором. Все знали, что семья его не без еврейства. В Соловьеве — по крови — ничего еврейского не было; симпатии его к еврейству чисто идейные. Знакомство Соловьева с Толстым началось после возвращения Владимира Сергеевича после его первой заграничной поездки. Соловьев дружил с Фетом; через него он и сблизился было с Толстым. При спорах с Соловьевым Толстой вспыхнет, накинет пальто и уйдет. Значит, Соловьев разбил его своей аргументацией и эрудицией. Верховный Судия решит, которая из этих двух душ лучше. Граф. Н. М. Соллогуб называла Соловьева хрустальной душой... Толстой — завистливый, злобно-насмешливый (*malicieux*¹⁰), за исключением 5—6 лет жизни. Толстого можно было бы назвать и сердитым по натуре; но я застала его уже в конце его работы над самим собою. <...>

У Толстого доброта благоприобретенная, от успешной внутренней гимнастики. У Соловьева доброта более прирожденная; впрочем, в нем была и некоторая суровость, сентиментальностью он

отнюдь не отличался. Дружба Толстого окрашивалась в более горячие тона, чем дружба Соловьева. Могло даже казаться, что вполне задушевных друзей у Соловьева нет. Я была как-то дубликатом трех увлечений Соловьева — граф. Н. М. Соллогуб, княг. Е. К. Вяземской, С. М. Мартыновой; это могло бы расположить его к особой интимности, но с Толстым я была дружнее, чем с Соловьевым. По своим природным свойствам Толстой — человек очень страстный; вся страстность его ушла, впрочем, на жену. И она была женщина страстная. Толстой ненавидел вторжение в чужую семейную жизнь. В Толстом было так драгоценно то, что он никакими дамами не увлекался. Нехорошо, однако, отношение его к Тургеневу из-за Виардо. Половые увлечения Толстого в молодости имели обычный, как бы «нормальный» характер. Жизнь была в нем через край. Дал выход страстности — и успокоился, стал свободен. Люди вроде Достоевского, Соловьева — нечто другое. По-видимому, тут дело не обходилось без какого-то пережевывания страстности, без некоторой, хотя бы и мучительной, уступки нечистым образам, без вольного или невольного вплетения дурных помыслов в обиходную жизнь. Мне чудится, что в Соловьеве было что-то женское, была бесполость насильственная или, может быть, бесполость поневоле, в зависимости от особенности телесной организации... Уклон Соловьева в сторону чувственности — всячески им осуждаемой, но все же по временам удручавшей или даже побеждавшей его, — стал мне резче бросаться в глаза, когда я ближе познакомилась с Толстым. Тут ведь была, пожалуй, другая крайность — чрезмерный ригоризм. Толстой из всего выводил закон, все подводил под закон. Всякую романтику он клеймил даже слишком строго. Нельзя же требовать, чтобы люди при половом сближении имели в виду только продолжение человеческого рода. Разве в самом деле человек не имеет права обставлять свою половую любовь всякого рода романтическими украшениями? Романтика и чувственность, как они ни родственны между собой, все таки не одно и то же. У Соловьева была, мне думается, не одна романтика, но и чувственность, с которой ему приходилось бороться... Мне случилось наблюдать Соловьева в состоянии большого любовного возбуждения. Природу не поборешь, не обманешь. Человек этот жил наперекор природе, да еще в самые горячие годы. С самым сильным стремлением к духовному сочеталось нечто противоположное... У Соловьева было заметно тяготение к женщинам так называемого высшего круга. Досужее, сытое, перекормленное сословие создало наисовершеннейший тип Далилы. Человек тонкого душевного склада особенно склонен поддаваться умствен-

ному «*charme*’у»¹¹. На мой взгляд, Соловьев — отчасти переразвитая, отчасти недоразвитая натура... Замечательно, что у Толстого чарующих, обольстительных, неудержимо влекущих к себе женских образов почти нет; по крайней мере, я не нахожу в его произведениях прелестниц *par excellence*¹². Полагаю, что долготелее сожителство с женщиной такого в основе своей «литературного типа», как граф. Софья Андреевна, осталось в этом случае не без влияния на Толстого... Подстать прочему я полагала у Соловьева какое-то нездоровое отношение к деторождению. Беременная женщина производила на него неприятное впечатление. Это странно. Мне кажется, Соловьев не проходил через настоящую любовную драму, и это было к ущербу для него... Толстой стремился овладеть своей страстностью и достичь чистоты — правда, в годы уже немолодые. К преодолению страстности направлял свои усилия и Соловьев; но для него остались характерными слова граф. Н. М. Соллогуб: «*Mysticisme et sensualité...*»¹³, правда, он и не дожил до лет преклонных. — К винопитию Соловьев относился несколько легко. Впрочем, тут большую роль играла кружковщина. Воскресные ужины у Петровских¹⁴, например, без возлияний не обходились; в этих возлияниях участвовали и Соловьев, и Л. М. Лопатин. Мяса Соловьев не ел — ввиду целомудренных целей, непонятным образом он забывал, однако, про апостольские слова, относящиеся до вина¹⁵. А вино влияло и на его телесное здоровье; у него часто случались истощавшие его желудочные расстройства. У Соловьева как-то выходило так, что религия имеет мало общего с искоренением личных слабостей. В этом отношении гр. Л. Н. Толстой резко отличался от Соловьева. Толстой старался осуществлять свою религию в каждую минуту своей жизни, во всем своем личном обиходе; он уделял много внимания личной духовной кухне. По Соловьеву — спасает постоянно повторяющееся покаяние. Должна, однако, прибавить, что до полного опьянения Соловьев не доводил себя: мог иногда выпить довольно много, но на голову это не влияло. Отношение Соловьева к Толстому мне не совсем понятно. Почему Соловьев проявлял в этом случае такую византийскую узкость? «Три разговора», с нападка на Толстого, я не люблю. Вообще, Толстой менее нападал на Соловьева, чем Соловьев на Толстого. Это напрасно — ведь всякая душа имеет свой прямой путь к Создателю. Впрочем, Толстой может быть, и ошибался, передавая без разбора все свои писания в печать... В конце 70-х годов обычную по тогдашним временам дань спиритизму уплатила и я. <...> Возня со спиритизмом очень расстраивала мне нервы <...> Занятия спиритизмом плохо влияли и на Соловье-

ва. Впрочем, он участвовал в спиритических сеансах главным образом до поездки за границу; потом он поотстал. О своих видениях, и в частности о «трех свиданиях», он мне ничего не рассказывал. Отрицательное отношение Толстого к спиритизму общеизвестно. Религиозные верования Соловьева я не могу называть иначе как дивными. Как в прошлых веках и в настоящем веке, так и в грядущих веках все пребывало, пребывает и будет под кровом Логоса — от травки до человека. Лишь в ранние годы, в переходном возрасте, могли быть у Соловьева религиозные сомнения и колебания. Крестному знаменю придавал он особенное значение; крестился он истово, с нарочитой демонстративностью. «Даже в таких сравнительно малых вещах я боюсь, чтобы не показалось, будто я могу постыдиться моего Христа». В церкви, у обедни, Соловьев бывал, сколько знаю, редко. Зависело все это больше от своеобразного распорядка его жизни — работы по ночам и позднего вставания утром. Впрочем, не подлежит сомнению, что он все-таки посещал общественные богослужения и что к таковым он относился с решительной серьезностью. Других в церковь Соловьев не звал — во что бы то ни стало. Он говорил, что имеются различные проявления религиозного настроения и что, например, его отношение к храму не может быть точно таким же, как у какой-нибудь простой бабы. «Для меня, — заявлял он, — всякий храм есть храм. И в мусульманскую мечеть я вхожу с благоговением». Довольно часто заглядывал он в церкви католические. Тем не менее княг. Прасковья Владимировна Трубецкая, жена князя С. Н. Трубецкого, не раз свидетельствовала, что Соловьев и исповедовался, и причащался перед смертью по православному обряду и что вообще он был искреннейшим православным. Если бы ему суждено было прожить еще с десяток лет, то, по всей вероятности, он дошел бы до типа более церковного в русско-бытовом смысле. Но дойти до веры простолюдинки он вряд ли бы мог, едва ли бы когда-нибудь успел... Разговоров об исповеди у меня с Соловьевым не было. Знаю только, что он признавал высокое значение духовника у католиков. Духовная власть пастыря — дело очень важное; она очень нужна, чтобы овцы не ушли от Бога. Все протестантское в близкой мне среде — с бабушкой во главе — протестовало, конечно, против такого взгляда. Семейю Соловьевых я мало знала. Кажется, одна из дочерей С. М. Соловьева была не совсем нормальным человеком. Из друзей Соловьева всего ближе моему сердцу Л. М. Лопатин. <...> Неравнодушный к вину, он был и страстным курильщиком: нельзя было долго усидеть в его комнате из-за табачного дыма. Вот по части курения Соловьев вовсе

не грешил. Что касается винопития, то ни Лопатин, ни Соловьев в одиночку не пили; они употребляли вино «социальбельно». Пить для питья они не умели. Кн. Д. Н. Цертелев много уступал Соловьеву по природным дарованиям; тем не менее он, при всей приязни к Соловьеву, не чужд был стремлению соперничать с ним. Соловьев, в свою очередь, относился к кн. Д. Н. Цертелеву немножко сверху вниз. Кн. Алексей Николаевич Цертелев, как и многие другие, увлекался граф. Н. М. Соллогуб; уверяли, что это отразилось даже неблагоприятным образом на его здоровье. Неудивительно, что вследствие этого кн. Д. Н. Цертелев был восстановлен против моей приятельницы. Прибавлю, кстати, что отрицательные нравственные свойства в дамах влияли на Соловьева, кажется, сравнительно мало. — Близких личных отношений с М. Н. Катковым у Соловьева, по-видимому, никогда не было, хотя он и пользовался в молодые годы услугами «Русского вестника». Соловьев не был человеком самодержавного типа в духе Каткова. — На прощанье с Соловьевым вот маленький эпизод. Раз как-то я не могла пойти в церковь к богослужению на Новый год. Пригласили ко мне посидеть Соловьева. Он пришел, и мы... промолчали целый час. Изредка Соловьев пугал: кто-то будто бы пробежал. Так было хорошо... <...>





Э. Л. РАДЛОВ

<Вл. С. Соловьев и Н. А. Любимов>

Когда я познакомился с Соловьевым (вскоре после того, как он покинул преподавательскую деятельность в Московском университете¹ и прибыл в Петербург) и речь зашла о его переходе на службу из Москвы в Петербург, он в числе причин, побудивших его к этому переходу, упоминал и о своем неодобрении образа действий московских либеральных профессоров по отношению к профессору Н. А. Любимову², приверженцу М. Н. Каткова³. К группе либеральных профессоров причислялся обыкновенно и сам Владимир Сергеевич. Профессора этой группы перестали подавать руку Н. А. Любимову. Неодобрение Соловьева обуславливалось, как мне кажется, главным образом тем, что он сам был в то время в редакции «Русского вестника». В пользу такого истолкования говорит то обстоятельство, что, когда дело касается людей, заподозренных в недоброжелательстве к катковскому направлению, осуждаемый Соловьевым прием, т. е. неподавание руки, пускался и им в ход. Таково было, например, его отношение к Ю. А. Кулаковскому⁴, который чем-то досадил М. Н. Каткову. Вообще, в молодости Соловьев была весьма нетерпимым. Помню, что однажды он остановил у меня в квартире одного моего знакомого, рассказывавшего анекдот, в котором было несколько задето духовенство, словами: «Не кощунствуйте!» Соловьев находил тогда, что фанатизм в хорошем деле есть хорошее дело, и только впоследствии, когда он сошелся с «Вестником Европы», он стал утверждать, что фанатизм есть всегда дело непохвальное. В это время он уже и сам считал позволительным рассказывать даже весьма рискованные с «кощунственной» точки зрения анекдоты. Отношение Соловьева к Н. А. Любимову в позднейшие годы совершенно изменилось. В одной из своих статей в «Вестнике Европы» он отзывался о публицистических произведениях Н. А. Любимова не особенно почтительно. Конечно,

Н. А. Любимова это очень раздражало. Придя как-то ко мне в одно из отделений Публичной библиотеки, он грозился, что если Соловьев не перестанет задира́ть его в печати, то он, со своей стороны, огласит печатно, что тот занимался онанизмом. Соловьев, в свою очередь, несколько раз говорил, что Любимов — мелкий человек, мелкая душонка.





М. М. КОВАЛЕВСКИЙ

<Вл. С. Соловьев и «любимовская история»>

<...> Незадолго до моего вступления в число лекторов комиссия, получившая от министра народного просвещения полномочия разъезжать по университетам и собирать в них сведения о постановке преподавания, с целью подготовить материал для составления нового университетского устава, посетила и Москву. До сведения членов совета дошло, что один из наших профессоров, физик Любимов, одновременно редактор «Русского вестника» и прислужник Каткова, позволил себе дать университетским порядкам не отвечающую действительности и крайне резкую оценку. <...>

...Резкое выступление сына С. М. Соловьева, известного впоследствии философа, в пользу Любимова, вызванное на деле желанием отстоять свободу каждого показывать свои убеждения, каковы бы они ни были, получило настолько невыгодную интерпретацию, что отповедь, данная ему на одном из вечеров у В. И. Герье самим же хозяином, встречена была сочувственно. Владимиру Сергеевичу поставлена была на вид неблагоприятность его поведения по отношению не только к товарищам по корпорации, но и по отношению к отцу, которого тот же Любимов гнал со службы своими доносами. Поддержанный ранее на университетских выборах тем же Герье, который теперь так резко осудил его поступок, Владимир Сергеевич впервые почувствовал желание разорвать связь с нашей коллегией и преподаванием в ней. Крайне самолюбивый, он не вынес резко изменившихся к нему отношений и профессоров, и студентов — и вышел из состава доцентов Московского университета. <...>





**<Аттестат, выданный Вл. С. Соловьеву
при окончательном увольнении его со службы
в Министерстве народного просвещения>**

Предъявитель сего, бывший причисленный к Министерству народного просвещения и член ученого комитета сего министерства, коллежский советник Владимир Сергеевич Соловьев, как видно из формулярного о службе его списка, двадцати восьми лет от роду, вероисповедания православного, знаков отличия не имеет, происходит из дворян, имения ни у него самого, ни у родителей его нет, по окончании в 1869 году полного курса учения в московской 5-й гимназии, поступил в число студентов Императорского Московского университета, откуда выбыл до окончания курса; по надлежащем испытании в историко-филологическом факультете Московского университета, определением университетского совета, собравшимся 8 июня 1873 года, утвержден в степени кандидата; советом Московского университета, согласно ходатайству историко-филологического факультета, оставлен при сем университете для дальнейшего усовершенствования по предмету философии и для приготовления к профессорскому званию — 1874 года апреля 13-го; по надлежащем испытании и по публичком защищении диссертации: «Кризис западной философии», советом императорского С.-Петербургского университета утвержден в степени магистра философии — 1874 года декабря 2-го; г. попечителем Московского учебного округа, согласно избранию совета Московского университета, утвержден в должности доцента сего университета по кафедре философии со дня избрания его в эту должность — с 1874 года декабря 19-го; высочайшим приказом по Министерству народного просвещения, от 31 мая—12июня 1875 года, за № 7, был командирован за границу с ученой целью на один год и три месяца, из каковой командировки возвратился в срок, указом Правительствующего сената от 31 августа 1876 г. за № 102, опубликованном в № 74 «С.-Петербургских сенатских ведомостей», утвержден в чине надворно-

го советника, со старшинством с 19-го декабря 1874 года; г. управляющим Московским учебным округом уволен от службы, по прошению, — 1877 года февраля 14-го; приказом г. министра народного просвещения, от 16-го апреля 1877 года за № 4, причислен к Министерству народного просвещения, с назначением членом ученого комитета сего министерства с 1877 года марта 4-го; указом Правительствующего сената, по департаменту геральдии, от 27 октября 1880 года за № 158, произведен, за выслугу лет, в коллежские советники, со старшинством с 1879 года января 9-го; приказом г. министра народного просвещения от 7 декабря 1881 г. за № 10 уволен от службы, согласно прошению, с 26 ноября 1881 года. Случаям, лишаящим права на получение знака отличия беспорочной службы, не подвергался. В походах против неприятеля, в штрафах, под судом и следствием не находился. В отпусках был: в 1877 г. на два с половиной месяца, по болезни, в 1878 г. на три месяца, по болезни, в 1879 г., на четыре месяца, в 1880 г. на две недели, в 1881 г. на три с половиной месяца. В отставке был в 1877 году с 14 февраля по 4-е марта. Холост. В удостоверение чего и дан ему, коллежскому советнику Соловьеву, сей аттестат за моим подписанием и с приложением герба моей печати, заменяющей, на основании Свода законов, т. III, Уст. о сл. правит. изд. 1876 г., ст. 794, вид для прожития. Причитающийся гербовый сбор уплачен. СПб. Января «31» дня 1882 года. — Его Императорского Величества, всемилостивейшего Государя моего статс-секретарь, действительный тайный советник, член Государственного совета, сенатор, министр народного просвещения, почетный опекун опекунского совета учреждений императрицы Марии, кавалер орденов: св. равноапостольного князя Владимира I степени, св. благоверного великого князя Александра Невского с алмазными украшениями, Белого Орла, св. Анны I степени с мечами, св. Станислава I степени, имеющий знак отличия беспорочной службы за XL лет, медали: в память войны 1853—1856 гг. на Андреевской ленте и золотую на Александровской ленте, установленную за освобождение помещичьих крестьян, крест за службу на Кавказе, знак отличия для ношения на левой стороне груди и иностранные ордена: персидский Льва и Солнца I степени и турецкие Османи I степени и Ниман Ифтихара 2 разряда (подпис.) *барон Николаи*. Директор департамента народного просвещения (скр.) *М. Брадке*. Верно. *Светлов*.





С. М. ЛУКЬЯНОВ

<Вл. С. Соловьев на службе в ученом комитете Министерства народного просвещения>

<...> С первой же бумаги, включенной в рассматриваемое дело¹, начинается борьба департаментской канцелярии с Соловьевым из-за различных формальностей. Разумеется, канцелярия не придирается к нему, а только совершенно правильно требует соблюдения установленных в законе порядков. Соловьев, в свою очередь, оказывается неисправным перед этими порядками не по злой воле и не по умышленному упрямству, а просто в силу беззаботности, неосведомленности или нежелания толком справиться, как следовало бы поступить в том или другом частном случае. То он не прилагает гербовых марок, то не по адресу обращается со своими прошениями, то уезжает, не дождавшись отпуска, и т. п. По правде сказать, ко всем его оплошностям, досадным во взрослом человеке, канцелярские власти относились благодушно и терпеливо, утешаясь, может быть, надеждою, что с течением времени Соловьев и сам станет навывать в канцелярской точности. Но даже под самый конец службы в ученом комитете он все-таки не достиг полного совершенства по этой части; об этом свидетельствует тот факт, что он не управился безупречным образом даже с текстом своего прошения об увольнении от службы. Канцелярское делопроизводство недоумевало, чего он, собственно, желает: увольнения ли от членства в ученом комитете или же увольнения и от причисленности к Министерству народного просвещения! И действительно, в надписании прошения, приведенного sub 26), Соловьев именуется «причисленным к министерству коллежским советником», и только, а в подписи — «причисленным к Министерству народного просвещения членом ученого комитета, коллежским советником». Правдоподобно, что сам Соловьев не особенно различал в себе эти два естества: ведь, в сущности, ему было мало дела и до одного,

и до другого. А между тем — при желании сохранить служебные зацепки для будущего — причисленность к ведомству могла бы оказаться небесполезной. Как бы то ни было, житейская неумелость Соловьева должна была создавать ему немало лишних хлопот.

<...> Как и всякий другой чиновник, выходящий в отставку, Соловьев был снабжен на прощание «аттестатом», который мог быть составлен лишь после «приказа» министра от 7-го декабря 1881 г. <...> Поражает зато один курьезный пропуск: в аттестате, помеченном, как уже сказано, 31-м января 1882 г., не заключается ни малейшего следа о получении Соловьевым ученой степени доктора философии, хотя докторский диспут его состоялся, вполне благополучно, еще весною 1880 г. Объясняется это, конечно, не тем, что департамент народного просвещения отказался признать за Соловьевым право на степень доктора, а просто тем, что Соловьев, по своей всегдашней беззаботности насчет формальностей, не позаботился своевременно о снабжении департамента необходимыми документальными данными о своем докторстве. Правдоподобно, что даже при получении аттестата он не удосужился просмотреть его, чтобы убедиться в полной правильности текста. Такое упущение могло бы — *unter Umständen*² — причинить Соловьеву хлопоты в будущем, но, поскольку дело касается его личной судьбы, он ведь и вообще далеко вперед не заглядывал. Не учитывал он и того, что аттестат заменяет «вид на прожитие», без которого в благоустроенном государстве обойтись нельзя... <...>

...За все пятилетие 1887—1881 гг. можно насчитать 173 заседания, в которых он [Соловьев] имел бы право участвовать. В действительности Соловьев присутствовал лично только в 44 или 45 заседаниях. Другими словами, он пропустил около трех четвертей всех заседаний. Подсчет этот, достаточно выразительный сам по себе, представится еще более выразительным, если принять в соображение, что из всего срока службы Соловьева в качестве члена ученого комитета отпусками была поглощена одна четвертая часть времени. Таким образом, неприсутствие в заседаниях одними отпусками не объясняется.

Присутствуя в заседаниях, Соловьев принимал, конечно, участие в различных голосованиях; по всем вероятностям, он в известных случаях высказывал и те или другие изустные суждения по существу рассматриваемых дел. К сожалению, обо всем этом в журналах ученого комитета не сохранилось определенных следов. Что же касается письменных докладов Соловьева, то за все время его службы в ученом комитете таковых насчитывается 19,

а именно: 12 мнений о книгах, 6 мнений об отчетах командированных за границу молодых ученых и 1 мнение об уставе философского общества. <...> Ни один из этих докладов не встретил, по-видимому, существенных возражений со стороны сотоварищей Соловьева, и все его заключения обращались тем самым в заключение целой коллегии. Отсюда следует, между прочим, что в среде ученого комитета вскоре же сложилось доброжелательное и доверчивое отношение к его отзывам и что если в конце концов он покинул это учреждение, то отнюдь не вследствие каких-либо внутренних трений или размолвок с его персоналом. <...> Однако, присматриваясь ближе к деятельности Соловьева в составе ученого комитета, нельзя не прийти и к тому выводу, что в общем эта деятельность должна была представляться ему слишком узкой и малозначительной. Книги, которые ему приходилось рассматривать, давали повод к замечаниям либо совершенно общим, либо прямо-таки ироническим; такой же скудный материал для оценки представляли и другие дела, подлежавшие его рассмотрению. <...>

Содержание общих глав, посвященных обозрению архивных сведений, касающихся службы Соловьева в ведомственном центре народного просвещения, не оставляет сомнения в том, что не тут был подлинный центр его духовных интересов. Уже 4-го апреля 1877 г., в письме к граф. С. А. Толстой, урожденной Бахметьевой, он отзывался о своей новой службе так: «...оказывается, моя должность вовсе не синекура, — это ничего — *un métier comme un autre*³, лишь бы *die göttliche Sophia*⁴ оставалась в стороне»⁵. А немного позднее, 12-го апреля того же года, он писал кн. Д. Н. Цертелеву еще откровеннее: «Я уже начал свою службу в ученом комитете. Заседания — скука смертная и глупость неисчерпаемая; хорошо еще, что не часто. В библиотеке занимаюсь только *con amore*⁶»⁷. Очевидно, служба, о которой идет речь, была для Соловьева побочным делом. Она обеспечивала его кое-какими средствами к существованию, и это было, кажется, наиболее существенным оправданием избранного им «ремесла» (*un métier comme un autre*); ничего большего он от нее и не искал. <...>





Д. А. СКАЛОН

<Вл. Соловьев — «военный корреспондент» на Дунае>

<...> Около полудня ко мне приехал с письмом от Каткова Владимир Соловьев. Я принял его и попросил, за неимением стульев, присесть подле меня на травке. По своей наружности он произвел на меня впечатление взявшегося не за свое дело. Соловьев был в русском наряде, бархатных шароварах, красной рубахе и суконной расстегнутой поддевке. Красивое продолговатое лицо его украшалось чудными глазами и длинной тонкой бородкой.

— Добро пожаловать, — заговорил я первым, — каким путем прибыли? Что вас побудило взять на себя обязанности корреспондента?

— Михаил Никифорович [Катков] мне предложил поехать сюда и писать корреспонденции. Я согласился, быстро собрался и через Бухарест приехал. Михаил Никифорович сказал мне, чтобы я обратился к вам и что от вас получу указание, где находиться, и вы меня устроите и направите туда, где наибольший может представиться интерес.

— С удовольствием все это сделаю, — ответил я, — но скажите, есть ли у вас какая-либо подготовка, чтобы дать верное и беспристрастное описание боя? Потому что вам придется поехать в отряды и следить за развитием военных действий. Вы были когда-либо при войсках, хотя бы на маневрах?

— Нет, — отвечал Соловьев, — я никогда этим не интересовался и ничего не видел.

— Что же вы будете описывать, не имея понятия о том, как войска располагаются на позициях, как атакуют, как обороняются и тому подобное?

Соловьев удивленно посмотрел на меня.

— А я вас должен предупредить, что вы должны будете присылать ваши описания мне, и я буду их просматривать и отправлять с очередным фельдъегерем. Так как великий князь главнокомандующий разрешил посылать свои телеграммы одновременно с главным штабом и в Москву Каткову для «Московских ведомостей», то корреспонденции должны быть верны и точны.

— У меня никакой подготовки нет, и я полагал описывать то, что увижу.

Из дальнейшего разговора я пришел к заключению, что Соловьев взялся не за свое дело и высказанные им мне воззрения на войну ничего общего не имеют с тем, что было желательно от корреспондента, который находится в особых доверенных условиях.

Я ему все это прямо высказал и дал добрый совет:

— Вы на меня не обижайтесь, но я должен откровенно вам высказать, что вы взялись не за свое дело, и вряд ли вы выдержите продолжительное время лишения и тягости войны. Мой совет — уезжайте домой.

Соловьев согласился со мною и тотчас же уехал. Вместо него Катков прислал Всеволода Крестовского¹, которого я знал с 59-го года, когда мы сходились с ним на вечерах...<...>





С. М. ЛУКЬЯНОВ

<Из воспоминаний И. И. Лапшина о Вл. Соловьеве>

Первое воспоминание И. И. Лапшина о Соловьеве относится приблизительно к 1876 г. Дальнейшие воспоминания захватывают длительный ряд лет... Соловьев довольно часто навещался к отцу И. И. Лапшина¹ — приезжал раза два в месяц. <...> На И. И. Лапшина, его отца, мать, тетку, няньку Соловьев производил впечатление чего-то совершенно необычного; он покорял и очаровывал старых и малых, образованных и необразованных. Отца, мать — Соловьев поражал исключительностью своих дарований, всех поголовно — жизнерадостностью, небывалой добротой. Появление Соловьева настраивало весь дом на особый симпатический лад. Доброта Соловьева выражалась в задушевности, сердечности обращения, в его страсти делать подарки, радовать, помогать. Малолетнему И. И. Лапшину он всегда привозил что-нибудь в подарок — то книги (между прочим, «Жизнь животных» Брема, сочинения гр. А. К. Толстого в только что вышедшем издании), то почтовые марки для коллекции. — Недавно И. И. Лапшин узнал про такой случай. Книгопродавец Лебедев, имевший свой магазин на Литейном проспекте, слышал от М. М. Стасюлевича, рассказывавшего про это с негодованием, что однажды он уплатил Соловьеву довольно крупную сумму (около 1000 р.) — накопившийся за статьи гонорар — и что, когда тот выходил из редакции с этими деньгами и ему повстречалась нищенка, собиравшая на храм Божий, Соловьев выложил ей всю сумму, которую только что получил. И. И. Лапшин может также засвидетельствовать, что когда ему случалось бывать у Соловьева в Hotel d'Angleterre и тот посылал прислугу за газетой или за чем-нибудь другим, то он никогда не брал сдачу, независимо от ее величины. Одна родственница И. И. Лапшина получила маленькую казенную пенсию и часто нуждалась; помогал ей глав-

ным образом А. Н. Аксаков, но время от времени помогал и Соловьев. Об этом имеется упоминание в письмах Соловьева к Э. Л. Радлову². — Конторка, за которой занимался в детстве И. И. Лапшин, помещалась в зале, а не в детской комнате. Поэтому он часто слышал разговоры гостей. Содержание разговоров Соловьева с отцом И. И. Лапшина было часто недоступно ребенку, но остался в памяти общий тон светлого характера. Ребенок вмешивался в разговор, задавал вопросы по религии, поэзии, а Соловьев давал объяснения. С ребенком он говорил как со взрослым, уважал его достоинство. Беседа принимала иногда неподходящий оборот — вследствие несоизмеримости детского понимания со сложностью темы; отсюда — смех, но отнюдь не злобный. И. И. Лапшин сочинял в девятилетнем возрасте стихи и показывал их Соловьеву. В стихах попадались слова, забавные по двусмысленности для взрослого. Так, например, встретилось однажды слово «вожделение»; Соловьев хохотал над этим выражением до упаду. Раз Соловьев сказал, что у одного молодого человека фистула «в Пиренеях» (т. е. in perineo); потом пришлось объяснять, в чем дело. Еще маленький скандал. Однажды, по какому-то непонятному вдохновению, мальчик обратился к некоему почтенному господину, который ел тетерку, с довольно дерзкими словами: «Ешьте, ешьте, а потом брюхо-то лопнет». Когда об этом эпизоде сообщили Соловьеву, он рассказал историю про человека, который в присутствии своего сына передавал про другого человека, что у него в голове сено, и какие это имело последствия. Отцу И. И. Лапшина Соловьев привозил шуточные произведения гр. А. К. Толстого, тогда еще малоизвестные. — Музыки Соловьев не любил, музыкальный слух у него был примитивный, к новой русской музыке относился он отрицательно. Еще в начале 70-х годов в Москве ему случилось быть в опере с С. Д. Лапшиной и г-жой Шумахер. Давали «Юдифь»³. Соловьев вышучивал всю оперу. Особенно смешила Юдифь — Мельникова в каком-то невозможном кринолине. Позднее Соловьев несочувственно отзывался о «Борисе Годунове» Мусоргского. Отрицательно относился он и к Ибсену: «Ибсен есть Козьма Прутков, понятый всерьез». — Мать И. И. Лапшина вышла потом замуж за Сергея Ивановича Богданова, мирового судью. Она рассказывала, что Соловьев, недолге после события 1-го марта, приезжал к отцу И. И. Лапшина и высказывался в том смысле, что его карьера разрушена его речью против смертной казни. — Присутствие при беседах взрослых, и в особенности Соловьева, производило большое впечатление и оказывало значительное влияние на И. И. Лапшина. Прием, имеющий свои достоинств-

ва, — не всегда полезно держать детей в детской комнате, вдали от взрослых. — В гимназические и студенческие годы И. И. Лапшин видал Соловьева редко. После смерти отца [т. е. И. О. Лапшина] он бывал в семействе Лапшиных не часто. Чаще сам И. И. Лапшин навещал Соловьева, то в Европейской гостинице, то в Hotel d'Angleterre. В университет И. И. Лапшин поступил в 1879 г. Еще в гимназии, а затем и в университете он увлекался Ренаном, Миллем, Чернышевским, Данилевским, Страховым. Привлекала культурно-историческая идеология — отчасти под влиянием Ламанского⁴, с пасынком которого он был дружен; нравился славянофильский романтизм. В университете сильнейшее увлечение философией — под воздействием Александра Ивановича Введенского⁵. В эту пору некоторое охлаждение к Соловьеву, опасение, как бы не обидеть его, создавало чувство связанности; получилось поэтому и мало пользы от встреч с ним. В начале студенчества зашла однажды речь о Данилевском. И. И. Лапшин был тогда больше на стороне Данилевского, чем на стороне Соловьева. В сущность отношений И. И. Лапшина к религии Соловьев не вмешивался. Впрочем, раз он поставил вопрос: «Веришь ли в Бога?..» Вопрос был задан невзначай, «в спину», когда И. И. Лапшин уже уходил. К Соловьеву И. И. Лапшин обращался на «вы». При встречах всегда целовались — даже когда расходились во взглядах. — К А. И. Введенскому Соловьев относился настороже, скорее враждебно; так было, по крайней мере, в 1889 г.; считал его вышедшим «из гнезда Владиславлева»⁶. Это не помешало ему позднее полюбить А. И. Введенского. Около 1894—1895 гг. И. И. Лапшин застал Соловьева читающим магистерскую диссертацию А. И. Введенского. Сближение Соловьева с А. И. Введенским началось после учреждения Философского общества при Петербургском университете. Про магистерскую диссертацию А. И. Введенского Соловьев отзывался хорошо: «Нахожу, что это очень интересная, талантливая книга; но откуда у него берется это “мы”?» Любопытно, что сочинение А. И. Введенского о признаках одушевленности возится с этим вопросом. Соловьев вышучивал эту книгу довольно зло и даже обидно. — Вот еще кое-что из более раннего времени. Свои подарки Соловьев делал иногда без заранее обдуманного намерения. Приходит раз И. И. Лапшин к Соловьеву, еще будучи гимназистом старшего класса. У Соловьева нашлись три иллюстрации к «Фаусту» Гете — Фауст, Маргарита, ночь на Броккене. Подарил две первые иллюстрации, а ночь не подарил: в ней оказалось кое-что неподходящее. Купил он эти иллюстрации, кажется, для себя, а вовсе не для подарка. — Юмористическими вещами Со-

ловьев интересовался постоянно, до самого конца. Между прочим, он охотно конфузил молодых барышень. Любил кормить голубей, прилетавших к окну. Или подходит к окну и несколько раз чихнет. Тут же задает вопрос: «Какое самое жгучее чувство наслаждения?» — и отвечает: «Смотреть на солнце и чихать». Соловьева осаждали всевозможные лица, разные просители — спекулянты; приставали с просьбами редактировать плохие переводы. Был некий еврей Сев⁷; Соловьев называл его «деепричастием» (каламбуря: «сев на стул, Сев» и т. д.). Про этого господина Соловьев выразился так: «Сев придерживается телеологической точки зрения; он думает, что Господь Бог издал Соловьева специально для того, чтобы у него занимать деньги». Приводил Соловьев шуточную речь урядника, его *profession de foi*; заканчивается речь словами: «Боже, царя храни»... — Будучи уже студентом, И. И. Лапшин принес Соловьеву свою статью под заглавием: «Кант и положительная наука», с предложением о помещении ее в «Вестнике Европы». Соловьев вернул потом рукопись, пояснив, что журнал напечатать ее не может. — С годами И. И. Лапшин сблизился с Соловьевым еще более. Отношения Соловьева с А. И. Введенским улучшились, а вместе с тем и И. И. Лапшин освободился как от чувства связанности, так и от некоторых своих крайностей. Соловьев дарил на память отдельные оттиски своих статей, корректуры. Сохранился экземпляр «Оправдания добра» с очень дружеской надписью; книгу эту было зачитали, а затем перепродали, но через несколько лет она снова попала в руки владельца. — В числе лиц, встречавшихся И. И. Лапшину у Соловьева, припоминаются Величко и Протейкинский⁸, состоявшие как бы в его свите. Господа эти производили на И. И. Лапшина несколько странное впечатление. — На одном публичном докладе Соловьева присутствовала среди публики некая дама с дочкой. Шла речь о различных видах любви. Когда Соловьев коснулся «адской любви», дама не выдержала и покинула залу вместе с дочкой. — По ком-то, в присутствии Соловьева, предлагали отслужить панихиду. Соловьев сказал, что служить «панихидку» не стоит, а надо отслужить заупокойную литургию. — Протейкинский успел снять фотографический снимок с Соловьева в робу, с остриженной головой...





И. И. ЩУКИН

Парижские поминки по Вл. С. Соловьеве

Всем своим французским знакомым Соловьев преимущественно, если не исключительно, казался каким-то штатским богословом, многоученным пропагандистом излюбленной идеи соединения церквей. Таким и был Соловьев в свое время, в бытность свою в Париже — в момент появления «*La Russie et l'Église universelle*» и лекции в великосветском салоне княг. Витгенштейн¹. С тех пор утекло много воды, и впоследствии автор «Оправдания добра» и повести об антихристе значительно умерил свои папистские тенденции. Но в последние годы он уже не приезжал в Париж. Нечего скрывать, что Соловьева мало читали во Франции. Его брошюра «*Idée russe*» так и осталась нераскупленной в книжном складе; другое вышеназванное сочинение, бесспорно, редко встречается в продаже, но, кажется, только потому, что издатель его обанкротился и все экземпляры его куда-то исчезли *. И этому нельзя удивляться. Самое миросозерцание нашего философа, его не только религиозные воззрения, но главным образом церковные симпатии не могли встретить сочувственного приема в здешних литературных и общественных кругах: одним он должен был представляться отсталым метафизиком, завзятым клерикалом; другим, напротив, чересчур опасным и либеральным союзником или слишком нерешительным, уклончивым Никодимом. Позитивисты считали его каким-то чудаковатым доктором средневековой теологии, опоздавшим своим рождением на добрые 600 лет. Католики признавали тайным единомышленником, фанатичным поборником латинства в самых его чудовищных и безнравственных явлениях. Ни те ни другие его не понимали. Прежде всего христианин и европеец, Соловьев умел возвыситься-

* В последнее время, впрочем, издатель Сток задумал перепечатать вновь эту книгу Вл. С.

ся над национальными предубеждениями и конфессиональными различиями; но ренегатом в религиозном смысле, вероотступником он не был. Мудрец и поэт, он не занимался бесплодным распутыванием схоластических тонкостей, бесцельным разрешением ненужных вопросов — вся его научная и публицистическая деятельность отличалась практическим характером учительства, отвечала на важнейшие запросы культурной современности. И не его вина, что в глазах толпы вечные вопросы жизни уступают место преходящим требованиям моды; не его вина, что масса, человеческое стадо, обыкновенно бежит за разными лжепророками и не в силах распознать пророка настоящего... — Но как бы различно, каждый со своей точки зрения, ни относились к нему как литературному деятелю и выразителю определенных идеалов, — каждый невольно поддавался его неотразимому обаянию при личном общении с этим единственным, чарующим собеседником. Ближайшее же знакомство заставляло только еще более преклоняться пред этой высокой, чистой и светлой личностью. Поэтому, если для большинства французской публики имя Соловьева не скажет прямо-таки ничего, то у отдельных его знакомых и друзей оно долго будет вызывать самые отрадные и хорошие чувства.





С. М. СОЛОВЬЕВ

<О присоединении Вл. Соловьева к католической церкви>

<...> В начале 1896 г. Соловьев решился на тайное присоединение к католической Церкви. В то время в Москве жил русский католический священник восточного обряда, Николай Алексеевич Толстой, родственник поэта А. Толстого, знакомый Соловьеву по салону С. П. Хитрово. Окончив Московскую духовную академию в сане православного священника, Н. А. Толстой, не без влияния идей Вл. Соловьева, принял католичество греческого обряда. Соловьев нашел в нем католика, близкого по духу, которому глубокая убежденность в истине католицизма не мешала всем сердцем любить и понимать православную Церковь. Толстой имел часовню у себя на квартире в одном из переулков Остоженки. 19 февраля 1895 г., в день памяти св. Льва Великого, особенно чтимого им римского папы, Соловьев принял причастие из рук о. Толстого. Перед обедней он прочитал Тридентский символ веры¹. За обедней присутствовал Дмитрий Сергеевич Невский, молодой человек, тайно принявший католичество и получивший в Галиции сан иподиакона. Невский окончил два факультета: математический и филологический по классическому отделению, мечтал посвятить себя древней философии, но С. Н. Трубецкой отнесся к нему холодно и не оставил при университете. Невский окончил жизнь учителем латинского языка в Ярославле.

О присоединении Соловьева к католической Церкви Толстой напечатал сам в «Московских ведомостях» 21 августа 1910 г. Мне лично этот факт был всегда известен, я слышал о нем и от моего отца, и от Невского. Вскоре после причащения Соловьева Толстому пришлось в переодетом виде, в брюках Невского и в шубе Соловьева, убежать за границу. Помню, как Владимир Соловьев, придя к нам, рассказывал за обедом: «Сейчас я, надев на отца Толстого мою шубу, отвез его на Николаевский вокзал». В Пе-

тербурге Толстой получил заграничный паспорт через иностранных послов и морем отплыл в Рим. Для всякого католика причащение Соловьева у католического священника и прочтение им Тридентского символа веры есть присоединение к Римской церкви. Но как смотрел сам Соловьев на это событие своей жизни? Обратимся к фактам. После причащения у Толстого Соловьев ни разу не приступал к таинству до самой смерти, когда, во время болезни в Узком, позвал православного приходского священника. Невский рассказал мне, что на вопрос, почему Соловьев не обратился к одному из польских или французских священников, тот отвечал: «Вы — молодой человек, Вам легко оторваться от родных традиций. А я подожду, пока приедет в Москву какой-нибудь русский католический священник». Н. Толстой находился в изгнании и жил в Риме и во Франции. Второй русский католический священник, о. Алексей Зерчанинов, томился в крепости. Других в то время не было. Дело было опасное и требовало большой осторожности. <...> Некоторые, например С. Н. Булгаков², предполагают, что Соловьев хотел практиковать *intercommunion*, то есть причащаться попеременно у православных и католических священников. Это предположение невероятно. Да и практически едва ли Соловьев нашел бы в то время православного священника, который дал бы ему отпущение грехов после принятия им Тридентского символа веры. А отказаться от этого исповедания Соловьев не мог, что уже раз доказал, когда не был допущен к причащению прот. Орловым. Остается признать, что мысли Соловьева по церковному вопросу в то время были смутны. Католический священник Иоанн Дейбнер передавал мне, что, когда он задал Соловьеву вопрос: «Признаете ли Вы непогрешимость римского первосвященника?», Соловьев задумался и затем ответил: «Когда войско идет в бой, оно должно быть уверено в непогрешимости своего вождя».

Соловьев скрывал от своих русских друзей факт своего причащения у о. Толстого. <...>





К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВ

<О Вл. Соловьеве>

<...> Нельзя скрывать от себя, что в последние годы крайне усилилось умственное возбуждение под влиянием сочинений графа Толстого и угрожает распространением странных, извращенных понятий о вере, о Церкви, о правительстве и обществе; направление вполне отрицательное, отчужденное не только от Церкви, но и от национальности. Точно какое-то эпидемическое сумасшествие охватило умы. К Толстому примкнул совершенно обезумевший Соловьев, выставляя себя каким-то пророком, и, несмотря на явную нелепость и несостоятельность всего, что он проповедует, его слушают, его читают, ему рукоплещут, как было недавно в Москве¹. <...>





В. В. РОЗАНОВ

<О Вл. Соловьеве>

ИЗ «УЕДИНЕННОГО»

В С-ве то только интересное, что «бесенок сидел у него на плече» (в Балтийском море)¹. Об этом стоило поговорить. Загадочна и *глубока* его тоска; то, *о чем он молчал*. А слова, *написанное* — все самая обыкновенная журналистика («бранделясы»).

Он нес перед собою свою *гордость*. И она была — *ничто*. Лучшее в себе, *грусть*, — он о ней промолчал.

ИЗ «ОПАВШИХ ЛИСТЬЕВ»

Не понимаю, почему я особенно не люблю Толстого, Соловьева и Рачинского¹. Не люблю их мысли, не люблю их жизни, не люблю самой души. Пытая, кажется, я нахожу главный источник, по крайней мере, *холодности* и какого-то безучастия к ним — (странно сказать) в «сословном разделении».

Соловьев если не был аристократ, то все равно был в «славе» (в «излишней славе»). Мне твердо известно, что тут — не зависть («мне все равно»). Но, говоря с Рачинским об *одних мыслях* и будучи *одних взглядов* (на церковн. школу), я помню, что все им говоримое было мне *чужое*; и то же — с Соловьевым, то же — с Толстым. Я мог ими всеми тремя *любоваться* (и любовался), ценить их деятельность (и ценил), но никогда их почему-то не мог любить, не только много, но и ни капельки. Последняя собака, раздавленная трамваем, вызвала большее движение души, чем их «философия и публицистика» (устно). Эта «раздавленная собака», пожалуй, кое-что объясняет. Во всех трех не было абсо-

лютно никакой «раздавленности», напротив, сами они весьма и весьма «давили» (полемика, враги и пр.).

Перечитал свою статью о Леонтьеве (сборник в память его)². Не нравится. В ней есть *тайная* пошлость, заключающаяся в том, что, говоря о *другом* и притом *любимом* человеке, я должен был говорить о нем, не прибавляя «и себя». А я прибавлял. Это так молодо, мелочно, — говорит о нелюбви моей к покойному, тогда как я его любил и люблю. Но — как вдова, которая «все-таки посмотрелась в зеркало».

Боже, сохрани во мне это писательское целомудрие: не смотреться в зеркало.

Писатели значительные от ничтожных почти только этим отличаются: смотрятся в зеркало — *не* смотрятся в зеркало.

Соловьев не имел силы отстранить это зеркало, Леонтьев не видел его.

<...> Делянов³ сказал, когда его спросили, отчего Соловьев (Влад.) не профессор:

— У него *мысли*. <...>

<...> Вл. Соловьев написал «Смысл любви»; но ведь «смысл любви» — это естественная философская тема: но и он ни одной строчки в десяти томах «Сочин.» не посвятил разводу, девственности вступающих в брак, измене и вообще терниям и муке семьи. <...>

ИЗ «МИМОЛЕТНОГО»

Многообразный, даровитый, нельзя отрицать — даже гениальный, Влад. Соловьев едва ли может войти в философию по обилию в нем *вертящегося* начала: тогда как философия — прибежище тишины и тихих душ, спокойных, созерцательных и наслаждающихся созерцанием умов. Соловьев же весь б. шум и, нельзя отрицать, даже суета. Самолюбие его было всепоглощающее:

какой же это философ? Он был ПИСАТЕЛЬ — с огромным влиянием литературных волнений своих, литературного темперамента — в философию. Он «вливался» в философию, как воды океана вливаются в материк заливами, губами и всяческими изгибами, и пенился, и плескался, и обмывал «философские темы» литературным языком и литературною душою.

Это еще более, нежели к философии, относится к его богословию. В нем не было *sacer*¹ и не было *sapiens*². Вот в чем дело.

В КОРНЕ — писатель, один из даровитейших, один из разностороннейших в России. Ему параллели лежат — в Пико делла Мирандоле, в Герцене. Но какая же параллель ему в Канте или в Декарте? в Беркли или в Мальбранше?

Небо философии безбурно. А у Вл. Соловьева вечный ветер. И *звезды* в этом философском небе — вечны, а «все сочинения» Влад. Соловьева были «падучие звездочки», и каждая переставала гореть почти раньше, чем вы успевали сказать «желание». Что-то мелькающее. Что-то преходящее. Потом это его желание вечно оскорблять — фуй! какой же это философ, который скорее ищет быть оскорбленным или равнодушен к оскорблению и уж никогда решительно не обидит другого. Его полемика с Данилевским, со Страховым³, с (пусть нелепыми) «российскими радикал-реалистами», с русскими богословами, с «памятью Аксакова, Каткова и Хомякова» до того чудовищна по низкому, неблагоприятному, самонадеянно-высокомерному тону, по отвратительно-газетному языку, что вызывает одно впечатление: «фуй! фуй! фуй!»

Проза его, я думаю, вся пройдет. Просто он не будет *читаться* иначе как для темы «самому написать диссертацию о Соловьеве». Но ведь так и Пико делла Мирандола «еще существует».

Но останутся вечно его стихи... Он как-то сравнил с камнями русских поэтов: помню, «Пушкин — алмаз», «Тютчев — жемчуг». Ему есть тоже какой-то самостоятельный камень, особый, ценный, хороший. «Кошачий глаз»? (очень красивый и без намеков) — топаз? аквамарин? Может быть — красивая, редкая, «настоящая персидская» бирюза? или кроваво-красный (изумруд, что ли? но он, кажется, зеленый)? Не знаю. Я хочу сказать, что в поэзии его положение *вечно и прекрасно*. Оно где-то между Тютчевым и Алексеем Толстым. Но в *некоторых* стихотворениях он даже единственно прекрасен. Между прочим, как он не благороден и не мудр в прозе, — в стихах он и благороден и мудр. Отчего — не понимаю.

Между прочим, *лично* он положил на меня впечатление какого-то *ненасытного* завидования, «ревнования» к другим и — оклеветания. Он почти не мог выносить похвалы другому или, особенно если заметит ваше тайное, «вырывающееся» лишь, восхищение к другому. Тут он, точно ножницами, «отхватывал» у вас едва вырвавшийся кусочек похвалы (о Гилярове-Платонове⁴: слова его, ужасные, если б была правда, что «он был атеист», «ни в какого Бога не верил» и «никакой религии не имел»). Единственно, где он жестко остановил меня, — было о Стасюлевиче (кого я очень не люблю), — и я почти благодарен, что он остановил меня. Иначе впечатление от него (С-ва) осталось бы во мне каким-то сплошным мраком.

Рцы⁵ незадолго до своей смерти сказал мне очень меня удивившее слово: «Я все время чувствовал его завистливым, — пока сидел с ним у вас». Удивительно. Рцы очень зорок. Сказал это он мне без моего вопроса, «сам» и как «свое».

Грусть — всегда у меня о С-ве. Я его не любил. Но что он *глубоко несчастен* и каким-то *внутренним безысходным* (иррациональным) несчастием — это было нельзя не чувствовать.

Вот уже скажешь: «Господи! успокой его смятенную душу».

Думаю: у него была частица «тайны» Гоголя и Лермонтова.

«Демоничен» он был, я думаю, в высшей степени. Это был, собственно, единственный мною встреченный человек с ясно выраженным в нем «демоническим началом». Больше я ни у кого не встречал. Все мы, русские, «обыкновенные» и «добрые». А-бы-ва-те-ли и повинующиеся г. исправнику. Вл. Соловьев в высшей степени «властей не признавал», и это было как-то метафизично у него, сверхъестественно; было как-то страшно и особенно. Михайловский⁶, например, «отрицал власти», и все «наши» вообще находятся с ним «в ап-па-зи-ции». Ну, это русское дело, русское начало, стихия русская. Дело в том и тайна в том, что Вл. Соловьев, рожденный от русского отца и матери (хохлушка) и имея такого «увесистого» брата, как Всеволод Соловьев, — был таинственным и трагическим образом совершенно не русский, не имея *даже ноты* «русского» в физическом очерке лица и фигуры. Он был как бы «подкидыш» у своих родителей, и «откуда его принесли — неведомо». Отсюда страшное отрицание «исправника». Он ничего не нес в себе от русской стихии власти и от русского врожденного и всеобщего «ощущения» власти, хотя бы и «ругаешь». — «А, ты *ругаешь* — значит, я

есмы», — говорит власть Михайловскому. Соловьеву она не могла ничего подобного сказать: он ее не видел, не знал, не осязал. Как странным образом он «не осязал» и русской земли, полей, лесов, колокольчиков, васильков, незабудок. Как будто он никогда не ел яблок и вишен. Виноград — другое дело: ел. И т. д. Станный. Страшный. Необъяснимый. Воистину — Темный.

Отсюда его *расхождения*, например, со Страховым, Данилевским, Ив. С. Аксаковым, с «памятью Киреевского и Хомякова», — имели особенный и для меня по крайней мере страшный характер. Он и когда «сходилсся», «дружил», «знакомилсся» с ними — ничего к ним ровно не чувствовал; и разойдясь — не чувствовал боли, страдания. «Крови из раны не текло». Страшным и таинственным образом (тут у него сходство с Мережковским) я не предполагаю вообще в нем бытия какой-нибудь крови, и если бы «порезать» палец ему — потекла бы сукровица, вода. А кровь? Не умею вообразить. Вот не сказал ему тогда: «Влад. Серг., если бы вам порезаться — у вас бы *не вытекло* крови». Уверен: он задрожал бы от страха (и тоски): это *главная его тайна*. Итак, он «разошелсся», — ибо никогда не был «с ними», со Страховым, Ив. Аксаковым, Катковым. «Отвалилсся — *не имея ничего общего*». Как... как... как «василек» и «дифференциальное исчисление», «минута Вечности» и «акционерная компания», как «Конек-Горбунок» и «Веданта» браминов.

Как наш Михайловский с Платоном и Аристотелем.

«И он, отвернувшись, зашагал к старому, подняв воротник», — рассказывает о Ставрогине и его дуэли с Миусовым Достоевский. Собственно, «стрелял» Миусов... А Ставрогин? — Да *его на дуэли и не было*.

Так вот Влад. Соловьев: хоть он «вел полемику» с Данилевским, Страховым, но... *его в самом деле не было тут*, крови его не было, сердца его не было. «Текли чернила и сукровица»... Да и, вообще, в Соловьеве, вот как и в Мережковском, есть какая-то странная (и страшная для меня) ирреальность. «Точно их *нет*», «точно они *не родились*». А ходят между нами привидения под псевдонимом «Соловьев», «Мережковский».

Я тут не умею выразить, «доказать» то, что чувствую с необыкновенною яркостью, упорством. В этом *суть всего*. Я как-то упоминал раз (в афоризмах), что есть странные люди (таинственные), *не оставляющие следа от себя*, физического впечатления, как бы неосязаемые, бесплотные, а только «звнящие», «говоря-

щие», спорящие и почти всегда очень талантливые. Люди «без запаха в себе» — допущу выражение. «Был»: а когда ушел — то «им не пахнет». Пожал руку — а пота его на вашей руке не оставил. «Собакевич-с — это факт». Собакевич — отвратителен: но нельзя же вовсе «без Собакевича в себе», хоть в одном мизинчике, хоть в строении кишок, хоть в чем-нибудь неприличном. Демон-Гоголь знал, что он писал, — когда писал «Собакевича»: он писал вечную, «пока мы на земле», человеческую грузность, человеческую грубость, человеческую физиологичность. «Я съел осетра». Подло. Но, пожалуй, еще подлее, ибо окончательно страшно, когда человек *ничего не ест*, ни даже — малявочки, ни одной — плотицы, ни же таракана глотает и мухи. Такой — страшен. «Без Собакевича — страшно». В Соловьеве и не было этой вечно человеческой *сути*, нашей общей, нашей простой, нашей земной и «кровянистой». Тень. Схема. «Воспоминание» о нем есть, а «присутствия его никогда не было». Это очень странно, и опять я умею только сказать, что чувствую и никак не умею доказать.

Люди не тяжеловесные. Люди, ходящие по земле и не вдавливающие в землю свою ногу. Не «воняющие» и «не пахнущие». Непременно он ездит только на извозчике, а не «ходит пешком». — «Влад. Соловьев вышел *прогуляться* и через $\frac{1}{2}$ часа будет дома» — нельзя сказать, услышать, невозможно это. Отчего? — Не знаю отчего, а — невозможно. Ровно такой будет жить «в номерах», «гостить у приятеля»: но ни к кому не станет «на хлеба». «Соловьев *харчует*ся там-то»: опять нельзя выговорить, и просто этого *не было*. «Соловьев женился», «Соловьев празднует *имянины*», «у Соловьева сегодня — *пирог*»: фу, небылицы!! Он только «касается перстами» жизни, предметов, струн, вашей шеи, ваших губ — как «дух» в «спиритическом сеансе». Уверен, что хотя «влюблены были в него многие», но он никого решительно, ни одной девушки и женщины, не «поцеловал взасос» (бывают такие) и ни одной не сказал, «прикоснувшись губами»: «*Давай — еще!!!*» Надо бы проследить, есть ли у него «восклицательные знаки» и «многоточия» — симптомы души в рукописании и печати. Очень бы любопытно. Но в литературе, я знаю, что он все «плел слова», «сшивал из страниц статьи», «силлогизировал», «делал выводы»: но не помню, чтобы раскричался в литературе, разгневался, нагрубил, наговорил резкостей и негодований. «Медленно каплет чернильный яд» — но нигде «уксуса», «рванул», — *жизни*.

«И вот *завыл волком*» (Белинский о себе, о своем «Письме к Гоголю»): этого *ни о чем у себя* не мог бы сказать С-в. У него вез-

де звон фразы, щелканье фраз, силлогизмы. Точно *не течет речь* (= кровь), а речь — *составлена из слов*. «Слова» же он знал, как ученый человек, прошедший и университет и Дух. академию. Соловьев усвоил и запомнил множество слов, русских, латинских, греческих, немецких, итальянских, лидийских, — философских, религиозных, эстетических; и из них делал все новые и новые комбинации, с искусством, мастерством, талантом, гением. Но *родного-то* слова между ними ни одного не было, все были чужие...

И он все писал и писал...

И делался все несчастнее и несчастнее...

Нет, господа: о нем надо петь панихиды. «Нашими простыми умиленными русскими голосами». С пра-тадь-яконом. В прото-дьяконе — вот в нем уж есть ВЕС. «Это-с не из спиритического сеанса».

ИЗ КНИГИ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЗГНАННИКИ»

<Соловьев> весь был блестящий, холодный, стальной. Может быть, было в нем «божественное», как он претендовал, или, по моему определению, глубоко демоническое, именно преисподнее: но ничего или очень мало в нем было человеческого. «Сына человеческого» (по житейскому) в нем даже не начиналось, — и казалось, сюда относится вечное оплакивание им себя, что я в нем непрерывно чувствовал во время личного знакомства. Соловьев был странный, многоодаренный и *страшный человек*. Несомненно, что он себя считал и *чувствовал выше* всех окружающих людей, выше России, ее Церкви, всех тех «странников» и «мудрецов Пансофов», которых выводил в «Антихристе» и которыми стучал, как костяшками, по шахматной доске своей литературы... Пошлое, побежавшее по улицам прозвище его «Антихристом», красивым брюнетом Антихристом, не так пошло и, собственно, сказало в улице под неодолимым впечатлением от личности и от всего в совокупности... Он, собственно, не был «запамятовавший, где я живу», философ; а был человек, которому с человеками не о чем было поговорить, который «говорил только с Богом». Тут он невольно пошатнулся, т. е. натура пошатнулась его в сторону «самосознания в себе пророка», которое не было ни деланным, ни притворным. <...>





А. БЕЛЫЙ

<Вл. Соловьев. Из поэмы «Первое свидание»>

<...> Здесь возникал салон московский,
Где — из далекой мне земли —
Ключевский¹, Брюсов, Мережковский
Впервые предо мной прошли.
Бывало: —

— снеговая стая —
Сплошное белое пятно —
Бросает крик, слетая, тая —
В запорошенное окно;
Поет под небо белый гейзер:
Так заливается свирель;
Так на эстраде Гольденвейзер²
Берет уверенную трель.
Бывало: в вой седоволосый
Пройдет из Вечности самой
Снегами строящий вопросы
Черноволосою космой, —
Захотавший в вой софистик,
Восставший шубой в вечный зов, —
Пройдет «Володя», вечный мистик,
Или — Владимир Соловьев...
Я не люблю характеристик,
Но все-таки... —

— сквозной фантом,
Как бы согнувшийся с ходулей,
Войдет, и — вспыхнувшим зрачком
В сердца ударится, как пулей;
Трясем рукопожатьем мы
Его беспомощные кисти,

Как ветром неживой зимы
Когда-то свеянные листья;
Над чернокосмой бородой,
Клокоча виснувшие космы
И желчно дующей губой
Раздувши к чаю макрокосмы,
С подпотолочной вышины
Сквозь марамо́рохи и сны
Он рухнет в эмпирию кресла, —
Над чайной чашкою склонен,
Сердит, убит и возмущен
Тем, что природа не воскресла,
Что сеют те же господа
Атомистические бредни,
Что декаденты — да, да, да! —
Свершают черные обеды
(Они — пустое решето:
Козлят не с Музой — с сатирессой,
И увенчает их за то
Патриотическая пресса),
Что над Россией — тайный враг³
(Чума, монголы, эфиопы),
Что земли портящий овраг
Грызет юго-восток Европы⁴;
Стащивши пару крендельков
С вопросом: «Ну и что ж в итоге?»
Свои переплетает ноги —
Грохочет парой каблуков.

Судьба трагическая дышит
Атмосферическим дымком,
И в «Новом времени»⁵ о том
Демчинский⁶ знает, но не пишет:
— «В сознание наше кавардак:
Атмосферических явлений,
Свечений зорь нельзя никак⁷
Понять с научной точки зрений».
Он — угрожает нам бедой,
Подбросит огненные очи;
И — запророчит к полуночи,
Тряхнув священной бородой!

Так в ночи вспыхивает магний;
Бьет электрический магнит;

И над поклонниками Агни⁸,
Взлетев, из джунглей заогнит;
Так погромыхивает в туче
Толпа прохожих громарей;
Так плещут в зыбине летучей,
Сребрея, сети рыбарей.
За ним вдогонку — следом, следом,
Михал Сергеич⁹ делит путь,
Безмолвный, ровный, кроя пледом
Давно простуженную грудь,
Потея в вязаной рубашке,
Со столика приняв поднос,
На столике расставив шашки,
Над столиком поставив нос;
И скажет в пепел папирос
В ответ на новости такие:
— «Под дымкой — все; и всюду — тень...
Но не скудеет Мирликия... *
Однако ж... будет: Духов день!»

Свой мякиш разжевавши хлеба,
Сережа Соловьев¹⁰ под небо
Воскликнет — твердый, как кремь:
— «Не оскудела Мирликия!..
А ну-ка все, кому не лень,
В ответ на дерзости такие, —
В Москве устроим Духов день!»¹¹
Но Соловьев, не отвечая,
Снедаем мировой борьбой,
Проглотит молча чашку чая,
Рукой бросаясь, как на бой,
На доску: он уткнется в шашки;
И поражают худобой
Его обтянутые ляжки;
Бывало, он пройдет к шинели:
В меха шинели кроет взор;
И — удаляется в метели:
Седую головой в бобер;
А вихри свистами софистик
Всклопочут бледный кругозор!

* Родина Николая Чудотворца; аллегорически — «Страна Чудес».

Привзвизгнут: «Вот великий мистик!»
И — пересвищут за забор!

А мы молчим, одним объаты;
В веках — одно: навек одно...
А перезвоны, перекаты
Снежат, как призраки, в окно;
А лампа бросит в занавески
Свои литые янтари;
Молчат египетские фрески
На выцветавших драпри.
Михал Сергеич повернется
Ко мне из кресла цвета «бискр»,
Стекло пенснейное проснетя,
Переплеснется блеском искр...

Он — канул в Вечность: без возврата;
Прошел в восторг нездешних мест:
В монастыре, в волнах заката, —
Рукопростертый белый крест
Стоит, как память дорогая;
Бывало, он — оснежен весь,
Истлеет, огоньком моргая;
Бывало, все взрывает здесь:
Играет скатерть парчевая,
Снегами воздухи взвивая;
И в ней — прослеженная стезь;
Хрустя перемокревшим снегом,
Бегу сюда, отдаться негам,
Озябший, заметенный весь.
Так всякий: поживет, и — помер,
И — принят под такой-то номер.





Е. ТРУБЕЦКОЙ

Личность В. С. Соловьева

I

Кому случалось хоть раз в жизни видеть покойного Владимира Сергеевича Соловьева — тот навсегда сохранял о нем впечатление человека, совершенно непохожего на обыкновенных смертных. Уже в его наружности, в особенности в выражении его больших прекрасных глаз, поражало единственное в своем роде сочетание немощи и силы, физической беспомощности и духовной глубины.

Он был до такой степени близорук, что *не видел того, что все видели*. Прищурившись из-под густых бровей, он с трудом разглядывал близлежащие предметы. Зато, когда взор его устремлялся вдаль, он, казалось, проникал за доступную внешним чувствам поверхность вещей и видел *что-то запредельное, что для всех оставалось скрытым*. Его глаза светились какими-то внутренними лучами и глядели прямо в душу. То был взгляд человека, которого внешняя сторона действительности *сама по себе* совершенно не интересуется.

Трудно представить себе выражение более прозрачное, искреннее, более соответствующее духовному облику. Всякое душевное движение отражалось в его лице с совершенно исключительною яркостью. Когда он негодовал, он становился прекрасен и грозен: в нем чувствовалась сила, наводившая страх. Когда он смеялся, его громкий заразительный смех «с неожиданными, презабавными икающими высокими нотами» * покрывал все голоса. В этом детском смехе взрослого человека было что-то с первого взгляда неестественное, что привлекало общее внимание; казалось, что он с преувеличенной силой реагирует на те комические положе-

* Выражение В. Л. Величко: Владимир Соловьев. С. 142¹.

ния и случаи, которые в других вызывают только улыбку. Но фейерверк остроумия, обыкновенно сопутствовавший этому веселому настроению, показывал, что он обладает удвоенною против других чувствительностью к смешному. В этом смехе находил себе выход накопившийся избыток душевной энергии: подчас в нем сказывалась потребность отряхнуть от себя тяжелые думы. И точно, веселое настроение иногда вдруг как-то разом сменялось у него безысходной грустью: людям, близко его знавшим, случалось видеть у него совершенно неожиданные, казалось бы, ничем не вызванные слезы. Помню, как однажды обильными слезами внезапно кончился ужин, которым Соловьев угощал небольшое общество друзей: мы поняли, что его нужно оставить одного и поспешили разойтись. Слезы эти исходили из задушевного, мало кому понятного источника; их можно было наблюдать сравнительно редко. Но часто, очень часто приходилось видеть Соловьева скучающим, угрюмо молчащим. Когда он скучал, он был совершенно неспособен скрыть свою скуку. Он мог молчать иногда часами. И это молчание человека, как бы совершенно отсутствующего, производило иногда гнетущее впечатление на окружающих. Одним это безучастное отношение к общему разговору казалось признаком презрения; другим — просто-напросто было жутко чувствовать себя в обществе человека из другого мира.

Эксцентричность его наружности и манер многих смущала и отталкивала; о нем часто приходилось слышать, будто он «позер». Люди, его мало знавшие, склонны были объяснять в нем «позой» все им непонятное. И это тем более, что все непонятное, и особенно в человеке, обладает свойством оскорблять тех, кто его не понимает. На самом деле, однако, те странности, которые в нем поражали, не только не были позой, но представляли собой совершенно естественное, более того — *наивное* выражение внутреннего настроения человека, для которого здешний мир не был ни истинным, ни подлинным.

Он, живший в постоянном соприкосновении с *миром иным*, обладал совершенно исключительной чувствительностью к пошлости окружающего. Эта пошлость давила его, как кошмар. Об этом сам он говорит в чудном стихотворении:

Какой тяжелый сон! В толпе немых видений,
Теснящихся и реющих кругом,
Напрасно я ищу той благодатной тени,
Что тронула меня своим крылом.

Но только уступлю напору злых сомнений,
Глухой тоской и ужасом объят, —

Вновь чую над собой крыло незримой тени,
Ее слова по-прежнему звучат.

Какой тяжелый сон. Толпа немых видений
Растет, растет и заграждает путь,
И еле слышится далекий голос тени:
«Не верь мгновенному, люби и не забудь»².

Соловьев никогда не оставался глух к этому призыву. По сравнению с *нездешним* миром, наполнявшим его душу, *наша* жалкая действительность вызывала в нем или скуку, или грусть, а иногда — настроение, близкое к отчаянию, от которого он освобождался смехом. Все эти внешние проявления его душевной жизни казались ненормальными и преувеличенными только потому, что в них в самом деле сказывалась величина, далеко превосходившая обычный уровень.

В связи со всем сказанным станет понятным, что Соловьев был совершенно лишен понимания к *прозе жизни*. «Я признаю поэзию только в виде стихов», — говорил он мне как-то. Это было сказано *cum grano salis*³; но, если откинуть эту дозу аттической соли, в приведенном изречении все-таки останется серьезный и характерный для Соловьева смысл. Он, с его необычайным эстетическим чутьем, с его редким поэтическим даром, не ценил и, по-видимому, не понимал величайшего из современных прозаиков — поэта будничной действительности — графа Л. Н. Толстого. Я говорю не о философии последнего, которая была совершенно *понятною*, но по другим причинам несродною Соловьеву, а именно о толстовских романах. В первой речи о Достоевском он, правда, признает за Толстым мастерство в тончайшем воспроизведении механизма душевных явлений, и в особенности — в «живописи внешних подробностей». Но ни то ни другое его в действительности не интересовало. В откровенных разговорах с друзьями он признавался, что «Война и мир» и «Анна Каренина» вызывали в нем скуку. «Я совершенно не перевариваю этой здоровой обыденщины», — говаривал он мне. И в самом деле, людям, хорошо знавшим Соловьева, совершенно невозможно представить его себе увлекающимся изображением хозяйственных и семейных забот какого-нибудь Левина, а тем более — красочным толстовским описанием какой-нибудь охоты или скачки. Популярнейший из современных художников был ему, в общем, совершенно чуждым: он и тут оставался слеп к тому, что «*все видели*», потому что сила его умственного зрения поглощалась другой, более возвышенной сферой, которая далеко не «*всем*» была доступна. По этой же причине он, обитатель горных высей, становился так безучастен, когда шедший вокруг него

оживленный разговор выходил на житейскую равнину. Тут взор его окончательно потухал: он погружался в безнадежное, упорное молчание просто потому, что не был способен понимать и даже слушать.

Эта особенность душевного склада Соловьева может быть пояснена сравнением. Кому случалось когда-либо восходить на высокую гору, тот знает, конечно, что вид на равнину всегда красивее с *полугоры*. Когда мы достигаем горной вершины, пейзаж становится тусклым, серым и унылым: там блекнут яркие краски, которые составляют красоту равнинного пейзажа: картина начинает напоминать топографический план. Соловьеву наша житейская проза казалась гораздо более, чем нам, бесцветною и скучною именно потому, что он слишком высоко над нею поднимался. И по той же причине он неизмеримо превосходил современников захватывающей *широтой* своего кругозора.

С этой чертой связана та житейская наивность Соловьева, которая так живо напоминает классическое изображение философа, данное Платоном: «С юных лет избранник мудрости не знает дороги на площадь, не ведает, где суд, совет или какое-либо другое место публичных собраний. Законы его страны ему неизвестны»; «В действительности он живет и вращается в государстве только телом, ум же его все это мало ценит и ни во что не ставит; но, говоря словами Пиндара, он всюду проникает, измеряя недра земли и то, что над нею, возносится над небом, изучая астрономию, везде исследует природу сущего и не спускается к близлежащему». В земных, рабских делах философ не смыслит, он не умеет даже завязать своего дорожного мешка; и все это юродство происходит оттого, что на земле он живет гостем. В наших земных сумерках он подслеповат именно оттого, что он привык к яркому солнечному свету небесной своей родины*.

В жизни Соловьева мы найдем сколько угодно иллюстраций к этой платоновской характеристике философа. Известно, как высоко он ценил положительный смысл земной деятельности, и однако рядом с этим мне пришлось убедиться в удивительной спутанности его понятий о земстве. Помнится, однажды нам нужно было вместе повидать одного общего знакомого, который оказался на земском собрании. Я предложил его отыскать, и Соловьев был очень удивлен моим заявлением, что присутствовать в качестве слушателей на земском собрании могут посторонние. Как он мне сказал, он думал, что «земство — что-то вроде канцелярии». В особенности в области экономической он поражал при-

* Thedetetus, 174; Gorgias, 484; Civitas, I, IV⁴.

митивностью своих суждений. Однажды он высказал мне, что признает грехом брать проценты, хотя бы и незначительные: однако тут же выяснилось, что он считает совершенно негреховным держать процентные бумаги, так как в данном случае плательщиками процентов являются государство, банки, вообще учреждения. Попытки объяснить ему какую-нибудь экономическую истину были бесполезны: он отказывался слушать и даже уверял в своей неспособности понимать.

Житейская беспомощность Соловьева нередко ставила его в положения в высокой степени комические; она же иногда служила источником опасности. Сам он с бесподобным юмором описывает свое путешествие в Сахаре; там, на основании внушения, полученного на спиритическом сеансе, он ждал чрезвычайных откровений и вместо того едва не поплатился жизнью.

Бог весть куда, без денег, без припасов
И я в один прекрасный день пошел, —
Как дядя Влас, что написал Некрасов
(Ну, как-никак, а рифму я нашел).

Смеялась, верно, ты, как средь пустыни
В цилиндре высочайшем и в пальто,
За черта принятый, в здоровом бедуине
Я дрожь испуга вызвал и за то
Чуть не убит...⁵

Наряду с этими чудачествами, составляющими черту сходства между Соловьевым и платоновским изображением философа, существует резкое, бросающееся в глаза отличие. Античный философ чувствует себя, по словам Платона, «чуждым семенем», случайным гостем в здешнем мире. Его идеал — полнейшее отрешение, бегство от земли, в котором вместе с ним должны участвовать лишь ближайшие его друзья и сограждане в тесном смысле слова. Для древнего философа земля остается навеки царством греха и беззакония; напротив, в Соловьеве поражает любовь к «земле-владычице». Цель и конец его поэтического и философского вдохновения не отрешение от земли, а окончательное примирение с нею через преображение земного в божественном.

Синие горы кругом надвигаются,
Синее море вдали,
Крылья души над землей поднимаются,
Но не покинут земли⁶.

Как бы то ни было, с этим горным настроением Соловьев должен был жить с нами среди равнины: он или возносился над нею

в свободном полете вдохновения, или негодовал, боролся, обличал ее плоскость и пошлость, или же, наконец, над нею смеялся, шутил; но, так или иначе, он всегда над нею возвышался. В нем было причудливое сочетание мистического философа-поэта, пророка-обличителя неправды и... балагура. Сочетание это многих соблазняло и смущало; не все понимали, что как его вдохновение, так и его негодование и его смех вытекали из одного общего источника: из его серьезного отношения к жизненному идеалу — из пламенной веры в смысл жизни.

Как философ и поэт, он созерцал небесный свет в его бесчисленных здешних преломлениях и восходил, подобно Платону, от этих отражений к их первоисточнику. Когда этот свет освещал для него глубь земной действительности и делал явным скрытые в ней темные бесовские силы, он, как пророк и обличитель, метал в них небесные громы. Вне этой борьбы света с тьмой жизнь была для него бессмыслицей, шуткой. Такое отношение его к жизни выразилось в одном из наиболее ярких его стихотворений.

Таков закон: все лучшее в тумане,
А близкое — иль больно, иль смешно,
Не миновать нам двойственной сей грани.
Из смеха звонкого и из глухих рыданий
Созвучие вселенной создано⁷.

«Созвучие вселенной» находило себе живой отклик в душе философа. Отдыхая от скорби и напряжения жизненной борьбы, он любил в кругу друзей шутить и балагурить; то был неистощимый, брызжащий источник веселья и остроумия. Трудно передать, как интенсивно мы наслаждались блестящею игрою этого многогранного ума. Между самым серьезным, возвышенным разговором и балагурством для него не существовало той житейской середины, на которой всего чаще останавливается беседа людей обыкновенных.

Образцы этого неподражаемого юмора сохранились в замечательных шуточных стихотворениях покойного философа, напечатанных в приложении ко второму тому его писем и в его драме «Белая лилия», которая в свое время была напечатана. Но особенно живо напоминают его беседы его письма, которые нередко оканчиваются стихами. Тут, между прочим, очаровательны шутки над самим собою, над собственной беспомощностью, безденежьем, над своими недугами и немощами. Уморительна, например, нотация, которую читает ему генерал Фаддеев в ответ на рассказ о приключении с бедуином в Сахаре:

...В молчаньи генерал, поевши супа,
Так начал важно, взор в меня вперив:

«Конечно, ум дает права на *глупость*,
Но лучше сим не злоупотреблять,
Не мастерица ведь людская тупость
Виды безумья точно различать.

А потому, коль вам прослыть обидно
Помешанным иль просто дураком, —
Об этом происшествии постыдном
Не говорите больше ни при ком»⁸.

В других стихотворениях, соответственно поговорке, «что у кого болит, тот о том и говорит», видно стремление освободиться смехом от гнетущей философа острой физической или нравственной боли. Например, в 1896 году он пишет М. М. Стасюлевичу:

Михал Матвеич, дорогой,
Пишу Вам из казенны,
Согбен от недуга дугой
И полон всякой скверны.

Забыты сладкие труды
И Вакха и Киприды;
Давно уж мне твердят зады
Одни геморроиды.

В другом письме жалобы на аналогичные недуги разрешаются пожеланием:

Я на все, судьба, согласен,
Только плешью не дари:
Голый череп, ах! ужасен,
Что ты там ни говори.

Знаю, безволосых много
Меж святых отцов у нас;
Но ведь мне не та дорога:
В деле святости — я пас.

Преимуществом фальшивым
Не хочу я щеголять
И к главам мироточивым
Грешный череп причислять⁹.

Иногда в форму шуточного стихотворения облекается самое предчувствие конца, всегда носившееся перед Соловьевым. Такова, например, его известная эпитафия о самом себе:

Владимир Соловьев лежит на месте этом.
Сперва был философ, а ныне стал шкелетом.
Иным любезен быв, он многим был и враг;
Но, без ума любив, сам свергнулся в овраг.

Он душу потерял, не говоря о теле,
Ее диавол взял, его ж собаки съели.
Прохожий, научись из этого примера,
Сколь пагубна любовь и сколь полезна вера.

В этом роде это — не единственное стихотворение; есть другие, где совсем не веселое содержание проглядывает сквозь шутку еще яснее. В 1895 году он пишет Э. Л. Радлову: «Я приветствовал сам себя сегодня следующим правдивым и безыскусственным четверостишием:

В лесу болото,
А также мох.
Родился кто-то,
Потом издох».

Шутка в устах Соловьева часто имела весьма серьезный смысл. Он в особенности охотно острил о том, над чем хотел подняться. Есть у него и шутки иного рода, где за избытком жизнерадостного настроения совсем скрывается его грустная оборотная сторона. Это — порхание бабочки над радужными цветами; но и оно невозможно без крыльев.

II

Немощь и беспомощность Соловьева, о которой мы говорили, была неразрывно связана с его силой. Среди разнообразных даров этой богатой природы совершенно отсутствовали качества заурадные, средние. Неудивительно, что в житейских отношениях его всякий мог обойти и обмануть.

Прежде всего его со всех сторон всячески обирали и эксплуатировали. Получая хорошие заработки со своих литературных произведений, он оставался вечно без гроша, а иногда даже почти без платья. Он был *бессребреником* в буквальном смысле слова, потому что серебро решительно не уживалось в его кармане; и это — не только вследствие редкой *детской* его доброты, но также вследствие решительной его неспособности ценить и считать деньги. Когда у него их просили, он вынимал бумажник и давал не глядя, сколько захватит рука, и это — с одинаковым доверием ко всякому просившему. Когда же у него не было денег, он снимал с себя верхнее платье. Помню, как однажды глубокой осенью в Москве я застал его страждущим от холода; весь гардероб его в то время состоял из легкой пиджачной пары альпага и из еще более легкой серой крылатки: только что перед тем, не имея денег, он отдал какому-то просителю все суконное и во-

обще теплое, что у него было: он рассчитывал, что *к зиме успеет заработать себе на шубу*. В. Л. Величко припоминает аналогичные случаи, когда, раздав все свои вещи, Соловьев затем носил фрак с бурыми пиджачными брюками, временно надевал шубу одного приятеля или увозил за тридевять земель шляпу другого *. Другой приятель его, доктор Петровский, также свидетельствует о «беспримерной» щедрости Соловьева. По его словам, покойный философ «в материальном отношении всегда действовал как богач в смысле помощи ближнему, несмотря на то что сам добывал средства к существованию исключительно лишь литературным трудом. «Если возможно было вычислить, какую часть своих скромных доходов он отдавал тем, которые обращались к нему за денежной помощью, то, наверное, получились бы очень интересные цифры» **. В царских «на чаях» и в щедрой благотворительности он видел способ восстановления «непосредственной экономической справедливости» ***.

Между просителями, осаждавшими философа, понятное дело, бывали *всякие*. Однажды, надеясь экономичнее распорядиться своим летом, он поселился в крестьянской избе; но пребывание в деревне обошлось ему не дешево: он, между прочим, дал денег на покупку коровы крестьянину, который потом оказался одним из богатейших в селе и едва ли не кулаком. Зная его безграничную щедрость, извозчики иногда облепляли его подъезд, часами дожидаясь его выхода из дому: но пешие прогулки обходились ему еще дороже, так как он горстями давал нищим, чему мне не раз приходилось быть свидетелем. В. Л. Величко рассказывает об одной его прогулке по Петербургу, когда он отдал нищим все свои деньги, кошелек, пустой бумажник, носовой платок и старые ботинки. В результате философ остался без обуви, так как новые ботинки оказались не по мерке, а других купить было не на что: если бы не выручивший его приятель — он остался бы без обеда ****.

Неудивительно, что при таких условиях Соловьев постоянно испытывал острую нужду и всячески сокращал свои потребности. Своему другу, доктору Петровскому, он говорил, что «обедать через день совершенно достаточно для человека и что потребность в ежедневном обеде есть не что иное, как дурная привычка» *****. О пустоте своего кармана сам он говорит в стихах:

* Владимир Соловьев. С. 146.

** Памяти Соловьева (Вопросы философии. 1905. Кн. 56. Янв.—февр.).

*** Величко. Указ. соч. С. 147.

**** Указ. соч. С. 148—149.

***** Цит. статья. С. 40.

Идти пешком (из Лондона в Сахару
Не возят даром молодых людей,
В моем кармане хоть кататься шару,
И я живу в кредит уж много дней).

Из писем его видно, что он всегда в таком положении. То он пишет родителям на клочке, «потому что бумаги купить не на что» *, то сообщает «с душевным прискорбием о преждевременной кончине своих капиталов» **, то извещает, что накануне получения денег истратил последний пятиалтынный *** или что он сидит без нужды в Петербурге «отчасти потому, что выехать не с чем». В письме к Аксакову он изыскивает средства, чтобы сделать обычный денежный подарок некоему N, по-видимому нуждающемуся, и в то же время говорит о собственном денежном положении: «А мне в последнее время приходится вспоминать о некоторых критических минутах в жизни Иова...» **** В письме к Э. Л. Радлову как нельзя более наглядно обрисовывается то свойство характера Соловьева, которое было причиной этой хронической нужды. Он ожидает получения денег за сочинения своего отца и свои собственные и заранее умоляет друга взять у него займы деньги на поездку в Карлсбад. «Таким образом, — прибавляет он, — я не только изглажу рукописание грех своих, но еще получу возможность, сам быв искушен, и искушаемым помощи» *****.

Об этой черте философа прекрасно говорит доктор Петровский: «Он — я хорошо знаю — всегда готов был обедать через день для того, чтобы доставить возможность обедать каждый день кому-либо другому, — без всякой мысли рекомендовать ему ту умеренность, которой следовал сам» ^{6*}.

С этой горячностью сердца в Соловьеве сочетались наивность и доверчивость ребенка: он постоянно переоценивал людей, ошибался в них так, как, разумеется, не мог бы ошибиться человек с простым здравым смыслом. Особенно часто обманывался он в женщинах. Он легко пленялся ими, совершенно не распознавая прикрытой кокетством фальши, а иногда и ничтожества. Когда же наглядные доказательства, казалось, должны были бы привести его к полному разочарованию, он все-таки утверждал, что

* Письма. Т. II. 20.

** Там же. 8.

*** Там же. 12.

**** Там же. 290.

***** Письма. Т. I. 245.

^{6*} Цит. статья. С. 40.

«ее умопостигаемый характер прекрасен», а обнаруживавшиеся недостатки — только свойства «характера эмпирического». Глядя на действительность с недостижимой для простых смертных высоты, он, понятное дело, ясно видел общую картину жизни, но сбивался в оценке отдельных явлений, и в особенности индивидуальных характеров. Его неуравновешенное, вечно работавшее воображение часто приписывало людям несуществующие положительные качества. Мой покойный брат рассказывал мне, как однажды Соловьев по близорукости принял скорлупу деревянного пасхального яйца, надетую на палочку, за одиноко растущий цветок: брат разрушил его иллюзию в минуту, когда Соловьев, вдохновившись воображаемым цветком, писал о нем стихотворение. В его оценках людей беспрестанно повторялся тот же обман зрения.

Та же близорукость относительно житейского нередко вовлекала Соловьева в заблуждения противоположного свойства: иногда он предполагал адские замыслы там, где на самом деле были только самые обыденные и невинные человеческие поступки. Однажды, когда он ехал из Генуи в Канны, в занятое им отделение вагона вошла какая-то супружеская чета; оставив вещи на полке, она тотчас удалилась, после чего поезд тронулся. Соловьеву мигом представилось, что в покинутом чемодане лежит зарезанный младенец. Взволнованный страшной картиной подозреваемого преступления, он решился заявить об этом кондуктору. Оказалось, разумеется, что в чемодане находились обыкновенные пассажирские вещи, а супруги просто-напросто завтракали в вагоне-ресторане. За это же путешествие с ним случилось другое характерное для него приключение: не рассчитав путевых издержек, он оказался без денег в Венеции и, чтобы доехать, должен был заложить свои часы.

С беспомощностью в Соловьеве сочеталась безалаберность человека, совершенно неприспособленного к жизни. Бесприютный скиталец, он вечно странствовал и не имел определенного местопребывания. У него никогда не было определенных часов ни для еды, ни для сна, ни для занятий. Он делал из ночи день, а из дня — ночь. Проведя вечер в кругу друзей, он иногда после ужина садился за занятия, писал целую ночь и ложился рано утром. Когда он оставался один, без заботливого попечения людей ему близких (что случалось с ним очень часто), он, не признавая завтраков и обедов, ел, и то не всегда, когда его вынуждал к тому голод, питаясь вегетарианской пищей. Но, если тут же заходил к нему приятель, он любил угощать его вином и сам пил, не справляясь о часах. С юных лет он имел пристрастие к тем дру-

жеским беседам, во время которых его заставляла «заря с Востока» *. В этом отношении он следовал своей особой теорией.

«Вообще, вино повышает энергию нервной системы и через нее — психической жизни на низших ступенях духовного развития, где преобладающая сила в душе еще принадлежит плотским мотивам, все, что возбуждает и поднимает служащую душе нервную энергию, идет на пользу этого господствующего плотского элемента и, следовательно, крайне вредно для духа; поэтому здесь необходимо полное воздержание “от вина и сикера”. Но на более высоких ступенях нравственной жизни, какие достигались и в языческом мире, например Сократом (см. Платонов «Пир»), — энергия организма служит более духовным, нежели плотским целям, и повышение нервной деятельности (разумеется, в пределах, не затрагивающих здоровья) усиливает действие духа и, следовательно, может быть в известной мере не только безвредно, но даже прямо полезно» **. В беседах со мной он выражал то же самое короче. Он находил, что вино — прекрасный реактив: в нем обнаруживается весь человек: кто скот, тот в вине станет совершенной скотиной, а кто человек — тот в вине станет ангелом.

В применении к Соловьеву эта теория вполне оправдывалась. Пир с ним были воистину «Платоновыми пирами»: он испытывал подъем духа, который передавался и другим: кто из его друзей не помнит этих вдохновенных бесед, этого моря чарующего и заразительного веселья! Но полезное для духа не всегда полезно для слабого, изнуренного хроническим недоеданием, истощенного тела.

Бившая из него ключом духовная жизнь вообще не укладывалась в какие бы то ни было житейские рамки: в нем была непокорная стихия, которая бунтовала против всего обыденного и в том числе — против всякого раз и навсегда заведенного порядка. Это та самая черта его характера, которая нашла себе образное выражение в его чудном стихотворении «Сайма»:

Озеро плещет волной беспокойною,
Словно как в море растущий прибой,
Рвется к чему-то стихия нестройная,
Спорит о чем-то с враждебной судьбой.

Знать, не по сердцу оковы гранитные!
Только в безмерном отраден покой.

* Собрание стихотворений. С. 138.

** Оправдание добра. II // Соловьев В. С. Собр. соч. Т. VII. С. 70.

Снятся былые века первобытные,
Хочется снова царить над землей.

Бейся, волнуйся, невольница дикая!
Вечный позор добровольным рабам.
Сбудется сон твой, стихия великая,
Будет простор всем свободным волнам.

В свободной душе Соловьева это возмущение против добровольных оков связано с тоской по синеве безбрежной.

Волна в разлуке с морем
Не ведает покою,
Ключом ли бьет кипучим
Иль катится рекою, —

Все ропщет и вздыхает,
В цепях и на просторе,
Тоскуя по безбрежном,
Бездонном синем море.

Само собою разумеется, что этот бунт против всего обыденного, житейского не прошел Соловьеву безнаказанным. В его неприспособленности к жизни заключается, без сомнения, главная причина его преждевременного конца. Новые творческие замыслы рождались в нем; и талант его рос и укреплялся, когда тело его, изнуренное трудом и болезнью, отказывалось ему служить. Врачи, окружавшие его перед смертью, удивлялись не тому, что он умирает, а тому, что он мог жить, и притом жить столь напряженной духовной и умственной жизнью, при такой степени физического упадка *. «Общую иннервацию» нашел у Соловьева уже за одиннадцать лет до его кончины известный Боткин, который тогда же поставил условием здоровья женитьбу и спокойный образ жизни, — то самое, что всего больше противоречило душевному складу философа. Пилюли, прописанные «за неисполнимостью совета» **, в данном случае, разумеется, не могли не оказаться плохим лекарством. Какие пилюли могут спасти человека, у которого атрофирован самый жизненный инстинкт, присущее всем смертным стремление к самосохранению. Эта особенность Соловьева как нельзя более ярко изображалась в самой его наружности: не будучи аскетом, он имел вид изможденный и представлял собой какие-то живые мощи. Густые локоны, спускавшиеся до плеч, делали его похожим на ико-

* Кн. С. Трубецкой. Основное начало учения В. Соловьева // Собр. соч. Т. 1. С. 352.

** Письма. Т. II. С. 64.

ну. Характерно, что его часто принимали за духовное лицо: его встречают возгласом: «Как, Вы здесь, батюшка»! Маленькие дети, хватая его за полы шубы, восклицают: «Боженька, боженька!» *

С этой наружностью аскета резко контрастировал его звучный, громкий голос: он поражал своей, неизвестно откуда шедшей, мистической силой и глубиной.

III

Работа мысли и воображения Соловьева никогда не останавливалась: она достигала высшего своего напряжения именно в те часы, когда он, по-видимому, ничем не был занят. Он не имел обыкновения думать с пером в руке: он брался за перо только для того, чтобы записать произведение, уже раньше созревшее и окончательно сложившееся в его голове; самый же процесс творчества происходил у него или на ходу, во время прогулки или приятельской беседы, или же, наконец, в часы бессонницы, не прекращаясь даже и во время сна: ему случалось просыпаться с готовым стихотворением. Поэтому для него, собственно говоря, не существовало отдыха и всего менее он отдыхал во сне *.

По собственному его признанию, которое мне приходилось от него слышать, сон был для него «как бы окном в другой мир»: во сне он нередко беседовал с умершими, видел видения — иногда вещие, пророческие, иногда фантастические, странные. Об этих беседах с отшедшими говорит одно из характерных для него стихотворений:

Лишь только тень живых, мелькнувши, исчезает,
Тень мертвых уж близка,
И радость горькая им снова отвечает,
И сладкая тоска ¹⁰.

Или, еще лучше, в том же роде:

Едва покинул я житейское волненье,
Отшедшие друзья уж собрались толпой,
И прошлых смутных лет далекие виденья
Яснее и ясней выходят предо мной.

* Там же. С. 46.

** Строки эти были написаны на основании моих собственных наблюдений; но совершенно так же описывают процесс творчества Соловьева два других друга: *Кн. С. Трубецкой*. Указ. соч. С. 356; *Рачинский Г. А.* // Вопросы философии. 1905. Кн. 56. С. 131.

Весь свет земного дня вдруг гаснет и бледнеет,
Печалью сладкою душа упоена,
Еще незримая — уже звучит и веет
Дыханьем вечности грядущая весна.

Я знаю: это вы к земле свой взор склонили,
Вы подняли меня над тяжелой суетой
И память вечного свиданья оживили,
Едва не смытую житейскою волной.

Еще не вижу вас, но в час предназначенья,
Когда злой жизни дань всю до конца отдам,
Вы въявь откроете обитель примиренья
И путь укажете к немеркнущим звездам¹¹.

Соловьев верил в реальность, *действительность* этого общения с умершими. Душевная потребность в нем связывалась для него с самой сущностью его религиозного и философского идеала. Он верил в действительность воспринятых во сне откровений; и это тем более, что предсказания его сновидений нередко сбывались.

Его посещали не одни «родные тени». Кроме этих дорогих ему видений, ему являлись и страшные, притом не только во сне, но и наяву. В. Л. Величко, как и многие другие, рассказывает, что «он видел дьявола и пререкался с ним»^{*}; некоторые друзья знали заклинание, которое он творил в подобных случаях. В моем присутствии однажды он, несомненно, что-то видел: среди оживленного разговора в ресторане за ужином он вдруг побледнел с выражением ужаса в остановившемся взгляде и стал напряженно смотреть в одну точку. Мне стало жутко, на него глядя. Тут он не захотел рассказывать, что, собственно, он видел, и, придя в себя, поспешил заговорить о чем-то постороннем. Но в других случаях он рассказывал.

У него бывали всякого рода галлюцинации — зрительные и слуховые; кроме страшных были и комичные, и почти все были необычайно нелепы. Как-то раз, например, лежа на диване в темной комнате, он услышал над самым ухом резкий металлический голос, отчеканивавший каждое слово: «Я не могу тебя видеть потому, что ты так окружен». В другой раз рано утром, тотчас после его пробуждения, ему явился восточный человек в чалме. Он произнес необычайный вздор по поводу только что написанной Соловьевым статьи о Японии («Ехал по дороге, про буддизм читал, вот тебе буддизм») и ткнул его в живот необычайно длин-

^{*} Указ. соч. С. 164.

ным зонтиком. Видение исчезло, а Соловьев ощутил сильную боль в печени, которая потом продолжалась три дня.

Такие болевые ощущения и другие болезненные явления у него бывали почти всегда после видений. По этому поводу я как-то сказал ему: «Твои видения — просто-напросто — галлюцинации твоих болезней». Он тотчас согласился со мной. Но это согласие нельзя истолковывать в том смысле, чтобы Соловьев отрицал реальность своих видений. В его устах слова эти значили, что болезнь делает наше воображение восприимчивым к таким воздействиям духовного мира, к которым люди здоровые остаются совершенно нечувствительными. Поэтому он в подобных случаях не отрицал необходимости лечения. Он признавал в галлюцинациях явления субъективного, и притом больного, воображения. Но это не мешало ему верить в объективную причину галлюцинации, которая в нас *воображается, воплощается* через посредство субъективного воображения во внешней действительности. Словом, в своих галлюцинациях он признавал *явления медиумические*. И в самом деле, как бы мы ни истолковывали спиритические явления, какого бы взгляда ни держались на их причину, нельзя не признать, что самые *явления* переживались Соловьевым очень часто. Он, во всяком случае, был очень сильный медиум, хотя медиум невольный, пассивный.

В юные годы он очень увлекался спиритизмом и был вводим в обман разного рода мнимыми откровениями. Это послужило поводом к скорому разочарованию. В зрелых годах, когда мирозерцание его вполне сложилось, Соловьев относился к спиритическим сеансам, безусловно, отрицательно, как к занятию не только праздному, но и греховному. Уже в 1875 году он пишет из Лондона кн. Д. Н. Цертелеву: «На меня английский спиритизм произвел точно такое же впечатление, как на тебя французский: шарлатаны с одной стороны, слепые верующие — с другой; и маленькое зерно действительной магии, распознать которое в такой среде нет почти никакой возможности. Был я на сеансе у знаменитого Вильямса и нашел, что это фокусник более наглый, нежели искусный. Тьму египетскую он произвел, но других чудес не показал. Когда летавший во мраке колокольчик сел на мою голову, я схватил вместе с ним мускулистую руку, владелец которой духом себя не объявил. После этого остальные подробности малоинтересны» *. Впоследствии Соловьев высказывал о спиритизме суждения еще более отрицательные; но, как бы то ни было, это увлечение его молодости не прошло ему даром: оно

* Письма. Т. II. С. 228.

расстроило его нервную систему и, без сомнения, усилило его предрасположение к галлюцинациям. Если бы не эти добровольные занятия спиритизмом, он, может быть, и не стал бы *невольным* медиумом.

Охарактеризованное только что отношение Соловьева к галлюцинациям тесно связано с существенными чертами его миро-созерцания. Духовный мир был для него не отвлеченным умо-представлением, а живой действительностью и предметом опыта. Он не признавал ничего неодухотворенного: мир телесный в его глазах представлял собою не самостоятельное, самодовлеющее целое, а сферу проявления и воплощения невидимых духовных сил. Тут мы соприкасаемся с наиболее чуждою, непонятною современникам чертою умственного облика Соловьева: он мог бы подписаться под изречением древнего Фалеса: «Все полно богов». Он видел деятельность незримых сил духовных в самых разнообразных явлениях природы: в движении волн морских, в молнии и громе. Они наполняли для него таинственную жизнь и леса, и горы. Мир сказочный с его водяными, русалками и лесными был ему не только понятен, но и сроден: внешняя природа была для него или иносказанием, или прозрачной оболочкой — средой, в которой господствуют деятели зрячие, сознательные: развитие природы для него — непрерывно совершающееся, а потому несовершенное и незаконченное откровение иной, сверх-природной, действительности. В таком понимании природы заключается один из наиболее могучих источников поэтического вдохновения Соловьева. Здесь корень того необычайного подъема душевного, который вызывается в нем созерцанием ее красоты: когда он видит горы и море, у него вырастают крылья*, а осенний вид вызывает в нем молитвенное настроение.

В этих поэтических видениях у Соловьева облекается в плоть и кровь его философское понимание природы. В поэтической интуиции он чувствует мировую душу, вступает в общение с «вла-дычицей земли»:

* См. приведенное уже выше стихотворение «В Альпах»:

...Замерла бесконечная даль.
И роскошно блестящей и шумной весны
Примиренному сердцу не жаль.

И как будто земля, отходя на покой,
Погрузилась в молитву без слов,
И спускается с неба невидимый рой,
Бледнокрылых, безмолвных духов.

Я озарен осеннею улыбкой —
Она милей, чем яркий смех небес.
Из-за толпы бесформенной и зыбкой
Мелькает луч — и вдруг опять исчез.

Плачь, осень, плачь, — твои отрадны слезы!
Дрожащий лес, рыдания к небу шли!
Ревя, о буря, все свои угрозы,
Чтоб истощить их на груди земли!

Владычица земли, небес и моря!
Ты мне слышна сквозь этот мрачный стон.
И вот твой взор, с враждебной мглою споря,
Вдруг озарил прозревший небосклон¹².

В другой раз, обращаясь к земле-владычице, поэт прямо говорит:

Родного сердца пламень ощутил я,
Услышал трепет жизни мировой¹³.

В этом проникновении в тайну мировой жизни он находит исцеление земным страданиям, он верит в животворящую силу красоты:

И призраки ушли, и вера неизменна,
А вот и солнце вдруг взглянуло из-за туч.
Владычица-земля! Твоя краса нетленна,
И светлый богатырь бессмертен и могуч¹⁴.

Природа жива! В этом залог нашей надежды на окончательное торжество жизни над смертью. Рано или поздно восторжествуют те зрячие силы, коих несовершенное явление мы уже теперь наблюдаем во внешнем мире. Тогда земля вернет умерших к жизни. На эти мысли наводит философа вид урожая в Нильской дельте:

Золотые, изумрудные,
Черноземные поля...
Не скупа ты, многотрудная,
Молчаливая земля!

Это лоно плодотворное —
Сколько дремлющих веков —
Принимало, всепокорное
Семена и мертвецов.

Но не все, тобою взятое,
Вверх несла ты каждый год:
Смертью древнею закланное
Для себя весны все ждет.

Не Изида трехвенечная
Ту весну им приведет,
А нетронутая, вечная
«Дева Радужных Ворот»¹⁵.

Одно и то же понимание природы рождало эти чудные поэтические образы и вместе с тем было источником целого ряда невероятных чудачеств, поражавших в Соловьеве. Этот человек, веривший в существование добрых и злых духовных сил, населяющих природу, молившийся владычице-земле и обращавшийся со стихотворными увещаниями к «морским чертям», в наш скептический век являл собою как бы олицетворенный парадокс. Философ-мистик, для которого духовный мир и мир духов — не только предмет веры и постижения, а доступное наблюдению явление, в качестве *чужого* нашему времени неизбежно должен казаться чудным. Неудивительно, что вся философия Соловьева представлялась большинству его современников сплошным чудачеством; и это — тем более, что он, с его редким чутьем к пошлости всего ходячего, общепринятого, обладал в необычайной степени духом противоречия.

Эта черта, присущая многим сильным умам, особенно понятна в Соловьеве. Та доступная внешним чувствам действительность, которая для обыкновенного человека носит в себе печать подлинного и истинного, в глазах Соловьева представлялась не более как опрокинутым отражением мира невидимого, истинно сущего. Неудивительно, что подобное мирозерцание опрокидывало все общепринятые оценки существующего.

IV

Противоречие с общепринятым «нормальным» для философского облика Соловьева не есть что-либо внешнее, случайное: оно коренится в самом его существе.

Искание безусловного и безотносительного, наполнявшее душу философа, беспредельно расширяло его ум и не давало ему возможности окончательно удовлетвориться чем-либо условным, относительным. Тот широкий универсализм, в котором Достоевский усматривает особенность русского гения, был ему присущ в высшей мере; именно благодаря этому свойству он был беспощадным изобличителем всякой односторонности и тонким критиком: в каждом человеческом воззрении он тотчас разглядывал печать условного и относительного.

Наиболее распространенные, ходячие людские мнения редко представляют собою беспримесную истину или беспримесную

ложь: большею частью они заключают в себе пеструю смесь того и другого; они принимают сторону истины за *всю истину*. В каждом данном воззрении Соловьев легко угадывал его односторонность; и это тотчас заставляло его *противоречить*, т. е. выдвигать ту сторону истины, которая заключается в воззрении противоположном.

Как часто приходилось наблюдать эту черту в его спорах, в особенности философских и политических.

В начале его литературной деятельности в области публицистики господствовало западничество, в области философии — материализм и позитивизм. Соловьев, всегда плывший против течения, вступил на литературное поприще славянофилом; в философии он начал с блестящей полемики против материализма и позитивизма. В то время, в семидесятых годах, этим самым создавалось для него совершенно одинокое положение среди русских философов. Напротив, позднее, в восьмидесятых годах, когда началось наше с ним знакомство, мне приходилось встречать его преимущественно среди московского кружка молодых философов-идеалистов. Тут он чаще всего резко восставал против одностороннего идеализма и спиритуализма, подчеркивая относительную истину материализма и позитивизма. В реферате, читанном в Петербурге в 1898 году на собрании Философского общества, сам он так говорит о своем отношении к Огюсту Конту: «Более двадцати лет тому назад мне пришлось на этом самом месте начать свое публичное поприще резким нападением на позитивную философию. Мне нет причины в этом раскаиваться. Во-первых, в то время на позитивизм у нас была мода и, как водится, эта умственная мода становилась идолопоклонством, слепым и нетерпимым ко всем “несогласно мыслящим”. Противодействие тут было не только извинительно и уместно, но и обязательно для начинающего философа, как первый экзамен в серьезности философского призвания. А во-вторых, это идолопоклонство, несправедливое к иноверцам, обижало и самого идола: за целого Конта выдавалась только первая половина его учения, а другая — и, по мнению учителя, наиболее значительная, окончательная — замалчивалась. Но если мне не приходится раскаиваться в факте своего нападения и если на мне нет вины перед позитивизмом тогдашнего русского общества, то долг перед Контом все-таки остается, долг указать зерно истины в его действительном, целом учении» *.

* Идея человечества у Августа Конта. Т. VIII. С. 225.

В те дни, когда эти слова были сказаны, отрицательное отношение к позитивизму уже, в свою очередь, стало входить в моду; частые его опровержения начинали надоедать повторением одних и тех же доводов, ставших почти обязательными. Та же история повторилась и с отношением философа к славянофильству. Пока оно было в загоне, Соловьев был славянофилом; как только оно вошло в силу, выродилось в национализм и превратилось в *идолопоклонство* — он вышел из славянофильского лагеря и стал выдвигать ту сторону истины, которая заключалась в западничестве.

Ничто так не раздражало покойного философа, как идолопоклонство. Когда ему приходилось иметь дело с узким догматизмом, возводившим что-либо условное и относительное в безусловное, дух противоречия сказывался в нем с особой страстностью. В особенности жестоко доставалось от него наиболее вредным из всех идолов — идолам политическим. Таких идолов он находил в самых противоположных воззрениях — в славянофильстве и в западническом либерализме, в учении Каткова и в социализме. Обыкновенно он обрушивался всеми силами против того идола, которому наиболее поклонялись в среде, где он в данное время жил. Поэтому перемена местопребывания не оставалась без влияния на его полемику. Его полемические статьи против славянофилов, Каткова и иных эпигонов славянофильства относятся большею частью к тому времени, когда он проживал преимущественно в Москве, часто сталкиваясь с деятелями Страстного бульвара и вообще с националистами. Напротив, его известная статья «Византизм и Россия», близкая к славянофильству по своей положительной оценке неограниченного самодержавия, была написана в то время, когда он вращался преимущественно в либеральных западнических кругах в Петербурге. Статья эта была напечатана в «Вестнике Европы», который в данном случае сыграл роль унтер-офицерской вдовы из «Ревизора». Соловьев заслужил горячие похвалы от «Московских ведомостей», незадолго перед тем его распилавших.

Тот самый универсализм, который заставлял Соловьева восставать против идолов, обуславливал его чрезвычайно высокую оценку *относительного*. В его глазах относительное только тогда становится ложью, когда оно *возводится в безусловное*, становится на его место; напротив, относительное, утверждаемое как таковое, составляет необходимую часть целой, *вселенской* истины. Редкая широта его кругозора давала ему возможность угадывать не только ограниченность и ложь каждого данного воззрения, но и то зерно истины, которое оно в себе заключает.

Неудивительно, что мы находим у него положительные оценки самых противоположных и несходных мирозозерцаний. Он — верующий христианин, но это не мешает ему находить элементы положительного откровения не только в исламе, но и во всевозможных языческих религиях Востока и Запада. Философ-мистик, он тем не менее высоко ценит ту относительную истину, которая заключается в учениях рационалистических и эмпирических. Как политик и публицист он не может быть назван ни социалистом, ни индивидуалистом, ни консерватором, ни либералом, потому что он видит правду в каждом из этих противоположных направлений и пытается объединить их в органическом синтезе. Характеризуя поэзию гр. А. К. Толстого, Соловьев, между прочим, отмечает в покойном поэте черту, глубоко ему сродную: он боролся оружием свободного слова за права красоты, которая есть осязательная форма истины, и за жизненные права человеческой личности. *«Но именно потому, что путь, указанный поэту, был правдивый и борьба на этом пути была борьбою за высшую правду, за интересы безусловного и вечного достоинства, она возвышала поэта не только над житейскими и корыстными битвами, но и над тою партийною борьбою, которая может быть бескорыстною, но не может быть правдивою, ибо она заставляет видеть все в белом цвете на своей стороне и все в черном — на стороне враждебной; а такого равномерного распределения цветов на самом деле не бывает и не будет — по крайней мере, до Страшного суда»* *.

Так же как и для Толстого, для Соловьева характерна эта неспособность «отдаться всецело одному из враждующих станом». Разбирая великий спор христианских церквей, он прямо говорит о *«невозможности пристать ни к одной из спорящих сторон»* **. Такое же положение Соловьев занимал во всех великих спорах его времени — религиозных, философских, политических. С одной стороны, как справедливо замечает Э. Л. Радлов *** о нем, «самые разнообразные направления и общественные течения с некоторым правом могли сказать: «он наш»; но, с другой стороны, именно поэтому всем *односторонним* направлениям он был одинаково чуждым. Всем близкий, он был, есть и остается до сих пор не понятым почти всеми. Одиночество этого мыслителя, столь отзывчивого ко всему человеческому, — одна из тех парадоксальных черт, которых так много в его судьбе. А между

* Поэзия гр. А. К. Толстого // Соловьев В. С. Собр. соч. Т. VI. С. 48.

** Великий спор и христианская политика. С. 71 ¹⁶.

*** В предисловии к IX т. соч. Соловьева, с. XVIII.

тем оно вполне понятно и естественно: оно объясняется не только глубиной, но и беспредельною *широтой* его воззрений. Среднему человеку труднее всего понять то, что не укладывается в прокрустово ложе какого-нибудь партийного течения, то, что не может быть охарактеризовано каким-нибудь шаблонным ярлыком. Политик, который не отождествляет себя с какой-либо определенной партией, а пытается стоять над партиями, сочетая в своем уме истину каждой, со всех сторон вызывает к себе враждебное и несправедливое отношение: одни заподозривают в нем реакционера, другие, наоборот, крамольника: диалектический переход от одной точки зрения к другой понимается как выражение непостоянства, изменчивости в убеждениях, а попытка объединения, синтеза противоположностей принимается за внутреннее противоречие. Соловьеву в течение всей своей жизни приходилось страдать от такого партийного к себе отношения, и не в одной политике. Современники в огромном большинстве судили о нем весьма поверхностно: одни приклеивали к нему ярлык «славянофила»; в славянофильском лагере, наоборот, его в то же самое время травили как «западника», «католика» и даже «изменника». При этом нельзя сказать, чтобы никто его не ценил: многие восхищались им как публицистом, другие пленялись его стихами, третьих привлекала какая-либо сторона его религиозных и философских воззрений; но почти никто не охватывал его миропонимания в его целом: то, что составляло сущность его воззрений, было доступно лишь весьма немногим*.

В стране морозных вьюг, среди седых туманов
Явилась ты на свет.

И, бедное дитя, меж двух враждебных станов
Тебе приюта нет¹⁷.

По-видимому, здесь он разумел свое религиозное и философское учение.

* Ср.: *Кн. С. Трубецкой*. Основное начало учения Соловьева: «С различных сторон ему хотели навязать принципы, которым он никогда не служил. Люди различных партий считали его своим, потому что он признавал их относительную правду: и они же яростно нападали на него и обвиняли в отступничестве, когда убеждались, что он не считал их правду безусловною; кто только не звал его ренегатом! Еще недавно в одной из речей, произнесенных в его память, было сказано, что, как публицист, он плыл без компаса. *И как это бывает всегда, его называли беспринципным, потому что он неизменно служил одному высшему принципу*» (Собр. соч. Т. 1. С. 364).

V

В жизни Соловьева выразились те же черты характера, как и в его мировоззрении. Как в своем учении он не мог успокоиться на каком-либо одностороннем начале, так и в жизни он не мог окончательно плениться чем-либо, носившим печать преходящего, временного. В его уме и в его сердце было слишком много струн, чтобы какая-либо односторонняя привязанность или одностороннее чувство могли завладеть им окончательно. Он был горячим и верным другом. Ради друзей он был всегда готов на жертвы; будь это нужно, он не задумался бы положить за них душу; но было бы совершенно невозможно представить себе его супругом и отцом.

Чувство любви к женщине было хорошо и близко ему знакомо. Оно играло огромную роль в его душевном настроении и творчестве; в течение своей жизни он был влюблен много раз, горячо и страстно. Однако и это чувство не могло его приковать: ибо и здесь элемент универсальный преобладал над личным, индивидуальным. Черта эта заслуживает с нашей стороны особого внимания ввиду ее огромного значения для мирозозерцания покойного философа.

В одном из лучших стихотворений Соловьева — «Три свидания» есть полное невыразимой прелести описание его первой, *детской* любви:

Мне девять лет, *она...* — ей девять тоже.
«Был майский день в Москве», как молвил Фет.
Признался я. Молчание. О, Боже!
Соперник есть. А! он мне даст ответ.

Дуэль, дуэль! Обедня в Вознесенье.
Душа кипит в потоке страстных мук.
Житейское... отложим... попеченье —
Тянулся, замирал и замер звук.

Алтарь открыт... Но где ж священник, дьякон?
И где толпа молящихся людей?
Страстей поток — бесследно вдруг иссяк он.
Лазурь кругом, лазурь в душе моей.

Пронизана лазурью золотистой,
В руке держа цветок нездешних стран,
Стояла ты с улыбкою лучистой,
Кивнула мне и скрылася в туман.

И детская любовь чужой мне стала,
Душа моя — к житейскому слепа!..

А немка-бонна грустно повторяла:
«Володинька — ах, слишком он глупа».

По объяснению Соловьева, *она* первой из приведенных строф была маленькой барышней и не имела ничего общего с тою *«ты»*, которая явилась «с цветком нездешних стран». Кто знает философию Соловьева, тот поймет, что эта *«ты»*, явившаяся философу, не что иное, как «вечно женственное», Премудрость Божия или, что то же, идеальный образ всеединства — вечный прообраз всего сотворенного. Это видение, являющееся среди любовного экстаза, характерно не только для детского возраста философа, но и для его любви вообще. И в зрелых годах «страстей поток» в нем умолкал перед голосом высшего призвания; он видел голубую лазурь *над* любимым предметом и *над* своей любовью.

Во многих случаях этого бывает достаточно, чтобы заставить забыть о *«маленькой барышне»*. В другом стихотворении мы читаем:

О, как в тебе лазури чистой много
И черных, черных туч.
Как ясно над тобой сияет отблеск Бога,
Как злой огонь в тебе томителен и жгуч¹⁸.

Приковать к себе чувство Соловьева была бы в состоянии только женщина, которая могла бы *удержать* в себе лазурь и светить ему небесным светом. Таких, как известно, немного. Из тех, которых он встречал, большинство поглощались «житейскими попечениями»; а потому не могли укорениться в душе философа. В любви он признавал себя «скитальцем».

Ужели обман — эта ласка нежданная!
Ужели скитальцу изменишь и ты?
Но сердце твердит: это пристань желанная
У ног безмятежной святой красоты¹⁹.

По самому существу своего духовного склада Соловьев не мог надолго успокоиться в какой-либо «пристани». И это обусловливается не слабостью его чувства, а как раз наоборот — его бездонной глубиной и силой и теми повышенными, сверхчеловеческими требованиями, которые сочетаются у него с любовью. В стихах и прозе он твердит, что в любви раскрывается высший смысл жизни, что любовь для него «все», что без нее «мир потеряет все краски». В ней одна правда; и вне ее — все только тень. Но, с другой стороны, в самой его любви таится недоверие к ее предмету — стремление возвыситься над ним.

Милый друг, не верю я нисколько
Ни словам твоим, ни чувствам, ни глазам,
И себе не верю, верю только
В высоте сияющим звездам²⁰.

Соловьев всегда испытывал то раздвоение любовного чувства, о котором он говорит в приведенном уже стихотворении «Три свидания». Как бы ни было горячо и страстно в нем влечение к женщинам, оно бледнело и потухало, когда философа посещало таинственное видение «с цветком нездешних стран» в руке. Неудивительно, что он видел в любви не осуществленную на земле задачу. Самая высота и безбрежность этого чувства, как *он* его переживал, не позволяла ему вместить его в какие-либо определенные житейские рамки.

В силу тех же особенностей своего гения, которые не позволяли ему связать себя постоянными узами брака, Соловьев вообще не мог ввести свою жизнь в какое-либо определенное житейское русло. Он был совершенно не способен занимать какую-либо постоянную должность. Самая преподавательская его деятельность была лишь кратким, даже, пожалуй, случайным эпизодом. Предложения занять ту или другую кафедру были неоднократно им отклоняемы. Он, переживавший непрестанную тревогу творчества, не мог подчинить свою умственную деятельность какому-либо не зависящему от него плану академического преподавания. Его подвижный, разносторонний ум нуждался в свободе передвижения; поэтому обязательство в течение определенного срока сообщить слушателям те или другие сведения — было бы ему совсем не по нутру. Своим духовным и, пожалуй, даже физическим обликом он напоминал тот созданный бродячей Русью тип странника, который ищет вышнего Иерусалима, а потому странствует по всему необъятному простору земли, чтит и посещает все святыни, но не останавливается надолго ни в какой *здешней* обители*. В такой жизни материальные заботы не занимают много места: у странников они олицетворяются всего только небольшой котомкой за плечами.

Сам Соловьев сознавал себя таким. В «Трех свиданиях», вспоминая свое искание откровений в пустыне египетской, он сравнивает себя с дядей Власом Некрасова. В шуточный тон тут облекается весьма серьезный смысл. Все стихотворение, по признанию Соловьева (в подстрочном к нему примечании), воспроизводит в

* В русской литературе это не единственный тип в этом роде. Гоголь, между прочим, был писателем-странником в религиозном значении этого слова.

шутливых стихах самое значительное из того, что до той поры случилось с ним в жизни.

С тем же образом странника связывается и другая стихотворная характеристика его жизненного пути:

В тумане утреннем неверными шагами
Я шел к таинственным и чудным берегам.
Боролася заря с последними звездами,
Еще летали сны — и, схваченная снами,
Душа молилася неведомым богам.

В холодный белый день дорогой одинокой,
Как прежде, я иду в неведомой стране.
Рассеялся туман, и явно видит око,
Как труден горный путь и как еще далеко,
Далеко все, что грезилося мне.

И до полуночи неробкими шагами
Все буду я идти к желанным берегам,
Туда, где на горе, под новыми звездами,
Весь пламенеющий победными огнями
Меня дождется мой заветный храм ²¹.

Духовный облик, выразившийся здесь, наложил свою печать на все мирозерцание Соловьева, на все его хождения по святыням предшествовавшей мысли — западноевропейской и русской. В истории философии трудно найти более широкий, всеобъемлющий синтез того великого и ценного, что произвела человеческая мысль. Ценностей, унаследованных от прошлого, он не отвергал, напротив, он их тщательно собирал: все они вмещались в его душе и в его философии; но он не находил в них *окончательного* удовлетворения. Он видел в них частные проявления единой и всецелой истины, разнообразные преломления того света, который всем светит, но в полноте своей доселе еще не раскрывался ни в каком человеческом учении. Тот заветный храм, который он искал, — для него характеризовался словами Евангелия: «В доме Отца моего обителей много» ²².

Здесь святое святых философа, конец его умственных странствований и вместе с тем тот предел, у которого должна остановиться его характеристика.





В. В. РОЗАНОВ

Памяти Вл. Соловьева

Смерть унесла в лице Вл. С. Соловьева самый яркий за истекшую четверть века светоч нашей философской и философско-религиозной мысли. Можно было резко расходиться с почившим во взглядах, можно было бороться против всего его мирозерцания, неприятно-старческого, сухо-аскетического, в общем — эклектического *; но в каждую минуту борьбы необходимо было чувствовать, что борешься с силами, высшими собственных и только минутно и странно увлекшимися поверхностными теориями. Нам думается, в Соловьеве выше его учений — его личность. Учения его менялись; но всегда в центре их стоял прекрасный человек, с горным устремлением мысли, с высшими историческими и общественными интересами, привлекательный лично и в личных отношениях. Вся жизнь его была сплошное скитальчество. В сущности, ему постоянно нужна была аудитория, слушатели; он был урожденный, врожденный учитель.

В лучшей стране и в лучшую минуту истории эти его богатые инстинкты были бы бережно утилизированы и принесли бы отечеству плод сторицею. Но, увы, русская действительность похо-

* В одной ненапечатанной статье своей «Схема развития славянофильства» я, указывая историческое положение Соловьева и характеризуя общий склад его ума, занятий и направлений, определил их словом «эклектизм». Покойный, прочитав эту рукопись и возвращая ее мне, сказал: «Только слово “эклектизм” вы заменили бы словом “синкретизм”». Считаю долгом внести эту личную поправку Соловьеву, не отвергая ее, хотя и не настаивая на ней. Своего, зиждущего не было так много у Соловьева; соединяя чужие части в новую храмину, был ли он эклектиком? синкретистом? — ужасно трудно сказать. Во всяком случае, в усилиях соединить он не был мертвым; он не был (нигде и ни в чем) Вагнером, но и в Фауста он не вырос.

жа на печальный сон фараона, где тощие коровы пожирают тучных¹. Пришли какие-то тощие умы, послушали, не поняли и изрекли о философе и богомысле: «Не надо...» И «ненужный» философ пошел в продолжительное скитальчество, может быть раздраженный, наверно опечаленный; и, может быть, много горьких и ошибочных слов, слов желчных и несправедливых, вырвалось у него как ответ на это «не надо»... «Тощие коровы» нашей действительности прежде всего худые политические счетчики. Они не только устранили превосходного религиозного, серьезного руководителя молодых колеблющихся умов, но и создали многолетнего и талантливейшего в литературе бойца против консервативных начал жизни, антиславянофила, антирусиста. То, что здесь было у него ошибочного, должно быть особенно легко отпущено почившему и в значительной степени объяснено превратностями его биографии.

Навсегда останется прекраснейшим в Соловьеве его высокая мечтательность. «Вот человек-сухарь», — говорим мы о профессоре, ученом, труженике библиотек и музеев. Ничего подобного нельзя сказать о Соловьеве. Он был мистик, поэт, шалун (пародии его на декадентов, некоторые публицистические выходы), комментатор и наряду с этим, в глубокой с этим гармонии — первоклассный ученый и неустанный мыслитель. Ничего здесь не надо исключать. И в этой сложности духовного образа — его заслуга, его превосходство. Думается, однако, что душевнейшей его областью была его поэзия. Оговоримся. Почивший был несколько робок и нежен. В прозаических трудах он говорил кое-что, чего не думал и что произносилось *ad publicum*²; другого, по нежности и робости, он не говорил — стесняясь. В поэзии он выступал как бы анонимом; в ее неясных звуках он дышал привольно и легко. Он любил поэзию, как любят свободу, и еще он любил ее как прекрасную форму, ибо в душе его был силен эстетический идеал. В ряду стихотворений его отметим как прекраснейшие — «На смерть друзей». Какой-то друг сложит над его прахом подобное стихотворение! Вот что, например, он писал в 1897 году об Ап. Н. Майкове и что так идет к самому ему:

Тихо удаляются старческие тени,
Душу заключавшие в звонкие кристаллы,
Званы еще многие в царство песнопений, —
Избранных, как прежние, — уж почти не стало.

Вещие свидетели жизни пережитой,
Вы увековечили все, что в ней сияло,
Под цветами вашими плод земли скрытый
Рос, и семя новое тайно созревало.

Мир же вам с любовью, старческие тени!
Пусть блещут по-прежнему чистые кристаллы,
Чтобы звоном сладостным в царстве песнопений
Вызывать к грядущему то, что миновало³.

Стихи его так хороши, что хочется их цитировать и цитировать как его биографический образ, как вереницу его душевных картин. Прав тысячу раз Тютчев, что все выразимое — не истинно, а все истинное — невыразимо; так и философия: хочется иногда сказать, что философы-прозаики, по несовершенству своего оружия, суть плотники-философы, а поэты суть тоже философы, но уже ювелиры, по тонкости и переливчатости своих средств. Например, вот его «Око вечности»:

Одна, одна над белою землею
Горит звезда.
И тянет вдаль эфирною волною
К себе — туда.
О нет, зачем? В одном недвижимом взоре
Все чудеса.
И жизни всей таинственное море,
И небеса.
И этот взор так близок и так ясен, —
Глядись в него,
Ты станешь сам — безбрежен и прекрасен —
Царем всего⁴.

Руководимый, может быть, очень верным инстинктом, Соловьев, по виду относясь шутливо к своим стихам, на самом деле и в глубине души едва ли не чувствовал их более серьезно, чем философскую и богословскую свою прозу, слишком обрубленную и деревянистую, чтобы выразить тонкие и неясные движения его души. Прозу надо *доказывать*, а главное (в мире и в душе) — недоказуемо. Как «доказать» это чувство, выразившееся в стихотворении «Отшедшим» (усопшим):

Едва покинул я житейское волненье,
Отшедшие друзья уж собрались толпой,
И прошлых смутных лет далекие виденья
Яснее и ясней выходят предо мной.
Весь свет земного дня вдруг гаснет и бледнеет,
Печалью сладкою душа упоена,
Еще незримая, уже звучит и веет
Дыханьем вечности грядущая весна.
Я знаю: это вы к земле свой взор склонили,
Вы подняли меня над тяжелой суетой
И память вечного свиданья оживили,
Едва не смытую житейскою волной.

Еще не вижу вас, но в час предназначенья,
Когда злой жизни дань всю до конца отдам,
Вы въявь откроете обитель примиренья
И путь укажете к немеркнущим звездам⁵.

Теперь он ушел в эти звезды, присоединился к хору усопших теней. Он эти тени вечно чувствовал. Как, однако, доказать их бытие? Как «оправдать», через какой силлогизм свое чувство к ним? И как объяснить вообще внешнему и не чувствующему свое касанье «мирам иным», мирам горним и лучшим? Здесь опадают крылья философии, а крылья поэзии здесь именно и поднимаются. Поэзия может быть, и у Соловьева она и была, недоказуемою философиею, «метафизикою», то есть тем, что «над физикою» в древнем греческом смысле.

Менее удачны были опыты критического суждения, за которые иногда брался покойный. Чего ему здесь недоставало? Спокойствия суждения. Он всегда высказывал что-нибудь экстравагантное, что трудно было доказать, и впадал в раздражение и разные литературные неудачи, все-таки пытаюсь доказать. Такова его «Судьба Пушкина» и статьи, к ней примыкающие. У него было мало чувства действительности, чувства земли. Имея какую-нибудь превосходную отвлеченную мысль, он обыкновенно выбирал самый неудачный пример на нее из области действительности. Так случилось и с Пушкиным. Сами по себе все религиозные и философские идеи, положенные в основу «Судьбы», привлекательны и правдоподобны. Но Пушкин со своей печальной семейной историей запутался в эти идеи, как в тенета, и общество русское, а также и сильная антикритика поторопились извлечь поэта, так измученного при жизни, из этого посмертного критического мучения. К сожалению, у Соловьева не было такта, хладнокровия и рассудительности, чтобы неверную и неудачную попытку не защищать и далее. Едва ли более успешны были его многочисленные публицистические нападения. Вообще, созерцатель по существу, поэт по темпераменту, он напрасно и бессильно бросался в борьбу. Он никому не нанес тяжких ударов; между тем, по-видимому, для его нежной натуры были тяжелы ответные удары, которые уже невольно вызывались его нападениями.

Соловьев оставил после себя до известной степени школу. Школа эта определяется кругом интересов: граница между философиею и богословием, *теософия* в обширном, а не специальном и не сектантском смысле. Профессор Лопатин, и особенно двое Трубецких, суть талантливейшие из его полуучеников, полупоследователей. Вообще в Соловьеве было много *бродила*, за-

кваски; мысли его колебались или были неясны, но они всегда и очень многих возбуждали; они давали темы, они указывали области исследования; из них очень многие уже содержат в себе исходную точку зрения и метод.

Таланты его были больше, чем успех. От чего это зависело? Темы его не были практические и не могли взволновать *практические* интересы; а для внепрактических интересов у нас еще нет достаточно людного общества. Вообще, общество русское — загадка. Чем оно живет? Что ему нужно? Что его могло бы взволновать в 20, 40, 60, 80-е годы? Германия имеет реформацию и на почве реформации, в направлении реформации всякая мысль, в семнадцатом или девятнадцатом веке, будет возбудительна и благотворна. То же можно сказать о французских революционных идеях, об английских экономических или пуританских идеях. Но Россия? Но русское общество? По-видимому, такую почву у нас должно бы быть православие, между тем огромный ум и талант Хомякова или Гилярова-Платонова был все-таки *провинциальным* явлением в русской литературе, а не *коренным*. «Корневое» ее течение до сих пор было, как в этом ни печально сознаться, либеральное, то есть просто *бессодержательное* и лишь бы красивое. Все, что пыталось у нас *определиться*, сузиться в *доктрину*, в маленькую религию ума и сердца — просто не принималось, не прививалось к обществу. «Мы хотим, чтобы вы тревожили наше сердце, но не хотим, чтобы в чем-нибудь нас убеждали», — по-видимому, говорят из общества писателям. И писателям трудно.

Нам нужно ждать *событий*. Литература может вырасти только из событий, и, собственно, все писатели, которые *томятся*, — томятся о событии, о бытии как роднике *идеи*. «Боже, зачем я существую? Боже, зачем Ты меня послал в мир?» И под Соловьевым не было *непоколебимого* события, которое выпрямило бы пути его и устранило колебание его биографической походки. «Вы падаете на оба колена», — упрекал пророк человеков; мы же, или те из нас, кто не лежит плашмя на земле, «падаем» на бесчисленные колена, чужие, свои, ищем, встаем, и ежедневно надеемся, и каждый день не находим. Так сплелась и судьба Соловьева, и окончательная правда его сердца состояла в том, что он ни на чем не устоял. «Искал, но не нашел». И «школа» его, в смысле заданной темы, конечно, просуществует некоторое время, но она начнет теряться, как ненужный ручеек, в пустынности и безмолвии общего нашего исторического бытия. Все — *безосновательно*, все *без-бытийственно* пока у нас; и нет, конечно, основания *быть* его школе.

Да будет прощено некоторое личное слово, не нужное читателю, но которое нужно пишущему. Мне принадлежат о покойном несколько резких слов, прижизненно сказанных ему по поводу его идей. Неприятное в литературе, что она огорчает, что из-за нее огорчаешься. Во всяком случае, теперь своевременно высказать сожаление о возможном огорчении, какое эти слова могли причинить усопшему. Хоть поздно, но можно и хочется обратиться к нему не одно общее всем людям надмогильное «прощай», но и отдельное свое: «Прости»...





В. Д. КУЗЬМИН-КАРАВАЕВ

Из воспоминаний о Владимире Сергеевиче Соловьеве

К Владимиру Сергеевичу Соловьеву однажды обратился мало с ним знакомый собиратель автографов и попросил написать что-нибудь в альбом. Соловьев открыл первую страницу предисловия к своей «Истории и будущности теократии» и выписал оттуда вступительную фразу:

«Оправдать веру наших отцов, возведя ее на новую ступень разумного сознания; показать, как эта древняя вера, освобожденная от оков местного обособления и народного самолюбия, совпадает с вечною и вселенскою истиною, — вот общая задача моего труда».

В этом состояла общая задача того труда покойного, которому он придавал наибольшее значение из всех своих работ; невозможность окончить этот труд по первоначально задуманному плану его всегда глубоко огорчала. Это же составляло основную цель всей его жизни. Борец по натуре, учитель по складу ума, Владимир Сергеевич и в личных отношениях неуклонно и последовательно оправдывал веру отцов. Он не был проповедником, он редко учил словом — и, быть может, поэтому его живого уже давно не окружала толпа. Он учил примером своей жизни — и потому люди близкие познали, чем был он для них, только после его смерти. Сила и степень общественного значения Соловьева также теперь только начали обнаруживаться.

Первый раз мне довелось увидеть Владимира Сергеевича лет около двадцати назад, в тот едва ли не единственный момент его жизни, когда он выступил трибуном и силой вдохновения, горячей верой в правоту своего убеждения покориł мысль не одной сотни людей.

Блестящий зал кредитного общества. Все стулья и проходы заняты. На кафедре молодой высокий философ с длинными пыш-

ными волосами, собравший громадную разнородную аудиторию... Первая лекция была прослушана с интересом, но вяло. Чувствовалось, что не для изложения хода русского просвещения в XIX веке собрал нас уже и тогда пользовавшийся громкой славой лектор. И минута была не такова. И сам Соловьев как-то безжизненно, устало отмечал главнейшие течения, их связь и преемственность развития. Вторая лекция — дня через два после первой — носила вначале тот же характер. Но вот философ закрыл тетрадь, выпрямился, окинул зал вдохновенным взглядом глубоко сидящих, чудных глаз и начал говорить об интересе минуты. Сперва — тихо, сдавленным, дрожащим голосом. Затем его голос стал крепнуть, послышалась нота увлечения задушевной мыслью. Аудитория насторожилась. Она жадно внимала звукам свободно лившейся речи; она была заражена волнением оратора, вместе с ним переживала его чувства. Соловьев умолк. Несколько секунд толпа безмолвствовала: смелая мысль не могла быть вдруг усвоена. Прошли эти секунды — раздался взрыв рукоплесканий. Аудитория была побеждена...

Лично я познакомился с Соловьевым лет восемь спустя. Это было в мае или июне того года, когда он выпустил «*La Russie et l'église universelle*» и приехал в Петербург повидать кого-то из своих друзей. Мы встретились случайно. Лето, как известно, сезон мертвый — кто на даче, кто за границей, кто в деревне. Да и немного еще тогда было у Владимира Сергеевича близких знакомых в Петербурге. Срочной работы он в то время тоже не имел и охотно заходил побеседовать или сыграть в шахматы. Сошлись мы — люди, резко различные по воспитанию, привычкам и всему укладу жизни, — как-то очень скоро. На следующее лето, опять приехав в Петербург, Соловьев уже поселился в моей квартире. Так началась и продолжалась много лет наша совместная жизнь в течение летних месяцев. По зимам мы вместе не жили, но виделись часто.

При столь близких отношениях, естественно, изучаешь человека во всех деталях, и мелочные повседневные наблюдения заслоняют общий образ, типические черты характера. Из-за деревьев перестаешь видеть лес. Нужно время, чтобы детали и штрихи изгладились и чтобы в воспоминаниях вырос живой общий облик. До тех пор они всегда будут иметь неизбежно эпизодический, случайный характер.

Основной чертой отношений Соловьева к людям была деятельная любовь. Та любовь не на словах, а на деле, которая составляет сущность всего христианского мировоззрения и которой так мало в современном обществе. Он любил человека как такового,

кто бы это ни был, каково бы ни было его прошлое, каковы бы ни были у него взгляды, принципы. Он любил своих друзей; любил людей, с которыми встречался мимолетно; он поднимался до любви к своим врагам — не личным, не знаю, были ли у него личные враги, — а к тем, чью деятельность считал пагубной в общественном смысле. И это не была любовь безразличия. Нет, всем известно, с каким жаром он обличал в печати людей, по его убеждению, вредных. В частных беседах он бывал еще более резок. Но за резкостью тона всегда слышалась не ненависть, а искренняя любовь к противнику, горькое сожаление о его заблуждениях. Соловьев был всегда готов забыть прошлое своего врага, сделаться его другом. За умреших врагов своего дела он молился.

За нравственной помощью, за советом к Соловьеву обращались не часто — и ему это было больно. Но за помощью материальной — к нему, бездомному бедняку, жившему исключительно тяжелым литературным трудом, — обращалось множество лиц. И профессиональные нищие, и явные пропойцы, и отставные чиновники, и разные вдовы, и учащаяся молодежь, и люди, гораздо более, чем он, обеспеченные. В этом отношении его доброта была беспредельна. Он отдавал буквально последние рубли. Не бывало денег — отдавал пальто: зимой летнее, летом зимнее; занимал, посылал по редакциям за авансом, закладывал часы. Если требовалась помощь работой, хлопотал, объезжал знакомых, а когда хлопоты не приводили ни к чему, — находил работу у себя. Его «Магомет» переписывался раз пять — тогда все к нему ходила какая-то женщина, настойчиво требовавшая переписки и писавшая с поразительной безграмотностью. Ее безграмотность, впрочем, радовала Соловьева: она выводила его из затруднения. Принесет переписчица рукопись, он увидит ошибки, посмеется, а дня через три, когда она снова явится за работой, — скажет, что ему нужен еще экземпляр, и чувствует себя спокойным на неделю или на две. Одно время у Соловьева чуть не целый год имелся на постоянном жалованье личный секретарь, которому он никак не мог придумать такого занятия, чтобы оно имело вид дела и чтобы секретарь не догадался, что он вовсе не нужен. С такой же деликатностью помогал Соловьев обычным посетителям, приходившим за подаванием. Никогда не читал нравоучений, не выспрашивал, не заставлял выворачивать душу.

Охотно жертвовавший для материальной помощи непосредственными благами жизни, Владимир Сергеевич никогда не останавливался и перед пожертвованием своим высшим, духовным

благом. Вогюэ¹ приводит такую его фразу: «Что мне до моего личного блага! Надо думать всегда о благе ближних». «Слово, — говорит Вогюэ, — чисто русское, в котором обнаружилось побуждение, общее и верующему, и нигилисту: радостное самопожертвование одного всем, до самой могилы». Да, это слово русское. Но у многих и многих оно — только слово. У Соловьева же оно воплощалось в дело. Истинно верующий, он возводил древнюю веру отцов на степень разумного сознания. Огорчить ближнего, вызвать в нем раздражение против обрядов веры и тем отвратить от ее духа и существа — было в его глазах грехом неизмеримо большим, чем самое нарушение обряда. Выражалось это во всех его поступках, включительно до мелочей. Садясь обедать и вставая из-за стола, Соловьев обыкновенно крестился. Но если он знал, что это обратит на него особое внимание присутствующих, он не крестился, хотя для себя лично сесть за стол без крестного знамения считал грехом. Как известно, он был вегетерианцем, вернее, постником в православно-монашеском смысле поста — не ел мяса. Но когда пригласившие его к обеду не знали этого или забывали, он ел и бульон, и мясной соус. На первый взгляд, такое отношение к себе могло казаться непоследовательным. В действительности же это была последовательность самая полная, только без неразумной, слепой прямолинейности. «Зачем быть педантом!» — часто говаривал покойный.

Устраняя из личных сношений педантизм, Соловьев никогда никому не навязывал своих взглядов. Ни разу мне не приходилось слышать, чтобы он уговаривал кого-либо не есть мяса или вести, как он, жизнь аскета, чуждую плотской любви, не знающую женской ласки. Приходилось не раз слышать обратное: друзья и врачи ему старались постоянно навязать обычные воззрения на жизнь, здоровье и средства его поддержания. Соловьев в таких случаях обыкновенно как бы извинялся, ссылаясь на старость, на то, что он давно уже ведет такую жизнь, что ему поздно менять свои привычки, что от мяса его организм отстал. «Лососина, — замечал он шутливо, — вполне заменяет мне дичь; осетрина — телятину; балык — ветчину». Редко, даже в дружеской беседе с маловерующими или вовсе нерелигиозными людьми, он упоминал о Боге. Бывало, только скажет иногда, желая утешить или объяснить неожиданно благополучное разрешение вопроса: «А Бог-то на что!» или: «Бог все видит!» И скажет всегда, не то смеясь, не то серьезно, но с такой глубокой верой, что мысль о Боге невольно западет в душу и самого решительного атеиста.

Любил Владимир Сергеевич оказывать материальную помощь и тогда, когда его прямо о том не просили, но когда он чувствовал, что помощь его будет приятна или доставит хотя ничтожное удовольствие. Он раздавал «на чай» так щедро, как не раздают и миллионеры. Недаром все лакеи и швейцары, где только он ни бывал, прислуга в гостиницах и ресторанах, железнодорожные артельщики, посыльные и извозчики относились к нему с особенным уважением. Меня долго смущали эти совершенно ни с чем не сообразные «на чай». Мне думалось, что не тщеславие ли заставляет Соловьева так поступать. Один раз я прямо спросил его об этом. Он объяснил свою щедрость коротко и просто: «Этот лакей или извозчик не ждет, что я ему что-нибудь дам, или ждет получить двугривенный, а я ему дам рубль — и ему будет приятно. В жизни так редки приятные неожиданности!» Чутким сердцем своим Соловьев отлично понимал, что и среди его приятелей, более или менее состоятельных, но привыкших вести счет деньгам, для многих может доставить удовольствие неожиданная возможность сберечь несколько рублей. Поэтому если только он бывал при деньгах, то всегда так устраивал, что совместный завтрак в ресторане оказывался завтраком по его приглашению, или пускался на другие хитрости, чтобы избавить приятеля от расхода.

Полная бессребренность и рядом с нею самая крайняя непрактичность создавали для Соловьева среди окружающих совершенно исключительное положение. В непрактичности с ним мог поспорить только младенец. Найти незнакомую улицу, нанять прислугу, заказать платье, купить что-либо в магазине, выстричь волосы — все эти житейские мелочи, с которыми мы справляемся не думая, автоматически, составляли для него всякий раз чуть не событие. Не умея справляться с ними, он всю жизнь оставался бездомным скитальцем по родным, знакомым и гостиницам. Отсутствие своего угла с годами стало давать себя чувствовать. Незадолго, за два, за три года, до своей смерти, Владимир Сергеевич задумал сделать опыт житья в собственной квартире. Опыт он сделал, но вышло из него нечто безобразное. Нанял он квартиру под самой крышей, за плату раза в три больше ее действительной стоимости и целую зиму прожил без мебели, спал не то на ящиках, не то на досках, сам таскал себе дрова и каждое утро ездил пить чай на Николаевский вокзал. Опыт обошелся ему дорого — и для здоровья, и для его скромного бюджета расходов на себя.

Ценивший выше всего свободу и независимость своего духа, Соловьев, и дожив до седых волос, не сделался рабом житейских

удобств, обстановки, вещей, как делаемся их рабами мы все. Кроме книг и того, что на нем бывало надето, он не имел вещей никаких. Уезжая из одного пристанища в другое, он брал с собой небольшую корзинку, куда совал нужные ему в данный момент книги и рукописи. Никогда всех своих книг он под руками не имел и только благодаря своей исключительной памяти мог обходиться без справок. Но бывали случаи, когда и память не спасала, а нужна была сама неизвестно где оставленная вещь. Чаще всего это случалось с паспортом. Паспорт и Соловьев — казалось бы, что может быть более далекого! Однако и он должен был иметь паспорт, и имел его — истрепанный указ об отставке, выданный из надлежащего присутственного места отставному коллежскому советнику Владимиру Сергеевичу Соловьеву. Этот паспорт он вечно забывал и терял. Обыкновенно щедрое «на чай» отсрочивало представление паспорта в участок, Соловьев его разыскивал — и вопрос разрешался. Но один раз паспорт куда-то исчез совершенно бесследно. Соловьев приехал из другого города. Является дворник и просит дать паспорт для прописки. Соловьев смотрит в бумажник — паспорта нет, роется в корзине — тоже нет. Тогда он прибегает к своему обычному средству получить отсрочку. Дворник удаляется. Оба довольны. Дня через три дворник является вновь, получает «на чай» в двойном размере, просит паспорт поискать и удаляется. Проходят еще три дня. Опять — дворник, опять «на чай», но испытанное средство уже не действует. Дворник жалобно говорит, что больше ждать не может, что его оштрафуют, и не уходит. Соловьев в отчаянии. Ломает голову, куда он мог запропастить свой истрепанный указ, но ничего не выходит. Тогда он хватает лист бумаги и пишет: «Владимир Сергеевич Соловьев, отставной коллежский советник, был професором Петербургского университета, доктор философии, стольких-то лет, вероисповедания православного, холост, знаков отличия не имеет, под судом не находился. А если не верите, спросите таких-то», — тут он выписал полные титулы и фамилии двух своих высокопоставленных хороших знакомых. Бумага была вручена дворнику, и он ушел. Какое оказал действие этот самодельный паспорт и как он был принят в участке — осталось для Соловьева неизвестным. Но больше его на этой квартире пропиской не тревожили.

Соловьев оставил глубокий след в литературе раскрытием внутреннего противоречия между «верою наших отцов» и «местным обособлением», понимаемым в смысле узкого национализма. Никто лучше его не показал, что национализм не только не способствует укреплению веры, а, напротив, удаляет ее от веч-

ной и вселенской истины. Не существовало для него никаких перегородок между людьми — ни религиозных, ни племенных, ни сословных и экономических — и в личных отношениях. Брезгливую презрительность к людям иной религии, иной народности, иного социального положения высказывают у нас печатно только специалисты, так сказать, человеконенавистничества. Но в частной жизни все мы более или менее этим грешим. И люди средних общественных слоев и среднего достоинства, равно принадлежащие к верованиям и народностям негосподствующим, — ничуть не менее людей слоев высших, наиболее состоятельных или принадлежащих к господствующим народностям и религии. Никаких намеков даже на что-либо подобное никогда в Соловьеве нельзя было подметить. Его круг знакомых поражал как численностью, так еще более своим бесконечным разнообразием. У него были искренние друзья и среди православного духовенства, и среди католических патеров, и среди правоверных евреев — и в светских гостиных, и в литературных кругах, и в приютах «бывших» людей. «Он сумел, — говорит кн. Трубецкой, — жизненно усвоить и соединить в себе веру разрозненных церквей». Он показывал, как возможно жить, с любовью относясь ко всем людям, независимо от их происхождения, веры, общественного и имущественного положения. Исповедание, народность, титул, богатство, бедность, преступное прошлое в глазах Соловьева не играли никакой роли. Со всеми он был неизменно самим собою: интресным и блестяще остроумным собеседником, добрым, любезным и деликатным человеком. Со всеми он держался ровно и просто, ни в чем не выражая своего нравственного и умственного превосходства. Всякий чувствовал его своим, чувствовал его близость к себе. Настолько он — человек непоколебимо твердых убеждений — обладал способностью понимать чужую точку зрения и отличать оболочку ближнего от его духа. Сам Соловьев всюду являлся всегда одинаково одетым — в том единственном пиджаке или сюртуке, который у него был в данную минуту, со старательно, но неумело завязанным галстуком, — одинаково оживленным или сумрачным. Избегал он бывать только в публичных местах — в театрах, на выставках — и в очень большом обществе, так как вследствие крайней близорукости терялся, путал знакомых с незнакомыми и вообще испытывал неловкость. В ранней молодости Соловьев вращался преимущественно в светских кругах, где приобрел привычку к некоторым внешним условностям. Он их соблюдал до конца дней. Но податливость в случайном споре у него никогда не переходила в угодливость, желание сказать приятное — в

лесть, и легкий разговор не обращался в лекомысленную болтовню о серьезных предметах.

Партийная обособленность также была ему неизвестна. Как в литературе, так и в жизни Соловьев стоял вне наших делений на группы. В основе всех их лежит различие политических воззрений, а для него разница этих воззрений отступала на второй план. Первое место в его глазах занимали вопросы религиозные. Религиозное «раскрепощение» — его собственное выражение — Соловьев считал ближайшей практической задачей русской жизни. Как до отмены крепостного права, часто говорил он, все остальное, сравнительно с потребностью упразднения личного рабства, было ничтожно, так в настоящий момент все интересы должны отступать перед требованием свободы вероисповеданий. Вот почему он примыкал к тем группам, на знамени которых стоит слово «свобода», — ибо свобода политическая ведет к свободе религиозной. Но в то же время отсутствие на их знамени религиозных идеалов разъединяло его с ними и сближало с представителями противоположных направлений.

Сближение Соловьева с реакционным лагерем никогда не шло, впрочем, далее формального единения. Его связывала с ним только внешняя общность идеалов. По содержанию же его религиозные воззрения были столь резко своеобразны и настолько отличались от воззрений этого лагеря, что лежавшая между ними пропасть была неизмеримо глубже той, которая отделяла его от лагеря прогрессивного. Верою Соловьева была вера отцов, но, во-первых, возведенная на новую ступень разумного сознания, во-вторых — освобожденная от оков местного обособления, в-третьих — свободная от оков народного самолюбия. С другой стороны, вера для него была центром жизни, не определяемым политическими воззрениями и потребностями, а определяющим их исходные положения. Быть средством для чего бы то ни было, иметь служебное значение в практической жизни — религия, по Соловьеву, не может и не должна. Также не совпадала по содержанию идея абсолютизма в государственном устройстве, как она рисовалась Соловьеву, с обычным о ней представлением. Она не только уживалась для него с идеей независимой личности, но прямо обуславливала и личную свободу, и свободу печати, и широкое развитие общественной самодеятельности, и равноправность племен, классов и т. д. — словом, все то, что, быть может отправляясь от других точек, признают целью своих стремлений прогрессисты. Едва ли не в одном лишь вопросе Соловьев по содержанию своих взглядов резко расходился с наиболее сродной ему группой — в вопросе о войне, отношении к которому состав-

ляет самую неясную сторону его вообще стройного учения. Когда появилась впервые его статья «Смысл войны», она вызвала всеобщее недоумение. Невольно казалось, что она навеяна исключительно желанием противодействовать теории непротивления злу и что она не имеет внутренних корней в соловьевской системе. «Три разговора» и «Повесть об антихристе» несколько выяснили, почему он так смотрел на войну, но далеко не установили полной логической связи между его основными суждениями и положительным отношением к войне.

Терпимый к чужим мнениям, поступкам и склонностям, Владимир Сергеевич к себе был чрезвычайно строг. Эта строгость, впрочем, у него не разменивалась на мелочи. Излишеств невинных, на которых сосредоточивают обыкновенно все внимание прямолинейные педанты, он не боялся. Случалось ему другой раз выпить лишний стакан вина. Не боялся он и неправду сказать в ответ на какое-нибудь приглашение или отговориться несуществующею болезнью и т. п. Его строгость к себе выражалась в развитии самообладания и в постоянном наблюдении за своими отношениями к людям. Не знаю, как он умирал, как переносил предсмертные страдания; при жизни он переносил все физические недуги с поразительной твердостью.

Все время Соловьева проходило в работе. Работал он, особенно в последние годы, с лихорадочным напряжением. Масса мыслей постоянно роилась в его голове, и он торопился их закрепить на бумаге. Но была и другая причина такой напряженной работы. Со времени продажи совместно с братьями права издания сочинений отца литературный заработок составлял для него единственный источник средств существования. На то, что он зарабатывал, другой мог бы жить без нужды, Соловьев же, при своей бессребренности и непрактичности, вечно нуждался. Отсюда — постоянные авансы и в результате — необходимость двойной работы. Поскольку недохватки в деньгах заставляли урезывать себя, Соловьев огорчался мало. К этому он относился с полным благодушием, и когда случалось спросить его, почему он отступил от той или другой своей привычки, он обыкновенно острил над собою, говоря: «Из подлой корысти». Ему было только грустно, когда в течение многих лет он не мог осуществить своей мечты — побывать в Египте, чтобы воскресить те впечатления молодости, которые им описаны в поэме «Три свидания». Побывать в Китае — что было его другой давней мечтой — ему так и не удалось.

Чрезмерность работы не отражалась у Соловьева на ее качестве. Все, что выходило из-под его пера, всегда носило следы не

одной талантливости, но и глубокой продуманности. Стоит вспомнить хотя бы мелкие его газетные статьи, приложенные к «Трем разговорам». Для здоровья же, однако, она не могла проходить безнаказанно. Как ни был вынослив слабый организм Соловьева, но и он заметно начал сдавать. Соловьеву всегда была свойственна быстрая смена настроений. Но прежде основным его настроением было оживление. Сумрачность как быстро наступала, так же быстро и проходила. В последнее же время все чаще и чаще приходилось его видеть молчаливым, углубленным в свои мысли, в каком-то устало-подавленном состоянии духа. Его раскатистый, заразительный смех стал раздаваться все реже и реже. Оживленность стала появляться мимолетно. Видно было, что человек устал. Устал в подвижнической жизни, в борьбе за свои идеалы, в борьбе с тем недугом тела, который, оказывается, уже давно подтачивал его силы.

Когда он заболел предсмертной болезнью, «врачи нашли, — пишет кн. Трубецкой, — полнейшее истощение, упадок питания, сильнейший склероз артерий, цирроз почек и уремию; ко всему этому примешался, по-видимому, и какой-то острый процесс, который послужил толчком к развитию болезни». Этот диагноз не мог не поразить близко знавших Соловьева своей неожиданностью. Острый процесс послужил только толчком к развитию болезни. Истощение, упадок питания — суть результаты. Склероз артерий — тоже, основная причина болезни, следовательно — цирроз почек. Но откуда он взялся и что могло его вызвать? Невольно вспомнилась привычка Соловьева употреблять скипидар, казавшаяся ему не только вполне невинной, но прямо полезной для здоровья. Внутрь скипидара Соловьев никогда не принимал. Он любил его запах, считал универсальным дезинфицирующим и дезодорирующим средством и, в качестве такового, уничтожал в громадном количестве. Всевозможные бактерии и микробы были маленькой слабостью Соловьева. Он их боялся до смешного и, дабы оградить себя от них, обливал скипидаром стены, пол своей комнаты, свою постель, платье, десятки раз в день вытирал им руки и т. д.; даже в бумажник с деньгами он, случалось, наливал скипидар. Словом, он постоянно в течение более десяти лет находился в атмосфере, обильно насыщенной парами терпентинного масла, и тем постепенно, но верно отравлял свой организм. По какой-то роковой случайности губительное воздействие паров скипидара — и именно в смысле развития болезни почек — оставалось Соловьеву неизвестным. Ни ему самому, ни знавшим его привычку почему-то никогда не

приходило в голову справиться о влиянии скипидара у специалистов по фармакологии и токсикологии. Конечно, все это догадка, быть может, не вполне основательная. Но бесконечно тяжело сознавать, что в ряду причин безвременной кончины Соловьева было и роковое заблуждение.

В последний раз пришлось мне видеть облик покойного 3 августа. Это не был уже Соловьев — дух во плоти. Перед глазами лежала в гробу одна плоть — земная оболочка великого, свободного, вечного духа. Его дух уже был освобожден от оков личности, как сказал на могиле один оратор. Красивые черты дорогого лица уже были обезображены печатью смерти... Мертвенная бледность и худоба не поражали — и при жизни у него никогда не было цветущего вида. Поражало отсутствие взгляда глаз. Уже не было видно на лице мощи колоссального ума, чарующей прелести дивного сердца... Как-то не верилось, что жизнь его обрвалась, —

...что скрылся он
За грань земного кругозора².

Его отпевали в Москве, в университетской церкви. Большая церковь была наполовину пуста. По стенам и сзади стояли родные, личные друзья и знакомые, несколько литераторов и ученых, но публики, общества — не было. Оно не пришло сказать ему последнее «прости». На кладбище было еще меньше. Говорят — лето тому причиной. Не думаю. Не понимали мы Соловьева, чужд он был нам, как чужда нам вера, свободная или не свободная от местного обособления и народного самолюбия — все равно!..

Но венков возложено было много. На лентах одного виднелось: «Какой великий ум угас, какое сердце биться перестало!»³ На другом: «Всечеловеку». Да, это был всечеловек, одинаково любивший и христианина, и еврея, и магометанина, — одинаково болевший за всех людей...





С. Н. ТРУБЕЦКОЙ

Смерть Вл. С. Соловьева

31 июля 1900 г.

Вл. С. Соловьев приехал в Москву вечером 14 июля и провел ночь в «Славянском базаре». Выехал он совершенно здоровый из с. Пустыньки, со станции Саблино, но уже по приезде в Москву почувствовал себя нездоровым. 15-го утром, в день своих именин, он был в редакции «Вопросов философии»¹, где оставался довольно долго, и послал рассыльного переговорить со мной по телефону. Я звал его к себе, в подмосковную моего брата, с. Узкое, и предложил ему ехать из Москвы с Н. В. Давыдовым, его хорошим знакомым и моим родственником, которого я ждал к обеду. В редакции Владимир Сергеевич не производил впечатления больного, был разговорчив и даже написал юмористическое стихотворение. Из редакции он отправился к своему другу А. Г. Петровскому², которого он поразил своим дурным видом, а от него, уже совсем больной, прибыл на квартиру Н. В. Давыдова. Не заставши его дома, он вошел и лег на диван, страдая сильной головною болью и рвотой. Через несколько времени Н. В. Давыдов вернулся домой и был очень встревожен состоянием Владимира Сергеевича, объявившего ему, что едет с ним ко мне в Узкое. Он несколько раз пытался отговорить его от этой поездки, предлагал ему остаться у себя, но Владимир Сергеевич решительно настаивал. «Этот вопрос принципиально решенный, — сказал он, — и не терпящий изменения. Я еду, и если вы не поедете со мной, то поеду один, а тогда хуже будет». Н. В. Давыдов спрашивал меня по телефону, и я, думая, что у Соловьева простая мигрень, советовал предоставить ему делать, как он хочет. Прошло несколько часов, в продолжение которых больной просил оставить его отлежаться. Наконец он сделал усилие, встал и потребовал, чтобы его усадили на извозчика. Наступил вечер, погода была скверная и холодная, шел дождик, предстояло ехать

16 верст, но оставаться Соловьев не хотел. Дорогой ему стало хуже; он чувствовал дурноту и полный упадок сил, и когда он подъехал, его почти вынесли из пролетки и уложили на диван в кабинете моего брата, где он пролежал сутки, не раздеваясь.

На другой день, 16-го, был вызван доктор А. Н. Бернштейн, а 17-го приехал Н. Н. Афанасьев, который и пользовал Владимира Сергеевича до самой его смерти. Кроме того, его посещали московские доктора — А. А. Корнилов, бывший у него три раза, проф. А. А. Остроумов, следивший за болезнью, и А. Г. Петровский. Так как Н. Н. Афанасьев должен был временно отлучаться по делам службы, то на помощь ему был приглашен А. В. Власов, ординатор проф. Черинова, находившийся при больном безотлучно.

Врачи нашли полнейшее истощение, упадок питания, сильнейший склероз артерий, цирроз почек и уремию. Ко всему этому примешался, по-видимому, и какой-то острый процесс, который послужил толчком к развитию болезни.

В последние дни температура сильно поднялась (в день смерти до 40°), появились отек легких и воспаление сердца. Состояние с самого начала было признано крайне серьезным. Нельзя не отметить самого внимательного и сердечного отношения со стороны врачей, лечивших Владимира Сергеевича и сделавших все, что было в их силах.

Первые дни Владимир Сергеевич сильно страдал от острых болей во всех членах, особенно в ногах, спине, голове и шее, которую он не мог повернуть. Затем боли несколько утихли, но осталось дурнотное чувство и мучительная слабость, на которую он жаловался. Больной бредил и сам замечал это. По-видимому, он все время отдавал себе отчет в своем положении, несмотря на свою крайнюю слабость. Он впадал в состояние полузабытья, но почти до конца отвечал на вопросы и при усилии мог узнавать окружающих.

Первую неделю он иногда разговаривал, особенно по общим вопросам, и даже просил, чтобы ему читали телеграммы в газетах. Его мысль работала и сохраняла ясность еще тогда, когда он с трудом мог разбираться во внешних своих восприятиях. Он приехал под впечатлением тех мировых событий, которым посвящена последняя подписанная им статья³. Он собирался ее дополнить и обработать, хотел мне ее прочесть, но не мог. Он пенял мне на мою заметку, помещенную в «Вопросах философии»⁴ и набросанную еще до разгара китайского движения. Я обещал ему исправить мою невольную ошибку и, сидя около него, перекидывался с ним словами о великом и грозном историческом

перевороте, который мы переживаем и который он давно предсказывал и предчувствовал. Я вспомнил его замечательное стихотворение «Панмонголизм», написанное еще в 1894 году и последняя строфа которого врезалась мне в память.

— Какое твое личное отношение к китайским событиям теперь, что они наступили? — спросил я Владимира Сергеевича.

— Я говорю об этом в моем письме в редакцию «Вестника Европы», — отвечал он. — Это — крик моего сердца. Мое отношение такое, что все кончено; та магистраль всеобщей истории, которая делилась на древнюю, среднюю и новую, пришла к концу... Профессора всеобщей истории упраздняются... их предмет теряет свое жизненное значение для настоящего; о войне Алой и Белой роз больше говорить нельзя будет. Кончено все!.. И с каким нравственным багажом идут европейские народы на борьбу с Китаем!.. Христианства нет, идей не больше, чем в эпоху Троянской войны, только тогда были молодые богатыри, а теперь старички идут!

И мы говорили об убожестве европейской дипломатии, проглядевшей надвигавшуюся опасность, о ее мелких алчных расчетах, о ее неспособности обнять великую проблему, которая ей ставится, и разрешить ее разделом Китая. Мы говорили о том, как у нас иные все еще мечтают о союзе с Китаем против англичан, а у англичан — о союзе с японцами против нас. Владимир Сергеевич прочитал мне свое последнее стихотворение, написанное по поводу речи императора Вильгельма к войскам⁵, отправлявшимся на Дальний Восток. Он приветствует эту речь, на которую обрушились и русские, и даже немецкие газеты; он видит в ней речь крестоносца, «потомка меченосной рати», который «перед пастью дракона» понял, что «крест и меч — одно». Затем речь снова вернулась к нам, и Владимир Сергеевич высказал ту мысль, которую он проводил еще десять лет тому назад в своей статье «Китай и Европа»⁶, — что нельзя бороться с Китаем, не преодолев у себя внутренней китайщины. В культе Большого Кулака мы все равно за китайцами угнаться не можем; они будут и последовательнее, и сильнее нас на этой почве. Владимир Сергеевич говорил и о внешних осложнениях, о грозящей опасности панславизма, о возможном столкновении с Западом, о безумных усилиях иных патриотов наших создать без всякой нужды очаг смуты в Финляндии, под самой столицей...

Это была самая значительная беседа наша за время болезни Владимира Сергеевича. На второй же день он стал говорить о смерти, а 17-го он объявил, что хочет исповедоваться и причаститься, «только не запасными дарами»⁷, как умирающий, а за-

втра после обедни». Потом он много молился и постоянно спрашивал, скоро ли наступит утро и когда придет священник. 18-го он исповедовался и причастился св. тайн с полным сознанием. Силы его слабели; он меньше говорил, да и окружающие старались говорить с ним возможно меньше; он продолжал молиться — то вслух, читая псалмы и церковные молитвы, то тихо, осеняя себя крестом. Молился он и в сознании, и в полузабытьи. Раз он сказал моей жене: «Мешайте мне засыпать, заставляйте меня молиться за еврейский народ, мне надо за него молиться», — и стал громко читать псалом по-еврейски. Те, кто знал Владимира Сергеевича и его глубокую любовь к еврейскому народу, поймут, что эти слова не были бредом. Смерти он не боялся — он боялся, что ему придется «влачить существование», — и молился, чтобы Бог послал ему скорую смерть. 24-го числа приехала мать Владимира Сергеевича и его сестры. Он узнал их и обрадовался их приезду. Но силы его падали с каждым днем. 27-го ему стало как бы легче, он меньше бредил, легче поворачивался, с меньшим трудом отвечал на вопросы; но температура начала быстро повышаться; 30-го появились отечные хрипы, а 31-го, в 9 ¹/₂ ч. вечера, он тихо скончался.

Его похоронили в четверг, 3 августа, рядом с могилой его отца Сергея Михайловича; он говорил мне во время болезни, что приехал в Москву главным образом «к своим покойникам», чтобы навестить могилу отца и деда. Его отпевали в университетской церкви, где еще в раннем детстве ему явилось первое его видение *. Начало августа — самое глухое время в Москве, и на похоронах было сравнительно немного народу. Мы шли за его гробом с несколькими друзьями, вспоминали о нем и говорили о том, какого хорошего, дорогого и великого человека мы хороним.

Это был истинно великий русский человек, гениальная личность и гениальный мыслитель, не признанный и не понятый в свое время, несмотря на всеобщую известность и на относительный, иногда блестящий успех, которым он пользовался. Мне трудно отвлечься от чувства горячей дружбы и любви, которое я к нему имел, которое имели к нему все, близко его знавшие. Но во мне говорит не чувство друга или последователя. Ведь сам же он писал, что школы он не имеет и что последователей у него нет! Горько подумать о том, сколько непонимания встречал он при жизни, несмотря на всю ослепительную ясность, на художест-

* Он упоминает об этом событии в своем стихотворении «Три встречи», помещенном в «Вестнике Европы».

венное мастерство своего слова. Всех привлекали лишь отдельные стороны его таланта, его деятельности, его учения. Одни ценили в нем только публициста, другие — критика, третьи — философа. Всем, или почти всем, было чуждо его учение в том, что для него самого было всего дороже, т. е. в своей полноте и цельности, в своем основании.

О достоинстве философских построений вообще могут существовать различные мнения; но если человечество чтит имена великих мыслителей, создавших системы целостного миропонимания, то имя Владимира Соловьева причтется к их именам. Пусть назовут мне в новейшей истории мысли философский синтез более широкий, чем тот, который был задуман им с такою глубиной, так ясно, стройно и смело. Пусть укажут мне философское учение, которое, признавая в полной мере результаты современного знания и его строгие методы, сочетало бы с ним умозрение столь возвышенное, широкое и смелое, столь враждебное всякому догматизму и вместе столь непосредственно проникнутое положительными религиозными началами. Художеству мысли в его творениях соответствовало и художественное совершенство ее выражения, и мы смело можем признать его одним из великих художников слова не только русской, но и всемирной литературы.

Учение Соловьева, учение «Положительного Всеединства», не было эклектической системой, собранной и составленной искусственно из разнородных частей. То был живой, органический синтез, изумительный по своей творческой оригинальности и стройности, парадоксальный по самой широте своего замысла и проникнутый глубокой, истинной поэзией. Владимир Сергеевич раскрывает основное свое философское убеждение. Все отдельные философские начала, все отдельные политические и нравственные принципы, нашедшие свое выражение в противоположных учениях, представляются ему недостаточными и ложными, поскольку они утверждаются в своей отвлеченности, поскольку они берутся в своей исключительности и отдельности. Принимая одну сторону всеединой истины за целое и утверждая ее как самодовлеющую, безусловную и полную истину, мы обращаем ее в ложь и приходим к внутренним противоречиям. И вся философская деятельность Вл. С. Соловьева, начавшаяся со строго логической, мастерской критики «отвлеченных начал», состояла в добросовестном усилии «прийти в разум истины» и показать положительное, конкретное всеединство этой истины, которая не исключает из себя ничего, кроме отвлеченного утверждения

отдельных, частных начал и эгоистического самоутверждения единичной воли.

В учении Вл. С. Соловьева каждый мог найти нечто свое. И вместе каждый сверх своего находил в нем и много другого, чуждого себе, казавшегося несовместимым. Одно это соединение возбуждало против него досаду, и притом противоположных сторон.

То же наблюдалось и в сфере вопросов общественных, несмотря на весь блеск его публицистического таланта и возвышенность его стремлений. Его значение для общественного сознания нашего было велико. Он похоронил славянофильство и его эпигонов; двадцать лет он был, бесспорно, самым сильным обличителем отечественных Больших Кулаков, самым могущественным противником надвигающегося одичания, обскурантизма и «внутреннего китаизма». Но он стоял вне партий; его глубокая преданность положительным началам государства, и в частности нашего, русского государства, отдаляла от него одних, точно так же как его полемика против национализма и пламенная борьба за свободу личности и свободу совести, за нравственные принципы в жизни общества и государства отчуждала от него других. Его общественный идеал был религиозным идеалом Царства Божия, реально осуществляющегося в государственно организованном человеческом обществе. Сознание той высшей духовной цели, которой он отдавал все свои силы, посвящал всю свою деятельность, не покидало его никогда, и он помнил о ней в самых жарких и страстных полемических схватках. Напомню, как в одной из остроумнейших полемических статей, помещенных в «Вестнике Европы», он сравнивает свою полемическую деятельность с «послушанием» монаха, выметающего сор и нечистоты из монастырской ограды.

Его религиозность была так же широка, как его мирозерцание, и в ней лежали самые глубокие корни этого мирозерцания. То была религиозность простая и цельная, проникавшая все его существо, непосредственная и живая, привлекавшая к нему сердца простых людей и вместе отчуждавшая от него многих своей глубиной, своей напряженной силой и своей шириной. Одни не могли понять, как мирится его мистицизм с таким широким и светлым умом, с такой могучей диалектической силой, с таким универсальным научным образованием; этот ученый, мыслитель, знакомый со всеми выводами новейшего естествознания, убежденный эволюционист, наконец философ, владевший всеми приемами филологической критики, верил в реальный мир духов, в который верит первобытный дикарь. И эта вера, чуждая в нем всякого суеверного страха, не была у него

простою причудой: она входила в плоть и кровь его мирозерцания, она составляла его личную особенность, и он высказывал ее при всяком случае с той единственной в своем роде откровенностью и прямоотой, с какою он вкладывал всю свою личность в свои писания. Но смущал он не одних скептиков: религиозные люди смущались самой широтой и смелостью его веры и не могли помириться с тем универсальным, вселенским христианством, которое он исповедовал.

В нем было изобилие веры, откликавшейся на все религиозное, с любовью принимавшей все подлинно христианское. То соединение церквей, которое было его любимой мыслью, которое он проповедовал в прежние годы, было в душе его не только идеей, а живым, совершившимся фактом. В религиозной истории, в истории христианства нашего века личность Владимира Соловьева займет подобающее ей место — как исповедника вселенского христианства, который сумел жизненно усвоить и соединить в себе веру разрозненных церквей. Умолчать об этом — значило бы умолчать о самом главном в духовной жизни Владимира Соловьева.

Глубокая и свободная личная религиозность, враждебная всякой мертвенной обрядности и догматизму, личное отношение ко Христу, радостная уверенность в Боге, духовное служение в светском призвании сближали его с протестантством. Признавая неограниченное право свободного исследования и личного убеждения, он разделял и протестантское отношение к Писанию — в одно и то же время религиозно-мистическое и рационально-научное. Но христианство не ограничивалось для него личным, индивидуальным, внутренним фактом. Реальный союз Божества с человечеством, или факт «Богочеловечества», являлся ему всемирным, космическим началом, раскрытием живого смысла вселенной, ее законом и конечною целью ее эволюции. Универсальное по существу, христианство должно стать всечеловеческим, всемирным в действительности, чтобы осуществить Царство Божие на земле. Отсюда необходимость вселенской католической Церкви, через которую осуществляется это царство, необходимость собирательной теократической организации человечества, созданной Христом. И Владимир Сергеевич признал теократический идеал той Церкви, которая поставила его на своем знамени, — идеал католической Церкви; он верил в реально-мистическое, божественное установление верховной духовной власти римского первосвященника как условие единства и внутренней независимости земной Церкви. Об отношении Соловьева к католицизму много говорилось у нас, и много сказано

было неверного и даже ложного. С католической стороны его проповедь встретила самую авторитетную *положительную* оценку. Но и там, как и у нас, не поняли, что один внешний католицизм, одно внешнее единство Церкви под главою земного, Богом поставленного первосвященника еще не было для нашего мыслителя полнотою христианства или самым главным в христианстве: в своей «Повести об антихристе» он рассказывает, как католики забывают о Христе и переходят на сторону его противника во имя внешнего восстановления и возвеличения папской власти. «Ограду» римской Церкви он никогда не принимал за самую Церковь и самую Церковь не ставил выше живущего в ней. Наряду с католическим идеалом христианской универсальной теократии, или «града Божия», он, подобно Августину, носил в себе евангельский идеал духовной свободы во Христе, веруя, что в корне, в существе христианства, в одно и то же время и личного и всемирного, нет и не должно быть противоречия или разделения.

И, наконец, этот человек, жизненно усвоивший религиозные идеалы западных исповеданий, жил и умер самым искренним и убежденным сыном Православной Церкви, в которой он видел «Богом положенное основание». Те, кто знал его, помнят его благоговеющую любовь к святыням Церкви, к ее таинствам, иконам, молитвам, к ее мистическому богослужению, «ангелами преданному», как он выражался. Здесь, как и всюду, вера его была сознательна и философски продумана*, органически связана со всем его миросозерцанием; но и здесь, как и всюду, она была непосредственной и живой; он свидетельствовал ее и своими богословскими трудами, и своим пламенным обличительным словом против пороков нашего церковного строя, и своим увещанием к раскольникам**; он свидетельствовал ее всею своей жизнью и своей смертью.

Мертвой, головной веры он не знал, и от веры, как и от добра, он требовал оправдания на деле. И вся жизнь его была стремлением оправдать свою веру, оправдать добро, в которое он верил. Делу своему он отдавался весь, не зная отдыха, беспощадный к себе, пренебрегая болезнью и истощением, торопясь исполнить то, что считал своим призванием. «Должно быть, я слишком много зараз работал», — говорил он в последние дни; как ни велико было обилие его дарований, его физический организм не выдержал постоянного напряжения, постоянной кипучей деятель-

* См. его «Духовные основы жизни».

** См.: «Русь». 1881—1882.

ности. Те, кто видел его в последние годы, помнят, без сомнения, то впечатление крайней усталости, которое он так часто производил; но эта усталость не мешала ему работать больше прежнего. Напротив, она как бы заставляла его спешить сказать и сделать возможно больше, пока хватит сил.

То была цельная и светлая жизнь, несмотря на все пережитые бури, жизнь подвижника, победившего темные, низшие силы, бившиеся в его груди. Нелегко далась она ему. «Трудна работа Господня», — говорил он на смертном одре. Но в этой трудной работе он не изнемог духом, сохранил чистое сердце и душевную бодрость, тот высший, чуждый унынию источник веселья и радости, в котором он сам видел подлинный признак и преимущество искреннего христианства.





В. В. РОЗАНОВ

На панихиде по Вл. С. Соловьеву

Небольшой кружок друзей и почитателей покойного Соловьева собрался 30 июля 1901 г. в Сергиевском соборе, на Литейной, на панихиду по нем. Как отвечали дивные слова этого православного служения личности и судьбе покойника! Просто хотелось еще и еще раз выслушать слова напева или слова читаемой молитвы, чтобы конкретно связать их с какою-нибудь памятною его житейскою чертою или прижизненною надеждою. Они так связывались! «Точно чин панихиды для него нарочно придуман» — это мелькнуло у меня раза два в церкви. Я вошел в нее холодный, а ушел растроганный. Невольно хочется вслух сказать и следующее пожелание: чтобы не ограничились ближайшие личные друзья или родные Соловьева этою одною, годовою, формально почти требующеюся, панихидою, но и в следующие годы не поскучили бы заказать такую же панихиду и оповестить о ней через газеты. Его память, очевидно, горячо хранится, и, очевидно, она долго сохранится. Для него же — как представляется духовный и даже физический его лик — никакой разбор его трудов или литературное прославление не надобны так и так горячо не желательны, как простая заупокойная литургия.

Вот уж был странник в умственном, идейном и даже в чисто бытовом, так сказать жилищном, отношении! Сын профессора, с большими правами на кафедру, он не получил «по независящим обстоятельствам» кафедры; внук священника, посвятивший памяти деда «Оправдание добра»¹, он был крайне стеснен в своих желаниях печататься в академических духовных журналах; журналист, он нес религиозные и церковные идеи, едва ли встречая для них распахнутые двери в редакциях. Он пробирался в щелочку, садился пугливым гостем, готовым вот-вот вспорхнуть и улететь со своим двусмысленным смехом. Какой странный у него был этот смех, шумный и, может быть, маскирующий

постоянную грусть. Если кому усиленно не было причин «весело жить на Руси», то это Соловьеву. И где он жил, в Москве ли, в Петербурге ли, у себя ли, у приятелей? Кажется, он чувствовал себя в родном гнезде только у Иматры², которую так часто любил посещать. Должно быть, шум водопада и его фантастический вид, особенно зимою, возбuditельно, и хорошо возбuditельно, на него действовали. Он так воспел его и биографически сам так с ним связался, что хочется переименовать это местечко угрмой Финляндии в «водопад Соловьева».

Дедовская священническая кровь, учено-университетские заботы отца и, наконец, весь духовный пласт наших шестидесятых годов — с их хлопотливыми затеями, шумными отрицаниями и коренным русским «простецким» характером — отразились в Соловьеве. Он был какой-то священник без посвящения, точно несший обязанности, и именно литургические обязанности, на себе. Это заметно было в его психологии. Точно он с вами говорит-говорит, а вот придет домой, наденет епитрахиль³ и начнет готовиться к настоящему, должностному, к завтрашней «службе». Ссылки на Священное Писание, на мнения отцов Церкви, на слова какого-нибудь схимника-«старца» постоянно мелькали в его разговоре. Рядом с этим у него был, хотя не столь коренной, интерес к университету, к состоянию науки, к ученым корпорациям. Сюда примыкала (недолгая и случайная) лекционная сторона. Он любил читать лекции и читал их мастерски. Университет наш потерял в нем огромное возможное влияние на студентов, и влияние идеалистическое, философское. Тут уж приходится посетовать на «неблагоприятное расположение созвездий», где было решено, что пусть уж лучше читает хоть вахмистр, а только не возбuditельный ум. «Тише едешь, дальше будешь» — русская мудрость. Наконец, из-за священника и профессора у него вырывалась личность журналиста, самая бойкая, переменчивая, то колющая, то плачущая, крикливая, самонадеянная: настоящий парфянский наездник, который не давал успокаиваться дремлющему и самодовольному Риму. В образе мыслей его, а особенно в приемах его жизни и деятельности, была бездна «шестидесятых годов», и нельзя сомневаться, что, хотя в «Кризисе западной философии» и выступил он «против позитивизма», то есть против них, — он их, однако, горячо любил и уважал, любил именно как «родное», «свое». Он был только чрезвычайно даровитый и разносторонний «шестидесятник», так сказать король того времени, не узанный среди валетов и семерок. Духовная структура знаменитой реформационной эпохи была в значительной степени и у Соловьева.

Он начал писать в семидесятих годах. И с людьми 80—90-х годов он уже значительно расходился. Это второе, послереформационное, поколение, было значительно созерцательнее его. У Соловьева было явное желание завязать с ним связь, но она не завязывалась, несмотря на готовность и с другой стороны. В этом втором поколении было заметно менее желания действовать, а Соловьев не умел жить и не действовать. Как-то он мне сказал о себе, что он — «не психолог». Он сказал это другими словами, но заметно было, что он жалел у себя о недостатке этой черты. Действительно, в нем была некоторая слепота и опрометчивость конницы сравнительно с медленной и осматривающейся пехотой или артиллерией. Во всем он был застрельщиком. Многое начал, но почти во всем или не успел, или не кончил, или даже вернулся назад. Но если были неудачны его «концы», то были высокодаровиты и нужны для отечества и славны для его имени выезды, «начатки», первые шаги.

Заметно, как образ его улучшается, очищается после смерти; как и перед самою смертью он быстро становился лучше, как будто именно приуговаривался к смерти. Разумею здесь его отречение от горячих и неподготовленных попыток к церковному «синтезу» и вообще быструю его национализацию. Внук деда-священника вдруг стал быстро скидывать с себя мантию философа, арлекинаду публициста. «Схиму, скорее схиму!»⁴ — как будто только не успел договорить он по примеру старорусских людей, московских людей. И хорошо, что умер около Москвы, москвичом. Там ему место — около сердца России.

Мы же не забудем еще и еще поминать его, и именно церковно поминать. Поверим, что это было самое горячее его прижизненное желание.





А. В. АМФИТЕАТРОВ

Вл. С. Соловьев

(Встречи)

Быть может, ни о ком из деятелей последних лет не ходило в обществе столько разнообразных и разноречивых слухов, как о покойном Вл. С. Соловьеве. Общество чувствовало в нем огромный талант и огромную, интересную загадку. Что он за человек? Разрешить нелегко было тому, кто знал его только по печати да по публичным чтениям. У нас в России принято, чтобы талант причислялся к определенному литературно-политическому ведомству, надевал его мундир и затем неукоснительно проходил в оном длинную лестницу чиновного производства до «нашего маститого» включительно. Вл. С. Соловьев был решительно не создан для мундира. Мысль его, как гигантский маятник, качалась между восточниками и западниками, унося на себе плодотворные следы и тех и других. Это не был ни консерватор, ни либерал, ни ретроград, ни радикал, ни народник, ни марксист. Это был одинокий свободомыслящий мудрец, имевший привычку думать вслух — спокойно, искренно, объективно и вслух, — не смущаясь вопросом, по вкусу ли придутся слова его соседям и в какой отряд «убеждений» они его на основании этих рассуждений вслух зачислят. Громадное дарование Вл. С. Соловьева сделало, что его уважали и любили все наши «лагери». Когда он умер, все лагери дружно всплакнули о его смерти. Но ни один лагерь не решился утверждать: он был всецело наш. Говорили только: покойный сходил с нами в таких-то и таких-то взглядах, и мы любили его за это, хотя расходились в других.

Мыслитель вслух и Л. Н. Толстой. Но Вл. С. Соловьев был в другом роде. Не говоря уже об авторитете, которым с Толстым Соловьев не мог, конечно, равняться, была разница в способах оглашения результатов мысли и влияния ими на массу. Однажды при мне в Москве в весьма интеллигентном, профессорском

кругу зашла речь о так называемой «вредоносности» Толстого, усердно проповедуемой всяческими, а наипаче московскими, охранителями. Известно, что в среде западников-прогрессистов идеи толстовского опрощения и непротивления злу тоже симпатиями не пользуются. Спор был интересен, умен, разнообразен; один из участников его, фанатический поклонник и последователь Льва Николаевича, блистательно разбил своих оппонентов на два фронта и, торжествуя, ушел победителем.

— Я же, — сказал по уходе его старый профессор-шестидесятник, все время молчавший, — нахожу в деятельности Толстого всего лишь одну отрицательную сторону — не столько даже вредную, как печальную. Это — что, бросившись в этический анализ и философские построения уже человеком пятидесяти лет, он, с огромным авторитетом своим, оповещал мир чуть не каждый день о результатах, которых он достигал как мыслитель-самоучка.

— Что же тут дурного?

— То, что вместо одной, твердой и ясной философско-религиозной системы, которую он выработал бы про себя и объявил, освященную своим творческим именем, к XX веку, мы в течение двух десятилетий имели не один толстизм, а несколько толстизмов, из которых иные почти зачеркивали предыдущие. Он слишком часто показывал массе черняки своей умственной работы, а масса хваталась за каждый из них как за последнее слово учителя, не соображая того, что вечно и неугомонно грызущий Толстого дух сомнения заставит его еще несколько раз переработать черняки, прежде чем они будут им признаны готовыми набело, да и то еще Бог весть какая потом пойдет корректурная правка. А из этого публикации черняков получилось, что множество людей, не способных пойти в свободе мысли и воли дальше *ipse dixit*¹, позастрали на таких стадиях толстизма, которые давно упразднены самим Толстым. Я знаю многих толстовцев, которые, задержавшись на деятельности и проповеди Толстого в начале 80-х годов, не посмели шагнуть за ним в девяностые. Есть, наоборот, толстовцы в сотни раз строже в толстизме самого Толстого, ревниво следящие за своим апостолом, готовые обличить каждую его непоследовательность и, если удастся обличить, затем неделями, месяцами терзаться и мучиться ею, изнывая в сомнениях. Словом, я упрекаю его только в том, что вместо того, чтобы выносить про себя и затем принести и провозгласить толпе учение свое готовым, Лев Николаевич вырабатывал его на глазах всей России, увлекая за собою белить процесс своего творчества все общество: куда он, туда и вы. Но его-то

огромной голове было немудрено одолевать эти этапы мысли, а умы послабее, не говоря уже о посредственных, изнемогали и застревали на них сотнями.

Вл. С. Соловьев неповинен этому упреку — по крайней мере, неповинен в той мере, как Толстой: обыкновенно он мыслил вслух набело. Но вследствие того и мысль его, заключенная в стройные, но сложные системы, становилась менее доступною массам. Толстой давал толпе не только пищу, но и наглядно показывал опытом, как ее готовят, как надо ее класть в рот, жевать, глотать, переваривать. Соловьев подносил кушанья и говорил: «Попробуйте — вкусно. А как за него надо взяться, ножом с вилок или ложкою, — не скажу: сами догадайтесь. И разъяснять вам, как я его приготавливал, из чего и в каких пропорциях, — тоже не хочу. Анализируйте, если можете». Он был больше аристократ-ученый, тогда как Толстой — больше демократический самоучка. Громадная, почти страшная, энциклопедическая эрудиция Владимира Соловьева и привычка его к строго научному тону резко подчеркивали эту разницу. В Соловьеве много Фауста, уклонявшегося из толпы; Толстой, даже и в философии, похож на тех старых русских угодников, старателей народных, что весь религиозный смысл жизни своей полагали в общении с толпою, в направлении ее по путям, предначертанным их вдохновителями.

Фаусты поэтичны и загадочны. Поэтичен и загадочен для общества был и Соловьев. Трудно отрицать в нем некоторую мистическую двойственность духа и быта.

— Соловьев великий постник и трезвенник! — скажет один в обществе.

А другой сейчас же возражает:

— Помилуйте, мы ужинали у Н. — и он отлично пил красное вино.

— Соловьев аскет и девственник.

— Однако иной раз он рассказывает препикантные истории и анекдоты.

И все правда: и постничество с трезвенностью, и красное вино, и аскетизм, и анекдоты.

— Удивил нас Соловьев, — говорил мне один московский литератор. — Разговорился вчера. Ума — палата. Блеск невероятный. Сам — апостол апостолом. Лицо вдохновенное, глаза сияют. Очаровал нас всех. Но... доказывал он, положим, что дважды два четыре. Доказал. Поверили в него, как в Бога. И вдруг — словно что-то его защелкнуло. Стал угрюмый, насмешливый, глаза унылые, злые. «А знаете ли, — говорит, — ведь дважды-

то два не четыре, а пять». — «Бог с вами, Владимир Сергеевич! Да вы же сами нам сейчас доказали...» — «Мало ли что “доказал”. Вы послушайте-ка...» И опять пошел говорить. Режет *contra*, как только что резал *pro*, — пожалуй, еще талантливее. Чувствуем, что это шутка, а жутко как-то. Логика острая, резкая, неумолимая, сарказмы страшные... Умолк — мы только руками развели: видим, действительно, дважды два — не четыре, а пять. А он — то смеется, то словно его сейчас живым в гроб класть станут.

Соловьев был, несомненно, самым сильным диалектическим умом современной русской литературы. В споре он был непобедим и любил гимнастику спора, но выходки, подобные только что рассказанной, кроют свои причины глубже, чем только в пристрастии к гимнастике. Этому Фаусту послан был в плоть Мефистофель, с которым он непрестанно и неутомимо боролся. Соловьев верил, что этот дух сомнения, вносящий раздвоение в его натуру, самый настоящий бес из пекла, навязанный ему в искушение и погибель. Известно, что он был галлюцинат и духовидец. Про преследования его бесами он рассказывал друзьям своим ужасные вещи, — совсем не рисуясь, а дрожа, обливаясь холодным потом, так тяжка приходилась ему иной раз эта борьба с призраками мистически настроенного воображения.

Вот один из таких рассказов.

На финляндском пароходе, в шхерах, по пути, кажется, из Ганге, Вл. С. Соловьев поутру, встав ото сна, сидел в своей каюте на койке и думал о чем-то далеком. Вдруг ему стало неловко, как будто на него кто-то смотрит, как будто он не один в каюте. Оглядевшись, он видит, что на подушке его постели сидит мохнатое серое человекообразное существо и глядит на него злыми глазами.

— Не знаю почему, но я не удивился, — говорил Вл. С., — а только посмотрел на него пристально в свою очередь и, тоже не знаю почему, вдруг спросил его: «А ты знаешь, что Христос воскрес?» А он мне в ответ: «Христос-то воскрес, а вот тебя я оседлаю!»

И он прыгнул на меня, и я почувствовал себя придавленным страшною и отвратительною тяжестью...

Вне себя от ужасной галлюцинации, Соловьев начал читать все молитвы и заклания против злых духов, какие могла подсказать ему огромная, опытная в Писании и в обиходе церковном, память. Видение отвалилось... Соловьев выбежал на палубу и повалился в обмороке.

Человек, с которым приключаются подобные истории, конечно, не пророчит быть долговечным. Зимой 1899—1900 года я несколько раз встречался с Соловьевым, впервые с ним тогда познакомившись, и, при всей гениальности его разговора, при всем остроумии, глубине мысли, при всей симпатичности его наружности и обращения, в нем жило что-то именно жуткое, необычайное, чудилось какое-то страшное, «высшее» недовольство — собою ли, миром ли?

«Гениален-то он гениален, — думал я, возвращаясь после одной такой встречи у М. А. Загуляева², — только как бы он не пустил себе пули в лоб либо, если религия удержит его от самоубийства, не очутился бы в сумасшедшем доме».

В нем было что-то «ставрогинское»: покоряющее, но заставляющее жалеть его, властное, но глубоко внутри несчастное, сверкающее светом, испещренным темными пятнами отчаянных сомнений... гений граничил с безумием, и безумные по смелости слова и мысли поднимались до гения.

* * *

Зимой 1899 года возник из одного литературного столкновения третейский суд. Одна из сторон выбрала в судьи меня и Вл. С. Соловьева, другая — М. А. Загуляева и одного почтенного ученого, имени которого я не упоминаю, так как, быть может, он не желает быть названным. Я был всего лишь на одном заседании этого суда, так как во время двух последующих проболел инфлюэнцею. Установив на заседании формальную сторону дела, мы сложили в сторону официальные отношения и перешли к обычной беседе. Ученый скоро ушел, а Соловьев и я остались у Загуляева, по приглашению его, пить чай и какое-то особенное, превосходное пиво в каких-то вычурных жбанчиках, каких мне не приходилось видеть ни прежде, ни после. М. А. Загуляев был человек высокоорганизованный, умел устраиваться и жить не только по-европейски, но и щегольски по-европейски, как европеец больше самих европейцев. Соловьев был, как известно, вегетарианец. Однако не рисовался этим демонстративно: редиску ел с маслом и даже, кажется, пробовал шофруа из дичи³. И пива хлебнул. Думал ли я, сидя за столом между этими двумя людьми, что сижу между двумя вскоре покойниками?! И года не прошло, а уже оба лежали на кладбище... Загуляев хоть старик был, — а Соловьев-то?

Пришел Соловьев не в духе, как и все мы, впрочем: щекотливое дело третейского суда — кому в радость? Да и не мастера мы,

русские, проделывать эти заграничные штуки. Один Загуляев чувствовал себя как рыба в воде и священнодействовал с величием и умелостью члена палаты лордов. Но когда официальности кончились, Соловьев развеселился.

— Я против вас зуб имею, — обратился он ко мне с тою чарующею улыбкою, которая привлекала к нему по первому же знакомству столько друзей.

— За что, Владимир Сергеевич?

— А зачем вы напечатали мою «Эпитафию»?

— А зачем вы пустили ее ходить по рукам?

Он расхохотался.

— Правда, смешно?

— Очень смешно, Владимир Сергеевич: прутковская просто-та какая-то.

— А кто вам сообщил ее?

Я назвал.

— Ах, разбойник! — снова засмеялся Соловьев. — Я ему прочел стихи как доброму человеку, а он — в печать! Уши ему надрать надо. А впрочем, отлично сделал: пусть посмеются люди; смех добрый, искренний нужен... только без гнева, без злости... Улыбка радости нужна. Пусть улыбнутся.

«Эпитафия самому себе», шутка Вл. С. Соловьева, о которой шла речь, читается так:

Владимир Соловьев
Лежит на месте этом.
Был прежде философ,
А после стал поэтом.

Он душу потерял,
Не говоря о теле;
И душу дьявол взял,
Собаки тело съели.

Прохожий! Научись
Из этого примера,
Сколь пагубна любовь
И сколь полезна вера.

— Стих о собаках, — улыбаясь продолжал Вл. С., — у вас был напечатан неверно: «тело собаки съели»... тут размер не выдержан.

— Мы думали, вы нарочно, ради особой пикантности — маленькая невыдержка в размере иногда эффектна.

— Ну это мог себе позволять Некрасов, а не мы, которые «после стали поэтами»! А вы знаете другую мою эпиграмму, тоже недавнюю?

- Какую?
- На Розанова.
- Нет, не слышал.
- Запишите, если хотите.

Я записал, но... запись потерял и теперь помню наизусть лишь первые четыре и последние стихи этой смешной вещицы, превосходно и беззлобно вышучивающей чересчур «византийский» привкус писаний и мировоззрения г. Розанова. Вот эти стихи.. Думаю, что г. Розанов не обидится на их оглашение. В них нет ничего для него оскорбительного. Он изображен в момент, когда становится на молитву и исповедует вслух суть своих убеждений:

Затеплю я свою лампаду
И духом в горних воспарю:
Я не убью, я не украду,
Я не прелюбы сотворю...

.

И, в сонме кротких светлых духов,
Я помолюсь за свой народ,
За растворение воздушных

И за свя-тей-ший пра-ви-тель-ству-ю-щий сино-о-о-од!

Читал Вл. С., радуясь своей шутке как ребенок, захлебываясь смехом, а последний стих даже пробасил, как дьякон. Говорят, что подобных острот в рифмах им набросано множество, Потом меня уверяли, что эпиграмма эта кн. С. Н. Трубецкого и что написана она на Победоносцева. Я помню, что Вл. С. Соловьев говорил о ней как о своей, но, может быть, память мне изменила, хотя это редко со мною случается. Относительно же Розанова положительно утверждаю, что Соловьев рекомендовал эпиграмму как направленную против него. С юмористическими стихами Соловьева много недоразумений. По-видимому, он любил ими мистифицировать публику. Так, одно из них, несомненно ему принадлежащее, на «непротivление злу», он приписал Алексею Толстому *. Наоборот, одна смешная баллада, ходившая по рукам под именем Владимира Соловьева, оказалась впоследствии произведением А. А. Столыпина **.

Загуляев осторожно переменял разговор, наводя Соловьева на мистические темы. Совершенно не зная Загуляева, я не имею по-

* Вонзил кинжал убийца нечестивый
В грудь Деларю.

А Деларю, с улыбкою учтивой:
«Благодарю!» и т. д. ⁴

** «Пан Зноско стар...» и т. д.

нения о том, был ли он вообще мистиком, но в этот вечер он говорил как убежденный супернатуралист, горячо соглашался со спиритами, поминал о таинственных предчувствиях... Соловьев слушал, опустив голову, потом вдруг сказал:

— Удивительная вещь! Со мною бывало много загадочных странностей. Но если они бывали, то всегда грубые, резкие, ошеломляющие. Чудес по мелочам, которыми спириты утешаются, я не знаю. А впрочем, может быть, просто не замечаю? В жизни так много проходит незамеченным... Тело, громко кричащее тело отвлекает от подробностей жизни духа, вуалирует его глубины. Я знал монаха, самоистязатель был, подвижник, постник. Заболел он сильно, желудок стал плохо варить, запоры пошли — инок рад: измождусь, верит, еще больше — и удостоюсь видений. А фельдшер, который к нему временами ходил, взял да и угостил его слабительным... Ну, что после того монах не имел видений, это понятно — самое верное против них средство! А вот что он потом уже и не захотел их иметь, и хотя продолжал быть очень порядочным монахом, но изнурять себя более не пожелал и повел свою плотскую жизнь очень нормально, — вот это удивительно. Тело одолело, заслонило душе дорогу к экстазу...

Тогда много говорили о деле Скитских. Соловьеву очень нравилось «литературное дознание», произведенное по этому делу Дорошевичем для газеты «Россия»⁵. Разговор, коснувшись кровавой темы, перешел на преступления конца века, в которых так часто и так страшно смерть и сладострастие братаются между собою, на «карамазовщину» новой культуры. Между прочим, Загуляев напомнил ходячий анекдот о давно уже умершем знаменитом русском писателе⁶, человеке нервном до эпилептических припадков, который однажды в половом аффекте будто бы совершил отвратительное насилие над малолетнею нищенкою и затем, в покаянном порыве, пришел неожиданно к своему злейшему врагу, тоже знаменитому писателю, и казнил себя, рассказывая ему свой ужасный поступок.

— Я не верю, что было так, — сказал Соловьев, — но, конечно, могло быть так. Он в последние годы жизни был именно в таком душевном состоянии, когда человек не свой, а владеют им либо Бог, либо дьявол. Либо экстаз серафический, либо экстаз inferнальный. Враг его, от кого узнана была вся история, любил прихвастнуть, измыслить — однако не столь же злые вещи. Я думаю, что великий писатель действительно был у него и каялся. Но это не значит еще, чтобы он действительно сделал, в чем каялся. Бывают помышления, которые приобретают для человека реальность как бы свершившихся фактов. Недаром же

Христос говорил, что половые помышления — такой же реальный грех, как и половые деяния. И я думаю, что с таким-то помышлением, создавшим яркую галлюцинацию, мы в данном случае имеем дело... А впрочем, — вздохнув, отуманился он, — чего не бывает на свете...

Затем между ним и Загуляевым опять завязался спиритический спор — М. А. спиритов отстаивал, Соловьев относился к ним весьма скептически, с насмешкою и нелюбовью. Я в этих вещах не знаток и не любитель; мне стало скучно, и когда часы пробили одиннадцать — время ехать в редакцию читать нумер, — я откланялся и ушел.

[ЗАМЕТКА О ЛЕКЦИИ]

Вл. С. Соловьев прочитал в Думе лекцию о конце мира, во время которой кто-то свалился со стула⁷. Публика и газеты думали, что — со страха пред антихристом. Но свалившийся протестовал в газетах, уверяя, будто Вл. С. Соловьев просто навел на него дремоту, и, опасаясь заснуть так, что потом и светопредставление не разбудит, он стал возиться на своем стуле; думский стул неравной борьбы не выдержал, и — случилось как раз то происшествие, о коем поется в детской песенке:

Стул подломился,
Король покатился...⁸

Человек, охочий сблизать великое со смешным, может много наострить на тему этого неожиданного совпадения — помянув и о горячем учителе истории из «Ревизора», и об Александре Македонском, и об убытке казны, и наконец даже просто о черте в стуле, которого Вл. С. Соловьев сулил присутствующим до тех пор, пока черт не возгордился и не начал въявлять безобразничать. Одна духовная особа, присутствовавшая на лекции Соловьева, так, по крайней мере, и объяснила странное крушение стула, которым началось мировое крушение, — громогласно возопив, когда оно свершилось:

— Вот что значит все об антихристе да об антихристе... Договорились!!!

Конец мира, однако, за концом думского стула не воспоследовал; не пришел и антихрист, а пришел думский сторож, подобрал и унес бранные останки злополучного стула, заменив его другим. Инцидент со светопредставлением, стало быть, действительно был исчерпан только тем, что

Стул подломился,
Король покатился...

Кстати: не так давно, роясь в старых журналах, я нашел смешное указание, что когда представлен был в цензуру сборник русских песен Киреевского, то из-за двух этих стишков детского лепета книга чуть-чуть не была задержана: цензор, из разряда Загорецких, нашел их опасными для престижа высшей власти. Вопрос восходил по инстанциям до шефа жандармов — и лишь этот всемогущий человек дореформенной Руси по зрелом размышлении нашел себя вправе позволить королям иметь плохие стулья и сваливаться с них иной раз, как случается свалиться обыкновенному смертному.

Теперь — два слова о «черте в стуле», которого насулил Вл. С. Соловьев.

Я не знаю, скоро ли кончится мир, как предсказывает Вл. С. Соловьев, и по тому ли церемониалу. Этой хорошей старой машине часто пророчили крушение, а она все живет и работает, даже и не думая уставать. Пламенный творческий дух, который некогда ослепил сиянием своим мудрого Фауста в его профессорской келье, покуда как будто еще нигде не дремлет и вовсе не походит на господина, готового от зевоты свалиться со стула.

In Lebensfluten im Tatensturm
Wall'ich auf und ab,
Webe hin und her!
Geburt und Grab,
Ein ewiges Meer,
Ein wechselnd Weben,
Ein glühend Leben,
So schaff'ich am sausenden Webstuhl, der Zeit,
Und wirke der Gottheit lebendiges Kleid⁹.

Но если бесконечен мир, то, несомненно, наоборот, конечны цивилизации, существующие в мире и управляющие до известной степени судьбами если не всего мира, то весьма значительной его части. Цивилизация есть стремление человечества к божеству. Начиная с полужверского, дикого состояния все известные доселе исторические цивилизации росли, развивались и множились до тех пор, пока не достигали во внешних формах и проявлениях своих действительно почти божественной мощи и изящества. И, став на эту дивную высоту, все цивилизации начинали смутно сознавать, что никогда еще божество, то есть идеал мудрости, справедливости и любви, не было так далеко от мира, как в эту минуту, когда она, цивилизация, пройдя ряд вековых уси-

лий и испытаний, по-видимому, торжествует над миром. Это — момент перелома, после которого для цивилизации начинается период умирания. Она долго и упорно борется за свое существование, за свою правоту, но ее неумолимо разлагают самонедовольство верхних общественных слоев и старые, но вечно юные, неизменные со дня рождения человечества идеи божественной мудрости, справедливости и любви, которые, как забытые слова, выплывают откуда-то со дна и с упреком стучатся в лучшие умы смертельно заболевшей цивилизации. Смутное предчувствие говорит им: «Мы кончаемся» — за триста-четырееста лет до действительного конца. И они думают, что конец их — в то же время конец всего видимого мира, потому что они не в состоянии представить себе, что мир может существовать в реальности на иных основах, чем они сами существовали. Им хочется думать, что он умрет с ними вместе и воскреснет уже преображенным призраком прежнего мира, в котором человек из естества своего сохранит начало цивилизующее, то есть приближающееся к божеству, — дух, но не останется у него начала, борьба с коим и составляет предмет цивилизации и зловредному влиянию коего приписывается отдаление от божества, — плоти. И мистически настроенная фантазия рисует им мощные образы грядущего переворота: как он начнется, свершится и перейдет в примирение человека с божеством. Это — эпоха покаяния цивилизации, эпоха предчувствий казни за попытку выстроить башню до небес и стать подобными богам, ведающим чрез запретный плод, что есть добро и зло.

Люди, любящие старую цивилизацию, трепещут, создавая пессимистические системы; люди, воскресившие в душах своих вечный божественный идеал, чают разрушения старой цивилизации как духовой революции, долженствующей создать новый мир. Властителями умов, двигателями литературы становятся: сатирико-философский этюд — как прощание с прошлым, и апокалипсис — как завет грядущего.

Вл. С. Соловьев, несомненно, один из тех мистических умов, которые инстинктом чувствуют, что наша 15-вековая культура, самозванно величающая себя христианскою, дошла в своем развитии приблизительно до такого же переломного предела, какой, например, в пятидесятых-восьмидесятых годах первого века нашей эры пережила античная культура греко-римского мира. И ему захотелось написать апокалипсис, подобный тем, которые во множестве писались в сказанное время. Наше общество, хотя и христианское, Новый Завет знает плохо — ведь и к Евангелию-то его больше Толстой повернул в последние годы! — и этим объ-

ясняется, что лекция г. Соловьева произвела на Петербург впечатление какой-то отвлеченной поэтической фантазии, почти мистификации. Я не был на чтении и знаю о нем лишь по газетным отчетам. Но и из них видно, что г. Соловьев возвещал миру если не «откровение Иоанново», то другой апокалипсис, значением и качеством пониже — вроде «Книги Эноха», «Успения Моисеева» и т. п. Все эти разговоры об антихристе, маге Аполлонии (даже имени-то г. Соловьев не подновил) etc., включительно до провала воинства антихристов в тартарары и появления Христа в отверстом небе, — перепев своими словами от 12-й главы «Откровения» включительно до первого стиха главы 21-й: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря нет». Фантазия г. Соловьева не его собственная, а взятая напрокат у южан Иудеи и Сирии, чаявших 1850 лет тому назад гибели старого Рима и старого Иерусалима для того, чтобы создать новый Рим и грезить о новом полудуховном Иерусалиме. Прологом к новому Иерусалиму завершает свою фантазию и г. Соловьев. Ибо, когда антихрист провалился, а Христос пришел с победою вновь на землю, чему же учредить-ся на последней, как не тому millennium¹⁰, блаженному тысячелетию полудуховного, полуплотского царствия Христа на земле, о котором мечтали Ириней Лионский, Юстин Философ, Лактанций?¹¹

Но если фантазия Вл. С. Соловьева не северного производства, а южного заимствования, то, с другой стороны, по условиям своего произвольного появления в свет фантазия эта несравненно более сродни сказкам, бесцельно и свободно рождающимся в праздном уме красиво мыслящего поэта, чем осмысленному и целесообразному созданию апокалипсисов. Если апокалипсис — пророчество для будущего, то для настоящего и прошедшего он — религиозное обличие. Автор «Откровения» видел живого антихриста — великолепного цезаря Нерона — и твердо верил, что он антихрист, «зверь из бездны», число которого — 666 или, по другим спискам, 616 — криптограмма еврейского начертания Nero Caesar¹². Он видел казни христиан, пожар Рима, революцию в Иудее, ужасы междоцарствия, предчувствовал неминуемую гибель Иерусалима, так же как мы, сочувствуя бурам, конечно, предвидим, что Трансвааль будет раздавлен англичанами, — и эта реальная основа дала глубокую силу и многозначительность его аллегориям. Вл. С. Соловьев «фантазирует в воздухе»... Он не видал ни живого антихриста, ни волхва и лжепророка его и сочиняет их из собственной головы. Поэтому вместо грозных, стихийных апокалиптических образов, на два

тысячелетия неизгладимо запечатлевшихся в памяти человечества, у г. Соловьева антихрист вышел просто недурным из себя, образованным, честолюбивым и самодовольным литератором лет 33, а состоящий при нем Симон-волхв, alias¹³ маг Аполлоний, — профессор белой и черной магии и специалистом гипнотических внушений. Это — Сигма и Осип Фельдман¹⁴, а вовсе не антихрист с лжепророком его.

Г-н Соловьев играл в воздушные фигуры, и вследствие этого лекция его потеряла целесообразность и практическую обоснованность. «Как ветер, песнь его свободна, зато, как ветер, и бесплодна»¹⁵. Это — игра в умственный Lawn-tennis, а не откровение. Чтобы сделать соус из зайца, надо прежде всего иметь зайца — чтобы писать трактаты об антихристе, надо исторически обзавестись антихристом. Но — всемирная история покуда не создает такового, и не Чемберлена же с Родсом¹⁶ жаловать в антихристы. Это для них чести много! Скажут: антихриста нет пред антихристом. Ну, вряд ли. Проповедь так называемого «сверхчеловечества», которою завершилась наша мнимохристианская цивилизация, конечно, антихристова проповедь. Но, для того чтобы явиться ее практическим осуществителем, будущему антихристу не хватит еще надолго того огромного фактора, который так легко превратил в антихриста Нерона: единства цивилизации в мире и единой власти ее именем. Сейчас нету владетелей мира, и вряд ли они могут быть. Россия, Англия, Китай владеют гораздо большими земельными пространствами, чем владела Римская империя, но — владеют не безапелляционно, а в строгой политической условности взаимных интересов и культур. Если появится антихрист в Англии, он еще не будет повелительным антихристом для России, а разве лишь явится для какой-нибудь кучки русских англоманов антихристом, так сказать, совещательным. Если же, паче чаяния — и сохрани Бог! — антихрист родится «от семи дев» в пределах Российской империи, то будем уповать, что гнилой Запад не примет его уже из одной зависти и ненависти к нашей «самобытности». Так что мы останемся при своем антихристе, а Западу придется обзавестись своим. А вернее, своими, ибо сомнительно, чтобы, например, антихрист немецкий мог приобрести популярность во Франции, антихрист-француз — у пруссаков. А раз пойдет на антихристов такая конкуренция, то, авось, и дело кончится благополучно, без светопреставления. Просто — как твари злобные и сверхчеловеческие — антихристы антихристов слопают, и останутся от них одни хвосты, каковые невозбранно будет поместить на память и

поучение потомству в петербургскую кунсткамеру или парижский музей Cluny¹⁷.

Антихрист есть единство царства плоти, противопоставленно-го царству духа, царству Божию. А быть может, единственный успех, достигнутый новою цивилизацией после падения старой, античной, — что царство плоти, царство от мира сего, раздробилось на сотни тел, бессильных сомкнуться общим походом на царство духа, которое пребывает все то же единое, вечное, непоколебимое, цельное... Антихрист — единая мировая монархия, единая бездушная наука, единая плотская власть над землею. Эта власть стала невозможною, едва цивилизовалась пятая доля земного шара. Даже раздробясь на семь-восемь мощных властей, не считая десятков маленьких, она не в состоянии уже управиться с тем, что у нее есть. Быть может, будущность нашей истории совсем не в огромных единовластных государствах, но в союзных федерациях, в какие выродилась под конец своего существования Римская империя и к которым придется вернуться. Но это — улита едет, когда-то будет! И вряд ли на борзом коне, а не именно на такой долго едущей улите ползет к нам и соловьевский антихрист.





В. Л. ВЕЛИЧКО

Владимир Соловьев

Жизнь и творения

I

16 января 1853 года в день, посвященный Церковью воспоминанию о веригах св. апостола Петра, в семье знаменитого историка нашего Сергея Михайловича Соловьева¹ родился сын, которого называли Владимиром и который, как оказалось, был послан в мир с призванием исключительным.

Это высокое призвание сказалось рано; мало-мальски внимательный наблюдатель, глядя на выразительное личико ребенка, окаймленное густыми темно-каштановыми волосами и озаренное загадочно-глубокими лучистыми глазами, сразу видел, что это растет нравственная сила и недюжинный ум, а также своеобразный, правдивый характер. Ребенок уже вел себя не как все: с одной стороны, он был гораздо сдержаннее и вдумчивее, чем обыкновенные дети, с другой — чувствовал уже сильнее и глубже. В раннем детстве он знал множество русских песен, а также стихотворений лучших наших поэтов. Особенно любил он все, что веяло народным духом. Рассказывают, что он мог целыми часами просиживать перед стулом, изображавшим запряженную лошадь, и убежденно напевать: «Ну, тащися, сивка!»² Он был буквально влюблен в кучера, здорового детину с большой бородой, от которого дышало русскою простонародной силой. Бывало, вырвется мальчуган во двор и — шмыг в сарай, к своему другу; бросается к нему на грудь, обнимает, целует. К нищим у него была какая-то мистическая любовь, не покинувшая его до самого конца дней. С тех пор как завелись у ребенка карманные деньги, они всегда предназначались нищим.

В товарищах-сверстниках ребенок не нуждался и не искал их, потому что рано их перерос духовно; но ко всему окружающему он относился с такою необыкновенною чуткостью и впечатли-

тельностью, что даже неодушевленным предметам давал имена собственные. Любимый свой ранец с книгами он называл, например, Гришей, а карандаш, который носил обыкновенно на длинном шнурке через плечо, как меч, или на шее, он называл Андриюшей. Эта детская черта вошла затем в основу одной из коренных его философских идей и потому заслуживает особенного внимания.

Трудно определить, когда именно он стал приобретать или, вернее, жадно впитывать начатки гуманитарных наук; во всяком случае, это началось очень рано. В период от 6 до 7 лет он любил воображать себя испанцем: перекидывал полы детского пальто на плечи, как настоящий гидальго, и рассказывал своей любимой сестре Надежде Сергеевне, подходившей к нему и по годам, и по душевному складу, разные импровизированные новеллы в духе средневековой Кастилии.

Кроме родителей воспитанием его в период от шести- до десятилетнего возраста занималась Анна Кузьминична Колерова, которую он в шутку называл Анной-пророчицей, потому что ей случалось видеть вещие сны, предсказания коих сбывались не раз и производили на маленького питомца сильное впечатление. Эта почтенная особа долго жила потом «на покое» в доме Н. С. Соловьевой как ближайший друг семьи и скончалась зимою 1902—1903 года.

Сам знаменитый историк наш зорко всматривался в своего необыкновенного сына и рано угадал, какая именно духовная пища нужна этой натуре. Ребенку было всего семь лет, когда он жадно и обильно испил впервые воды из священной чаши, данной ему отцом: семи лет от роду маленький Владимир Соловьев прочел жития святых — и не только прочел, но принялся и сам их «переживать» по мере своего все растущего понимания. Он стал испытывать и закалять свою волю во славу Божию. Зимой нарочно снимал с себя одеяло и мерз, а когда мать приходила накрывать его, думая, что одеяло сползло во время сна, — ребенок просил не мешать ему поступать так, как он считал нужным.

Этот знаменательный факт стремления к подвижничеству является основною чертою характера Владимира Соловьева и проходит красной нитью через всю его высокоодухотворенную жизнь. Многое из того, что им впоследствии сказано или совершено, зародилось в эти ранние детские годы и наглядно ими объясняется.

В самом дне его рождения, посвященном памяти вериг св. Петра, как будто есть что-то пророческое; с ранних лет в нем были черты этого пламенного апостола Христова: тот же пыл, тот

же могучий подъем вдохновения после кратких мгновений упадка, та же глубокая, впечатлительная и чуткая человечность.

Жажда знания в нем была неутолимая: восьми лет он уже был серьезным знатоком истории и географии, двух любимых своих предметов.

На девятом году он познал первую любовь, младенческую, но чрезвычайно пылкую. Пленила его миловидная сверстница, Юлинька С., и невинное ухаживанье выражалось в том, что он на Тверском бульваре из целой толпы детей выбирал только ее одну, чтобы играть и бегать с ней. Рано постигла его судьба многих замечательных людей — быть не понятым женщиной: Юлинька скоро предпочла ему другого. Заметив это, он страшно вознегодовал, тут же подрался со своим счастливым соперником, а на другой день вносит в свой детский дневник следующие строки: «Не спал всю ночь, поздно встал и с трудом натягивал носки...» Об этой первой своей любви Владимир Соловьев помнил до последнего времени и раскрыл ее *истинный* смысл в поэме «Три свидания» (1898):

Заранее над смертью торжествуя
И цепь времен любовью одолев,
Подруга вечная, тебя не назову я,
Но ты почувешь трепетный напев...

Не веруя обманчивому миру,
Под грубою корою вещества
Я осязал нетленную порфиру,
Я узнавал сиянье Божества...

Вот истина художественная или, вернее, мистическая; а вот как было на самом деле:

И в первый раз — о, как давно то было! —
Тому минуло тридцать шесть годов,
Как детская душа неожиданно ощутила
Тоску любви с тревогой смутных снов.

Мне девять лет; *она...* — ей девять тоже.
«Был майский день в Москве», как молвил Фет.
Признался я. Молчание. О, Боже!
Соперник есть! А! он мне даст ответ!..

Дуэль, дуэль! Обедня в Вознесенье.
Душа кипит в потоке страстных мук.
Житейское... отложим... попеченье —
Тянулся, замирал и замер звук.

Алтарь открыт... Но где ж священник, дьякон?
И где толпа молящихся людей?

Страстей поток — мгновенно вдруг иссяк он.
Лазурь кругом, лазурь в душе моей.

Пронизана лазурью золотистой,
В руке держа цветок нездешних стран,
Стояла Ты с улыбкою лучистой,
Кивнула мне и скрылася в туман.

И детская любовь чужой мне стала,
Душа моя к житейскому слепа...

Эта автобиографическая поэма, которую покойный автор сам весьма любил, дает биографу Вл. С. Соловьева ценные указания на главные моменты его личной жизни — и к ней придется еще вернуться. Покуда же необходимо поговорить еще о фактах промежуточного периода, которые и сами по себе интересны, и служат к выяснению обаятельной личности почившего. А эта личность не менее достойна изучения и любви, чем то, что ею создано.

Итак, возвращаясь к рассказу. На одиннадцатом году Владимир Соловьев поступает в третий класс 5-й Московской гимназии* и не только блестяще учится, но читает жадно, серьезно, не довольствуясь полужнанием, а добываясь до самой сущности встречающихся вопросов. Память, способности и развитие были у него громадные. Однажды, будучи еще в одном из младших классов, он упросил отца взять его на какую-то весьма серьезную публичную лекцию и по возвращении оттуда пересказал ее дома почти целиком.

В гимназии он вообще развернулся, стал весел, остроумен, общителен и вначале даже шаловлив. Года полтора он даже чувствовал, если можно так выразиться, прилив отроческого милитаризма: бросался к окнам во время прохождения войск, ходил на парады и маневры и горячо рассуждал о значении храбрости как главной мужской добродетели.

Ближайшими товарищами его по гимназии были сыновья А. Ф. Писемского³, а первую отроческую дружбу, которой он не изменил до самой смерти, он посвятил братьям Лопатыным⁴ (воспитывавшимся в Поливановской гимназии), из которых старший — его сверстник — ныне известный профессор.

В старших классах гимназии он испытал период мучительных сомнений и яростного отрицания всего того, чему посвятил дальнейшую славную жизнь. Он пламенно увлекался нигилизмом, материализмом, внимательно изучал до тонкости всевозможные учения, прямо или косвенно подрывающие доверие к христиан-

* 5-я Московская гимназия была выделена из 1-й.

ской религии. Одно время он считал Спинозу первым мировым философом, а Писарева — величайшим писателем земли русской.

Несмотря на замечания родных и гимназического начальства, он отрастил себе длинные волосы в знак особого вольнодумства и пытался проводить наивными способами в жизнь обуявшие его увлечения. Например, однажды, после вечера, проведенного в горячих рассуждениях с единомышленными товарищами, он, по тогдашнему выражению, «предался иконоборству»⁵: сорвал со стены своей комнаты и выкинул в сад образа, бывшие свидетелями стольких жарких детских его молитв.

Под влиянием одного из своих товарищей, впоследствии достигшего кой-какой дутой популярности отрицательными тенденциями и смолоду уже бывшего ярым нигилистом в скверном смысле этого слова, 15-летний Владимир Соловьев с каким-то болезненным наслаждением глумился над святынями и верованиями, которых не принимал его пылкий и требовательный ум.

Наш маститый историк зорко следил за духовным брожением сына, но не оказывал на него давления, считая это естественной болезнью естественного роста, которая должна пройти сама собою. Лишь изредка он полунасмешливо останавливал и конфузил зарвавшегося отрока; например когда однажды юный гимназист, потирая руки, заметил отцу по поводу одной французской книги: «А недурно там отделявают христианство», Сергей Михайлович отвечал ему немножко по Домострою: «А тебе бы следовало за это хорошенько уши надрать!»

Весьма замечательно, что в противоположность большинству юношей, у которых период «безбожия» и острого материализма совпадает обыкновенно с первыми кутежами и поисками низменных приключений с женщинами, Владимир Соловьев избегал женщин и относился к ним насмешливо, почти враждебно. Ясно, что сомнения и отрицания духовных основ жизни были в нем не лукавым голосом проснувшихся страстей, а именно необходимою стадией развития духовного. В эти годы уже в нем говорила жажда истины и взошли первые всходы того дела, которому он впоследствии служил так героически-самоотверженно. Он скорбел по утраченной вере, стихийно ему необходимой, но требовавший несговорчивого разума отринуть не мог и не хотел.

Он сперва тяжело страдал от этого; потом, ища исхода этой муке, задался целью примирить веру с разумом в самом себе, а затем, как видно из всего дальнейшего, взял на себя великую задачу: обрести в разуме поддержку для веры и другим открыть к ней широкий путь. Эта великая перед Богом и людьми заслуга

пока еще была не общественным, а только личным его делом; она потребовала и многой неутомимой, страстной работы, и громадного напряжения, и такого самоуглубления, которое доступно лишь избранникам небес. Победа над страстями и суетою мира, начатая еще на заре самосознания, когда семилетний ребенок упивался житиями святых, — эта победа была одержана заранее и навсегда. Искание новых путей для бодрственного, сознательного служения разума вере было задачей неизмеримо более трудной.

Хотя в указанной выше поэме почивший мыслитель вторую серьезную стадию своей жизни считает научно-философскую работу в Лондоне, но мне кажется, что коренное значение для всей дальнейшей деятельности и жизни его имел именно переход от неверия к вере.

Весьма важно то, *как* он совершился. У обыкновенных смертных этот переход является своего рода компромиссом между органическою, если можно так выразиться, потребностью в вере — и запросами разума; разум делается снисходительнее, а вера «теплохладною», разгораясь лишь по временам, в часы неожиданных испытаний. У Владимира Соловьева, тогда еще шестнадцатилетнего юноши, слияние обеих стихий, наоборот, удесят�еряет их силу и направленность. Работа кипит, отметаются препятствия и соблазны, в которых вязнут другие, и растет душа в великих стремлениях...

Присные не заметили, как и когда именно прошло у него неверие. Они видели только, что еще на гимназической скамье он, признав необходимость религиозного чувства, зачитывался историей религии, увлекался буддизмом, потом Шопенгауэром и Гартманом, сошелся со славянофилами. Вступив в университет на 17-м году, он был уже глубоко и сознательно верующим.

С внутренним успехом совпадал и внешний: Владимир Соловьев окончил курс 5-й гимназии первым учеником и записан на так называемой «золотой доске». В Московский университет он поступил на физико-математический факультет, прошел два курса и тщательно изучал естественные науки, но потом, неожиданно для своих близких и, особенно, для самого себя, не выдержал переходного экзамена по физике на третий курс⁶, не ответив на какие-то элементарные вопросы. Впоследствии Владимир Сергеевич презабавно рассказывал о «затмении», которое нашло на него во время этого экзамена, а затем добавлял, что естественные науки немало помогли ему разобраться в вопросах веры и упрочить ее. Мне неоднократно приходилось слышать от него, что на Богочеловека необходимо смотреть не только как на яв-

ление Божьей благодати, но и как на факт исторический, подготовленный целым рядом общеизвестных и проверяемых событий, и как на факт естественно-исторический в широком и полном смысле этого слова.

Со второго курса физико-математического факультета молодой ученый перешел прямо на третий курс историко-филологического, к которому был вполне подготовлен обширными внешкольными трудами. Во время пребывания в университете он также усердно слушал лекции и в Московской духовной академии. Последние занятия были, пожалуй, самыми главными для него, так как он прежде всего богословский писатель и проповедник. Легко можно себе представить, какой огромной массой труда были полны его юношеские годы.

Блестяще окончив курс на двадцатом году, Владимир Соловьев был оставлен при университете и, не теряя времени, принялся писать магистерскую диссертацию.

Напряженная личная жизнь или, вернее, внешкольная выработка убеждений шла своим чередом. В доме отца своего, человека непартийного и широкотерпимого ко всяким добросовестно исповедуемым чужим взглядам, юный питомец муз встречал цвет тогдашней умственной аристократии, мог слушать, спорить и развиваться.

Личная приязнь и доверие к профессорам: Московского университета — П. Д. Юркевичу⁷ и Московской духовной академии — В. Д. Кудрявцеву⁸ — давали ему неисчерпаемый источник радости и самоусовершенствования. На творениях нашего мыслителя, на всем его духовном складе видно несомненное влияние этих двух замечательных людей, влияние, которое он с благодарностью признавал.

Жажда отвлеченной абсолютной истины сочеталась в нем смолodu с жаждою реального ее осуществления. Этим объясняется, между прочим, охватившее его в студенческие годы, хотя и не особенно долгое, увлечение спиритизмом. Сблизившись с семьей Лапшиных⁹, Владимир Соловьев сделался пишушим медиумом: его пленяло реальное, как ему казалось, прикосновение «к стихии запредельной». Сам он полушутя говаривал мне впоследствии, что отстал от этих занятий главным образом «по недостатку времени».

Усиленная работа и жгучие нервные впечатления повредили организму Владимира Соловьева и отчасти вызвали в нем смолodu крайнюю раздражительность. Он был весьма вспыльчив, но и «отходчив»: после каждой резкой выходки сейчас же каялся,

просил прощения, и основное благородство его сердца проступало во всем своем блеске.

Между 18-м и 20-м годами было у него несколько увлечений, рыцарски пылких и возвышенных, но, к счастью для него, скоропреходящих. Приехав погостить в Новороссию к одной из своих теток, княгине Дадешкелиани¹⁰, Владимир Соловьев влюбился в простую крестьянскую девушку и собирался на ней жениться¹¹, но был спасен необходимостью вернуться в Москву к обычным занятиям с наступлением академического сезона; переписки с деревенской красавицей быть не могло — и образ ее мало-помалу померк. Затем он пленился поочередно двумя юными родственницами с материнской стороны, г-жами П. и Р.¹², завязалась целая переписка, но браку двадцатилетнего ученого с первой из них благоразумно помешал встревоженный семейный совет, а во второй он сам разочаровался, что весьма естественно, так как трудно было бы найти подругу жизни, которая сколько-нибудь отвечала бы даже тогдашнему его духовному уровню. Этим, насколько мне известно со слов покойного, завершились юные попытки Владимира Соловьева свить гнездо.

Мирная жинь в гнезде и не отвечала, строго говоря, ни его духовному складу, ни высокому призванию, которому он остался верен всю жизнь.

Достоин внимания прилагаемый здесь юношеский портрет Вл. С. Соловьева, тогда только что кончившего университет и вступившего в открытое море великой жизни. Высокое чело с пышными темными волосами, энергично сдвинутые густые брови над невыразимо чарующими глазами, в которых властная решимость сочеталась с детской добротой; резко очерченные усы, точно у молодого запорожца, придают низу лица некоторую суровость. Общее впечатление чрезвычайно сильное: сразу видно, что этот юноша пойдет далеко и будет глядеть на мир по-своему. Нельзя сказать, чтобы это лицо было типично русское; в нем много черт западнославянских и чего-то романтического, сложного, иноземного. Для ученого-биографа, который пожелал бы генетически исследовать возникновение такой творческой личности и такого характера, как Владимир Соловьев, представят большой интерес следующие данные о его семье, лично им сообщенные мне несколько лет тому назад.

Отец нашего философа, известный историк, был человеком не только большого таланта, но и чрезвычайно трезвого, уравновешенного ума. Эти черты, как и склонность стоять на реальной исторической почве, он передал своему сыну. Дед был пламенно верующий священник — и это чувство, и эти *verba solemnia*¹³ с

необыкновенною силой возгорелись именно во внуке; священное пламя передалось *через одно поколение*, как это часто бывает наглядно в области физической. Восходящие по мужской линии в пятом или шестом поколении были крестьяне, дети народа. Мать Владимира Сергеевича, рожденная Романова, происходит из старинной и своеобразно даровитой малорусской семьи; одну ветвь этой семьи постигла загадочно-трагическая судьба (в Полтавской и Харьковской губ.), а к другой принадлежал известный украинский философ Григорий Саввич Сковорода. И в учении, и в личном характере, и в духовном складе Владимира Сергеевича я замечал весьма часто поразительное сходство с названным философом, пленительный нравственный облик которого живо сохранился в памяти его земляков. Юмор у Владимира Сергеевича был чисто малорусский — и этот юмор допускался им в самые заветные сферы мысли и чувства. Знаменитую эпитафию, которую при жизни сочинил для себя Сковорода: «*Мир меня ловил, но не поймал*», — с большим успехом и правом мог бы сочинить и Владимир Соловьев, не раз высказывавшийся в том же духе.

Родная бабка Владимира Сергеевича с материнской стороны, урожденная Бжесская¹⁴, происходила из хорошей польской фамилии, чем опять-таки *органически* объясняются известные симпатии нашего философа к полякам и католицизму.

Совокупность этих богатых условий происхождения дала Владимиру Сергеевичу тот обаятельный облик и вместе ту загадочную сложность выражения, которые производили такое сильное впечатление на всех видевших его. Личное обаяние открыло ему путь к людским сердцам; с первых же шагов его деятельности до последних дней оно было верным и, пожалуй, самым сильным союзником его в борьбе за идеалы, которым он послужил с такою силою и славой.

Впервые выступил наш философ перед интеллигентною толпою 24 ноября 1874 года, когда защитил в Петербурге магистерскую диссертацию «Кризис западной философии», нанесшую богатырский удар тому беспочвенному, мнимонаучному и даже мнимоматериалистическому учению, которое именуется позитивизмом. Это был первый вызов, сделанный рыцарем духа кумиру, поклонение которому в 70-х годах было почти повальным. И самая книга, доказывавшая несостоятельность позитивизма и выдвигавшая на смену ему течение мистически-философское, и защита не менее смелая, чем самые тезисы юного вдохновенного борца за идею — все это было крупным событием в научной и общественной жизни и может быть отнесено к числу знаменательнейших моментов в истории русского самосознания.

В подтверждение только что высказанного приведу отрывки из двух писем очевидцев этого события. Первое принадлежит перу г. Малиновского, бывшего директора той гимназии, в которой воспитывался Владимир Соловьев. Письмо адресовано отцу нашего ученого, маститому историку. Вот оно:

«М. Г. Сергей Михайлович! Вчера на мою долю досталось провести 3 ¹/₂ часа под влиянием такого сильного и приятного обаяния, какого я давным-давно не испытывал и каким я обязан виденному и слышанному мною в тот день беспримерно блистательному торжеству мысли и слова беспримерно юного магистранта, покоровшего своим талантом всецело внимание многочисотенной разнокалиберной массы слушателей и овладевшего вполне самым глубоким сочувствием всех, без изъятия, многочисленных солидных представителей истинной интеллигенции здешней столицы, посетивших диспут. Диспут этот, из множества слышанных мною за целые десятки лет в Харькове, Москве и Петербурге, был поистине самый замечательный и по серьезности, и по одушевлению, и по мощи отпора на множество высказанных возражений; впечатление, вынесенное мною из этих часов ученой беседы, так глубоко сильно, что и через сутки оно нисколько не утратило своей живости и свежести. Это же самое испытали на себе говорившие мне нынче о том многие из виденных мною сегодня в университете и в домах вчерашних сочувственных свидетелей научного торжества. Юный ученый чародей, так чудно овладевший не только искренним, но и почтительным сочувствием всех нас вчера, был, конечно, как Вы поняли из первых строчек, Владимир Сергеевич, бывший некогда Володя Соловьев, в 5-й Московской гимназии, мною когда-то устрояемой, золотой медальер...»

Переходя далее к своим служебным и личным делам, автор письма, сожалея о покинутой Москве, говорит, что самым дорогим из дорогих воспоминаний является для него памятование «о светлых личностях, вышедших из гимназии, подобных гг. Боголепову, Соловьеву, Писемскому и пр.».

Автор письма поздравляет счастливого отца и его семью «с таким сокровищем, как ваш Владимир Сергеевич, и с его замечательным триумфом — верным прецедентом долгой и славной плодотворной ученой деятельности, наследуемой и преемствуемой им счастливо от знаменитого в науке и отечестве отца...»

Должно быть, не даром далось юному магистранту это яркое торжество. Старый педагог заметил, как исхудал его питомец, — и спешит выразить пожелание, чтобы сразу поставленному высокому успеху «скорее и полнее стало соответствовать его здоро-

вье, видимо изнуренное громадною массою работы, понесенной еще не окрепшим и не сформировавшимся нежным организмом, нуждающимся, видимо, в укреплении и освежении на юге будущим летом. Пошли ему Господь, чтобы он так же победоносно справился с недугами и восторжествовал над наклонностью к хворанию, как он уничтожил и победил хитросплетения разъяренных доморощенных позитивистов, материалистов, нигилистов и т. п. в лице возражавших ему: бездарного и настолько же наглого доктора математики Р., даровитых, но сбившихся с прямого пути и до зубовного скрежета разъяренных Вольфсона и Лесевича и их компании. Этих господ он совсем побил, победивши в ту же пору отдавших ему полную дань справедливости солидных возражателей в лице гг. Владиславлева, Каринского и отчасти Срезневского...»

Таков отзыв доброжелательного образованного «среднего человека» из публики. Это отзыв типичный и имеющий, так сказать, количественное значение, так как высказанное здесь мнение разделяли все «свежие» и беспристрастные свидетели диспута. Для нас, однако, еще более ценно мнение человека с большим научным именем и значительною ролью в истории нашей общественности. Вот что пишет о первом успехе Владимира Соловьева известный наш историк, академик К. Н. Бестужев-Рюмин¹⁵ вдове профессора С. В. Ешевского:

«Дорогая моя Юлия Петровна! Был вчера диспут вашего любимца Соловьева. Знаю, что он интересуется вас, и потому спешу написать вам несколько слов. Такого диспута я не помню, и никогда мне не случалось встречать такую умственную силу лицом к лицу. Необыкновенная вера в то, что он говорит, необыкновенная находчивость, какое-то уверенное спокойствие — все это признаки высокого ума. Внешней манерой он много напоминает отца, даже в складе ума есть сходство; но мне кажется, что этот пойдет дальше. В нашем круге осталось какое-то обаятельное впечатление; Замысловский, выходя с диспута, сказал: «Он стоит точно пророк». И действительно, было что-то вдохновенное. Оппонентов было много из публики, спор был оживленный; публика разделилась на две партии: одни хлопали Соловьеву, другие — его противникам. Если будущая деятельность оправдает надежды, возбужденные этим днем, *Россию можно поздравить с гениальным человеком...*»

Так ярко занялась заря, предвещавшая день, полный великих трудов и немалых бурь.

«Кризис западной философии» — произведение столь типичное для Владимира Соловьева как выражение его мирозерца-

ния и как основа всей его дальнейшей работы, что даже в настоящей главе, посвященной главным образом биографическому очерку утраченного нами мыслителя, уместно привести некоторые тезисы указанного сочинения. Для краткости ограничусь теми, которые приведены московским проф. А. Введенским в его замечательной статье «Призыв к самоуглублению»¹⁶.

«Оба главных направления западной философии, — говорит юный магистрант Владимир Соловьев, — рационалистическое, ограничивающееся кругом общих логических понятий, и эмпирическое, ограничивающееся частными данными феноменальной действительности, сходятся в том существенном пункте, что оба одинаково отрицают собственное бытие как познаваемого, так и познающего, оставляя одну только абстрактную форму познания, почему оба эти направления могут быть подведены под общее понятие абстрактного формализма».

Доказав целым рядом метких замечаний и рассуждений несостоятельность западной философии и неверность главных ее путей, Владимир Соловьев заключает так:

«Общий необходимый результат западного философского развития в области учения о познании состоит в том, что чистое мышление и чистая эмпирия должны быть признаны одинаково невозможными, и истинный философский метод должен быть определен как конкретное мышление, состоящее в выведении из эмпирических данных того, что в них необходимо логически заключается. В области метафизики в качестве абсолютного Первоначала вместо прежних абстрактных сущностей *должен быть признан конкретный Всеединый Дух*. В области этики должно быть признано, что последняя цель и высшее благо достигаются только совокупностью существ посредством логически необходимого и абсолютно ценного хода мирового развития, конец которого есть уничтожение вещественного мира как *вещественного* и восстановление его как *царства духов во всеобщности Духа Абсолютного*».

Вскоре по одержании упомянутой духовной победы юный магистр берет продолжительный отпуск и едет за границу. Мимоходом взглянув на суетные забавы и преходящие красоты чужих краев, он спешит искать еще и еще знания. Главная цель его поездки — работа в Британском музее, где сосредоточено столько драгоценностей по части религии, каббалистики, оккультизма и т. д.

Англия оказала нашему философу неоценимые услуги не только в углублении понимания Божественной Истины, но и в вопросе о *формах ее воздействия на души людей*. Церковь

ап. Павла, выдвигающая такие оригинальные, с сильною практической складкою умы, как Henry Drummond и т. п., не могла не дать мыслителю-бойцу полезных эмпирических и методических указаний. Имя Владимира Соловьева было уже известно и дорого лучшим представителям английской богословской и философской науки; его любили там, и тогда уже возникло название, теперь закрепленное за ним в Англии: the russian Carlyle, т. е. русский Карлейль, — название довольно удачное, так как в творческом облике Владимира Соловьева много общего с этим замечательным английским мыслителем.

Внутренняя созерцательная работа, происходившая в молодом философе в самый разгар его лондонских занятий, вызвала в нем неодолимое влечение к одной из колыбелей человеческих религий, к Египту. Он почувствовал потребность прислушаться к голосу матери-пустыни, достигнуть большей полноты и ненарушимости созерцания.

И вот он в Каире¹⁷. Изучает мусульманские секты, отыскивает древние следы христианства и, главное, *«внемлет пустыне»*. Полушутя описывает он впоследствии в автобиографической поэме то, что не раз сообщал в беседе друзьям: как после веселой болтовни за табльдотом с известным генералом Фадеевым¹⁸ и другими соотечественниками он отправился в пустыню в костюме, непривычном для ее детей: высокий цилиндр, из-под которого выбивались волнистые густые волосы, просторная крылатка и тонкие бальные ботиночки. Бедуины приняли его за шайтана, для верности скрутили ему руки и отвели его подальше в пески, где и пришлось заночевать неосторожному туристу. *«И бысть ему видение»*:

И долго я лежал в дремоте жуткой,
И вот повеяло: «Усни, мой бедный друг!»
И я уснул. Когда ж проснулся чутко, —
Дышали розами земля и неба круг.

И в пурпуре небесного блистанья
Очами, полными лазурного огня,
Глядела ты, как первое сиянье
Всемирного и творческого дня.

Что есть, что было, что грядет вовеки —
Все обнял тут один недвижный взор...
Синеют подо мной моря и реки,
И дальний лес, и выси снежных гор.

Все видел я, и все одно лишь было —
Один лишь образ женской красоты...

Безмерное в его размер входило, —
Передо мной, во мне — одна лишь ты.

Очевидно, во внутреннем мире нашего философа за время пребывания в Египте произошло нечто решающее и таинственное, о чем он впоследствии часто любил вспоминать, но говорил и с музой и с друзьями лишь намеками.

К этой теме он возвращался во время самых разнообразных настроений и был неподражаем, когда юмористически рассказывал о пережитых в Каире впечатлениях. Эти рассказы послужили даже канвой для весьма талантливого, шуточного драматического произведения «Соловьев в Фиваиде», к сожалению неоконченного и ненапечатанного.

Эта интересная пьеса принадлежит бойкому перу одного из друзей Владимира Соловьева — даровитого поэта-дилетанта и художника графа Федора Соллогуба, безвременно угасшего несколько лет тому назад.

Сюжет пьесы таков: сатана, предвидя опасность от возникающей религиозно-философской силы, ставит молодому магистру всяческие западни. Сперва «заводит» старого сфинкса, который задает Соловьеву загадки, с неожиданной находчивостью им отгадываемые; затем из горсти праха сатана воссоздает красавицу, Савскую царицу, в роскошной одежде, окруженную пышным двором. Во втором действии царица устраивает блестящий маскарад, подающий повод автору весьма остроумно и метко «пройтись» на счет разных литературных и общественных явлений недавнего времени. К сожалению, хотя характер и даже внешние манеры Владимира Соловьева очерчены весьма удачно, пьеса прерывается на самом интересном месте — то есть прежде чем легкомысленная Савская царица успевала испытать силу своих чар над философом. Вот первый монолог сатаны:

На крыльях пустынного самума,
Как бурный вихрь, примчался я сюда, —
Зане меня тревожит сильно дума,
Что царству тьмы опять грозит беда.
Я долго почивал на лаврах безмятежных,
На ложе сладостном без терний, без репьев, —
Как вдруг среди степей Сарматии безбрежных
Явился новый враг, отважный Соловьев!
Родился сей злодей хоть без году неделя,
А корень зла успел уж потрясти:
В меня стрелой наук и дротом веры целя,
Он тщился мой престол с лица земли смести...

Главное действующее лицо — Владимир Соловьев, — по ре-
марке автора, «держит себя и говорит постоянно с утонченной
простотой и достоинством»; выступает он с нижеследующим мо-
нологом:

Пустыней знойною в сей знойный час иду я,
Volente Deo¹⁹, подвиг мой свершить.
Наград земных, крестов и звезд, не жду я!
О них, по-моему, не стоит говорить!
Одна звезда — звезда моей надежды,
И крест один — крест веры и любви!
Напрасно мнят чиновные невежды
Обрести спасение средь светской суеты!
О нет! В тени суровой Фиваиды
Укроюсь я на лоне тишины
От жгучих стрел исчадия Киприды,
От пагубных капканов сатаны.

Из загадок сфинкса забавнее всех нижеследующая:

С ф и н к с

.

Всю разницу меж мною и тобою
Мне вырази ты буквою двойною.

С о л о в ь е в

О-Е.

С ф и н к с

Почему?

С о л о в ь е в

Пространен ты, престранен я!
Верна ли отповедь моя?

С ф и н к с

(безмолствует, смущенный)

С о л о в ь е в

На декорацию вы годны лишь в «Аиду»!
Покойной ночи вам, отправлюсь в Фиваиду!..

(Удаляется победными, но скромно-задумчивыми шагами).

Тут звучат уже кое-какие намеки на недавний диспут и разгром оппонентов, годных «на декорацию в “Аиду”»...

Вернувшись из заграничного путешествия, Владимир Соловьев продолжал в Москве готовиться к докторской диссертации и приват-доцентствовать. Но там ему недолго пожилось. В профессорской корпорации выходили разные неприятности, от которых молодой философ лично сторонился, не стесняясь, однако, высказывать взгляды, не нравившиеся влиятельному большинству, и вообще держа себя с полной самостоятельностью. В частности, он принял сторону М. Н. Каткова в одной факультетской распри²⁰, в которой считал его правым.

В эту пору он был лично близок также с И. С. Аксаковым, К. Н. Леонтьевым и другими славянофилами. Огромный ум Леонтьева, редкая оригинальность и смелость его мыслей, а также способность этого человека зажигать и побуждать к работе всех, имевших с ним общение, не могли не отразиться благотворно на нашем философе, у которого в складе ума и в темпераменте было с ним немало общего.

Три умнейших человека в Москве — Катков, Аксаков и Леонтьев — относились к Соловьеву почти с обожанием, которое несколько ослабело впоследствии у двух первых, а Леонтьева не покидало до конца дней. Даже когда они довольно резко разошлись в религиозно-политических взглядах, глубоконезависимый Леонтьев, как он сам в этом признается, поколебался, и если не пошел прямо за Соловьевым, то следил за ним с сочувственным замиранием сердца.

1877 год принадлежит к числу значительных в жизни молодого философа: он переезжает в Петербург, принимает должность члена ученого комитета Министерства народного просвещения и одновременно приступает к практическому осуществлению одной из давно намеченных идейных задач. Он читает в Соляном Городке вдохновенные и, если можно так выразиться, *центральные* лекции «О Богочеловечестве» (напеч. в 1878—1880 гг. в «Православном обозрении»)²¹, привлекает в свою аудиторию Бестужевских высших женских курсов цвет интеллигенции проповедью заветных религиозно-философских идей. Достоевский тесно сближается с ним. Слава молодого философа, его обаяние во всех слоях образованного общества все растет, волна житейских соблазнов плещет у ног его, грозя духовной и жизненной свободе. Но он стоит незыблемо, радуясь успеху не для себя, а для своего дела.

Окрыленный успехом, он «дерзает», пытается поднять уровень самосознания в нашем обществе. Мужественною попыткой

такого рода является его речь «Три силы», произнесенная в московском «Обществе любителей российской словесности» в 1877 году. Не церемонится он в этой речи с разною гнилью и плесенью, преодолевающими нашу общественную жизнь:

«Мы, имеющие несчастье принадлежать к русской интеллигенции, которая, вместо образа Божия, все еще продолжает носить образ и подобие обезьяны, — мы должны же наконец увидеть свое жалкое положение, должны постараться *восстановить в себе русский народный характер*, перестать творить себе кумира из всякой узкой и ничтожной идейки!..»

Оторванность интеллигенции от народа, шаблонность полусознательной мысли и вялых чувств, «болотность» жизни с ее тиною плохо прикрытых животных интересов — все это вызывает негодование в пылком поборнике живой правды, который восклицает, что русскому обществу пора освободиться «от той житейской дряни, которая наполняет наше сердце, и от той мнимонаучной школьной дряни, которая наполняет нашу голову...»

Другому человеку, с менее очевидными правами на уважение и доверие общества, не простили бы приведенных горьких слов да и всего того, с чем выступил юный богатырь вдохновенной мысли. Ему-то, положим, и не простили этого кое-какие журнальные заправилы, но обрушиться на него или, по обычаю этих господ, обвинить его в чем-либо нехорошем никто не посмел, потому что ложь была бы слишком очевидною в глазах общества.

Известность и обаяние Владимира Соловьева все продолжали расти. Наряду с деятельностью, которую проще всего назвать *проповедническою*, молодой ученый печатал в «Журнале Министерства народного просвещения» строго научное сочинение «Начала цельного знания», оставшееся, к сожалению, незаконченным, и готовился к своей докторской диссертации «Критика отвлеченных начал», которую и защитил в 1880 году с громадным успехом. Появление этого сочинения дало молодому ученому славу более прочную и серьезную, нежели шумную, так как ни привлекательная личность докторанта, ни его талант и руководящие идеи не были уже новинкой для большой публики, — а ценить по достоинству новый труд его могли только немногие знатоки.

Владимир Соловьев затем поступил приват-доцентом в С.-Петербургский университет и с полным основанием ожидал профессуры, к некоторому, довольно наглядному смущению тогдашнего профессора философии (впоследствии ректора) М. И. Владиславлева, труженика с дарованием гораздо более заурядным, не особенно радовавшегося такому конкуренту.

Сверстник, собрат и друг покойного Владимира Сергеевича Э. Л. Радлов в прекрасной статье, посвященной его памяти, говорит по этому поводу:

«Мы не думаем, чтобы профессорская деятельность могла его надолго удовлетворить. Ему нужны были более обширная аудитория и более широкий круг слушателей. Но в начале 80-х годов покойный мечтал о профессуре, и несколько лет спокойной университетской деятельности позволили бы ему окончить ряд научных трудов, которые им были задуманы и не доведены до конца (например, «Эстетика», «Гносеология»). И это было бы тем выполнимее, что трудно найти жизнь, которая была бы более посвящена служению одной идее, чем жизнь Вл. С. Соловьева. *Если у него и были сомнения и колебания, то они были пережиты им прежде, чем он выступил печатно;* в трудах же его мы постоянно встречаемся с одним и тем же основным принципом. Этот принцип вполне ясно выражен и обоснован в первых философских работах, особенно в “Критике отвлеченных начал”».

Нельзя не согласиться с мнением почтенного ученого, за исключением слов, перепечатанных курсивом: они требуют некоторой оговорки, к которой мне придется обратиться в главе о политическом значении и направлении Вл. С. Соловьева. Во всяком случае, Э. Л. Радлов совершенно прав, указывая на чрезвычайную религиозно-философскую *цельность* Соловьева и сожалея о том, что ему не удалось завершить основной, принципиальной части своего труда. Покойный неминуемо сделал бы это, потому что оно было, строго говоря, лишь вопросом времени и досуга.

Перед ним открывалась широкая перспектива мирного плодотворного труда, а также, несомненно, и быстрая служебная карьера. И в бюрократических сферах у него образовались значительные связи, а в нескольких великосветских и придворных *coteries*²² (семьи кн. Волконских, Оболенских, Абаза, вдовы известного поэта графини С. А. Толстой и др.) он был не менее любим, чем среди учащейся молодежи.

Судьба решила по-своему. Ужасная катастрофа 1 марта, столь болезненно отразившаяся в сердцах русского общества, была косвенною причиною переворота в жизни Вл. С. Соловьева. Речь против смертной казни, произнесенная им в марте же 1881 года²³ в зале Кредитного общества и вызвавшая восторг одних, негодование других и недоумение третьих, была прямой причиною кризиса. После этого «дерзания» философ невольно покидает и службу, и университет, лишает себя постоянного местожительства и,

так сказать, выходит в открытое море литературно-научного труда.

Он проживает то в Москве, то в деревне у кого-либо из приятелей, например у А. А. Фета-Шеншина, то за границей, заезжая сначала довольно редко в Петербург, где нашлось много охотников рисовать его человеком беспокойным и даже вредным. До 1888 г. он помещает статьи свои главным образом в «Русском вестнике», аксаковской «Руси», «Православном обозрении», «Известиях Славянского общества» и т. д., а с февраля 1888 года, как говорят в литературе, «переходит» в «Вестник Европы» и целым рядом статей по национальному и религиозному вопросам вызывает большой шум. Одни восхищаются, другие негодуют, — но все, друзья и враги, читают жадно каждую огненную строку, выливающуюся из-под этого пера.

Сочинения, которые до выхода в свет «Оправдания добра» Вл. С. Соловьев считал главными своими трудами, появляются за указанный период за границей, а не в России, по причинам цензурным, ныне, вероятно, устранимым, так как они относились скорее к числу цензурных недоразумений. Это — первый том книги «История и будущность теократии», «L'idée russe» и «La Russie et l'église universelle». Первое сочинение напечатано в Загребе и изобилует таким количеством опечаток, что покойный автор даже приходил иногда в уныние по этому поводу; последние два изданы в Париже и написаны превосходным французским языком, напоминающим стиль Боссюэта, которого Владимир Соловьев весьма любил и изучил до тонкости.

Указанные сочинения, как и некоторые статьи, напечатанные в России, подавали одно время повод противникам Соловьева называть его «католиком», «ренегатом» и т. д. Потом это улеглось.

По мере сближения с петербургскими журналами (сперва «Вестник Европы», потом урывками «Северный вестник», а в последнее время весьма часто «Книжки “Недели”», «Русь», издания В. П. Гайдебурова и др. изд.) Владимир Соловьев все более тяготеет к северной столице.

В начале 90-х годов он становится во главе философского отдела словаря Брокгауза и Ефрона, усердно сотрудничая в то же время в московском журнале «Вопросы философии и психологии». Легенда о «нелегальности» Вл. С. Соловьева мало-помалу рассеивается, как туман; нашего философа выбирают в почетные члены разных ученых обществ, он участвует в литературных вечерах и изредка читает публичные лекции, по-прежнему привлекая напряженное внимание слушателей и вызывая бурю восторга.

В 90-х годах выходят в свет: сборник его стихотворений, выдержавший по настоящее время четыре издания, затем обширный философский труд «Оправдание добра», за краткий срок выдержавший два издания; потом обаятельная по ясности и глубине чувства книга «Духовные основы жизни» (3-м изданием, после 12-летнего перерыва) и, наконец, «Три разговора (Под пальмами)».

Кроме того, нашим философом был начат в сотрудничестве с братом, покойным ныне М. С. Соловьевым, перевод творений его любимого древнего мыслителя Платона, публичная лекция о котором, одна из последних, произнесенных Вл. С. Соловьевым, вызвала огромный интерес в образованном обществе. В последние же годы появилась превосходно написанная им биография и характеристика Магомета (изд. Павленкова), вышел под редакцией Вл. С. целый ряд переводов сочинений по философии и психологии. Большое наслаждение любителям литературы доставили его критические статьи о гр. Алексее Толстом, Тютчеве, гр. Голенищеве-Кутузове и др., а немало споров вызвало все, что написано было им о Пушкине.

Когда в память Пушкина было учреждено звание почетного академика, Вл. Соловьев был призван в число избранников²⁴, художников русского слова, а в скором времени ему предстояло быть действительным членом Академии наук.

Последние десять лет мне выпало на долю немалое счастье близко знать покойного Владимира Сергеевича, и я попытаюсь теперь по мере сил очертить, покуда хоть беглыми штрихами, главные идеи его и в заключение эту беспримерно дивную личность, обаятельные черты которой неизгладимо запечатлелись в сердце каждого, кому являлось это светлое видение.

* * *

В памяти всех, кто хоть раз видел Владимира Соловьева, самая внешность его запечатлелась навсегда, как лучезарное видение. Таинственно-прекрасные глаза, под впечатлением которых приходила на мысль известная картина Габриэля Макса²⁵; высокое чело с наглядным отпечатком дум и забот; густые, энергичные брови, пышные волосы с сильною проседью, крупными волнами окаймлявшие матово-бледное лицо; пушистая длинная темно-каштановая борода, скрашивавшая суровые очертания рта и подбородка.

Многими было основательно замечено, что верх и низ лица были у Владимира Соловьева в каком-то странном несоответст-

вии, точно служили выражением различного духовного склада или даже принадлежали двум разным лицам. Общему чарующему впечатлению эта раздвоенность облика, однако, не вредила, так как преобладание высших душевных черт наглядно отражалось на этом замечательном лице.

Руки у Владимира Соловьева были необычайно белые, аристократичные; если допустить некоторый импрессионизм, то можно сказать, что это были умные и добрые руки католического епископа.

Манеры, полные утонченного достоинства и неподдельной простоты; добрая улыбка, в которой выражалась неизъяснимая душевная теплота; густой грудной баритон, обладавший какою-то особенной убедительностью; наконец, детский, иногда неудержимый смех с неожиданными презабавными икающими высокими нотами — смех человека с чистою совестью, не пресыщенного суетными радостями, всю жизнь посвятившего труду и молитве и потому с особенною свежестью чувства умеющего отдаваться минутам невинного веселья. Все это дорисовывало своеобразный облик, обладавший редкою силою симпатичности.

Это было одно из тех лиц, пред которыми можно высказываться только откровенно, а светская условная ложь кажется грехом. Даже как-то неловко было бы дать ему неполный или уклончивый ответ на тот или иной вопрос или, не согласившись с ним, не выяснить тут же принципиальной причины такого несогласия.

Особенно сильное впечатление производил он на детей и простолюдинов, то есть именно на тех, чья совесть наименее разъедена ржавчиною всяческой лжи; они чувствовали праведность этой души и тянулись к ней, как к свету. Сколько мне ни приходилось видеть простолюдинов, знавших Владимира Сергеевича, — все к нему относились как к лицу с какими-то особыми духовными полномочиями свыше.

Очень забавный и характерный случай в этом роде, если не ошибаюсь, описанный уже В. А. Тихоновым, произошел однажды близ Иматры при мне. Владимир Соловьев там проживал зимою 1894/95 года на вилле Рауха и пользовался всеобщою симпатиею окрестных жителей; содержатель отеля, г. Альм, и все местные интеллигентные финляндцы называли Владимира Сергеевича Herr Professor²⁶, а кучер, часто возивший Соловьева по окрестностям, кроткий, забитый судьбою мужичонка, нашедший в Финляндии убежище от злой жены и от паспортной волокиты, буквально влюбился в нашего мыслителя и не упускал

случая изливать ему свои печали или хоть поговорить о чем-либо «душевном».

По длинным волосам и длиннополой зимней одежде, а главное, по какому-то внутреннему чувству этот кучер считал Владимира Сергеевича духовным лицом; об имени его он спросить не успел, а, слыша разговоры своего хозяина, сам изобрел и приписал Владимиру Сергеевичу имя совсем особенное: «отец Парфенсон», как переделка слова «профессор». Покойный Владимир Сергеевич истерически расхохотался, впервые услышав такое обращение, сердечно полюбил его наивного автора и потом часто вспоминал об этом эпизоде. У моих родственников есть томик стихотворений Вл. С. Соловьева, надписанный «на добрую память от отца Парфенсона».

Какое-то мистическое доверие внушал Владимир Сергеевич животным. Мне случалось раза два присутствовать при водворении его с вокзала в номер гостиницы: едва успеет он приехать и потребовать себе стакан кофе, как уже в оконные стекла бьются десятки голубей. Положим, он любил кормить их размоченною булкою; но каким образом птицы узнавали о приезде Владимира Сергеевича, прежде чем он приступал к их кормлению, — это уже их тайна. Та же история повторялась с окнами моей квартиры, когда там поселялся Соловьев.

Но самое интересное проявление инстинктивной симпатии животных к Соловьеву я видел со стороны собственной своей собаки. С нею у Владимира Сергеевича были какие-то особенные, приятельские отношения. Когда он поселился у меня, собака, обыкновенно весьма игривая и резвая, готова была целыми часами просиживать в его комнате, прислушиваясь к скрипению его пера. Даже запах скипидара, всюду сопровождавший Владимира Сергеевича и обыкновенно не нравящийся животным, не мешал этому тяготению собаки к мыслителю. Владимир Сергеевич очень ценил эту привязанность и, бывало, глядя умильно глядевшего песика по косматой голове, говаривал:

— Что такое собаки?! По-моему, это не собаки, а какие-то особенные существа!..

У меня сохранились письма, в которых Владимир Сергеевич «жмет лапу Мартышке». Когда дорогой всему дому гость уезжал, собака начинала серьезно грустить, и если, бывало, кто-нибудь подойдет к ней и спросит: «Где Соловьев?» — она принималась жалобно визжать и бегать по комнатам, точно разыскивая кого-то.

Сближение мое с почившим мыслителем произошло как-то сразу и неожиданно для нас обоих. Как теперь помню, прочел я

в «Вестнике Европы» зимою 1890/91 года интересную статью Владимира Соловьева²⁷ и возымел страстное желание поднести этому незнакомому человеку только что вышедший тогда первый сборник моих стихотворений.

Владимир Сергеевич жил тогда в «Европейской» гостинице, под самым небом. Я встретил его выходящим из комнаты, уже в шубе и с какими-то бумагами в руках. Он хотел вернуться в комнату, я постеснялся, и мы минут двадцать простояли на пороге, причем успели наговорить друг другу много такого, что обуславливается обыкновенно лишь давнишнею близостью.

Беседа продолжалась на следующий день у меня и отличалась еще большей задушевностью. Вскоре затем Владимир Сергеевич прислал мне первый том своего «Национального вопроса», обещая заехать на днях и отметив, что интересуется моим мнением об этой книге.

Решающим для наших отношений было следующее свидание, когда я откровенно высказал Владимиру Сергеевичу, что, во-первых, разделяю далеко не все взгляды, проводимые им в названной книге, но вижу в нем прежде всего *славянофила, горячо любящего Россию*. Последнее, по-видимому, было ему особенно приятно; по крайней мере, он тогда же задал мне ряд вопросов, из которых видно было, что он именно в таком смысле и желал быть понятым.

Считаю нужным отметить это теперь, когда некоторые публицисты, как, например, г. Спасович²⁸, опираясь на отдельные строки, тенденциозно выхваченные из его писаний, и на некоторые *вспышки* западнического рвения со стороны Соловьева, стараются представить его *коренным* врагом славянофильства. Эти искажения духовного облика почившего мыслителя, в одних случаях объясняемые партийною близорукостью лиц, пишущих о нем, иногда обуславливаются, в сущности, малым уважением и к его памяти, и к свободе мнений, и к правде. Лицам, близко знавшим покойного, это, конечно, весьма нерадостно...

Кроме идейного уважения и все возраставшей личной симпатии к этому обаятельному человеку стимулом к тому, чтобы возможно чаще видаться с ним, явилось пламенное желание целого кружка моих собратьев, тосковавших от скудости душевной жизни в литературной среде и находивших высокую отраду в общении с Владимиром Сергеевичем.

Жил он, как и мыслил, весьма своеобразно: презирая пространство, время, деньги и всякую земную условность. Ему ничего не стоило раздать все свои вещи до предметов одежды включительно, а потом носить фрак с бурыми пиджачными брюками

или наоборот: временно надевать шубу одного приятеля и увозить за тридевять земель шляпу другого. Только в течение последних нескольких лет было у него настоящее зимнее пальто, доставшееся ему после покойного Фета, любовная память о котором мешала ему подарить кому-нибудь эту необходимую вещь. Новый пиджак он сшил себе однажды вследствие случайной встречи с моим портным, почтенным немцем, заочно почитавшим Владимира Соловьева и громко ужаснувшимся при виде «такого замечательного ученого в непрезентабельной одежде». Он предложил оказать какой угодно кредит, лишь бы Владимир Сергеевич сделал ему честь заказать костюм у него. Философ случайно был при деньгах и кредита не принял, а настояниям почитателя-портного должен был уступить и впоследствии неоднократно справлялся о его здоровье.

Благотворительность и щедрость Владимира Сергеевича были беспредельны. Постоянно нуждаясь в деньгах, он умудрялся оказывать денежные услуги друзьям и знакомым, а прислугу, извозчиков и иных простолюдинов баловал истинно королевскими «чаями». Он усматривал в этом не только легкий способ делать приятное людям, но и восстановление «непосредственной экономической справедливости», как он выразился однажды в ответ на приятельский упрек в расточительности.

И здесь, и в Москве он был известен и дорог многим сотням нищих гораздо более, чем иной толстосум, периодически обуреваемый покаянною щедростью. Его приятели Мартыновы²⁹, жившие в Москве в весьма «чистом» переулке стародворянского района, заметили, что после их сближения с Соловьевым в переулке не стало проходу от нищих.

Если к нему приходил бедняк за пособием, а деньги уже иссякли, то он отдавал ему носовой платок или часть одежды, ненужную в тот момент, или, наконец, калоши, а в крайнем случае посылал просителя с письмом к кому-либо из друзей, на отзывчивость которых рассчитывал. Мне случалось получать от него записки вроде нижеследующей:

«Податель этих строк, г. N.N., просит у меня 5 рублей на свадьбу, а у меня нет денег. Боюсь согрешить, но мне почему-то кажется, что это уже не первая просьба такого рода и что, стало быть, он женится далеко не в первый раз. Осуждать, впрочем, не смею: мало ли к чему иногда судьба может принудить человека! Пожалуйста, взгляни на него испытующим оком, и если признаешь нужным, то дай ему просимое: сочтемся, когда получу из “Словаря” за статью».

А вот весьма характерный эпизод, довольно сложный и богатый в некотором роде эпическими подробностями.

Однажды целый кружок друзей ожидал Владимира Сергеевича у меня к обеду, к 6 часам. Пробило 6, 7, половина восьмого, а Владимира Сергеевича нет. У гостей вытянутые физиономии, кухарка начинает грубить, хозяйка дома чуть не плачет. Не случилось ли чего?

Еду в «Европейскую» гостиницу, влезаю на пятый этаж. Вижу, лежит мой Владимир Сергеевич, подняв ноги на спинку дивана, так что они гораздо выше головы. Обыкновенная бледность его еще усилилась, глаза полузакрыты... просто ужас!

Он обрадовался безмерно тому, что на него никто не рассердился. Оказывается, он вовсе не забыл назначенного часа, а просто вышло роковое сцепление обстоятельств, целая трагикомическая эпопея, которую стоит рассказать.

В этот день он встал рано и пошел покупать себе ботинки в гостином дворе. Выбирал, выбирал по мерке — и никак не мог найти подходящих. Наконец ему показалось, что приказчик тяготится этой возней; тогда он взял первую попавшуюся пару и надел ее, так как собирался с визитом в какой-то великосветский дом, — а старые ботинки завернул в бумагу и взял под мышку. Ради экономии (у него оставалось три рубля мелочью) и чтобы разносить ботинки, он пошел пешком на Васильевский остров, в типографию Стасюлевича, где печаталась его книга. Дорогою к нему приставали нищие, которым он отдал все деньги, кошелек, пустой бумажник, носовой платок и старые ботинки.

— К счастью, часов при себе не было, — добавил он мрачно.

— Почему же к счастью? Неужели и они достались бы нищим?

— Нет, это память отца. Я бы не отдал, а потом было бы как-то совестно.

Пришлось бедному философу возвратиться домой пешком уже поневоле, и притом в узких ботинках, ставших истинным оружием пытки. Утомился он чрезвычайно и не в силах был даже думать о том, чтобы идти пешком обедать в гости. Говорю ему:

— Дорогой Владимир Сергеевич, да ведь можно же было приехать и велеть моему швейцару заплатить извозчику.

Раздается пронзительный хохот.

— Ведь как просто, а не сообразил! И в самом деле, я ведь ничего не ел с утра.

— Так поедemте обедать или, вернее, теперь уже ужинать. Угощу вас любимым вашим сельдереем.

— Голубчик, оно хорошо бы, да старых ботинок нет, а эти, проклятые, жмут!.. Впрочем, это ничего: на этот раз я, кажется, их перехитрю!

Владимир Сергеевич вскакивает с дивана и перочинным ножичком разрезает новые ботинки на тех местах, где они были особенно нестерпимы. Затем он едет обедать и пленяет всех истинно детскою веселостью.

Он был в тот день необычайно в ударе как под впечатлением снятия «сапожного гнета», так и потому, что в числе гостей был Н. С. Лесков, остроумие которого действовало на него зажигающе.

Вообще, эти два человека, столь несхожие между собою по видимости, всегда оживлялись при встрече и удивительно умели давать друг другу реплику, сверкающую остроумием. Людям, видевшим это, кажется, что высший род смеха исчез, после того как нельзя уже на земле возобновить встречу этих двух глубоких и серьезных умов, которым была столь свойственна тонкая шутка.

О благах мира сего и даже о собственном здоровье Владимир Сергеевич почти не заботился, а если иногда и обращал внимание на последнее, то разве полушутя. Зимой 1895 года он пишет мне с Иматы, между прочим, следующее:

«Спасибо за беспокойство³⁰ о моем здоровье. Пока, слава Богу, я только мерзну отчасти, но не болею. Думаю, что привык к этому перемежающемуся замерзанию и оттаиванию».

А вот полученное летом того же года письмо, в котором кроме сведений о здоровье Вл. Соловьева и малой его мнительности проглядывают и воззрения покойного Владимира Сергеевича на человеческие планы³¹:

«Милый друг!

Я до сих пор в казармах³² и только в среду, 14-го июня, могу выбраться из города в ближайшие места. Разве я не говорил тебе много раз, что я не настолько безумен, чтобы в житейских делах принимать *решения*, особенно на долгий срок, и что всякие мои обещания в этой области выражают только мои желания и предположения?! Если бы мне можно было уехать в Финляндию в конце мая, то во второй половине июня я мог бы быть у вас. Но теперь все это расстроилось. Тем не менее я желаю и предполагаю праздновать с вами свое рождение. За последнее время я был болен, а главное, удручен скоплением срочной работы. Сегодня первый сравнительно свободный день. Что касается болезни, то привезенный моим приятелями доктор кроме многого другого нашел увеличение печени и раздражение внутренней оболочки

сердца — и предписал, между прочим, воздержание “от вина и ликера” (вместо «сикера», по версии типографского корректора), куда он включил также пиво и даже кофе. Я следую с успехом этому предписанию. Чтобы ты не беспокоился, прибавлю, что этот самый доктор, хотя нашел у меня артериосклероз второстепенных сосудов, но вместе с тем “константировал”, что аорта эластична, как у 17-летнего, на основании чего предрек мне долгую жизнь, чего и вам от души желая, остаюсь, милые друзья, неизменно вас любящий Вл. Соловьев».

Увы! Плохим пророком оказался этот доктор! Ведь это было так незадолго до его кончины! Я ожидал тогда Владимира Сергеевича к себе на дачу в Ассерн близ Риги, да так и не дождался. Оказалось потом, что он был серьезно болен, и здешние друзья перепугались не на шутку. Кроме того, и в здоровом состоянии он обладал удивительною способностью застрять в каждом месте, куда попадал, особенно если там у него спорилась работа. Он любил оправдывать эту инертность общими соображениями. «Всякое *действие*, — пишет он однажды, — нужно откладывать до последней возможности. Довлеет дневи злоба его»³³.

Его «дневи», однако, материальная злоба была обыкновенно безразлична. Пробовал он, например, жить в Царском Селе, чтобы уединиться и работать на просторе: квартира была прямо идеальная в отношении всяких неудобств и нестерпимого холода, еда — сущий миф; а посетители не отставали и тут. Предпоследние два года прожил он в Петербурге, на Потемкинской улице, в холодной и почти не меблированной квартире, без прислуги. Когда дворничиха вспомнит, что надо протопить, температура становится выносимее; если забудет, то сам философ, когда уж очень промерзнет, наколет дров и сунет их в печку, а не то так и просидит в холоде.

Родных он иногда доводил до отчаяния своею беззаботностью. В оставленном им в мое распоряжение пакете с письмами я нашел следующую записку одной из его сестер, сообщаемую здесь с ее разрешения.

«Дорогой Володя!

В третий раз пишу тебе и не могу добиться, чтобы ты сообщил, куда выслать тебе шубу. Ведь это, наконец, не по-христиански!..»

«Не по-христиански!..» Это уже крайний аргумент, перед которым должна была спастись упорная инертность Владимира Сергеевича по отношению к материальной злобе дня. Развив в себе эту черту в силу побуждений, о которых будет сказано ниже, он иногда, впрочем, и сам бывал ею недоволен. «Вот и свободный по видимости человек, — говорит он в одной торопливой за-

писочке, — а за несколько часов не могу накануне ручаться!» Особенно дорого во всех отношениях обходилась ему эта черта, когда он проживал в гостинице целыми месяцами (за последние годы преимущественно в гостинице «Англия», близ Исаакиевского собора). Если был там кое-какой внешний комфорт, то не было самого главного — покоя. То и дело ходили к нему либо друзья, не могущие превозмочь своей потребности общения с этим светлым человеком, либо люди, просившие на «похороны матери» (давно умершей) или «на свадьбу» (далеко не первую), либо молодые начинающие писатели, которым он помогал и литературными советами, и всякими иными способами. Сколько малоценных произведений он проредактировал или хоть исправил, скольким облегчил первые шаги на литературном поприще — это не поддается никакому учету. А сколько времени, хлопот и сердечного участия он отдал всякого рода гонимым людям, искавшим его заступничества! Ради них отчасти он поддерживал отношения с влиятельными сферами и бывал неутомим как ходатай за других. И при этом ни тени раздражения, ни малейшей нетерпеливости даже по отношению к тем, кто напрашивался на нее. Часто видел я, например, у него одну старую, ужасно антипатичную женщину с неискоренимым запахом водки, просившую подачек под видом работы. Она брала переписку, хотя почерк ее был ужасен, а безграмотность просто феноменальна. Владимир Сергеевич давал ей несколько раз подряд переписывать одно и то же произведение, давно уже напечатанное. Эта старушка не оставляла его даже заочно и преследовала телеграммами с просьбой о пособиях, когда он уезжал куда-нибудь. Кротость его не знала границ, и только изредка он шутя говаривал: «Удивительное у нее постоянство! Будь она менее отрицательной внешности, — пожалуй, могла бы кого угодно скомпрометировать тоном своих требований».

Соберутся друзья или добрые знакомые — и сейчас же Владимир Сергеевич ощущает потребность угостить чем-нибудь, хоть чашкой кофе, а если подходит время к завтраку, то и стаканом вина. Если гости близкие дерзали отказываться, то Владимир Сергеевич становился деспотичен:

— Нет, хоть стакан ассмансгейзеру за здоровье одного человека, с которым у меня серьезные сердечные счета.

Он в данном случае упоминал о художнике П. В. Жуковском³⁴, авторе памятника Александру II в Москве и сыне великого нашего поэта.

Глядь, и краткое петербургское утро прошло, подкрались сумерки — и надо ехать куда-нибудь «по делу», то есть хлопотать

о ком-нибудь, гонимом судьбой или людьми. А работа, оставленная на полуслове, отнимет у Владимира Сергеевича долгую ночь; нагнется его косматая голова над столом — и заболят его близорукие глаза от напряжения. Надо торопиться, так как ждут и «Энциклопедический словарь», и «Вестник Европы», и философский журнал, и «Книжки “Недели”». Последний срок подходит, работа в типографиях рискует приостановкой. Да и редакционные авансы надо покрыть: жизнь в гостинице дорога, и число бедняков, просящих помощи, заметно растет. А главное, нужно торопиться с работой, потому что в таком-то повременном издании кто-нибудь высказал мысль языческого свойства: необходимо ее опровергнуть поскорее.

Усталый, изнеможенный, ложится наш мыслитель в седьмом часу утра в холодную постель, забыв, что форточка не заперта и со двора вползает в комнату какой-то промозглый туман, от которого озноб пробирает человека. А часов в 10 или 11 утра стук в дверь, и грудной голос просыпающегося Владимира Соловьева добродушно отвечает: «Herein!..»³⁵ — и опять та же история!..

Какие-то газетные зоилы посмеялись однажды, когда Владимир Сергеевич напечатал в «Новом времени» письмо, в котором просил посторонних посетителей и корреспондентов немножко пощадить его, дать ему окончить главные из намеченных трудов. Заплачут теперь многие, вспомнив, что не стало человека настолько доброго, что он просил пощады даже у тех, кто мешал ему работать.

Однако наряду с беззаботностью у Владимира Сергеевича иногда проявлялась презабавная находчивость, когда внешние условия жизни уж очень теснили его. Мне вспоминается следующий характерный факт, приведенный также В. Д. Кузьминым-Караваевым в его статье о Вл. С. Соловьеве. Когда Владимир Сергеевич поселился на Потемкинской улице, дворник стал приставать к нему из-за паспорта, а паспорт где-то затерялся во время частых переездов. Сидит наш философ за столом, уткнувшись лицом в работу, слышит покашливание дворника и оборачивается:

— Чего вам?

— Насчет пачпорта, ваше благородие!

Владимир Сергеевич беспомощно ищет что-то в куче бумаг, не находит, потом вынимает трехрублевку и подает:

— Пожалуйста, вы, голубчик, того... Я вам как-нибудь потом!

— Покорнейше благодарим, ваше превосходительство!

Через неделю та же история, с производством философа в генеральский чин за трехрублевку. Так несколько раз. Но вот од-

нажды дворник приходит и, предварительно получив свое, продолжает упорно стоять. Владимир Сергеевич оборачивается:

— Как? Вы еще здесь? Вы же свое получили?

— Точно так-с! Покорно благодарим! А только околоточный сурьезно сказал, что без пачпорта нельзя-с. Меня уволят, ежели не представлю!

— А, хорошо! Сейчас, сейчас!

Владимир Сергеевич садится и сам себе пишет следующий вид на жительство:

«Предъявитель сего, отставной коллежский советник, доктор философии, бывший приват-доцент С.-Петербургского университета, Владимир Сергеевич Соловьев. Справиться предлагаю у товарища министра имярек и у помощника градоначальника имярек...»

С тех пор его радикально оставили в покое.

Иногда, предвкушая мытарства гостиничной жизни или чувствуя утомление от них, Владимир Сергеевич поддавался на усиленные приглашения кого-либо из своих приятелей и перебирался к нему. Между ближайшими к нему людьми даже соблюдалась в этом отношении некоторая очередь, ибо каждый хотел залучить дорогого гостя к себе. В день, назначенный для переезда, это зачастую не удавалось, причем Владимир Сергеевич конфузился и старался отшутиться. Вот, например, отрывок из одного подобного письма:

«Переселение мое в ваш кабинет может состояться только в четверг — по причинам маловажным *sub specie aeternitatis*³⁶, но настоящим *sub specie svinitatis* (*species nova, non re scilicet, sed verbo, prius non audita, a me inventa et in latinitatem infimam introducta*) — *de quibus scribere non oportet*³⁷.

А в пятницу я буду свободен воспользоваться любезным приглашением вашим и относительно обеда. До скорого свидания. Неизменно вас любящий *sub speciebus omnibus*³⁸».

Svinitas, или попросту свинство, о котором здесь упоминается, заключалось в том, что какой-то собрат по перу занял у него на три дня все бывшие у него деньги и затем куда-то испарился, так что нельзя было выехать из гостиницы до получения новых подкреплений. Владимир Сергеевич при этом как-то умудрялся оправдывать должника, говоря, что он «неосторожен, но зато талантлив». Когда наконец переезд начинался взаправду, Владимир Сергеевич сверх словесного заявления считал нужным порадовать хозяев еще письмецом и прибавлял какую-нибудь просьбу, зная, что этим доставит удовольствие:

«Почти уложился, пришлю с комиссионером свою рухлядь, несколько позднее предстану и сам. Это *наверно*, и в доказательство обращаюсь к вам с бесцеремонною просьбою: сказать вашей прислуге, чтобы приготовили мне ванну часу к 12-му вечера. Примите это не за наглость, а за дружескую интимность».

По выражению одной моей старой служанки, с переездом Владимира Сергеевича в дом «нисходило благословение»: всем становилось как-то легко на душе, житейские огорчения и дразги казались ничтожными, мысль сама собою настраивалась более высоко, и всем работалось скорее. В доме, конечно, становилось тише, потому что все домочадцы сознавали необходимость дать гостю покой и возможность заниматься.

А работоспособность его была прямо изумительна. Он мог просидеть 6–7 часов подряд, не отрываясь от письменного стола, затем заснуть часа на два и проснуться самостоятельно часа в три утра, чтоб опять сесть за работу до полудня. Для верности просит, бывало, разбудить его, если знает, например, что я собираюсь очень поздно лечь; но за много месяцев совместной жизни я не помню случая, чтоб он оказался не проснувшимся самостоятельно, при помощи какого-то внутреннего усилия воли, не покидавшей его и во время сна.

У его трудовой энергии была какая-то особенная заразительность: все, начиная со взрослых и кончая детьми, охотнее и легче выполняли свои задачи, зная, что в соседней комнате работает Соловьев. И как весело бывало, когда сходились после этого с ним за завтраком или за ужином! Сознание, что он успел много сделать за несколько часов, разжигало в нем шутливость и добродушный юмор: он сыпал экспромтами, вспоминал смешные эпизоды из своей жизни и переходил к неудержимому хохоту.

Комната, где он жил, обыкновенно пропитывалась запахом скипидара. Этой жидкости он придавал не то мистическое, не то целебное значение. Он говорил, что скипидар предохраняет от всех болезней, обрызгивал им постель, одежду, бороду, волосы, пол и стены комнаты, а когда собирался в гости, то смачивал руки скипидаром пополам с одеколоном и называл это шутя «*Bouquet Solovieff*»³⁹.

Я глубоко убежден в том, что он подкосил свой организм, с одной стороны, неимоверным трудом и значительными периодами поста, а кроме того, постепенно отравлялся скипидаром, разрушительно действующим на почки. Один из близких друзей покойного, В. Д. Кузьмин-Караваев, недавно высказал ту же мысль о скипидарном отравлении в воспоминаниях своих о Соловьеве.

Неоднократно старались друзья предостерегать его относительно опасности злоупотребления скипидаром, но он до самого последнего времени проявлял необычайное упрямство в этом вопросе.

Вспоминается мне по этому поводу один случай. Покойный Владимир Сергеевич любил иногда после усиленной работы прочесть перед сном несколько страниц из хорошей книги, не имевшей прямого отношения к его занятиям. Из таких книг в моей библиотеке он облюбовал поэтично написанный труд проф. Д. Н. Кайгородова⁴⁰ о птицах. Он высоко ценил произведения этого автора, находя, что он «не только видит, но и умеет показывать другим Бога в природе». И вот однажды, простившись со мною перед сном, входит Владимир Сергеевич ощупью в мою спальню и, окликнув меня, просит зажечь свечу. Испугавшись на минуту, я немедленно успокаиваюсь, видя удовольствие, написанное на его лице. Показывая мне книгу, Владимир Сергеевич весь сияет:

— Как я рад! Нашел у милого Кайгородова легенду о клесте с кривым клювом, слышанную мною еще в ранней юности.

По преданию, клесты, видя распятого Господа, пытались вырвать гвозди из креста, но не могли этого сделать, а только искривили себе клюв. За эту самоотверженную попытку Спаситель назначил им жить в хвойных лесах, вскрывать кривым клювом шишки и питаться смолистыми зернышками; от этой здоровой пищи дано им не знать тления после смерти.

Хвалу этой легенде и нашедшему ее профессору Владимир Сергеевич заключил апологией скипидара, как вещества, выделяемого из смолистых материалов.

— И разве не лестно быть клестом? А?

— Нечего сказать! С кривым клювом! Нос в одну сторону, а нижняя губа в другую! И питаться еловыми шишками!

Владимир Сергеевич захохотал и ушел к себе, но спать не лег, и я с полчаса еще слышал, как он расхаживал в туфлях по комнате и мурлыкал что-то жизнерадостное.

Питался он, когда был предоставлен самому себе, немногим лучше клеста: кислая капуста, сельдерей, чай, немножко икры да изредка рыба, когда организм или хозяева настаивали, чтоб он подкрепил себя. Любил он вино и фрукты; не прочь был иногда выпить в дружеской компании настолько, чтобы достигнуть некоторого нервного подъема, когда человек становится разговорчивее и легче припоминает все смешное. За 10 лет близкого знакомства с ним я не упомяну случая, чтоб он в этом отношении зашел дальше указанного предела. Поэтому меня, как и вообще

многих друзей покойного, сильно покоробили появившиеся в одном близком Соловьеву журнале странные намеки на то, что он порою был склонен даже чуть ли не к кутежам. Вину он придавал мистическое значение и, кроме того, ценил его как источник редких минут добродушного веселья среди долгого воздержания и упорной работы.

Гощение Соловьева у друзей, всегда повышавшее духовный уровень семьи, в которой он поселялся, зачастую сопровождалось вместе с тем и эпизодами, не лишенными комизма. Приехав ко мне однажды раннею осенью на несколько дней, он прожил до глубокой зимы и приводил меня буквально в отчаяние, выходя на улицу в легкой крылатке и мягкой летней шляпе. Насилу уговорил я его брать в нужных случаях мою шубу, пока не получится зимнее пальто, выписанное телеграммой от родных из Москвы. Легкую шляпу он носил, пока не схватил ужасного гриппа. Только тогда призадумался он над вопросом о теплой шапке. Самому выходить не хотелось, так как он работал день и ночь, а меня или моих присных он избегал беспокоить.

И вот однажды рано утром он призывает посыльного, ниточкой снимает мерку со своей головы, дает пять рублей и велит купить шапку, все равно какую. Посыльный приносит невообразимую мерзость — какой-то плюсовый колпак. Я негодную, а Владимир Сергеевич обрызгивает новую покупку традиционным скипидаром «для дезинфекции» и говорит мне по-английски: «Пожалуйста, не осуждай шапки! Этот человек может обидеться».

Владимир Сергеевич гостил обыкновенно дольше, чем было раньше намечено, но и уезжал иногда внезапно, без побудительной внешней причины, просто «чтобы не разбаловаться», как он выразился однажды.

В деньгах он нуждался постоянно, частью в силу своей безграничной щедрости и желания «пещись о многих», частью же потому, что высокой нравственной оценке его творений далеко не соответствовала материальная: за вдохновенные, серьезные труды свои, которым даже не сразу дано достигнуть широкого влияния, предстоящего им в течение многих лет, он получал неизмеримо меньше, чем любой хлесткий фельетонист за преходящую чепуху. Недаром он так истерически хохотал однажды, услышав от покойного Лескова простой афоризм: «Издатель всегда... издатель».

У него не было ни умения, ни желания хорошо устраивать свои дела. Беззаботность Владимира Сергеевича и его заброшенность в материальном отношении происходили в итоге не от

внешних причин. Его нежно любили и родные, и друзья, среди которых были люди весьма влиятельные в разных сферах. Он всегда бы мог создать себе, при этих условиях и при своем громадном даровании, удобное и прочное материальное положение и, во всяком случае, избежать переутомления срочной работой и разных лишений. Не были эти лишения и результатом какого-либо изъяна воли. Напротив, воля-то была гигантски сильна. Я редко видел человека, который бы так повелевал своему организму и даже своим мыслям.

Нет, тут была причина другая, которую можно было выяснить по отдельным намекам и с виду незначительным фактам лишь при условии долгого знакомства. Владимир Сергеевич любил и людей, и жизнь, с особой напряженностью испытывал радости ее, но намеренно *устранялся от всяких земных уз*, намеренно ставил пределы собственному сердцу, даже в проявлениях любви к родным и друзьям. Он *избегал подчинения привычке* решительно во всем, даже в аскетизме, этой отличительной черте его жизни. Аскет по призванию и убеждению, он *боялся*, если можно так выразиться, *машинального аскетизма* и порою нарочно прерывал созерцательное настроение невинным весельем, как светлый метеор влетая в кружок друзей, чтобы снова исчезнуть, иногда надолго.

Оттого жизнь Владимира Сергеевича — хотя и глубоко объединенная главной идеей, которой он служил, и главным чувством, преобладавшим в его сердце, — представляла собою картину сложную, производившую иногда впечатление *пестроты* и даже раздвоенности.

Резкие противоречия в выражениях лица и внешних приемах приводили иногда в недоумение людей поверхностных или видевших Соловьева только мельком. Так, он мог иногда просидеть целый вечер, не проронив ни слова, если в комнате находился человек, в котором он чувал чуждый ему «дух»; по уходе этого человека, которого он видел, может быть, в первый и последний раз, Владимир Сергеевич становился неузнаваем: оживлялся и щедро сыпал остроты. Он омрачался иногда и в кругу близких лиц под влиянием физической или нравственной усталости, а также если ему казалось (и почти всегда безошибочно), что кем-либо из его друзей овладело «буржуазное настроение».

В резких переходах от веселости к мрачному безмолвию и наоборот, как и во всем духовном складе Владимира Сергеевича, было, если можно так выразиться, нечто *медиумическое*: точно не все его слова и действия были вполне произвольны,

точно какие-то невидимые силы вселялись в тайники его духа, чередуя черные тучи с ясною лазурью.

Врачи объясняют такие явления причинами психофизиологическими. Кто близко всматривался в Соловьева, для того подобное объяснение явно недостаточно. Почивший мыслитель не только глубоко мистически веровал в Бога и считал загробный мир столь же реальным, как и внешний, но у него было несомненно и особенное, непосредственное, живое и реальное отношение к этому миру, другим невидимому. Он *видел* дьявола и пререкался с ним; он *ощущал* близость Бога.

Я замечал, что мрачное настроение всегда угнетало его или после каких-нибудь странных и неприятных «вестей» из неведомого мира, или перед таковыми; настроения же светлые или порывы веселья также всегда совпадали с причиною неведомою, которую он лично считал воздействием извне. У меня хранится воспроизводимый здесь весьма интересный, сделанный И. Е. Репиным в несколько минут, набросок карандашом, изображающий Владимира Соловьева именно таким, каким он бывал под гнетом неведомой мрачной силы. Знаменитый художник необычайно удачно и сильно отметил отпечаток этого и в позе, и в выражении лица. По всему видно, что с мыслителем происходило что-то нешуточное, выходящее за пределы обыкновенного нездоровья или печального раздумья...

Публицисты и читатели немало посмеялись года три тому назад над одним стихотворением, в котором Владимир Соловьев читает мораль «морским чертям»⁴¹. Людям, заключенным в круг преимущественно будничных понятий, предоставляется, конечно, признавать или отрицать существование каких бы то ни было чертей; но при ограниченности наших познавательных средств и *утверждение*, и *отрицание одинаково бездоказательно*. Близкое знакомство с Соловьевым могло дать скорее некоторый *материал для утверждения*; один пример этого сильного мистика, столь наглядно богатого вместе с тем и здравым смыслом, сперва ставил человека в тупик, а потом производил на него некоторое внушение.

Однажды мы с Владимиром Сергеевичем и известным экономистом г. Субботиным⁴² пришли к покойному Н. С. Лескову, тогда только что познакомившемуся с Соловьевым. Владимир Сергеевич был мрачен, и разговор на общие темы как-то не клеился. Лесков стал припоминать разных общих знакомых и, между прочим, сказал об одном из них:

— Представьте, он даже верит в существование бесов, ха-ха-ха!

Владимир Соловьев вздрогнул, глаза его странно загорелись, и он прерывисто произнес:

— Да какой же человек, внимательно всматривающийся в жизнь, может не верить в существование бесов?!

Это было сказано тоном такого убеждения, что перед нами как будто приподнялась завеса чего-то невидимого и страшного. Лесков машинально произнес:

— Ну, конечно! Еще бы!..

Припоминая впоследствии этот факт, Лесков говорил мне, что совершенно искренно согласился в ту минуту с Владимиром Соловьевым.

Весьма знаменательно и ценно, что автор одной из серьезнейших статей о почившем мыслителе, г. А. Введенский («Призыв к самоуглублению»), находит и метафизическое объяснение упомянутому мистическому стихотворению Соловьева⁴³, которое одни относили к области галлюцинаций, граничащих с умственным расстройством, а другие считали насмешкою над читающею буржуазною публикою.

Владимир Соловьев знал и заклинания против бесов. Вот одно из них, которое в силу обстоятельств, не относящихся к биографии почившего мыслителя, мне пришлось твердо запомнить: *«Заклинаю вас именем Иисуса, Сына Бога Живого, перед Которым преклоняются все колена на небесах, на земле и под землею»*. Для успокоения гг. врачей и сторонников натурализма, которых, быть может, раздражит кое-что из вышеизложенного, следует, однако, отметить, что мистические явления стали чаще посещать Владимира Соловьева и действовать на него сильнее именно с тех пор, как его здоровье заметно пошатнулось. Смежность этих двух фактов хотя и не служит неоспоримым аргументом в пользу естественного объяснения «сверхъестественных явлений», но все-таки открывает этому объяснению некоторый простор. Истина же во всей полноте и неопровержимости откроется нам, конечно, лишь тогда, когда некому будет рассказывать о ней...

Религиозность Владимира Соловьева была трогательна, заражительна и вместе очень своеобразна. В ней пламенность сочеталась с какою-то особенною застенчивостью. Садясь за обед или за работу, он крестился истово, с нервной торопливостью; из молитв он особенно действительно считал молитву мысленную. В большие праздники он избегал пышных городских храмов и уезжал куда-нибудь подальше, чтобы помолиться либо в маленькой приходской церкви, либо где-нибудь в лесной глуши.

Приблизительно за месяц до смерти, во второй половине июня 1900 года, сидя вечером у меня, он вдруг отвел меня в сторону и

высказал, что в последнее время он охвачен особенно напряженным религиозным настроением; что ему хотелось бы при этом помолиться не в одиночестве, а присутствовать с другими людьми на богослужении. Я ему ответил, конечно, что надо радоваться этому приливу высокого чувства — и пойти в церковь. Ответ его мне показался странным в ту минуту:

— Боюсь, что я вынес бы из здешней церкви некоторую нежелательную неудовлетворенность. Мне было бы даже странно видеть беспрепятственный, торжественный чин богослужения. Я чую близость времен, когда христиане будут опять собираться на молитву в катакомбах, потому что вера будет гонима, — быть может, менее резким способом, чем в нероновские дни, но более тонким и жестоким: ложью, насмешкой, подделками — да мало ли еще чем! Разве ты не видишь, *кто* надвигается? Я вижу, давно вижу!

Голос у него дрожал, в глазах была видна глубокая скорбь, исхудалое лицо и руки в черных перчатках (он тогда не совсем еще вылечился от нервной экземы) — все это производило тяжелое впечатление. Я тогда приписал болезни его последние слова. Потом я вспомнил, что слышал их далеко не в первый раз, и слышал в такие минуты, когда не могло быть речи ни о малейшем нездоровье, ни о каком бы то ни было нервном подъеме.

Еще лет восемь тому назад он говорил о предстоящем пришествии *антихриста* — сперва коллективного, а затем воплощенного в отдельном лице — с тем чисто научным спокойствием, с каким геолог говорил бы о смене формаций или метеоролог о неизбежных климатических переменах. Он об этом не только говорил, но и писал, причем сперва у него проскальзывали указания на факты, которых он открыто не называл еще антихристовыми; затем он употреблял это слово как нарицательное для группы характерных явлений и наконец написал в известных «Трех разговорах» прямо уже «Повесть об антихристе». Любопытно, что он однажды, прочитав приятелю в рукописи эту повесть, спросил его внезапно:

- А как вы думаете, что будет мне за это?
- От кого?
- Да от заинтересованного лица! *От самого!*
- Ну, это еще не так скоро!
- Скорее, чем вы думаете!

Приятель Соловьева, В. П. Протейкинский, рассказавший мне это, и сам тоже немного мистик, — подобно всем верующим людям, — добавил потом не без волнения:

— А заметьте, однако: через несколько месяцев после этого вопроса нашего Владимира Сергеевича не стало! Точно кто вышиб этого крестоносца из седла!..

Для характеристики почившего мыслителя вопрос о конце мира представляет особый интерес. Уже несколько лет тому назад он высказывал мне глубокое убеждение в том, что последние времена близки. Главным признаком этого он считал современный фазис философской мысли, которой будто бы мудрено сказать что-либо действительно новое. В остальном — в головокружительном техническом прогрессе наряду с успехами анархии и буржуазным очерствением человечества — он усматривал признаки, предсказанные Апокалипсисом.

Ему возражали, что Евангелие еще не принято всеми народами, а потому человечество, очевидно, не созрело для конца времен. Он отвечал, что условием этого последнего, согласно Писанию, будет не принятие, а лишь *проповедание* Евангелия всем народам, — а это, мол, уже почти завершено, так как нет неизведанных уголков земного шара, где бы не побывали миссионеры. От одного известного геолога и почвоведа я слышал однажды и передал Владимиру Соловьеву возражение, что с точки зрения геологической земля, мол, «не готова» для предсказанной Писанием катастрофы. Почивший мыслитель расхохотался:

— Мы не рабы, а господа земли. Что годится для эволюциониста, то мне кажется пустяками. Представь себе, что четверо почтенных людей играют в винт, а в это время начинается пожар в квартире; неужели они скажут: «Не время, рано еще, мы не кончили последней партии!» Для решения вопроса о кончине мира степень «зрелости» земной коры имеет не больше значения, чем партия винта.

Владимир Сергеевич признавал мечты о всеобщем прогрессе и т. д. бесполезными с точки зрения подъема человеческой энергии, но сам-то считал это вздором, противоречащим христианскому учению, которое находит, что мир «лежит во зле». Разговорившись однажды со своим приятелем, профессором А. А. Цагарели, о поэзии Леопарди⁴⁴, Вл. С. высказал это вполне определенно. Г-н Цагарели выразил удивление по поводу того, что Леопарди, сын такой лучезарной и жизнерадостной страны, предается крайнему пессимизму; Владимир Соловьев отвечал:

— Вы забываете христианство! Оно ведь глубочайший источник пессимистического взгляда на земные явления!

Мысль о близости всеобщего конца с каждым годом все более охватывала почившего мыслителя, и высказывал он ее все бо-

лее резко и нервно. Этого нельзя не поставить в связь с постепенным упадком его здоровья и с теми душевными страданиями, которые все росли, оставляя наглядный отпечаток даже на его внешности.

Для человека, любящего всматриваться в лица людей, особенно замечательных, весьма интересно проследить в хронологическом порядке перемены выражения на портретах Владимира Соловьева. Перед глазами наблюдателя разворачивается такая *драма*, какой мне не приходилось угадывать ни в одной из виденных мною серий писательских портретов.

Возьмем хотя бы изображения гр. Л. Н. Толстого: облик юного офицера дышит смелостью и энергией, которые мы встречаем и у старика в блузе; последние портреты даже, пожалуй, сильнее и ярче первых и, во всяком случае, выразительнее того, на котором граф изображен в обыкновенном сюртуке; на некоторых из последних портретов видно неудовольствие, пожалуй даже сарказм, но нет и тени того страдания, которое можно прочесть на последних двух-трех портретах Владимира Соловьева.

На юношеской карточке Владимир Сергеевич суров, смел и полон веры в возможность дать много хорошего и положительного обществу. То же видно на портретах, относящихся ко всему первому периоду учено-литературной деятельности Соловьева, невзирая на значительное внешнее их разнообразие; исключение составляет лишь фотографический снимок, относящийся ко времени его поездки в Египет: там виден жизнерадостный и полнощекий юноша-иллюминат, очарованный широко зачерпнутыми чудесами мистического знания и светло смотрящий в будущее. На фотографическом портрете работы Чеснокова, относящемся к 90-м годам, почивший мыслитель глядит со спокойным сознанием, что пройден путь немалый, сделано много, но можно сделать еще больше. В середине тех же годов известный художник Ярошенко написал портрет Владимира Сергеевича, которого изобразил уже усталым, с глубокою грустью в глазах.

Истинно трагическое впечатление производят последние портреты работы московского фотографа Асикритова. Человеку, знавшему Владимира Сергеевича, прямо тяжело глядеть на них: столько отразилось там безысходной скорби, столько сомнения в людях и даже в самом себе! Это именно изображение искреннего автора «Повести об антихристе», дошедшего до этой повести тернистым путем. Он словно говорит: «Скоро конец! И я это *чувствую*, потому что я ничего не пожалел для торжества своего главного дела, религиозной проповеди, — но по всему видно,

что я пришел поздно! Не быть весне обновления! Надвигается зима!»

И в самом деле, Владимир Соловьев больше, чем кто-либо другой, был бы вправе повторить слова французского поэта:

Je suis venu trop tard, dans un siècle trop vieux⁴⁵.

Не только по миросозерцанию, но и по духовному складу, и по темпераменту он более подходил, смотря по овладевшим им настроениям, то к первым векам христианства, то к временам крестовых походов. Несомненно, что если бы он появился не позже средних веков, то его имя сразу просияло бы ярче, его дело встретило бы больший отклик. В конце он удостоился бы или костра, или канонизации, смотря по обстоятельствам. Придя же в эпоху малой веры и вообще духовного измельчания, он встретил столько непонимания, что должен был страдать невыносимо.

В начале нашего знакомства возник у нас спор о вопросах внутренней политики и об отражении разных перемен на духовной жизни общества. Он усматривал в 80-х годах шаг назад, быть может необходимый, но не радостный. Я доказывал ему, что во многих областях духа, и притом в самых высших, замечен, напротив, *шаг вперед*; в виде иллюстрации я добавил, что если бы продолжался режим 60-х годов и преобладали интересы того времени, преимущественно политические и материалистические вообще, то нравственно-религиозная проповедь того же Владимира Соловьева не вызвала бы к себе ни малейшего интереса, так как все были бы заняты совершенно другим. Задумавшись на минуту, он согласился, что это так. Он вполне ясно сознавал, что *времена раскаяния плодотворнее для высших проявлений человеческого духа, нежели самый пышный расцвет политической жизни*.

Но и при всем том Соловьев пришел *не в свое время*: либо слишком рано, либо слишком поздно! Он думал, что последнее вернее, и, вероятно, был прав! Как мистик и символист в широком смысле этого слова, он «видел» не только сумму нарастающих явлений, враждебных его делу, но и разные отдельные воплощения своего врага. Он неоднократно говорил мне, что видел во сне *арлекина*, выскакивающего из самых разнообразных и непредвиденных мест. Идея арлекинады и всяческих вообще превращений преследовала его как кошмар и причиняла ему серьезную нравственную боль. Особенно ясно выразилась она у него в целом ряде шуточных произведений, о которых будет сказано ниже.

В почившем философе уживались рядом и порою прерывали друг друга *два совершенно противоположных строя мысли*, на первый взгляд как будто несовместимых. Первый можно сравнить с вдохновенным пением священных гимнов, воспаряющих к небу. Второй — с ехидным смехом, в котором слышались иногда недобрые нотки, точно второй человек смеется над первым. Как это ни странно, но у пламенно верующего Владимира Соловьева бывали шуточные стихотворения на библейские темы, правда ветхозаветные, как, например, о «Ионе во чреве кита», и на такие духовные явления, о которых большую часть своей жизни он умел говорить серьезно и горячо. Иногда оба мотива сливаются, как, например, в упомянутом стихотворении о морских чертях и в некоторых других произведениях, которые не попали в его сборник как «несерьезные».

Он вообще был склонен к смеху и к сатире, как это можно заметить даже по его статьям полемического характера. Особенно же разжигали в нем это чувство всякого рода *превращения и подделки*. Весьма забавно его стихотворение о графине фон Крани и пономаре. Граф Адальберт фон Крани, уехавший надолго из дому, пожелал узнать, насколько верна ему графиня, и, вернувшись домой, переоделся пономарем; графиня возьми да и влюбись в этого последнего! В минуту робкого ее признания граф открывает инкогнито и происходит супружеская сцена, после которой графиню сажают в семейном отношении, так сказать, на хлеб и на воду. А вот написанное тем же размером стихотворение, принадлежащее другому лицу (одному из московских друзей Соловьева), но проредактированное Владимиром Сергеевичем и читанное им во многих дружеских домах:

Пан Зноско

Пан Зноско стар; ему давно минуло
Сто сорок шесть.
Но юных сил прилив в него вдохнула
Святая месть.
Пылал мятеж, и, бурная, как пламя,
Пылала речь.
И поднял он дрожащими руками
Свой ржавый меч.
Потом, в Сибири ссылку испытавши,
Из дальних мест
Вернулся он на родину: попавши
Под манифест.

Но пребывать отшельником навеки
Он дал обет.
И заперся в своей библиотеке...
С тех пор обед

Ему в окошко подает кухарка,
Закрыв лицо;
Его обед — одна лишь водки чарка,
Одно яйцо.

Но он уж стар, но он богат несметно...
В его приют
Прокрались злодеи незаметно, —
Его убьют!

Тут бодрость вдруг проснулася в калеке,
Он им в ответ:
«Я поджидаю вас в своей библиотеке
Уж двадцать лет!

Не удался ваш замысел крамольный!
Долой парик!
Вы думали, что здесь сидит рамольный
Седой старик?

Ошиблись вы в своем предположеньи,
Мои друзья!
Вы пойманы на месте преступления:
Исправник я!

А Зноско — тот из ссылки без усилия
Бежал! С тех пор
Узнали мы, что он уже в Севилье
Тореадор!

Мы на него бессильно негодуем, —
Его все нет!
Но и порок бывает наказуем —
Раз в двадцать лет!

Я двадцать лет вас ждал в библиотеке,
Закрывши дверь.
За это вас, друзья, в Сибирь навеки
Сошлют теперь.

А ссыльных там уж берегут постороже,
Чем в оны дни...

и т. д.

С особенною ненавистью относился Владимир Сергеевич ко всякому нарушению *второй заповеди* и преследовал языческий элемент, примешивавшийся к высшим духовным понятиям или даже скрывавшийся под их оболочкой. Он говорил, что человек

всегда должен всматриваться в себя и очищать себя прежде всего от чувствований идолопоклоннических, естественно присутствующих земнородным. Даже излишне деспотический авторитет тех или иных научных и литературных имен, когда он заменял собою аргументацию и действовал гипнотически на молодые умы, постоянно возмущал почившего философа. Под влиянием впечатлений именно последнего рода он прислал мне зимою 1894 года с Иматы «восточную басню», прося, однако, *не искать в ней никаких аллегорий и намеков.*

Вот она:

Эфиопы и бревно

В стране, где близ ворот потерянного рая
Лес девственный растет,
Где пестрый леопард, зрачками глаз сверкая,
Своей добычи ждет,

Где водится боа, где крокодил опасен
Среди широких рек,
Где дерево, и зверь, и всякий гад прекрасен,
Но гадок человек, —

Ну, словом, где-то там, меж юга и востока,
Теперь или давно —
На улицу села с небес по воле рока
Упало вдруг бревно...

Бревно то самое, что возле Мамадыша
Крестьянин Вахрамей
В пути от кабака, не видя и не слыша,
С телеги стряс своей.

Лежит себе бревно. Народ собрался кучей,
Дивится эфиоп, —
И в страхе от беды грозящей, неминучей
Трясет уж их озноб!

Бревно меж тем лежит. Вот, в трепете великом,
Ничком к нему ползут!
Бревно лежит бревном. И вот, в восторге диком,
Уж гимн ему поют!

«Могучий, кроткий бог! Возлюбленный, желанный!»
Жрецы уж тут как тут:
Уж льют на край бревна елей благоуханный,
Коровым... маслом трут.

И скоро весть прошла о новом, чудном боге
Окрест по всем тропам.

Богослуженья чин устроановился строгий,
Воздвигнут пышный храм.

Из Явы, из Бирмы, Боа, Джелалабада
Несут к нему дары.

Бревну такая жизнь, что помирать не надо, —
Живет до сей поры!..

Урок из басни сей для всех народов ровный.
Глуп не один дикарь:

В чести большой у нас у всех бывают бревна —
Сегодня, как и встарь.

А вот пародия на декадентов, написанная Владимиром Сергеевичем в холерный год и посвященная опять-таки вопросу о *превращениях*.

Метемпсихоза

(Сочинено во время холерных судорог)

Подсолнечник желтый
Цветет в огороде,
А сердце открыто
Любви и природе.

В холерное время —
Недавно здоровый —
Лежу без движенья,
Зелено-лиловый.

Подсолнечник желтый
Поблек в огороде.

В тревоге родные,
Печальна прислуга,
Пришли издалека
Два старые друга:

Один пьет, как губка,
Другой сумасшедший,
Но вспомнили оба
О дружбе прошедшей.

Подсолнечник желтый
Увял в огороде, —
И сердце закрылось
Любви и природе.

И в гроб положили.
Снесли на кладбище!..
Довольны ль вы, черви,
Присвоенной пищей?

Подсолнечник желтый
Погиб в огороде.

Из праха и тлена
Цветок вырастает.
К забытой могиле
Пчела прилетает...

Сидит на балконе
Прелестная дева:
Сияет красотою
И справа и слева.

Подсолнечник желтый
Расцвел в огороде.

На блюдечке меду
Приносят той деве.
И вдруг я очнулся
В прелестнейшем зеве!

Но будь он стократно
Прелестен, а все же
Мое помещенье
С могилою схоже!

И мрачно, и сыро,
И скользко! — О горе!..
Но с крошечкой воска
Я выплюнут вскоре!

Подсолнечник желтый
Цветет в огороде,
О счастье, о радость!
Я вновь на свободе.

Вновь сердце открылось
Любви и природе!
Подсолнечник желтый
Цветет в огороде...

Два строя творческой мысли, часто мешавшие друг другу, приводили иногда, переплетаясь, к досадным диссонасам, какие мы видим, например, в поэме «Три свидания»; иногда же, когда юмор и шутка смешивались с мистицизмом, то получалось нечто весьма малопонятное, как, например, комедия (?) «Белая Лилия»: отдельные монологи, например: «Мне жарко потому, что холодно тебе», — очень удачны; но общее впечатление получается странное даже для читателя, наиболее обладающего способностью ценить произведения Козьмы Пруtkова. Во всяком случае, несомненно, что указанные два элемента, составлявшие

творческую и просто человеческую личность Владимира Соловьева, *слились в нем не вполне гармонично* и тем наносили друг другу некоторый ущерб. Оттого даже мистицизм Владимира Сергеевича, составлявший наиболее основную из характерных черт его, и его постоянный интерес ко всему необъясненному могли иногда показаться поверхностному наблюдателю явлениями напускными и, во всяком случае, несерьезными.

Однажды у нас с ним вышел презабавный эпизод. Во время гощения Владимира Сергеевича у меня понадобилось нам обоим поехать в редакцию «Недели». Нанимаем извозчика на Ивановскую улицу. Спутник говорит мне по-французски, с тоном детского любопытства в голосе:

— Давай смотреть этому человеку в затылок и внушать ему, чтоб он остановился именно у подъезда редакции.

Сказано — сделано. Извозчик, ни о чем не спрашивая, подкатывает прямо к нужному нам подъезду. Соловьев взволнован чрезвычайно:

— Видишь? Видишь?!

Я и сам смущен, но меня берет сомнение, которое мы спешим выяснить вопросами о том, что чувствовал извозчик во время пути и почему он сам остановился именно где следует. Ответ простой, по моему адресу:

— Ведь я вас знаю! Подле вашего дома стоим! И который раз уже с вашим здоровьем к этому подъезду, бывало, подъезжаю! А чтобы чувствовать — так особенных чувствий нет, окромя что дорога тяжелая! На чаек бы...

Владимир Сергеевич дал ему три рубля и расхохотался истерически.

* * *

Как смотрел Владимир Соловьев сам на себя? Ряд серьезных «дерзаний», о которых упоминалось в одной из предыдущих глав, показывает, что он глубоко верил в себя как в проповедника и не отделял себя от той идеи, которой служил. Минуты упадка этой веры были, во всяком случае, весьма редки, и он обыкновенно скрывал их. За десять лет близости с ним я помню лишь два-три беглых намека в этом роде, а после его смерти мне довелось прочесть одно неизданное его стихотворение, в котором сквозит сомнение если не в самом призвании, то в успехе многолетних трудов.

Обыкновенно же и в письмах, и в печатных произведениях тон бодрый. Прося меня, например, разыскать в его ящиках с кни-

гами и выслать ему в Москву «Историю культуры» Генриха Риккерт⁴⁶, он поясняет:

— Она мне давно не нужна — после того как послужила для нанесения смертельного удара Н. Н. Страхову.

Владимир Соловьев считал себя достойным прочной славы и стремился к ней прямым путем, вполне сознательно и с достоинством, исключая самообольщение. Весьма любопытно с этой точки зрения его юмористическое письмо к покойному М. А. Кавосу, приглашавшему его в Москву, чтобы немножко покутить. Владимир Соловьев отказывается ехать туда,

Где в рубахах Ганимеды
Угощают всем, что надо,
Где сроднили уж обеды
С радикалом ретрограда.

Далее он говорит:

К Ганимедам бородатым
Ехать вовсе неохота!
Не кутить теперь — куда там!
Лишь кончалась бы работа.

Не оставивши потомка,
Я хочу в потомстве славы,
Объявляю это громко,
Чуждый гордости лукавой...⁴⁷

«Гордости лукавой» в нем не было, а было глубокое убеждение в правоте. В статье «Враг с Востока» он напоминает читателям, что *давно уже* предсказывал русскому обществу ряд неблагоприятных явлений, порождаемых скудостью духовных интересов. *Дар предвидения* он за собою весьма признавал и чрезвычайно дорожил малейшими признаками, свидетельствовавшими о нем. Когда мы за месяц до его смерти заговорили об осложнениях на Дальнем Востоке, он вдруг оживился:

— Помнишь, помнишь? Я это предсказывал в одном из писем с Иматры, шесть лет тому назад.

Недавно, просматривая письма Владимира Сергеевича, я нашел действительно несколько строк об этом вопросе, ничем не связанных с остальным письмом и оканчивающихся предположением, что между Китаем и Японией будет заключен союз.

Особенно протестовала истинная гордость Владимира Сергеевича, когда ему прямо или косвенно давали понять в печати, что он не облечен официальными полномочиями для религиозно-философской проповеди, а потому авторитетом обладать не мо-

жет. Однажды он даже прислал мне по этому поводу следующую выдержку из статьи, которую писал:

«Я полагаю, что профессор Владиславлев в своей знаменитой «Философии о рангах»⁴⁸ подчинил все высшие задачи ума и воли принципу чинопостепенности. Я, со своей стороны, думаю, что применение этого принципа следует ограничивать областью казенной службы, не распространяя его на предметы духовные. Ибо я знаю, что не только Понтийский Пилат, несмотря на свой высокий ранг, был способен только спрашивать, а не отвечать: «Что есть истина?», но даже и Каиафа, хотя в качестве первосвященника и проглаголал истину, однако лишь такую отвлеченно-формальную, которая нисколько не помешала ему (или даже способствовала) распять Христа!»

Наряду с этим Владимир Соловьев отмечает, что не только «вольный пророк» Валаам пользовался живым вдохновением истины и находился *в личном общении с высшими силами*, но даже и ослица его, будучи, как простое животное, безусловно, неспособна к законному учительству и несению ранга, тем не менее наставила самого пророка на путь истинный; за свою кротость и смирение она удостоилась увидеть ангела Господня прежде, чем увидел его сам пророк.

Авторитетность и свободу своей проповеди Владимир Соловьев *черпал в свободе духа вообще*, считая ее необходимою для всех. Если же он, быть может, в душе и считал себя выше многих, как проповедник религиозно-нравственных идей, то в области профессионально-литературной он был чужд какого бы то ни было не только самообожания, как весьма многие, но даже столь часто встречающегося «маленького самомнения».

Скромность его, особенно в вопросах, которые он не считал специально своими, была прямо феноменальная. Написав какую-нибудь статью, он охотно показывал ее специалистам по вопросу, который она затрагивала, — и внимательно относился к полезным указаниям. Читал он свои произведения и юристам, и духовным лицам, и поэтам, и естественникам. Когда он писал для библиографической библиотеки Павленкова очерк жизни и учения Мухаммеда (кстати сказать, это одно из лучших исследований на указанную тему), он внимательно проверял каждое слово при помощи авторитетной критики академика барона В. Р. Розена⁴⁹ и здешнего гражданского ахуна, почтенного муллы Баязитова⁵⁰, с которым затем был дружен до самой смерти.

Особенно любил он показывать стихи и даже на непрошенные советы не обижался. Зимой 1895 года с Иматры он пишет мне, например, следующее:

«Замечания ваши о втором куплете моего стихотвореньица совершенно справедливы; я вам за них очень признателен и непременно постараюсь ими воспользоваться»⁵¹.

Дня через два он уже трунит над собой, посылая мне свои новинки — «Воскресшему» («Лучей блестящих полк за полком...») и «Лишь только тень живых, мелькнувши, исчезает...», — и музу свою называет *чухонкой*, потому что его вдохновляла финляндская природа:

«Чухонка родила двойню на расстоянии недели. Посылаю. Второе, “Лишь только тень живых”, кажется мне недурно. А относительно первого («Воскресшему») имею опасения: не было ли какого-нибудь совпадения? Что-то очень знакомо звучит. Если вам то же покажется, то напишите по совести, и не поможете ли отыскать настоящего отца сего подкидыша? Он мне и так не нравится, и, вообразив себя В. П. Бурениным, я написал следующую пародию:

Нескладных виршей полк за полком
Нам шлет Владимир Соловьев
И зашибает тихомолком
Он гонорар набором слов.

Вотще! Не проживешь стихами,
Хоть, как свинья, будь плодовит!
Торгуй, несчастный, *сапогами*
И не мечтай, что ты пиит.

Нам все равно — зима иль лето, —
Но ты стыдись седых волос,
Не жди от старости расцвета
И петь не смей, коль безголов!

В самом деле, мне приходит в голову: философично ли я поступаю, предлагая публике свои стихотворные бусы, когда существуют у нее: алмазы Пушкина, жемчуг Тютчева, изумруды и рубины Фета, аметисты и гранаты А. Толстого, мрамор Майкова, бирюза Голенищева-Кутузова и т. д.»⁵².

Невзирая на это соображение, он в Финляндии написал очень много, так как этот край своими сурово-мечтательными красотами и складом жизни благотворно действовал на его душу. Мне он писал особенно часто оттуда, потому что именно я посоветовал ему уединиться близ Иматры для приведения в порядок расшатанных нервов. И теперь мне отрадно вспомнить, что удалось оказать ему за время нашей близости хоть эту услугу. Ему так понравилось в Финляндии, что он посвятил ей целый ряд прекрасных стихотворений, из которых одно («Тебя полюбил я, кра-

савица нежная...») даже подало повод к нелепой сплетне о том, что философ в кого-то влюбился...

В одном из писем он то и дело переходит к стихам «не для печати», рассказывая о себе и сообщая прежде всего, что у него весьма обильны

«Чухонской музы порожденья!
 Виной всему уединенье.
 Иных покуда нет грехов;
 Ничто страстей не возбуждает,
 И тихий рой невинных снов
 Прозрачный сумрак навевает.
 Живу, с заботой незнаком,
 Без утомленья и усилья,
 Питаюсь только молоком,
 Как Педро Гомец, “лев Кастильи”.

Одно беда: не у кого спросить, сносны или несносны мои стихи!

Кругом собаки, овцы, крысы,
 Не вижу судей никаких!
 Чухонцы, правда, белобрысы,
 Но им не внятен русский стих.
 Пишу. В окно глядятся ели,
 Снег новый спрятал все пути...
 Стихи, однако, надоели:
 Пора и к прозе перейти...

Проза идет успешно по существу, но пока не так быстро, как хотелось бы: несколько дней были поглощены поэзией и природой...»

Насколько я могу вспомнить степени душевного равновесия у Владимира Соловьева в разные периоды и отдельные моменты последних десяти лет его жизни, *наиболее самим собой он был именно на зимней даче в Финляндии*. Друзья изредка навещали его там и называли полущутя эти поездки «богомольем в Рауху». Вскоре эта местность сделалась довольно популярною, отчасти благодаря самому же Соловьеву, так что для него-то условия жизни изменились к худшему. Вот что он пишет на Пасхе 1895 года:

«Христос Воскресе! Милый друг Василий Львович! я благополучно приехал, но не совсем благополучно водворился в Раухе. Она полна гостей, комната моя оказалась занятой, и мне дали другую, внизу, с ходящими над моею головою индивидуумами обоого пола и разного возраста. Некоторая компенсация всего этого — соседство семьи Ауэр, воспоминания о Неаполе и Сорренто, где я был 19 лет тому назад.

Сейчас Альм принес мне с десяток писем, — между прочим, просьбу о переводе на шведский и на французский языки моего “Принципа наказания”. Но чтобы я не возгордился, тут же письмо одного из братьев П. такого содержания: “Хотя вы, в сущности, *сапог*, но так как вы все-таки стали несколько известны после вашей рецензии о русских символистах, то мы просим вас написать нам рекламу”»...⁵³

Сообщая об этом без малейшего неудовольствия, Владимир Сергеевич кротко спрашивает:

«Как посоветуете: написать или нет?»

А вот письмо оттуда же, в котором он ограждает свое авторское самолюбие, по-видимому подвергавшееся иногда кое-каким посягательствам. Съездив на праздниках на Иматру, я передал нашему философу приглашение В. П. Гайдебурова сотрудничать в «Книжках “Недели”». Владимир Сергеевич с удовольствием согласился, а потом, под влиянием таких комплиментов, какими угощали его братья П., написал следующие мнительные строки:

«Во избежание всякой возможности каких-нибудь недоразумений я должен объяснить следующее: имея всегда для своих статей два журнала — “Вестник Европы” и “Вопросы философии” и в резерве третий — “Русскую мысль” (у которой я к тому же в маленьком долгу), мне нет никакого резона искать еще органа. Я и не искал, как вам известно. Я согласился только на переданную вами просьбу редакции (так я это понял). Не заставила ли вас дружба ко мне невольно преувеличить желание г. Г. иметь меня своим сотрудником? Итак, я дам статью лишь в том случае, если вы можете решительно поручиться, что она будет напечатана. Полагаю, вы не считаете меня способным дать статью нецензурную или неудобочитаемую?»⁵⁴

Дальнейшее показывает, что мнительность была совершенно напрасна. Владимир Сергеевич скоро сблизился с редакцией «Недели» и до самой смерти не прерывал самых близких с ней отношений. Нужно отметить здесь черту истинного литератора: стихотворения и статьи он любил показывать тем, кому верил, — в том числе и членам тех редакций, где сотрудничал; замечания и советы обдумывал и часто исполнял, но когда он приносил что-нибудь для напечатания, то не желал, чтобы редакции считали его способным предлагать вещь недостаточно обработанную. Стало быть, ему нужна была не столько хвала, сколько уверенность близких в его профессиональной добросовестности — черта, все более редкая в наши дни.

Впрочем, Владимир Соловьев как писатель вообще, и особенно как поэт, весьма чуток был к сочувствию, по крайней мере

ближайшей среды, и нуждался в нем. В связи с этим надобно отметить, что его поэтическая деятельность то ослабевала, то усиливалась, в зависимости от общества, в котором он больше вращался в то или иное время. Больше всего и вдохновеннее всего писал он в Пустыньке (близ станции Саблино, Ник. ж. д.), в имении гр. Алексея Толстого, перешедшем по наследству к семейству Хитрово. Этот дом много лет уже отличался большою «литературностью» — и Владимир Соловьев писал там много и охотно, подобно тому как музыкант готов играть сколько угодно для истинных ценителей. Весьма плодотворным в поэтическом отношении было для него лето 1893 года, проведенное им под Москвою, близ станции Сходни. Оттуда он ходил чуть не каждый день в село Знаменское, имение Мартыновых, с которыми давно сблизился на почве общности литературных вкусов. Стихотворения, написанные им под влиянием этой благоприятной атмосферы, составляют целую тетрадь, богатую и нежной лирикой, и тонким юмором. Вдохновляла его и Воробьевка, деревня покойного Фета, с которым он был очень близок; но там он не дерзал писать слишком много, потому что поэтическая величина хозяина смущала его и, по выражению Владимира Сергеевича, «конкурировать с таким капиталистом было страшно».

Сознавая технические изъяны своего поэтического творчества, Владимир Соловьев был необыкновенно чуток к красотам чужих произведений; он был буквально *благодарен* за каждую хорошую, самобытную строку. Читать стихи и говорить о поэзии было для него величайшею радостью. Однажды он заехал ко мне вечером на несколько минут, собираясь отправиться затем на вечер к своему другу графу Волькенштейну (бывшему австрийскому послу). Прощаясь, мы заспорили о Тютчеве, несравненные красоты которого были мне тогда еще не вполне ясны. Соловьев разгорячился, бросился к моему книжному шкафу, достал томик Тютчева — и засиделся до четырех часов утра. В другой подобный вечер я в свою очередь «объяснил» ему поэтические перлы самобытной музыки К. К. Случевского: он затем так сочувствовал творениям этого собрата, что посвящал ему стихи, гостил у него на даче и сблизился с ним.

Весьма любопытно, что человек, столь чуткий ко всему художественному, как Владимир Соловьев, был довольно равнодушен к искусству, стоящему почти на границе сверхчувственного, т. е. к музыке. Серьезной музыки он почти не выносил, а любил лишь народные песни да незамысловатые цыганские романсы. Как-то в Москве, в гостиной одного известного писателя, общество разделилось на кружки: «старшие» говорили о серьезных предме-

тах, а молодежь собралась с балалайками вокруг рояля и занималась легкою музыкой. Владимир Сергеевич, слабо поддерживая разговор серьезных людей, то и дело поглядывал в сторону молодежи. Хозяин дома спросил его не без улыбки:

— Неужели вам это нравится?

— Отчего же? По крайней мере, без претензий! Поют как птицы!..

Помню случай, когда Владимир Сергеевич серьезно увлекся одним напевом и затвердил его наизусть. Он встретил у меня за обедом молодого грузинского композитора и собирателя народных песен М. А. Баланчивадзе, только что вернувшегося тогда из сванетских гор и привезшего много старинных напевов, глубоко интересных в отношении музыки и текста. От них веяло полуязыческим, восторженным и наивным мистицизмом. Владимир Сергеевич пришел в особенное восхищение от гимна «Лилэ», посвященного Архангелу:

Слава тебе, возвеличенный!
Слава тебе, Архангел!
Два быка на двух горах стоят;
Переплелись их рога золотые
И к тебе обращены.
Тебе мы приносим их в жертву,
Преславный! Лилэ! О Лилэ!..

Напев торжественный, со своеобразною гармонизацией, порывистыми аккордами, интересными переходами из тона в тон. Владимир Сергеевич заставил несколько раз повторить его, записал сванетские слова; потом, бывало, едва заговорим с ним о прекрасной Грузии, к которой он издали чувствовал стихийную симпатию, Владимир Соловьев встает, принимает торжественную позу и, подняв руку, напевает неведомые ему слова:

Исквами! Дидеби!
Бингоя! Шинедя!
Лилэ! О Лилэ!..

Любопытно, что Владимир Соловьев за всю жизнь побывал всего раза четыре в театре, и то по просьбе друзей-драматургов на представлении их пьес. Шекспира он очень любил, но предпочитал читать его, а не слушать со сцены, говоря в шутку, что «так воображение действует гораздо удачнее». Но когда он попадал в театр, то веселился, как мальчик, и обращал на себя всеобщее внимание заразительным, икающим смехом.

Во всей духовной красе своей проявилась личность Владимира Сергеевича в дружбе. Один «воспомянатель», лично почти не знавший покойного Соловьева, печатно высказал, однако, о нем,

что это была душа одинокая, в которой темно и холодно. Ничего более неверного нельзя было придумать о почившем мыслителе. Он именно отличался необычайною сердечною щедростью, и наиболее напряженною духовною потребностью его, после дела религии, была именно дружба. Сквозь всю его жизнь проходят нити, и с каждым сколько-нибудь серьезным явлением у него было связано нежное чувство к тому или другому человеку. Одна уже дружба с К. Н. Леонтьевым или с Достоевским показывает, что Владимир Соловьев был создан не для банальных отношений, которыми такие крупные люди не удовлетворялись бы. Но как он сам был деликатен и беспристрастен к друзьям, уважая их искренние взгляды и ни в чем не посягая на их независимость, так и от других требовал того же для себя. До таких пределов близости, когда начинается эгоистичная бесцеремонность, он и сам не доходил и другим неохотно разрешал доходить. Нелегко дружился, но и нелегко разрывал эти узы. Хотя бы весь мир стал осуждать одного из тех людей, которым он верил, — Владимир Соловьев оставался непоколебим в своих чувствах. Например, один из близких друзей его юности в течение многих лет делал ему всевозможные пакости, а почивший философ долго не верил, чтоб это было возможно, и даже продолжал оказывать услуги этому двуличному человеку, который сгорал завистью к нему.

Не заботясь о собственном благополучии, он принимал к сердцу каждую мелочь, касавшуюся его близких, и часто спешил действовать подъему их духа, даже когда в том не было прямой надобности. Например, увидев в одном журнале несправедливую статью о книге своего друга, он побоялся, чтобы тот не опечалился, и торопится написать ему письмо о посторонних и ненужных вопросах, чтобы только иметь повод сказать в конце, как будто мимоходом, нижеследующее:

«Прочел вчера “рецензию” Н. Н. Явно злобный, шипящий тон, причины которого не видны читателю, отнимает, мне кажется, всякое значение у этой выходки».

Тому же другу, только предполагая, что он раздражен полемикой с одним литературным хищником, посягнувшим на его авторскую собственность, Владимир Соловьев пишет:

«При многих высоких качествах, из коих высокий рост есть низшее, вы имеете один важный недостаток: совершенное неумение целесообразно пользоваться прекрасным русским выражением “наплевать”».

У меня хранится драгоценное письмо, начинающееся стихотворным обращением «Экронский бог, дражайший Вельзевул!» Затем следует объяснение: Вельзевул (Баал-Зебуб) значит в бук-

вальном переводе «господин мух»; этот крылатый бог пользовался специальным культом в городе Экроне. Указанным прозвищем Владимир Соловьев намекал на мою распрю с бывшим начальником труппы Александринского театра г. Крыловым по поводу его «переделочных» прав на мою пьесу «Первая муха».

В невинных островах насчет друзей Владимир Соловьев был неисчерпаем. Например, по поводу того, что у покойного московского профессора-философа Н. Я. Грота было семеро детей, весьма на него похожих, Владимир Сергеевич высказывал, что это «воистину *семь я*». Встречая где-нибудь своего друга, профессора Э. Л. Радлова, Владимир Соловьев говаривал, что «рад лову», и т. д.

Иногда соревнование друзей по отношению к нему ставило его в неловкое положение, и он «просил о пощаде» того, которого считал более благоразумным. Так, например, собираясь приехать в Петербург и остановиться у одного друга, он пишет другому: «Пожалуйста, не обижайтесь и не сокрушайте меня дилеммой, которого из двух друзей обидеть?!»

Он бывал для друзей истинным очагом тепла и света, истинным духовным отцом в серьезные минуты жизни. Еще на днях один из собратьев моих по перу, издававший всякие виды на писательском веку, сказал о нем:

— Как без него темно и печально на свете! Сколько в этом человеке было «духовного озону»!..

А при этом он никогда не ставил себя выше друзей, имевших гораздо меньше этого «озону», и частенько готов был сам смеяться над собой и позволял это другим. Однажды он вздумал читать нравоучение близкому приятелю:

— У тебя, милый друг, удивительная смесь любви к отвлеченному с жаждою практической деятельности.

Приятель за словом в карман не полез:

— Да. Но я знаю человека, у которого этой черты совершенно нет!..

Владимир Сергеевич громко расхохотался: он признавал, что сам гораздо более отличался тем, в чем обвинял своего друга...

Умение ценить и лично любить людей, невзирая на значительную рознь во взглядах, было отличительной чертой Владимира Соловьева. Например, он довольно резко расходился во многом с покойным М. И. Кояловичем⁵⁵, известным воинствующим славянофилом, а между тем до конца его дней сохранил к нему искреннее уважение и часто ездил к нему вести дружеские споры.

Собственной нравственной неправоты боялся Владимир Соловьев пуще всего: сознав ее, он всегда страдал и спешил загладить вину. За несколько месяцев до смерти произошел с ним следующий эпизод. Заспорив по вопросу принципиальному с одним собратом, которого он искренно любил и уважал, Владимир Соловьев поддался охватившему его нервному настроению, раскричался и ушел. Захожу к нему случайно на следующий день. Владимир Сергеевич выходит ко мне из спальни с мылом в руках, мрачно здоровается и говорит: «Знаешь ли...» — но потом опять скрывается в спальне, не докончив начатой фразы. Снова выходит — опять не решается сказать того, что его мучит, а только сообщает, что он чувствует себя «ужасно, ужасно», а сам краснеет, как школьник. Я смущен и немножко напуган, Владимир Соловьев опять уходит в спальню, и я слышу, как он там плескается, моет лицо. Через минуту выходит ко мне, усиленно вытирает лицо полотенцем, словно из желания скрыть краску стыда, и, стараясь не глядеть мне в глаза, рассказывает прерывистым голосом, что он вел себя вчера «буквально, буквально, как ломовой извозчик»: даже позволил себе возвысить голос на достойного человека!.. Я поспешил утешить его и предсказать, что на днях же будет заключен между обоими спорщиками искреннейший мир. Так оно и случилось, потому что иначе быть не могло.

Благородная основа чувства дружбы у Владимира Соловьева весьма наглядно проявлялась в том, что он всячески старался сближать нравственно между собою порядочных людей, невзирая на различие в их взглядах. Объединяет он их и теперь, из-за могилы, общностью нравственного осиротения и страдания по поводу невознаградимой утраты, понесенной в лице этого светлого человека.

* * *

Когда уходит из жизни крупный человек и оставленную пустотой определяет свою цену в мировой экономике, обществу хочется поближе ознакомиться с его личностью, причем особое внимание зачастую останавливается на том, кого и как любил этот человек, *как смотрел на любовь* и какую роль она играла в его жизни.

В частности, одни говорили о Соловьеве, что он безусловный аскет в данном отношении, как это можно усмотреть из его писаний и образа жизни, по крайней мере за последние 10—15 лет; другие настаивали на каких-то своеобразных романах, подклад-

ка которых им будто бы доподлинно известна. Говоря совершенно искренно на основании 10-летних наблюдений, я не позволю себе утверждать ни того, ни другого. Несомненно, во всяком случае, что Владимир Соловьев знал высокую и пламенную дружбу с женщинами, весьма близкую к понятию любви. Каковы были ее пределы и формы — решить трудно даже ближайшим к нему людям, если они не склонны злословить в кредит. От самого же Владимира Соловьева, говорившего совершенно откровенно о своей глубокой симпатии к тем или иным людям, я никогда не слышал даже отдаленнейшего намека на *реальные стороны* такой симпатии: быть может, потому, что их не было, или потому, что он был истинный пыцарь в этих вопросах.

В таком искреннем человеке, как Владимир Соловьев, мудрено отделить личность от писателя, т. е. два элемента, друг друга восполняющие и вместе объясняющие.

Выяснение вопроса о том, как он любил, весьма удобно при помощи его произведений. В его стихотворном сборнике много прекрасных, глубоко прочувствованных лирических пьес, в которых видна и пылкость его сердца, и, главное, пленительная возвышенность его любви. Самым интересным в этом отношении и, насколько я знаю, самым значительным с точки зрения биографической было следующее стихотворение:

Не по воле судьбы, не по мысли людей,
Не по мысли твоей я тебя полюбил;
И любовию вещей моей
От невидимой злобы, от тайных сетей
Я тебя ограждал, я тебя оградил.

Пусть собираются тучи кругом,
Веет бурей зловещей и слышится гром:
Не страшися! Любви моей щит
Не падет перед темной судьбой.
Меж небесной грозой и тобой
Он, как встарь, неподвижно стоит.

А когда пред тобою и мной
Смерть погасит все светочи жизни земной,
Пламень вечный души, как с Востока звезда,
Поведет нас туда, где немеркнущий свет,
И пред Богом ты будешь тогда,
Перед Богом любви — мой ответ!..⁵⁶

А про то, как он смотрел на так называемые «вещественные отношения», красноречиво говорит ряд презабавных юмористических стихотворений, из которых большинство, к сожалению, не вошло в сборник. Вот одно из них, которое он читал обыкно-

венно с уморительной гримасой, как-то горбясь и глядя умоляющим взором:

Там, под липой, у решетки,
Мне назначено свиданье.
Я иду, как агнец кроткий,
Обреченный на закланье.

Все как прежде: по высотам
Звезды старые моргают,
И в кустах по старым нотам
Соловьи концерт играют.

Я порядка не нарушу...
Но имей же состраданье!
Не томи мою ты душу,
Отпусти на покаянье!⁵⁷

Владимир Соловьев, несомненно, пользовался значительным нравственным успехом в дамском обществе, и некоторые «критики» или просто сплетники подтрунивали над этим фактом, в котором ничего предосудительного не было. Начинались иногда рассказы о том или другом «флирте», но скоро смолкали за отсутствием «улик». Помню, как однажды он что-то весьма долго засиделся в Москве, так что один из ближайших друзей его, почтенный М. М. Стасюлевич, ворчал: «Сообщает, что приедет в феврале, но не указывает, в феврале какого года». Кстати, в каком-то журнале Владимир Соловьев поместил стихотворение, в котором с игривым дружелюбием обращается к неведомой «дриаде». Я не преминул его письменно поддразнить и получил в ответ следующее интересное письмо, в котором Владимир Сергеевич весьма удачно выражает свой взгляд на любовь:

«В Москве держала меня вовсе не дриада, а просто житейское колесо. Дриада же есть миф: если не верите мне на слово, справьтесь в любом руководстве по мифологии или реальном словаре. А если и этим не убедитесь, то вот вам в доказательство правды моих слов (а также моей сердечной дружбы к вам) следующая интимная стихопроза:

Вы были для меня, прелестное создание,
Что для скульптора мрамора кусок.
Но сломан мой резец в усиленном старанье,
А глыбы каменной он одолеть не мог!

Любить вас tout de même. Вот странная затея!
Когда же кто любил негодный матерьял?
О светлом Божестве, любовью пламенея,
О светлом Божестве над вами я мечтал.

Теперь утешу вас! Пигмалионы редки,
Но есть каменотес в примете у меня:
Из мрамора скамью он сделает в беседке
И будет отдыхать от трудового дня⁵⁸.

Надо полагать, что автор приведенных стихов не послал их той особе, к которой они относились. Вряд ли кто-нибудь захочет принять их на свой счет, да это и не нужно. Важно то, что они проливают свет на личное отношение Владимира Соловьева к вопросу о любви...

* * *

Говорить ли о последних днях почившего мыслителя? Подробнее и ярче всего они описаны в прекрасной статье кн. С. Н. Трубецкого, в имении и, так сказать, на руках которого почил навеки Владимир Соловьев. Главные факты были заимствованы из нее или параллельно сообщены всею русскою печатью и теперь общеизвестны. Остается лишь кое-что не сообщить, а отметить.

Друзьям покойного, разделявшим его верования, важно и отрадно то, что он умер сознательно, как православный христианин, причастившись св. тайн.

Весьма характерно для почившего то, что он перед смертью молился за еврейский народ; даже если бы мы узнали об этом не из такого надежного источника, как слова кн. Трубецкого, достоверность известия об этом факте не подлежала бы сомнению. Владимир Соловьев любил еврейский народ, если можно так выразиться, любовью старшего брата, понимающего *все*, и потому не мог не молиться о нем перед смертью.

Затем нельзя не упомянуть об этом странном совпадении, тем более что сам Владимир Сергеевич придавал значение приметам. Соловьев ехал, собственно, в Малороссию, к князю Цертелеву, которого хотел утешить своей дружбой в постигшем его тяжком горе, смерти сына. У нас даже было условлено, что Владимир Сергеевич хоть на денек заедет по пути в мой украинский хутор. В Москве он остановился с целью провести свои именины у кн. Трубецкого, а затем совершенно больной поехал к нему и скончался в селе Узком. Невольно приходят на память слова Писания об *узких* вратах в Царствие Небесное⁵⁹. В самом этом названии есть что-то роковое для человека, у которого были самые широкие взгляды в России.

Владимир Сергеевич погребен, как известно, в Москве, в Новодевичьем монастыре, рядом со своим отцом, нашим великим

историком. От петербургских друзей покойного я слышал, что Владимир Сергеевич в прошлом июне месяце, гуляя по старинному парку в деревне Пустыньке (о которой выше упоминалось) был грустно настроен и, словно в предчувствии близкого конца, избрал там себе место для погребения. Перед самым же отъездом в Москву он пошел на то место и, сорвав там красненький цветочек, засунул его в петлицу сюртука...

В последний раз видел я почившего мыслителя приблизительно за месяц до его кончины. Он был явно болен — и сознавал это. Он был грустен, задумчив, говорил о религии, об антихристе; несколько раз за этот вечер он то выражал сомнение в возможности успеть сделать то или иное, то спрашивал немножко дрожащим голосом, словно желая получить успокоительный, утвердительный ответ: «Ведь мы же увидимся! Ведь не в последний раз мы видимся?!...»

Меня поразило, что ни разу за несколько часов беседы он не рассмеялся прежним смехом. Он это заметил и, уже сойдя по лестнице, пожелав рассеять мрачное впечатление, закричал снизу:

— А наша повременная печать находится-таки под сильным персидским влиянием!

— Как так?

— Она *испоганилась*! Помнишь город Испагань? Ха-ха-ха!

Он смеялся громко и как-то ненатурально, точно с особенною силой охватило его предчувствие смерти...

* * *

Теперь ему все равно, где лежит его прах. Но и ближайшим ему людям, и русскому обществу это безразлично. Он погребен именно там, где следует. Лица, посещавшие одновременно его могилу, говорили о постоянном появлении на ней новых и новых цветов и венков с трогательными надписями на лентах. К этой дорогой могиле не зарастет тропа мыслящей России. Надо надеяться, что не зарастет, а расширится и путь к его творениям. Главное, что останется из них, — это произведения религиозные, а если выразиться еще строже — религиозное настроение.

Чтобы определить в одном слове Владимира Соловьева, некоторые публицисты назвали его *всечеловеком*. Вряд ли это вполне точно. Если даже оставить в стороне его самые последние произведения (носившие, по-моему, отпечаток болезненности), в которых он приветствует «германского Зигфрида», проповедует крестовый поход против желтой расы и говорит, что «крест и

меч — одно», — все-таки почивший мыслитель прежде всего именно *вселенский христианин*.

Именно как христианин, не отказывающийся <ни> от одного звука своего символа веры, он так братски любил иноверных христиан, евреев, мусульман. В этом его *своеобразность, сила и обаяние*.

Политические писания его, взятые независимо от основных побуждений, проживут менее долго; но и они, как выше было разъяснено, сослужат свою службу. И в них особенно ценны не столько выводы, иногда не оправдываемые действительностью, сколько опять-таки *настроение*. Учесть его результаты, конечно, трудно, но отдельные факты показывают, что труды не пропали даром.

Для отношений междуплеменных такие светочи мысли и чувства неоценимы, так как они озаряют истинный путь человеческого сближения и взаимного понимания. Они приносят даже тот род пользы, который относится к области политики. Благодарственное и мирное житие достигается не столько внешними, искусственными мерами, сколько стихийными течениями, а такие *«теплые течения»* создаются людьми вроде Владимира Соловьева, о котором Брандес сказал, что видит в нем пророка *«не от мира сего, выше мира сего»*...

Несколько лет тому назад пришлось мне ехать по полесским дорогам в одном вагоне с тремя весьма молчаливыми ксендзами. Один из них, застенчиво приподняв шляпу, спросил меня как соседа о позволении выкурить папиросу. В ответ на эту любезность я ему предложил свой портсигар, на котором, между прочим, выгравирована подпись Владимира Соловьева. Увидав это имя, почтенный патер оживился, и между нами точно сразу хлынула сильная струя симпатии. В задушевной беседе с этими служителями чужого мне алтаря провели мы всю ночь, а когда расстались наутро в Киеве, то старший ксендз сказал мне:

— Нынче летом мы едем к гробу Господню; на будущий год надеемся посетить резиденцию преемника апостола Петра, а еще через год, если Матерь Божия позволит, поедem в Петербург, чтобы хоть раз в жизни увидеть великого русского праведника Христовой Церкви.

По смерти Владимира Соловьева не только во многих православных храмах, служители которых в последнее время стали ближе понимать его, но и во многих еврейских синагогах молились за этого христианина. О том же христианине сказал мне еще на днях, с трудом сдерживая рыдания, один высокообразованный и пламенный мусульманин:

— Какая ужасная потеря!.. Я был менее поражен скорбью, когда умер мой отец. Когда люди поумнеют, они поймут, что Владимир Соловьев был истинный «пир» (праведный муж).

Те, кто умом или сердцем осиротел, утратив Владимира Соловьева, спокойны за его светлую душу: он любил Бога всем существом своим, стремился служить только Его Истине и во Имя Его любви любил людей больше, чем самого себя.

А если и на небесах есть место доброму юмору как игре смеющихся золотых лучей на волнах безбрежной лазури, то верный раб Божий Владимир, оглянувшись на покинутый прах, вправе будет повторить слова своего украинского родича Г. С. Сковороды:

*«Мир меня ловил, — но не поймал»*⁶⁰.





А. БЕЛЫЙ

Владимир Соловьев

Из воспоминаний

Есть спутники вашего детства: имена и представления, поразившие ребенка чем-то необычайным. Фантазия начинает усиленно работать, и слова, подчас совершенно просто сказанные, покрываются золотой фатой сказки. И имена, подчас незнакомые, как-то ярко сияют.

Я познакомился с Вл. С. Соловьевым сравнительно поздно; гораздо раньше я о нем слышал.

Не знаю, кто, где и когда впервые заговорил о нем при мне. Но еще в раннем детстве редко, но ярко проходил он в моем воображении. Станным и страшным казался он мне. Может быть, это было оттого, что, будучи с детства один среди взрослых, я прислушивался внимательно к полупонятым словам, к отвлеченным спорам. И незнакомые имена западали в память. Почему-то ярко западали имена Вейерштрассе и Соловьева. Вероятно, при мне кто-нибудь из «университетских» выразился в таком тоне: «Станный человек Владимир Соловьев». Или дама сказала: «Загадочный». А детское воображение заработало. Мне стало казаться, что Владимир Соловьев — странник, шествующий с посохом по городам, селам, лесам. Он — нечто вроде вагнеровского Wanderer'a¹: появляется то в Москве, то в Аравийской пустыне. Мой мир сказочных представлений пересекал он редко, но пересекал. Куда? В Аравию, на север? Для меня был он одним из музыкантов, что проходят на север в «Драме жизни»², возвещая приближение горячки. Это было провиденциально: Владимир Сергеевич был для меня впоследствии предтечей горячки религиозных исканий.

Помню, однажды раздался звонок. Отца не было дома. К нам вошел, как мне казалось, кто-то сухой, длинный, черный, согбенный, с волосами, падающими на плечи, с длинной черно-се-

рой бородой, с изможденным лицом и серыми глубокими глазами. Сел — и показался добрым и маленьким, потому что длинные были его ноги; сидел с высоко поднятыми коленками и смеялся большим-большим ртом, протягивая мне свою костлявую, но какую-то бессильную, длинную руку. Посидел и исчез. Из разговора матери с отцом я понял, что это был Владимир Соловьев. Приходил по какому-то делу, но мне он явился, как являются сказочные незнакомцы из Гофмана. Взрослые говорили, что в пустыне его приняли за черта. Мне казалось, что он вышел из смерчей, самума, пришел к нам; а когда вышел за дверь, то смерчем расклубился, метелью пронесся. Греза стала реальнее.

Вскоре опять я его видел у профессора Стороженко³. Опять поразило его в жестокой думе сожженное лицо среди благообразных, довольных лиц окружающих. Казалось, что голову вот-вот положит он на колени, потому что колени его длинных ног высоко поднимались, а туловище казалось коротеньким. Мы, дети, бегали среди гостей, стараясь приколоть к скюртукам бумажные хвостики. Мы, дети, с шутливым страхом косились на Соловьева. А *бука* Соловьев добродушно посматривал на нас.

Так сказочно промелькнула фигура Владимира Сергеевича в далеком детстве моем. И позднее я встретился с ним. Но только последняя встреча, незадолго до его смерти, имела для меня роковой и глубокий смысл.

Громадные очарованные глаза, серые, сутулая его спина, бесильные руки, длинные, со взбитыми серыми космами прекрасная его голова, большой, словно разорванный рот с выпяченной губой, морщины — сколько было в облике Соловьева неверного и двойственного! У французов есть одно слово, не переводимое на русский язык. Оно характеризовало бы впечатление, которое оставлял на окружающих Владимир Сергеевич. Француз сказал бы про него: «Il était bizarre»⁴. Гигант — и бесильные руки, длинные ноги — и маленькое туловище, одухотворенные глаза — и чувственный рот, глаголы пророка, и — посмотрите: вот мимо проносят поднос с печеньем: длинная рука Соловьева протягивается к печенью, с виновато-беспомощной улыбкой он щурится, наклоняясь над сладостями, осматривает каждую конфету, каждое печенье; цепкие пальцы возьмут то и это, благодарно закачается перед прислугой, растеряется. Потом обернется к собеседнику, забудет старательно выбранную кучку сладостей, скажет одну только фразу (говорит он мало), но слово его брызнет зарей. Бессильный ребенок, обросший львиными космами, лукавый черт, смущающий беседу своим убийственным смешком: «Хе-хе», и — заря, заря!

Соловьев всегда был под знаком ему светивших зорь. Из зари вышла таинственная муза его мистической философии (*она*, как он называл ее). Она явилась ему, ребенку. Она явилась ему в Британском музее, шепнула: «Будь в Египте» *. И молодой доцент бросился в Египет и чуть не погиб в пустыне: там посетило его видение, пронизанное «лазурью золотистой». И из египетских пустынь родилась его гностическая теософия — учение о вечно женственном начале божества. Муза его стала нормой его теории, но и нормой его жизни. Можно сказать, что стремление к заре превратил Соловьев в долг, и раскрытию этого долга посвящены восемь томов его сочинений, где тонкий критический анализ чередуется с расплывчатой недоказательной метафизикой и с глубиной мистических переживаний необычайной. Дешифруя его учение, мы встречаемся с громадной эрудицией и с дьявольским умением полемизировать, которым Соловьев так часто злоупотреблял: как из пушки, стрелял Соловьев своей критикой и по врагам, и по друзьям, и — увы! — по воробьям. Но если вы пожелаете узнать, для чего нужно было Соловьеву всю жизнь громить, бичевать и взывать, то под его критикой и полемикой вас встретят бледные, безжизненные схемы метафизики. Но самая эта метафизика для Соловьева — только скромная вуаль над ему одному ведомой тайной: эта тайна — голос заревой его музыки. Этот голос ему шептал: «Будь в Египте». Но этот же голос шептал ему: «Полемизируй со Страховым, ибо Страхов — эмблема смерти» ⁵. Такова жизнь Соловьева — всегда и везде быть озаренным. Заря принимала образ прекрасной музыки и манила его. И Соловьев из Hôtel d'Anglétierre в Петербурге бросался на Сайму, потом в Москву к Н. Я. Гроту, после чего Грот начинал заниматься чуть ли не спиритизмом. А Соловьев отправлялся в Египет.

Помню большие коричневые свечи, которые привез он своему брату, М. С. Соловьеву, из Египта. Соловьев всюду как бы ходил с большой коричневой египетской свечой, невидимой для его маститых и уравновешенных друзей, но, быть может, видимой некоторыми из его друзей, относительно которых ходили слухи, что друзья эти — «темные личности». Вот эти-то темные личности впервые и возвестили о том, что Соловьев — вовсе не философ, а странник, ходящий перед Богом.

Стасюлевич, конечно, не видел свечи в руках Соловьева, друга-идеалисты, которые все были, по меньшей мере, профессора и все говорили Владимиру Сергеевичу «ты», свечи не видели

* Этот факт, совершенно реальный, описал он в поэме «Три свидания».

тоже. Они превратили учение Соловьева просто-напросто в философский идеализм, и даже не в неокантианском смысле этого слова, а просто для них философия Соловьева была удобным средством для борьбы с позитивизмом, с которым Вл. Соловьев если и боролся, то разве в ранней молодости; потом он признал и по-своему осветил контовский позитивизм.

Вот почему чувствовал себя Соловьев одиноким, хотя из одних друзей его и состояло Психологическое общество. И из-за зеленого стола, где раздавались такие важные, такие любезные, казалось бы, для него речи, убегал Соловьев к холодным струям многошумной Иматры или к белым колокольчикам Пустыньки*, а то и прямо к «подозрительным личностям»: пьянствующим пророкам, юродивым неудачникам, к знакомым нищим или, пожалуй, ко всем без разбора извозчикам, раздавая свои деньги. После кончины философа странные обнаружились его связи со многими «отверженными». Но страннее, что именно к ним-то, пожалуй, и повертывался Соловьев своим настоящим ликом.

Многие увидят в моих словах фантазию, скажут, что про покойного можно писать теперь все что заблагорассудится. Но пусть это же скажут и близкие к Соловьеву лица, знавшие традиции его интимной жизни. Мне приходилось встречаться с Соловьевым и в профессорском кругу. Мне приходилось слышать о нем от его «почтенных» друзей. Но я видел его черновые бумаги, при мне читались его интимные письма. Но я знал о нем из наиболее верного источника: от брата покойного мыслителя, М. С. Соловьева, с которым он был особенно дружен и в семье которого я был принят как родной. В уютной гостиной у Соловьевых проводил я все свободное время, будучи гимназистом, а потом и студентом. Здесь вели мы нескончаемые беседы, и многое в этих беседах касалось прямо или косвенно покойного философа. М. С. Соловьев был замечательным человеком; он умел соединять спокойную уравновешенность, эрудицию с той безграничной свободой, которая не заслоняла от него ничего искреннего, какие бы формы эта искренность ни носила. Он был авторитетом и для своего брата, и для «маститых» друзей Владимира Сергеевича, и для молодой кучки искателей, которых в то время обливали презрением «маститости от схоластики». Вокруг Соловьевых группировались все смелые и искренние, идущие своим путем.

* Имение, принадлежащее прежде гр. Толстым, где гостил Соловьев.

М. С. Соловьев любил в брате своем вовсе не автора восьми томов, а нового человека, услышавшего призыв и в бархатной ласке зари, и в тихом плеске белых колокольчиков: «Сколько их расцветало недавно!» (Вл. Соловьев). Вот почему я не мог не научиться любить в Соловьеве не мыслителя только, но и дерзновенного новатора жизни, укрывшего свой новый лик под забралом ничего не говорящей метафизики. И не мог я не смотреть на Вл. Соловьева с глубокой любовью, когда встречал его в обществе брата за небольшим уютным столом, под мягким абажуром. И что-то неуловимо мягкое, грустное и близкое зацветало в сердце — цветок за цветком. «Сколько их расцветало недавно» — так еще недавно, всего семь-восемь лет тому назад! А вот прошло семь лет, и лампы тихо мигают над тремя незабвенными могилами, и личность Вл. Соловьева уже отходит куда-то вдаль, становясь легендарной. И только грустные березы вздохнут, вздохнут плеском весенних листьев, облетят осенью, а потом метель взвоет над тихим кладбищем дикие вихри свои.

Больной, худой приходил Соловьев к брату точно из неведомых стран. Худой, маленький, с высоко поднятыми космами, сидел он с братом за шашками, врываясь в наш разговор то гремющей своей шуткой, то вырывающим из-под ног почву замечанием. Но больше всего хохотал он шуткам маленького своего племянника (теперь талантливого поэта), дико ржал и стучал по полу ногами. Бывало, придешь к Соловьевым: в передней большая меховая, как у священника, шуба. Подумаешь: «Ах, значит, приехал Владимир Сергеевич». Войдешь — протянет длинную слабую свою руку, не смотря в глаза, скажет: «А ваш тезка Б. Н. Чичерин?» *.

Скажет и быстро передвинет шашку. Слушает, ржет. Читаются стихи. Если что-нибудь в стихах неудачно, смешно, Владимир Сергеевич своим громовым иступленным «ха-ха-ха» так и подмывает сказать нарочно что-нибудь парадоксальное, дикое. Ничему в разговоре не удивлялся Владимир Сергеевич; добродушно гремел свое: «Ха-ха-ха! Что за вздор!» И разговор при нем всегда искрился, как шипучее вино. Не тяжестью доказательств измерял Соловьев разговор, а ценой остроумия. Чем более старался он в статьях казаться верблюдом, навьюченным грузом отживающей схоластики, тем свободнее, капризнее, слепительнее были его редкие афоризмы из-за шахмат. Он говорил, опуская промежуточные звенья мысли, короткими афоризмами; любил скачки мысли с вершины на вершину и не чуждался сме-

* Я привык, что с детства все напоминали мне об этом.

лости; и там, где маститые его друзья влекли мысль с вершины умозаключения к другой вершине как бы на скрипучей арбе, там Вл. Соловьев прыгал. И мы, молодые представители так называемого декадентства, чувствовали Вл. Соловьева своим, родным, близким, именно близким по жаргону речи, по психическому темпу переживаний. Всегда любовался я фигурой Вл. Соловьева.

Любовался им и за столом. Любовался им и на улице. Он проезжал в своей большой, как у священника, шапке, кутаясь в меха, среди снежных вихрей. Встречал его и в глухих черных подъездах, когда поднимался он, стуча калошами, точно батюшка, поспешающий на молебен. Потом он исчезал. И опять я заставал его за уютным чайным столом.

Помню, наступила весна 1900 года. Соловьев как-то особенно был измучен несоответствием между всей своей литературно-философской деятельностью и своим сокровенным желанием ходить перед людьми с большой египетской свечой. Он говорил брату, что миссия его заключается не в том, чтобы писать философские книги; что все им написанное — только пролог к его дальнейшей деятельности. Незадолго перед тем он прочел свою лекцию о конце всемирной истории. Тут мы встретились как-то по-новому: мы встретились в первый раз, но это была и последняя встреча. Соловьев скончался.

Помню, я получил записку от покойной О. М. Соловьевой. Она извещала, что Владимир Сергеевич читает им свой «Третий разговор», и просила меня прийти. Прихожу. Соловьев сидит грустный, усталый, с той печатью мертвенности и жуткого величия, которая почил на нем в последние месяцы: точно он увидел то, чего никто не видел, и не может найти слов, чтобы передать свое знание. В те дни у меня в душе накопилось много тревоги. При виде Соловьева мне хотелось ему сказать что-то такое, что говорить не полагается за чайным столом. Но желание осталось желанием, и я заговорил с ним о Ницше, об отношении сверхчеловека к идее богочеловечества. Он сказал немного о Ницше, но была в его словах глубокая серьезность. Он говорил, что идеи Ницше — это единственное, с чем надо теперь считаться как с глубокой опасностью, грозящей религиозной культуре. Как я ни расходился с ним во взглядах на Ницше, меня глубоко примирило серьезное отношение его к Ницше в тот момент. Я понял, что, называя Ницше «сверхфилологом», Владимир Сергеевич был только тактиком, игнорирующим опасность, грозящую его чаяниям. Но пора было приступать к чтению. Вдруг раздался звонок. Соловьев обеспокоился: «Нельзя ли сказать...» Тут он начал тереть себе лоб и отыскивать неправдоподобные предло-

ги, чтобы избавиться от нечаянной слушательницы. Чтение должно было носить совершенно интимный характер. Потом он читал свою «Повесть об антихристе». При слове «Иоанн поднялся, как белая свеча», — он тоже приподнялся, как бы вытянулся в кресле. Кажется, в окнах мерцали зарницы. Лицо Соловьева трепетало в зарницах вдохновения. Тут я не мог не сказать чего-то такого, что было мне близко и что я усмотрел в диалоге действующих лиц «разговора». Соловьев посмотрел на меня удивленно. И на «робкие», дикие для всех замечания сказал мне: «Да, да, это так». Я почувствовал, что между нами возникает что-то особенное. Соловьев посылал меня домой принести одну мою рукопись, в которой я касался того, в чем мы неожиданно сошлись. Но О. М. Соловьева сказала: «Уже поздно». Мы условились, что встретимся после лета. Я уже знал, что мы встретимся прочно. Но Соловьев скончался. И не сказанное между нами слово стало для меня лозунгом, как стала для меня впоследствии лозунгом его могила, озаренная красной лампадкой.

Часто потом мне приходилось бывать в местах, где гостил Соловьев. Еще недавно смотрел я на белые колокольчики, пересаженные из Пустынки, о которых сказал он: «Сколько их расцветало недавно». Еще недавно надевал я в дождливые дни его необъятную непромокаемую крылатку. И дорогой образ в крылатке, на заре, склоненный над белыми колокольчиками, так отчетливо возник — образ вечного странника, уходящего прочь от ветхой земли в град новый. А за ним воскресли дорогие, отошедшие в вечность образы.





М. С. БЕЗОБРАЗОВА

Воспоминания о брате Владимире Соловьеве

«В присутствии вашего брата Владимира Сергеевича сам становился лучше; при нем слишком стыдно было думать или чувствовать гадко». Таковые приблизительно слова слыхала я не раз от знавших брата, и мне при этом вспоминалось одно из чувств, которые я испытывала относительно его всегда, с тех пор что себя помню.

В детской. Упоение игрой. Вдруг одно слово, одно движение, взгляд, и вспыхнули темные страсти — крик, спор, сцепились. Звонок в передней, это — брат; идет к себе и будет там работать, писать, может, всю ночь; писать такие умные, чудесные вещи. Вдруг, проходя, заглянет к нам? Войдет, высокий, бледный, худой и такой красивый, с головой, которая, говорят, напоминает голову Иоанна Крестителя! И некрасивое слово не произносится, и руки, поднятые для некрасивого жеста, опускаются, и стыдно, и обидно, и так хочется сказать или сделать что-нибудь умное и красивое!

И еще в детской: игра в сравнения — кто лучше, кого больше любишь?

— Ну, по-твоему, кто? Володя или?.. (Называется лицо, к которому мы равнодушны и о котором знаем, что тоже «пишет целые книги»).

— Ну вот еще, глупости! Тут и сравнивать нельзя: тот — земля, а Володя — небо.

Бессознательное чутье совсем маленького ребенка отгадывало в нем служителя неба, той красоты, Афродиты Небесной, которой он оставался верен всю свою жизнь. И хоть с течением времени я скоро увидала, как много в нем было и земли, от суждения, высказанного в раннем детстве, не откажусь. Так впоследствии, когда приходилось наблюдать более темные, более тяжелые сто-

роны в характере и натуре брата, все же всегда чувствовалось, что этот человек, безусловно, не способен ни на что низкое или неблагородное и что над ним не имела никакой силы сколько-нибудь мелкая, недостойная или пошлая сторона жизни. Да, в этом отношении он был всегда над землей, выше ее и мог казаться небом. А ведь и небо бывает порой такое неприятное, хмурое и зловеще-грозное, а то и еще хуже: серое-серое, скучное. Брат бывал мрачен и тоскливо-угрюм, бывал и скучен, когда, например, отправится к каким-нибудь добрым знакомым, сядет куда-нибудь в сторонке да и просидит несколько часов, не разжав губ, а затем встанет и уйдет. Хозяева дома, может, и не взыскали бы за такое действительно неприличное поведение, на то они и добрые знакомые и, зная Соловьева, могут понять, что он, тоскуя и мнясь душой, как это случается со всяким человеком, нарочно пошел к людям, к своим добрым знакомым в надежде, что, быть может, разгонит хоть немного мрак и тоску; но были гости в доме, и между ними такие, которые нарочно пришли послушать Соловьева, и вот эти-то подобного поведения ему не простят. Простой человек имеет право, когда в тоске и неохота говорить, промолчать хоть весь вечер, а Соловьев нет. На простого человека внимания не обратят, а тут нарочно пришли — это непозволительно.

— Не хотел раскрывать рта, ну и сидел бы в своей комнате; оригинальничает, думает — интересно, а это просто скучно.

Но оригинальничать брату было, безусловно, невозможно; слишком по природе был он для того оригинален и искренен; а потянуло его в тяжелую минуту к людям — значит, он счел их добрее, чем они оказались. Впрочем, брат очень редко позволял себе, бывая скучным, ходить в гости, хотя бы и к *добрым* знакомым.

А во мне и в детстве, и позднее тяжелое, мрачное настроение брата вызывало всегда страх и тоскливую, недоумевающую тревогу. И не того я боялась, что нечаянно раздражу его, вызову чем-нибудь гнев, — случалось, когда была еще маленькой, брат быстро шагает после обеда, засунув руки в карманы, весь в своих невеселых думах, а в комнатах темно, из передней и столовой падает свет, но он освещает только часть большой залы и гостиной, по углам же и вдоль стен совсем чернота, особенно когда в окна не глядит луна; и так заманчиво-жутко нам, младшему поколению, носиться на цыпочках в этой темноте, играя в привидения или летучих мышей; меня же охватывало прямо неистовство; ну вот, случалось, несясь таким образом, столкнуться с братом, попасть ему под ноги, да и не один еще раз, и он мог

сильно рассердиться, крикнуть резкое слово; но, повторяю, не раздражение его, не крик пугали меня — пугала его мрачная тоска сама по себе, пугала и смущала жалость, охватывавшая при этом к нему. «Такой умный, такой необыкновенный, которым так восхищаются, пишет книги, которые могут читать только самые умные люди, отчего он так тоскует? Чем так смущен?» И хотелось порой броситься к нему и приласкаться, но не решалась; я, такая маленькая и глупая, даже и читать не могу никаких книг, которые он пишет, как смогу помочь ему? Только еще хуже сделаешь: помешаешь ему думать, а он, наверно, думает все время о страшно важном, о самом важном, а мне вот хоть и жаль его, а все же очень хочется визжать и носиться летучей мышью. Раза два, впрочем, помню, не удержалась, побежала к нему, когда больше никого не было в комнате, и изо всей силы прижалась одной половиной лица к его локтю. Он остановился.

— Что ты?

— Володя, милый! — могла я только прошептать.

Он вынул из кармана руку, не ту, к которой я прижалась, и согнутым по суставу указательным пальцем несколько раз провел по моей свободной щеке. И опять зашагал. А другой раз суставом пальца по щеке моей не провел, а сказал только:

— Ну чего ты, глупая, чего?

И проведение согнутым пальцем по щеке, и прилагательное — глупая, произнесенное особым тоном, означали ласку.

Раздражителен брат бывал иногда и без мрачного или тоскливого настроения, и тогда некоторые вещи легко могли довести его до бешенства. Так, например, он совершенно не выносил, чтобы убирали его комнату, то есть его письменный стол, равно чтоб касались подоконников, шкапов, всего, куда он только мог положить книгу, газету, бумагу, записку, так как при уборке все куда-то исчезало, он искал и не находил. Мать же и сестра полагали, что оставлять везде пыль — не значит убирать комнату, а в неубранной комнате нельзя жить. И вот иногда в отсутствие брата они сами принимались за капитальную уборку, не доверяя прислуге или боясь, что та действительно что-нибудь не туда положит. Вернувшись, брат часто и не замечал произведенной в его комнате очистки, но случалось и другое: вдруг по дому раздавался крик, от которого, казалось, вот-вот должны рухнуть стены, и брат с перевернутым лицом вбегал в комнату матери.

— Мама, да что же это такое! Я не могу найти нужной мне записки, это вы опять перевернули мне все вверх дном.

— Я ничего даже и не трогала, только стерла пыль.

— Но я же вас просил, я вас умолял никогда у меня ничего не касаться.

— Да я и не касалась.

— Как же не касалась, когда вдруг исчезла нужная мне записка! Понимаете, она мне сейчас необходима, сию минуту.

— Я пойду и найду, потому что ни одного обрывка старой газеты даже не выбросила.

— Вы ничего не найдете — я все переискал. Нет, что же это такое!

И опять крик, и порой слова, несообразно резкие слова, и угроза уехать, чтоб никогда уже больше не вернуться. Если бы кто из мало знавших брата вошел в эту минуту и услышал этот крик, отчаянным, захлебывающимся звуком произносимые угрозы и жалобы, подумал бы, что случилось большое, непоправимое несчастье.

Слыша эту сцену из соседней «детской», я чувствовала, что этот большой человек, обладавший такой огромной духовной силой, что при нем, а иногда и только думая о нем, всегда невыносимо было сказать, или услышать, или увидеть что-либо сколько-нибудь некрасивое, глупое, пошлое, становился минутами совсем маленьким, беспомощным ребенком; и чем громче и неистовее он кричал, тем сильнее это чувствовалось.

Злополучная записка иногда скоро находилась, иногда нет — возможно, что брат сам не помнил, куда ее положил, но находилась или нет, припадок неистовства разрешался так: продолжая кричать, брат бежал опять к себе, изо всей мочи хлопнув дверью своей комнаты. Там на более или менее продолжительное время наступала полная тишина. Потом дверь тихо отворялась, показывалась фигура брата; несколько мгновений он точно колебался, будто прислушиваясь; затем, так же тихо притворив за собой дверь, обычной быстрой и размашистой походкой, но на цыпочках, шел к матери и, войдя, плотно притворял за собой дверь. Брат являлся с повинной и, целуя у матери руки, просил прощения за свою несдержанность. Если потом за обедом или чаем хоть каким-нибудь намеком вспоминалась пережитая сцена, брат, слегка смущаясь и в то же время страшно горячим и убедительным тоном говорил:

— И ведь никогда ничего подобного не могло бы случиться, если б вы раз и навсегда оставили мою комнату в покое; и вам и мне было бы лучше.

Мать утверждала обратное. Тогда на лице брата появлялось лукаво-ироническое выражение, и он говорил все тем же горячим убеждающим тоном:

— Положим, я глуп, положим, я очень глуп, до чрезвычайности глуп, но не так же я глуп, чтоб не знать, что мне удобнее и спокойнее.

Эту фразу брат любил повторять каждый раз, как ему казалось, что его хотят убедить, что он чувствует, например, не то, что чувствует.

С течением времени припадки дикого бешенства из-за недостаточно уважительной причины становились все реже и реже: брат усиленно над собой работал.

С ранней юности, помимо всякой другой, брат взвалил себе на плечи и работу личного самоусовершенствования и эту работу, как ни тяжела она была порой, исполнял всю жизнь, как добрый и верный раб, вплоть до самой смерти, когда он, уже умирая, говорил: «Трудна работа Господня» — или просил княгиню Трубецкую: «Не давайте мне впадать в бессознательность и бредить — я должен молиться».

Мрачное же и тоскующее настроение, равно и раздражительное, хоть и находило на него порой в течение всей жизни, в общем характер его вспоминается мне удивительно мягким и светлым, и очень много было в нем детского, способность же смеяться и дурачиться — совершенно исключительная, так что иногда достаточно было пустяка, чтоб заставить его закатиться самым задушевным, захлебывающимся смехом, разносившимся на далекое пространство кругом. И думается, вспоминая этот смех, что надо было быть или очень несчастным, или беспросветно злым, или безнадежно озлобленным, чтоб не стало весело и не явилось желания смеяться самому, услышав этот смех. Любил он острить и поощрял чужие остроты; когда сострит кто удачно, он сначала рассмеется, потом скажет: «Запиши две копейки», или пять, или десять, смотря по степени остроумия. Когда же «ничего не выходило» или чересчур «нахально», брат в первом случае морщился, иногда тихо, точно про себя, произнося: «Вздор»; во втором смеялся и говорил: «Дать ему (или ей) подзатыльник». Любил брат очень Кузьму Пруткова и, обладая колоссальной памятью, цитировал его иногда за обедом и чаем без конца. Говорил и свои стихотворения, серьезные и шуточные, и стихи Фета, иногда раньше, чем они появлялись в печати. Стихи брат читал, по-моему, удивительно хорошо, необыкновенно музыкально и при этом совершенно просто; шуточные же произносил с совершенно особым комизмом. Иногда находила исключительно дурашливая полоса, и, начав с Кузьмы Пруткова и разных других шуточных стихов, каламбуров и *bons mots*¹, брат, что называется, закусывал удила. Мы, младшее поколение,

равно и старшая сестра, сама очень остроумная, прямо кисли от смеха, но мать и жившая с нами и всех нас воспитавшая Анна Кузьминична Колерова, близкий друг всей нашей семьи, иногда бывали строго настроены и не очень склонны поощрять дурачества, уже переходящие известные границы (подобные сцены вспоминаются мне из более позднего времени, уже после смерти нашего отца).

— Ну, Владимир, теперь уж пошел, пошел... Право, это несколько не остроумно, — говорила как будто слегка даже грустным тоном Анна Кузьминична.

Но брат не унимался, и мы едва сдерживались, чтоб уж прямо не взвыть от восторга.

— Отчего говорят «чернильница», а не «песочница»?.. Вам это не нравится. Ну, хорошо... мама, смотрите, вот я возьму самый большой огурец и разом его — в рот.

И действительно, как говорил, так и делал. Мать ужасалась, брат, закинув голову, хохотал, Анна Кузьминична негодовала.

— Ну, успокойтесь, я больше не буду, — говорил брат ласково и увещательно.

Несколько минут молчания, потом вдруг самым повышенным и удивленным тоном вопрос:

— Отчего говорят «роза», а не «пэон»?

И выражение лица при этом такое же невинно-удивленное и, как и тот вопрос о произношении слова «пэон» и ударение на первом слоге, полно беспредельного комизма.

Хотя я и сказала выше, что всю жизнь, начиная с раннего детства, боялась произнести при брате, или чтоб их кто другой произнес при нем, сколько-нибудь некрасивое, глупое или пошлое слово, но сам брат любил иногда говорить большие непристойности, если они были остроумны или смешны; любил, чтоб и ему рассказывали подобные анекдоты или подлинные факты. Не только позволял он это себе в обществе мужчин, а также иногда и в нашем.

— Владимир, помилосердствуй, — при сестрах! — восклицала с негодованием Анна Кузьминична.

— Да, Володя, пожалуйста, оставь; терпеть не могу, когда начинаешь говорить сальности, — негромко замечала мать и тихонько отталкивала от себя предметы, бывшие у нее под руками, — верный знак нарушенного душевного равновесия.

Сощурившись, брат смотрел на меня и младшую сестру (со старшей, с которой вместе рос, он стеснялся меньше, чем с матерью).

— Мария, тебе есть шестнадцать лет?

— Есть.

— Ну, значит, все можешь знать, ибо достигла церковного совершеннолетия и получила право стать женой, а Сена — ей несколько преждевременно, а потому, *Séne, sortez!*²

— Но мы тоже не хотим слушать, — громче заявляла мать.

— Ну, это вздор, совершенный вздор: поймите — мерзко делать гадости, думать, чувствовать, а говорить — бывает даже иногда нужно — *Séne, filez*³.

И по выходе сестры брат начинал говорить совершенно откровенно. Иногда это кончалось благополучно, иногда скандалом. Анна Кузьминична, возмущенная до последней степени, вставала и уходила; а в самых редких случаях уходила и мать, а чаще обиженно и огорченно говорила:

— Совершенно не понимаю, как это такой человек, как ты, можешь подобные вещи слушать да еще сам повторять.

— Ах, мама, вы еще меня мало знаете.

— Ну, да-да, рассказывай; и охота представляться!

И на такие слова, и на уход Анны Кузьминичны брат отвечал самым задушевным, радостным смехом.

Раз, помню, брат вышел к завтраку рассеяннo-печальный и, как всегда, принялся за «Русские ведомости», прихлебывая стынувший в стакане чай. Читая, хмурился, на предложенный какой-то неважный вопрос не ответил. Прочел, отложил газету и, подойдя к окну, стал молча глядеть на небо. На небе было солнце. Вдруг брат чихнул едва слышно, точно сдерживаясь, как-то в себя; звук походил менее на чих, чем на кашель или перханье грудного младенца. Чихнул так раз, и другой, и третий, затем очень громко и довольно крякнул, вернулся к столу и попросил еще чаю. Лицо не было больше хмурым, напротив, совсем светлое, с бесконечно добрым, детски ясным взглядом.

— Доволен, что удалось чихнуть? — спросила старшая сестра.

Брат улыбнулся и молча кивнул головой. Он очень любил чихать, хотя иначе как вышеописанным образом чихать не умел, так что, кто не знал, думал, что он терпеть не может и нарочно удерживается; а чтоб вызвать чиханье, говорил, что нет лучшего способа, как посмотреть на солнце, только не надо, чтобы в это время кто-нибудь с ним заговорил, — это мешает. Мы это знали и, если замечали его в такой немой позиции перед окном, старались даже не глядеть на его спину.

— О Господи!.. — сказал вдруг брат, отхлебнув чаю и откинув со лба волосы. — Мама, если б вы знали, как я много нагрешил сегодня ночью.

Мать испуганно закашляла и посмотрела на младшую сестру.

— Не пугайтесь так уж чрезмерно; я погрешил в сердце своем.

— Ах, Володя! И как будто я не знаю, что иначе ты не можешь.

— Ну нет, это вы напрасно. Ну-ну, бедный мамант, не волнуйтесь. Но я ведь вам не раз уж говорил, что всякая мало-мальски нечистая мысль и есть уже грех, а если б вы знали, сколько мне приходило сегодня ночью самых нечистых мыслей! Ужас! Есть у вас еще чай? Так налейте. О Господи!

Помню, не один раз брат с сокрушенным громким вздохом, и комичным, и совершенно искренним, в котором было опять-таки что-то детское, признавался матери, что много нагрешил в сердце своем. А я любила эти признания: чувствовалось, что этот человек, неустанно служивший Афродите Небесной, не был чужд земных соблазнов, и порой они находили на него, как тяжелые зловеющие тучи, и давили, и гнули, и бороться ему с ними было нелегко, и тем не менее он вел непрестанную борьбу со всякой нечистой мыслью. И думалось о том, как он часто увлекается женской красотой, а лежит у него в то же время портрет женщины удивительной красоты, с надписью «Ah, bel ermite! tu ne les sauras donc jamais, les tentations de st. Antoine!»⁴

Нет, он их знал; но любовь была для него священной. Влюблялся же и увлекался брат легко, и легко понимал эти чувства в других и интересовался ими, с вниманием выслушивал рассказы о всяких любовных историях. Но чуть тут что-нибудь возмущало его чувство красоты, он морщился и говорил:

— Ф-фа, какая мерзость!

Если же узнавал, что одна сторона страдает от другой и наблюдается несоответствие света и тени, говорил:

— Ну, связался черт с младенцем.

Любя всякие дурачества, брат любил давать смешные прозвища и меня по возвращении из Египта, где он пробыл довольно долго, редко называл по имени, а больше египетским чудищем, так как находил, что у меня совершенно египетский тип. Иногда просто обращаясь: «Ну что, египетское?» или: «Ты что еще там ухмыляешься, чудище, фараоново отродье?» В серьезные минуты называл меня сфинксом, а если по имени, то почти всегда прибавляя — «египетская». Анну Кузьминичну называл Анной Пророчицей, потому что она хорошо объясняла ему сны, в которые он верил, как верил во многие приметы, в карты и т. д. По линиям рук предсказывал нам нашу судьбу, равно как по

формам тела и чертам лица объяснял иногда свойства характера и натуры человека.

Брат никогда не ездил ни в театр, ни в концерт, и большинство думало, что он равнодушен к музыке и драматическому искусству, но мне кажется, что и тут сказывалась одна из странностей, которых было так много в натуре брата, а не равнодушие. Он часто просил меня петь, называя вещи, которые были его «любимые», и сам за послеобеденным чаем, играя с Анной Кузьминичной в шашки или шагая по комнатам в редкие минуты отдыха, постоянно мурлыкал что-нибудь; правда, совершенно неверно, потому что не имел слуха.

— То есть слух у меня есть, но внутренний, понимаешь, египетское? Я отлично слышу мотив и внутри пою его верно, а голосом не выходит.

Особенно любил он один мотив из «Травиаты» и за шашками подолгу упражнялся, чтоб поймать его; и вот вдруг раз ему показалось, что поймал, и действительно, вышло почти верно; держа один палец левой руки на шашке, он поднял правую и, глядя на меня ликующими детскими глазами, радостно прошептал:

— А что? Поймал-таки, — и пропел еще раз, громче, но, увы, опять не вышло.

— Нет, не так, что же это? — сказал он разочарованно и смущенно и низко наклонил голову над шахматной доской.

Раз мне случилось брать урок пенья вечером, и брат был дома. Когда, пропев немного экзерсис, я занялась разучиванием арии из «Русалки», дверь из комнаты брата тихо отворилась, и он на цыпочках прошагал через залу в гостиную и до конца урока назад не уходил; а потом, когда урок кончился и я убрала ноты, брат вышел из гостиной и направился ко мне.

— Я помешала тебе работать, — сказала я в сильном смущении.

— Вздор! А я действительно не мог писать, когда ты начала петь это из «Русалки»; слушал в гостиной и даже взволновался несколько. Пой, фараоново отродье, пой. — И, проведя согнутым указательным пальцем у меня по щеке, повернулся и пошел к себе.

Когда приехала в Москву Сара Бернар⁵, старшей сестре удалось уговорить брата один раз поехать ее посмотреть.

— Ну помни, Надежда, только для тебя еду, а случится что недоброе, уж это — на твоей совести.

Недоброе ничего не случилось, но на другой день, как только заходила речь об этом спектакле, брат закидывал назад голову и говорил:

— О господи, что это было за страдание! О Господи!

И когда он сказал так в первый раз, мы подумали, что страдание было смотреть на муки героини пьесы в искусной передаче Сары Бернар.

— И вдруг ты, Владимир, повадишься теперь в театры! — сказала Анна Кузьминична.

— Боже меня упаси!

— Но сознайся, что она произвела на тебя сильное впечатление.

— Отнюдь. Впечатление у меня осталось сильное, это верно, но от страдания, которое я претерпел, высижив целый вечер в таком неподходящем месте (как место в театре оно было превосходное: кресло в одном из первых рядов партера) и глядя на ломанье этой госпожи. О Господи!

Между тем, когда я, тоже видевшая Сару Бернар, потом искусно ей подражала, брат очень этим утешался и у нас на *jours fix*'ax⁶ просил меня изобразить Сару Бернар. Я произносила монологи из «Адриенны Лекуврер» и «Фру-Фру»⁷, и брат хохотал неистово и уверял, что вот это несравненно интересней, чем смотреть саму Сару Бернар. А в театре он с тех пор ни разу не был, и раньше я не помню, чтоб подобное когда случалось с ним; но помню, еще когда я была подростком, несколько членов бывшего тогда в Москве кружка шекспиристов⁸ — Лопатины, Венгштерн, Гиацинтовы и др., — в числе которых были и друзья, написали одну за другой две оперы-пьесы; одна называлась «Прекрасная Элеонора, или Сон студента после 12 января», другая — «Тезей». Обе вещи были шуточные и представляли нечто совершенно необычайное. Авторы распределили роли, причем и женские для большего удобства и свободы должны были исполняться мужчинами же, разучили пьесы и стали их разыгрывать у разных знакомых. Играли и в нашем доме, причем перед поднятием занавеса актеры говорили, что до того трусят играть такое перед Сергеем Михайловичем (мой отец), что просят поднести им для бодрости. Суда отца моего они напрасно боялись: он вполне оценил их произведение, и его залиvistый смех часто сливался со смехом брата. Вообще, далеко не вся публика в состоянии была вкушать соль этих удивительных творений; некоторые, и даже из тех, что были близки авторам, с недоумением пожимали плечами и, выражаясь мягко, говорили, что это Бог знает что такое. А брат был в восторге и хохотал от начала и до конца пьесы не переставая. Смех его был до того заразителен, что многие, ничего не понимавшие из того, что происходило на сцене, смеялись только из-за брата. Тогда авторы и актеры ре-

шили, что ни у кого ни за что не станут играть, если брат не будет в публике.

— Володя, голубчик, поддержи: завтра мы ломаем «Тезея» у Г.

— Завтра! Завтра мне, собственно говоря, надо бы дома... поработать.

— Владимир Сергеевич, ведь нам тогда просто смерть.

— Ну хорошо, буду, буду завтра.

И после того ни одно представление без него не обходилось. Какая бы у него ни была важная работа или другое какое личное дело, брат оставлял его и ехал выручать товарищей. Когда случалось опоздать, актеры без него начинать отказывались. Ездил он выручать и в такие дома, где до того ни разу не был, а так как иногда нелегко было его затащить к новым знакомым и, случалось, иные подолгу искали случая познакомиться с ним, то явилась возможность использования этой готовности брата выручать и с другой стороны: один человек, желая быть приятным другому, говорил:

— Приезжайте к нам в четверг: шекспиристы будут эту... галиматью свою ломать...

— Ну, это мне неинтересно...

— Постойте — Владимир Соловьев тоже будет.

— Играть?

— Нет, в публике, для ободрения актеров: ему нравится и все время смеется, знаете, этим своим смехом.

Декораций для «галиматьи» не полагалось никаких, а перед поднятием занавеса в слегка раздвинутые половины просовывалась голова младшего Лопатина, обладавшего бездонным комизмом, и он произносил, например, следующее:

Знаю, знаю, что вы спросить хотите,

И не жду вашего вопроса:

Действие — на Крите

У царя Миноса.

В «Тезее», между прочим, действовал старец Тимофей, от старости начавший уже впадать в детство и поэтому поступавший иногда совершенно ни с чем не сообразно; так, например, он вдруг появляется на собрании в Афинах решительно без всякого одеяния (устроено это было очень искусно и вполне пристойно); потом, со стыдом прогнанный, является во фраке, чтобы показать, что он умеет быть и передовым человеком. Один из афинян, объяснявший что-то важное гражданам, махнув на него рукой, замечает:

Он близок к сумасшествию —
Ему уже лет двести...

Герольд, прерывая:

Торжественное шествие
Пройдет на этом месте.

Этот же старец Тимофей вдруг появлялся с книгой Гомера в русском переводе и, выйдя на авансцену, дребезжащим голосом начинал читать по складам. Досада, недоумение, негодование других действующих лиц, которым он мешает; а хор в то же время добродушно-радостно, хоть и не без некоторой насмешки, восклицал:

Ах, какой чудной старик!
Позабыл родной язык,
Выдумал иную моду —
Стал следить по переводу.

Когда царь Эгей ждет возвращения Тезея, он велит подать себе подзорную трубу и смотрит в нее, и старец Тимофей, зайдя с противоположной стороны, глядит в нее с другого конца. Эгей, конечно, ничего не видит и вдруг на мотив «Вниз по матушке по Волге» затягивает «Ничего в волнах не видно». Под конец пьесы он горестно заявляет: «Ну, теперь мне ничего больше не остается, как броситься в Эгейское море».

На каждом представлении этих двух вещей брат хохотал так, что не только с лихвой восполнял молчанье иногда в большей части публики, но актерам приходилось иногда прерывать игру. Надо сказать, что актеры были хоть куда, по свидетельству лучших артистов, орлов тогдашнего московского Малого театра, и самых строгих театральных судей и критиков.

Тем не менее многие не могли понять, как может брат так уж восхищаться подобными представлениями, и когда замечали ему это, он говорил:

— У всякого свой вкус — кто любит ананас, а кто и свиной хрящ; по-вашему, у меня дурной вкус, не стану спорить, хотя свиного хряща совсем не люблю, а ананас — очень; тем не менее театров ваших не признаю, а это одобряю до чрезвычайности.

Но не одно одобрение заставляло его ехать на «Тезея» каждый раз, как его просили: ему крайне трудно было не исполнить просьбы, огорчить друзей отказом. «Это уж было бы свинство», — сказал бы он в подобном случае о себе, равно как и о всяком другом. Отказывать кому бы то ни было в просьбе брату вообще было трудно. Помню, зайду иногда к матери (случалось

это последние 7—8 лет его жизни): «Володя нездоров сегодня, — горестно шепчет она, — в три часа встал, такой желтый, надо бы непременно бумажку к звонку, что не принимает, а то пойдут один за другим...»

Слышно — отворяется из комнаты брата дверь, размашистые крупные шаги, входит к нам, приостановился, сощурился на меня, потом улыбнулся, подошел ко мне, наклонившись, коснулся головой моей головы, поцеловал в воздух.

— В первую минуту не узнал тебя (брат был крайне близорук, но никогда не носил ни очков, ни пенсне); пожалуйста, мама, если кто — ко мне, не вздумайте сказать, что меня нет дома. По лицу вижу, что у вас был этот злой умысел.

— Но, Володя, ты же нехорошо себя чувствуешь; могут хоть на один день оставить тебя в покое. Позволь хоть Ф. не принимать, а то он как придет, так и будет сидеть без конца, знаешь его манеру.

— У каждого человека, мама, свои манеры, и у Ф. вовсе не плохие, бывают хуже. И вот именно его-то я и жду и пришел предотвратить ваши козни.

— Но может же он прийти в другой раз, когда ты будешь лучше себя чувствовать.

— Нет, не может, потому что ему нужно видеть меня именно сегодня, поймите это.

— Я понимаю, но...

— А в таком случае дальнейшее словоизвержение совершенно излишне. — И, послав мне рукой поцелуй, брат медленно удаляется, но в дверях останавливается. — Мама, даю вам честное слово, что если вы Ф. не примете, я сегодня же перееду в гостиницу.

Угроза гостиницей на этот раз была не очень серьезна, тем не менее мать видела, что не принять Ф. нельзя. И так бывало много раз. Сам заводить новые знакомства он не любил, слыл у некоторых за нелюдима, за дикого, но когда бы и кто бы к нему ни пришел, он был со всяким внимателен и от души любезен, будь то важное, известное лицо или полуграмотный сапожник. И когда у него просили что, давал все, что имел, без расчета и удержу. Давал свое время и знания, кормил и поил (когда жил в Петербурге — в гостинице), давал книги, платье и белье, давал деньги, часто все, что имел, буквально до последней копейки. И случалось так: извещает брат, что тогда-то приезжает (постоянного местожительства у брата не было: не считая его поездок куда-нибудь подальше на более или менее долгие сроки, он жил

или в Петербурге, в гостинице, или в Москве у матери *; летом часто гостил у друзей); комната его приготовлена, приходит и проходит назначенный срок — нет брата. Проходит еще день, два — не приезжает. Наконец — телеграмма: здоров, приехать не могу, подробности письмом. Обыкновенно письма с подробностями после телеграмм никогда от брата не получалось; это была его манера — почти никогда не писать, находя это излишним, а в крайних случаях или в высокаторжественные дни именин посылать телеграммы, всегда неизменно кончавшиеся словами: «Подробности письмом». Но на этот раз письмо пришло; брат сообщал, что пришел к нему один малоимущий человек и за невозможностью помочь ему деньгами по причине их полного отсутствия, пришлось отдать шубу, от поездки же в Москву — отказаться, так как в легком пальто это не совсем удобно ввиду рождественских морозов.

Многие укоряли брата за его чрезмерную щедрость, иные даже находили, что это вовсе и не щедрость, а только желание прослыть щедрым, то же искание славы и популярности, тем более что очень легко быть щедрым, зная, что мать, сестра или еще кто не дадут ни голодать, ни без шубы зимой сидеть; некоторые находили даже, что, в сущности, это не только не показывает доброты или щедрости, а просто — гадость: все свое отдать, и часто без разбору, первому попрошайке, который еще может сейчас же все спустить в кабаке, а потом у других брать. Простой смертный так сделает, скажут — чужими руками жар загребает, а Соловьеву прощается.

Правда, что часто и мать, и сестра, а иногда и чужие по крови, но близкие по отношениям выручали брата; иногда узнавали стороной, что, например, Володя отдал новую пару и теперь у него только старый-престарый пиджак, в котором и у себя в комнате не очень удобно быть, а выйти положительно никуда невозможно, в кармане же 20 к.; иногда сам брат просит дать ему заимообразно и у своих, и у чужих. Знаю, что старшая незамужняя сестра ему никогда не отказывала, но знаю также, что, получив деньги (брат работал много и получал немало), он тотчас расплачивался с долгами, раздавал просившим, иногда, если выходил особый случай, устраивал друзьям обед или ужин, любил угощать, если кто заходил к нему в гостиницу, и обыкновенно скоро оставался без копейки до следующей получки. Тут-то вот и приходилось ему отдавать вещами, если обращался к нему кто

* Когда мать переехала в Петербург, брат имел всегда в Москве комнату у старшей незамужней сестры.

неимуций. Быть может, случалось ему изредка и не вернуть долга сестре, от которой ему легко было принять и подарок, допуская даже, что он умер, не вернув долга и кому из знакомых, которым он, по его полному убеждению, не принес этим сколько-нибудь существенного урона, но заподозрить брата в том, что таковое отношение его к деньгам и вообще к имуществу было исканием славы или популярности, могли только люди, совершенно его не знавшие, со стороны же знавших его это — неудавшаяся попытка пошутить, и больше ничего. Ведь славы и популярности жаждут тысячи и тысячи людей, отчего же всякий нещедрый в погоне за ними скорей согласится на очень рискованный и некрасивый поступок, чем хоть раз расстаться с нужными вещами или тем более деньгами, столь бесконечно милыми сердцу всякого нещедрого; брат же с ними расставался всегда, всю жизнь по первой просьбе иногда незнакомого человека; чем больше получал, тем больше давал. Надеялся, что выручат? Но выручали все же не всегда, даже и близкие иногда просто не могли, иногда брат скрывал свое безденежье и, если только к нему в это время не обращались за помощью, переносил его с самым легким сердцем, так как лично для себя был баснословно нетребователен; случалось ему знать и нужду, и он потом, рассказывая о ней, заливался безудержным радостным смехом, потому что у матери было уж очень выразительно скорбное лицо. Нахохотавшись, брат с лаской протягивал к ней руку и говорил:

— Ну, успокойтесь, бедный мамант! И стоит ли делать из-за всякого вздора такое удрученное лицо. Уверяю вас, это совершенно неважно, к тому же дело прошлое.

Помню раз детски ликующее выражение лица брата, когда он стал вдруг вытаскивать из карманов деньги и класть их на газету.

— Смотрите, мама, какое у меня количество этого презренного металла. Только что получил в редакции... Больше, кажется, нет. — Он щупал карманы, запуская в них большой и указательный пальцы. — А нет, вот еще, смотрите, смотрите, мама, вот и еще! — Он с радостным изумлением расширял и вновь сощуривал глаза.

— Да что ж, ты не знаешь сам, сколько у тебя денег, что так изумляешься? И как это можно: прямо насыпал в карманы! Так легко потерять; спрячь лучше от греха подальше да постарайся не спустить их сейчас же.

— Вот именно.

— Что именно? Ах, Володя, это невозможно: сам Бог знает в каком костюме, а деньги у тебя уходят неизвестно куда.

— Ну, положим...

— Ничего не положим... Право, вот взял бы и заказал себе хоть новый пиджак, а то просто срам.

— Успокойтесь, мама, вам волноваться вредно; к завтраму же от этих денег у меня не останется ничего.

Мать всплескивает руками, брат раздражается неистовым смехом.

— Да куда ж ты столько?

— Нужно, мама, нужно. И кроме того, деньги для того только и существуют, чтоб их тратить.

— Если б твой отец так рассуждал, твои сестры не имели бы ни копейки.

Брат с минуту молчит, издав носом звук, похожий, как если б сильно втянул воздух; он это часто делал, когда чувствовал досаду или смущение. Отца брат любил особо глубокой и нежной любовью и чтит свято его память.

— У меня, мама, кажется, нет не только пяти, но и ни одной дочери, и едва ли когда будет, а потому я, полагаю, имею право несколько иначе распоряжаться своими деньгами; уверен, что папа меня в данном случае одобрил бы.

— Ну уж нет, извини: папа никогда не швырял деньгами, как ты...

— И я не швыряю; разве вы когда-нибудь видели, чтоб я швырял...

— Ну, не остри. А эта одна твоя манера давать извозчикам в пять — какое, — в десять раз больше того, что следует!

— Что разуместь под словом «следует»? Я вот сейчас дал извозчику из Гагаринского переулка (расстояние, оплачивавшееся тогда 10—20 копейками) три рубля. Понимаете, это был совершенно несчастный извозчик — у самого болят зубы, лошадь представляет недвижимое имущество; так он сначала не хотел верить, что ему сурьезно даю. Поймите: ведь он совершенно ослеплен этими тремя рублями. Мне даже совестно стало...

Извозчикам брат действительно давал несоразмерно много, и плохим еще больше, чем хорошим: плохим труднее заработать. На лихачах же не ездил никогда. Свои извозчики, то есть стоящие у нас на углу, конечно, все его знали, и только хлопнет наружная дверь, с диким криком мчались к подъезду. Были бы не прочь когда и подраться, но брат объявил, что тогда не станет с ними ездить и что нужно соблюдать очередь. Случалось ему и подолгу должать извозчикам, но они от этого, конечно, ничего не теряли. А приедет он откуда и начнет расплачиваться — вытащит кошелек и роется, роется в нем без конца; если вечер,

пойдет под фонарь, рассматривает каждую монету, прищуривается. Всякий незнающий, увидев его так, подумал бы: вот боится выронить или ошибиться и дать больше хоть копейкой, скряга! Но брат при своей рассеянности и близорукости поступал так потому, что всегда боялся недодать.

Помню, также поражало меня всегда удивительно внимательное, до последней степени деликатное отношение брата к прислуге, а также ко всем маленьким людям. Среди последних встречались люди маленькие не по положению своему, а просто потому, что уж очень были незаметны, скучны, так что ими все тяготились. Брат и к таковым всегда относился с особым вниманием, боялся забыть поздороваться или проститься, а если подобное и случалось благодаря его близорукости и рассеянности, отыскивал данное лицо и горячо и чистосердечно извинялся.

— Если я нечаянно не окажу почтения важной особе или мнящей себя таковой и она за это обругает меня свиньей и нахалом, мне все равно, но если маленький, скромный да еще, избави Господи, забитый человек сочтет себя обиженным мной, это — мерзость, которой я себе не прощу; с такими надлежит быть особенно деликатным — тут уж ни на рассеянность, ни на близорукость сослаться нельзя.

По воскресеньям с незапамятных времен у родителей, потом у матери бывали фамильные обеды, на которые собирались родственники; в числе последних присутствовал иногда такой маленький, судьбой обиженный человек, садившийся всегда на самое скромное место и во все время обеда не решавшийся произнести слова. Если брат когда опаздывал к обеду, он, видя уже всех за столом, садился на свое место не здороваясь — свои люди, не взыщут, но, сев, сосредоточенно щурился и внимательно осматривал всех присутствующих — нет ли такого маленького человека, и если находил, на всю комнату приветствовал его с бесконечно доброй, ласковой улыбкой и прибавлял:

— Ради Бога, простите, что я с вами не поздоровался, но я так опоздал, что не хотел еще задерживать.

И в буквальном смысле маленьких, то есть детей, брат очень любил, и дети отвечали тем же и шли к нему с полным доверием; и не только шли, а часто лезли, приставали. Он иногда делал нарочно страшные глаза и ехидно-зловещим тоном говорил пристававшему малышу:

— И не подходи, и не подходи! Ссокрррушу! — и вдруг поднимал голос до дикого крика и рева, но не только ничем этим не пугал малышей, а, напротив, возбуждал в них проявление бур-

ной веселости, так как они чуяли в этом, как и должно, только интересную игру в пуганье.

Но когда шалости и пристаиванье чрезмерно затягивались или брат узнавал, что такой-то и такой-то младенец или младенцы чем-либо удручают родителей и прочих взрослых, обреченных на близкие сношения с ними, он обращался к соседу или соседке и негромко, но убежденно и увещевательно говорил: «Выпьем за доброго царя Ирода». Иногда же не обращался ни к кому, а, подняв стакан, очень решительно и очень громко заявлял: «Пью за доброго царя Ирода!»

Деликатное и заботливое отношение брата к прислуге доходило иногда до чудачества, только вполне искреннего: если когда была ему нужда послать за чем-нибудь горничную или лакея, он не только давал всегда на извозчика, и гораздо больше, чем следовало, но и справлялся о состоянии здоровья посылаемого:

— Может, слишком скверно на дворе, а вам нездоровится?

— Да нет, Владимир Сергеевич, я сейчас схожу, пожалуйста.

— Но мне совестно, Алексей, вас посылать — вон, повалил снег, а вы кашляете.

— Да это самые пустяки, что я кашляю: ноги, верно, промочил.

— Как промочили, почему?

— Да калоши теплые износились, а новых еще не завел.

Брат зашагал к матери и заговорил взволнованно, с расстроенным лицом:

— Послушайте, мама, нельзя ли послать Дарью? Мне совершенно необходимо, а у Алексея нет калош.

— Дарье некогда, и какие там калоши? Слушаешь все, что он тебе же наскажет.

— Ах, мама! Поймите же, он кашляет, а калоши худые.

— Он вечно кашляет, меньше бы пил, меньше бы кашлял.

— Володя, — доносится из комнаты старшей сестры ее насмешливо-подзадоривающий голос. — Я тебе советую послать Алексея в карете, а потом растереть ему ноги уксусом.

— Вздор, — говорит брат и смеется.

А через минуту с детски смущенным лицом идет к себе, ищет по всем карманам, рассматривает, пересчитывает деньги, наконец опять зовет Алексея.

— Так вот что, Алексей: прежде чем отправляться, куда я сказал, заезжайте и купите себе калоши, вот вам на калоши и вот еще прибавить извозчику за заезд.

— И для чего ты это опять сделал? — сказала мать, узнав о финале истории с калошами. — Ведь он же тебя обманывает.

— Как вам не стыдно, мама! Эдакая у вас подозрительность!

Увы, подозрительность матери оказалась более чем основательной. Алексей, живший у нас много лет и которому мы все доверяли в крупном, как выяснилось впоследствии, искусно систематически нас обкрадывал и кончил тем, что взял у брата со стола 500 рублей, на которые тот должен был ехать за границу. Брат рассказывал нам потом, как это случилось.

— В доме, кроме меня и Алексея, никого не было, я сказал ему, что на минуту поеду проститься, затем вернусь за чемоданом. Спустившись уже с лестницы и вспомнив, что оставил деньги на столе, решил, что лучше вернуться и положить их себе в карман. Не потому, чтоб я не доверял Алексею, вы знаете, что до этого несчастного случая я ему доверял безусловно, но я люблю деньги иметь при себе, и потом, никогда не следует искушать одного из малых сих. Когда я поднялся, дверь в переднюю не была заперта, я вошел без звонка; иду в свою комнату, Алексей там что-то убирает. Увидев меня, он вскрикнул, побледнел и весь затрясся, очевидно, он только что взял деньги, никак не ожидая, что я тотчас вернусь, оттого, увидав меня, и испугался так. Я же испугался не меньше его, и, разумеется, мне не денег было жаль, это уж второстепенное, а ужасно вдруг увидеть в человеке этот чисто животный страх быть уличенным в мерзости. Однако у меня еще была надежда, что он сознается, и тогда все спасено. Денег на столе, само собой, не оказалось. Тогда я стал просить Алексея сознаться, побожившись в таком случае никому никогда не обмолвиться об этом ни словом. Просил его, заклинал, умолял. Так страшно мне хотелось, чтоб он только сознался, что, умоляя его, я чуть не плакал и с радостью отдал бы ему и все эти деньги. Он сначала, совершенно потрясенный и от страху потеряв голову, бормотал что-то нескладное и невнятное, но как только побожился, так окончательно осатанел и стал громко и нахально меня же укорять, что я взвожу на него напраслину. Тогда я почувствовал к нему уже не сострадание, а полное омерзение, и стало мне крайне скверно. По счастью, в эту самую минуту приехал Миша (младший брат, с которым Владимир был особенно дружен), и с его помощью Лихутинский дом (мать жила в нем до переезда в Петербург) был очищен от Алексея. То есть он забрал свои и не свои пожитки и уехал, так как брат и слышать не хотел, чтоб задержать его и пригласить полицию, что бы следовало сделать, так как, когда он перед тем хныкал и причитал, что вот, мол, до чего пришлось дожить, младший брат предложил ему открыть сундук, и тут выяснилось, что, хоть денег в нем не нашлось — очевидно, были на самом Алексее, — тем не ме-

нее оказалось немало вещей, несомненно не ему принадлежащих, как-то: тома «Истории России с древнейших времен», серебряная ложка с вензелем матери и т. д.

Вспоминая эту печальную историю с Алексеем, брат говорил, что вначале он еще нет-нет да и подумает: а вдруг он возьмет да и явится с повинной — «как бы это было хорошо!». Но потом эту надежду потерял.

— И главное, столько лет у нас жил, я был уверен, что он так был привязан к папá и нам всем, и вдруг... — говорил брат с глубоким и горестным изумлением, так как особенно страдал от малейшей измены верности и дружбе и сам исключительно глубоко и сильно чувствовал благодарность за всякую, и даже небольшую, услугу.

Помню, как раз он был тронут, что хороший знакомый, с которым он был даже на «ты», привез его домой после одного товарищеского ужина, где брат излишне выпил, так что рисковал не найти своего дома.

— В таком мерзостном виде, в каком я был, он ухаживал за мной, как самая добрая нянька, спасибо ему и тебе, Надежда, спасибо, но ты сестра.

— Да как же можно иначе? Он вполне владел собой и, понятно, не мог тебя оставить в таком виде, всякий так бы поступил.

— Ну нет, мама, не говорите, не всякий, и далеко не всякий.

Брат глубоко вздыхал, и в глазах его было большое страдание. Потом я узнала, что на этот раз он до такого мерзкого вида себя допустил потому, что убедился в несовершенном бескорыстии чувства и в безупречной верности друга, которому сам раньше верил безусловно. Подобные вещи трудно ему было принять; и когда дело касалось лично его, он, переболев душой измену, прощал и сам оставался верен и неизменен, но за других не прощал и беспощадно громил и клеймил подобные поступки.

Вообще я замечала, что как ни казался иногда брат ушедшим в свой отдельный от окружающей его обычной жизни мир, задумавшимся минутами так, что, казалось, не видит и не слышит ничего, что творится кругом, — бывало это и за обедом, и за чаем, — он в то же время вдруг услышит что-нибудь, даже сказанное тихо, к немалому изумлению сказавшего, и вдруг крикнет: «Какой вздор!» или: «Вы опять злословите, перестать сейчас!» А если заинтересуется узнать подробней, переспросит; прослушав, еще скажет: «Вы это знаете наверно, убеждены?» И в случае подтверждения поморщится.

— Ну, это уж мерзость, мерзость запустения. Нравственное моветонство. А если внешнее моветонство — труднопереносимая

вещь, какова же гнусность — моветонство внутреннее! Это — ужас!

А иногда сидит совсем мрачный, удрученный и тоже, кажется, душой отсутствующий, услышит что-нибудь или о ком-нибудь хорошее — и вдруг скажет слово одобрения, и все лицо разом просветлеет. Другой раз уловит удачную остроу и улыбнется, и вот уж сам острит и смеется.

К одной из черт брата, глубокотрогательных, надо отнести и его удивительную терпимость, которой я поражалась еще в детстве. Бывало, рассердишься, вскипишь и крикнешь: «Это идиотство так рассуждать, ничего не понимаете, какая чушь!»

— Что ж, ты лучше всех понимаешь?

— Конечно.

Но каждый раз, как при брате возникали подобные несогласия, споры, один громил другого, готов был съесть за несогласие, раздавался его голос: «Ты так думаешь, а она эдак. Докажи, что она ошибается, а не хорохорься по-пустому».

Брату было важно одно: *искренно* ли человек думает, и одного он не мог принять совсем — это фальши и лжи.

— Мама, если он так думает?.. Ну, а если ей так кажется, я в данном случае совершенно одного с вами мнения, ну, а... Д. противоположного; если нам удастся разубедить — хорошо, а нет — он будет думать, что правда на его стороне... мало ли что кому кажется! Но если искренно кажется, это то же самое. Предоставьте каждому свободно думать, как и что хочет, и свободно выражать.

Искреннего и горячего противника своего в самых святых для него вопросах веры брат мог любить, неискреннего и необузданного единомышленника ненавидеть. Вспоминается мне реферат, который он прочел пятнадцать лет тому назад в Москве и после которого публичная речь окончательно была ему запрещена. «Будет говорить на религиозную тему, ах, если б разгромил безверие! А то столько развелось теперь безбожия и беззакония», — говорили или думали с вожделием верующие, христиане, все, живущие по закону, и заранее потирали руки.

Зал был переполнен, яблоку негде упасть. Соловьев вышел; бледный, тихий, печальный, смотрит перед собой чуть-чуть прищурившись, но вот приподнял голову, всегдашним жестом откинул со лба волосы, заговорил, сначала негромко, потом голос все креп, могучей, мягко звенящей волной перекачивался по залу, вольно, легко разливаясь до самых дальних концов и углов. Широко раскрытые глаза горят, лицо вдохновенно и все словно светится. Соловьев громит, голос растет, и кажется, один

этот человек в зале, один звук наполняет весь воздух кругом — его голос. Соловьев громит беззаконие... власть имущих законников, безверие верующих и христиан, бьющих себя в грудь и смиренно и самодовольно произносящих: «Господи! Благодарим тебя, что мы — не как эти прочие мытари и грешники», — после чего спокойно предаются радостям жизни, в которой каждодневно распинают Христа. Он прославляет неверующих, которые, не веря, горят любовью и сгорают за других; тех беззаконников, которые, попирая законы человеческие, блюдут, хотя бы и не сознавая в горячности своей, законы Бога. Ибо к таковым неверующим и тем верующим относятся слова Христа: «Не всяк, говорящий мне “Господи, Господи!”, войдет в царствие небесное, но творящий волю Отца моего».

Оправдал, изобличил, разгромил и пошел с эстрады медленно, чуть сгорбившись, приглядываясь и щурясь, чтоб не толкнуть кого, не наступить кому на ногу в эдакой давке.

Взрыв бешеных аплодисментов с одной стороны, несмелое, невнятное шипенье с другой.

— Пророк, пророк! Горел весь сам, как говорил; так и жег каждым словом. А лицо-то, что за красота! Да за одним таким лицом и голосом пойдешь на край света.

— Что он, с ума сошел? Хорош верующий! За атеистов и всех подобных заступается... Против правительства, против законного порядка... Юродствует, оригинальничает, популярности среди этих, красных, ищет... Чересчур смел — надо бы ему рот закрыть...

И закрыли.

Я уже сказала выше, как брату трудно было отказывать принять, кто бы ни пришел к нему со своей нуждой, так что иногда, когда особенно неудобно было отрываться в неопределенные сроки от работы, он уезжал в любимую им Финляндию; в этом я убедилась раз на себе самой; переживалась полоса беспричинной тоски, и, когда это неприятное чувство достигло крайних пределов, решила пойти к брату, хотя знала, что он как раз усиленно над чем-то работал; может, посоветует что-нибудь, поможет. Стукнула, приотворила дверь. Пишет, пишет, чуть приподнял голову.

— Что такое? Что надо?

Решимость моя слабеет: он, может быть, в эту минуту именно пишет какое-нибудь великолепие, а я — со своей беспричинной тоской...

— Да ну, что такое наконец? — Взглянул на меня, но, кажется, не увидел.

— Володя... я давно хотела... у меня тоска... ужасная...

Несколько мгновений вполоборота приподнятая ко мне голова неподвижна — он точно или не понимает, что я говорю, или не слышит, думая о другом; потом вдруг, откинув со лба волосы, встает, подходит ко мне и близко вглядывается.

— О Господи, что это за египетская физиономия!.. Ну, говори толком, что тебе от меня нужно?

Мы сели на диван, и я кое-как рассказала свое дело. Он выслушал внимательно и ласково, сказал, что и с ним это бывает, хотя все-таки причина тут есть, только мы ее не видим, посоветовал пробовать некоторые средства, к которым и сам прибегал, но далеко не всегда успешно, и тем не менее не видел еще тут достаточного повода, чтоб искать крюк и веревку. Разговорил меня, ободрил и успокоил.

— Прости, пожалуйста, что я оторвала тебя от работы, мне и совестно...

— Ну, вздор!.. А знаешь, — вдруг засмеялся он, — иногда эта беспричинная тоска имеет причиной просто скверное состояние желудка, я сам это испытал. — И, выйдя за мной из своей комнаты, он обнял меня за талию и сделал несколько туров по зале и гостиной.

Кстати, насчет желудка: брат был очень умерен в пище, ел, только чтоб не быть голодным, хотя иногда, заработавшись, мог терпеть и чувство голода; не придавал ни малейшей важности вопросу о *bonne chère*⁹ и не выносил, чтоб и другие придавали, но ошибочно думать, что брат был совершенно равнодушен ко всякой пище в смысле отсутствия вкусов или болезненного отсутствия аппетита, совсем наоборот: он очень любил некоторые вещи, например сладкое, шоколад, фрукты и ягоды, особенно малину, только боялся очень червяков и просил — нельзя ли получше выбрать, но, понятно, сам себе ни разу в жизни не купил никакого лакомства, а когда давали, был доволен и ел очень охотно. Хотя у матери обед всегда заканчивался сладким, садясь за шашки за послеобеденным чаем, брат говорил: «Мама, нельзя ли чего-нибудь сладкого?» И, мурлыча и обдумывая ходы, истреблял этого сладкого изрядное количество. Иногда не глядя протянет руку, а тарелка уж пуста.

— Хочешь еще? Я сейчас положу, — говорит мать.

— Нет уж, это, кажется, будет чрезмерно.

— Чего там чрезмерно, я тебе рябиновой пастилы дам, — соблазняет мать.

Брат вскидывает глаза на шифоньерку, где у матери всегда хранились удивительно вкусные вещи, но, решительно тряхнув головой, говорит умышленно строго:

— Оставьте, мама, я уже сказал, что истребил достаточно, теперь уж это будет от лукавого.

Помню, раз в Петербурге приехал брат к матери обедать, обед немного запоздал.

— Мама, если сейчас не дадут есть, со мной может произойти что-нибудь печальное, ибо я с утра ничего не ел (но утро брата начиналось очень поздно, обедать же должны были в половине шестого).

Мать засуетилась, пеняя на кухарку, что «всегда-то опоздает».

— Только, ради Бога, мама, не вздумайте еще делать ей выговор, она тут ровно ни при чем и совершенно не виновата, если я голоден.

И брат принялся за черный хлеб, съел все, что было положено для всеобщего употребления, и радостно заявил: «Вот я и сыт».

Брат был полувегетерианцем, то есть не ел мяса, но за этим же обедом он сознался, что очень долго вид и запах мяса был ему крайне неприятен — так хотелось его, и особенно искушала ветчина. А многие думали, что брат совсем легко может «питаться воздухом», мясо же ему просто противно. И действительно, порой приходилось ему бывать на пище св. Антония, и он при этом чувствовал себя легко, а потом рассказывал о подобных периодах со смехом. А если мать ужасалась, говоря, что так он совсем уходит себя, брат хохотал громче и говорил:

— Какой вздор! Во-первых, мама, я рассказываю это ради шуток, чтоб увидеть, какое вы при этом сделаете лицо, во-вторых, сколько раз я вам говорил, что, главное, об этом нужно как можно меньше думать, не то легко можно впасть в омерзительный грех чревоугодия*; а вот если уж хотите, так сказать, вознаградить меня за прошлое недоедание, от чего я, впрочем, ни капли не пострадал, озаботьтесь, чтоб сегодня вечером было красное вино, ибо я жду Ф. — И, видя при этом неожиданном заключении разочарование и смущение матери, заливался безудержно.

Да, ни против одного из видов чревоугодия брат не погрешил ни разу в жизни ни делом, ни мыслью, но в употреблении вина бывал иногда неводержан, когда его угощали или он угощал других по поводу какого-нибудь события. Иногда просил у ма-

* *Грех чревоугодия* — забота чрезмерная об угождении чреву, какое угождение может быть в смысле излишнего упитывания его в количественном отношении, или, что то же, обжорство и чревобесие, угождение исключительно вкусовым ощущениям чрева — гастрономия. Влечение исключительно к определенным лакомым вещам могло носить и еще более специальное название; так, когда брату хотелось сладкого, он говорил: одержим сладкобесием.

тери, чтоб она, уж так и быть, разорилась для него на бутылку красного, но редко; сам же только для себя денег на вино не тратил. Любил чай и мог выпить невероятное количество; пил обыкновенно очень крепкий и без ничего, даже без хлеба. Иногда заранее предупреждал, что будет пить много, и настоящего чаю, а не «помои», другой раз пил и «помои», не соглашаясь, чтоб заставляли прислугу опять ставить самовар для новой заварки чаю.

Думается, что и некоторое пренебрежение брата к туалету, которое иные, судившие поверхностно, объясняли тем, что брату все равно в чем ходить, происходило никак не от равнодушия его к красоте одежд, а было того же происхождения, как и мнимое равнодушие его к вкусовым ощущениям.

— Послушай, Надя, — сказал он раз сестре, — нельзя ли как-нибудь поделикатней, чтоб не обидеть, посоветовать И., чтоб он не носил таких галстуков; ты должна это сделать. И, вообще, он одевается несколько моветонно. — Брат поморщился, точно услышал скверный запах. — Разве нельзя его в этом исправить?

— Ну, знаешь, — заметила мать, — тебе не мешает о собственном одевании подумать: нельзя же, в самом деле, так ходить.

— Как так! Надеюсь, вы не думаете, что я когда-нибудь бываю одет моветонно?

— Надо новую куртку сделать — на этой уж лица нет.

Брат стал внимательно себя оглядывать.

— Разве куртке полагается иметь лицо? — тихо и недоумевающе-серьезно проговорил он. — Я с вами, мама, не согласен, — куртка как куртка, и, чтоб доказать вам это, сегодня же поеду в ней к Х. (называет одну из великосветских фамилий).

— Да ты уж не срамись, а хочешь этого непременно, так хоть мне-то, по крайней мере, не говори.

Брат раздражается таким неистовым хохотом — вот-вот сотрясется потолок и рухнет лампа.

— И чего смеется! Разве я неправду говорю? Не понимаю, как можно в таком виде к товарищу отправляться, а не только...

Хохот усиливается, заглушает ее слова; наконец в перерыве брат произносит:

— Увы, мама, как давно уж, значит, и в скольких газетах я посрамлен раз и навсегда.

— А еще недавно старушка А. мне опять повторяла, — вдруг другим тоном говорит мать, — как бы она была счастлива, если б ты хоть на минуточку к ней заехал.

— Ну вот видите, мама, как вы сами себе противоречите: при чем же тут моя куртка?

— Да как при чем?.. А ты все-таки съездишь как-нибудь к А.?

— Непременно, потому что я обещал.

— Так уж хоть к ней-то надень сюртук. И он плох, а все же приличней.

Брат как бы задумывается и глубоко вздыхает.

— Ну, так уж и быть, из уважения к вам, а также ради почтенных лет А.

— Да есть ли у тебя галстух? Ты вот у других замечаешь, а сам совсем без галстуха ходишь.

— Да, этот предмет мне представляется почти бесполезным, и, за редким исключением, я его употребление упразднил. Но согласитесь, мама, — ведь вы все нападаете, что я плохо одеваюсь, — согласитесь, что, собственно, моветонного вы никогда на мне ничего не видали.

— Да кто тебе про это говорит?..

— Ну а это самое главное. И, значит, вы можете успокоиться и больше ко мне с этим не приставать.

— Но ведь всему бывает конец, и куртка твоя износилась до невозможного; никто из чужих тебе этого не скажет, а я должна: она, кроме того, что местами блестит и протерлась, она ко всему еще страшно грязная.

— Вздор, — говорит брат уже несколько смущенно, — можно еще скипидаром...

— Нет, уж я отказываюсь: ее больше скипидар не берет.

— Ну, так я сам. А в следующем месяце, может быть, закажу новую.

— Еще только может быть?

— Да, мама, наверно я вам этого сказать не могу. — И брат смотрел серьезно и озабоченно.

Присутствуя при подобных сценах, душа моя ликовала: так упорно торговался из-за новой куртки, из-за галстуха или сапог человек, постоянно плативший четверные суммы извозчикам, оделявший прислугу, шарманщиков, нищих, отдававший иногда совсем постороннему, а то и незнакомому неимущему последние деньги, потому что «их иногда этим прямо осчастливишь, для них это — важно, а для меня — последнее дело».

Но, отправляясь после такой сцены куда-нибудь в гости, брат усиленно хлопотал и тряс свое платье, чтоб стряхнуть с него пыль, затем поливал щедро скипидаром и искренно был убежден, что так, по крайней мере, оно чисто и не моветонно, остальное неважно. Одна знакомая старая дама, вечно опасавшаяся за брата простуды, подарила ему огромный красный шарф, ею самой связанный. Вот обматывает брат этот шарф много раз вокруг

шей, концы болтаются несколько странно, но и живописно; и так его характерная фигура и голова останавливали на себе внимание, а уж тут за версту узнаешь. Кто-то как-то подшутил над этим шарфом, найдя его вовсе некрасивым. Брат обиделся за подарившую и с негодованием сказал:

— Если б он и был не такого прекрасного цвета, я бы все же носил его с удовольствием и благодарностью, потому что М. П. трудилась над ним, думая о моем здоровье.

Скипидар брат любил употреблять не только как пятновыводящее средство, но и как дезинфицирующее; к числу его странностей надо отнести его страх заразиться исключительно дурной болезнью. Вообще, он ничего не боялся, но к этой болезни он чувствовал прямо панический ужас. У нас был знакомый, иногда приходивший и обедать, который казался несколько подозрительным по части состояния своего здоровья, хотя сколько-нибудь положительно на этот счет никто о нем не знал.

— Мама, как мне быть? — с крайним смущением сказал раз брат. — Вдруг Д. захочет со мной христосоваться? (Дело было на Пасхе.)

— Ну так что ж?

— Как что ж! Вы же знаете, какие у меня подозрения на его счет.

— Пустяки, ничего у него нет, просто горло не совсем в порядке, а теперь уж и лучше гораздо.

— Ну нет, это не пустяки, это — ужас.

— Какой там ужас?

— Вы же сами раньше говорили, что подозрительно.

— Ну а теперь больше не говорю.

— Вы безусловно уверены, что это так?

— Ах, Володя, да что я — доктор, что ли, и он у меня лечился!

— Ну, вот видите, мама, в какое вы меня ставите невозможное положение!

— То есть почему же это я тебя ставлю, скажи на милость?

— Да как же не вы! Он прежде всего ваш знакомый, и, кроме того, вы, как хозяйка, должны были бы обо всем этом позаботиться, принять меры, ну, я не знаю, что именно... это ваше дело.

— Помилуй, Володя, что ты такое говоришь!..

— Не делайте такого уж чрезмерно огорченного лица, — не удержался и рассмеялся брат, но через минуту продолжал, по-прежнему смущенно и серьезно:

— Поймите — не могу я обидеть человека, да еще гостя, да еще на Пасхе, если он пожелает меня поцеловать, а я от него — как от зачумленного.

— Так зачем же так — как от зачумленного?

— Ну, а если заражусь, что вы тогда скажете?.. Каково это вам самим будет?

— Да почему же непременно заразишься?.. Вздор придумываешь, как же никто из нас этого не боится?

— Вы, как женщины, находитесь в привилегированном положении: он у вас руку целует, это другое дело. Если б он еще целовал на воздух, а то я заметил, что у него скверная манера целовать прямо в губы.

Приходил Д., трижды целовал брата, и тот приветливо отвечал ему тем же, а потом незаметно исчезал в свою комнату, чтоб вымыться и облиться скипидаром.

Хоть брат и выражал свое смущение матери полусуто, до известной степени он страдал, принимая подозрительные поцелуи Д., хотя тот, конечно, опасности не представлял. А между тем в другую Пасху довелось мне стать очевидицей следующего: мы жили тогда в одном из переулков Арбата, и окна нижнего этажа квартиры приходились совсем низко над землей; Пасха была поздняя, окна выставлены; вхожу в столовую и вижу: окно настежь, брат сидит на нем спиной к комнате, спустив ноги за окно на тротуар и христосует с очень непривлекательным на вид, грязным, пьяным нищим. А кругом собрались свои и не свои извозчики и с большим утешением смотрели на эту сцену. Смеялись громко и восклицали умиленно: «Ну что ж это за барин за такой задушевный! Что это за Владимир Сергеевич!»

Нищего, конечно, брат оделил и деньгами, яйцами и вина ему поднес. На все это вышедшая в столовую на шум и хохот мать смотрела очень кротко, не выражая ни малейшего желания к какому бы то ни было противлению; но когда осмелевший нищий захотел войти в квартиру и полез в окно, она решительно запротестовала.

— Нет-нет, этого я не хочу: пьяный, с улицы...

— Только прошу вас, не оскорбляйте его ради праздника... говорите по-французски. О, почему он пьян? Он только слегка навеселе. Вы имеете возможность иначе справлять праздник, а он, вероятно, нет...

В эту минуту нищий повел себя не совсем приятно, и даже брат, хоть и со смехом, но принялся затворять окно.

— И вот с таким ты целуешься! Тут действительно какую угодно заразу можно схватить.

Пораженный, брат широко раскрыл детски-испуганные глаза, потом смущенно заморгал и потянул носом воздух.

— Что же вы мне раньше не сказали!.. Впрочем, вздор, — благодуще рассмеялся он, — с какой стати! Ничего в нем похожего нет. — И зашагал по комнате, задумчиво щурясь и напевая.

Думается, что вышеприведенного достаточно, чтобы показать, как много в его страхе скверной болезни вместе с глубоким чувством отвращения и почти панического ужаса было и так свойственного ему искренне-детского дурачества, вроде того, как иногда дети сами себя пугают букой. И меньше всего был он способен думать и заботиться о собственном здоровье, потому и жизнь вел очень негигиеническую, работая иногда все ночи напролет, так что, когда мы вставали, он только ложился и порой забывал совершенно о пище и отдыхе.

Так и вижу, какие бы он сделал огромные, совершенно непонимающие глаза, если б ему вдруг сказали: «О Володя, а ты не думаешь, что вот это вредно, а то — полезно?» А в следующий минуту сказал бы: «Что за вздор!» — и рассмеялся бы так задумчиво и заразительно, что и задавший вопрос ответил бы тем же и усумнился бы: не сказал ли он и правда нелепость.

Брат любил ходить и мог ходить много, но прогулки делал только летом, когда случалось быть в деревне или на даче, в городе же всегда, и даже на самое маленькое расстояние, брал извозчика. На даче любил уходить подальше, в уединенные места, говоря, что во время таких прогулок хорошо думается.

Природу он любил глубоко и нежно, но на словах выражал это редко. Помню, однако, два случая, когда меня поразили его лицо и тон, и я подумала: как он должен сильно чувствовать природу! Первый раз это случилось зимой, мы вернулись из оперы и собирались пить чай; пользуясь случаем получить свой любимый напиток, брат тоже пришел в столовую и в ожидании своего стакана подошел к окну, не занавешенному шторой, и словно застыл перед ним; за окном была тихая морозная ночь и полнолуние. Лучистое, серебристо-голубое небо наверху, лучистый, серебристо-голубой снег внизу.

— Володя, пей чай, — сказала старшая сестра, — что ты там стоишь? От луны все равно не чихнешь.

Брат не отвечал. Я подошла и заглянула: лицо у него было радостно и печально растроганное.

— Как хорошо! — сказал он чуть слышно. — Какая удивительно прекрасная ночь! — И через минуту, взглянув на меня, прибавил громче:

— Пой «Casta diva»!

Другой раз это было летом и гораздо позднее; я с мужем и ребенком жила в деревне. Вдруг как-то, уж близко под вечер, со-

вершенно неожиданно приезжает брат. Дали ему чаю и малины, он объявил, что пока этого вполне достаточно, чтоб не умереть с голоду до ужина (целый день ничего «не удалось» поесть), и предложил пойти пройтись. Объяснили ему дорогу, и он пошел вперед, так как мы с мужем минуту задержались. Потом выходим из калитки, смотрим на дорогу — где же брат? А он поднялся на небольшой бугор с краю дороги и стоит там неподвижно, смотрит вдаль. Окликнули — не отвечает.

— Наверно, чем-нибудь зачарован, — сказала я.

Взобрались тоже на бугор, подошли к нему, он обернулся, и опять я увидела глубоко растроганное, радостно-печальное и светлое-светлое лицо.

— Какая удивительная тишина! Какая необыкновенная, великолепная тишина! Слышите? — проникновенно сказал он и, прислушиваясь, поднял в воздух указательный палец правой руки.

Была действительно в природе та полная и так много говорящая тишина, которая случается иногда теплыми вечерами конца лета перед закатом солнца. Тишина звуков, тишина красок: ни яркого света, ни резких теней, и день был серый, и теперь все небо в мягких, пушистых серо-белых барашках; за ними туда, к западу, к стороне большого дальнего леса, — солнце, но его не видишь, только чуешь, оно еще покажется сегодня, недаром вон там края серо-белых облаков чуть-чуть золотятся; но пока оно притаилось.

Постояв с минуту, мы подошли к полю, и брат заговорил — и серьезно, и шутя, и острил, и смеялся, и опять говорил о важных предметах, но время от времени прерывал свою речь, останавливался и, подняв палец, негромко произносил: «Но, обратите внимание, какая тишина! Какая совсем удивительная, великолепная тишина!»

Способность дурачиться, «как самый маленький ребенок», по выражению Анны Кузьминичны, брат сохранил всю свою жизнь; кроме того, были в нем самом такие смешные странности, которые давали повод уже другим подшучивать над ним; иногда было совсем нетрудно и раздражить его, тоже совсем как маленького ребенка. Помню, например, как раз он пришел в полное отчаяние, потому что ему показалось, что он потерял вязаный розовый башмачок с ноги ребенка женщины, которую он любил и от которой получил его в подарок. Башмачок этот, как талисман, носил он в боковом карманчике жилета у груди, изредка вынимал, любясь, смотрел на него с улыбкой, иногда целовал и опять бережно прятал. Показывал его далеко не всякому, а кому дове-

рял, и то только в более радостные минуты. И вот вдруг хватается за грудь, в карманчике — пусто: драгоценный башмачок исчез. Отчаянные возгласы, шарканье по комнате, потом устремление к матери и старшей сестре.

— Мама! Надежда! Да что же это такое! Наверно, вы опять вздумали бессмысленно шутить надо мной, пропал мой башмачок!

Мать молча только отмахивается руками, сестра из своей комнаты кричит: «Глупости, глупости, и не думала брать — довольна с меня разу, неинтересно. Ищи хорошенько!»

Брат опять бросается в свою комнату, но через несколько минут возвращается, держа в приподнятой правой руке бережно, двумя пальцами, розовый башмачок! На лице и радость, и смущение, и виноватость. Две капли воды видала я такое выражение на лицах младшей сестры и моих дочерей, когда они были совсем-совсем маленькими.

— Ну что я говорила! — заявляет не без некоторой обиды в голосе сестра. — Запрячет куда-то свое сокровище, а потом еще кричит.

— Не знаю, каким образом вдруг очутился на диване, — недоумевает брат.

— Ну что ж ты так держишь? Чего доброго, пыль сядет: целуй скорей и прячь на сердце.

— Ддурища! — смущенно и виновато смеясь, как ребенок, изобличаемый в чем-нибудь секретном, произносит брат, но, отвернувшись, производит точь-в-точь то, что сказала сестра, и уходит к себе.

Слово «ддурища» и другие, несравненно более сильные ругательные слова брат часто употреблял как ласкательные.

— Володя, сознайся, сколько слов прочел из полученного вчера письма? — спросила как-то та же сестра, когда мы сидели за завтраком, а только что вставший брат пил чай и читал газету.

Он поднял голову, ответил таинственно-серьезно «шесть» и вновь наклонил голову к газете. Только сведущий человек заметил бы, что он при этом несколько раз осторожно коснулся рукой груди, где был боковой карманчик. В карманчике — письмо: от той, которую исключительно любит. Получив такое письмо при ком-нибудь, брат, не распечатывая, прятал его в карман, и по этому маневру да по выражению просиявшего лица присутствующие догадывались, от кого письмо. Оставшись один, брат его распечатывал и, смотря по длине и некоторым другим соображениям — как, например, когда он рассчитывал получить следующее от той же особы или когда оно требовало ответа, —

читал за один раз по строчке, по фразе, иногда даже по слову и опять прятал письмо.

— Не понимаю, как это ты так можешь, — сказала раз сестра.

Брат взглянул на нее с глубоким удивлением.

— Чего ж тут непонятного! Если б я прочел все сразу, впереди не было бы никакого утешения, а так я для блаженства. Ну, а с другой стороны, это учит и самообладанию.

— А отчасти немного есть тут и дури, уж признайся, — посмеиваясь, заметила Анна Кузьминична.

Брат рассмеялся.

— Может быть, ваша проницательность и тут видит верно, может быть. Во всяком случае, эта дурь мне настолько приращена, а для других безобидна, что я имею намерение остаться ей верным.

Когда брат защитил диссертацию на доктора «Критика отвлеченных начал» и, получив экземпляры на веленовой бумаге, стал развозить ее друзьям и знакомым, он придумал три надписи: 1) «В знак почтения, а также для прочтения»; 2) «Пожалуй, для прочтения, но больше в знак почтения»; 3) «Отнюдь не для прочтения, а только в знак почтения».

А когда мать заметила, что «как бы кто не обиделся на последнюю», брат смеясь отвечал: «Мама, я не имею ни малейшей претензии, чтобы все понимали мою книгу, о которой слышал, что некоторые говорят, будто она написана умышленно неудобопонимаемым языком. Моя первая обязанность — избавить хороших знакомых, тем более друзей, от столь неприятной и непроизводительной траты времени, как чтение подобной вещи. Между тем как же мне показать свое почтение и что мне ни капли не жалко подарить книгу? Войдите же, наконец, в мое положение!»

Необыкновенно ярко стоит передо мной образ брата (как будто это было вчера) в самые последние дни жизни нашего отца, во время его смерти и в последующие за ней дни. Доктор накануне сказал, что отец не переживет ночи, но ошибся — отец жил еще весь следующий день; мы все безотлучно находились при нем в его комнате. В столовой в назначенные часы подавался завтрак, и чай, и обед, блюда стояли, стыли и нетронутые опять уносились в кухню. Но вот около семи часов вечера нам всем показалось, как будто отцу стало несколько лучше, и Анна Кузьминична уговорила нас пойти в столовую постараться хоть что-нибудь съесть; с отцом остались мать и страшная замужняя сестра, перед тем уходившая к себе и вновь пришедшая с мужем. Есть мы не могли, но стали пить чай, и брат попросил как можно креп-

че. Пили в полном молчании, вдруг брат сказал: «А что, если наука ошибается и папа останется жив!»

Но в эту минуту вбежал лакей, говоря, что мать зовет всех. Когда мы вновь окружили диван, на котором лежал отец, началась тихая агония, длившаяся всего несколько минут, и когда не стало слышно дыхания отца, ударили в нашем приходе ко всеобщей, так как это было накануне праздника четырех святителей, а по небу пролетел огромный, редко яркий метеор. После всеобщей была у нас панихида; позже, когда уж все разошлись и наступила ночь, брат сказал, что до утра не надо чтеца — он сам будет читать над отцом. Младший брат и я вызвались чередоваться с ним и не пошли к себе, а остались в зале и притворили дверь в гостиную, чтобы чтение не было слышно в жилых комнатах.

— Было бы самое лучшее, если б мама и другие могли хоть сколько-нибудь уснуть, — сказал брат и пошел к столу, на котором лежал отец, и стал читать. После него читал младший брат, потом я, потом опять Владимир. Когда он начал читать, только на первых словах голос его чуть срывался, потом совершенно окреп, и читал он так проникновенно и хорошо, что становилось светлей и легче и не так мучительно жаль тех, кто в это время так плакал у себя в постелях. Срок нашего чтения брат все сокращал, своего удлинял, а под утро положил мне руку на плечо и очень грустно, но в то же время очень решительно сказал:

— Поди ляг.

— А Миша?

— И Мишу скоро отправлю.

— Как же ты один?

— Мне ничего, я не устал.

Утром при первой возможности я встала и пошла в залу — там уже читал дьячок из нашего прихода. Я спросила лакея о брате.

— Владимир Сергеевич сию минуту только к себе вниз пошли (в той квартире брат жил вроде как бы в подвальном помещении, где у него было полторы комнаты), а Михаила Сергеевича все ж таки пораньше уговорили лечь отдохнуть. Да Владимир Сергеевич и сейчас не легли: просили им холодной воды дать, голову мочили, теперь сели, не то читают, не то пишут что-то.

Повернув опять в детскую, я в коридоре столкнулась с горничной Дарьей.

— А Владимир-то Сергеевич, ангел небесный, как в одну ночь с лица изменились! Даже жалости подобно.

К утренней панихиде приехала одна наша знакомая, сначала сидела у матери, потом вышла зачем-то в переднюю и, тихо пла-

ча, говорила Анне Кузьминичне: «А Володя-то, голубчик, золотое его сердце, как он изменился! Я просто ахнула, когда увидела. До того он любил отца! А еще иные считают его холодным и эгоистичным!.. Никогда в жизни не видела эдакой перемены в такой короткий срок! Точно годы и годы мучений перенес... А взгляд, несмотря на это, до того светлый и добрый, что просто всю душу мне перевернул».

Прошло много дней после смерти отца, прежде чем я увидела на лице брата улыбку. Плакать он совсем не плакал, только время от времени как-то особенно вздыхал и отдувался, точно ему не хватало воздуха.

Я совсем не помню, чтобы брат болел; иногда говорил, что голова болит, лихорадит и он воспользуется этим случаем, чтобы никуда не выходить. Голова у него, случалось, болела и от бессонниц, которыми он часто страдал; но острой серьезной болезнью он на моей памяти заболел только раз. Это случилось весной, если не ошибаюсь, в апреле, незадолго перед тем, как Москва начала готовиться к коронации Александра III. Время тогда было «волнистое», как выражался один знакомый, а для брата и в личном отношении: он всю зиму перед тем ждал и надеялся, что та, которую он называл своей невестой¹⁰, решится на последний шаг, чтобы стать его женой. В общем, он ждал этого решения десять лет, но тогда, в ту весну, положение особенно обострилось. Помню, с каким таинственным и сияющим лицом брат иногда за обедом говорил: «Пью за здоровье моей невесты!» Потом, обратясь к матери: «Мама, она скоро к вам приедет, желает с вами познакомиться, а также и с вами», — он кивал головой всем нам. Последние дни перед тем, как заболеть, ждал писем, выходил из своей комнаты на каждый звонок, был то страшно мрачен, то безумно радостен. И вдруг заболел, и сразу плохо: не то тиф, не то нервная горячка. Вероятно, тут была и простуда, и надрыв нервов. Жар страшный и не спадает, но в полной памяти. По совету младшего зятя нашего, медика, обтирают брата постоянно уксусом, он покорно подчиняется всему этому домашнему лечению, глотает все, что дают, вплоть до гомеопатии, в которую верит Анна Кузьминична и которую случалось ему и раньше принимать от бессонниц и других мелких бед, но не хочет, чтобы послали за «лучшим» доктором или тем более консилиум. Но все же приехал наш всегдашний доктор, лечивший нас, еще когда мы были младенцами, и, как знакомый, профессор Чириков. И им не совсем ясно, но завтра — день кризиса, решится. Брат лежал в своей комнате на диване, и дверь

в соседнюю залу была отворена. Думали, что брат спит, и вышли от него, а я села у окна в зале у самой двери — в случае проснется и позовет. Вдруг слышу — брат явственно окликнул:

— Кто тут?

— Я.

— Поди ко мне — на столе Евангелие, найди брак в «Кане Галилейской» и прочти мне вслух.

Я нашла и стала читать, с трудом сдерживая дрожь всего тела — мне вспомнилась первая ночь, когда умер отец, — и прочла все от первого до последнего слова не садясь, а как стояла у стола, так и осталась стоять. А покуда читала, брат все время не переставая крестился крупным, истовым крестом, нажимая пальцы на лоб, грудь и плечи. Я кончила читать, а он все продолжал так креститься, и в этом движении яснее всяких слов чувствовалась мне вся страстность желания брата жить и в то же время вся полнота его покорности воле Бога. Наконец брат перестал креститься.

— Подойди ко мне.

Я подошла.

— Не знаешь, телеграмму мою отправили (к ней, к «невесте»)?

— Отправили, отправили.

— Ну, хорошо... А теперь, пожалуй, скажи, что могут меня обтирать, если хотят, или что там еще полагается.

Я пошла, но в дверях обернулась на брата и увидала, что он опять крестится, как раньше, и явственно услышала страстный горячий шепот: «Господи, спаси! Господи! Помоги!»

К вечеру брату стало лучше, и со следующего дня пошло выздоровление. То лето мы решили провести на Кавказских водах, уговаривали и брата сделать то же или, по крайней мере, приехать хоть на шесть недель, но он отвечал: «Нет уж, и не ждите. Если б вы были на даче поблизости, я бы приехал, а там что я буду делать? Кроме того, туда ездят с дурной болезнью, упаси меня Боже, чтоб я когда-нибудь приблизился к таким местам». И решению этому остался верен, хотя мы все после того в продолжение многих лет продолжали на лето уезжать на Кавказские воды.

Когда я выходила замуж, брат был строго-нежен со мной, с радостной улыбкой передал мне поздравления от своей невесты, говоря, что она сама бы приехала, да нездорова, лежит; был очень доволен, когда она прислала мне огромный картон с порезанными на длинных стеблях белыми лилиями, и, видя, как я этим восхищена и тронута, поглядывал так, как будто хотел сказать: «От нее я другого и не ждал». А накануне моей свадьбы он, обняв меня, повел к себе в комнату «на пару слов».

— Завтра во время венчания, — сказал он с чудесно-светлым, проникновенным лицом, — обрати внимание на то, что будут петь о венцах мученических, и помни всегда, что, выходя замуж или женясь, человек непременно должен быть готов надеть венцы, ибо, делая подобный шаг, вступает на путь величайшего счастья, но также и величайшего страдания. Если ты это понимаешь и ты чувствуешь, брак твой будет прекрасен, что бы ни случилось и каким бы ни казался посторонним или даже близким людям, часто вольно или невольно судящим только по видимости. Затем ты знаешь, что я вполне одобряю твой вкус, ступай, и да не смущается сердце твое. — И он стал ласково и тихонько выталкивать меня за дверь; почуяв же, что я близка к тому, чтоб расчувствоваться, прибавил, уже смеясь и делая дурашливое лицо:

— А в случае появятся непрошенные судьи со своими бессмысленными мнениями и советами, ты на это наплюй, надо вообще уметь иногда при случае хорошенько начхать.

Такое светлое и проникновенно-растроганное лицо, как было у брата, когда он позвал меня «на пару слов», увидела я еще у него, когда он крестил у меня младшую дочь. Я сидела у себя в комнате, он пришел ко мне туда, когда Таинство кончилось.

— Я хотел тебе сказать — совершенно превосходный младенец! Понимешь — держу не без некоторого ужаса, боюсь сильно дохнуть, чтоб не разбудить. Она спит... Но вдруг открывает глаза, я так и обмер: сейчас крик или нечто и того хуже, но она долго и внимательно на меня посмотрела и вдруг улыбнулась совершенно осмысленной улыбкой и продолжала смотреть... великолепные глаза! И потом все время ни крику и ни малейшего скандала. Нет, превосходный младенец, превосходный младенец! — несколько раз повторил он.

Возвращаясь памятью к давно минувшему, вспоминается мне также то особое чувство к евреям, которое я испытывала, главным образом благодаря исключительному отношению к ним брата. Конечно, отчасти оно было у меня и помимо брата, думается, просто прирожденным, как у некоторых других членов нашей семьи, но когда еще в детстве я думала: сколько же хорошего должно быть у евреев, если Володя их так любит, — это уже, несомненно, было влияние, обаяние брата. И когда меня тоже в детстве за исключительную страсть к музыке и некоторые другие физические и нравственные черты называли жидовкой, я скорее бывала польщена; а когда раз кто-то из старших, рассердившись на меня (на этот раз совершенно неосновательно), крикнул: «Вот уж верно — настоящая жидовка», — я не ска-

зала ни слова в свое оправдание, только подумала: вот и отлично — евреев всегда гнали и гонят несправедливо, не понимая за что, так и меня. И пусть! А вот такой, как Володя, евреев любит и понимает.

С течением времени вместе с любовью к евреямросло мое негодование и отвращение за отношение к ним так называемых и так называющих себя христиан, и при этом я всегда представляла себе брата и Христа и отношение брата к Христу. По поводу этого вспоминается мне одна сцена, когда я была и не совсем взрослой, и не совсем ребенком. Точно вспомнить, когда это случилось, я совершенно не могу. Была Пасхальная ночь, и мы все, как всегда, отправились в церковь; брат вообще в церковь, за редким исключением, почти никогда не ходил, но Пасхальную ночь редко и дома оставался; когда бывал в Москве, обыкновенно отправлялся в Кремль. Я знала, что, прежде чем стать «таким верующим», брат перешел через большие сомнения, даже: «Знаешь, Володя был одно время атеист», — с большим интересом но не без примеси таинственного ужаса сообщали мы, младшая компания, как-то друг другу в детстве. И вот мне в эту Пасхальную ночь представилось, что, может быть, у брата сомнения не потому, что он объявил, что никуда не отправится, а потому, каким мрачным тоном он это сказал и какой сам весь этот день был мрачный. «Когда *так* веруешь в Христа, нельзя быть таким мрачным в Великую субботу, — думала я, — значит, у него опять сомнения». И делалось очень тяжело за брата. Вернувшись от утрани, я, громко напевая только что слышанные напевы и вся в совершенно особом, пасхально-восхищенном настроении, забыв все на свете, бросилась как сумасшедшая через все комнаты в заднюю часть дома, чтоб похристосоваться с прислугой, оттуда опять в переднюю: забыла яйца и кошелек в карманах пальто. Иду и пою громко, безудержно; хлопнула дверь из комнаты брата, идет... Оборачиваюсь к нему, протягиваю руку.

— Христос!.. — И вдруг вспомнила, осеклась.

Брат взял мою руку.

— Ты хотела сказать: «Христос воскрес» — и почему-то осталась... Ну, я отвечаю тебе: «Воистину воскрес»! — и, нагнувшись, поцеловал меня трижды.

А когда все собрались в столовой разговляться, брат тоже пришел и не был больше мрачен, напротив, совсем светел, только очень тих.

Через два года после рождения моей третьей дочери мы вынуждены были уехать из Москвы, и пришлось мне не один год провести в юго-западном крае. Тут, наблюдая жизнь бедных евреев и познакомившись с некоторыми из них, я постоянно представля-

ла себе брата и укреплялась в своих чувствах к евреям и христианам, поскольку касалось отношения последних к первым, и радовалась, что в своем небольшом опыте ни разу не пришлось мне разочароваться, хотя, если б это случилось, отдельные люди и факты в моей личной практике никогда бы не смогли изменить моего чувства и отношения к избранному народу Божьему.

За время жизни в юго-западном крае мне удалось два раза съездить в Москву и Петербург, и я очень мало, на самое короткое время, видела брата. Показался он мне очень постаревшим и утомленным вообще, хотя в настроении был очень хорошо, по-прежнему острит и смеялся. Спросил, что мои остальные младенцы, и, щурясь и улыбаясь на мою старшую девочку, которая была со мной, прибавил:

— А помнишь, как она в младенчестве пленяла меня своей жизнерадостностью?

И я невольно рассмеялась, вспомнив, как, бывало, издает моя крохотная девочка радостный восхитительный вопль, и брат тотчас же, хотя бы был в другой комнате и вел самый возвышенно-отвлеченный разговор, испустит такой же, только более громкий, и потом, смеясь и расширяя в радостном изумлении глаза, скажет: «Какие она великолепные звуки издает!»

Еще весной 99-го года решила я следующей зимой непременно поехать в Петербург и основательней повидать брата: чувствовала большую нужду говорить с ним; а в июле совершенно неожиданно получаю телеграмму от младшей сестры, что брат опасно заболел. Мне нельзя было выехать: не с кем было оставить маленьких детей, и так я и не простилась с братом и на похоронах его не была. Читая потом и слушая рассказы очевидцев о последних днях жизни брата, я была, между прочим, прямо потрясена и восхищена, узнав, что он, умирая в сознании, молился за еврейский народ. А через год после его смерти увидела я мать. Заговорила она о нем и заплакала, но сейчас же поспешно и усиленно стала вытирать слезы.

— Ну, не буду, не буду, не надо плакать, — покорно и тихо несколько раз повторила она, точно уговаривая сама себя, потом так же тихо, сквозь слезы, но с умиленным лицом обратилась ко мне:

— А ты знаешь, зимой приезжал ко мне... ко мне специально, развлекать меня, в карты со мной играл... Какой же ему мог быть интерес!.. Да ведь и минуточки у него никогда свободной для себя не было, знаешь ведь, как он жил, а тут сядет со мной и играет... в дурачки.





А. Ф. КОНИ

Из статьи «Вестник Европы»

<...> В конце восьмидесятых годов постоянным сотрудником «Вестника Европы» сделался Владимир Соловьев. Здесь, по-видимому, закончилось то «скитание мыслей», которое заставляло его, не отказываясь от чистых и благородных убеждений, изменять, однако, свои взгляды и вкусы, оставаясь, впрочем, верным личным симпатиям, невзирая на лагерь, в котором они были приобретены и от которого он сам отряс прах <с> ног своих. В одном только случае он отказался твердо и решительно от одного двуличного публициста, которого публично прозвал «Иудушкой Головлевым»¹. Как все богато одаренные люди, Соловьев не укладывался сразу и навсегда в определенные рамки: способность быстро становиться законченным целым есть, в сущности, удел заурядных натур. Многочисленными статьями в «Вестнике Европы», перечислять которые нет надобности, знаменовалась нравственно-политическая эволюция Владимира Сергеевича, и он сразу стал в этом журнале одним из самых влиятельных сотрудников, а в среде последних любимым товарищем и тем, что М. М. Стасюлевич в письме ко мне по поводу его смерти назвал «сотрудником жизни». И действительно, он был настоящим «сотрудником жизни», т. е. человеком, общение с которым украшало и облегчало существование, стирая с него краски житейской прозы и вознося мысль и чувства в область вековых вопросов. Непреклонная и ничем не смущаемая вера в окончательное торжество добра и правды постоянно одушевляла Соловьева. У нас любят употреблять выражение «будить мысль», но разбудить ее, не указав ей путей и целей, идеалов и принципов, — значит обречь ее на бесплодное и часто мучительное искание. Это глубоко понимал Соловьев, говоривший, что все лучшее в непосредственной практической жизни имеет цену лишь тогда, когда в нем таится безусловное содержание, а над ним стоит безусловная цель. Поэтому во всех своих философских и религиозных сочинениях, и в особенности в своем вели-

колепном «Оправдании добра», он не только задушевым словом, горячей убежденностью и поэтически образами будил мысль читателя, но и настойчиво направлял ее. Он находил, что убеждения и воззрения высшего порядка должны разрешать в жизни существенные вопросы ума об истинном смысле всего существующего, о значении и разуме явлений — и вместе с тем удовлетворять и высшим требованиям воли, ставя для нее безусловную цель и определяя высшую норму ее деятельности. Таков он был и в серьезных беседах, невольно и вместе с тем неотразимо заставляя собеседников иметь «sursum corda!»² и хоть на время освобождаться от тины и грязи житейского болота и забывать о них. Я говорю о серьезных беседах, так как наряду с ними Соловьев был очень склонен к шуткам. Я не подмечал в нем злой иронии — он оставлял ее, следуя совету Некрасова, «отжившим и нежившим»³, — но речь его блистала и пестрела тонким юмором, оригинальными сравнениями, неожиданной игрой слов. В ту область, куда легко и удобно может вторгнуться педантическая отвлеченность и самодовольная неудобопонижаемость — одним словом, в область, про которую Вольтер сказал: «Quand celui qui écoute ne comprend pas et celui qui parle ne se comprend plus — c'est de la métaphysique»⁴, Соловьев вносил не только ясность и простоту, результат глубокого убеждения, но и освежающие свойства шутки и бодрящего смеха. Он сам любил смех и предавался ему, как ребенок, захлебываясь и радостно взвизгивая.

Вообще, шутливые стихи ему давались очень легко. Однажды, в половине девяностых годов, он стал говорить об увлечении некоторых из тогдашних поэтов-символистов, выработавших себе впоследствии гораздо более серьезное отношение к своему несомненному таланту. Но тогда его сердила и вместе смешила составлявшая будто бы сущность символизма погоня за вычурностью языка и за сочинением новых темных словечек и немыслимых словосочетаний. «Право, — сказал он, — не так трудно сочинять — именно *сочинять* — такие стихи. Идя сюда (обедать к Стасюлевичу), я, чтобы развлечься от усиленного труда, представил себя символистом и придумал следующие стихи». И он продекламировал с некоторыми незначительными изменениями и заливаясь смехом следующее:

I

Горизонты вертикальные
В шоколадных небесах,
Как мечты полужеркальные
В лавровишневых лесах.

Призрак льдины огнедышащей
В ярком сумраке погас,
И стоит меня не слышащий
Гиацинтовый Пегас.
Мандрагоры имманентные
Зашуршали в камышах,
А шершаво-декадентные
Вирши — в вянущих ушах.

II

На небесах горят паникадила,
А снизу — тьма,
Ходила ты к нему иль не ходила?
Скажи сама!
Но не дразни гиену подозренья,
Мышей тоски!
Не то смотри, как леопарды мщенья
Острых клыки!
И не зови сову благоразумья
Ты в эту ночь!
Ослы терпенья и слоны раздумья
Бежали прочь.
Своей судьбы родила крокодила
Ты здесь сама.
Пусть в небесах горят паникадила,
В могиле — тьма⁵.

Впечатлительный и болезненно-восприимчивый, он иногда вносил чувство личного раздражения в свои разногласия с людьми, основные воззрения которых на существенные вопросы и задачи жизни он разделял. Такова была его полемика с Б. Н. Чичериным⁶ по поводу «Оправдания добра», в которой он в одном из своих ответов Чичерину допустил крайне резкие возражения против почтенного мыслителя и общественного деятеля. Но, остыв, он умел раскаиваться и сознавать свою вину. Поэтому в заключительной своей статье в полемике с Чичериным он просил у него извинения в своих резкостях. И мне пришлось испытать эту сторону его характера. В статье «Нравственный облик Пушкина», помещенной в «Вестнике Европы» в октябре 1899 года, я коснулся тех, которые осуждают Пушкина за выход на поединок «и желали бы видеть его не мячиком предрассуждения, по-видимому не представляя себе ясно последующей картины жизни человека, малодушно затыкающего себе уши среди возрастающего наглого презрения общества, вырваться из которого зависит не от него». К числу осуждавших прежде всего принадлежал и Соловьев в своей статье «Судьба Пушкина», напечатанной в «Вестнике Европы» в 1897 году... Он явным обра-

зом обиделся на меня за это место моей статьи и заявил Стасюлевичу, что этого он не оставит и пришлет для печати ответ мне. Затем, однако, он одумался и в письме к Стасюлевичу, указывая на наши добрые отношения, хотя и огрызаясь по моему адресу, он заявил, что отказывается от перенесения личных чувств и страстей в литературу. А месяц спустя поднес мне свои «Три разговора» и «Оправдание добра» с надписью: «Дорогому и сердечно уважаемому — искуснейшему вызывателю добрых теней».

И личная жизнь и наружность Соловьева были в высшей степени своеобразны. Над худым и, казалось, хрупким телом его, одетым бедно, скудно и часто не по сезону, выступала производившая неотразимое впечатление голова, с густыми прядями седящих волос над высоким благородным лбом и удивительно красивыми, темно-голубыми глазами, в которых отражалась и глубина его души, и постоянная работа пытливого мысли. Нижняя часть лица его не имела одухотворенного вида, свойственного верхней, но она была скрыта под густыми усами и бородой. Он вел жизнь, лишенную всяких, даже самых скромных, удобств и какой-либо материальной обеспеченности. Физически слабый, не имея «ни кола ни двора», он вынужден бывал греться, в прямом и переносном смысле, у чужого очага, часто нуждаясь в самом необходимом вследствие своей безграничной доброты, доверчивости и отношению к окружающей жизни с той голубиной кротостью, при которой его не могла бы оградить даже и змеиная мудрость. В последние годы он усиленно работал, не имея необходимого спокойствия и отдыха, при полном отсутствии разумной заботы о своем здоровье, растрачивая свои слабые силы, не думая о завтрашнем дне и не щадя себя. Яркий и согревающий свет своего ума он искупал беспощадным принесением себя в жертву. Но все-таки никто не ожидал, что он погаснет так скоро, так преждевременно, как раз перед наступлением той го-дины, когда его влиятельный и вещий голос мог бы зазвучать с особой силой и пользой, «как колокол на башне вечевой — во дни торжеств и бед народных»⁷. До самой своей смерти, в дружеских беседах за «круглым столом» он умел с особой живостью отзываться на все возникавшие общественные вопросы, иногда в необычной форме. В конце девяностых годов при Министерстве юстиции была высочайше учреждена комиссия для пересмотра законоположений по судебной части под председательством статс-секретаря Муравьева. В ней, между прочим без всякой необходимости, был возбужден принципиальный вопрос о самом существовании суда присяжных, и на гостеприимно открытых страницах журнала Министерства юстиции появились статьи против этой формы суда и о желательности замены присяжных

коронными судьями. Вместе с тем и в разных других органах печати начался поход против присяжных, причем объявились добровольцы, заменившие старую кличку, данную присяжным еще Катковым — «суд улицы», — более выразительной и резкой — «стадо баранов». Все это не могло не служить предметом грустного обмена мыслей за «круглым столом». Однажды во время разговора об этом напрасном и легкомысленном колебании вошедшего в народное сознание судебного института Соловьев что-то писал на клочке бумаги и затем со смехом передал этот клочок мне. На нем стояло:

Вы — «стадо баранов» — печально!
Но вот что гораздо больней:
На «стадо баранов» нахально
Набросилось стадо свиней⁸.

Как живой стоит он передо мною в день открытия в Мраморном дворце так называемой Пушкинской Академии, т. е. Разряда изящной словесности, образованного при Академии наук в память великого поэта. Будучи избран одним из девяти первых почетных академиков⁹, он произвел весьма своеобразное впечатление в своем старом, по-видимому взятом на подержание, фраке и манишке, напоминавшей моды начала пятидесятых годов, но тотчас же приковал к себе общее внимание, заявив, что намерен внести в Разряд предложение о деятельных шагах Академии в ограждении свободы и прав русской мысли в области веры и науки. И в следующем заседании он сделал обстоятельный по этому предмету доклад, на основании которого уже после его кончины вследствие подробного письменного предложения К. К. Арсеньева была образована под моим председательством комиссия, в состав которой вошли Арсеньев, Шахматов и Кондаков и труды которой — к сожалению, бесплодные непосредственно — влились, как маленькая речка, в целое море материалов, ставших в 1905 году предметом обсуждения известной комиссии Кобеко для выработки Устава о печати.

Таинственное и мистическое часто находило себе место в трудах Соловьева и еще больше в его рассказах. Достаточно вспомнить перевод им книги Подмора о телепатии¹⁰ и его предисловие к ней. Иногда, среди оживленного разговора о злобе дня, он вдруг замолкал, вперял перед собой во что-то невидимое неподвижный взор и становился глух ко всему окружающему. Его бледное лицо бледнело еще более, затем взор затуманивался, и он как бы выходил из-под власти какого-то видения, доступного ему одному и приковавшего к себе его напряженное внимание. Вероятно, в одну из таких минут он написал, за десять лет

до русско-японской войны, свое горестно-зловещее стихотворение «Панмонголизм», предсказывая в пророческом предвидении своей родине то время, когда будут «желтым детям на забаву даны клочки ее знамен».

Однажды, зимой 1899 года, я нашел его за обедом у Стасюлевича в особенно оживленном и веселом настроении. После обеда он предложил подвезти меня ко мне, на Невский, так как ехал сам на Пески. Перед отъездом я рассказал ему в «конспиративной комнате» (так называлась в квартире Стасюлевича комната, куда удалялись поговорить наедине) слышанный мною накануне довольно правдоподобный анекдот о комическом недоразумении между светской дамой, приехавшей на богомолье в бедный, но с весьма строгим «житием» братии монастырь, и отцом-экономом из крестьян, которого она расспрашивает о составе монастырской трапезы и о том, какой же у них «десерт», и который понимает это слово совершенно своеобразно и для слуха светской дамы весьма неожиданно. Соловьев заливался смехом до слез, до боли, продолжая покатываться со смеху и сев на извозчика, так что тот несколько раз оглядывался на него. Когда мы подъехали к моей квартире, он сказал мне, что охотно зашел бы ко мне и выпил бы стакан красного вина. Оставив его на минуту, чтобы распорядиться о вине, я едва узнал, вернувшись в свой кабинет, в побледневшем человеке с тревожным и блуждающим взором недавнего радостного и шутливого Соловьева. «Что с вами, Владимир Сергеевич? Вы больны?» Он отрицательно покачал головой и закрыл глаза руками. Принесли вино, но он резким движением отодвинул налитый стакан и, помолчав, вдруг спросил меня, верю ли я в реальное существование дьявола, и на мой отрицательный ответ сказал: «А для меня это существование несомненно: я его видел, как вижу вас...» — «Когда и где?» — «Да здесь, сейчас, и прежде несколько раз... Он говорил со мной...» — «У вас, Владимир Сергеевич, расстроены нервы: это просто галлюцинации». — «Поверьте, что я умею отличать обман чувств от действительности. Сейчас это было мимолетно, но несколько времени назад я видел его совсем близко и говорил с ним. Возвращаясь из Ганге на пароходе и встав рано утром, я сидел в своей каюте на постели, медлительно, задумываясь по временам, одевался и вдруг, почувствовав, что кто-то находится возле меня, оглянулся. На смятых подушках, поджав ноги, сидело серое лохматое существо и смотрело на меня желтыми колючими глазами. Я тотчас понял, кто это, и тоже стал смотреть на него в упор. “А ты знаешь, — сказал я ему, — что Христос воскрес?!” — “Христос-то воскрес, — отвечал он, — но тебя-то я оседлаю!” — и, вскочив мне на спину, сжал мою шею и прида-

вил меня к полу. Задыхаясь в его объятиях и под ним, я стал творить заклинание Петра Могилы¹¹, и он стал слабеть, становиться легче, наконец руки его разжались и он свалился с меня... В ужасном состоянии я выбежал на палубу и упал в обморок... А теперь прощайте: поеду на Пески». Но обычное суеверие было ему чуждо. Мне вспоминается обед 13 мая 1900 г. Я несколько опоздал и застал всех собравшихся на этот раз в необычном числе, а также хозяев — в некотором смущении. Оказалось, что престарелый поэт Алексей Михайлович Жемчужников, довольно редкий гость в Петербурге и стародавний сотрудник «Вестника Европы», приехавший обедать, ни за что не хотел остаться, так как за стол должно было сесть тринадцать. Наконец его удалось уговорить и победить тем, что был поставлен четырнадцатый прибор и на него шутя положена последняя книжка «Вестника Европы» в качестве четырнадцатого гостя. «Вам хорошо, господа, — сказал, усаживаясь наконец, Жемчужников, — вы все моложе меня, а мне ведь скоро восемьдесят лет и я все-таки люблю жизнь — и в особенности природу — и не хочу умирать. Тут поневоле станешь суеверен». «Да ведь, — перебил его, весело смеясь, Соловьев, — обыкновенно умирает самый младший, а младший-то здесь я, так что вы не беспокойтесь: если тринадцать такое роковое число, то я отбуду повинность за вас». И действительно, через два с половиной месяца он, неожиданно для всех, отбыл эту повинность в подмосковном имении князя Трубецкого...¹² Весной предшествующего года одна талантливая петербургская художница писала в своей мастерской его портрет. Все время сеансов он был чрезвычайно весел, шутил, заливался своим детским смехом и говорил, что, веруя в учение о сорокадневном пребывании души умершего на земле, думает, что на это время она облачается формой не человека, а какого-нибудь другого живого существа, например птицы. «Я буду, конечно, филином, — говорил он, — и стану своим видом и криком пугать людей, а вам обещаюсь, если моя душа вселится в птицу, прилететь об этом сказать». Он отказался немедленно взять подаренный ему художницей окончанный портрет, прося оставить его куда-то в мастерской. В день, следовавший за его кончиной, художница приехала на несколько времени с дачи в Петербург и, ночуя в комнате, соседней с мастерской, слышала в последней ночью какой-то странный шум, а когда поутру вошла туда, то увидела, что порывом ветра раскрыто итальянское окно и перед портретом Соловьева лежит, распростерши крылья, какая-то довольно крупная птица, влетевшая ночью и убившаяся, ударившись с разлета о раму портрета Соловьева. <...>





Д. Н. ЦЕРТЕЛЕВ

Из воспоминаний о Владимире Сергеевиче Соловьеве

Так как лет шесть тому назад в «Вестнике Европы» напечатано было несколько писем Вл. С. Соловьева¹ ко мне с примечанием, что эти письма доставлены мною, то считаю необходимым теперь упомянуть, что относительно печатания частных писем я не разделяю взгляда ни редакции «Вестника Европы», ни самого Соловьева. Я должен поэтому объяснить, как эти письма попали в редакцию.

Вскоре после кончины Владимира Сергеевича я был у М. М. Стасюлевича и в разговоре упомянул о том, что у меня есть интересный материал для статьи: об отношении покойного Соловьева к медиумическим явлениям — и что на днях я попрошу его ознакомиться с этими материалами и сообщить мне, будет ли статья об этом предмете представлять интерес для читателей «Вестника Европы». Через несколько дней я уехал в Москву, где прочел некоторым из друзей Соловьева упомянутые письма: потом в деревне у меня они были переписаны и посланы для просмотра, а не для печати М. М. Стасюлевичу. Долгое время не получая ответа, но зная обычную аккуратность издателя, я написал ему, чтобы узнать, находит ли он материал подходящим, и с удивлением узнал, что письма уже напечатаны.

Михаил Матвеевич, очевидно, забыл, что, когда мы беседовали о Соловьеве, речь шла по поводу его писем, а не о самих письмах. Конечно, в этих письмах нет ничего, могущего компрометировать кого бы то ни было, но в принципе, будучи убежден, что при жизни автора частные письма могут печататься только с его ведома, а после его смерти только с ведома и по желанию того лица, к которому письмо адресовано и которое, сообщая его для напечатания в то или другое издание, вместе с тем берет на себя всю юридическую и нравственную ответственность за него,

я не могу признать напечатание этих писем с формальной точки зрения вполне правильным.

Укоренившийся во многих редакциях обычай печатать письма и документы без достаточной проверки права тех лиц, которыми они предъявляются, и без согласия третьих лиц, чести которых они могут касаться, — есть одно из самых печальных явлений, проникших в нашу публицистику еще прежде, чем новые временные правила о свободе печати благодаря поспешности работ комиссии Д. Ф. Кобеко² успели получить не только Высочайшее, но и какое бы то ни было утверждение.

Впрочем, это замечание о неправильном печатании частных писем, может быть, менее всего относится к «Вестнику Европы».

Я был с Соловьевым в одной гимназии и помню еще в шестом классе его худую и бледную фигуру во время перемен; но, так как он был классом старше меня, мы не были знакомы и познакомились только тогда, когда я был уже на первом курсе университета. Хорошо помню этот вечер. У П. А. Зилова собралось несколько человек — студентов разных факультетов, между ними были Соловьев и Писемский. Писемский был почитателем Огюста Конта; Соловьев, напротив того, полагал, что время позитивизма безвозвратно прошло и что философская мысль принимает совершенно другое направление. Между ними поризошел оживленный спор, которого я оставался безмолвным слушателем, но с этого времени началась наша дружба с Соловьевым, хотя мы знали друг друга очень мало.

Та духовная связь, которая является вследствие единства убеждений, конечно, тем обязательнее и тем теснее, чем менее распространены эти убеждения, и в начале семидесятых годов найти в России человека, который сомневался бы в непогрешимости Фохта, Мошешотта и Бюхнера, было трудно. Выступление через три года молодого философа с диссертацией, направленной против позитивизма, явилось не только неожиданностью, но и неслыханной дерзостью, и когда вслед за тем Владимир Соловьев получил кафедру П. Д. Юркевича, он сразу стал в Москве знаменитостью. Редакции искали его сотрудничества, дамы наразрыв приглашали его на чашку чая, а литературные противники старались облить помоями. На самого Соловьева это исключительное положение, завоеванное им в двадцать два года, не могло не иметь влияния, не всегда благотворного. Вынужденный по самым разнородным вопросам выступать в роли учителя, он тем самым связывал себя на будущее время, так как позднее не мог

уже говорить иначе, чем говорил в первой молодости, не впадая в противоречие с самим собою.

Вероятно, именно от этой ранней привычки к кафедре у Соловьева осталась некоторая нелюбовь к спорам, к подробному обсуждению мнений людей противоположного направления и стремление к систематизации еще не доказанных гипотез. Все-го опаснее такое стремление, конечно, в области истории. Во время своего увлечения славянофильскими теориями Соловьев часто вспоминал изречение: «Два Рима пало, третий стоит, четвертому — не бывать»³, — разумея под третьим Римом Москву. Позднее, когда стремление к церковному единству заставило его тяготеть к первому, хотя и павшему, Риму, оно явилось причиной, может быть, не совсем справедливого отношения к московскому периоду русской истории.

Определение относительного значения каждого исторического события зависит, конечно, не только от объективных условий развития того или другого народа, но также, и прежде всего, от той точки зрения, на которой в данный момент находится сам автор.

«История сама есть Страшный суд», — говорит Шиллер, и эта глубокая мысль есть вместе с тем осуждение тех поверхностных оценок, которые по собственному капризу хотели бы изменить ход мировых событий. Большинство людей, выражая свои стремления и желания, не подозревает, что все явления в природе неразрывно связаны между собою и что невозможно коснуться ни одного из них, не касаясь тем самым всего мироздания. В сущности, вся точность так называемых положительных наук основана на «незнании действительных причин совершающихся явлений». Что это так, ясно для каждого, кто может понять, что самое простое явление, как бы обычно и, по-видимому, само собою понятно оно ни было, в конце концов есть результат совместной одновременной деятельности бесчисленного множества условий. Но как только такая точка зрения действительно усвоена, сразу исчезает возможность исторического или, точнее, хронологического толкования событий, а с исчезновением понятия времени идея причины и цели неизбежно сливается в понятии сущего.

Вот почему во всех истинно философских, а не псевдонаучных системах последние, самые существенные вопросы сводятся к вопросам богословским. Вся кажущаяся действительность, возникающая во времени для того, чтобы опять в нем бесследно исчезнуть, есть нечто постоянно возникающее, но никогда не осуществляющееся.

У Вл. С. Соловьева уже в ранней молодости было ощущение близости той роковой черты, на которой стоит человечество. Светопреставление казалось ему не отдаленным событием, скрытым во тьме веков, а чем-то очень определенным и близким, к чему всегда надо быть готовым. Несмотря на то что такая точка зрения многим покажется странной или, пожалуй, даже ненормальной, стоит только внимательно отнестись к вопросу, который сделала мне однажды женщина, чуждая всяких богословских и философских тонкостей: не есть ли смерть человека для него светопреставление? — чтобы понять практическое его значение для каждого из нас. «Мы не все умрем, а все изменимся»⁴, — говорит апостол Павел. Важно, конечно, не то, когда и сколько человек испытывают это изменение и совершится ли оно мгновенно или последовательно во времени. По выражению того же апостола, у Бога один день и целый век — как миг один и один миг — как целый век⁵. С точки зрения положительного знания, такое отношение к делу, конечно, совершенно недопустимо; с другой стороны, что, собственно, делают ученые, самые авторитетные в сфере положительных наук? Действительно ли они дают своим читателям и слушателям только необходимые выводы из бесспорных законов и фактов? Не зависит ли, наоборот, значительная часть их успеха от кажущейся новизны точки зрения автора, которая позволяет читателю предположить, что он воспользовался данными, еще не известными его предшественникам? В половине семидесятых годов, когда С. М. Соловьев преподавал историю России Государю Наследнику, он останавливался в гостинице «Франция», где стояли и мы с Вл. С. Соловьевым, и я часто видел его в это время. Несмотря на мое уважение к знаменитому историку, я воспользовался этим случаем, чтобы высказать ему мои сомнения относительно научного значения исторического метода. Сергей Михайлович отвечал только, что это — ересь, которая отпустится мне по молодости лет. Должен признаться, однако, что с тех пор не только не приблизился к более ортодоксальному пониманию «истории», а, наоборот, окончательно убедился в правильности отношения к ней Гете и Шопенгауэра. Вл. С. Соловьев, с которым мне приходилось беседовать об этом вопросе, хотя он часто ссыался на исторические доказательства, едва ли имел в этом отношении вполне определенную точку зрения.

Несмотря на исключительные способности, которые позволяли Соловьеву в короткое время преодолевать трудности, требовавшие от другого долгих лет работы, здоровье его уже в молодости не было удовлетворительно. Однако, несмотря на

совершенно неправильный, с точки зрения медицины, образ жизни, он дожил почти до пятидесяти лет и едва ли мог бы сделать больше, чем сделал, если бы работал более правильно.

Лет за десять до его смерти мне случилось как-то зайти к нему, когда какой-то художник писал его портрет. Соловьев, хотя ему не было и сорока лет, с его глубокими морщинами и длинными полуседыми волосами, тогда уже имел вид старика, и не было ничего удивительного, что художник спросил его: «А ведь вы, Владимир Сергеевич, должно быть, моложе Фета?» А Фету в то время было под семьдесят.

Старообразность фигуры и лица Соловьева в связи с чисто юношескими чертами его характера заставляла иногда людей, мало знающих его, думать, что он нарочно бывает ненатурален, что-то на себя «напускает» или прикидывается. Были даже в печати люди, которые глубокомысленно разыскивали какое-то «пятно», которое могло бы объяснить казавшиеся им странными противоречия в характере Соловьева. Для людей, привыкших жить исключительно почти внешними впечатлениями, его рассеянность и частые нарушения светских обычаев нередко также производили впечатление позы.

Один раз он на вечер приезжал без галстука, в другой — удивлялся, узнав от швейцара, что его не могут принять, так как в семье — прибавление семейства, хотя видел хозяйку еще накануне.

Однажды в доме, где хозяева интересовались богословскими вопросами, пригласили г. М., имевшего репутацию знатока в этих вопросах; между М. и Соловьевым действительно разговор скоро перешел на эту почву, и завязался спор, но скоро кончился совершенно неожиданно для слушателей. М. сослался на авторитет Василия Александрийского.

— Такого нет, — отрезал Соловьев.

Конечно, разговор на эту тему уже не мог продолжаться, и пришлось перейти к менее интересным вопросам.

Между тем от природы Соловьев не только не был резок, но вообще трудно было найти человека более благодушного и менее требовательного к своим собеседникам: он громко смеялся самым незамысловатым шуткам.

Те кажущиеся резкости, которые иногда вырывались у Соловьева, зависели исключительно от неспособности его становиться на точку зрения своего собеседника, который мог обидеться тем, что Соловьеву казалось совершенно простым и естественным.

Не буду останавливаться дольше на московском периоде деятельности Соловьева и перейду к моему совместному житию с ним в Каире.

* * *

Осенью 1875 года, после смерти графа А. К. Толстого, у которого я провел лето, я решил отправиться на юг через Одессу и Константинополь. Не помню, где и когда я получил письмо Соловьева от 8–20 февраля 1875 года, где он писал:

«Послал тебе телеграмму, но, на всякий случай, и письмо. Очень был обрадован известием о тебе, а то решительно не знал, что с тобою, посылал несколько писем в Липяги, но не получил ответа.

Ты должен непременно приехать в Каир. Я остаюсь здесь до марта. Эта поездка тебя развлечет. Страна весьма оригинальная. Климат превосходный; не говорю уже об удовольствии, которое ты мне доставишь. Если же тебе никак нельзя будет, то я постараюсь в феврале приехать в Афины или Италию, если ты будешь там. Но я надеюсь, что ты приедешь сюда, и тогда в начале весны мы вместе отправимся в Италию и Париж. Оставаться же одному теперь тебе совершенно невозможно. Напиши мне немедленно, если можешь приехать. У меня есть кое-что рассказать тебе, но откладываю до свидания, чтобы не задерживать письма.

Остановись в гостинице «Аббат», когда приедешь сюда»⁶.

Это письмо, которое было переслано мне из России, дало более определенное направление моим планам: я решил побывать в Каире и затем уже ехать в Италию. Новый, 1876, год я встретил в Акрополе с одним знакомым, бывшим случайно в этом году тоже в Афинах.

Как раз в это время приехала в Афины компания русских туристов, отправлявшихся тоже в Египет, и я, присоединившись к ней, направился прямо в Александрию. В Каире в гостинице «Аббат» я Соловьева уже не застал: он переехал на квартиру в семью фотографа Дезире, но в том же доме, этажом ниже, оказалась свободная комната, которую я сейчас же занял. Несколько недель, которые я провел там, составляют одно из лучших воспоминаний моей молодости.

Дверь из моей комнаты выходила прямо на крышу, где мы с Соловьевым сидели по вечерам.

Лет через двадцать у Соловьева, очевидно, опять явилось желание пережить те чувства, когда «нам были новы все впечатления бытия»⁷.

В стихотворении «Помнишь ли, бывало...»⁸ он вспоминает о тех старых и вечно новых мотивах, которые каждый день встают перед ним с той же силой и несомненно и наглядно доказывают вечность мгновения, что все то, что действительно «есть», всегда было и будет.

В 1876 году в Египте еще царствовал Лессепс, иначе трудно назвать то значение, которое имел в стране строитель Суэцкого канала. Теперь, когда дело Лессепса⁹ и Наполеона III в стране стало таким же достоянием истории, как и Наполеона I и фараонов, может быть, во Франции многие жалеют, что так дешево отдали порядок и материальное благополучие за мнимую политическую свободу.

В 1876 году, несмотря на разгром Франции и на уплату громадной контрибуции, она продолжала еще оставаться фактической хозяйкой исполненного Лессепсом громадного замысла.

Я упомянул о Лессепсе потому, что благодаря его любезности вся наша компания имела возможность ознакомиться с Суэцким каналом; к сожалению, Соловьев не счел возможным присоединиться к нам, хотя нередко принимал участие в прогулках и в спиритических сеансах.

В одном из своих стихотворений Соловьев подробно вспоминает о своем первом пребывании в Каире¹⁰ и о том, как он в сюртуке и цилиндре отправился в пустыню и сначала был принят арабами за черта, но потом взят ими в плен и опять выпущен; такие приключения для слушателей, конечно, забавны, — а, с другой стороны, по справедливому замечанию ген[ерала] Ф.¹¹, имеют для рассказчика то неудобство, что он может быть принят за человека ненормального, пока не докажет обратного.

В семидесятых годах в Каире я почти не помню извозчиков, и главным способом передвижения служили ослы, погонщики которых шли или бежали рядом. На узких, запруженных толпою улицах это, конечно, самый удобный способ передвижения.

Как только мы выходили на улицу, нас обыкновенно окружали ослятники, наперерыв восхваляя и предлагая своих ослов.

Соловьев обыкновенно выбирал большого белого осла, к погонщику которого питал большую симпатию. Действительно, не только осел у него был сильный, но сам он был очень неглупый человек.

Однажды между ними произошел приблизительно следующий разговор:

- Скажи мне, Тольби, сколько, ты думаешь, звезд на небе?
- Кто может это знать, господин мой?
- А сколько, ты думаешь, ослов в Египте?

— Тридцать миллионов ослов! — решительно отвечает Тольби.
— А почему ты так думаешь? — спрашивает Соловьев.
— А потому, — столь же решительно продолжает Тольби, — что прошлой осенью в Верхний Египет ушло их десять миллионов.

Соловьеву не удалось выехать из Каира вместе со мною, как он предполагал, и я один отправился в Неаполь и во Флоренцию.

Во Флоренции я скоро получил два письма от него, которые и привожу здесь, так как они очень характеристичны для Соловьева.

«Могу написать тебе несколько слов. Возвращаясь с Везувия, я искалечился и, может быть, останусь калекой на всю жизнь. Нахожусь в состоянии плачевном и намерений никаких не имею. В мае, вероятно, буду в Париже»¹².

Через неделю он пишет, однако:

«Благодарю тебя за участие и готовность приехать ко мне, но, к счастью, в этом нет никакой надобности. Рана моя (я упал с лошади, скача, и ударился коленом об острый камень, вследствие чего образовалась довольно глубокая рана) совершенно заживает, и рукой также могу действовать; после своего падения я пролежал неделю в Неаполе, где меня лечил очень хороший немецкий доктор, а потом, в Сорренто, два русских; очень желал бы тебя увидеть, но крайняя скудость средств не позволяет заехать во Флоренцию, да и не знаю, застал ли бы тебя там»¹³.

Несмотря на это письмо, в конце апреля или в начале мая Соловьев был уже во Флоренции.

Приведенные выдержки очень интересны, — особенно если принять в соображение, почему Соловьев упал с лошади, когда он спускался с Везувия: к нему пристала куча мальчишек, требуя милостыни. Соловьев раздал им всю мелочь, а так как они продолжали приставать, то в доказательство, что у него больше ничего нет, бросил им свой кошелек; когда и это не помогло — вздумал спастись от них бегством...

Во Флоренции Соловьев пробыл несколько дней, и я предложил ему познакомиться с А. М. Жемчужниковым как одним из главных участников в коллективном творчестве К. Пруtkова, и он охотно принял мое предложение, но, поздоровавшись с ним и увидав какой-то заинтересовавший его номер газеты, он занялся чтением почти все время, пока мы разговаривали с Алексеем Михайловичем.

С 1877 по 1890 год Соловьев несколько раз бывал в Липягах¹⁴ и произвел сильное впечатление на всех, с кем ему приходилось иметь дело, начиная с местного священника и кончая старооб-

рядцами и сектантами. Хотя только позднее Соловьев специализировался окончательно на богословских вопросах, но, как я уже говорил, во всякой философии, за исключением псевдофилософского материализма, идея духа, не только ограниченного и относительного, но и бесконченного и безусловного, неразрывно связана с самим понятием философии. Ввиду этого Соловьев не мог не интересоваться особенно живо различными сектами, так как в них живее, хотя большею частью в извращенном виде, сказывалось религиозное чувство народа. Я упоминал уже о том, что в юности у Соловьева был период, когда он был убежденным материалистом, и только позднее вполне сознательно он перешел к прямо противоположной точке зрения. Однако то исповедание веры, которое необходимо перед приступлением к таинствам, тем более трудно для человека, чем более сознательно и более добросовестно он относится к исповеданию своей веры.

Из всех законов о свободах это, несомненно, тот, который был самым необходимым, так как отрицание его сводит дело веры к пустой формальности или к гадкому лицемерию.

Не чем иным, как важностью, какую придавал Вл. Соловьев христианским таинствам, объясняется, что много лет он не общался и только в 1877 году решился сделать это в Липяговской церкви.

Мечтой Соловьева было воссоединение Церквей греко-православной и римско-католической: разница между этими исповеданиями действительно настолько незначительна, что если бы не догмат о папской непогрешимости, была бы возможность положительного решения вопроса. К сожалению, слова апостола: «Да будет едино стадо и един Пастырь» едва ли когда-нибудь осуществятся на земле. Пока дух сектантства грозит уступить место только полному неверию.

Вместо того чтобы по возможности сохранить все богословские догматы, большинство христианских исповеданий упирается именно на эти догматы и отказывается вникать в дух христианского учения, которое, несомненно, учит, что Бог один не только у христиан, но и у евреев, магометан и язычников.

Когда Соловьев в первый раз приехал в Липяги, у нас гостила родственница моей матери, которая, зная, что он в университете преподает философию, без церемонии спросила его: верит ли он в Бога?

— И в Бога, и в черта, — совершенно серьезно ответил Соловьев.

Хотя в некоторых случаях, особенно в стихотворениях, упоминание о черте имеет наполовину шуточный характер, из этого

было бы ошибочно заключать, что Соловьев совсем не допускал в природе злого начала. Правда, было время, когда он склонен был видеть во всем неразумном только меньшую степень реальности, но уже после написания книги об «оправдании добра» он говорил мне, что допускает в природе борьбу двух начал, нечто вроде вражды Ормузда и Аримана¹⁵, и, таким образом, его точка зрения была очень недалеко от той, которую я ему неоднократно высказывал.

В одном из самых ранних своих произведений Пушкин скорее угадал, чем понял эту точку зрения.

В стихах:

За счастьем вслед идут печали,
Печаль же — радости залог.
Природу вместе созидали
Бел-бог и мрачный чернобог.

Пессимизм, строго говоря, несовместим ни с деизмом, ни с рационализмом, — но кто из нас может сказать, что он сознает себя всецело причиною всех своих действий: не лежит ли множество этих действий вне сферы нашего сознания? А если так, то имеем ли мы право утверждать, что утверждение почти всех преступников из простого народа — «лукавый попутал» — есть простая отговорка?

Помню публичную лекцию, на которой Соловьев так увлекся, что назвал учение о вечных мучениях гнусным догматом. Действительно это, слава Богу, не догмат, так же как не догмат и то, что вне нашей Церкви нет спасения.

Действительно, если, как говорит Шиллер, сама история есть Страшный суд, — кто знает, через сколько превращений должен пройти еще человеческий дух, прежде чем сделаться способным к другой, нематериальной, форме бытия? Ясно, что дарвинизм, уничтожая границы пространства и времени, может допустить какие угодно организмы и какие угодно превращения без малейшего опасения быть опровергнутым, пока никто не может продемонстрировать атома.

...Но возвращаюсь к пребыванию Соловьева в Липягах.

Так как с 1877 по 1890 год он был у меня несколько раз в разное время года, то я могу сообщить только более или менее случайно оставшиеся у меня впечатления.

Один раз (не помню — в каком именно году) мы отправились верст за шестьдесят на утиную охоту, оставившую во мне года за три перед тем самое приятное впечатление: я тогда уже очень не любил ходить пешком, а прогулка по озеру, поросшему ка-

мышами, по водяным аллеям, ведущим к нему, независимо от количества дичи, представляла большую прелесть. К нам присоединились два или три настоящих охотника, в том числе и один студент Московского университета — медик.

Хорошо помню разговор между ними на постоялом дворе.

— А правда говорят, Владимир Сергеевич, что вы индивидууй?

— Такой же, как и вы, — ответил Соловьев, с трудом удерживая свой серьез.

Будущий врач не отличал медиумов от индивидуумов; он же полагал, что у него «все философии» собраны, потому что он вызывал их из газет.

Справедливость относительно Московского университета требует сказать, что, кажется, далее первого курса он не пошел; но тогда уже существовали экзамены зрелости: каковы же должны были быть гимназии, выдававшие эти аттестаты?!

Путем постепенного освобождения от всякой дисциплины в гимназиях, само собою понятно, что в университетах оно должно было превратиться в политиканство при готовности заниматься всем чем угодно, только не предметами избранного факультета. Что касается Соловьева, то когда он был доцентом, он принял за правило ставить всем пятерки. Основанием для этого правила он считал невозможность преподавания философии.

Действительно, как ни смотреть на задачи отдельных отраслей философии, несомненно, что в конце концов она должна привести к теории познания и упереться в вещь о себе, отличие которой от явления может даваться только верою.

В 1879 году мы собрались ехать в Липяги вместе с Соловьевым, но прежде чем направиться на Моршанско-Сызранскую жел[езную] дорогу, решили заехать в Тамбов, где в это время должно было быть земское собрание.

Я помню неожиданный эффект, произведенный моим заявлением, что едва ли своевременно поздравлять государя императора с двадцатипятилетием благополучного царствования, в то время когда одно покушение следует за другим и когда сам государь, по-видимому, ищет опоры у общества, — а земские собрания, вместо того чтобы дать эту опору, насколько это тогда от них зависело, стараются, пользуясь трудным положением, выпрашивать у него новые льготы. Соловьев тогда написал статью в «Московские ведомости» по поводу моего доклада тамбовскому губернскому собранию. Не помню, почему она не была напечатана.

По окончании земского собрания мы отправились в Липяги, но, подъезжая к Пачелме, от которой до дома было еще более

шестидесяти верст, я начал серьезно беспокоиться, так как был декабрь месяц, мороз стоял жестокий, а у Соловьева не было с собой ничего теплого; но он утешался мыслью, что «Бог не выдаст — мороз не съест», — и ожидание его совершенно неожиданно оправдалось. Не успели мы выйти в Пачелме, как ямщик, привезший в возке одну соседку, предложил нам доставить нас обратно.

Вообще, несмотря на то что Соловьев не был крепкого здоровья, он никогда не берегся. Раз я предложил ему — это было летом — пройти пешком до большого пруда, на котором стояла лодка или, точнее, душегубка; не успели мы в нее усесться, как Соловьеву пришла мысль взять ножную ванну; он снял сапоги и перекинул ноги за борт; пруд был глубокий, лодка валкая, и, во всяком случае, он рисковал простудиться, если бы я не уговорил его вернуться домой ускоренным аллюром.

Соловьев если и не придавал серьезного значения снам, то и не относился к ним безразлично, часто запоминал их и любил иногда рассказывать.

У меня в памяти остался рассказ сна, который привиделся ему, когда в 1890 году мы вместе с ним гостили в Красном Роге у графини С. А. Толстой.

Он видел себя в море, на корабле, беседующим с капитаном... Соловьева поразило, как быстро они двигаются вперед, на что капитан ответил ему: «Разве вы не знаете, что течение времени, сливаясь с течением волн морских, производит его ускорение?»

В другой раз он, видя приближающегося к нему покойного проф[ессора] Юркевича, вежливо осведомляется у него, не на Ваганьковом ли кладбище он похоронен.

Рассказывая это, Соловьев заливался заразительным смехом со всхлипыванием, так хорошо известным всем знавшим его.

Он чрезвычайно был рассеян, и рассеянность его увеличивалась особенно, когда он занят был какой-нибудь новой мыслью или сочинением. Глядя на мою жену, которая в это время смотрела в черепаховый лорнет, и обдумывая что-то, Соловьев неожиданно воскликнул:

— Ах, как жаль!

Жена, опустившая в это время лорнет и видя, что он на нее смотрит, спросила его: что случилось?

— Я думал, что это у вас такие прекрасные черные глаза, — ответил он и затем попросил жену еще раз взглянуть на него в лорнет.

Однажды в гостинице «Франция», когда Соловьев утром пил кофе, к нему в номер пришел знакомый, посидел немного и стал прощаться. Соловьев вышел его провожать в коридор, бессозна-

тельно запер свою дверь на ключ и положил его в карман. Поговорив со знакомым еще в коридоре и окончательно распростившись с ним, он направился к своей комнате, но она оказалась запертой. Соловьев постоял под дверью, с досадой вспоминая о запертой в комнате чашке кофе, и решил ждать, пока дверь отпрут. В ожидании он принялся ходить взад и вперед по коридору. Я его застал за этим занятием.

— Что ты здесь делаешь? — спросил я его.

Он объяснил, в чем дело.

— Так почему же ты не попросишь отворить дверь и не спросишь себе другой чашки кофе?

Соловьев, как ребенок, обрадовался простому разрешению этого вопроса и закатился своим смехом.

Курьезный случай был с ним однажды на Финляндском вокзале. Была сильная гроза. Соловьев подошел к кассе взять билет и протянул кассиру рублевую бумажку. В эту минуту молния ослепила ему глаза, и одновременно раздался оглушительный удар грома.

Не видя перед собою кассира, который от неожиданности присел, Соловьев окликнул его:

— Вы живы?

— Жив, только рубль потерял, — изнутри отвечал кассир.

Странно то, что, вынув потом часы, чтобы справиться с временем, Соловьев поражен был, увидав, что серебряный ключик от золотых часов, висевший у него на серебряной цепочке, оказался заново вызолоченным. Этого факта Соловьев никак не мог себе объяснить.

Всем, кто помнит Владимира Сергеевича, памятна его наружность. У него было одно из тех лиц, мимо которых нельзя было пройти, не обратив на него внимания; останавливали на себе глубокие глаза и длинные волнистые волосы, обрамлявшие высокий лоб, — но особенно поражал его взгляд.

Необыкновенная наружность его производила впечатление не только на взрослых, но и на детей.

Дочке моей, когда ей было два года, достаточно было увидеть портрет Соловьева, чтобы потянуться к нему, как к образу, желая приложиться; при этом она с благоговением произносила: «Бог».

Как ни разубеждали ее жена и няня, что это — не Бог, а папин друг, каждый раз при виде портрета Соловьева неизменно повторялась та же история.





Н. А. МАКСШЕЕВА

Воспоминания о Вл. С. Соловьеве

Это было для меня время нравственных исканий, жажды веры и идеала. Из выдающихся людей около меня был один яркий, глубоко даровитый писатель и вечно мятущийся человек (Н. С. Лесков). Он только волновал, но не умиротворял мою душу — до того это была бурная, при своих с лишком пятидесяти годах неуравновешенная натура. Мне нужен был кто-то, могущий вывести меня из леса сомнений на прямой путь.

И вот мне попадает в «Вестнике Европы» одна из статей Вл. Соловьева, вошедших потом в его «Оправдание добра»¹. Идея о неприкосновенности человеческой личности обдала меня струей живительного свежего воздуха. Личность автора заинтересовала меня. Мне и раньше приходилось читать некоторые из его статей, но ясного представления о нем как о писателе у меня еще не было, и мне захотелось узнать, каков же этот человек, проникнутый евангельским духом и горячей жаждой истины.

Я расспрашивала о нем Лескова: тот определил его как девственника и вегетерианца. Когда я восторгалась статьей Соловьева, Н. С. спросил меня:

- Чем, собственно, она вам нравится?
- Своим христианским характером, — ответила я.
- Это неопределенно, — сказал Лесков, — ее значение в том, что в ней вера отделяется от нравственности.

На выставке в Академии художеств я видала бюст Соловьева в молодые годы, его задумчивое чело и мужественную голову, — и образ этого мыслителя становился для меня все более и более привлекательным. Однажды, возвратившись с лекции П. И. Вейнберга² о Фаусте, я написала Вл. С. горячее письмо: я говорила ему о нравственном холоде и тоске человека нашего времени, проникнутого материалистическими взглядами в области мысли, удрученного милитаризмом и гнетом в сфере общественно-

государственной. «Ваши слова являются лучом солнца, упавшим в темный подвал. Спасибо за них, большое спасибо».

Я отправила письмо в редакцию «Вестника Европы» и долго не получала никакого отклика, что меня и не удивляло: могла ли я надеяться привлечь внимание такого известного, погруженного в труды писателя?

21 февраля 1896 года умер Н. С. Лесков. Я чувствовала, что порвалась моя единственная связь с заманчивым литературным миром. Случилось не так: на свежей могиле Лескова для меня выросли цветы. Я была убеждена, что Соловьев будет на похоронах известного писателя, своего хорошего знакомого. В небольшой сумрачной церкви на Волковом кладбище, где отпевали Н. С., я увидела высокого худощавого человека, с головой, обрамленной вьющимися седыми волосами, с узкой темной бородой, с глазами, словно проникающими в какую-то неведомую даль, за пределы земного. Он стоял, погруженный в молитвенное созерцание. Я заметила, что он часто хмурился, как будто под натиском глубоких дум. Когда закрывали могилу, я подошла к своему закому, В. П. П-му, и попросила его познакомить меня с Соловьевым, с которым, я видела, он разговаривал на кладбище. «А позвольте узнать — вы верующая?» — озадачил он меня вопросом. «Я ищущая», — ответила я ему. Он исполнил мое желание. «Вл. С., я взяла на себя смелость писать вам, — сказала я Соловьеву. — Я знаю, вы так заняты, что я не могла рассчитывать на ответ». — «Куда вы писали, в Финляндию?» — «Нет, в «Вестник Европы»». Он спрашивает фамилию, я называю. Тогда он вынимает из кармана письмо и подает его мне. «Так я вам написал ответ и сегодня как раз хотел его отправить». Я радостно взяла это письмо, ниспосланное мне самой судьбой. «Вл. С., нельзя ли к вам прийти когда-нибудь побеседовать?» — обратилась я к нему. «Отчего же, только ведь я здесь не живу. Лучше я к вам приду», — любезно ответил он и записал мой адрес. «Обидно будет, если вы меня не застанете». — «Тогда я приду в другой раз, на Сергиевской я часто бываю». Условились, что он мне напишет. Нечего и говорить о моем восторге. Затем мы заговорили о покойном Н. С.; я выразила скорбь по поводу его кончины. «Жаль старика...» — вырвалось у меня. «Что делать!» — промолвил П., заметив, что все в этой болезни как бы подготавливало конец. Я передала Вл. С. свой набросок о Лескове, вылившийся у меня под свежим впечатлением его смерти. Затем мы разошлись. Я тут же, на кладбище, прочла заветное письмо.

Многоуважаемая Наталья Алексеевна. Вот запоздалое спасибо за ваше доброе и умное письмо. Прошу вас верить, что разме-

ры моей душевной признательности за вашу симпатию значительно превышают размеры этой записки. На большую часть получаемых мною писем я вовсе не отвечаю, и чтобы вы меня не осудили, вот список работ, лежащих на мне в настоящее время:

1) печатаю «Нравственную философию»; 2) готовлю к печати метафизику; 3) *idem*³ эстетику; 4) *idem* об антихристе; 5) пишу статьи о русской политике; 6) редактирую философский отдел в энциклопедическом словаре Брокгауза—Ефрона и большую часть в этом отделе пишу сам; 7) обещал участвовать в разных благотворительных сборниках и чтениях, редактировать чужие переводы и т. д.

Все это я должен делать своими руками, не имея никакого вспомогательного инструмента вроде жены, секретаря и т. п. К тому же, приезжая в Петербург, могу работать только ночью, так как днем или езжу по своим и чужим делам, или принимаю у себя в гостинице разный народ. Вот и сейчас уж кто-то стучится.

Еще раз спасибо за Ваше милое письмо.

Душевно преданный Влад. Соловьев.

Недели через две после моей встречи с Вл. С. мне пришлось слышать его чтение у С-х. Приглашительного билета у меня не было, к тому же я опоздала и мне пришлось стоять в дверях, так что я слышала лишь часть речи С-ва. (Этот реферат его — о средневековом миросозерцании — напечатан в январской книжке журнала «Вопросы философии и психологии» за 1901 год.)

Но все же скажу, что замечательное получалось впечатление. Зал был переполнен светскою толпой. Нарядные дамы, кавалергарды внимали проповеди изможденного аскета, повествовавшего об отступничестве средневековой Церкви от своего главы — Христа. «Вы пошли не по пути Андрея Первозванного, но Иуды Искарота», — говорил он, рисуя историческую картину, как отрехшиеся от Христа революционеры, атеисты стали ближе ему по духу, нежели его мнимые последователи.

— Но придет время, когда Фома воскликнет: «Господь мой и Бог мой!» — время, когда и сомневающийся воззовет: «Верую, Господи, помоги моему неверию!..»

В толпе царило благоговейное молчание. Когда я увидела согбенного философа, шедшего под руку с хозяйкой дома, он имел изнеможенный вид.

Наконец мне выпало великое удовольствие принять Вл. С. у себя. Это было 8 марта. Он пришел довольно поздно, часу в 11-м. Наша семья сидела за чайным столом. Разговор коснулся современного властителя дум, Л. Н. Толстого. (Тогда только что вышел его «Хозяин и работник».)

— Он имеет громадный обличительный талант, — заметил Вл. С., — его глаз видит мельчайшие пятна. Но у Толстого никогда не было исторической перспективы, понимания истории.

Коснулись статьи Толстого об эмпирической нравственности⁴. Я сказала, что меня не удовлетворяет отношение Толстого к науке, которую он подразделяет на еврейскую, средневековую и т. п., между тем как наука, в смысле стремления к истине, несмотря на все свои уклонения, одна. «Ну да, Толстой понимает науку в смысле нравственного отношения к жизни, а не как мы понимаем ее», — пояснил Вл. С. «Ведь Толстой считает бесполезной деятельность астронома, открывающего звездочку», — заметил П-ий, на что С-в возразил: «Все дело в силе и способности ученого: один открывает звездочку, а другой — мировые законы, как какой-нибудь Коперник».

Я попросила Вл. С. объяснить мне затронутые им в слышанном мною чтении вопросы о Троичности и двух естествах Христа. Он ответил, что в нескольких словах этого не передать, что, вообще, напрасно он касался этих вопросов. Я наивно спросила: «Надо много прочесть, чтобы усвоить себе это?» — «Прочесть или передумать», — ответил он. По его мнению, нет надобности в знании догматических тонкостей. Он вкратце развил взгляд на Бога в индийском миросозерцании, в мусульманском, в христианском. В индийском — Бог все собой поглощает; все сводится к ничему, последняя степень которого есть нирвана. В мусульманском мировоззрении Бог не представляется благом; наоборот, добро хорошо потому только, что оно от Бога. Является, таким образом, признание деспотизма. В христианстве Бог абсолютно благ.

Вл. С. перешел к вопросу о Триединстве, но, заговорив о бытии, действии и сознании, вдруг приостановился и, мило улыбнувшись, сказал, что таких предметов легко касаться нельзя: они слишком высоки. Со временем, когда мы поближе познакомимся, можно будет о многом побеседовать. Я заметила, что с таким человеком, как он, не хочется говорить об итальянской опере, а хочется у него чему-нибудь научиться. Он опять мило улыбнулся, но своих взглядов более не развивал, а обещал еще зайти и дать мне свою книгу о Богочеловечестве. Мы как-то перешли к Ренану⁵, которого Вл. С. знал лично и определил как поверхностного мыслителя и чисто французского фантазера. Он привел в пример характеристику Марии Магдалины: в ее поклонении Учителю Ренан видит романтическую любовь. «Это даже неверно исторически, — заметил Вл. С., — потому что в то время любовь понимался иначе: романтизм есть продукт христианст-

ва и средних веков. Вместо того чтобы пересоздать веру, Ренан отринул ее совсем и не пришел ни к какому выводу. “*Vie de Jésus*”⁶ недостойна трактуемого ею предмета». Опять мы перешли к Толстому. «Да, это отрицательный ум, — повторил Вл. С. — Он показывает в художественно ярких картинах, что современная Церковь, государство, семья нехороши, и отсюда заключает, что они совсем не нужны. Между тем это крайняя односторонность. Оттого, что неверующий священник совершает литургию, таинство не менее действительно». Когда Вл. С. заговорил о таинстве, о его реальности, я была поражена: в то время какой бы то ни было мистицизм мне казался несовместимым с философией. Цenia в С-ве исключительно философа, я не знала его с религиозной стороны; между тем она-то и составляет ядро его мировоззрения. И когда я сказала ему: «Ну да, понимая таинство символически?» — он ответил: «Нет, в настоящем его смысле». «В чем я согласен с Толстым, — продолжал Вл. С., — это в том, что когда человек умирает, значит, пришла пора ему перейти в высшее состояние». Я еще более изумилась. «А как же души умерших младенцев?» — спросил его П-ий. «Я допускаю, что душа грешника переходит в рождающегося младенца, чтобы, пострадавши, очиститься от грехов. Впрочем, это уже метафизика», — заключил он, как обыкновенно, когда заходил в слишком дремучие леса мысли.

Вл. С. оставался у нас недолго; он пошел к своему приятелю, художнику Ярошенко, жившему в том же доме, и обещал зайти в другой раз. Его беседа произвела на меня сильное и вместе с тем странное впечатление: как будто меня коснулась таинственная рука. В мистическом освещении представлялся мне этот отшельник, живущий среди скал Финляндии, у шумящего водопада (он жил в то время близ Иматры). Я чувствовала себя бредущей в северную лунную ночь, и мне было как-то не по себе: мне хотелось видеть весь мир в солнечном освещении мысли, чтобы лучи ее проникали во все закоулки бытия. А эта область таинственного, затрагиваемая философом, казалась мне чуждой и мрачной. В моей душе происходил внутренний разлад, но я живо чувствовала, что видела нечто необыкновенное...

23 марта мне пришлось слышать чтение Вл. С. об А. Толстом в доме одного из министров. Это был литературно-музыкальный вечер, еще более оригинальный, чем у С-вых: там происходила проповедь христианства в светском собрании, здесь — выяснение идеала свободы в доме русского министра. С покойным А. Толстым С-ва соединяло чувство личной дружбы; он отметил высокий нравственный облик, христианское чувство его поэзии.

Идеалист в политике, как и в жизни, Толстой был поклонником Киевской Руси и ненавистником Московской, приверженцем истинной свободы во всех областях мысли и человеческой деятельности. Но такое глубокое ее понимание, вне партий и лагерей, сделало его одиноким, поставило его «против течения», т. е. против толпы, какая бы она ни была: уличная или светская. Соловьев закончил свою беседу гимном свободе и выражением веры в отечество, которое, надо надеяться, изберет себе ее путь.

Гром аплодисментов покрыл его слова. Во время его чтения электричество потухло, потом опять вспыхнуло, и именно в подходящий момент, когда говорилось о мраке и свете на Руси. Впоследствии мне не раз приходилось слышать из уст С-ва слова как бы в сторону, относившиеся не к самому предмету его чтения, а к современному положению родины. Это было нечто вроде воззвания к исправлению, вставленного в изображение вспоминаемого события или лица.

В этот вечер Вл. С. имел большой успех: он был окружен, как светская красавица. Мой сосед сказал его сестре (Allegro): «Ваш брат входит в моду». Пожалуй, что это мало подходящее к знаменитому философу выражение было верно: его приглашали на расхват и в литературные, и в аристократические дома. Я слышала от одной светской дамы, отличавшейся эксцентричным характером и артистическими вкусами, о ее желании пригласить к себе С-ва. «Я так хотела бы познакомиться с каким-нибудь знаменитым философом», — говорила она, рассказывая о своем влечении к философии, интересе к Платону и т. д. И я думаю, что тут было не одно любопытство: среди своей суетной жизни она чувствовала потребность в философе, как больной — в священнике.

В описанный мною вечер, выходя из обширных зал министра, я уловила момент, чтобы пригласить к себе Вл. С. Он назначил следующий день.

По возвращении домой я провела полночи за письменным столом; под впечатлением вечера у меня вылилось следующее стихотворение:

Осветила заря эту темную даль...
Уж казалось, не будет рассвета,
И придется душе от тоски изнемочь,
Не услышав ни слова приветя.

Но живительный голос раздался в ночи,
Возвещая слова упования,
И мы жадно внимали свободной речи
После мук затаенных молчанья.

Этот голос вещал, что на свете есть Бог,
Что любовь есть всей жизни основа,
Что из всех пролегающих в мире дорог
Лишь свобода есть путь для благого.

На следующий день Вл. С. пришел часа в четыре и согласился на мою просьбу отобедать у нас. Я знала о его вегетерианстве; обед был постный, к тому же это было великим постом. Садясь за стол, Вл. С. осенил себя крестным знамением. Никогда он не казался мне более милым, простым и доступным. Среди оживленного разговора он приводил цитаты из своего любимца Козьмы Пруткина. Заговорили о вчерашнем вечере. С-в передавал, что министр остался им недоволен, попенял ему, зачем он читал неподходящие вещи. «Удивляюсь, — заметил С-в, — зачем же он тогда согласился на выбор А. Толстого?» Вспоминая о вечере у С-вых, Вл. С. спросил, не показалась ли странной его проповедь среди салона. Я с затаенным волнением предложила Вл. С. прочесть мое стихотворение, написанное ночью. «А это не слишком лестно для меня?» — шутливо спросил он и стал читать. «Вообще очень правильный у вас стих и такой гладкий, хороший», — заметил он и взял стихи себе на память. Я предложила ему выслушать еще одно стихотворение, посвященное памяти Герцена (напечатанное десять лет спустя во «Всемирном вестнике» за 1905 г.)⁷. Завязалась беседа о Герцене. Вл. С. отозвался о нем с симпатией, как о большом таланте. «Еще недавно мне попались его “Письма об изучении природы”, — сказал он. — Мне понравилось его изложение истории философии. Но странно, что Герцен, будучи в душе идеалистом, поборником свободы и гуманности, не пришел ни к какой религии, остался при материалистических взглядах».

Я чувствовала все большее желание высказаться перед Вл. С. относительно своих религиозных взглядов. Я сказала ему, что испытываю порою религиозную жажду, признаю что-то высшее, но не могу принять разумом чуда. «Что вы называете чудом?» — спросил он меня. Я привела пример насыщения пятью хлебами пяти тысяч человек. С-в заметил, что не берется объяснить всякое евангельское чудо, потому что, по его мнению, не все рассказы о чудесах проверены критикой. Он понимает чудо как явление до сих пор необычайное, но которое будет естественным в будущем. Зарождение клеточки в неорганическом мире было тоже своего рода чудом. Весь мир подлежит законам, но одни из них доступны нашему пониманию, другие же еще не исследованы. Воскресение Христа нам кажется чудом, потому что это первое из явлений нового порядка вещей, ожидающего людей при

втором пришествии. Это полное торжество духа над материей, а Преображение — подготовительная к нему ступень. «Но к чему тут такое чисто физическое явление, как сияние лица?» — спросила я. «Разве ваше лицо не оживится, не просияет при какой-нибудь радостной вести? А у Христа это духовное сияние произошло под видом Преображения», — был ответ Вл. С.

Хотя Вл. С. и говорил, как часто досужие посетители нарушают его одиночество, но мы с П-м выразили желание навестить его в Раухе (близ Иматры) и получили милое приглашение. А я его просила летом собраться в нашу деревенскую глушь (в Новгородской губернии). Меня сильно влекло посетить поэтическое убежище Вл. С., побеседовать с ним о вечных вопросах посреди суровой финляндской природы. Но моя мечта не осуществилась, потому что как раз в это время Вл. С. неожиданно переехал в Петербург. Это было в начале мая; мы с ним опять увидались. В ожидании его я набросала длинное стихотворение под заглавием «Отшельник» и еще следующее короткое:

Как путника в палящий зной
Манит источник средь пустыни,
Искала я душе святыни.
Когда же ключ воды живой

Передо мною заструился,
Я в Бога веру обрела,
И средь страдания и зла
Мой дух Всевышнему молился.

С-в на этот раз оставался с нами недолго.

Долго после этого нам не пришлось видеться. Напрасно я ждала его летом: усиленные занятия помешали Вл. С. заглянуть в наш уголок.

Затем, поглощенный своим «Оправданием добра», он поселился в Царском Селе, замкнулся в своем убежище, и мы с ним всю осень и зиму не видались. Он мне передал через П-го, что не чувствует в себе таланта педагога, чтобы руководить чьим-нибудь философским развитием. А я так надеялась прослушать из его уст развитие новой философии... Тоска во мне все усиливалась, обострялась.

Вот образчик ее выражения в стихах:

На груди скрещены мои руки,
На душе — неотвязный вопрос,
Голова тяжелеет от муки,
Затуманились очи от слез.

Я нуждаюсь в живительном слове,
Одинока я в жизни, поверь...

И как путник, просящий о крове,
Я несмело стучусь в твою дверь...

В своих беспокойных исканиях я направлялась в сторону Л. Н. Толстого. На Новый год у меня родилось стихотворение, посвященное «пророкам», т. е. обоим нашим избранникам.

Почти одновременно с Вл. С. весной 1896 года я познакомилась с одним из учеников Толстого, П. И. Бирюковым⁸. Я видела его в первый раз в маленьком кружке читающим изложение своей веры. Идеалом выступался подвижнический аскетизм, условиями счастья — жизнь в деревне, среди здорового труда, без денег и собственности. Не соглашаясь с идеями Бирюкова, я тем не менее почувствовала нравственное обаяние его личности и сразу с ним по душе разговорилась. Он радушно пригласил меня в свою костромскую усадьбу, если я интересуюсь образом жизни людей его взглядов. Я позвала его к себе; он пришел на следующий день. Для меня Бирюков представлял живейший интерес как наглядный выразитель толстовского вероучения и как близкий к Л. Н. человек. Не будучи согласна с нравственно-социальным устройством жизни по этому вероучению, я не могла не чувствовать духовной высоты самого Бирюкова: меня трогали его искренность, убежденность и душевная чистота. И вот, когда зимою я почувствовала внутренний разлад и жажду куда-нибудь приложить свои силы, я написала в Москву, в редакцию «Посредника», предлагая Бирюкову свое сотрудничество и намечая при этом подходящие для разработки темы. Бирюков ответил мне очень сочувственно, излагая вкратце программу своей издательской деятельности. Он одобрял мои темы и предлагал разработать эпоху вроде крестовых походов или Возрождения. Я предполагала заняться этим вопросом за границей, куда собиралась поехать. До отъезда мне удалось свидеться с Вл. С. Встреча наша была случайная — на вокзале в Царском. Я робко подошла к нему: у меня было затаенное чувство, что он за что-то мною недоволен. Но это было только воображением. Он заговорил со мной, по обыкновению, приветливо. Дорогой я рассказала Вл. С. о своем проекте и просила у него указания на источники. Он обещал прислать мне в подарок диссертацию Карелина об итальянском гуманизме⁹, что и исполнил. Разговор у нас не лился потоком; наоборот, мы долго молчали и смотрели в окно, на очертания облаков, озаренных золотистым багрянцем. Вечером я пошла на двенадцать Евангелий; это был великий четверг. Вл. С. одним своим присутствием настраивал меня религиозно. После долгого ряда сомнений я почувствовала смутный порыв веры и выразила его в стихотворении, которое и послала С-ву.

Чувство веры и покоя
В душу просится мою.
В этом мире есть святое,
Я всем сердцем признаю!

И опять на жизнь готова,
Я пускаюсь в дальний путь,
Постоять за правды слово,
Закалив броней грудь.

Пусть же в праздник воскресенья
Мне звучит надежды глас,
Что для мира есть спасенье,
В нем светильник не угас.

19 апреля я опять поехала в Царское. У меня явилось сильное желание навестить Вл. С. в его одинокой келье, и я направилась к розовому домику на Церковной улице. Я застала его в небольшой, заваленной рукописями комнате, одетого в пальто, по-видимому за работой. Это был удачный визит: Вл. С. дал мне на память свой портрет с собственноручной надписью.

Через некоторое время Вл. С. заехал ко мне проститься: в мае я уезжала за границу. Гуляя по залу, он заметил цветы у окна и, подошедши, стал нюхать гиацинт. Я предложила ему сорвать цветок. «Зачем, оставьте, ведь он живет», — остановил он меня, и я почувствовала в нем религиозного созерцателя живой природы. Вошла моя мать. Вл. С., здороваясь, поцеловал у нее руку. Это меня удивило и тронуло: очевидно, он, аскет, хотел почтить в ней материнство. Заговорили о предстоящей коронации; мама ужасалась, чего это будет стоить народу, и зачем? «Это необходимо по понятиям того же народа», — заметил Соловьев. Прощаясь, он спросил меня, куда именно я еду. Я ответила, что в Северную Италию, в окрестности Генуи. «Теперь еще ничего, а уж в мае там невыносимо будет из-за цветов, так они ароматичны, — сказал Вл. С., — я положительно не мог спать, когда мне пришлось быть в это время в Италии». Помню, в другой раз он презабавно рассказывал, как где-то, чуть ли не в Ницце, за табльдотом разбирали его наружность, не зная, к какой его отнести национальности: кто принимал его за итальянца, кто за испанца, еще кто-то за еврея, а по профессии — за художника.

Я уехала за границу. С разными людьми пришлось мне там столкнуться, но я чувствовала, что второго, как Вл. С., нет на искушенном сомнениями Западе.

Осенью я вернулась в Петербург и скоро увиделась с Вл. С. в Царском Селе у одного из наших общих знакомых. Мы соверши-

ли втроем прогулку по чудному Царскосельскому парку, разговор как-то коснулся мистицизма и проф. Вагнера¹⁰. Вл. С. отождествлялся о Вагнере как о человеке, глубоко посвященном в сущность вопроса о потустороннем мире.

За чаем в тот же вечер Вл. С. рассказывал про явление ему дьявола, о чем он упоминает и в одном из своих стихотворений. «Ехал я на пароходе; вдруг почувствовал, как что-то сдавило мне плечи; я увидел белое туманное пятно и услышал голос: “А, попался, длинный, попался”. Я произнес самое сильное заклинание, какое существует: “Именем Иисуса Христа Распятого...” Дьявол исчез, но весь день я чувствовал себя разбитым». Признаюсь, мне было тяжело это слышать. «Зачем он, философ, распространяет предрассудки?» — думала я, объясняя себе его повествование чистой галлюцинацией, что было возможно при его повышенной нервности. Вл. С. продолжал рассказывать о сверхъестественных ему явлениях: как однажды ночью он увидел трех женщин в платках, одетых богомолками, которые стали перед ним на колени и поклонились ему. «Это были души умерших, просившие поминовения, — сказал он. — Три ночи подряд они мне являлись».

После этого я больше года не видала Вл. С. Не видя его, я тем не менее следила, где он находится, и получала от него отписки его статей.

Мне пришлось увидеть его на торжестве русской мысли и его собственном, именно на открытии Философского общества в Петербурге¹¹. Зал университета кишел народом; и публика, и масса молодежи сошлись приветствовать новорожденное общество и знаменитого представителя русской философии. Раздались громкие аплодисменты, когда на кафедре показалась высокая худощавая фигура этого выходца из эпохи первых веков христианства. Он начал с выражения радости, что находится опять в дорогих ему стенах университета, бывших для него закрытыми вот уже шестнадцать лет (с 1881 г., после его знаменитой речи о смертной казни). Темой его была жизненная драма Платона. Вл. С. заговорил о трагическом моменте в жизни великого философа, когда «погиб отец, погиб праведник» и вера Платона в добро и правду должна была пошатнуться. Какая же сила спасла его от упадка духа, от измены заветным идеалам?.. Недолго говорил наш философ, почувствовав трудность держать речь в большой зале, в многолюдном собрании. Он отвык от кафедры в своем уединении. Извинившись перед заинтересованной аудиторией, он сошел с кафедры и удалился. Почитатели ждали его в коридоре и сочувственно пожимали ему руки.

Он продолжал свою беседу о Платоне в Кредитном обществе. Основная идея его была та, что после смерти учителя Платона подкрепляла идея любви, покамест — только под видом эроса, в античном понимании ограниченного, но содержавшего задатки дальнейшего развития. Если бы Платон был последователен и пошел дальше, он приблизился бы к самой сущности Христова учения. Но он остановился на полпути, изменив по духу своему учителю — Сократу. Беседа об эросе носила мистический характер, малопонятный для непосвященного ума. И сама я это чувствовала, и слышала подобные же суждения в публике.

Осенью 1898 года я опять слушала Вл. С. в Философском обществе: он читал о Белинском, память которого чествовалась весной того года. Обрисовав вкратце гуманитарную роль этого праведника, Вл. С. поставил ему в укор некоторую непоследовательность. Этот «муж желаний», проповедник гуманности и жизненного христианства не развил своих философских воззрений до настоящей веры. А себя Вл. С. упрекнул за то, что в прежние годы, увлекаясь неразрешимым пока вопросом о соединении церквей, он упускал из виду более насущные интересы современности, которым служил Белинский. Это было как бы публичное покаяние общественного деятеля, вернувшегося к жизненной деятельности. «*Mea culpa, mea maxima culpa!*»¹² — вскрикнул он. Еще и теперь многое из чаяний Белинского осталось неисполненным, и заветы его для нас должны быть святы. Осуществление их не обходится без жертв, но надо стремиться к тому, чтобы благо родины достигалось с наименьшим их количеством и с наибольшей полнотой.

Свою беседу Вл. С. закончил обращением к русскому обществу с пожеланием, чтобы оно не остановилось на своем равнодушии к религии. «Бог даст, — говорил он, — настанет время, когда истинная вера в Бога живого осенит, одухотворит и нашу родную землю». Вспоминая людей 40-х годов, Вл. С. коснулся Герцена, упрекнув его за эмиграцию, за жизнь вне родины. Сопоставив жизненную драму Платона с художественной — Шекспира, философ отдал предпочтение, по внутренней правде и полноте, первой, приведя слова покойного Фета: «Друг мой, поверьте, самый великий поэт и драматург есть Господь Бог».

Больше нам не пришлось уже свидеться. Вернувшись из Парижа весной 1899 г., я звала и ждала Вл. С., но он вскоре уехал в Москву, а затем за границу. А через год с небольшим его уже не стало.

В Париже мне случилось присутствовать на эпизодах дрейфусовской драмы¹³: на митингах и университетских лекциях, взы-

вающих к перестройке общественного здания. Слышала я блестящих ораторов, видела и горячих народолюбцев, и глубоких ученых, и политиков, и педагогов, но такого мыслителя и человека, как Вл. С. Соловьев, мне не пришлось, да и не придется никогда увидеть. Он жил и умер со словами: «Тяжела работа Господня...»





Л. М. ЛОПАТИН

Памяти Вл. С. Соловьева

Десять лет прошло с тех пор, как умер Вл. Соловьев, а если иметь в виду, как много испытаний, увлечений и страшных разочарований пережито русским обществом за эти десять лет, период, отделяющий нас от последних дней жизни Соловьева, невольно должен показаться еще гораздо более длинным. Во многих отношениях мы неузнаваемо изменились с тех пор, и в меру этой перемены отодвинулось от нас то, что занимало и волновало нас в годы вдохновенной деятельности Соловьева. Он и сам как будто ушел от нас далеко, но тем рельефнее обрисовываются для нас общие и основные черты его духовного облика.

Этот облик приобретает тем большую яркость, чем менее он похож на все, что мы видим перед собою теперь. Вл. С. Соловьев представлял чрезвычайно сложную — или, как теперь любят выражаться, многогранную — и в то же время очень цельную натуру. В нем сочетались, казалось бы, несовместимые противоположности, и все же образ его поражал единством основного тона и наглядно воплощал в себе одно общее коренное настроение. Глубокая религиозность с раннего детства и через всю жизнь, за исключением краткого перерыва в годы юности, — и полное свободомыслие. Напряженная сосредоточенность мощного и замечательно оригинального философского ума на самых трудных и возвышенных проблемах жизни и знания — и чрезвычайная общительность, делавшая его незаменимым собеседником, отзывчивым товарищем, задушевным и любящим другом. Редкая самобытность мысли, с ранних лет заставлявшая его на все смотреть по-своему, — и удивительно развитая способность усвоить и проникаться чужими взглядами, лежавшая в основании его громадной начитанности в самых разнообразных областях, которая давалась ему как будто сама собою, без всяких особых усилий с его стороны. По существу аскетический и

печальный взгляд на условия чувственного земного существования, соединенный с очень серьезной, искренней и строгой постановкой идеала душевной чистоты, — и ясная жизнерадостность, страстная пылкость темперамента, способность к беззаветным сердечным увлечениям, которые нередко проносились опустошающими бурями в его потрясенном духе. Мистическое прозрение в глубочайший смысл жизни, скорбное сознание ее внутреннего трагизма — и неиссякаемый юмор, светлая веселость, детски заразительный хохот, которого не забудет никто из знавших Соловьева лично. Изумительная терпимость к чужим мнениям, позволявшая ему близко сходить с людьми совсем другого умственного и духовного склада, чем он сам, — и горячий задор в спорах даже о незначительных предметах. Беспечность, доходящая до безалаберности, в устройстве своих личных дел — и трогательная заботливость о чужих делах, не только готовность, но и тонкое практическое умение помочь в чужой нужде. И много можно было бы привести еще таких же пар противоположностей, и все они так гармонически уживались в своеобразном единстве личности Соловьева, что его никак нельзя вообразить без них. И на всем этом лежала такая прочная и неистребимая печать внутреннего благородства, высшего аристократизма души, что он органически был неспособен подчинять свою волю каким-нибудь пошлым и низким побуждениям. Высокий строй духа был прирожден ему, и оттого в нем не поколебали его никакие житейские испытания и никакие перемены судьбы, и он донес его до могилы.

Таков был Соловьев как человек. В каких общих чертах рисуется нам в настоящее время его деятельность? И в этом отношении нас поражает его богатая многосторонность. Прежде всего это был очень крупный писатель: не только из русских философов никто не писал лучше его, он в этом отношении смело может выдержать сравнение с лучшими философскими писателями всех времен. С полным основанием можно сказать, что он создал образцовый русский философский язык, поражающий своею ясностью, меткостью, изяществом и простотою. Правда, он не сразу достиг такой высокой виртуозности философского изложения: в его первых вещах, быть может под влиянием его увлечения сочинениями корифеев немецкого идеализма, его язык иногда является чрезмерно отвлеченным, отдельные формулы кажутся загадочными и вычурными, некоторые диалектические переходы мысли представляются слишком сложными и даже искусственными. Но чем дальше развивалась его литературная деятельность, тем более он овладевал своим удивитель-

ным искусством слова. В произведениях последних лет жизни как стилист он никак не ниже Шопенгауэра. Возвышенный душевный подъем рядом с яркими вспышками благодушного юмора и беспощадной иронии, обаятельная оригинальность взглядов по всем задеваемым вопросам без всяких преднамеренных усилий быть оригинальным во что бы то ни стало, энергия и картинность оборотов речи, богатство и неожиданность сопоставлений, задушевная убежденность аргументации, глубина и простота мысли, захватывающий блеск полемических приемов — все это в них сплетается в одно неотразимое художественное впечатление. В своих «Трех разговорах» он дал такие прекрасные образцы столь часто и обыкновенно столь неудачно применяемой философскими писателями диалогической формы изложения философских выводов, что их можно сравнить с лучшими диалогами Платона. Вообще, в писаниях этого времени литературный талант Соловьева достигает своего высшего расцвета.

Лучший русский философский писатель, Вл. Соловьев одновременно был одним из лучших русских публицистов. По условиям своей литературной деятельности ему, конечно, приходилось реже выступать на публицистическом поприще, чем Каткову или Аксакову, но по таланту он был едва ли ниже их. Я не говорю уже о том, что в широте своих идеалов, в своем отражении ко всяким проявлениям самодовольного национализма, произвола и бесправия, в своих гуманных и либеральных симпатиях, в высоте своих нравственных требований от христианской политики и христианского социального строя он имел огромное преимущество перед сейчас названными публицистами, особенно первым из них.

Философ и публицист, Соловьев был в то же время поэт. Его стихотворения постигла своеобразная судьба. Он сам не придавал им значения, смотрел на них как на случайную игру своих настроений и даже как будто извинялся за них, когда издавал их в виде маленького сборника. Приблизительно так же относилась к ним и публика: в них видели что-то случайное, несерьезную забаву талантливого человека в чуждой ему области. Теперь уже невольно приходится глядеть на них иначе. Протекшее после смерти Соловьева десятилетие, несмотря на прихотливую смену литературных направлений и вкусов, оказалось над ними бессильным — они не потеряли своей красоты и свежести, они даже выросли и выдвинулись в своих оригинальных и крупных достоинствах. Физиономия Вл. С. Соловьева как поэта постепенно определилась и получила устойчивый облик: теперь он стоит пред нами как талантливый поэт-романтик в лучшем значении

этого слова. Ласкающая музыкальность стиха, оригинальность и богатство иногда загадочных образов, захватывающая искренность настроения, щемящая тоска о невозвратном прошлом, неожиданные молнии светлого смеха, глубоко прочувствованное разочарование пред картинами окружающей реальной жизни с ее ничтожеством, глупостью и жестокостью и томительные порывы к нездешнему миру в его нетленной красоте — вот что составляет непреходящий аромат поэзии Соловьева. Не могу здесь не упомянуть о юмористических стихотворениях Соловьева, его пародиях и шаржах, — в них он достигает такого совершенства, что к ним нельзя приравнять никаких других произведений этого рода в русской литературе, даже талантливых произведений знаменитой компании Козьмы Пруткова. Немногим писателям удавалось так забавно играть контрастами, так непринужденно соединять торжественное с заунывным, так незаметно переходить от искренних движений лирического подъема к их карикатурному преувеличению, с таким драматическим пафосом громоздить наивные несообразности и так пронизывать эти капризные создания своего необузданного фантазирования заразительной веселостью, которая неуловимо сливается с серьезной иронией над нелепостями человеческого существования. Вообще, я думаю, что если бы Соловьев родился на пятьдесят лет раньше и действовал в эпоху, когда трудно было сделаться философом по профессии, из него вышел бы крупный поэт из той блистательной плеяды, которая создала новую русскую литературу.

В наши дни Соловьев стал философом и проявил такую мощь и оригинальность мысли, которые во всякой более культурной стране надолго обеспечили бы ему широкую популярность и общее признание. Мне уже приходилось говорить раньше, что Вл. Соловьев был первым самостоятельным русским философом, что он создал свою собственную философскую систему, очень смелую по замыслу, тонко продуманную в своих подробностях, которую приходится ценить тем более высоко, что всем ее содержанием он шел против господствовавших в его время течений и не побоялся пробивать свой особый путь. Он подвергает глубокомысленной и чрезвычайно остроумной критике философские начала позитивизма, материализма, отвлеченного идеализма катковского и гегелевского типов и обнаруживает их несостоятельность и непригодность в качестве основ законченного мирозерцания. Он показывает, что чувственный мир дает нам только наши собственные субъективные переживания, наши ощущения и восприятия, которые ничего нам не говорят о реальности вещей вне нас; что, с другой стороны, наш разум, по-

сколько мы захотим искать истины в его чисто отвлеченной деятельности, ничего не доставляет нам, кроме искусственных абстракций, которые также ничему нас не научат о действительном существе вещей. Он показывает наконец, что истинная реальность не может заключаться во внешних материальных свойствах предметов — в их протяженности, непроницаемости и подвижности, потому что внешность есть понятие относительное, — потому что все внешнее подразумевает внутреннее, — потому что в основе всякой внешней принудительной силы, как ее неизбежно мыслимый коррелят, лежит самоопределяющаяся внутренняя сила. Ничто объективное невозможно без субъекта, ничто материальное немыслимо без духа. Итак, только духу принадлежит настоящая действительность: все, что кажется *недуховным*, с неизбежностью вырастает из духовных отношений.

Внутренняя духовность всякого бытия, реальность только духовного — в этом первая и основная метафизическая идея мирозерцания Вл. С. Соловьева. А к ней с неизбежностью примыкает вторая идея: о *всеединстве сущего*. Если все реальное духовно, то и первое начало вещей есть бесконечный дух. Бог есть живой, свободный дух, он — творческая любовь. Он создает мир как нечто отличное от него и в то же время близкое к нему, должествующее осуществить в себе полноту его мысли и его воли. Поэтому он не только начало самого себя и своей единой жизни, он в то же время начало и всего различного от него, всего, что обладает какою бы то ни было реальностью, — он *всеединое абсолютное*, которое все в себе объединяет. Мир потому только существует, что в нем должен реализоваться идеал совершенного творения. Но мир, как мы наблюдаем его, далеко не отвечает такому представлению об идеальном совершенстве: во всем его строе ярко сказываются следы колоссальной трагедии — великого отпадения твари от своего божественного источника. Вселенная рисуется нашему чувственному опыту резкими чертами внутреннего распада: в ней все раздвинуто и разрознено пространством и временем, отдельные ее элементы замкнуты в себе и непроницаемы друг для друга, она вся охвачена слепой стихийной борьбой, протекающей по железным законам механической необходимости. Таким мир дан нам, но не таким он должен быть. Извращение, внесенное в бытие грехопадением мировой души, не может продолжаться вечно. Бог есть любовь. Он хочет правды и добра, а не злобы, гармонии, а не борьбы и эгоизма. Он создал мир, чтобы в нем иметь свое живое подобие, а не отрицание, и мир *должен* выполнить это свое назначение. Этим определяется внутренний смысл мирового процесса в его целом: он

состоит в постепенном просветлении и одухотворении темных стихий, в возрастающем уподоблении природы божественному замыслу. В этом внутреннем преобразении вселенной центральное место принадлежит человеку как одновременному носителю природных стихий в своем телесном организме и потенций Божественного разума в своем духе. На человеке лежит грандиозная задача спасения и внутреннего освящения мира. Но она явно не по силам человеку природному, который в своей чувственности и своем эгоизме сам поработен темными стихиями мира; только человек, всецело возвысившийся над таким рабством и свободный от него, человек, сделавший волю Божию своею волею, может действительно обожествить мир. Таков *Богочеловек*, и он явился в истории человечества в лице Иисуса Христа, и с тех пор космический процесс повернулся в своих внутренних двигателях. Дальнейшая задача человечества в том, чтобы оно все освятилось и очистилось, и не только в отдельных людях, но и в своем целом — во всех подробностях своей церковной, общественной и экономической организации. И когда это наступит, тогда пробьет великий час освобождения мира от рабства мрака. Вселенная изменится: из нее исчезнет бездушная борьба, исчезнет страдание, исчезнет смерть, и созданный Богом мир явит собою истинное воплощение вечных идеалов добра и красоты. В этом спасении всего живого чрез Богочеловечество заключается окончательный смысл идеи о Богочеловечестве, третьей руководящей идеи в мирозерцании Соловьева, которая представляет связующее звено между его философским и религиозным учением.

Философские исследования Соловьева составляют, как я думаю, самую прочную и незыблемую часть его жизненного дела. Это, конечно, не значит, что он не высказывал мнений, иногда очень спорных, и что его система и в своем целом не вызывала никаких возражений. Но все же мне кажется, что как бы ни менялись индивидуальные настроения философов, но если только философия будет решать свойственные ей вопросы, а не отворачиваться от них, философские сочинения Соловьева никогда не потеряют своей огромной цены. Этому служат ручательством чрезвычайная своеобразность его взглядов, тонкость и широкая многосторонность его философских анализов, глубина, остроумие и неотразимая сила его аргументации: такие качества должны быть дороги в глазах каждого мыслителя, каких бы взглядов он сам ни держался. Точно так же его величественное, поэтическое, полное задушевной, пламенной убежденности мирозерцание не может бесследно затеряться между другими

порождениями искренних и серьезных дум над вековыми проблемами человеческой мысли.

Тем досаднее, что в философском творчестве Соловьева последовал продолжительный перерыв, и оно через это осталось незаконченным, что литературная деятельность только первые семь лет была сосредоточена на философии, а потом он только мимоходом касался чисто философских проблем и вернулся к ним опять лишь в последние годы своей жизни. В его последних философских трудах намечается какая-то важная перемена в его миросозерцании, он как будто делает серьезные принципиальные уступки своим прежним противникам, но в чем эта перемена состояла и к чему бы она привела, так и осталось невыясненным: смерть вырвала его в самом начале его попыток пересмотреть свои прежние взгляды. В промежутке между этими двумя периодами Соловьев был весь охвачен религиозными, даже церковными вопросами в связи с вопросом о национальном значении России, и они вовлекли его в долговременную и тяжелую борьбу, которая принесла ему много горя и неприятностей, но не дала внутреннего удовлетворения.

Как это могло случиться? Я укажу на две интересные особенности в душевном складе Соловьева. Прежде всего, он обладал чрезвычайным реализмом мистического сознания. Это был настоящий мистик, непосредственно воспринимавший близость и полную действительность невидимого духовного мира, что нередко выражалось у него в различных аномальных переживаниях. Эта сила мистического чувства давала религиозным вопросам в его глазах исключительно важное и совершенно реальное значение. Во-вторых, у него была непоколебимая вера в близкое завершение исторического процесса. В этом он сходиллся со своим современниками: вера в историю, в прогресс, в скорое и окончательное торжество над жизнью всех культурных идеалов и водворение среди людей земного рая представляла своего рода религию русских интеллигентных слоев второй половины прошлого века. В годы юности, в эпоху увлечения материализмом, эта вера у Соловьева не имела ничего мистического: он просто был очень последовательным и убежденным социалистом. Но потом, с общей переменой миросозерцания, она приобретает все более мистический колорит и сливается с преобразованною верою во второе пришествие. Подобно хилиастам первобытной церкви, Соловьев удивительно конкретно был убежден в близости великого переворота, которым должен закончиться космический и исторический процесс. Этот переворот предносился его воображению как торжество свободной теократии, т. е. полного осу-

ществления Божественной правды в организации человечества. Какими историческими путями может водвориться на земле истинный, свободный теократический строй? И в решении этого вопроса у Соловьева можно отметить два периода. Сначала он держался широкого мистического толкования и предвидел в скором будущем интенсивное излияние высших духовных сил, которые направят человечество к его верховному назначению. Но действительность не оправдала этих надежд, а между тем вера в близкий переворот у Соловьева все-таки не поколебалась. Тогда он стал искать среди существующих исторических сил такую, которая была бы наиболее приспособлена к тому, чтобы организовать человечество на христианском идеале, и остановился на римском католицизме: ведь именно католицизм в прошлой человеческой эволюции представляет главное русло развития христианства и важнейший очаг его культурных влияний; именно в католицизме все государственные и общественные силы принципиально подчинены высшему духовному авторитету, и оно всегда стремилось к реализации такого подчинения. И вот Соловьеву стало казаться, что в соединении церквей под главенством папы лежит ближайший путь к свободной организации человечества на началах христианской правды.

Был ли Соловьев католиком? Несомненно, он им не был, как бы искренно ни доказывали иногда его обращение в католицизм. Он постоянно и настойчиво отрицал свой переход в католическую Церковь, а он был человек правдивый и не лгал никогда. Когда он умирал, он позвал православного священника, исповедовался у него и причастился, хотя не было никаких препятствий пригласить католического. Вообще, в католической Церкви он ценил ее организаторскую мощь в человеческом обществе, но он решительно отрицал, чтобы только в ней одной было возможно спасение. Он всецело примыкал к тому взгляду, что вероисповедные перегородки до неба не доходят, и думал, что спастись можно во всякой Церкви, даже во всякой религии. Он верно говорил мне о себе: «Меня считают католиком, а между тем я гораздо более протестант, чем католик».

В проповеди соединения церквей под главенством папы заключался источник жизненной драмы Вл. Соловьева. Для него это соединение представляло не только теоретический интерес, в его немедленном осуществлении он видел историческое назначение России и весь смысл предшествующей эволюции человечества. И вот в своих призывах к столь важной, в его глазах, задаче он остался совсем одиноким: за единичными исключениями, за ним никто не пошел. Но прежние единомышленники отно-

сились к его проповеди или равнодушно, или прямо враждебно. Его новые союзники высоко ценили его беспощадную полемику с падающим славянофильством и приверженцами существующего церковного строя и восхищались его блестящей защитой свободы слова и веротерпимости, но соединением церквей они интересовались еще менее, чем его противники. К тяжелому нравственному одиночеству у Соловьева с течением времени постепенно присоединилось горькое разочарование в деле, за которое он так долго и горячо ратовал. В его «Повести об антихристе» ясно видно, как поблекли его надежды на будущее возрождение Церкви.

Что сказать об окончательных результатах деятельности Вл. С. Соловьева? Он очень много дал — особенно в философии. Самостоятельная русская философия начинает с него свое существование, и она сразу получила в его лице первостепенного мыслителя. В вопросах исторических, церковных, общественных он часто колебался, быть может, заблуждался и обманывался. Допустим все это — ведь нет в самом деле на свете непогрешимых людей. Но он был честный, пламенный, неутомимый искатель правды на земле, и он верил, что она сойдет на землю.





А. БЛОК

Рыцарь-монах

Одно воспоминание для меня неизгладимо. Лет двенадцать назад, в бесцветный петербургский день, я провожал гроб умершей¹. Передо мной шел большого роста худой человек в старенькой шубе, с непокрытой головой... Перепархивал редкий снег, но все было одноцветно и белесовато, как бывает только в Петербурге, а снег можно было видеть только на фоне идущей впереди фигуры; на буром воротнике шубы лежали длинные серо-стальные пряди волос. Фигура казалась силуэтом, до того она была жутко не похожа на окружающее. Рядом со мной генерал сказал соседке: «Знаете, кто эта дубина? Владимир Соловьев». Действительно, шествие этого человека казалось диким среди кучки обыкновенных людей, трусивших за колесницей. Через несколько минут я поднял глаза: человека уже не было; он исчез как-то незаметно — и шествие превратилось в обыкновенную похоронную процессию.

Ни до, ни после этого дня я не видал Вл. Соловьева; но через все, что я о нем читал и слышал впоследствии, и над всем, что испытал в связи с ним, проходило это странное видение. Во взгляде Соловьева, который он случайно остановил на мне в тот день, была бездонная синева: полная отрешенность и готовность совершить последний шаг; то был уже чистый дух: точно не живой человек, а изображение: очерк, символ, чертеж. Одиноким странником шествовал по улице города призраков в час петербургского дня, похожий на все остальные петербургские часы и дни. Он медленно ступал за неизвестным гробом в неизвестную даль, не ведая пространств и времен.

В то время около Соловьева шумела уже настоящая слава, не только русская, но и европейская. Слава долетала до Петербурга, как всегда, в виде волны грязных лакейских сплетен и какой-то особой ненависти. В то время в некоторых кругах имени

Соловьева не могли слышать равнодушно: то был синоним опасного и вредного чудака. Когда спустя некоторое время он пророчествовал о панмонголизме в зале городской Думы, один известный мистик счел остроумным упасть со стула². Впрочем, и это было еще безобидным глумлением рядом с той ненавистью, с которой среднее петербургское общество как бы выпирало его из жизни, окончательно возмущившись неприличием его поведения. Он же проходил тогда в уже очевидном для зрячих *ином* образе, врезаясь в сердца своим острым, четким, нечеловеческим силуэтом. В это последнее трехлетие своей земной жизни он, кажется, определенно знал про себя положенные ему сроки; к внешнему обаянию и блеску прибавилось нечто, что его озаряло и стерегло. Исполнялся древний закон, по которому мудрая, хотя бы и обессиленная падениями и изменами жизнь — старости возвращает юность. Издали светящаяся точка этой юности, как *ἁγίασμα*³, как воспоминание о стране, из которой прибыл, которую забывал в пустыне жизни, — знаменует близость смыкания круга, близость конца, но не гибели, успения, но не смерти. Зрелые деловые люди уважают смерть и готовы выразить свое сожаление о гибели; но успение и конец ненавистны им, потому что они освещают всю жизнь иным светом, в котором земные дела становятся подозрительны. Многие готовы сто раз твердить одно и то же о гениальности «Войны и мира», только бы замолчать успение и конец самого Толстого.

Ничего нового в этом, конечно, нет. Возражают на это обыкновенно, что нельзя заподозривать какие бы то ни было дела, когда дел вообще слишком мало. Это — возражение от слабости, но не от силы. Вл. Соловьев поистине делал великие дела в то время, когда казался деловым людям бездельником. Это и вызывало ненависть. Ненависть, как всегда, вызывала поклонение. За шумом ненависти и поклонения не слышны были другие голоса, той и другому одинаково чуждые. Тогда шумно низвергали живого Соловьева и шумно идолопоклонствовали перед живым. Прошло десять лет, и обозначился новый век. Неужели и сегодня мы будем идолопоклонствовать перед усопшим, шумно забывая то, что стояло за ним?

Есть жуткое в юбилейных днях. Здесь легко торжествовать пошлости, имя которой — только *забвение*. Слишком соблазнительно сияние юбилейного савана, под которым спит многими любимый, многим современный человек; и слишком приятны те картины его жизни и деятельности, которые сменяются перед нами поочередно, как бы на экране волшебного фонаря. Это — как бы флаги, маленькие знамена, на которые всякому нравит-

ся поглядеть в обычный воскресный день, в день забвения, размена великого на малое. На флагах написано: «Мы счастливы тем, что у нас был великий человек. Нам жаль, что его унесло беспощадное время». А сверху, над временем, празднично веет и шелестит незримое знамя с непонятной надписью. Все скажут: это — ночное небо и на нем — «обыкновенные звезды».

Особенно блестящ и разносторонен образ покойного Вл. С. Соловьева. Оттого особенно ярки картины на экране волшебного фонаря. Но некоторые из нас сегодня устают и прячутся от юбилейного света. Они ревниво скрывают даже друг от друга что-то свое. Слова наши звучат в разреженном воздухе, они похожи на стук молотка по крышке пустого гроба; почему так? Отверните край савана, поднимите крышку; в гробу никого нет — могила пуста.

Мы не найдем в этом гробу останков деятеля и человека, одинаково блестящего и дорогого для всех. Теперь, как десять лет назад, все признают большой талант, но многие остановятся в недоумении перед какой-нибудь стороной его деятельности. Известная философская школа подвергнет сомнению систему мистической философии Вл. Соловьева по отсутствию в ней законченной теории познания. Ни один стан публицистов не примет Соловьева без оговорок уже по тому одному, что Соловьев утверждал «священную войну» во имя «священной любви»; одни из нас хотя и признают войну, но отнюдь не священную, а государственную, во имя политической розни; другие хотя и исповедуют любовь, но также не священную, а гуманную, отрицающую всякую войну в принципе. Вл. Соловьев — критик? Он не заметил Ницше, он односторонне оценил Пушкина и Лермонтова⁴. Вл. Соловьев — поэт? И здесь приходится уделить ему небольшое место, если смотреть на него как на «чистого» художника. Остается Вл. Соловьев — человек. Тут непомерное разнообразие картин; воспоминания и анекдоты до сих пор не сходят со страниц журналов. Какой же вывод можно сделать из этих противоречивых анекдотов о «странных» поступках и словах, особенно — о «странном», а для некоторых — страшном хохоте, который все вспоминают особенно охотно? Один вывод: Вл. Соловьев был очень симпатичный и оригинальный человек, однако с большими странностями, не совсем приятными, а иногда и неприличными; но так как все друзья его были тоже очень милые люди, то они прощали этому романтическому чудаку его дикие выходки.

Я сделал выбор из худшего, что говорят и думают о Вл. Соловьеве. Образ крупного мыслителя и блестящего человека от это-

го не померкнет. Я хочу только показать, что у Соловьева философа, публициста, критика, поэта и человека всегда были и будут и враги, и поклонники, то есть единодушного признания за ним этих качеств в полной мере — не было и не будет. Значит, празднование его земной памяти всегда легко может обратиться в обыкновенный юбилей, то есть в день забвения. Когда же пройдут еще десятилетия и над горизонтом философии и науки взойдут новые звезды, — «Вл. Соловьев» утратит свою жизненную ценность и станет архивным материалом для диссертаций историков философии. Так, по всей вероятности, думают многие; но если мы разорвем юбилейный саван и потушим юбилейный свет, — мы увидим иное.

Вл. Соловьев все еще двоятся перед нами. Он сам был раздвоен в свое время — этого требовало его служение. С первого шага он жестоко скомпрометировал себя перед своим веком; век прощает все грехи, вплоть до греха против Духа Святого, — он никому не прощает одного: измены духу времени. Вл. Соловьев слишком хорошо знал это ласковое чудовище — лстивое и страшное время. Он воспитал в себе две силы, два качества, необходимых для того, чтобы нападать на врага разом, с двух сторон. Один Соловьев — здешний — разил врага его же оружием: он научился *забывать* время; он только умирал его, набрасывая на косматую шерсть чудовища легкую серебристую фату смеха; вот почему этот смех был иногда и странен и страшен. Если бы существовал только этот Вл. Соловьев, — мы отдали бы холодную дань уважения метафизическому максимализму — и только; но мы хотим помнить, что этот был лишь умным слугою другого. Другой — нездешний — не презирал и не умирал. Это был «честный воин Христов». Он занес над врагом золотой меч. Все мы видели сияние, но забыли или приняли его за другое. Мы имели «слишком человеческое» право недоумевать перед двоящимся Вл. Соловьевым, не ведая, что тот добрый человек, который писал умные книги и хохотал, был в тайном союзе с другим, занесшим золотой меч над временем.

Забудем на минуту глубокого философа, замечательного критика и публициста, благодарного ученика фетовской поэзии и странного человека. Мы должны вспомнить сегодня того, к кому не идут ни юбилеи, ни ученые заслуги, ни анекдоты. Для этого необходимо устранить двойственность, забыть здешнего Соловьева, погасить огни, которыми ярко блистал его ум, и оборвать цветы, которыми нежно цвела его душа. Все живое пусть разместится по-новому — под лучами иного, неземного света. Ведь

волшебный фонарь жизни действительно потушен смертью и временем.

Смерть и время царят на земле,
Ты владыками их не зови.
Все, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви⁵.

Пока на юбилейном экране не пестреет больше богатая жизнь, — мы можем видеть встающий из тьмы новый, ничем не заслоненный образ. Здесь бледным светом мерцает панцирь, круг щита и лезвие меча под складками черной рясы. Тот же взгляд, углубленный мыслью, твердо устремленный вперед. Те же стальные волосы и худоба, которой не может скрыть одежда. Новый образ смутно напоминает тот, живой и блестящий, с которым мы расстались недавно. Здесь те же атрибуты, но все расположилось иначе; все преобразилось, стало иным, *неподвижным*; перед нами уже не здешний Соловьев. Это — *рыцарь-монах*.

Что такое огромный книжный труд Соловьева на этой картине? Только щит и меч — в руках рыцаря, добрые дела — в жизни монаха. Чтó щит и меч, добрые дела и земная диалектика для того, кто «сгорел душою»? Только *средство*: для рыцаря — бороться с драконом, для монаха — с хаосом, для философа — с безумием и изменчивостью жизни. Это — одно земное дело: дело освобождения пленной Царевны, Мировой Души, страстно тоскующей в объятиях Хаоса и пребывающей в тайном союзе с «космическим умом». Весь земной романтизм, странное чудачество — только благоуханный цветок на этой картине. «Бледный рыцарь» от избытка земной влюбленности кладет его к ногам плененной Царевны.

Этот новый образ и есть невнятно шелестящее знамя, чью надпись нам не прочесть в воскресный, пестрящий флагами день. Простая надпись свидетельствует нам, что образ — не мечта, а действительность. Рыцарь-монах имел действительные видения.

Если мы прочтем внимательно поэму Вл. Соловьева «Три свидания», откинув шутливый тон и намеренную небрежность формы, вызванные условиями века и окружающей среды, откинув их так же, как откинул всю земную «прелесть» Вл. Соловьев, — мы встанем лицом к лицу с непреложным свидетельством. Здесь описано с хронологической и географической точностью «самое значительное из того, что случилось с Соловьевым в жизни». Поэма, напечатанная в томике стихов, изданном со всем демократизмом современности, ничем не отличается по существу от надписей прошедших столетий; сначала по-латыни, потом — на

национальных языках, они свидетельствуют торжественно и кратко обо всем, что было истинно ценного в жизни мира. Их можно встретить на алтарях, на храмах, на знаменах, на мавзолеях, даже — на камнях в поле.

Я вспоминаю сейчас одну надпись — на гробнице среди базилики св. Аполлинария в окрестностях Равенны; эта надпись гласит: «*Sanctus Romualdus Ravennus ad altare hoc noctu orans beato martyre Apollinare bis viso ad sacru<m> ordine<m> monasticum vocatus est anno DCCCCXXVII*» — «Святой Ромуальд, уроженец Равенны, молившийся ночью у этого алтаря и дважды видевший блаженного мученика Аполлинария, был призван в святой монашеский орден в 927 году».

Поэма Вл. Соловьева, обращенная от его лица непосредственно к Той, Которую он здесь называет Вечной Подругой, гласит: «Я, Владимир Соловьев, уроженец Москвы, призывал Тебя и видел Тебя трижды: в Москве в 1862 году, за воскресной обедней, будучи девятилетним мальчиком; в Лондоне, в Британском музее, осенью 1875 года, будучи магистром философии и доцентом Московского университета; в пустыне близ Каира, в начале 1876 года.

Еще невольник суетному миру,
Под грубою корою вещества
Так я прозрел нетленную порфиру
И ощутил сиянье божества»⁶.

Вот какую надпись читаем мы над изображением рыцаря-монаха. Подобно средневековым надписям, она служит не толкованием, но утверждением всей картины: мало одного чертежа, — нужно еще закрепляющее слово; и слово произнесено. Поэма, написанная в конце жизни, указывает, где начинается жизнь; отныне, приступая к изучению творений Соловьева, мы должны не подниматься к ней, а обратно: исходить из нее; только в свете этого образа, ставшего ясным после того, как второй, производный, погашен смертью, — можно понять сущность учения и личности Вл. Соловьева. Этот образ дан самой жизнью, он — не аллегория ни в каком смысле; пусть будет он предметом научного исследования, самое существо его неразложимо; он излучает невещественный золотой свет. Золотом и киноварью писались слова, исходящие из уст Гавриила: «*Ave, gratiae plena*»⁷. В Периодической системе элементов — этот основной, простейший элемент должен быть отмечен золотом и киноварью.

Современники Вл. Соловьева утратили секрет понимания простейшего. Девятнадцатый век отличался необыкновенной скрыт-

ностью: подвергая своих сынов уравниению, загромождая их умы производным и заставляя их забывать о сущем, этот хитрый век выкинул на улицу лозунги позитивизма и натурализма, а сам, в тишине философских и ученых келий, готовил то, свидетелями и участниками чего суждено быть нам. Глаза многих уже раскрываются. Как Соловьев открыл истинное лицо «отца позитивизма», определив идею человечества как Св. Софии Премудрости Божией — у О. Конта⁸, так мы уже не можем не видеть истинного лица «отца натурализма» — Э. Золя. У нас за плечами великие тени Толстого и Ницше, Вагнера и Достоевского. Все изменяется; мы стоим перед лицом нового и всемирного. Недаром в промежутке от смерти Вл. Соловьева до сегодняшнего дня мы пережили то, что другим удастся пережить в сто лет; недаром мы видели, как в громах и молниях стихий земных и подземных новый век бросал в землю свои семена; в этом грозовом свете нам промечтались и умудрили нас поздней мудростью — все века. Те из нас, кого не смыла и не искалечила страшная волна истекшего десятилетия, с полным правом и с ясной надеждой ждут нового света от нового века.

Лучшее, что мы можем сделать в честь и память Вл. Соловьева, — это радостно вспомнить, что сущность мира — от века вне-временна и внепространственна; что можно родиться второй раз и сбросить с себя цепи и пыль. Пожелаем друг другу, чтобы каждый из нас был верен древнему мифу о Персее и Андромеде⁹; все мы, насколько хватит сил, должны принять участие в освобождении преданной Хаосом Царевны — Мировой и своей души. Наши души — причастны Мировой. Сегодня многие из нас пребывают в усталости и самоубийственном отчаянии; новый мир уже стоит при дверях; завтра мы вспомним золотой свет, сверкнувший на границе двух, столь несхожих веков. Девятнадцатый заставил нас забыть самые имена святых — двадцатый, быть может, увидит их воочию. Это знамение явил нам, русским, еще неразгаданный и двоящийся перед нами — Владимир Соловьев.

И в этот миг незримого свиданья
Нездешний свет вновь озарит тебя,
И тяжкий сон житейского сознанья
Ты отряхнешь, тоскуя и любя¹⁰.





Н. К. НИКИФОРОВ

Петербургское студенчество и Влад. Серг. Соловьев

Со времени кончины Вл. Серг. Соловьева, последовавшей 31 июля 1900 г., мне не приводилось встречать в печати воспоминаний о нем как лекторе философии в С.-Петербургском университете. Между тем не осветить этого периода жизни знаменитого философа и богослова, бывшего в то же время публицистом, поэтом и критиком, значит оставить в тени одну их самых характерных сторон его возвышенной личности и обаятельного таланта. Бывшие слушатели Соловьева теперь уже «дедушки»; с их смертью сойдет в могилу и память о Владимире Сергеевиче как профессоре. А эта память может быть поучительной во многих отношениях.

Вл. С. Соловьев начал читать лекции в С.-Петербургском университете, если не изменяет мне память, в 1880 году¹. В то время в обществе и среди учащейся молодежи еще не улеглось увлечение естественными науками, вспыхнувшее так бурно в 60-х годах. Естественное отделение физико-математического факультета было в Петербургском университете самое многочисленное и сосредоточивало в себе самых выдающихся профессоров того времени: тут были Менделеев, Сеченов, Вагнер, Меншуткин, Бутлеров, Иностранцев, Фаминцын, А. Бекетов (ректор университета). Господствуя и по количеству студентов, и по числу профессоров с европейской известностью, естественное отделение сообщало свой дух и тон всему университету. В полном соответствии с общественными симпатиями к «реальным знаниям» и со всеобщим отвращением к затхлому классицизму, бывшим тогда в полном разгаре, подавляющее большинство студентов считало настоящими науками только естественные, а все остальные — лишь «терпимым художеством». Впрочем, на юридический факультет студенчество, в общем, смотрело еще более или

менее снисходительно: там читалась политическая экономия, трактовавшая, между прочим, о социализме. Безусловное, не терпящее возражений презрение внушали науки историко-филологического факультета. На этот злосчастный факультет переносилась массой студенчества вся та ненависть, которая возникла в гимназиях к древним языкам. В среде естественников слово «филолог» было почти бранным. С этим словом у огромного большинства петербургского студенчества соединялось представление об ограниченном, тупом зубриле и будущем учителе-Молчалине. Все филологи, по мнению господствующего большинства, непременно должны были быть «бонапартистами». Не лучшего мнения о филологических науках были и профессора физико-математического факультета. Так, когда к одному из них обратился за советом первокурсник-филолог, колебавшийся между филологическими и естественными науками, то профессор окинул его презрительным взглядом и, по-видимому даже обидевшись сопоставлением филологического факультета с физико-математическим, брезгливо произнес: «У каждого, милостивый государь, свои вкусы: одного влечет к точным знаниям, а другой предпочитает копаться в куче навоза». Даже юридические науки один из профессоров-естественников называл «кляузническими».

Но если в презрении были филологические науки, то философия — или метафизика — в глазах подавляющего большинства студентов являлась прямо одним из видов умственного разврата. Сказать «занимаюсь философией» значило почти то же самое, что сознаться в занятии, напр[имер], порнографией.

Презрительный взгляд на филологов и их науки переносился из научной области и на различные выступления на политической или академической почве. «Мыслящими реалистами», по убеждению студенческого большинства, могли быть только естественники. Поэтому и всякого рода «активные протесты» являлись как бы их специальной привилегией, и посягательство филологов на участие в предполагаемом «выступлении» принималось неприязненно, как узурпация не принадлежащих им прав.

— Филолог, а тоже на сходку лезет!

Однако было бы ошибкой предположить, что командующее большинство петербургского студенчества ничего, кроме естественных наук, не признавало. Студенты того времени смотрели на лекцию только как на руководящий материал. Считалось, напр[имер], почти неблагоприятным готовиться к экзамену только по лекциям или учебникам: надо было «прихватить» хоть

немного «литературы предмета». Главным делом считалось самообразование, являвшееся как бы одним из элементарных требований студенческой порядочности. Поэтому, говоря вообще, студенчество читало много: кружки самообразования были очень распространены, почти в каждом из них были свои кружковые «философы» и «мыслители», иногда даже из бывших студентов, из тех, кто уже побывал «в народе». Все это чтение и самообразование не выходило из рамок известного политического направления, которое могло быть определено одним словом: *народ*, причем под народом понималось исключительно крестьянство. Только в самом конце семидесятых годов в понятие «народ» были введены иные элементы. Увлечение «народом» иногда доходило до смешного. Стоило, напр[имер], на сходке или просто среди собравшейся толпы студентов крикнуть: господа, *народ!* И тотчас раздавались бурные возгласы:

— Да здравствует народ!..

Господством такого направления обуславливалась и программа самообразования, не чуждая, впрочем, принципиальных противоречий. Так, например, заниматься философией считалось делом постыдным, но изучение Огюста Конта не только разрешалось, но и поощрялось — очевидно потому, что этот философ отрицал метафизику и, по его теории, исследование идей, чувств и воли человека являлось частью филологии, составляющей, в свою очередь, только один из отделов биологии. Следовательно, Конт был не «метафизиком», а «естественником». Поэтому все философы-позитивисты были в большом почете у студенчества.

Не являлись запретными и философы утилитарной школы с Бентамом во главе, так как Бентам ввел в область морали простой «расчет» и допускал исчисление наслаждений с помощью «нравственной арифметики», т. е. не только был эмпириком, но и строил всю мораль на «точном» арифметическом основании.

Другого рода критерии применялись программой чтения к беллетристике и стихотворениям.

Чтение романов, повестей, стихотворений и т. п. трактовалось студенческой традицией как безделье, но, например, Некрасов был любимым поэтом и на каждой студенческой вечеринке после обязательной «Дубинушки» («Много песен слышал я...») распевалось и некрасовское «Укажи мне такую обитель» (из «Парадного подъезда»). Такой же излюбленной песней было и стихотворение Навроцкого «Утес».

С другой стороны, роман Чернышевского «Что делать?» должен был прочесть каждый порядочный студент, и в известную

студенческую песню «Проведемте, друзья, эту ночь веселей» обязательно вставлялся такой куплет:

Выпьем мы за того,
Кто «Что делать?» писал,
За героев его,
За его идеал...

Объясняются эти кажущиеся противоречия, конечно, тем, что Некрасов был «печальником горя *народного*», Навроцкий в своем стихотворении поэтизировал Стеньку Разина, а в романе «Что делать?» изображались в хвалебном тоне «мыслящие реалисты». Но и всякое другое беллетристическое произведение могло смело рассчитывать на успех среди студенчества, если оно удовлетворяло следующим требованиям: все мужики, кроме кулаков, должны быть изображены вместилищем добродетелей, особенно патриархально-общинных; по наружности они непременно исхудалые, с землистыми лицами, оборванные; «кулаки», наоборот, все «краснорожие, толстомордые, с выпятившимся брюхом» и — условие *sine qua non*² — воплощенные изверги естества, состоящие в союзе с начальством.

При изображении городской жизни и среды должен был употребляться такой трафарет: все студенты и «мыслящие реалисты» блистают добродетелями и в этом отношении чище солнца, так как на нем все же усматриваются пятна; разумеется, они проникнуты сверхчеловеческой любовью к народу и готовностью положить за него душу по первому требованию. Все остальные, кроме студентов и мыслящих реалистов, должны быть изображены невеждами, врагами народа, погрязшими во всевозможных пороках. Словом, искусство признавалось только приспособленное к требованиям революционного народничества, а принцип «искусство для искусства» считался столь же ненавистным, как и «метафизика». Нетерпимость к самостоятельным мнениям, отступавшим от установившихся традиций, была поразительная, прямо сектантская. Цензура мнений была весьма строгая, и провинившийся перед нею изнывал под гнетом общего презрения. В виде иллюстрации расскажу хотя один эпизод.

Если не ошибаюсь, в 1880 году студент юридического факультета Г. поместил в издававшейся в то время Баталиным газете «Минута»³ коротенькую заметку, в которой довольно непочтительно отозвался о последней сходке в университете. Среди студенчества поднялась целая буря. Тотчас же собравшаяся сходка постановила учредить над дерзким протестантом суд, предъявив ему два обвинения: 1) отрицательное отношение к сходкам и

2) сотрудничество в ретроградской газете. И так как судьи-студенты могли высказаться за исключение виновного из университета, то выборные от сходки делегаты отправились к ректору А. Н. Бекетову с требованием, чтобы предстоящее постановление студенческого суда было приведено в исполнение университетской властью. Ректор попробовал было повлиять на студентов в примирительном духе, но встретил такой отпор, что оказался вынужденным созвать совет. В открывшихся затем переговорах между советом и студенческими делегатами состоялось соглашение, по которому суд над Г. был учрежден, но в состав судей вошли в качестве представителей университетского совета три профессора; со стороны же студентов были выбраны представители всех курсов и факультетов (по одному от каждого курса).

В таком составе, под председательством проф. Фаминцына, и состоялся суд над нарушителем студенческих традиций. В происшедшем после «допроса обвиняемого» совещании судей почти все студенты-судьи (автор этих строк был в числе судей) настаивали на удалении виновного из университета, а профессора-судьи являлись скорее адвокатами подсудимого. В результате был постановлен приговор: объявить виновному от имени университета *порицание*.

Все сказанное выше относится к массе студенчества, дававшей тон университетской жизни, именно тот тон, который делает музыку. В стороне от главного течения стояли не только отдельные студенты, но и целые группы, отличавшиеся самыми различными мирозерцаниями. Воинствующий дух господствовавшего течения отражался, однако, и на психологии особняческих групп, удалявшихся от студенческого форума. Среди этих групп наблюдался, например, любопытный, ныне совершенно исчезнувший тип «вечного студента», не имеющий, кроме названия, ничего общего с современным типом такой же клички. «Вечные студенты» описываемого периода проходили университет по установленной Контом классификации наук, т. е. начинали с математического факультета, кончив который, переходили на естественный, а затем иногда и на юридический. Но при прохождении каждого факультета они еще более, чем другие студенты, считали необходимым «работать самостоятельно», изучая литературу предмета. Двух таких студентов знал я лично. Это были почтенные бородачи. Один пробыл в университете уже 15 лет, другой — 12. На мой вопрос старшему, когда он думает покончить с университетом, бородач не без изумления ответил: «А зачем мне с ним кончать? Так и умру в университете. Это простой расчет наслаждений». Очевидно, это был не только кон-

тист, но и бентамист. От того же патриарха студенчества я, между прочим, услышал любопытный отзыв о тургеневском Базарове.

— Когда я поступил в университет, — рассказывал он, — этих самых Базаровых было сколько угодно. Тургеневу надо было просто позвать к себе одного из них и предложить ему, шельме, исповедаться. Мерзавцы они были...

— Почему?

— Мужика презирали.

Я напомнил, что эта черта была отмечена Тургеневым в Базарове.

— Слабо отмечена, — ответил мой собеседник. — Тургеневу следовало бы при этом хорошенько ругнуть такую бестию...

«Вечные студенты» являлись живой летописью университетских преданий и традиций; ни в каких студенческих движениях они не участвовали, хотя относились к ним в некоторых случаях благосклонно.

Скажем два слова и о внешнем облике студенчества того времени. Излюбленным костюмом типичного студента была красная рубаша, подпоясанная каким-либо пояском или ремнем. Темные блузы были широко распространены. Брюки зачастую носились в сапоги. Если при этом были длинные, до плеч волосы, а от блузы пахло сероводородом или на ней виднелись пятна от различных реактивов — признаки усердных занятий в химической лаборатории, — то для настоящего студента это была самая почетная внешность. В зимнее время неизменной принадлежностью большинства студентов был плед, накинутый поверх летнего или осеннего пальто. В этом костюме, постельных принадлежностях и гряде лекций очень часто состояло все движимое имущество студента, презиравшего земные блага и считавшего позором заботиться об изяществе костюма.

Спустится, бывало, такой пламенный, но не в меру рассеянный вершитель мировых судеб с четвертого или пятого этажа со связкой лекций в руках да с подушкой, увязанной в одеяло, — и, спохватившись, закричит наверх:

— Хозяюшка! Сбросьте-ка мне плед, я на другую квартиру переезжаю.

Уже из того, что выше сказано об идеологии большинства студенчества, ясно, что профессор философии мог в Петербургском университете рассчитывать на успех разве среди крайне немногочисленной группы филологов. По-видимому, еще менее шансов представлялось такому «мистику-аскету», каким считал-

ся в то время Вл. С. Соловьев. Ко времени появления его в университете идеология студенчества приняла притом формы еще более враждебные мирным занятиям философией. Это была эпоха страстного идеализма и фантастического народолюбия, эпоха горячих споров между чернопеределцами и народовольцами⁴. П. Ф. Якубович, бывший именно в это время студентом Петербургского университета, великолепно отразил в своих первых стихотворениях психику тогдашнего студенчества, эти муки разрешения роковых для молодой жизни вопросов.

Ах, без жизни проносится жизнь вся моя!
Увлекаемый мутною тиною,
Я борюсь день и ночь, сам себе — и судья,
И тюрьма, и палач с гильотиною...⁵

И не было тогда ни одного студенческого кружка, в котором не кипели бы вокруг тех же проклятых, выдвинутых жизнью вопросов ожесточенные, иногда осложнявшиеся печальными эпизодами споры, тяжелую картину которых с замечательной правдивостью тогда же воспроизводил тот же поэт.

Угрозы и клики носились кругом
В потоках табачного чада, —
И сами, случилось, не видели мы
В речах наших смысла и склада.
Из лишнего слова рождалась гора,
Враги меж друзей находились
И с пеной у рта — не на жизнь, а на смерть —
Словами, как шпагами, бились.
Обидные клички бросались в лицо
С каким-то злорадным стараньем...
И часто кончался безумный раздор
Внезапным и страшным рыданьем...⁶

Так вот в какую сторону были в то время отвлечены мысли и чувства подавляющего большинства студенчества, для которого целесообразность занятий даже излюбленными естественными науками неожиданно попала под знак вопроса. Что уж было говорить после этого о всегда презираемой «метафизике»!..

В эту именно пору в университете появилось объявление ректора, гласившее, что в такой-то день доктор философии Вл. С. Соловьев прочтет вступительную лекцию. Естественники, считавшие себя призванными стоять на страже достоинства и чести университета, насторожились. Пошли справки: что за Соловьев? Оказалось, что это «тот самый», который печатно выступал «против позитивистов»⁷. Этого было довольно. В приглашении та-

кого профессора естественники увидели вызов всему их факультету. Против позитивистов — это значит против естественных наук! В университет выслан комиссар, для того чтобы бороться против спасительных точных знаний и «одурманивать мозги метафизикой»!

Решено было выслушать эту вступительную лекцию и после нее так «проучить» новоявленного «апостола мракобесия», чтобы не только ему, но и другим врагам позитивизма впредь неповадно было выступать в Петербургском университете.

И вот назначенный для лекции день настал. Университетское начальство, ничего не подозревая и зная, что, кроме филологов, лекцией философа никто не заинтересуется, отвело для нее одну из филологических аудиторий, как все они в то время, маленькую и тесную. Но в эту аудиторию неожиданно повалили густые толпы естественников. Начальство, недоумевая, откуда явился неожиданный интерес к «метафизике», распорядилось отвести самую большую аудиторию в университете, в которой обыкновенно читал составлявший гордость университета Д. И. Менделеев.

Тотчас началась стремительная перекочевка студентов в «менделеевскую» аудиторию. В числе других я увидел направляющимся в нее и одного из «вечных студентов».

— И ты идешь? — спросил я, зная, что «вечные студенты» никакого участия в «протестах» не принимают (говорить между студентами на «вы» считалось признаком «барства»).

— Ну не скудоумный ли? — воскликнул «вечный студент» вместо ответа, очевидно имея в виду нового лектора. — «Против по-зи-ти-вис-тов идет»!.. Да после этого что же у него есть святого?! Много ли вас тут, естественников-то?

— Со всех курсов понемножку. Человек 400 наберется.

— Эва! Не много ли чести для метафизика! Человек бы 50 довольно было.

— Да говорят, все филологи будут за него, — ответил я.

— О черт! Я и забыл про этих метафизических поросят...

Обширная, устроенная амфитеатром аудитория была переполнена; все волновалось и кипело. Опытный глаз тотчас заметил бы, что тут затевается что-то особенное.

Но все разом смолкло. Сотни глаз устремились на вошедшего в аудиторию и направляющегося к кафедре ее молодого человека в скромном пиджаке. Бросилось в глаза его прекрасное, одухотворенное лицо, продолговатое, бледное, с немного впавшими щеками, с небольшой раздвоенной бородой и в раме густых черных волос, падавших кольцами на воротник. Большие темно-

голубые глаза, с густыми широкими черными бровями и длинными ресницами, были как бы застланы мистическим туманом. Это был Соловьев.

Студенты имели обыкновение встречать каждого нового профессора аплодисментами, которые и на этот раз раздались было со стороны филологов, но тотчас, как в море, потонули в яростном шиканье естественников.

Соловьев, как будто ничего не замечая, обвел волнующуюся аудиторию лучистым взглядом и начал свою вступительную лекцию тихим, но твердым голосом. И чем далее, тем голос его крепчал более и более, становился звучным, вдохновенным, властным...

...В мире есть одно, для чего стоит жить и для чего надо жить. Это идея высшей правды, это таинственные, но непреодолимые порывания человеческого духа к родному ему, вечному началу... Удовлетворим же тайную жажду бессмертного духа: перед нами, как путеводный маяк, светозарная цель — обожествление человечества через приближение к Христу. И в виду этих богочеловеческих задач — что значат мутные жизненные тревоги!..

В неслыханных еще выражениях, как пламенный пророк, возвещал новый лектор христианские идеалы, непобедимость любви, покоряющей Смерть и Время, презрение к миру, лежащему во зле... Он рисовал жизнь как подвиг, цель которого — в возможной для смертного степени приблизиться к полноте совершенства, явленной Богочеловеком и обещающей обожествление человечества, царство любви и вселенского единения...

Невозможно даже приблизительно передать ту силу воодушевления, то обаяние высшего красноречия, с которым все это говорилось. Именно так и на такие темы в университете еще никто не говорил.

Вдохновенный голос умолк. Несколько мгновений тишины, и вдруг — гром рукоплесканий!.. Аплодировала вся аудитория — и естественники, и юристы, и филологи. Это были ликующие, восторженные аплодисменты. Я оглянулся, и — верить ли глазам! Столп преданий и традиций, позитивнейший «вечный студент», потрясая длинной бородой, неистово рукоплещет «метафизику»!

Соловьев поднял руку — и все утихло: очевидно, он уже овладел этой, за час перед тем бурной, аудиторией.

— Я прошу, господа, — сказал он, — чтобы на будущих моих лекциях несогласные в чем-либо со мной возражали мне...

И, провожаемый бурными рукоплесканиями, лектор удалился. Только тогда естественники, как бы опомнившись, начали

конфузливо поглядывать друг на друга, недоумевая, какими волшебными чарами они были околдованы до такой степени, что вместо хорошо подготовленной демонстрации против Соловьева ему была сделана шумная овация.

Но совершилось еще большее чудо. Успех и популярность нового лектора возрастали с каждой лекцией. Дело доходило иногда до того, что для лекции Соловьева открывали актовый зал университета, так как самая обширная аудитория уже не могла вместить всех его слушателей.

В полной мере оценить этот успех возможно, только припомнив все, что сказано выше об идеологии и революционном настроении студенчества, о презрении к философии и метафизике и, наконец, о возникшем сначала предубеждении против самой личности Соловьева, восставшего против излюбленных большинством студентов позитивистов. К этому еще надо добавить, что Соловьев в своих лекциях не только не подделывался под господствовавшее в то время настроение, но все высказываемые им взгляды почти ни в чем не совпадали с общепринятым кодексом политических и социальных доктрин. Возьмем, например, кардинальный пункт этого кодекса. В литературе 60-х и 70-х годов было признано аксиомой, что каждая личность представляет собою в нравственном смысле только «продукт» данных социальных условий, и потому вопрос о приоритете начала личного самосовершенствования или общественно-политических форм разрешался, безусловно, в пользу последних. В полном соответствии с этим основной член студенческого символа веры гласил, что надо бороться за изменение *условий*, игнорируя внутреннюю работу над собой, которая презрительно именовалась «гнусным ковыряньем в собственной душонке». Против такого взгляда Соловьев ратовал всеми силами. Исходя из евангельского тезиса «царствие Божие внутри нас», он во главу угла полагал именно личное самосовершенствование, с энтузиазмом доказывая, что «все остальное приложится», что с усовершенствованием личности сами собой создадутся и вожделенные «условия».

Так было почти во всем — и тем не менее популярность Соловьева росла с каждым днем.

Не поучительно ли, в самом деле, это явление не только для профессоров и педагогов, но и для всех тех, кто не считает возможным идти «против течения»?

В чем же, наконец, заключалась тайна успеха Соловьева в Петербургском университете? Прежде всего, что он читал?

Сконфузившиеся на вступительной лекции естественники, оправдываясь друг перед другом, утверждали, что Соловьев про-

чел лекцию совсем не по «метафизике». Они были правы в том отношении, что как вступительная, так и все последующие лекции нового профессора действительно были очень далеки от «метафизики». Это была философия *нравственная*, в основе которой лежало учение Христа.

Многое из того, что составляло содержание лекций Соловьева, вошло впоследствии, конечно — в более обработанном и развитом виде, в изданные им книги «Оправдание добра» и «Духовные основы жизни».

Новизна тем, разумеется, могла привлечь немало слушателей, однако дело было не в этом, Неслыханным новшеством в университетской жизни явилось также предоставленное Соловьевым всем студентам право диспутировать с ним по окончании каждой лекции. Он явился новатором не только по существу читанных им лекций, но и по методу преподавания. Это нововведение заинтересовало многих: одни студенты, из непримиримых, шли на лекции Соловьева единственно с тем, чтобы, пользуясь правом диспутирования, «разбить метафизика в пух и прах» и тем спасти товарищей от его, по их мнению, вредного влияния. Другим было любопытно послушать эти небывалые диспуты между профессором и студентами. Наконец, третьи, пользуясь тем же правом, задавались целью выяснить волновавшие их религиозно-философские вопросы и более основательно уяснить себе самое содержание выслушанной лекции.

Было бы, однако, совершенно ошибочно предположить, что новый «метод преподавания» был введен Владимиром Сергеевичем как приманка для студентов. Нет, тут было совсем другое. Впоследствии из частных бесед с ним я узнал, что он был очень хорошо осведомлен об идеологии большинства студенчества и о господствовавшем в его среде настроении. Он взглянул на свои лекции как на акт миссионерства. Подобно Сократу, он верил, что «истина возникает в каждой душе», и проповедовал в поэтической форме, что

В незримой глубине сознания мирового
Источник истины живет не заглушен⁸.

Для Соловьева истина была в одном: в учении Христа. Вместе с Паскалем он был убежден, что «каждая душа по природе христианка»⁹. Он полагал, что научить христианству — значит вызвать из дремотного состояния природные свойства «души-христианки» и, пропустив их чрез поле своего сознания, сделать достоянием практического разума. Он понес свою истину на студенческий форум. И как Сократ вел победоносную борьбу с со-

фистами путем *диалога* индуктивного характера и создал школу последователей, так и Соловьев, войдя в среду молодежи, враждебно настроенной по отношению к его мировоззрению, в форме бесед и прений со студентами применял, в сущности, тот же сократовский метод диалектики, мечтая о приобретении даровитых учеников и стойких последователей его философии.

Главнейшей притягательной силой лекций Соловьева оказалась сама его личность.

Мыслитель, вдумчивый певец,
Благой искатель правды Божьей —

так характеризовал его А. М. Жемчужников¹⁰. Чуткая, идеалистически настроенная университетская молодежь сразу признала в нем что-то «не от мира сего».

Пусть он был не одного с нею стана, но он был так же, как и большинство студенчества, «окрылен святым восторгом» перед тем высшим миром, который своими отзвуками наполнял его душу. Студенчество пламенело жаждой подвига и «мученичества за идею»; но и Соловьев учил, говоря его же стихами, что

Жизнь только подвиг, и правда живая
Светит бессмертьем в истлевших гробах¹¹.

Студенчество ставило себе задачей рассеять мрак заблуждений, висевший, по его мнению, над обществом, и водворить на земле царство богатства и правды. И Соловьев патетически восклицал:

Стоит ли жить в этой тьме заблуждений,
Стоит ли жить, если правда мертва!¹²

И никто вдохновеннее Соловьева не призывал людей к мировому братству и вселенскому единению.

Таким образом, созвучные струны звенели в душе нового лектора и его слушателей. Несмотря на все разногласия, невзирая на мистицизм Соловьева, студенты чувствовали в нем родную по высшим стремлениям душу; в каждом слове его чуялось то пламенное убеждение, та высшая сила, которые «не знают оков». На кафедре Соловьев не читал лекции, но властно учил, как вдохновенный пророк. И уже одно это производило огромное впечатление.

Обаятельная личность Вл. С. Соловьева наиболее ярко обрисовывалась для студентов при частных с ним сношениях. Для охарактеризования Соловьева в этом отношении мне и придется рассказать историю моего знакомства с ним как студента.

Во время пребывания в университете я чувствовал склонность к философии и почитывал кое-что в этой области, но по основам своего мировоззрения принадлежал совсем не к лагерю Соловьева и потому, пользуясь правом диспутирования, вступал с Владимиром Сергеевичем в прения едва ли не после каждой его лекции. Однажды Соловьев, выслушав меня, сказал со своей милой улыбкой:

— Я замечаю, что вы постоянный мой оппонент, и некоторые возражения ваши действительно проникают в самую сущность вопроса. К сожалению, в нашем распоряжении так мало времени, что ни по одному вопросу мы не можем договориться до конца. Поэтому не пожелаете ли вы в свободное время зайти ко мне: может быть, мы с вами и столкнемся кое в чем?

Разумеется, я принял приглашение и со студенческой самоуверенностью объяснил его как предложенный мне Соловьевым диспут. Понимая дело именно так, я предварительно отправился в публичную библиотеку «подготовиться по вопросу». А вопрос был о «Вселенской Церкви». В сделанном перед аудиторией возражении я, между прочим, указал на то, что вопрос о вселенской теократии поднимался еще Чаадаевым, и выразил мысль, что как за Чаадаевым не пошла по этому пути интеллигенция 30-х и 40-х годов, так теперь и за Соловьевым не пойдет ни интеллигенция, ни студенчество, перед которыми стоят реальные общественные задачи, а не «мистические идеалы» отдаленного будущего, поэтому напрасно пытается Соловьев отвлечь студенчество от «прямого и правильно избранного им пути в туманные дебри усыпляющей мистики».

Так витийствовал я в аудитории...

О молодость, молодость! Подготавливаясь к «диспуту», я мечтал даже, что судьба возлагает на меня миссию обратить этого крайне симпатичного, но заблуждающегося философа на путь истинный. Ведь все мы верили тогда, что «идеи управляют миром» и что не только Соловьев, но и вся Россия только потому не признает наших студенческих идеалов, что не усвоила себе вот такой-то идеи и не прочла вот таких-то хороших книжек. Всецело разделяя такой взгляд, я и для Соловьева составил длинный список книг в духе господствовавшего тогда студенческого мировоззрения.

Вооруженный таким образом с головы до ног, я приблизительно через неделю позвонил в квартиру Соловьева. Жил он тогда на Каменноостровском проспекте. Дверь открыл сам хозяин квартиры. Узнав меня, он с приветливой улыбкой воскликнул:

— А, мой непримиримый студент!

Такая встреча сразу давала тон всему последующему. Я огляделся. Квартира профессора состояла из двух комнат, скромно обставленных. На столе перед диваном стоял самовар и стаканы.

— Ну что же? Чай будем пить? — спросил Владимир Сергеевич и, оглядев стол, прибавил: — Только вот сахару нет...

Услышав столь знакомую мне в студенческом быту фразу — «сахару нет», — я совершенно рефлексивно, по привычной ассоциации впечатлений, полез в карман за деньгами, но, сообразив, что передо мной не студент, а профессор, остановился. Однако Соловьев заметил мое движение и, улыбаясь, все в том же шутливом тоне пояснил:

— Сахар есть, но вопрос момента заключается в одном слове: где?

Оказалось, что служанка забыла подать сахар и сама скрылась.

И вот доктор философии и знаменитый автор «Критики отвлеченных начал» принялся за розыски сахара, а я, прибывший со столь серьезной «миссией», начал помогать ему, но, так сказать, теоретически: не под бумагами ли? не сунула ли в письменный стол? и т. п.

Наконец искомое было найдено и мы приступили к чаепитию.

Чтобы покончить с «хозяйственными» вопросами, я должен прибавить, что Владимир Сергеевич, как оказалось при последующем с ним знакомстве, во всякого рода практических делах был существом в полном смысле слова «не от мира сего» и даже на меня, в то время довольно беззаботного студента, производил впечатление человека, органически неспособного ориентироваться в каких-либо материальных соображениях. Может быть, именно поэтому он вел большею частью кочевую жизнь, останавливаясь в гостиницах или у знакомых и никогда не имея «своего угла».

За стаканом чая я, не теряя времени, приступил к выполнению своей «миссии». Сначала я сделал общий абрис исповедуемого мною «реального миропонимания» и потом предложил моему собеседнику тот список книг, о котором я говорил выше. Соловьев выслушал меня, а затем серьезно и внимательно просмотрел и самый список. Покончив со списком, он заявил мне, к величайшему моему удивлению, что все эти авторы ему известны, что сочинения их недурны, но большая их часть представляет собою или неполные, по цензурным условиям, переводы, или компиляции. Поэтому лучше всего ознакомиться с первоисточниками и подлинниками. И тут же, не отходя от стола, на

том же листе, который я ему подал, он на память написал не менее длинный список французских и немецких авторов, трактовавших о тех же вопросах, прибавив и несколько русских, на тот случай, если я плохо владею иностранными языками.

Такой неожиданный оборот дела совершенно сбил меня с толку. Не говоря уже о том, что все «мои авторы» оказались Соловьеву известными, я мог предполагать, что он, если истина на его стороне, критически рассмотрит их взгляды по существу, наконец, разобьет их «в пух и прах» — и вдруг, вместо всего этого, он еще увеличивает их список и этим дает мне, своему «неприемлемому супостату», новые, более могущественные орудия против себя самого...

В этом смысле я и высказался.

— Истина не боится света, — ответил Соловьев, — для меня так же важно познать истину, как и для вас, и все дело не во мне и не в ком-либо другом, а именно в истине. Важно только то, чтобы люди стремились к познанию истины, а пути к ней могут быть разные. Если ваша индивидуальность склоняет вас к тому направлению, которым идете вы, работайте на этом пути, и я способствую вам, как могу. — Он указал на написанный им список книг. — Затем, насколько позволяет мне судить мой личный опыт, необходимо исчерпать намеченное направление мысли по возможности до конца. То направление, которое избрали вы, я, как мне кажется, уже прошел, и когда прошел, то почувствовал, что самые существенные запросы духа остаются неудовлетворенными. Мне оставалось идти дальше. Теперь мне кажется, что туман рассеялся, передо мной просвет... Но всегда ли я останусь при этом убеждении? Почувствовав неудовлетворенность, может быть, я пойду далее... *

* Как я узнал незабвенного Владимира Сергеевича в его стихотворении, написанном гораздо позже, в 1884 году:

В тумане утреннем неверными шагами
Я шел к таинственным и чудным берегам...

.....
В холодный белый день дорогой одинокой,
Как прежде, я иду в неведомой стране...

.....
И до полуночи неробкими шагами
Все буду я идти к желанным берегам...

Ведь это все те же мысли, которые были высказаны там, на Каменноостровском проспекте!..

Как не похож был этот ответ, полный истинно философского достоинства и в то же время нелицемерной скромности, на студенческую нетерпимость к чужим мнениям! В то время я не оценил возвышенности этого ответа и понял только то, что составленный мною для Соловьева список книг потерпел полную неудачу, почему в споре с ним приходилось рассчитывать исключительно на самого себя. И только тут, в свободном споре, я почувствовал, что мой оппонент, при всей его огромной эрудиции и необыкновенной способности к философскому анализу, наконец, при его даре слова, является каким-то Голиафом по сравнению со мной. Не то чтобы Соловьев изрекал какие-либо неслыханные истины, напротив, он говорил обо всех известных вещах, но дело в том, *как* он освещал все вопросы и *как* говорил о них. Например, вы поднимали речь об аграрном или рабочем вопросе. Соловьев признавал законность всех этих вопросов, но когда он начинал говорить о них, то казалось, что он усаживает вас в аэростат и поднимает высоко над землею и с этой, еще неизвестной вам высоты все злободневные вопросы неожиданно бледнеют перед чем-то высшим, лучезарным и великим. Земля с ее тревоблениями постепенно скрывалась из вида, и вы чувствовали близость необъятного и величественного неба. Не правда земли, а правда Божья увлекала его, и он обладал поразительным даром поднимать человека над землей и сообщать ему высшие порывы духа. Прекрасно сказал о нем А. М. Жемчужников:

Тот высший мир манил его,
Где вечность заслонила время...¹³

Беседа наша с Владимиром Сергеевичем затянулась до поздней ночи.

Я вышел от него глубоко взволнованным, в каком-то тумане, и целый хаос самых противоречивых мыслей вихрем пронесся предо мной. Не то чтобы Соловьев заставил меня отречься от моего мировоззрения, — он, по-видимому, и не старался об этом: он просто раскрывал передо мною новый мир идей и стремлений, *свой* мир... И уже гораздо позже я понял, что во мне началась борьба двух противоположных начал. Однако и в то время я не мог не сознавать, что все те вопросы, которые в моих глазах и в глазах моих товарищей казались разрешенными чуть ли не с математической точностью, на самом деле сохраняют прежнюю остроту мучительных загадок.

Была ночь, сияла луна. Длинный шпиг Петропавловской крепости высился вдали, как гигантский грозный палец: quos

его!..¹⁴ А далее, по мере того как я в волнении шел сам не зная куда, и эта громада являлась мне в ином свете. Все заволокло туманом, и сквозь его гущу начал вырисовываться бледными, неясными очертаниями и образ смиренного Галилеянина...

Наступила следующая лекция Соловьева, после которой ему, по обыкновению, «возражали». Один студент, волнуясь, между прочим, сказал:

— Никто не знает истины. В чем она? Идите к Менделееву или Сеченову, и они ответят: вот в чем. Разверните Конта или Канта — и там прочтете другое. Сам Христос на вопрос Пилата: «Что есть истина?» — ответил молчанием.

Владимир Сергеевич возразил:

— Христос действительно не ответил на вопрос об истине, но не ответил Пилату. Ученикам же своим Он сказал: Я есмь путь и истина и жизнь. Указав, что истина в Нем, Он также сказал: познайте истину, и истина сделает вас свободными.

Некоторые студенты в своих возражениях оказывались несдержанными и позволяли себе колкости. Таких, впрочем, сейчас же останавливали другие криками «Довольно!»

После лекции, когда Соловьев уже выходил из университета, я спросил его: как он относится к несдержанным студентам? Владимир Сергеевич с видом глубокого убеждения ответил:

— Это будут если не лучшие мои ученики, то, во всяком случае, прекрасные общественные деятели.

Я попросил объяснения.

— Усвоению каждой истины, — продолжал профессор, — предшествует период более или менее страстного отрицания ее. И чем упорнее отрицание, тем пламеннее вера. Для того чтобы быть апостолом Павлом, нужно пройти через «дышавшего угрозами и убийством» Савла¹⁵. Дело не в том, что они говорят колкости и волнуются, а в том, что они не остаются равнодушными к исканию истины. Горе не тому, кто «горяч», а тому, кто «не горяч»; про таких сказано: «Извергну тебя из уст Моих».

Так везде и во всем для Владимира Сергеевича стояла на первом плане не личность, а истина и ищущие ее.

Время шло, а мой душевный кризис, вызванный проповедями Соловьева, становился все мучительнее. Сидя в его квартире и слушая его вдохновенные речи, я временами готов был воскликнуть: да, учитель, ты прав! Но мрачная действительность того времени совсем не располагала к пути «самосовершенствования» и «вселенской любви», на которые звал своих слушателей Соловьев. Возмутительные факты грубого административного произвола и насилия способны были озлобить даже самых сми-

ренных. В самом университете беспрестанно повторялись аресты и потом высылки совершенно не повинных ни в какой политической агитации студентов. Казалось, сама администрация делала все от нее зависящее, чтобы ненависть к существовавшему режиму разрасталась и вширь и вглубь. И недаром революционеры говорили тогда, что наилучшим их союзником в пропаганде является правительство. И вот после одного из «актов» администрации, особенно возмущившего всех, мне показалось, что переживаемым мною мучительным колебаниям наступил конец. Я явился к Соловьеву и рассказал ему так сильно взволновавшие меня события последних дней.

— Да, тяжелые факты, ужасные факты! — печально произнес Владимир Сергеевич.

— Вы видите, — взволнованно продолжал я, — разве возможно в такие времена эгоистическое «самосовершенствование»? Нет, остается одно: на насилие отвечать насилием, применять не закон Христа, а закон Моисея: око за око, зуб за зуб... Война так война, и надо идти в бой, а не услаждаться проповедью «любви»...

И чтобы показать «учителю», что я отрекаюсь от всей его философии, я вынул из кармана книжку, в которую вписывал свои стихи, и прочел стихотворение, написанное накануне.

Оно заканчивалось словами:

...Боец ли, нет ли, но с бойцами
Одной душой я жить клянусь,
И перед вашими богами
Я никогда не преклонюсь!..

В волнении я бросил свою тетрадку на стол и, отойдя к столу, начал смотреть на улицу.

Наступило молчание.

Владимир Сергеевич сидел в своей обычной позе, охватив руками приподнятое колено и со склоненной головой. Спустя некоторое время он тихо, как бы раздумчиво заговорил:

— Во всех случаях жизни, а тем более в важнейших из них, необходимо проверять свое решение, свою совесть образом Христа. Надо спросить себя: одобрил ли бы Он предполагаемый поступок? В данном случае, когда идет речь о насилии, мы имеем Его прямое указание: взявший меч мечом погибнет... Однако идем далее. Положим, вы готовы погибнуть во имя того, что для вас представляется общественным благом. Следовательно, вы верите, что это есть действительно благо, добро... Но применение насилия для целей добра было бы признанием, что само по себе добро не имеет силы. Однако так ли это? Если мы обратимся к

историческим фактам, то общеизвестен гигантский, длившийся века поединок между Добром и Злом, между любовью и насилием. Представителями добра и любви явились христиане первых веков, а воплощением насилия, направленного против христиан, выступил грозный, несокрушимый Рим. Кто же победил? На каждой церкви вы увидите крест, символ любви и победы над насилием; но где железный Рим времен Нерона? Вы хотите действовать во имя добра, следовательно, намерены создавать, а не разрушать. Но творческой силой является только любовь; насилие может только разрушать. И посмотрите, как созидал Христос. Он принял образ самого смиренного из людей — сына беднейшего плотника, и притом из Назарета, т. е. из деревушки, которая была в презрении даже у современных Христу иудеев. К этому смирению он присоединил «превосходящую всякое разумение» любовь к людям и создал Свою Церковь не насилием, не мечом, не противлением кесарю, но только любовью.

— Пускай все это так, — сказал я, — но, по-моему, не препятствовать тому, что совершается, значит не иметь в груди сердца.

— Совершается вокруг зло и насилие, но, возмущаясь насилием, вы хотите прибавить насилие и от себя? Вы стремитесь, может быть, к подвигу; но при данных условиях подвиг в том и заключается, чтобы, видя вокруг ликование зла и насилия, могучим внутренним движением побороть в самом себе соблазн к нисилию и верить единственно в могущество Добра самого по себе... Вы страдаете, но Христос предвидел, что алчущие и жаждающие правды в том мире, который «во зле лежит», будут страдать, и потому сказал: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь: Я победил мир».

Вечер кончился тихой и сердечной беседой. В конце ее Соловьев взял в руки брошенную мною на стол тетрадку со стихами и сказал:

— Я напишу вам на память стихотворение.

Эта тетрадка, в которую тридцать лет назад Владимир Сергеевич вписал свое стихотворение, лежит сейчас передо мною. Стихотворение же это следующее:

О, как в тебе лазури чистой много
И черных, черных туч!
Как ясно над тобой сияет отблеск Бога,
Как злой огонь в тебе томителен и жгуч.

И как в твоей душе с невидимой враждою
Две силы вечные таинственно сошлись,
И тени двух миров, нестройною толпою
Теснясь к тебе, кругом переплелись,

В неведомой чреде друг другу уступая
Иль споря меж собой без мысли и следа,
И вся твоя душа — их двойственность слепая,
Немой бесплодный мир, ненужная вражда...

Но верится: пройдет сверкающий громами
Средь этой мглы божественный глагол,
И туча черная могучими струями
Прольется вся в опустошенный дол.

И светлую росой она его омоет,
И утаится пыл враждебного огня,
И весь свой блеск небесный свод откроет,
И ярко расцветет веселая земля*.

Уходя в этот вечер от Владимира Сергеевича и уже надевая пальто, я сказал:

— А все-таки она вертится...

Соловьев понял ход моих мыслей, задумчиво посмотрел на меня и в тон мне ответил:

— А может быть, вам и придется пройти через Савла...

На прощанье мы в первый раз облобызались.

Владимир Сергеевич охотно знакомился со студентами и как будто даже искал сближения с ними вне стен университета. Кроме меня, он бывал еще у нескольких студентов, причем совершенно не стеснялся той обстановкой, в которой они жили. Например, после роскошной квартиры князя Э. Э. Ухтомского, бывшего в то время студентом Петербургского университета, я застал его в жалкой конурке беднейшего из студентов Бояринова, обитавшего в одной из глухих улиц Петербургской стороны. Студентов такого типа, как Бояринов (жив ли он и где он теперь, мой милый товарищ?), в наше время не встречается, и потому, воскрешая тени минувшего, надо сказать о нем несколько слов.

* В печати (сличаю по 3-му изданию стихотворений Влад. Соловьева. СПб., 1900) это стихотворение появилось в несколько ином виде: вместо «кругом переплелись» поставлено — «причудливо сплелись». Следующее за этими словами подчеркнутое мною четверостишие совсем выпущено. Наконец, последнее четверостишие переделано следующим образом:

...И светлую росой она его омоет,
Огонь стихий враждебный утолит,
И весь свой блеск небесный свод откроет
И всю красу земли недвижно озарит.

Бояринов был юристом, жил на 15 рублей в месяц, получаемых с урока, а в действительности на еще меньшую сумму, так как, получив деньги за урок, иной раз давал встретившемуся нищему полтинник. Комнатка его была пространством в 15 квадратных аршин; в ней находились кровать, небольшой некрашенный стол и два стула. Питался он хлебом и овощами, иногда, как роскошь, позволял себе пообедать в кухмистерской.

Главное, что составляло его оригинальность, заключалось в том, что жил он таким образом по принципу. На это у него была своя теория, которую он при случае излагал товарищам так:

— Все вы стремитесь к свободе и независимости, но вы рабы и готовите себя в рабы, хотя проповедуете свободу. Действительная независимость приобретается только способностью питаться хлебом с водою и находить высшее наслаждение в мышлении и в спокойствии духа. Заботиться о хлебе насущном постыдно. Если я достиг этого, то я вполне независим и смело могу говорить кому угодно то, что думаю. Чем могут испугать меня? Куда бы меня ни заточили, куда бы ни сослали, — хлеб с водою и комната в 15 кв. аршин везде у меня будет, а наслаждения мыслить у меня никто не может отнять. Я верю в бессмертие души и потому даже на смерть смотрю как любознательный путник, засидевшийся на одном месте и жаждущий повидать новые земли...

Однако относительно веры в бессмертие он, по-видимому, был не особенно тверд и постоянно обсуждал этот вопрос. Он производил по этому поводу своего рода анкету, опрашивая по вопросу о бессмертии всех студентов, с которыми вновь знакомился, чем, между прочим, и приобрел прозвище «чужак».

В тот день, когда я застал у него Соловьева, он как раз свел новое знакомство со студентом-естественником, затащил его к себе и, по обыкновению, допросил по вопросу о бессмертии.

Естественник не задумался ни на минуту и, увидев на столе бумагу, тотчас сел и написал:

Друзья! Материя ведь вечна,
А мы — материя, конечно...
Итак, в амины и амиды,
В сульфокислоты, альдегиды
И в множество соединений,
По точной схеме разложений,
Мой труп бессмертный превратится
И в газы, в почве растворится...
И вспыхну я в огне заката,
Польюсь волною аромата

И лягу розой полевой
На грудь красотки молодой... *

Бояринов, прочтя этот «символ веры», возмутился и воскликнул:

— Ты все о плоти, о материи! А душа?

— Душа?! Ну, о таком элементе химической науке ничего не известно.

Соловьев, которому Бояринов прочел стихотворение естественника, много смеялся тем особым смехом, которым смеялся только он. Вл. Серг. сам любил шутку и по поводу «стишины» естественника рассказал такой анекдот: одного ученого-математика, смотревшего на весь мир сквозь призму математических доказательств, упростили послушать музыканта. Математик, внимательно прослушав сонату, дивно исполненную вдохновенным артистом, в недоумении спросил окружающих:

— Что же он этим хотел доказать?

Когда шутки кончились, Владимир Сергеевич задушевным тоном начал развивать столь желанную для Бояринова тему о бессмертии:

— Желание бессмертия, — говорил он, — и вера в него — это то единственное, что поднимает человека над всею остальною природою. Если не верить в бессмертие, то не стоит и жить. И вот почему «мир во зле лежит». Это зло повсюду: зло и обман в том, что, всемерно стремясь к жизни, мы в то же время знаем, что смерть — удел всего существующего, и сами кончаем смертью. Зло и в том, что бытие вселенной наполнено беспощадною борьбою за существование, братоубийственной борьбой... Злоба и вражда наполняют нашу жизнь, а любовь к ней призрачна. Такая жизнь, насыщенная злобой и враждою, стремлением каждой особи противопоставить себя всему остальному и отстоять свое «я» за счет страданий или гибели других и кончающаяся все же собственной гибелью, — бессмыслица и нравственное преступление. Примириться с такою бессмысленною и нравственно преступною жизнью — значит примириться с царством смерти и сознательно участвовать в мировом зле и обмане. Следовательно, жизнь только в таком случае приобретает смысл и нравст-

* Это стихотворение впоследствии было мне прислано Бояриновым при таком письме: «Храни сию стишину одного из твоих единомышленников до того дня, когда от вашего паскудного механического миропонимания не останется в науке и праха. В тот скорый и радостный день разверни сию стишину и возьми себя: безумец, кто из нас был прав?»

венное достоинство, когда она является непрерывным стремлением к нравственному совершенству, стремлением к победе духа над материальной природой, влекущей человека ко злу и гибели. Жизнь должна быть подвигом, т. е. сознательным и постепенным претворением плотской жизни в жизнь духовную, одухотворением материи, созиданием богочеловеческого тела. И венцом такого подвига является, как показал Христос, полная и совершенная победа духа над материей, жизни над смертью, воскресение из мертвых или истинное бессмертие.

Бояринов слушал Владимира Сергеевича с упоением. Он готов был броситься ему на шею и с этого дня прекратил допросы товарищей о бессмертии. Он был удовлетворен в своем искании.

Популярность Соловьева среди студентов быстро возрастала. Он приобретал уже тот авторитет, без которого немислимо учительство и сколько-нибудь серьезное влияние на слушателей. И не подлежит сомнению, что если бы Соловьев удержался в университете достаточно продолжительное время, то в значительной степени видоизменил бы идеологию большинства студенчества. Но все это оборвалось разом и совершенно неожиданно. Такого рода неожиданностями вообще было богато описываемое время.

Вот как произошло то печальное событие, которое лишило С.-Петербургский университет такого выдающегося доктора, как Вл. С. Соловьев.

Спустя несколько времени после цареубийства 1 марта 1881 г., когда суд над участниками этого преступления еще не состоялся, Владимир Сергеевич решил прочесть публичную лекцию. Эта лекция произвела в то время огромную сенсацию и разошлась в массе гектографированных, но нередко искаженных списков по всей России.

За два дня до этой лекции я зашел к Соловьеву. Между прочим он спросил меня, собираются ли студенты на его лекцию. Я ответил, что многие желали бы быть на лекции, но не всем по карману входная плата.

Владимир Сергеевич тотчас же вынул из письменного стола большую пачку билетов для входа на лекцию и просил меня раздать их в университете бесплатно.

Настал день этой знаменитой лекции. Я не помню, где именно она была прочитана, но помню, что зал был переполнен¹⁶. Когда Соловьев появился на эстраде, студенты встретили его рукоплесканиями. Начало лекции было совершенно в мистическом духе, но видно было, что лектор к чему-то подходит, что-то заранее стремится обосновать. Но что именно? Самый проница-

тельный слушатель не мог бы предугадать конечного вывода. Чтобы понять то потрясающее впечатление, которое произвел на публику конец лекции, необходимо припомнить, какие дни переживал тогда Петербург. Как сказано, это было вскоре после ужасного события 1 марта. Это были дни страха и ужаса, когда «хватали правого и виноватого», когда все места заключения были переполнены и о царевийцах робкие люди даже дома говорили шепотом, боясь, что «стены услышат»...

И вот в такие-то дни, среди многолюдного собрания Владимир Сергеевич не только заговорил о царевийцах, но сказал о них то, что не решился бы сказать публично ни один лектор во всей России.

Это было бесстрашное, полное великого мужества исповедание веры. В те минуты казалось, что действительно воскрес один из громоносных ветхозаветных пророков и огненным словом бестрепетно указал толпе, плясавшей вокруг Ваала, на забытого Бога.

Разумеется, я даже приблизительно не в состоянии передать пламенное красноречие конца лекции, так потрясшего всю публику. Я могу передать только мысль.

Владимир Сергеевич подошел к вопросу о сущности государства. В нескольких замечательно сильных выражениях он охарактеризовал существующие государства вообще и русское в частности как совершенно нехристианские, как чуждые основных начал истинного христианства.

— Христианское государство, — возглашал вдохновенный лектор, — должно иметь цель не в себе самом; оно должно находить свой смысл единственно в приближении к царству Божию, к осуществлению в государственном союзе воли Отца Небесного, одинаковой как на земле, так и на небесах. Вне служения этой цели каждое государство теряет право на название христианского и становится, подобно языческому, бесцельным и бессмысленным. «Я есмь путь и истина и жизнь». Государственная организация имеет ценность постольку, поскольку она является путем к возведенной Богочеловеком истине, приводящей к жизни вечной. Поэтому закон в государстве не может служить признанием случайно образовавшегося «соотношения реальных сил»: он должен обновляться в духе истины и исправляться по идеям правды Божией. И каждый нарушитель закона, каждый преступник должен рассматриваться как один из тех, которые «куплены дорогою ценою». С христианской точки зрения это — несчастный, уклонившийся от пути правды Божией; но в нем еще жива душа, способная к возрождению... Приблизить эту заблуд-

шую душу ко Христу может только носительница его заветов — Церковь, а не полицейские чиновники. Верховная власть в христианском государстве не должна являть собою воплощение произвола; она должна понимать свое назначение как преимущество перед всеми служение заветам Христа. В особенности следует это сказать о русском государстве. Если наш царь именуется помазанником Божиим, то такое священное звание обязывает его с наивысшей ревностью относиться к воле Бога, к делу Божию на земле. Он должен всенародно явить доказательства своего звания как истинного «помазанника Божия».

— В настоящее время совершилось цареубийство, — продолжал Соловьев.

И вдруг наступила жуткая, страшная тишина. Казалось, зал окаменел... Все затаили дыхание, все сердца усиленно бились: неужели он решится?.. И среди этой подлинно гробовой тишины гремел вдохновенный голос «пророка»:

— Свершилось злое, бессмысленное, ужасное дело: убит царь. Преступники схвачены, их имена известны, и по существующему закону их ожидает смерть — как возмездие, как исполнение языческого веления: око за око, смерть за смерть. Но как должен бы поступить истинный «помазанник Божий», высший между нами носитель обязанностей христианского общества по отношению ко впавшим в тяжкий грех? Он должен всенародно дать пример. Он должен отречься от языческого начала возмездия и устрашения смертью и проникнуться христианским началом жалости к безумному злодею. «Помазанник Божий», не оправдывая преступления, должен удалить цареубийц из общества как жестоких и вредных его членов, но удалить, не уничтожив их, а вспомнив о душе преступников и передав их в ведение Церкви, единственно способной нравственно исцелить их...

Соловьев кончил. Но еще с минуту стояла все та же леденящая душу тишина. И вдруг словно дикий, неистовый ураган ворвался в зал. Раздались не крики, а прямо вопли остервенения, безумной ярости: «Изменник! Негодяй! Террорист! Вон его! Растерзать его!»

Публика первых рядов бросилась к эстраде, размахивая руками, стуча стульями и неистово крича вслед уходящему лектору. Как сейчас вижу одного генерала, бросившегося за Соловьевым и бешено потрясавшего багровым кулаком.

В то же время раздавались неистовые аплодисменты и крики «браво» среди студентов.

Вдруг сотенная толпа их колыхнулась...

— Они убьют его. Выручать!..

И студенческая масса, точно вырвавшийся на волю поток, ринулась к Соловьеву.

Публика мигом была оттеснена; ворвались в ту, соседнюю с залом комнату, где стоял профессор. Но он сделал движение рукою и снова появился на эстраде.

При его появлении снова все смолкли, ожидая, что он скажет.

— Я вижу, — расстроено начал Владимир Сергеевич, — меня совершенно не поняли: я не оправдывал цареубийства...

Но снова бешеные крики с одной стороны и тотчас следовавшие за ними бурные аплодисменты с другой прервали его. Одни стремились к Соловьеву, что-то крича и размахивая руками, другие пытались удержать их; готова была начаться свалка...

— Не выдавать! — раздалось опять среди студентов. — Цепь, цепь кругом! на руках нести!..

Одни студенты мигом схватились за руки и образовали кругом Соловьва живую цепь; другие подхватили его на руки и все вместе, с криками: «Ура! Да здравствует Соловьев!» — торжественно понесли его к выходу среди беснующейся вокруг публики. Пронесли с триумфом через весь зал, спустились по лестнице и опустили на ноги только у вешалки с платьем. Нашли и подали ему шинель, потом наняли карету, усадили и проводили криками «ура».

А по Петербургу уже полетело сенсационнейшее для тех дней известие, что проф. Соловьев в публичной лекции, при огромном стечении публики, доказывал будто бы необходимость полного «помилования» цареубийц...

На другой же день, часов в 12, я был у Соловьева. При взгляде на него я невольно отшатнулся — до такой степени было страдальческое выражение его лица. Особенно поразила меня небольшая прядка седых волос спереди. Она явилась в одну ночь.

Убитый вид Соловьева и грустный тон последующих речей его составляли резкий контраст с целой грудой прелестных букетов из живых благоухающих цветов, которыми был завален один из столов. Как оказалось, все эти букеты были поднесены Владимиру Сергеевичу сегодня же утром неизвестными слушателями и слушательницами вчерашней лекции.

Только один и, кажется, самый роскошный букет был доставлен не анонимно: его вручили «высокоуважаемому профессору» депутатки Бестужевских курсов.

Когда я вошел, Владимир Сергеевич стоял посреди комнаты с пером в руке и грустно смотрел на эти чудные цветы.

Соловьев встретил меня так, будто мы не расставались: вместо обычного приветствия он схватился за голову и мученическим голосом воскликнул:

— Они не поняли меня, совершенно не поняли!..

Очевидно, под «они» подразумевалась публика вчерашней лекции. Как ни был я далек от его настроения, но живо почувствовал глубокую трагичность этого восклицания. Человек вложил всю душу в свою лекцию, может быть, не без мучительных колебаний решил высказать в такие ужасные дни одно из своих священнейших верований, и... оно было истолковано в совершенно обратном смысле!

— Меня вызывают в Третье отделение, — возбужденно продолжал Вл. Серг., — это пусть, но я только хочу, чтобы меня поняли. С этой целью я пишу письмо Государю¹⁷.

При этих словах Вл. Серг. указал на пачку исписанных по-французски листов, лежавших на столе.

— Я излагаю в этом письме все существенные места моей лекции и почти целиком все то, что я сказал о цареубийцах. Я уверен, государь поймет, что с христианской точки зрения я прав. Во всяком случае, я не раскаиваюсь в том, что говорил, и отказаться от сказанного мною я не в состоянии, что бы со мной ни сделали. Если же и после этого письма мне придется пострадать, то для меня будет большим утешением сознание, что я пострадал не по недоразумению, а именно за то, что я сказал...

Я пострался как мог рассеять мрачные мысли Владимира Сергеевича и, не желая мешать ему оканчивать письмо государю, удалился, сказав, что забегу завтра утром.

Мог ли я ожидать, что это мое свидание с Соловьевым было в Петербурге последним!

Случилось так, что я мог пойти к Соловьеву только через несколько дней. Квартиру его я нашел запертой. На мой звонок в противоположную дверь вышла какая-то женщина и на вопрос о Соловьеве замахала руками и, поспешно проговорив: «Выехал, выехал...» — захлопнула дверь.

Я направился к дворнику.

В то время петербургские дворники по отношению к студентам были могущественными особами, так как являлись, в сущности, агентами все того же грозного Третьего отделения и участь не одной сотни студентов была решена тем или иным отзывом домового дворника.

Господин старший дворник, к которому я теперь шел, стоял у дворницкой.

— Могу я узнать, куда выехал Владимир Сергеевич Соловьев?

Дворник вместо ответа строго посмотрел на мой студенческий плед, потом медленно приподнял фартук, расправил его угол на растопыренных пальцах и так же неторопливо, по гоголевскому

выражению, «обошелся с носом». Засим он тем же фартуком старательно вытер усы и бороду и, когда вся эта операция была закончена, снова взглянул на мой злосчастный плед и удостоил такого ответа:

— А вот что я вам скажу: идите-ка отсюда подобру-поздорову, да поскорее, по-настоящему-то вас как приятеля Соловьева надо бы в участок предоставить...

С этими словами он не торопясь вошел в свою дворницкую и хлопнул дверь.

Комментариев для студента того времени не требовалось: Соловьева в Петербурге уже не было. Для университета погасла одна из самых ярких его звезд, и многие студенты почувствовали себя осиротевшими.

Заканчивая свои воспоминания об одном из замечательнейших научно-литературных деятелей XIX века, я могу прибавить только несколько слов.

По моему глубокому убеждению, описанный период жизни не мог остаться без сильного влияния на образ мыслей Вл. С. Соловьева.

Размышление над причинами собственной житейской катастрофы должно было внести некоторые поправки в его взгляды на условия общественного прогресса. Эволюция в этом направлении, конечно, могла продолжаться под воздействием всей совокупности обстоятельств его времени, но первый толчок в эту сторону едва ли не был дан впечатлениями описанного момента.

В моей памяти самым драгоценным и обаятельным является воспоминание о Вл. С. Соловьеве.





Л. П. НИКИФОРОВ

Из воспоминаний о Владимире Сергеевиче Соловьеве

В один из моих приездов в Москву старый мой приятель Владимир Федорович Орлов посоветовал мне познакомиться с Вл. Серг. Соловьевым, и мы как-то вечером отправились к нему. «Не знаю, в Москве ли Соловьев, — заметил Орлов. — Спросим у извозчиков».

— Почему же извозчики могут это знать? — удивленно спросил я.

— А видишь ли, он не только ездит с ними, но часто случается ему отбирать у них всю выручку.

Из дальнейших расспросов я узнал, что Владимир Сергеевич не любил отказывать не только нуждающимся, но и вообще просящим. Если ему случалось раздать все имевшиеся при нем деньги, а встречался еще нищий, то он занимал у извозчика. Это очень нравилось извозчикам, и они считали Соловьева особенно «душевным барином».

Соловьев жил тогда на углу Пречистенки и Зубовской площади. Дойдя до площади, Орлов спросил у стоявшего там извозчика: «А что Соловьев, Владимир Сергеевич, в Москве?» — «В Москве, дня три как уже приехал, и теперь дома», — ответил извозчик, несколько не удивленный этим вопросом.

Соловьева мы действительно застали дома, но ему нездоровилось, его лихорадило, и он, укутываясь в плед, сидел на диванчике маленькой своей комнаты, даже на окне которой стояло несколько икон.

Беседа зашла об отношении Ветхого Завета к Новому. Владимир Сергеевич отстаивал их если не тождество, то родство и утверждал, что они плод одного и того же дерева, с тою только разницей, что Ветхий Завет можно уподобить дикому, кислому плоду, а Новый — уже облагороженный, сладкий, но все же яб-

лоня одна и та же; мы же больше высталяли на вид их не сходства, а противоположности. Не желая утомлять его, мы скоро ушли, и затем я довольно долго не видал его, пока не встретил у Льва Николаевича Толстого.

Поразителен был контраст между этими двумя людьми не только по внешности, но и во всем умственном и духовном складе. Толстой был некрасив, но вся фигура его дышала необычайной телесной и духовной мощью истого сына земли. Соловьев был замечательно красив, но худ, болезнен и как бы соткан из одних нервов, являясь художественным воплощением мыслящего интеллигента. Один стремился свести небо на землю, другой сам воспарял к небесам. Их влекла тогда друг к другу как общая жажда водворить царство Божие на земле, так и ненависть к царящему злу. Нередко можно у Соловьева встретить блестящие страницы, под которыми охотно подписался бы Лев Николаевич.

«Подмен христианства формальным православием есть коренное зло, с которым мне приходится бороться всю мою жизнь». Чьи это слова? Можно было бы приписать их Толстому, а между тем так характеризует Соловьев свою деятельность. В то время Соловьев не относился враждебно ко Льву Николаевичу, а, напротив, восхищался его произведениями и поручил, между прочим, Орлову составить из них сводку мыслей, пригодных для солдат. «Я постараюсь, чтобы такая книжка была в ранце каждого солдата», — говорил Соловьев. Такой книжки Орлов не составил, но это, вероятно, подало Толстому мысль написать свои знаменитые «памятки» — солдатскую и офицерскую¹. Когда я впоследствии спросил Владимира Сергеевича, думает ли он выполнить свое благое намерение, он как-то неохотно ответил, что собирался это сделать при Александре III, а теперь считает это лишним. Почему — так и осталось для меня тайной.

Немало было у Соловьева общих черт с Толстым, например их громадная начитанность, их интерес ко всем сферам человеческой мысли, их необычайная память; но Толстой никогда не забывал даже самой мелкой художественной черты, почему-нибудь поразившей его в человеке или в художественном произведении, а Соловьев — каждую пленившую его мысль.

Зайдя как-то ко Льву Николаевичу, я застал у него в кабинете несколько посетителей, которым Толстой читал вслух третью статью Соловьева о «Смысле любви», только что появившуюся тогда в журнале «Вопросы философии и психологии»². Дойдя до того места в этой статье, где говорится о бессмертии и воскресении, и зная из предыдущих наших бесед, что я считаю это задачей человечества, Лев Николаевич, улыбаясь, посмотрел на меня

и сказаал: «А особенно по душе эта статья должна быть одному из нас». Окончив ее, он заметил: «Поразительно, как умеет Соловьев сразу схватить самую суть дела, запустить сошник под самый корень, в самую глубь вопроса; но всегда страшно за него, что он не сможет довести борозду до конца». На другой день мне опять пришлось быть у Льва Николаевича, и речь зашла о статье Соловьева. Толстой признавал, что основная мысль ее верна, «но лишь в идеале, а ведь идеал только потому идеал, что он недостижим». «Недостижим в ближайшем будущем, а не вообще», — заметил я. «Ну конечно, но разве лишь в очень, очень далеком будущем».

Вновь увидеться с Владимиром Сергеевичем мне пришлось не скоро, и не в Москве, а в Петербурге, в котором году — не припомню. В то время А. В. Васильев — один из немногих чистых и искренних славянофилов, особенно гордившийся тем, что у нас смертная казнь отменена прежде, чем где-либо в Европе, — задумал издавать журнал «Русская беседа»³. Я имел удовольствие несколько знать Васильева и предложил перевести для его журнала только что вышедшую книгу Дрюммонда «Восхождение Человека» (*The Ascent of man*)⁴. Васильев охотно согласился, и в дальнейшей нашей беседе его пленила мысль пригласить в сотрудники Владимира Сергеевича. С этой целью я зашел к Соловьеву, занимавшему номер в гостинице «Англия». Владимир Сергеевич дать статью согласился, но лишь со временем. Названную книгу Дрюммонда он в то время не знал, но восхищался другой его книжкой — «Естественный закон в духовном мире», для перевода которой обещал дать предисловие. Мой перевод этой последней книги, с значительными, кажется, сокращениями, был помещен в «Русской беседе»⁵, и по этому поводу Владимир Сергеевич написал мне одно из прилагаемых писем. Перевод книги «Восхождение Человека» не был напечатан в «Русской беседе», так как журнал этот скоро прекратил свое существование. Несмотря на то что я как народник во многом не сходил с Владимиром Сергеевичем — на что указывает другое письмо его ко мне, — он все же всегда был ко мне очень внимателен, а я не переставал восхищаться им и всегда при первой возможности заходил к нему. Главной занимавшей нас темой был вопрос о смысле любви. В моей статье по этому вопросу, исходя из положения, что мы происходим от одноклеточных организмов, которые не умирают — так как деление не есть смерть, а размножение, — я задавал себе вопрос, каким образом и откуда у многоклеточных, более сложных организмов, могла появиться смерть. Я приходил к заключению, что для той основной жиз-

ненной клетки, которая составляет наше «я», смерти тоже нет, а существует лишь временное замирание; внешние орудия клетки отпадают и составляют то, что мы называем трупом. Статья эта понравилась Соловьеву; он советовал непременно отдать ее для печати. При этом он не раз вспоминал Федорова⁶, известного библиотекаря Румянцевского музея. Замечательно хороший человек этот, убежденный приверженец всеобщего воскресения, вызывал вполне заслуженное уважение таких людей, как Толстой и Соловьев. Соловьев очень сожалел, что Федоров не находит издателя для своих многотомных трудов.

Однажды, войдя к Соловьеву, я застал у него одного молодого поэта-декадента; поэт этот прислал Соловьеву томик своих стихотворений и пришел выслушать его мнение. «Отчего вы так торопитесь печататься? — заметил ему Соловьев. — Вы еще очень молоды, в ваши годы даже Пушкин еще не печатался, а вы торопитесь выступить уже с отдельным томиком. Что бы вам подождать, пока вы не напишете что-нибудь действительно хорошее? Если у вас есть дар, дайте ему хоть несколько созреть и оформиться. Вот природа, уж она ли не даровита, — а между тем, если бы она остановилась на обезьяне, едва ли можно было бы сказать, что она создала нечто прекрасное; но она на этом не остановилась, она пошла дальше, и в человеке мы уже видим задатки чего-то действительно прекрасного. Сделайте и вы так же; теперь ваша поэзия — простите за откровенность — достигла только обезьяньей стадии, подождите, пока она не дойдет до человеческой — если ей это суждено, — и тогда печатайтесь». И поэт, невольно улыбнувшись, горячо пожал Соловьеву руку.

В беседах с Соловьевым меня всего больше поражало то, что, в противоположность Толстому, он боялся быть последовательным до конца. Так, например, он признавал, что тюрьмы являются учреждениями нехристианскими и что, любя ближнего, хотя бы и меньше, чем самого себя, все же нельзя посылать его в тюрьму, нельзя держать его в тюрьме; но при этом он считал безусловно необходимым, чтобы угроза тюрьмой оставалась. Признавая человека по природе существом недобрым, он находил полезным страх наказания. «Я знаю одного человека, — сказал мне однажды Соловьев, — который, наверное, убил бы меня, если бы знал, что останется безнаказанным. Теперь же он боится каторги и старается убить меня внушениями». Мне невольно припомнился при этом рассказ Александра Герасимовича Орфано, утверждавшего, что Влад. Серг. иногда физически испытывает, как черти запускают ему в спину когти и донимают его во время писания.

Говоря о войне, Соловьев охотно признавал, что христианин не должен убивать ближнего; но он был твердо уверен в неизбежности нашествия желтой расы на Европу. Он допускал, что эта раса может водворить на земле лучший политический и экономический строй, но его страшило полнейшее отсутствие в ней мистического чувства, и он считал ее окончательно неспособной постичь христианскую мистику, которой он придавал если не первенствующее, то громадное значение.

ПИСЬМА ВЛ. С. СОЛОВЬЕВА К Л. П. НИКИФОРОВУ

1

Многоуважаемый Лев Павлович!

Благодарю вас за ваше доброе, хотя и преисполненное недоразумений, письмо. Надеюсь, что главное из этих недоразумений скоро будет разъяснено печатью, а потому спрошу вас только: где вы видели тех либералов, о которых пишете, — я таких не встречал, и мне сдается, что это у вас мечты воображения. А вот вам действительный представитель того либерализма, с которым я имею дело, — Михаил Матвеевич Стасюлевич. Помимо его литературных заслуг, я знаю его безусловно бескорыстную (он ни копейки не получает, а кой-что от себя прикладывает, кроме труда и времени) деятельность на пользу простонародья в Петербурге. Благодаря ему там за последние годы открыто несколько сот новых начальных училищ; там же благодаря ему устроен городской фильтр, вследствие чего смертность от заразных болезней (главным образом в низшем классе населения, ибо высший воды не пьет) сократилась вдвое. Я не знаю в России человека, который заслуживал бы большего уважения, чем этот «либерал». Вообще, эти ярлыки ничему действительному, по крайней мере в России, не соответствуют. Если даже принять ваш весьма недостаточный критерий, то вот вам либерал Стасюлевич, который уже более тридцати лет как ничего не берет с народа и очень много дает ему, а, с другой стороны, народник К. и иные ему подобные преспокойно состоят на казенной службе и получают жалованье, а дают ли они что-нибудь народу — неизвестно.

Кстати: я должен вас разочаровать относительно себя. Вы не совсем верно меня поняли: я говорил, что уже 12 лет как не получаю никакого жалованья, ибо не состою ни на какой службе, но когда в юности я был доцентом университета, а потом членом ученого комитета, я получал свою тысячу рублей в год и не чувствовал при этом никаких угрызений совести. Это происходило,

может быть, от моей безнравственности, а может быть, от моего знакомства с росписью государственных доходов и расходов, из рассмотрения коей явствовало, что не только мои 1000 руб., но все те два или три миллиона, которые идут на поддержание учености в России, никакой важности не представляют; а, с другой стороны, совсем без всякой учености даже турки и китайцы обходиться не могут. О французских своих книгах не могу вам ничего сообщить. Их судьба меня мало интересует. Хотя в них нет ничего противного объективной истине, но то субъективное настроение, те чувства и чаяния, с которыми я их писал, мною уже пережиты.

Завтра еду в Петербург недели на две- на три. Если в конце апреля или начале мая случится вам быть в Москве, наведывайтесь, пожалуйста, очень рад был бы с вами еще увидеться.

Душевно преданный Влад. Соловьев.

2

Дорогой Лев Павлович!

Книгу Дрюммонда «Ascent of man» я кончаю только этой ночью. Думаю, что она заслуживает перевода, но тоже с сокращением. Для начала по-прежнему считаю удобнее «Natural Law», как более принципиальную. От предисловия не отказываюсь, но сию минуту написать его как следует не могу; да и для редакции «Русской беседы» мое появление осенью удобнее, чем летом, — хотя вообще их расчет на пользу моего участия в журнале не делает чести их практическому смыслу.

Если вы имеете какие-нибудь особые причины торопиться с этим делом, то напишите мне их в Петербург — Галерная, 20, ред. «Вестн. Евр.». Я уезжаю из Финляндии завтра и вернусь в конце мая.

Получил письмо большое от Арк. из Киева. Рад был факту письма, но содержание кисло-сладкое и отчасти нелепое. Он, между прочим, видит пример нравственного совершенства в Аврааме, намеревающемся заколоть своего сына, — а разум и совесть уподобляет тому «ослу, которого нужно оставить в низу горы Божией». Печальная была бы участь Господа Бога, если бы к нему могли восходить только существа без разума и совести! Буду отвечать А. в скором времени. Еще получил я письмо без подписи из Лукоянова (откуда и вы последний раз писали) по поводу моего «принципа наказания». Письмо очень большое, почерк как будто ваш и образ мыслей также, но превратное понимание моей точки

зрения такое, какого и от вас не ожидал бы. Выведите меня из недоразумения. А то я думал было ответить печатью при случае. Будьте здоровы!

Искренно вас любящий Влад. Соловьев.

3

Не посетуйте, дорогой Лев Павлович, за этот поздний ответ: мне так много приходится писать для печати, что на частную переписку остается совсем мало времени. Еще до получения вашего последнего письма я должен был оставить всякое сомнение в вашей неприкосновенности к лукояновским письмам: те же авторы прислали мне еще письмо, более откровенное и уже явно не могущее иметь ничего общего с вами. Бар. И. еще в апреле решительно отказалась от всякого содействия как по вашему ходатайству, так и по всем другим подобным, с которыми я обращался, — я думал, что вы об этом догадаетесь по моему молчанию. То, что вы пишете по поводу «Принц. наказ.», основано на недоразумении. По моей идее, принцип наказания есть *человеколюбие* как к потерпевшему, так и к преступнику, а вы говорите, что я возвожу в принцип насилие. Насилие я допускаю как необходимое в известных случаях средство для исполнения обязанности человеколюбия, совершенно так, как в примере Льва Ник. с бросанием детей из окошка при пожаре. Я уже воспользовался этим примером в статье о войне, которая скоро появится, и буду еще им пользоваться, как очень удачной иллюстрацией *моей мысли*.

Очень бы желал быть предуведомленным, когда вы будете в Москве или в Петербурге, чтобы устроить свидание, а писать много имеет многие неудобства.

Храни вас Бог!..

Любящий вас В. Соловьев.

4

Многоуважаемый Лев Павлович!

Относительно перепечатки статьи моей об Огюсте Конте из Энциклопедического словаря Брокгауза—Ефрона извещаю вас, что согласен на эту перепечатку при следующих трех условиях:

1) Мне будут доставлены прежде напечатания две корректуры — одна в гранках и другая сверстанная, и статья будет напечатана согласно моим поправкам.

2) Так как издание не имеет благотворительной цели, то при выходе книги мне будет уплачено за право печатания моей статьи сто пятьдесят рублей.

3) Я обязуюсь в течение пяти лет по выходе книги нигде не перепечатывать своей статьи и никому не передавать ее с этой целью; по истечении же пяти лет возвращаю себе право распоряжения означенною статьею.

С истинным уважением Влад. Соловьев

24 февраля 1896 г.





В. А. ПЫПИНА-ЛЯЦКАЯ

Владимир Сергеевич Соловьев

Страничка из воспоминаний

В 1886 году Владимир Сергеевич Соловьев стал печатать в «Вестнике Европы» свои статьи и стихотворения, а к 1889—1890 гг. относится начало его сближения с постоянными сотрудниками этого журнала. Тогда-то в редакции «Вестника Европы» познакомился с ним и мой отец, Александр Николаевич Пыпин¹. Скоро между ними сложились дружественные отношения.

Люди различного миропонимания в строго философском смысле этого слова, различных поколений и разного круга, оба они были кристально ясны душой и доверчивы, как дети. Именно это их роднило.

Отец любил Соловьева нежным чувством, как исключительного человека, и умиленно радовался на него, как старший на младшего, вдохновенно несущего в мир заветные, святые истины добра и правды. Соловьев отвечал ему бережным вниманием и особенной, трогательной почтительностью младшего к старшему, не поколебленному в своих верованиях испытаниями жизни.

При всем том чувствовалось, что у каждого из них мысль была направлена в свою особую область. Но они никогда не затрагивали тех вопросов, в которых могла бы отразиться их рознь. Соловьев дарил отцу «Оправдание добра», «Жизненную драму Платона», свои стихотворения, «Три разговора», которые сам захотел прочесть у нас еще до их напечатания. Когда же с его предисловием и под его редакцией вышел перевод книжки о «телепатических явлениях»², то эту книжечку он подарил мне и, обратившись к отцу, сказал, улыбаясь: «Вы ведь этого, Александр Николаевич, читать не станете, это не по вашей части...»

Беседа отца с Соловьевым шла по преимуществу о современных им общественных вопросах и событиях, в оценке которых они были совершенно солидарны, а затем они обыкновенно уса-

живались играть в шахматы. К шахматам отец особенно страстился за последние 15—20 лет своей жизни. Играл он недурно, но как дилетант, и смотрел на игру как на отдых от своих постоянных занятий. Он вечно искал для себя «жертвы», как любил выражаться, и такой «жертвой» всегда с готовностью становился Владимир Сергеевич. Они игравали в шахматы также у Стасюлевичей, после субботних обедов.

В начале знакомства с Соловьевым отец часто звал его к себе по воскресеньям в наиболее для себя свободное обеденное время. Но мы, молодежь, не очень этим бывали довольны. Соберутся, пользуясь воскресным досугом, к каждому из нас приятели и приятельницы, привыкшие чувствовать себя у нас совсем непринужденно, и вот извольте целый обед сидеть молча, слова не проронив, потому что обмениваться какими бы то ни было впечатлениями в присутствии Владимира Сергеевича, к которому мы чувствовали особенно почтительное уважение, казалось нам невозможным. Еще хорошо, если он и отец ведут интересную, хотя подчас и малодоступную для нас беседу, а случалось — и притом весьма часто, — что оба погружаются в глубокое раздумье, занятые своими мыслями. Они способны были не замечать окружающего, а для нас это становилось настоящей пыткой. Концу обеда мы радовались, как освобождению от неволи.

Уже хотели мы было просить отца приглашать Владимира Сергеевича в иной день, а не по воскресеньям, когда случайное обстоятельство открыло нам, что знаменитый философ и ученый был на редкость простым и доступным человеком и что, быть может, наша собственная застенчивость мешала ему самому ближе познакомиться с нами.

Дело было так. В одно из воскресений собралось нас за обедом человек пятнадцать. Был и Соловьев. Рядом с ним, по обыкновению, сидел отец, который в этот день не особенно хорошо себя чувствовал. Вдруг отец сильно побледнел, и голова его склонилась на плечо Соловьеву.

С отцом никогда не бывало обмороков, и понятно, как все взволновались, увидев его мертвенно-бледным и безжизненным.

Его унесли в кабинет, привели в чувство, послали за доктором.

Все были в подавленном настроении.

Соловьев не ушел. Он остался среди чуждой ему молодой компании. Как заговорил он, не помню, знаю только, что в один миг он овладел всеобщим вниманием. Просто, по-товарищески стал он рассказывать о своем путешествии в Египет, которое, по-видимому, произвело на него большое впечатление. Вспоминал

особенно подробно о том, как посещал там различных аскетов, таившихся от людей, селившихся в шалахах по пустынным местностям, как на себе проверял их мистические экстазы. Хотел видеть знаменитый Фаворский свет — и видел.

С большим юмором рассказывал он также о своих злоключениях в Италии, когда он, поднимаясь на Везувий с двумя знакомыми дамами, повредил себе ногу и лишен был возможности продолжать путешествие. Последние деньги истратил он на чудные розы, которые послал своим спутницам, и жил в гостинице в долг, ожидая присылки денег из Москвы. В гостинице сначала ему охотно открывали кредит, но потом стали косо поглядывать. Владимир Сергеевич все более и более сокращал свои потребности, стал уже питаться одним кофе. Деньги все не шли. Как только нога поправилась настолько, что явилась возможность передвигаться, он обратился к русскому консулу, рассказал о своей беде, дал о себе необходимые сведения и просил ссудить деньгами. Консул выслушал серьезно, денег дал, но выразил сожаление, что у столь знаменитого, уважаемого человека, как историк Соловьев, такой «беспутный» сын. Вернувшись в гостиницу, Владимир Сергеевич велел подать себе шампанского и как можно больше роз. Хозяин гостиницы стал называть его князем.

Рассказывал Владимир Сергеевич искренно и с увлечением. Преграда была сломлена: с недостигаемой высоты философского достижения он снизошел на ступень добродушного, милого человека.

Он рассеял удрученное настроение.

Тогда он пошел к больному, ласково побеседовал с ним и оставил всех успокоенными.

На следующее утро Владимир Сергеевич пришел узнать, что у нас делается, и радовался, что гроза миновала.

С тех пор он был не только для наших отца и матери, но и для всех нас желанным гостем.

Когда мы с мужем поселились на отдельной квартире и по вторникам у нас собирались друзья и знакомые, то нередко заглядывал к нам и Владимир Сергеевич. Сидят они с отцом за шахматами, вокруг идет веселая болтовня, поются романсы, ставятся шарады. Соловьев и за шахматами все слышит, за всем следит, первый угадывает шарады и смеется так заразительно, что, глядя на него, неудержимо смеются и все присутствующие.

А когда в 12 часов отец уйдет к себе домой, Владимир Сергеевич почувствует себя совершенно привольно. «Теперь мы без

старших», — шепнет он мне, раскинется на тахте и просит, чтобы ему пели цыганские романсы (это была единственная музыка, которую он признавал). По-видимому, он любил иногда быть среди непритязательного, веселого общества, где мог ни о чем не думать, ничем не стеснять себя, сбросить с себя ответственность «избранника», каким не мог себя не сознавать. А душа у него была младенческая, и недаром он так хорошо понял моего брата, когда тот однажды сказал при нем: «Когда я буду большой...» (ему было уже за тридцать). Все засмеялись. «А я так вас понимаю, — заметил Владимир Сергеевич, — я также часто про себя думаю: когда я буду большой...»

Он любил слушать цыганские романсы за стаканом вина, любил рассказывать забавный анекдот, прочитав шутовское стихотворение или свои пародии на символистов: «Горизонты вертикальные...» или «На небесах горят паникадила...» Не пропустил он также случая, чтобы не вспомнить Козьму Пруткова.

Как-то однажды поздно у нас засиделись. Догорали огни (электричества у нас еще не было), допивалось вино. Всегда очень застенчивый, ныне покойный, брат мой, набравшись храбрости, говорит, обращаясь к Соловьеву: «Владимир Сергеевич, вот Лиза (наша близкая родственница) меня под столом толкает, чтобы я просил вас прочесть что-нибудь, а ведь уже поздно». Соловьев рассмеялся. «Отчего же, — говорит, — прочту с большим удовольствием. Есть у вас Прутков?»

Прутков был под рукой, и Владимир Сергеевич с большой серьезностью прочел рассказ «Не всегда слишком сильно» — забавную историю о том, как «холостой и притом видный из себя инженер повадился навещать магистра разных наук», дабы «на чужой домашней неустройке храм собственного благополучия возвести».

Владимиру Сергеевичу сразу вспомнился именно этот рассказ потому, что сущность его в том, что герой за трапезою выражал свои чувства супруге хозяина, «носком своей обуви таковой же хозяйкин прикрывая», и, наконец, «с толикою нетерпеливостью хозяйкино колено натиснул», что она, «взорами поблекши», чужим голосом воскликнула: «Увы мне — чашка на боку!» Мораль была очевидна.

Дочитывал «историю», Владимир Сергеевич при неумолкавшем смехе присутствовавших, а потом и сам разразился своим звонким, несколько демоническим смехом, так не гармонировавшим с его загадочным взглядом, таинственно полуприкрытым веками и лишь иногда открывавшим свой неземной блеск.

Когда же сосредоточенный, погруженный в свои думы Владимир Сергеевич бывал молчалив, в такие минуты жизнь шла мимо него. «Он отсутствует», — говорил о нем отец, не смущаясь таким состоянием своего друга. Оно часто овладевало им, особенно во время прогулок по Петергофскому или Царскосельскому парку, когда отец подчас и сам погружался в подобное же небытие, обдумывая свои очередные работы.

Но однажды даже его удивил Владимир Сергеевич.

— Сегодня Соловьев был какой-то совсем особенный, — сказал он.

В ближайшую среду они встретились в редакции.

— А заметили вы, Александр Николаевич, что я был странный у вас? — спросил со смехом Соловьев.

— Заметил.

— Это на меня луна так действовала (они гуляли в лунно-туманный вечер в петергофском Нижнем саду) и повергала меня в поэтическое настроение. А вот вам и результат.

Соловьев передал отцу стихотворение:

Пусть тучи черные грозящую толпою
Лазурь заволокли, —
Я вижу лунный блеск: он их тяжелой мглою
Не отнял у земли.
Пусть тьма житейских зол опять нас разлучила,
И снова счастья нет, —
Сквозь тьму издалика таинственная сила
Мне шлет свой тихий свет.
Края разбитых туч сокрытыми лучами
Уж месяц серебрит.
Еще один лишь миг, и лик его над нами
В лазури заблестит.

(Стихотворения, СПб., 1900. С. 55)

Всегда охотно говорил Владимир Сергеевич о загадочных снах, созвучных настроениях или внушениях на далеком расстоянии, о предчувствиях.

Но иногда поражал совершенно неожиданными странностями.

Приехала я, помню, летом в редакционный день с отцом в город. Жду его на квартире. Щелкнул замок. Я в переднюю на встречу. С ним входит Соловьев. Поздоровались.

— Как вам нравится мой костюм? — спрашивает он меня.

Смотрю — пиджак поношенный, но совсем крепкий.

— Ничего, — говорю, — костюм недурен.

— Не правда ли? А сколько я заплатил? Угадайте.

Этот вопрос был уже сложнее.

«Ну, — думаю, — верно, недорого».

— Рублей шестнадцать, — говорю.

Владимир Соловьев принялся хохотать: два рубля!

— Да что вы?

— Уверяю вас. Я купил его в Парголове у татарина. Друзья все приставали: купи да купи костюм. Встретился на прогулке татарин. «Есть костюм?» — «Есть». — «Впору будет?» — «Как раз, — уверяет, — словно на заказ». И действительно...

«Наверное, с покойника или краденый», — мелькнуло у меня в голове.

Пожалела я Владимира Сергеевича за его детскую беспомощность, которая была часто в ущерб его здоровью. Ограничивая себя иногда в необходимом, он, однако, в то же время тратил не считая деньги на извозчиков, переплачивая им втридорога, на чай прислуге, на подавание нищим, отдавал все, что было, каждому, кто бы к нему ни обратился. Он считал, что для тех, кому он давал, деньги нужнее, чем ему самому. И по широте, с какой он оказывал помощь, чувствовался в нем большой барин, каким он и казался даже внешне, несмотря на случайную одежду, поношенную шляпу (купленную, впрочем, у Брюно, в лучшем тогдашнем магазине), небрежно накинутую на плечи разлетайку, стоптанные сапоги.

Бесконечно добрый и отзывчивый, он всегда был готов откликнуться на всякий запрос сочувствия.

Так и в тот день 1897 года, когда Мих. Н. Чернышевский³ зашел к моему отцу в редакцию посоветоваться, к кому можно было бы обратиться с просьбой написать статью о Николае Гавриловиче для «Закаспийского обозрения». Соловьев, услышав этот разговор (он сидел тут же, в редакционном кабинете), сказал: «Я напишу».

Хотя Соловьеву было о чем по этому поводу вспомнить, но я не сомневаюсь, что в основе его порыва было главным образом желание доставить удовольствие моему отцу: он знал, как дорого было ему каждое сочувственное слово о Чернышевском*.

* Подтверждение подобного внимания Соловьева к моему отцу встречается также в письме его к Стасюлевичу из Динара (27 окт. 1893 г.), где, говоря о приготовленной им для печати книжке «Основания эстетики» и о возможном переиздании одной из ее глав в статью, он замечает: «К тому же в ней есть нечто специально приятное для нашего приятеля, А. Н. Пыпина, именно некоторое заступничество за Чернышевского против Боборыкина, который недавно боборыкнул покойного в нашем московском философском журнале» (Письма В. С. Соловьева. СПб., 1908. Т. I. С. 114).

К сожалению, статья Соловьева не могла быть напечатана тогда по цензурным условиям*.

Тепло и образно рассказал Соловьев о том давнем вечере, когда отцу его Е. Ф. Корш и Кетчер привезли известие об осуждении Чернышевского на каторжные работы. Тогда уже — он еще был ребенком — у него сложилось, а позднее укрепилось из бесед со своим отцом «ясное представление о Чернышевском как о человеке, граждански убитом лишь за свои мысли и убеждения». Впоследствии, когда Соловьеву пришлось ближе познакомиться с делом Чернышевского, его «прежнее впечатление не только подтвердилось, но стало несомненной и непоколебимой уверенностью».

Скорбное негодование слышалось в словах бесконечно снисходительного Владимира Сергеевича, и жутко становилось, когда он говорил о том, что, по его убеждению, «в деле Чернышевского не было ни суда, ни ошибки, а было только заведомо неправое и насильственное деяние с заранее составленным намерением...»

Соловьев преклонялся перед чрезвычайной простотой и достоинством, с которыми Чернышевский встретил постигшую его беду.

«В теоретических взглядах Чернышевского я вижу важные заблуждения, — сказал в заключение Соловьев, — но нравственное качество его души было испытано великим испытанием и оказалось полновесным. Над развалинами беспощадно разбитого существования встает тихий, грустный и благородный образ мудрого и справедливого человека...»

Нельзя забыть того глубокого волнения, которое пережили мы, слушая Соловьева. Его статья, после знаменитой статьи Герцена в «Колоколе»⁴, была первым горячим словом о неправом суде над Чернышевским, дело которого в те годы еще оставалось «тайным».

Последний вечер, проведенный мною вместе с Соловьевым, был вечер тихой беспричинной грусти.

Петербургская весна расцветала. Всего несколько человек собралось в субботу у Стасюлевичей: все, кто мог, уже успели уехать из города.

Около Любови Исааковны на диване сидел Соловьев. В открытую балконную дверь виднелось белое небо майской ночи.

* В 1904 г. ею весьма широко воспользовался редактор «Закаспийского обозрения» Федоров при составлении своей книжки «Н. Г. Чернышевский», а полностью она была напечатана лишь в 1908 г. как приложение к т. I «Писем В. С. Соловьева».

— Прочтем что-нибудь, — сказал Владимир Сергеевич. — Есть что-нибудь новенькое?

Любовь Исааковна дала ему только что появившуюся пьесу Минского «Альма»⁵.

Соловьев стал читать. Читал он просто, но отчетливо выступали схематически изображенные фигуры, условная, внежизненная их борьба за осуществление идеи социализации интимнейших чувств и душевных движений. Все тонуло в серо-белых тонах, вторивших прозрачной, белой, безжизненной ночи...

Через несколько дней, накануне своего отъезда, Соловьев заезжал к отцу проститься...

Соловьев уехал, а скоро пришло сообщение о его болезни.

Оно всех взволновало. С надеждой на благополучный исход и с какой-то мрачной тревогой ждал мой отец дальнейших известий.

Пришла телеграмма с роковым словом: скончался.

Поник головой отец. Не мог работать, тоскливо сидел за столом, перебирая пасьянс.

«Ах, Бог мой, Бог мой!» — временами тяжело вздыхал старец. Ушел из жизни большой человек, ясный, молодой друг...





Н. В. ДАВЫДОВ

Из воспоминаний о Вл. С. Соловьеве

Имея в виду в ближайшем будущем изложить мои воспоминания о князе С. Н. Трубецком и мысленно переживая то прошлое, которому он был близок, я вижу отчетливо рядом с ним покойного друга его, философа Владимира Сергеевича Соловьева, внутренний и внешний облик которого у каждого, кто его знал, не мог не остаться рельефно врезанным в памяти. Высокий (в сущности, лишь казавшийся высоким), тонкий, изящный, с головой пророка и бледным красивым лицом, обрамленным длинными, спадавшими волосами, он напоминал Иоанна Крестителя на картине Иванова¹ и производил взлядом больших, казавшихся синими глаз своих, блестящих иной раз в беседе вдохновением, поразительное впечатление. Нельзя было усомниться, увидав Соловьева, что перед вами особый человек — пророк, гениальный поэт. На нем лежала печать высшей духовной силы и одаренности; не показалось бы невероятным, если бы вокруг его лба засияли лучи. Таким был Соловьев, когда я после долгого перерыва встретил его вновь, уже зрелым мужем, в Москве у Трубецких; но я помню его еще совсем юным, студентом, еще не установившимся, ищущим, но уже и тогда обещавшим выйти на особую дорогу, осветив ее своим дарованием.

Я был товарищем по университету со старшим братом Владимира Сергеевича, Всеволодом, автором — впоследствии — нескольких охотно читавшихся в свое время большою публикою исторических романов, и хорошо помню отца его, С. М. Соловьева, лекции которого по русской истории мне пришлось слушать на первом курсе юридического факультета, лекции, полные интереса, читавшиеся им торжественно, громким звучным голосом, почему-то прервавшиеся со второго семестра. Несколько раз я встречал его и вне университета (в шестидесятых годах), а именно летом в подмосковной дачной местности около деревни Ивань-

ково и великолепной усадьбы княгини Шаховской. Встречал я его в тамошнем парке гуляющим неизменно со своей семьей — важного и величавого, красивого старца с белой бородой, производившего впечатление удивительного спокойствия и уравновешенности. С Вл. С. я познакомился у Ф. Л. Соллогуба в начале семидесятых годов. Обоих этих талантливых людей, тогда еще совсем молодых, столь разных, казалось бы, по воззрениям, по отношению хотя бы к религии, ко всему мистическому, по самой их жизни и интересам, связывала большая дружба, выросшая на почве какой-то общности даже в их разномыслии; общность эта, очевидно, происходила от склонности обоих ко всему художественному, к фантастике, к поэзии в особенности, и от потребности в создании поэтических образов в стихотворной форме и в таком же творчестве, но юмористического характера — в духе Козьмы Пруtkова, которым оба одинаково восхищались. Оба написали небольшие стихотворения под заглавием «Чем люди живы»; в них, несмотря на указанное уже мною коренное различие мировоззрения авторов, тоже чувствуется некоторая общность. Стихотворение Соллогуба «Чем люди живы» приведено мною в очерке, посвященном ему (в первом томе моей книги «Из прошлого») ²; начало его таково:

Люди живы красотою,
В Божьем мире разлитою:
Струн природы хором стройным,
Солнца светом — полднем знойным,
Вешних вод веселым плеском,
Снега девственного блеском,
Девы ясными очами,
Звезд мерцающих лучами,
Сердца сладким замираньем,
Милых уст живым лобзаньем...

А вот два первых четверостишия хранящегося у меня в подлиннике наброска Соловьева на ту же тему:

Люди живы Божьей лаской,
Что на всех незримо льется,
Божьим словом, что безмолвно
Во вселенной раздается.
Люди живы той любовью,
Что атом к атому тянет,
Что над смертью торжествует
И в аду не перестанет... ³

Соллогуб написал интереснейшую поэму, придав ей драматическую форму, «Соловьев в Фиваиде» (содержание и отрывки поэмы приведены в первом томе моей книги), к сожалению не

закончив ее, и в этой «мистерии» изобразил борьбу дьявола с Соловьевым и победу последнего. Поэма, талантливо написанная, интересная по массе художественных мелочей и остроумных подробностей, во всем, что касается главного ее содержания — то есть борьбы Соловьева с духом зла, — изложена в шуточной, юмористической форме, представляет из себя как бы карикатуру на Соловьева в его вере в реальное существование дьявола, а между тем Вл. С., убежденно говоривший о дьяволе как о чем-то действительно существующем, очень оценил поэму Соллогуба, жалел, что она не закончена, и распространял ее между знакомыми. У меня хранится письмо Вл. С. к одной его хорошей знакомой, в котором встречается такое место:

Соловьева в Фиваиде
Вам списали в лучшем виде
В черную тетрадь.

Иронизирование Соллогуба над борьбой Соловьева с дьяволом не только не огорчало его, но, напротив, сближало с Соллогубом, который, в противоположность Вл. С., не веря в духовную сторону «спиритизма», охотно посещал спиритические сеансы и дружил с медиумами, профессионалами и дилетантами, интересуясь технической стороной дела, тем, как эти господа производят те и другие явления. Соловьев, напротив, допуская шарлатанство и обманы со стороны медиумов, не сомневался, однако, в возможности реального проявления сношений духовного мира с нашим и сам на себе не раз испытывал такое проявление. Соллогуб писал, например:

Настал полночи час...
Забыли черти нас!
Стоит недвижим стол,
Не слышно стука в пол.
Сел «некто» на диван,
И стукнуло в стакан —
Слуга то невзначай
Им двинул, ставя чай.
«Увы, внутри столов
Нет больше дьяволов!»

Соловьев не раз говорил, что иногда ему приходится, когда он остается один в комнате или даже при других, явственно слышать легкие удары в окружающие его предметы, не производимые находящимися тут же или невдалеке лицами. С. Н. Трубецкой рассказывал мне, что раз, когда он вдвоем с Соловьевым ужинал в общей зале какого-то ресторана, Вл. С. во время оживленного разговора, внезапно побледнев, откинулся, замолчав, на спинку стула и так пробыл некоторое время с закрытыми глаза-

ми, как бы в бессознательном состоянии. С. Н. не нарушил его, а когда Соловьев раскрыл глаза и «ожил», он сообщил, что ему представилось видение — кто-то несуществующий приходил к нему. Было так, что Соловьев верил в ближайшее соседство надземного мира, а Соллогуб не только не верил, но иронизировал над этим и выставлял Соловьева в смешном виде, а между тем они в совершенстве понимали друг друга и очень любили быть во взаимном обществе.

Соловьев обладал в молодости сердцем, отдававшимся порою чувству любви, именуемой платонической; Соллогуб тоже, со своей стороны, легко увлекался, но он не признавал исключительно духовной близости с женщиной и доказывал, опираясь на природу человека, в равной степени обладающего духовными и физическими наклонностями, необходимость в настоящем чувстве любви единения обеих сторон человека — духовной и физической. В этом они опять радикально расходились, и Соллогуб опять-таки не воздержался от стихотворного выпада в сторону Соловьева, написав следующее:

Подражание Фирдоуси
(Посвящается Вл. С. Соловьеву)

Параспати: Где же? Осмелюсь спросить
высокопоставленного господина моего?
За пределами сущего...

Из санскритской драмы «Облако мысли»

Небольшие стаи кряковых уток оконча-
тельно разбиваются на пары, поднимаются и
делаются смиреннее.

Аксаков. Записки охотника

Не унывай, певец! Омойся, остригися!
И тусклый свой сапог вновь лаком наведи.
Для лиры новою струной обзаведися
И песни новые на новый лад веи.
Не для тебя зима, не для тебя морозы,
Певцам не суждена холодной ночи мгла,
Для них цветут весь год в садах Багдада розы,
И сладкий им шербет красotka припасла.
С высокой грудию, с очами антилопы,
Она весь день толчет и мнет рахат-лукум.
Ты юной деве в честь — весь день скандируй стопы
Под сладкой ступки стук и лавра легкий шум.
В тени зеленых рощ и благовонных кущей
Пускай она толчет! И ты ей пой да пой,
Пока толкомое не станет сладкой гущей,
Доколь певомое не станет чепухой.

Достигнувши сего — печали позабывший,
Хватай ее, о друг, бестрепетной рукой
И, жизни тайный смысл ей трепетно прививши,
Ты вкусишь творчества торжественный покой.

Соловьев, получив это стихотворение, много смеялся, так же как над рисунком Соллогуба, на котором Вл. С. изображен в виде воспетого самим же Соловьевым пророка, одетого в мантию из двух рогожек, окруженного недоумевающими собаками, между тем как к нему, видимо в видах ареста пророка, перелезает через забор городской. Стихотворение, о котором я говорю, напечатано, но я напому его читателям этого очерка.

Пророк⁴

Угнетаемый насилием
Черни дикой и тупой,
Он питался сухожилием
И яичной скорлупой.

Из кулей рогожных мантию
Он себе соорудил
И всецело в некромантию
Ум и сердце погрузил.

Со стихиями надзвездными
Он в сношения вступал,
Проводил он дни над безднами
И в болотах ночевал.

А когда порой в селения
Он задумчиво входил,
Всех собак в недоумение
Образ дивный приводил,

Но органами правительства
Быв без вида обретен,
Тотчас он на место жительства
По этапу водворен³.

Рисунок Соллогуба достоинствами своими не уступал стихотворению, его вдохновившему, а это произведение юмористической музыки Вл. С. нельзя не признать классическим по отделу подобных творений. Оно было написано Соловьевым, кажется, по поводу бывшего с ним эпизода, закончившегося тем, что его было арестовали в Петербурге, — поехав туда, он забыл захватить паспорт, и его выручил из беды близкий ему князь А. Д. Оболенский⁵, занимавший в то время видный пост в Петербурге.

И С. Н. Трубецкой и Ф. Л. Соллогуб отличались рассеянностью и малою заботою лично о себе и мелких удобствах жизни, а

Соллогуб до кончины не знал, как велики его материальные средства, и не придавал никакого значения деньгам. Но эти черты нашли свое полное развитие именно в личности Вл. С. Он нередко совершенно забывал о том, что нормальные люди каждодневно и регулярно обедают, а в большинстве еще и завтракают или ужинают, и питался чем и как придется, пропуская в этом отношении даже сутки и больше. Соловьев поступал так вовсе не по соображениям аскетизма — аскетом он не был и с точки зрения принципа не считал нужным избегать вкусной кухни и тонких напитков, но *потребности* в баловстве подобного рода он не ощущал и отсутствие удобств жизни его не беспокоило. К деньгам он относился тоже очень своеобразно: средства Соловьева были весьма ограниченные, он жил почти исключительно литературным заработком. Но, когда он получал гонорар, то есть становился временным обладателем некоторой денежной суммы, он тратил деньги, как будто капиталу его не было пределов и он — прирожденный богач. Совсем не любовь к роскоши или желание произвести впечатление тратами руководили тут Вл. С., а скорее чувство ничтожества денег, пренебрежение к власти их и самая простая мысль — раз есть деньги, надо их тратить, ибо таково их назначение. Просившему у Соловьева денег займы или прямо в виде дара и помощи — если Вл. С. был в этот момент «богачом» — не бывало отказа, и, конечно, при таких условиях материальная обеспеченность Вл. С. длилась недолго.

Не подлежит сомнению, что образ жизни Соловьева — он прожил жизнь холостяком, — напоминавший существование пророка, описанного в приведенном мною стихотворении (одежда из рогожи, питание — яичная скорлупа и ночлег — болото), содействовал зарождению и развитию в нем болезней, сведших его преждевременно в могилу. Он не обращал никакого внимания на случавшееся с ним нездоровье, сам никогда к врачебной помощи не обращался, а к тому же жил, не считаясь с нормальными, здоровыми условиями жизни. Едва ли когда-либо он провел целую ночь во сне; обычно он работал — а читал и писал Вл. С. невероятно много — ночью, уснув немного лишь с вечера. Слабый на вид организм его как будто не знал утомления, физическая сторона его побеждалась в полной мере духовной, и Вл. С. действительно не замечал усталости и не обращал на нее внимания, как и на другие физические явления и ощущения, с которыми на самом деле ему, при малейшей заботе о себе, было бы необходимо считаться.

Вл. С. — несомненно, первый по значению в науке русский мыслитель, хотя сущность его заключалась именно в философии

и религиозной вере, — был в жизни, в промежутках между работой, человеком общительным, оживленным, любившим общество и охотно проводившим время в кругу друзей за веселой беседой, в которую он вносил свойственный ему юмор и фантазию. Он охотно бывал в дамском обществе, вел с друзьями обоего пола большую, оживленную переписку, в высшей степени интересную и остроумную, наполняя письма небольшими стихотворными экспромтами; его ценили поэтому не только в «академической» среде между профессорами и учеными, но в разнообразных слоях общества, поэтому у Вл. С. было много друзей, особенно же знакомых, и в Петербурге, и в Москве, но, хотя он чаще жил в Петербурге, симпатизировал он больше московской жизни и часто бывал в Москве. Особенно близкими ему людьми были москвичи — профессора Л. М. Лопатин, С. Н. Трубецкой, В. С. Преображенский и Грот. У Вл. С. легко было вызвать смех, а смеялся он очень громко и долго, почти истерично, о чем даже предупреждал, бывая где-нибудь в семейном доме в первый раз.

В 1896 г. Вл. С. читал у С. Н. Трубецкого по только что законченной им рукописи свои «Три разговора» — произведение, в котором он полемизирует с Л. Н. Толстым, с которым он всегда ярко расходился в воззрениях. Мне думается, что это расхождение с Толстым зависело у обоих писателей от радикального различия их натур; оно образовалось первоначально скорее под влиянием чувства, чем строгой умственной посылки, которая уже являлась потом, чтобы подкрепить, подыскав нужные положения, почувствованное. Соловьев — мистик, верующий поэт, испытывавший явления «видений», слышавший вокруг себя необъяснимые звуки, — *не мог* быть единомышленником Толстого-реалиста, отвергающего все «чудесное», все не принимаемое его разумом. Но для меня, в самой их глубине, оба они были люди одной веры, всю свою жизнь отдавшие исканию истины и служению добру.

Кроме супругов Трубецких при чтении Соловьевым его произведения присутствовали я и Л. М. Лопатин. По окончании (кажется, чтение длилось два вечера) и по поводу его возникли, конечно, прения, и я — прирожденный толстовец — потщился было отстаивать перед тремя философами взгляды Льва Николаевича, но эта смелая попытка очень быстро окончилась совершенным разгромом выдвинутых мною положений, и я, побежденный, но не убежденный неотразимыми доводами моих противников — они же друзья, — замолчал.

Последнее мое свидание с Вл. С. состоялось при очень странной обстановке, дней за десять с небольшим пред его кончиной.

Это было 15 июля 1900 года. Я тогда еще состоял председателем Московского окружного суда и оставался без семьи, один в Москве, в ожидании моего ваканта, начинавшегося 17 июля. С. Н. Трубецкой лето это проводил с семьей в Узком — подмосковном имении единокровного брата своего П. Н. Трубецкого, который был в то время за границей. Еще накануне я по телефону, имеющемуся в Узком, сговорился с Трубецким о том, что приеду к нему 15-го в Узкое, отстоящее от Москвы верстах в 14, обедать часам к пяти.

Вернувшись домой из окружного суда в третьем часу, я заметил, что в передней на вешалке кроме моего пальто висит чья-то «разлетайка». На вопрос мой, кто это у меня, старый и добродушный служитель мой Иван невозмутимо ответил: «Не знаю, больной какой-то», а на вопрос: «Да где же он?» — объяснил: «В кабинете вашем лежит, конечно». На восклицание мое, как же это ты пускаешь ко мне в кабинет незнакомых больных, Иван ничего не ответил, и я отправился в кабинет. Там, на широком и низком диване, действительно лежал незнакомец, обернувшись лицом к стене и так положив голову на принесенную ему Иваном с моей постели подушку, что я лица его не мог разглядеть, но заметил только, что незнакомец был коротко острижен. Я постоял над ним, кашлянув, что-то громко сказал, но лежавший человек молчал и не менял позы. Я совершенно растерялся, не зная, что надо в подобных странных случаях делать (не караул же кричать!), но в это время больной обернулся, взглянул на меня, и я узнал в нем Владимира Сергеевича.

Он очень изменился, что зависело главным образом от того, что он состриг обычно длинные волосы свои, а кроме того, он был смертельно болен. На вопрос, что с ним, Вл. С. ответил, что сейчас чувствует морскую болезнь и что ему надо немного отлежаться, а что завернул он ко мне, приехав нынче из Петербурга, так как в редакции журнала «Вопросы философии и психологии» ему сказали, что я еду нынче к Трубецкому, куда он просит и его захватить. Я, конечно, согласился, но Вл. С. был настолько плох на вид, что я усомнился в возможности везти его в Узкое и отправился на телефон, чтобы спросить у Трубецкого совета. С. Н. ответил, что если у Соловьева тошнота и головокружение, то его можно везти, что такие явления у него бывают нередко как результат малокровия мозга. Я предупредил Трубецкого, что мы запоздаем, и пошел к Соловьеву; он продолжал лежать, пил глотками содовую воду, иногда словно забывался, но через мгновение уже болтал, сообщив мне между прочим, что получил в редакции «Вопросов» аванс, чему чрезвычайно рад, так как это

компенсирует полученную в день именин (15 июля — празднование св. Владимира) болезнь; это он даже передал в форме четверостишия, которое я, к величайшему сожалению, не записал и забыл. Время шло, а Вл. С. просил дать ему еще полежать; уже было больше пяти часов, и я предложил Соловьеву, отложив поездку в Узкое, остаться и переночевать у меня, а к Трубецкому отправиться завтра. Но он ни за что не соглашался отложить до следующего дня посещение Трубецкого и наконец объявил, что так как я, по-видимому, не хочу ехать, то он отправится один. При этом Вл. С. действительно встал и отправился, плохо стоя на ногах от слабости, в переднюю. Оставить его силою у себя я не решился и предпочел везти Вл. С. в Узкое. Других, кроме связки книг, вещей с ним не было, и остановился ли он где-либо в Москве, я от него добиться не мог; он повторял упорно только одно: «Я должен нынче быть у Трубецкого».

Я нанял лихача и не без труда помог Вл. С. влезть в пролетку, которую пришлось закрыть, так как начинал накрапывать дождь. Когда мы вышли на крыльцо, к Вл. С. подбежал нищий и бросился целовать его руки, приговаривая: «Ангел Владимир Сергеевич, именинник!» Соловьев вынул из кармана не глядя и подал нищему какой-то скомканный кредитный билет, объяснив, что это его собственный нищий, который всегда предчувствует время его приезда в Москву и, где бы он ни остановился, безошибочно находит его.

Этот нищий и поднесь существует, пребывая всего чаще около крыльца дома Л. М. Лопатина или около церкви Покрова в Левшине; он одет довольно чисто и прежде носил фуражку с красным околышем; у него седая борода, и он нередко бывал трезв; между нашими общими знакомыми он известен как «соловьевский нищий».

Поездка наша в Узкое была не только тяжела, но прямо кошмарна; Вл. С. совсем ослабел, и его приходилось держать, а между тем движение пролетки возбудило в нем вновь морскую болезнь; дождь усилился и мочил наши ноги, и стало благодаря ветру холодно. Ехали мы очень тихо, так как на шоссе растворилась липкая грязь, и пролетка скользила набок, и было уже темно. В одном месте дороги Вл. С. попросил остановиться, чтобы немного отдохнуть, добавив: «А то, пожалуй, сейчас умру». И это казалось, судя по слабости Вл. С., совершенно возможным. Но вскоре он попросил ехать дальше, сказав, что чувствовал то самое, что должен ощущать воробей, когда его ощипывают, и прибавил: «С вами этого, конечно, не могло случиться». Вообще, несмотря на слабость и страдание, в промежутки, когда ему

делалось лучше, Вл. С., как всегда, острил, поднимал самого себя на смех и извинялся, что так мучает меня своим нездоровьем.

Приехали мы в Узкое поздно; Соловьев был так слаб, что его пришлось из пролетки вынести на руках. Его тотчас же положили в кабинете на диван, и он, очень довольный, что добрался все-таки до Трубецких, просил, чтобы ему дали покойно полежать. Трубецкой продолжал еще думать, что болезненное состояние Вл. С. — обычный припадок его малокровия мозга, но на следующее же утро выяснилось, что положение Вл. С. гораздо серьезнее и тяжелее.

Я эту ночь провел тоже в Узком и утром виделся с Вл. С., который, хотя продолжал лежать, уговаривал меня не ехать, как я собирался, на другой же день к себе в деревню, а подождать немного, пока он поправится, и отправиться вместе с ним к нашим общим друзьям Мартыновым. Трубецкому Вл. С. передал, что этою ночью он видел во сне, но совершенно явственно, Лихунчана⁶, который на древнегреческом языке сказал ему, что он вскоре умрет. Соловьев в это утро не был в забытии, он даже весело острил, но память ему уже изменяла, и он, например, не мог вспомнить, где он, приехав в Москву, оставил свои вещи, оказавшиеся потом в «Славянском базаре». Мне в это же утро надо было вернуться в Москву, чтобы в суде сдать должность моему заместителю на время летнего ваканта, и я уехал из Узкого, не дождавшись явки врача, за которым послали Трубецкие. Провожая меня, Прасковья Владимировна Трубецкая сказала, что она уверена, вопреки мнению С. Н., что Соловьев не поправится; при этом она вспомнила, что как-то, расставаясь с Вл. С., она сказала ему «прощайте», но он поправил ее, сказав: «Пока до свидания, а не прощайте. Мы, наверное, еще увидимся, я перед смертью приеду к вам». Несознаваемым предчувствием Вл. С. смерти она объясняла такое упорное стремление его добраться к Трубецким, ибо ни экстренного, ни простого дела у него в то время к С. Н. не было.

Оставив Узкое, я был вынужден по своим делам на следующий же день уехать в деревню, но успел узнать от Трубецких, что врач нашел положение Вл. С. очень тяжелым, а болезнь его даже затруднялся определить, так как, казалось, все жизненные органы Соловьева находятся в очень плохом состоянии; но наиболее рельефно определялась болезнь почек. Как известно, Вл. С., проболев в Узком у Трубецких дней 14, скончался там, причем почти все время находился в состоянии забытия и галлюцинировал.





Е. Н. ТРУБЕЦКОЙ

Знакомство с Соловьевым

Зимой 1886/87 года в среду у Лопатиных произошла моя первая встреча с Владимиром Сергеевичем Соловьевым. В свое время я описал эту встречу и весь происходивший между нами разговор в письме к брату Сергею, тогда жившему в Калуге. Извлечение из письма, помнится, было мною дано С. М. Лукьянову, который, вероятно, поместил его в своем собрании биографических материалов о Соловьеве. Поэтому воспроизводить эти разговоры, которые в момент написания письма были гораздо свежее у меня в памяти, мне теперь незначит. Скажу лишь о том общем впечатлении, которое произвело на меня это знакомство.

В то время, когда оно произошло, с Соловьевым была связана вся моя умственная жизнь. Все мое философское и религиозное мирозерцание было полно соловьевским содержанием и выражалось в формулах, очень близких к Соловьеву. Было между нами только одно крупное расхождение. Соловьев как раз незадолго до нашей первой встречи порвал с И. С. Аксаковым и вообще с тем лагерем старых славянофилов, к которому мои симпатии все еще продолжали тяготеть. Отношение Соловьева к папству — вот что было для меня безусловно неприемлемо. Его понимание соединения церквей как простого акта подчинения восточной Церкви апостольскому престолу вызывало с моей стороны горячий протест. Рассуждать таким образом, по-моему, значило — отрицать самую религиозную особенность православия; выходило так, что ее отделение от латинства было простым актом неповиновения, не вызванным никакими религиозными мотивами.

Неудивительно, что первый же наш разговор начался с бурного и страстного спора. С первых же слов мы уже кричали друг на друга. Но, как это часто бывает в подобных случаях, — именно этот крик нас сблизил. Точнее говоря, он заставил нас почувст-

свать ту близость, которая уже была раньше. Мы сходились в основном — самом дорогом для нас обоих — в признании Богочеловечества как начала соборной жизни Церкви, содержания и цели всемирной истории. Горячность и страстность нашего спора происходила именно оттого, что, сходясь в основном начале жизнепонимания, мы расходились в первостепенном вопросе о его практическом применении. Чем ближе между собою люди, тем существенное между ними расхождение ощущается болезненнее.

Крик словно освободил нас от какой-то тяжести и снял большое препятствие к нашему духовному общению. Разговор происходил, как сказано, в лопатинской «детской». Кричать нам никто не мешал. Накричавшись вволю, мы вдруг почувствовали какую-то легкость духа и нежность друг к другу. В конце вечера мы уже весело шутили и хохотали, как старые друзья, каковыми мы и остались навсегда.

С тех пор часто повторялись у меня с Соловьевым эти горячие схватки с криком и раздражением — все по тому же поводу, всегда по вопросу об отношении православия к католицизму и папству. А за раздражением всегда следовало быстрое и глубокое примирение.

В наших разговорах было все время это сочетание притяжения и отталкивания. Это были очень дружеские, но в то же время — очень сложные отношения, потому что Соловьев был мне сроден не только в том, что я от него принимал, но и во многих его положениях, которые я отрицал.

Я жил в атмосфере славянофильской мессианической мечты об осуществлении Царства Божия на земле через Россию. Но именно учение Соловьева о всемирной теократии и доводило эту мечту до конца. Соединение церквей примиряло и объединяло под верховным водительством России две враждующие между собой половины славянства. Оно наносило смертельный удар Австрии и создавало духовные основы для будущей Российской всемирной империи. Учение Соловьева о России как теократическом, «царском народе» было чрезвычайно сродно той славянофильской империалистической мечте, которую я лелеял с детства. Но, с другой стороны, это учение было логически и жизненно связано с неприемлемой для меня мыслью о папской власти как вершине всемирной теократии. Иными словами, мы оба стояли на почве одной и той же утопической и в существе своем *славянофильской мечты* о мессианической задаче русского народа и русского государства. Но только из нас двоих он был последовательнее. От этого внутреннего противоречия в отношении к Со-

ловьеву я освободился значительно позднее, когда рухнула его, и в то же время моя, мессианическая утопия.

Я не стану повторять здесь той пространной характеристики Соловьева по личным воспоминаниям, которую я дал в моем двухтомном труде о Соловьеве. В дополнение к ней скажу только, что впечатление, которое он произвел на меня, было единственным по духовности и силе. Ни до ни после мне не случалось встречать человека, который бы так непосредственно, как он, заставлял ощущать соприкосновение с другим миром. Сколько раз с глазу на глаз с ним я ощущал мистический трепет, доводивший до сердцебиения, когда по виду его изменившегося и побледневшего лица мне становилось ясным, что *Соловьев что-то видит*, что именно, этого я не решался спросить. Когда вдруг ни с того ни с сего на лице его изображался мистический ужас, становилось невообразимо страшно. Это было совсем не то ощущение, какое вызывалось лопатинскими благодушными разговорами о покойниках или, точнее говоря, о «беспокойниках». Нет, вы тут чувствовали себя непосредственно перед бездной и испытывали ощущение какой-то страшной медиумической силы. А иногда мистический ужас вызывался в нем рассказами о происшествиях, которые всем прочим людям казались совершенно обыкновенными, естественными.

Помню, например, как в голодный 1891 год я рассказывал ему, со слов одного сельского хозяина, про посев озимого в одной из наших южных губерний. Хозяин был поражен тем, что все брошенные на землю зерна тотчас приходили в движение и словно куда-то шли. Нагнувшись, он понял, что это — стая голодных муравьев уносит зерна в свои норки. Дойдя до этого места рассказа, я был совершенно потрясен видом Соловьева — его большими, остановившимися от ужаса глазами и искривленными губами. «Что с тобой?» — спросил я испуганно. Ответа не последовало, но я тут сам вдруг понял, что вид движущегося и как бы куда-то идущего поля, о котором я рассказывал так просто, действительно граничит с чудесным и наводит мистический трепет. Выражение лица Соловьева было мне вполне понятно. Он видел в голоде 1891 года своего рода казнь египетскую, ниспосланную свыше за грехи России. Никто другой не мог так, как он, по самому неожиданному поводу заставить ощутить непосредственную близость чудесного. Более того, в общении с ним всегда, бывало, чувствуешь, что самая граница чудесного и естественного снята. То вы испытывали благоговейный трепет перед чудесным явлением Божией правды и суда, то наоборот —

жуткое ощущение вторжения темных, сатанинских сил в человеческую жизнь.

То «ощущение духа», которое вызывалось обликом Соловьева, совсем иного рода, чем то, которое заставлял переживать Лопатин. Во впечатлении личности Соловьева сказывалась одному ему присущая мощь. И самое отношение к духу у него было иное: весь его пафос был совершенно другой, чем у Лопатина. Ему был органически чужд лопатинский индивидуализм самодовлеющей душевной субстанции. Человеческий индивид интересовал его не сам по себе, не в его отдельности, а как часть соборного целого, как член *Богочеловеческого организма Христова*. Лишь во вселенском целом этого организма признавал он субстанциональное, существенное содержание, а не в изолированном человеческом индивиде. Он живо чувствовал то преувеличение и извращение истины, которое заключалось в крайностях лопатинского индивидуализма. И это расхождение вызывало частые споры между друзьями, споры со стороны Соловьева иногда и шуточные по форме, но всегда серьезные по существу.





К. М. ЕЛЬЦОВА

Сны нездешние

(К двадцатипятилетию кончины Вл. С. Соловьева)

Здесь вы, нездешние
Верные сны¹.

Вл. Соловьев

В каждом человеке самое ценное — это его собственный, неповторяемый и единственный в мире облик, как физический, так и духовный. То же можно сказать и о семьях, во всем их многообразии. Но бывают семьи исключительно своеобразные, даже необыкновенные по своим чертам и по своему значению для окружающих.

Такая совершенно особенная, ни на какую другую не похожая была семья Соловьевых.

И не потому, что в числе ее членов были: отец — знаменитый историк, старший сын² — популярный в широкой публике романист, второй — Владимир Соловьев, третий³ — крупный по своему моральному значению и влиянию на окружающую писательскую молодежь педагог, издатель и переводчик, младшая дочь⁴ — известная поэтесса, писательница и художница, еще одна, тоже причастная к литературе, — автор воспоминаний о своем брате Владимире, лучшего и наиболее правдивого, что написано о нем⁵; не по этому признаку эта семья замечательна, а по общему своему душевному и умственному облику, по яркой оригинальности, по душевному своему богатству.

Так и значение для русской и европейской умственной жизни наиболее крупного из Соловьевых — Владимира Сергеевича — не ограничивается ни его ролью ученого и философа, ни поэтическим его творчеством, ни влиянием в области общественной и политической, ни даже его работами религиозными.

Весь он — со своей тонкой и высокой фигурой, бледным лицом и курчавившимися седоватыми волосами, со своим нелепым, совершенно единственным смехом, со своими глубокими чудесными глазами, был благороден и необыкновенен. Мой брат, философ Лопатин, ровесник и с раннего детства друг Владимира Соловьева, говорил про него: есть люди, сделанные из чистого драгоценного камня, — такая душа у Володи Соловьева.

Семьи наши были очень близки, настолько, что почтенная, весьма известная в Москве старушка, остаток умершего славянофильства, пресерьезно доказывала мне, что Соловьев — мой двоюродный брат, и рекомендовала обратиться за справками к моим родителям.

Братом он мне не был, но был чем-то не менее близким, и не мне одной, а всем нам; ибо воспоминания детства, впечатления юности и всей жизни, взгляды на жизнь и ее смысл были у нас в значительной мере общие.

Общею была та духовная атмосфера, которой мы дышали начиная с «детской», — как бы ни различны были пути потом.

Может быть, именно потому мне особенно трудно изобразить его во всем его объективном значении. Одна очень просвещенная католичка (образованные католики все чтут его) справедливо сказала мне: «*Vous l'avez trop connu, pour le bien connaître*»⁶.

Но 31 июля в девять часов вечера исполнилось двадцать пять лет со дня его кончины, в обстановке необыкновенной, как вся его жизнь, и вполне этой жизни соответствующей. А 24 августа минул год кончины в России, в больнице, его меньшей сестры, которую мы всегда считали более всех внешностью похожей на него, а в существе своем, как и он, совершенно своеобразной, — моего друга Поликсы Соловьевой (*Allegro*). Она была последняя — все Соловьевы, члены этой многочисленной семьи, ушли. Все они умерли. По эту сторону черты, отделяющей нас от России, — мало книг, источников и совершенно нет старых писем, дневников, записей, всего того, что воскрешает прошлое. Вот почему, не сомневаясь, что место, которое занимал Соловьев не только в русской, но и во всемирной мысли, будет в свое время очерчено в должной полноте, я сочла себя обязанной наисать все последующее — поделиться тем, что я знаю об этом замечательном человеке.

Воспоминания мои о нем таковы, что я совершенно не могу не касаться в них его сестер, семьи вообще, а попутно и нашей семьи, наших двух старых «домов» — с домочадцами, гостями и всем их особенным, уходящим теперь все дальше бытом.

I

Мы были одной из первых семей Москвы, начавших ездить летом на дачу. Это до некоторой степени было новшеством, конечно, потому, что огромное большинство тогдашней «интеллигенции» принадлежало к сословию дворян, помещиков, которые и жили по своим имениям. Отец мой был из первых судей нового суда Александра II⁷, имел для отдыха лишь краткий «вакант»⁸, всего шесть недель. Мать моя была болезненна, брак их уже и тогда считался исключительным и возбуждал удивление — родители мои никогда не расставались. Кроме того, мать моя с некоторым презрением относилась к помещичьей среде и не любила деревню.

Под Москвой, за Петровским парком, в чудесной местности, с лесами, обрывом над рекой, прудами, старинным барским домом и церковью, расположено Покровское — имение в то время Глебова-Стрешнева, безногого старика, которого возили в кресле. На большой дороге, впоследствии шоссе, называвшемся Ильинским, по имени государя верстах в десяти, стоял длинный порядок плохоньких деревянных дач с палисадниками против рва и вала, огибавшего парк усадьбы. На «задах» были избы владельцев дач — мужиков, живших этими дачами. Мы перебирались с весны до конца августа, и так как это длилось много лет сряду, то Покровское стало для нас, детей, чем-то вроде собственной «деревни». Мы знали всех мужиков. Филипп, вечно где-то пропадавший (говорили, в остроге); появление его наводило на всех ужас, ибо сопровождалось жестоким избиением жены, которая спасалась от него в лес; красивые братья богатого двора Барановых — молодец к молодцу; Петр Полунин, пьяница и хвастун, нанимавший за двугривенный косить даже свою крошечную делянку и подбадривавший поденщика покрикиваниями с завалянки: «Работай чище!» Неизбежный дурачок Яша с острым носом, без лба. И, наконец, Степан — странный, немой и безногий человек, сидевший у церкви; вместо ног у него было что-то плотно обернутое черным, подымавшее пыль, когда он ползал, а когда я давала ему пятак, он кивал мне лохматой головой и издавал радостные беззвучные восклицания, улыбаясь и открывая беззубый рот. Много было в прежних деревнях убогих... И все дачи — жили мы на разных — имели для нас разное значение и свои воспоминания.

Семья историка Сергея Михайловича Соловьева поселилась в Покровском в то же приблизительно время — ранее моего рождения.

Сергей Михайлович, который в моем представлении с тех пор, как я себя помнила, всегда писал свою «Историю», жил на даче с узеньким палисадником, носившей название «Поповой дачи», с большим окном кабинета на шоссе⁹. В минуты отдыха и за самыми занятиями он делал всякие наблюдения и обобщения над русским народом — вся жизнь шла тут же, совсем близко.

Сергей Михайлович был из духовного звания. Мы знали это по большому, в красках, портрету архиерея, висевшему в Москве в столовой. Кажется, он был сын священника в приходе Иоанна Предтечи в Староконюшенном переулке в Москве. Поликсена Владимировна Соловьева, рожденная Романова, дочь помещика Екатеринославской губернии, училась в Москве в Екатерининском институте вместе с моею матерью. Должно быть, она была очень красива: немножко южного типа, с черными и в старости волосами, по-старинному лежавшими как бы грядками по обе стороны ряда, ярко-черными бровями и прямым носом. Моя мать восхищалась ее добротой, смирением и кротостью, а главное, безграничной ее любовью к мужу, который как бы был весь смысл ее жизни — при наличии восьми детей и трех, умерших в младенчестве.

Мне рассказывали, что Поликсена Владимировна однажды привела к нам смуглого темноглазого мальчика в новеньких сапожках, черных, с красными отворотами. Тогда такие сапоги были в моде, и надели их на Володю в первый раз. Это, видимо, совершенно поглощало его. Он сидел, покуда наши матери говорили, и непрерывно поглядывал на свои ноги. Моя мать обратила на это внимание, тогда кроткая Поликсена Владимировна вдруг сказала: «Володя, я тебе говорила: если ты будешь все смотреть на сапоги, я их сниму с тебя».

Семья Соловьевых была очень большая. Старший, Всеволод, автор известных исторических романов, был много старше остальных. Мы его не любили. Он казался нам как бы другого типа, чем все Соловьевы; зато он был любимцем матери. Потом шли девочки — Вера (впоследствии жена профессора Попова), Надя, оставшаяся незамужней, самая красивая из всех, любимая сестра, его обожавшая, Любовь (Степановна)¹⁰, Миша, про которого сестры говорили, что у него одна душа с братом Володей, Маша (Марья Сергеевна Безобразова) и, наконец, меньшая из Соловьевых, Сена-Allegro и Алексей Меньшов. Псевдоним этот имел своею причиной то, что в семье перед рождением меньшей дочери, все ждали почему-то мальчика, и назвать его должны были Алексеем.

В воспитании обеих наших семей было много общего: огромное уважение к родителям, к деятельности и мирозерцанию отцов, чувство постоянной заботы и опеки и потому недостаток самостоятельности, чрезвычайно высокий этический уровень жизни, незнание практической, материальной ее стороны, даже полное презрение к ней, и отсутствие систематического воспитания. Воспитывала не система, даже не лица, а та умственная, духовная атмосфера, которой мы дышали. При всей заботе о детях и любви к ним — дети были как бы придатком к жизни родителей, и как-то само собой разумелось, что они должны быть хорошими, ибо должны походить на своих отцов.

У девочек Соловьевых была, впрочем, если не воспитательница, то давно живущая в семье гувернантка, прочно ставшая членом семьи, — низенькая, широкая дама, с широким лицом и живыми глазами, Анна Кузьминична Колерова. Она замечательна уже тем, что одна могла обучить по всем предметам умных, серьезных своих воспитанниц, девочек Соловьевых, из которых только одна была потом в пансионе Дюмушель; меньшие же две, писательницы, учились у нее. Ее горячо любила, исключительной и экзальтированной любовью, как все у Соловьевых, — Надя. Поликсена Владимировна ее недолго любила и немножко страдала от ее «деспотизма», как говорила моя мать, но все же, что очень характерно, — не расставалась с нею, видела пользу ее пребывания. У нас не было гувернанток, и уже лет с семи я была совершенно одна, черпая свои жизненные познания одинаково от своих преподавательниц, от братьев, которые все были старше меня, и друзей отца, говоривших на совершенно отвлеченные и непонятные темы.

Володя Соловьев и мои старшие братья — Николай¹¹, впоследствии собиратель русских песен и исполнитель их, и Лев, известный русский философ, все трое погоди (Володя старший), близко сдружились в Покровском и были совершенно неразлучны. Предоставленные самим себе, они с утра до вечера придумывали, как бы провести время возможно полнее. Володя, упрямый, как все Соловьевы, уверенный в себе и необузданный, верховодил. Отличным сподручным ему был Коля — Никола, как всю жизнь его звал Володя, горячий, веселый, черноглазый и вострый. Лева — болезненный, белокурый, высокий худой мальчик с большими голубыми глазами, был отвлеченный и более рассудительный, поэтому с ним советовались; он предупреждал и удерживал, но не мог устоять и делал то же, что оба старшие. Иногда сам первый пробовал что-нибудь. Проникся интересом нового предприятия — скатиться в лесу с крутого обрыва к реч-

ке, но, вместо того чтобы лечь боком, перекувырнулся через голову, да так и пошел вниз с кручи, между пнями и стволами, не в силах удержаться и кувыркаясь головой. Коля же и Володя стояли наверху и, уверенные, что он убьется до смерти, схватившись за голову, кричали и ревели что было мочи.

Все трое ходили, одинаково одетые в русские рубашки, сапоги и фуражки на манер кепи, одинаково размахивая тонкими железными тросточками с крючками. Дачники были до некоторой степени терроризированы их баловством.

Но однажды были перейдены все пределы.

Под обрывом внизу, на реке, была купальня. Вечное ожидание, скачущие группы с простынями у пряно пахнувшей осоки. Мальчики подолгу ждали барышень Соловьевых и Анну Кузьминичну. Один раз было что-то очень долго. Лежали, баловались, висели на шатких перилах мостков и стали придумывать, как бы поторопить? Придумали и побежали к запертой дверце... Коля и Володя стали стучать. Послышались негодующие возгласы:

— Что за безобразие?!

— Идите скорее! — кричит Коля. — Покровское горит...

Соловьевы все были нервны и всегда шумно проявляли эту нервность. Пожаров же принято было особенно бояться, до безрассудства. Может быть, потому, что страшнее этого как-то ничего не случалось кругом. Анна Кузьминична, хоть характера твердого и решительного, однако не отставала ничуть в этом отношении от своих питомиц. Поднялся крик и визг невообразимые, дверь распахнулась, и все побежали, одеваясь на ходу.

На этот раз негодование было общим.

II

Моя дружба с Соловьевым началась позднее. Мы жили в Нащокинском переулке, в доме Яковлева, богатого купца из подрядчиков, разбогатевшего от найденного в земле и утаенного клада.

Соловьевы жили в Денежном переулке, в доме Дворцовой конторы. Этот адрес, который повторялся моей няней при найме извозчика, казался мне загадочным набором слов, привлекавшим меня чем-то ярким, соединяющимся с воскресными вечерами. Сергей Михайлович, оставивший ректорство университета, имел казенную квартиру как заведующий Оружейною палатой и преподаватель наследника. Комнаты там были большие, все в

одном этаже. Для Володи места не хватало, и его поместили внизу, в полуподвальном этаже. Он уже был совсем большой.

У Соловьевых была елка, на которую меня пригласили и привезли нас, меньших.

Около елки на стуле стояла в коротком синем платье, в длинных панталонах маленькая девочка с огромными темными удивленными глазами. На одном глазу была отметинка: веко было странно подхвачено, как бы вырезано треугольником, — повивальная бабушка при рождении неудачно перевязала волоском родинку. Девочка держала в протянутой руке липкие конфеты, таявшие от светлой, пахнувшей подожженной хвоей жары, и глядела серьезно и живо. Это была самая меньшая из Соловьевых, впооплествии мой близкий друг — Поликсена Соловьева. Ее звали всегда Сена, Володя даже обыкновенно Сенка, — и это странное, ни на что не похожее, не то женское, не то мужское имя странно шло к ее сложной, особенной, по-женски нежной и по-мужски немелочной душе.

Уже через несколько лет ее привезли к нам, в нашу типичную старомоскосскую яковлевскую квартиру, где было много комнат, казавшихся нам очень большими, — и неизбежная зала с роялем, и гостиная с симметричными зеркалами, и «девичья», и лестница наверх в кабинет отца и к старшим братьям. В нашей светлой детской, окнами на двор и с одним окном в чужой сад, Сена, тоже в длинных панталонах, с басистым голосом, сейчас же завладела всеми моими игрушками.

— Переселяться! — командовала она басом и куда-то тащила всех — и куклу, прозванную Подстегой Сидоровной, и моего любимого Антошку в тарлатановых¹² панталонах на несгибающихся ногах, и крошечную мебель. Меньшой мой брат, наиболее близкий нам по возрасту, тоже Володя, обладавший большим врожденным комическим талантом, глубокий и грустный, как большинство комиков, и потому любивший смешное, — не мог глядеть на нее без смеха. И она хохотала громко, заразительным, смешным басом.

С этого и началась наша дружба. Сестру ее Машу, годами двумя постарше меня, милую Машу, с вьющимися белокурыми волосами, с бледно-смуглым лицом и выражением, чем-то напоминавшим хорошенького зайчика, я полюбила тотчас. Да и нельзя было не любить ее добрую, благородную, всю пламенную душу. Обе эти девочки были по возрасту как бы самой судьбою предначначены мне в друзья.

Воскресенья мы все проводили вместе.

Что-то связывало нас душевно уже и тогда. И хотя мы виделись только по праздникам, жизнь наша была общей. Мы рассказывали друг другу все свои впечатления, и мысли, и мечты, далекие от какой-нибудь действительной жизни. Самые наши комнаты, и коридор, и чулан под лестницей, в щели которого падал свет и где так страшно было сидеть во время игр в прятки, и зала, где моя мать играла на рояле по вечерам, и сами звуки Бетховена и Шопена, к которым мы привыкли, и большие фигуры в зале у Соловьевых, бросающие четкие тени на паркет от светившей в окно луны, — все было населено странными образами — не то из книг и сказок, не то из собственной головы и воспоминаний, и образы эти были нам ближе и реальнее действительности. Маша, старшая из нас, как бы задавала тон. Глядя на нее, мать ее говорила с болью: «Ох, Маша, — острый нож мне твоя фантазия...» Мы уже тогда почти гордились этим. Быть, как тогда говорили, «фантазерками» казалось нам совсем не плохо; обычная жизнь, с ее будничными интересами, презиралась нами. У Маши был сильный, верный голос. Музыка, с которой соединялись все наши душевные ощущения, придавала им почти мучительную силу и яркость. Вопросы реальные мало интересовали нас. Все, что происходило в то время кругом — нигилизм, зарождавшееся революционное движение, споры о том, кто лучше — Пушкин или Некрасов, каракозовский выстрел¹³, — все доходило до нас как во сне.

До странности далеки мы были вопросам политики, социального устройства. Лет с 10, однако, мы уже жалели, что те, кого называли нигилистами, идут против Бога, иначе мы пошли бы с ними на мученичество...

Я знала о том, что в юном возрасте Владимир Соловьев пережил сильное увлечение социализмом и с пылкостью и прямою, ему свойственными, кощунствовал, срывал иконы и выбрасывал их. Он кончил гимназию что-то очень рано¹⁴. Способности его были блестящи. Уже в двадцать лет он кончил университет¹⁵, причем был два года на физико-математическом факультете и уже оттуда перешел на филологический; выдержав экзамен и получив степень кандидата историко-филологических наук, прожил год в академии Троицкой лавры¹⁶, был доцентом и читал лекции. Путь его к Богу, любви и христианскому преобразованию мира совершенно определился. Для нас, его сестер и меня, он был прежде всего носителем веры Христовой. Во время неизбежных сомнений он был опорой. Он был умнее других, и лучше, и ученей — и верил.

Когда в Пасхальную ночь, измученная страхом, что меня не возьмут, дрожа от волнения и поздней ночи, я шла с братьями и родителями и их друзьями, гордая компанией взрослых, в Кремль, к Светлой заутрене, на площадку между соборами, полную движущейся, горящей тысячью огоньков толпой, Соловьев неизменно был с нами. Высокая худая фигура, чудесное по духовности лицо. Совсем нельзя было представить себе без него этой московской ночи праздника Воскресения Христова. Густая толпа, среди которой слышалась иностранная речь, длинные, освещенные полыхавшими свечами ленты крестных ходов, с медленно и таинственно качающейся над толпой знаменитой иконой Владимирской Божьей Матери, древность которой уходит в вечность, ибо предание относит ее к кисти ап. Луки, со сверкающим Херсонским запрестольным крестом, с митрами и старыми хоругвями; медное, толкающее и мягкое буханье колокола Ивана Великого — и огненная змея ракеты, прорезывающая тревожное весеннее небо, и бурный трезвон всех колоколов... И непременно он, со шляпой в руках, со свечой, красным отблеском освещающей строгое бледное лицо и шевелящиеся от ветра волосы... Бывало, слышны в толпе на площадке молодые голоса»: — Соловьев... Соловьев...

И без всякого знакомства с его философской системой, без знания его намечавшегося пути и большой роли, которая предстояла ему, ясно было, что человек этот — другого мира, чуждого большинству людей. Бог, евангельские главы Страстной недели, черные стены Успенского собора, и медные удары Ивана Великого, и радость того, что Христос воскрес, как это ни странно и ни дико, и что вера в это одна открывает истину и может преобразовать мир, — вот что, несомненно в наших глазах, нес он в себе и пронес через всю свою жизнь.

III

Жизнь соловьевской семьи, распределение дня, самое настроение всех — сосредоточивались вокруг Сергея Михайловича. Все постоянно говорили о нем, и мы, дети, сидели в зале только тогда, когда он не отдыхал в своем кабинете и не писал, а если писал, то сидеть надо было смирнехонько. За обедом и чаем все прислушивались к тому, что он говорил, радостно смеялись его шуткам и молчали, если он был озабочен. Впрочем, в кругу семьи он бывал в минуты отдыха и почти всегда благодушен. Мучила его одно время «любимовская» университетская история —

и особенно статьи «Московских ведомостей» по ее поводу¹⁷ — до такой степени, что у него разливалась желчь, и Поликсена Владимировна прятала газеты. У нас в семье была однородная драма немного позднее — отец мой заболел от нападков Каткова на новые суды.

Каждое воскресенье Сергей Михайлович уезжал в Петербург на урок великим князьям. Поезд отходил вечером, и после семейного обеда съезжавшиеся на него родственники — Вера Сергеевна Попова с семьей и другие, а также мы, дети, шумно шли в залу провожать; все сидели сначала как полагалось, потом стояли в передней, пока ему подавали большую медвежью шубу, и только когда стихали его шаги и затворялась дверь, можно было бегать и играть. Проводам этим в семье придавалось большое значение, и Соловьевы очень редко, разве по большим праздникам, на Святках и Святой неделе, бывали у нас, — обыкновенно ходили мы с братом к ним.

Соловьевых каждое воскресенье водили к обедне. Когда наша няня и горничная рассуждали о жизни прислуги у нас и у Соловьевых, то неизменно говорили, что у Соловьевых — порядок, у нас же, по их уверению, «порядка не было» — ложились и вставали поздно, завтракали в разное время, ночью подолгу сидели в кабинете. Вдобавок считалось, что в церкви неизбежно должно было простудиться, и все очень любили вообще рассуждать на эту тему, что «дело не в этом». И только на Страстной неделе, в особенности темными или залитыми горящими свечами всенощными и жаркими заутренями, весенними вечерами, даже ночью, на рассвете церкви наполнялись студентами, чиновниками и профессорами и целыми компаниями молодежи; жизнь выбивалась из колеи, и все вдруг вспоминали, что Православная Церковь, абсолютно истинна она или нет, устарело в ней многое или нет, и сделалась ли она «полицейским учреждением» (это тоже любили говорить многие просвещенные москвичи) или нет, — представляет величайшую драгоценность, не допускающую и мысли о возможности изменить ей...

Мы много говорили на религиозные темы, Соловьевы еще и много читали и рассказывали мне. Старшая из живших в доме дочерей, Надя, относилась критически к нашему «фантазированию» и странным заглавием одного из самых любимых нами рыцарских романов «Рибомоны Белые и Черные» определяла наши настроения. «Это все Рибомоны, — говорила она. — Вы бы хоть немножко посерьезнее стали... Ведь не маленькие...» Нас это сердило, но мы и сами не обходились без этого нарицательного понятия.

К казенному дому Соловьевых примыкал большой сад с акациевой аллеей, неизбежным курганом, особенно красивый ранней весной, когда он зеленел, неожиданно ярко и сочно, и распускалась сирень.

Раз в неделю — у Соловьевых по пятницам, у нас по субботам — собирались «гости», к которым мы, конечно, не выходили. В том круге московского передового общества, где мы жили, все дни недели были распределены, и каждый вечер отец мой уезжал. И хотя были разные кружки — прежде всего славянофилов и западников, потом всякие, причастные к интересам театральным, литературным; профессорские и другие, — но все они соприкасались близко, и везде можно было встречать одних и тех же людей; без некоторых из них не обходилось вообще никакое сборище. И время проходило одинаково: пили чай, курили и разговаривали.

У Соловьевых встречались гости, которых не бывало в другие «дни» и у нас, — больше из западников: Е. Ф. Корш¹⁸, переводчик Шекспира Кетчер¹⁹, В. И. Герье, много профессоров и молодой ученый, оставленный при университете по кафедре истории Сергеем Михайловичем, смысленный, тихий, с веским, чуть заикающимся говором, с косым рядом и острыми хитроватыми глазами — В. О. Ключевский.

В дни, когда были гости, обычная жизнь нарушалась, менялся вид комнат, делалось очень светло, оттого что зажигались все лампы, готовили чай, и до поздней ночи раздавались звонки; долго, всю ночь, гудели голоса в гостиной.

Мы гораздо больше любили наши обыкновенные воскресенья — в неосвященной зале в Денежном переулке, куда свет падал от уличных фонарей, — когда вдоволь можно было наговориться обо всем. Иногда заходили мы в пустой, просторный, молчаливый кабинет Сергея Михайловича. Длинные полки книг, огромный письменный стол, стопки книг даже на полу — все то, что мы никогда не могли видеть, когда он был дома, охватывало нас любопытными, уже известными нам по учебнику Иловайского образами и событиями, которыми сам он жил в этой комнате. Поздними весенними сумерками мы разглядывали портреты — гравюру Петра Великого с железным лицом, Екатерину Вторую.

— Два его любимых исторических лица, — объясняла нам Поликсена Владимировна.

На диване лежала подушка с вышитой бисером кошкой. Сергей Михайлович необыкновенно любил кошек, но никому и в голову не могло прийти завести ее в доме: слишком он был за-

нят серьезным делом. Кошек он странно сопоставлял с душою русского народа: мягка и кротка, безответна до последней минуты, но если раздражить — делается страшным зверем.

Еще больше любили мы отправляться вниз, в полуподвальную, совсем уединенную и почти таинственную комнату Володи. Вечерами, в темноте, там было жутко. Комната тоже была вся в книгах — на полках, и на столе, и на полу. Пол был обит, но не линолеумом, которого еще не было, — шаги утопали в чем-то мягком, и сильно пахло клеенкой. Мы садились на диван и снова при свете луны или фонаря с улицы вели свои беседы. И здесь тоже — отсутствие человека, который жил в этой комнате, как бы что-то оставляло от него и уносило в иной мир.

Володя Соловьев был уже молодой ученый. Про свою магистерскую диссертацию, резко направленную против господствовавшего тогда позитивизма, он сам говорил в своих воспоминаниях об Аксаковых, что она, так же как и вступительная речь его на диспуте, доставила ему *«succès de scandale»*²⁰ в большой публике и у молодежи и вместе с тем обратила на него внимание «старших» — Каткова, Кавелина, и особенно последних представителей славянофильства. Он ездил за границу и перебрался на жительство в Петербург.

Мы видели его в его приезды в Москву, и довольно часто, — за чаем и за обедом, где он или упорно молчал, думая, или оживленно разговаривал и шутил, за шахматной доской со своим братом Мишей, когда он любил что-то напевать неверным голосом, все на один мотив, за беседой с моим отцом и братьями... И везде и всегда смеялись, когда он хохотал своим взвизгивающим искренним смехом. И всякий раз появление между нами его высокой худой фигуры, с медлительной упругой походкой большими шагами, с сжатой в кулак рукой перед грудью и с прищуренными глазами, странно вносило с собой как бы веяние еще недоступного нам, незнакомого мира.

IV

Любовь к смешному, юмор безобидный, без сатиры и злобы, юмор, лучшими образцами которого являлись «Женитьба» Гоголя и рассказы Слепцова, и понимание смешного было нечто так же сближавшее нас с Соловьевым, как склонность к отвлеченному и фантазия.

У Соловьевых все смеялись громко, привлекая внимание, но смех Володи Соловьева был поистине поразителен. Очень труд-

но передать его словами, и вместе с тем для всякого знавшего его он был совершенно неразделен с впечатлением о нем, с его лицом и фигурой, в которых было так много красоты и отличия от других, а также и с душой его — глубокой и любящей смешное. Если бы не было этого смеха, был бы изменен самый его образ; внешность его была необыкновенна, как бы не от мира сего, и именно любовь к смешному, цитирование Козьмы Пруtkова, остроты и каламбурь в письмах и на словах и этот его смех, странный, дикий, но такой заразительный и искренний, как бы было то, что соединяло его с людьми, с толпой, с землей.

Услышав что-нибудь очень смешное, он вскрикивал, положительно пугая всех, и закатывался, запрокидывая голову. При этом бледное, строгое лицо его и глаза принимали даже удивленное выражение, точно он сам был не рад. Громко, как в припадке коклюша, он переводил дух и опять «заливался», вскрикивая и взвизгивая. «Володя, что это такое!» — говорила Поликсена Владимировна. «О Господи, батюшка! Ведь это и нехорошо так смеяться!» — покачивая головой, замечала наша тихая, смирная няня, разливая чай и пугаясь его смеха за несколькими дверями.

У моего меньшого брата, которого Соловьев любил за его врожденный комизм, была поговорка: когда он хотел выразить, что преувеличенная похвала имеет обратное действие, он называл ее соловьевским смехом. Когда где-нибудь на балконе дачи Соловьев сидел, погруженный в какие-то свои мысли, — встанет, бывало, его маленький тезка и пойдет развалистой, подрагивающей походкой старого брюзгливого генерала или, кому-то подражая, произнесет проникновенно: «Видел я во сне женщину — неописанной красоты», или обнимет мать и, руководствуясь не мыслями, а где-то слышанными словами, произнесет с чувством: «Мама, ты безукоризненно честная женщина», — Соловьев вдруг завопит и пойдет заливаться и захлебываться. А мальчик сконфузится.

Товарищи старших братьев сочинили оперетку, с хорами и дуэтами на известные мотивы, — «Тезей Афинский». Пьеса имела успех у любителей глупости, и ставили ее много раз — и всегда были опасения, чтоб не отнеслись к ней так, как моя мать, которая говорила: «Совестно глядеть на такую галиматью». Владимир Соловьев не пропускал ни одного представления, и всегда его сажали вперед для одобрения актеров. И чем глупее было место, тем громче захлебывался и кричал он от неудержного хохота. И, бывало, стоят актеры, отвернутся и трясутся от смеха.

Раз, однако, не спас положения и его смех.

Решили поставить «Тезея Афинского» в зале частной гимназии за плату в чью-то пользу. Собралась публика нарядная, незнакомая и не предупрежденная об ожидавшем ее.

Начали играть, петь — на лицах недоумение, даже неудовольствие и почти обида. По обыкновению, хохочет Соловьев, но смех его как бы усиливает общее недоумение. Актеры стараются, придумывают всякие трюки — молчание... И наконец — в довершение всего — в сцене, где царь Минос, услыша о намерении Тезея убить Минотавра, падает от смеха на пол, — венец позора: три серьезные барышни, курсистки, слушательницы брата, интересовавшиеся увидеть профессора на сцене, встали все трое и, демонстративно пролезая через стулья, ушли... И остался молчаливый, недоумевающий зал, болтающий на полу ногами Минос и взвизгивающий, захлебывающийся и громко переводящий дух смех Соловьева.

V

В наши отроческие годы Соловьевы жили в Нескучном «государевом имении» на казенной даче. Дивный, огромный парк, конец которого казался нам в детстве недоступным и таинственным — точно странно было, что что-то могло еще находиться за желтой стеной ограды, — с дворцом «Александрии», с художественными старыми воротами, столбами и павильонами, с прудами и перекинутыми через душистые овраги мостами, с аллеями и луговинами, с широкой гладью Москва-реки... Казалось, трудно было найти место, где бы свойство Соловьевых, моих друзей, их фантастическое настроение и склонность к художественному творчеству могли бы найти лучшую почву. Жизнь как бы шла где-то далеко, в огромном городе, как океан, расстилавшемся внизу, за рекой, за огородами и дальше, в туманно-розовой дали и во всей необъятной России. А здесь были полные прошлого, далекие от грубой действительности, чудесные линии знаменитых строений, запах черемухи, столетних елей и сирени, и все весенние ночи напролет заливались соловьи... По праздникам, весенними вечерами, когда квакали лягушки и воздух полон был нытьем комаров, парк изобиловал сплошной толпой, бесконечными семьями замоскворецких купцов, гимназистами, студентами и барышнями, и внизу на реке в лодках пели «Вниз по матушке по Волге». Мы избегали выходить в такие дни, но проходили праздники, опять густой, мощный парк погружался в тишину, в аромат сирени, в задумчивое щелканье соловьев. И

не было ни людей, ни быта, как бы ничего реального. Соловьевская молодежь завидовала нам: мы жили в Покровском-Глебо-ве, но не на пыльном шоссе деревни, а в глухом уголке парка, сквозь старые березы которого искрилась вода чистого маленького озера с двумя островками. Это была «дача у прудиков», носившая еще название Берсовой дачи, по имени исторической семьи доктора Берса²¹, куда Лев Николаевич Толстой ездил женой. Мы понимали эту зависть — жизнь там походила на деревню, близко был Ходынский лагерь, и села кругом, с болтающимися причудливыми вешками из соломы, заняты были эскадронами кавалерии. Мы любили и армию, и пушечную пальбу маневров, и солдатское пение. Было время особенного величия русской армии, недавно преобразованной после старой рекрутчины. Освободительная война поднимала ее на особую высоту и внушала нам гордость. Старший брат мой справлял воинскую повинность и привез домой множество солдатских песен, товарищи братьев в новеньких солдатских мундирчиках и кавалерийских бескозырках наполняли наш дом каждую субботу. Соловьев любил подолгу жить у нас, наверху, в братиных комнатах. Он писал и читал и часто молчал, как всегда, думая под общий разговор, — но еще чаще болтал за обедом и хохотал над меньшим братом. Странно было, идя утром на террасу с учебниками под мышкой, видеть его фигуру в зале за самоваром в расстегнутом фейерверкерском мундире, в длинных брюках, с длинными густыми волосами.

— Что это вы на себя надели, Владимир Сергеевич? — спрашивает его отец, обычно за какой-нибудь философской книгой сидевший на кресле у окна в сад.

Соловьев молчит.

— В мундере все же лучше... — подражая фразе моего маленького брата, наконец отвечает он.

К присутствию его у нас я привыкла с самого детства, так, как привыкают к хорошей картине, или роялю, или любимой книге. Но возможность говорить с ним меня всегда смущала. Жизнь, которою мы жили, я и его сестры, была полна захватывающего интереса, но совершенно не соприкасалась с ним — точно так и надо было, — он был и вообще из совершенно другого мира.

На нашем балконе, выходившем в палисадник, в березовый лес и к озеру, за послеобеденным чаем я сижу за какою-то фантастическою работою, что-то шью нескладное и, слушая общий разговор и смех, думаю о своем. Моя мать говорит мне, что то, что я шью, ни на что не похоже. На моем чудном французском

языке, на котором я обязана ей отвечать и на котором, к моей зависти, никогда не говорят братья, я успокаиваю ее:

— *Ce n'est rien, maman, c'est pour les bêtises...*²²

Молчание.

— Катя, — замечает вдруг Соловьев, — *on peut faire des bêtises, encore ça passe. Mais faire quelque chose pour les bêtises...* — *je trouve que c'est trop...*²³

Я густо краснею, потому что совершенно была уверена, что он никогда не замечает того, что я говорю, — а он смеется своим всегда для нас милым смехом.

Отец мой останавливает меньшого брата:

— Я тебе что сказал? Что ты такой рассеянный? Влюблен, что ли?

Опять молчание. Брат сконфужен, и опять голос Соловьева:

— Я в его возрасте влюблялся в предметы даже несуществующие и воображаемые, — говорит он, обняв его за плечо.

— Думаю, что и теперь еще от этого возраста недалеко ушли, — добродушно замечает отец.

И снова смех.

У Соловьевых была странная черта, которая удивляла меня в детстве, потом меня заражала и стала казаться неизбежной. На них нападала тоска. Без всякой причины, совершенно неожиданно, посреди наших бесед, иногда смеха — вдруг что-то случалось.

Сидим, бывало, вдвоем в тихом пустом доме; все разъехались, за окном скрипят санки, с тяжелым длительным грохотом падают в ухабы, слабо горит на стене старенькая лампа. Мы всегда полны ярких впечатлений, взбудоражены ими, — то от прочтенной повести Тургенева, то от пьесы или какого-нибудь красивого танцевального вечера. И вдруг у Маши «тоска», и все меняется совершенно. И жизнь, и радость, и самая лампа на стене, и звуки рояля — все стало другим, тоскливым и грозным, и в то же время таинственнее и прекраснее.

Началось это с Маши. Мы с Сеной долго не поддавались. Обсуждая однажды вопрос, чего больше на свете — радости или печали, я спросила Машу, как обстоит с этим у нее. Она даже удивилась. «Конечно, больше страданий! — сказала она, как всегда серьезно и искренне. — А у тебя?» Мне было неловко и обидно за себя, но лгать я не умела и призналась, что у меня в жизни больше хорошего, чем дурного. «И у меня тоже!» — басом заявила Сена и даже обняла меня.

Однако скоро что-то новое стало волновать и нас.

И когда мы умственным взглядом как бы следили за Машей, мы не находили ничего удивительного в ее состоянии. Разве

жизнь, с ее красотой и властью, с постоянно уходящими в прошлое мгновеньями и годами, с умершими людьми и неискоренимою жаждою счастья, с грустными и страшными снами, сами тихие комнаты и воспоминания прошлого, — разве все это не хватает за сердце, как музыка?

Я уже говорила, что мы были лишены того, что называется систематическим воспитанием. Надя называла нашу тоску презрительно «рибомонами», но все Соловьевы были резко склонны к тому же...

Я не знаю семьи даже и того времени, где бы любовь занимала такое всепоглощающее, великое место в жизни, как у Соловьевых. Положительно любовь наполняла всю жизнь и была главным, что двигало ею. Может, это и часто так, но я не видала нигде, чтобы это было так философски обосновано, так сознательно. Любовь была смысл всего. Вне ее ничего не было на свете ценного. Я бы сказала — после Бога это был главный предмет культа, если бы не было истины — Бог есть любовь...

Мы с раннего детства слышали о драме, которую пережила старшая в доме — Надя Соловьева. Красивая, привлекательная, обожавшая брата Владимира. Он тоже горячо любил ее и, как сам говорил мне, уважал. Надя была счастлива. Ждали формального объявления ее невестой красивого высокого белокурого студента с черными глазами. Соловьевы умели сильно чувствовать, и счастье совершенно преобразило ее. Это был как бы полный расцвет ее молодости, сил, красоты. Потом все разрушилось. Что-то случилось, хотя наружно и шло все по-старому. Страдала она очень долго. Один раз пришла с прогулки в детскую, смотрела странно, спрашивала что-то, чего никто понять не мог, и, что-то вспомнив, закрыла лицо руками и заплакала. Анна Кузьминична увела ее и просила, чтобы об этом не рассказывали.

Мы слышали, что жених ее уехал в Петербург и написал ей оттуда, что просит его забыть, что он ее не достоин, что любит и будет любить только ее, но не в силах отказаться от предстоящей ему дороги... Скоро он женился и быстро пошел в гору, стал камергером и министром... Надя не изменила ему, отказывала всем, и в том числе друзьям любимого брата... Дружба ее с Анной Кузьминичной продолжалась всю жизнь. Уже рано обозначилась ее болезненность — она страдала, как и старшая сестра, периодической тоской, меланхолией.

Любовь, поглощающая всего человека, дающая глубокие страдания и наибольшее счастье, меняющая человека и все кругом, сама по себе как бы сделалась целью нашей жизни. Это было довольно странное чувство — жажда любви и при этом искание

ее трагедии гораздо больше, чем самой любви. Мы всячески старались придумать себе предмет такого высокого и благородного переживания... Сена очень рано нашла его в лице друга своего брата Александра Соколова. Большеглазый, мечтательный и женственно красивый, он, казалось, был совершенно подходящим выбором, но так как все ограничивалось его неожиданным появлением за чаем и разговором с Надей в нашем присутствии, то это скоро прошло. Влюбилась же Сена действительно сильно, с тоской, ожиданием встречи, объяснениями и слезами, — в свою кузину, ту самую красавицу Катю Романову, в которую когда-то был влюблен сам Володя...

Странно, что мысль о взаимном счастье, а особенно о браке, как-то совершенно не вязалась с нашими любовями. В этом не было бы ничего интересного. Кажется, мы были бы даже смущены таким неожиданным оборотом дела. К браку мы вообще относились сомнительно. Это было в наших глазах чем-то вроде тех скучных хозяйственных разговоров, которые вели наши матери где-нибудь на диване после обеда.

С Машей, однако, давно происходило что-то серьезное. Она была уже почти большая, и на нее надели длинное платье. Почему-то мне было жаль по этому поводу и ее, и наши детские годы. Дружба наша не ослабела, но она что-то давно скрывала от нас. Тоска ее стала сильнее, вся она изменилась. И когда я узнала, что предметом ее серьезной любви оказался мой старший брат, которого Володя с детства называл Никола, — это совершенно выбило меня из колеи и потрясло мою душу. Не то чтобы этот человек был недостоин ее бесконечной тоски, того мира поэзии и страсти, которым она заражала меня; но он был совсем простой, реальный человек, вспыльчивый, нелепый, с резкими манерами, насмешками надо мной, да и над ней, великолепным тенором, залихватскими русскими песнями. — «Николушка, забубенная головушка», как называла его очень его любившая тетушка из Елецкого уезда; человек, живший совсем близко наверху, любивший студенческие кутежи и пропадавший все время экзаменов из дома вслед за оставленной в передней запиской на имя родителей: «Из Соловьева 5, обедать дома не буду», — словом, не представлявший, с моей точки зрения, ничего необыкновенного. И жалость к моему другу с особенной силой охватила меня...

Последний год в Нескучном Соловьевы жили в глубине парка, в лучшей его части, в так называемом царском павильоне. На плитах каменной террасы, *plein-pied*²⁴, сидел Сергей Михайлович в креслах, с отеками ногами, закутанными пледом. Лицо

его, желтое, с белыми волнистыми волосами, было благодушно и спокойно, но сердце сжималось при взгляде на него, и новое, смутное чувство, страх смерти, вползло в душу. Он был болен своей последней болезнью. Там справляли мы его последние именины. К нему приезжали друзья, и знакомые, и профессора, и Кетчер, и Корш, и Ключевский, и поэт Шумахер²⁵, и много еще. Были и великие князья — высокие, тонкие, воспитанные, — Сергей и Павел, его ученики.

Осенью 1879 года Сергей Михайлович скончался. Похороны его отличались невиданным до тех пор многолюдством. «Одних генералов было целое депо, — писал отцу в Крым, где мы были, один из братьев — студент. — Так у нас всегда. При жизни мучают человека, а после смерти чествуют — умеют только хоронить». Университет, доставивший ему столько страданий, был постоянной ареной неприятностей и волнений.

Мы долго не могли наговориться встретившись. Владимир Соловьев, по рассказам моего брата Льва, который был все время с ним, до последней минуты не хотел верить в приближающийся конец. Сена в первый раз видела его безутешно рыдающим.

Сергей Михайлович однажды ночью призвал Поликсену Владимировну, просил ее быть мужественной, долго говорил и отдал свои распоряжения. После кончины в его столе оказалось пять запечатанных конвертов и записка: «Именем Бога прошу отдать дочерям». В конвертах было по 30 тысяч каждой дочери, собранные его непрерывным упорным трудом.

По-тогдашнему это была большая сумма. И дочери его были обеспечены. При дележе, как водится, были какие-то неожиданные, неприятные осложнения, очень взволновавшие наши две семьи. В результате их Владимир Сергеевич отказался совершенно от своего права на сочинения отца в пользу страшного брата Всеволода. Миша, во всем следовавший за братом, захотел немедленно сделать то же, но он был несовершеннолетний, и его попечитель и зять, проф. Попов, к величайшему одобрению моего отца, решительно запретил ему делать это.

Со смертью Сергея Михайловича окончилось наше детство, и мы вступили в новую, сознательную жизнь.

VI

В яркую лунную ночь, в воскресенье, я была у Соловьевых. Мы по-прежнему вместе проводили праздники. Они жили на Пречистенке, в доме Лихутина, во втором этаже. Так же висел в

столовой портрет архиерея и какого-то моряка, родственника Поликсены Владимировны. Неизменно была и зала с роялью и керосиновыми лампами по стенам, но фикусы в кадках стояли в гостиной, и там же стоял столик-витринка под стеклом, где хранились какие-то подношения Сергею Михайловичу и его ордену. Гостиная, полукруглая, выходила на угол Пречистенки и Зубова, и в окна далеко были видны бульвар, площадь, лавки с апельсинами за стеклами и длинная лента мигающих фонарей. Поздно ночью, наговорившись и даже начитавшись собственных дневников, мы вышли в гостиную. В передней только что раздался звонок, приехал частый посетитель Соловьевых, московский вице-губернатор и, кажется, безнадежный поклонник Нади, Иван Иванович Красовский. Надя вышла к нему в залу; о чем-то говорили негромко, и когда вошли, вдруг стало сразу ясно: что-то случилось. Никто, однако, ничего не говорил нам.

— Государя убили, — вся бледная, сказала вдруг Сена, подходя к нам. — Оборвали ему ноги...

Нас всех начала бить лихорадка.

Через все наши отроческие годы проходили, как прерывавшаяся цепь, однообразные впечатления — покушения на Александра II. Что могли мы понимать в этом? Имя государя Александра Николаевича одинаково почиталось моим отцом, теми, казалось нам, кто сидел в наших гостиных, и теми, кто был в детской, в девичьей и кухне. Государь, давший «волю». Сколько рассказов слыхала я об этой великой реформе, неслыханной мирной революции сверху. Бывало, лежишь больная, и если сядет около мать, то и начнет рассказывать, как вдруг в церквах прочли манифест, как бабушка испугалась и заперла его в комод; как тихо было на улице вечером, когда родители мои ехали от нее, и как в тишине слышен был отрывок разговора: «Осени себя крестным знамением...»; «Свободным быть, а слушаться одного!» И тем не менее вся та среда, которая проводила, казалось, все эти реформы в жизнь, странно встречала известия о травле его. Взволнованно, но почти оживленно передавали друг другу, как будто даже и радовались. Чему? Мы не знали. В Москве постоянно были либеральные толки, прилично-умеренные, критикующие, будирующие. Постоянно с чем-то боролись, чем-то возмущались... Но люди были самые умеренные. О сочувствии революционным кружкам в этой среде не могло быть и речи — революционеров ненавидели и боялись как разрушителей России, считали, что их выступления и губили реформы, вызывая реакцию. Самая организация этих кружков внушала ужас. «Бесы» Достоевского имели огромный успех.

Наконец его убили.

Чувство охватившего меня страха и дрожь не покидали меня всю дорогу по тихой, еще зимней, яркой в лунном сиянии Пречистенке и в нашем особняке, где никого не было из семьи. Родители мои каждый вечер ходили гулять перед сном до Зубова. Я обогнала их на извозчике и нетерпеливо ждала.

— Государя убили, — сказала я, выйдя на раздавшийся звонок в переднюю и встречая их.

— Да кто это говорит? — спросил отец, еще не веря.

Им уже крикнул на улице незнакомый молодой человек, перевесившись с извозничьих саней: «Сударыня, царя убили!»

Им казалось, что они ослышались. У ворот пожарного депо стояли пожарные. Что они говорят? Разговор был совершенно мирный — говорили о лунном свете, ярко игравшем на куполе храма Спасителя. Еще никто ничего не знал.

Вся жизнь всколыхнулась со следующего дня. Звонили колокола, шли на панихиду и к присяге. Отец, в полной форме, с флером на рукаве и в треугольной шляпе, ехал в Успенский собор. Читали газеты — о последних часах царя, о мальчике с корзиной хлеба, корчившемся в крови, к которому он подошел, о словах государя, сказанных Рысакову после первой бомбы и перед второй: «Это ты, гусь, хотел меня убить?» О том, как раненный вторым ударом бомбы, он дрожал в санях и просил: «Домой, холодно...» О том, как цесаревна Мария Федоровна, вызванная во дворец с наследником, поднималась по залитой кровью лестнице, где только что пронесли царя. И у всех стало совершенно единодушное настроение. Не было ни у кого никакого вопроса о возможности сочувствия.

Я уже говорила — политика была совершенно далека от нас. Впрочем, казалось нам, что все кругом разделяли наше горе и отвращение к преступлению.

И вдруг слух о какой-то лекции, прочтенной Соловьевым, о том, что он выслан из Петербурга... Случайно, длинными, уже весенними сумерками, после уроков, перед обедом я увидела его в нашей гостиной. Он стоял, в длинном сюртуке, серьезный и бледный, с выражением заносчивой, упрямой горячности. Братья и отец горячо говорили, споря с ним. Я не принимала участия, но слушала с волнением. Мы все ненавидели смертную казнь, мой ум не мог как бы вместить в себя ее возможности... Про брата моего, философа и друга Соловьева всю жизнь, и говорить нечего... И все же мы спорили... меня волновала определенная мысль: почему он поднял свой голос теперь? Отчего летом, когда расстреляли на Ходынке четырех солдат за неповиновение,

никто не сказал ни слова, не допустил возможности возражать? Оттого ли, что всем было ясно, что если нарушится в армии дисциплина, то все погибнет?.. И теперь он требует от сына убитого — изменить своей властью основной закон, всенародно сделать неслыханное исключение для убийц. Я смотрела на него и думала о том, как он красив, бледный, упрямый. Что-то недоброе шевелилось во мне... Вся Россия теперь вздрогнула от его смелых слов. В это время до слуха моего донеслось последнее возражение, отчетливый нервный голос: «Ну да... потому что вы говорите о законе “око за око, зуб за зуб”, а я говорю — о заповеди Христа...»

И он перестал спорить.

VII

Философские сочинения и системы не могли интересовать нас. Мы знали Соловьева не по книгам, не по лекциям и речам, про необыкновенный успех которых слышали, а по самой его жизни, простой, обыденной, которая проходила около нас, хотя он и бывал в Москве наездами, пропадал целыми периодами.

Какова же была эта жизнь?

Прежде всего, Соловьев не имел никакого жилища, никакого местожительства. По словам псалмопевца: «Я странник на земле, не скрой от меня Твоих заповедей»²⁶, — он так и прожил свою жизнь — был настоящий скиталец на земле, и истина не укрывалась от него.

Служил он, имел какие-нибудь обязательные занятия очень короткое время. Очень быстро вышел в отставку из Московского университета, ездил в Лондон и Египет, а из Петербурга, где читал лекции в университете и на женских курсах, был выслан после 1 марта 1881 года. Так что с тех пор, как мы сознательно стали помнить его, он был совершенно свободен, вне каких-либо рамок, да иначе его и невозможно было представить себе.

Наибольшую оседлостью его был дом родительский; сначала подвальная квартирка в доме Дворцовой конторы; потом очень долго на Пречистенке перед Зубовской площадью, рядом с залой и передней — узкая небольшая комната с двумя окнами, диваном вместо кровати и длинным столом, за неприкосновенность которого он препирался с Поликсеной Владимировной, спешившей все убрать в его отсутствие.

Во время спектакля, когда в зале воздвигались подмости, комната Володи обращалась в мужскую костюмерную, где нава-

лено было платье, костюмы, сидели неузнаваемые люди с приклеенными бородами, а на столе перед зеркалом, среди румян, белил и карандашей, работал гример.

Больше всего, кажется, жил Соловьев в Петербурге или разъезжал; ездил очень много — то за границу, то в Финляндию, то по усадьбам друзей; жил особенно часто у своего друга Цертелева, у гр. Толстой, у Афанасия Афанасьевича Шеншина (Фета), которого очень любил, гостил на дачах.

В Петербурге обычным пристанищем его были гостиницы «Англия», «Европейская». Но и здесь часто он проживал у кого-нибудь, переезжал в пустые квартиры отлучившихся друзей и там работал. Отец мой был однажды очень удивлен, когда разыскал его в Петербурге в одной такой квартире, в совершенно пустой комнате, где были только стол и стул. На столе стоял канделябр с одной свечой; углубление другого подсвечника служило ему чернильницей, и он макал туда перо в спешной работе. Помнится, именно свою книгу «*La Russie et l'église universelle*» писал он в Пустыньке, усадьбе графини Толстой, жил там совсем один и за неимением правильно налаженного хозяйства питался одной морковью. Непременно заезжал каждое лето к нам, где бы мы ни жили, иногда поселялся в опустевший наш дом для работы. Его друг, мой брат Лев, всю жизнь, до страшных революционных дней включительно, прожил на низком верху нашего дома, где жили все братья, в студенческой своей комнате, окнами на наш большой двор. Соловьев входил к нему нагибаясь, чтобы не стукнуться о притолоку двери.

— Хорошо ли вам там, Владимир Сергеевич? — спрашивала его моя мать. — Спите-то хорошо? Не мешают вам по утрам?

— Нисколько. Только вот это утро курица вздумала рожать и подняла вопль необузданный.

Без постоянного правильного заработка, всегда гонимый за свою работу, которую запрещала цензура, слабый здоровьем, он очень нуждался в деньгах. Это была вечная забота Поликсены Владимировны, вечная ее тревога.

Соловьев бедствовал еще и потому, что отдавал все, что имел, куда и как попало. Постоянно шли у нас наши общие семейные обсуждения его необузданного нрава. Он как будто не мог видеть деньги, держать их в руках, чтоб не отдать. И делал это совершенно зря, по мнению всех. Подкатывал в Покровском к нашей даче в нарядной, почти лихаческой пролетке один из рослых сыновей богатого двора Барановых; выходил Соловьев с развевающимися волосами, в макферлане²⁷, который он называл «безрукавной летучей мышью», и что-то отдавал извозчику. После

этого я слышала из своей детской, как отец мой жаловался рядом в спальне матери: «Нет, Володя хорош! Ездил с Барановым за рубль с четвертью, и то дорого... приехал и отдал ему... гляжу, трехрублевку! Понимаешь, — даже не поблагодарил его. Поглядел с удивлением и поехал. А бедная Поликсена Владимировна...» Мы все привыкли и к этим жалобам, и к тратам Соловьева. Рассказывали, что повадился к нему под окно ходить разносчик, и он бросал деньги, ничего не покупая. В «районе» Пречистенки все знали его. У извозчиков — самых после нищих праздных обывателей, подолгу стоявших на углах, имевших во всех домах постоянных клиентов и знавших все «дни» на неделе и всех их посетителей (дни эти они называли «балами»), — с быстротою молнии распространялась весть, что приехал Владимир Сергеевич. Они часами ждали перед домом, соблюдая между собою какую-то очередь. Нищие приходили издалека и тоже в каком-то установленном порядке ждали у двери и у Соловьевых, и у нашего дома, где был особенно удобный для всяких сборищ, бесед и ожиданий большой подъезд. Особенно один нищий, бывший раньше натурщиком в Школе живописи на Мясницкой, куда с юных лет ездила на уроки Сена Соловьева, — высокий, с седыми баками, ярко-красным носом, в дворянской фуражке, — сделался как бы общим знакомым и пользовался особым почетом. Кто он был, никто не знал. Знали, что он был пьяница и иногда приходил с таким пылающе-красным лицом и глазами, таким даже фиолетовым носом и таким запахом вина, что было противно и жутко. В Школе обращал на себя внимание тем, что совершенно неожиданно и, что называется, ни к селу ни к городу произносил французские слова. Сидит-сидит и скажет: *pas du tout*. Сена его недурно написала на уроке, и я с детства привыкла к его лицу с бакенбардами. Он так и звался у нас — «нищий Володи Соловьева», так как у брата были свои постоянные, но в отсутствие Соловьева он переходил к брату; после же его смерти перешел совсем, знал все часы его лекций, уроков и посещений редакций, ходил иногда прямо в университет или ждал у нас в Гагаринском переулке у подъезда и звонил, пока брат рассчитывался со своим придворным извозчиком Спиридоном. И всегда соблюдал при этом умеренность, приходил в известные дни и получал не больше двугривенного, часто бежал в лавочку менять рубль, если не было мелочи. Но все это были траты небольшие. У Соловьева были и серьезнее. То и дело приходили к нему через неосвещенную залу, прямо в его комнату с большим столом перед окнами, какие-то неизвестные люди, иногда странные и казавшиеся скучными, часто старики, и о

чем-то говорили подолгу. Впрочем, тогда это было в обычае. Был какой-то полковник, страдавший, по его собственному признанию, «напором мыслей», которого долго посылали от Аксакова к Черняеву²⁸, от Черняева к Толстому, от Толстого к Соловьеву и наконец, когда уже совсем не знали, куда послать, — послали к известному всей Москве С. А. Юрьеву²⁹. Соловьев часто отдавал таким людям суммы довольно крупные, иногда все, что в данную минуту имел. Большой разговор у нас был тогда, когда сшили ему хорошее ватное пальто, — он и отдал его сейчас же голодному и оборванному студенту.

Соловьев был упрям, своенравен и не обращал на общее негодование совсем никакого внимания, даже сердился.

— Не могу же я ему не отдать, когда у него ничего нет!.. — запальчиво, на высоких нотах говорил он.

— Знает, что Поликсена Владимировна опять сошьет! — возмущались мои родители.

Забавнее всего, что как-то во время беседы с меньшими сестрами и со мной — что случалось редко: мы его боялись и смотрели как на человека, нам недоступного, — он пресерьезно доказывал нам, что по природе скуп.

— Чего ты хочешь? — сердито возражал он Сене, и лицо его было по-детски серьезно и напоминало чем-то выражение Сены. — Если я говорю тебе, значит, я знаю. Я могу отдавать что-нибудь, потому что я хочу этого и борюсь с собой. А по существу, на самом деле — я очень скуп, и мне многое нужно и бывает жалко расставаться. Оттого и борюсь. Это вовсе не смешно...

Странно было видеть его за чем-нибудь житейским, связанным с мелкими интересами. Вероятно, осуждал он себя, когда тоже нам показывал склянки одеколона, эликсира, какой-то туалетной воды, которые накупил в редкий период получки денег.

— Мот и фат, — неожиданно сказал мой меньшой брат, когда Соловьев пришел к нам в красном галстуке, должно быть, кто-нибудь подарил ему.

Он писал матери в 1886 г., когда ему было 33 года и когда он позировал Крамскому для известного портрета, что две девочки выбегали к нему от швейцара и, хватая его за полы шубы, восклицали: «Боженька, боженька!»³⁰ — «видимо принимая меня за священника. А недавно на лестнице “Европейской” гостиницы незнакомый почтенный господин с седой бородой бросился ко мне с радостным возгласом: “Как, вы здесь, батюшка?” — и когда я ему заметил, что он, вероятно, меня принимает за другого, то он возразил: “Ведь вы отец Иоанн?” — на что я, конечно, за-

метил, что я не только не отец Иоанн, но и вовсе не отец ни в каком смысле...»

В самом деле, вид у него был такой, что хотелось его принять за священника или старообрядческого архиерея, хотя бледное красивое лицо его с чистыми линиями и полными ума и огня глазами, несмотря на седеющие волосы, было полно жизни, силы, даже страсти и молодо до детскости. И сутуловатая фигура в иные минуты поражала стройной щеголеватостью.

С юности он вел жизнь, которая ужасала всех его знавших. Работал непрерывно и всегда по ночам. На верху нашей яковлевской квартиры, в кабинете отца, его приятель доктор Ветров рассказывал ему про своего соседа по монастырской гостинице у Троицы, Владимира Соловьева. Ветров, гитарист, сочинявший прекрасные музыкальные вещи и куривший жуков табак в чубуке, бритый и смешливый, говорил с ужасом:

— Слышу, понимаете, рано утром, эдак в половине седьмого, в коридоре голос Соловьева: «Человек! Человек!» Думаю, что такое, не заболел ли? Высунулся — вижу: стоит Владимир Сергеевич, бледный, измученный... совсем одетый... «Что вы, Владимир Сергеевич? Отчего так рано?» — «Да какой рано... Вот хочу чаю спросить, очень спать хочется... Крепкого бы чаю...» Это он еще не ложился! — И Ветров залился добродушным смехом.

Бывало досадно и смешно слушать, как они вдвоем с братом Львом совещаются, как лучше бороться со сном. «Знаешь, я придумал превосходное средство, — оживленно рассказывает Владимир Сергеевич серьезно и убежденно. — Самое трудное бывает — это в исходе четвертого часа. И вот тут, понимаешь, я ложусь, т. е. сажусь в кресло привалившись. Усталость так сильна, что засыпаешь мгновенно, но так как положение очень неудобное, скорчившись, то всего минут на пять, самое большее на десять — и непременно проснешься. И, представь, совершенно иначе себя чувствуешь, отлично можно продолжать».

С моим братом, Львом Михайловичем, Левушкой и Левоном, как он звал его, у них было огромное духовное сходство, точно у двух братьев, и отношения были такие, какие бывают у родных братьев, близких по духу. Не то, что называется собственно другом и что приобретается позднее, на общих путях жизни, но что-то не меньшее, а во многом и большее, и шло это неизменно, всю жизнь. Любопытно, что оба они были «недоносками».

Умение молчать — упрямо, строго, мрачно и непробудно — было особым свойством Владимира Сергеевича. В обществе, на собраниях, что называется «в гостях», с ним бывало это особенно часто. Никогда нельзя было ручаться за то, что он будет ожив-

лен и интересен. Весь он внезапно и безнадежно уходил в себя. Лицо делалось страшно серьезно, как бы недоступно никаким впечатлениям, сам он сидел глубоко в кресле, нога на ногу, голова как-то уходила в плечи, черные брови хмурились, и сосредоточенная, упорная мысль стояла в глазах. Посторонние вопросы, а иногда удивление окружающих не производили на него никакого впечатления — ответит кратко и замолчит. И, бывало, ночью, усталая после оживленного вечера, ложишься спать и, как встарь, слышишь слова отца в спальне: «Володя нынче — точно он убил кого-то...»

Полное равнодушие, почти презрение в чужому мнению, сознание, что очень естественно, что его не понимают, и совершенно невольное, тоже как бы врожденное чувство превосходства своего над другими уживалось в нем с необыкновенною добротою, пониманием всякого чужого страдания и всеглашнею готовностью сделать все для его уничтожения... Отец мой его любил нежно, как сына, при всей склонности разбирать его недостатки. Любили его все мы, и наша старая прислуга, и извозчики с нашего угла, и нищие с подъезда. И так было всегда. Старая наша горничная Дарья, которую нередко поминал в своих стихотворных письмах к моему брату Соловьев, давно решила, что оба они — и брат, и Владимир Сереевич — святые.

VIII

То, что захватывало всю душу и всю сложную жизнь Соловьева помимо веры и науки, — была любовь. В этом, при всем несоизмерном различии по возрасту и по значению, он совершенно не отставал от своих сестер, моих друзей, или, лучше сказать, они как бы в этом отношении совершенно следовали за ним. В чувстве их было много общего до странности — в его всепоглощающей силе, в отношении к нему, в отдаленности от жизни обычной, в его как бы наджизненности. И в то же время совершенно не было в нем того идеализма, платоничности, исключительной духовности, которую так ошибочно приписывают Соловьеву. Он был человек очень сильных чувств и сильной страсти. Любовь доставляла ему наибольшие страдания. Жизнь его была, однако, совершенно отлична от жизни мужской молодежи его кружка и времени. К обычной распущенности, легкости связи без любви он относился с отвращением.

Влюблен он был всегда, и притом, как обычно было со всеми Соловьевыми, как-то всегда все знали об этом. Слишком ярко,

сильны, сложны были эти переживания, чтобы можно было их скрыть. Слишком многое влекли за собой.

Можно также сказать, что любовь его была всегда несчастна в том простом, по крайней мере житейском, смысле, как принято это разуметь. Мы всегда знали об его романах, в особенности о главных и позднейших из них. Несчастный их характер был, пожалуй, и неизбежен — любил он женщин властных, привлекательных, подчинявших себе, притом сложных, не простых, которые его мучили, и к самым мучениям этим его как бы влекло.

Первая любовь, по крайней мере из наиболее серьезных, была к двоюродной сестре — Кате Романовой. Он был девятнадцатилетний мальчик, ей же, кажется, едва минуло пятнадцать лет. Катя была красавица. Поздней, будучи сестрой милосердия в турецкую войну, она в лазарете остановила на себе внимание императора Александра. Государь взял ее за подбородок и говорил с ней. По тогдашней терминологии, ее называли кокеткой. То, что она была красавицей, со смугло-бледным лицом, длинными глазами и странным сходством с испуганным выражением Сикстинской мадонны, — было, кажется, все, что можно было сказать о ней. Мы, однако, благоговели перед ней, а Сена была в нее «влюблена». Письма к ней Соловьева, напечатанные много спустя после его смерти в «Вестнике Европы», подробно рисуют душевное его состояние того времени и его самого³¹. Вспоминаешь их при чтении его милой маленькой повести «На заре туманной юности»³², где он, очевидно, говорит о себе. При всей молодости Кати и непричастности ее к очень серьезным вопросам, он все время рассуждал с ней на самые отвлеченные темы и делился своими философскими убеждениями.

Гораздо позднее, в Дубровниках, близ Подольска, где братья и Соловьев бывали в семье Поливановых, Владимир Сергеевич встретил Елизавету Махайловну Поливанову, энергичную, остроумную, самостоятельную девушку, шумную и своеобразную. Любовь его к ней не была разделена. Впоследствии ей было посвящено известное стихотворение:

В былые годы любви невзгоды
Соединяли нас.

По-видимому, исцеление от этой любви было прочно и совершенно: Владимир Соловьев в это время подошел к своему самому главному периоду своей жизни — он уже встретил Софью Петровну Хитрово, которую любил глубоко и долго. Есть мнение, что вся жизнь Соловьева есть, в сущности, сплошной его роман с этой женщиной.

Мы слышали об этой любви уже гораздо подробнее, тем более что начало ее совпало с нашей юностью. Лично этой женщины мы не знали. Как-то вечером Володя вошел к нам в залу, где мы все были, с девочкой лет десяти, чрезвычайно изящной, в короткой шубке, шапочке и с башлыком вокруг шеи. Пока она здоровалась, приседая и не смущаясь, он с нежным смехом глядел на нее. Звали ее Ветой Хитрово. Соловьев откуда-то должен был отвести ее домой. Весь он был полон оживления, озарен необычайным внутренним светом, имя которому — счастье.

Что могли мы знать о ней, о замужней женщине, которую он любил? Как водится, все говорили об этой любви, критиковали и жалели... Находили, что она его «мучает», что она некрасива, что у нее наружность большой кошки или тигрицы и поразительно красивые руки. Краткие пригласительные записки, которые получал от нее Володя, вроде: «Я нынче дома, у меня много цветов. Приходите...» — раздражали всех у него в семье... Несомненно, однако, что это была женщина замечательная, с тонким умом, большой культурой и большим вкусом, интересовавшаяся всем и умевшая привлекать к себе крупных людей, и в высшей степени обаятельная. Она жила с теткой, графиней Толстой, вдовой поэта Алексея Толстого. Самый воздух, которым Соловьев дышал у этих двух женщин, атмосфера искусства, тонкости отношений и духовного изящества — были ему необходимы.

Мы никогда не знали, счастлив ли он в своей любви и в чем состоят препятствия к этому счастью, но знали, что он испытывает полноту жизни, которой завидовали. То, что он очень страдал, не могло укрыться от нас. Одно время, очень короткое, называл ее своей «невестой», потом пережил какое-то великое крушение, болел и много мучился. Все лучшие его стихотворения относились к ней, были выношены около нее и вдали от нее.

Уходишь ты, и сердце в час разлуки
Уж не звучит желаньем и мольбой.

(1880)

О, как в тебе лазури чистой много
И черных, черных туч.
Как ясно над тобой сияет отблеск Бога,
Как злой огонь в тебе томителен и жгуч.

(1881)

Вижу очи твои изумрудные...

Я добился свободы желанной...

И наконец известное стихотворение:

Бедный друг, истомил тебя путь.
Темен взор, и венок твой измят...

(1887)

Сила его любви и глубина его переживаний захватывали всех его знавших. И потому не только его меньшие сестры, но и все друзья были как бы оскорблены, смущены, когда уже к концу его жизни совершенно неожиданно, на каком-то светском маскараде он вдруг влюбился до потери головы в женщину в маске, подошедшую к нему и уколовшую булавкой ему руку... Роман этот длился недолго и тоже доставил ему немало страданий...

Так же, как называл он себя скупым, так считал человеком грубых страстей, с которыми он боролся. Об этом особенно хорошо говорит в своих воспоминаниях его сестра Мария Сергеевна Безобразова. В представлении о Соловьеве, по крайней мере в глазах нас, близко знавших его, сложился ряд недоразумений. Бесплотный аскет, как бы далекий от всего мирского, с мечтательным взглядом и длинными кудрями, совершенно не соответствовал истинному его образу. Все земное — от природы до искусства, любви и наслаждений — было совершенно близко ему.

Земля-владычица, к тебе чело склонил я,
И сквозь покров благоуханный твой
Родного сердца пламень ощутил я,
Услышал трепет жизни мировой.

Но пребывание во Христе, которого он любил, делало все низменное ему чуждым. Жизнь его была непохожа ни на какую другую.

Бездомный, он и питался, как странник. Соловьев никогда, с тех пор как я помню его, не ел мяса. В своей предсмертной исповеди он решительно заявил священнику, что никогда не был вегетарианцем. Воздержание от мяса был как бы пост, который он наложил на себя; к тому же он считал этот пост для себя здоровым. Питаясь периодами одной морковью и даже как-то никак не питаясь, всегда воздержанный, он любил изысканные кушанья, вино. Мой меньшой брат, живя некоторое время в гостинице «Англия», был очень удивлен, когда Соловьев пригласил его к себе в номер и угощал откуда-то раздобытой бутылкой шампанского с зернистой икрой. Сидя на даче наверху за занятиями, я слышала, как за стеной Соловьев, потягиваясь, говорил с братьями: «Ох, ох, ох, наконец-то мы вчера сверх разума». И случилось это всегда неожиданно и совершенно как бы без причины.

IX

Вера Владимира Соловьева была не системой, не головной теорией, а врожденным, посланным ему как бы совершенно помимо него самым даром. Пожалуй, это и вообще было присуще их семье. Спросишь, бывало, Сену, есть ли у нее сомнения в будущей жизни. И она ответит серьезно, прямо в глаза: «Совершенно нет. Понимаешь, это у меня что-то особенное, тут и заслуги нет: я просто совершенно уверена, что это есть». И стоит только взглянуть в ее глаза, с отметинкой на одном глазу, чтобы понять всю глубину искренности ее слов.

Соловьев говорил как-то с тем же моим меньшим братом — и чуть ли не именно за бутылкой шампанского в его номере — о бессмертии, о состоянии души после смерти.

— Значит, ты думаешь... — начал брат, но Соловьев резко перебил его:

— Я не думаю, я знаю...

Он рано оставил спиритизм, считал занятие этим предметом вредным «и физически, и морально». Но постоянное чувство сверхъестественного, общение с ним никогда не покидало его. У него были нередко видения по ночам, при пробуждении, не то «просоночное состояние», не то галлюцинации, о которых, в особенности в тех случаях, когда эти явления были странны, он рассказывал со своим заразительным смехом. Рассказывал, что почувствовал ночью, как кто-то толкнул его: открыв глаза, увидел стоящую в ногах странную бледную женщину, пристально смотревшую на него. «Что тебе? Кто ты?» — молил он ее и изображал нам, как она отвечала, не разжимая губ: «Люби меня, меня никто не понимает...»

Все это было так странно, что смешило нас.

Как и Достоевский, Соловьев «верил в черта». Н. Н. Страхову он писал: «Я не только верю во все сверхъестественное, но, собственно говоря, только в это и верю»³³. А после его кончины писал своему другу: «Пишу некролог Н. Н. Страхова — воображаю, как он теперь удивлен и сконфужен»³⁴. Вот бранить-то его буду, когда увижусь; не отхихикается». И когда он сидел, вдруг погруженный во что-то совершенно далекое от происходившего кругом него, с глубокою, пламенною мыслью в глазах, казалось, что он соприкасался с другим миром.

Он придавал большое значение снам, постоянно о них рассказывал и расспрашивал об их значении Анну Кузьминичну. И в письмах он постоянно упоминал о снах. Писал профессору Гроту в Царицыно, где все мы жили: «Видел Левона во сне в дур-

ном виде. Что с ним?»³⁵, «Опять видел Левона». Как бы ни был он далеко, его чувствовали все близко — все заботило его, и все знали, что он готов всего себя отдать, чтобы помочь, и не по принципу, а из любви ко Христу. На Христе, и только на нем, даже не на его учении, а на нем самом строилась вся его оригинальная и глубокая, единственная в русской философии система, политические его действия и вся его жизнь.

В этой своей жизни он не был церковен с обычном смысле этого слова. У него был общеинтеллигентский взгляд даже верующих русских людей: немножко так, что все это, по тогдашнему выражению, как бы «не про него» и ему подобных «писано». И в то же время — ученый знаток и догматического богословия, и истории Церкви — он и Церковь Христову на земле защищал в то время, когда вопрос этот мало кого занимал, а серьезный интерес к нему казался чудачеством.

Редко посещая службы, он часто говел. Заболев чем-то вроде тифа в доме матери на Пречистенке, почувствовал себя слабым и настоятельно потребовал священника. К нему прибыл пр[отоиерей] А. М. Иванцов-Платонов³⁶, ученый богослов, славившийся в Москве удивительным чтением Двенадцати евангелий, на которое съезжалась вся культурная Москва. В доме его все были угнетены, как всегда в таких случаях. А. М. Иванцов-Платонов был у Владимира Сергеевича очень долго и долго с ним говорил; тем не менее, выйдя от него, сказал, что не причастил его, что в состоянии его, по-видимому, нет ничего угрожающего, а так как Соловьев что-то ел утром, причастие они отложили. Александр Михайлович, человек большого ума и удивительной доброты, можно сказать даже святости, вышел от него как бы чем-то озабоченный и угнетенный. Так, по крайней мере, мне казалось. Мы тогда совершенно удовлетворились этим объяснением. Но после мне пришло на ум, не был ли в этом случае между ними тот спор по догматическому вопросу, в котором признавался и каялся Соловьев священнику в своей предсмертной исповеди и который имел значительные последствия?

Из служб он чрезвычайно почитал день Святой Троицы, придавая большое значение коленопреклоненным молитвам за вечерней. И всегда по возможности шел в этот день в церковь.

И было что-то в его вере простое, как бы совершенно неотъемлемое от него, изнутри идущее. В том, как он крестился, садясь за стол, как снимал свою мягкую широкополую шляпу, как ходил по кладбищам, — кладбища он особенно любил и, думаю, едва ли пропустил хоть одно из них во время своих путешествий.

Смерти Соловьев не боялся.

Когда пришла холера и все были более или менее охвачены паникой, он забавлялся стихами:

Не боюсь я холеры,
Ибо приняты все меры...

Не боялся он и вообще ничего, чего принято было бояться. Когда один из его любимых друзей заболел острым психическим расстройством, сидел с ним дни и ночи, уговаривал и удерживал и отвез в больницу.

Любимый всеми, кто близко знал его, он, однако, тоже имел своих врагов. Гордая и смелая душа его как бы задевала людей своей исключительностью. Правда, в его отношениях с людьми, в манере держать себя, даже смеяться, пугая всех, в самом его благодушии и благожелательности было незаглушимое превосходство его перед другими, которое он как бы хотел и не умел скрыть. Это, быть может, и беспокоило души более мелкие. Впрочем, при всем этом превосходстве в сознании его у Соловьева, повторяю, была самая искренняя любовь к людям, исходившая все оттуда же — из любви к Христу, из полного восхищения, если можно так выразиться, им.

Х

Старый соловьевский слуга Алексей обокрал Владимира Сергеевича. История эта взволновала всех его знавших, наши две семьи особенно. Алексей был человек немолодой, маленький, с жидкими взъерошенными желтыми волосами и тараканьими усами, за что Маша не без меткости сравнивала его с облетевшим одуванчиком. Он говорил отрывисто, в нос, подавая жаркое, угощал нас тихо, под общий говор: «Тетерев... что ж вы...» — и в нос ворчал угрожающе, особенно когда был пьян, — за ширмой в передней, где жил.

В 1886 году, уже весь охваченный своей новой идеей соединения церквей, гонимый за свои лекции и книги и бедствовавший, Соловьев собрал с немалым трудом деньги и ехал за границу печатать свою «Теократию». В самый день отъезда, выйдя из своей комнаты и вернувшись в нее через короткое время, он взял со стола бумажник и увидел, что из него вынуты все деньги, пятьсот рублей, приготовленные для путешествия. Отчаянию его не было пределов. Владимир Сергеевич жил один, было лето, Кроме слуги, никого не было дома, это-то, главное, и поразило

его. Он призвал Алексея в свою комнату и начал, взволнованный, бледный, умолять его покаяться и сознаться — за это обещал ему никому не говорить... и даже, наконец, отдать эти деньги. Алексей побледнел как смерть, но отвернулся и сказал твердо, что ничего не знает. У нас в девичьей оживленно рассказывали потом, как Алексей пошел к гадалке и принес ее приговор: «На рыжего думают, а черный взял». А Сена нарисовала эту сцену и подписала: «Алексей у гадалки». Уехав в деревню, он открыл там лавку, пожертвовал на церковь икону с лампадой и был выбран церковным старостой.

Соловьев долго не мог успокоиться. Деньги ему собрали, и он уехал. Но мучило его не то. Он все надеялся, что Алексей раскается и возвратит... До какой степени мысль о непорядочности человека, которого он привык считать членом семьи, угнетала его, показывает его письмо к матери осенью: «Милая мама, если Вам и сестрам все равно, то приезжайте в Москву немножко пораньше, а то мне было бы очень неприятно приехать в пустой дом, или не столько в пустой, сколько наполненный воспоминаниями об Алексее и т. д.»³⁷.

Такой человек не мог быть равнодушным ни к каким человеческим страданиям.

Из его веры во Христа и любви Христовой вытекала его забота евреев. Жизнь, окружавшая его, как бы она ни была просвещенна и полна высоких интересов, — была все же далека от такой любви. Из этого вытекали не только все трудности его пути, но и все недоразумения, на нем создававшиеся. Соловьев не был ни монархистом, хотя христианскую монархию называл «самодержавием совести», ни революционером, хотя, подвергаясь преследованию, невольно делил их участь, ни католиком, ни православным, как понимают эти слова, — он был христианином в истинном смысле этого слова, и потому нужно сказать, что он был не аполитичен, а надполитичен.

Про еврейский вопрос он говорил, что это прежде всего вопрос христианский, вопрос о том, насколько христианские общества во всех отношениях, и между прочим в отношении к евреям, «способны руководиться на деле началами евангельского учения, исповедуемого ими на словах»³⁸. Любопытно, что в этом вопросе он находил поддержку у М. Н. Каткова и ссылался на статьи его в «Московских ведомостях»³⁹. Все это было так же далеко от обычных приемов и побуждений борьбы, как и тогда, когда он был выслан из Петербурга за то, что заговорил о заповеди Христа.

XI

Мог ли Соловьев не прийти к тому, что послужило наиболее ярким выражением и его веры, и его жизни, — к проповеди о соединении церквей? Конечно, нет. Это был последний этап его последнего пути, и по всем свойствам его души этот этап не мог быть иным. В мечте своей о преобразовании всей жизни, в несомненном предчувствии надвигающегося великого всеобщего крушения он не мог не видеть, что все, что идет за Христом, должно быть воедино в нем. Католичество, его высокая культура и духовная мощь, новые люди, с которыми он столкнулся, сила их веры дали ему новые духовные силы. Но, кажется, ни одна из его идей не встречала столько вражды, непонимания и, в лучшем случае, равнодушия, как мысль о соединении церквей. О науке нечего и говорить, в обществе она была не нужна, никто ею не интересовался, а со стороны высшего духовного начальства и духовной цензуры началась систематическая травля. Начавши свое учение поприще смелою борьбою с неверием, патриот, веровавший во вселенскую миссию своего народа, православный христианин с начала сознательного возраста, он больше всего страдал от представителей родной Церкви.

Главные мучения Соловьева состояли в постоянном запрете цензурою всего, что он хотел печатать и издавать. Его письма, разговоры, самый вид, когда он появлялся, отражали его необыкновенную душевную тревогу. Он как бы выбит был совершенно из колеи, страдал физически и душевно.

1887 год, к которому относятся все его страдания, вообще, кажется, был самым тяжелым годом его жизни. К этому же времени принадлежит его стихотворение «Бедный друг, истомил тебя путь...»

Мысль о необходимости соединения «двух великих половин христианского мира» возникла у Соловьева в начале восьмидесятых годов. В 1885 году он писал епископу Штрессмайеру свое первое письмо, датированное «Москва, в день Непорочного зачатия пресв. Девы...»⁴⁰ В этом письме он говорит: «От этого соединения зависит судьба России, славянства и всего мира. Мы, русские, православные, и весь Восток *ничего не можем сделать*, пока не загладим грех церковного разделения, пока не воздадим должное власти первосвященнической. Сердце мое горит от радости при мысли, что имею такого руководителя, как вы».

Радость, зажигавшая его сердце, как и страдания преследований и непонимания, делали его совершенно одиноким.

В этот же 1887 год он прочел в зале Исторического музея свою лекцию «Славянофильство и русская идея». Из официальной программы, разрешавшейся генерал-губернатором, ему пришлось исключить самое слово «Церковь» и заменить его словами «мистический элемент». Об этой лекции он сам писал: «Можно себе представить негодование московской славянофильской публики, которая в большом числе собралась меня слушать. Я очень доволен этим негодованием, так как оно должно было остаться на степени субъективного чувства и не было в состоянии противопоставить своей идее что-нибудь объективно значительное»⁴¹.

На самом деле у Соловьева не было счастливого вида ни на этой лекции, ни после нее. Отношение к нему давно менялось вообще, и брат мой вспоминал по этому поводу его первые успехи несколько лет назад, на его лекциях о Богочеловечестве, о Достоевском — вероятно, еще больше после первого марта, — оглушительные крики и аплодисменты, начинавшиеся в аудитории тогда, когда он только входил на подъезд и снимал шубу. Передовая и радикальная молодежь, которая шла за ним как за своего рода новым вождем, отступилась от него, когда он весь отдался вопросам религиозным, и не в силах была усвоить их.

В Историческом музее собралась публика избранная, большею частью старое московское общество — остаток славянофильства; почтенные, барственные старцы, дамы, интересовавшиеся «высшими вопросами», барышни из серьезных и православных, а из молодежи — чинные студенты, которых мы называли презрительно белоподкладниками. Мне понравилось его своеобразное обращение «почтенное собрание», которое он сказал тихо и скороговоркой, его образный, благородный и сильный язык, и то, что он говорил о духе Христова учения, приводя слова Христа из евангельской главы: «Не знаете, какого вы духа»⁴². Вторая часть кончилась неожиданно, словно оборвалась, и чувствовалось, что все обиделись.

Анна Кузьминична после того за чаем в соловьевской столовой рассудительно находила, что бестактно и странно было собрать почтенных стариков и всех обидеть. А потом, на большом сборище в их «день», за длинным столом ужина, поднялся спор — два брата Трубецкие резко нападали на него. Соловьев возражал серьезно, страстно и решительно, был взволнован и особенно красив. Мы же все были заняты своими интересами, радостями, страданиями и страстями своей собственной жизни, казавшимися нам самым важным, что есть на свете. На нашем конце длинного стола было особенно весело. Меньшой брат, тез-

ка Соловьева, был в ударе и казался нам особенно забавным. Я несколько раз просила его налить мне воды, но, занятый общим вниманием моих друзей и их смехом, он не слышал. Вдруг поднялась во весь рост фигура Соловьева в длинном сюртуке, с хмурым возбужденным лицом. Продолжая возражать Трубецким, он подошел с графином и налил мне воды. Возражал он почти запальчиво. Мы все притихли... Как и всех других, нас мало интересовала тогда проповедь Соловьева, их спор и все, чем он горел. Совершенно новая, далекая нам в нашей жизни мысль о признании папы и, следовательно, об «измене православию» казалась нам излишнею.

Признавая полную общность Церквей православной и католической и находя, что нет ни одного обязательного догмата для православных, который противоречил бы католическим догматам, Соловьев хорошо понимал вред для дела соединения церквей индивидуальных случаев перехода в католичество.

Об этом писал он и архимандриту Антонию, впоследствии митрополиту Петербургскому: «Я вернулся из-за границы, познакомившись ближе и нагляднее как с хорошими, так и с дурными сторонами западной Церкви и еще более утвердившись на той точке зрения, что для соединения церквей не только не требуется, но даже была бы зловредною всякая внешняя уния и всякое частное обращение. На попытки обращения, направленные против меня лично, я отвечал прежде всего тем, что в необычайное для сего время исповедовался и причастился в православной сербской церкви в Загребе... Вообще, я вернулся в Россию, если можно так сказать, — более православным, нежели как из нее уехал»⁴³.

Его мучили не только запрещения цензурою всего представляемого к печати, хотя бы оно «даже вовсе не касалось соблазнительного вопроса о соединении церквей», но и яростная клевета и нападки в журналах, преимущественно духовных, где выставляли его отступником православной веры.

Вселенское дело, о котором он говорил, определяло и его взгляд на идею национальную. Национализм, требующий, чтобы церковный вопрос решался не *ad maiorem Dei*, а *ad maiorem Russiae gloriam*⁴⁴ — не на религиозной и теологической почве, а на почве национального самомнения, — возмущал его... Сущность вселенского дела, которое должна была совершить Россия, Соловьев выражал словами: «Чем яснее вижу я все зло, происходящее из национализма, тем более проникаюсь великим и священным значением единой международной, или сверхнародной, Церкви».

Это были годы особых страданий Соловьева. Гонения цензуры ставили его в тяжелое материальное положение. Он был без денег, начал болеть. Нервное состояние его дошло до того, что он не мог спать от малейшего звука и по несколько ночей проводил совершенно без сна.

От Троицы, куда он уехал для занятий, он писал архимандриту Антонию, что «имеет теперь большую склонность пойти в монахи. Но пока это невозможно. Я вовсе не сторонник безусловной свободы, но полагаю, что между такою свободой и безусловной неволей должно быть нечто среднее, именно свобода, обусловленная искренним подчинением тому, что свято и законно. Эта свобода, мне кажется, не противоречит и специально монашескому обету послушания, когда дело касается всецерковных интересов. А между тем, допустят ли у нас такую свободу, не потребуют ли подчинения всему без разбора, свято ли оно и законно или нет?...»⁴⁵.

ХII

После этого периода кончилась наша совместная с Соловьевыми жизнь. Старшая из нас, Мария Сергеевна Соловьева, вышла в 1888 г. замуж за П. В. Безобразова. Меньшая, Поликсена, уехала с матерью в Петербург, Надежда Сергеевна и Анна Кузьминична оставались в Москве, Михаил, уже давно женатый, жил поблизости на Арбате и объединял вокруг себя кружок новаторской литературной молодежи. Но квартира на Пречистенке в доме Лихутина, окнами на Zubovskuyu площадь, с знакомыми извозчиками и нищими, дежурством своим у подъезда оповещавшими всех о приезде в Москву Владимира Сергеевича, словом прежнее соловьевское гнездо, перестало существовать.

Без очевидной перемены жил еще наш старый особняк, в который мы переехали со студенческих лет старших братьев, и Владимир Сергеевич по-прежнему приходил, и обедал, и жил там. Сборища наши изменили несколько свой характер — на наших «средах» было гораздо больше молодежи, ряды стариков быстро таяли.

Давно появились новые профессора — худые высокие князья Трубецкие, Николай Яковлевич Грот — маленький, живой, с высоко стоящими, темными волосами и живыми черными глазами, В. П. Преображенский⁴⁶, М. С. Карелин⁴⁷ в двойном пенсне и много еще — и врачи-психиатры; тогда только вошел в моду гипнотизм, интересовавший и психологов, и педагогов, и

философов. Все эти люди группировались вокруг нового, основанного Гротом философского журнала «Вопросы психологии и философии» и нового Психологического общества. Много было споров в кабинете и наверху, у брата, в его низенькой студенческой комнате, и на заседаниях Психологического общества, где общий смех вызвал спор брата с Соловьевым; сначала все шло хорошо, называли друг друга «почтенный референт», «мой уважаемый оппонент» и вдруг не выдержали и стали кричать при всей публике: «Я тебе говорю, а ты мне возражаешь не на то!» — «Что ты врешь!» и т. д.

В это время в Москве был особенный центр, собиравший к себе людей уже со всей России и даже, до известной степени, со всего мира, — серый деревянный дом с огромным садом, примыкавшим к психиатрической клинике на Девичьем Поле, дом графа Л. Н. Толстого в Хамовниках⁴⁸. Его «опрошение» вместе с его проповедью только входило в моду. Говорили о его комнате — сапожной мастерской, о его словах и о его «темных» — так и сам Лев Николаевич, и его домашние откровенно называли его опростившихся последователей, появлявшихся в блузах и туфлях, сидевших молча по углам на общих сборищах, смотревших мрачно и с вызывающим осуждением. Были особенно угрюмые и особенно нелюдимые, страшные на вид — с бледными лицами, заросшими желтыми лохматыми бородами; таких называли «дремучими». Не было дома в Москве, где бы не обсуждали слов и проповедей Толстого, не спорили и не бранились по поводу его. Сам Лев Николаевич в своей бекеше, с седой бородой, с жесткими и умными глазами под нависшими бровями появлялся то там, то здесь на московских улицах, площадях и бульварах, стройный, прямой, с необыкновенно легкой, молодой походкой. Мы собирались в Хамовниках на наши собственные сборища молодежи — появление в дверях Льва Николаевича нередко пугало нас. Молодежь, посещавшая Хамовники, как кратко назывался толстовский дом, была в огромном большинстве очень далека от его идей.

Соловьев бывал в Хамовниках, и мы знали, что они не раз спорили с Львом Николаевичем и не нравились друг другу. Впрочем, Соловьев относился ко всем с добротой своей крупной души.

Летом 1894 года он писал Толстому «изложение главного пункта разномыслия между мной и Вами»⁴⁹. Разногласие это, по его мнению, все сосредоточено в одном конкретном пункте — в воскресении Христа. Письмо это, представляющее исповедание воскресения Христова, было напечатано в «Вопросах психологии и философии» после смерти Соловьева.

При том поверхностном, так сказать внешнем, взгляде, какой имели мы, молодежь того времени и круга, на обоих, различие их резко бросалось в глаза.

Жизнь Толстых — зала, и лестница, и всегда шумный от говора и смеха сад хамовнического дома, и блуза Толстого с ремнем, за который он засовывал руки, и сапоги, которые тачал, и салазки, на которых привозил с бассейна воду, весь заиндевевший, в валенках, и его хмурое лицо с незабываемыми глазами, и бесконечные разговоры о том, можно ли есть мясо и жарить кофе и не безнравственно ли помогать деньгами, и откровенное кощунство, и большой чайный стол, над которым озабоченно хлопотал молодой лакей, называвший всех членов семьи «ваше сиятельство», — и бездомное скитание Соловьева, и его фигура в макферлане и длинном сюртуке, его подчеркнуто интеллигентный вид, с отросшими волосами, его подаренное ватное пальто и собственная почти нищета периодами, и болезни, и полное бесстаршие смерти, и частое причастие. Все это было слишком различно. Толстой, говорят, утверждал, что вся религиозная система Соловьева — его вера — была чисто головным построением. Не потому ли и упоминал Соловьев о его непрямоте и неискренности, сравнивая Толстого с Достоевским? Ибо трудно допустить, что Л. Н. Толстой, при его художественном гениальном понимании, мог в самом деле так не разглядеть Соловьева... С другой стороны, казалось, что Соловьеву нечему было научиться у знаменитого «учителя жизни», как называли Толстого писатели восьмидесятых годов.

ХIII

Любовь к смешному не оставляла Соловьева и среди всех тягот жизни и сильных затруднений денежных, а также частых болезней; приключившаяся болезнь глаза пугала его больше всего. Он был прав, говоря, что для него вопрос о глазах был вопросом жизни и смерти более, чем для многих. Болезнь прошла, а о докторах и их советах он рассказывал с обычным своим смехом. Уведомлял между прочим Поликсену Владимировну, умолявшую его съездить к Боткину, об этой поездке: «А я, представьте себе, вчера ездил в Финляндию к Боткину, чтобы он мне объяснил, отчего меня каждый день рвет. Он после внимательного исследования никаких настоящих болезней во мне не нашел, а одну только общую “иннервацию”, от которой, как радикальное средство, посоветовал жениться или, по его выражению, “спа-

риться” и жить спокойно. А за неудобоисполнимостью этого совета прописал пилюли»⁵⁰.

Юмористически относился он и к собственным неудачам и обычно, в связи с ними, к вопросам общеполитическим. По поводу различных событий и новостей вечно раздавался его смех.

Насколько мало подходила к Соловьеву обычная мерка для определения его политического направления, показывают его друзья, которых было множество и которые принадлежали к самым разнообразным лагерям, большею частью правым. Один из его близких друзей был Афанасий Афанасьевич Шеншин-Фет. Соловьев искренне и глубоко любил его и подолгу у них жила в деревне. Он восхищался его поэтическим творчеством, считал его поэтом, принадлежащим к числу самых первоклассных.

А. А. Шеншин бывал и у нас. С огромной библейской бородой и длинным носом, он точно сошел с какой-нибудь картины, изображающей фарисеев и саддукеев. Он давно страдал астмой и обыкновенно говорил задыхаясь, голосом хриплым, медленно, серьезно и с необыкновенным внутренним комизмом, который возбуждал общий смех, и всем казалось, что говорит он потехи ради. Сидит, бывало, и характеризует учение Толстого, с которым был лично близок. «Так ведь это что ж Лев Николаевич... ведь это вот тоже у нас был дядька, — говорил он задыхаясь, хрипло, медленно и веско. — Также все нас поучал нравственной жизни. Но результата никакого. Потому что голословно. Начнет, бывало: “Надо любить папашу, мамашу... дя-я-деньку!” — и Фет восклицал скучным голосом с сонно-притворным пафосом, в нос, и продолжал: — И в самом тоне — такая скука, что совершенно никакой любви, а кажется, что убил бы его».

Афанасий Афанасьевич был помещиком Курской губернии. Убеждения его были самые консервативные, даже совершенно ретроградные, он был вполне солидарен с тогдашними «Московскими ведомостями», и когда он рассказывал о мужиках, то смех подымался общий. Сидят, бывало, все и прислушиваются к его медлительной речи, всегда негромкой и усталой. Но иной раз кто-нибудь и попадетсЯ и начнет спорить с искренним возмущением. Тогда уже интерес поднимается общий, а Фет с тем же равнодушным видом, твердо и медленно говорит такие, на взгляд всех, возмутительные вещи, что начинается целый поединок.

Соловьева увеселяли сцены из жизни Фета в деревне, и он рассказывал о том, как толпа мужиков у его балкона долго вела с ним разговор, который закончился неожиданной угрозой Фета — застрелить их из «поганого ружья», если они не уйдут.

Мужики, расходясь, сказали Соловьеву: «Ишь, Афанасьич, старый черт, — хотел нас застрелить из поганого ружья».

А. А. Фет был близок и гр. Толстому, и С. П. Хитрову, и князю Цертелеву. В сыновней любви и нежности к нему Соловьева чувствовалось что-то лично важное для него. Любовь к поэзии Фета, которого он называл в письмах «мой истинный, антиутилитарный поэт»⁵¹, придавала их отношениям особую значительность. Соловьева возмущало отношение к Фету критики, и он говорил о чувстве «обиды и стыда за русское общество», когда ни о переводе «Фауста» Фета, ни о его «Вечерних огнях» не было отзывов. Фет и его жена — тихая, кроткая, благоразумная Марья Петровна — платили и ему заботой и большой привязанностью. Соловьев постоянно посещал их, жил в деревне и скучал за границей «по милому воробьевскому обществу».

XIV

Мы жили врозь, но все были соединены невидимыми, непрерываемыми нитями нашей дружбы. В сущности своей все наши стремления, вкусы, цели были те же. Те же почти, в своем главном, были верования.

Мы все занимались искусством. В семьях наших не было греха преувеличения наших талантов. Меньшая из нас — Сена — ездила в Школу живописи и ваяния на Мясницкой с раннего возраста. Надя смеялась над ней за эту стойкость и уверяла, что все мы будем обременены семьями и даже внуками, когда она будет по-прежнему спешить на вечерние занятия, и изображала, как она будто бы уже в восьмидесятилетнем возрасте, с трясущейся головой, будет сидеть с кисточкой перед мольбертом, а Сена слушала с досадой, но, переглянувшись со мной, хохотала и дискантом, и басом... В Петербурге она бросила правильные занятия живописью, но работала и выставляла картины; некоторые из них были куплены, одна даже лицом высокопоставленным, что возбуждало опять-таки немало всяких остроумных над ней замечаний. Вся же она отдалась литературе: писала стихи, рассказы и повести и издавала вместе со своим другом Н. И. Манасеиной журнал для детей «Тропинка»⁵². В этом журнале она хотела дать детям тот религиозный и сказочный мир, который составлял прелесть ее собственного детства. Книжка ее стихов удостоилась премии имени Пушкина⁵³. В ответ на мои радостные поздравления она писала мне: «Видит Бог, что я не радуюсь и не придаю этому значения. Одно утешает меня — Пушкин-то те-

перь уже наверное знает, что я искренне совершенно не считаю себя достойной похвалы, соединенной с его именем...» Видались мы редко, но всегда так длинные и задушевные были разговоры.

Соловьев болел, но жил той же своей страннической, мятежной, не укладывающейся ни в какие рамки жизнью. Так же радостно было его появление, так же, несмотря на часы замкнутого молчания, находившие на него, всюду вносил он с собой блеск своего остроумия, оживление и смех. Везде он был желанным гостем, и все его знавшие старались получше устроить его, облегчить ему тяготы жизни. И было в этом как бы что-то схожее с приемом странников, монахов из святых мест далекого прошлого.

Письма к брату и к общим друзьям — Трубецким, Гроту и другим — читались вслух. Очень часто, впрочем, их не показывали, и брат мой говорил мне иной раз: «Принеси мне, пожалуйста, это письмо. Только не читай его. Там стихотворение черт знает какое». Эта черта — любовь чистых людей к циничным глупостям — была в нем особенно забавна. Среди своих забот и страданий его как бы неудержимо влекло к смешному, ко всякому вздору. Чувствуя какую-то навязчивую потребность в каламбурах, он переделывал имя брата из Льва в Тигра Михайловича — приходила Поликсена Владимировна с письмом, где он с беспокойством спрашивал мать: «Об Левушке нет ни слуху ни духу. Я ему писал, но так как на адресе поставил: Крокодилу Михайловичу, в потом, зачеркнувши: Евфрату Михайловичу, то, может быть, это письмо и не дошло»⁵⁴. Забавляло его почему-то слово «неврит», которым он страдал, по определению докторов, и он то и дело острил и каламбурил на его счет. «Кому, как мне, доктора говорят о неврите (о, не врите)...» и так далее. Мы все очень любили его, как он сам их называл, шутовские стихи, поэмы и пьесы: монолог волка из мистерии «Белая лилия», «Рыцарь Ральф», «Пророк» («Угнетаемый насилем черни дикой и тупой...»), странное, бредовое «Видение» — «Таинственный пономарь» — все это запоминалось нами наизусть. Сена рисовала длинного рыцаря Ральфа с зонтиком, а брат мой Лев особенно хорошо и выразительно читал. Но и сам Соловьев произносил такие стихи серьезно, с некоторым таинственным пафосом. До сих пор как бы слышен его голос всякому, кто при этом присутствовал, когда вспоминаешь, особенно, его Пономаря:

Я женщина без разума и воли,
А враг силен...
Граф Адальберт уж не вернется боле.
— Верну-улся он! —

завывал он свирепо и таинственно.

Он беззаконной отомстит супруге.
Долой стихарь!
Пред нею рыцарь в шлеме и кольчуге —
Не пономарь⁵⁵.

Говорят, будто в «Пономаре» он намекал на собственную свою участь, на свой главный роман. И в то же время глубокая грусть и упорная, непобедимая, неустраняемая мысль в глазах среди общего смеха и говора и внезапно долгое молчание — точно вдруг среди людей и смеха ушел куда-то.

Сидит и принимает участие в общем разговоре. Разговор отвлеченный — о добре и зле, о насилии и чувстве возмущения.

— Я ничего не хочу злого, — говорит он вдруг, — я хочу только, чтобы Победоносцев не мешал мне печатать моих книг.

Мысль эта не давала ему покоя...

По поводу его замкнутой сосредоточенности, какого-то странного отсутствия брат говорил с любящею улыбкой, но не объясняя, что с Володей бывает что-то странное: он вдруг (иногда за обедом) замолкает и сосредоточивается, берет кусок белого хлеба и красное вино и пьет с благоговейным и странным выражением.

В 1897 году скончался старший из трех беспокойных друзей, которые разгуливали по Покровскому с тросточками и производили беспорядок, — мой брат Николай. Соловьев написал моему отцу: «Со смертью Николы у меня как бы оторвался кусочек моей собственной души. Я недавно видел вас во сне обоих (родителей) и долго-долго говорил с вами».

Ему и давно умершему А. А. Соколову Соловьев посвятил «Три разговора» — лучшее, что он написал, по собственной его оценке.

В последние годы, в силу разных обстоятельств, я мало видела Соловьева — жизнь тогда особенно сильно захватила меня. Вдобавок я заболела и едва поправилась ко дню его смерти.

К больной он приходил ко мне, сидел тихо, много молчал. Один раз сказал, имея в виду нервный характер болезни:

— Когда захочешь очень, тогда и выздоровеешь.

Я понимала истинность его слов, но не могла и не хотела объяснить ему, что у меня вообще не было ни к чему никакой охоты. Сидя у меня, он попросил дать ему листок бумаги и написал в мою неначатую кожаную тетрадку:

У себя

Дождались меня белые ночи
Над простором густых остров.

Снова смотрят знакомые очи
И мелькает бывшее без слов.

В царство времени все я не верю,
Силу сердца еще берегу.
Роковую не скрою потерю,
Но сказать «навсегда» — не могу.

При мерцании долгим заката,
Пред минутной деремотою дня,
Что погиб его свет без возврата —
В эту ночь не уверишь меня.

Потому ли, что были обострены все восприятия, или на нем самом уже лежала печать конца, но стихотворение это возбуждало во мне мучительную тоску. Без слез я почти не могла его читать.

Зато совсем почувствовалось веяние того, что подходило к нему, когда появились его последние стихи:

Вновь белые колокольчики

В грозные, знойные
Летние дни —
Белые, стройные
Те же они.

Призраки вешние
Пусть сожжены. —
Здесь вы, нездешние,
Верные сны.

Зло пережитое
Тонет в крови, —
Всходит омытое
Солнце любви.

Замыслы смелые
В сердце больном, —
Ангелы белые
Встали кругом.

Стройно-воздушные
Те же они —
В знойные, душевные,
Тяжкие дни.

Почему-то казалось, что ему уже тяжело дышать, что он все сказал и никогда ничего больше и не скажет здесь.

Он в это время был уже болен.

XV

Смерть Соловьева была при обстоятельствах, до чрезвычайности характерных для всей его жизни, как бы совершенно последовательным завершением этой жизни.

В июле 1900 года Владимир Сергеевич, продолжавший свои скитания, поехал к князю С. Н. Трубецкому, который жил это лето в имении своего брата, московского предводителя дворянства П. Н. Трубецкого, в его отсутствие в село Узкое, за Калужской заставой. Ехать надо было на лошадях, железной дороги туда не было. Дорогой на извозчике он чувствовал себя так дурно, что хотел вернуться назад, но, по собственному рассказу, подумал, что, может быть, он умрет, и решил: уж если умирать, так, конечно, у Трубецких, у княгини Прасковьи Владимировны... И поехал дальше. Ему было так нехорошо, что он слег сейчас же; положили его в кабинете на диване. Там он и скончался, проболев недели три. Положение его было признано сразу таким грозным, что съехались все Соловьевы и жили у Трубецких в Узком.

Я проводила лето, еще больная, с родителями в старинном подмосковном имении князя Щербатова — Братцево. Сена не раз приезжала ко мне.

Брат мой и любимый брат Владимира Сергеевича Михаил были за границей.

От диагноза врачей создавалось впечатление, что Соловьев умер «от старости» — в сорок семь лет своей необыкновенной, высокой и чистой жизни. Он все время был в памяти. Утром того дня, как потерял сознание, причастился у местного священника.

В письме этого священника, напечатанном в 1910 году в «Московских ведомостях»⁵⁶ вследствие споров о том, был ли Соловьев тайным католиком, говорится, что Владимир Сергеевич исповедовался с «истинно христианским смирением», исповедь продолжалась не менее получаса. Он, между прочим, сказал, что не был на исповеди уже года три, так как, исповедовавшись в последний раз, поспорил с духовником по догматическому вопросу и не был допущен им до св. причастия. А по какому, не сказал. Только прибавил: «Священник был прав, а поспорил я с ним единственно по горячности и гордости; после этого мы переписывались с ним по этому вопросу, но я не хотел уступить, хотя и хорошо сознавал свою неправоту; теперь я вполне сознаю свое заблуждение и чистосердечно каюсь в нем». Священник спросил, не припомнит ли он еще каких-нибудь грехов. «Я подумаю и постараюсь припомнить», — сказал Соловьев. Священник предло-

жил ему подумать и стал собираться идти служить литургию, но он его остановил и просил прочесть ему разрешительную молитву, так как боялся впасть в беспамятство. Священник исполнил его желание и пошел в церковь служить обедню, откуда вернулся с «обеденными» св. дарами. На вопрос, не припомнил ли он за собой еще какого-нибудь греха, он отвечал: «Нет, батюшка, я молился о своих грехах и просил у Бога прощения в них, но нового ничего не припомнил».

В этот же день Соловьев впал в беспамятство и до самой кончины не приходил в себя.

Перед смертью он бредил и в бреду между прочим молился за несчастный еврейский народ. Скончался тихо, окруженный семьей.

Уже в самое последнее время мне довелось слышать от знаменитого католического проповедника, автора книги о Соловьеве, что, по имеющимся у них документальным сведениям, Соловьев присоединился к католицизму тайно и причащался у католического священника Н. Толстого⁵⁷. Побуждением к этому было то, что Соловьев будто бы был тоже тайно отлучен синодом от причастия, что лишение причастия очень угнетало его.

От настоятеля каннской церкви, протоиерея отца Г. Остроумова, который виделся с Соловьевым в последнюю его поездку за границу, незадолго до его кончины, я слышала, что они много говорили о католицизме и взгляде Соловьева на папскую власть и Соловьев сказал такую фразу: «Да, я осознал теперь, что много в этом отношении увлекался».

Сопоставляя, однако, с этим все, что говорил сам Соловьев по поводу соединения церквей, не следует ли прийти к заключению, что вопрос о том, причащался ли Соловьев по «униатскому обряду»⁵⁸ или нет, меняет мало сущность пламенной веры, с которой он прошел всю жизнь, и его принадлежность к вселенскому христианству, которому он служил?

Мне пришлось ехать с князем С. Н. Трубецким в Девичий монастырь, где похоронен был Сергей Михайлович Соловьев и мой брат, друг детства Володи, — нам поручили заказать ему могилу. Дорогой Трубецкой просто и грубо бранил даму, покоровшую сердце Соловьева так неожиданно и быстро на маскараде.

— Ведь сколько это сил подорвало в нем, — мрачно говорил Трубецкой, сам усталый и бледный, все сокрушаясь о его судьбе. Потом он вдруг спросил меня: — А вы знаете, что Поликсена Владимировна говорила ему о вас: «Ведь вот женился бы на порядочной девушке, то ли дело, — и жил бы спокойно». А он от-

вечал: «Ах мама, ну как я могу на ней жениться, когда она у меня почти на коленях родилась!..»

— Знаю, — отвечала я и опять как бы ясно слышала звук его смеха.

Он так и написал мне на книжке стихов, которую подарил: «Родившейся у меня на коленях».

Соловьева отпевали в университетской церкви, и там я в последний раз увидела его. Бледное лицо его с непривычно, совсем коротко стриженными волосами, еще бледнее и чище и строже, чем при жизни, напоминало прекрасную византийскую икону. Было лето, народу собралось гораздо меньше, чем было бы в другое время, не было, кажется, речей — они тяжело нарушили бы строгий характер его простых похорон. Уже когда мы шли за гробом по Пречистенке к Девичьему монастырю, я очутилась рядом с женщиной, высокой, очень худой, изможденной, и узнала Е. И. Поливанову.

Я вдруг спросила ее:

— Помните: «В былые годы любви невзгоды...»

Она улыбнулась и ответила быстро:

— Нет, нет, не говорите мне... Я сейчас заплачу...

Были еще какие-то очень странные, по простой терминологии, «чудные» женщины, странно одетые, профессора, Трубецкие, Гольцев, студенты... Были нищие и знакомый нищий в дворянской фуражке, с бакенбардами и красным носом... Извозчики снимали на козлах шапки и крестились.

Похоронен Владимир Сергеевич Соловьев около отца. На деревянном кресте его долго висели: православная икона, перламутровый образ из Иерусалима и шитое шелками католическое изображение Ченстоховской Божьей Матери, которую он почитал особенно, с надписью по-латыни. На памятнике, который поставила Надя, сестра его Поликсена захотела непременно, чтобы была надпись: «Ей, гряди, Господи!»

Все Соловьевы ушли.

Первый после Владимира, Михаил, умер при обстоятельствах необычайных; его жена застрелилась в ту минуту, когда доктора подтвердили его смерть.

Грустнее всех, казалось, была судьба Марии Сергеевны Безобразовой. Когда большевизм окончательно разметал нас, старшая ее девочка, заболевшая психически, умерла. Муж — тоже, а она с двумя младшими дочерьми пропала без вести. Был слух, что и она умерла.

С Поликсеной мы давно встречались редко. Последние годы она жила на юге, в Феодосии, там переживала большевизм, го-

лод, нищету и болезнь без помощи и нужных лекарств. Уже из Москвы, из больницы, она прислала мне последние свои стихи, в письме нашего общего друга. В этом стихотворении передана вся безмерная тоска по лесу, по его прелой, темной и душистой свежести. Лес она любила всегда особенно, больше всего. Я всегда вспоминала наше детство, как мы, перейдя огромный ров, вошли с ней около Мытищ в вековой еловый бор — Лосиный Остров, в его грозную, холодную в жаркий день темноту, резко пахнувшую хвоей, и как она остановилась, очарованная.

Есть люди, за которых не страшно, когда их провожаешь к могиле. Таковы были они — Соловьевы. Это особенно странно и трогательно в людях, страстно любивших жизнь, землю, ее прелесть. Пламенной любовью, духом Христа и непоколебимой верой в вечность горели их сердца.

И, может быть, на кресте каждого из них следовало бы написать великие слова, написанные на кресте Владимира Соловьева: «Ей, гряди, Господи!»





И. И. ПОПОВ

Из книги «Минувшее и пережитое. Воспоминания»

<...> В церковь Св. Духа, где отпевали Достоевского, попасть было невозможно. У могилы также были: памятники, деревья, каменная ограда, отделяющая старое кладбище, все было усеяно пришедшими отдать последний долг писателю. Григорович просил студентов очистить путь к могиле и место около нее. Мы с трудом это сделали и выстроили венки и хоругви шпалерами по обеим сторонам прохода. Служба и отпевание продолжались очень долго. В церкви было сказано несколько речей. Многочисленное духовенство, александровские певчие и монахи проследовали к могиле, куда нам пробраться было уже невозможно. Речей я не слышал, но, взобравшись на дерево, видел ораторов. Впечатление осталось от апостольской фигуры Вл. С. Соловьева, от его падавших на лоб кудрей. Говорил он с большим пафосом и экспрессией. Разошлись от могилы, когда уже были зажжены фонари. Навстречу нам попадались группы людей, которые после службы шли отдать последний долг писателю. Литературные поминки по Достоевскому продолжались вплоть до 1 марта, которое оборвало эти воспоминания о нем.

Через два месяца после похорон Федора Михайловича мне пришлось снова встретиться с Вл. С. Соловьевым, также при исключительных условиях.

С 1880 года Соловьев читал лекции по курсу философии в Петербургском университете и на Высших женских бестужевских курсах. Его лекции не имели особенного влияния на радикально настроенную молодежь. Правда, вступительная лекция в университете произвела на всех большое впечатление, но потом к нему охладели и считали его слишком мистически настроенным. Зато публичные лекции в Соляном Городке и в других

залах пользовались большим успехом и охотно посещались публикой. В этих лекциях Соловьев затрагивал и современные темы и давал событиям приемлемое для нас освещение. Одна из таких лекций, прочитанная им в конце марта в зале Кредитного общества, около Александринского театра, произвела в Петербурге потрясающее впечатление. За неделю или за две до этой лекции И. С. Аксаков прочел лекцию, в которой обрисовал идеал царя, как его понимает народ. Царь, по представлению народа, носитель народных идеалов, воплощение всего хорошего и светлого, что есть в народе, вождь и водитель этого народа. О лекции много говорили, много спорили.

Процесс первоапрельцев подходил к концу. А. И. Желябов, С. Л. Перовская, Н. И. Кибальчич, Н. И. Рысаков, Т. Михайлов и Г. М. Гельдман уже переживали часы приговоренных к смерти, хотя приговор еще не был вынесен. В обществе была уверенность, что смертная казнь будет заменена каторжными работами. 18 марта суд удалился в совещательную комнату.

Этот момент совпал с лекцией Соловьева. Лекция привлекла массу публики, среди которой было много учащихся. В обществе ходили смутные слухи, что на этой лекции может что-то произойти.

Лекция была на философские темы¹ — точно не помню, на какие. Соловьев был встречен аплодисментами. Первая половина лекции была строго научная и не касалась современных тем. Лектор был даже несколько вял. Но во второй половине Соловьев осветил религиозные миросозерцания русского народа, в основе которых лежит бесконечное милосердие. Он сослался на лекцию И. С. Аксакова, принял его толкование об идеале царя. Местами лектор доходил до высокого пафоса, особенно там, где он доказывал, что истинная народная религия не терпит никакого насилия. Эти принципы должна проводить в жизнь и власть как представитель православного народа. Соловьев, насколько я помню, говоря о власти, упомянул о царе; между царем и народом должна быть полная гармония религиозных принципов, исключающих всякое насилие, иначе царь не может быть представителем народа, не может быть водителем христианского народа. Насилием нельзя насадить правду на земле. Аудитория застыла.

— В настоящее время над шестью цареубийцами висит смертный приговор. Общество и народ верят, что этот приговор не будет приведен в исполнение. Это так и должно быть. Царь как представитель народа, исповедующего религию милосердия, может и должен их помиловать.

Соловьев сошел с кафедры. В зале наступила тишина. Все как бы окаменели. Не было даже аплодисментов. Все чего-то ждали...

На кафедру вышел не то чиновник, не то офицер и обратился к Соловьеву приблизительно со следующими словами:

— Профессор, как нужно понимать ваши слова о помиловании преступников? Это только принципиальный вывод из вашего понимания идеи царя и толкования народного мирозерцания или это есть реальные требования? Как вы вообще относитесь к смертной казни?

Соловьев вернулся на кафедру.

— Я сказал то, что сказал. Как представитель православного народа, не приемлющего казни, потому что народ исповедует религию милосердия и всепрощения и верит в животворящего Христа, заветавшего нам прощать врагов, царь должен помиловать убивших его отца. В христианском государстве не должно быть смертной казни.

В зале произошло что-то неописуемое. Тут уже были не аплодисменты, а всех охватил порыв восторга. К лектору тянулись сотни рук... У многих на глазах были слезы, а некоторые плакали. Соловьев с трудом вышел из залы; пытались вынести его на руках.

Явилась уверенность, что требование-пожелание Соловьева будет удовлетворено. Но более спокойные и неувлекающиеся среди публики здесь же, в зале, говорили, что царь не помилует первомартовцев, Соловьева же выпшлют. Соловьева не выслали, но он вынужден был уйти из университета. <...> В день казни многие из нас не находили себе места.





А. А. САЛТЫКОВ

Белые колокольчики

(Воспоминания о Владимире Соловьеве)

Впервые я встретил его, когда был десятилетним мальчиком, а он — молодым профессором, уже закончившим, впрочем, свою профессию после известной речи в пользу помилования убийц 1 марта.

Это было в начале восьмидесятых годов, в Москве, в Пименовском переулке, у графини Софии Андреевны Толстой (вдовы поэта А. К. Толстого), в обширном барском особняке Мансуровых. Графиня, жившая обычно в Петербурге, проводила эту зиму в Москве.

Я уже знал, что Вл. Соловьев — «философ», не совсем, конечно, понимая значение этого слова. Но впечатление он произвел на меня самое глубокое. Поражала и его наружность: он и тогда уж напоминал чем-то «ветхозаветного пророка» — в юности. С тех пор мы встречались с Влад. Соловьевым много раз; иногда я видел его часто, по несколько раз в неделю; иногда — с перерывом на годы. И так почти до самой его смерти. Но первое впечатление осталось незабвенным.

Есть у Соловьева стихотворение «Белые колокольчики». Как и другое в том же роде — «Белые ангелы», — светится оно неярким, как бы отраженным, но отличимым сразу, «нездешним» светом. Между тем образ «белых колокольчиков» — здешний: цветы старого парка гр. Толстого в усадьбе под Петербургом — Пустыньке. На низменной и безнадежно унылой равнине есть уголки неожиданной прелести. Пустынька, расположенная на крутом и высоком обрыве над рекой Тосной, — один из таких уголков. Эту усадьбу постоянно посещал Соловьев; за двадцать пять лет немало в ней провел он недель, даже месяцев. Там и я встречался с ним часто.

Помню напускное равнодушие (в нем скрывалась, может быть, стыдливо-суровая замкнутость юности), с каким я выслушивал многие слова его, уже и тогда меня поражавшие. Помню, эта замкнутость порою сообщалась и ему и он вдруг умолкал — не то что обижаясь, а как бы собираясь обидеться: это было странно и почти забавно при большой разнице наших лет и положений.

Будучи в Пустыньке в то самое время, когда он кончал «Три разговора», я однажды сказал ему, что в них есть что-то, напоминающее Платона.

— Странно, что вы это заметили, — удивился он. — Я как раз в последнее время много занимался Платоном.

И потом добавил со своим обычным, внезапным, как будто холодным и напряженным, а на самом деле тоже стыдливо-замкнутым, юношеским смехом:

— Ну что ж, очень рад, что напоминаю Платона.

Там же, в Пустыньке, говорил он мне о белых колокольчиках на обрыве:

— Нигде я таких не видывал. Под Москвой они бледно-лиловые, в других местах темно-фиолетовые, а такие, совершенно белые, только здесь, в Пустыньке...

Мне ничего не известно о личных отношениях Влад. Соловьева с Алексеем К. Толстым, но знаю, что после смерти Толстого (в конце семидесятых годов) Влад. Серг. был постоянным гостем его вдовы.

Дом Толстых пользовался известностью в тогдашнем Петербурге. Благодаря личной дружбе поэта с Александром II светское общество встречалось в салоне Толстых с писательским миром. В то время «салон» этот был центром умственной жизни. Его дух, смолоду обвеявший Соловьева, сказывался в нем и впоследствии. Упоминаю об этом, потому что нити, идущие от Ал. Толстого к Соловьеву, обычно пренебрегаются биографами философа. Конечно, Ал. Толстой не был философом; но он был человеком глубокой мысли, вернее — глубокой задумчивости, с жадным влечением к «мистике». И если даже этот «дух» Ал. Толстого не был источником мистики соловьевской, то все же она питалась им: «Белые ангелы» Соловьева выросли из «белых колокольчиков» Пустыньки.

Есть в Соловьеве и другие черты, связывающие его с Ал. Толстым, этим «анти-московцем», «киевлянином», поборником связи России с Западом, певцом западного начала в русской стихии. И Соловьев — пусть кое-что сближало его со славянофилами —

никогда не был «восточником»: он жил и умер «западником» (не в чисто русском, а в общеевропейском смысле).

И еще одно влияние Пустыньки на Соловьева: оно идет от Козьмы Пруткова. Что такое Козьма Прутков? Собирательное творчество четырех лиц? Нет; в том, что делает Пруткова таким вечным и живым лицом, он — создание Ал. Толстого. Сущность Пруткова понята слишком односторонне и узко. Это не только в «перл создания» возведенная пошлость, но и нечто более глубокое: это превратная «мистика» пошлости. Начал ее понимать и с ней бороться Ал. Толстой, продолжил и углубил борьбу Соловьев, но уже не в книгах, а в жизни (только в «Трех разговорах», этом соловьевском «Апокалипсисе», звучит внезапным и почти невыносимым диссонансом — «скрежетом ножа по стеклу» в небесной музыке сфер — прутковско-толстовский смех: «Камергер Деларю»). Но эта борьба с «мистикой пошлости» происходит у Соловьева на такой глубине и, может быть, так бессознательно, что если б я не знал его лично, не слышал тогда и не помнил сейчас его загадочно-странного, почти жуткого смеха (тоже «скрежет ножа по стеклу в небесной музыке сфер»), то ничего не знал бы и об этой скрытой борьбе или ничего бы в ней не понял.

Да и вообще Соловьев в чем-то личном, неповторимо единственном, странно и жутко сходствует с Ал. Толстым, точно с двойником своим «нездешним».

Однажды Соловьев читал в моем присутствии у С. Хитрово неизданные письма Ал. Толстого. Было много народу; чтение продолжалось весь вечер. И вот помню мое впечатление: кто читал письма и кто писал их — одно лицо.

В доме Хитрово, где как бы продолжался «салон» Толстых, я и встречался чаще всего с Соловьевым, который был там постоянным гостем.

Соловьев вполне вошел в это общество. Может быть, оно притягивало его известной простотой, терпимостью, отсутствием сектантства и кружковщины, а может быть, еще созвучием с тем, что в самом Соловьеве могло казаться — и действительно было — «аристократизмом».

От своего происхождения Соловьев отнюдь не отрекался, напротив: внук священника — он этим гордился. Но «светскость» в нем была. Порою он, как будто нарочно, подчеркивал ее смешные стороны, часами предаваясь салонному остроумию и каламбурам (например, насчет созвучия *soncours hiprique* и *soncours érique*¹). Не чуждался он и скабрезного анекдота. И чем неудачнее была его собственная или чужая острота, тем он искреннее

ей радовался. Он как будто «отдыхал» на этих пустяках; комичное же вообще было ему присуще.

Помимо всякой внешней «светскости», в Соловьеве жил и подлинный джентльмен. Помню, какой-то юноша, задумав написать комедию, поместил в списке действующих лиц с их характеристиками и Соловьева (под вымышленной, конечно, фамилией).

Характеристику дал грубую, но злую и остроумную. Как водится, это дошло до Соловьева. Он был, кажется, обижен. Однако, встретив автора, сказал добродушно:

— Знаете, смеяться над кем угодно — право каждого. И я осмеивал своих друзей. Но делать это надо при одном условии: им первым показывать шутку. Так я всегда поступал. О вашем же пасквиле я узнал со стороны: нехорошо!

Был у Горбунова рассказ: из петербургского поезда выходят на станции Любань два молодых типичных «интеллигента»; в буфете они видят спящего за тарелкой щей Соловьева. «Смотри! — говорит один. — Это Соловьев. Философ — а тоже ест!»

Да, Соловьев ел и даже, при умеренности в пище, отнюдь не относился к ней с пренебрежением. Любил и вино, особенно шампанское. Почти всегда у него можно было найти полбутылки «Клико-England». Даже за завтраком в любимом его «Малоярославце» он, случалось, предлагал:

— А что, не выпить ли нам шампанского?

Признание прав и за «плотью» соответствовало его религиозным взглядам. Соловьевское христианство — религия не только бессмертного духа, но и бессмертной плоти. Он любил жизнь; он был религиозным исповедником жизни; и даже мелочами ее интересовался, будучи менее всего «ходячей абстракцией».

В толках о «праведности» Соловьева много непонимания. Сам он насчет «праведности» не любил высказываться. В нем вообще было немало затаенного, что могло пониматься надвое. Вероятно, был он, как все живые люди: то грешным, то праведным. Главная же сила его и действительная «праведность» — это врожденная любовь к добру и ненависть ко злу: сила, какой обладают немногие.

Соловьева можно назвать «вечным странником», и в смысле не только внешней перемены мест, но и внутренней. С легкостью, даже с радостью переходил он от догматического богословия к лирике, от философии к срочной журнальной работе (которой существовал) — так же как из уединенной своей квартиры переносился он в многолюдные великосветские салоны. И, по-

очередно изменяя своим склонностям и «жребиям», он оставался верен им всем. Здесь, кажется, раскрывается еще одна черта Соловьева, его подлинной сущности.

Он был нежным сыном, братом, добрым другом. Но вряд ли я ошибусь, если скажу, что любили его более, чем любил он сам. Был в нем какой-то «холодок». Было и то, что могло казаться «фальшью» в отношениях его к женщинам и друзьям, но фальшью, конечно, не было. Я думаю, эти черты, кое-кого от него отталкивавшие, объясняются некоторою отрешенностью от обычных житейских измерений, или особого рода ясновидением. Он очень любил жизнь; в несовершенстве жизни он видел скрытую высшую правду ее, но видел также и мнимость внешних красот жизни. Это-то ясновидение и охлаждало его чувства. Но без него, без «вечной верности в вечных изменах», не было бы и Соловьева с его обаянием живой человеческой личности.

В ней, в живой личности, и заключалась главная сила Соловьева. Он не вмещается в свои книги, как они ни глубоки. Много из его «прозрений» в них не вошло. Да и в жизни любил он молчать. Этот блестящий собеседник, говорун вдруг среди оживленнейшего спора — умолкал. Или вместо ответа раздражался беспричинным внезапным смехом, таким пронзительным, ни на что не похожим, что одним становилось жутко, а другим — вероятно немногим — открывалось вдруг в здешнем, знакомом лице его иное, далекое, чуждое... и вместе с тем влекущее к себе. Не то ли самое, что светится и в «Белых ангелах» — в «Белых колокольчиках»?





А. М. РЕМИЗОВ

Философская натура

Владимир Соловьев — жених

Что роком суждено, того не отражу я
Бессильной детской волею своей,
Пройти я должен путь земной, тоскуя
По вечном небе родины моей...

Так начинаются стихи Владимира Соловьева, посвященные его бывшей невесте, Екатерине Владимировне Романовой, в последнее свидание перед ее замужеством; стихи написаны ей в альбом на первой странице 31 января 1878 г. *.

Уже три года, как она ему отказала; она давно его разлюбила... да она по-настоящему любить его никогда не могла, она ему была всегда благодарна: его умные письма доставляли ей «счастье».

Свободолюбивая; детство ей выпало трудное; рано она поняла подлый изворот человеческой жизни; в душе ее, по определению Соловьева, была «божественная искра», и она отказалась от той обыкновенной дороги, по которой идут, как заведено и принято, под знаком «человек есть скот». Она потеряла «детскую» слепую веру, а «сознательной» еще не было, ее тянуло к «реальным» наукам: она мечтает уехать учиться в Петербург или в Москву; единственный, кто ее в этом поддерживал, был ее двоюродный брат — Владимир Соловьев; но отец и мать его были против; они боялись их сближения: одна порода; Поликсена Владимировна Соловьева, урожденная Романова, — сестра отца Екатерины Владимировны; Вл. С. — в мать, Ек. Вл. — в отца.

* Приведенное далее в тексте полностью стихотворение Владимира Соловьева, появляющееся в печати впервые, предоставлено Екатериной Владимировной Селевиной, урожденной Романовой, двоюродной сестрой Вл. Соловьева (*примеч. редакции «Современных записок»*).

Если бы она встретила тогда со Слепцовым — ей шестнадцать лет, — она была бы в Знаменской коммуне¹, если бы встретила с Брешковской², — она пошла бы «в народ».

Теперь ей двадцать три; два года она провела за границей, в Швейцарии, потом Париж, вернулась в Россию — война, поступила сестрой милосердия и собирается на фронт. На нее обратил внимание Александр II*. А кончится война — и очертя голову, без любви, только из жалости (жених из-за нее стрелялся), замужество: как бы исполняя давний завет Вл. Соловьева:

«Твой отказ кн. Дадиани меня очень опечалил... Мне очень жаль, если ты веришь скверной басне, выдуманной скверными писателями скверных романов в наш скверный век, — басне о какой-то особенной, сверхъестественной любви, без чего будто бы непозволительно и вступить в законный брак, тогда как, напротив, настоящий брак должен быть не средством к наслаждению или счастью, а подвигом и самопожертвованием. А что тебе якобы не нравится семейная жизнь, — то разве нужно делать только то, что тебе нравится или что ты любишь?» (Письмо 31 XII 1872 с припиской от 1 I 1873: «Если в этом письме, дорогая моя, тебя что-нибудь оскорбит, то ты простишь меня, потому что знаешь, что я люблю тебя даже больше чем нужно. Прошу тебя, пиши мне поскорее: меня очень интересует дело с предложением, и, помимо того, ты должна знать, что каждая твоя строчка для меня в сорок тысяч раз дороже всей писаной и печатной бумаги в мире»).

С этого и началась любовная переписка**.

* По воспоминаниям Е. М. Лопатиной (К. Ельцовой) («Современные записки». 1926. Кн. XXVIII), Александр II взял Ек. Вл. Романову за подбородок. Было это или не было, Ек. Вл. отрицает: государь ухаживал за ней, но не трогал; а что, оттираемая другими сестрами, она однажды схватила государя за «фалду», это было.

** В «Русской мысли» (1910. Кн. V) М. Б. (Марья Сергеевна Безобразова, сестра Вл. Соловьева) напечатала «Юношеские письма Владимира Соловьева» (1871—1873); 28 писем к Екатерине Владимировне Романовой (по мужу Селевиной). Вл. С. Соловьев (1853—1900) — ему было 18—20 лет; Ек. Вл. (1855 — живет в Париже) — 16—18 лет. Любовная переписка с 6 VII 1873—8 X 1873 — пять месяцев. Подлинники, переплетенные в черную тетрадь, хранятся в Киеве; среди них есть ненапечатанные.

К. В. Мочульский в книге «Владимир Соловьев, жизнь и учение» (Париж: ИМКА-Пресс, 1936) пользовался этими письмами; все, что касается взглядов Вл. Соловьева, его «мыслей», передано им с большой точностью, но в делах житейских (С. 25, 26) не совсем.

Она помнит, это письмо ее тогда совсем запутало, и на ее «выведи меня из этого состояния» он ответил:

«Отвечаю тебе прямо: я люблю тебя, насколько способен любить; но я принадлежу не себе, а тому делу, которому буду служить и которое не имеет ничего общего с личными чувствами, с интересами и целями личной жизни. Я не могу отдать тебе себя всего, а предложить меньше считаю недостойным» (6 VII 1873).

Наконец исполнилось ее желание: она в Петербурге, она помнит, перед ней — цель жизни: «народная школа» (ведь и «несколько человек, освобожденных от того страшного невежества, в котором находится весь русский народ, много значит, когда есть так мало выведенных из этой ужасной темноты»); и как возмутило ее «Преступление и наказание», не могла дочитать; и как она ждала его: придет и все разъяснит; только что это значит: «Насколько способен любить»? «Не могу отдать себя всего»?

«Печально, дорогая Катя, что даже при одинаковой взаимной любви мы не совсем понимаем друг друга. В этом, впрочем, виноват больше я сам: как бы то ни было, постараюсь говорить яснее. Я думаю, ты не можешь сомневаться в моей любви: я даже не умел хорошо скрывать ее до сих пор; теперь же ты даешь мне возможность говорить открыто: я люблю тебя, как только могу любить человеческое существо, а может быть, и сильнее, чем должен. Для большинства людей этим кончается все дело; любовь и то, что за нею должно следовать: семейное счастье — составляет главный интерес их жизни. Но я имею совершенно другую задачу, которая с каждым днем становится для меня все яснее, определеннее и строже. Ее посильному исполнению посвящу я свою жизнь. Поэтому личные и семейные отношения всегда будут занимать второстепенное место в моем существовании. Это-то только я и хотел сказать, когда написал, что не могу отдать тебе себя всего. но это, как я заключаю из твоего письма, не может изменить твоих чувств ко мне. С моей же стороны, хотя та задача, о которой я говорю, такого рода, что не может быть ни с кем разделена, но, конечно, участие любимой женщины должно поддерживать и укреплять силы в тех тяжелых ударах и жизненной борьбе, с которыми необходимо связано разрешение всякой серьезной задачи. Эта помощь незаменимая, и, конечно, только от тебя могу я ее принять. Но ты знаешь, моя дорогая, что не от нас и не от нашей любви зависят наши отношения* (хотя мне несколько затруднительно писать об этом так прямо, но я должен прибавить, что разумею единственно только то со-

* Родители Соловьева не соглашались на брак из-за близкого родства.

единение, которое освящается законом и Церковью: ни о каких других отношениях между нами не может быть и речи). Устранить эти препятствия очень трудно, но возможно. Во всяком случае, нужно употребить все средства. Пока я предлагаю следующее: мы подождем три года, в течение которых ты будешь заниматься своим внутренним воспитанием, а я буду работать над заложением первоначального основания для будущего осуществления моей главной задачи, а также постараюсь достигнуть определенного общественного положения, которое бы мог тебе предложить. Если ты согласна, то об этом еще поговорим при свидании. Много бы хотел сказать тебе, но слова немые и пошлы» (10 XI 1873).

И еще она помнит: тогда же — Петербург — вот и лето прошло, так он и не приехал («поговорим при свидании»!), а скоро зима; «большая перемена произошла за последнее время», она уже не та, она его не ждет...

«Во-первых, пишу “Историю религиозного сознания в древнем мире” (начало уже печатается в журнале). Цель этого труда — объяснение древних религий, необходимое потому, что без него невозможно полное понимание всемирной истории вообще, и христианства в особенности. Во-вторых, продолжаю заниматься немцами и пишу статью (также для журнала) о современном кризисе западной философии, которая потом войдет в мою магистерскую диссертацию; конспект этой последней уже мною написан. В-третьих, читаю греческих и латинских богословов древней церкви. Их изучение также необходимо для полного понимания христианства. Все это только начальные, подготовительные занятия, настоящее дело еще впереди. Без этого дела, без этой великой задачи мне незачем было бы и жить, без него я бы не смел и любить тебя. Я не имел бы никакого права на тебя, если бы не был вполне уверен, что могу дать тебе то, чего другие дать не могут. Ты видела и всегда можешь видеть у ног своих множество людей, которые имеют надо мной все внешние преимущества. Пока, в настоящем, я ничто...»

Есть два начала света и цвета жизни: любовь и любва — любить и любиться. «Разожженный уголек» в крови и белый, самый жаркий и пронзительный свет... но кровь и есть дух. Самые знойные песни сложила любва; самые высокие помыслы от белого пронзительного света. И преступления до ножа как от любви, так и в любви. И у любви и у любви нет половинок: все или ничего.

«Философская натура» на тонких ногах — Владимир Соловьев, не Рогожин, не Свидригайлов — не Достоевский. В его «недоношенной» натуре белый жаркий свет, не «уголек». Никакой знойной песни Лермонтова, или Некрасова, или Блока не может быть в стихах Соловьева, но мысли его семянные, и видения его жарки.

Вот она с длинными глазами сверкающей панночки «Вия» — маленький красный рот, а это, как у Полины в «Игроке», следок ноги узкий и длинный — мучительный.

«Сегодня я только к утру задремал и видел тебя почти как наяву. Ощущаю Katzenjammer³. Если тебе сколько-нибудь дорого мое спокойствие, если ты меня не на словах только любишь, пиши мне хоть раз в неделю несколько слов. Прощай, мое сокровище, обнимаю тебя всей силой своего воображения; придет ли наконец время, когда обниму тебя в действительности, радость моя, мучение мое!» (8 X 1873).

Он покорила ее своим белым, самым жарким и пронзительным светом. Но он никакой кентавр, в его философии ничего от философа Хомя Брута. И если бы он осмелился не в одном «воображении» — судьба его была бы судьбой псаля Микиты: куча золы да пустое ведро.

Соловьев-жених — не Чехов со своей «собакой»; есть что-то общее с повадкой и существом Андрея Белого, та же «мудрость змия и незлобивость голубя», питаемая белыми нитками, и то же прозрачное «лукавство», и путаница, и слепота.

«Только что отправил жалобу на твое молчание, дорогой мой друг Катя, как получил твое письмо, обрадовавшее меня бесконечно. (Ты, однако, не думай, чтобы я высказывал свою радость; при получении твоих писем я изображаю олицетворенное равнодушие. Вообще, я становлюсь гораздо сдержаннее, даже начинаю лукавствовать, уверяю тебя: хочу быть мудр, аки змий, и незлобив, аки голубь.) Что касается наших отношений, то хочешь ли ты или не хочешь, я дал и еще даю тебе слово, о котором говоришь. Способен ли я обмануть, это окажется в будущем, на деле, говорить же об этом нечего» (2 VIII 1873). «Подателю сего письма, если он будет говорить обо мне, верь не безусловно, не потому, чтобы он стал нарочно врать (он человек порядочный), но потому, что я не был с ним вполне откровенен, точно так же, как ни с кем другим, кроме тебя одной. A propos des bottes⁴: какой невозможный вздор слышал я про тебя с разных сторон. Удивлялся изобретательности человеческого изображения. Не поверил ничему ни на минуту. Писал тебе, что начинаю лукавствовать. С непривычки не очень успешно: иногда прорываюсь

самым смешным образом. А иногда и не хочется притворяться, как будто что дурное скрывать» (10 VIII 1873). «Что ты пишешь мне, дорогая Катя, о сделанном тебе предложении, было мне очень неприятно отчасти по той моей бессмысленной, гадкой ревности, вследствие которой у меня скребет на сердце каждый раз, когда кто-нибудь другой даже только произносит твое имя, не то что делает тебе предложение; но еще более потому, что очень, очень тяжело шагать через других и, мечтая о спасении человечества, по какой-то злой иронии жизни быть невольной причиной чужого несчастья. Напиши мне, пожалуйста, как подействовал на него твой отказ (не Пасеком ли его зовут?). Все, что ты пишешь о моих целях, совершенно справедливо. Только ты напрасно воображала, что я мечтаю о каком-то мгновенном возрождении человечества. Живого плода своих будущих трудов я, во всяком случае, не увижу. Для себя лично ничего хорошего не предвижу. Это еще самое лучшее, что меня сочтут за сумасшедшего. Я, впрочем, об этом очень мало думаю. Рано или поздно успех несомненен — этого достаточно. Мы должны исполнять свою обязанность — вот и все, а определять времена и сроки — не наше дело. Иногда далекое предстается уму близким — тем лучше — это утешает. Что это у тебя за странная фраза: боюсь надоесть своей болтовней?»

Свидание с женихом, по ее вычислениям, через 114 дней! Мечту о «народной школе» сменила музыка — появился кентавр.

Всеволод Соловьев * (в письмах он называется «джентльмен», В. и Х.) будет заниматься с ней историей. Он старше Вл. С., вот уж ничего общего с братом: он в отца, такой же коренастый, широкоплечий. В ее альбом за август написал он шесть стихотворений, и в каждом самое пылкое признание. А когда временно уедет из Петербурга в Москву, между ними начнется переписка.

За днями дни обычной чередой
Идут — а я письма не получаю,
Другим же пишешь ты... Что случилось с тобой?
Я этого совсем, мой друг, не понимаю!

«По крайней мере, спокоен, что ты здорова, ибо другим пишешь. Видишь, однако, до чего любовь может доводить даже философские натуры: еще немного, — и я буду писать настоящие

* Всеволод Сергеевич Соловьев (1849—1903), романист.

стихи, буду списывать их в тетрадь и угощать ими своих близких, по примеру известного тебе джентльмена, о котором, кстати, будет и речь. На другой день по его отъезде, только что я проснулся и еще не совсем пришел в себя, внезапно является Аполлон (не тот, которому поклонялись древние греки, а наш лакей Аполлон) и подает мне письмо, полученное накануне в мое отсутствие. Вижу твою руку и, не разобравши хорошенько адрес, распечатываю и читаю начало. Из сего начала вижу, что упомянутый джентльмен (к которому оказалось адресовано Ваше письмо) вторгается туда, где его никто не желает. Ты бы очень хорошо сделала, если бы раз и навсегда положила должный предел его порывам. Имею слишком достаточное основание, постоянно страдая от своей доверчивости, предупреждать тебя: не доверяй людям вообще, а петербургским джентльменам в особенности. Как ни стараюсь во всех людях видеть настоящего человека, но должен признать начальную и давно известную истину, что в людях совсем мало человеческого, а гораздо более преобладает образ различных зверей, как-то: волка, лисицы, свиньи, гиены, осла и т. п. ... Ты мне никогда ничего не пишешь о себе. Неужели ты не веришь, что для меня важно все, что до тебя касается. Пиши же, я серьезно беспокоюсь. В Сергиевский посад окончательно переселяюсь 8 сентября, когда начнутся академические занятия. Ты мне должна будешь писать, по крайней мере, 2 раза в неделю. Кроме твоих писем, у меня там ничего живого не будет» (25 VII 1873). «В. (Всеволод) раз мне рассказывал, какое ты мнение имеешь и т. д., я уже писал тебе, дорогая, чтобы ты относительно меня не верила В., потому что я не был с ним искренен: я ему действительно говорил то, что он тебе передавал, но говорил нарочно, о чем тебя и предупреждал. Не знаю, почему тебе неприятно, что я живу отшельником, т. е. избегаю бессмысленных забав и не развратничаю. Вероятно, тебе что-нибудь наврали. Относительно твоих сомнений могу только заметить, что наша разлука достаточно долга, чтобы “минутное увлечение” успело пройти; минутные увлечения у меня бывали, и я знаю разницу» (26 VII 1873). «Не быть мнительным и ревнивым я не могу: это болезнь характера и, следовательно, неизлечима. Но, конечно, ее можно скрывать. Во всяком случае, моя ревность остается при мне: ты ведь не можешь пожаловаться, чтобы я тебя обвинял или упрекал в чем-нибудь, а самого себя мучить я, конечно, имею право. Итак, об этом больше ни слова. Что касается нашего свидания, то я сам думал его ускорить. Если ничего особенного не случится, то буду в Петербурге в начале ноября (около десятых чисел). 7 недель еще подожди меня — это сравнитель-

но недолго. Писать не буду часто — времени нет: нужно хорошенько потрудиться, чтобы сколько-нибудь заслужить радость свидания с тобою. Ты же пиши мне, жизнь моя. Очень рад, что ты будешь заниматься музыкой. Экзамен тоже не мешает на всякий случай выдержать. Но скажи, пожалуйста, как это ты будешь заниматься с Х. (Всеволодом)? Мне кажется забавным. Впрочем, о Х. (Всеволоде) я не хочу распространяться, потому что должен сказать, что, как это ни скверно с моей стороны, я просто не люблю его. Как я ни старался себя принудить, как ни уверял себя, что должен его любить и что люблю, — не удастся. Это какая-то инстинктивная антипатия. Напротив, я был бы очень рад, если бы представился случай оказать ему какую-нибудь важную услугу, чтобы, по крайней мере, не быть неблагодарным, как он меня в этом упрекает. Тем не менее у меня к нему (и странно — к нему одному) очень нехорошее чувство. Впрочем, надеюсь это со временем пересилить, тем более что он ненависти и вражды ни в коем случае не заслуживает: он более пуст, чем зол. Прости, моя радость, я верю твоей любви и полагаюсь на нее» (23 IX 1873).

«Семь недель еще подожди меня — это сравнительно недолго!» И он трудился в Сергиевском посаде, чтобы «заслужить радость свидания». А ей в Петербурге за музыкой и «историей» ни до чего: кентавр победил!

«Сегодня полученное мною письмо возбудило во мне такую необычайную радость, что я стал громко разговаривать с немецкими философами и греческими богословами, которые в трогательном союзе наполняют мое жилище. Они еще никогда не видели меня в таком неприличном восторге, и один толстый отец Церкви даже свалился со стола от негодования. Я ведь уже был вполне уверен, что между нами все кончено, и только не мог придумать, отчего и как это случилось...»

Эка! И давно все кончено, а случилось очень просто. Говоря житейски: «проворонил», а попросту — «проглупил» (?). Хорош жених! Да надо было тогда же, после объяснения (письмо 11 VI 1873), несмотря ни на что, немедленно ехать к ней в Петербург, а не откладывать, не философствовать и не оправдываться.

И это она помнит, еще бы! Москва, 25 июля:

«Пожалей меня, дорогая моя, жизнь моя, Катя: еще четыре месяца должен я дожидаться свидания с тобою. Совсем собрался ехать в Петербург: спрашивают, зачем ты теперь туда едешь? — “Для таких-то и таких-то дел”. — “Но в Петербурге летом никаких дел сделать нельзя, никого из нужных людей не найдешь,

все на лето разъезжаются”. — “Но мне необходимо заниматься в Публичной библиотеке”. — “Зимой там заниматься гораздо удобнее, а теперь и в библиотеке никого не добьешься”. Что же? Мне оставалось или признаться, что я еду в Петербург единственно для того, чтобы видеть тебя, что мне там, кроме моей Кати, никого и ничего не нужно, — сказать эту правду прямо было бы глупостью непоправимой; или же приходилось согласиться с основательными доводами и принять предложение папá ехать в Петербург с ним вместе 1 декабря, в воскресенье, в 8 $\frac{1}{2}$ часов вечера. Я согласился и, кажется, поступил благоразумно. Но только теперь, когда дело уже кончено, чувствую я, до чего невыносимо тяжело мне это благоразумие, никогда не испытывал такой смертельной тоски. Знаю, что и тебе невесело одной в скверном пустом городе. Давно бы приехал, несмотря ни на что, если бы можно было это сделать, не компрометируя тебя же. Да, кажется, не много роз придется нам сорвать на нашей дороге. Это, впрочем, и хорошо: быть счастливым вообще как-то совестно, а в наш печальный век и подавно. Тяжелое утешение! Есть, правда, внутренний мир мысли, недоступный ни для каких душевных непогод, — мир мысли не отвлеченной, а живой, которая должна осуществиться в действительности. Я не только надеюсь, но так же уверен, как в своем существовании, что истина, мною сознанная, рано или поздно будет признана и другими, признана всеми, и тогда своею внутреннею силою преобразит она весь этот мир лжи... все это исчезнет, как ночной призрак перед восходящим в сознании светом вечной Христовой истины, доселе не понятой и отверженной человечеством, — и во всей своей славе явится царство Божие — царство внутренних, духовных отношений, чистой любви и радости — новое небо и новая земля, в которых правда живет, но невозможно ничтожному человеку постоянно жить в этом мысленном, еще не осуществленном для нас мире. Сердце берет свои права, и опять тяжелая тоска, тупое страдание, и еще невыносимее становятся мелкие препятствия и столкновения, все эти пощечины обыденной жизни. Радость моя, дорогая моя, в эти минуты душевной усталости, слабости и отчаяния только твоя любовь может поддерживать, ободрять меня: напоминай мне о ней чаще, умоляю тебя, я еще не верю вполне, прости меня. Твой навсегда».

«Навсегда»? — вот когда было все кончено навсегда: живое «безумное» человеческое сердце — огонь — и... это «благоразумие»! Или и так — по слову протопопы Аввакума: «Не им было а бысть же было иным»⁵. Или...

Что роком суждено, того не отражу я
Бессильной детской верою своей.
Пройти я должен путь земной, тоскуя
По вечном небе родины моей.

Звезда моя вдали сияет одиноко —
В волшебный мир лучи ее манят,
Но недостойн этот мир далекий, —
Пути к нему не радость мне сулят.

Прости ж, и лишь одно последнее желанье,
Последний вздох души моей больной —
О, если б я за горькое страданье,
Что суждено мне волей роковой,

Тебе мог дать златые дни и годы,
Тебе мог дать все лучшие цветы,
Чтоб в новом мире света и свободы
От злобной жизни отдохнула ты.

Чтоб смутных снов тяжелые виденья
Бежали все от солнечных лучей,
Чтоб на всемирный праздник возрожденья
Явилась ты всех чище и светлей.

Она стояла перед ним — и это было наяву, не трепетно, как в видении: на ее голове крылил белый убор сестры милосердия; видит ли он или не видит, как тенью следит она из-под опущенных глаз, — он видел этот непорочный убор: его белый цвет сверкал самым жарким и пронзительным светом, красное, как рана, раскаленным углем на груди — крест. И «рубины уст ее, казалось, прикипали кровью к самому сердцу»⁶.





С. К. МАКОВСКИЙ

Владимир Соловьев и Георг Брандес

Бывают воспоминания, охватывающие иногда и недолгий срок (в данном случае какой-нибудь месяц), но в них как бы отражается целая эпоха, эпоха не только личной жизни, а всего вдаль отошедшего прошлого... Этот месяц, полвека назад, в затишье пансиона Рауха близ Иматры, для меня одно из таких воспоминаний.

В девяностые годы (я вспоминаю осень 1895 года), и не только в России, подводились итоги истекавшему столетию и вместе подвергались пересмотру самые основы духовного бытия как в области философской и религиозно-моральной, так и в духовной области. В этом «взгляде назад», конечно, таился и осуждающий приговор. В связи с утратой веры в исчерпывающую правду положительного знания оказался под подозрением и весь благодушный реализм предыдущих десятилетий: потянуло к чисто лирическому самоутверждению и ко всяческой фантастике, что в свою очередь в глазах «здравомыслящего» большинства придало «концу века» характер декаданса, упадка. Макс Нордау обрушил свою «Entartung»¹ на новаторов всех оттенков, зачислив в «вырожденцев», упадочников, и Гюисманса, и Оскара Уайльда, и Ницше, и Льва Толстого, и Метерлинка.

Этот здравомыслящий пессимизм не был, однако, преобладающим настроением. Преобладали, напротив, окрыленные надежды в передовых кругах образованного общества. Новый романтический ветер, опрокидывая по пути недавних идолов, увлекал куда-то к заповедным далям просвещенное меньшинство, делавшее «культурную погоду» эпохи. Горечь и даже отчаяние иных молодых мыслителей возмещались эстетическими и философскими дерзаниями — от них приятно кружилась голова. Угасала вера в объективную истину и метафизические догматы, зато опьянение субъективизмом à outrance² давало выход никогда прежде не мерещившейся творческой свободе.

В петербургских и московских кружках и гостиных (отстававших, по обыкновению, лет на двадцать от Парижа) этим западным ветром повеяло прежде всего из «Северного вестника», под редакцией Любови Гуревич, где царил Аким Львович Волинский (Флекснер)³. В то время дружила с ним молодая чета Мережковских. К Волинскому обращены строфы Зинаиды Гиппиус, появившиеся в «Северном вестнике»:

Небеса унылы и низки,
Но я знаю, дух мой высок.
Мы с тобой так странно близки,
И каждый из нас одинок...⁴

Вместе, втроем, они путешествовали по Италии, после чего Волинский поспешил издать своего «Леонардо да Винчи». Это обстоятельство навсегда поссорило его с Мережковскими⁵, почитавшими книгу Волинского за плагиат.

Я лично сошелся с Волинским значительно позже. Если упоминаю о нем сейчас, то потому, что умственная атмосфера русского конца века «изошла» в известной степени от этого писателя, — он первый восстал на нашу радикальную критику и взял под свою защиту литературный «модернизм» в годы, непосредственно предшествовавшие журналу «Мир искусства»⁶.

Время это совпало с первым проникновением в Россию ницшеанства: «Morgenröte», «Jenseits von Gut und Böse»⁷ и «Заратустру» случайно привез из Висбадена П. Д. Боборыкин, вскоре появилась в «Вопросах философии и психологии» статья о Ницше Преображенского⁸, она состояла из остроумно подобранных цитат и давала возможность ссылаться на слова немецкого философа, не читая его в подлиннике. Парадоксы Ницше заразили многих, хотя серьезного «продолжения» ницшеанства на русской почве и не случилось.

Рядом с Ницше из иностранных писателей властителями дум сделались еще Оскар Уайльд (томик которого в зеленом картонном «Intentions»⁹ тоже привез Боборыкин) и гигант Севера Ибсен, в особенности после того как за его пьесы принялся Художественный театр. И Ницше, и эстетством Уайльда особенно увлекались молодые художники, окружавшие Александра Бенуа и Дягилева¹⁰; отсюда влияние на них изощренного и извращенного Бирдслея, о котором я написал несколько позже статью¹¹ (она вошла в первый том моих «Страниц художественной критики»). Однако не меньше волновали, хотя и по-иному, «Сокровище смиренных» и «Театр для марионеток» молодого Метерлинка; его мистикой проникся наш зарождавшийся симво-

лизм. Литературные увлечения были эклектичны... Не надо забывать, что в это время как-то вдруг обнажились нравственные проблемы Толстого и Достоевского и предстали в новом свете и Пушкин, и возлюбленное Пушкиным детище царя-преобразователя: Петербург, гениальное «Петра творенье».

Вот из каких токов, иногда и противоречивых, сгустился тот петербургский «романтический ветер» конца века, о котором я говорю, причем я упоминаю, конечно, лишь о самом главном или, точнее, о том, что казалось мне тогда самым главным. Поэзия еще не обернулась в те дни «магией», какой она стала для поэтов-символистов. Только-только вышел первый сборник Бальмонта «Под северным небом»¹² (поэт вернулся из скандинавских фиордов, где «носились чайка, серая чайка с печальными криками...»¹³); «Стихи о Прекрасной Даме» изданы Блоком десятью годами позже, и уж за ними (кроме первой) прозвучали московские «Симфонии» Андрея Белого, который впоследствии в своих «Воспоминаниях о Блоке» так увлекательно рассказал об атмосфере нарождавшегося двадцатого столетия в связи с пророческими видениями Владимира Соловьева: «Молодежь того времени слышала нечто подобное шуму и видела нечто подобное свету; мы все отдавались стихии грядущих годин, отдавались отчетливо слышанной в воздухе поступи нового века»¹⁴.

Но этот «шум» и «свет» в годы моего «Рауха» еще только претворялись в рифмованные строки юных декадентов, как называла большая публика всех писателей и художников-новаторов без разбора, — после того как Валерий Брюсов пролепетал свой коротенький «*Chef d'Oeuvre*»¹⁵ — название сборника стихов, над которым так потешался Владимир Соловьев (его пародии на декадентов, печатавшиеся чуть ли не в «Вестнике Европы», вызывали дружный отклик не в одних литературных кругах). Ранние стихи Мережковского, Минского, Зинаиды Гиппиус, Федора Сологуба были тоже только «слишком ранние предтечи слишком медленной весны»¹⁶. Эти строчки Мережковского цитировались часто.

Романтический воздух накануне символизма был пропитан и музыкой... Кажется, не было в то время города более музыкального, чем Петербург (отчасти и Москва, благодаря Мамонтову и его опере¹⁷, с 95-го года). «Могучая кучка» получила наконец права гражданства. В Мариинском театре вырос русский репертуар. С легкой руки Антона Рубинштейна и затем графа Шереметева и Зилоти создались отличные симфонические оркестры¹⁸. Все европейские виртуозы считали долгом посетить северную столицу. Наше запоздалое вагнерианство также относится к

девятиностым годам: «за» и «против» Вагнера стало нескончаемой темой русских споров.

Как я рассказал уже в предыдущем очерке, для меня музыка, рядом с живописью, была родной стихией с детства.

Жена скрипача Л. С. Ауэра¹⁹, Надежда Евгеньевна, урожденная Пеликан, дружила с моей матерью; со старшими дочерьми Ауэр, Зоей и Надей, ровесницами мне и моей сестре, мы, что называется, росли вместе.

Близость к семейству Ауэр прервалась на несколько лет из-за отъезда нашей семьи за границу, но затем, по возвращении в Петербург, возобновилась, и тогда особенно тесно сошлись и я и сестра с Надеждой Евгеньевной. Она любила молодежь, да и сама была исключительно юна восторженной отзывчивостью на все «впечатления красоты». За несколько лет перед тем умер ее просвещеннейший друг, князь Александр Иванович Урусов²⁰, русский западник *pure sang*²¹ и знаток французской литературы, раздававший знакомым книжки с лаконичной надписью «Lisez Flaubert»²². Верная его завету, Н. Е. Ауэр была необыкновенно начитана во французской литературе (про нее говорили, что она умеет все вокруг «намагнитить» французскими писателями) и следила за каждым новым словом Парижа: она была единственной подписчицей в Петербурге самого передового парижского журнальчика того времени — «La Plume»²³. Это не мешало ей знать назубок и классиков, начиная с Ронсара и Монтеня.

В семье Ауэр, таким образом, царил не только музыка, но и французская книга. Надежда Евгеньевна читала и перечитывала своих любимцев неутомимо. К тому же смолоду она стала глохнуть, в сорок лет слышала совсем плохо, больше угадывала слова по движению губ — оттого перестала посещать концерты, вообще замкнулась у себя дома в обществе избранных французских авторов и немногих друзей — писателей по преимуществу. Своим едва слышным голосом, необыкновенным изяществом обращения и умением проникаться мыслью собеседников эта хрупкая, преждевременно увядающая, даже некрасивая, но изумительно очаровательная женщина приколдовывала к себе, когда этого хотела.

Одним из приколдованных был и Владимир Сергеевич Соловьев, которого я встречал у Ауэр. Они познакомились за границей, где-то в горах. Молодой философ, уже издавший свою докторскую диссертацию «Кризис западной философии», всех поражал тогда рассеянностью не от мира сего и приступами расточительности; ему случалось иногда от прилива щедрости вдруг

раздать все до сантима проводникам после прогулки в горах и затем остаться на недели без гроша...

Надежде Евгеньевне невольно говорилось то, что другому не скажешь, она располагала к исповеди; душевную и умственную чуткость ее ценили не только друзья постоянные, имевшие возможность приходить к ней на огонек в любой вечер, — дружеские отношения с ней поддерживали и жившие вдали, балованные славой иностранцы, обменивались с ней «литературными» письмами и при первой возможности спешили опять встретиться. Помню, в одну из побывок моих в Париже, где проездом находилась Надежда Евгеньевна, я застал у нее двух таких друзей: Анатоля Франса и Клемансо.

Владимир Соловьев не раз поверял ей свои тайные видения. От нее не раз слышал я рассказы об этой «ненормальности» философа. Он был галлюциантом закоренелым. Еще девятилетним мальчиком в Москве, в 1862 году, на воскресной обедне видел он «Подругу Вечную», Софию Премудрость Божию, в виде «образа женской красоты» с «очами, полными лазурного огня», затем — ее же тринадцать лет спустя в Британском музее, будучи уже магистром философии и доцентом Московского университета, наконец — еще раз в пустыне близ Каира, куда он специально ездил, предчувствуя видение. Все это и рассказано им самим в поэме «Три свидания», стихами не всегда умелыми, но, несомненно, невыдуманными, глубоко искренними. С призраками он общался и позже, мертвые приходили к нему запросто. Занятый вопросом о соединении православной и католической церковью (сам как будто принадлежал к обеим одновременно), он разговаривал с тенями исторического прошлого, вступал с ними в богословские споры... Одной из теней была Зоя Палеолог, ставшая Софией по выходе замуж за Ивана Третьего, наследница византийских базилиевсов, символ третьего Рима и посланница Ватикана, которым она воспитывалась в католической вере (после падения Царьграда), — посланница, предавшая, однако, как только вступила в московские пределы, и папу и папского легата.

Соловьев любил общество юнцов, шутил с ними, читал пародии на декадентов, рассказывал анекдоты, забывая свою обычную отчужденность. Мы любили его. Да и трудно было не любить, так бесконечно обаятельна была вся его «необыкновенность»...

Особенно почувствовал я это обаяние, встречаясь с ним изо дня в день в течение этого месяца, осенью 95-го года, у Рауха, где семейство Ауэр занимало отдельный флигель и куда как раз

приехал из Копенгагена один из иностранных друзей Надежды Евгеньевны — Георг Брандес.

Георг Брандес умер²⁴ четверть века назад, давно пережив свою славу, достигнув того большого возраста, когда смерть писателя, если писатель не мировой гений, вызывает недоумение: как — умер? только теперь? На восемьдесят шестом году жизни знаменитый датский критик давно не был властителем дум, но он был им долго. И для русских читателей — также. Несколькими годами раньше он уже приезжал в Россию и читал с успехом лекции о европейской литературе²⁵. Основное произведение, давшее ему международную известность, по-французски называлось, помнится, «*Les Grands courants du dix-neuvième siècle*»²⁶. В этот приезд он исправлял корректуру своего обширного критического труда о Шекспире²⁷. С Брандесом Н. Е. Ауэр связывала давнишняя дружба ума. Он приехал в пансион Рауха по ее зову.

У Рауха проживал и Владимир Соловьев. Ему нравилось это финляндское уединение, он говорил, что здесь как нигде работается; в пансионе он снимал годовую комнату для частых прилетов из Петербурга; писал в ту пору «Оправдание добра». Несколько отрывков я прослушал в его чтении на петербургской квартире Ауэр, — но тогда, у Рауха, Соловьев держал себя малообщительно в присутствии Брандеса... Случалось, его навещали друзья. В те дни появились московские гости: князь Сергей Трубецкой (автор «Логоса»)²⁸ и Лопатин, которого друзья называли Левушкой, — Соловьев подтрунивал над ним за какую-то его теорию о «семи душах».

Пансион Рауха был уголком, еще не захвачанным петербуржцами. Какие прогулки! Чистый сосновый воздух, располагавший к «мыслям возвышенным», живописные тропы вдоль извилистого озера, большого и печального. Но печаль была не унылая, а бодрящая... Или мне это казалось по молодости?

Впрочем, бодрящую прелесть пристоличной Финляндии одинаково отмечали самые разные петербуржцы. Дело в том, что — независимо даже от пейзажа и климатических свойств — Финляндия была немного «заграницей» для нас и дышалось в ней по-заграничному как-то свободнее, независимее. Вероятно, этим главным образом и вызывалось ощущение окрыленности, лишь только, бывало, очутишься по ту сторону финской границы в Териоках и начнут чередоваться маленькие чистенькие станции с прогуливающимися «к поезду» дачниками, с тесным буфетиком, где рюмка водки закусывалась горячим пирожком, и с непременным дребезжанием перронной арфистки или какого-нибудь при-

блудного шарманщика. В этом ощущении сказывалась вечная тяга наша, истинно российская, послепетровская тяга на Запад: Финляндия была передней «в Европу», и, несмотря на то что нас, русских, Финляндия не жаловала (в бобриковские времена), мы-то относились к ней с мечтательной благорасположенностью. У многих петербуржцев были свои летние дачи в Финляндии, но многие наезжали и зимой «отдохнуть» под Белым Островом или Выборгом в пансионах с прославленными шведскими закусками и поездками на бубенчатых «вейках»²⁹.

Веяло несомненно северной романтикой в этой столь прозаичной, в конце концов, и бедной стране («Стране тысячи озер», по слову Рунеберга³⁰). Была особая близость природы, мало заселенной, с бесконечным мелколесьем в брусничных зарослях и мхах, с высокими муравейными кучами, с бревенчатыми заборами и неисчислимыми меандрами шхер. И тишина была особая, летом — без птичьего гама, без мушиного гуда и деревенских гомонов среднерусской равнины, тишина северная, застылая, прерываемая только шумом быстрин и водопадов, тишина нелюдимая и вместе дружелюбная к человеку и «помогающая мыслям». С Финляндией не вязалась русская тоска; от нее пахло озоном и привлекала в ней... отдохновенность скромного благоустройства на европейский лад. Недаром так хорошо думалось в Финляндии Владимиру Соловьеву и так много внушала ему природа Финляндии. Вспоминаются строфы его «Саймы в полдень»:

Этот матово-светлый жемчужный простор
В небесах и в зеркальной равнине,
А вдали этот черный застывший узор —
Там, где лес отразился в пучине.
Если воздух прозрачный доносит порой
Детский крик иль бубенчики стада —
Здесь и самые звуки звучат тишиной,
Не смущая безмолвной отрады.

Или — из «На Сайме зимой»:

Вся ты укуталась шубой пушистой,
В сне безмятежном затихнув, лежишь,
Над твоей гладью просторно-лучистой
Веет прозрачная белая тишь.

Неизгладимое впечатление произвела на меня Сайма, когда я впервые увидел огромное озеро, изузоренное островами в елях и сосенках. Острова покрыты сплошными сероватыми мхами, под ними чувствуешь, ступая, мягкую вековечную прель хвои: бродишь — как по сказочному царству. А издали, вечером, ког-

да поднимется туман, — порой в нем явственно отражается вода с этими лесными островками колдовским обратным маревом.

У Рауха около семьи Ауэр образовался тесный кружок, завлекший и еще кое-кого из русских, — вместе отцы и дети (кроме меня и моей сестры, четыре дочери Ауэр, черноглазых подростка: старшей, Зое, — семнадцать лет). Под влиянием Надежды Евгеньевны молодежь старалась «не отставать», много читала и жадно слушала, хотя нередко и посмеивалась тишком над «стариками».

Об этой скороспелой русской молодежи экспансивный Брандес тогда же написал несколько фельетонов в датские газеты. Он изумлялся: «Сплошь вундеркинды...» И полушутливо добавлял: «Но... в России нет достижений», «rien n'arrive»³¹, — обычный его припев по адресу России.

Мне, только еще вступавшему тогда в жизнь юнцу, льстило внимание знаменитого критика, и я забрасывал его вопросами и размышлениями по всякому поводу. Помню, особенно поразило его однажды то, что я в мои молодые годы осилил книгу Милльса о «Философии бессознательного» Гамильтона³². «Прозекзаменовав» меня, он дотронулся пальцем до моего лба и торжественно произнес из «Энеиды»: «Tu Marcellus eris!»³³. Удивляла его и наша русская любовь к природе. Он был исключительно книжным человеком, задумчивая прелесть Саймы и сказочные озарения осенних закатов в часы послеобеденных прогулок его мало трогали. Даже раздражало немного «эгоцентричного» Брандеса мое, в частности, восхищение финляндской природой, — я пользовался всяким случаем «уединиться» куда-нибудь в лес и сочинять стихи.

Одно из этих стихотворений, посвященное «Сайме», попало в первый мой сборник, изданный десятью годами позже, оно начиналось:

Безмолвный край, угрюмый край, холодный край.
Везде — покой унылого простора,
Везде — туман и серые озера...
Моих осенних дум, певец, не нарушай!³⁴

Скажу попутно, что это — первые строфы, о каких я услышал компетентный отзыв. Дело было так. Часто бывая у моего приятеля Феди Случевского, лицеиста (и его сестры Сони), я встречался с их немолодым уже дядей, поэтом Константином Случевским. Как-то прочел я ему «Безмолвный край» и несколько еще юношеских моих стихотворений. Случевский одобрил «поэтическую суть», но тут же сказал: «Впрочем, не берусь судить о

самой стихотворной ткани... Хотите, покажу большому знатоку, другу моему, графу Голенищеву-Кутузову?» И через неделю несколько сконфуженно вернул мне мою пачку со словами: «Граф нашел, что лучше других — “Сайма”, но в этих строфах грубая ошибка: в шестистопном ямбе недостает цезуры после третьей стопы». С тех пор, кажется, не допускал я этого промаха в шестистопном ямбе...

В эту так ярко запомнившуюся мне осень, повторяю, я сердечно привязался к Владимиру Соловьеву. Замкнутый при посторонних, безотчетно-величавый, он очаровывал всех знавших его ближе удивительно цельной и ласковой простотой. И какая это была всеискусенно-спокойная мысль, без мелочливости ученой — одни итоги, претворенные всем естеством духа! Это ли не мудрость? А как увлекательно рассказывал он и как любил вдруг рассмешить изречением из Козьмы Пруtkова, а то и по-русски крепким анекдотом...

Наружность его поражала. Высокий-высокий, хилый, бесплотный. Прозрачно-бледный, восковой лик в длинной, густой, рано поседевшей бороде, пряди седые до плеч (только нависшие брови — как смоль) и близорукий, отсутствующий взор из-под полуопущенных век. Совсем еще не старый (ему было всего сорок три года), а увидишь сразу — дряхлее не бывает: подвижник, забывший о времени, тысячелетия взявший на рамена свои...

И все менял в нем смех. Закатится — прекрасной верхней части лица как не бывало, один судорожно разверстый, темным зевом разорванный рот, и хохот — высоким, истерическим, захлебывающимся воплем каким-то. Всякий раз становилось немного жутко.

Полной противоположностью ему и по внешности является Георг Брандес. Невысокого роста, быстрый, подстриженная борода, все лицо в тонких, насмешливых, «вольтеровских» морщинках, — жестикулирующий, картавый, бойко, хоть и с акцентом говорящий то по-французски, то по-немецки. Живостью он отличался чрезвычайной, бьющей ключом любознательностью и еще более безудержной страстью — блистать. Он горел этой страстью: удивить, увлечь, ослепить. Не из гордости, а от расточительности, я бы сказал — почти трогательно бескорыстного кокетства. Поэтому с ним было легко, несмотря на его деспотическое блистание.

Не встречал я человека более ревнивого к успеху в обществе. Брандес ребячливо обижался, если кто-нибудь хоть на минуту овладевал вниманием в его присутствии. Он говорил без устали, чередуя критические афоризмы, литературные анекдоты, цита-

ты на всех языках, личные воспоминания, шутки, язвительности. Это была импровизация, сверкающая эрудицией, острословием «кстати» и злостью для красного словца. Всей радугой духа хитро переливался этот на редкость одаренный, темпераментный, капризный и балованный «великий человек». Он любил повторять мысль Ницше: «Цель культуры — создание великих людей»³⁵ — и, конечно, сам себя почитал одним из них. Как интересно жилось бы на свете простым смертным, если бы все «великие» были так щедро общительны!

Но у этого блестящего собеседника и сердце было не скупое, даже привязчивое по-своему (хотя и одолевал мозг, всегда готовый «сжечь корабли»). И до чего был молод он на седьмом десятке! К нам, подрастающему поколению, он относился с огромным интересом, говорил как с равными, совершенно забывая, что годится нам в деды. Семнадцатилетней Зоей Ауэр готов был увлечься не на шутку, если бы не помешал насмешливый «заговор» беспощадной в таких случаях молодежи...

Рядом казался каким-то живым укором ему русский большой человек Владимир Соловьев. Из него излучалась доброта мудрости, но он молчал на людях непроницаемо, лишь изредка вставлял четкое слово. Брандес все это ревниво чувствовал. Ему заметно не нравилось молчание Соловьева, такое насыщенное духом молчание, вызывавшее невольную почтительность. И сердило его, что всегда приветливый Соловьев все же никак не покоряется его блеску. А ему этого так хотелось!

Он решил испытать героическое средство — прочесть вслух несколько глав из своего «Шекспира» (впоследствии на эту книгу проникновенно ответил Лев Шестов³⁶, и, надо признать, после ответа русского философа немного осталось от критики Брандеса). Корректурные гранки были на датском языке, приходилось переводить *à livre ouvert*³⁷ на немецкий. Брандес отлично справился с нелегкой задачей.

Помню — так выпукло! — этот шекспировский вечер. И стар, и млад в сборе. Дети настроены благоговейно, отцы — сосредоточенно: целый ареопаг мудрецов. И мы, молодежь, горды сознанием, что вот слушаем — вместе.

Брандес выбрал главу из «Отелло». Видимо, он придавал ей большое значение, в особенности тому месту, где, определяя сущность Отелло, он развивал парадокс, что Отелло глуп, но не ревнив: «Dumm ist er, aber eifersüchtig nicht!» До сих пор слышу голос, каким Брандес произносил это. Как он сам себе нравился в ту минуту!

Во время перерыва Соловьев вдруг разжал уста и спокойно, деловито произнес:

— Относительно Отелло вы, конечно, правы... Впрочем, еще Пушкин сказал: «Отелло от природы не ревнив — он доверчив»³⁸.

И все заметили, что вторую часть вечера Брандес был не в прежнем ударе. Таким обидным показалось ему, что смелая его находка давным-давно известна этому длиннородому скифу, потому что какой-то Пушкин, сто лет тому, в двух словах выразил мнение, которое он, Брандес, считал неотъемлемо своим. Только лучше выразил: «Отелло доверчив». Разумеется, доверчив, а не глуп. Ведь глупость вовсе не исключает ревности.

Припоминаю и другой эпизод. На застекленной веранде после утреннего чая сидит Соловьев, погруженный в чтение. Брандес, подойдя к нему, спрашивает:

— Что вы читаете?

— «Бытие».

— Дайте, пожалуйста, на секунду — я вам покажу...

Соловьев молча протянул книгу. Брандес раскрыл ее, повертел в руках, замялся и стал говорить о другом. «Карманная» Библия Соловьева (он всегда носил ее с собой) была на древнееврейском... Но критик Шекспира не знал языка своих пращуров.

Зато с нескрываемым удовольствием подмечал ревнивый датчанин все, что не ему одному представлялось в Соловьеве «смешным». Конечно, многое в этом «смешном» являлось не более как своего рода лукавством — ну, скажем, рисовкой русского философа. Однако были и настоящие странности: ведь за одну из них Соловьев поплатился жизнью. Я имею в виду злоупотребление скипидаром как средством «физически и духовно очистительным», по его определению. Он охотно оправдывал пристрастие свое к скипидару тем, что «терпентинные пары отгоняют бесов». В устах человека, подробно рассказывающего, как в бессонницу с ним беседуют тени византийских императриц, это объяснение не звучало шуткой. У него всегда был в кармане пузырек со скипидаром, из которого он опрыскивал себя. Кроме того, он пил скипидар. Меня поразила проскипидаренность Соловьева как-то раз, когда, поднявшись в нему в комнату, я был свидетелем того, как он щедро поливал «очистительным терпентином» из большого туалетного флакона постель, платье, книги и заодно свою голову. Несомненно, потому так быстро и одолела его болезнь почек, — умер он всего несколькими годами позже.

Были у Владимира Сергеевича и другие странности. Он придавал веру самым неожиданным приметам, иные повадки его могли хоть кого сбить с толку. Например, в солнечную погоду

он не упускал случая чихнуть, повернув лицо к солнцу. Не помню уж как, полушутя-полусерьезно, он оправдывал и этот свой обычай.

Чудачества русского мудреца выводили из себя Брандеса, раздражавшегося по его адресу язвительными остротами. Мало того — он посвятил этим чудаствам Соловьева целый фельетон, написанный, как мы узнали позже, с большими преувеличениями и в очень колких тонах. Такая отплата Соловьеву за его всегда вдумчивое и благожелательное внимание — была жестом некрасивым...

Брандесу невольно отомстил за Соловьева другой русский, вместе с женой приставший к нашему кружку у Рауха, нововременец Тихонов (брат Лугового). Этот русак в вечных поисках литературной темы, не думая худого, мотал себе на ус анекдоты Брандеса, кокетничавшего своими воспоминаниями о знаменитых современниках, причем обычно эти его «заметы очевидца» заострялись злонасмешливо. О ком только из «великих» не рассказывал Брандес едких подробностей! Каждый день узнавали мы что-нибудь то о старческом жеманстве Бьернстjerne Бьернстена, которого горничные по утрам затягивали в корсет, то о нелюдистой свирепости Ибсена, то о слабоумии Ницше (дружбой с ним в его последние годы тщеславился Брандес), то о педантизме Ипполита Тэна (придерется к какой-нибудь мелочи, дойдет мудрствованием по пустякам). Всех их знал лично датский критик в интимном быту и не жалел язвительных красок. К этим писателям мы, подрастающее поколение, уже привыкли относиться с «пиететом». Насмешливое запанибратство с ними Брандеса производило на нас большое впечатление. Вероятно, поэтому так подробно и запомнилась мне злоречивость датского критика.

Больше всего попадало от него старику Андерсену. Про жесточайший эгоизм прославленного соотечественника Брандес сыпал анекдотами. Если верить ему, пуще всего обижался Андерсен, когда его называли «писателем для детей». Надо же было скульптору Торвальдсену изобразить его на памятнике окруженным детворой. Андерсен, как увидел, бурно вознегодовал: «Убегите прочь эту гадость!»

Скупой, как Гарпагон, и чрезвычайно подозрительный в годы нелюдистой старости, Андерсен всюду видел козни врагов и прятался даже от близких знакомых. Все это знали и смиренно терпели. Знали и то, что он сластена и не прочь полакомиться леденцами, когда их не надо покупать. И вот однажды анонимные почитатели послали нелюдимцу большую коробку с конфетами. Он сразу испугался: вдруг отравы? А соблазнительно, на вид

конфеты были отличные. Как же быть? Подумал и решился на военную хитрость. Вспомнив давнишнюю свою приятельницу, которая выращивала нескольких малолетних ребят, он отобрал небольшую порцию конфет, завернул аккуратно в красивую бумажку и пошел к приятельнице с визитом. Та встретила его удивленно: неожиданное посещение, да еще с подарком для детей, было против всех правил старика. Отдав конфеты, Андерсен поспешно вернулся домой в сильной тревоге: ведь если конфеты отравлены, выбросить придется и весь остаток... На следующий день, чуть заря, он опять пошел к приятельнице, на сей раз еще более удивленной.

— Ну, как?

— Благодарю вас. Вы о чем спрашиваете?

— О конфетах. Дети живы?

Вот этот-то анекдот и тиснул Тихонов в «Новом времени», повествуя о Брандесе у Рауха. Газета дошла в Копенгаген. Датская печать всполошилась. На Брандеса — громы и молнии: как мог он легкомысленно оклеветать великую тень! Ему пришлось долго отписываться и, в свою очередь, назвать клеветником русского журналиста. Но, разумеется, Тихонов передал лишь то, что все мы слышали.

Из пансиона Рауха на обратном пути в Копенгаген Брандес решил погостить в Петербурге, о котором сохранил наилучшее воспоминание после первого своего приезда. Я сопровождал его, обещавшись «показать Эрмитаж», — Брандес был начитан и в истории искусства, а я картинную галерею Эрмитажа в мои семнадцать лет знал хорошо.

Он остановился в гостинице «Франция» на Большой Морской. И вот только уселись мы в его номере после нескольких часов блуждания по залам величавой императорской галереи (под непрерывные рассказы датчанина «из жизни» великих художников), как раздался стук в дверь.

— Войдите!

И в комнату быстро вошел околоточный надзиратель с портфелем.

Брандес показал паспорт.

— Вам надлежит выехать за пределы империи в течение двадцати четырех часов, — любезно, но твердо заявил околоточный, — на основании параграфа о евреях без правожительства.

Мне пришлось перевести. Брандес был вне себя... Потом поехал куда-то хлопотать, кажется — в посольство, но хлопоты не привели ни к чему. Оставалось покориться. Я проводил его на Варшавский вокзал. Еще накануне, у Рауха, он горячо простился со мной и с моей сестрой, которую все приравнивал к Марии

Башкирцевой³⁹, и сказал с грустью, будто вспоминая о бывшем уже не раз в его жизни: «Вот встретились, сблизились и расстаемся — навсегда. Вы и не пожалеете о старике».

Точно не помню, но такой был смысл несколько торжественно, как нам показалось, сказанных слов. Разумеется, я возражал, обещал навестить — в Дании... Но его предсказание сбылось. Я ездил за границу, много раз собирался в Копенгаген, да так и не собрался. А он никогда больше не приехал в «негостеприимную» Россию, где *rien n'arrive*, но с тех пор... все изменилось.

Прошло тридцать лет. Уже в эмиграции, прочтя в газетах о его восьмидесятилетнем юбилее, я взял и написал ему поздравление. Он ответил коротко, но очень ласково и с укоризной напомнил о своих словах перед разлукой у Рауха. Этот человек и в дряхлости ничего не забывал. И мне стало стыдно.

Только недавно узнал я, что он посвятил в своих воспоминаниях о путешествии по России (9-й том: «Страны и люди») страницы встрече со мной и моей сестрой, очень горячо и ласково вспомнив о нас, русских «вундеркиндах» у Рауха.

«Что особенно удивляло меня, — пишет Брандес, — в молодежи славянских стран, это ее ранняя зрелость или, вернее, то очко вперед в образовании и приобретенных знаниях, которое отдельные молодые люди этого племени могут дать всякой другой молодежи, какую мне доводилось знать».

В этих «воспоминаниях» Брандеса подтверждается (хотя и в иных, несколько насмешливых тонах) все то, что я рассказал о причудах Соловьева.

С Владимиром Сергеевичем я встречался еще несколько раз у Надежды Евгеньевны в Петербурге. По-прежнему он юношески весел бывал с нами, угощал терпентинными леденцами, декламировал свои пародии на декадентских поэтов. Вспоминается мне и его чтение у Ауэр глав из «Оправдания добра». К этой замечательной книге я возвращался впоследствии с особым вниманием, здесь русская этическая мысль выразилась, может быть, убедительнее, чем где бы то ни было...

Скончался он в 1900 году, в июле. Присутствовать на похоронах мне не довелось: сейчас же после университетских экзаменов в это лето я уехал за границу.

Так и скрылись от меня оба почти вместе — Георг Брандес, «большой человек» Запада, радужно сверкавший самолюбивой мыслью, и большой русский европеец, излучавший свет мудрости и беседовавший с призраками, — Владимир Соловьев. Так и вспомнились вместе.





С. К. МАКОВСКИЙ

Последние годы Владимира Соловьева

Говорить о Владимире Соловьеве (и о человеке и о поэте-мыслителе) дает мне некоторое право то, что для меня живет он не только в своих и о нем написанных книгах. Я знал его лично в годы моей юности, воспринял живой его образ, такой удивительный и внешнею, иконописно-пророческой, и пронзительной духовностью. Целый месяц встречался с ним изо дня в день в 1895 году, видел и позже, притом в дружеской семейной обстановке, располагавшей Владимира Сергеевича к откровенности. Я разумею семью Ауэр, о которой я вспоминаю в моей книге «Портреты современников», рассказывая, как судьба свела меня с Соловьевым и датским критиком Георгом Брандесом у Рауха, в пансионе близ Иматры, куда приезжал работать из Петербурга сорокадвухлетний тогда (хоть и казался гораздо страшнее) Соловьев и где проводили Ауэры лето: Лев Семенович (знаменитый скрипач), жена его Надежда Евгеньевна, женщина донельзя обаятельная, умственно и душевно чуткая, и их четыре дочери. В качестве «друзей детства» девочек Ауэр прожили мы тогда с моей сестрой Еленой, начинавшей художницей, весь август в этом финляндском пансионе.

Здесь, на берегу озера Сайма, «где самые звуки звучат тишиной, не смущая безмолвной отрады» ^{*1}, после почти двадцатилетнего перерыва возобновились отношения Надежды Евгеньевны с Соловьевым. Еще в 1876 году, доцентом Московского университета в заграничной командировке (после защиты диссертации против позитивизма — «Кризис западной философии» и знаменитой поездки в Египет на «свидание» с «Божественной Софией»), он встретил Надежду Евгеньевну в Италии. Совсем юная тогда, она путешествовала с одной из своих приятельниц.

* Из стихотворения, посвященного Соловьевым Н. Е. Ауэр.

Вместе поднимались они на Везувий. По дороге Соловьев упал с лошади, спасаясь от пристававших к нему мальчишек-проводников, ушиб ногу, должен был отлеживаться в неаполитанской больнице. Надежда Евгеньевна не без юмора рассказывала о необыкновенно расточительной его щедрости и полной неприспособленности к практической жизни. В ее рассказе звучало и воспоминание об уходе за нею молодого, легко воспламенявшегося доцента (он и сам вспоминает об этом увлечении в письме к брату Михаилу²). Существует мнение у биографов Соловьева, что был он знаком с Н. Е. и раньше³, четыре года до того, на итальянской Ривьере, — с нее будто бы написал героиню Жюли в своей ранней повести «На заре туманной юности». Но об этом я ничего не слышал от Ауэров.

Летом 1895 года, у Рауха, Соловьев дружески сошелся с Надеждой Евгеньевной, и эта умственная близость оставалась неомраченной в его последние годы. У меня создалось впечатление, что ни с кем не общался он так душевно-просто, никому не поверял чистосердечнее своих тайных дум и невероятнейших духовных «приключений». А из этих приключений, из этого мистического опыта, если угодно, и вырос христианский эзотеризм Соловьева, развитый им при помощи блестящей диалектики в очень сложное учение о Богочеловечестве и о св. Софии Премудрости Божией.

Н. Е. Ауэр была одной из тех, кому он верил и кому доверял свои таинственные видения. Искушенная во всех тонкостях интеллектуализма конца века, она восторгалась гениальностью Соловьева, умела его слушать и ничему не удивлялась. После Рауха он часто навещал ее и в Петербурге (больше по вечерам), чтобы поделиться мыслями и рассказать о являвшихся к нему запросто призраках... Он любил говорить о мире загробном. Может быть, уже предчувствовал смерть? В одном стихотворении с посвящением Надежде Евгеньевне так передает он ответ сердца на зов умерших:

Что ж он пророчит мне, настойчивый и властный
Призыв родных теней?
Расцвет ли новых сил, торжественный и ясный,
Конец ли смертных дней?

Но что б ни значил он, привет ваш замогильный,
С ним сердце бьется в лад,
Оно за вами, к вам, и по дороге пыльной
Мне не пойти назад⁴.

После Финляндии, возвратясь в Петербург, я продолжал дружить с Ауэрами, бывал у них постоянно на Крюковом канале,

заслушивался Надежды Евгеньевны, посвящавшей меня и мою сестру Елену Константиновну в новейшую французскую литературу. Она делилась и впечатлениями о Соловьеве, говорила о его видениях. Благодаря ей я понял многое в «Оправдании добра» (Владимир Сергеевич читал отрывки из этой готовившейся тогда к печати книги), многое по молодости лет, вероятно, не понял бы я самостоятельно, хотя именно в эти годы, прочитав историю философии Льюиса⁵ еще в училище Гуревича, я пристрастился к метафизике и в университете (на физико-математическом факультете) с особым вниманием слушал Введенского.

Соловьев, заходя к Ауэрам на Крюков канал, не чуждался нас, молодежи. Мы называли его — *Le prophète*⁶, но он вел себя с нами никак не пророчески. Он любил молодость. Хмуро-замкнутый на людях, он бывал ребячливо-весел, сходя со своего метафизического олимпа, острил, рассказывал анекдоты, угощал наскипидаренными леденцами, «отгоняющими бесов», а мы не стеснялись задавать ему вопросы, старались его разгадать, чуть робея перед ним, таким знаменитым, высокомудрым и необыкновенным, ни на кого не похожим и таким ласково-благожелательным до беспомощности. И в то же время...

В те годы, по примеру большинства открывавших на мир глаза юнцов моего поколения, я был далек от веры, от Церкви. Но мне не были чужды волновавшие тогда многих религиозные проблемы. В те дни я уже читал Ницше, Метерлинка, заграничные издания Льва Толстого, заглядывал в соловьевскую «Критику отвлеченных начал» и в «Чтения о Богочеловечестве». Я спрашивал себя: кто он? почему так зловеще смеется? Христианство представлялось мне улыбчивым, радостным... Какое счастье верить, что есть иное бытие, что смерть — переход в лучший мир! А он то сосредоточенно мрачен, то над кем-то и чем-то трунит, то «отсутствует», словно проваливается куда-то в пустоту от жизни и людей, и тогда веет от него холодом отчуждения, жуткой тишиной.словно два человека в нем, взаимно отрицающих друг друга: один любящий, милый, щедрый, отдающий себя Богу праведник; другой — запредельно-темный, смутно и скрытно страдающий...

В нем поражала эта двойственность или, точнее, раздвоенность. Начиная с самой внешности. Длинный, худой, аскетический. Верхняя часть лица (хочется сказать — лика) светится умом и мечтательной грустью: прекрасный прямой лоб, очень близорукие глаза, глубоко-синие, лучистые, густые черные брови и длинные, до плеч, выющиеся волосы, разлетающиеся во все стороны серебристыми прядями... Но большой рот с широкими

пунцовыми губами, прикрытый седеющей бородой, становился вдруг безобразным, разверзаясь пастью с нецелыми зубами, как зальется он своим неистовым, стонущим на высоких нотах, клочущим хохотом. Воистину пугал этот хохот; если в аду смеются, то не иначе — приходило в голову...

Раздвоенной казалась и вся личность Соловьева, с его из ряда вон выдающимся умом, можно сказать гениально отточенным, логически непогрешимым, и с другой стороны — с его запутанным мистическим легковерием, иначе не скажешь. Он не сомневался в реальности своих «видений» *, беседовал с призраками подолгу в бессонные ночи, а суеверные повадки его, которых он не считал нужным скрывать, доходили до предельной странности — за одну из этих повадок, за «очистительный от бесов терпентин», он, как мы знаем, поплатился жизнью, исподволь отравив себя скипидаром.

Антиномичность Соловьева сказывалась и в том, как он, добрый и жалостливый к людям, бывал жестко-насмешлив и высокомерен, когда чувствовал себя задетым кем-нибудь из инакомыслящих, и как любил он, целомудреннейшей жизни мыслитель, сомнительные остроты, грубоватые каламбуры, сдобренные нередко непристойным словом, и как был готов самое самое святое вышутить, обратить в курьез, в карикатуру, в буффонаду...

Характерны для него в этом смысле иные лирические стихи, в особенности любовные. За два года до нашего знакомства, уже на склоне лет, он «без ума» влюбился в молодую женщину — С. М. Мартынову. Этой единственной его любви по напряженной страстности посвящена большая часть его лирических стихов, вышедших отдельной книжкой как раз в 1895 году:

Пусть осень ранняя смеется надо мною,
Пусть серебрят мороз мне темя и виски,
С весенним трепетом стою перед тобою,
Исполнен радости и молодой тоски...

Но вот что пишет он об этой «молодой тоске» в письме к С. Венгерову: «На вопрос ваш, как я поживаю, прямого ответа дать не могу. Я умер, о чем, бесспорно, свидетельствует следующая эпитафия, высеченная (вопреки закону, избавляющему женский род от телесного наказания) на моем могильном камне:

* В биографическом очерке, приложенном к X тому сочинений Соловьева, Э. Л. Радлов многозначительно замечает: «Признание реальности мистических явлений вытекало из признания зависимости конечного бытия от Абсолюта; существование же Абсолюта было для Соловьева аксиомой веры» ⁷.

Владимир Соловьев лежит на месте этом;
Сперва философ был, а ныне стал скелетом.
Иным любезен быв, он многим был и враг;
Но, без ума любив, сам свергнулся в овраг.

Он душу потерял, не говоря о теле;
Ее диавол взял, его ж собаки съели.
Прохожий, научись из этого примера,
Сколь пагубна любовь и сколь полезна вера»⁸.

В другой раз, обращаясь к самой Мартыновой, он продолжает этот «юмор висельника»:

Там под липой у решетки
Мне назначено свиданье...
Я иду, как агнец кроткий,
Обреченный на закланье.

Все как прежде: по высотам
Звезды старые мерцают,
И в кустах по старым нотам
Соловьи концерт играют.

Я порядка не нарушу, —
Но имей же состраданье:
Не томи мою ты душу,
Отпусти на покаянье.

А любил он тогда со всей восторженностью, на какую был способен, любил «безумно», соглашался все отдать за ласку любимой — и гений свой, и славу, и самое жизнь. Он стал на себя непохожим, «едва удавиться с тоски не успел», как он признается в одном из тогдашних стихотворений, а в других — называет любовь свою «роковой», «беззаветной», «всепобедной».

Надо помнить при этом, что «земные» любви Соловьева неизбежно соприкасались с «любовью небесной», с мистическим устремлением к некой божественной сущности. Он писал Мартыновой, своему «жестокому» и «сладостному» другу (когда не называл ее «холодной злой русалкой»):

О, что значат все слова и речи,
Этих чувств отлив или прибой,
Перед тайною нездешней нашей встречи,
Перед вечною, недвижною судьбой...

Но, славя «нездешнюю» встречу, он же не скупился на сарказмы:

О, как любовь все изменила!
Я жду во прахе недвижим,
Чтоб чья-то ножка раздавила
Меня с величием моим»⁹.

Мы знаем, «юмор висельника» не покинул его и тогда, когда воочию совершилось чудо, и она, сама «Вечная женственность», несказанно прекрасной невестой Христовой явилась перед ним в африканской пустыне... Стихотворение «Три свидания», автобиографическое во всех деталях, лучшее тому доказательство.

Близ Каира философ уходит один в пустыню, чтобы встретиться с Ней, с Той, которая сказала ему «однажды в тихий час ночью»: «В пустыне я. Иди туда за мной».

Кто она? Существо неизреченно-высокое, женское олицетворение мировой души, посредница между землею и небом. Для Соловьева образ ее сливается с дохристианским образом Афродиты-Урании и с Эросом, побеждающим смерть. Он обращается к ней:

Заранее над смертью торжествуя
И цепь времен любовью одолев,
Подруга вечная, тебя не назову я,
Но ты почувешь трепетный напев...

И тут же как зло вышучивает он себя в роли спешащего на свидание друга Божественной:

Смеялась, верно, ты, как средь пустыни,
В цилиндре высочайшем и в пальто,
За черта принятый, в здоровом бедуине
Я дрожь испуга вызвал...

Мало того. Тот же Соловьев написал позднее стихотворный фарс на тему Софии «Белая лилия», «граничащий с мистической порнографией», заявляет Сергей Булгаков, которого никак не заподозришь в неприязни к автору «Трех свиданий». «Это, — добавляет Булгаков, — одно из двусмысленных и неприятных произведений Соловьева» *. Однако тот же автор считает стихи Соловьева софийного цикла имеющими не только поэтический, но как бы и заклинательный характер. «Это впечатление косвенно подтверждается, — говорит он, — и тем обстоятельством, что в 1874 году, когда Соловьев испытывал первый подъем софийного творчества (второй был в самые последние годы его жизни), в альбоме его записана следующая «заклинательная» молитва об откровении великой тайны:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Неизреченным, страшным и всемогущим именем заклинаю богов, демонов, людей и всех живущих. Соберите воедино лучи

* *Булгаков Сергей.* Тихие думы: Из статей 1913—1915 гг. М., 1915. С. 112¹⁰.

силы вашей, преградите источник вашего хотения и будьте участниками молитвы моей: да возможем уловить чистую глубину Сиона, да обретем бесценную жемчужину Офира, и да соединятся розы с лилиями в долине Саронской. Пресвятая Божественная София, существенный образ красоты и сладость сверхсущего Бога, светлое тело вечности, душа миров и единая царица всех душ, глубиною неизреченного и благодатного первого сына твоего и возлюбленного Иисуса Христа молю тебя: снизойди в темницу душевную, наполни мрак наш своим сиянием, огнем любви своей расплавь оковы духа нашего, даруй нам свет и волю, образом видимым и существенным явись нам, сама воплотись в нас и в мире, восстанавливая полноту веков, да покроется глубина пределом, и да будет Бог все во всем».

Эта молитва — перевод как будто некоего гностического текста. Тогда же Соловьевым написано не менее гностическое стихотворение «Песня офитов».

Белую лилию с розой,
С алою розой мы сочетаем.
Тайной пророческой грезой
Вечную истину мы обретаем.

Вещее слово скажите!
Жемчуг свой в чашу бросайте скорее,
Нашу голубку свяжите
Новыми кольцами древнего змея.

Вольному сердцу не больно...
Ей ли бояться огня Прометея,
Чистой голубке привольно
В пламенных кольцах могучего Змея.

Пойте про ярые грозы —
В ярой грозе мы покой обретаем...
Белую лилию с розой,
С алою розой мы сочетаем.

Достаточно этого стихотворения, чтобы узнать эзотерические корни соловьевской философии. Он кажется больше гностиком-магом, чем богословом, и его «разгадка» бытия, в сущности, сводится к мистической эротике, к боготворению Св. Софии; так толкует он слова апостола: «Бог любви есть». Соловьев, безусловно, верил в реальность воплощения Св. Софии, «ощущая ее близость в течение продолжительного времени» еще тогда, перед «вторым свиданием» в Британском музее. Стихами он сказал так:

Не трижды ль ты далась живому взгляду,
Не мысленным движением, о нет,
В предвестие, иль в помощь, иль в награду
На зов души твой образ был ответ...

О лучезарная! Тобой я не обманут:
Я всю тебя в пустыне увидал...

«В “Трех свиданиях”, — замечает С. Булгаков (в «Тихих думках»), — дано наиболее явное, не подлежащее никакому перетолкованию повествование об особом, личном характере отношений, существовавших у Вл. Соловьева и Вечной Женственности, принимавшей для него черты ипостасной женщины. Повторные свидетельства о том мы находим в ряде его стихотворений». Когда-то, в 1882 году, он писал:

Под чуждой властью знойной вьюги,
Виденья прежние забыв,
Я вновь таинственной подруги
Услышал гаснущий призыв.

И с криком ужаса и боли,
Железом схваченный орел,
Затрепетал мой дух в неволе
И сеть порвал и ввысь ушел...

А вот из стихотворения, написанного за два года до смерти:

Лишь забудешься днем иль проснешься в полночи —
Кто-то здесь... Мы вдвоем, —
Прямо в душу глядят лучезарные очи
Темной ночью и днем...

«В истории поэзии, мистики, умозрения, — настаивает С. Булгаков, — Владимир Соловьев является единственным, который не только имел поэтическое и философское созерцание относительно Софии, но приписывал себе еще и личные к ней отношения, принимающие эротический характер, разумеется в самом возвышенном смысле. Поэтому земную любовь он ощущает для себя, в общем, как некоторое падение или измену. Он не мог сделаться отцом или мужем, ибо чувствовал себя как бы обреченным... В свете этой, так сказать эротической, гносеологии у Вл. Соловьева София впервые является не только метафизической сущностью, но и ипостасью, конкретной женскою личностью, которая может назначать свидания, писать записочки (в соловьевском архиве нашлись такие, написанные «автоматическим письмом». — С. М.) и вообще «возиться» со своими адептами, по фамильярному выражению Вл. Соловьева.

И не только поэтическими метафорами и гностической символикой выразил он свое понимание любви как глубочайшей тайны бытия. В статье «Жизненная драма Платона» (1890) он исповедует, по существу, то же самое на языке мастерски отточенных силлогизмов, говоря о пяти главных путях любви. «Первый, адский путь... Второй, менее ужасный, но также недостойный человека... путь животных, принимающих Эрота с одной его физической стороной... Третий, действительно человеческий путь Эрота, есть тот, на котором полагается разумная мера животным влечениям, предел, необходимый для сохранения и прогресса человеческого рода». Иначе говоря — брак, Гименей. «Но человек, — Соловьев повторяет одну из любимых своих мыслей, — тем-то и выделяется по преимуществу между прочими тварями, что хочет и может становиться выше себя самого; его отличительный признак есть именно эта благородная неустойчивость, способность и стремление к бесконечному росту и возвышению... Недовольство этим законным (третьим) путем у иных, у большей части, привело к печальному возврату на низшие... беззаконные пути, возвращало людей к доисторическому обычаю звериному, а то и к допотопным глубинам сатанинским. Но некоторые уклонялись от человеческого пути, честно старались заменить его не низшими, беззаконными, а высшими, или сверхзаконными, путями, из коих первый (в общем счете четвертый) есть аскетизм (половой, или безбрачие), стремление более чем к ограничению чувственных влечений, к совершенной их нейтрализации отрицательными усилиями духа в воздержании...» Однако «это не есть высший, окончательный, сверхчеловеческий путь любви. Само монашество считает и называет себя чином ангельским; истинный монах носит образ и подобие ангела, он есть “ангел во плоти”; за величайшим монахом западного христианства, святым Франциском Ассизским, остается прозвище *poverello* ¹¹. Но с христианской точки зрения ангел не есть высшее из созданий. Если человек по существу и преимуществу есть образ и подобие Божие, то носить образ и подобие служебного духа может быть для него лишь временной, предварительной честью. Те самые восточные отцы Церкви, которые и восхваляли и установили “ангельский чин” монашества, они же высшею целью и уделом человека признали совершенное соединение с Божеством — обожествление, или обожение (*θεωσις*, а не *αγγελωσις*)».

Итак, должен быть для человека, кроме и выше четырех указанных путей любви, двух проклятых и двух благословенных, еще пятый, совершенный и окончательный путь истинно пере-

рождающий и обожествляющей любви. «Эта любовь — “духовно-телесная”, то есть совершенное соединение божеского с человеческим. Такая любовь и есть “подвиг духовно-физический и богочеловеческий”».

Соловьев считает свою любовь к Софии именно такой любовью, но, мечтая воплотить ее в действительность, соединить небо и землю, разве все время не соскальзывает он к некой магической гордыне? Отсюда — его мука и поистине жуткий роман с «Подругой вечной»...

От впечатления раздвоенности Соловьева я не мог отделаться и впоследствии, читая внимательно его сочинения, захватывавшие меня широким замыслом, мастерством изложения, непогрешимостью логики и верой в человека. Светом богочеловеческой мудрости сквозит мысль Соловьева — метафизическая ее глубина и вытекающие из нее раздумья на разнообразнейшие темы. И в то же время как часто в этой мысли ощущается что-то недоговоренное, смутное, темное, что-то, с чем он внутренне боролся, заглушая страшным своим смехом испуг, может быть — отчаяние...

Раздвоенностью можно объяснить отчасти и ту противоречивую последовательность, с какой менялось его мировоззрение. После двухлетнего приятия материалистического безбожия на естественном факультете университета выросший в религиозной семье внук священника Владимир Соловьев вернулся при переходе на филологический факультет к вере в Бога, к христологии и уже не изменял больше вновь обретенной вере до конца дней. Но путь его богопознания был долгий и спотыкающийся путь. Сколько различных этапов на нем, взаимно противоречащих друг другу философских «вех», начиная с пантеизма Спинозы (его первой метафизической любви) и попутно так основательно усвоенной им античной диалектики, от Платона и неоплатоников к православной мистике через Канта, Шопенгауэра, Э. Гартмана, Фихте, и в особенности Шеллинга и эзотериков XVII—XVIII веков, Якова Беме, Парацельса, Сведенборга и ряда других мыслителей, от которых исходит то «посвятительное знание», что мы называем христианствующим эзотеризмом.

Ни на одном из перечисленных учителей Соловьев не задерживался (если не считать Платона, диалоги которого в конце жизни он собирался заново перевести и распределить в известном порядке). Он пользовался своими предшественниками постольку, поскольку они были нужны ему в подтверждение его софиологии, этики, эстетики и, наконец, эсхатологии (в предсмертные годы) и поскольку, повторяю, не было в нем самого того

духовного единства, каким создается гармоническое мироприятие.

Вера Соловьева в Христа, Сына Божия, и в падшего человека, им, Спасителем, возвращаемого Богу, — человека, который спасется от греха и смерти и тем преобразит материальный, «эмпирический» мир и сделает его опять духовно-сущим в Боге, освободленным от рабства времени и пространства, — эта вера в конечное преображение вселенной, по глубокому убеждению Соловьева, нуждалась в доказательствах разума, в диалектической силлогистике — не только в вере, в религиозном вдохновении. Спекулятивными ухищрениями разрешилась для него проблема бытия. В упомянутой уже статье о жизненной драме Платона он заявляет решительно: «Исключительно фактическая, слепая вера целесообразна достоинству человека». — И цитирует Платона: «Великие благодетели человечества — Прометей, Деметра и Дионис. Но Триждывеличайшим называется и есть отец наш Гермес Трисмегист. В телесный образ человеческого общежития он вложил живую душу и двигательницу жизни — философию не для того, чтобы даром и в готовом виде получил человек вечную истину и блаженство, а для того, чтобы трудовой путь человеческий к истине и блаженству огражден был с двух сторон — и от суеверного демонского трепета, и от тупой животной безотчетности».

Разве такое утверждение естественно в устах догматического, ортодоксального христианина?

Не буду останавливаться на этом основном противоречии в учении Соловьева. Скажу только, что в конечном счете учение Соловьева сводится к попытке при помощи различных, поочередно увлекавших его умозрительных систем примирить вечносущее Добро, Абсолют, Трехипостасного Бога, всеобъемлющего и всетворящего, с пребывающим во зле миром материи и силы, миром земного человека, отпавшего от Божества, злоупотребившего дарованной ему свободной волей. Но человек должен вновь соединиться с ним, творцом вселенной. И тогда мир будет преображен и вернется к райскому всеединству. Роль, приписываемая Соловьевым человеческому разуму в этом теогоническом процессе, очень велика и приближает нашего философа к гуманистам-теософам Возрождения.

Отсюда — и этика Соловьева, вытекающая из христианских аксиом.

Когда я встретился с Соловьевым в 1895 году, он как раз завершал свою христианскую этику — «Оправдание добра». Тогда он пришел уже к известному равновесию, покончив счеты с

любовью земной после горестной страсти к Мартыновой, и, кончая этическую часть своей философской программы, сосредоточился на исторических судьбах мира, на предвидении того, что ожидает человечество, если оно не переродится духовно, т. е. — гибели, хотя бы частичной и временной, по пророчеству Иоаннову.

Но, несмотря на то что в последние годы очень многое отстоялось в его мировоззрении и от многого он отошел — в первую очередь от идеи католической теократии с римским папой и православным царем и «пророком» над ними (как единственного пути спасения) и заодно от славянофильского мессианства, — не является ли именно этот период перед концом самым противоречивым, самым психически раздвоенным? Биографы Соловьева называют этот период «эсхатологическим».

Многих в те годы, последние годы века, возмущал Соловьев и как политический, и как религиозный мыслитель. В частности, его мистика вызывала самые желчные нападки; одни поэты-символисты сразу признали ее (от соловьевского корня, от теургического уклона его стихотворений — все ветвистое древо нашего символизма). Конечно, были у него и верные друзья и почитатели, но — горсточка. Широким признанием ни в «правых», ни в «левых» кругах он не пользовался. С одной стороны, был он слишком независим и блестящ для общества, привыкшего думать «по трафарету», с другой — было действительно что-то в его умозрительной сложности, мешавшее ясному его пониманию. Ему не прощались и дерзкая прямолинейность суждений, и неколебимая вера в свою правоту. Помню, какое возмущение вызвала в юбилейный пушкинский, 1899, год статья Соловьева, посвященная роковой дуэли¹². Мысль о моральной ответственности за нее самого поэта (с христианской точки зрения) молва обратила в какое-то злорадное «прятие» философом смерти Пушкина. Проповедь Соловьева о примирении православной и католической церковей для общей борьбы с безбожным веком была понята как антинациональная утопия, как измена русскому православию*.

Даже самые чуткие психологи зачастую неверно судили о нем, сбивые с толку его «необыкновенностью» и «вседержанием». В. В. Розанов в книге «Литературные изгнанники» (СПб., 1913) так характеризует Соловьева, несмотря на долгое знакомство и

* На самом деле Вл. С. Соловьев никогда не менял исповедания, а только причастился однажды по католическому канону в знак этого примирения («личной унии»).

дружеские отношения с ним, хотя и прерывавшиеся резкой полемикой: Соловьев «весь был блестящий, холодный (?), стальной (?). Может быть, было в нем “божественное”, как он претендовал, или, по моему определению, глубоко демоническое, именно преисподнее; но ничего или очень мало в нем было человеческого (?)... Сына Человеческого (по-житейскому) в нем даже не начиналось — и, казалось, сюда относится вечное оплакивание им себя, что я в нем непрерывно чувствовал во время личного знакомства. Соловьев был странный, многоодаренный и страшный человек. Несомненно, что он себя считал и чувствовал выше всех окружающих людей, выше России, ее Церкви, всех тех “странников” и мудрецов “Пансофов”, которых выводил в «Антихристе» и которыми стучал, как костяшками, на шахматной доске своей литературы... Пошлое, побежавшее по улицам прозвище его “Антихриста”, “красивого брюнета Антихриста”, не так пошло (!) и, собственно, сказало в улице под неоодолимым впечатлением от личности и от всего в совокупности»¹³.

Конечно, эта розановская характеристика неверна. Глубокой человечности, самоотверженной доброты было в Соловьеве куда больше, чем претенциозной и холодной самонадеянности. И уж никак не было его христианское «не от мира сего» — демоническим, преисподним, хотя и удивлял он подчас своими странными выходками, а его «диавольский», надрывный хохот пугал впечатлительных современников.

Владимир Соловьев был во всех своих писаниях и в жизни проповедником, моралистом-христианином, отдавшим себя «спасению человечества» и через него и всего мироздания. Проповедь добра была его делом, его подвигом. Не будучи аскетом в первоначальном смысле, он был подвижником. Он не умерщвлял плоти, как анахорет-пустынник, но в трудах умственных ежедневно, ежечасно отдавал всего себя любви к людям, веруя безусловно в человека, подобие Божие, всю творческую жизнь боролся с дьяволом и... кончил жизнь в непосильной схватке с духом зла.

Итак, Соловьев не был балован сочувствием соотечественников, а на Западе никто почти им не интересовался, несмотря на книгу его, сочувствующую католицизму, на французском языке «*La Russie et l'église universelle*»¹⁴. В России лишь позднее, когда из сочинений Соловьева стала вырастать целая философская школа, отмеченная очень русским тяготением к богословию (Флоренский, С. Трубецкой, Карсавин, С. Булгаков, Франк, Бердяев, Вышеславцев и др.), прекратились злостные нападки на

философа из разных лагерей. Ни к одному из них он не принадлежал. Этим все сказано. У нас «одиначек» не терпят. Еще в год своей смерти пришлось Соловьеву, выпуская стихотворения третьим изданием, энергично защищать свою опороченную Музу. В предисловии (оно было повторено и в четвертом издании), говоря о своих софийных стихах, он так ответил на выпады «неофициальных Катонов», обвинявших его в еретической пагубе: «Более серьезных оговорок требуют два других произведения: “Das ewig Weibliche” (слово увещательное к морским чертям) и “Три свидания”. Они могут дать повод к обвинению меня в пагубном лжеучении. Не вносится ли тут женское начало в самое Божество? Не входя в разбор этого теософского вопроса по существу, я должен, чтобы не вводить читателя в соблазн, а себя оградить от напрасных нареканий, заявить следующее: 1) перенесение плотских, животное-человеческих отношений в область сверхчеловеческую есть величайшая мерзость и причина крайней гибели (потоп, Содом и Гоморра, «глубины сатанинские» последних времен); 2) поклонение женской природе самой по себе, то есть началу двусмыслия и безразличия, восприимчивому ко лжи и злу не менее, чем к истине и добру, — есть величайшее безумие и главная причина господствующего ныне размягчения и расслабления; 3) ничего общего с этой глупостью и тою мерзостью не имеет истинное почитание вечной женственности как действительно от века воспринявшей силу Божества, действительно вместившей полноту добра и истины, а через них нетленное сияние красоты.

Но чем совершеннее и ближе откровение настоящей красоты, одевающей Божество и его силою ведущей нас к избавлению от страдания и смерти, тем тоньше черта, отделяющая ее от лживого ее подобия — от этой обманчивой и бессильной красоты, которая только увековечивает царство страданий и смерти. Жена, облеченная в солнце, уже мучается родами: она должна явить истину, родить слово, вот древний змий собирает против нее свои последние силы и хочет потопить ее в ядовитых истоках благовидной лжи, правдоподобных обманов. Все это предсказано, и предсказан конец: в конце Вечная красота будет плодотворна и из нее выйдет спасение мира, когда ее обманчивые подобия исчезнут, как та морская пена, что родила простонародную Афродиту. Этой мои стихи не служат ни единым словом, и вот единственное неотъемлемое достоинство, которое я могу и должен за ними признать»¹⁵.

Никогда не работал он усерднее, чем в эти предсмертные годы: свою христианскую метафизику он перестроил, ревностно пере-

водил Платона, выпускал издание за изданием сборники своих стихотворений, проявил лихорадочную деятельность как публицист и всесторонний эрудит, помещал «Воскресные письма» (на разнообразнейшие темы) в «Неделе» Гайдебурова¹⁶, написал около шестидесяти малых и больших статей для словаря Брокгауза и Ефрона, обнаружив тончайшую осведомленность в вопросах догматических, историко-философских и литературных, блестяще полемизировал с Введенским (о Спинозе)¹⁷, с Львом Толстым (о непротивлении злу)¹⁸, с Розановым и Тихомировым (о свободе совести и веротерпимости)¹⁹, стал постоянным сотрудником журнала «Вестник Европы».

В то же время мистические переживания его становились все более острыми, с уклоном к таким фантазмам воображения, которые не назовешь иначе как... болезненной аберрацией. Образ Софии Премудрости Божией, подробно истолкованный им как соборная душа человечества, стал для него навязчивой идеей. Софийные «видения» молодых лет к нему не возвращались как будто, но мечта о вечной женственности так пронзила его религиозную настроенность, что обернулась постепенно бредовым диалогом с «Подругой вечной». Он писал ей записки, и ответы на них тоже писал в состоянии, подобном трансу. После его смерти в его бумагах осталось много таких записок и ответов. Но было несколько — подписанных и не его рукой, а действительно... «Софией». Автором их была женщина, о которой философ до того понятия не имел.

Бред гениальных людей заражает и без слов, на расстоянии. В Нижнем Новгороде нашлась некая Анна Николаевна Шмидт²⁰, немолодая женщина, по профессии домашняя учительница и журналистка. Была очень бедна и самоотверженно добра, в конце жизни содержала престарелую мать. В журнале Мережковских «Новый путь» (1904) была помещена ее статья «О будущности»²¹ за подписью «Тимшевский». В этом журнале был помещен и ее «ответ» Андрею Белому²². Встречавшие ее после смерти Соловьева не сомневались, что перед ними помешанная.

Так говорил о ней и Максим Горький в своих «Воспоминаниях»²³. Но С. Булгаков, разбиравший рукописи А. Н. Шмидт, принял всерьез ее мудрость, хотя и признает эту мудрость «жуткой». Произведения А. Н. Шмидт, заявляет он в главе «Тихих дум», им посвященной, «трактуют о последних вопросах христианского сознания, и притом с дерзновенностью, не знающей границ. Они полны догматических новшеств в учении о Св. Духе, Богоматери, о Церкви, о Христе и Святой Троице...» «О том, что может родиться лишь в недрах церковного самосознания, она го-

ворит... от имени “откровения”, каковым и считает свой Третий Завет. В себе она ощущает воплотившийся дух Церкви, одновременно единоличной и соборной, и чувствует себя находящейся в общении с небесным “возлюбленным”, который впоследствии оказывается воплощенным в Вл. Соловьеве». «Несомненно, — добавляет автор «Тихих дум», — найдутся многие, кому мистика А. Н. Шмидт покажется просто бредом, безумием и вздором или же совокупностью хул и ересей, порожденных вдохновением “духа лестча”».

Г-жа Шмидт не читала Соловьева до знакомства с ним, но как бы подслушала его мистическое учение и до такой степени на расстоянии прониклась тайными думами философа, что вообразила себя той, кого он называл «Подругой вечной», т. е. воплощением Св. Софии на земле. Она стала писать письма Соловьеву, убеждая его в том, что, подобно ей, «мистической Невесте» его, и он, Соловьев, суженый ее, «предвечный Жених».

Соловьев отнесся в ней с подобающей осторожностью, но она продолжала убеждать его своими письмами, все более пламенными, и теоретическими статьями на те же его темы — о мистической любви, о «Третьем Завете».

А. Н. Шмидт была, по-видимому, существом с большой интуицией. Впоследствии появилась выпущенная книгоиздательством «Путь» (вместе с несколькими письмами к ней Соловьева) часть оставшихся после ее смерти рукописей, о которых тот же Сергей Булгаков заявляет: «Здесь мы имеем не только интереснейший человеческий документ, историю души совершенно исключительной по своей судьбе, не только сокровенную страницу интимной биографии Владимира Соловьева, но и первостепенной важности мистический трактат, который смело выдержит сравнение с произведениями первоклассных европейских мистиков, как Я. Беме, Портедж, Сведенборг...» В ее писаниях — «убеждение в близости конца мировой истории и воля к концу... и проникновенное истолкование Апокалипсиса, отнюдь не похожее на рационалистическое искание ключа к “пророческой азбуке” (от Ньютона до Вейнингера). В то время когда Достоевского начинал охватывать апокалиптический трепет, а Вл. Соловьев еще не приближался к эсхатологическим темам, нижегородская Сивилла заносила на бумагу свои загадочные видения и прозрения в “будущность”, по-своему разгадывая тайну России».

Булгаков ставит вопрос: «Кем же Соловьев должен был почитать самого себя, счастливого избранника, удостоенного любви Св. Софии и свидания с нею лицом к лицу, без всякого посредства земной женщины? Не ставить этого вопроса перед собой он не

мог — он вовсе не отличался наивной непосредственностью, да и слишком привык отдавать себе отчет в важнейших вопросах. И однако во всех томах его сочинений мы не находим никакого намека на ответ (если не считать за таковой до известной степени автобиографическую и как бы самобичующую «Повесть об антихристе»). В своей глубокой отъединенности и замкнутости, столь противоречащей внешней доступности, Соловьев таил от людей, а может быть, и должен был таить, свое самое интимное, и в этой обреченности тайне было и нечто нечеловеческое, сверхчеловеческое».

Как бы то ни было, я никак не могу согласиться, внимательно прочитав все писания г-жи Шмидт и письма к ней Владимира Соловьева, с высокой оценкой Булгаковым ее мистики и ее «влияния» на Соловьева. К тому же письма к ней Соловьева ясно показывают, что философ прекрасно отдавал себе отчет в том, что имеет дело с душевнобольной женщиной.

Логическая мысль и бредовая одержимость того или другого рода тесно соприкасаются в целом ряде психических заболеваний. Пристальное общение с больным нужно иногда врачу, чтобы напасть на его чувствительную «точку». В. А. Тернавцев²⁴, которому А. Н. Шмидт послала статьи для журнала «Новый путь» (с анаграммной подписью А. Тимшевский» и «С»), так же как Мережковский, не сразу догадался, что перед ним умалишенная.

Долго таила А. Н. Шмидт теософскую проповедь свою в ожидании «откровенного» часа. И этот час настал, когда она ознакомилась с софиологией Владимира Соловьева. Тут бред ее вспыхнул ярко: для нее началось христианство «Третьего Завета», христианство Духа Святого, озаменованное вторым пришествием и таинственным браком Софии Премудрости Божией, небесной Церкви Христовой, души мира (которую она, как жемчуг, называет «Маргаритой»), с Женихом ее в вечности Иисусом Христом (по небесному имени «Рафаилом»). И этого мало: земным воплощением «Маргариты» она почувствовала с фанатичной убежденностью, свойственной безумию, себя, Анну Шмидт, а новым воплощением Христа-Рафаила, Женихом своим возлюбленным, — Соловьева.

Открылось это ей весной 1900 года, после того как Соловьев прочел публично свою «Повесть об антихристе». Но гораздо раньше, еще в 1886 году, А. Н. Шмидт так начинала свой «Третий Завет»:

«1. Меня избрал Бог орудием своим, чтобы через меня в третий раз возвестить свое откровение людям своим и объявить им волю свою и призвать их к великому делу своему.

2. В первый раз Он говорил народу своему Израилю через Моисея и, вручая ему закон свой, открылся ему как единый Бог.

3. Во второй раз Он сам явился в Израиле от его плоти и крови и возвестил ему имена Отца, и Сына, и Святого Духа.

4. Ныне через меня Он хочет опять обратиться и к погибшим овцам дома Израилева, и к другим своим овцам, которые и не сего двора, и объяснить им свои Три Имени, для чего и поручил мне открыть людям многие тайны.

5. А я, которой Он это поручил, я — Церковь Христова, единая и живая, дух соборный и апостольский.

6. Я та, о которой ап. Павел сказал: “По сему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два в плоть едину. Тайна сия велика есть”, говорю по отношению к Христу и Церкви...» *.

Итак, уже с 86-го года она втайне признавала себя олицетворенной Церковью Божией, а пятнадцатью годами позже, узнав своего Возлюбленного в образе Соловьева, она доверила ему «Тайну». Затем, в 1903 году, за два года до смерти (от воспаления мозга), следующим образом уточнила она эту «Тайну» в письме к В. А. Т[ернавцеву], изложив ему по-новому несколько членов Символа веры:

«Узнайте же три главных положения моей Богооткровенной святой веры, т. е. нового исповедания единой христианской веры. Во-первых, *безусловно все догматы и предания православия*. Во-вторых, новое освещение их, выражающееся так: *8-й член Символа: И в Духа Святого, Дочь Божию, живородящую, от Отца исходящую, в Деву Марию, при Благовещении архангела воплотившуюся, со Отцом и Сыном спокланяемую и славимую, говорившую через пророков. 9-й член: И в Церковь единичную, предвечную, святую, соборную и апостольскую жену Сына Божия, мать его предвечных дней — ангелов, младенцев, мать и всех христиан, возрожденных им через нее, праматьер же всех духов: на земле дважды воплотившуюся, и т. д. 7-й член: И восшедшего на небеса и сидящего одесную Отца: оставаясь в нетленном теле на небесах, вторично воплотившегося на земле в 1853 году человеческим естеством (год рождения Вл. Соловьева. — С. М.). Божеское же естество вторично принявшего в 1876 г., при видении Церкви в Египте (второе «свидание» Вл. Соловьева с «Вечной Подругой». — С. М.), и скоро грядущего судить живых и мертвых. Его же Царствию не будет конца» **.*

* Из рукописей А. Н. Шмидт. М.: Путь, 1916. С. 280.

** Там же. Письмо к В. А. Т. С. 270.

После этих цитат говорить подробно о «Третьем Завете» я не буду, разумеется. Но вот — в двух словах: А. Н. Шмидт тоном власть имущего пророка рассказывает на протяжении двухсот страниц Священное Писание, все главное, по ее мнению, содержание Библии и дальнейшую судьбу христианства до наших дней: довременное бытие Бога-Любви и единосущное триединство «Предвечной Семьи» (Бога-Отца, Сына и Дочери), мятеж злого духа, дни творения, блаженство райского человека и его грехопадение, первое, допотопное человечество и Ноевы поколения, историю евреев и жизнь Христа, ереси первых веков и Вселенские соборы, папство, разделение церквей, протестантизм, открывший двери современному безбожию и царству антихриста по откровению Апокалипсиса, и наконец — возрождение Церкви небесной, победное воцарение последней, вселенской новоизраильской ортодоксии и соединение ее с Христом второго пришествия. Все это — в аспекте непререкаемого православия, но без полемических выпадов против других исповеданий. А. Н. Шмидт — патриотка, всемирная правда мерещится ей в духе русской веры.

Никаких богословских познаний ее писания не обнаруживают. Ничего как будто, кроме Библии, она не читала. Если кое-что знает о гнозисе «первоклассных европейских мистиков», то очень смутно. У нее все из себя и от себя и предвзято-произвольно до крайности. И тем не менее волевая напряженность ее мыслительных процессов создает подчас иллюзию глубины. Во всяком случае, горячая вера в Бога, сквозящая в каждом ее слове, может сбить с толку — по первому впечатлению, лучшее свидетельство тому, что такой умудренный мыслитель, как С. Н. Булгаков, мог настолько увлечься ею, что называет ее сочинение «сокровенной страницей интимной биографии Владимира Соловьева».

Письмо Шмидт, к В. А. Т. в частности, показывает, безусловно, и другое: что больная «точка» в ее сознании особенно ярко выступила из хаоса ее теософских «откровений» после того, как она узнала учение Соловьева. Глава XIV «Исповеди» начинается так: «Прошло много лет со времени первых моих откровений... В 1900 г., дочитав до конца “Три разговора” Вл. Соловьева, я почувствовала такое состояние, точно меня что-то подымало от земли. Родственность его духа и его идей с моими была мне очевидна. Я написала ему 16 страниц, где изложила вкратце, но сполна, мои верования и чаяния и полученное мною от Бога учение. Он получил мое письмо 7 марта и ответил уже 8-го... После этого я стала писать ему много и часто, почти каждый день».

А. Н. Шмидт рассказывает в «Исповеди» и о том, как отзвучался на эти письма Соловьев: как назначил ей свидание во Владимире и как для нее многое «открылось» от общения с ним...

Я не сомневаюсь в точности ее записей. А. Н. Шмидт — натура честная, правдивая, к похвальбе неспособная, хотя многое видит так, как ей этого хочется, а не так, как оно на самом деле. Она ничего не выдумывает, утверждая, что в часы ее наитий «возлюбленный» не переставал говорить ей о своей вторичной жизни на земле в смертном теле. Так ей действительно мерещилось. «Он говорил мне в самые первые дни откровения, — записывает она, — что живет в России, именно в Петербурге, и что Он теперь русский». Этот Он — не еврей И. Р. («нынешнее воплощение Сына Человеческого»), как она думала прежде, а — Соловьев, и она чувствует, перечитывая его стихотворение «Les Revenants»²⁵, что и у него благодаря ей «глаза открылись...». «С невыразимым волнением, — отмечает она, — я написала ему свое толкование на каждый стих, а на последние — такое:

Бывшие мгновения поступью беззвучною
Подшли и сняли покрывало с глаз...
Видят что-то вечное, что-то неразлучное,
И года минувшие, как единый час.

...Этих минувших лет, спросила я его, было 1867, не так ли? (От смерти Иисуса до 1900 г.).»

«На это письмо долго не было ответа, — признается она. — Я мучилась страхом, не повредила ли его здоровью и жизни, если мое письмо застало его еще не довершившимся, не с созревшим самосознанием. Наконец я получила ласковые строки: с ответом по некоторым вопросам, но молчавшие о моем восторженном, важнейшем письме...»

Далее она отмечает: «30 апреля 1900 г. мы увиделись, побеседовали часа два. Он мне сказал, что преображаться вслед за Христом нужно и другим... и мне. Сказал, что многое, написанное мною, внушено свыше, только изложено по-моему...» А 31 июля того же года она записывает: «Не успев повидаться со мной снова, как ему хотелось, он умер (на другой день моего рождения)... Я провела три дня вблизи него, больного, когда он был уже не в полном сознании. Меня пустили к нему, по просьбе его матери, один раз. Я его увидела спящим. Мы жили далеко друг от друга, и я должна была уехать. Через несколько дней я опять приехала, когда его хоронили. Сначала я думала, что все погибло. Но мало-помалу стала приходить в себя, вспоминать и соображать. А все же Бог открыл мне, что мой Возлюбленный в

последний раз перед концом мира родится на земле 9 месяцев после смерти Вл. С. Значит, 31 июля он зачат был. А 9 месяцев от этого дня истекает 30 апреля 1901 г. — в годовщину нашего свидания».

Ничего больше в своем «Дневнике» о возлюбленном философе А. Н. Шмидт не сообщает. Копий с писем ее к нему в ее архиве не сохранилось. Уцелело только несколько ответов Соловьева, они составляют «приложение» к ее книге. На первый из этих ответов Соловьева главным образом и ссылается С. Н. Булгаков:

«Соловьев, тронутый восторженным почитанием неизвестной ему женщины, выражает “радость по случаю ее писем”, говорит, что она “близко подошла к истине по вопросу величайшей важности”, и ободряюще напутствует ее: “Ваше появление кажется мне очень важным и значительным”».

Но были и другие ответы Соловьева, на них С. Н. Булгаков не обратил должного внимания. Удивительно даже, как многоопытный мыслитель мог, прочитав их, прийти к убеждению об «исключительной важности переписки с А. Н. Шмидт для Владимира Соловьева и вообще — этой встречи, происшедшей почти накануне его смерти». Ведь остальные письма звучат совсем по-другому! Во втором, десятью днями позже, благодаря свою корреспондентку «за искренность и правдивость», Соловьев уже посоловьевски насмешливо отвечает на сумасшедший ее вопрос о «воплотившемся Сыне Человеческом в нынешнем еврее с инициалами И. Р.», о котором она «ложно думала, хоть и предчувствовала русское воплощение»: «Разыскивать лицо, соответствующее инициалам И. Р., — пишет Соловьев, — не вижу возможности, а получить прямое сообщение свыше не считаю себя достойным. Могу служить Вам тут лишь своей догадкой: И. Р. — Иуда Раскаившийся? Но в адресном столе он, конечно, записан под другой фамилией, и, значит, если бы даже моя догадка была достоверна, то она осталась бы все равно бесполезной».

В третьем письме Соловьев никак не отзывается на ее пламенные излияния, а только сообщает, по-видимому отклоняя ее просьбы о свидании: «Собираюсь на несколько дней в Москву и вообще ничего определенного не знаю и не загадываю понапрасну».

Следующее письмо, от 22 апреля, довольно длинное, но и здесь почти сплошь — ирония. Ни на какое сочувствие богословским новшествам А. Н. Шмидт и намека нет. «*Не уявися, что будем*, — посмеивается он, — а пока мы верно чувствуем вечное, но нестерпимо фантазируем и путаемся в пустяках. Три характерных пустяка: 1) Вы продолжаете смешивать меня с моим старшим

братом Всеволодом Соловьевым, имевшим какие-то тайные дела с г-жой Блавацкой и написавшим об этом какую-то серую книгу, чему я ни душой, ни телом не причастен. Г-жу Блавацкую я никогда в жизни не видел и ни ее личностью, ни ее “чудесами” и “фокусами” никогда не занимался, а только (и весьма умеренно) теософским движением, с принципиальной стороны... 2) Зная, как Вы цените мои стихи, я хотел оказать Вам любезность, приславши до выхода книжки те стихотворения, которые Вам были неизвестны... 3) Заметив в одном Вашем письме лучшую редакцию одного моего стихотворения “Les Revenants”, я с удовольствием этим воспользовался. И из этого простейшего факта Вы выводите какие-то сложные заключения... Довольно о пустяках. *Исповедь Ваша возбуждает величайшую жалость, и скорбно ходатайствую о Вас перед Всевышним* (курсив мой. — С. М.). Хорошо, что Вы раз это написали, но прошу Вас более к этому предмету не возвращаться. Уезжаю сегодня в Москву и сожгу фактическую исповедь в обоих изложениях — не только ради предосторожности, но и в знак того, что все это только пепел» *.

О своем приезде на долгожданное ею свидание он сообщил лаконической телеграммой: «Если есть опасение здоровья, не выезжайте. Мне все равно нужно [быть во] Владимире по другому делу».

К какому «согласию» привело их свидание во Владимире, мы не знаем. Судя по предпоследнему ответу Соловьева, можно думать, что никак не сбылось упование А. Н. Шмидт, и была она не на шутку встревожена впечатлением, какое произвела на «возлюбленного». Дружеское уверение пожалевшего ее философа лучшее тому свидетельство. «Вот два слова в успокоение, — пишет он ей с сострадательной любезностью, — я жив, по-прежнему сохраняю к вам неизменные чувства интереса и симпатии, никакого неблагоприятного впечатления свидание с Вами не оставило, одним словом все по-старому. Теперь очень спешу, а на днях постараюсь написать больше. Искренне к Вам расположенный Влад. Соловьев».

Наконец, последнее его письмо, от 22 июня (прошло два месяца с владимирского свидания), уж ничем не сквозит, кроме как намерением прекратить ставшую для него в тягость переписку. «На днях еду в южную Россию, на неопределенное время (?). Как видите, Ваше желание приехать в Петербург, чтобы видиться со мною, независимо от основательности или неосновательности этого желания, все равно не может осуществиться. Очень рад,

* Там же. С. 285—286.

что Вы сами сомневаетесь в объективном значении известных видений и внушений, или сообщений, которых Вы не знаете. Настаивать еще на их сомнительности было бы с моей стороны *невеликодушно* (курсив мой. — С. М.)».

Тут нечего добавить. «Было бы с моей стороны невеликодушно» — этим все сказано. Ни о какой «тайне» Соловьева, угаданной А. Н. Шмидт, «как бы его женским alter ego», не может быть речи. Если он вернулся в Москву «потрясенный» (допустим) после свидания, то не оттого ли, что убедился воочию, на каком «волоске» от безумия человеческое сознание, порывающееся к постижению истин, человеку недоступных?

Жалкое сумасшествие А. Н. Шмидт, вообразившей себя «Поздней вечной», могло усугубить муку Соловьева о самом себе, о безднах собственной души, населенных призраками и грозящих гибелью. Потому что в нем (к тому и сводится моя догадка о трагической раздвоенности Владимира Соловьева) высокий, светлый, ясный разум, предвкушающий мистическое озарение, уживался с «темными, низшими силами, бившимися в его груди», как проговаривается, рассказывая о его смерти, лучший его друг, самый близкий ему человек, Сергей Николаевич Трубецкой*.

Брат Владимира Сергеевича, Михаил, считал опасной ересью соловьевское христианство «Третьего Завета», которое А. Н. Шмидт провозгласила откровением свыше. Тот же Михаил Сергеевич после смерти брата, когда вскрыл посылавшиеся им на хранение пакеты, в этих пакетах обнаружил записи о том, как, подобно Иисусу Христу, умиравший философ искушался дьяволом. Эти записи ужаснули религиозного Михаила Сергеевича, в них рассказывалось о ежедневных «возмутительных» беседах с чертом, внешность которого тоже описывалась в подробностях... Вследствие компрометирующего содержания этих записей решено было на семейном совете сжечь их и никому не говорить ни слова.

Так рассказал, со слов М. С. Соловьева и его жены Прасковьи Николаевны, писатель Эллис²⁶ (сотрудник «Весов», впоследствии католический священник, тоже мистически настроенный поэт). Эллис имел с Михаилом Сергеевичем доверительный разговор незадолго до его смерти (в 1903 году) и, в свою очередь, передал этот разговор, нарушивший семейный «обет молчания», своему давнишнему приятелю Николаю Владиславовичу Вольскому, известному журналисту. Вольский поделился «тайной»

* Смерть В. С. Соловьева // Вестник Европы. 1900. Кн. 9. С. 420.

с русскими читателями (значительно позднее, 26 августа 1956 г.) на страницах «Нового русского слова».

Мне, знавшему Соловьева как раз в эти его «эсхатологические» годы, рассказ Эллиса Вольскому не кажется невероятным. Думаю, что не сочли бы ложью эти записи о черте ни друга Соловьева — кн. С. Трубецкой например, или В. Величко, ни даже последний из его биографов, проф. К. Мочульский.

С. Трубецкой рассказывал Н. Давыдову*, как «однажды они вдвоем с Владимиром Сергеевичем ужинали в общей зале какого-то ресторана. Соловьев во время оживленного разговора внезапно побледнел, откинулся, замолчав, на спинку стула и так пробыл некоторое время с закрытыми глазами как бы в бессознательном состоянии. Сергей Николаевич не нарушил его, а когда Соловьев раскрыл глаза и «ожил», то сообщил, что ему представилось видение: кто-то несуществующий приходил к нему...»

«В резких переходах от веселости к мрачному безмолвию и наоборот, — пишет другой близкий ему друг, поэт А. Величко, — как и во всем душевном складе Владимира Сергеевича, было, если можно так выразиться, нечто медиумическое: точно не все его слова и действия были вполне произвольны, точно какие-то невидимые силы вселялись в тайники его духа». Он же, в другом месте, утверждает, что Соловьев «видел диавола и пререкался с ним».

Мочульский (умерший до разоблачений Вольского о сожженных записях Соловьева) так заключает ссылки на некоторых из названных авторов: «Таково предание: фактическая сторона его, быть может, малодостоверна, но внутренний смысл несомненен: в 1898 году Соловьев пережил реальный опыт темных сил. Он отразился в его поэзии. В стихотворении “В Архипелаге ночью” автор свидетельствует:

Видел я в морском тумане
Всю игру враждебных чар;
Мне на деле, не в обмане
Гибель нес зловеший пар.

В явь слагались и вставали
Сонмы адские духов,
И пронзительно звучали
Сочетанья злобных слов».

* Давыдов Н. Из воспоминаний о Вл. С. Соловьеве // Голос минувшего. 1916. Декабрь.

О встречах с «Подругой вечной» Соловьев повествовал в «шутливых стихах, — продолжает Мочульский*, — мог ли он дерзнуть серьезно рассказать “просвещенным читателям” о своей встрече с чертом? И он снова прибегает к юмористической форме, чтобы защитить себя от единомышленников генерала Фадеева, который когда-то в Египте внушал ему, что

...прослыть обидно
Помешанным иль просто дураком».

Стихотворение «Das Ewigweibliche», с подзаголовком «Слово — увещательное к морским чертям», начинается следующими строками:

Черти морские меня полюбили,
Рыщут за мною они по следам:
В Финском поморье недавно ловили,
В Архипелаг я, они уже там!

Ясно, что черти хотят моей смерти,
Как и по чину прилично чертям,
Бог с вами, черти! Однако, поверьте,
Вам я себя на съеденье не дам.

Но, думается мне, Соловьев прибегал к юмористической форме, не только «чтобы защитить себя от генерала Фадеева». Юмор был для него заклинательным средством от темной силы (так же как для Гоголя, например, и его преемника в этой области — Ремизова).

Вопрос об отношении гениальности к сумасшествию — труднейший вопрос. Я разумею безумие не в метафорическом, а в медицинском смысле, когда человек видит, слышит, ощущает и связывает мысли не так, как другие, словно для него мир стал иным, нелепым, невозможным с точки зрения здравомыслящих людей, противоречащим законам природы и инстинкту самосохранения (отсюда у большинства помешанных навязчивая идея самоубийства).

С позитивной, научной точки зрения все как будто разрешается довольно просто, хотя и не всегда легко разграничить сознание безумное и нормальное и трудно определить, где начинается, собственно, ненормальность мыслей и чувств. Но, конечно, психиатрия все более тонко справляется с задачей; она разделила на категории психические заболевания, определила признаки большей или меньшей их силы и во многих случаях изобрела способы лечения. Мозг, как всякая часть человеческого организ-

* Мочульский К. Там же. С. 251—252²⁷.

ма, при умелом воздействии на него, и физическом и моральном, излечивается, как больная рука или испортившееся зрение.

Вопрос осложняется тем, что патологическое состояние мозга не только психофизиологическая болезнь, но также — искажение духа. Как отграничить нормальную мысль от ненормальной, здоровое ощущение, хотя бы и доступное только избраннейшему из избранных, от сознания, уродливым бредом подменяющего действительность? Поскольку человеку дано не только отражать мир явлений, но и создавать свои миры, действительность у художников-творцов, например, часто совсем не похожа на то, что называется всеми действительностью.

И еще сложнее делается проблема, когда мы имеем в виду мистическое касание к «мирам иным». Где провести черту между болезненным самовнушением и прозреванием мудрости? И не доказано ли, что безумец иногда ближе подходит к тайне, к несказанному, чем здравомыслящие?

Самого Соловьева эта проблема интересовала чрезвычайно, особенно в связи с сумасшествием Ницше, умершего от паранойи (в том же 1900 году, что и Соловьев), безумные идеи которого о безбожном сверхчеловеке в то время волновали философскую мысль. «Одно из самых характерных явлений современной умственной жизни, — говорит Соловьев *, — и один из самых опасных ее соблазнов есть мысль о сверхчеловеке. Разве не прав несчастный Ницше, когда утверждает, что все достоинство, вся ценность человека в том, что он — *больше* чем человек, что он — переход к чему-то другому, высшему? Но Ницше не сделал из этой “правды” нужных выводов, не вспомнил, как сделал это апостол Павел, обращаясь к афинянам, о действительном сверхчеловеке, праведнике, воскресшем из мертвых; “чуждый” вере христианской и еще не дозревший до серьезной веры в будущего живого антихриста, базельский профессор стал писать о сверхчеловеке вообще, подобно тому как Тентетников, по уверению Чичикова, писал о “генералах вообще”...» — шутит Соловьев и добавляет: — «Каждый из нас есть сверхчеловек в возможности, потенциально, но чтоб стать таким в действительности, требуется, конечно, более твердая опора, чем соответственное желание чувства или отвлеченная мысль. Ницше, думая быть действительным сверхчеловеком, был только *сверхфилологом*. Собственная его история была только воспроизведением первого монолога Фауста — борьбой живой, но больной и немощной

* Соловьев В. Собр. соч. СПб., 1897. Т. X: Воскресные письма. Словесность или истина? С. 28—32.

души с бременем необъятной книжной учености. Оставаясь все-таки филологом, и слишком филологом, Ницше захотел сверх того стать «философом будущего», пророком и основателем новой религии. Такая задача неминуемо привела к катастрофе... Окончательного торжества филологии над более глубокими, но болезненными стремлениями его духа Ницше не перенес и сошел с ума. Этим он спас свою душу. В чисто физические причины душевных болезней я не верю, скоро и никто в них не будет верить (?). Психическое расстройство в случаях, подобных этому, есть крайний способ *самоспасения* (вопросительный знак и курсив мои. — С. М.) человеческого внутреннего существа чрез жертву его видимого мозгового Я, оказавшегося несостоятельным в решении нравственной задачи нашего существования».

Все, на мой слух, в этих строчках Соловьева звучит как невольное его признание о себе самом. Не стал бы он сравнивать идею ницшеанского сверхчеловечества с Богочеловечеством апостола Павла, если бы не ощущал себя самого «философом будущего», пророком и основателем новой религии, которому грозит «катастрофа», и если бы не цеплялся за мысль о психическом расстройстве (под бременем «необъятной книжной учености») как о «самоспасении человеческого внутреннего существа через жертву его мозгового Я, оказавшегося несостоятельным в решении нравственной задачи нашего существования».

Он хотел быть безусловно верующим, христианином, исповедующим вселенскую ортодоксию, но не так, как учили Церкви (потому и казалось ему столь легким соединение их воедино). Он причислял себя к Церкви будущего «Третьего Завета», обрекая существующие Церкви антихристову прельщению... Но в то же время разве не боялся он этой отчужденности своей от церковного сознания, этой греховности горделивого одиночества? Оставалось только сделать еще шаг во имя «искренности» и «благородства»: «самоспасти» себя, потеряв рассудок. И не допускал он «чисто физических причин сумасшествия», вещественного детерминизма в области духа, — не потому ли не допускал, что больше всего на свете пугало его ощущение болезненных признаков в самом себе?

Иначе говоря, причина *раздвоенности* Соловьева, антиномичность его физического и духовного образа не есть ли сознававшийся им втайне психический недуг?

В последний раз я видел Соловьева незадолго до его смерти. Если память не изменяет мне, он читал свою знаменитую «Краткую повесть об антихристе» из «Трех разговоров» в зале петербургской городской Думы. Не помню, все ли читал так, как позже было напечатано в десятом томе его сочинений. Сокращенно

как будто, хотя лекция длилась около двух часов. Философ был уже серьезно болен, читал притушенным голосом, подолгу оставался, только вспышками делался опять прежним вдохновенно-темпераментным чтецом.

Каюсь: в то время лекция показалась мне вялой и неубедительной... На самом деле «Краткая повесть об антихристе» есть самое подлинное свидетельство о Соловьеве, заключительный аккорд его душевной трагедии. Всю жизнь учил он, убеждал о спасении мира от греха и смерти — *этого* мира, *нашей* христианской культуры, подходя к вопросу с социально-политической и религиозной точки зрения. Отсюда его мечты о вселенской теократии и близкая к Достоевскому мысль о русском историческом призвании (никто горячее и вдохновеннее не поддержал Достоевского, чем Соловьев, в его знаменитых трех речах 1881 года в память Достоевского)²⁸. Отсюда и апология Сократа, не понятого современниками мудреца-пророка, одного против всех, отсюда и увлечение теософией, историей евреев, Библией, каббалой. И все это — чтобы смолоду глодавшее его сомнение обратилось в пророчество об антихристе и связанной с ним гибели обезбоженного культурного мира...

В самом конце «Трех разговоров» читающий повесть об антихристе монаха Пансофия (т. е. всемудрого) отвечает на вопрос «Политика» о том, скоро ли «развязка» нашего исторического процесса, состоящая в явлении, прославлении и крушении антихриста: «Ну, еще много будет болтовни, суетни на сцене, но драма-то уже давно написана вся до конца, и ни зрителям, ни актерам ничего в ней переменить не позволено».

Вот в этих заключительных словах и трагизм Соловьева, одержимого мыслью о неминуемой гибели мира. Эсхатологический детерминизм Соловьева после всего им же сказанного о свободе воли, дарованной Богом человеку, самое страшное в нем.

О кончине Владимира Сергеевича в имении Узком (принадлежавшем его брату Николаю Сергеевичу, тогда отсутствовавшему) очень душевно рассказывает А. Панютина*.

Агония длилась около двух недель. Сильно страдавший больной то забывался, то приходил в себя ненадолго. Перед самым концом потребовал священника. Исповедь продолжалась целый час. Местный батюшка причастил его, примирившегося с православной Церковью. Больше он не приходил в себя. И тихо угас.



* «Последние новости», 27 ноября 1925 г.



К. В. МОЧУЛЬСКИЙ

Владимир Соловьев

Жизнь и учение

*Отцу Сергию Булгакову
с сыновней любовью
посвящаю эту книгу*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Вл. Соловьев учил о *целостности* человеческой природы: человек есть живое духовное единство, воплощенный дух и одухотворенная плоть. Только исходя из центра его существа, можно понять смысл его судьбы, историю его жизни и ценность его творчества.

Между тем по отношению к самому Соловьеву этот синтетический метод никогда не применялся; его философия обычно излагалась отдельно от жизни, идеи отвлекались от переживаний, учение — от личности. В результате его умозрительные построения приобретали вид схем и абстракций, а биография превращалась в перечисление малозначащих фактов.

В основе настоящей работы лежит изучение личности философа. Необходимо восстановить внешнюю историю его жизни, проследить пути его душевного развития, подойти к проблеме его духовного сознания. Мы располагаем разнородными и нередко противоречивыми материалами: письмами, стихами, философскими сочинениями, критическими и полемическими статьями, свидетельствами современников. При пользовании ими нужна большая осторожность. Соловьев не любил и не умел «высказывать» себя, а современники плохо его понимали. Он был человеком «закрытым»: окруженный друзьями, учениками, почитателями, он прожил беспредельно одинокую жизнь. Во всей русской литературе нет личности более загадочной; его можно сравнить

только с Гоголем. У Соловьева было множество ликов, но настоящее лицо его почти неуловимо. О самом святом для него он предпочитал говорить в шутливой форме, любил издеваться над собой и мистифицировать друзей. Был ли он самим собой в своей философии, в своей церковно-общественной деятельности, в своей поэзии? В «Альбоме признаний» Т. Л. Сухотиной сохранился его ответ на вопрос: кем желали бы вы быть? — «Собою, вывороченным налицо». И может быть, все десяти томное собрание его сочинений — только его «изнанка». Кем же был Соловьев? Нам кажется, что нельзя проникнуть в его «тайну», не поверив в подлинность его мистического опыта. С детских лет Соловьев жил «в видениях и грезах» и эти видения считал «самым значительным» в своей жизни. Он был мистиком, обладал реальным ощущением сверхчувственного, видел лицом к лицу «божественную основу» мира, встречался с таинственной «Подругой Вечной». Конечно, можно отвергнуть прозрения и пророческие предчувствия Соловьева как соблазн и субъективную иллюзию, но тогда придется отвергнуть и все его религиозно-философское творчество, ибо все оно, как из зерна, вырастает из первоначальной мистической интуиции. Только в свете видений Подруги Вечной раскрывается смысл его учения о «положительном всеединстве», о Софии и о Богочеловечестве, становится понятной его идея свободной теократии и проповедь соединения церквей.

Но мистический опыт вовсе не означает святости, и было бы совершенно неправильно сравнивать созерцания философа с опытом святых. У Соловьева нередко «духовное» находилось в мучительном разладе с «душевым»; в его прозрениях бывали «подмены»; небесная лазурь заволакивалась иногда астральными туманами, и мистическое искажалось оккультными примесями. Его природа была глубоко эротической, и «злое пламя земного огня» постоянно врывается в его религиозное сознание. Его этика, эстетика и теория любви окрашены эротически. И только в конце жизни, после тяжких испытаний и разочарований, он преодолел наконец этот соблазн, и его благоговейное почитание Вечной Женственности очистилось от «эротических вихрей».

Первоначальная интуиция всеединства лежит в основе вдохновенного учения Соловьева о Софии Премудрости Божией. Он первый указал путь к построению православной космологии и антропологии, и русская богословская и философская мысль пошла по проложенной им дороге.

Вершина его творчества — гениальное учение о Богочеловечестве, о божественности человека и человечности Бога, о смысле мировой истории как *процесса богочеловеческого*. Раскрывая в

философских понятиях величайшую истину православия, заключенную в Халкидонском догмате¹, Соловьев делает из нее практические, церковно-общественные выводы. Он начертывает план «христианской политики» и проповедует *вселенское христианство*. Один из первых в России он говорит об экуменизме и социальной миссии Церкви.

«Лучшие годы» философа посвящены служению идее свободной теократии и проповеди соединения церквей. На этом пути ждут его самые горькие разочарования. К концу жизни он отказывается от «внешних замыслов» и признает свою теократию утопией.

«Теократический» период сменяется «эсхатологическим». С юных лет интуиция всеединства и софийности мира сочеталась в его душе с напряженным предчувствием надвигающегося конца. Он верил, что исторический процесс приближается к своему завершению, и ждал Страшного Суда над историей. В молодости он думал, что преображение мира произойдет эволюционным путем, что Царство Божие осуществится в земных формах, в виде свободной теократии. Перед смертью конец мира представлялся ему катастрофическим: до Второго Пришествия будет царство Антихриста и только небольшая горсточка христиан останется верной Христу. Историсофические построения Соловьева завершаются потрясающим финалом «Повести об Антихристе».

В статье «Жизненная драма Платона» Соловьев изображает творчество греческого философа как жизненную трагедию, главным героем которой является он сам. Между судьбою Платона и судьбой его русского ученика существует тайное сходство. И у Соловьева было острое чувство неправды этого мира, стремление построить иной, идеальный мир, где правда живет, теория Эроса, попытка преображения вселенной и, после крушения ее, замысел реформировать общество.

Показать творчество Соловьева в его внутреннем единстве как жизненную драму «автора» — такова задача нашей работы.

Вопрос о влиянии философа на русскую культуру мог бы быть предметом особого исследования. Соловьев подготовил блестящий русский Ренессанс конца XIX и начала XX века; он был предтечей возрождения религиозного сознания и философской мысли, вдохновил своими идеями целое поколение богословов, мыслителей, общественных деятелей, писателей и поэтов. Самые замечательные наши богословы, Бухарев², о. Павел Флоренский, о. С. Булгаков, духовно с ним связаны. Философия братьев Сергея и Евгения Трубецких, Лосского, Франка, Эрн³, отчасти Л. Лопатина и Н. Бердяева восходит к его учению о цельном зна-

нии и о Богочеловечестве. Его мистические стихи и эстетические теории определили пути русского символизма, «теургию» Вячеслава Иванова, поэтику Андрея Белого, поэзию Александра Блока.

Еще сильнее и глубже было непосредственное воздействие его личности. От Соловьева исходила таинственная притягательная сила, необъяснимое обаяние, которое одинаково захватывало столь различных людей, как Константин Леонтьев и Александр Блок. Образ «Философа» поражал воображение. Его удивительная судьба окружалась легендой. Он был знаменем, вокруг которого объединялись и за которое боролись.

1

ДЕТСТВО И ОТРОЧЕСТВО (1853—1869)

Владимир Сергеевич Соловьев родился в Москве 16 января 1853 года. По отцу он происходил из духовного звания: дед его, Михаил Васильевич, был священником, законоучителем в Московском коммерческом училище. Брат философа, Всеволод Соловьев, в своей повести «Воскресение» изображает о. Михаила детски незлобивым, кротким и радостным. Дети проводили воскресенье у дедушки протоиерея и были уверены, что «дедушка беседует с Богом и что сам Бог говорит ему». Соловьев рассказывал С. М. Мартыновой, что перед смертью дед ввел его в алтарь и перед престолом благословил на служение Церкви. Мальчику было всего восемь лет, когда умер о. Михаил, но он всю жизнь благоговейно чтил его память и посещал могилу. Быть может, Соловьев думал о деде священнике, когда создавал мистический образ старца Иоанна в «Повести об Антихристе». Догадка эта подтверждается тем фактом, что книга «Оправдание добра», близкая по времени к «Повести», посвящена памяти деда.

В жилах Соловьева текла кровь предков-священников. Крепок «Левитский корень»⁴, и как бы разнообразны ни были цветы, вырастающие из него, их строение и окраска определяются им.

Соловьев был необычайно сложной и богатой натурой; он шел по разным путям со свободой, часто граничившей со своеволием, постоянно менялся, то медленно, то резко и неожиданно. Казалось, что его подлинное лицо никогда и ни для кого не открыто. Но, думается, что священническая наследственность многое в нем объясняет. Соловьев читал лекции, писал богословские сочинения, апологетические трактаты, духовно-назидательные книги; вел переговоры о соединении церквей, обличал славяно-

филов, миссионерствовал, сочинял стихи, но внутренне, в сердце своем, всегда священнодействовал. Никакая тяжелая и черная работа его не пугала, ибо все это было «делом Господним». Основа его творчества была *теургической*; от нее — пафос, торжественность и нередко таинственность его дел и слов.

Отец Владимира Сергеевича — известный историк Сергей Михайлович Соловьев, автор многотомной «Истории России». От него будущий философ унаследовал любовь к знанию, веру в науку и некое благоговение перед «научностью». Последняя черта характерна для Соловьева-мыслителя. Самые парадоксальные свои идеи он старался излагать «научообразно», «гладким» и несколько безличным языком, с академической сухостью и схематизмом.

Он пошел по следам отца, избрав научную и профессорскую карьеру; от отца его громадная работоспособность, усидчивость, добросовестность, плодovitость. Сергей Михайлович незадолго до смерти написал «Записки для детей моих, а если можно, и для других» и эпитафией к ним выбрал: «В трудах от юности моя». Сын его с полным правом мог бы применить этот эпитаф к себе.

Но кроме культа научного знания отец передал сыну свое историческое мировоззрение, свой интерес к процессу развития человечества. Историка Соловьева особенно привлекало сравнительное изучение исторических явлений: он не только описывал их, но старался их осмыслить. Философ Соловьев, создавший грандиозную историософическую систему и заключивший в нее историю человечества и всего мироздания, необъятно раздвинул рамки, в которых вел свое исследование его отец; но импульс и направление исходили от автора «Истории России». Аналогия между трудами отца и сына простирается еще дальше: сын осуществил многое из того, о чем в юности мечтал отец. В своих «Записках» Сергей Михайлович сообщает: «Я с ранних лет был пылкий приверженец христианства и в гимназии еще толковал, что буду основателем философской системы, которая, показав ясно божественность христианства, положит конец неверию». «Основателем» этой системы суждено было стать его сыну. Сам же Сергей Михайлович был человеком слишком рассудочным, «академическим» и позитивным, чтобы выступить в роли апологета и пророка. У него была натура спокойного кабинетного ученого, ему недоставало размаха, страсти, фантазии. Мечты юности рассеялись еще до поступления в университет. Религиозный огонь с годами потухал, вера становилась все отвлеченней, жизнь складывалась как-то независимо от нее. Вместо христианского учителя и пророка получился почтенный ученый-профессор,

многокнижный и многосемейный. Писание «Истории России» требовало упорного, размеренного труда, аскетической строгости в образе жизни, методического порядка. Сергей Михайлович вставал в семь часов утра зимой и в шесть часов летом. Днем работал у себя в кабинете или читал лекции. Раз в неделю бывали гости. В субботу вечером он неизменно посещал итальянскую оперу. В воскресенье и праздничные дни неизменно отправлялся к обедне. Воспитанием детей занимался мало и личного влияния на них почти не имел. Отец, вечно работающий у себя в кабинете, окруженный благоговейным молчанием всех домочадцев, казался мальчику Соловьеву чем-то далеким и священным. Он действовал на его воображение как воплощенный символ самоотверженного труда. В его юношеских письмах к отцу не чувствуется душевной теплоты: изложение внешних событий, деловые сообщения, шуточки, иногда политические новости — все этим и ограничивается. Тон непринужденной, но и незначительной беседы за семейным обеденным столом.

В 1896 г. Соловьев напечатал заметку: «Сергей Михайлович Соловьев: Несколько данных для его характеристики»; в ней он с глубоким сыновним уважением говорит о покойном отце, излагает его взгляды, цитирует места из «Записок для моих детей». И в этой статье-некрологе поражает отсутствие личной, интимной связи между отцом и сыном. Соловьеву, несомненно, хотелось исполнить долг благодарности перед памятью покойного, но он не нашел ничего, что бы свидетельствовало о влиянии на него отца. Единственный приведенный им факт говорит о воздержании от влияния: в период религиозного кризиса Соловьева, в это трагическое для него время, отец «не оказал на него прямого воздействия». Между тем он знал, что мальчик потерял веру, «так как, — пишет Соловьев, — я перестал ходить с ним в церковь». Но сын великодушно истолковывает это воздержание как сознательный метод воспитания. «Своим отношением ко мне в этом случае, — продолжает он, — отец дал мне почувствовать религию как нравственную силу, и это, конечно, было действительнее всяких обличений и наставлений».

Однако Соловьев почувствовал эту нравственную силу значительно позже: его религиозный кризис был длительный и тяжелый; к «религии отцов» вернулся он не скоро, обходным путем через социализм и немецкую философию, и в мучительной борьбе за «оправдание веры» он был предоставлен собственным силам.

Еще меньше духовной поддержки находил он у своей матери — Поликсы Владимировны; смиренная, тихая, незаметная,

подавленная личность мужа, погруженная в хозяйственные заботы, она принесла себя в жертву мужу и семье: рожала и кормила детей, читала и перечитывала тома «Истории России», молилась и скорбела. Так всю жизнь она проходила на цыпочках, охраняя покой мужа, вечно чего-то опасаясь и чего-то стесняясь.

Поликсена Владимировна происходила из украинской семьи и была родственницей «старчику» Сковороде. Поэт Сергей Михайлович Соловьев, племянник философа, в стихотворении «Мои предки» с гордостью упоминает о «вельможном прадеде Коваленском⁵, покровителе Сковороды». По матери она принадлежала к польскому роду Бржеских. Не этой ли наследственностью объясняются симпатии Соловьева к Польше и католичеству? От матери — его мистическая одаренность, южный пылкий темперамент, поэтическая фантазия и мечтательность. Гениальный самоучка Сковорода — народный мудрец и своенравный богослов — завещал ему свое скитальчество, свой украинский юмор и страсть к любомудрию. Физически Соловьев пошел в мать: он был такой же смуглый и черноволосый, как она. Его называли «печенегом». Он родился недоноском — отсюда хрупкость его сложения, слабость здоровья, неуравновешенность и повышенная чувствительность.

Детство Соловьева проходило в суровой, почти аскетической атмосфере. Размеренный порядок в доме, быт, складывавшийся как ритуал; набожность матери и воспитательницы, Анны Кузьминишны Колеровой, девицы из духовного звания; лампадки перед иконами; строгое исполнение обрядов; посещение церкви по воскресеньям; чтение Житий Святых; русские стихи и сказки — таковы ранние впечатления его детства. Мать бесшумно скользила по комнатам, шепча молитвы; Анна Кузьминишна видала вещие сны и любила о них рассказывать, за что и получила прозвище «Анны Пророчицы». Начитавшись Житий Святых, мальчик воображал себя аскетом в пустыне, ночью сбрасывал с себя одеяло и мерз «во славу Божию». Фантазия развилась у него очень рано: он разыгрывал все, что ему читали; то он был русским крестьянином и погонял стул, напевая «Ну, тащися, сивка», то испанским идальго, декламировавшим кастильские романсы. Он жил в сказочном мире, в котором все предметы оживали и вступали в игру: ранец звался Гришей, карандаш — Андрюшей*.

Станным ребенком был я тогда,
Станные сны я видал⁶.

* Величко В. Л. Владимир Соловьев: Жизнь и творения. СПб., 1903.

Так вспоминал он впоследствии о своем детстве. И эти «странные сны» — самое значительное, что пережил он ребенком. На поверхности были игры с братьями и сестрами, сказки и стихи, а в глубине душа ребенка жила в таинственном мире, в видениях и мистических грезах, и это «ночное сознание», полуявь и полусон, чувство, почти невыразимое словами, и определило собой всю его дальнейшую судьбу. Но только перед смертью Соловьев понял, что туманные фантазии — прозрения детства — были «самым важным» в его жизни.

Смутные намеки на детские видения звучат в стихотворении семидесятих годов «Близко, далеко».

Близко, далеко, не здесь и не там,
В царстве мистических грез,
В мире невидимом смертным очам,
В мире без смеха и слез,

Там я, богиня, впервые тебя
Ночью туманной узнал...

.

В образе чуждом являлася ты,
Смутно твой голос звучал,
Смутным созданием детской мечты
Долго тебя я считал... *

И только один раз туман этот на мгновение рассеялся, отблески и мерцания слились в один сияющий образ: ярким весенним днем лазурное видение предстало перед ребенком. Ему предшествовала первая детская влюбленность.

Страстность натуры Соловьева стала проявляться в самом раннем детстве. Всему он предавался с пылким увлечением, во всем доходил до крайности. Была какая-то неистовость в его играх и занятиях. В. Величко называет любовь мальчика к нищим «мистической» и рассказывает, что «он был буквально влюблен в кучера, здорового детину с большой бородой... Бывало, вырвется мальчуган во двор и шмыг в сарай, к своему другу: бросается к нему на грудь, обнимает, целует»...

В девять лет Соловьев влюбился в свою сверстницу Юлиньку С., которая предпочла ему другого. Он подрался с соперником и на другой день записал в дневнике: «Не спал всю ночь, поздно встал и с трудом натягивал носки...»

Его первый мистический опыт связан с первой несчастной любовью. Душа ребенка, взволнованная влюбленностью, раскры-

* Соловьев Владимир. Стихотворения. 7-е изд. / Под ред. и с предисловием С. М. Соловьева. М., Б. г.

лась для видения любви небесной. Мистическая философия Соловьева, его платоническое учение о любви и культ Вечной Женственности вырастают из этого раннего любовного переживания. Он всегда был во власти эротических вихрей, покорно отдавался космическим влияниям, своего рода одержимости. Это — подполье творчества Соловьева, темный хаос, слепая сила, одновременно и созидаящая и разрушающая, таинственная глубина подсознания. Из нее возносились «лики роз» — творческие интуиции и вдохновенные мысли; об этом «сумрачном лоне» говорит он в стихотворении «Мы сошлись с тобой не даром»:

Свет из тьмы. Над черной глыбой
Вознестися не могли бы
Лики роз твоих,
Если б в сумрачное лоно
Не впивался погруженный
Темный корень их...

Не этим ли сознанием страшной силы хаоса, таившегося в его природе, объясняется пристрастие Соловьева к строгим логическим схемам, рассудочной систематике, симметрической архитектонике? Рационализируя свою мысль, заковывая ее в тяжелую броню гегелевской диалектики, не заклинал ли он хаос в самом себе?

Первое видение Софии описано в поэме «Три свидания». Но можно ли доверять этой поэтической записи, составленной почти через тридцать шесть лет после описываемого в ней события? В примечании к поэме автор подчеркивает ее автобиографичность. «Осенний вечер и глухой лес, — пишет он, — внушили мне воспроизвести в шутливых стихах самое значительное из того, что до сих пор случилось со мной в жизни. Два дня воспоминания и созвучия неудержимо поднимались в моем сознании, и на третий день была готова эта маленькая *автобиография*, которая понравилась некоторым поэтам и некоторым дамам».

Соловьев сам признавался, что не умеет выдумывать; его стихи носят вполне документальный характер. Ничего в них не прикрашено и не прибавлено к тому, что действительно «было». Это — свидетельства.

Так смотрел на поэму Соловьева Александр Блок *, поэт, обладавший непогрешимым поэтическим слухом. «Если мы прочтем внимательно, — писал он, — поэму Вл. Соловьева «Три свидания», откинув шутливый тон и намеренную небрежность

* Блок Александр. Рыцарь-монах // Блок А. Собр. соч. Т. VII. Берлин: Эпоха, 1923.

формы, вызванные условиями века и окружающей среды, мы встанем лицом к лицу с непреложным свидетельством... Обращенная от его лица непосредственно к той, которую он здесь называет Вечной Подругой, поэма гласит: «Я, Владимир Соловьев, уроженец Москвы, призывал Тебя и видел Тебя трижды: в Москве в 1862 году, за воскресной обедней, будучи девятилетним мальчиком; в Лондоне, в Британском музее, осенью 1875 года, будучи магистром философии и доцентом Московского университета; в пустыне близ Каира в начале 1876 года».

О «самом значительном» Соловьев пишет в «шутливых стихах»! Между содержанием и формой поэмы резкая, мучительная дисгармония. И это не просто стилистический недостаток: дисгармония идет из глубины, она была в самой натуре Соловьева, во всем его творчестве, терзала его всю жизнь. Он не умел найти настоящего языка для своего мистического опыта, так как до конца жизни *не доверял* ему. Он малодушествовал перед мнением «некоторых дам и некоторых поэтов», держал про запас обезоруживающую насмешку над самим собой, готов был отречься от «самого значительного», что носил в себе, обратить все в мистификацию и спрятать свое лицо за самодовольной физиономией Кузьмы Пруtkова.

Первая встреча так описывается в «Трех свиданиях»:

И в первый раз, — о, как давно то было! —
Тому минуло тридцать шесть годов,
Как детская душа неожиданно ощутила
Тоску любви с тревогой смутных снов.

Мне девять лет. Она... ей — девять тоже.
«Был майский день в Москве», как молвил Фет.
Признался я. Молчание. О, Боже!
Соперник есть. А! он мне даст ответ.

Дуэль, дуэль! Обедня в Вознесенье.
Душа кипит в потоке страстных мук.
Житейское... отложим... попеченье —
Тянулся, замирал и замер звук.

Алтарь открыт... Но где ж священник, дьякон?
И где толпа молящихся людей?
Страстей поток — бесследно вдруг иссяк он,
Лазурь кругом, лазурь в душе моей.

Пронизана лазурью золотистой,
В руке держа цветок нежданных стран,
Стояла ты с улыбкою лучистой,
Кивнула мне и скрылася в туман.

И детская любовь чужой мне стала.
Душа моя — к житейскому слепа...
А немка-бонна грустно повторяла:
«Володенька — ах! слишком он глупа!»

Психологическая основа первого мистического опыта Соловьева — эротическая взволнованность: «душа кипит в потоке страстных мук», но самый мистический опыт не есть продолжение этой взволнованности; она *подготавливает* его, но не *порождает*. Напротив, одного веяния Любви Небесной достаточно, чтобы земные страсти внезапно умолкли («Страстей поток — бесследно *вдруг* иссяк он»). Видение не есть галлюцинация возбужденных чувств или плод разгоряченного воображения: оно приходит из другого мира («цветок нездешних стран») — и земная действительность исчезает перед ним как дым. Все опустошено внутри и вовне, и все залито лазурью. Сквозь лазурь, сама сотканная из лазури, на мгновение является Она — и тотчас же расплывается в лазурном тумане. Запоминается только ее «лучистая улыбка» и ее цветок.

Как выразить на языке понятий духовное содержание этого опыта? О чем говорит он? Мир видимый, материальный — призрачен. «Грубая кора вещества»⁷ распадается от прикосновения к подлинному бытию. И то, что нашим земным глазам кажется косной материей, есть явление духа, насквозь им пропитано. Сокровенная сущность мира духовна и светоносна; образ ее — «золотистая лазурь», небесный эфир, озаренный солнечными лучами. Она едина: всюду, в душе и в космосе, разливается один океан лазури, все собой заполняя и соединяя небо с землей и с человеком. Наконец, духовное всеединство не безличная стихия, не мертвая энергия: оно есть живое и личное бытие, человеческий образ. И этот образ — Женственная Красота.

Конечно, девятилетний мальчик не мог осознать того, что ему открылось в первом свидании с Подругой Вечной. На рубеже отрочества видения детства потускнели в памяти, были отброшены как «детские мечты». Но после бурного отрицания и богоборчества они вернулись с новой силой к юноше в Лондоне и Египте.

Мистическая основа всей философии Соловьева — его учение о Софии; многим оно представляется искусственной и рассудочной попыткой соединения западноевропейской теософии с восточным православием. Соловьева нередко считают гностиком и теософом, учившимся «мистике» у Якова Бёме, Пордэджа⁸ и Парацельса. Между тем несомненно, что в основе его социологии лежит мистический опыт. Учение его вышло не из книг, а из подлинного жизненного переживания. И другой важный факт:

первое явление таинственной «Подруги» предстало ему в православном храме, за литургией — во время пения Херувимской. Его мгновенное видение преображенного мира сопровождалось самым мистическим из церковных песнопений: «Иже херувимы тайно (*mystikos*) образующе». Он реально пережил преображение мира во время молитвы Церкви об этом преображении. Как бы ни изменялись и ни извращались в дальнейшем формы его религиозного опыта — корни его в этом детском видении: они православны и церковны.

* * *

Поступлением в Пятую московскую гимназию заканчивается тихое, мечтательное и мистическое детство Соловьева. За тезисом следует антитезис — мятежное, бурное отрочество, полное борьбы, противоречий и скрытых драм. В гимназии мальчик стал быстро меняться: возмужал, сделался общительнее и смелее. Читал запоем все, что ему попадалось под руку, ходил на парады и маневры, обожал военных и мечтал о сражениях и подвигах; был зачинщиком в играх и проказах. Летом семья Соловьевых жила в подмосковном имении Покровское; в письме к Стасюлевичу* (январь 1893 г.) Соловьев вспоминает о том, как он проводил время на даче в обществе друзей детства — братьев Лопатинных. «Цель нашей деятельности за это время состояла в том, чтобы наводить ужас на покровских обывателей, в особенности женского пола. Так, например, когда дачницы купались в протекающей за версту от села речке Химке, мы подбегали к купальням и не своим голосом кричали: “Пожар! Пожар! Покровское горит!” Те высказывали в чем попало, а мы, спрятавшись в кустах, наслаждались своим торжеством. А то мы изобретали и искусно распространяли слухи о привидениях и затем принимали на себя их роль. Старший Лопатин⁹ (не философ), отличавшийся между нами физической силой и ловкостью, а также большой мастер в произведении диких и потрясающих звуков, сажал меня к себе на плечи верхом, другой брат надевал на нас обоих белую простыню, и затем эта необычайного вида и роста фигура в лунную ночь, когда публика, особенно дамская, гуляла в парке, вдруг появлялась из смежного с парком кладбища и то медленно проходила в отдалении, то устремлялась галопом в самую сере-

* Письма Владимира Сергеевича Соловьева / Под ред. Э. Л. Радлова: В 3 т. СПб., 1908—1911. Четвертый том под редакцией Э. Л. Радлова издан в Петербурге в 1923 г.

дину гуляющих, испуская нечеловеческие крики. Для других классов населения было устроено нами пришествие антихриста. В результате мужики не раз таскали нас за шиворот к родителям, покровский священник, не чуждый литературы, дал нам прозвище “братьев-разбойников”, которое за нами и осталось, а жившие в Покровском три актрисы, г-жи Собощанская, Воронова и Шуберт, бывшие особым предметом моих преследований, сговорились меня высечь, но, к величайшему моему сожалению, это намерение почему-то не было исполнено. Впрочем, иногда наши занятия принимали научное направление. Так, мы усиленно интересовались наблюдением над историей развития земноводных, для чего в особо устроенный нами бассейн напускали множество головастиков, которые, однако, от неудобства помещения скоро умирали, не достигнув высших стадий развития. К тому же свою зоологическую станцию мы догадались устроить как раз под окнами кабинета моего отца, который объявил, что мы сами составляем предмет для зоологических наблюдений, но что ему этим заниматься некогда. Тогда мы перешли к практическому изучению географии, и моей специальностью было исследовать течение ручьев и рек и глубину прудов и болот, причем активная роль моих товарищей состояла главным образом в обращении к чужой помощи для извлечения меня из опасных положений».

Перед нами картина переходного времени в развитии Соловьева: мистические настроения детства вырождаются в шалости, «наводящие ужас на обывателей». Воображение мальчиков увлечено романтикой «страха и ужаса»: они любят все таинственное, жуткое, сверхъестественное (призраки, кладбище, пришествие антихриста); но в этот фантастический мир врываются уже новые интересы и увлечения: естественные науки, география и зоология; мальчики уже что-то читали о теории развития видов и проделывают первые «научные опыты». Наступает новая эпоха — шестидесятые годы с их культом естественных наук, догматическим материализмом и революционными надеждами. С неистовой страстностью Соловьев бросается навстречу «новому времени».

В 13 лет он признается Н. И. Карееву, что не верит больше в мощи. В 14 лет перестает ходить в церковь; в течение четырех лет предается самому крайнему отрицанию, самому яростному атеизму. Он писал впоследствии (в 1896 г.): «Будучи с детства занят религиозными предметами, я в возрасте от 14 до 18 лет прошел через различные фазы теоретического и практического отрицания».

Теоретически — он изучал «все учения, подрывавшие доверие к истине христианства»; практически — «предавался иконоборчеству». Величко рассказывает, как однажды «после вечера, проведенного в горячих рассуждениях с единомышленными товарищами, Соловьев сорвал со стены своей комнаты и выкинул в сад образа, бывшие свидетелями стольких жарких детских его молитв».

В безбожии Соловьева было исступление. Он глумился над святынями с болезненным упоением, с кем-то боролся, на кого-то восставал, кому-то мстил. Прочитав одну французскую книжку (Laurent'a), он однажды с веселым злорадством сказал отцу: «А недурно там *отделяют* христианство!» Друг детства Соловьева Л. М. Лопатин * раскрывает перед нами подлинную природу соловьевского «отрицания».

«Была пора в его жизни, — пишет Лопатин, — когда он был совершенным материалистом — правда, в юные года, начиная лет с пятнадцати, — и считал за окончательную истину то самое, против чего впоследствии так энергично боролся. Я никогда потом не встречал материалиста, столь страстно убежденного. Это был типический нигилист 60-х годов. Ему казалось, что в основных началах материализма открывается новая истина, которая должна заменить и вытеснить все прежние верования, перевернуть все человеческие идеалы и понятия, создать совсем новую, счастливую и разумную жизнь... Еще в эпоху своего студенчества отличный знаток сочинений Дарвина, он всей душой верил, что теорией этого знаменитого натуралиста раз и навсегда положен конец не только всякой телеологии, но и всякой теологии, вообще всяким идеалистическим предрассудкам. Его общественные идеалы в то время носили резко социалистическую, даже коммунистическую окраску. Он внимательно изучал сочинения знаменитых теоретиков социализма и был глубоко убежден, что социалистическое движение должно возродить человечество и коренным образом обновить историю... Соловьев пережил на самом себе материализм и позитивизм так глубоко, он так горячо увлекался и тем и другим, так много вложил в них своей души, что, если бы с ним не случился переворот, он, конечно, явился бы одним из самых блестящих и глубокомысленных апостолов нового философского движения».

Как могло произойти столь внезапное превращение Соловьева из мистического ребенка «Трех свиданий» в «типичного ни-

* Лопатин Л. М. Философское мировоззрение В. С. Соловьева // Философские характеристики и речи. М.: Путь, 1911.

гилиста»? Как мог он с такой легкостью отречься от всех святынь своего детства и потерять «веру отцов»? Нельзя ставить такие вопросы, ибо *Соловьев веры не терял*: его вера обратилась на другой объект, но внутренняя сущность ее, мистическая устремленность и пламенность, не ослабели. Потеря веры есть угасание религиозной стихии в душе человека, омертвление сердца, скептическое равнодушие и безволие. У Соловьева, напротив, переход к материализму был бурным процессом, бунтом против прошлого и страстным утверждением нового. Он стал материалистом потому, что материализм есть вера, и при этом одна из самых догматических.

Впоследствии Соловьев писал о 60-х годах: «Это была эпоха смены двух катехизисов, когда обязательный авторитет митрополита Филарета был внезапно заменен столь же обязательным авторитетом Людвига Бюхнера». В России переход от Филарета к Бюхнеру носил характер непреодолимой стихийности, массового гипноза, не только научной, но и моральной обязательности. Восторг разрушения охватил всю интеллигенцию; противиться этому деспотическому «духу времени» было необычайно трудно. И, конечно, четырнадцатилетний гимназист Соловьев, с его туманно-мистической религиозностью, с его догматически неосознанной верой, был не в силах устоять, когда вокруг него этот вихрь сметал и уносил с собой все «идеалистические предрассудки».

В наше время нам трудно понять, что материализм, это безжизненное, безотрадное и плоское учение, мог воспламенять души и питать энтузиазм целого поколения русских людей. Но не следует смешивать научный западноевропейский материализм и его русскую рецепцию — нигилизм. В последнем от «научности» сохранялась только вывеска, а за ней были идеи и упования, ничего общего с материализмом не имеющие. Внутреннее противоречие русского нигилизма, соединявшего дарвинизм с жертвенностью и служением, было впоследствии остроумно раскрыто Соловьевым. «Нет ничего, кроме материи и силы; борьба за существование произвела сначала птеродактилей, а потом плешивую обезьяну, из которой выродились и люди; итак, всякий да полагает душу свою за други своя».

Нигилисты отрицали, потому что были охвачены жадной утверждения, разрушали не ради самого разрушения, а ради немедленного созидания новой жизни. Лозунг Бакунина: «Страсть разрушения есть в то же время и созидательная страсть»; нужно разрушать, потому что прогнившие постройки ветхого мира мешают строительству нового; нужно все смести с лица земли, что-

бы очистить место для мировой мастерской, в которой будет выковываться новая, разумная жизнь. Лопатин отмечает, что именно эта вера в скорое преображение мира привела Соловьева к материализму.

Борьба с прошлым не ограничивалась одной идеологией; она естественно переходила в область общественной работы и политической борьбы. Шестидесятые годы — эпоха громадного общественного напряжения, время проектов, политических программ и социальных учений. Реформы Александра II освободили скрытые энергии русского общества, подавленные гнетом николаевского режима. После мертвого штиля началось движение воды; все тронулось с места и зашумело; лихорадка деятельности, строительства, преобразований охватила всех. Шестидесятники были утопистами, говорунами, хлопотунами, «прожекторами».

И Соловьев в своих теориях, планах и схемах, во всем том, что он перед смертью называл «внешними замыслами», никогда не мог вполне освободиться от «суматохи» 60—70-х годов. Некоторое время он был типичным шестидесятником: прошел через социализм и даже через коммунизм и верил, что социализм «возродит человечество и коренным образом обновит историю».

Религиозный кризис, пережитый Соловьевым в 60-х годах, был не утратой веры, а сменой двух вер. Мистическая, полусознательная религиозность детства заменилась «верой» материалистической и социалистической; но основное устремление ее не изменилось, оно даже усилилось. Интуиция, лежащая в основе всего творчества Соловьева и связывающая детское видение «Трех свиданий» с мрачным финалом «Трех разговоров», может быть названа *эсхатологической*. Лопатин пишет: «Я никогда не видал другого человека, с такой беззаветностью, можно сказать, с такой благородной наивностью убежденного в непреходящем и очень близком торжестве абсолютной правды на земле».

В юности Соловьев ждал торжества правды от социалистического переворота; впоследствии «это торжество в его верованиях и мечтах сливалось с мыслью о близости Второго Пришествия и возрождения всей твари».

Эта вера — святая святых Соловьева; он ошибался в путях, разочаровывался, сбивался с дороги, но веру в скорое наступление Царства Божия пронес через всю свою жизнь. Она была его подвигом и его крестом.

2

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ. РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
(1869—1874)

В 17 лет Соловьев окончил с золотой медалью гимназию и поступил на историко-филологический факультет Московского университета, но вскоре перешел на физико-математический. Его биограф С. М. Лукьянов* объясняет эту смену факультетов влиянием статьи Писарева «Наша университетская наука». Три года Соловьев усердно изучал естественные науки, увлекался плезиозаврами и мастодонтами. Но постепенно интерес к природоведению у него ослабевал, и во время экзамена за третий курс на него «нашло затмение» и он провалился. В 1872 г. он поступает вольнослушателем на четвертый курс историко-филологического факультета и в июне 1873 г. сдает кандидатский экзамен. В течение 1873/74 академического года слушает лекции в московской Духовной академии; в марте 1874 г. он оставлен при университете на два года.

* * *

«Наружность Владимира Сергеевича резко менялась в разные периоды его жизни, — пишет его племянник С. М. Соловьев **. — Если мы возьмем его молодые портреты, то преобладающей чертой этого прекрасного лица, несколько малорусского, с черными сдвинутыми бровями, покажется нам — строгая чистота, энергия, готовность к борьбе».

Высокий чистый лоб, длинные темные волосы, худое изможденное лицо, по-детски пухлые, чувственные губы и светло-голубые, почти серые глаза, странные, с расширенными зрачками, менявшими цвет, — лицо юноши Соловьева поражало своей необыкновенностью. В его наружности было что-то монашеское и иконописное, и вместе с тем затаенный огонь, надменность и чувственность. Он был высок и страшно худ, лицо без кровинки; печальные прекрасные глаза и взрывы смеха, казавшиеся неестественными и даже жуткими.

А. Г. Петровский в 1901 г. писал о Соловьеве: «Когда я впервые познакомился с ним, 32 года тому назад, он сам едва только

* Лукьянов С. М. О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы: Материалы к биографии. Кн. I. Пг., 1916. Кн. II. Пг., 1921.

** Соловьев С. М. Биография В. С. Соловьева, приложенная к изданию его «Стихотворений» (Москва).

вышел из детских лет, но уже и тогда (т. е. в год вступления в университет) он поразил меня как человек необыкновенный: печать избранника судьбы, высокоодаренного, носившего в себе божественный огонь, была ясно видна на его лице, и я до сих пор живо помню это первое впечатление».

Жизнь Московского университета во время пребывания в нем Соловьева была парализована уставом 1863 г. Профессора находились под надзором, студенты под подозрением. Соловьев пишет Е. В. Романовой, что университет представляет собой «абсолютную пустоту». На лекции он ходил редко и связи со студентами не поддерживал. «Соловьев как студент не существовал, — вспоминал впоследствии его сокурсник Н. И. Кареев, — и товарищей по университету у него не было».

Но внешне жизнь Соловьева была очень оживленна. Он приобретает широкий и разнообразный круг знакомых. Братья Лопатины, друзья детства, учившиеся в Поливановской гимназии, вводят его в кружок шекспиристов. Он состоял из бывших воспитанников Поливановской гимназии. Молодежь изучала Шекспира, устраивала любительские спектакли и сочиняла шуточные пьесы. Особенно отличались в этом юмористическом жанре А. А. Венкстерн, В. Е. Гиацинтов¹⁰ и гр. Ф. Л. Соллогуб. Соловьев был совершенно равнодушен к театру, но поэзия в стиле Кузьмы Пруткова сразу его увлекла. Он сочинил целый акт для комедии Венкстерна «Альсим», которая была представлена в доме Соловьевых. Это увлечение он сохранил на всю жизнь: он обладал большим юмором и неистовой, почти болезненной страстью к шуточным стихам, пародиям и каламбурам; любил самую нелепую игру слов, бессмысленное балагурство, грубые, даже непристойные анекдоты. Веселость находила на него стихийными приступами, как своего рода эпилепсия. В них было не только «детское добродушие», не только «чисто украинский юмор», как пишут его биографы, но и нечто гораздо более сложное, загадочное и темное.

В студенческие годы в Соловьеве происходила громадная умственная работа, и среди своих светских и легкомысленных приятелей он отдыхал. Смешной и глупый вздор удивительно его освежал; он был слишком замкнут и горд, чтобы искать общения с людьми: он не общался, а развлекался. Гр. Ф. Л. Соллогуб, которого Соловьев называл «самым своеобразным и привлекательным из всех людей, каких он только знал», не имел представления о философских интересах своего приятеля. С. М. Соловьев передает, что после появления «Истории теократии» Соллогуб сказал молодому автору: «Я слышал, что ты опять написал ка-

кую-то глупость». С юношеских лет Соловьев жил в полном духовном одиночестве; он так и умер одиноким, не сумев, а может быть, и не захотев его преодолеть.

В другой кружок Соловьев был введен кн. Д. Н. Цертелевым. В семье востоковеда И. О. Лапшина¹¹ занимались спиритизмом. Соловьев подружился с хозяйкой дома, Сусанной Денисьевной, англичанкой по происхождению, учил ее философии и древним языкам. Здесь же он познакомился с страстным спиритом А. Н. Аксаковым и на некоторое время превратился в «пишущего медиума». Он не только принимал участие в сеансах у Лапшиных, но и у себя дома в одиночестве занимался столоверчением, вызывал духов и упражнялся в автоматическом письме. Увлечение это продолжалось года два-три, но следы его сохранились надолго: во время заграничной командировки он продолжает интересоваться спиритизмом, знакомится с медиумами, посещает сеансы. «Теософский» период его жизни, изучение Сведенборга, Сен-Мартена, Парацельса и знакомство с оккультными учениями — все это связано с его юношескими «спиритическими» переживаниями. У Соловьева был не только *мистический* опыт, но и опыт *оккультный*. Это два совершенно разнородных, часто противоположных источника познания. В сознании Соловьева они боролись, и бывали минуты, когда оккультный опыт замутнял и искажал опыт мистический.

* * *

В юности Соловьев был целомудрен и влюбчив, он легко увлекался, но увлечения быстро проходили и не захватывали всего его существа. В кружке поливановцев он ухаживал за родственницей А. Венкстерна, Е. Н. Клименко¹²; гостя летом в имении бабушки, Федоровке, он «поочередно влюблялся в своих кузин». Эта любовная дружба имела возвышенный философский характер, кузины были «адептками его учения», и поцелуи являлись «лишь внешним выражением внутренних духовных отношений» *. Кипело не сердце, а воображение. На каникулах 1871 года у Соловьева был «глупый роман» с двоюродной теткой, белокурой и голубоглазой Верой Михайловной Петкович **, которая предпочла ему другого. Он страдал больше от самолюбия, чем от любви. Через несколько месяцев он пишет другой кузине, Екатерине Владимировне Романовой: «Ты очень ошибаешься, если

* Повесть «На заре туманной юности» (Письма. Т. III).

** В повести она названа «кузиной Лизой».

думаешь, что я весь погрузился в свою *дурь*, как ты совершенно верно называешь мой глупый роман; мне эта дурь уже давно ни в чем не мешает, а теперь она почти совсем прошла, — разве только иногда в бессонные ночи возвращается воспоминание». Через два месяца он узнает о замужестве «ветреной и непостоянной» Веры и впадает в хандру, но ненадолго и в последний раз.

«Я несколько раз собирался писать, — сообщает он Е. В. Романовой, — но днем мешали занятия, а по ночам хандра, вследствие известия о замужестве В. На меня, сверх ожидания, это известие произвело довольно сильное действие, впрочем непродолжительное: теперь уже почти совсем прошло, и надо надеяться — навсегда».

Более длительным и серьезным был неудачный роман Соловьева с Е. В. Романовой. Он знал ее с детства, встречался с ней у бабушки в Федоровке. Летом 1871 г., в разгар увлечения В. Петрович, он просиживал долгие часы у постели больной Кати и читал ей по-немецки стихи Гейне. Вернувшись в Москву, он начинает с ней переписываться, 16-летняя Катя посвящена в тайну его несчастной любви к Петрович и трогательно его утешает. Родственная нежность постепенно переходит в горячую привязанность; воображение доделывает остальное. Соловьев мечтает «о нежной полувоздушной девочке», вспоминает, как во время последнего свидания в деревне «она выходила из купальни в голубом ситцевом платье, с небрежно закинутою за спину темной косой» *, и решает, что ее любит. Любовь его весьма возвышенная, философская и дидактическая. Он поучает Катю, руководит ее занятиями и чтениями, воспитывает ее в духе немецкого идеализма и заботится о ее нравственном развитии. В его письмах много юношеского педантизма и мало настоящего чувства. В мае 1872 г. он едет на свидание с ней в Харьков. В вагоне случайно знакомится с молодой дамой (в повести «На заре туманной юности» она названа Julie) и первый раз в жизни испытывает вспышку страсти. После этой встречи образ Кати кажется ему тусклым и бледным. «Наше свидание произошло вовсе не так, как я себе представлял... Я нашел в ней большую перемену... Теперь это была совсем взрослая и нарядная девица с развязными манерами» **.

* В повести Е. В. Романова названа Ольгой.

** «На заре туманной юности». Окончание повести явно придумано: кузина Ольга отказывает своему «идеальному поклоннику»; Е. В. Романова еще три года верила в возможность брака с Соловьевым.

Придуманное в разлуке чувство молодого мечтателя не выдерживает столкновения с действительностью. Он разочарован и подавлен. Из Харькова он пишет И. О. Лапшину, что проводит время в порядочной тоске. «Вчера на меня напало такое уныние, что я даже решился возвратиться в Москву...» Но признаться влюбленной Кате в своем разочаровании он не смел. После возвращения в Москву он еще целый год продолжает с ней переписываться, то уверяя ее в неизменности своих чувств и в непреклонном решении на ней жениться, то уговаривая ее выйти замуж за другого, так как он «не может отдать ей себя всего, а предложить меньше считает недостойным».

Письма этого периода производят тягостное впечатление: на пылкие послания Кати Соловьев отвечает вымученными признаниями в вечной любви, говорит о своей ревности, своих страданиях и вместе с тем старается уговорить Катю не приезжать в Москву, пользуется разными предложениями, чтобы оттянуть свидание с ней в Петербурге, и внушает ей, что он не призван к семейной жизни. «Личные и семейные отношения, — пишет он, — всегда будут занимать второстепенное место в моем существовании... Я имею совершенно другую задачу... ее посильному исполнению посвящу я свою жизнь». И он говорил правду: действительно, к этому времени он уже нашел свою «идею» и готовился самоотверженно нести ее в мир. Но он скрывал одно: Катю он не любил. Через три года они окончательно расходятся.

* * *

Студенческие годы Соловьева — период духовного роста и мучительных исканий. Умственным запросам гимназиста могли удовлетворять книжки Бюхнера и Фохта, критика Добролюбова и Писарева. Соловьев «уничтожал» Пушкина, повторял, что «жертва есть сапоги всмятку», и в знак свободомыслия отращивал себе длинные волосы. Но догматический материализм, разбудив его мысль, оказался бессильным перед его сомнениями. У него развивается критическое чувство, его чтения становятся более систематическими и разнообразными. К 16 годам он уже начинает понимать несостоятельность материализма и ищет более цельного мировоззрения. В его философском развитии решающая роль принадлежит Спинозе. «16-ти лет, — пишет Л. Лопатин, — он познакомился с сочинениями Спинозы и начинает внимательно читать и изучать его, страшно им увлекается, сначала толкует его философские идеи в духе материализма, но потом постепенно приходит к сознанию совершенной несостоятель-

ности подобной попытки... Благодаря Спинозе Бог, хотя еще в очень абстрактном и натуралистическом образе, впервые возвращается в миросозерцание Соловьева».

У Спинозы Соловьев нашел философское обоснование своей первоначальной интуиции, *духовного всеединства мира*. Спиноза *modo geometrico*¹³ выводит всю множественность материальных вещей из единой духовной субстанции — *Deus sive natura*¹⁴. Дух и материя — одно; порядок и сочетание вещей тождественны порядку и сочетанию идей. Философия Спинозы была для Соловьева откровением: она объясняла ему смысл его собственного мистического прозрения и вместе с тем как будто оправдывала материалистическую теорию естествознания. Автор «Этики» вводил понятие Бога, не нарушая механистического детерминизма. Оправдывая философски познание эмпирическое и рациональное, он утверждал возможность «третьего рода познания» — интуитивного. Соловьев усваивает эти идеи и впоследствии вводит их в свою синтетическую систему. «*Deus sive Natura*», «*Natura naturans* и *Natura naturata*»¹⁵, творчески претворенные, лежат в основе соловьевского панпсихизма.

Следующий этап — изучение скептического Джона Стюарта Милля: догматы материализма не выдерживают тонкой и насмешливой критики английского эмпириста. Соловьев начинает понимать, что сущность материи не менее непостижима, чем сущность духа, что материализм ничего не объясняет и никакой «действительности» не соответствует. Он вплотную подходит к проблеме человеческого знания — и здесь ждет его Кант.

«Наиболее глубокий переворот в Соловьеве, — сообщает Лопатин, — вызывает изучение Канта, и в особенности Шопенгауэра». Молодой философ окончательно освобождается от догматизма и через кантовскую гносеологию приходит к заключению, что знание не противоречит вере и что наука совместима с религией. Изучение Канта было для Соловьева школой философской дисциплины мысли, но теория познания, *формально* разрешив ему искать Бога, не могла этих исканий удовлетворить. Бог Канта был не живым Богом, а отвлеченным понятием, «постулатом практического разума». И Соловьев стремительно «влюбился» в Шопенгауэра. Лопатин пишет: «Шопенгауэр овладел им всецело, как ни один философский писатель после и раньше... У него Соловьев нашел то, чего не находил ни у одного из излюбленных им писателей — удовлетворение никогда не умолкавшей в нем религиозной потребности, религиозное понимание и религиозное отношение к жизни».

У немецкого философа Соловьев встретил родственную ему *эсхатологическую интуицию*. Биологическая эволюция Дарвина, привлекавшая его своим динамизмом, и теория прогресса Спенсера, вдохновлявшая его идеей исторического процесса, в сочинениях Шопенгауэра приобретали глубокий религиозный смысл. Вся мировая жизнь раскрывалась здесь как единый нравственный очистительный процесс. Цель истории — освобождение мира от зла и страданий через угашение злой воли к бытию. У Шопенгауэра Соловьев узнал знакомую ему русскую «страсть к разрушению». Пережитый им нигилизм возрождался, облеченный в философскую мантию. У Шопенгауэра было то же острое чувство неправды жизни, тот же пафос спасения и освобождения. Он учил, что конец мира должен наступить и что каждый может ускорить его приближение. Соловьев верил, что «правда» на земле скоро восторжествует, но не знал, *какая* правда. Шопенгауэр открыл ему глаза: эта правда — Нирвана. На некоторое время Соловьев становится буддистом и со страстью отдается изучению восточных религий.

«Но и увлечение Шопенгауэром, — продолжает Лопатин, — только эпизод в умственном росте Владимира Сергеевича. Отчасти благодаря сочинениям Эд. Гартмана, отчасти собственной умственной работой Соловьев приходит к сознанию умозрительных недостатков системы Шопенгауэра».

После погружения в Нирвану — новая неудовлетворенность и новые искания. Увлечение пессимистической философией постепенно изживается.

«После Шопенгауэра, — пишет Лопатин, — Соловьев изучает системы немецких идеалистов: Фихте, Шеллинга, Гегеля... Особенно сильное влияние в эту эпоху оказал на него Шеллинг своей положительной философией, о которой он еще из отзывов Гартмана вынес представление как о системе, примиряющей крайние точки зрения Шопенгауэра и Гегеля».

Наконец, Соловьев знакомится с позитивизмом Огюста Конта. В нем видит он завершение всей западной философии. Отказ от познания сущности бытия, ограничение области знания миром явлений — вот чем, по его мнению, заканчивается многовековое развитие европейской мысли.

Занятия естествознанием и философией приводят Соловьева к пессимистическому выводу: ни опытное знание, ни отвлеченная мысль не способны удовлетворить метафизическим запросам человеческого духа.

Но для Соловьева философия была не теорией, а «жизненным делом». Идеи философов, которых он изучал, овладевали всем его существом: он *жил* ими.

Этапы его духовной жизни можно проследить по его переписке с Е. В. Романовой; это его философский дневник.

* * *

В первом письме (12 октября 1871 г.) Соловьев — студент физико-математического факультета — говорит о своем разочаровании в естественных науках. «Пожалуйста, только занимайся не слишком усидчиво и ради Бога не естественными науками: это знание само по себе совершенно пустое и призрачное. Достойны изучения сами по себе только *человеческая* природа и жизнь, а их всего лучше можно узнать в истинных поэтических произведениях».

Материалистический и естественно-научный период уже кончен; Бюхнер и Писарев остались далеко позади; Соловьев готовится покинуть физико-математический факультет и перейти на историко-филологический.

Во втором письме (21 декабря 1871 г.) — настроение шопенгауэровское. «Может быть, даже хорошо, — пишет Соловьев, — что эта внешняя жизнь сложилась для тебя так неутешительно: потому что к этой жизни вполне применяется мудрое изречение: чем хуже, тем лучше. Радость и наслаждение в ней опасны, потому что призрачны; несчастье и горе — часто являются единственным спасением. Уже скоро две тысячи лет, как люди это знают и между тем не перестают гоняться за счастьем, как малые дети. Не будем хоть мы с тобой малыми детьми в этом отношении». И тут же отголоски «бессознательного духа» Гартмана. Соловьев советует кухне внутреннее убеждение ставить выше всех логических доказательств: «В серьезных вопросах внутренне бездоказательное и бессознательное убеждение есть голос Божий».

В третьем письме (27 января 1872 г.) шопенгауэровский пессимизм уже связывается с христианским аскетизмом и осмысливается религиозно. Наша жизнь — ложь и смерть, но *есть* другая, истинная жизнь; чтобы найти ее, нужно раскрыть подлинный лик христианства. «Если то, что считается действительной жизнью, — пишет Соловьев, — есть ложь, то должна быть другая, истинная жизнь. Зачаток этой истинной жизни есть в нас самих, потому что если бы его не было, то мы удовлетворились бы окружающей нас ложью и не искали бы ничего лучшего... Истинная жизнь в нас есть, но она подавлена, искажена нашей ограниченной личностью, нашим эгоизмом. Должно познать эту истинную жизнь, какова она сама в себе, в своей чистоте и какими средства-

ми можно ее достигнуть. Все это было уже давно открыто человечеству *истинным* христианством, но само христианство в своей истории испытало влияние этой ложной жизни, того зла, которое оно должно было уничтожить; и эта ложь так затемнила, так закрыла христианство, что в настоящее время одинаково трудно понять истину в христианстве, как и дойти до этой истины прямо самому».

Это решительный момент в развитии Соловьева: шопенгауэровская злая и бессмысленная воля как истина о мире, Нирвана как цель и разрушение, как средство уже преодолены: он говорит о *положительной* истине, заключенной в христианстве, но еще не верит, а только рассуждает об истине.

В письме от 26 марта 1872 г. наука уже пишется в кавычках, она даже не средство к постижению смысла жизни: стремясь познать природу, она ее убивает. Совсем в духе шеллингианской натурфилософии звучат следующие слова: «Я того мнения, что *изучать* пустые призраки внешних явлений — еще глупее, чем *жить* пустыми призраками. Но главное дело в том, что эта «наука» не может достигнуть своей цели. Люди смотрят в микроскоп, режут несчастных животных, кипятят какую-нибудь дрянь в химических ретортах и воображают, что они изучают *природу*! Этим ослам нужно бы на лбу написать:

Природа с красоты своей
Покрова снять не позволяет,
*И ты машинами не вынудишь у ней,
Чего твой дух не угадает.*

Вместо живой природы они целуются с ее «мертвыми скелетами». Выпады против «ослов», изучающих «пустые призраки внешних явлений», едва ли были оценены по существу философски невинной кузиной Катей. Как было ей догадаться, что, опираясь на Шеллинга, Соловьев вступает в бой с позитивистами, что в этот момент в его голове рождаются основные мысли его магистерской диссертации «Кризис западной философии»?

В повести «На заре туманной юности» мы находим любопытную самохарактеристику Соловьева. Оглядываясь на свое прошлое, философ юмористически описывает душевное состояние, в котором он находился в 1871—1872 годах. В основе его — крайний пессимизм и пафос разрушения. Его нигилизм был не только подражанием «моде» шестидесятых годов: сознание, что «весь мир во зле лежит»¹⁶, сопровождало его «чуть ли не с колыбели»; он *сам* додумался до всеобщего разрушения. «Я — пессимист и аскет, — пишет он, — я — непримиримый враг земного начала... Я, чуть ли не с колыбели познавший тщету хотения, обманчи-

вость счастья, иллюзию удовольствий...» К восемнадцати годам он «додумался до твердого убеждения, что вся временная жизнь, как состоящая единственно только из зол и страданий, должна быть поскорее разрушена совершенно и окончательно». Но общественный и политический радикализм шестидесятников его уже более не удовлетворяет: ему мало уничтожения существующего социального порядка — он мечтает о космическом разрушении. Метафизическое обоснование своего «пафоса гибели» он находит в трансцендентальном идеализме Канта и в пессимистической философии Шопенгауэра и Гартмана. «Едва успел я дойти до этого собственным умом,— продолжает Соловьев,— как мне пришлось убедиться, что не я один был такого мнения, но что оно весьма обстоятельно развивалось некоторыми знаменитыми немецкими философами». И он три года проработал над тем, чтобы «эту врожденную истину укрепить неприступными стенами трансцендентальной философии».

За год до поездки в Харьков другая кузина, «голубоглазая, но пылкая Лиза... удостоилась в один прекрасный летний вечер быть посвященной в тайны трансцендентального идеализма». — «Гуляя с ней по аллеям запущенного деревенского парка, я не без увлечения, хотя сбиваясь несколько в выражениях, объяснил ей, что пространство, время и причинность суть лишь субъективные формы нашего познания и что весь мир, в этих формах существующий, есть только наше представление, то есть, что его, в сущности, нет совсем. Когда я дошел до этого заключения, моя собеседница, все время очень серьезно смотревшая своими большими зеленоватыми глазами, улыбнулась и с явным лукавством заметила:

— А как же вчера ты все говорил о страшном суде?

— О каком страшном суде?

— Ну, все равно, о том, что нужно все уничтожить. Если, по-твоему, мира нет совсем, то почему же тебе так хочется его разрушить?»

Обмолвка кузины была многозначительна: она верно почувствовала, о чем, собственно, говорил ее ученый поклонник. Под нигилистическим разрушением, кантовским идеализмом и шопенгауэровским самоотрицанием воли скрывалась его исконная, прирожденная *эсхатологическая интуиция*: он жаждал скорого конца, то есть именно Страшного Суда, наступления Царства Божия. Это Царство рисовалось в то время Соловьеву довольно туманно; одно он знал: Царство Божие — не социалистический земной рай, о котором мечтали «радикалы-натуралисты», а какая-то совсем другая, «чисто трансцендентная жизнь».

Во время этой же поездки он встречается со студентом-медиком, «провинциальным нигилистом самого яркого оттенка».

«Мы открыли друг другу всю душу. Мы были вполне согласны в том, что существующее должно быть в *скорейшем времени* разрушено. Но он думал, что за этим разрушением наступит земной рай, где не будет бедных, глупых и порочных, а все человечество станет равномерно наслаждаться всеми физическими и умственными благами в бесчисленных фаланстерах, которые покроют земной шар,— я же с одушевлением утверждал, что его взгляд недостаточно радикален, что на самом деле не только земля, но и вся вселенная должна быть коренным образом уничтожена, что если после этого и будет какая-нибудь жизнь, то совершенно другая жизнь, непохожая на настоящую, чисто трансцендентная. Он был радикал-натуралист, я был радикал-метафизик».

В близком конце Соловьев твердо убежден, в пришествие Царствия верит еще смутно. В конце его жизненного пути эсхатологические чаяния юности нашли свое выражение в «Повести об Антихристе».

Попытка посвящения кухни в тайны кантовской философии закончилась поцелуем; неожиданный финал вывел молодого метафизика из душевного равновесия, и «еще долго ждала меня в моей комнате недочитанная глава о синтетическом единстве трансцендентальной апперцепции».

В беседах с кухней Лизой в 1871 году преобладал Кант, в романе с другой кухней, Ольгой, главная роль принадлежала Шопенгауэру. Соловьев ходил на свидания с Ольгой для того, чтобы «поставить наши отношения на почву самоотрицания воли». Он собирался сказать ей следующее: «Наша воля вечно нас обманывает, заставляя слепо гоняться, как за высшим благом и блаженством, за такими предметами, которые сами по себе ничего не стоят; она-то и есть первое и величайшее зло, от которого нам нужно освободиться. Для этого мы должны отвергнуть все ее внушения, подавить все наши личные стремления, отречься от всех наших желаний и надежд... Я познал истину, и моя цель — осуществить ее для других: обличить и разрушить всемирный обман».

Сравнивая это место повести, написанной много лет позже, с письмами к Е. В. Романовой, относящимися к тому же периоду (1872 г.), мы приходим к заключению, что в повести Соловьев несколько стилизует действительность. Своим юношеским настроениям он придает цельность, ограничивая их рамками канто-шопенгауэровской философии.

Об «истинном христианстве» (письмо от 27 января) в повести не упоминается. Таким образом, повесть «На заре туманной юности» немного *отстает* от жизни.

* * *

Мы проследили духовный путь Соловьева до лета 1872 года. Он пришел к сознанию, что «истинная жизнь» открывается в христианстве, но ему еще «одинаково трудно понять истину в христианстве, как и дойти до этой истины прямо самому». Разум, обнаружив свое бессилие, вплотную подвел его к вере, но веры, настоящей, живой веры, у него еще нет.

После поездки в Харьков летом 1872 года тон его писем резко меняется: он говорит уже не как «ищущий» философ, а как пламенно верующий христианин. Он уже «знает» истинный путь. В письме к Е. В. Романовой от 6 августа 1872 года Соловьев пишет: «...я знаю другую дорогу и знаю, что ты найдешь ее, хотя теперь еще и *не знаешь* ее. Одно твоё стремление сойти с ложной дороги служит верным залогом того, что ты найдешь *путь, истину и жизнь*». В том же письме впервые упоминает он имя Христа.

Но, может быть, это все еще «философская вера», логическая дедукция понятия Бога из посылок идеалистической философии? Может быть, Соловьев все еще только «рассуждает» о Боге? Этому противоречит его ощущение резкого перелома, разрыва между прошлым и настоящим, несоизмеримости двух опытов — философского и религиозного. Он понимает всю «иррациональность» своего нового переживания, всю его «бессмысленность» с точки зрения разума. «Для большинства, — пишет он, — это пустые, бессмысленные слова, как для слепых “свет” есть пустое, бессмысленное слово. Но я пишу тебе и знаю, что ты не сочтешь меня за фантазера».

Поэтому следует самым решительным образом отвергнуть попытку Л. Лопатина представить приход Соловьева к христианству в виде постепенного, эволюционного процесса. «Соловьев, — пишет Лопатин, — начинает проникаться сознанием, что задушевная вера его детских лет — а он был очень религиозен и воспитался в очень религиозной семье — не во всем была направлена на ложные призраки... В это время он изучает системы немецких идеалистов». Но приход Соловьева к христианству совершился не «во время», а *после* изучения немецкого идеализма и преодоления его отвлеченностей. И, кроме того, Соловьев вовсе не возвратился к смутной религиозности своего детства, а при-

шел к новой, сознательной и действенной вере, в центре которой стоял живой образ Христа.

Философия его не эволюционно переливается в религию, а резко обрывается, приведя его в пустыню «философского отчаяния». И там, в пустыне, происходит обращение, *transcensus*¹⁷ в мир иной, не эволюция, а революция.

В письме от 31 декабря 1872 г. к Е. В. Романовой Соловьев излагает свое исповедание веры и рассказывает, «как человек становится сознательным христианином». В детстве всякий принимает уже готовые верования и верит, конечно, на слово. С годами ум растет и перерастает эти детские верования. «Сначала со страхом, потом с самодовольством одно верование за другим подвергается сомнению, критикуется полудетским рассудком, оказывается нелепым и отвергается. Что касается меня лично, то я в этом возрасте не только сомневался и отрицал свои прежние верования, но и ненавидел их от всего сердца, — совестно вспоминать, какие глупейшие кощунства я тогда говорил и делал. К концу истории все верования отвергнуты и юный ум свободен вполне». Он пытается заменить верования разумным знанием и обращается к положительной науке, но «эта наука не может основать разумных убеждений, потому что она знает только внешнюю действительность, одни факты, и больше ничего». Столь же бессильна и отвлеченная философия, ибо она «остаётся в области логической мысли, действительность, жизнь для нее не существует; а настоящее убеждение человека должно ведь быть не отвлеченным, а живым, не в одном рассудке, но во всем его духовном существе, должно господствовать над его жизнью и заключать в себе не один идеальный мир понятий, но мир действительный. Такого живого убеждения ни наука, ни философия дать не могут. Где же искать его? *И вот приходит страшное, отчаянное состояние — мне и теперь вспомнить тяжело, — совершенная пустота внутри, тьма, смерть при жизни.* Все, что может дать отвлеченный разум, изведено и оказалось негодным, и сам разум доказал свою несостоятельность. Но этот мрак есть начало света; потому что, когда человек принужден сказать: я ничто — он этим самым говорит: Бог есть все. И тут он познает Бога, не детское представление прежнего времени и не отвлеченное понятие рассудка, а Бога действительного и живого, который «недалеко от каждого из нас, ибо мы Им живем и движемся и существуем». Тогда-то все вопросы, которые разум ставил, но не мог разрешить, находят себе ответ в глубоких тайнах христианского учения, и человек верует во Христа уже не потому только, что в Нем получают удовлетворение все потребности сердца, но

и потому что Им разрешаются все задачи ума, все требования знания».

Итак, не наука и не отвлеченная философия дали Соловьеву веру в живого Христа. Они привели его к «тьме, смерти при жизни». Из тьмы он воззвал к Богу — поверил.

Из сопоставления писем к Е. В. Романовой явствует, что это обращение произошло между мартом и августом 1872 года. И вот как раз к этому периоду относится эпизод, описанный в повести «На заре туманной юности» (май 1872). Соловьев вспомнил его через двадцать лет, во время бессонной ночи, и решил рассказать об этом «совершенно забытом происшествии». «Хотя этот случай,— говорит он в предисловии,— имел совершенно ничтожное начало, но конец его оставил глубокий след в моей внутренней жизни».

Нельзя утверждать, что переживание, связанное с случайной встречей в вагоне, и было *обращением* Соловьева; можно только предположить, что оно явилось для него тем глубоким потрясением всего существа, которое подготовило почву для обращения. Соловьев жил в мире идей и отвлеченностей, и этот мир был внезапно взорван опытом совершенно иного порядка — эротическим и мистическим. Жизнь с непреодолимой силой ворвалась в «область логической мысли», и после этой душевной бури открылся путь к «живой» вере.

В поезде, по дороге в Харьков, Соловьев знакомится с Julie, молодой дамой, скорее некрасивой и «совершенно необразованной». Она ему не очень нравится, и он поглощен мыслями о кузине, к которой питает «весьма возвышенную любовь». Но вечером, когда Julie снимает шляпу и распускает волосы, он неожиданно для самого себя «подносит к своим губам густую прядь этих светлых душистых волос» и «покрывает поцелуями ее опущенные руки». Она отвечает ему «долгим, беззвучным, горячим поцелуем». На следующее утро он мучительно переживает свое «падение» и готов возненавидеть Julie. В Курске они меняют поезд. Julie переходит в первый класс, и случайные спутники разлучаются. Через некоторое время она снова появляется в его купе и приглашает его к себе в первый класс. Утомленный дорогой и бессонной ночью, он, переходя из вагона в вагон, вдруг теряет сознание. Julie схватывает его за плечи и спасает от верной смерти.

«Это я узнал потом,— продолжает Соловьев.— Тут же, очнувшись, я видел только яркий солнечный свет, полосу синего неба, и в этом свете и среди этого неба склонялся надо мной образ прекрасной женщины, а она смотрела на меня чудными, знакомы-

ми глазами и шептала мне что-то тихое и нежное. Нет сомнения, это Julie, это ее глаза, но как изменилось все остальное! Каким розовым светом горит ее лицо, как она высока и величественна! *Внутри меня совершилось что-то чудесное.* Как будто все мое существо расплавилось и слилось в одно бесконечно сладкое, светлое и *бесстрастное* ощущение, и в этом ощущении, как в чистом зеркале, неподвижно отражался один чудный образ, и я чувствовал и знал, что в этом одном было все. Я любил новую, всепоглощающую и бесконечную любовью и в ней впервые ощутил всю полноту и смысл жизни».

Придя в себя, он долго не мог говорить. «Я только смотрел на нее безумными глазами и целовал край ее платья, целовал ее ноги... Наконец бессвязным, отрывочным шепотом я стал передавать ей, что делалось со мной, как я ее люблю, что она для меня все, что эта любовь меня возродила, что это совсем другая, новая любовь, в которой я совершенно забываю себя, что теперь только я понял, что есть Бог в человеке, что есть добро и истинная радость в жизни, что ее цель не в холодном, мертвом отрицании».

В Харькове они расстаются. Он горько плачет. На другой день вся эта встреча кажется ему «чем-то фантастическим». *Что-то было мною пережито, где-то в самом глубоком уголке моей души я чувствовал что-то новое, небывалое;* но оно еще не слилось с моей настоящей жизнью».

Внезапный порыв страсти, расплавляющий душу и захватывающий все существо (телесное изнеможение, кончающееся обмороком); эротическая взволнованность, подготавливающая мистический опыт, и после него — сознание чего-то «нового, небывалого» и чувство живого присутствия Бога в мире — таковы три момента этого «события». Они аналогичны первому детскому видению, посетившему Соловьева ровно десять лет тому назад (май 1862 — май 1872). И там было любовное волнение (влюбленность в Юлиньку С.), откровение Вечной Женственности и чувство божественности мира. Земная страсть только готовит душу к созерцанию Любви небесной, а когда Она является, «поток страстей иссякает» и вся действительность утопает в лазури. В повести подчеркивается несоизмеримость между реальной женщиной, некрасивой и ничем не замечательной Julie, и тем прекрасным и величественным образом, который является в солнечном блеске и лазури неба. Это была Julie («ее глаза») и не Julie («как изменилось все остальное!»). «Всепоглощающей и бесконечной любовью» Соловьев полюбил не свою случайную спутницу, а Ту, которая открылась ему через нее. Потрясенный этим «чудом», он в исступлении говорит Julie о своей любви, но Julie

безошибочным женским чутьем понимает, что эта «другая, новая любовь» обращена не на нее. Она уговаривает его не приезжать к ней в Крым и уходит из его жизни. На следующее утро Соловьев сам понимает свою ошибку: он не любит Julie; встреча с ней представляется ему «как что-то совершенно фантастическое и ужасно далекое». Мистическое переживание «Вечной Женственности» иноприродно по сравнению с переживанием эротическим. Оно есть «одно бесконечно сладкое, светлое и *бесстрастное* ощущение», и смешивать его с «волнением крови» — кощунственно. Видение, явившееся девятилетнему мальчику в церкви в Вознесение, вспыхнуло и исчезло. Память о нем затерялась в массе новых впечатлений отрочества и юности. Только слабый лазурный отблеск хранился в глубине души, на грани подсознания. И вот через десять лет он снова загорелся яркой синевой и солнечным сиянием. В свете его вдруг ожило далекое детство и осозналось то, что было «самым значительным» в нем, — первое посещение Подруги Вечной. «Детские верования» оказались не призраками. Жизненное событие, происшедшее с Соловьевым в 1872 г., привело его к Богу. Религиозное обращение человека — таинственное и необъяснимое в своей сущности — всегда есть событие *жизненное*, акт целостной его природы.

* * *

Этот внутренний перелом внешне выразился в том, что он бросил физико-математический факультет и перешел на историко-филологический. 1872/73 учебный год наполнен усиленной подготовкой к кандидатскому экзамену; в один год Соловьев проходит программу четырех курсов и выдерживает экзамен в начале июня 1872 года. На месяц он уезжает отдохнуть в Смоленскую губернию, в имение своего старого товарища Николая Ивановича Кареева. Дальнейшие его планы таковы: «Хочу заменить магистра философии магистром богословия. Для этого буду сначала держать в Духовной академии кандидатский экзамен; затем должен буду прямо защищать диссертацию. Все это возьмет два года, в течение которых буду жить у Троицы¹⁸, так как там удобнее заниматься. А затем далее — самая удобная для меня дорога» (письмо к Н. И. Карееву от 2 июня 1873 г.). С такой быстротой происходит превращение бывшего естествовика в богослова. Соловьев пишет тоном человека, окончательно выяснившего свое призвание. Как представлял он себе эту «самую удобную для него дорогу»? «Я принадлежу не себе, а *тому делу*, которому буду служить и которое не имеет ничего общего с личным чувством,

с интересами и целями личной жизни» (Е. В. Романовой 6 июля 1873 г.). «Я имею совершенно другую задачу, которая с каждым днем становится для меня все яснее, определеннее и строже. Ее посильному исполнению посвящу я свою жизнь» (к ней же, 11 июля 1873 г.).

По письмам Соловьева к Е. В. Романовой 1872—1873 гг. можно определить основные черты его нового мирозерцания.

Величайший и единственный вопрос жизни и знания — вопрос о религии. Есть вера детская, бессознательная, которую нетрудно опровергнуть разумом, и есть вера сознательная. Предмет веры тот же, и внутреннее чувство то же. Но сознательный христианин находит в вере «такое богатство и глубину мысли, перед которой жалки все измышления ума человеческого; но для него очевидно, что не он сам вкладывает этот глубокий смысл в христианство, потому что он ясно сознает совершенное ничтожество и бессилие своего ума, своей мысли перед величием и силой мысли божественной».

Поэтому христианская истина должна быть *осознана* человечеством во всей ее полноте и чистоте. А для этого нужно освободить ее от той коры лжи и предрассудков, которая покрыла ее за века ее пребывания в нашем грешном мире. Нужно положить конец историческому раздору между верой и разумом, религией и наукой. На проповедь христианской истины необходимо выступить во всеоружии современного знания, мировой культуры, ибо только в ней и философия и жизнь находят свой смысл и оправдание.

В новом мировоззрении Соловьева его первичная «эсхатологическая интуиция» раскрывается как программа реального жизненного дела. «Я не только надеюсь, — пишет он, — но так же уверен, как в своем существовании, что истина, мною сознанная, рано или поздно будет сознана другими, сознана всеми и тогда своею внутреннею силою *преобразит* она весь этот мир лжи, навсегда с корнем уничтожит всю неправду и зло жизни личной и общественной — грубое невежество народных масс, мерзость нравственного запустения образованных классов, кулачное право между государствами — ту бездну тьмы, грязи и крови, в которой до сих пор бьется человечество; все это исчезнет, как ночной призрак перед восходящим в сознании светом вечной Христовой истины, доселе непонятой и отверженной человечеством, и во всей своей славе явится Царство Божие — царство внутренних духовных отношений, чистой любви и радости, — новое небо и новая земля, в которых правда живет...»

В этом письме намечены дальнейшие пути Соловьева. Прирожденное ему чувство скорого наступления Царствия Божия и преображения твари, страстное неприятие неправды мира сего, волевая и практическая устремленность его веры, универсализм замыслов (преобразовано должно быть все: политические и международные отношения, социальный строй, личная жизнь, нравственное сознание), утопизм чаяний — все элементы его будущих построений уже даны здесь.

Царствие Божие наступит скоро, и правда Христова восторжествует. Но что нужно делать, чтобы приблизить это торжество?

В письме от 2 августа 1873 г. Соловьев подробно излагает свой взгляд на цель своего «служения».

С тех пор как он начал что-нибудь смыслить, он стал понимать, что существующий порядок вещей не таков, каким должен быть, а «убеждение в том, что настоящее состояние человечества *не таково, каким быть должно*, значит для меня, что оно должно быть изменено, преобразовано». Но нельзя насилем уничтожать насилем и неправду неправдой. Преобразования должны делаться *изнутри*. «Люди управляются убеждениями, следовательно, нужно действовать на убеждение, убеждая людей в истине». Почему христианская истина в настоящее время кажется человечеству чем-то чуждым и непонятным? Не только потому, что люди невежественны и заблуждаются. Само христианство, безусловно истинное само по себе, имело до сих пор лишь одностороннее и недостаточное выражение. Оно было делом неопределенного чувства и ничего не говорило разуму. Следовательно, предстоит задача «ввести вечное содержание христианства в новую, соответствующую ему, т. е. разумную безусловно, форму». Великое развитие западной философии и науки выработало для христианства эту «новую, достойную его форму».

«Когда же христианство станет действительным убеждением, т. е. таким, по которому люди будут жить, осуществлять его в действительности, тогда, очевидно, *все изменится*».

Эта программа — выражение христианской истины в формах современного разумного сознания — и была выполнена Соловьевым в двух его диссертациях: «Кризис западной философии» и «Критика отвлеченных начал». Характерен *интеллектуализм* молодого философа. Преображение мира произойдет через *осознание* христианской истины, через ее *понимание*. Когда поймут, то и поверят, а поверят — станут осуществлять в жизни! Понимание, вера и жизнь в представлении Соловьева следуют друг за другом с необходимостью логической дедукции. А раз все зависит и все исходит из понимания, то прежде всего нужно действо-

вать на разум: чувство и воля за ними последуют столь же неизбежно, как в силлогизме вывод следует из посылок. Поэтому христианскую истину следует сделать доступной пониманию, т. е. *разумной*.

Соловьеву было свойственно острое чувство неправды мира. Он прошел через увлечение социализмом и даже коммунизмом. Разочаровавшись во «внешних» способах преобразования действительности и поверив всей душой в христианство, он подошел к мучительному вопросу: почему человечество так чуждо этой истине, почему она не преображает жизнь? Невидимого духовного роста Царства Божия в мире он не мог почувствовать: он видел только социальную действительность, государства, классы, сословия, семью, но сердце мира — Церковь — он еще не знал.

Болезненно ощущая неправду мира, Соловьев совершенно не воспринимал его греха. Поэтому видимую неудачу христианства он объяснял рационалистически, односторонностью его выражения, а не сопротивлением греховности человечества. По его мнению, люди виноваты только в невежестве и заблуждении, и больше ни в чем. У них дефекты разума, а не грехи сердца и воли. Юноша Соловьев не чувствовал реальной силы зла, его метафизической природы. Он самоуверенно заявлял (письмо от 2 августа 1873 г.): «Я не признаю существующего зла вечным, я *не верю в черта*».

Весь оптимистический утопизм Соловьева основан на этом «неверии в черта». И только к концу жизни, путем тяжелых испытаний и реального опыта темных сил, он мог возвыситься до трагического мироощущения и написать гениальную «Повесть об Антихристе».

* * *

Во время своего пребывания на историко-филологическом факультете Соловьев познакомился с магистрами московской Духовной академии А. И. Иванцовым-Платоновым¹⁹ и о. Г. Смирновым-Платоновым²⁰. Последний был редактором «Православного обозрения» и интересовался немецкой философией.

Войдя в круг духовных интересов этих людей, Соловьев (быть может, под влиянием П. М. Леонтьева) начинает писать статью по истории религии. Он сообщает Н. И. Карееву 6 августа 1873 г.: «Все писал статью по истории религии, которая очень разрослась и будет помещена в “Православном обозрении”, как обещал Иванцов-Платонов, и теперь еще не кончил». Эта статья превратилась

впоследствии в монографию «Мифологический процесс в древнем язычестве».

Из профессоров Московского университета Соловьев близко сошелся только с одним — профессором философии П. Д. Юркевичем. Он встречался с ним на спиритических сеансах у Лапшиных, вел с ним философские беседы, изучал его сочинения; Юркевич видел в нем своего преемника по кафедре философии (письмо Соловьева к С. Лапшиной от 21 августа 1874 г.). После смерти учителя (4 октября 1874 г.) Соловьев написал о нем большую статью: «О философских трудах П. Д. Юркевича». Ему же посвящает он одну из «Трех характеристик» (1900 г.).

П. Д. Юркевич был своеобразным мыслителем, идеалистом-платоником и теософом, автором статей «Сердце и его значение в духовной жизни человека», «Из науки о человеческом духе» и др. «Я помню, — пишет Соловьев, — что в мае 1873 г. он целый вечер объяснял мне, что здравая философия была только до Канта и что последними из настоящих великих философов следует считать Якова Бёме, Лейбница и Сведенборга».

Общением с Юркевичем определилось направление философских изысканий Соловьева в его первый «теософский» период. Учитель помог ему в борьбе с материализмом, позитивизмом и рационализмом.

Юркевич был убежденным спиритом. «Его воззрения на природу и назначение человеческого духа, — пишет Соловьев в статье 1874 года, — вполне согласные в существе с христианским учением, получали, по его мнению, ближайшее фактическое подтверждение в некоторых особых явлениях, возникших в последнее время. Я разумею явления так называемого спиритизма».

Юркевич был уверен, что этими явлениями «простым, для всех убедительным образом *ad oculos*²¹ доказывается истинность христианского учения о человеческом духе как об индивидуальном существе».

Соловьев в то время вполне разделял это убеждение и пытался свое мистическое чувство «доказать» экспериментально: материализацией духов, медиумизмом и автоматическим письмом.

* * *

В начале сентября 1873 г. Соловьев переселяется в Сергиевский Посад и в течение года слушает лекции в Духовной академии. Этот поступок молодого кандидата философии вызвал самые разноречивые толки среди московского общества. Одни говорили, что Соловьев хочет сделаться монахом и «даже думает об

архиерействе», другие считали его религиозным фанатиком, третьи просто сумасшедшим. Действительно, в семидесятые годы, в эпоху безраздельного господства позитивизма, поведение Соловьева должно было казаться юродством. Он и сам сознавал, что бросает вызов обществу. «Ты понимаешь, мой друг, — пишет он Е. В. Романовой, — что с такими убеждениями и намерениями я должен казаться совсем сумасшедшим и мне поневоле приходится быть сдержанным. Но меня это не смущает: безумие Божие умнее мудрости человеческой». Он полон надежд и планов: «В смелости и самоуверенности недостатка не чувствую. В окончательном успехе не сомневаюсь».

Корреспондентка Соловьева пытается охладить его энтузиазм; он резко ей отвечает: «Ты напрасно воображала, что я мечтаю о каком-то мгновенном возрождении человечества. Живого плода своих будущих трудов я, во всяком случае, не увижу. Для себя лично ничего хорошего не предвижу. Это еще самое лучшее, что меня сочтут за сумасшедшего. Я, впрочем, об этом очень мало думаю. Рано или поздно успех несомненен — этого достаточно».

«Самоуверенность» Соловьева происходила не от веры в себя, а от веры в свое дело. Он знал, что идет на трудное служение, и «для себя» не ждал ничего хорошего. Жизнь вполне оправдала его пророческие предчувствия.

Впрочем, не всегда чувствовал он себя столь «самоуверенным и смелым»: у него нередко бывали «минуты душевной усталости, слабости и отчаяния». Он не мог постоянно жить мечтой о Царствии Божием. «Сердце берет свои права, и опять тяжелая тоска, тупое страдание, и еще невыносимее становятся мелкие препятствия и столкновения, все эти пощечины обыденной жизни». Он хочет любить всех людей, видеть в каждом «настоящего человека», а между тем как часто приходится ему признавать «давно известную истину, что в людях совсем мало человеческого, а гораздо больше преобладает образ различных зверей, как-то: волка, лисицы, свиньи, гиены, осла и т. п.».

Было бы неверно преувеличивать романтический утопизм в характере Соловьева. Решение отдать всего себя на служение христианской истине — не было ни мгновенным увлечением, ни порывом воображения. Это был подлинный религиозный акт, ответственный и сознательный, стоивший ему тяжелой борьбы. Он действительно отказывался от личной жизни, счастья и покоя, жертвовал собой и заранее принимал все испытания и страдания. Для детей мира сего он становился юродивым «Христа ради».

Душевная борьба, происходившая в это время в Соловьеве, отражалась и на его физическом состоянии. Он жалуется Е. В. Романовой на «невралгическое расстройство» *; он избегает общества, ведет «отшельническую жизнь».

В Сергиевском Посаде Соловьев поселяется в монастырской гостинице и окружает себя «немецкими философами и греческими богословами». Продолжает писать «Историю религиозного сознания в древнем мире» и приступает к магистерской диссертации «Кризис западной философии»; отдельные главы ее появляются в виде статей в «Православном обозрении» (1874 г.). Приезд его в Посад приводит в смущение профессоров Академии.

«Приезд мой, — пишет Соловьев Е. В. Романовой, — произвел в Академии почти такое же впечатление, как прибытие мнимого ревизора в тот знаменитый город, “от которого хоть три года скачи — ни до какого государства не доскачешь”. Профессора здешние воображают, что я приехал с исключительной целью смутить их покой своею критикою. Любезны все со мной до крайности, как городничий с Хлестаковым. В благодарность за это оставляю их по возможности в покое (хотя те лекции, которые я до сих пор слышал, довольно порядочны). Впрочем, они сами весьма низко ценят себя и свое дело и никак не могут поверить, чтобы постороннему человеку, дворянину и кандидату университета, могла прийти фантазия заниматься богословскими науками, и действительно, это первый пример; поэтому предполагают во мне какие-нибудь практические цели. А между тем, Академия во всяком случае, не представляет такой абсолютной пустыни, как университет. Студенты, при всей своей грубости, кажутся мне народом дельным; притом добродушно-веселы и большие мастера выпить — вообще люди здоровые...»

Биограф Соловьева С. М. Лукьянов собрал любопытные отзывы бывших студентов Академии о молодом философе.

Архиепископ Николай (Зноров) в своих «Воспоминаниях» пишет: «На вид Соловьев был весьма сухощавый, высокий, с длинными волосами, падавшими ему на плечи; сутуловатый, угрюмый, задумчивый, молчаливый. Помню, как он в первый раз пришел к нам в аудиторию на лекцию проф. Потапова по истории философии. В шубе, в теплых высоких сапогах, в бобровой шапке, с шарфом на шее, он, никому не кланяясь, прошел к окну и стал у окна. Побарабанил пальцами по стеклу, повернулся и ушел обратно».

* Лукьянов сообщает, что родные даже приглашали к нему известного врача по нервным болезням.

Другой отзыв принадлежит проф. М. Д. Муретову: «Небольшая голова, сколько помнится — круглая. Черные длинные волосы наподобие конского хвоста или лошадиной гривы. Лицо тоже небольшое, округлое, женственно-юношеское, бледное, с синеватым отливом, и большие, очень темные глаза с ярко очерченными черными бровями, но без жизни и выражения, какие-то стоячие, не моргающие, устремленные куда-то вдаль. Сухая, тонкая, длинная и бледная шея. Такая же тонкая и длинная спина. Длинные тонкие руки с бледно-мертвенными, вялыми и тоже длинными пальцами, большею частью засунутыми в карманы пальто или поправляющими волосы на голове. Наконец, длинные ноги в узких и потертых черных суконных брюках... Нечто длинное, тонкое, темное, в себе замкнутое и, пожалуй, загадочное...»

Этот мастерски написанный портрет, несомненно, стилизован, но «нечто темное... и, пожалуй, загадочное» в Соловьеве подмечено верно.

Новый слушатель мало посещал лекции; он работал, запершись у себя в монастырской гостинице. Для «понимания» христианства ему необходимо было изучить историю древних религий, восточных и западных отцов Церкви. Кроме профессора о. А. М. Иванцова-Платонова, с которым Соловьев был уже раньше знаком и который, вероятно, привлек его к занятиям в Академию, влиять на молодого философа мог еще проф. А. В. Горский, человек большой учености и подвижнической жизни. Проф. М. Д. Муретов отмечает, что идея о превознесении Богоматери превыше ангелов ввиду односторонности природы ангельской — идея, столь близкая Соловьеву, — принадлежит Горскому.

В заключение приведем крайне важное предположение о. Павла Флоренского. В письме Лукьянову (1916 г.) он сообщает: «Вл. Соловьев был близок с Дм. Ф. Голубинским, сыном знаменитого протоиерея-философа Ф. А. Голубинского. Последний же, как выясняется, глубоко выносил в себе идею Софии, которая от него перешла к Бухареву. Дм. Ф. Голубинский, чтитель памяти и идейных заветов отца своего, вероятно, сообщил ее и Соловьеву. Нужно думать, что именно из академии, по-видимому, вынес эту идею Соловьев, т. к. после академии он специально посвящает себя поискам литературы в этом направлении (путешествие за границу). Мне представляется, что Соловьев поступил в академию просто для занятий богословием и историей Церкви, но потом, набредя тут на предустановленную в его душе идею Софии, бросил и академию и богословие вообще и занялся специально Софией. Это, конечно, моя догадка».

Догадка о. П. Флоренского вполне подтверждается дальнейшим ходом изысканий Соловьева. Неверно только, что, «занявшись Софией», Соловьев бросил богословие.

3
«КРИЗИС ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ»
(1874)

Первая печатная работа Соловьева называется «Мифологический процесс в древнем язычестве» (1873)*. Несмотря на свой ученический характер, она важна для выяснения генезиса его религиозного мировоззрения. Автор утверждает, что древний мир не знал отвлеченных начал (науки, права), что древнее государство было безусловное, т. е. *религиозное*, и что понимание язычества, а с ним и всей истории человечества, вполне обуславливается пониманием языческой религии. Он отбрасывает теорию мифологии природы как чисто формальную и строит свою концепцию на «двух совершенно оригинальных и малоизвестных воззрениях на этот предмет, из коих одно принадлежит знаменитому германскому философу Шеллингу, а другое нашему Хомякову». Принцип Шеллинга, видящего в природе и человеческом сознании мифологический или теогонический процесс, представляется ему вполне верным.

Соловьев начинает свое исследование с религии Вед, пользуясь работами Макса Мюллера. Божество первобытной религии было, безусловно, единым: Варуна есть личный духовный бог, не небо, а владыка неба — Царь Небесный. Но он недоступен человеку, между тем как настоящая религия есть внутреннее единство человека с Богом. Поэтому для религиозного сознания проявление Бога в видимом мире становится необходимостью. Божество подпадает под власть природы или матери. Отсюда начало мифологического процесса, переход от небесного (астрального) к земному. Возникает дуализм, ибо начало, в котором проявляется божественный дух, независимо от него. Это есть сила *женственная*, всеобщая мать (*mater-materia*), начало многобожия. Она соответствует идее мировой материи (*to apeiron*) пифагорейцев и Платона. Греки называли ее Уранией — Афродитой Небесной. «Она есть Царица Небесная, царица ночного звездно-

* Первое полное собрание сочинений Соловьева в 8 томах (изд-во «Обществ. польза») вышло в 1901 г.; второе, дополненное — в 10 томах (изд-во «Просвещение» — в 1911 г.).

го неба, которое есть ее внешняя видимость, ее покров. На всех изображениях эта богиня представляется стоящею на луне и с темно-синим покровом, усеянным золотыми звездами».

Мифологический процесс состоит в постепенном взаимном определении двух начал, мужественного и женственного; возникает последовательный ряд конкретных форм, в которых духовный бог относительно материализуется, женское начало относительно одухотворяется, пока наконец в обожествленной органической жизни земли оба начала не сливаются совершенно.

В своей первой работе Соловьев не выходит из круга шеллингианских идей. Старая школа мифологов видела только различие и разнообразие мифологических образов; новейшие мифологи односторонне подчеркивали их основное единство. Соловьеву кажется, что его концепция представляет «высший синтез» обоих направлений. Он настаивает на единстве активного начала, полемизирует с Шеллингом, различавшим Бога реального и Бога идеального, и с Хомяковым, доказывавшим существование двух активных начал.

Характерно стремление молодого философа объяснить историю мира и человечества из единого религиозного начала; зерно всех дальнейших космогонических и историософских построений Соловьева лежит уже в его первой, студенческой работе. Более того, различие в мифологическом процессе взаимодействия двух начал — мужского и женственного — и их взаимопроникновения подводит Соловьева к христианской истине о воплощении Бога и обожении твари.

В образе матери-материи, Урании, Афродиты Небесной, «в темно-синем покрове, усеянном звездами», — Соловьев впервые пытается раскрыть свою интуицию о Вечной Женственности, выразить в мифологических символах свой личный мистический опыт. Пользуясь методом Шеллинга, он в древнем язычестве ищет реального обоснования «предустановленной в его душе» идеи Софии. В небесной синеве и в звездном сиянии приходит она к нему из древней Индии, Египта, Греции...

* * *

Магистерская диссертация Соловьева озаглавлена: «Кризис западной философии: (Против позитивистов)» (1874). «Введение» к ней начинается словами: «В основу этой книги легло то убеждение, что философия в смысле отвлеченного, *исключительно* теоретического познания окончила свое развитие и перешла безвозвратно в мир прошедшего». Это равно относится как к умо-

зрительной философии, т. е. метафизике, так и к направлению эмпирическому.

Исходная точка зрения та же, что и в предыдущей работе: первоначально человечество живет общей духовной жизнью и его мировоззрение имеет религиозный характер; язык, мифология, художественное творчество — дело всего *рода*, а не личная деятельность отдельных людей. Но вот наступает время, когда личность отрывается от целого, достигает ясности индивидуального сознания. Эпоха религиозного единства сменяется эпохой личных мировоззрений, эпохой философии. Философия есть рассудочное познание, дело личного разума. «Она возникает только тогда, когда для отдельного мыслящего лица вера народа перестает быть его собственной верой, из начала жизни становится только предметом мышления».

Соловьев полагает, что философия родилась из распада первоначального религиозного единства, что она является как бы плодом грехопадения, несправедливого самоутверждения «я». Рефлексия сама по себе есть отрыв от жизни, ложная отвлеченность, самочинность мысли.

Западная философия начинается раздвоением между личным мышлением и общенародной верою или авторитетом. Сначала разум подчиняется авторитету, потом он пытается примириться с ним и наконец начинает отрицать его. Схоластика средних веков все более и более проникается рационализмом (Скот Эригена²², Абельяр). Такой же дуализм лежит в начале новой философии между разумом и природой. «Когда прежний главный предмет разума — историческое христианство как авторитет — был отринут, то единственным предметом разума осталась непосредственная природа вещей, существующий мир». В схоластике разум победил авторитет, в новой философии разум поглотил, уподобил себе природу; у Декарта непосредственное бытие только подчиняется разуму, у Фихте, у Гегеля оно прямо отрицается как бессмысленное. Сущность процесса — борьба самочинного разума с внешним ему началом. Соловьев прослеживает этапы этой борьбы. У Декарта все содержание мира сводится к формальным математическим определениям протяженности, а все содержание человеческого духа — к формальной деятельности мышления. Эти две субстанции отличаются только атрибутами (протяжение и мышление). Спиноза вывел следствие: значит, субстанция одна: «порядок и связь идей та же, что и порядок и связь вещей». Он снял отвлеченную двойственность души и тела и тем признал их субстанциальное тождество. Но действительный синтез этих понятий принадлежит Лейбницу. Элементы всего суще-

ствующего суть монады, деятельные силы; основой объективного бытия признается субъективная деятельность монад (представления и стремления).

Локк своей критикой теории врожденных идей подготавливает развитие субъективного идеализма. Беркли объявляет все внешнее вещественное бытие только нашим представлением (*esse равно percipi*²³), но он еще останавливается на полдороге; мир есть наши представления, но эти представления производит в нас абсолютный дух. Юм рвет тонкую нить причинности, соединявшую у Беркли познающего субъекта с абсолютным началом, — и мир становится случайной последовательностью бессвязных представлений, безусловным неизвестным.

Желая спасти закон причинности, Кант предпринял исследование всех общих форм нашего познания; он разрушил догматическую метафизику, доказав, что познаваемый нами мир есть лишь мир явлений, что сущности вещей мы не знаем и знать не можем. Система трансцендентального идеализма, построенная Кантом, осталась незаконченной. Нельзя было удержать понятия «вещи в себе», совершенно непознаваемой и в то же время реально существующей вне нас.

Фихте развивает учение Канта о синтетическом единстве трансцендентальной апперцепции и строит систему чистого субъективного идеализма. Я есмь я, это — первичный творческий акт; я полагает не-я, т. е. весь мир, который есть лишь «тень тени». Собственная действительность принадлежит только самосознанию субъекта.

Но это чистое «я» не есть, очевидно, индивидуальное самосознание, ибо оно уже находит мир данным, а не им впервые создаваемым. Поэтому Шеллинг видоизменил систему Фихте, заменив человеческое «я» Абсолютом. От этого воззрение на природу совершенно изменилось: для Фихте природа была только не-я, простым отрицанием, ограничением. Для Шеллинга природа столь же жива, как и «я», ибо и то и другое есть проявление единого Абсолюта. Природа получает положительную действительность: субъект полагает себя как нечто, сам себе становится предметом и созерцает себя. Процесс натурального развития завершается человеческим сознанием. Все существующее есть проявление саморазвивающегося абсолютного субъекта.

Гегель определяет этого абсолютного субъекта как чистое понятие, чистую деятельность мышления, состоящую в диалектическом развитии.

Система абсолютного рационализма Гегеля заканчивает собой развитие новой философии, является ее логически неизбежным

заключением. Бытие есть понятие, чистый акт самомышления, и более ничего. Понятие без понимающего и понимаемого, одна форма — таков панлогизм Гегеля.

Односторонность гегелевской системы вызвала на сцену эмпиризм. Философский рационализм был отвергнут простым утверждением: понятие не есть все; к понятию как форме требуется иное как действительность.

Дальше Соловьев переходит к краткой характеристике материализма и показывает логическую связь материализма с позитивизмом. Школа О. Конта приходит к следующим положениям: самобытная действительность, или истинно-сущее, не есть ни объект рассудка, ни понятие само по себе, ни содержание внешнего опыта. И все же позитивисты допускают некоторую познаваемость истинно-сущего; они только утверждают, и вполне справедливо, что самобытная действительность не может быть дана во внешнем опыте. А следовательно, необходимо признать, что она познается *во внутреннем опыте*. Позитивисты возражают, что и во внутреннем опыте мы познаем только явления. Но сущее всегда дано нам в явлении, неотделимо от своего проявления, как содержание неотделимо от формы. Бытие в себе без явления просто немыслимо, в таком виде оно совсем не существует. «Таким образом, во внутреннем опыте мы имеем непосредственнейшее явление действительно-сущего, здесь все есть действительность».

Что же открывается нам во внутреннем опыте? Мы сознаем себя как действующих и познающих. Необходимо признать первоначалом волю, а не представление. Таков принцип философии Шопенгауэра.

Соловьев подробно излагает учение Шопенгауэра, ибо «цель его исследования заключается в генетическом объяснении современного кризиса или переворота философской мысли, начало же этому перевороту положено Шопенгауэром, так что система Гартмана, обозначающая собою настоящую минуту философского сознания, прямо исходит из учения Шопенгауэра и на него опирается».

Этот переворот он видит в том, что Шопенгауэр утверждает волю как основное начало и соединяет этику с метафизикой. Но у Шопенгауэра воля без предмета и без цели, воля без представления не имеет еще действительного значения. Гартман в своей «философии бессознательного» снимает с учения своего предшественника его односторонность и делает волю реальной силой.

Метафизическое начало, по Гартману, есть воля, соединенная с представлением, представляющая воля. Она лежит за предела-

ми индивидуального сознания и в этом смысле есть «бессознательное». Это метафизическое духовное начало проявляется в сфере эмпирической (чувство самосохранения, инстинкт, половое влечение и материнская любовь, предчувствия, мистическое и эстетическое чувство).

Бессознательное есть всеобъемлющее единичное существо, которое *есть все сущее*, оно есть абсолютно неделимое. «Действия метафизического существа — мир явлений — представляют ряд восходящего развития от неорганической материи до высших организмов и человека», Гартман ставит вопрос о цели мирового процесса, но его космогония и эсхатология настолько нелепы, что не заслуживают особого разбора.

Алогизмы Гартмана характерны для всей западной философии: в них в наиболее ярком свете проявляется ее первородный грех. «В историческом развитии сознания момент рассудочного мышления и его необходимого исхода — чистой рефлексии представляется западной философией». Сущность же рассудочного мышления заключается в разложении конкретного воззрения на его элементы; эти элементы, взятые в своей отдельности, представляются по себе сущими, т. е. гипостазированы, им приписывается действительное бытие, которого они в своей особенности не имеют. Так, например, шопенгауэровская воля есть совершенно пустая отвлеченность: во внутреннем опыте мы знаем только определенную волю. Воля, как всеединая сущность, не может определяться ничем внешним, т. е. не может страдать.

«Бессознательное» Гартмана есть потенция, т. е. чистое, безусловное небытие, и это-то чистое отрицание он гипостазировывает как абсолютное первоначало».

Итак, западная философия возникла из раздвоения между лицом и обществом, теорией и практикой, она не могла действовать непосредственно на массы, жившие в религиозном мирозерцании. Вопросы практические, общественные, нравственные были ей чужды; между тем существующее не только познается *мыслью*, но и производится волею. Рядом с теоретическим вопросом: что есть? — существует вопрос практический: что должно быть? Западная философия только потому чужда моральной действительности, что она чужда всякой действительности.

«А между тем именно теперь, в XIX веке, наступила наконец пора для философии на Западе выйти из теоретической отвлеченности, школьной замкнутости и заявить свои верховные права в деле жизни». Старое религиозное мировоззрение распатано, в массах оно превратилось в бытовое суеверие. Определяющие начала для жизни приходится искать в философии. Из учения Ге-

геля Фейербах вывел, что высшее значение принадлежит познающему субъекту. Он заявил, что «отныне Богом для человека должен быть уже не Бог, а человек». Но самое утверждение человека есть утверждение не только его бытия, но и его стремления к счастью, которому мешают общественные формы. Отсюда — социализм. «Человек хочет счастья» конкретно переводится «я хочу счастья» — и социализм приводит к эгоистическому индивидуализму. В *теории* философский рационализм отверг всякую объективную реальность, в *практике* он отвергает теперь всякую объективную нравственность. Человек есть бог, но это утверждение не устраняет необходимости физического страдания и смерти. Единственным средством сохранить свое самоутверждение является самоубийство. У Гартмана единичное самоубийство замещается всеобщим.

Таковы разрушительные результаты, к которым пришло развитие западной философии.

В последней главе Соловьев подводит итоги своей критики рационализма и эмпиризма и определяет положительные начала философии Гартмана.

Западная философия раскололась на два направления: одно утверждало, что *все* познание исходит из разума (рационализм), другое — что *все* познание дается в опыте (эмпиризм). Чтобы ограниченность этих двух течений стала очевидной, они должны были быть исчерпаны в их исключительности. В этом положительный смысл развития западной мысли. Теперь мы понимаем, что «познание эмпирическое и познание логическое или априорное не составляют двух радикально отдельных и самобытных областей знания: они необходимы друг для друга, так как познание эмпирическое возможно только при логических условиях, а познание логическое действует только при эмпирическом содержании». Оба направления отрицают собственное бытие как познаваемого, так и познающего и переносят всю истину на самый *акт познания*. Оба они ложны в своей обособленности.

Наше время стоит перед задачей: отыскать синтез этих двух начал. Попытка эта произведена Гартманом; его девиз: «Умозрительные результаты по индуктивной естественно-научной методе». Он возвращает права метафизике: метафизическая сущность определяется им как всеединый дух. В плане этическом признается, «что последняя цель и высшее благо достигаются только совокупностью существ посредством необходимого и абсолютно целесообразного хода мирового развития, конец которого есть уничтожение исключительного самоутверждения частных существ в их вещественной розни и восстановление их как царства

духов, объемлемых всеобщностью духа абсолютного». Последний вывод есть вполне произвольное исправление Соловьевым Гартмана. Немецкий философ ни о каком «восстановлении» и «царстве духов» не говорит. Он проповедует совершенное уничтожение всего сущего. Но Соловьев видит здесь «противоречие» и «очевидную нелепость» и бесцеремонно их устраняет. «Последний конец всего, — учит он Гартмана, — не Нирвана, а, напротив, *apokatastasis ton panton* — царство духов как полное проявление всеединого». И эту свою мысль, свою вполне личную веру он выставляет как этический вывод «всего западного философского развития». Только при таком толковании Гартмана удастся Соловьеву соединить буддийскую метафизику, лежащую в основе «Философии бессознательного», с христианской философией Востока. Торжественно звучат заключительные слова: «И тут оказывается, что эти последние, необходимые результаты *западного* философского развития утверждают, в форме *рационального познания*, те самые истины, которые, в форме *веры и духовного созерцания*, утверждались великими теологическими учениями Востока (отчасти древнего, а в особенности христианского). Таким образом, эта новейшая философия с логическим совершенством *западной формы* стремится соединить *полноту содержания духовных созерцаний Востока*. Опираясь, с одной стороны, на данные положительной науки, эта философия, с другой стороны, подает руку религии. Осуществление этого универсального синтеза науки, философии и религии должно быть высшей целью и последним результатом умственного развития. Достижение этой цели будет восстановлением совершенного внутреннего *единства умственного мира*».

Исследование Соловьева распадается на две неравноценные части. Первая, критическая, заканчивается утверждением, что развитие западной философии зашло в тупик абстрактного формализма. Вторая, положительная, строится на шатком фундаменте философии Гартмана, которой приписывается преувеличенное значение «переворота» в философской мысли. Соловьев старается доказать, что система Гартмана — завершение всего пути западной мысли, и заставляет немецкого философа проповедовать «восстановление всяческих».

В результате — великолепный внешне, но внутренне бессодержательный синтез Запада и Востока, логической формы и полноты содержания, «универсальный синтез» науки, философии и религии. Соловьев так пламенно его жаждет и так страстно в него верит, что мечта кажется ему действительностью. Западной философии он приписывает свое личное стремление; ему кажется,

что Шопенгауэр и Гартман *уже стали* на истинный путь. Он все время говорит о своей идее, о своей жизненной задаче, хотя и прикрывается немецкими авторитетами. Через несколько лет он разочаровывается в неверном попутчике Гартмане. Увлечение «Философией бессознательного» проходит навсегда и бесследно.

* * *

«Кризис западной философии» написан под сильным влиянием славянофильских идей. Соловьев развивает и перерабатывает основные воззрения Ивана Киреевского. В «Обзрении современного состояния литературы» (1845) И. Киреевский утверждает, что начало европейской образованности, развившееся во всей истории Запада, в настоящее время оказывается уже неудовлетворительным для высших требований просвещения. Отличительный характер западного просвещения заключается в стремлении к *личной и самобытной разумности*: поэтому современная философия в последнем, окончательном развитии своем ищет такого начала, в признании которого она могла бы слиться с верою в одно умозрительное единство. Это начало хранится на Востоке. Западной образованности — формальному развитию разума и внешних познаний — противостоит восточная образованность: внутреннее устройство духа силою извещающей в нем истины. «Любовь к образованности европейской, равно как и любовь к нашей, обе совпадают в последней точке своего развития в одну любовь, в одно стремление к *живому, полному, всечеловеческому и истинно христианскому просвещению*».

Те же мысли развиваются в другой статье: «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России» (1852). И. Киреевский доказывает, что на Западе разум сам дошел до сознания своей ограниченности и отрицательности. Европейская образованность — рационалистическая — изжила себя. Рассудочность западной мысли сказалась уже в писаниях Тертуллиана, св. Киприана²⁴, и особенно бл. Августина. Схоластика была не что иное, как стремление к наукообразному богословию. Рационализмом проникнуты системы Декарта, Спинозы и Лейбница. «Западная философия не может дальше идти по своему отвлеченно-рациональному пути, ибо сознала односторонность отвлеченной рациональности». Новую дорогу проложить себе она тоже не в состоянии, ибо «вся сила ее заключалась в развитии именно этой отвлеченной рациональности».

Раздвоению сил разума на Западе противопоставляется «живая совокупность» их в православной России. «Раздвоение и цель-

ность, рассудочность и разумность будут последним выражением западноевропейской и древнерусской образованности».

В третьей статье, «О необходимости и возможности новых начал для философии» (1856), И. Киреевский намечает возможность синтеза Запада и Востока. «То понятие о разуме, которое выработалось в новейшей философии и которого выражением служит система шеллинго-гегельянская, не противоречило бы безусловно тем понятиям о разуме, какие мы замечаем в умозрительных творениях Святых Отцов, если бы только оно не выдавало себя за высшую познавательную способность».

И заключение: «Я думаю, что философия немецкая в совокупности с тем развитием, которое она получила в последней системе Шеллинга, может служить у нас самую удобную ступенью мышления от заимствованных систем к любомудрию самостоятельному, соответствующему основным началам древнерусской образованности и могущему подчинить раздвоенную образованность Запада цельному сознанию верующего разума».

Соловьев целиком усваивает мировоззрение Киреевского. Его диссертация носит ученический характер: основной тезис — синтез философии и религии, взгляд на западную философию как на развитие рационализма, идеи о цельности жизни, о метафизическом познании, о необходимости сочетать западную мысль с восточным умозрением, — все это уже было высказано Киреевским. Он же внушил Соловьеву план исследования: критику схоластики, Декарта, Спинозы, Лейбница, Шеллинга и Гегеля. Заключение работы довольно точно повторяет выводы третьей статьи И. Киреевского. Лично Соловьеву принадлежит неудачная замена Шеллинга Гартманом: Киреевский видит завершение развития западной философии в положительной системе Шеллинга, Соловьев ищет его в учении Гартмана; первый набросал краткую программу критики рационализма, второй с большим диалектическим блеском ее выполнил. Своей работе он постарался придать более научный, академический вид, подобающий магистерской диссертации: исключил все русские мессианские мотивы и западной мысли противопоставил не русское православие, а туманные «умозрения Востока».

* * *

Л. Лопатин пишет: «Между русскими мыслителями наиболее видная роль в духовном развитии Соловьева, несомненно, принадлежит славянофилам... Из бесед с ними, а также из чтения философских и богословских произведений основателей славя-

нофильства Хомякова и Киреевского Соловьев в молодые годы почерпнул очень много. При своем вступлении на литературное поприще он еще всецело находился в славянофильском лагере. В некоторых отношениях он остался славянофилом на всю жизнь, хотя никто не наносил славянофильству такого страшного удара, какой был нанесен им».

Это свидетельство не совсем точно. В молодости Соловьев был, несомненно, хорошо знаком с учением славянофилов. В «Мифологическом процессе в древнем язычестве» он с уважением ссылается на «Записки о всемирной истории» Хомякова, хотя и отвергает его основное положение о дуализме религиозных начал. В «Кризисе западной философии» он в сноске отмечает, что «верную, хоть слишком общую критику философского рационализма можно найти в некоторых статьях Хомякова и И. Киреевского». У того же Киреевского он заимствует главную идею своей работы. И все же Соловьев не «всецело находился в славянофильском лагере». Он разделял гносеологические и историко-философские взгляды Киреевского, но оставался чужд его церковных интересов, славяно-русского духа и национального мессианства. В своей диссертации он не вышел из рамок философской проблематики, не противопоставил «истину православия» «лжи католичества». В известном смысле в своей концепции развития человечества он был более западником, чем славянофилом.

Лопатин ошибается, говоря о «личных беседах» Соловьева со славянофилами. В статье «Из воспоминаний. Аксаков» Соловьев говорит, что до защиты диссертации он не был еще лично знаком с «последними представителями коренного славянофильства». Только через несколько месяцев после диспута Соловьев встречается с Ю. Ф. Самариным и с Ив. Аксаковым. «Беседы со славянофилами» относятся к более позднему времени (после заграничной командировки).

* * *

Направление исследований Соловьева определилось влиянием славянофильской философии. Он увидел развитие западной мысли сквозь славянофильские очки и вслед за Киреевским и Хомяковым изобразил его как процесс нарастающего рационализма. Мыслители Запада были поставлены им в одну шеренгу как отцы и предтечи Гегеля. Гегелевская философия замыкает ряд, являя собой конечный распад основ познания, апофеоз голого понятия. При такой однопланности построения автор не заметил витализма Лейбница, пантеизма Спинозы, волюнтариз-

ма Фихте, интуитивизма Шеллинга, иррационализма Шопенгауэра, т. е. именно всего того, что было характерного в каждой системе. Он прошел мимо великой немецкой мистики и мимо «Философии откровения» Шеллинга. А между тем о кризисе философии первым заговорил Шеллинг: еще в сороковых годах он пустил в ход выражение: «Krisis der Vernunftwissenschaft»²⁵, заявил, что теоретическая философия окончила свое развитие. В «Философии откровения» он требовал целостности жизни и жаловался на то, что религия стала «etwas neben anderem». Наконец, тот же Шеллинг обратился к изучению восточных отцов Церкви и верил, что его последняя система осуществит вожделенный синтез мысли Запада с умозрениями Востока. Соловьев, восприняв через славянофилов шеллингианские идеи, самого Шеллинга внес в список рационалистов. Под влиянием Хомякова, особенно ненавидевшего Гегеля, он несправедливо осудил гегельянство как самоубийство разума. Между тем самая архитектоника его работы обусловлена трихотомической схемой Гегеля. Соловьев исходит из *тезиса*: религиозное единство сознания; противопоставляет ему *антитезис*: распад единства и обособление элементов и заканчивает *синтезом* познания религиозного, философского и научного.

От славянофилов Соловьев наследует шеллингианскую идею целостности жизни и гегелевский диалектический метод*.

* * *

Защита магистерской диссертации «Кризис западной философии» состоялась 24 ноября 1874 г. в Петербургском университете. Оппонентами выступили профессора Срезневский²⁶, Владиславлев, Де Роберти, Лесевич, Карийский и студент Вольфсон.

П. Морозов так описывает диспут: «Секретарь факультета В. Бауер скороговоркой прочел curriculum vitae²⁷, которого, кажется, никто не слышал, и уступил свое место на кафедре диспутанту. Перед нами появился высокий стройный юноша с лицом иконописного типа, в рамке длинных черных волос, разделенных пробором посередине головы, со слабыми признаками начинавшейся на лице растительности и с каким-то особенным, как нам показалось, странным взглядом глубоких глаз, устремленных куда-то поверх публики...»

* См.: *Cyzevskyj D. Hegel in Russland (Hegel bei den Slaven). Reichenberg, 1934.*

Во вступительной речи Соловьев говорил о том, что человек — существо из двух миров и что «чистый эфир мира духовного так же необходим для его жизни, как и воздух мира вещественного». Он ссылаясь на манию самоубийств, достигшую огромных размеров в нашу эпоху, и утверждал, что в наше время «с исчезновением глубоких убеждений опустел мир внутренний и потерял свою красоту мир внешний». В заключение он признавал синтез философии и религии «необходимой, настоящей задачей философской мысли».

«На все возражения,— сообщает П. Морозов*,— Соловьев отвечал очень коротко, сдержанно и, кажется, застенчиво, по-прежнему продолжая смотреть не на оппонентов и публику, а куда-то поверх их вдаль и как будто вычитывая свои ответы с противоположной стены».

Диспут Соловьева вызвал оживленную полемику в печати. Суворин восторженно приветствовал молодого ученого в «С.-Петербургских ведомостях», Н. Н. Страхов написал сочувственную статью в «Гражданине». Зато позитивисты напали на него с ожесточением. Н. К. Михайловский писал в «Биржевых ведомостях», что Соловьев хочет уничтожить науку, вырывая из-под нее бесспорную истину о неуничтожимости материи. Его статья заканчивалась патетически: «Русь! Русь! куда ты мчишься?» — спрашивал Гоголь много лет тому назад. Как вы думаете, милостивые государи, куда она на самом деле мчится?»

Еще более резко написана статья Лесевича «Как иногда пишутся диссертации» («Отечественные записки», 1875). Работа Соловьева может быть названа картиною суздальского письма: «мазнул суздальский художник краскою позитивизма, потом мазнул краскою философии бессознательного, и картина готова».

Соловьев отвечал Лесевичу не менее резко (статья «Странное недоразумение» в «Русском вестнике», 1875). Оппонент ничего не понял. «А в таком случае, — пишет Соловьев, — мне остается только дать ему один добрый совет — исполнить *высказанное им на моем диспуте намерение* и убеждать как можно дальше не только от моей, но и от всякой философии».

Единственный серьезный критический отзыв на книгу Соловьева принадлежит К. Д. Кавелину. В брошюре «Априорная философия или положительная наука? (По поводу диссертации г. В. Соловьева)» (1875) Кавелин подвергает философскому разбору два главных пункта учения Соловьева: вопрос о действитель-

* Материалы, относящиеся к магистерскому диспуту Соловьева, собраны в книге Лукьянова.

ности внешнего мира и о возможности метафизического познания.

В ответе Кавелину («Русский вестник», 1875) молодой магистр уточняет свою гносеологическую точку зрения: внешний мир есть лишь мое представление, но из этого не следует, что он сам по себе не имеет действительности. Метафизическое познание дано в нашем внутреннем опыте; в нем мы знаем «некоторое действительное психическое существо, наше собственное, и существо вообще».

Кавелин не удовлетворился этими туманными объяснениями и возражал Соловьеву в статье: «Возможно ли метафизическое знание?» («Неделя», 1875). Под влиянием этой полемики Соловьев обращается к гносеологической проблеме и в 1877 г. пишет несколько глав своей теории познания — «Философские начала цельного знания». Его работа остается незаконченной.

На защиту молодого ученого выступил, наконец, престарелый историк М. П. Погодин; он с возмущением писал о злобных нападках позитивистов: «Осудить, не говоря ни одного доброго слова, но снабдить свой приговор еще ядовитыми инсинуациями о воспитании, о нравственном характере, — это больше чем нехорошо, это стыдно... А главная вина молодого человека состоит в том, что он объявил себя противником позитивизма. Петербургские газеты — позитивные философки, покровительницы позитивной философии! *Risum teneatis, amici!*..²⁸ Где же свобода мнений, которую они проповедают?»

Любопытно письмо Страхова Льву Толстому (1 января 1875 г.): «Ваше мнение о Соловьеве я разделяю; хотя он явно и отрицается от Гегеля, но втайне ему следует. Вся критика Шопенгауэра основана на этом. Но дело, кажется, еще хуже. Обрадовавшись, что он нашел *метафизическую сущность*, Соловьев уже готов видеть ее повсюду, лицом к лицу, и расположен к вере в спиритизм. Притом он страшно болезнен, как будто истощен, за него можно опасаться — не добром кончит».

Хотя Страхов, вместе с Л. Толстым, считал молодого философа скрытым гегельянцем, однако он чувствовал, что главное для него — «встреча лицом к лицу с метафизической сущностью». За внешностью блестящего диалектика и искусного полемиста он увидел мистика и спирита, который «добром не кончит».

Болезненность Соловьева была замечена не одним Страховым. Бывший директор Пятой московской гимназии Малиновский поздравлял отца философа с «беспримерно блистательным торжеством сына» и прибавлял: «Пошли ему, Господь, чтобы он так же победоносно справился с недугами и восторжествовал над

наклонностью к хворанью, как он уничтожил и победил хитро-сплетения разъяренных доморощенных позитивистов, материалистов, нигилистов и т. п.».

После защиты диссертации Соловьев стал в Москве знаменитостью. «Светские дамы наразрыв приглашали его на чашку чаю», — вспоминает кн. Д. Цертелев. Рассказывали, что Замысловский²⁹, уходя с диспута, сказал: «Он стоит точно пророк», что академик К. Н. Бестужев-Рюмин заявил: «Россию можно поздравить с гениальным человеком». Ходили слухи, что юный философ очень оригинальный и даже странный человек: в личной жизни отличается совершенно монашеским характером; у себя дома в полном одиночестве занимается спиритизмом: недавно ему являлся дух его учителя Юркевича и беседовал с ним.

* * *

В студенческие годы Соловьев писал шутливые стихи в стиле Кузьмы Пруткова. В августе 1873 г. он начинает письмо Е. В. Романовой следующим экспромтом:

За днями дни обычной чередой
Идут — а я письма не получаю,
Другим же пишешь ты... Что случилось с тобой?
Я этого совсем, мой друг, не понимаю.

И прибавляет: «Видишь, до чего любовь может доводить даже философские натуры: еще немного — и я буду писать настоящие стихи, буду списывать их в тетрадь и буду угощать ими своих близких».

«Настоящие стихи» он начал писать в 1874 г. Его первым опытом был перевод из Платона:

На звезды глядишь ты, звезда моя светлая...

За ним последовало стихотворение «Прометею». Его можно выбрать эпиграфом ко всему творчеству Соловьева. Ложь и зло только «призраки ребяческого мнения», «туманное видение», «тяжелый сон», наступит последний час творения — и эти призраки рассеются.

Преграды рушатся, расплавлены оковы
Божественным огнем,
И утро вечное восходит жизни новой,
Во всех и все в одном.

Шопенгауэрова Майя скоро исчезнет, но под ней откроется не Нирвана, а преображенный в Боге мир, где «всяческая и во всех

Христос». Первые стихи Соловьева посвящены «предустановленной в душе его» идее *положительного всеединства*. Этой мистической интуиции он оставался верным всю свою жизнь.

Избранный доцентом Московского университета и одновременно приглашенный Герье преподавать на Высших женских курсах, Соловьев готовится к лекциям, пишет философские статьи, знакомится с московскими писателями и учеными, посещает светские салоны. Начало 1875 г. — период творческого напряжения, жизненных удач и успехов. Им заинтересовываются Катков, Леонтьев, Кавелин. Соллогуб представляет его Самарину и Аксаковым. В статье «Из воспоминаний. Аксаков» Соловьев описывает, как произошла эта встреча: «Вспоминается мне большой просторный дом, барский оазис среди купеческого Замоскворечья, против Николы, что в Толмачах, близ Ордынки... “Сегодня у нас вечер с *большими*, — говорит Соллогуб, — дядя Юша (Ю. Ф. Самарин) и Анна Федоровна Аксакова хотят тебя смотреть; они теперь внизу у бабушки и будут подниматься не вместе, чтобы не запугать сразу”... Вижу, выходит мать моего приятеля графиня Мария Федоровна Соллогуб (рожденная Самарина), а с нею дама лет 45, невысокого роста, полная и плотная, с очень некрасивым, но оригинальным лицом... Желание Анны Федоровны Аксаковой * и других лиц “смотреть” меня объясняется некоторым шумом, донесшимся в Москву из Петербурга, где я несколько месяцев перед тем начал свое поприще магистерским диспутом в университете... Я сразу оценил Анну Федоровну и пожелал продолжать знакомство. В ближайшее воскресенье я отправился на Спиридоновку — кажется, там жили тогда Аксаковы, и застал дома обоих хозяев. Скоро потом я поехал за границу, потом оставил Московский университет и переселился в Петербург. Но, часто и подолгу бывая в Москве, посещал и Аксаковых, у которых собирались по пятницам разные люди, более или менее примыкавшие к Славянскому Комитету³⁰, где председательствовал тогда Иван Сергеевич».

Впоследствии Соловьев близко сошелся с Анной Федоровной. Она была глубоко мистической натурой. «Сверхъестественный мир, — пишет он, — был для нее реальностью, она наполовину жила в мире вещей снов, пророческих видений и откровений. В моих воспоминаниях Анна Федоровна неизбежно вызывает память о фактах мистических. Пока сообщу только два, имеющих особое значение...» На этом рукопись обрывается.

* А. Ф. Аксакова — дочь поэта Ф. И. Тютчева и жена Ив. С. Аксакова.

14 января 1875 г. Соловьев начал свой курс по истории греческой философии на Высших женских курсах в Москве. «Предметом своего курса, — пишет Герье, — он избрал философию Платона — один час в неделю. Чтобы не стеснять его, я был только один раз на его лекции и не помню, о чем именно он тогда читал. Но я хорошо помню чарующее впечатление, которое он производил своей элегантною фигурой, красивым лицом, устремленными вдаль несколько прищуренными темными глазами, бледностью лица и немного дрожащим голосом... Он был настоящий провозвестник Платона» *.

До нас дошла краткая запись первой лекции Соловьева на Курсах, принадлежащая одной из слушательниц, Е. М. Поливановой.

«Я определяю человека, — говорил Соловьев, — как животное смеющееся... Человек рассматривает факт, а если этот факт не соответствует его идеальным представлениям, он смеется. В этой же характеристической особенности лежит корень поэзии и метафизики... Поэзия вовсе не есть воспроизведение действительности — она есть насмешка над действительностью... Животные принимают мир таким, каков он есть, для человека же, напротив, всякое явление есть только маска, за которой он ищет невидимую богиню... А я скажу: лучше быть больным человеком, чем здоровой скотиной».

Платонизм молодого Соловьева окрашен в цвета романтизма. Раздвоение между миром идеальным и миром реальным он еще не воспринимает трагически. Зло — только маска, гримаса, скорее смешная, чем страшная; мудрец не боится призраков, как бы зловещи они ни были, ибо он знает, что это — игра теней. И на игру он отвечает смехом. Соловьев помнит романтическую теорию о «божественной игре», о философской иронии; он ближе к Фр. Шлегелю, Тиху и Новалису, чем к Платону. Молодой философ ищет «неведомую богиню», образ которой уже приоткрывался ему в детских и юношеских видениях, и верит, что найдет ее. Он полон платоновского эроса и земной страстности. Поливанова отмечает странное сочетание в его лице чувственности с одухотворенностью.

«Не особенно красив у него рот, главным образом из-за слишком яркой окраски губ на матово-бледном лице; но самое это лицо прекрасно и с необычайно одухотворенным выражением, как бы не от мира сего; мне думается, такие лица должны были быть у христианских мучеников».

* См. «Материалы», собранные Лукьяновым.

Через две недели после начала чтения на курсах, 27 января 1875 г., Соловьев прочел вступительную лекцию в Московском университете на тему: «Метафизика и положительная наука». Тезисы ее следующие: человеческая мысль всегда стремится к свободе, современный же позитивизм пытается замкнуть ее в тесный круг относительных явлений и отнять от нее всю область познания метафизического. Между тем в основе всех положительных наук лежит та или другая метафизика. Разве эфир и атомы физики не метафизические начала, причем лишенные всякой достоверности? Разве наука о человеке может существовать без высших начал? Мы живем накануне появления новой метафизики, мы уже слышим удары, возвещающие о подземной работе.

«Сравнивая необходимые логические результаты новейшей германской метафизики с результатами философии индийской и греческой, мы увидим, что ум человеческий постоянно вырабатывал и развивал одно и то же истинное воззрение».

По сравнению с основными положениями диссертации вступительная лекция заключает в себе нечто новое. В «Кризисе западной философии» Соловьев утверждал, что истины, до которых дошла западная мысль, совпадают с истинами «учений Востока, отчасти древнего, а в особенности христианского». Это можно было понять в славянофильском духе: необходим синтез западного рационализма с восточным православием. Во вступительной лекции программа значительно расширяется: автор ставит себе целью доказать, что германская метафизика выработала то же «истинное воззрение», что и индийская религия и греческое искусство. Православие и славянофильство остаются в стороне: молодой философ собирается ехать в Лондон, чтобы там, в Британском музее, погрузиться в изучение древних религий. В прошении о командировке он пишет, что намерен изучать «памятники индийской, гностической и средневековой философии».

В той же лекции он говорит, что «видимая действительность не есть *что-нибудь серьезное*, не сама подлинная природа, а только маска ее, только покров Изиды». В то время он верил, что «откровение истины» близко, что покров Изиды скоро упадет и он увидит лицом к лицу свою богиню.

Курс Соловьева по немецкой метафизике продолжался всего несколько недель. Доцент готовился к заграничной поездке, был охвачен глубоким душевным волнением и мистическим вдохновением. Чтение теософической литературы, Сведенборга, Сен-Мартена и Парацельса, занятия спиритизмом, чувство близости «последнего дня творения», нового откровения Вечной Женствен-

ности и вера в свое таинственное призвание — все заставляло его жить в таком духовном напряжении, которое могло кончиться нервным заболеванием.

О неуравновешенном состоянии Соловьева перед отъездом за границу свидетельствуют многие факты. В кружке Н. И. Кареева он выступил с вдохновенной проповедью о торжестве христианства и закончил ее «чтением Символа веры с чрезвычайным подъемом». А через несколько дней тому же Карееву он говорил, что человек обладает сидерическим телом, которое атрофируется, если он долгое время не причащается. Еще более тревожный факт «по слуху» передает Лукьянов. Соловьев будто явился раз к своей слушательнице по курсам Герье В. Н. Чернышевой, был «в порядочно возбужденном состоянии и говорил что-то беспорядочное о белых слонах». Достоверность рассказа довольно сомнительна; и все же подобные слухи показательны: с Соловьевым действительно в это время творилось что-то неладное. Недаром Страхов пророчил, что молодой доцент «добром не кончит».

Наконец это душевное напряжение разрешилось любовным увлечением. Соловьев влюбился в свою ученицу Е. М. Поливанову; сначала они встречались тайно на Пречистенском бульваре; потом он стал бывать у них в доме, а весной 1875 г. прожил несколько дней в их имении Дубровицах.

«Когда он говорил о своем будущем, — вспоминает Поливанова, — его серо-синие глаза как-то темнели и сияли, смотрели не перед собой, а куда-то вдаль, вперед, и казалось, что он уже видит перед собой картины этого чудного грядущего. В такие минуты я также уносила мыслью вперед, а на него смотрела с благоговейным восхищением, думая про себя: “Да, он пророк, провозвестник лучшего будущего, вождь более совершенного человечества”».

В Троицын день Поливанова с Соловьевым взобрались на крышу деревенской церкви, чтобы полюбоваться открывавшимся оттуда видом. И вдруг неожиданно Соловьев признался ей в любви. Она растерялась и «с испуга» отвечала «да». Через несколько дней, обливаясь слезами, она объявила ему, что его не любит. Соловьев ласково ее утешал. Вскоре после этого он уехал за границу.

После этого взрыва любви его душа была подготовлена к новой встрече с Подругой Вечной. Как всегда в его жизни, любовь земная готовила путь Любви Небесной. И предчувствия не обманули: Прекрасная Дама ждала его в Египетской пустыне.

4

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛОНДОН И ЕГИПЕТ
(1875—1876)

Соловьев уезжает из Москвы в июне 1875 г. Из Варшавы он пишет кн. Д. Цертелеву, что чувствует себя превосходно и обдумывает план своего сочинения: выходит стройно, «вроде канто-гегелевской трихотомии». Читает по-польски Мицкевича, пишет стихи, переводит из Гейне:

Коль обманулся ты в любви —
Скорей опять влюбись,
А лучше посох свой возьми
И странствовать пустись.

Так работой, странствиями, стихами старается он освободиться от своей мимолетной неудачной любви к Поливановой. Не останавливаясь в Берлине и отказавшись от намерения познакомиться с философом Гартманом, Соловьев в двое суток доезжает до Лондона. Попадает в маленький дешевый отель и на следующий же день переселяется в меблированные комнаты миссис Сиггера, против Британского музея. Лондон ему нравится, и он рассчитывает прожить в нем целый год. Упражняется в английском языке с уличными мальчишками и чистильщиками сапог; жалуется на то, что ему приходится «повсюду таскать на своей голове огромной величины цилиндр». Днем он работает в Британском музее, а вечером иногда встречается с доцентом И. И. Янжулом, с молодыми учеными М. М. Ковалевским и Капустиным³¹, но «большую часть времени проводит один». Родным он сообщает, что «обедает в разных тавернах — английских, французских, немецких и итальянских, пьет портер и пиво». Но это пышное перечисление, вероятно, импровизируется для того, чтобы успокоить их насчет своего здоровья. Жена И. Янжула пишет иное: Соловьев мяса не ел, к английской еде привыкнуть не мог, постоянно забывал обедать, жил впроголодь и «поражал своим мрачным аскетическим видом». Ей приходилось по вечерам подкармливать его рыбным желе.

Соловьев знакомится с лондонскими спиритами и быстро разочаровывается. «Шарлатаны, с одной стороны, — пишет он Цертелеву, — слепые верующие — с другой, и маленькое зерно действительной магии, распознать которое в такой среде нет почти никакой возможности. Был я на сеансе у знаменитого Вильямса и нашел, что это фокусник более наглый, чем искусный. Тьму египетскую он произвел, но других чудес не показал. Когда ле-

тавший во мраке колокольчик сел на мою голову, я схватил вместе с ним мускулистую руку, владелец которой духом себя не объявил... Являвшийся Джон Книг так же похож на духа, как я на слона. Вчера был я на сборище здешнего спиритуалистического общества и познакомился, между прочим, с известным Круксом и его медиумом, бывшей мисс Крукс... Через неделю в спиритическом обществе будет test — сеанс при свете, но с тем же В., который, по-видимому, был несколько сконфужен моими открытиями в прошлый раз». Перечислив всех знаменитых лондонских медиумов и спиритов: Вильямса, Уолласа, Юма, Кэт Фокс³², Крукса³³ и других, — Соловьев приходит к печальному заключению: «Спиритизм тамошний (а следовательно, и спиритизм вообще, так как в Лондоне есть его центр) есть нечто весьма жалкое».

Увлечение спиритизмом постепенно проходит; он выздоравливает от своей «детской болезни». Но интерес к оккультным наукам, к «тайному знанию» не исчезает вместе со столоверчением. Соловьев погружается в теософические науки, изучает в Британском музее Каббалу и гностиков. От лондонского периода сохранились его рукописи автоматического письма. Но главное его внимание направлено на задуманный им «важный труд».

«Я теперь занят очень большим и, если не обманываюсь, важным трудом, который требует напряжения всех моих сил и не позволяет отвлекаться ни для чего другого» (письмо к о. Петру Преображенскому). Замкнутый в себе, нелюдимый, истощенный и нервный, Соловьев производил на своих русских приятелей в Лондоне впечатление человека несколько ненормального. Янжул вспоминает, как Соловьев сидел неподалеку от него в Британском музее над книгой о Каббале. «Сосредоточенный, печальный взгляд, какая-то внутренняя борьба отражалась у него на лице почти постоянно». Жена Янжула писала своим родителям: «Станный человек этот Соловьев. Он очень слабый, болезненный, с умом, необыкновенно рано развившимся, пожираемый скептицизмом и ищущий спасения в мистических верованиях в духов. Во мне он возбуждает симпатию и сожаление; предполагают, что он должен сойти с ума...»

Перед отъездом из Лондона Янжула и Ковалевского Соловьев угощает их ужином с шампанским в «бодеге» на Оксфорд-стрит. Разговор зашел о Белинском, и Соловьев объявил, что он уже сделал больше, чем Белинский. Тогда Янжул посоветовал «пождать, когда другие признают вас равным». «Владимир Сергеевич разразился рыданиями, слезы потекли у него обильно из глаз».

Соловьев вел себя странно... То начинал с цинизмом говорить о женщинах и рассказывать неприличные анекдоты, то впадал в мрачность, то раздражался неистовым смехом и повторял: «Чем хуже, тем лучше!» Янжулу он сообщал, что действует по внушению какой-то нормандки XVI или XVII века; Ковалевского полупуштя-полусерьезно уверял, что по ночам его смущает злой дух Питер, пророча ему скорую гибель.

В Лондоне написано им четырехстишие: «Хоть мы навек незримыми цепями», вторая строфа которого говорит о божественном единстве мира:

Все, что на волю высшую согласно,
Своею волей чуждую творит,
И под личиной вещества бесстрастной
Везде огонь божественный горит.

В сентябре соотечественники Соловьева разъехались; он остался «совсем почти один в Лондоне»; изредка только встречался с дьячком русской церкви Орловым. «Heimweh³⁴ чувствую довольно сильно,— пишет он родителям,— и постараюсь к июлю вернуться в Россию».

И вдруг 14 октября он посылает матери коротенькую записку, искусственно-непринужденную: «Дорогая мама! Шубу присылать было бы совершенно бесполезно, так как здесь в домах холоднее, чем на воздухе. Зима еще не начиналась, но я уж успел основательно простудиться. К счастью, мои занятия требуют отправиться на несколько месяцев в Египет, куда я уезжаю послезавтра. Поеду через Италию и Грецию. С дороги напишу Вам».

Это невероятное решение объявляется в самом естественном тоне. Объявляется без всякой подготовки и с таким расчетом, чтобы родители не могли ни отговорить, ни задержать. Предполагалось, что для занятий он пробудет год в Лондоне; теперь занятия требуют немедленной поездки в Египет.

Чем же была вызвана эта внезапная перемена? М. М. Ковалевский сообщает уже вернувшемуся в Москву Янжулу «самую удивительную новость»: Соловьев едет в Египет; духи сообщили ему о существовании там тайного каббалистического общества и обещали ввести в него.

Быть может, Соловьев и рассказал что-нибудь в этом роде Ковалевскому, но не духи влекли его в Египет и не каббалистическое общество: он слышал другой, более властный и таинственный голос.

Молодой философ поехал в Лондон не только для научной работы: он искал ключа к тайной мудрости, чуда, преображающе-

го мир; ему было мало теоретического познания, он хотел дела. Разочаровавшись в спиритизме, он принялся за чтение «социалистов и других фантазеров по экономической области, но всегда старался придавать всем их построениям религиозную подкладку». Янжул * вспоминает, что в Лондоне они с Соловьевым читали книгу Нойеса о «библейском коммунизме» и Нордтгофа об американских коммунах. Соловьев признавал будущее только за религиозными общинами вроде «шекеров». «Онеида» его сильно интересовала, но «Новую Гармонию» он решительно отвергал.

Этих свидетельств достаточно. Соловьев никогда не был кабинетным ученым и отрешенным от мира мистиком. Он чувствовал себя религиозно-социальным реформатором, жил сознанием приближающегося конца и хотел действовать немедленно, чтобы его ускорить.

Изучая в Британском музее литературу о Софии Премудрости Божией, он ждал Ее откровения. Ее светлого пришествия. И когда раздался голос, он бросил все и без раздумий и колебаний помчался в Египет.

Об этой встрече рассказывается в поэме «Три свидания».

...Забуду ль вас, блаженные полгода?
Не призраки минутной красоты,
Не быт людей, не страсти, не природа —
Всей, всей душой одна владела ты.

.
Все ж больше я один в читальном зале,
И верьте иль не верьте — видит Бог,
Что тайные мне силы выбирали
Все, что о ней читать я только мог.

Когда же прихоти греховные внушали
Мне книгу взять «из оперы другой», —
Такие тут истории бывали,
Что я в смущеньи уходил домой.

И вот однажды — к осени то было —
Я ей сказал: «О, божества расцвет!
Ты здесь, я чую, — что же не явила
Себя глазам моим ты с детских лет?»

И только я помыслил это слово, —
Вдруг золотой лазурью все полно,
И предо мной она сияет снова, —
Одно ее лицо — оно одно.

* Воспоминания И. Н. Янжула напечатаны в «Русской старине» (1910. I—III).

И то мгновенье долгим счастьем стало,
К земным делам опять душа слепа,
И если речь «серьезный» слух встречала,
Она была невнятна и глупа.

Я ей сказал: твое лицо явилось,
Но всю тебя хочу я увидеть.
Чем для ребенка ты не поскупилась,
В том — юноше нельзя же отказать!

«В Египте будь!» — внутри раздался голос.
В Париж! — и к югу пар меня несет.
С рассудком чувство даже не боролось:
Рассудок промолчал как идиот.

Мы принуждены или признать внезапный отъезд Соловьева из Лондона совершенно беспричинным, или же принять полную реальность описанного им мистического события. Намеренно подчеркнутый реализм поэмы, обилие бытовых подробностей, точное соответствие между изложением автора и приведенным нами биографическим материалом не позволяют сомневаться в духовной подлинности «встречи».

16 октября 1875 года он уезжает из Лондона; едет через Францию, Италию не останавливаясь; около Турина впервые входит в соприкосновение с католическим миром и выносит благоприятное впечатление. «От Шамбери до Турина, — пишет он матери, — ехали со мной в одном поезде двести пятьдесят черных ряс из Вандеи в Рим, с двугривенным папе на водку, — славный народ и нисколько не похожи на иезуитов». В Бриндизи он садится на пароход, в три дня доезжает до Александрии и оттуда отправляется в Каир. Там он поселяется в гостинице «Аббат», посещает музей египетских древностей, купается в Ниле, видит «настоящую сфинксу», осматривает мечети и взлезает на пирамиду Хеопса. Для каких занятий приехал он в Египет? Оказывается — снова вполне неожиданно, — «для изучения арабского языка». Предполагает пробыть в Каире месяцев четыре или пять. «Затем, может быть, прямо вернусь в Россию, ибо в Западной Европе мне решительно нечего делать».

Проходит неделя — и опять «удивительная новость». Письмо к матери от 25 ноября начинается так: «Я в пустыню удаляюсь от прекрасных здешних мест. Когда Вы получите оное, я буду в Фиваиде, верстах в 200 отсюда, в месте диком и необразованном, куда и откуда почта не ходит и ни до какого государства иначе как пешком достигнуть нельзя».

В тот же день он пишет О. А. Новиковой: «Отправляюсь на шесть недель гулять в Фивайдскую пустыню... Я живу здесь две

недели, видел все, что можно видеть, но еще ничего для себя важного не понял. В феврале или марте отправляюсь в Индию, если будет угодно богам».

Совершенно ясно, что Соловьев поехал в Египет не для научных занятий (зачем было ему бросать Британский музей?), не для осмотра египетских древностей (они мало его интересовали) и не для изучения арабского языка (он никогда им не занимался). Он хотел «понять что-то для себя важное» — и отправился в Фиваидскую пустыню.

Внешне это путешествие окончилось плачевно: верстах в двадцати от Каира он чуть не был убит бедуинами, которые ночью приняли его за черта, должен был ночевать на голой земле и на другой день вернулся назад.

М. де Вогюе * вспоминает о своей встрече с Соловьевым в Каире в гостеприимном доме Лессепса. «На этот раз, — пишет он, — Лессепсу удалось выудить где-то в Эзбекии молодого русского, с которым он нас познакомил. Достаточно было раз взглянуть на это лицо, чтобы оно навсегда запечатлелось в памяти: бледное, худощавое, полузакрытое массой длинных вьющихся волос, с прекрасными правильными очертаниями, все оно уходило в большие, дивные, пронизательные, мистические глаза... Такими лицами вдохновлялись древние монахи-иконописцы, когда пытались изобразить на иконах Христа славянского народа, любящего, вдумчивого, скорбящего Христа. Несмотря на зной египетского лета, на Владими́ре Серге́евиче был длинный черный плащ и высокая шляпа. Он чистосердечно рассказал нам, что в этом самом одеянии он ходил один в Суэцкую пустыню, к бедуинам; он хотел разыскать там какое-то племя, в котором, как он слышал, хранились некие тайны религиозно-мистического учения Каббалы и масонские предания, будто бы перешедшие к этому племени по прямой линии от Соломона. Само собой разумеется, что ничего этого он не нашел, и в конце концов бедуины украли у него часы и испортили ему шляпу».

М. М. Ковалевский свидетельствует, что Соловьев отправился в Египет в поисках тайного каббалистического общества; де Вогюе пишет о том же; оба ссылаются на слова самого Соловьева. Такова, очевидно, была его официальная версия. Он должен был мотивировать свою «прогулку в пустыню», но не мог и не хотел признаться, кого он там искал. И только через двадцать лет, и то в полушутливых стихах, он рассказал правду. Мы читаем в «Трех свиданиях»:

* *Vogüé M. de. Sous l'horizon. Hommes et choses d'hier. Paris, 1905.*

Кредит и кров мне предложил в Каире
Отель «Аббат», — его уж нет, увы! —
Уютный, скромный, лучший в целом мире...
Там были русские, и даже из Москвы.

.....
Я ждал меж тем заветного свиданья,
И вот однажды, в тихий час ночной,
Как ветерка прохладное дыханье:
«В пустыне я — иди туда за мной».

.....
Смеялась, верно, ты, как средь пустыни,
В цилиндре высочайшем и в пальто,
За черта принятый, в здоровом бедуине
Я дрожь испуга вызвал и за то

Чуть не убит, — как шумно, по-арабски
Совет держали шейхи двух родов,
Что делать им со мной, как после рабски
Скрутили руки и без лишних слов

Подальше отвели, преблагородно
Мне руки развязали — и ушли.
Смеюсь с тобой: богам и людям сродно
Смеяться бедам, раз они прошли.

Тем временем немая ночь на землю
Спустилась прямо, без обиняков.
Кругом лишь тишину одну я внемлю
Да вижу мрак средь звездных огоньков.

.....
И долго я лежал в дремоте жуткой,
И вот повеяло: «Усни, мой бедный друг!» —
И я уснул; когда ж проснулся чутко, —
Дышали розами земля и неба круг.

И в пурпуре небесного блистанья,
Очами, полными лазурного огня,
Глядела ты, как первое сиянье
Всемирного и творческого дня.

Что есть, что было, что грядет вовеки —
Все обнял тут один недвижный взор...
Синеют подо мной моря и реки,
И дальний лес, и выси снежных гор.

Все видел я, и все одно лишь было, —
Один лишь образ женской красоты...
Безмерное в его размер входило,
Передо мной, во мне — одна лишь ты.

О лучезарная! Тобой я не обманут:
Я всю тебя в пустыне увидал...

В моей душе те розы не завянут,
Куда бы ни умчал житейский вал.

Один лишь миг! Видение сокрылось —
И солнца шар всходил на небосклон.
В пустыне тишина. Душа молилась.
И не смолкал в ней благовестный звон,

.....

Еще невольник суетному миру,
Под грубою корою вещества
Так я прозрел нетленную порфиру
И ощутил сияние божества.

Предчувствием над смертью торжествуя
И цепь времен мечтою одолев,
Подруга вечная, тебя не назову я;
А ты прости нетвердый мой напев!

Мистический опыт по природе своей есть «неизреченное». Образы не выражают его, а только символизируют. Видение предстает духовному взору, а не земному зрению. Поэтому свет, цвета, краски, очертания только намекают на внутреннюю реальность, связываясь с ней по таинственной аналогии. Мистики переводят свои созерцания на язык света и огня (Симеон Новый Богослов³⁵, преп. Серафим Саровский, св. Тереза³⁶, св. Иоанн Креста³⁷, «Фаворский свет» исихастов³⁸). У Соловьева через все встречи проходит мотив лазури, «лазури золотистой», «золотой лазури», «лазурного огня», «сияния», «лучезарности».

В свидании с Julie (1872 г.) ее лицо «горит розовым светом»; в свидании 1875 г. — земля и небо «дышат розами» и она является «в пурпуре небесного блистанья». Ощущение света все нарастает: сначала лазурь, еще расплывающаяся в тумане, потом в лазури разгорается золото, свет теплеет, делается «розовым» и наконец превращается в пурпур. В видении дается откровение божественного единства мира, и это единство — «образ женской красоты». В повести «На заре туманной юности» мы читаем: «...как в чистом зеркале, отражался один чудный образ, и я чувствовал и знал, что в *этом одном было все*». В «Трех свиданиях»: «Все видел я, и *все одно лишь было*, — один лишь образ женской красоты». Это единство раскрывается как всевременное («что есть, что было, что грядет вовеки»), всепространственное («си-неют подо мной моря и реки, и дальний лес, и выси снежных гор»), безмерное («безмерное в его размер входило»). Время, пространство, материя исчезают, как призрак. Внутреннее не противостоит больше внешнему («передо мной, во мне — одна лишь ты»), единство не противоречит множественности. Все и одно: «en

каі рап». Дальнейшая философская работа Соловьева будет заключаться в том, чтобы перевести эту мистическую интуицию на язык метафизических понятий («положительное всеединство») и раскрыть ее в системе историософии, этики и религиозно-социального строительства. На мгновение он уже видел мир преображенным («первое сиянье всемирного и творческого дня»), время и смерть побежденными. Но это было только мгновенное предчувствие. Видение скрылось — и «грубая кора вещества» снова сковала «нетленную порфиру». С восходом солнца «суетный мир» снова входит в свои права, и представитель здравого смысла, генерал Фадеев, советует мечтателю не рассказывать об этом «постыдном происшествии»: обидно ведь прослыть «помешанным иль просто дураком».

Соловьев увидел личную божественную основу мира. В ее единстве множественность вещей не растворяется. Моря, реки, леса и горы хранят свои четкие индивидуальные очертания. Все они сами по себе и все они — одно. Все взаимопроницаемо, но различимо. Единство космоса, «душа мира» — не бесформенное смешение, а личный образ — Вечная Женственность. Но если она есть «сияние божества», то не вносит ли Соловьев женское начало в самое Божество? На этот вопрос он отвечает в предисловии к Сборнику своих стихотворений: «1) Перенесение плотских, животнo-человеческих отношений в область сверхчеловеческую есть величайшая *мерзость*; 2) Поклонение женской природе самой по себе, т. е. началу двусмыслия и безразличия, восприимчивому ко лжи и злу не менее, чем к истине и добру, есть величайшее *безумие*... 3) Ничего общего с этой глупостью и тою мерзостью не имеет истинное почитание вечной женственности, как действительно от века воспринявшей силу Божества, действительно вместившей полноту добра и истины, а чрез них и нетленное сияние красоты».

«Только в свете этого образа, — пишет Александр Блок, — ставшего ясным после того, как второй, производный, погашен смертью, можно понять сущность учения и личности Вл. Соловьева. Этот образ дан самой жизнью, он не аллегория ни в каком смысле; пусть будет он предметом научного исследования, самое существо его неразложимо: он излучает невещественный золотой свет. Золотом и киноварью писались слова, исходящие из уст Гавриила: Ave, gratiae plena³⁹. В периодической системе элементов этот основной, простейший элемент должен быть отмечен золотом и киноварью».

* * *

Вернувшись в Россию, Соловьев любил юмористически описывать друзьям свое путешествие в пустыню. Гр. Ф. Соллогуб по его рассказам сочинил шуточную пьесу «Соловьев в Фиваиде», в которой Сатана, обеспокоенный религиозным учением философа, подвергает его различным испытаниям. Соловьев отгадывает загадки Сфинкса, не поддается соблазнам семи смертных грехов и посрамляет Царицу Савскую. Выступает он «под руку с Кузьмой Прутковым».

Вероятно, слушая эту довольно нелепую мистерию, философ заливался своим грохочущим и немного жутким смехом. Он любил пародии, даже если они касались самого для него священного. Легкий привкус кощунства его не пугал.

* * *

В Каире он прожил четыре месяца; писал матери, что сочиняет «Некоторое произведение мистико-теософо-философо-теурго-политического содержания и диалогической формы». Чтобы дописать его «в тиши уединения», он собирается на месяц поселиться в Сорренто, а затем поработать в Париже, в Национальной библиотеке. В мае 1876 года он сообщает: «В Париже буду заниматься изданием своего малого по объему, но великого по содержанию сочинения “Principes de la religion universelle”; язык оного отдал исправить аббату Гетте». Очевидно, это «мистико-политическое сочинение» и есть «Principes de la religion universelle»⁴⁰. В своей первоначальной «диалогической форме» оно до нас не дошло: материал его был впоследствии распределен между «Философскими основами цельного знания» и «Россией и Вселенской Церковью».

Непосредственный отзыв свидания в пустыне слышится в стихотворении:

Вся в лазури сегодня явилась
Предо мною царица моя,—
Сердце сладким восторгом забилося,
И в лучах восходящего дня
Тихим светом душа засветилась,
А вдали, догорая, дымилось
Злое пламя земного огня.

Лазурь, рассвет, тишина и «злое пламя» взошедшего над пустыней солнца — вот несколько кратких записей, из которых через много лет вырастет третья часть поэмы «Три свидания».

Изучение литературы о Софии отразилось на другом каирском стихотворении: «У царицы моей есть высокий дворец, о семи он столбах золотых». В своем саду, среди роз и лилий, царица скорбит о покинутом друге, который гибнет в полночном краю, в борьбе «с злою силою тьмы». Она приходит к нему на помощь — и «низринуты темные силы во прах». Царица — София Премудрость Божия, о которой Соломон говорит в «Притчах»: «Премудрость созда себе дом и утверди столпов седмь».

Но самым важным мистическим документом этого времени является «Молитва об откровении великой тайны», сохранившаяся в записной книжке Соловьева. Вот ее полный текст:

«Во имя Отца и Сына и Св. Духа.

An — Soph, Jah, Soph — Jah.

Неизреченным, страшным и всемогущим именем заклинаю богов, демонов, людей и всех живущих. Соберите воедино лучи силы вашей, преградите источник вашего хотения и будьте участниками молитвы моей: да возможем уловить чистую голубицу Сиона, да обречем бесценную жемчужину Офира⁴¹, и да соединятся розы с лилиями в долине Саронской⁴².

Пресвятая, Божественная София, существенный образ красоты и сладость сверхсущего Бога, светлое тело вечности, душа миров и единая царица всех душ, глубиною неизреченною и благодатию первого Сына Твоего и возлюбленного Иисуса Христа, молю Тебя: снизойди в темницу душевную, наполни мрак наш своим сиянием, огнем любви расплавь оковы духа нашего, даруй нам свет и волю, образом видимым и существенным явись нам, сама воплотись в нас и в мире, восстанавливая полноту веков, да покроется глубина пределом и да будет Бог все во всем».

В этой молитве-заклинании сплетаются мотивы каббалистические, библейские, гностические и христианские. Жажда чуда и вера в близость «откровения тайны» сливаются в пламенном призыве.

* * *

В январе 1876 г. к Соловьеву приезжает его приятель кн. Д. Н. Цертелев, племянник поэта Алексея Толстого. Д. Цертелев, философ, поэт и спирит, писал об учении Шопенгауэра и Гартмана и сочинял стихи о всемирном уничтожении. Друзья проводили ночи напролет в беседах о спиритизме и немецкой метафизике. Лукьянову удалось получить от жены Цертелева рукопись, которая является, вероятно, совместным творчеством двух друзей. Она называется «Вечера в Каире» и посвящена описанию

спиритического сеанса. Приходит тень Сократа и доказывает возможность материализации духов. В 1897 г. Соловьев вспомнил о ночах в Каире и посвятил Цертелеву стихотворение «Другу молодости»:

Помнишь ли, бывало,
Ночи те далеко, —
Тишиной встречала
Нас заря с востока.

Из намеков кратких
Жизни глубь вскрывая,
Поднималась молча
Тайна роковая.

После свидания в пустыне Соловьеву нечего было делать в Египте. Но Западная Европа его не притягивала, и он живет в Каире, «потому что в нем жить приятнее, чем в каком-нибудь другом месте за границей». Он не решался вернуться в Россию до истечения срока своей командировки. Наконец, в начале марта, Цертелев уезжает из Каира, и через несколько дней после его отъезда Соловьев тоже покидает Египет. На месяц он поселяется в Сорренто и знакомится там с двумя соотечественницами — Надеждой Евгеньевной Ауэр⁴³ и г-жей Трайн. Лукьянов делает любопытное предположение. Повесть «На заре туманной юности» заканчивается следующими словами: «Четыре года после того я встретился с Жюли в Италии на Ривьере; но это была такая встреча, о которой можно рассказывать только любителям в ночь под Рождество». Эпизод, описанный в повести, относится к 1872 г.; встреча с Н. Е. Ауэр в Италии — к 1876 г. Вполне правдоподобно заключение Лукьянова, что Н. Ауэр и есть героиня повести Жюли. В 1895 г. судьба свела Соловьева с Н. Ауэр в третий раз: он встретил ее в Финляндии на Сайме и по этому поводу писал брату Михаилу: «Еще третьего дня я гулял по снежным равнинам озера Саймы с М-те Ауэр, за которой 19 лет тому назад ухаживал на Везувии; какой символизм! теперь у нее 19-летняя дочь Зоя, напоминающая мне Катю Владимировну (Романову) лет двадцать тому назад».

Воспоминания о внезапной влюбленности во время поездки в Харьков ожили в Сорренто, и Соловьев пережил новое, недолгое, но бурное увлечение.

Во время экскурсии на Везувий в обществе Н. Ауэр с Соловьевым случилось несчастье: его обступили мальчишки, требуя от *forestiere*⁴⁴ подачки: он роздал им все бывшие при нем деньги, бросил им кошелек и наконец вздумал спастись бегством. Лошадь

поскользнулась, он упал, поранил себе колено и разбил обе руки. Ему пришлось пролежать неделю в больнице в Неаполе; Н. Ауэр за ним ухаживала; он посылал ей красные розы. Выздоровев, Соловьев отправился в Париж через Геную и Ниццу. В Ницце написано стихотворение «Песня офитов», свидетельствующая о его знакомстве с гностическими учениями. Офиты — гностики II века, с их загадочными мистериями и поклонением змее как образу грядущего Спасителя, поразили романтическое воображение Соловьева.

Белую лилию с розой,
С алой розой мы сочетаем.
Тайной пророческой грезой
Вечную истину мы обретаем.

Зачеркнутый в рукописи вариант более характерен: «Светлую Плэрому⁴⁵ мы обретаем».

В Париже он прожил больше месяца, работая в Национальной библиотеке. Издать свое сочинение по-французски ему не удалось. В начале июня он возвращается в Россию.

«На меня в Париже напала такая тоска, что я при первой возможности, бросив все дела и занятия, устремился без оглядки в Москву».

Поразительно равнодушие Соловьева ко всему европейскому: в Англии ему «лень» знакомиться с англичанами, он нигде не бывает, ничего не осматривает, никуда из Лондона не выезжает; в Каире живет потому, что там хороший климат и что где-нибудь жить надо; Италия кажется ему «пошлейшей страной в свете»; Париж вызывает тоску, и французов он ненавидит. Его не интересуют ни искусство, ни театр, ни литература, ни нравы Запада. Он зачарован одним образом:

Не быт людей, не страсти, не природа —
Всея, всей душой одна владела ты.

Соприкосновение с Европой только усиливает в нем его русскую стихию. Совсем по-славянофильски звучит следующее его заявление в письме к отцу (май 1876 г.): «Так как Вы, кажется, немножко по мне скучаете, то могу Вас успокоить: больше уже путешествовать не буду, ни на восточные кладбища, ни в западный н... не поеду, а так как мне сведущие люди предсказали много странствий, то я буду странствовать по окрестностям города Москвы».

5

РЕЧЬ «ТРИ СИЛЫ».
«ФИЛОСОФСКИЕ НАЧАЛА ЦЕЛЬНОГО ЗНАНИЯ»
(1877)

Возвращением из заграничной командировки заканчивается первый ученический период жизни Соловьева. Наступает период философский. В течение пяти лет он строит свою широкую философскую систему: метафизику, гносеологию, этику и историософию. К этому времени относятся: «Философские начала цельного знания» (1877), «Чтения о Богочеловечестве» (1878) и «Критика отвлеченных начал» (1877—1880).

Вскоре после приезда Соловьева в Москву кн. Д. Цертелев познакомил его со своей теткой, графиней Софией Андреевной Толстой, вдовой поэта Алексея Константиновича Толстого. С ней жила ее племянница Софья Петровна Хитрово с детьми; она разошлась с мужем, хотя официально не была с ним в разводе. Соловьев скоро сблизился с этой семьей; постоянно бывал у графини в Петербурге, подолгу гостил в ее имениях Пустыньке (Петербургской губернии) и Красном Роге (Брянского уезда). Его письма к Софии Андреевне полны особенной доверчивости и нежности. Софью Петровну Хитрово он любил, и эта любовь заполнила всю его жизнь. Об истории этого чувства мы можем только догадываться, так как *ни одно письмо* из переписки Соловьева с Хитрово доселе не попало в печать. Долгие годы Соловьев верил в возможность брака с любимой женщиной, но от этой веры ему пришлось отказаться, и разрыв с С. П. стоил ему великих страданий: любовь к Хитрово была его жизненной трагедией. Тайны своих отношений с ней он никогда никому не доверил. Это не могло быть случайным — такова была его воля. Поэтому и биографы Соловьева должны ограничиться одной внешней историей «любви всей его жизни». Граф А. Толстой умер за год до сближения Соловьева с его семьей; все в доме было полно воспоминаниями о нем. Софья Андреевна и ее племянница жили культом его памяти, его книгами, мыслями, стихами; библиотека графа, его рукописи и любимые вещи хранились благоговейно; по вечерам велись о нем долгие беседы и перечитывались его интимные письма. Соловьев вошел как близкий человек в эту особенную атмосферу толстовского дома. Он был уже подготовлен к ней отчасти дружбой с племянником графа Цертелевым. В доме С. А. Толстой он дышал воздухом чистой поэзии, душевного изящества, эстетического чувства жизни. Его окружала романтика

сверхъестественного: потустороннее сплеталось с земным; предчувствия, предзнаменования, вещие сны, приметы, спиритические опыты, таинственные явления делали почти неуловимой грань между двумя мирами. Биограф гр. А. Толстого А. Лиронделль * собрал любопытный материал, относящийся к занятиям графа оккультными и метапсихическими явлениями. В начале шестидесятых годов А. Толстой изучал Сведенборга, Ван Гельмонта ⁴⁶, «Магнетическую магию» Каанье (Cahagnet), в которой рассказывается о магических зеркалах, талисманах, элевациях, фильтрах ⁴⁷, заклинаниях, заговорах, колдовстве; «Естественную магию» Дю Поте (Du Potet), посвященную явлениям сомнамбулизма, магнетизма, ясновидения, галлюцинаций, видений, материализаций и т. д.; «Историю магии» и «Догмат и ритуал высшей магии» Элифаса Леви ⁴⁸ с чертежами, текстами заклинаний и вызовов, треугольниками, пентаграммами и тетраграммами; «Пневматологию» Эд де Мирвиль (J. Eudes de Mirville), содержащую учение о магнетических токах, одержимости, сверхъестественных голосах, экзорцизмах, таинственных мономаниях, летающих столах и самовозжигающихся огнях. Оккультные увлечения А. Толстого отразились на его «Дон Жуане». В письме к Марковичу он объясняет, что статуя командора есть не что иное, как материализация астральной силы, которая осуществляется невидимо в каждом акте нашей воли и видимо во всех магнетических и магических опытах.

Таков был круг «мистических интересов» автора «Дон Жуана». Поэта-романтика привлекало все таинственное, но он не выходил за пределы натуральной магии Парацельса. Его чувство природы окрашено довольно неопределенным пантеизмом, и в личное бессмертие он не верил. Софья Андреевна разделяла увлечение мужа спиритизмом и магнетизмом, но не сочувствовала его «натуралистической религии». Она была натурой глубоко религиозной и мистически одаренной.

В момент сближения Соловьева с семьей Толстого общий тон дома определялся духом невидимо присутствовавшего в нем покойного поэта, но в этот тон вдова его вносила свой, очень личный оттенок мистической духовности.

В атмосфере романтической таинственности и космической поэзии выросло учение Соловьева о Софии.

* *Lirondelle André. Le poète Alexis Tolstoi. L'Homme et l'oeuvre. Paris, 1912.*



Осенью 1876 г. Соловьев возобновил свои лекции по истории древней философии в Московском университете, но курс его продолжался недолго. Один из профессоров, Любимов, подал «особое мнение» о необходимости изменения университетского устава. Оно было поддержано М. Н. Катковым и вызвало большую смуту среди московской профессуры. Хотя Соловьев вовсе не был на стороне Любимова, но его возмутила травля, которой тот подвергался, и он подал прошение об отставке (14 февраля 1877 г.). Через месяц его назначили членом Ученого комитета при Министерстве народного просвещения. Он переехал в Петербург и прожил там, с небольшими перерывами, четыре года. Письма Соловьева к гр. С. А. Толстой показывают, с какой быстротой отношения их превратились в духовную близость и привязанность.

«Сейчас приехал на Шпалерную... (т. е. на петербургскую квартиру графини), — пишет Соловьев. — Пролил я несколько слез перед холодным камином в гостиной, но все-таки думаю, что мне будет здесь очень хорошо. — Все тихо и меланхолично, как в моей душе теперь. Если бы только всегда знать, что с Вами, и не выдумывать по ночам разные невозможные ужасы...»

В другом письме (27 апреля 1877 г.) мы находим исключительно важное и единственное в этом роде сообщение Соловьева об изучении им литературы о Софии:

«...в библиотеке не нашел ничего особенного. У мистиков много подтверждений моих собственных идей, но никакого нового света, к тому же почти все они имеют характер чрезвычайно субъективный и, так сказать, слюнявый. Нашел трех специалистов по Софии: Georg Gichtel⁴⁹, Gottfried Arnold и John Pordage. Все три имели *личный опыт почти такой же, как мой*, и это самое интересное, но в собственно теософии все трое довольно слабы, следуют Беме, но ниже его. Я думаю, София возилась с ними больше за их невинность, чем за что-нибудь другое. В результате настоящими людьми все-таки оказываются только Парацельс, Бэм и Сведенборг, так что для меня остается поле очень широкое».

Кроме занятий в библиотеке была еще служба в Ученом комитете, которая оказалась совсем не синекурой. «Я уже начал свою службу в Ученом Комитете, — пишет Соловьев Д. Н. Цертелеву. — Заседания — скука смертная и глупость неисчерпаемая; хорошо еще, что не часто».

Он живет уединенно, почти нигде не бывает, «стал совсем мизантропом». Тоскует по семье С. А. Толстой, уехавшей на лето в Красный Рог.

Самым значительным духовным событием этого периода жизни Соловьева было его сближение с Ф. М. Достоевским. Они познакомились еще в 1873 г., но настоящая дружба между ними началась только в 1877 году. Анна Григорьевна Достоевская⁵⁰ в своих воспоминаниях пишет, что Федор Михайлович, чем больше встречался с Соловьевым, тем больше к нему привязывался; отношение писателя к молодому философу было похоже на отношение старца Зосимы к Алеше. Старец полюбил Алешу за то, что он напоминал ему умершего брата: Достоевский привязался к Соловьеву, так как он по своему духовному облику казался ему похожим на И. Н. Шидловского, оказавшего на Федора Михайловича в юности столь благотворное влияние. Отсюда, быть может, и пошла легенда, что в образе Алеши Достоевский изобразил Соловьева. Анна Григорьевна полагает, что есть больше оснований думать, что с Соловьева был списан другой Карамазов — Иван. Действительно, не простодушный и восторженный Алеша, а блестящий диалектик Иван с его силой формальной логики и рациональной этики, с его размахом социальной утопии и религиозной философии внешне напоминает Соловьева. Недаром в «Братьях Карамазовых» именно Иван излагает свою «идею» о теократии, над которой в то самое время работал Вл. Соловьев. С. Гессен^{*51} предполагает, что Соловьев оказал влияние на архитектуру «Братьев Карамазовых». У него Достоевский заимствовал «формальные особенности своей философской техники».

Влияние Достоевского на Соловьева сказывается на первом же его публичном выступлении в Петербурге в 1877 г. — речи «Три силы», прочитанной в апреле в заседании Общества любителей российской словесности.

Общественный и национальный подъем, охвативший Россию в начале освободительной войны 1877—1878 гг. разбудил в Соловьеве жажду немедленного жизненного действия. На объявление войны он ответил речью «Три силы» и попыткой принять активное участие в военных действиях. Речь его начинается спокойным историко-философским вступлением и кончается вдохновенной проповедью. Мировая история породила две силы: первая — мусульманский Восток, исключительная власть религиозного начала: «один господин и мертвая масса рабов»; вторая сила — западная цивилизация: «всеобщий эгоизм и анархия». Полного

* *Hessen Sergius. Der Kampf der Utopie und der Autonomie des Guten in der Weltanschauung Dostoevskis und W. Solowjows // Die Pädagogische Hochschule. 1929. Н. 5. Okt.*

раскрытия эта сила достигла во Французской революции, уничтожившей прежнее органическое единство Европы. Единственное величие, сохранившее еще свою силу на Западе, — это величие капитала. Социализм не обновит человечества: на вопрос о положительном содержании и цели жизни он не даст ответа. Синтез религии и философии не может произойти на европейской почве, ибо он совершенно противоречит общему духу западного развития. Итак, если мусульманский Восток уничтожает человека и утверждает только *бесчеловечного бога*, то западная цивилизация стремится прежде всего к исключительному утверждению *безбожного человека*. Атомизм в жизни, атомизм в науке, атомизм в искусстве — вот последнее слово европейской культуры, и если история человечества не должна кончиться этим ничтожеством, то следует верить, что выступит новая историческая сила, которая «оживит мертвые в своей вражде элементы высшим примирительным началом». Эта третья сила должна быть откровением божественного мира, и тот народ, через который эта сила проявится, будет только *посредником* между человечеством и тем миром. Он не нуждается ни в особенных преимуществах, ни во внешних дарованиях; от него требуется только свобода от всякой ограниченности и односторонности, требуется равнодушие ко всей этой жизни с ее мелкими интересами и всецелая вера в положительную действительность высшего мира. А эти свойства, несомненно, принадлежат племенному характеру славянства и его главного представителя — народа русского. «Итак, — заявляет Соловьев, — или это есть конец истории, или неизбежное обнаружение третьей всецелой силы, единственным носителем которой может быть только Славянство и народ русский. Внешний образ раба, в котором находится наш народ, жалкое положение России в экономическом и других отношениях не только не может служить возражением против ее призвания, но скорее подтверждает его... Великое историческое призвание России... есть призвание религиозное в высшем смысле этого слова». Все указывает на то, что час этот близок; начинающаяся война послужит могущественным толчком для пробуждения *положительного сознания* русского народа.

Соловьев заканчивает призывом к русской интеллигенции: «А до тех пор мы, имеющие несчастье принадлежать к русской интеллигенции, которая вместо образа и подобия Божия все еще продолжает носить образ и подобие обезьяны, мы должны же наконец увидеть свое жалкое положение, должны постараться восстановить в себе русский народный характер... свободно и разумно уверовать в другую, высшую действительность».

По строгости диалектического метода и сжатости формулировок, по внутреннему напряжению — речь Соловьева блестяще открывает собой период его творческого расцвета. Прошло всего три года со времени написания «Кризиса западной философии», но за это короткое время мысль его прошла большой путь. В магистерской диссертации он был славянофилом только отчасти; в «Трех силах» он не только разделяет основную веру славянофилов, их мессианский пафос, но идет дальше их.

Проповедуя «третью силу как высший религиозный синтез начал Запада и Востока», Соловьев в своей речи дает замечательный образец синтеза всех течений русской мысли. В «бесчеловечном Боге» Востока можно видеть своеобразное преломление идеи Хомякова о кушитском религиозном начале⁵²; к Хомякову же восходит мысль о том, «что религиозный принцип, легший в основу западной цивилизации, представляет лишь одностороннюю и, следовательно, искаженную форму христианства»; характеристика европейской культуры как процесса раздробления и обособления индивидуальных начал построена на основных выводах Ив. Киреевского. Соловьев утверждает, что «Церковь западная, отделившись от государства... сама стала церковным государством»: реакцией на этот отрыв Церкви от народа была революция; в ней завершилось самоутверждение отдельной личности: *«революционное движение предоставило каждое лицо самому себе»*. Все это место в речи точно воспроизводит тезисы статьи Ф. И. Тютчева «Россия и революция». Тютчев тоже связывает революционное движение на Западе с секуляризацией Римской церкви. «Западная церковь, — пишет он, — сделалась политическим учреждением... Реакция этому положению «вещей была неизбежна... Революция есть не что иное, как апофеоз человеческого я, как последнее слово отрыва личности от Церкви, от Бога... Человеческое я, предоставленное самому себе, противно христианству по существу».

Есть в речи Соловьева и отклики учения К. Н. Леонтьева: западная цивилизация, некогда находившаяся в «цветущей сложности», ныне идет по «упростительному смещению», безличности и опошлению. «Чрезмерное развитие индивидуализма в современном Западе, — пишет Соловьев, — ведет прямо к своему противоположному — ко всеобщему обезличению и опошлению. Старая Европа в богатом развитии своих сил произвела великое многообразие форм, множество оригинальных, причудливых явлений; были у нее святые монахи, что из христианской любви к ближнему жгли людей тысячами; были благородные рыцари, всю жизнь сражавшиеся за дам, которых никогда не видали,

были философы, делавшие золото и умиравшие с голоду, были ученые схоластики, рассуждавшие о богословии, как математики, а о математике, как богословы. Только эти оригинальности, эти дикие величия делают западный мир интересным для мыслителя и привлекательным для художника...» Эта тирада не только по мыслям, но и по стилю напоминает Леонтьева; Соловьев вводит в свое философское изложение некое «художественное интермеццо»; нарядные образы его выдержаны в духе леонтьевской декоративности.

Наконец, мысль о том, что призвание России религиозное, что она явит миру божественное начало, которое таится в глубине ее веры и смирения, несомненно, внушена Соловьеву Достоевским. В «Дневнике писателя» Достоевский, углубляя славянофильское учение, вдохновенно говорил о русском народе, самом христианском на свете, о его смирении, о его «образе раба», о его мистической любви ко Христу. «Безбожный человек», результат всего европейского развития, появляется у Соловьева как оригинальный синтез идеи Хомякова о самоутверждении человеческого начала на Западе и идеи Достоевского о человекобожестве («Бесы»).

Таков сложный и разнообразный состав «Трех сил», этой «философской симфонии» Соловьева. Но пестрый материал переработан им творчески — и перед нами не мозаика, а живое органическое целое. Соловьев доводит до конца славянофильские идеи, и в результате вместо понятия национальной самобытности получается прямо противоположное ему понятие всечеловечности. Он показывает, что в подлинном мессианизме ничего специфически национального быть не может: мессианизм неизбежно переходит в универсализм. Мысль о вселенскости русского духа, легшая в основу «Пушкинской речи» Достоевского, была формулирована Соловьевым в еще более широкой форме в 1873 г. Изменил ли он славянофилам, *так* истолковав их теорию? Напротив, он *завершил* их учение, явился самым последовательным и самым бесстрашным продолжателем их дела.

* * *

Откликом на речь Соловьева была грозная статья А. Станкевича в «Вестнике Европы»: «Три бессилия: три силы. Публичная лекция Вл. Соловьева». По поводу ее Соловьев писал С. А. Толстой: «Неужели Вам было неприятно, а не забавно читать о “Трех силах” в “Вестнике Европы”? Я отчасти предчувствую, что Вы будете мне говорить, но объявляю заранее, что между мною и

благоразумием не может быть ничего общего, так как самые цели мои не благоразумны. Тут расчет никакой не поможет — “не догадка, не ум, но безумье в тот край, но удача привести тебя может!”»

Призвав русскую интеллигенцию к делу, Соловьев должен был первый подать пример. Он решил отправиться на войну. Слабое сложение и болезненность исключали возможность поступления в действующую армию; он придумал поехать на фронт в качестве военного корреспондента «Московских ведомостей». Долго вел переговоры с Катковым, переходил от надежды к разочарованию, называл свой план «химерой легкомысленной юности», «мечтой воображения» и наконец все-таки уехал. Перед отъездом он писал графине Толстой: «Большая история меня очень радует.

Гул растет как в спящем море
Перед бурей роковой —
Вскоре, вскоре в бранном споре
Закипит весь мир земной».

Уезжал он полный радостных предчувствий и верил в providенциальный смысл войны за освобождение славян.

По дороге в действующую армию он проводит два дня в Красном Роге у С. А. Толстой. Во время спиритического сеанса происходит странное событие, о котором он сообщает Д. Н. Цертелеву. «Здоров ли ты, и не было ли с тобой чего-нибудь особенного 13 и 14 июня ночью? Там в моем присутствии произошла какая-то чертовщина: являлся твой дух и я не знаю, что еще. Вследствие этого очень о тебе беспокоились мы все. Хотели, чтобы я послал телеграмму...»

В Кишиневе ему приходится дожидаться паспорта. В делах Министерства народного просвещения хранится телеграмма от кишиневского губернатора на имя министра следующего содержания: «Испрашиваю разрешение выдать паспорт на выезд за границу надворному советнику В. С. Соловьеву». Получив паспорт, Соловьев добирается до Бухареста, где неделю ждет денег от Каткова. Не дождавшись, занимает на месте и собирается ехать дальше. Отцу он сообщает свой будущий адрес: Свиштово в Болгарии, штаб действующей армии. На этом наши сведения обрываются. В Болгарию Соловьев так и не попал; через полтора месяца он уже снова в Москве. Почему он переменял решение, что заставило его вернуться назад после того, как все внешние препятствия (паспорт, деньги) были устранены, остается загадкой. Из Москвы он пишет довольно странное письмо С. А. Толстой: «...впрочем, нисколько не удивляюсь, что вы мною интересуетесь: я знаю, что Вас интересуют *все предметы* — как живые, так

равно и неодушевленные (иногда принадлежу к этим последним). Avec des apparences de bonté j'ai un coeur très méchant. C'est mauvais, mais je n'y puis rien⁵³. Один китайский купец, когда англичанин упрекал его за какой-то обман, отвечал ему: "I am a rogue — cannot help it"⁵⁴. Прощайте надолго. Надеюсь, встретимся лучше, т. е. когда я буду лучше».

Письмо холодное, ироническое, горькое — и очень жалкое. Соловьев пережил что-то тяжелое, может быть, даже унижительное для его самолюбия. Он увидел в себе что-то «темное» (un coeur très méchant», «I am a rogue»). И об этом говорит в вымученно-шутливом тоне, с легким отвращением к самому себе. Не связана ли эта угнетенность с внезапным возвращением с войны?

По каким бы мотивам он ни отказался от своего плана, одно оставалось несомненным: его героический порыв, его желание принять реальное участие в «большой истории» потерпели крах. При столкновении с действительностью молодой философ почувствовал свою внутреннюю несостоятельность и не мог не пережить этого очень болезненно. Чтобы оправиться от удара, нанесенного ему жизнью, он уходит в теорию, в «дебри метафизики».

* * *

В 1877 году в «Журнале министерства народного просвещения» появилось незаконченное исследование Соловьева «Философские начала цельного знания». Это — первый набросок философской системы; начертана схема, намечены основные вехи, разработаны вчерне главные отделы: философия истории, логика и метафизика. Проблемы, затронутые в этом сочинении, центральны в творчестве Соловьева. Он неоднократно возвращается к ним в своих последующих работах: «Чтениях о Богочеловечестве», «Критике отвлеченных начал», «Оправдании добра» и «Теоретической философии».

«Философские начала цельного знания» начинаются «общеевропейским вступлением». Философия должна ответить на вопрос о цели нашего существования. Но, говоря о всеобщей и последней цели, мы тем самым предполагаем понятие *развития*. Развиваться же может только живой организм. Следовательно, мы признаем человечество настоящим органическим субъектом исторического развития. Всякое развитие включает в себе три момента: смещение или внешнее единство, обособление образующих элементов и внутреннее свободное единство.

Основные формы общечеловеческой жизни должны иметь свой источник в началах, определяющих саму природу челове-

ка. Их три: воля, мышление и чувство; первая имеет своим предметом объективное благо, второе — объективную истину, третье — объективную красоту.

Первым началом общественной жизни является воля. Прежде всего человек направляет свою волю на внешнюю природу для получения от нее средств к существованию. Поэтому первый аспект воли есть *экономическое общество, или семья*. Воля, определяющая отношения людей друг к другу, порождает *общество политическое, или государство*. Его естественный принцип есть законность, или право. Воля, обращенная к Богу, стремящаяся к высшей цели — вечной и блаженной жизни, создает *духовное, или священное, общество (Церковь)*.

Мышление также может быть рассмотрено в трех аспектах: знания фактического, формального и абсолютного. Им соответствуют: положительная наука, философия и теология.

Наконец, чувство получает свое объективное выражение 1) в творчестве материальном — техническом искусстве, 2) в творчестве эстетическом — изящном искусстве и 3) в творческом отношении к миру трансцендентному — мистике.

Так как творчество господствует над знанием и практической деятельностью, а в нем первое место занимает мистика, то, следовательно, «эта последняя имеет значение настоящего верховного начала всей жизни общечеловеческого организма».

Автор применяет свой «закон развития» к истории и указывает, что до появления христианства человечество переживало первичное состояние — смешения. В древнем язычестве все было слито в религиозном единстве.

Вторая стадия — обособление элементов — началась с христианства, отделившего *sacrum* от *profanum*⁵⁵. Сначала государство отделяется от Церкви, потом общество экономическое (земство) выделяется из государства (Французская революция), наконец, земство, или народ, распадается на атомы — отдельные индивидуальности.

В области мысли тот же процесс распада приводит к позитивизму, в области творчества — к утилитарному реализму.

Социализм, позитивизм, утилитаризм — вот последнее слово западной цивилизации. Но в истории человеческого развития это только второй момент, за которым должен последовать третий. Западная цивилизация не сделалась общечеловеческой.

«Поскольку даже исключительный монизм выше атомизма, поскольку даже плохое начало выше совершенного безначалья... постольку мусульманский Восток выше западной цивилизации».

Третий момент — свободного синтеза — призвана осуществить Россия. Здесь Соловьев почти дословно повторяет свою речь о «Трех силах».

Что же произойдет, когда свершится это внутреннее соединение? Тогда три высшие степени бытия — мистика, теология и Церковь — составят одно органическое целое — *религию*. Мистика с искусством и техникой образуют *свободную теургию*, или *цельное творчество*, теология с философией и наукой сольются в *свободную теософию*, или *цельное знание*, Церковь с государством и земством образуют *свободную теократию*, или *цельное общество*; наконец, деятельность всех органов жизни в человечестве образует новую общую сферу *цельной жизни*.

На этом заканчивается «общеисторическое введение». Нетрудно заметить, что оно является развитием и обоснованием тезисов «Трех сил». Та же трехчленная схема Гегеля, тот же «закон развития» Герберта Спенсера, тот же славянофильский мессианизм. Автор вносит, впрочем, одно важное изменение: первый фазис развития прилагается им уже не к мусульманскому Востоку (который оказывается даже выше западной цивилизации), а к древнему язычеству; второй фазис приурочивается к появлению христианства. Соловьеву принадлежит заслуга первой и смелой попытки применения логической формулы Гегеля и биологического закона Спенсера к истории человечества. Он переносит понятие собирательного организма из области естественных наук в область социологии. Человечество как единый субъект исторического процесса ощущается им не абстрактно и метафизически, а во всей полноте реальности. Впервые в этом сочинении мы встречаем известную соловьевскую триаду — теософию, теургию и теократию, под знаком которой проходит весь «католический период» его жизни.

Первая глава «Философских начал» посвящена «трем типам философии». Показав несостоятельность всех видов эмпиризма и рационализма, автор доказывает необходимость «третьего типа умосозерцания» — *мистицизма*.

Истина не принадлежит теоретическому знанию в его отдельности; истиной может быть только то, что вместе с тем есть благо и красота. «Настоящая истина, цельная и живая, сама в себе включает и свою действительность и свою разумность и сообщает их всему остальному». Мистическая философия знает, что всякое бытие есть лишь образ представления сущего, но знает также, что человек сам есть более чем представление и что, даже не выходя из самого себя, он может знать о сущем. Но мистическое знание может быть только *основой* истинной философии: ему

необходимо еще подвергнуться рефлексии разума и получить подтверждение со стороны эмпирических фактов.

«Свободная теософия должна представлять высшее состояние всей философии как во внутреннем синтезе трех ее главных направлений, мистицизма, рационализма и эмпиризма, так равно и в более общей и широкой связи с теологией и положительной наукой».

Соловьев удерживает для трех составных частей свободной теософии старые названия: логика, метафизика, этика, но в отличие от других философских систем прибавляет к ним определение «органические». Ему удалось написать только три главы своей «Органической логики».

Предмет свободной теософии есть *истинно-сущее в своем объективном выражении, или идее*. Вместе с мистицизмом она основывается на безусловной, непосредственной действительности сущего, но вопреки ему признает развитие этой действительности в идеях разума и в опытах природы. Так достигается синтез мистицизма, рационализма и эмпиризма. Цель истинной философии — освобождение человека от всего внешнего и соединение его с Богом; это же и цель религии. Материал цельного знания дается опытом, причем следует различать опыт внешний, внутренний и мистический; последний свойствен, правда, не всем, но «в вопросе о действительности известных явлений число их субъектов, очевидно, безразлично». Три вида опыта располагаются иерархически; выше и важнее всего явления мистические; но теософический мистицизм не заявляет: «*Natur ist Sunde, Geist ist Teufel*»⁵⁶; он стремится провести божественное начало во все человеческие и природные вещи, не уничтожая, а интегрируя и дух и материю.

Первичная форма цельного знания есть *умственное созерцание*, или интуиция (*intellektuelle Anschauung*); ее существование доказывается фактом художественного творчества.

Идеальные образы художника не являются ни копиями с эмпирической действительности, ни отвлеченными общими понятиями; они возникают перед его умственным взором сразу во всей их внутренней целостности. Особенность умосозерцаемой идеи заключается в соединении совершенной индивидуальности с совершенной универсальностью — этим отличается она от понятия и от частного явления. Мы можем созерцать сущие идеи потому, что сами идеальные существа на нас действуют, вызывают в нас познание и творчество. Это действие идей есть вдохновение. «Итак, действующее или непосредственно определяющее начало истинного философского познания есть вдохновение».

Предметом истинной философии является весь мир в своей общности. Философия изучает само *бытие*. Но абсолютное первоначало не может быть названо бытием: оно есть начало всякого бытия, всякое бытие есть его предмет. *Сущее не есть бытие*, оно не есть также небытие, ибо небытие есть лишение бытия, а абсолютному первоначалу принадлежит всякое бытие. Его следует определить как мощь или силу бытия. Бытие предполагает отношение к другому, оно всегда *относительно*, сущее же безусловно. Сущее есть субстанция всего, в том числе и нас самих; все, что есть, есть *единое*, оно глубже и выше всякого бытия. Бытие есть только поверхность, под которой скрывается истинно-сущее как абсолютное единство.

Восток познал сущее только в атрибуте его абсолютной единичности; но сущее есть также и начало множественности; не только «en», но и «pan». Запад познал его как множественность. Истинная вселенская религия должна соединить эти два познания и осуществить на земле настоящее «en kai pan».

Абсолютно-сущее требуется не только нашим разумом, но и нашей волей как абсолютное благо, и нашим чувством как абсолютная красота.

Итак, абсолютное есть *ничто и все*, — ничто, поскольку оно не есть что-нибудь, и все, поскольку оно не может быть лишено чего-нибудь. Если оно есть ничто, то бытие для него есть другое; но вместе с тем оно есть начало бытия, то есть начало своего другого, следовательно, оно есть *единство себя и своего противоположного*. Этот логический закон есть лишь отвлеченное выражение морального факта любви. Любовь есть самоотрицание существа, утверждение им другого, а между тем этим самоотрицанием осуществляется его высшее самоутверждение. «Итак, когда мы говорим, что абсолютное первоначало по самому определению своему есть единство себя и своего отрицания, мы повторяем только в более отвлеченной форме слова великого апостола: Бог есть любовь».

В абсолютном различаются два центра, или полюса, — начало единичности и свободы и начало множественности и необходимости. Второй полюс есть сущность, или *prima materia*⁵⁷, абсолютного; первый полюс, положительное ничто (эн-соф), производя множественность, постоянно торжествует над ней, осуществляя себя как *положительное единство*.

Первая материя есть влечение или стремление к бытию, жажда бытия, вечный образ или идея сущего.

Различая бытие от сущего как его производящего и им обладающего начала, а в самом сущем различая два центра, или по-

люса, мы имеем, таким образом, три определения: 1) свободно сущее (первый центр), 2) необходимость, или первая материя (второй центр), и 3) бытие, или действительность, как их общее произведение. Второе определение в отличие от третьего назовем сущностью и тогда получим: *сущее, сущность, бытие*, или: *мощь, необходимость, действительность*, или: *Бог, идея, природа*.

Идея есть, собственно, то, чего хочет сущий, что он представляет, что чувствует. Как содержание воли сущего, идея есть благо, как содержание его представления, она есть истина, как содержание его чувства, она есть красота.

Наконец, идею можно определить как единство, или синтез, материи и формы. Она есть нечто действительное и определенно существующее, некоторая реальность — одним словом, *идея есть существо*.

* * *

Кратко изложенные нами тезисы «Философских начал» могут показаться схематическими. Соловьева нередко упрекают в рационализации мистического. С тем же правом ему можно было бы поставить в вину мистификацию рационального. Действительно, границы между познанием разумным и мистическим у него как будто стерты. Всякое познание — даже познание естественных наук, эмпирическое изучение внешнего мира, — он считает откровением божественных сущностей, т. е. религиозным умозрением, а с другой стороны, ему кажется возможным из *понятия* бытия Божия *логически* вывести троичность ипостасей. Это неразличение видов познания и смешение их в одной категории теософии объясняется личным опытом Соловьева. Для него запредельное было повседневным фактом сознания; за его построениями стоит реальный опыт «встреч» с «душой мира».

Для Соловьева целостность познания — не философское понятие, заимствованное у Шеллинга и Ив. Киреевского, а собственное мистическое переживание. «Всеединое» явилось ему еще в детстве как «цельная и живая истина», как «единый образ женской красоты». Он и философствовать начал для того, чтобы рассказать на понятном, т. е. логическом, языке о своих видениях. Рассуждая, он исходит из «безусловной, непосредственной действительности сущего» как из основной аксиомы. Он ее не доказывает — для него она очевидна. Но в то же время ему понятно, что познание всеединства не дается ни внешним, ни внутренним опытом. Поэтому источником познания ему приходится признать

опыт мистический — «интеллектуальное созерцание». Оно лежит в основе и философии и науки; следовательно, не только философы, но и ученые (например, физики или минералоги) должны быть мистически одаренными. Такой вывод не смущает Соловьева: он не различает знания естественного, имеющего своим предметом условный относительный мир, и знания метафизического и религиозного. Для него нет двух миров — существует единая божественная сущность; поэтому всякое знание есть знание о Боге, знание религиозное *. Получается некий порочный круг: мистический опыт обосновывается непосредственным действием на нас божественных сущностей, а реальность этих сущностей доказывается наличием мистического опыта.

Но если «созерцание» лежит в основе всякого познания вообще, то в нем не должно заключаться ничего специфического. Соловьев приравнивает его к вдохновению, объясняет аналогией с художественным творчеством. Всякое познание религиозно, а значит, нет особого религиозного познания. Мистика расширяется беспредельно и перестает быть мистикой. Автор берет логические понятия бытия и сущего и из них выводит метафизическое понятие абсолютного, которое в свою очередь раскрывается как принцип апофатического богословия («Ничто и все»). Из Абсолюта логически дедуцируется «положительное единство» как «единство себя и своего противоположного». Происходит превращение логики в онтологию, онтологии в теологию: сущее, сущность, бытие равняются Богу, идее и природе. Диалектика понятий оказывается «отвлеченным выражением морального факта любви».

Загадочно происхождение множественности из положительного ничто, появление воли, чувства и представления внутри Абсолюта, различение в нем трех субъектов. Сам разум с помощью своего диалектического метода *выводит* Троицу. Но если христианские догматы суть «необходимые истины разума», тогда уничтожается смысл мистического опыта.

Первая попытка синтеза религии, философии и науки, произведенная Соловьевым, заставила его столкнуться с громадными трудностями: пытаясь разрешить одну проблему, он вызвал к жизни ряд других проблем. Граница между трансцендентным и имманентным почти исчезала; понятие мистического опыта становилось всеобъемлющим и расплывчатым, логика, метафизика и теология смешивались, «положительное всеединство» оборачивалось пантеизмом, абстрактный Абсолют поглощал лич-

* Здесь ясно чувствуется влияние Гегеля.

ного Бога, и мистицизм неожиданно превращался в рационализм. И все же замысел Соловьева был необыкновенно оригинален и проблематика его гениальна. Он ставил вопросы и намечал пути к их разрешению, но ему не было суждено полностью осуществить план «целостного мирозерцания», и он завещал его своим преемникам. Вся русская философия пошла по указанной им дороге.

6

УЧЕНИЕ О БОГОЧЕЛОВЕЧЕСТВЕ И О СОФИИ (1878)

В начале 1878 года Соловьев задумал прочесть серию публичных лекций о религии. Для устройства их ему пришлось преодолеть большие препятствия; к счастью, они были «внезапно и неожиданно устранены не без вмешательства перста в лице одной высокой особы» (письмо к Д. Цертелеву).

«Всех лекций, — пишет он в том же письме, — будет двенадцать, разумеется, в пользу Красного Креста, но отчасти также в пользу реставрации Царьградской Софии».

Лекции начались 26 января в Соляном городке в Петербурге. Они были большим событием в жизни столицы. Посещали их видные бюрократы, дамы из аристократии, общественные деятели, писатели, студенческая молодежь. Софья Андреевна Толстая и Софья Петровна Хитрово были неизменными слушательницами Соловьева. Посещал его лекции и Достоевский; один раз был Лев Толстой.

Соловьев выступал как богослов и проповедник. О таких предметах и таким тоном еще никто до него не говорил в публичных собраниях. Он бросал вызов позитивистически настроенному обществу, и переполненная аудитория ему рукоплескала. После лекций он стал в Петербурге знаменитым человеком. «Одна особа, — пишет Соловьев О. А. Новиковой, — изрекла про меня: “Вот и этот нигилист”. А другая особа, встретив меня на Невском, торжественно мне доказывала перед изумленным Петроградом, что отрицать вечность геены огненной гораздо хуже, чем отрицать бытие Божие». В консервативных кругах Соловьев прослыл еретиком, и ему грозили репрессиями. Он пишет той же Новиковой: «Я виделся с Александром Алексеевичем (братом Новиковой — Киреевым) и из разговоров с ним заключил, что я не только не буду сожжен, но что и никакой другой менее радикальный способ уничтожения мне не угрожает».

«Чтения о Богочеловечестве» начинаются краткой характеристикой современного человечества. Умственный и нравственный распад, господствующий в наше время в обществе, объясняется тем, что религия потеряла свое всеобъемлющее и центральное значение. Религии как верховного начала нет совсем, а есть религиозность как личный вкус. Но в таком жалком положении человечество оставаться не может: оно пытается устроиться на земле без Бога (социализм и позитивизм). Французская революция, провозгласив права человека, осуществить их не смогла; вместо демократии она породила плутократию. Социализм прав в своем стремлении к равномерности материального благополучия; он является силой, которой, бесспорно, принадлежит на Западе ближайшее будущее. Но он не может притязать на нравственное значение, ибо справедливость, которую требует рабочий класс, тождественна с его выгодой.

«Социализм иногда изъявляет притязания осуществлять христианскую мораль. По этому поводу кто-то произнес известную остроту, что между христианством и социализмом в этом отношении только та маленькая разница, что христианство требует отдавать свое, а социализм требует брать чужое».

Осуществление правды, т. е. любви и самопожертвования, невозможно без признания безусловного нравственного закона. В царстве природы люди не равны друг другу, не свободны, взаимно чужды и враждебны; закон этого царства не любовь, а эгоизм. Правда осуществима только в царстве благодати.

Таким образом, социализм своим требованием общественной правды приводит к признанию религии. К тому же приводит и позитивизм: ведь отдельные явления представляют истину не в своей обособленности, а в согласии с реальностью всего, т. е. Того, Кто есть все, с реальностью Божией.

Путь к спасению лежит через самоотрицание. Но для самоотрицания необходимо предварительное самоутверждение. В этом великий смысл отрицательного западного развития. Оно представляет полное отпадение человеческих природных сил от божественного начала. Поворот к самоотрицанию в теории уже начался в западной пессимистической философии, но «положить начало самому этому религиозному будущему суждено другой исторической силе».

Соловьев впервые дает краткую оценку католичества: «Вследствие исторических условий католичество являлось всегда злейшим врагом нашего народа и нашей Церкви, но именно поэтому и следует быть к нему справедливым».

Он стоит на распутье; с одной стороны, он еще разделяет славнофильскую критику католической Церкви: католичество утвердило себя как мирскую внешнюю силу и поэтому перестало быть высшим началом; превратившись в насилие и угнетение человеческой личности, оно вызвало справедливую реакцию в протестантстве. С другой стороны, Соловьев признает уже *правду* католической идеи: Царство Божие, представляемое на земле Церковью, должно обладать царством мира сего и подчинять себе государство и общество.

Великий смысл исторического процесса, начавшегося с реформации, состоит в том, что он обособил личность, предоставив ей сознательно и свободно обратиться к Богу. Человеческая личность имеет безусловное божественное достоинство; западная цивилизация признала только отрицательную безусловность личности (ее свободу от всякого внутреннего ограничения), но не осуществила ее положительной безусловности, т. е. ее требования всецелой действительности, полноты содержания. В современном мире человек имеет божественные права, но не имеет божественных сил; он существо безусловное и в то же время факт среди множества других фактов. В самом центре человеческого сознания заключено трагическое противоречие. Если человек только преходящее явление, то жизнь его бессмысленна: пусть он ест, пьет, веселится, а если ему не весело, пусть кончает самоубийством.

Попутно касаясь материализма, Соловьев доказывает, что материализм прав в своих утверждениях и ложен в своих отрицаниях. Истина заключается в признании, что человеческая личность может достигнуть положительной безусловности, т. е. полноты бытия. Вера в человека есть вместе с тем и вера в Бога, ибо божество принадлежит и Богу, и человеку: Богу оно принадлежит в вечности, а человеку дано как возможность.

Человеческое «я» безусловно в возможности и ничтожно в действительности. В этом противоречии — источник зла и страданий.

«Старая традиционная форма религии исходит из веры в Бога, но не проводит этой веры до конца. Современная внерелигиозная цивилизация исходит из веры в человека, но и она не проводит своей веры до конца; последовательно же проведенные и до конца осуществленные обе эти веры — вера в Бога и вера в человека — сходятся в единой, полной и всецелой истине Богочеловечества».

В этой сжатой формуле — вершина всего богословского творчества Соловьева. Истина о Богочеловечестве, раскрывшаяся

отцам Вселенских Соборов и нашедшая выражение в Халкидонском догмате о двух природах в Христе, была вручена как великая святыня богословскому творчеству православного Востока; русская религиозная мысль сохранила это наследие и в лице Соловьева засвидетельствовала свою верность святоотеческому преданию. Соловьев заявил, что единственная цель философии — познание Бога и воссоединение с Ним человека. Он понял, что философия может быть только христианской и что вся христианская философия сводится к одному вопросу: «Как вы мыслите о Сыне Человеческом?» Новый апологет христианства поставил в центре своих трудов проблему христологическую. И после него она стала центральной для всего русского богословия. Соловьев первым восстал против христианского монофизитства, неразрывно связал теологию с антропологией и космологией. Его учение о двойственности природы человека, его божественности и тварности, легло в основу современной «науки о человеке».

* * *

В третьем «Чтении» излагается исторический процесс раскрытия божественной истины в человечестве. Существование Бога не может быть выведено из чистого разума — оно утверждается верою, как, впрочем, и существование внешнего мира. Что *есть* Бог — в это мы верим, а *что* такое Он есть — это мы испытываем и знаем. Но кроме веры и религиозного опыта нужна и философия религии. Религиозный опыт и религиозное мышление составляют содержание религиозного сознания. Со стороны объективной это содержание есть откровение божественного начала, поэтому религиозное развитие должно быть определено как реальное взаимодействие Бога и человека — *процесс богочеловеческий*. В нем высшие ступени не упраздняют низших; высшие формы обладают наибольшей общностью и вместе с тем величайшей полнотой и цельностью. Религия должна быть всеобщей и единою, т. е. заключать в себе не минимум (как, например, деизм), а максимум содержания: религиозная форма тем выше, чем она богаче, живее и конкретнее.

Первая ступень откровения — политеизм и все религии природы. Божественное начало скрыто за миром явлений, и человек поклоняется служебным существам, силам природы. Эту ступень можно назвать естественным откровением. На второй ступени божественное начало открывается в своем различии с природой, открывается как ее отрицание. Это — отрицательное откровение (буддизм). Природа сама по себе есть ряд безразличных процес-

сов, постоянное движение без цели, переход без конца, достижение, которым ничего не достигается. Если в ней полагается цель и содержание человеческой личности, то она становится злом, обманом и страданием. Буддист воспринимает природу как все, поэтому для него освобождение от природы превращается в самоуничтожение (Нирвана). Обоожествление природы неизбежно приводит к ее отрицанию, вот почему философский натурализм нашего времени заканчивается философским нигилизмом (Шопенгауэр, Гартман).

Излагая платоновскую теорию идей, Соловьев объясняет смысл «идеи» аналогией с «внутренним индивидуальным характером личности». Идеи соединяются в сложные организмы, восходя до самой общей и широкой идеи — безусловного блага, или безусловной любви. Любовь есть то идеальное все, которое составляет содержание божественного начала. Платонизм является дальнейшим после буддизма шагом в откровении Бога. Он возражает буддизму: да, мир явлений не есть истина, но это потому, что есть другая истина — мир идей.

В соловьевском понятии идеи соединяются учение Демокрита об атомах, Лейбница о монадах и Платона об идеях. *Идеи суть существа*. Необходимо признать множественность идей, ибо без нее невозможна действительность как система действий и реальность как результат ее. Множество идей составляют одну органическую систему, обусловленную единством общего начала. Связь между идеями не механическая, а внутренняя, идеальная. Нельзя смешивать идеи с рассудочными понятиями. Формальная логика нас учит, что объем понятия находится в обратном отношении к его содержанию: чем шире понятие, тем оно беднее содержанием. Напротив, между идеями отношение объема к содержанию — прямое: общая идея есть самостоятельное существо, и чем больше идей входит в ее объем, тем многообразнее и определеннее она себя осуществляет. Так и человеческая личность, вступая во взаимодействие с другими, определяя их и определяясь ими, в полноте реализует собственную идею.

Мы познаем идеи с помощью интуиции (*intellektuelle Anschauung*). Действительность их доказывается фактом художественного творчества: от Платона греки узнали только философскую формулу того идеального космоса, который уже был им известен как живая действительность в Олимпе Гомера и Фидия.

Греческий идеализм есть первый *положительный* фазис религиозного откровения. Все идеи соединяются во всеобъемлющей идее Любви, но эта высшая идея должна сама обладать действительностью, — иными словами, всеединая идея «должна быть

собственным определением единичного центрального существа». Это существо есть живая *личность* — Бог. В иудейском монотеизме божественное начало раскрывается как *чистое «я»*, или безусловная личность. Это — первое личное откровение Бога. Но Бог не есть только личность. Он более чем личность: Он не только единое, но и все, не только сущий, но и сущность. В историческом развитии религиозного сознания эллинизм утвердил божество преимущественно как *все* (идеальный космос); иудейство, напротив, познало божество как чистое «я», помимо всякого содержания. Однако чистое я есть нечто совершенно непроницаемое. «Я огонь поедающий»⁵⁸, — говорит про себя ветхозаветный Бог: такое безусловное существо исключает всякую другую самостоятельность и требует слепого подчинения. Воля безусловного «я», свободного от всякой идеи и всякой природы, есть чистый произвол, а для подчиняющейся человеческой личности — закон. Но уже в Библии мы находим указание на то, что религия закона временна и что Ветхий Завет есть только переход к Новому Завету. В пророческом сознании впервые соединился чисто личный элемент ветхозаветного Ягвэ с объективной идеей универсальной божественной сущности.

Выполнение этого великого синтеза было делом александрийцев. Филон развил свое замечательное учение о Логосе, Плотин и неоплатоники — о трех божественных ипостасях. Александрийские мыслители определили сущность божества путем чисто умозрительным; та же всеединая божественная жизнь в христианстве явилась, как историческая действительность, в живой индивидуальности исторического лица. Чтобы познать открывшуюся им истину, христиане обратились к греческим и к греко-иудейским мудрецам, которых св. Иустин⁵⁹ называл христианами до Христа.

Переходя к изложению учения о Троичности, Соловьев перерабатывает метафизические положения «Философских начал цельного знания». Он исходит теперь не из логического понятия бытия, а из конкретной идеи божественной личности, и пытается освободиться от абстракций немецкого идеализма. В его размышлениях о Троичности отвлеченная философия упорно борется с богословием.

Бог есть Сущий, т. е. Ему принадлежит бытие. Но нельзя быть просто, только быть. Бытие может быть мыслимо лишь как отношение сущего к его объективной сущности, или содержанию. Бог не может быть чем-нибудь, ибо Он — Абсолют, следовательно, Он должен быть *всем*. Утверждение всеединства Божия

устраняет натуралистический пантеизм и дуализм, ведущий к атеизму.

В первом положении все содержится в Боге, погружено в Нем, как в своем источнике, существует только в возможности.

Во втором положении содержание выступает актуально, как некоторая идеальная действительность, для этого необходим акт самоограничения сущего.

В третьем положении единство дано проявленным, законченным и совершенным. На первый взгляд может показаться, что Соловьев и здесь, как в «Философских началах», исходит из логического понятия бытия; а между тем в «Чтениях» под старой терминологией скрывается новое содержание. Автор размышляет не над абстрактным термином «бытия», а над конкретной природой духа. Бог имеет сущность не потому, что Он есть, а потому что Он есть «я». Природа свойственна не бытию вообще, а живому духу. И Соловьев поясняет сущность Бога на примере троиственности *человеческого духа*. Человеческий дух тоже обладает первоначальным субстанциальным бытием, множественностью актуального сознания и рефлексией над сознанием, т. е. самосознанием.

Между нашим духом и Сущим различие в том, что наш дух имеет эти «три положения» во времени; для Сущего такое чередование невозможно: Он обладает ими разом, в одном вечном акте. Но три исключаящие друг друга положения в одном и том же акте одного и того же субъекта решительно немыслимы, поэтому мы должны предположить три вечные *ипостаси*, из которых вторая, непосредственно рождаясь из первой, служит ей вечным выражением, или Словом, а третья, исходя из первой, утверждает ее как уже выраженную.

Дедукция ипостасей — слабое место в построении Соловьева. Действительно, исследуя природу человеческого духа, мы можем различить в нем три положения («я», сознание и самосознание), но эти положения вовсе не даны нам как чередование: они не сменяют друг друга во времени, а взаимопроникают друг в друга, даны в едином акте. И как для человеческого духа нет необходимости предполагать трех субъектов, так и для божественного духа троиственность *логически* не может быть обоснована. Троичность совсем не есть «величайшее торжество умозрительной мысли», это — истина откровения, и раскрывается она не в умозрительной философии, а в религиозном опыте: духовному зрению Бог являет себя как любовь, как мистическая Троица Любящего, Любимого и Любви, как тройное самоотречение, или кенозис⁶⁰.

Соловьев утверждает, что «истина триединства навязывается разуму, что она не только понятна с логической стороны, но и основана на общей логической форме». В этом смешении законов мышления с законами бытия сказывается влияние панлогизма Гегеля: Соловьев постулирует троичность, потому что «три исключают друг друга положения одного и того же субъекта *решительно немыслимы*». Немыслимость — смертный приговор действительности, ибо, по Гегелю, «все действительное разумно», т. е. мыслимо. В процессе развития религиозного сознания до христианства Соловьев указал четыре главных фазиса: аскетизм буддизма, идеализм Платона, монотеизм иудейства и александрийское учение о триединстве. Христианство включает в себя все эти моменты: начало аскетическое выражено апостолом Иоанном в словах «весь мир во зле лежит»; идеализм заключен в признании царства небесного за пределами мира земного; христианство монотеистично; учение о триедином Боге становится в нем открытым религиозным догматом. И все же христианство не есть эклектическая система, оно имеет свое собственное содержание, и это содержание есть *единственно и исключительно Христос*.

«В христианстве как таковом мы находим Христа, и только Христа, — вот истина, много раз высказанная, но очень мало усвоенная. Если мы рассмотрим все теоретическое и все нравственное содержание учения Христа, которое мы находим в Евангелии, то единственно новым будет здесь учение Христа о Себе самом, указание на Себя самого как на живую воплощенную истину: «Я есмь путь, истина и жизнь: верующий в Меня имеет жизнь вечную»⁶¹.

Все богословие Соловьева основано на этом прозрении. Христианство христоцентрично. Оно есть не теория, не моральная система, а откровение живой Личности, Слова, ставшего плотью. Лишь при таком понимании возможна христианская космология и история. Христос стоит в центре мирового процесса и исторического развития. Он — смысл мира и истории. Божественный Логос воплощается, нисходит в поток времени, становится историческим лицом. Только воплощение оправдывает мировую историю во всех ее запутанных и трагических путях; смена столетий и поколений раскрывается тогда как единый богочеловеческий процесс, как история воссоединения Бога с человеком.

Соловьев обращается к христологической проблеме. Вечный Бог осуществляет свою множественность, свое «все». Множественность, сведенная к единству, есть целое, т. е. живой организм. Элементы его исчерпывают собой полноту бытия, это есть организм универсальный. Но чем универсальнее организм, тем

он индивидуальнее. Христос есть «осуществленное выражение безусловно сущего Бога».

Во всяком организме мы находим два единства: единство производящее и единство произведенное. Во Христе — действующее, единящее начало есть Слово, или Логос; единство произведенное — София. Таким образом, София есть выраженная идея. *Тело Божие, материя Божества*. Осуществляющий это единство Христос есть и Логос и София.

Мысль о Софии всегда была в христианстве; в книге Притчей Соломона мы читаем: «София существовала прежде создания мира; Бог имел ее в начале путей своих». В Новом Завете ап. Павел применяет это понятие непосредственно ко Христу⁶².

Между миром божественным и природным нет непроходимой пропасти. Лучи и отблески божества проникают в нашу действительность и составляют все ее идеальное содержание, всю ее красоту и истину. И человек, принадлежащий к обоим мирам, в умственном созерцании вступает в общение с образами царства вечной славы.

Соловьев гениально почувствовал неразрывную связь теологии с антропологией. Познание Бога неотделимо от познания человека, христологическая проблема есть одновременно и проблема антропологическая. Связь между миром божественным и миром природным была бы неразрешимой загадкой, если бы между этими мирами не существовало связующего звена — человека. Человек вмещает в себя все противоположности: он и божество и ничтожество. Произведенное единство в Христе — София есть начало человечества, идеальный или нормальный человек. Христос, причастный в этом единстве человеческому началу, есть человек, или, по выражению Священного Писания, второй Адам.

София есть идеальное, совершенное человечество во Христе, а так как в Боге нет времени, то существование в нем человечества должно быть признано вечным. Это относится, конечно, не к природному человечеству, а к идеальному и умопостигаемому. Оно не есть ни родовое понятие «человек», ни человечество как имя собирательное. Человечество в Боге универсально и вместе с тем индивидуально; это — вечное тело Божие и вечная душа мира. Только при признании, что каждый человек своею глубочайшею сущностью коренится в вечном божественном мире, можно допустить две великие истины: человеческую свободу и человеческое бессмертие.

От антропологии Соловьев переходит к космологии. Как, исходя из интуиции божественного, совершенного мира, можно объяснить возникновение нашего несовершенного, природного

мира? Не идеальный космос, а именно наш мир, лежащий во зле, представляется загадочным и непонятным. Мучительный сон отдельного эгоистического существования, самоутверждение каждого против всех — вот коренное зло нашей природы. А так как ни одно существо, оставаясь в своей исключительности, не может быть действительно всем, то эгоизм оказывается не только злом, но и страданием. Итак, зло и страдание суть *состояния* индивидуального существа. Мир, лежащий во зле, есть тот же божественный мир, но с другим взаимоотношением элементов. Зло не может иметь особого источника бытия, ибо все бытие в Боге. Следовательно, природа есть только другое положение или перестановка элементов, субстанциально данных в мире божественном.

В Боге пребывают идеальные сущности; но Бог не может удовлетвориться созерцанием Своих идей. Он хочет их собственной реальной жизни, чтобы любовь Его могла проявиться во всей полноте. Бог сопрягается актом Своей воли с каждой идеальной сущностью и этим утверждает ее самостоятельное бытие. В этом состоит акт божественного творчества. Живые существа, имеющие собственную действительность и от себя воздействующие на божественное начало, мы называем душами. Их всеединый организм есть душа мира, или идеальное человечество — София. Причастная единству Божию и вместе с тем обнимающая всю множественность живых душ, душа мира — существо двойственное. Определяясь божественным Логосом, она дает возможность Духу Святому осуществляться во всем. Но мировая душа имеет свою собственную волю, и в этом заключена возможность ее падения; она обладает всем, но беспредельная потенция бытия в ней удовлетворена не безусловно. «Все» как содержание своего бытия она получает от Бога, а не имеет от себя. Поэтому мировая душа может захотеть обладать им иначе, т. е. от себя, отделить и утвердить себя вне Бога. И тогда она лишается своего центрального положения, теряет свободу и власть над творением; единство мироздания распадается на механические атомы. Вся тварь подвергается суе и рабству тления не добровольно, а по воле подвергнувшего ее, т. е. мировой души как единого свободного начала в природной жизни. Результатом распада является наш вещественный мир в пространстве и времени.

Космология Соловьева только намечена. Он верно почувствовал, что творение мира есть свободный акт Божьей любви, что Бог полагает его вне Себя как самостоятельное существо, способное отвечать любовью на любовь. Но самая сущность тварности оставалась ему непонятной; он склонен был объяснять простран-

ственность и временность — эти главные признаки всего тварного бытия — как результат падения мировой души. Получалось, что сама вещественность мира есть следствие греха, что видимый мир есть только Майя, греховное и недолжное состояние космоса. Это метафизическое построение, внушенное Соловьеву Шеллингом и Шопенгауэром, резко противоречит его собственной мистической интуиции. Ему было свойственно чувство «плоти мира», он проповедовал «христианский материализм», он ставил в центр мирового процесса Боговоплощение и между тем, подобно неоплатоникам, видел в материи результат греха. Поэтому и космогония Соловьева приобретала двойственный характер: искупление твари и победа над грехом — процесс сотериологический — смешивался с преодолением самой тварности, процессом обожения.

Реализация всеединства есть смысл и цель мирового процесса; мировая душа должна воссоединиться с Логосом. Но почему это воссоединение не происходит разом, в едином акте божественного творчества? На этот вопрос можно ответить одним словом: свобода. Соединение должно быть действием обоюдным; мировая душа только постепенно, рядом последовательных восхождений, воссоединяется с божественным началом. Стремление к всеединству первоначально действует в природе как слепая сила (закон тяготения, химическое сродство тел), затем как принцип организации (растительные и животные организмы); наконец космогонический процесс завершается созданием совершенного организма — человека. Соловьев различает три ступени мирового процесса: эпоху астральную (сила тяготения образует великие космические тела), эпоху солярную (развитие более сложных сил — теплоты, света, магнетизма, электричества) и эпоху теллурическую (органическая жизнь). С появлением человека процесс развития идеи всеединства вступает в новую форму — сознания и свободной деятельности.

В человеке мировая душа впервые внутренне соединяется с божественным Логосом в сознании как в чистой форме всеединства. В своем сознании человек имеет *образ Божий*, а его свобода от идеи, так же как от факта, эта формальная беспредельность человеческого «я», представляется в нем *подобием Божиим*.

Соответственно эпохам космогонического процесса идут эпохи процесса теогонического: 1) Бог астральный, огненный владыка, Кронос или Молох, 2) Бог солнечный — побеждающий, умирающий и воскресающий (Озирис, Аттис, Адонис) и 3) Бог органической, родовой жизни (фаллические культы).

Постепенное одухотворение человека через внутреннее усвоение божественного начала образует *исторический процесс человечества*.

Далее автор повторяет уже знакомую нам схему исторического процесса: божественное начало открылось индийскому духу как Нирвана, эллинам — как идеальный космос, иудеям — как живая личность. Чтобы одолеть злую волю человека, божественный Логос должен был родиться в самой душе, *перерождая ее*.

«Во иудеях» Логос рождается как действительный индивидуальный человек. Ветхий Завет представляет историю личных отношений Бога с людьми. Израиль, «народ жестоковыйный с каменным сердцем»⁶³, был народом, родившим Бога.

Самые глубокие и вдохновенные прозрения Соловьева относятся к учению о Боговоплощении. Иисус Христос есть второй Адам, индивидуальное и вместе с тем универсальное существо, обнимающее собою все духовное человечество. В сфере божественного бытия Христос есть вечный центр вселенского организма. Но так как этот организм ниспал в поток явлений, то и Христос должен снизойти в него и из центра вечности сделаться центром истории. Злой дух разлада побежден Сыном Божиим и Сыном Человеческим — в этом смысл воплощения. Но как возможно воплощение, т. е. *реальное* соединение Бога с человеком? Если видеть в Боге абсолютно трансцендентное существо (деизм) или вполне имманентное (пантеизм), то воплощение представляется невозможным. Но Бог, будучи сам по себе трансцендентным, вместе с тем по отношению к миру является как действующая сила. Воплощение связано со всей историей мира и человечества. Воплощается не трансцендентный Бог, а Бог-Слово. Это лишь более полная теофания в ряду других подготовительных теофаний: к Богочеловеку стремится и направляется вся история человечества. Согласно догматическим определениям Вселенских Соборов, Христос есть единая богочеловеческая личность, совмещающая в себе два естества и обладающая двумя волями. Единство двух начал есть результат двойного самоотвержения: божественное начало нисходит, уничижает себя, принимает на себя зрак раба. Самоограничение Божества во Христе освобождает его человечество, позволяя Его природной воле свободно отречься от себя во имя божественного начала. Христос, как Бог, свободно совлекается славы Божией и тем самым, как человек, получает возможность *достигнуть* этой славы. Богочеловек подвергается искушению сделать свою божественную силу средством для целей, вытекающих из ограниченности воспринятого им природного бытия. Первое искушение — сделать материальное благо

целью, а божественную силу — орудием для его достижения: «Рцы да каменение сие хлебы будут»⁶⁴ — грех плоти. Второе — воспользоваться своей божественной силой для самоутверждения своей человеческой личности: «Аще Сын еси Божий, верзися низу»⁶⁵ — грех ума — гордость. Третье — употребить свою божественную силу как насилие для подчинения мира. Это было бы поклонением тому началу зла, которое владеет миром: «Сия вся тебе дам, аще пад поклонишиися»⁶⁶ — грех духа.

Но Христос не только вочеловечился, но и воплотился: духовный подвиг должен быть довершен подвигом плоти, претерпением страданий и смерти. Природа, очищенная крестной смертью, становится орудием божественного духа, истинным духовным телом. В таком теле воскресает Христос.

Должное отношение между божеством и природой в человечестве, достигнутое Иисусом Христом как главой человечества, усваивается человечеством как телом Его. Человечество, воссоединенное с Богом через Христа, есть *Церковь*: она должна в конце времен обнять собою всю природу. Тело это растет и развивается. Победы над искушением злого начала совершаются в Церкви как процесс исторический. Искушению духа (властолюбию) подпала католическая Церковь в средние века; она пыталась насильно покорить Христу лежащий во зле мир. Искушению ума (гордости) подпало протестантство; в своем поклонении личному разуму оно породило рационализм, нашедший свое завершение в философии Гегеля. Искушению плоти подпала современная западная цивилизация со своим экономическим социализмом и позитивизмом.

Восток не подвергся этим трем искушениям и сохранил истину Христову, но он не осуществил ее во внешней действительности, не создал *христианской культуры*. Для того чтобы человечество преобразилось в богочеловеческое общество, нужно, чтобы оно сохранило во всей чистоте божественное начало и со всей полнотой развило начало человеческой самостоятельности.

Восток исполнил первое. Запад — второе.

«В истории христианства представительницею неподвижной божественной основы в человечестве является Церковь Восточная, представителем человеческого начала — мир Западный. И после того как человеческое начало вполне обособилось и познало затем свою немощь в этом обособлении, оно может вступить в свободное сочетание с божественной основой христианства, сохраняемую в Восточной Церкви, и вследствие этого свободного сочетания породить духовное человечество».

* * *

Учение об искуплении крайне характерно для оптимистического мировоззрения Соловьева семидесятых—восемидесятых годов. У него не было острого чувства греха и трагического ощущения мирового зла. Хотя он и приводит слова апостола о том, что весь мир лежит во зле, но зло это кажется ему только субъективным состоянием сознания, недолжным направлением воли. Стоит только изменить это направление, выпрямить кривую воли, и зло исчезнет. Поэтому и искупление для него совершенно заслоняется Боговоплощением, является как бы его придатком. Он почти забывает о первосвященническом служении Христа. Единый безгрешный, взявший на себя грехи мира, Агнец, закланный до создания мира, не стоит в центре его религиозного опыта. Искупление для Соловьева сводится к победе над тремя искушениями, т. е. над самоутверждением человеческой природы. Гефсиманское борение и Голгофа, реальное принятие и изживание Искупителем грехов всего мира, смерть и победа над смертью — Воскресение, почти им не упоминается. И только в девяностых годах, после тяжелого душевного кризиса, Соловьев освобождается от своей оптимистической теософии и приходит к трагическому ощущению мировой истории; тогда эволюционизм его сменяется апокалиптикой.

В описании богочеловеческого процесса нетрудно заметить славянофильские влияния. Три искушения, которым подпадает Запад и от которых остается свободным Восток: самоутверждение человеческого начала как смысл западного религиозного развития и чистота христианской истины, соблюденная православием; грех католичества — насилие над личностью, ведущее к неверию и порождающее из своих же недр протестантство; культ личного разума, провозглашенный протестантством и переходящий в рационализм, — все это круг идей Хомякова. Но Соловьев пользуется ими свободно как материалом для своего собственного построения. Он не считает западное развитие заблуждением и ясно видит грехи Востока. Славянофилы утверждали, что все будущее принадлежит православию и что восточная культура сменит западную; Соловьев, напротив, заявляет, что и у Запада и у Востока есть своя правда и что только в оторванности друг от друга эти правды становятся неправдами. Божественное начало, сохраненное на Востоке, должно соединиться с человеческим, развитым на Западе.



В книге «Россия и Вселенская Церковь» Соловьев возвращается к своему учению о Софии, внося в него значительные изменения. В «Чтениях о Богочеловечестве» София определяется как идеальное человечество, или *душа мира*, в «России и Вселенской Церкви» этого отождествления нет. Душа мира не есть София, а только носительница, среда и субстрат ее реализации: она — антитип Божественной Премудрости, первая из тварей, *materia prima*. София есть ангел-хранитель мира, покрывающий своими крыльями всю тварь, борющаяся с адским началом за обладание мировой душою. Взгляд Соловьева на грехопадение мировой души тоже существенно изменяется: в «Чтениях» грехопадение понимается как отпадение мировой души и самоутверждение ее вне Бога; это акт мятежной свободы мировой души. В «России и Вселенской Церкви» Бог сам попускает отпадение, *сам хочет хаоса*. «Возможность хаотического существования, — пишет здесь Соловьев, — от века содержащаяся в Боге, вечно подавляется Его могуществом, осуждается Его истиной, уничтожается Его благостью. Но Бог любит хаос и в его небытии, и *Он хочет, чтобы сей последний существовал*, ибо Он сумеет вернуть его к единству. Поэтому Бог дает свободу хаосу. Он удерживает противодействие ему своего всемогущества в первом акте божественного бытия, в стихии Отца, и тем выводит мир из его небытия». Соловьев столкнулся с основной проблемой софиологии: как из Единого произошло множественное? Как рядом с Богом, который есть «Все во всем», возник вне его лежащий мир? Первый ответ мы находим в «Чтениях»: мир произошел в результате грехопадения мировой души. Но тогда возникали новые вопросы: если мировая душа есть Божественная София, как возможно ее грехопадение? И мыслимо ли приравнивать ко греху творение мира, о котором Творец его сказал: «Добро зело»? В «России и Вселенской Церкви» дается другой ответ: хаос потенциально существует в Боге, Бог хочет, чтобы хаос получил реальное бытие. Это решение явно было подсказано Соловьеву Шеллингом, учившим о темной бездне (*Ungrund*) в самом Боге и утверждавшим, что отпадение твари от Бога и возникновение зла есть для Бога *внутренняя необходимость*. Второй ответ был столь же неудовлетворителен, как и первый: он вносил разлад в саму божественную жизнь, противоречил идее «всеединства» и делал Бога ответственным за зло.

Соловьев так и не разрешил этой антиномии. Она осталась для него пределом, дальше которого мысль его не могла пойти.

В «России и Вселенской Церкви» автор связывает свое учение о Софии с древней верой русского народа. Народ прозревал мистическую связь Софии с Богородицей и Иисусом Христом, но не отождествлял ее с Ними... «Она была для народа, — пишет Соловьев, — небесною сущностью, скрытою под видимостью низшего мира, лучезарным духом возрожденного человечества, ангелом-хранителем земли, грядущим и окончательным явлением Божества. Под именем Святой Софии русский народ любил социальное воплощение Божества в Церкви вселенской. Это — *русская, истинно национальная и безусловно вселенская идея*... Дело в том, чтобы дать ясную форму живой мысли, которая зародилась в древней Руси, и которую новая Россия должна поведать миру».

В 1898 г., по случаю столетней годовщины рождения Огюста Конта, Соловьев прочел в Философском обществе при Петербургском университете доклад на тему «Идея человечества у Августа Конта». В нем он в третий и последний раз возвращался к своему учению о Софии и пытался доказать, что идея Конта о человечестве («*Le grand Être*») совпадает с понятием Софии. О. Конт считает человечество живым положительным единством, действительным существом. «*Le grand Être*» есть предмет веры, но веры, связанной со всем научным знанием (*la foi positive*). Это реальное существо. Лицо-идея и есть вечная женственность. Та же истина открылась религиозному вдохновению русского народа еще в XI веке. Соловьев описывает образ Софии в Новгородском соборе. Женская фигура в царском облачении сидит на престоле; справа Богородица, слева св. Иоанн Креститель; в глубине поднимается Христос с воздетыми руками, а над ним виден небесный мир в лице нескольких ангелов, окружающих Слово Божие, представленное под видом Евангелия. Этот образ не заимствован из Греции, он выражает чисто русское мистическое мирозерцание.

«Это великое, царственное и женственное существо, — пишет Соловьев, — которое, не будучи ни Богом, ни Вечным Сыном Божиим, ни ангелом, ни святым человеком, принимает почитание и от завершителя Ветхого Завета, и от родоначальницы Нового, — кто же оно, как не само истинное, чистое и полное человечество, высшая и всеобъемлющая форма и живая душа природы и вселенной, вечно соединенная и во временном процессе соединяющаяся с Божеством и соединяющая с Ним все, что есть». И автор заключает: *София есть Богородица, или Богочеловечество*.

Так на протяжении всей жизни вынашивал он в сердце величайшую свою интуицию, многократно возвращался к ней, подходил с разных сторон, менял выражения, колебался, боролся с

трудностями, сталкивался с антиномиями, искал наиболее точной и исчерпывающей формулировки. И только за два года до смерти ему удалось показать, что глубочайшая истина христианства о Богочеловечестве, провозглашенная, но не раскрытая на Халкидонском соборе, тесно связана с учением о Софии. Соловьев пророчески предчувствовал, что только на софиологической основе возможно мистическое и богословское раскрытие этой истины. Дальнейшее развитие русской религиозной и догматической мысли оправдало его предвидение (труды о. Бухарева, о. Павла Флоренского и, особенно, о. Сергия Булгакова).

Учение о Софии, так же как и учение о Богочеловечестве, — мистическая основа восточного православия. Соловьев усердно изучал в Лондоне литературу о Софии, читал Пордэджа, Гихтеля, Якова Бёме, Сведенборга, Сен-Мартэна, Каббалу. Но при ближайшем знакомстве с этими авторами внешние аналогии оказались обманчивыми. В Каббале Шехина⁶⁷ воплощается в жене, освящает брак и деторождение; эта мистика рождения и рода чужда христианской идее Богочеловечества; у Як. Бёме — родоначальника всей западноевропейской софиологии — София не «Вечная Женственность», а «Вечная Девственность», «Дева Премудрости Божией». После грехопадения Адама она улетает на небо, и на земле появляется женщина Ева. У Гихтеля, Пордэджа, Сведенборга, Сен-Мартэна размышления о Софии еще больше отдаляются от православного учения. В мировой поэзии первым заговорил о вечной женственности Данте; за ним Петрарка, Новалис, Шелли, Гете; в России — Пушкин («Бедный рыцарь»), Лермонтов, Блок, В. Иванов. Но в поэзии скоро произошло распадение первоначальной интуиции. У католических поэтов культ вечной женственности слился с почитанием Мадонны⁶⁸, у других — утратил свой мистический характер и превратился в эстетическую эротику (безличное «das Ewigweibliche»⁶⁹ у Гете, земная возлюбленная у Новалиса и Шелли). Все эти внешние соответствия только подчеркивают внутреннюю несравнимость образа «Премудрости Божией» в восточном православии и его теософических и поэтических отражений на Западе.

Несмотря на все западные влияния, учение Соловьева о Софии в основе своей самостоятельно: оно выросло органически из личного мистического опыта. Его метафизические теории и богословские построения следует рассматривать как попытки осознать и выразить «предустановленную в его душе идею». Философское выражение это часто бывало неясно и противоречиво. Но, несмотря на все трудности и испытания, Соловьев до конца жизни не отрекся от раскрывшейся перед ним истины.

7

«КРИТИКА ОТВЛЕЧЕННЫХ НАЧАЛ»
(1877—1880)

Два года, отделяющие «Чтения о Богочеловечестве» от выхода в свет «Критики отвлеченных начал», Соловьев прожил в Петербурге, усиленно работая над своей докторской диссертацией, отдельные главы которой печатались в «Русском вестнике» начиная с 1877 г. Он бывал изредка в Москве у родителей и подолгу гостил в Красном Роге и Пустыньке у гр. С. А. Толстой. Летом 1878 г. ездил с Достоевским в Оптину Пустынь, и там Достоевский рассказывал ему о плане своего нового романа, центральной идеей которого должна была быть «Церковь как положительный общественный идеал». Конец семидесятых годов — время наибольшей духовной близости между Соловьевым и Достоевским.

К этому периоду относится первое стихотворение, посвященное С. П. Хитрову. Французский критик Вогюе, гостивший вместе с Соловьевым летом 1878 г. в Красном Роге, называл Софью Петровну «Eve touranienne». Соловьев обращается к ней со стихами:

Газели пустынь ты стройнее и краше,
И речи твои бесконечно-бездонны —
Туранская Эва, степная Мадонна,
Ты будь у Аллаха заступницей нашей.

Соловьев назвал однажды свое отношение к С. П. Хитрову «иконопочитанием». В этом стихотворении — начало многолетнего суеверного поклонения «степной Мадонне».

Тем же летом в Пустыньке была написана «Белая Лилия, или Сон в ночь на Покрова», мистерия-шутка в 3 действиях. Эта буффонада в духе Кузьмы Пруткова более пугает, чем смешит; в нелепом фарсе о четырех разочарованных любовниках, отправляющихся на поиски белой лилии, Соловьев вышучивает самого себя. Он глумится над самой заветной своей святыней — любовью к Подруге Вечной — и пародирует свою мистическую молитву к Софии:

Аз-буки-ведь, — Аз-буки-ведь.
Здесь смысл возвышенный и тайный,
Его откроет лишь медведь,
Владея силой чрезвычайной.
Но *вечно-женский* элемент
Тут не останется без роли:

Когда лазоревый пигмент
Избавит душу от мозоли,
Лилеи белой благодать
Везде прольет свою тинктуру,
И род людской, забыв страдать,
Обнимет разом всю натуру.

С каким-то кощунственным злорадством издевается Соловьев над теософическими увлечениями своей юности и вставляет в текст шутовской пьесы самые мистические свои стихотворения: «Белую лилию с розою», «Мы сошлись с тобой не даром», «Зачем тебе огонь и ласки». Смехом он заклинает «злую жизнь», просит свою «бедную музу»:

И злую жизнь насмешкою не злою
Хотя на миг угомони.

Он учил когда-то, что человек есть существо смеющееся, что на бессмыслицу призрачного мира он отвечает иронией. В минуты малодушия и тоски, когда поэта обступают темные силы, он отражает их насмешкою:

Таков закон: все лучшее в тумане,
А близкое иль больно, иль смешно.

В следующем 1879 году отец Соловьева опасно заболевает. Философ пишет Д. Н. Цертелеву: «Очень печальное время переживаю я, дорогой друг Дмитрий. Отец мой, по-видимому, уже больше не поправится... В настоящее время во мне совмещаются самые противоположные настроения, и я представляю собой живой пример единства противоречий».

Сергей Михайлович умер 4 октября 1879 г. Сестра Соловьева М. С. Безобразова^{*70} вспоминает, что «брат почти всю ночь читал над покойным и за одну ночь изменился».

Защита Соловьевым докторской диссертации состоялась в Петербургском университете 6 апреля 1880 года. Возражения оппонентов были довольно беспомощны, и диспутант с большим блеском их отпарировал. Главный оппонент, проф. Владиславлев, заявил, что он не спорит против основных тезисов диссертации, так как он сам «немножко» мистик. Проф. богословия Рождественский упрекнул Соловьева в зависимости от Шлейермахера и Шеллинга и заподозрил его в пантеизме. Тот возразил, что его взгляды сродны только «положительной философии» Шеллинга, свободной от пантеизма. Возражения профессоров

* Безобразова М. С. Воспоминания о брате Владимире Соловьеве // Минувшие годы. 1908. Май—июнь.

Бауера, Ведрова⁷¹, Бутлерова касались частных. Диспут закончился иронической репликой Соловьева: кандидат математического факультета Вульфсон упрекнул докторанта в том, что, признавая любовь основанием нормального общества, он не упомянул, что это основание указано Огюстом Контом. На это докторант заметил, что значительно раньше Конта начало любви было провозглашено Иисусом Христом.

* * *

По первоначальному плану Соловьева система его должна была обнимать три области философии — этику, гносеологию и эстетику. «Критика отвлеченных начал» касается только первых двух. Над «Эстетикой» он много работал, но закончить ее ему не удалось.

Гносеологическая часть «Критики» в основе своей является переработкой мыслей, уже изложенных в предыдущих сочинениях; таким образом, главное содержание диссертации сводится к построению этической системы.

В предисловии автор определяет свое понимание «отвлеченных начал»: «Это суть частные идеи (особые стороны и элементы всеединой идеи), которые, будучи отвлекаемы от целого и утверждаемы в своей исключительности, теряют свой истинный характер и повергают мир человеческий в то состояние умственного разлада, в котором он доселе находится».

Принцип критики Соловьева — *идея положительного всеединства* в жизни, знании и творчестве. Он пытается показать относительную истину всех начал и вскрыть ложь, происходящую от их обособленности. Критика его имеет значение положительное: анализируя элементы всеединого, она приближает нас к самой идее всеединства.

Всеединство, еще не осуществленное в действительности, определяется по необходимости косвенным, отрицательным путем. Как верховный принцип, оно должно управлять нравственной деятельностью, теоретическим познанием и художественным творчеством человека, — отсюда разделение на этику, гносеологию и эстетику. «Великий синтез», о котором мечтает Соловьев, должен преобразить жизнь, реформировать общество, возродить человечество; поэтому в его системе этика занимает первое место. Этот синтез не есть чья-нибудь субъективная потребность: сама жизнь требует его. Отвлеченные начала, развившиеся на Западе, несут в себе свой суд и осуждение: отвлеченный клерикализм уничтожен последовательным развитием в папстве; от-

влеченная философия осуждена гегельянством; отвлеченная наука подорвана позитивизмом. Автору кажется, что он только выражает в общих формулах вывод, к которому приводит реальный исторический процесс, и этот вывод есть — положительное всеединство.

Поразительна последовательность духовного развития Соловьева, однотемность его философии. Всеединство как сущность мира и как цель мирового процесса раскрылась ему в мистическом видении детских лет. И этой идее, имевшей для него всю живую конкретность личного переживания, он посвятил свою жизнь.

Предисловие заканчивается вдохновенным обращением к Софии: «Велика истина и превозмогает! *Всеединая премудрость божественная* может сказать всем ложным началам, которые суть все ее порождения, но в раздоре стали врагами ее, — она может сказать им с уверенностью: “Идите прямо путями вашими, доколе не увидите пропасть перед собою; тогда отречетесь от раздора своего и все вернетесь, обогащенные опытом и сознанием в общее вам отечество, где для каждого из вас есть престол и венец, и места довольно для всех, ибо в доме Отца Моего обителей много”»⁷².

Философские построения Соловьева — не рациональные схемы, а *символические обличия* единого мистического опыта. Душа мира — София — выпала из лона Отчего, и единство ее распалось на множественность, но элементы ее воссоединятся и она вернется к Отцу. Это двойное движение может быть выражено в различных символах: и в виде абстрактной трехчленной схемы Гегеля, и в форме евангельской притчи о блудном сыне.

Философия Соловьева есть вариация на тему о возвращении блудного сына.

В нравственной жизни необходимо одно верховное начало, в котором могли бы соединиться все доселе существовавшие условные и ограниченные критерии. Последние можно разделить на эмпирические, или материальные, и на рациональные, или формальные. Автор показывает их недостаточность. Эмпирические начала нравственности — гедонизм, эвдемонизм, утилитаризм — признают целью практической деятельности наслаждение, счастье или пользу; все эти понятия субъективны и слишком общи: блаженство есть цель всякой деятельности, и нравственной и безнравственной; эгоизм — столь же реальное свойство человеческой природы, как и альтруизм, а интуитивную, или инстинктивную, мораль следует оставить *ad usum bestiarum*⁷³. Итак, эмпирически нравственность обосновать нельзя.

Переходя к рациональному началу, Соловьев разбирает учение Канта и расширяет смысл его категорического императива: по Канту, только разумные существа могут быть предметом нашей нравственной деятельности, по Соловьеву, все существа. В учении о свободе воли он усваивает кантовское различие эмпирического и умопостигаемого характера, но толкует его пошопенгауэровски; свобода умопостигаемого характера относительна; в ноуменальном мире воля человека подчинена закону этого мира. Впрочем, утверждает Соловьев, для нравственной деятельности человека абсолютная свобода вовсе необязательна: достаточно, чтобы человек был свободен в том смысле, «чтобы его поступки определялись идеальными мотивами». Автор не разрешает проблемы о свободе воли. Он искусно ее обходит. При монизме его мировоззрения попытки обосновать свободу наталкивались на непреодолимые трудности. Соловьев не находит свободы ни в мире эмпирическом, ни в мире умопостигаемом. И здесь и там человек детерминирован. Как явление среди явлений, он подвержен закону необходимости, как «умопостигаемый характер», он обусловлен своей вечной идеей. Возможность «определяться идеальными мотивами» совсем не есть свобода. Соловьеву-интеллектуалисту недоступно понятие иррациональной свободы. Поэтому и в его метафизическом построении остается невыясненным один важный момент — возможность отпадения мировой души.

* * *

Субъективная этика, т. е. учение о внутренних определениях нравственной воли (сначала материальных — в этике эмпирической, а затем формальных — в этике рациональной), необходимо требует знания этики объективной, т. е. учения об условиях действительного осуществления нравственных целей. Задача ее — определить условия нормального общества. Соловьев повторяет за Ог. Контом, что «миром управляют и двигают идеи»; общество есть организм *sui generis*⁷⁴, живущий и развивающийся по сознательным идеям. Конец этого развития еще не дан — это идеал. Его можно выразить в одном общем формальном требовании: чтобы все составляли цель каждого, и каждый — цель всех. Таким образом, в учении об обществе автор исходит из «Критики практического разума» Канта.

Основное условие нормального общества есть полное взаимное проникновение индивидуального и общинного начала, или

внутреннее совпадение сильнейшего развития личности и полнейшего общественного единства.

Для Соловьева нормальное общество есть *свободная общинность*; в своем учении он вдохновляется славянофильскими идеями. Константин Аксаков любил противопоставлять западному экономическому строю, основанному на завоеваниях, насилии и формальном праве, русскую свободную общинность, гармонически сочетающую личность и «мир», построенную на нравственных началах доверия и правды. К. Леонтьев и Достоевский, критикуя западный социализм, признавали в нем крайнее выражение буржуазного, или мещанского, царства. К этому же выводу приходит и Соловьев.

Последней целью социализм признает материальное благополучие: он требует равномерного распределения земных благ во имя справедливости; но понятие справедливости уже выводит нас из сферы экономических отношений. Справедливость есть осуществление всех прав, другими словами, правильный хозяйственный союз требует гражданского союза, или государства. В учении о праве и о государстве Соловьев следует Шопенгауэру. Государство имеет целью общую пользу, но оно осуществляет ее не фактически (что невозможно, ибо частные интересы противоположны друг другу), а лишь юридически, т. е. следит за тем, чтобы каждый, стремясь к своей выгоде, не нарушал равновесия с выгодами других; поэтому право есть понятие чисто *отрицательное*. Оно указывает границы, которые лицо не должно переступать, но не требует положительных действий: не «omnes iuva», а только «neminem laede»⁷⁵. Соловьев дает следующую формулу права: «Право есть свобода, обусловленная равенством, или синтез свободы и равенства». Свобода как основа всякого человеческого существования и равенство, эта необходимая форма общественного бытия, в своем соединении образуют человеческое общество как правомерный порядок. Из отрицательного определения права логически вытекает отрицательное определение государства: оно есть «чисто отрицательное единство, или внешний формальный порядок в обществе». Соловьеву было нетрудно усвоить взгляд Шопенгауэра на государство, ибо он вполне соответствовал его славянофильским убеждениям. Ранние славянофилы, несмотря на свою верность монархическому принципу, в сущности были анархистами. К. Аксаков считал государство неизбежным злом и тщательно отделял от него «земщину». Русский народ, по его мысли, ощущает государственную власть как грех и не желает в этом грехе участвовать. Он призвал варягов из-за моря, чтобы освободить себя от необходимого зла; монархия в

России происходит из анархии народа: «земля» хочет жить своей жизнью, не юридическим правом, а религиозной правдой. При этой концепции остается, однако, непонятным, как русский безгосударственный народ мог создать величайшую в мире империю. Понятие чисто формального юридического государства никакому реальному государству не соответствует. Особенно в наше время — крайнего развития этатизма — «отрицательная теория» государства обнаруживает всю свою несостоятельность.

От государства Соловьев переходит к Церкви. Человек не хочет и не может быть только человеком; у него есть стремление к безусловному, стремление быть *всем* в единстве, или быть всеединным. Единение существ, определяемое божественным началом в человеке и основанное психологически на чувстве любви, образует общество мистическое, или Церковь.

Каковы должны быть взаимоотношения между Церковью и государством? Автор возвращается к понятию свободной теократии, бегло намеченной в «Чтениях о Богочеловечестве», и обосновывает ее более подробно. В истории развития этой центральной в его творчестве идеи «Критика отвлеченных начал» образует второй этап; третий, и окончательный, представлен в «Истории и будущности теократии» и в «России и Вселенской Церкви».

Автор начинает с различия истинной и ложной теократии. Если божественное начало отвлечено от начала человеческого и природного, то в своей безусловности оно уничтожает или подавляет все чуждые ему элементы. Таков отвлеченный клерикализм, «полнейшее историческое выражение которого» мы находим в Западной католической церкви. Он отрицает человеческий разум и свободу совести («*Natur ist Sünde, Geist ist Teufel*»); стремится насильственно подчинить себе гражданское и экономическое общество и, «не успевая в этом, прибегает к вынужденной сделке, выражающейся в формуле: «Свободная Церковь в свободном государстве». Такой порядок, очевидно, неосуществим, ибо Церковь, как Царство Божие, должна обнимать собой все безусловно и в едином Царстве двух отдельных властей быть не может. В истинной или свободной теократии божественному началу должно принадлежать верховное значение; мирские элементы должны *свободно ему подчиниться*.

Действительно, если идеал общества есть свободная общинность, если мы ставим требование, чтобы «каждый был целью для всех, и все для каждого», то мы этим самым провозглашаем безусловную ценность человеческой личности. Но безусловное значение дается человеку только внутренней связью со всеми как носителю всеединства, и любовь есть выражение этой связи. Од-

нако любовь неосуществима ни в натуральном, ни в рациональном порядке. Любовь есть и живая личная сила, и универсальный закон, и целью ее может быть только человек в Боге, такой человек, который «имеет область чадом Божиим быти»⁷⁶. В мистическом плане каждый из нас есть некоторая божественная идея, и все вместе мы образуем живое тело Божие, или безусловную любовь. Любя ближнего, мы реализуем в эмпирическом порядке то, что уже дано в порядке божественном. Любовь, как нравственный закон, может быть обоснована только мистически. В заключение Соловьев дает следующее определение человека: «Человек или человечество есть существо, содержащее в себе (в абсолютном порядке) божественную идею, т. е. всеединство, и осуществляющее эту идею (в естественном порядке) посредством разумной свободы в материальной природе».

В этой формуле соединены три элемента этики: мистический, рациональный и эмпирический; лишенные своей исключительности, т. е. лжи, они становятся руководящими принципами всей нравственной деятельности человека. Каждый из них, отделившись от всеединства, дошел до пропасти и вернулся, обогащенный опытом, в лоно Божественной Премудрости. Притча о блудных сыновьях досказана до конца.

В Церкви неограниченный федерализм совпадает с безусловной централизацией: у каждого человека есть его божественная идея, но не каждый одинаково ее усваивает. Степенью идеальности лица (его нравственного совершенства) должна определяться степень его значения и власти. Объем прав должен соответствовать высоте внутреннего достоинства. Этим дается иерархический принцип общества. В безусловном порядке, в Церкви, царит одно начало — любовь; в естественном порядке эта любовь соотнобразуется с относительными качествами каждого, т. е. становится справедливостью. Мы знаем, что любовь есть нравственный принцип Церкви, а справедливость — государства. Так осуществляется их органическая связь. Но человек не только существо религиозное, движимое любовью, и существо рациональное, управляемое справедливостью, он также существо материальное, стремящееся к наслаждению. Любовь посредством справедливости должна быть реализована в пользу.

Соловьев заканчивает свое учение об обществе следующим определением свободной теократии: свободная теократия есть такое общество, в котором все три сферы — Церковь, государство и земство, — сохраняя свою относительную самостоятельность, не находятся, однако, во внешнем, механическом разделении, а взаимно проникают друг в друга как составные части одного

органического существа, необходимые друг для друга и соединенные в одной общей цели и общей жизни.

Этика Соловьева построена на постулате всеединства. Она отвечает высшему нравственному требованию человеческой природы. Но осуществимо ли это требование? Автор исходит из признания божественного начала в человеке, т. е. из бытия человека в Боге. Стоит только усомниться в существовании Бога, и божественность человека перестает быть достоверной. А если человек не божествен, то и нравственное сознание его становится субъективной иллюзией. Поэтому существование этики для Соловьева неразрывно связано с существованием истинного абсолютного порядка. Он решительно отвергает всякую автономную этику, называя ее «отвлеченным морализмом». Но для решения вопроса о религиозной истине нужно обладать критерием истины вообще, другими словами, *этика невозможна без метафизики, а метафизика — без гносеологии.*

Гносеология Соловьева нам уже знакома по «Философским началам цельного знания» и «Чтениям о Богочеловечестве». Вся значительность ее — в признании трансцендентной истины. Действительно, только на этом основании можно оправдать возможность объективного познания и спасти самое понятие психологического субъекта познания. Если истина имманентна субъекту, то нет ни истины, ни субъекта. В «Критике» Соловьев развивает свое учение об интуиции, различая в процессе познания три момента: *веру, воображение и творчество*. Он пользуется при этом трехчленной схемой своего учителя П. Д. Юркевича, который учил о трех путях познания: религиозном чувстве (у Соловьева — вера), мистическом созерцании (у Соловьева — воображение) и опыте (у Соловьева — творчество). Однако в схему Юркевича Соловьев вкладывает новое содержание.

Мы ощущаем предмет, учит он, мы мыслим его, но, кроме того, мы имеем непосредственную уверенность, что этот предмет существует помимо его отношения к нам. Это есть *вера*. Все существующее само по себе есть «вещь невидимая». Утверждать *безусловное* существование объекта мы можем, только будучи внутренне связанными с ним в нашей собственной безусловности. Следовательно, безусловное существование не может быть дано ни опытом, ни логикой, а только *верою*. «Веруем яко есть».

На вопрос «что есть этот предмет?» отвечает: *воображение*. В глубине нашего сознания лежит образ предмета — его вечная идея. Мы созерцаем или воображаем этот образ и затем накладываем его на данные нам ощущения и этим придаем им определенную предметную форму. Акт воображения нельзя понимать

как чистый произвол нашего духа; между ощущением и сущностью самого предмета есть связь: сами ощущения тяготеют к идеальному образу. Творческое действие нашего ума при воплощении идеи может быть скорее сравнено с деятельностью поэта, который уже в самом своем материале, в человеческом слове, находит не мертвую массу, а некоторый мысленный организм, способный воспринять и усвоить художественную идею. Третий момент познавательного процесса — *творчество*.

В гносеологии Соловьева можно расслышать отзвуки философии Шеллинга. У последнего саморазвивающийся дух проходит три ступени: теоретически он созерцает мир, практически приводит его в порядок и художественно творит его. Шеллинг, продолжая Шиллера, обосновывает мир как художественное произведение. Мир есть божественная поэма; завершение мироздания — творение гения. Но то, что у Шеллинга является космогоническим процессом, у Соловьева есть процесс познания: человек не творит мир, а только творчески его познает. У Шеллинга акт творения тождествен акту познания и субъект равняется объекту. У Соловьева нет пантеистического уклона — объект познания трансцендентен субъекту. Вводя в акт познания момент воображения, Соловьев подчеркивает субъективный элемент всякого познания, сочетая его с полной объективностью самой истины. Истина едина, но каждый созерцает ее по-своему, поэтому в нашем познании истина никогда не дана в чистом виде, а всегда проходит сквозь призму нашей личности. Этим Соловьев спасает человеческую свободу и активность в познании. Процесс познания не есть пассивное восприятие божественных идей, а бесконечный встречный процесс, точка пересечения двух миров. Д. Уснадзе* замечает, что «воображение» Соловьева есть «*anamnesis*»⁷⁷ Платона, но только перевернутый: у Платона вид предмета порождает воспоминание о его идее, спящей в душе человека; у Соловьева, наоборот, идея, живущая в душе, делает возможным восприятие предмета. У первого движение снизу вверх, *de realibus ad realiora*⁷⁸, у второго — движение сверху вниз, *de realioribus ad realia*⁷⁹. На нисхождение идеи человек отвечает своим творчеством. Таким образом, и процесс познания у Соловьева раскрывается как *процесс богочеловеческий*.

Об этом свидетельствуют заключительные слова «Критики отвлеченных начал». «Задача не в том, — пишет Соловьев, — чтобы восстановить традиционную теологию в ее исключитель-

* *Usnadse D. v., Dr. Wladimir Solowiew, seine Erkenntnistheorie und Metaphysik. Halle, 1909.*

ном значении, а, напротив, чтобы освободить ее от отвлеченного догматизма, ввести религиозную истину в форму свободно-разумного мышления и реализовать ее в данных опытной науки и таким образом организовать всю область истинного знания в полную систему свободной и научной теософии». Теософия должна быть соединением начала божественного с началом человеческим, а осуществление «всеединства» — результатом богочеловеческого процесса» *.

Целью докторской диссертации Соловьева было построение величественного здания «свободной теократии». Единый верховный принцип — начало мистическое — управляет всей человеческой жизнью: на экономическом фундаменте возносятся стены общества и государства; Церковь венчает их своим куполом. Все в мире служит единому началу; существование частей оправдано свободным подчинением целому. А следовательно, и нравственная деятельность человека не может быть самозаконной и этика должна быть *гетерономной*.

«Мы должны устранить, — пишет Соловьев, — то весьма, впрочем, распространенное воззрение, которое обособляет нравственную область, придает ей безусловное значение, отрицая всякую зависимость должного от сущего, этики от метафизики». Нравственность связана с религией, без религии нет нравственности. Логически развивая свою основную мысль о теократии, Соловьев неизбежно должен был прийти к отрицанию автономии добра. Но если добро не имеет самостоятельной ценности, если поступки человека становятся нравственными или безнравственными только в связи с его религиозными убеждениями, если нерелигиозный человек вообще не может быть нравственным, то не исчезает ли самое понятие этики? В основе нравственности лежит свобода выбора между добром и злом. Добро, метафизически обоснованное, уничтожает человеческую свободу, *принуждает*. Соловьев чувствовал эту трудность и пытался соединить идею теократии с понятием свободы. Согласно с общим планом своего исследования, он доказывал, что эмпиризм и рационализм не дают удовлетворительного ответа на основной вопрос этики и что этика может быть обоснована только религиозно. И тут же, явно противореча самому себе, он заявлял: «Основной вопрос этики, как мы знаем, есть следующий: в чем состоит коренное различие

* Идея о том, что вера лежит в основе познания, принадлежит Хомякову. Отрывочные мысли Хомякова Соловьев творчески перерабатывает в систему. Но он отличается от волюнтариста Хомякова своим интеллектуализмом. См.: Бердяев Н. А. С. Хомяков. М.: Путь, 1912.

нравственного и безнравственного действия и на чем это различие для человека обосновывается? На этот вопрос рациональная этика, в связи с последними результатами этики эмпирической, *может дать удовлетворительный ответ*. И далее он целиком принимает учение Канта об автономии нравственной воли.

Эти противоречия связаны с основным дефектом всей его этической системы. Соловьев пытается построить свое учение независимо от решения проблемы о свободе воли, он утверждает, что «для этики нет непосредственной необходимости в окончательном метафизическом разрешении вопроса о свободе воли; для нее достаточно *пока* и тех результатов, которые получены путем эмпирического и рационального исследования». Стоит только признать это неожиданное утверждение, и все здание «свободной теократии» рушится. Под внешним блеском логической аргументации и философской диалектики система Соловьева противоречива. Автор не был ею удовлетворен и в девяностых годах заново ее переделал («Оправдание добра»).

* * *

«Критикой отвлеченных начал» заканчивается построение системы «цельного мировоззрения». Вера, философия, наука, практическая деятельность приведены Соловьевым к «великому синтезу».

По грандиозности замысла и широте размаха учение Соловьева не имеет себе равного в русской философии. Соловьев обладал гениальной интуицией всеединства, исключительным даром синтеза, пророческим предчувствием наступления новой философской эпохи.

Но была ли его система оригинальна? Не является ли она только искусным сочетанием чужих идей, примирением различных направлений философской мысли? Не эклектик ли Соловьев? Такой взгляд высказывался неоднократно. Действительно, если разложить философию Соловьева на составные элементы, то почти все эти элементы можно отыскать у его предшественников. Его духовное достояние нетрудно растаскать по кусочкам и распределить по рубрикам различных философских школ. «Всеединство» возвратится тогда к Пармениду, Платону, Плотину, Спинозе, Шеллингу; «Сущий, пребывающий глубже и выше всякого бытия» отойдет к Дионисию Ареопагиту⁸⁰, Августину, Скоту, Мейстеру Экхарту⁸¹; София будет отдана Каббале, Якову Бёме и Пордэджу; идеи — живые силы — Лейбницу, вещественный мир как результат грехопадения — Оригену, интеллектуальное

созерцание — Шеллингу, триада астрального, солярного и теллурического периодов — Парацельсу и т. д.

Но такой «метод заимствований», связанный с философским атомизмом и механизмом, явно бесплоден. Мировоззрение философа не есть мозаика, составленная из отдельных камешков, а единое динамическое целое, один творческий замысел, неделимый и неразложимый. Конечно, мировоззрение создается не ex nihilo⁸²: философ пользуется всем наследием своих предшественников как *материалом*, из которого творит свою личную форму. Выискивание и отслеживание «влияний» относится только к материалу, и этот второстепенный вопрос не должен оттеснять на дальний план главную проблему исследования — самое творчество. К тому же известно, что «все влияет на все»; теория влияний объясняет решительно все, а значит, ничего не объясняет.

Мы уже видели, как своеобразно перерабатывает Соловьев славянофильские идеи: веру в русское национальное призвание он доводит до универсализма и до мысли о народном самоотречении; хомяковскую критику западного религиозного развития заставляет служить идее соединения церквей. Таковую неожиданную новую форму приобретает в его руках старый материал.

Философская система Соловьева создавалась в атмосфере идей Шеллинга. Было бы слишком долго отмечать все «шеллингианские» элементы в сочинениях Соловьева*.

Определение абсолюта (благо, истина, красота), понятие мистического познания, природы как организма, исторического процесса как божественного откровения, учение о мировой душе, ее отпадении и возвращении к Богу, учение о боговоплощении очень схожи у обоих философов. Но если не ограничиваться частными аналогиями, а проникнуть в самый дух философии Соловьева и Шеллинга, внешние сходства померкнут перед несравнимостью «духовной установки».

Ограничимся двумя примерами: на первый взгляд может показаться, что соловьевское учение о троичности совпадает с *Potenziehre* Шеллинга. Первая потенция в Боге, по Шеллингу, есть «в-себе-бытие», покоящаяся воля; она негативна («потенциальное единство» или воля у Соловьева). Вторая потенция есть преодоление первой, безграничное бытие, «вне-себя-бытие», она позитивна (у Соловьева это — актуальное единство, или идея). Третья потенция — соединение первой и второй: «у-себя-бытие»,

* Кроме натурфилософии Шеллинга Соловьев пристально изучал его «*Philosophic und Religion*», «*Ober das Wesen der menschlichen Freiheit*» и «*Philosophie der Mythologie und Offenbarung*».

«само собой обладающее бытие» (у Соловьева — законченное единство, или чувство).

За внешним сходством скрывается внутреннее различие. У Соловьева первое положение относится к Богу Отцу как непознаваемому началу апофатического богословия; у Шеллинга ни одна из потенций не есть еще Бог; они выводятся из «божественности» (Gottheit), которая есть только стремление и голод по бытию, чистая возможность, т. е. ничто. Потенции суть этапы развития Божества, подлинный теогонический процесс внутри «Gottheit». Шеллинг — мистический пантеист, и для него единственная реальность Бога заключена в космическом процессе. Трансцендентного Бога нет, есть только рождающийся Бог — природа (*Deus sive natura* Спинозы).

Христианское мировоззрение Соловьева прямо противоположно по духу натуралистическому пантеизму Шеллинга.

Второй пример. В «Философии откровения» Шеллинг отказывается от пантеизма своего учения о тождестве и перестраивает свою философию на основе христианского откровения. Подобно Соловьеву, он учит, что все содержание христианства составляет личность Христа, что Христос присутствует во всем всемирно-историческом откровении, что Боговоплощение есть акт кенозиса: Христос отчуждает от себя свой божественный образ и принимает на себя зрак раба и т. д.

И здесь сходство между Шеллингом и Соловьевым оказывается поверхностным: внутренне христология Шеллинга имеет не христианский, а гностический характер. Вот как он учит о Христе: вочеловечение Христа следует понимать не как вочеловечение Бога, а как вочеловечение некой божественной личности, отличной от Бога, самостоятельной, поставленной вне единства с Ним и, следовательно, *внебожественной*. Нет времени, когда Христа не было, но было время, когда Он еще не был Христом. Он не был Христом в своем божественном предсуществовании. Шеллинг явно склоняется в сторону арианства; его учение можно сравнить с учением Савеллия и Иоахима дель Фиоре⁸³: он вносит в Св. Троицу момент становления и последовательности.

Подобные примеры можно было бы умножить. Ни натурфилософия, ни философия откровения Шеллинга не могли «повлиять» на христианское мировоззрение Соловьева. Он черпает из богословия отцов Церкви (особенно Максима Исповедника, Григория Нисского, Дионисия Ареопагита, отчасти Оригена и бл. Августина), которых в последний период своей жизни изучал и Шеллинг. Бóльшая часть совпадений объясняется этой их общей зависимостью. В остальных случаях Соловьев свободно пользо-

вался мыслями Шеллинга как материалом для своих оригинальных построений.

«Дух философии Соловьева, — пишет о. Г. Флоровский *, — дух исконного греко-восточного православия, а идеи его философии — идея Богочеловечества, идея Церкви, идея цельного знания, свободного всеединства — внушены святоотеческой мыслью; эти идеи, раскрытые в эпоху Вселенских Соборов, хранились в византийском монашестве, у афонских созерцателей — исихастов, и оттуда через югославянские земли проникали на Русь еще в московскую пору, став содержанием философии первого русского самобытного мыслителя преп. Нила Сорского. Вновь воскрешенные от забвения в XVIII веке, эти идеи через тот же славянский юг, через нямецкого старца Паисия Величковского⁸⁴ вновь влились в русскую религиозную мысль и нашли себе оплот в Оптиной Пустыне — и отсюда влияли на славянофильство».

* * *

Мировоззрение Соловьева, как оно сложилось к началу 80-х годов, насквозь *исторично*. Он живет в движущемся, в развивающемся мире и остро чувствует динамику мировой жизни. Трудно найти другого русского мыслителя, у которого было бы столь непосредственное восприятие *становления*, как у Соловьева. А между тем вся русская философия есть, в сущности, историософия. Начиная с Чаадаева и кончая современными мыслителями, русские всегда размышляли об истории и над историей. В этом смысле Соловьев — типичный русский философ. С ранней юности он был охвачен чувством, что в мире что-то свершается, что-то наступает; он учитывает признаки и гадает о сроках, прислушивается к «работе времени», слышит глухие подземные толчки.

У Соловьева нет объективно-научного интереса к истории; он погружается в прошлое, чтобы отгадать настоящее и предсказать будущее. В истории он не беспристрастный исследователь, а утопист и поэт, Обобщения, схемы, синтезы ему необходимы, так как он не изучает историю, а *строит* ее. Для него история — только введение в эсхатологию. Из исторических символов он пытается вычитать их мистический смысл. Но его мистика — не неподвижное созерцание Плотина, а вечное движение и стремление. Бог его — не Бог геометрии, а Бог истории, не Эн-Соф⁸⁵ Каббалы, а творческий Логос, преображающий мир. Мировой

* Флоровский Г. Новые книги о Вл. Соловьеве // Известия Одесского библиографического общества. Одесса, 1913.

процесс раскрывается как последовательный ряд теофаний, и изучение его превращается в богопознание и богопочитание. Но мистическому опыту Соловьева («всеединство») противоречит его эмпирический опыт («вражда всех против всех»). Плотин и Шеллинг помогли ему осмыслить этот распад; Гегель научил диалектическому методу — и мировой процесс вместился в трехчленную схему: первоначальное единство, отпадение мировой души и окончательное воссоединение. Ритм космической и исторической жизни был найден.

Изучение отцов Церкви привело Соловьева от идеалистической философии к православному богословию. Теология сменилась идеей Богочеловечества, и в центре истории стал Христос.

Соловьев иногда колеблется в точном определении периодов мирового развития, но это для него несущественно. Важно, что поток времени понят как телеологический процесс, что христианство раскрыто как религия космическая и историческая, что смысл истории отгадан и что мир *оправдан* *.

* Философская система Соловьева подробно изложена в двухтомном исследовании кн. Е. Н. Трубецкого «Мирозозерцание Вл. С. Соловьева» (М.: Путь, 1913) и в большом труде В. Шилкарского (*Szykarski W. Solowjews Philosophie der All-Einheit*. Kaunas, 1932). Об историософии Соловьева писали А. Кожевников (*Koschewnikof T. A. Die Geschichtsphilosophie Wladimir Solowjews*. Bonn, 1930) и Г. Заке (*Sacke G. W. S. Solowjews Geschichtsphilosophie*. Berlin, 1929). Интересна работа Уснадзе о гносеологии и метафизике Соловьева (*Usnadse D. V. W. Solowiew, seine Erkenntnistheorie und Metaphysik*. Halle, 1909). Диссертация Ф. Степуна осталась незаконченной (*Steppuhn T. W. Solowjew. Inaugural-Dissertation*. Heidelberg). Незначительна книга Э. Радлова (*Радлов Э. Л. Владимир Соловьев: Жизнь и учение*. СПб., 1913). Из статей о философии Соловьева следует отметить: *Лопатин Л. М.* Философское мирозозерцание В. С. Соловьева // Философские характеристики и речи. М.: Путь, 1911; *Булгаков С.:* 1) Что дает современному сознанию философия Вл. Соловьева? // От марксизма к идеализму: Сборник статей. СПб., 1903; 2) Природа в философии Вл. Соловьева // Сборник первый: О Владимире Соловьеве. М.: Путь, 1911; 3) Параллели // Литературное дело. 1902; *Трубецкой С. Н.* Основное начало учения Вл. Соловьева // Вопросы философии и психологии. 1901. Кн. 56. Янв.—февр.; *Флоровский Г.:* 1) Молодость Вл. Соловьева // Путь. 1928. № 9. Янв.; 2) Новые книги о Владимире Соловьеве // Известия Одесского библиографического общества. Одесса, 1913; *Шестов Л.* Умозрение и Апокалипсис (Религиозная философия Вл. Соловьева) // Современные записки. 1928. Кн. XXXIII, XXXIV.

8

ПЕРЕЛОМ В ЖИЗНИ СОЛОВЬЕВА:
РЕЧЬ О СМЕРТНОЙ КАЗНИ
(1881)

Получив докторскую степень, Соловьев надеялся, что ему предложат кафедру философии в Петербургском или Московском университете. Он писал К. Н. Бестужеву-Рюмину⁸⁶ о том, что декан Одесского университета предлагает ему ординатуру по философии и что он ее примет, «если в ближайшем заседании здешнего факультета не будет обращено внимание на его умеренное желание экстраординатуры с доцентским жалованием». Надежды Соловьева не сбылись: кафедру философии в Московском университете занял его противник — профессор Троицкий, а в Петербурге ходатайство его не было поддержано ректором Владиславлевым. Соловьев читал лекции в Университете и на Бестужевских курсах в качестве приват-доцента. Возможно, что этой неудачей определилась в известной мере его дальнейшая судьба. Соловьев в то время мечтал о спокойной обеспеченной жизни, посвященной научному труду. Он хотел завершить свою философскую систему: закончить гносеологию и написать эстетику. Конечно, можно жалеть, что эти мечты об академической деятельности не осуществились и что Соловьеву не было суждено создать цельного и законченного учения. Но трудно предположить, чтобы профессорская и ученая карьера могли надолго удовлетворить «бродячего философа». Соловьев не был создан для кабинетной работы, у него был темперамент проповедника и бойца; он был слишком фантастическим, эксцентричным и беспокойным человеком, чтобы удовлетвориться писанием философских трактатов. Ему предстояла бездомная, тяжелая, необеспеченная жизнь, упорная и внешне безнадежная борьба, — и в этом было его призвание. Он не написал «Эстетики», но сделал большее: осуществил свою личность, завещал нам свою трагически-высокую жизнь, свою неразгаданную тайну. И сила, которой он загнипнотизировал несколько поколений, исходила не столько из его писаний, сколько из него самого. В нем было загадочное обаяние, его окружала романтическая легенда; люди влюблялись в него с первого взгляда и покорялись ему на всю жизнь. Соловьев стал знаменем, за которым шли, образом, который на пороге символизма сиял «золотом в лазури». Он был не философом определенной школы, а Философом с большой буквы, — и таким он останется для России навсегда.



20 ноября 1880 г. Соловьев прочел вступительную лекцию в С.-Петербургском университете — «Исторические дела философии». Он ставил вопрос: что сделала философия для человечества за два с половиной тысячелетия своего существования? И отвечал: она сделала человека вполне человеком. Он говорил о развитии человеческой личности на протяжении веков, об идее Богочеловечества, осуществляющейся в мире; упрекал католическую Церковь в том, что она стала «внешней силой и внешним учреждением». Философия взяла на себя задачу освободить личность: рационализм от Декарта до Гегеля, развив разумное начало в человеке, сослужил великую службу христианской истине. Фурье, провозгласив права материи, сам того не ведая, трудился на пользу христианства. Отрицательный процесс сознания есть вместе с тем процесс положительный. И лектор заканчивал: «...так вот, если кто из вас захочет посвятить себя философии, пусть он служит ей смело и с достоинством, не пугаясь ни туманов метафизики, ни даже бездны мистицизма; пусть он не стыдится своего свободного служения и не умаляет его, пусть он знает, что, занимаясь философией, он занимается делом хорошим, делом великим и для всего мира полезным...» Основные мысли, сжато изложенные во вступительной лекции, нам знакомы. Характерна эволюция Соловьева от славянофильства к западничеству. Он уже не считает путей западной философии ложными — он даже не критикует их как «отвлеченные начала». Европейская философия служила христианской истине, исполняла великое дело: и не только рационализм, но и материализм и натурализм. Соловьев восстает против ложного спиритуализма. «Христианство, — говорит он, — утверждает воскресение и вечную жизнь тела; и относительно всего вещественного мира целью и исходом мирового процесса, по христианству, является не уничтожение, а возрождение и восстановление его как материальной среды Царства Божия — христианство обещает не только новое небо, но и новую землю». Все оправдано и осмыслено; все, что раньше казалось отрицательным, теперь приемлется как положительное; земля соединена с небом, материя восстановлена в своих правах: Царство Божие будет здесь, на земле. Уже известные нам идеи получают новое освещение; лектор благословляет весь мир, ибо и зло в нем служит добру: через богоборчество человечество неуклонно идет ко Христу. Слова Соловьева не могли не поразить молодую аудиторию: столько в них было радостной веры, светлого благоволения. Это была не лекция, а благовестие: «Лето Господ-

не благоприятное»...⁸⁷ Однако в безграничном оптимизме молодого проповедника было что-то смущающее; мировой процесс рисовался ему широкой дорогой к Царству Божию; зло и страдание утопали в радужном тумане, от трагизма истории не оставалось и следа. Соловьев вступал на путь христианского утопизма, который должен был привести его к катастрофе. Но в 1880 году путь этот представлялся ему триумфальным: его поднимали крылья, и он с детской доверчивостью нес в мир свою «идею». Это — вершина горы, «блаженное мгновение» в жизни Соловьева. После него начинается спуск в долину.

Н. Никифоров^{*88} рассказывает о впечатлении, произведенном лекцией Соловьева на аудиторию. В начале восьмидесятых годов философия казалась студентам видом умственного разврата. Они изучали Огюста Конта и Бентама; в кружках самообразования читали Некрасова и Чернышевского. В студенческую песню «Проведемте, друзья, эту ночь веселей» вставлялась строфа:

Выпьем мы за того,
Кто «Что делать» писал,
За героев его,
За его идеал.

Народники и «мыслящие реалисты» приняли приглашение Соловьева в Университет как вызов и решили «постоять за себя». Соловьев читал свою вступительную лекцию в самой большой, «менделеевской» аудитории. Туда повалили толпы естественников. Но демонстрация не состоялась. Лекция была прослушана с напряженным вниманием, и по окончании ее раздался гром рукоплесканий. Успех Соловьева возрастал с каждой лекцией: скоро ему пришлось читать в актовом зале. Лектор просил слушателей вступать с ним в диспуты, внимательно выслушивал возражения, незаметно миссионерствовал. Никифоров явился к нему на дом (Соловьев жил тогда на Каменноостровском проспекте, в скромных двух комнатах) с целью обратить его в свою веру. Он принес мистiku список авторов «реального миропонимания». Соловьев нашел список неполным и тут же предложил юному «реалисту» другой, более подробный и по первоисточникам. Этим он окончательно покори́л Никифорова. С другими студентами у него тоже завязались личные отношения; он бывал в аристократическом кружке князя Э. Э. Ухтомского⁸⁹ и в конурке студента Бояринова; знакомился с учениками, помогал им, иногда спорил, но чаще шутил и смеялся своим раскатистым смехом.

* Никифоров Н. Петербургское студенчество и Влад. Серг. Соловьев // Вестник Европы. 1912. Янв.

После убийства Александра II (1 марта 1881 г.) Соловьев произнес речь на Высших женских курсах (13 марта), которую закончил решительным осуждением русского революционного движения. Господствующее мирозерцание отказалось и от теологических принципов, и от метафизической идеи личности; поэтому осталась только звериная природа, действие которой есть насилие. В современной революции кроется ложь: если бы она искала царства правды, она не смотрела бы на насилие как на средство его осуществить. Употреблять насилие — значит признавать правду бессильной. «Если человеку, — закончил он, — не суждено возвратиться в зверское состояние, то революция, основанная на насилии, лишена будущности».

26 и 28 марта Соловьев прочитал две лекции в зале Кредитного общества. Вторая — на тему: «Критика современного просвещения и кризис мирового процесса» — сыграла решающую роль в его судьбе. Содержание ее нам известно в изложении самого лектора и в пересказах слушателей. Изложение Соловьева очень кратко и формально, а пересказ слушателей неясен и противоречив. П. Щеголев* передает, что Соловьев говорил о правде русского народа: народ верит в безусловное значение личности, так как он верит в личность Христа. «Народ признает, что природа сама по себе имеет стремление к безусловному единству, что природа человеческая и внешний мир имеют единую душу и что эта душа стремится воплотить божественное начало, стремится родить в себе Божество. Народ верит в Богородицу. Богородица и Христос есть начало всего». Далее Щеголев приписывает Соловьеву идеи, которые явно ему не принадлежали (например, что все люди должны стать Христами, а все женщины Богородицами и т. д.), и так пересказывает заключительные слова лекции: «Скажем же решительно и громко заявим, что мы стоим под знаменем Христовым и служим единому Богу — Богу любви. Пусть народ узнает в нашей мысли свою душу и в нашей совести свой голос; тогда он услышит нас и поймет нас и пойдет за нами».

Совсем по-другому передает конец речи Н. Никифоров. «Соввершилось злое, бессмысленное, ужасное дело, — говорил Соловьев, — убит царь. Преступники схвачены, их имена известны, и, по существующему закону, их ожидает смерть как возмездие, как исполнение языческого веления: око за око, смерть за смерть. Но как должен бы поступить истинный “помазанник Божий”, высший между нами носитель обязанностей христианского обще-

* Щеголев П. Событие 1 марта и Владимир Сергеевич Соловьев // Бюллетень. 1906. № 3; 1918. № 4—5.

ства по отношению к впадшим в тяжкий грех? Он должен все-народно дать пример. Он должен отречься от языческого начала возмездия и устрашения смертью и проникнуться христианским началом жалости к безумному злодею... Помазанник Божий, не оправдывая преступления, должен удалить царевубийц из общества как жестоких и вредных его членов, но удалить, не уничтожив их, а вспомнив о душе преступников и передав их в ведение Церкви, единственно способной нравственно исцелить их...»

Третье свидетельство принадлежит Л. З. Слонимскому⁹⁰. «Соловьев говорил медленно, — пишет он, — отчеканивая отдельные слова и фразы, с короткими паузами, во время которых он стоял неподвижно, опутив свои удивительные глаза с длинными ресницами... “Царь может их простить”, сказал он с ударением на слове “может” и, после недолгой остановки, продолжал, возвысив голос: “Царь *должен* их простить”».

Финал выступления Соловьева окружен легендой. Никифоров сообщает: «Соловьев кончил. Но еще с минуту стояла все та же леденящая душу тишина. И вдруг словно дикий, неистовый ураган ворвался в зал. Раздались не крики, а прямо вопли остервенения, безумной ярости: “Изменник! Негодяй! Террорист! Вон его! Растерзать его...” В то же время раздавались неистовые аплодисменты и крики “браво” среди студентов. Соловьев снова появляется на эстраде и говорит, что его не поняли. Что он не оправдывал царевубийства. Студенты образуют цепь и доносят его с триумфом до кареты».

Легенда разрастается в воспоминаниях Р. Бодуэн де Куртенэ. Она рассказывает, что после лекции какая-то «плотная фигура» закричала: «Тебя первого казнить, изменник! Тебя первого вешать, злодей!» Но этот голос потонул в воплях: «Ты наш вождь! Ты нас веди!» Толпа два или три раза обносит Соловьева вокруг зала. Министр народного просвещения, присутствовавший на лекции, советует лектору поехать к Лорис-Меликову⁹¹. Соловьев отказывается, говоря, что с ним незнаком. «Это не частное дело, а общественное, — говорит министр, — а то смотрите, придется вам ехать в Колымск». — «Что же, философией можно заниматься и в Колымске», — отвечает Соловьев.

Выступление молодого философа на защиту царевубийц было большим общественным событием. Оно взволновало столицу, и о нем ходили самые невероятные слухи. Л. З. Слонимский заявляет, что никаких воплей не было, что Соловьева не «обносили» и не «качали». Но какой-то господин действительно потребовал у лектора объяснений, и ему пришлось возвращаться на эстраду (об этом пишет сам Соловьев). На другой день после лекции он

был вызван к Петербургскому градоначальнику Баранову, и тот предложил ему изложить дело письменно. Вот что написал Соловьев:

«Ваше Превосходительство.

Когда я просил Вас о разрешении мне лекции, я заявил, что не буду говорить о политике. О самом событии 1-го марта я не сказал ни слова, а о прощении преступников говорил только в смысле заявления со стороны государя, что он стоит на христианском начале всепрощения, составляющем нравственный идеал русского народа. Заключение моей лекции было приблизительно следующее: “Решение этого дела не от нас зависит, и не нам судить царей. Но мы (общество) должны сказать себе и громко заявить, что мы стоим под знаменем Христовым и служим единому Богу — Богу любви...” Из 800 слушателей, разумеется, многие могли неверно понять и криво перетолковать мои слова. Я же со своей стороны могу сослаться на многих известных и почтенных лиц, которые, как я знаю, верно поняли смысл моей речи и могут подтвердить это мое показание...

После лекции один неизвестный мне господин настоятельно требовал, чтобы я заявил свое мнение о смертной казни, в ответ на что я сказал, взойдя на эстраду, что смертная казнь вообще, согласно изложенным принципам, есть дело непростительное и в христианском государстве должна быть отменена».

Никифоров навестил Соловьева на другой день после лекции. «При взгляде на него, — пишет он, — я невольно отшатнулся — до такой степени было страдальческим выражение его лица. Особенно поразила меня небольшая прядка седых волос спереди. Она явилась в эту ночь. Стол был завален цветами, и Соловьев писал письмо царю».

Письмо это сохранилось. Соловьев проповедовал в нем Александру III истину «свободной теократии» *:

Ваше Императорское Величество,
Всемиловитивейший Государь.

До слуха Вашего Величества, без сомнения, дошли сведения о речи, сказанной мною 28 марта, вероятно, в искаженном и, во всяком случае, в преувеличенном виде. Поэтому считаю своим долгом передать Вашему Величеству дело, как оно было. Веруя, что только духовная сила Христовой истины может победить

* Это письмо напечатано Э. Л. Радловым в дополнительном (четвертом) томе писем Соловьева (Пг.: Время, 1923).

силу зла и разрушения, проявляемую ныне в таких небывалых размерах, веруя также, что русский народ в целости своей живет и движется духом Христовым, веруя, наконец, что царь России есть представитель и выразитель народного духа, носитель всех лучших сил народа, я решился с публичной кафедры исповедовать эту свою веру. Я сказал в конце своей речи, что настоящее тягостное время дает русскому Царю небывалую прежде возможность заявить силу христианского начала всепрощения и тем совершить величайший нравственный подвиг, который поднимет власть Его на недостижимую высоту и на незыблемом основании утвердит Его державу. Милуя врагов своей власти, вопреки всем расчетам и соображениям земной мудрости. Царь станет на высоту сверхчеловеческую и самым делом покажет божественное значение Царской власти, покажет, что в нем живет высшая духовная сила всего русского народа, потому что во всем этом народе не найдется ни одного человека, который мог бы совершить больше этого подвига.

Вот в чем заключается сущность моей речи и что, к крайнему моему прискорбию, было истолковано не только не согласно с моими намерениями, но и в прямом противоречии с ними.

Вашего Императорского Величества
верноподданный

В. С. ».

Градоначальник Баранов донес о «происшествии» Лорис-Меликову, тот передал «поступок» Соловьева на суждение Александра III и прибавил, что имеются обстоятельства, смягчающие вину молодого профессора: Соловьев — сын недавно скончавшегося знаменитого ученого; он отличается строго аскетическим образом жизни; великий князь Владимир Александрович и министр народного просвещения Сабуров находят излишней чрезмерно строгую кару.

На своем докладе Государю Лорис-Меликов позднее приписал: «Государь Император по всеподданнейшему докладу Высочайше повелеть мне соизволил, чтобы г. Соловьеву, чрез посредство Министерства Народного Просвещения, сделано было внушение за неуместные суждения, высказанные им в публичной лекции по поводу преступления 1-го марта, и независимо от сего предложено было воздержаться на некоторое время, по усмотрению того же министерства, от публичных чтений».



Показания самого Соловьева и его слушателей, расходясь в подробностях, совпадают в основном: Соловьев говорил о русском народе, носителе Христовой истины, и о русском царе, «помазаннике Божиим», выразителе духовных сил народа. Неужели Соловьев верил в успех своей проповеди, неужели он не знал русской действительности, не представлял себе всей опасности своего выступления? Не донкихотствовал ли он? Есть все основания думать, что лектор прекрасно понимал настроение властей и общества и знал, что ему грозит. *Но он верил.* В письме к Государю только об этой вере и говорится: трижды повторяется: веруя... веруя... веруя... и в заключение: «Я решился с публичной кафедры исповедовать *эту свою веру*». Поступок Соловьева был сознательным подвигом веры, всенародным ее исповеданием. Он хотел послужить Христу не словом только, но и делом: хотел пострадать за правду.

Лишенный возможности заниматься спокойной научно-философской работой*, Соловьев посвятил себя христианской проповеди. В 1880—1881 гг. он читает ряд публичных лекций, привлекающих огромное количество слушателей (на лекции 28 марта было 800 человек). Все, когда-либо слышавшие его живое слово, свидетельствуют о громадной силе его личного влияния. После 28 марта и этот путь оказался для него закрытым: ему были запрещены публичные выступления, а от профессорской деятельности он сам счел себя вынужденным отказаться. В ноябре 1881 г. он подал прошение об отставке. Министр, барон Николай, хотя и заметил: «Я этого не требовал», но отставку принял с готовностью. Соловьев прочел еще несколько лекций в Университете и на Женских курсах в январе 1882 г., и на этом его педагогическая работа кончилась. Профессор без кафедры, проповедник без права голоса, он становится бездомным странником, переезжает из гостиницы в гостиницу, живет у знакомых; его рукописи, книги и вещи разбросаны по разным дружеским домам в Петербурге и Москве. Он на подозрении у властей, и над ним висит негласный полицейский надзор. Последний оставшийся для него путь — журнальная работа.

Уйдя из Университета, Соловьев начинает сотрудничать в акасовской «Руси», «Известиях славянского общества» и «Право-

* Э. Л. Радлов в своей книге «Владимир Соловьев: Жизнь и учение» (СПб., 1913) сообщает, что граф Делянов⁹², отклонив предложение назначить Соловьева профессором, заявил: «Он человек с идеями».

славном обозрении». Но и эта работа продолжается недолго: в 1883 г. он разрывает со славянофилами и переходит в «Вестник Европы». Впрочем, публицистика не является для него главным делом; на досугах он пишет книгу о теократии, в которой излагает «основную идею своей жизни». И здесь ждет его последний удар: цензура запрещает издание этого труда в России и Соловьеву приходится печатать его за границей. Это лишает книгу непосредственного воздействия на русское общество. Так, шаг за шагом, проходит он путь «обнищания»; одно за другим у него отнимается; «нелегальный пророк» становится гласом вопиющего в пустыне. Соловьев пишет о себе:

Угнетаемый насилием
Черни дикой и тупой,
Он питался сухожилием
И яичной скорлупой.

Но органами правительства
Быв без вида обретен,
Тотчас он на место жительства
По этапу водворен *.

Соловьев промолчал 18 лет. Только перед самой смертью он снова несколько раз выступал с чтениями в частных собраниях и в заседаниях Философского общества; наконец, в 1900 г. в зале петербургской Городской думы читал «Повесть об Антихристе». По свидетельству А. Ф. Кони **, в последнем своем выступлении он был уже не прежним вдохновенным лектором-проповедником; читал без подъема, нервным, глухим голосом, и его слова не доходили до слушателей. Это был конец.

* * *

Публичные выступления Соловьева в 1880—1881 гг. проходят под знаком Достоевского. Особенно заметна идейная и духовная близость Соловьева с Достоевским в речи о смертной казни. Русский народ, носящий в себе образ живого Христа и хранящий Христову правду, — излюбленная идея Достоевского. В «Дневнике писателя» это мистическое народничество занимает цент-

* Стихотворение «Пророк будущего» (1886). В примечании к нему автор пишет: «Мой пророк есть пророк будущего (которое, может быть, уже становится настоящим); в нем противоречие с окружающей общественной средой доходит до полной несоизмеримости».

** Кони А. Ф. Вл. Серг. Соловьев // Кони А. Ф. На жизненном пути. Т. IV. Ревель; Берлин, 1923.

ральное место. В 1873 г. Достоевский пишет: «Говорят, русский народ плохо знает Евангелие, не знает основных правил веры. Конечно, так, но Христа он знает и носит его в своем сердце икони... Может быть, единственная любовь народа русского есть Христос». В 1876 году: «В народе, бесспорно, сложилось и укрепилось даже такое понятие, что вся Россия для того только и живет, чтобы служить Христу и оберегать от неверных все вселенское Православие». В 1880 году: «То именно и важно, во что народ верит, как в свою правду, в чем ее полагает, как ее представляет себе... А идеал народа — Христос».

Уже в речи «Три силы» Соловьев в единодушии с Достоевским развивал мысль о религиозном призвании русского народа, повторял его слова о смирении, о «рабском виде» России. В речи о смертной казни он приближается к нему еще больше: в центре духовной жизни народа стоит Христос, русский народ — христоносец. Идеал теократического царя, о котором Соловьев так вдохновенно говорил в своей лекции, тоже был предначертан Достоевским. В «Идеях князя» (наброски к «Бесам») он излагает «новую идею», которую Россия несет в мир. Эта идея — братство, братское единение. Царь — во главе рабов и свободных. Никогда русский народ не восстанет на своего царя. Россия — не республика; она — телесная оболочка души православия, царство Апокалипсиса. В России расцветет первый рай тысячелетнего царства⁹³. Наконец, Достоевский и Соловьев были объединены верой в земное царство Христа. Свободная теократия Соловьева есть то же, что «Церковь как общественный идеал» Достоевского. Речь идет, конечно, не о влиянии одного писателя на другого, а об их едином духовном опыте. В «Братьях Карамазовых» Достоевский пророчествует: Христос станет всем во всем. А это значит, что Христос должен преобразить и все человеческое общество. Но владычество Христа есть не что иное, как *Царство Церкви*. «Церковь есть воистину царство и определена царствовать, и в конце своем должна явиться как царство на всей земле несомненно, — на то мы имеем обетование... По русскому пониманию и упованию надо, чтобы не Церковь перерождалась в государство как из низшего в высший тип, а напротив, государство должно кончить тем, чтобы сподобиться стать единственно лишь Церковью и ничем иным более. Сие и буди, буди... От Востока звезда сия воссияет» *.

* Достоевский противопоставляет истинную, православную теократию ложной, католической. Но в «Легенде о Великом Инквизиторе» его гениальная интуиция глубже его идеологии: обличая ложную теократию как царство Антихриста, он наносит смертельный удар са-

У Достоевского и Соловьева была общая вера. Смерть помешала первому осуществить в цикле романов свой замысел, второй отдал все силы на служение своей идее. Свободная теократия Соловьева родилась не из учения католических средневековых теорий: она возникла из духовного общения с гениальным русским мыслителем Достоевским, выросла на почве славянофильства и религиозного народничества*. По первоначальному замыслу «определена царствовать» была Церковь *православная*. На Западе Церковь переродилась в государство, т. е. осуществилась ложная теократия; основать истинную теократию суждено России. «В этом, — писал Достоевский, — и есть великое предназначение Православия на земле». Столкновения с действительностью и горестное разочарование в русской Церкви и в русском народе привели Соловьева к изменению своей идеи в духе средневекового католичества. Его путь шел от славянофилов и Достоевского к Данте и бл. Августину. Но признание власти Рима и в связи с этим борьба за соединение церквей всегда были для него не целью, а средством. Как бы далеко он ни уходил от Достоевского в поисках «практических» путей, он чувствовал, что трудится во имя их общей идеи: «В конце своем Церковь должна явиться как царство на всей земле, несомненно...»

Когда 28 марта Соловьев говорил о прощении цареубийц, он находился под впечатлением недавней смерти Достоевского: два месяца назад он провожал гроб своего друга до Александро-Невской лавры и говорил прощальное слово перед его открытой могилой**. И заканчивал его так: «Действительность Бога и Христа открылась ему во внутренней силе любви и всепрощения, и эту же всепрощающую благодатную силу проповедовал он как основание и для внешнего осуществления на земле того царства

мой теократической идее. Вот почему Соловьев, убедившись во лжи *всякой теократии*, пишет перед смертью «Повесть об Антихристе», близкую по духу к «Легенде» Достоевского. См.: *Бердяев Н.* Мировоззрение Достоевского. Прага, 1923.

* Корни теократической идеи Достоевского и Соловьева — в славянофильстве. Ю. Самарин писал, что Церковь должна быть *всем* в человеческой жизни, ибо она есть вселенский организм Христов. И. С. Аксаков мечтал о «постепенном видоизменении самого общественного строя согласно с требованиями христианской истины, постепенного перерождения форм и условий нашей общественной жизни под воздействием начал, данных миру Божественным откровением» (Сочинения. Т. II). Но в славянофильском учении теократический идеал никогда не стоял в центре.

** Похороны Достоевского 1 февраля 1881 г.

правды, которого он жаждал и к которому стремился всю свою жизнь».

После события 1-го марта Соловьев напоминает царю о христианской заповеди всепрощения, призывает его к подвигу, который положил бы начало христианскому царству. Быть может, он сознавал, что исполняет свой долг по отношению к Достоевскому, подхватывает его внезапно оборвавшуюся проповедь и берет на себя продолжение его дела.

* * *

В «Трех речах в память Достоевского» (1881—1883) Соловьев дает оценку общественного служения покойного писателя. Первая из них никогда не была произнесена; вторая и третья были прочитаны только после появления их в печати.

Соловьев называет Достоевского предтечей нового религиозного искусства. Достоевский был весь обращен к будущему; предмет его романов — не устоявшийся быт, а общественное движение. Он предугадывал повороты этого движения и судил их. И он имел на это право, ибо у него был общественный идеал, была вера в грядущее Царство Божие. Значение его общественного служения состоит в разрешении двойного вопроса: о высшем идеале общества и настоящих путей его достижения. Идеал Достоевского был — Церковь. Западному социализму он противопоставлял «русский социализм». «Русский социализм Достоевского, — пишет Соловьев, — возвышает всех до нравственного уровня Церкви, требует одухотворения всего государственного и общественного строя чрез воплощение в нем истины и жизни Христовой». Истина может быть только вселенской, и от народа требуется подвиг служения, хотя бы, и *даже непременно*, с жертвованием своего национального эгоизма.

Всемирное братство во имя Христово — вот центральная идея Достоевского. В ней видел он историческую задачу России, то новое слово, которое Россия должна сказать миру. Истинное христианство не может быть только домашним или только храмовым — оно должно быть вселенским. В современной действительности все общечеловеческие дела, политика, наука, искусство, общественное хозяйство находятся еще вне христианского начала. Достоевский не искушался видимым господством зла и верил в невидимое добро. И только люди веры творят жизнь. Он считал Россию избранным народом Божиим за ее вселенский дух, сознание своей греховности и отсутствие национального эгоизма. «Полнота христианства есть всечеловечество, и вся жизнь Дос-

товского была горячим порывом к всечеловечеству. Не хочется верить, чтобы эта жизнь прошла напрасно».

В третьей речи Соловьев говорит о вере в Богочеловека и в Богородицу. «Усвоенная инстинктивно и полусознательно русским народом со времен его крещения, эта христианская идея должна стать основой и для сознательного духовного развития России в связи с судьбами всего человечества... Только связав себя с Богом во Христе и с миром в Церкви, мы можем делать настоящее Божие дело, то, что Достоевский называл *православным делом*». Автор приходит к выводу, что призвание России заключается в примирении Востока с Западом, православия с католичеством.

Мысль Соловьева в своем развитии проходит три этапа: теократия — всечеловечество — соединение церквей. Предпосылки принадлежат Достоевскому, вывод — Соловьеву. Вывод сделан логически безошибочно, но в явном противоречии со взглядами самого Достоевского. Автор Пушкинской речи проповедовал вселенскость русского духа, говорил о всемирной миссии России, о ее смиренной вере, но в его мессианстве был скрытый национализм и в его смирении — гордость. Он призывал к братской любви, но к Европе питал любовь-ненависть, а к католичеству — открытую вражду. Соловьев был решительнее и последовательнее: он досказал то, чего недоговаривал Достоевский: ведь «братское единение» на религиозной почве и есть «примирение Востока с Западом».

Соловьев очень своеобразно оценивает «дело» Достоевского: он берет у него только то, что близко ему самому, иллюстрирует его творчеством собственные идеи и проходит мимо важнейших тем Достоевского: личности, любви, свободы, зла, проблемы Великого Инквизитора, человекобожества и социализма. Соловьев и Достоевский встретились в одной точке: «Церковь как общественный идеал», — это была встреча двух светил, движущихся по разным орбитам. Но жили они в несоизмеримых и несравнимых мирах: Достоевский — в подпольях и мертвых домах⁹⁴, в трагических безднах человеческой души; Соловьев — среди идей, утопий и мистических видений. Первый, как Данте, хранил на лице коготь от адского огня, второй видел лицом к лицу Божественную основу мира и не верил в дьявола. Один дышал грозным воздухом Страшного Суда, другой — чистым эфиром грядущего Царствия. И только к концу жизни Соловьева орбита его снова приблизилась к орбите Достоевского.

9

**ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА.
РАЗРЫВ С СЛАВЯНОФИЛАМИ. НАЦИОНАЛЬНЫЙ
И ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС**

В краткой автобиографии, написанной Соловьевым в 1887 году, мы читаем: «В марте 1881 года произнес перед многочисленной публикой речь против смертной казни. Вскоре после этого оставил службу в Министерстве, а затем и профессорскую деятельность и сосредоточил свои занятия на религиозных вопросах, преимущественно на вопросе о соединении церквей и о примирении христианства с иудейством».

1881 год — поворотный пункт в жизни Соловьева. Он бросает философию и отдается общественной деятельности, публицистике и полемике; наступает период борьбы, пропаганды и проповеди. Соловьев отходит от славянофильства и даже от православия; на время превращается в страстного апологета католичества. Его бывшие друзья становятся его злейшими врагами. После разрыва с Аксаковым он переходит в лагерь позитивистов-западников, идеология которых в основе своей ему совершенно чужда. Так, «двух станов не боец, а только гость случайный», он живет в полном духовном одиночестве; одним он кажется безобидным чудаком, другим — опасным смутьяном; его боятся, им восхищаются, но всем он чужой.

Церковно-общественная деятельность Соловьева открывается рядом статей в «Руси» Аксакова. В первой из них («О духовной власти в России», 1881 г.) автор беспощадно обличает грехи русской Церкви. «Явное бессилие духовной власти, — пишет он, — отсутствие у нее общепризнанного нравственного авторитета и общественного значения, безмолвное подчинение ее светским властям, отчуждение духовенства от остального народа, и в самом духовенстве раздвоение между черным, начальствующим, и белым, подчиненным, деспотизм высшего над низшим, религиозное невежество и беспомощность православного народа, дающая простор бесчисленным сектантам, равнодушие или же вражда к христианству в образованном обществе — вот всем известное положение русской церкви». Между тем Церковь Христова свята и непорочна, и православие хранит неискаженную догматическую истину христианства. Как же объяснить то, что «русский народ в своей совокупности духовно парализован»? Соловьев во всем винит русскую иерархию: она изменила действительному началу любви, сама стала предметом разделения и вражды, утвердив свою власть на принуждении и насилии. Было время, когда

духовенство в России представляло высшее нравственное начало и государство свободно подчинялось его авторитету. Но вот, при царе Алексее Михайловиче, произошел раскол, вызванный тем, что патриарх Никон впал в заблуждение латинства и признал духовную власть саму по себе как принцип и цель. Он внес в русскую иерархию католический дух, и Церковь стала соперничать с государством. Иерархия, потянувшись за приманкою земной власти, схватилась за меч: воздвиглись плахи и костры. «Великие святители Православной Церкви вообще не славились гонениями на еретиков. Такими гонениями издавна славилось папство, и тут опять несомненно, чьи предания были усвоены русской иерархией со времен Никона».

Но, отделившись от всенародного тела, иерархия скоро потеряла и вещественную силу и пошла в услужение к светской власти. «Сначала, при Никоне, она тянулась за государственною короною, потом крепко схватилась за меч государственный и наконец принуждена была надеть государственный мундир». Духовная власть уклонилась от своего общественного призвания: все социальные реформы (освобождение крестьян, отмена смертной казни, смягчение уголовных законов) были произведены без ее участия. Церковь застыла в своей верности преданию. Но не все предания истинны. «Если всякое предание свято, — пишет Соловьев, — тогда поклонимся и папе римскому, который твердо держится своего антихристового предания». Статья заканчивается призывом к русской иерархии: она должна отказаться от внешней полицейской власти, отменить духовную цензуру и принудительные законы о раскольниках, сектантах и иноверцах. Тогда государство свободно станет в нравственную зависимость от Церкви. Автор хочет сказать: тогда в России будет осуществлена истинная теократия.

Во второй статье, «О расколе в русском народе и обществе» (1882—1883), взгляд Соловьева на раскол меняется: он начинает понимать, что раскол — «тяжкая и сложная болезнь народного духа» и что его нельзя объяснить одними грехами духовной власти. Раскол есть измена католическости Церкви: в нем вселенская божественная истина отрицается в пользу местного человеческого предания. Староверие, потерявшее важнейшие условия церковной жизни — иерархию и таинства, — является протестантизмом местного предания. Основной принцип русского староверия тот же, что и западного протестантизма: личное мнение против вселенского определения Церкви, частное против целого. «Самый глубокий корень этой великой нравственной болезни, — заявляет Соловьев, — заключается в самоутверждении челове-

ческого начала в христианской Церкви». Несовершенство иерархии не отнимает от Церкви ее благодатных даров. «Божественное служение иерархии, т. е. сообщение Божией благодати в таинствах, само по себе неизменно и независимо от дел человеческих».

Переходя к «образованному сектантству», автор показывает несостоятельность редстокизма, нравственного сектантства (толстовства) и спиритизма. Он впервые выступает против Толстого; это — начало долгой и упорной борьбы, продлившейся до самой смерти Соловьева. В осуждении спиритизма как основы настоящей религии он подводит итоги своим юношеским опытам и увлечениям. «Обман спиритизма, — пишет он, — не в том, что он утверждает реальное общение двух миров, а в том, что он упускает из виду идеальные и нравственные условия для такого общения, основывая его не на вере и нравственном подвиге, а на внешнем и случайном факте». Статья кончается торжественным исповеданием Вселенской Церкви — «свободного всеединства». От века раздается слово Божие: да будет свет! — и человечество должно к божественному «да будет» прибавить от себя «воля Твоя»⁹⁵. «Это свободное согласие человеческой воли на волю Божию и есть основание той новой земли, которой мы по обетованию Его чаем, в ней же правда живет».

Первые две статьи Соловьева в «Руси» свидетельствуют о резком повороте в его идеях: философ превращается в историка, погружается в изучение прошлого русской Церкви, в исследование причин раскола. Восприняв от славянофилов и Достоевского мысль о православной русской теократии, он с высоты этого идеала обзирает *действительность* русской Церкви и сурово ее обличает. И прежде всего русский раскол представляется ему вопиющим противоречием самой сущности Церкви — ее вселенскости. Сначала он довольствуется привычным в славянофильских кругах объяснением этой «болезни русского духа»: во всем виновата иерархия, потянувшаяся за мечом государственным и надевшая «государственный мундир». Как ни резка эта характеристика современного состояния русской Церкви, она, по существу, не прибавляет ничего нового к обличениям Ю. Самарина и самого редактора «Руси» Ив. Аксакова. Последний писал еще в 1868 году: «В России не свободна *только* русская совесть... Оттого и коснеет религиозная мысль, оттого и водворяется мерзость запустения на месте святе»⁹⁶, и мертвенность духа застывает жизнь духа, и меч духовный — слово — ржавеет, упраздненный мечом государственным, и у ограды церковной стоят не грозные ангелы Божии, охраняющие ее входы и выходы, а жандармы и

квартирные надзиратели как орудия государственной власти, эти стражи нашего русского душеспасения, охранители догматов русской православной церкви, блюстители и руководители русской совести». И в другой статье: «Церковь, со стороны своего управления, представляется теперь у нас какою-то колоссальною канцелярией, прилагающей, с неизбежною, увы, канцелярскою официальною ложью, порядки немецкого канцеляризма к пасению стада Христова... Дух истины, дух любви, дух жизни, дух свободы, — в его спасительном веянии нуждается русская Церковь!»

Соловьев вполне разделяет этот взгляд Ив. Аксакова и пытается объяснить подчинение Церкви государству... латинскими новшествами Никона! Объяснение неудачное и исторически неверное. Впрочем, сам автор спешит оговориться, что стремление к мирскому могуществу характерно для католичества, а совсем не для православия. Но как могла ему прийти в голову такая невероятная мысль? Не была ли вызвана ошибка Соловьева тем, что в своих рассуждениях он шел не от исторических фактов к теории, а от теории к фактам? И тут снова сказывается влияние Достоевского. Если православная Церковь еще не осуществила теократического идеала, то этого нельзя объяснить ничем другим, как заразой ложной теократии, т. е. католичества. Никогда, ни раньше, ни позже, Соловьев не отзывался с такой враждебностью о Римской церкви, как в статье «О духовной власти в России». «Антихристово предание» папы римского заставляет вспомнить «Легенду о Великом Инквизиторе» Достоевского. Эти несправедливые и страшные слова он произносил накануне своего выступления в роли апологета католичества!

С. М. Соловьев отмечает, что «миросозерцание философа развивалось катастрофически, с резкими и болезненными переломами». Такой перелом — внезапный и в глубине своей иррациональный — произошел с ним в 1883 г.

Попытка объяснить раскол «латинствующим» властолюбием Никона была явно несостоятельна, и во второй статье Соловьев пересматривает вопрос о русском расколе. Эта статья — одно из самых замечательных произведений русской богословской мысли. Ив. Аксаков восторженно писал о ней в «Руси»: «Еще никогда в нашей литературе вопрос о расколе, и преимущественно расколе старообрядческом и его отношении к Церкви, не был поставлен так верно и правильно, и на той высоте созерцания, откуда обнимаются взором все его стороны и широко раздвигаются лежащие этот вопрос, так тесно внизу горизонты времени и места». Статья была проникнута глубоким церковным сознанием

и пламенной любовью к православной «вселенской» Церкви. Ничто в ней не предвещало приближения «катастрофы». И вот в том же (1883) году появляется «Великий спор и христианская политика» *. Соловьев приходит к католической ориентации и разрывает с Ив. Аксаковым. Это сочинение, презрительно названное Катковым «детским лепетом», является первым в России опытом богословского и исторического изучения «великого спора» между Востоком и Западом. Автор видит в разделении церквей не просто распрю за власть и борьбу за неприкосновенность догматов: он рассматривает это явление во всей его духовной и культурно-исторической сложности. Как ни спорны многие взгляды и выводы Соловьева, ему принадлежит заслуга единственно правильной постановки вопроса, инициатива растущего на наших глазах экуменического движения. Перерабатывая идеи, уже знакомые нам по предыдущим его сочинениям (особенно по «Чтениям о Богочеловечестве»), автор определяет характер восточной культуры как подчинение человека божественному началу, а западной — как самодеятельность человека. Восток выработал идеал теократии, теософии и теургии, Запад — эллинский идеал чистой философии и чистого искусства. Веря и поклоняясь человеческому началу, Запад искал *совершенного* человека и обоготворил Кесаря. Восток пришел к потребности воплощения *совершенного* Бога в самом человеке. «И ложный человекобог Запада — Кесарь, и мифические богочеловеки Востока одинаково призывали истинного Богочеловека».

По сравнению с «Чтениями о Богочеловечестве» эта новая концепция Соловьева более заострена и антитетична. Раньше он говорил о развитии божественного начала на Востоке и человеческого на Западе; теперь он противопоставляет богочеловечество человекобожеству. Духовная история человечества не представляется ему больше в виде самостоятельного развития тезиса и антитезиса, долженствующих наконец встретиться в синтезе. Это — параллельный процесс последовательных и все более полных взаимопроникновений Бога и человека.

Таким видоизменением достигается полное единство плана мировой истории.

Богочеловечество есть не только конечная цель развития, но и самый закон этого развития. Оно присутствует во всех явлениях религиозной жизни человечества как их *энтелехия*. Пред нами снова несомненное влияние Достоевского, его гениальной мысли о «встрече человекобога с Богочеловеком, Аполлона Бель-

* Под этим общим названием объединено семь статей.

ведерского с Христом». Но вывод Соловьева совершенно иной: встреча этих двух идей не есть столкновение истины и лжи, а путь к осуществлению полноты Богочеловечества. «Христианство, — пишет он, — есть откровение совершенного Бога в совершенном человеке... В Христе находят свою полноту и удовлетворение исторический Восток, верящий и поклоняющийся совершенному Божеству, но не могущий осуществить Его, только ищущий Его, и исторический Запад, верящий и поклоняющийся совершенному человеку, но с отчаянием находящий его под конец только в обезумевшем от самовластия Кесаре». Тут проходит линия, отделяющая Соловьева от Достоевского: последний видел в западном самоутверждении человека антихристово начало и отдавал половину христианского мира под начало Великого Инквизитора; первый *верил в человека* и самоутверждение его признавал законным путем к Богу. Достоевский, несмотря на свое всечеловечество, в антропологии своей был пессимистом, Соловьев в своем богословии всегда оставался гуманистом.

Явлением Христа открывается новый мир, в котором не должно быть ни восточной, ни западной культуры, а только одно истинное человечество, или Церковь. Задача ее в сочетание божественного и человеческого начала. Она осуществляется постепенно в истории Церкви, наталкиваясь на бесчисленные препятствия. «С первых времен христианства и доныне Богочеловек является для мира камнем преткновения и соблазна». Все многочисленные и разнообразные толпы еретиков (гностики, Арий, Несторий, Евтихий⁹⁷, иконоборцы) сходятся между собой в отрицании действительного Богочеловека. Истолкование всех восточных ересей как реакции древнего восточного принципа *бесчеловечного* Бога и сведение христологических лжеучений к исконному монофизитству Востока логически вытекают из общей концепции Соловьева, но исторически ничем не оправданы. Халкидонский догмат, являющийся высочайшей вершиной восточного богословия, представляется автору единоличным творением римского папы Льва Великого, арианство, охватившее весь западный мир, чисто восточной ересью и т. д. Знакомство Соловьева с историей Церкви было довольно поверхностно. Ради стройности своих схем он легко жертвует фактами; как всякому теоретику, действительность часто кажется ему слишком сложной и противоречивой, и он с ней не церемонится.

Антихристианское начало, побежденное в теории учением Церкви, не было побеждено в практике жизнью сынов Церкви. В Византии, рядом с Христовой Церковью существовало полужыческое общество и государство. Христиане уходили в пусты-

ню: монашество, признавшее в аскетизме высшую и безусловную цель жизни, не вместило полноты христианской истины. «Светское общество Византии страдало *практическим несторианством*, а монашество страдало *практическим монофизитством*. И те и другие возвращались к древней восточной идее бесчеловечного Бога. Под знаменем этой идеи выступает магометанство. Скрытый грех христианского Востока становится здесь явным, но это есть и историческое оправдание мусульманства... Восточные христиане потеряли то, в чем не были христианами, — независимость политической и общественной жизни».

Взгляды Соловьева на Византию и ислам — чистое «умозрение». У него была столь же субъективная и неоправданная вражда к Византии, как у Достоевского к католичеству. Происхождение мусульманства из «греха» восточного христианства — аффектная, но совершенно фантастическая гипотеза. «Деятельный Запад» создал великое монашество, а «созерцательный Восток», по словам самого же Соловьева, первый пытался осуществить теократический идеал. Соловьев правильно чувствовал противоположность восточной и западной культуры, но объяснял ее чисто теоретически, не касаясь глубины этой труднейшей проблемы.

Сурово осудив Восток, автор обращается к «грехам Запада». «Неподвижности» первого противостоит «суетность» второго. Церковь есть не только святыня, как полагал Восток, она также есть власть и свобода. «Божественное начало церкви должно не только пребывать и сохраняться в мире, но и *править* миром. Для истинного строения Царства Божия одинаково необходимы церковная святыня, церковная власть и церковная свобода». Человечество может воспринять их только при условии «нравственного акта самоотречения лиц и народов». Равновесие Богочеловечества, заложенное в Церкви, было нарушено Западом, сначала во имя власти (папизм), потом во имя свободы (протестантство). «Если Восток всецело отдался охранению священных *начатков* Царства Божия, то Рим прежде всего поставил заботу о *средствах* к достижению Царства Божия на земле». Организуя единство духовной власти, Рим забыл, что вершина Церкви есть свобода духовной жизни.

И тут Соловьев довольно неожиданно заявляет, что принцип, который последовательно проводится им для объяснения разделения церквей («деятельность» Запада и «созерцательность» Востока), «главного» не объясняет. «Но главная беда, — пишет он, — была не в том, что христианский Восток был слишком

созерцателен, а Запад слишком практичен, а в том, что у них обо-их было недостаточно христианской любви».

Это новое объяснение зачеркивает все предыдущие. Из плана культурно-исторического и богословского проблема переносится в план нравственный. Если «главная беда» в недостатке любви, то с этой «главной беды» и надо было начинать. Где глубокие ее истоки? Почему до IX века Восток и Запад «находились постоянно в положительном взаимодействии», почему «с IX века положение решительно изменяется»?

Сложным обходным путем Соловьев приближается к основному положению Хомякова: разделение церковей объясняется не догматическими расхождениями, а исключительно причиной нравственной; Хомяков всю вину разделения возлагал на Запад: католическая Церковь, введя новшества в догматы, совершила акт нравственного братоубийства по отношению к Востоку. Соловьев распределяет вину между Востоком и Западом. Обращаясь к истории русской Церкви, автор отмечает, что Россия вместе с православием получила из Византии и «византизм», т. е. вместе с вселенским преданием и местное. И тогда возник вопрос: почему греческое местное предание предпочтительнее русского? Так появляется в России *старая русская вера*, восстающая против реформ Никона. Русский раскол был естественным плодом и законным возмездием византизма.

Взгляд Соловьева на русское староверие непрерывно меняется: в статье «О духовной власти в России» он объяснял его происхождение «латинскими» новшествами Никона; в статье «О расколе в русском народе и обществе» — реакцией местного предания на вселенское предание православной Церкви, в «Великом споре» он считает его детищем «местного греческого предания», которое вводил Никон, «по вере грек». Эти колебания объясняются уже указанной нами особенностью творчества Соловьева. Его построения априорны; сначала создается теория и начерчивается схема, потом по графам и рубрикам распределяется исторический материал. Поэтому, выхваченные из разных композиций, те же факты выглядят по-разному: они иначе показаны, иначе освещены.

Приступая к шестой статье («Папство и папизм»), автор не скрывает от себя трудностей своей задачи. «Какая непроглядная мгла, какая сила вековых предрассудков и обманов, незабытых обид, незакрывшихся ран, страстей застывших и неодолимых! Где найти такое заклинание, чтобы исчезли перед нами эти злобные призраки, чтобы эти непогребенные мертвецы сошли в могилу?» Сущность «Великого спора» сводится к вопросу: имеет ли

Церковь практическую задачу в мире, для исполнения которой необходимо объединение всех церковных христианских сил под властью *центрального церковного авторитета*? На этот вопрос Римская церковь ответила утвердительно: она признала единство и нераздельность духовной власти, ее верховенство по отношению к власти государственной и безусловную обязательность церковного авторитета для каждого человека; она выставила требование троякого подчинения: церковного, политического и личного. И это требование — справедливо: Церковь должна действовать и бороться в мире, поэтому необходим авторитет, порядок, дисциплина. Но после разделения церквей папство в путях своих уклонилось от христианского идеала. Нужно отличать истинное папство от его искажения, или «папизма». В политической истории папизма Соловьев отмечает три момента: смешение духовного служения с мирским владычеством; старание достигнуть этого владычества интригой и вооруженной силой; после неудачи этих стараний унижение папства и впадение его в руки светской власти. Грех папизма в насильственном проведении теократической идеи, в превращении церкви в государство. История преподает нам три урока: разделение церквей показало, что Церковь насильственно объединяема быть не может; торжество светской власти во всем христианском мире показало, что Церковь насильственно над миром господствовать не может; и, наконец, протестантство показало, что человек насильно спасен быть не может.

В заключительной (седьмой) статье («Общее основание для соединения церквей») Соловьев признает первой задачей христианской политики восстановление церковного единства. Это не значит, однако, что православный Восток должен быть обращен в латинство, ибо в таком случае Церковь Вселенская превратилась бы в Церковь латинскую и христианство потеряло бы свое значение в человеческой истории. Воссоединение это возможно, ибо основное единство Вселенской Церкви, состоящее в богочеловеческом союзе людей с Христом — через апостольское преемство, догматы и таинства, нисколько не нарушено видимым разделением церковных обществ. «Итак, прежде всего должно признать, что как мы, восточные, так и западные, при всех разногласиях наших церковных обществ, продолжаем быть неизменно членами единой нераздельной Церкви Христовой... Каждая из двух Церквей уже есть Вселенская Церковь, но не в отдельности своей от другой, а в единстве с нею». Причина общего неуспеха христианского дела (дела созидания христианской культуры) лежит в антихристианском разделении Востока и За-

пада. И когда произойдет соединение католичества с православием, то за ним последует и воссоединение с Церковью протестантства: протестантское начало свободы займет высокое место в совершении Церкви, ибо совершение Церкви есть *свободная теократия*.

Мысли Соловьева, выраженные в этой статье, определили собой все дальнейшее направление его «христианской политики»; теперь они кажутся нам бесспорными и даже несколько элементарными. Но в восьмидесятые годы, когда чувство мистического единства Вселенской Церкви было почти утрачено, когда православные называли католиков еретиками, а католики православных — схизматиками, когда велась озлобленная схоластическая полемика между представителями двух церквей, — выступление Соловьева с призывом к справедливости и братской любви было великим нравственным подвигом. Признанием особой «духовной идеи» православия и невозможности обращения Востока в латинство Соловьев подготовил новое понимание церковного воссоединения, которое впоследствии было усвоено Римом и резко изменило его «латинствующую» политику.

Перелом, происшедший в мировоззрении Соловьева, сказывается особенно в двух пунктах: в отношении к русскому православию и в оценке католичества. Автор «Великого спора» уже не думает, что русское православие хранит в себе всю истину христианства; он отрицает за ним характер вселенскости и видит в нем преобладание греческого местного предания и русской старой веры. С другой стороны, отделяя папство от папизма, он утверждает, что католичество заблуждалось только в средствах, но не в целях. Соловьев становится убежденным апологетом великой католической идеи, горячим защитником принципов единства власти, авторитета и дисциплины. Чем был вызван такой внезапный перелом? Как сотрудник славянофильской «Руси», друг Достоевского и Ив. Аксакова мог столь неожиданно принять истину католичества? Логическое развитие заветной идеи Соловьева о всеединстве, юношеская мечта о синтезе божественного и человеческого начала в Богочеловечестве, жажда скорого осуществления Царства Божия на земле в форме свободной теократии — все это подготовляло перелом. И все же *наступление* перелома не может быть объяснено этими причинами. Кн. Евгений Трубецкой рассказывает, что у Соловьева был вещий сон, страшно его поразивший. Ему приснилось, что папский нунций благословляет его на дело воссоединения церквей. Этот сон впоследствии точно осуществился. Сам Соловьев в полусутливой форме пишет А. Кирееву о мистической причине своей новой церковной

ориентации. Соединение церквей должно быть не механическим, а внутренним, *химическим*. «Кой-что по части такой химии можем и мы сделать с Божией помощью. Мне еще с 1875 года разные голоса и во сне и наяву твердят: занимайся химией, занимайся химией — я сначала разумел это в буквальном смысле и пытался исполнить, но потом понял, в чем дело».

Историю разрыва между Соловьевым и Ив. Аксаковым можно проследить по их переписке 1883 г. и по статьям Аксакова в «Руси» 1884 г. Первые три статьи «Великого спора» Соловьева были напечатаны в «Руси» без всяких редакционных замечаний, хотя, пишет Аксаков, «мало симпатии внушал нам подчас его диалектический метод, переносимый в самые недра чисто мистических, не поддающихся анализу истин». «Когда дело дошло до четвертой статьи, т. е. до взаимных отношений Рима и Византии, и уже явно обнаружилось несчастное тяготение автора к папству... мы отказали в помещении этой статьи и упорствовали в своем отказе долее пяти месяцев». Наконец 14 ноября статья была напечатана со следующим примечанием. автора: «Эта статья сокращена и переделана из другой, более обширной статьи о разделении церквей, которая не была напечатана». Аксаков в «откровенном» письме возражал Соловьеву; тот ему отвечал: «Во всяком случае, вопрос о *примирении* великого спора не должен быть причиной малого спора между нами». Но новую идею свою он защищал страстно. «Мне кажется, — пишет Соловьев Аксакову, — вы смотрите *только* на папизм, а я смотрю прежде всего на великий, святой и вечный Рим, основную и неотъемлемую часть вселенской церкви. В этот Рим я верю, пред ним преклоняюсь, его люблю всем сердцем и всеми силами своей души желаю его восстановления для единства и целостности всемирной церкви, и будь я проклят, как отцеубийца, если когда-нибудь произнесу слово осуждения на святыню Рима».

После долгих колебаний Аксаков согласился напечатать остальные четыре главы «Великого спора», сопроводив их более или менее резкими оговорками, полемическими замечками протоиерея Иванцова-Платонова, возражением Киреева и другими статьями в том же духе. Особенно пострадала шестая статья Соловьева «Папство и папизм»; из нее были выпущены все святоотеческие и соборные свидетельства в пользу Рима, но зато она была снабжена двадцатью пятью критическими замечаниями прот. А. М. Иванцова-Платонова.

В приложении к книге «История и будущность теократии» Соловьев поместил свои подробные возражения на эту критику. Раздраженный таким бесцеремонным отношением редакции, он

резко пишет Аксакову: «Вы упрекаете меня в увлечениях. Дело в предмете увлечения, Я своих увлечений не стыжусь. Да я же Вас и предупреждал год тому назад». Он требует, чтобы заключительная статья «Великого спора» была непременно помещена в «Руси». «Обо мне распространился решительный слух, — пишет он, — что я перешел в латинство. Я бы не считал постыдным сделать это *по убеждению*, но именно мои убеждения не допускают ничего подобного... Братское отношение к Западной церкви противно нашим естественным интересам и нашему сомнению, но именно поэтому оно для нас нравственно-обязательно. Ни о какой внешней унии, вытекающей из компромисса интересов, здесь нет речи». Он потому и просит о напечатании последней статьи, что в ней выражено решительное осуждение всем бывшим доньше униям. «Желая этой статьей освободить себя от обвинения в одностороннем латинстве, я тем самым желаю снять и с Вас обвинение в напечатании моих статей. При указанном заключении в них не будет ничего для Вас предосудительного, ничего противоположного славянофильским принципам».

Это свидетельство поразительно: Соловьев убежден, что в своей защите католичества и проповеди единой Вселенской Церкви он остается верен принципам славянофильства. Расхождение с Аксаковым кажется ему простым недоразумением, а обвинение в увлечении латинством — клеветой. Он не может понять, что его «вселенская» точка зрения еще недоступна современникам, что историческое разделение церквей не может быть сразу же преодолено актом личного вхождения в единое мистическое тело Церкви. Он просто отказывается от выбора между католичеством и православием, отрицает историческую действительность и ставит себя в небывалое доселе положение — первого и единственного члена Вселенской Церкви. Необычайно религиозное дерзновение этого замысла, необычайно трагичность этого духовного одиночества. Соловьев верит, что вероисповедные перегородки до неба не доходят, и он считает их несуществующими. Но он живет еще на земле, и ему приходится постоянно на них наталкиваться, разбивать о них голову. Позиция его между католическим и православным миром кажется двусмысленной и соблазнительной. Он принадлежит и тому и другому, но принадлежит лишь в теории. На практике он вне этих миров, он выше их, и его не понимают ни католики, ни православные; «слишком ранний предтеча слишком медленной весны».

В 1884 году на статью Соловьева «О народности и народных делах России» Ив. Аксаков отвечает резкой отповедью в «Руси» («Против национального самоотречения и пантеистических тен-

денций, высказавшихся в статьях В. С. Соловьева)». Он признает искренность автора, но «искренность эта человека отвлеченного и диалектика, которому дороже всего диалектический вывод и мало заботы до его мучительных для жизни результатов, для которого *fiat logica et pereat mundus*»⁹⁸. Соловьев призывает русский народ к национальному самоотречению; во всех его умствованиях отсутствует любовь к ближайшим своим братьям. Аксаков с негодованием восклицает: «Лжет, нагло лжет, или совсем бездушен тот, кто предъявляет притязание перескочить прямо во “всемирное братство” через голову своих ближайших братьев, — семьи или народа, или же служить всему человечеству, не исполнив долга службы во всем его объеме своим ближайшим ближним», — и заканчивает: «Похвально для русского желать воссоединения церквей, но для правильного суждения об этом необходимо предварительно теснейшее воссоединение с духом собственного народа. Г. Соловьев не обще-человек, а потому напоминаем ему мнение Хомякова: “Истинное знание дается только ко жизни, не отделяющей себя от народа”».

Аксаков писал в пылу гнева, и его упреки Соловьеву не вполне справедливы, но он правильно почувствовал слабые места противника — диалектический и теоретический характер его построений и отсутствие внутренней органической связи с народной русской стихией. Соловьев не был укоренен в русской жизни; ему была чужда крепость и цельность славянофилов. Менее всего он был человеком «почвенным», связанным с укладом и строем старого помещичье-крестьянского быта. В своем мироощущении он был «без роду и племени», бездомным скитальцем, несколько абстрактным «всечеловеком». Оторванность от быта, от органических стихий мира придают его образу призрачность, бесплотность и невесомость. Он не внедряется в жизнь, а скользит по ней как тень. Он — «не от мира сего»⁹⁹.

Статья Аксакова рассеяла последние иллюзии Соловьева. Нельзя было продолжать говорить о «верности славянофильским принципам». Налицо было не досадное недоразумение, а глубокий разрыв. Соловьев резко полемизирует с Аксаковым, стараясь, однако, не превращать идейное расхождение в личную ссору. В последнем письме к нему (апрель 1884 г.) он пишет: «Как в прошлом году я не желал, чтобы “Великий спор” породил маленькую ссору между нами, так и теперь не желаю, чтобы народные дела России дурно повлияли на наши личные отношения. Я сердился на Вас несколько времени за чересчур сердитый тон Вашей

* Аксаков И. С. Полное собрание сочинений. Т. IV. СПб., 1903.

первой статьи и за некоторые совершенно несправедливые замечания Ваши. Но, кажется, ни Вы, ни я вечно сердиться не можем».

Аксаков принял протянутую руку и не менее великодушно ответил Соловьеву. «То, что Вы не сердитесь, — писал он, — облегчает мою душу. Я не без душевной боли и нападал на Вас. Напасть же, и напасть резко, я почитал своим долгом, ибо проповедовать России национальное самоотречение, когда мы от него именно страдаем, это от духа лестча¹⁰⁰. До свиданья, надеюсь. Когда начнется летний сезон, милости просим к нам на дачу».

На этом переписка между ними прекратилась: примирение осталось чисто внешним, порванную духовную связь возобновить им не удалось.

* * *

Полемика Соловьева со славянофилами по национальному вопросу продолжалась более восьми лет*. Сначала сдержанная и корректная, она становилась постепенно все более резкой и ожесточенной. Соловьев проявил себя блестящим, остроумным и смелым публицистом. В русской литературе рядом с ним можно поставить одного Герцена, но и тот уступает ему в силе диалектики, выразительности формулировок и логической ясности мыслей. У Соловьева — темперамент бойца, страстная убежденность, нравственный пафос, праведный гнев. Борьба его вдохновляет: он наносит жестокие удары и как будто любит их силой и меткостью. Его холодная беспощадность и непогрешимая ловкость производят иногда тягостное впечатление. Он действует во имя христианской любви, но в нем есть какое-то нездоровое упование разрушением. К тому же славянофилы, которых он уничтожает, — его родные братья: он сам вышел из их лагеря, идеологически тесно с ними связан, продолжает начатое ими дело.

Соловьев противопоставляет положительную силу народности отрицательной силе национализма. Национализм ставит выше всего исключительный интерес одного народа. От *такого* патриотизма избавила нас кровь Христова, пролитая иудейскими патриотами во имя своего национального интереса. «Аще оставим Его так, вей уверуют в Него, и приидут Римляне и возьмут место и язык наш...»¹⁰¹ Если руководиться только политикой интере-

* Эти журнальные статьи (числом 15) были впоследствии изданы автором в двух выпусках под общим названием «Национальный вопрос в России» (Выпуск I, 1883—1888. Выпуск II, 1888—1891).

са, тогда допустимо всякое злодейство: Англия морит голодом ирландцев, давит индусов, отравляет опиумом китайцев. Лучше отказаться от патриотизма, чем от совести. Народность есть не высшая идея, а природная историческая сила, которая сама должна служить высшей идее. С христианской точки зрения следует ценить народность не саму по себе, а только в связи с вселенской христианской истиной. Поэтому Россия должна отречься от своего национального эгоизма и признать себя частью вселенского целого. Самоотречение не есть самоубийство — напротив, это нравственный подвиг, высшее проявление духовной силы.

«Под русской народностью, — пишет Соловьев, — я разумею не этнографическую только единицу с ее натуральными особенностями и материальными интересами, а такой народ, который чувствует, что выше всех особенностей и интересов есть общее вселенское дело Божие, — народ, готовый посвятить себя этому делу, народ теократический по призванию и по обязанности».

Поздние славянофилы извратили вселенскую идею своих предшественников; так называемое «русское направление» выступило во имя русских начал и поставило национальный элемент выше религии. Православие превратилось в атрибут народности.

Впоследствии, в пылу полемики, Соловьев перестает различать два момента в развитии славянофильства. Все славянофилы, Ив. Киреевский и Хомяков, Аксаковы и Данилевский, Страхов и Катков, сливаются пред ним в одну массу, в одного врага, которого надо сокрушить. Он пишет, что славянофильство уже совершило свой круг: выросло, отцвело и принесло плод. Дурные качества этого плода доказывают, что дело славянофилов никуда не годилось. Катков «разъяснил недоразумение» этой школы. В нем она нашла свою Немезиду: он освободил религию народности от всяких идеальных прикрас и объявил народ предметом веры во имя его силы. Эта сила представлена государством, а поэтому правительство есть живое личное слово обожествленного народа.

«Поклонение своему народу, — продолжает Соловьев, — как преимущественному носителю вселенской правды; затем поклонение ему как стихийной силе, независимо от вселенской правды, наконец, поклонение тем национальным односторонностям и аномалиям, которые отделяют народ от образованного человечества, — вот три фазы нашего национализма».

В 1891 году Соловьев подводит итоги борьбы: враг окончательно уничтожен. «Славянофильство, — пишет он, — в настоящее время не есть реальная величина; никакой «наличности» оно не имеет... Славянофильство умерло, и этот факт не изменится, если разложение называть развитием».

В письме к А. Н. Аксакову он заявляет, что ему было суждено нанести этому учению последний удар — *coup de grâce*.

Но и в минуту торжества над врагом ненависть победителя не смягчается. Несправедливой суровостью дышит его отходная славянофильству: «Грех славянофильства не в том, что оно приписало России высшее призвание, а в том, что оно недостаточно настаивало на нравственных условиях такого призвания. Оно забыло, что величие обязывает; провозгласило народ Мессией, а он стал действовать как Варава. Оказалось, что глубочайшей основой славянофильства была не христианская идея, а зоологический патриотизм».

Соловьев был прав в своем обличении эпигонов славянофильства; благодаря его полемике их языческий национализм, прикрывавшийся официальным народничеством, и обскурантизм, прятавшийся за официальное православие, были обнаружены и заклеяны. Прав он был и в том, что и в раннем славянофильстве подметил противоречивое смешение христианского универсализма с национальной гордостью. Но он был глубоко несправедлив, ставя на одну доску Хомякова и Страхова, Ив. Киреевского и Астафьева. Он осуждал все дело славянофилов на основании политики Каткова и Победоносцева и не хотел видеть громадного значения этой школы в истории русского сознания.

* * *

В *curriculum vitae* 1887 года Соловьев пишет, что после оставления профессорской деятельности он сосредоточил свои занятия «на вопросе о соединении церквей и о *примирении христианства с иудейством*». Первое его соприкосновение с еврейским миром происходит в 1881 году: он задумывает статью об иудействе и знакомится с «талмудским юношей» Файвелем Бенцеловичем Гецем¹⁰², который снабжает его книгами по еврейскому вопросу. Дружба Соловьева с Гецем продолжается до самой смерти философа. Уже в первом письме к нему Соловьев выражает свою глубокую симпатию к еврейскому народу. «Я в последнее время имел случай убедиться, — пишет он, — что в действующей русской интеллигенции самый честный элемент есть все-таки еврейский». В связи с работой над теократией он принимается за изучение древнееврейского языка и берет уроки у Геца; три года читает Библию и Талмуд. Бывало, рассказывает Гец *, «придет

* Статья Ф. Геца «Об отношении Вл. С. Соловьева к еврейскому вопросу» в «Вопросах философии и психологии» (1901. Кн. 56).

Вл. С. ко мне часов в десять вечера и останется до двух часов ночи и позже... Главное, он интересовался объяснениями и толкованиями талмудических и раввинских комментаторов. Потом взялся за изучение Талмуда. Прочел у меня трактаты “Абот”, “Абода-зара”, “Иома”, “Сукку”¹⁰³; читал также немецкие книги о талмудической письменности, занимался еврейской историей и литературой». Плодом этих занятий явилась “История ветхозаветной теократии”, составляющая первый том “Истории и будущности теократии”.

Теократическая концепция Соловьева связана с изучением истории «боговластия» Ветхого Завета. Самая идея теократии — чисто иудаистическая; заблуждение философа заключалось в том, что он переносил ее в историю христианской Церкви и пытался подчинить «царство благодати» порядку «царства подзаконного»¹⁰⁴.

В 1884 году появляется большая статья Соловьева «Еврейство и христианский вопрос». «Еврейский вопрос есть вопрос христианский», — заявляет автор. Иудеи всегда относились к христианам, согласно предписаниям своей веры, по-иудейски; христиане же доселе не научились относиться к иудейству по-христиански. В еврейском вопросе христианский мир обнаруживал доньше или ревность не по разуму, или бессильный индифферентизм. И то и другое отношение чуждо христианскому духу. Автор признает только *религиозное* разрешение еврейского вопроса. «Мы потому отделены от иудеев, что мы еще не вполне христиане, и они потому отделяются от нас, что они не вполне иудеи. Ибо полнота христианства обнимает собой и иудейство, и полнота иудейства есть христианство». Чтобы понять евреев, надо ответить на три вопроса: 1) почему Христос был иудеем, почему краеугольный камень Вселенской Церкви взят в доме Израилевом? 2) почему большая часть Израиля не признала своего Мессию? и 3) почему наиболее крепкие в религиозном отношении части еврейства вдвинуты в Россию и Польшу?

В национальном характере еврейского народа автор отмечает три главные черты. Евреи прежде всего отличаются глубокой религиозностью, затем крайним развитием самосознания и самостоятельности и, наконец, крайним материализмом. В иудейской религии начало божественное и начало человеческое пребывают нераздельно, но и неслиянно. «Наша религия, — пишет Соловьев, — начинается личным отношением между Богом и человеком в древнем завете Авраама и Моисея и утверждается теснейшим личным соединением Бога и человека в новом завете Иисуса Христа». Эти два завета суть две ступени одной и той же *богоче-*

ловеческой религии. Еврейский материализм следует понимать в религиозном смысле: иудейская мысль не отделяла дух от его конкретного выражения: она видела в природе не дьявола и не Божество, а лишь недостроенную обитель богочеловеческого духа. Идея *святой телесности* стоит в центре религиозной жизни Израиля. Вот почему Бог открылся как личность и воплотился именно среди израильского народа; вот почему еврейство есть избранный народ Божий.

По мнению Соловьева, искажение национального характера евреев объясняется перевесом человеческих особенностей над религиозным элементом: национальное самочувствие превращается тогда в национальный эгоизм, а материализм становится корыстолюбием.

«Окончательная цель для христиан и для иудеев одна и та же — вселенская теократия, осуществление божественного закона в мире человеческом. Но в христианстве нам открылся сверх того и путь к этой цели, и этот путь есть крест. Вот этого-то крестного пути и не сумело понять тогдашнее иудейство». Крест Христов требовал от иудейского народа двойного подвига: отречения от своего национального эгоизма и временного отказа от земного благополучия. Если для иудеев идея креста, налагаемого на человека, являлась уже большим соблазном, то крест, поднятый самим Богом, стал для них соблазном соблазнов. Доказать им, что они ошибаются, можно только фактически, осуществляя на деле христианскую идею. Вот почему еврейский вопрос есть вопрос христианский.

В заключение автор впервые набрасывает свой план будущего теократического строя. Полнота его требует равномерного развития трех орудий Божественного правления — священства, царства и пророчества. Ветхозаветная теократия вознесла пророческое служение в ущерб двум другим; западное христианство утвердило преимущественно священство; на долю Византии выпало одностороннее развитие царства. Но эти три начала, разъединенные в наше время, бессильны осуществить в полноте христианскую идею. «Можно было бы отчаяться в судьбах христианства, — пишет Соловьев, — если бы в запасе всемирной истории не хранились еще свежие силы — силы славянских народов». Он верит, что теократическое царство явится соединением всемирного священства (папства) с русским царством. Посредницей этого соединения будет Польша, ибо «весь смысл и вся сила польского народа в том, что среди славянства, перед лицом Востока, она носит и представляет католичество». И автор пророчествует: «Наступит день, и исцеленная от долгого безумия Польша

станет живым мостом между святыней Востока и Запада. Могущественный царь протянет руку помощи гонимому первосвященнику. Тогда восстанут и истинные пророки из среды всех народов и будут свидетели царю и священнику. Тогда прославится вера Христова, тогда обратится народ Израилев».

В теократическом царстве евреям будет принадлежать экономическая, материальная область. «Как некогда цвет еврейства послужил восприимчивой средой для воплощения Божества, так грядущий Израиль послужит деятельным посредником для очеловечения материальной жизни и природы, для создания новой земли, идеже правда живет»¹⁰⁵.

Статья о еврействе — одна из самых замечательных работ Соловьева. Он был первым русским мыслителем, смело заявившим, что «еврейский вопрос есть христианский вопрос». После выступления Соловьева «идеологический антисемитизм» стал более невозможным. Он сорвал с него все маски и показал его антихристианский, звериный характер. На чем бы ни строилась в дальнейшем «христианская политика», она не может не считаться с идеями Соловьева: совершенный им акт мужества и справедливости изменил что-то внутри христианского мира.

Еврейству и его истории посвящен ряд других статей Соловьева: «Новозаветный Израиль» (1885), «Талмуд и новейшая полемическая литература о нем в Австрии и Германии» (1886), «Евреи, их вероучение и нравоучение» (1891), «Когда жили еврейские пророки?» (1896).

Соловьев принимает близко к сердцу судьбу русских евреев, борется с юдофобством «русского направления», протестует против преследований евреев, ратует за их полное равноправие. Узнав в 1886 г. о новой волне погромов, он пишет Гецу из Загреба: «Что же нам делать с этой бедой? Пусть благочестивые евреи усиленно молят Бога, чтобы Он отдал судьбы России в руки религиозных и вместе с тем разумных и смелых людей, которые и хотели бы, и умели, и смели сделать добро обоим народам». В 1887 году он с радостью сообщает Гецу, что уже прочел по-еврейски всех пророков. «Теперь, слава Богу, могу хотя отчасти исполнять долг религиозной учтивости, присоединяя к своим ежедневным молитвам и еврейские фразы». Он цитирует по-еврейски стихи из псалмов Давида. Его перо «всегда готово к защите бедствующего Израиля». Когда в 1888 г. Ф. Гец задумывает издание еврейского журнала, Соловьев дает ему рекомендательные письма на имя цензоров Майкова и Феоктистова¹⁰⁶. В 1890 г. он предлагает Льву Толстому составить текст протеста против антисемитизма. Толстой ему пишет: «Я вперед знаю, что если Вы, Владимир

Сергеевич, выразите то, что Вы думаете об этом предмете, то Вы выразите и мои мысли и чувства, потому что основа нашего отворачивания от мер угнетения еврейской национальности одна и та же: сознание братской связи со всеми народами и тем более с евреями, среди которых родился Христос». Соловьев сам составляет текст и собирает под ним многочисленные подписи. Через год он посылает Гецу обширное письмо с обличением антисемитизма, разрешая поместить его в виде предисловия в книге последнего «Слово подсудимому». Книга эта была немедленно конфискована цензурным комитетом, и все хлопоты Соловьева оказались безуспешны.

В заключение приведем оценку деятельности Соловьева в защиту еврейства, принадлежащую Ф. Гецу. «Можно безошибочно утверждать, — пишет он, — что со смерти Лессинга не было христианского ученого и литературного деятеля, который пользовался бы таким почетным обаянием, такой широкой популярностью и такой искренней любовью среди еврейства, как Вл. С. Соловьев, и можно предсказать, что и в будущем среди благороднейших христианских защитников еврейства рядом с именами аббата Грегуара¹⁰⁷, Мирабо¹⁰⁸ и Маколея¹⁰⁹, будет благоговейно, с любовью и признательностью упоминаться благодарным еврейским народом славное имя Вл. С. Соловьева».

10

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗНАКОМСТВА (К. ЛЕОНТЬЕВ, Н. ФЕДОРОВ,
А. ФЕТ). «ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ ЖИЗНИ»
(1882—1884)

В начале 80-х годов Соловьев познакомился с К. Н. Леонтьевым. Это был человек, прямо противоположный ему по душевному складу и ощущению жизни.

«У Вл. Соловьева, — пишет Н. Бердяев *, — была абстрактная и иногда обманчивая ясность мышления, что-то скрывающая и прикрывающая; у К. Леонтьева была конкретная, художественная ясность мышления, раскрывающая всю сложность его природы и его запросов. Как писатель Вл. Соловьев не художник, как человек не эстет... К. Леонтьев — ясный в своем добре и в своем зле. Вл. Соловьев — весь неясный и загадочный, в нем много обманчивого».

* Бердяев Н. Константин Леонтьев. Париж: YMCA-Press, 1926.

О. Иосиф Фудель^{*110} рассказывает о «романе» между Леонтьевым и Соловьевым. Леонтьев страстно полюбил Соловьева, его дружба походила на влюбленность. «Я его очень люблю лично, сердцем, — признавался он, — у меня к нему просто физиологическое влечение». Соловьев принимал эту любовь, позволял себя любить, но сам оставался сдержанным и холодноватым. Леонтьев писал о. Фуделю о Соловьеве: «Что он гений, это — несомненно, и мне самому нелегко отбиваться от его обаяния (тем более, что мы сердечно любим друг друга)». Соловьев считал Леонтьева «умнее Данилевского, оригинальнее Герцена и лично религиознее Достоевского». Но он ни разу не высказался по существу о творчестве Леонтьева; когда тот выбрал его судьей в своем споре с Астафьевым по национальному вопросу, Соловьев уклонился от этой роли. Леонтьев говорил о Соловьеве с восхищением и преклонением. «Но лучше я умолкну на мгновение, и пусть говорит вместо меня Вл. Соловьев, человек, у которого я недостойн ремень обуви развязать». Так отдавать себя Соловьев не умел. Его статья о Леонтьеве в «Энциклопедическом словаре» очень осторожна и «проблемы» Леонтьева почти не касается. В примечании к статье «О народности и народных делах России» Соловьев вскользь упоминает о Леонтьеве, называя его «талантливым и оригинальным автором книги “Византизм и славянство”»; на критический этюд Леонтьева «Наши новые христиане» он отвечает короткой заметкой в защиту Достоевского. Вот и все, что он написал о своем друге. Леонтьев имел основание горько жаловаться на Соловьева и говорить, что тот «предает» его своим молчанием. Беспощадная полемика Соловьева со славянофилами мучительно переживалась Леонтьевым. Но он прощал ему все его несправедливости и увлечения. После долгой разлуки они встретились как близкие друзья. «Мы не только не поссорились, — рассказывал Леонтьев о. Фуделю, — но все обнимались и целовались. И даже больше он, чем я. Он все восклицал: “Ах, как я рад, что Вас вижу”. Обещал приехать ко мне зимой. Да я не надеюсь». Но последнего испытания любовь Леонтьева все же не выдержала. Когда он понял, что Соловьев сближает христианство с гуманитарным прогрессом и демократией (в статье «Об упадке средневекового миросозерцания»), он возненавидел его так же страстно, как страстно раньше любил. Эта вражда мучила его перед смертью, отравляла последние минуты. Леонтьев называет Соловьева «сатаной» и «негодяем», рвет его фотографию,

* О. Иосиф Фудель. К. Леонтьев и Вл. Соловьев в их взаимных отношениях // Русская мысль. 1917. Нояб.—дек.

требует его высылки за границу, предлагает духовенству произносить проповеди против него.

Соловьев оказал огромное влияние на Леонтьева, заставил его разочароваться в своем идеале самобытной русской культуры, в своей вере в православное славянское царство. Но и в жизни Соловьева встреча с Леонтьевым не прошла бесследно. Леонтьев первый закричал о том, что путь Соловьева ведет к пропасти; что в его величественном строительстве теократического царства есть какая-то зловещая ложь. Он первый почувствовал в деле Соловьева веянье «антихристового» духа. И Соловьев в «Трех разговорах» признал правду Леонтьева, его мрачный пессимизм и апокалиптическое вдохновение. В скрытой трагической борьбе между двумя мыслителями внешне побежденный Леонтьев в конце концов вышел победителем.

* * *

Другой замечательный человек, имевший влияние на Соловьева в 80-е годы, был Николай Федорович Федоров, гениальный автор «Философии общего дела», такой же одинокий и непонятый мыслитель, каким был и Соловьев. С его учением Соловьев познакомился еще в 1878 году, в разгар своей дружбы с Достоевским. Последователь Федорова народный учитель Петерсон изложил Достоевскому основные идеи «Философии общего дела». Они глубоко его взволновали, и он писал Петерсону: «Мы здесь, то есть Соловьев и я по крайней мере, верим в действительное, буквальное и личное воскресение и в то, что оно будет на земле».

В начале восьмидесятых годов Соловьев в Москве встретился с Федоровым. Сначала он отнесся к нему как к гениальному чудаку, был поражен необычайным своеобразием его личности, но в его «странные» идеи до конца поверить не мог. Он писал Н. Н. Страхову: «Иногда очень приятно и забавно беседуем с Н. Ф. Федоровым, который меня совершенно очаровал, так что я даже думаю, что и его странные идеи недалеко от истины». Постепенно отношение его к автору «Философии общего дела» меняется. Он внимательно изучает рукописи Федорова. «Проект» всеобщего воскрешения умерших отцов объединенными силами сынов, замысел, дерзновенный до безумия и до какого-то мистического ужаса, кажется ему новым откровением христианского духа. Он пишет Федорову: «Прочел я Вашу рукопись с жадностью и наслаждением духа, посвятив этому чтению всю ночь и часть утра, а в следующие два дня, субботу и воскресенье, много думал

о прочитанном. «Проект» Ваш я принимаю *безусловно* и без всяких разговоров: поговорить же нужно не о самом проекте, а о некоторых теоретических его основаниях или предположениях, а также и о первых практических шагах к его осуществлению... Пока скажу только одно, что со времени появления христианства Ваш «проект» *есть первое движение* вперед человеческого духа по пути Христову. Я со своей стороны могу только признать Вас своим учителем и отцом духовным... Будьте здоровы, дорогой учитель и утешитель».

Учение Федорова сводится к положению: «объединение сынов для воскрешения отцов». Люди живут в разъединении и вражде. «Гражданственность заменила «братственность», «государственность» вытеснила «отечественность». «Для нынешнего века, — пишет Федоров, — отец — самое ненавистное слово, а сын — самое унижительное». Нужно уничтожить распрю между государствами, народами, классами, нужно создать бесклассовое общество, единую семью, братственность. В социальном смысле учение Федорова, пожалуй, радикальнее марксизма — и отсюда становятся понятны попытки некоторых его последователей связать «Философию общего дела» с коммунизмом. Но проект Федорова перерастает план социальный и вполне раскрывается только в плане религиозном. Цель «объединения сынов» не в земном благополучии, а в продолжении дела Христа. Все живущие сыны соединяются для единственной задачи — воскрешения умерших отцов. «Религия и есть дело воскрешения». Христос своим воскресением указал человечеству путь и цель. В настоящее время духовные силы людей парализованы враждой и борьбой; но когда они воссоединятся в любви — все им станет возможно. Человечество будет действительно владычествовать над землей и управлять стихиями. «В регуляции, в управлении силами природы, — пишет Федоров, — и заключается то великое дело, которое может и должно стать общим». Тогда смертоносная сила природы сделается живоносной, рождение будет заменено воскрешением, любовь половая любовью сыновней. Мир должен быть восстановлен силами самого человечества. «Приготовление из целого человеческого рода орудия, достойного Божественного через него действия, есть задача богословов».

Если человечество объединится в любви, не будет катастрофического конца света и Страшного Суда. Наш земной мир без потрясений эволюционно превратится в Царствие Божие.

Мы понимаем, почему Соловьев с «жадностью» читал рукопись Федорова. «Братственность», к которой призывал автор «Философии общего дела», была близка заветной идее Соловье-

ва о всеединстве; Федоров говорил о религии как о реальной космической силе, преображающей мир, ставил христианству грандиозную практическую задачу — всеобщего воскресения, подчеркивал значение человеческого элемента в религиозном деле, требовал полного осуществления человеческого творчества — научного, технического, социального, богословского. Наконец, он пламенно верил, что Царствие Божие явится результатом единого богочеловеческого процесса, что оно будет здесь, на земле, что оно увенчает собою «общее дело» человечества, мир, преображенный силами человеческого творчества.

Но при ближайшем знакомстве с учением Федорова, в долгих беседах с ним Соловьев смущался и недоумевал. Религия Федорова была для него слишком натуралистична, его мистицизм иногда напоминал какую-то естественную магию. Воскрешение мертвых с помощью научной регуляции сил природы и технического прогресса принимало нередко вид колдовства. Божественное начало в богочеловеческом деле явно заслонялось человеческой самодеятельностью. Чудеса техники упраздняли чудо благодати. Покойники вставали из гробов в своих земных телах, получалась дурная бесконечность земной жизни, а не преобразование мира. Проект Федорова давал человечеству власть над прошлым, он делал «бывшее как бы не бывшим», но он не был обращен к будущему. Чем-то бесконечно древним, языческим, праславянским веяло от его культа предков: воскрешение отцов прекращало рождение детей, сыновняя любовь уничтожала любовь отеческую. Наконец, в учении Федорова совершенно отсутствовала идея Креста и искупления; у него не было никакой чувствительности ко злу, и понятие греха не вмещалось в его построение. О своих сомнениях Соловьев писал Федорову:

«Простое физическое воскресение умерших само по себе не может быть целью. Воскресить людей в том состоянии, в каком они стремятся пожирать друг друга, воскресить человечество на степени каннибализма было бы и невозможно, и совершенно нежелательно... Если бы человечество своей деятельностью покрывало Божество (как в Вашей будущей психократии), тогда действительно Бога не было бы видно за людьми; но теперь этого нет, мы не покрываем Бога, и потому Божественное действие (благодаря) выглядывает из-за нашей действительности, и притом в тем более чуждых (чудесных) формах, чем менее мы сами соответствуем своему Богу... Следовательно, в положительной религии и Церкви мы имеем не только начаток и прообраз воскресения и будущего Царствия Божия, но и настоящий (практический) путь и действительное средство к этой цели. Поэтому наше дело и дол-

жно иметь религиозный, а не научный характер и опираться должно на верующие массы, а не на рассуждающих интеллигентов».

Соловьев почувствовал, что «Общее дело» Федорова строится не на мистическом учении Церкви, а на натуралистическом гуманизме. Но в целом огненный, героический дух федоровского «проекта» пленил «прожектора» Соловьева. Влияние Федорова ускорило его переход к церковно-общественной деятельности и к строению земного теократического царства.

* * *

К 80-м годам относится также начало многолетней дружбы Соловьева с А. А. Фетом. Дружба эта была особенная. Фет был прямым антиподом Соловьева по характеру и убеждениям. Его сознательная и упорная враждебность христианству, свирепое и мрачное реакционерство, его ненависть ко всему «разумному и полезному» и отвращение к общественной деятельности приводили Соловьева в уныние. Но он предпочитал не возмущаться, а смеяться над дикими выходками своего приятеля: считал его безответственным, не принимал всерьез его «идеологии» и умилялся его детской непосредственностью. В Воробьевке, имении Фета, Соловьев отдыхал в атмосфере патриархального помещичьего быта и чистой лирической поэзии. Он все прощал Фету за его поэтический талант, добродушие и остроумие. Певец природы сам казался ему «явлением природы»: его полнокровная чувственность, наивное эпикурейство, ребяческий эгоизм пленяли раздвоенного и отрешенного мыслителя. Соловьев любил погружаться в «природный» мир поэта, в запахи земли, в шелест трав, в краски восходов и закатов. Он переводил с Фетом латинских поэтов, исправлял его стихи и помогал их печатанью. В 1881 году Соловьев с Н. Н. Страховым и графиней С. А. Толстой редактирует фетовский перевод «Фауста» и хлопочет об издании его. Для него Фет — жрец чистого искусства, «истинный антиутилитарный поэт». Он подшучивает над его человеческими слабостями, но преклоняется перед бескорыстным служением Аполлону, своего рода «теургическим действием». Письма Соловьева к автору «Вечерних огней»¹¹¹ полны непривычной для него нежности. Он постоянно тоскует по тихому уюту Воробьевки, по долгим вечерним беседам о Вергилии и Горации. В одном письме 1889 г. Соловьев пишет Фету фетовским поэтическим языком; «Приветствуют Вас все крылатые звуки и лучезарные образы между небом и землею. Кланяется Вам также и меньшая братия: слепой жук, и вечерние мошки, и кричащий коростель, и молчали-

вая жаба, вышедшая на дорогу. А наконец приветствую Вас и я, в виде того серого камня, который Вы помянули добрым словом... Бесценный мой отрезок настоящей, неподдельной радуги, обнимаю Вас мысленно в надежде на скорое свидание».

И только однажды неприглядный человеческий образ Фета заставил Соловьева изменить своей снисходительной любви к поэту. Когда Фет получил камергерство и часами простаивал перед зеркалом, гордясь и любуясь своим расшитым золотом мундиром, Соловьев не выдержал. В письме к брату Михаилу он приводит две эпиграммы. Первая:

Поговорим о том, чем наша жизнь согрета,
О дружбе Страхова, о камергерстве Фета.

И вторая, более злая:

Жил-был поэт,
Нам всем знаком.
Под старость лет
Стал дураком.

После трагической смерти Фета Соловьев долго не мог успокоиться. Его мучило, что поэт покончил самоубийством, умер, не примирившись с Богом. Он постоянно слышал голос Фета, страдающего за гробом. Тревога за душу умершего друга отразилась в его поэзии:

С пробудившейся землею
Разлучен, в немой стране
Кто-то с тяжкою тоскою
Шепчет: вспомни обо мне.

(Стихотворение «Наконец
она потрянула...», 1895 г.)

Здесь тайна есть... Мне слышатся призывы
И скорбный стон с дрожащею мольбой...
Непримиримое вздыхает сиротливо,
И одинокое горюет над собой.

(«Памяти Фета», 1897 г.)

Чем помочь обманувшей, обманутой доле?
Как задачу судьбы за другого решить? —
Кто мне скажет? Но сердце томится от боли
И чужого крушенья не может забыть.

(«Песня моря», 1898 г.)

Влияние Фета было определяющим для всего поэтического творчества Соловьева. Автор «Вечерних огней» был его главным поэтическим учителем: он научил его технике стиха, ввел в мир

своих образов и ритмов. В пантеистическом чувстве природы Фета Соловьев нашел отзвуки своей мистической интуиции «всеединства». Звонящий, сверкающий и благоухающий мир Фета, охваченный весенним томлением и любовным трепетом, пленял Соловьева своей телесностью, *материальностью*, но пугал замкнутой, самодовлеющей красотой. За «блистательным покровом» лик Божества оставался скрытым: у Фета была ликующая, торжествующая материя, но не *богоматерия*, о которой учил Соловьев. В стихах философа поэтический натурализм Фета одухотворяется. Плоть мира становится прозрачной, образы превращаются в символы, яркие краски тускнеют, звучания приглушаются, и «под грубой корою вещества» начинает просвечивать «нетленная порфира».

Эстетические взгляды Соловьева сложились в долголетнем интимном общении с «чистым лириком». Его теория искусства есть результат размышлений над творчеством близких ему поэтов — Фета, Полонского, Алексея Толстого. В статье «О лирической поэзии» он строит свою эстетическую теорию на конкретном материале стихов Фета и Полонского. По поводу другой работы, «О красоте в природе», он пишет Фету: «Определяю красоту с отрицательного конца, как *чистую бесполезность*, а с положительного, как *духовную телесность*... Статья, надеюсь, заслужит Ваше одобрение».

* * *

В мае 1883 года Соловьев заболел и был близок к смерти. Об этом трагическом периоде его жизни рассказывает его сестра М. С. Безобразова. К этому времени любовь Соловьева к С. П. Хитрово достигла высшего напряжения. В боковом кармане жилета у груди он носил талисман: вязаный розовый башмачок с ноги ребенка любимой женщины. «Изредка вынимал, любясь, смотрел на него с улыбкой, иногда целовал и опять бережно прятал. Раз он пришел в отчаянье, так как ему показалось, что он его потерял. Поднял тревогу, но через несколько минут вернулся, держа в приподнятой правой руке бережно, двумя пальцами розовый башмачок! На лице и радость, и смущение, и виноватость». Сестра шутливо говорит: «Ну что же ты так держишь? Чего доброго пыль сядет; целуй скорей и прячь на сердце». — «Дддурища!» — смущенно и виновато смеясь, отвечает он и, отвернувшись, производит точь-в-точь то, что она сказала.

Когда Соловьев получал письмо от Софии Петровны, он читал его с паузами, по несколько слов, по фразе. «Чего ж тут непонят-

ного, — говорил он. — Если бы я прочел все сразу, впереди не было бы никакого утешения, а так я дялю блаженство. Ну, а с другой стороны, это учит и самообладанию».

«Всю зиму 1883 года он ждал и надеялся, что та, которую он называл своей невестой, решится на последний шаг (развод), чтобы стать его женой. В общем он ждал этого решения десять лет, но тогда, в ту весну, положение особенно обострилось. Помню, с каким таинственным и сияющим лицом брат иногда за обедом говорил: “Пью за здоровье моей невесты!” Потом, обратясь к матери: “Мама, она скоро к вам приедет, желает с вами познакомиться”. Последние дни перед тем, как заболеть, ждал писем, выходил из своей комнаты на каждый звонок и был то страшно мрачен, то безумно радостен. И вдруг заболел, и сразу плохо: не то тиф, не то нервная горячка. Впрочем, тут была и простуда, и надрыв нервов...» Думая, что умирает, он попросил сестру прочесть ему евангельское повествование о браке в Кане Галилейской.

«Покуда я читала, — продолжает М. С. Безобразова, — брат все время, не переставая, крестился крупным, истовым крестом, нажимая пальцами на лоб, грудь и плечи. Я кончила читать, а он все продолжал так креститься, и в этом движении яснее всяких слов чувствовалась мне вся страстность желания брата жить и в то же время вся полнота его покорности воле Божией... Я пошла, но в дверях обернулась на брата и увидала, что он опять крестится, как раньше, и явственно услышала страстный, горячий шепот: “Господи, спаси! Господи, помоги!”».

Соловьев готовился к смерти, слушая Евангелие о браке в Кане Галилейской; он отказывался от земного брака, от личного счастья здесь, на земле, и благоговейно входил в брачный чертог Небесного Жениха. Кана Галилейская была для него прообразом Царствия Божия, неразрывно связывалась с самыми мистическими страницами в «Братьях Карамазовых» Достоевского. Как Алеша, он переживал восторг преображения земли. Вечери Агнца, на которой «празднующих глас непрестанный».

Выздоровев, Соловьев уезжает на лето к графине С. А. Толстой в Красный Рог и пишет оттуда брату Михаилу: «Я, кажется, вполне выздоровел, но у меня был настоящий тиф, даже волосы стали лезть, и я должен был обрить голову. Это настолько уменьшило мою красоту, что юнейший из здешних младенцев Рюрик (сын С. П. Хитрово) с озабоченным видом спрашивает у всех домохозяев: “Ведь Соловьев урод, правда, урод?”».

Этим летом Соловьев читает униатскую полемику XVI века польски и Данте по-итальянски. Изучение Данте, особенно его

трактата «De monarchia»¹¹², помогает ему окончательно оформить свою концепцию тройственной теократической власти: первосвященника, императора и пророка. По-итальянски он свободно читает самые трудные стихи, переводит знаменитые эпиграммы Дж. Б. Строщи¹¹³ и Микеланджело и стихи Петрарки, которым дает название «Хвалы и моления Пресвятой Деве». В письме к графине С. А. Толстой он называет свой перевод «акафистом»; в нем переплетаются мотивы католической мистики и православной литургики. Богородица — «в солнце одетая, звездно-венчанная Царица Небесная», «всем гонимым Покров неизменный, щит всех скорбящих, пристань спасения, лестница чудная, к небу ведущая, таинница Божьих советов, живой храм, лилия чистая, купина негорящая, Божьих советов ковчег неизменный, манны небесной фиал драгоценный». В духовный мир Соловьева входит образ Пренепорочной Девы, таинственно сочетается с образом Вечной Женственности, однако не сливается с ним. В почитании Божьей Матери он видит живое сердце Вселенской Церкви, мистическую встречу православия с католичеством.

Соловьеву открывается *духовная реальность* Церкви. Об этом новом, огромном по значительности переживании свидетельствует стихотворение 1884 года «От пламени страстей, нечистых и жестоких...». Не одинокие порывы, не тоскующая мечта, не праздные думы и слова ведут к утраченной святине. Есть единый, указанный Богом путь — и это путь Церкви. Библейские образы его юношеских «теософических» стихов светятся новым светом, говорят о «Сионской твердыне» — Церкви.

И не колеблются Сионские твердыни,
Саронских пышных роз не меркнет красота,
И над живой водой, в таинственной долине
Святая лилия нетленна и чиста.

Вступление в новое, церковное сознание было для Соловьева не завершением естественной эволюции его мысли, а новым мистическим откровением. Перед нами снова не плоскость развития, а внезапный порыв, *transcensus*. На жизнь Соловьева набегает новая мистическая волна. После свидания в Египте наступил отлив: в напряженной философской работе, проповеди, общественной деятельности, в суете и горячке больших и малых дел он как будто забыл о Вечной Подруге — она больше ему не являлась. И вот снова налетает ветер из «той страны», снова зовы, отблески и отзвуки. Пробуждением мистической энергии ознаменованы в его жизни все поворотные годы. В 1882 году он пишет:

Под чуждой властью знойной выюги
Виденья прежние забыв,
Я вновь таинственной подруги
Услышал гаснущий призыв.
И с криком ужаса и боли,
Железом схваченный орел —
Затрепетал мой дух в неволе
И сеть порвал и в высь ушел.

В 1883 году — тоже пробуждение от «суетных тревог»:

Неясный луч знакомого блистанья,
Чуть слышный отзвук песни неземной, —
И прежний мир в немеркнущем сияньи
Встает опять пред чуткою душой.

И вновь томление ожидания, настороженность души, готовый увидеть «отблеск нездешнего виденья»¹¹⁴.

Как бы далеко он ни уходил от Нее «в пустыню мертвенную», сердце его всегда принадлежит Ей, и только Ей. Поразительна внутренняя закономерность мистической жизни Соловьева. Духовное сознание его растет; туманная интуиция всеединства раскрывается в конкретной полноте Вселенской Церкви, но в основе всегда Она — Прекрасная Дама детских и юношеских видений и он — верный и покорный ее рыцарь. И всегда перед мистическим озарением — взмятенность души, эротические вихри. Так было в детстве, когда девятилетний мальчик был взволнован первой влюбленностью, так и теперь, в зрелости. 1883 год — вершина любви к С. П. Хитрово, напряженное ожидание, разрешающееся нервной горячкой, и затем видение мистической Церкви — брачного чертога Агнца (чтение Евангелия о браке в Кане Галилейской)*.

* * *

Памятником нового церковного мировоззрения Соловьева является его работа «Духовные основы жизни» (1882—1884). С. М. Соловьев пишет о ней: «Эта книга, как чисто православная, считается многими лицами Восточной церкви *пропедевтической*, руководством к святоотеческому богословию. Я знаю од-

* Разбирая «Великий спор и христианскую политику», мы отметили внезапный переход Соловьева к католической ориентации. Он происходит в 1883 году и, несомненно, связан с этим новым мистическим опытом Церкви.

ного священника, который принял духовный сан под влиянием «Религиозных основ жизни»* и «Оправдания добра».

«Духовные основы жизни» делятся на две части: первая посвящена личной религиозной жизни, вторая — «общественной религии». Автор называет религию «богочеловеческим делом». Наша жизнь не может быть возрождена и освящена без нашего собственного действия. От каждого человека требуется личное усилие: добровольное подчинение Богу, единодушие друг с другом и владычество над природой. Путь к истинной жизни ведет через молитву, милостыню и пост. Но человек живет не одной личной жизнью — он живет в *миру* и должен быть в *мире*. Смысл мира не раздор, а единение; «космос» означает мир, лад и красоту. Единство мира есть не отвлеченная идея, а живая личная сила Божья, открывающаяся нам в Богочеловеке Христе. Действительность Христа и Его жизни дана нам в Церкви. Соловьев решительно отвергает индивидуальные искания Бога и субъективную мистику. «Те, которые думают, — пишет он, — что лично и непосредственно обладают полным и окончательным откровением Христа, наверно, *не готовы* к такому откровению и принимают за Христа фантазмы собственного воображения».

«Свободная теософия» — уже пройденный этап для Соловьева. Он учит теперь, что истина дана *только Вселенской Церкви*. Сочетание трех начал — божественного, человеческого и природного, совершившееся в лице Иисуса Христа, должно быть осуществлено собирательно в Его человечестве. Церковь через посредство христианского государства должна преобразовать земную жизнь народа и общества. Личная и общественная религия обращаются к каждому человеку с такими заповедями: «Молись Богу, помогай людям, воздерживай свою природу; сообразуйся внутренне с живым Богочеловеком Христом, признавая его действительное присутствие в Церкви, и ставь своею целью проводить Его дух во все области человеческой и природной жизни, чтобы сомкнулась через нас богочеловеческая цепь мироздания, чтобы небо сочеталось с землею».

В этих «заповедях» Соловьева мистицизм сочетается со «строительством», божественная благодать — с человеческой активностью, дело личного спасения — с общественным служением. Богочеловеческий процесс не останавливается на искуплении и очищении от греха: конечная цель его — обожение (theosis) мира. Автор выражает в простых и доступных словах всю сущ-

* Сочинение «Духовные основы жизни» в первом и втором издании называлось: «Религиозные основы жизни».

ность православия. Он вдохновляется учением восточных отцов Церкви: Василия Великого, Григория Богослова, Григория Нисского и Максима Исповедника.

«Два близких между собой желания, — пишет он, — как два невидимых крыла, поднимают душу человеческую над остальной природой: желание *бессмертия* и желание *правды*». Но двум великим желаниям противостоят два великих факта: смерть и грех. По закону природы человек страдает и гибнет, а закон разума не в силах спасти его. «Природная» жизнь есть постоянная смерть. Животное самосохранение побуждает нас к бесполезному убийству. Размножаясь, мы размножаем только обман и зло. Злоба и вражда в нашей жизни действительны, а любовь призрачна. «Живи по природе» — значит убивай других и себя. Наша совесть сознает путь природы как грех, но сознание еще не дает нам другой природы. Новая, *благая* жизнь *дается* Богом, это есть *благодать*. Но, чтобы стать на путь благодати, нужен подвиг, отвращение от зла, усилие от него избавиться и обращение к Богу. Преграда, отделяющая от сущего Добра, или Бога, есть воля человека. Однако человек может свободно решить: я не хочу своей воли. Вера в Бога требует прямого участия человеческой воли, это есть наша нравственная обязанность — иначе мы теряем наше нравственное достоинство.

Соловьев называет молитву «первым делом и началом всякого истинного дела». Добра мы сами творить не можем, мы можем только не противодействовать благодати. Проникновенно разбирая Молитву Господню, он останавливается на трех искушениях, грозящих духовно возрожденному человеку: искушение плоти, искушение ума (самоумнение) и искушение воли (властолюбие). Построение Соловьева очень близко концепции Достоевского в «Легенде о Великом Инквизиторе» (искушение хлебом, чудом и авторитетом). Но Достоевский считает главным грехом воли не властолюбие, а черствость сердца: наряду с соблазном человекобожества у него стоит соблазн отрицательного добра, отрекающегося аскетизма, «неделания» (путь Ивана Карамазова). Соловьев в корне всякой греховности видит себялюбие и самоутверждение; этот взгляд естественно вытекает из его понятия о религии как о воссоединении и всеединстве.

Христианское отношение человека к его ближним формулируется в следующих словах: «Даром получили, даром и давайте¹¹⁵; давай ближнему больше, чем он заслуживает, относись к ближнему лучше, чем он того достоин. Отдавай, кому не должен, и не требуй с того, кто тебе должен. Так с нами поступают вышние силы, так и мы должны поступать между собой».

После обязанностей человека по отношению к Богу и ближнему следует его долг по отношению к природе. Весь природный мир, лежащий во зле, должен стать живым телом возрожденного человечества. Зло в том, что душа сопротивляется Богу, а тело сопротивляется душе. Чувственная душа вместо оживотворения материи духовными силами стремится к бессмысленному наслаждению материей. Поэтому везде, где оказывается безмерное, ненасытное стремление природных сил, необходимо воздержание, самоограничение или пост. Мы должны перерождать нашу телесность, не давать пищи нашей чувственности, чтобы приготовить себя к преобразению всемирного тела. «Поучение» Соловьева сводится к трем правилам: «Молись с верой, делай добро людям с любовью и побеждай свою природу в надежде будущего воскресения». В главе «О посте» явно слышен отклик учения Федорова: человечество призывается к овладению природными силами, к «общему делу» воскрешения всемирного тела. Но в отличие от Федорова Соловьев считает это «дело» не научно-технической «регуляцией» стихийных сил, а религиозно-нравственным подвигом, не титаническим дерзновением, а аскетическим самоотречением.

На этом заканчивается руководство к личной религиозной жизни и начинается учение о «религии общественной».

«Мир во зле лежит»¹¹⁶. Каждое существо в нашем мире говорит: я семь, и все остальное только для меня. Борьба каждого со всеми неизбежно кончается смертью. Жизнь природы есть скрытое тление. Но, несмотря на хаос, мир все же существует как нечто единое и согласное. *Смысл* мира противодействует мировой бессмыслице. Откровение всемирного смысла дано во Христе: «И Слово плоть бысть и вселися в ны»¹¹⁷. Древнему миру было довольно созерцать Божество как идею, но миру новому, получившему откровение воплощенного Бога, созерцания недостаточно. Человечество должно не созерцать Божество, а само делаться божественным: «Новая религия есть активное *богодействие* (теургия), т. е. совместное действие Божества и Человечества для пересоздания его последнего из плотского или природного в духовное и божественное».

Соловьев излагает в сжатой и доступной форме основные идеи своих «Чтений о Богочеловечестве», переводя их с языка теософической метафизики на язык конкретного религиозного опыта. В главе «О Церкви» он перерабатывает свою статью «О расколе в русском народе и обществе», исключая из нее полемическую часть и развивая учение о католической Церкви как живого тела Христа. Земное существование Церкви соответствует телу Иисусу-

са во время Его земной жизни — телу еще не всецело обожествленному. Оно развивается и растет; множественность отдельных людей, входящих в Церковь, образует человеческую ее сторону. «Но глава и сердце Церкви — Христос и Богородица — находятся в вечном божественном мире». Главный религиозный вопрос в том: признаем ли мы сверхчеловеческое начало и форму божественного действия во вселенной или нет? Если признаем, то подчинение Церкви становится нашим нравственным долгом и нашим подвигом. Соловьев подходит к труднейшему вопросу: является ли Церковь строящимся уже здесь, на земле, Новым Иерусалимом или только путем к нему? Через эту точку проходит линия, отделяющая теократическое учение католичества от апокалиптического сознания православия. Соловьев пытается найти примиряющее решение. Он пишет: «Божественные формы Церкви составляют уже и теперь действительные камни ее основания, на которых воздвигнется, и таинственно уже воздвигается, непрерывно все божественное здание; так что хотя *не все в видимой Церкви божественно, но божественное в ней есть уже нечто видимое*.

Это божественное есть иерархия, догматы и таинства, согласно словам Христа: «Я есмь путь, истина и жизнь». Иерархическое преемство восходит к самому Спасителю, избравшему апостолов. Уже в первом деянии Церкви (избрание нового апостола на место Иуды Искарота) устройство ее является в полном своем определении как *свободная теократия*.

Так в учении о Вселенской Церкви Соловьев пытается примирить глубокие расхождения Востока и Запада. Его синтетический ум направлен на сходства и не вглядывается в различия. «Духовные основы жизни» стоят над «вероисповедными перегородками», игнорируют историческую церковную действительность и обращаются к еще не существующим «кафолическим» христианам.

В главе «О христианском государстве и обществе» автор перерабатывает соответствующие главы своей диссертации «Критика отвлеченных начал». В 1880 году появилась книга Б. Чичерина «Мистицизм в науке», посвященная обстоятельному разбору и критике диссертации Соловьева. Последний ответил на нее в 1897 году беспощадной и уничтожающей контркритикой (статья «Мнимая критика. Ответ Б. Н. Чичерину»). Но, несмотря на резкое расхождение между философом-мистиком и юристом-гегельянцем, первый воспользовался многими указаниями и замечаниями второго.

В «Духовных основах жизни» Соловьев уже не смотрит на государство как на чисто юридический формальный союз; под

влиянием Чичерина он признает за государством «положительную задачу и деятельный прогрессивный характер». Окончательную форму учение Соловьева о государстве приобретает в книге «Оправдание добра».

«Духовные основы жизни» заканчиваются прямым обращением автора к читателям. Эта маленькая проповедь вдохновлена пламенной любовью ко Христу. Образ Христа, говорит Соловьев, есть единственная проверка совести. «Стоит только перед тем, как решаться на какой-нибудь поступок, вызвать в душе своей нравственный образ Христа, сосредоточиться на нем и спросить себя: мог ли бы Он совершить этот поступок, или — другими словами — одобрит Он его или нет, благословит меня или нет на его совершение!»

«Предлагаю эту проверку всем — она не обманет. Во всяком сомнительном случае, если только осталась возможность опомниться и подумать, вспомните о Христе, вообразите его себе живым, каким Он и есть, и возложите на Него все бремя ваших сомнений...»

«Если бы все люди с доброй волей, как частные лица, так и общественные деятели и правители христианских народов, стали обращаться теперь к этому верному способу во всех сомнительных случаях, то это было бы уже *началом второго пришествия и приготовлением к Страшному суду Христову, — яко время близ есть*»¹¹⁸.

Вера в близость конца — источник всего жизненного дела Соловьева. В ранней юности он напряженно ждал наступления Страшного Суда, и это предчувствие определило собой направление его философской работы. И вот опять, после многих лет, оно поднимается на поверхность сознания, чтобы снова надолго исчезнуть. Суeta «внешних замыслов», проектов и дел вытесняет его. Но в конце жизни эсхатологическое чувство побеждает и трагическим заревом освещает последние годы философа («Повесть об Антихристе»).

11 ТЕОКРАТИЯ (1884—1889)

1884—1886 годы посвящены Соловьевым работе над книгой «История и будущность теократии». В Публичной библиотеке в Петербурге он изучает толстые фолианты Манзи¹¹⁹ (Акты Вселенских Соборов), греческую и латинскую патрологию Миня¹²⁰; чи-

тает творения Афанасия Великого, Кирилла Александрийского, Григория Великого, Иоанна Дамаскина, бл. Августина, св. Ириней и других западных и восточных отцов; подробно штудировывает католическую догматику, особенно Perrone¹²¹: «Praellectiones theologicæ»¹²². Идея соединения церквей овладевает им совершенно, становится центром его мыслей, господствующей страстью. Он пишет Кирееву, что ничем другим в настоящее время заниматься не может. «Мы никак не сойдемся в церковном вопросе, а к нему у меня теперь все сводится; что бы я ни стал писать, всегда один конец: «Caeterum censeo instaurandam esse Ecclesiae unitatem» *. Другое письмо к нему же Соловьев заканчивает: «Primum et ante omnia Ecclesiae unitas instauranda, ignis fovendus in grernio sponsae Christi» **.

Книга, над которой он работает, все разрастается; он называет ее «мой теократический Левиафан». «Работаю исправно, — пишет он Фету, — и боюсь, что мой Левиафан не вместится в двух томах». Его тревожит вопрос о возможности издания этого труда в России, и он обращается за помощью к своему идеологическому противнику А. А. Кирееву. «Я надеюсь, что Вы окажете мне дружеское содействие к изданию книги здесь, в России, — пишет он ему, — ибо обращаться за границу мне *очень не хотелось бы* (подчеркнуто Соловьевым). Во всяком случае, я бы очень просил Вас недели через три, расспросив кого следует, сообщить мне, могу ли я без большого риска приступить к печатанию книги. Ибо устраивать фейерверки мне не по карману».

Но духовная цензура была неумолима; Соловьеву пришлось преодолеть свое отвращение к «нелегальности» и, навлекая на себя обвинение в переходе в латинство, напечатать свою книгу в Загребе.

С 1884 года гр. С. А. Толстая с семейством Хитрово начинают жить в имении «Пустынька» под Петербургом. Там, на берегу «дикой Тосны», среди «знакомых старых сосен» *** и была написана бóльшая часть «Левиафана». С. М. Соловьев рассказывает, что на берегу Тосны находился камень, который В. С. называл «святым камнем». Он просиживал на нем долгие часы в полном одиночестве. Там однажды посетило его видение: пред ним предстала толпа церковных старцев и благословила его на труд «оправ-

* Однако я полагаю, что единство Церкви должно быть восстановлено.

** Во-первых и прежде всего, должно быть восстановлено единство Церкви и возжжен огонь в лоне Невесты Христовой.

*** Стихотворение Соловьева «Память».

дания веры отцов». «История теократии» и начинается словами: «Оправдать веру наших отцов, возведя ее на новую ступень разумного сознания... вот общая задача моего труда».

Соловьев писал свою книгу с таким вдохновением, как никогда еще не писал до тех пор. Казалось, что он исполнял не свою волю, что «церковные старцы» действительно являлись и благословляли его. Мистическим огнем поддерживалась в нем творческая энергия в течение четырех лет упорного труда. В 1886 году он пишет брату Михаилу: «Я в Пустыньке жил почти все время один совершенно, в огромном старом холодном доме, спал большей частью не раздеваясь в двух пальтах, зато много работал, написал весьма большую главу из ветхозаветной теократии. Писал по новой методе, а именно без всяких черновых, а прямо набело, под один локоть Библию, под другой белую бумагу — и строчу».

Мысль издать книгу в Загребе появилась у него после знакомства с католическими хорватскими деятелями. В 1884 году в Россию приезжал знаменитый хорватский ученый каноник Франциск Рачкий, близкий друг Дьяковаро-Боснийского епископа Штросмайера. Он был увлечен идеями Соловьева и рассказал о нем епископу. Тот написал Соловьеву любезное письмо, благословил его на дело соединения церквей и пригласил к себе в Дьяково (около Загреба). Соловьев ответил Штросмайеру восторженным письмом, пометив его: «Москва. В день непорочного зачатия Пресв. Девы, 1885 г.». Он обещает приехать в Загреб, чтобы побеседовать об «общем нам великом деле соединения церквей».

«От этого соединения, — пишет он, — зависят судьбы России, славянства и всего мира. Мы, русские, православные, и весь Восток *ничего не можем сделать*, пока не загладим грех церковного разделения, пока не воздадим должное власти первосвященнической. Если Россия и славянство есть новый «дом Давидов» в христианском мире, то ведь Сам Божественный Восстановитель Давидова Царства принял крещение от Иоанна из рода Ааронова — представителя *священства...*»

«Сердце мое горит от радости при мысли, что я имею такого руководителя, как Вы... Испрашивая Вашего архипастырского благословения, остаюсь Вашего Преосвященства покорный слуга Владимир Соловьев».

Одновременно он отвечает Рачкому на его предложение издать книгу в Загребе: труд его еще не совсем готов и он еще не оставил надежды напечатать его в России, но в Загреб придет непременно. В 1886 году, когда эта надежда окончательно исчезла,

Соловьев принимает предложение Рачкого и везет свою рукопись в Загреб.

Но, «воздавая должное власти первосвященнической», т. е. признавая примат римского папы и принимая все догматы католической Церкви (*filioque*¹²³, непорочное зачатие, папскую непогрешимость), Соловьев совершенно не считал, что он переходит в католичество. Он только воссоединялся со Вселенской Церковью, продолжая пребывать в восточной ее части — православии. Он не только формально именуется православным, но и живет церковной жизнью: посещает православную церковь, соблюдает все посты и обряды, принимает участие в таинствах. В 1884 году он пишет А. А. Кирееву: «Я перед праздником был в больших хлопотах и сверх того говел у о. Канидия, из чего Вы можете заключить, что я еще не окончательно погиб».

Во время пребывания Соловьева в Петербурге в апреле 1886 года его приглашают в Духовную академию для собеседования «домашним образом» о соединении церквей. На собрании присутствовал инспектор Академии, архимандрит Антоний (Вадковский)¹²⁴, несколько монахов и студентов старшего курса. Соловьев остался очень доволен беседой и вскоре после нее писал архимандриту Антонию: «Вчера я чувствовал себя среди общества действительно христианского, преданного делу Божию прежде всего. Это ободряет и обнадеживает меня, а я с своей стороны могу Вас обнадежить, что в латинство никогда не перейду. Если и будут какие-нибудь искушения и соблазны, то уверен с Божией помощью и Вашими молитвами их преодолеть. Испрашивая Вашего пастырского благословения, остаюсь с совершенным почтением и преданностью Влад. Соловьев».

Так, с двойного благословения католических и православных владык, восстановив в своем лице разорванное единство двух церквей, Соловьев уезжал на Запад приобщиться к католическому миру.

Перед самым отъездом с ним случилось небольшое несчастье. Слуга Алексей, много лет живший в доме Соловьевых, украл у него приготовленные для путешествия пятьсот рублей. Соловьев был страшно подавлен этим происшествием, не столько потому, что оно задержало его отъезд и заставило занимать у «добрых людей», сколько по причине нераскаянности преступника.

Он покидал Россию в угнетенном настроении: его пугала ожидавшая его неизвестность; к тому же он расставался с С. П. Хитрово и уже почти не верил в возможность союза с ней. Накануне отъезда из Петербурга Соловьев пишет грустное письмо С. А. Толстой и заканчивает его так: «Я становлюсь вроде памятника над

несбывшимися мечтами и разрушенными иллюзиями. Впрочем, отрадно спать, отрадней камнем быть¹²⁵. Покойной ночи».

В июне (1886 г.) Соловьев жил в Гапсале, купался в море и приводил в порядок первую часть своей «Теократии». В Загребе он поселился у каноника Рачкого и проводил время «самым каноническим образом»: вставал в 8 часов, ходил каждый день к обедне в готический собор XI в., питался исключительно зеленью и плодами и пил хорошее хорватское вино. Знакомство он водил только с ученым и духовным сословием: писателем гр. Войновичем, профессором богословия о. Буяновичем, профессором Целестином, о. Франки, катехетом Гартманом. Чувствовал себя не совсем за границей, так как говорил большей частью по-русски. Ему очень нравятся хорваты: они похожи на малороссов, но религиознее их.

«Церкви здесь и в будни полны народом, а в воскресенье не протолкаешься. Вместе с тем здесь есть академия наук и университет, картинная галерея и музей древностей — все это основано главным образом епископом Штросмайером и каноником Рачким» (письмо к Фету).

Соловьев проводит в Загребе тихие идиллические дни; днем работает, а вечером гуляет за городом. Мать Рачкого, «83-летняя, совершенно бодрая и крепкая старушка», трогательно за ним ухаживает. Он кое-как объясняется с ней по-хорватски, но она плохо понимает и туга на ухо.

Из Загреба он дважды ездит на свидание с еп. Штросмайером: первый раз в курортное местечко Rohitsch-Sauerbrunn в штирийских Альпах, где епископ лечился водами, второй раз в Дьяково. В общем, он проводит с ним около месяца и совершенно им очарован. Из Дьякова пишет Рачкому: «Епископ говорит со мною и по-латыни, и по-французски, и по-хорватски, и на всех языках одинаково приятно слышать его вдохновенную речь. Соглашаюсь вполне с о. Франки, что ни у одного народа нет такого епископа».

Штросмайер был действительно человеком замечательным*. Он участвовал в хорватском национальном движении 1848 г. и в 1850 г. был рукоположен в епископы; он считал себя преемником св. Мефодия, Паннонско-Сремского архиепископа, и, благодаря его влиянию, папа Лев XIII издал в 1881 г. энциклику, которая вводила св. Кирилла и Мефодия в лик святых католической церкви. Он пламенно любил Россию, называл ее «святая Русь»

* См.: *Погодин А.* Владимир Соловьев и епископ Штросмайер // *Русская мысль*. 1923—1924. Кн. IX—XII.

и верил в ее великую историческую миссию. На Ватиканском соборе 1870 года он смело выступил против нового догмата папской непогрешимости. Впоследствии, впрочем, он торжественно его признал, но продолжал бороться против латинизации славянских церквей: ввел славянский язык в богослужение и энергично отстаивал восточный обряд. Воссоединение церквей и единение славян были заветной целью его жизни; он писал, что «акт примирения был бы величайшим делом последних десяти столетий и православная Церковь приобрела бы те жизненные силы, на отсутствие которых жалуются теперь умнейшие государственные деятели России».

В Дьякове Соловьев был встречен как долгожданный гость, как выразитель новой «русской идеи», нового православного сознания. Епископ проводил с ним долгие часы в тайных беседах в своей опочивальне (*in ipsius cubicie diutius commorari*), познакомил со своим окружением, ласкал и чествовал. «Милый друг, — пишет Соловьев брату, — в Дьякове я имел много неожиданного приятного и утешительного, новые важные знакомства... Я почти ничего не делал эти 18 дней, которые провел в Дьякове. Это был постоянный праздник с бесконечными обедами, спичками, пением и т. д.».

Штросмайер просит его составить небольшую записку об условиях соединения церквей, и Соловьев, вернувшись в Загреб, посылает ему оттуда свою «промеморию». В сопроводительном письме он пишет: «Покинув Вас в действительности, я не переставал каждую ночь видеть Вас во сне...» Он уверен, что епископ находится под особым покровительством добрых ангелов («*sous une surveillance speciale des bons anges*»), но все же просит его позаботиться о своем здоровье, так как, по русской пословице, «береженого Бог бережет».

Записка Соловьева начинается следующим обращением к еп. Штросмайеру:

Monseigneur!

La Providence, la volonté du Souverain Pontife et Vos propres mérites ont fait de Vous un vrai médiateur entre le St. Siège qui de droit divin possède les clefs des destinées futures du monde et la race slave qui selon toutes les probabilités est appelée à réaliser ces destinées¹²⁶.

Соловьев доказывает, что Восточная церковь никогда не провозглашала никаких догматов, противных католической истине; все ее учение сводится к постановлениям семи Вселенских Соборов. После разделения церквей созыв Вселенского Собора стал

невозможен, поэтому причина этого разделения никогда не обсуждалась официально. Следовательно, для Востока раскол существует только *de facto*, но не *de jure*¹²⁷. После воссоединения православная Церковь должна сохранить не только свой обряд, но и свою административную автономию. Особенно важно соблюсти неприкосновенным то высокое положение, которое всегда принадлежало в Восточной церкви православному царю.

Записка Соловьева была отпечатана в Дьякове в количестве 10 экземпляров. Один из них был послан епископом папе Льву XIII, другой — кардиналу Рамполле в Рим, три — нунцию в Вене Серафиму Ванутелли. В латинском письме, сопровождающем эту посылку, Штросмайер называет Соловьева человеком «чистой, благочестивой и воистину святой души» (*Soloviev anima candido, pia ac vere sancta est*) и просит Ванутелли повлиять на папу, чтобы «Его Блаженство, для побуждения к единению, по случаю своего славного юбилея, удостоил сказать речь о соединении церквей, дабы рассеять пустой страх православных, опасющихся, что святая уния подвергнет опасности их автономию или иные принадлежащие им и освященные веками права и привилегии». В заключение епископ сообщает, что он условился с Соловьевым встретиться в Риме на праздновании юбилея, чтобы испросить благословения у папы.

В апреле 1888 г. Штросмайер ездил в Рим и представлял папе хорватских паломников. Соловьева с ним не было. Перед отъездом он через кардинала Рамполлу передал папе обширную записку, в которой сообщал, что Соловьев должен прибыть в Рим в мае месяце, и просил кардинала допустить его на аудиенцию к св. Отцу, дабы тот благословил его на дело соединения церквей. В мае 1888 г. Соловьев был за границей; мы знаем, что он жил в Париже, но ездил ли он в Рим на аудиенцию к папе — остается тайной. Ни в переписке его с русскими друзьями, ни в письмах католикам Тавернье, Пирлингу и Мартынову не встречается упоминания о поездке из Парижа в Рим*.

* Если не считать таким упоминанием или, вернее, намеком следующее место в письме Соловьева к Страхову от 30 января 1888 г.: «Я собираюсь за границу для напечатания французской книжки и 2 томов «Теократии...» Впрочем, моя заграничная поездка имеет в себе *фантастический элемент*, но все-таки мне кажется, что поеду».

Австрийский посланник в Петербурге гр. Волькенштейн сообщает в своем докладе (август 1888 г.): «Насколько мне известно, Соловьев в интересах своего дела (*im Interesse seiner Sache*) был в Риме» («Материалы по истории русской государственности и культуры», опубликованные О. О. Марковым // Русская мысль. 1923—1924. Кн. IX—XII).

Если Соловьев и имел аудиенцию у Льва XIII (что, в общем, довольно правдоподобно), то она, по вполне понятным причинам, держалась в строгом секрете.

Первое соприкосновение со славянским католическим миром произвело на Соловьева двойственное впечатление: он был очарован хорватами и увлечен идеей Штросмайера о всеславянском единстве. По возвращении в Россию он писал канонику Рачкому: «Рассказы мои о Хорватии слушаются с интересом и удовольствием, и я рад, что могу послужить к распространению хороших понятий о Вашей стране и народе. Сам я и в России остаюсь полухорватом и, несмотря на плохое знание языка, иногда думаю по-хорватски. Благодаря моему пребыванию у Вас я стал теперь славянофилом не в мыслях только, но и в сердце».

К еп. Штросмайеру он сохранил на всю жизнь чувство благоговейной преданности; когда загребская типография выпустила наконец «Историю теократии», он просил Рачкого переплести один экземпляр «в черный кожаный с красным (а не золотым) обрезом переплет» и поднести его епископу. Но к католической Церкви отношение его более сдержанное: он сообщает А. Н. Аксакову, что своей заграничной поездкой доволен «в смысле опытного ознакомления с темными сторонами Западной церкви, которые были мне менее известны, чем таковые же в нашей». Были также попытки обращения его в католичество, но он им не поддавался. В письме к архимандриту Антонию Соловьев рассказывает: «Я вернулся из-за границы, познакомившись ближе и нагляднее как с хорошими, *так и с дурными* (подчеркнуто Соловьевым) сторонами Западной церкви и еще более утвердившись на той своей точке зрения, что для соединения церквей не только не требуется, но даже была бы злойредной всякая внешняя уния и всякое частное обращение. На попытки обращения, направленные против меня лично, я отвечал прежде всего тем, что (в необычайное для сего время) исповедался и причастился в православной сербской церкви в Загребе, у настоятеля ее, о. иеромонаха Амвросия. Вообще, я вернулся в Россию — если можно так сказать — *более православным*, нежели как из нее уехал».

С. М. Соловьев в своей биографии философа заявляет: «Свидетельство, данное ему православным сербским священником, хранится у меня».

Таков был довольно неожиданный результат поездки: апологет католичества и сокрушитель славянофильства вернулся из нее более православным и более славянофилом, чем был раньше.

Соловьев так и не дождался в Загребе выхода в свет своей книги: загребская типография работала медленно и неисправно, по-

следние листы автору пришлось корректировать в Москве. Издание книги стоило больших денег (2000 рублей), хлопот и беспокойств. Когда наконец в апреле 1887 года книга появилась, Соловьев пришел в отчаяние от количества опечаток.

* * *

«История и будущность теократии» была задумана как громадное историческое, богословское и философское исследование, рассчитанное на три тома. Написан был только первый том, содержащий философию библейской истории; второй и третий («Философия церковной истории» и «Задачи теократии») так и не увидели света. Над вторым томом автор много работал и собрал большой материал, часть которого вошла впоследствии в его французскую книгу «Россия и Вселенская Церковь». К третьему тому он и не приступал. Сначала его силы были парализованы невозможностью издать книгу в России, потом он и сам охладел к своей теократической идее, перестал верить в ее практическую осуществимость и вернулся к давно покинутой им философии.

Первый том «Теократии» (1885—1887), носящий подзаголовок «Исследование всемирно-исторического пути к истинной жизни», начинается обширным предисловием. Цель труда определяется следующими словами: «Оправдать веру наших отцов, возведя ее на новую ступень разумного сознания, показать, как эта древняя вера, освобожденная от оков местного обособления и народного самолюбия, совпадает с вечною и вселенскою истинною, — вот общая задача моего труда».

Автор стремится доказать, что русское православие в сущности своей совпадает с кафолической (и католической) истиной и что особенности, отличающие его от католичества, чисто внешние, связанные с местным преданием и старой народной верой.

Он исходит из положения: Церковь есть всемирная организация истинной жизни. Ложная жизнь есть непрерывная смена поколений, безостановочная передача из рода в род смерти под личиною жизни, процесс, идущий в дурную бесконечность. Напротив, «истинная жизнь есть такая, которая в своем настоящем сохраняет свое прошедшее и не устраняется своим будущим, а возвращается в нем к себе и к своему прошлому». Эта жизнь должна быть осуществлена в Церкви. «Жизнь Церкви есть средняя между Божией и природной. Она протекает в различии трех времен. *Прошедшее в Церкви* представляется священством, объединенным во всеобщем отце, или вселенском *первосвященнике*. У всех один Отец на небесах, но когда говорится о вселенском брат-

стве не ангелов, а народов, на земле живущих, то этим предполагается и отечество как отображение и орудие небесного». *Настоящее Церкви* есть народ, государство, *Царство*. Христос, представитель царского дома Давидова, исполнил всякую правду актом подчинения Иоанну — последнему представителю ветхозаветного священства. О России Соловьев пишет: «Мы народ настоящего, народ царский... Когда мы свободным нравственным подвигом народного духа поставим себя в положение истинного сыновства к всемирному *отчеству*, тогда только сделается возможным то совершенное, всенародное *братство*, живущее любовью и свободным единомыслием, — оно же есть идеал и будущность Вселенской Церкви и вместе с тем наш истинный национальный идеал».

Будущее Церкви есть Царство благодати и истины, начало которого присутствует уже и теперь в *пророках*.

Когда осуществится высшее единство Церкви, тогда Она явится как нравственно-свободное существо, «как истинная подруга Божия, как творение, полным и совершенным единением соединенное с Божеством, всецело его вместившее в себя, — одним словом, как та *София* Премудрость Божия, которой наши предки по удивительному пророческому чувству строили алтари и храмы, сами еще не зная, кто она».

В первой книге Соловьев разбирает главные предрассудки против теократического дела в России; он резюмирует в ней результаты своей трехлетней полемики со славянофилами, признавая себя прямым продолжателем их учения. «Славянофилы, — пишет он, — с которыми у меня общая идеальная почва и которых я считаю невольными пророками церковного соединения, — славянофилы всегда утверждали, что Россия обладает своею “великою всемирно-историческою идеею”».

Соловьев доводит мысль славянофилов до ее логического конца: или религиозная идея России — пустая претензия, или призвание России заключается в соединении церквей. Он разбирает взгляды Хомякова, Самарина, Ив. Аксакова, Т. Стоянова и приходит к заключению, что догматическая жизнь Церкви находится в постоянном развитии, что Рим не сочиняет новых догматов, а только раскрывает истины, искони хранящиеся в Церкви. «Без сомнения, божественная истина есть тайна. Но сущность этой тайны открыта нам в воплощении Христом, а частные ее стороны постепенно раскрываются в церковном учении действием Духа Святого, живущего в Церкви».

После вступительной полемической главы автор приступает к истории теократии. Бог хочет совершенного обладания *другим*.

Чтобы *от себя* свободно прийти к Богу, человек должен сначала стать вне Бога. Через грехопадение он отделяется от своего Творца. Но связь с Богом восстанавливается словом Божиим Аврааму; с этого момента начинается дело теократии в мире. Теократия личная переходит в теократию народную при Иакове и в национальную при Моисее. В основу боговластия полагается выделение священства из прочего народа, который только в совокупности почитается равносильным одному священнику. Теократическое общество трехстепенно: часть Божья представлена священниками (каганим), часть активно-человеческая — князьями (Несизэй) и часть пассивно-человеческая — народом земли (ам гаарец). Израильская теократия имеет национальный характер; ее цель — сохранить избранный народ в его целостности, ее идеал — превратить все человечество в царственное священство. Когда обнаруживается неспособность Израиля осуществить идеальную теократию, учреждение царской власти становится средством к спасению народа Божия. Давид велит Цадуку-священнику и Натану-пророку помазать Соломона в цари над Израилем¹²⁸; это — кульминационный пункт в развитии еврейской национальной теократии. Три власти — священническая, царская и пророческая — уже выделились и соединились в едином действии — утверждении царства израильского согласно воле Божией.

Переходя к основанию новозаветной теократии, автор сопоставляет первого Адама со вторым — Христом. Подобно тому как создание первого Адама подготовлялось шестью днями творения, так и явлению нового Адама предшествовали шесть периодов всемирной истории. Адам был призван к соединению с Богом — и это соединение осуществилось в Христе. Человек заключает в себе начало трех властей, образующих истинную теократию: как носитель святыни и великой тайны Божией, человек есть *священник* Вышнего; как обладатель всеединого сознания, дающего ему власть над творением, он — *царь мира*; наконец, как существо, свободно призванное к общению с Богом, он есть *пророк* грядущего совершенства. «В преимущественном Помазаннике, который был совершенным царем и совершенным пророком, достигают своего настоящего исполнения и раскрывают свой истинный смысл и священство Авраамо-Аароново, и царство дома Давидова, и пророчество Израильское».

В заключение Соловьев излагает снова свое учение о Церкви: «Церковь есть действительная и предметная форма Царствия Божия». Способ обнаружения воли Божией в практической жизни нового человечества должен быть не анархический, не дикта-

торский, а строго иерархический, т. е. *послушание богоучрежденному авторитету*.

Соловьев пишет: «Дадется мне *всяка власть* ¹²⁹. Не только Церковь имеет Христа своим главой, но также и государство и общество христианское. Значит, бесправно и бессильно то правительство, которое отделяет себя от источника всякой власти; значит, обманывает себя тот народ, который восстает против царской власти Христовой». Автор призывает к смирению и послушанию: нужно прежде принять Божество волею как авторитет, чтобы затем понять Его умом как истину. Христос говорит: «Се Аз с вами есмь во вся дни до скончания века» ¹³⁰, но говорит Он это не всем людям, а только апостолам, т. е. Церкви учащей. «Действительность боговластия христианской Церкви, — заканчивает Соловьев, — опирается на два факта: первый факт есть умственная и нравственная несостоятельность человечества вообще, вследствие которой оно нуждается в постоянном руководительстве свыше; второй факт состоит в том, что Богочеловек Христос установил эту руководящую власть в виде апостольской учащей Церкви, в которой он пребывает во вся дни до скончания века».

«История и будущность теократии» распадается на две неравные части: меньшую — теоретическую и большую — историческую. Историческая часть — свободная экзегеза Ветхого Завета — еще ожидает оценки специалистов. Каковы бы ни были ее недостатки, замысел Соловьева — проследить развитие теократической идеи на протяжении всей истории еврейского народа — представляется значительным и плодотворным. Краткий обзор далеко не исчерпывает богатства материала и обилия оригинальных мыслей и наблюдений, заключающихся в этом исследовании. Теоретическая часть подводит итоги учения о свободной теократии, основы которой были заложены еще в «Философских началах цельного знания». В разбираемой книге теократия принимает резко выраженную католическую форму: автор заявляет, что хранительницей вселенской идеи является не православная, а католическая Церковь; не Запад, а Восток отпал от вселенского единства; носитель его — римский первосвященник, прямой преемник апостола Петра. От православия требуется только акт смирения и покаяния: оно должно искупить свой исторический грех, добровольно подчинившись папе и признав «всемирное отчество».

Книга Соловьева написана на основании католических руководств по догматике. Учение о Церкви как о всемирной организации, как о земном отечестве, отображающем отечество небесное; утверждение, что настоящее Церкви есть «народ, государство,

царство», что Церковь есть предметная (т. е. видимая) форма Царствия Божия; различие Церкви учащей и мирян; теория авторитета, требующего безусловного подчинения, и признание папы единым главой Церкви — все это круг католических идей новейшей формации после Ватиканского собора 1870 года. А. Погодин сравнивает книгу Соловьева с «*Medulla Theologiae dogmaticae*»¹³¹ Хуртера¹³² и устанавливает между ними большое сходство. Соловьев понимает единство Церкви как единство верховного правления, и эта юридическая точка зрения вполне совпадает с понятием «*regimen monarchicum*»¹³³ Хуртера. Для Соловьева догматическое развитие есть раскрытие и объяснение догматов; католическая Церковь ничего не прибавляла к ним, но «делала их ясными и бесспорными для всех». У Хуртера мы читаем: «...ut ad liquidum deducatur... transit in explicitum intellectum et in manifestam praedicationem ecclesiasticam»¹³⁴.

Положения, развиваемые Соловьевым, совершенно чужды православному сознанию. Оно видит сущность Церкви не во внешней организации и единстве управления, а в свободном единении верующих в любви и истине; оно не смешивает Церкви с земным царством — государством, признает единым главой Церкви Иисуса Христа, требует не слепого подчинения авторитету, а свободного принятия истины, верит, что слова Спасителя: «Се Аз с вами семь во вся дни до скончания века» — обращены ко всей Церкви, а не только к клиру. Особенно изумляет заявление Соловьева, что «богоставление» опирается не только на факт установления учащей Церкви, но и на факт «умственной и нравственной несостоятельности человечества». Это положение лишает теократическую идею не только ее вечного смысла, но и духовного значения. Получается, что теократия существует только для порочных и неразумных людей, что учащая Церковь пользуется властью «*compelle intrare*»¹³⁵ потому, что человечество еще не доросло до христианской истины. Люди слишком слабы и несовершенны, чтобы свободно и сознательно поверить, потому нужны власть и авторитет, нужно *принуждение* к вере. Такое учение основывается на неверии во внутреннюю силу истины и на глубоком презрении к человеческой природе. В этом пункте становится особенно ясна подмена Церкви государством. Это дух не Христа, а Великого Инквизитора.

Соловьев очень быстро усвоил основы новейшей католической догматики. В этом ему, несомненно, помогла княгиня Елизавета Волконская, с которой он подружился еще в 1880 году. Она была страстной прозелиткой католичества в России, написала две полемические и апологетические книги: «О Церкви» и «Церковное

предание и богословская литература в России». В 1887 году она перешла в католичество и состояла в переписке с еп. Штротсмайером и иезуитами. Ее дом был центром католического движения в России. Кн. Волконская и еще несколько аристократических русских дам видели в Соловьеве пророка, относились к нему с обожанием, были теми «дамскими адвокатами» его дела, излишнего рвения которых он временами побаивался. Аргументацию в защиту католических догматов Соловьев мог почерпнуть из обширных материалов кн. Волконской.

* * *

В сентябре 1886 г. Соловьев вернулся в Россию из второго заграничного путешествия. Там ждали его нерадостные вести. Обер-прокурор Синода Победоносцев официально заявил, что *всякая его деятельность вредна для России и православия* и, следовательно, не может быть допущена; все представленное им в духовную цензуру было, безусловно, запрещено, и объявление о подписке на «Историю и будущность теократии» не допущено. Чтобы спасти книгу, Соловьев решается исключить из нее главу о примате ап. Петра, но и в таком «невиннейшем виде» она продолжает оставаться под запретом. Соловьев ездит к митрополиту, собирается обратиться к самому государю, переходит от надежды к унынию. В письме к Стасюлевичу он сравнивает себя с «краснокожим индейцем, благодушествующим среди пытки». Рачкому пишет: «Я очень нуждаюсь в утешении и ободрении, хотя стараюсь и сам не унывать». В печати против него начинается травля. «Против меня начался здесь настоящий штурм, причем цензура, запрещающая все мною написанное, представляет моим противникам полный простор выдумывать на меня всякие небылицы» (письмо к Рачкому, декабрь 1886 г.). «Сегодня я сделался иезуитом, а завтра, может быть, приму обрезание; нынче я служу папе и еп. Штротсмайеру, а завтра, наверно, буду служить Alliance Israélite¹³⁶ и Ротшильдам» (письмо к Гецу, декабрь 1886 г.). В «Церковном вестнике» появилась заметка, предостерегавшая Соловьева от «вступления на опасную почву»; в харьковском журнале «Благовест» была напечатана статья под заглавием «В. Соловьев, ратующий против православия в заграничной печати», в которой Соловьев назывался «просто чиновником Министерства юстиции». Ему пришлось опровергать возводимую на него клевету (письма в редакцию «Нового времени» и «Церковного вестника») и в связи с этим снова заявлять: «Я остаюсь и уповаю всегда остаться членом Восточной православ-

ной церкви не только формально, но и действительно, ничем не нарушая своего исповедания и исполняя соединенные с ним религиозные обязанности».

Перед Рождеством Соловьев поселяется на три недели в Троице-Сергиевской Лавре; это один из самых трагических моментов в его жизни. Почва уходит из-под его ног, все пути кажутся отрезанными; духовные журналы для него закрыты окончательно; издание книг запрещено цензурой. Из Троицы он пишет Н. Н. Страхову: «В эти три недели я испытал или начал испытывать одиночество душевное со всеми его выгодами и невыгодами». Он пытается шутить, но шутки его невеселые. «О себе скажу только, — сообщает он Цертелеву, — что нахожусь в весьма выгодном положении, а именно: мне теперь *во всех отношениях* так скверно, что уж хуже быть не может, следовательно, будет лучше». На положение России он смотрит мрачно; пародируя троиственное строение своей теократии, он пишет Стасюлевичу, что национальная политика в России держится триумvirатом лжецерковника Победоносцева, лжегосударственного человека Д. А. Толстого¹³⁷ и лжепророка Каткова. Работа над вторым томом «Теократии» подвигается вяло, а изучение истории Церкви по временам внушает ему отвращение.

Да сквозь века монахов исступленных

Жестокий спор

И житей мошенников священных

Следит мой взор.

(Стихотворение «Ах, далеко
за снежным Гималаем...»)

И вот, в эти дни жизни в монастыре, отвращение к миру, усталость от неравной борьбы, отчаяние в исполнимости своего дела приводят его к мысли принять монашество. О серьезности этого намерения свидетельствует его письмо к архимандриту Антонию. «Я имел бы теперь, — пишет ему Соловьев, — большую склонность пойти в монахи. Но пока это невозможно. Я вовсе не сторонник *безусловной свободы*, но полагаю, что между такою свободой и *безусловною неволею* должно быть нечто среднее, именно свобода, обусловленная искренним подчинением тому, что свято и законно. Эта свобода, мне кажется, не противоречит и специально монашескому обету послушания, когда дело касается всецерковных интересов. А между тем допустят ли у нас такую свободу, не потребуют ли подчинения *всему без разбора*, свято ли оно и законно или нет».

Единственное, что помешало Соловьеву принять монашество, это опасение, что ему запретят проповедовать соединение церк-

вей. Все остальные связи с миром были порваны — оставалась одна заветная вера, одна «великая идея», и пожертвовать ею он не мог.

Жажда уйти в монастырь была так сильна, что, несмотря на все опасения, он несколько месяцев колебался и размышлял. «Был в Троицкой Лавре, — пишет он Рачкому. — Архимандрит и монахи очень за мной ухаживают, желая, чтобы я пошел в монахи, но я много подумаю, прежде чем на это решиться» (октябрь 1886 г.). Через три месяца он сообщает о том же Страхову, но в форме шутки: «Кроме монахов допотопных, мне приходится иметь дело и с живыми, которые весьма за мной ухаживают, желая, по-видимому, купить меня по дешевой цене, но я и за дорогую не продамся».

Искушение было преодолено; Соловьев уцелел. Его путь был не монашеский: в монастырь влекло его не призвание, а отчаяние и малодушие.

Вернувшись из Троицкой Лавры, он серьезно заболевает и ранней весной уезжает к Фету в Воробьевку*. Вместо монастырского затвора — пятимесячное деревенское уединение, своего рода «retraite»; Соловьеву хочется одиночества, тишины, покоя. Здоровье его расшатано, он страдает бессонницей, мучительными невралгиями, чувствует себя постаревшим, отцветшим. Пишет матери: «Я отцвел окончательно и даже удивляюсь, думая о Вас, что у такого старика такая еще не древняя мама». Брату сообщает, что ведет правильную жизнь, вина не пьет, перед сном гуляет, и все же бессонница не проходит. «По всем сим причинам я думаю, что наконец-то помру. Афанасий Афанасьевич (Фет) предложил даже на этот случай мне эпитафию:

Здесь тихая могила
Прах юноши взяла,
Любовь его сразила,
А дружба погребла.

По своей привычке острить над серьезными и печальными вещами он шутливо извещает мать о своей кончине: «С душевным прискорбием извещаю родных и знакомых, что 14-го минув-

* В марте 1887 года Соловьеву было разрешено прочесть две публичные лекции в пользу студентов. Он выбрал тему «Славянофильство и русская идея». «Главная моя мысль была та, что русская идея требует соединения церквей, т. е. признания нами Вселенского Первосвященника» (письмо к Мартынову). Славянофильски настроенная публика отнеслась к лекции весьма сдержанно.

шего мая ветхий мой человек волею Божией умре... Желаящим почтить память покойного не возбраняется выпить и закусить».

Кроме работы над «Теократией» Соловьев в Воробьевке переводит с Фетом «Энеиду» Вергилия. «Я считаю “отца Энея”, — пишет он Страхову, — вместе с отцом верующих Авраамом, настоящим родоначальником христианства, которое (исторически говоря) явилось лишь синтезом этих двух *parentali-й*»¹³⁸. В сентябре он посылает Цертелеву в «Русский вестник» три песни «Энеиды» и с авторской гордостью замечает: «Entre nous soit dit¹³⁹, мои гекзаметры вообще благозвучнее и яснее фетовских».

Тяжелое душевное состояние, которое он переживает, вызвано не только запрещением первого тома «Теократии», журнальной травлей и «полной нищетой» («никаких доходов и более 1000 рублей долгу»), но и «окончательным крушением всех прочих надежд на личное благополучие» (письмо к Страхову). С С. П. Хитрово произошел окончательный разрыв. Соловьев пытается забыть ее, привыкнуть к одиночеству, подолгу живет вдалеке от нее (за границей, в Троицкой лавре, в Воробьевке). Но забвение и примирение не приходят.

Безрадостной любви развязка роковая!
Не тихая печаль, а смертной муки час...
Пусть жизнь — лишь злой обман, но сердце, умирая,
Томится и болит и на пороге рая
Еще горит огнем, что в вечности погас.

Опять просыпается вера, что все поправимо, что любовь победит, — он готов все простить, лишь бы она вернулась к нему. Таким настроением проникнуто одно из лучших его стихотворений:

Бедный друг, истомил тебя путь,
Темен взор и венки твой измят.
Ты войди же ко мне отдохнуть,
Потускнел, дорогая, закат.

Где была и откуда идешь,
Бедный друг, не спрошу я любя;
Только имя мое назовешь —
Молча к сердцу прижму я тебя.

Смерть и Время царят на земле, —
Ты владыками их не зови;
Все, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце любви.

С верой в силу любви связано все дело его жизни, весь смысл существования. Если «солнце» его любви не победит времени и смерти, как продолжать верить, что Любовь преобразит весь мир?

И вот «чудо любви не наступает». К Рождеству 1887 года его «любовная тоска» доходит до невыносимого напряжения. Он снова проводит праздники у Троицы, в доме жены Ив. С. Аксакова Анны Федоровны. «Здесь мне всегда удобно, — пишет он брату, — но вследствие припадков *любовной тоски* сплю мало и плохо и с лица похож на привидение». Замкнутый и неоткровенный, Соловьев никогда ни раньше, ни впоследствии не делал таких признаний. Эти слова — крик боли, В первый раз он начинает сомневаться в смысле своей деятельности. Все кажется безнадежным, обреченным на гибель; предчувствие конца снова им овладевает. Он пишет Страхову: «Я поздоровел, сплю лучше и смотрю на мир беспощадно кротким взором. Я знаю, что «все что было прекрасно», *провалится к черту*... и такая уверенность наполняет мою душу почти райской безмятежностью».

* * *

В январе 1887 года Леруа-Болье, автор трехтомного сочинения «L'Empire des Tsars et les Russes»¹⁴⁰, обратился к иезуиту Пирлингу с просьбой доставить ему сведения о «религиозной системе» Соловьева. Тот написал епископу Штросмайеру, который сообщил об этом Соловьеву. В письме к Пирлингу епископ так отзывался о Соловьеве: «C'est un homme ascète et vraiment saint. Son idée-mère est qu'il n'y a pas un vrai schisme en Russie, mais seulement un grand malentendu»¹⁴¹. Соловьев с готовностью принял предложение Леруа-Болье, но «по совершенной неспособности излагать самого себя» предложил написать по-французски статью под заглавием «Philosophie de l'Eglise Universelle»¹⁴² и кратко изложить в ней содержание дальнейших томов своей «Теократии». В письме к Пирлингу он сообщает: «Я хочу, чтобы мой французский *essai* заменил пока все три или четыре тома русской книги». Пирлинг советует сократить философскую часть этой работы. Соловьев возражает, что «никак не может обойтись без общих соображений и отдаленных умствований», но смиренно соглашается на то, чтобы сам Пирлинг сократил и исправил его труд. «С моей стороны, — пишет он, — было бы совершенно нелепо печатать о соединении церквей что-нибудь такое, что не одобрилось бы представителями католической церкви». В июле 1887 г. он сообщает Пирлингу, что по долгом размышлении признал его полную правоту и решил переменить весь план сочинения: уничтожить «отдаленные умствования» и ограничиться историческими и богословско-полемическими соображениями. Соответственно этому заглавие меняется: книга будет называть-

ся «La théocratie dans l'histoire et la réunion des Eglises»¹⁴³. В январе 1888 г. Соловьев извещает Пирлинга, что для напечатания французской книги, а также второго тома «Теократии» он весной собирается приехать в Париж, и просит порекомендовать ему гостиницу. «Мне нужна гостиница дешевую, и главное тихую. Но вот еще затруднение: я давнишний (хотя и не педантичный) вегетарианец, и потому пансион с обязательным табльдотом для меня не годится». Заглавие книги окончательно устанавливается: «La Russie et l'Eglise universelle». Есть основание предполагать, что средства на печатание книги предоставила Соловьеву княгиня Е. Волконская.

В апреле, проездом через Баден-Баден, он *в первый раз в жизни* выстаивает в русской церкви всю пасхальную службу, полунощницу, заутреню и литургию и разговляется у принцев Баденских. Затем полгода живет в Париже, сначала в шумной гостинице на rue St. Roch, а потом на даче Леруа-Болье в Вирофлэ около Версаля. Об этом периоде его жизни мы знаем мало: можно восстановить в общих чертах внешнюю ее сторону — внутренняя остается загадочной. Он жил во французской католической среде, познакомился с писателями Евгением Тавернье и Луазо, с сотрудниками журнала «L'Univers»¹⁴⁴ Немур-Годре и Лотом, с доминиканцем о. Паскалем и миссионером Лореном; напечатал в «L'Univers» статью «Saint Vladimir et l'Etat chrétien», работал над книгой «Россия и Вселенская Церковь»: сократил первые две части, написанные в России, и заново написал третью часть; наконец, предисловие к этой книге издал отдельной брошюрой под заглавием «L'Idée russe».

Предварительно он дважды прочел ее в виде доклада в салоне принцессы Сайн-Витгенштейн. Об этих чтениях принцесса рассказывает в своих «Воспоминаниях» *.

«...Я предложила Соловьеву прочесть доклад в моем салоне. Аудитория была многочисленная: высшее общество из Фобур Сен-Жермен, несколько академиков, священников и журналистов. Отец Пирлинг во вступительном слове изложил тему доклада. Соловьев начал говорить на чистейшем французском языке и своей речью очаровал слушателей. Когда он кончил, некоторые из присутствующих подошли к нему и любезно выразили ему свое сочувствие. Он был им очень тронут, хотя, кажется, ожидал, что отношение аудитории будет еще более соответствовать тем чувствам, которые он сам испытывал. Его разочарование, если только это можно назвать разочарованием, может быть до известной

* *Princesse de Sayn-Wittgenstein. Souvenirs (1825—1907). Paris, 1907.*

степени оправдано, но нельзя также не оправдать видимое равнодушие публики, недостаточно знакомой с важным вопросом соединения Восточной церкви с Римским престолом... Через несколько дней Соловьев повторил свой доклад у меня в интимном кругу, состоявшем из десяти человек. Успех его был полный. Он закончил свою речь взволнованным голосом, звучавшим такой верой, что все мы были глубоко тронуты. Я воскликнула: «Вы действительно отец Церкви». На это блаженной памяти священник церкви Маделэн де Ребур заметил с умилением: «О, если бы у вас было побольше детей». — «Только дайте нам священников таких, как Вы!» — ответил Соловьев».

Трудно определить, насколько достоверен этот разговор. Аббат Гетте, перешедший из католицизма в православие, по поводу доклада Соловьева заявил: «Соловьев более папист, чем Беллармин (иезуит) и сам папа».

Все эти слухи и пересуды любопытны не как исторические факты, а как элементы легенды, создававшейся вокруг имени Соловьева. Как бы ни был велик успех русского «отца Церкви» в интимном кругу, широкая парижская публика отнеслась к нему с явным равнодушием. И на Западе, как и на Востоке, голос Соловьева раздавался в пустыне.

Содержание «Русской идеи» * сводится к вопросу о смысле существования России во всемирной истории. Соловьев резюмирует свою полемику со славянофилами о национализме. Национализм есть эгоизм народа. Не желающие пожертвовать этим эгоизмом вселенской истине не должны называться христианами. Автор обрушивается на «эпидемическое безумие национализма» в России, на политику по отношению к Польше, к евреям, к униатам и раскольникам. Славянофилы в своей борьбе с Западом злоупотребляли образом разлагающегося тела. Но «не на Западе, а в Византии первородный грех националистического партикуляризма и абсолютического цезарепапизма впервые внес смерть в социальное тело Христа». Вот где корни русского национализма. Истинная теократия есть образ на земле св. Троицы. Первосвященник — Отец, Царь — Сын, пророк — Св. Дух. Россия должна смиренно признать «вечное отечество». Русская идея есть идея соединения церквей. «Идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности».

Статья написана с большой силой; обличение грехов России дышит высоким негодованием; слова о «великой идее» и призы-

* L'Idée russe. Paris: Didier — Perrin, 1888. Русский перевод Рачинского 1909 года.

вы к вселенскому единству горят пророческим вдохновением. И этот огонь пылал перед парижской знатью, академиками и журналистами, которые не могли в нем увидеть ничего иного, кроме эффектного фейерверка!

В статье «Saint Vladimir et l'Etat chrétien» *, написанной по поводу 900-летнего юбилея крещения Руси, Соловьев утверждает, что русская Церковь в своей отдельности перестала быть той несокрушимой Церковью, которую основал Христос. Идею вселенской Церкви выражает в России не официальная Церковь, а те 12—15 миллионов раскольников, которые считают ее антихристовой.

Это самое страшное, что Соловьев когда-либо писал о Церкви. Он действительно на время становится «более папистом, чем папа». Возмущенный политикой Победоносцева и Синода, он изменяет своей идее вселенскости и всю православную церковь отдает антихристу. Но тогда «дело его жизни» теряет всякий смысл. Безумна мысль о соединении Христовой—Римской церкви с «антихристовой» —православной. Все накопленные обиды и разочарования изливаются в этом памфлете. Соловьев переживает период озлобленности и помрачения духа. В его письмах к Тавернье впервые появляется зловещий образ Антихриста. В июле 1888 г. он пишет: «У меня осталась печаль, но нет больше забот, и на все я смотрю более или менее *sub specie aeternitatis*, или, по крайней мере, *sub specie antichristi venturi*» ¹⁴⁵.

Он пребывает в странном, непонятном ему самому состоянии. «Вот уже более восьми месяцев, как я нахожусь в состоянии, смущающем мой дух; я совершенно не могу понять, состояние ли это благодати или состояние г. Победоносцева». Другими словами, душевная смута, которую он переживает, кажется ему то мистическим просветлением, то демонической одержимостью. В таком настроении проводит он одинокие месяцы в Вирофлэ, работая над французской книгой. Он чувствует, что своими французскими статьями совершил нечто непоправимое, и его мучит мысль, что «Русская идея» навсегда преградит ему обратный путь в Россию. «Не желаю преувеличивать и придавать делу без надобности трагический оборот, но, кажется, мне не миновать на этот раз почетного конвоя» (к Стасюлевичу, август 1888 г.). «Полученные мною недавно из России известия заставляют меня предполагать, что в Москве меня оставят ненадолго, а препроводят гораздо дальше» (к Фету, июль 1888 г.). Порвав с правосла-

* Напечатана в «L'Univers» (1888. № 4, 11, 19). Перевод Рачинского см.: Путь. 1913.

вием, он безуспешно пытается войти в католический мир. Новые друзья-иезуиты все больше его разочаровывают. Как ни покорно принимал он замечания Пирлинга по поводу своей книги, все же наконец у него не хватает терпения и между ними происходит разрыв. Соловьев пишет Стасюлевичу: «В моей французской книге Пирлинг никакого участия принимать не захотел *вследствие различия наших взглядов*, откуда Вы можете заключить, насколько неосновательно известие “Гражданина” о моем намерении быть генералом иезуитского ордена». В чем заключалось это «различие взглядов», мы не знаем. Но вот, в 1889 году, уже по возвращении в Россию, Соловьев сообщает Фету: «Мои приятели иезуиты сильно меня ругают за вольнодумство, мечтательность и мистицизм». На основании этих слов можно предположить, что Пирлинг советовал автору выбросить всю последнюю часть книги, т. е. учение о Софии. Живое сердце всего богословствования Соловьева, мистическая основа его веры и жизни казались иезуитам вольнодумством и мечтательностью. Действительно, софиологическая часть ничем не связана с остальным содержанием книги — это голос из другого мира, небесные звуки, врывающиеся в земные, слишком земные речи об учреждении «монархии ап. Петра». Католическому сознанию учение о Софии должно было казаться опасным славянским мистицизмом. Но Соловьев готов был от всего отречься и всему подчиниться, одного он не мог сделать: предать свою «Подругу Вечную».

Подготовив к печати «Россию и Вселенскую Церковь» и сдав ее издателю Альберту Савин в Париже, Соловьев едет в Загреб и проводит рождественские праздники у еп. Штросмайера. Он пишет брату Михаилу: «Я был эти дни в Дьякове у Штросмайера. Встречал с ними Божич (Рождество). Все дьяковские ребятишки, разделившись на несколько компаний, приходили представлять Бэтлеэм и пели очень милые и наивные хорватские песни. Сам Штросмайер нездоров, огорчен и постарел. Со мной был, как всегда, непомерно любезен. Посылал папе “I’ldee russe”. Папа сказал: “Bella idea! ma fuor d’un miracolo è cosa impossibile”*. Я очень рад, что съездил к Штросмайеру, пожалуй, больше не придется свидеться».

Слова папы — смертный приговор идее Соловьева. Сам папа признал план соединения церквей в форме союза римского Престола с русским самодержавием практически неосуществимым. У Соловьева оставалась еще одна последняя надежда, но и ей не суждено было исполниться...

* «Прекрасная идея! Но это вещь невозможная, если только не случится чудо».

Во время своего вторичного пребывания в Дьякове русский философ поразил еп. Штротмайера своим угнетенным состоянием «Нужно поддержать и ободрить нашего друга Соловьева, — пишет епископ Пирлингу в 1890 г., — тем более что он по своему характеру склонен к меланхолии, я даже сказал бы — к отчаянию». — «Вы совершенно верно заметили, что наш добрый и благочестивый Соловьев немного склонен к грусти и меланхолии. Его следует поддержать и ободрить. Он этого в высшей степени заслуживает. Не будем обращать внимания на свойственные ему странности».

В январе 1889 г. Соловьев вернулся в Россию, а вскоре после этого в Париже вышла его книга «Россия и Вселенская Церковь» *.

* * *

В предисловии автор определяет роль России в деле строения всемирной теократии: Россия призвана войти в нее *как политическая сила*. Не русской православной Церкви, а русскому самодержавному царю суждено участвовать в созидании Царствия Божия на земле.

«Глубоко религиозный и монархический характер русского народа, — пишет Соловьев, — некоторые пророческие факты в его прошлом, огромная и сплоченная масса его империи, великая скрытая сила национального духа, стоящая в таком противоречии к бедности и пустоте его теперешнего состояния, — все это указывает, по-видимому, что исторические судьбы судили России дать Вселенской Церкви политическую власть, необходимую ей для спасения и возрождения Европы и всего мира».

За этим следует торжественное исповедание веры: «Как член истинной и досточтимой православной восточной, или греко-русской, Церкви... я признаю верховным судьей в деле религии... апостола Петра, живущего в своих преемниках».

Предисловие заканчивается патетическим обращением к славянам. «Ваше слово, о народы слова, это — свободная и вселенская теократия... Открой же им, ключарь Христов, и пусть врата истории будут для них и для всего мира вратами Царства Божия».

В первой полемической главе («Положение религии в России и на христианском Востоке») автор излагает тезисы «Великого спора». Русская Церковь восприняла из Византии лжеправославие, она покинута Духом Истины и Любви, а посему не есть ис-

* La Russie et l'Eglise universelle. Paris: Albert Savine, 1889.

тинная Церковь Бога. Признать главенство папы — ее нравственный долг.

Вторая апологетическая глава («Церковная монархия, основанная Иисусом Христом») включает в себе изложение католического учения о «*regimen monarchicum*». Лично Соловьеву принадлежит только заостренная, парадоксальная формулировка этого учения.

«У пределов Кесарии и на берегах Тивериадского озера Иисус низверг Кесаря с его престола... В то же время Он подтвердил и увековечил всемирную монархию Рима, дав ей истинную теократическую основу. В известном смысле это было лишь *переменой династий*: династию Юлия Цезаря, верховного первосвященника и бога, сменила династия Симона Петра, верховного первосвященника и слуги слуг Божиих».

Последнее основание теократии — мессианский закон. Человек предназначен быть вселенским мессией, спасти мир от хаоса.. У него тройное служение, он — первосвященник, царь, пророк. «Подчиниться Богу и подчинить себе природу, чтобы спасти ее, — вот в двух словах мессианский закон».

Третья глава («Троичное начало и его общественное приложение») посвящена учению о Софии. Мы уже рассматривали его в связи с «Чтениями о Богочеловечестве» *.

* * *

Соловьев первый в России поставил вопрос о соединении церквей во вселенском плане и положил начало экуменическому движению, которому принадлежит большое будущее. Он веровал «во Едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь». В этом — его бессмертная заслуга и великое христианское дело. Но в его учении вечное переплеталось с временным. Временное — это теократическая идея, которую впоследствии он сам признал заблуждением. Она не оказала непосредственного влияния ни на православный, ни на католический мир. Однако было бы неправильно считать «теократию» случайным уклоном его мысли: в жизни и творчестве Соловьева она занимает центральное место, ей посвятил он свои «лучшие годы», более десяти лет он самоотверженно ей служил. И это служение — *жизненная трагедия Соловьева*. Как в каждой трагедии, в ней есть внутренняя закономерность, приводящая к катастрофе неизбежно.

* См. главу 6.

Его мирозерцание выросло из первоначальной интуиции всеединства, из подлинного мистического опыта, но в самом этом опыте заключалась скрытая опасность: Соловьев так непосредственно видел божественную основу мира, что земная его кора делалась для него прозрачной, и он был склонен отрицать не только относительную самостоятельность временного, но и саму его реальность. Очень характерно в этом отношении письмо его к Н. Н. Страхову 1887 года: «Я не только верю во все сверхъестественное, но, собственно говоря, *только в это и верю*. Клянусь четой и нечетой, с тех пор как я стал мыслить, тяготеющая над нами вещественность всегда представлялась мне не иначе как некий кошмар сонного человечества, которое давит домовой». Дальнорукость ясновидца делала Соловьева близоруким к окружающей действительности. Перед взором его исчезала грань, отделяющая небесное от земного. Он *действительно* созерцал «всеединое», и реальность относительного казалась ему загадочной: он называл ее «сном», «призраком», «кошмаром». В таком крайнем идеализме была опасность смешения двух планов бытия, временного и вечного. Соловьев называет историческую организацию Церкви *видимой* формой Царствия Божия, вводит в нее такие относительные явления человеческой жизни, как государство и экономическое общество; считает «врата истории» вратами Царства Божия. Более того, он абсолютизирует русскую монархию и русский социальный строй; духовную силу Церкви смешивает с властью государственной и предлагает папе опереться на политическую мощь Русской империи для спасения мира!

Идеализм, отрицающий реальность конечного мира, логически приводит к насилию над этим миром. Соловьев в своих мистических прозрениях видит Царствие Божие уже пришедшим в силу и славе, и косная медлительность и запутанность исторического процесса просто его раздражает. Если «сонное человечество» не желает проснуться, нужно его растолкать; если оно по своей «нравственной и умственной несостоятельности» не хочет войти в Царствие небесное, можно ввести его насильно. Средневековая теократия завершилась системой принуждения, так же завершается и теократия Соловьева. Он хотел «реальной христианской политики», а создал самую фантастическую утопию.

* * *

В теократической системе Соловьева России принадлежит важная роль; она должна осуществить земное царство Мессии, взять на себя продолжение дела Константина и Карла Великого.

Русская империя отдает свою политическую власть в распоряжение папе. Эта идея теократического царя была чужда ранним историософическим построениям Соловьева; в «Философских началах цельного знания» он был еще народником и определял свободную теократию не как империю, а как «цельное общество». И только в 80-х годах он становится империалистом. Одна из глав «Великого спора и христианской политики» была посвящена «Императору». И. Аксаков ее не напечатал. По этому поводу Соловьев ему писал (1883 г.): «Идея всемирной монархии принадлежит не мне, а есть вековечное чаяние народов. Из людей мысли эта идея одушевляла в средние века, между прочим, Данте, а в наш век за нее стоял Тютчев, человек чрезвычайно тонкого ума и чувства. В полном издании “Великого спора” я намереваюсь изложить идею всемирной монархии большей частью словами Данте и Тютчева». Соловьев ссылается на известные статьи Тютчева «Россия и революция» и «Папство и римский вопрос». У него он нашел идею Русской империи, спасающей папство, и образ русского императора, коленопреклоненного у гроба Апостола Петра в Риме*. Так, средневековая теория священной монархии (в 1883 году Соловьев читал «De monarchia» Данте) сочеталась у него с мессианской идеей славянофила Тютчева.

Чтобы оправдать свою веру в мессианское призвание русской государственности, Соловьев ссылается на «некоторые пророческие факты прошлого России». Таковыми он считает: призвание варягов, крещение Руси и реформу Петра; в призвании варягов он видит «акт народного самоотречения», в крещении Руси — «восприятие св. Владимиром полноты христианства», а в реформе Петра — «христианское самоосуждение». Излишне указывать на полную произвольность подобных толкований. Соловьев всегда утверждал, что Россия получила из Византии «лжеправославие»; как примирить этот взгляд с заявлением о «полноте христианства» св. Владимира?

Веру в национальное мессианство России автор «Теократии» получил в наследство от славянофилов; он только видоизменил ее, поставив на место православия самодержавие и на место Церкви — империю. Много лет он беспощадно обличал славянофильский национализм и нанес ему последний удар, а между тем в его теократической системе — полное торжество национализма. Из всех стран одна Россия призвана строить земное Царство. А это значит, что Русской империи суждено всемирное владычество,

* См.: Флоровский Г., св. Тютчев и Владимир Соловьев // Путь. 1933. № 41.

могущество, богатство и слава. Начав призывом России к смирению и самоотречению, он кончает обещанием ей диктатуры над всем миром. Такова ирония судьбы Соловьева: ни один эпигон славянофильства в самых дерзких своих мечтах не доходил до такой национальной гордыни.

* * *

Поэтическое выражение теократической идеи дано в стихотворении «Ex oriente lux».

«С Востока свет, с Востока силы!» С этим кличем Ксеркс шел на Элладу. Но толпа рабов бежала «пред горстью доблестных граждан». И воспарил царственный орел Рима, и воздвиглась держава Запада, но мир снова потонул в крови.

Душа вселенной тосковала
О духе веры и любви.

Вещее слово не ложно, и свет действительно придет с Востока: он примирит Восток с Западом, он будет исполнен знамений и сил. Поэт обращается к России:

О, Русь! в предвиденьи высоком
Ты мыслью гордой занята;
Каким же хочешь быть Востоком,
Востоком Ксеркса иль Христа?

12

БОРЬБА ЗА ТЕОКРАТИЮ (1889—1891)

Папа Лев XIII заявил, что «план» Соловьева мог бы осуществиться только чудом. Но Соловьев верил в чудо. В Загребе он работал над составлением письма Александру III. Проект его был довольно фантастический: он хотел испросить аудиенцию у государя и лично объяснить ему, что «могущественный царь должен протянуть руку помощи гонимому первосвященнику». Вернувшись в Россию, он пишет в июле 1889 г. Тавернье: «Еще одно слово *о нашем семейном деле*. Кажется, скоро мне представится последний случай прямо подействовать на племянника (условное обозначение Александра III), человека превосходного, но, к сожалению, ставшего жертвой дурного общества. Если мне не удастся открыть ему глаза (шансов мало!), я нисколько не оставил плана подействовать на него косвенно и на расстоянии, и тогда я буду рассчитывать на Вашу помощь».

«Косвенное действие» должно было заключаться в напечатании его письма государю в католическом журнале «L'Univers». Но случай так и не представился, и письмо Соловьева осталось ненапечатанным.

После летнего путешествия по Волге он основывается в Петербурге; чувствует себя настолько плохо, что даже советуется с Боткиным. Тот находит у него «иннервацию», рекомендует жениться и жить спокойно; «а за неудобоисполнимостью этого совета» прописывает пилюли.

Начало девяностых годов — резкая грань в жизни Соловьева. Церковные вопросы отходят на второй план; начинается медленное разложение теократической идеи — последние отчаянные попытки спасти ее и последние сокрушающие ее удары. Переезд философа из Москвы в Петербург знаменует окончательный разрыв с прежними друзьями-славянофилами и сближение с западниками. Уже в 1888 году он писал М. М. Стасюлевичу: «В области вопросов русской политической и общественной жизни я чувствую себя (эти последние годы) наиболее солидарным с направлением «Вестника Европы» и не вижу, почему бы разница в идеях, принадлежащая к области сверхчеловеческой, должна была бы, при тождестве ближайших целей, мешать совместной работе. Опыт убедил меня, напротив, что такая работа нисколько не облегчается метафизическим единомыслием, когда люди *хотят* не одного и того же».

Следуя этому принципу, Соловьев глубоко прячет свои метафизические идеи, ограничивается вопросами реальной политики, философской и художественной критики и заключает союз с либералами, которых шутливо называет «невскими скептиками». Союз двусмысленный и порой для него невыносимый. Что общего между мистиком Соловьевым с его учением о Софии, с его пророческими прозрениями, утопиями и стихами и прозаически трезвым и «здоровомыслящим» кружком «Вестника Европы»? Соловьев дружит с М. Стасюлевичем, А. Пыпиным, С. Венгеровым, К. Арсеньевым, Э. Радловым, Л. Слонимским; сотрудничает, кроме «Вестника Европы», в «Северном вестнике», редактируемом Л. Гуревич¹⁴⁶, в «Вопросах философии и психологии» Н. Грота, в «Книжках недели» В. Гайдебурова. С 1891 года он заведует философским отделом в Словаре Брокгауза и Ефрона; за два года (1890—1891) пишет более двадцати обширных статей (в том числе такие серьезные исторические исследования, как «Китай и Европа», «Япония», «Первобытное язычество»).

К напряженной и нервной журнальной работе присоединяются всевозможные общественные дела и хлопоты. Соловьев пишет

Стасюлевичу в 1890 году: «Я мало-помалу превращаюсь в машину Ремингтона. Сверх того вижу видения и хлопочу о сорока тысячах чужих дел». В религиозном его сознании что-то существенное меняется. «Истинное неподдельное христианство» для него теперь уже не исчерпывается Церковью. В статье «О подделках» (1891) он определяет христианство как *«дух Христов, воплощенный в религиозных формах и учреждениях, образующих земную Церковь, Его видимое тело, но не исчерпанный этими формами, не осуществленный окончательно ни в каком данном факте»*. Как далек этот спиритуализм от прежнего теократического учения о Церкви!

В философии Соловьев все дальше уходит от своей мистической теории познания; он пишет «о философских заслугах В. В. Лесевича», того самого Лесевича, который выступал оппонентом на его магистерской диссертации и с которым он жестоко полемизировал. Теперь он заявляет, что Лесевич внес в русскую философию «великий принцип относительности», познакомил Россию с позитивизмом и что этот «разумный скептицизм» есть первое элементарное условие истинной философии. Соловьев начал свою философскую карьеру решительной критикой позитивизма; в начале девяностых годов его отношение к Огюсту Конту резко меняется: он становится скептичнее, строже и суше. Всякий догматизм его пугает; «безусловные решения и самодовлеющие утверждения» кажутся ему схоластикой. Он вступает на новый путь, который должен был привести его к полному пересмотру всей его философской системы — метафизики, гносеологии и этики.

Но идеи, вскормленные кровью сердца, умирают нелегко. Вопреки всем очевидностям, Соловьев продолжал верить в свободную теократию и вселенскую миссию России. Голод 1891 г. нанес этой вере смертельный удар.

Со свойственной ему страстностью он бросился на помощь голодающим; напечатал в «Вестнике Европы» статью «Народная беда и общественная помощь» и в «Северном вестнике» воззвание «Наш грех и наша обязанность». В них он призывает русских людей «организоваться в единое общество для помощи народу». Эта организация рисуется ему чем-то в духе Славянских Комитетов 1875—1878 годов. Он верит, что «правительство делает свое дело», что «государственная помощь прокормит население бедствующих губерний до урожая будущего года». Но общество должно прийти на помощь власти, искупить свою вину перед народом, доказать на деле свою веру в Россию. «Теперь настала пора, — пишет Соловьев, — возвратить патриотизму его истин-

ный и положительный смысл, — понять его не как ненависть к инородцам и иноверцам, а как деятельную любовь к своему страдающему народу». Он требует, грозит, призывает к покаянию. «Вы не сделали ничего, — говорит он обществу, — не только для духовного воспитания народа в христианской истине, но даже для физического его пропитания, для обеспечения ему насущного хлеба. И все нынешние и предстоящие страдания этого народа на вашей совести, ваш грех. Первая ваша обязанность — в нем покаяться, а вторая — показать раскаяние на деле... Этот грех стоит теперь перед Вами так, что уйти от него нельзя. Искушение и спасение еще в наших руках».

Соловьев писал воззвания, ездил по влиятельным людям, организовывал и выбивался из сил. «В настоящее время, — пишет он Стасюлевичу, — я изнемогаю под тяжестью усилий образовать из нашего хаоса или просто слякоти хотя бы микроскопическое ядрышко для будущего общества. Я, впрочем, не впадаю в смертный грех уныния, особенно ввиду явных признаков, что небесное начальство потеряло терпение и хочет серьезно за нас приняться». Э. Радлову он жалуется на «удручающие и (вероятно) бесплодные хлопоты». Он хотел верить в успех дела — и не верил, гипнотизировал себя пламенными призывами и лихорадочной суетой, а в глубине души чувствовал, что все это бесцельно и что наступает Страшный Суд. «Крайняя несостоятельность полукультурного общества и бескультурного народа» предстала перед ним во всей ужасающей наготе. И наконец, последнее разочарование: Соловьев вдруг обнаружил, что правительство не только не «делает свое дело», но и мешает тем, кто хочет помочь голодающему народу. В письме к Л. Я. Гуревич (26 октября 1891 г.) он пишет: «Со времени моего воззвания и даже со времени моей последней телеграммы произошли важные перемены. Во-первых, я узнал *наверно*, что решено ни под каким видом не допускать общественной помощи голодающим, а во-вторых, еще не готовая книжка философского журнала арестована в типографии не только из-за меня, но и за две невинные статьи Грота и Толстого о голоде... Я призывал к общественной организации для помощи народу; теперь окончательно выяснилось, что для исполнения этого призыва (как я, впрочем, предвидел) необходимо перейти в другую оперу, не даваемую на казенных театрах».

Личные воспоминания кн. Е. Н. Трубецкого * позволяют нам разгадать смысл последней, довольно таинственной фразы. Тру-

* *Трубецкой Е., кн.* Крушение теократии в творчестве В. С. Соловьева // Русская мысль. 1912. Кн. 1.

бецкой рассказывает, что Соловьев, потеряв надежду на «теократического царя», стал мечтать о *недозволенной* организации общества. Л. Ф. Пантелеев¹⁴⁷ запомнил следующие слова Соловьева: «Я хочу предложить Драгомирову стать во главе русской революции... Если во главе революции будут стоять генерал и архиерей, то за первым пойдут солдаты, а за вторым народ, и тогда революция неминуемо восторжествует». Попытка перестроить теократию на демократическом основании и самодержавие заменить народным представительством была самой невероятной из всех соловьевских утопий. Кн. Е. Трубецкой вспоминает, что Соловьев не только развивал этот план, но даже наспех «конструировал» его идеологическое обоснование. Он исходил из идеи всеобщего царского священства: все мы — цари и священники Бога Вышнего, поэтому всем нам надлежит участвовать и в священстве и в царстве. Но идея «демократической теократии» была слишком нереальна, и сам Соловьев скоро пришел в смущение и отказался от нее. Одно несомненно — осенью 1891 года он вполне серьезно разыскивал подходящего революционного архиерея и с уверенностью предсказывал, что переворот в России наступит в мае 1892 г. («Воспоминания» Я. Колубовского).

Таков процесс постепенного разрушения «свободной теократии». Первосвященник (папа Лев XIII) объявил ее неосуществимой, царь ее не заметил, общество глумилось над пророком. Разочарование Соловьева в теократии повлекло за собой разочарование в русском мессианизме: бессилие власти, несостоятельность общества, беспомощность народа — такова была открывшаяся ему действительность. Земное царство Христа уходит от него, погружается в мрак, на фоне которого все явственнее и грознее вырисовывается образ грядущего Антихриста.

* * *

В октябре 1891 г. Соловьев читает в Московском психологическом обществе реферат на тему: «Об упадке средневекового миросозерцания». В нем он резко обличает историческое лжехристианство и противопоставляет ему христианство подлинное, религию Богочеловечества, общего спасения и перерождения всего мира. Миросозерцание, с которым он борется, — «церковный догматизм, ложный спиритуализм и индивидуализм» — только формально связано со средними веками. Придав своей критике «исторический характер», автор хотел защититься от нападок современных «лжехристиан». Но врагов этот тактический прием не обманул, и все церковные консерваторы восста-

ли против обличителя. Соловьев смело заявляет, что то мирозерцание, которое он условно называет средневековым, есть полная противоположность христианству. Общество, признающее истину Христову как внешний факт и желающее, чтобы жизнь оставалась по-прежнему языческой, а Царство Божие — вне мира, «как бесплодное украшение или простой придаток к мирскому царству», — такое общество предает Христа. Христианство есть новое рождение, подвиг, дело жизни, *норма действительности*. Христиане превратили свою веру во внешние дела, обязательные догматы и послушание духовным властям. «От незаконного соединения идеи спасения с церковным догматизмом родилось чудовищное учение о том, что единственный путь спасения есть вера в догматы». Мнимое христианство выродилось в религию личного спасения, признало материальную природу злом — и тогда в нее вселились злые духи. «Представители псевдохристианства, отчасти уподобляясь верующим бесам в своем догматизме, а отчасти в своем ложном спиритуализме, утративши действительную силу духа, не могли подражать Христу и апостолам и прибегли к обратному приему. Те изгоняли бесов для исцеления одержимых, а эти для изгнания бесов стали умерщвлять одержимых».

И автор спрашивает: «Куда же скрылся дух Христов?» В то время как христиане по имени изменяли делу Христову, нехристиане служили ему. Весь социальный прогресс, все христианские преобразования последних веков были совершены неверующими. Дух Христов дышит где хочет. Соловьев советует «номинальным христианам, гордящимся своею бесовскою верою», вспомнить историю двух апостолов — Иуды Искарота и Фомы. Вместо того чтобы порицать дело «неверующих прогрессистов», пусть бы они сами попробовали сделать лучше, создать христианство живое, социальное, вселенское.

Доклад Соловьева есть торжественное, публичное отречение от «церковной политики». Осуждается все историческое христианство, и западное и восточное. Церковные люди, мнящие себя христианами, хуже неверующих: их вера — «бесовская», они Иуды Искароты, фанатики и человеконенавистники. Отрицается «церковный догматизм», «послушание духовным властям», вообще всякое «правовереие». Христово дело совершается через безбожников. Тон доклада — раздраженный, вызывающий; обличения — преувеличенно резкие и страстные. Такие крайности свойственны разочаровавшимся идеалистам: в каждом слове звучит личная обида, личная месть.

Таков был финал долгой борьбы за теократическую идею: она неосуществима, потому что весь христианский мир предает Христа.

В 1892 году Соловьев сказал Евгению Трубецкому по поводу одной его речи: «Ты призывал христиан всех вероисповеданий соединиться в общей борьбе против неверия; я желал бы, наоборот, соединиться с современными неверующими в борьбе против современных христиан».

Выступление Соловьева в Психологическом обществе было событием в московской жизни. «Заседание было назначено, — рассказывает Я. Колубовский*, — в круглом зале правления Университета, где обычно происходили собрания общества. В качестве помощника секретаря общества мне приходилось нести распорядительские обязанности. Не ожидая чего-либо особенного, я на этот раз явился за четверть часа до заседания. К удивлению моему, я увидел, что вся лестница, ведущая в зал заседаний, занята жаждащими попасть в него. От служителя я узнал, что все переполнено, что негде даже раздеться. Из затруднения вывел Н. Я. Грот, с обычной своей стремительностью получив разрешение открыть для заседания актовый зал. Зал быстро наполнился самой избранной публикой: профессора, литераторы, члены общества в небывалом числе. Вся московская знать имела здесь своих представителей... Доклад Соловьева с внешней стороны был произнесен крайне неудачно. Соловьев не успел отделать его, а многочисленные цитаты из Евангелия отыскивал по греческому тексту. Происходили невольные паузы. Во время одной из таких пауз почтенный П. Д. Боборыкин встал и со словами: “Что это? собор?” — вышел. Весь доклад продолжался не более трех четвертей часа. В перерыве было заметно особенное оживление, к Гроту один за другим подходили члены общества с заявлениями о желании возражать. Прения в такой обстановке были, конечно, неудобны, и председатель объявил, что прения состоятся в закрытом заседании, т. е. без публики и в другом помещении. Ропот неудовольствия пронесся по зале... Многие записались тут же в члены-соревнователи и заплатили десять рублей. Прения были спокойны. Возражали Грингмут, секретарь “Московских ведомостей”, и Ю. П. Говоруха-Отрок, фельетонист той же газеты».

Далее Колубовский рассказывает, что, вернувшись из заседания, он тотчас же принялся составлять отчет, но в ту же ночь за

* Колубовский Я. Из литературных воспоминаний // Исторический вестник. 1914. Апр.

ним прислали из редакции «Русских ведомостей». Разразилась бурная полемика. «В течение почти двух месяцев “Московские ведомости” палили из всех орудий. Были дни, когда выпуск почти сплошь был занят Соловьевым: в передовой статье с ним расправлялся сам Грингмут, в фельетоне — Николаев (Говоруха), письма в редакцию тоже были посвящены докладу, и хронику украшала какая-либо заметка в связи с тем же предметом». Соловьев написал четыре письма в редакцию «Московских ведомостей», доказывая, что он обличал не Церковь, а антихристианский дух, и наконец решил не перерабатывать своего доклада в журнальную статью и напечатать без изменения в том виде, в каком он был прочитан. Цензура его не пропустила, и реферат появился в «Вестнике Европы» уже после его смерти. Ходили слухи, что Победоносцев собирается запретить философский журнал Грота: Соловьеву было известно, что, узнав о его сотрудничестве в «Вопросах философии и психологии», Победоносцев спросил редакторов: «Зачем вам понадобился этот буйвол?» К счастью, на стороне философа оказались попечитель округа гр. П. А. Капнист и архимандрит Антоний (Храповицкий). Последний заявил Гроту, что сотрудники «Московских ведомостей» ведут полемику «от ветра главы своея».

И все же Соловьев окончательно приобрел репутацию «неблагонамеренного» человека. Со всех сторон сыпались на него обвинения и обличения. Он пишет брату Михаилу: «В последнее время значительная часть моего существования состоит из эмпирического комментария к стиху Лермонтова: “За мечь врагов и клевету друзей”».

А между тем, если бы его доклад был составлен в менее резкой форме, никто бы не мог возразить против его основной мысли: христианство действительно есть не религия личного спасения, а *спасения мира*: оно имеет социальную задачу, которую до сих пор не выполнило. В истории христиане часто были недостойны своего высокого звания, и дух Христов действительно живет во всем мире, и в верующих и в неверующих. Эти идеи, ныне начинающие проникать в христианское сознание, в эпоху Соловьева казались дерзновенным модернизмом. Он был первым в России проповедником активного *социального христианства*.

Бурный 1891 год заканчивается для Соловьева печально: он заболевает дифтеритом. Во время болезни исповедуется и причащается.

13
ЭРОТИКА
(1892—1894)

В 1892 году Соловьев переживает свою последнюю любовь. После разрыва с С. П. Хитрово он надолго погрузился в «бесчувственность»; рана медленно заживала; приступы любовной тоски становились слабее и реже. Ему казалось, что пора сердечных волнений навсегда прошла, что из всех страстей у него осталась только «мелкая раздражительность» и что он окончательно отцвел и постарел. И вот снова налетает на него эротическая буря, неистовая, неожиданная и непреодолимая. Это не идеальная поэтическая любовь к С. П. Хитрово, воплощавшей образ Небесной Подруги; это жестокая, чувственная, темная страсть, испепеляющая и разрушающая душу. К этому периоду относится портрет Соловьева, писанный Ярошенко. Возможно, что художник утрировал «материальную сторону» оригинала: в портрете нет никакой «духовности». «Верно схвачено только выражение непомерной, почти животной или стихийной силы и чувственность нижней части лица», — пишет С. М. Соловьев.

В Москве Соловьев знакомится с семьей Мартыновых и влюбляется в замужнюю женщину Софью Михайловну Мартынову; летом 1892 года он нанимает дачу в селе Морщихе, около станции Сходня Николаевской железной дороги, неподалеку от имения Мартыновой «Знаменское». «Дача моя (4 комнаты) за все лето стоит 80 руб., чем я весьма горжусь. Буду жить там совершенно один. Стол свой я упростил весьма: ем раз в день гречневую кашу с подсолнечным маслом и зеленые бобы без всякого масла, запивая это рижским пивом по 12 коп. бутылка» (письмо к Стасюлевичу). Но сельская идиллия продолжается недолго; о первой своей беде он повествует в стихах:

Душный город стал несносен.

Взявши саквояж,

Скрылся я под сенью сосен

В сельский пейзаж.

У крестьянина Сысоа

Нанял я избу.

Здесь мечтал, вкусив покоя,

Позабить борьбу.

Ах, потерянного рая

Не вернет судьба.

Ждет меня беда другая,

Новая борьба.

Поднялись на бой открытый
Целые толпы —
Льва Толстого фавориты,
Красные клопы.

Он с ними сражался «галльским скипидаром». В письме к С. Венгерову снова острооты и шуточные стихи. «На вопрос Ваш, как я поживаю, прямого ответа дать не могу, ибо я вовсе не поживаю. Я умер, о чем бесспорно свидетельствует следующая эпитафия, высеченная (вопреки закону, избавляющему женский род от телесного наказания) на моем могильном камне:

Владимир Соловьев лежит на месте этом;
Сперва был философ, а ныне стал скелетом.
Иным любезен быв, он многим был и враг;
Но, без ума любив, сам ввергнулся в овраг.

Он душу потерял, не говоря о теле:
Ее диавол взял, его же собаки съели,
Прохожий! научись из этого примера,
Сколь пагубна любовь и сколь полезна вера.

Но, пожалуй, узнавши о моей смерти, Вы не пришлете мне ордера на 22 р. Итак, спешу оставить шутки и сообщить Вам, что я живу хотя в большой тесноте, но не в обиде, по крайней мере не обижаю своих свиноватых, пьяных, но тем не менее нищих деревенских соседей, среди которых приобрел немало популярности».

Юмористические стихи Соловьева нередко производят жуткое впечатление, но по «юмору висельника», самоглумлению и какому-то веселью отчаяния «эпитафия» превосходит все остальные. Соловьев любил каламбуры на тему смерти; уже раньше из Воробьевки он сообщал матери о своей кончине и посылал ей свою эпитафию. Но по сравнению с этим циничным и свирепым некрологом самому себе фетовское четырехстишие кажется сентиментальной шуткой.

За первой бедой — красными клопами — следуют другие. «Морщиху свою я принужден был оставить по многим причинам, — пишет Соловьев Цертелеву, — как, например: 1) вследствие близости хозяйской семьи ни спать ни заниматься было невозможно, 2) во-вторых, у хозяйки оказался третичный сифилис, 3) кухарка разрешилась от бремени незаконнорожденным младенцем, которому я и предоставил свою дачу».

Такова внешняя история этой единственной в жизни Соловьева попытки «сближения с народом». Внутренняя была еще печальнее. На Сходне разыгрывался последний акт последней лю-

бовной трагедии Соловьева. Она началась в Москве; встретив С. М. Мартынову, Соловьев не сразу поверил в новую любовь.

Сказочным чем-то повеяло снова...
Ангел иль демон мне в сердце стучится,
Форму принять мое чувство боится.
О, как бессильно холодное слово.

Но скоро он уже не мог сомневаться: это было то самое мистическое дуновение, то непонятное волнение, которое он всегда испытывал в любви. Он и не пытается понять свое состояние:

Оттого ли, потому ли, —
Но в тебе, в тебе одной
Безвозвратно потонули
Сердце, жизнь и разум мой.

В нем снова оживает вера в любовь, побеждающую смерть; только в любви смысл жизни, ею одной люди живы:

Люди живы той любовью,
Что одно к другому тянет,
Что над смертью торжествует
И в аду не перестанет.

«Уж он любовь отпел» — и вот она снова пришла к нему, хотя «осень ранняя смеется» над ним, хотя волосы его уже поседели. И перед лицом этой любви вся прежняя его жизнь, полная борьбы, стремлений и потерь, кажется «какой-то сказкой». Труден был его путь, горы сдвигались и давили грудь:

И вдруг посыпались зарей вечерней розы,
Душа почуяла два легкие крыла,
И в новую страну неистощимой грезы
Любовь-волшебница меня перенесла.

С каждым днем чувство росло и захватывало его все сильнее; чистая нежность и мечтательность превращались во всепоглощающую страсть, в «роковую беззаветную любовь».

Нет вопросов давно и не нужно речей,
Я стремлюся к тебе, словно к морю ручей,

Он охвачен стихийными эротическими силами, теряет рассудок, готов на все унижения — злая страсть и безнадежность.

Знаю только одно, что безумно люблю.

Но скоро он узнает и то, что его любовь не разделена, что любимую только тешит его обожание, что она равнодушна и насмешлива. И после гимна любви — первые слова о горечи и боли:

Тесно сердце — я вижу — твое для меня,
А разбить его было б мне жалко.
Хоть бы искру, хоть искру живого огня,
Ты холодная, злая русалка!

Он заклинает судьбу, уверяя ее и себя, что их встреча имеет нездешний таинственный смысл, что «там» он увидит ее подлинный светлый образ.

В этом мире лжи — о как ты лжива!
Средь обманов ты живой обман,
Но ведь он со мной, он мой, тот миг счастливый,
Что рассеет весь земной туман.

Он пытается заглушить свою боль верой в потустороннее преображение любви. Все недаром: нужна была эта земная страсть, эта пылающая темница для того, чтобы в том мире могли расцвести мистические розы.

Мы сошлись с тобой недаром,
И недаром, как пожаром,
Дышит страсть моя;
Эти пламенные муки
Только верные поруки
Силы бытия.

.....
Свет из тьмы. Над черной глыбой
Вознестися не могли бы
Лики роз твоих,
Если бы в сумрачное лоно
Не впивался погруженный
Темный корень их.

В этих замечательных стихах заключено, как в зерне, все идейное богатство статьи «Смысл любви». Соловьев ищет в платонизирующей теории оправдания своей несчастной страсти, своих бесцельных страданий. Подвигом веры и взлетом фантазии он спасается от убийственной бессмыслицы своего чувства. Есть что-то магическое и страшное в его любовных заклинаниях, в его «преодолении очевидностей». Перед ним злая и холодная кокетка — он смотрит на нее и видит ее «настоящую»:

И меж тех цветов, в том вечном лете,
Серебром лазурным облита,
Как прекрасна ты, и в звездном свете
Как любовь свободна и чиста.

Но какова бы ни была их встреча там, среди «нездешних цветов», все равно вера его уже оправдана, ибо чудо преображения через любовь произошло уже здесь. Мечта уже победила действительность, и поэзия восторжествовала над жизнью.

С властной уверенностью говорит он ей о том, *кто* она, нежно утешает, прося не бояться опутавшей ее «земной паутины»:

Но не бойся: тебя не покину я,—
Он сомкнулся, магический круг.

Роли переменялись: он больше не жертва, а властелин. Не она заставляет его пресмыкаться у своих ног, а он возносит ее к «сияющим звездам»:

Вижу очи твои изумрудные,
Светлый облик стоит предо мной...

Чудо преображения Альдонсы в Дульсинею совершилось, но совершилось только в поэзии. А в жизни все было гораздо сложнее, несовершеннее и мучительнее. У Соловьева не хватило сил реализовать свое чудо в жизненном деле. Стоит сравнить стихи с письмами, чтобы почувствовать резкий диссонанс. Он видел в ней Мадонну, но когда это сияние от нее отлетело, он был бессилен его вернуть. Вот одно из самых важных свидетельств Соловьева о самом себе. Он пишет С. М. Мартыновой летом 1892 года — перед развязкой: «Письмо Ваше действительно подтверждает ту удивительную перемену, которую я заметил в прошлую пятницу утром и в которой напрасно усумнился было к вечеру... Скорблю, но не отчаиваюсь... Пишу Вам не для того, чтобы оплакивать отлетевшую Мадонну, а для того, чтобы просить оставшуюся Матрену сказать мне откровенно: могу ли я вместо понедельника приехать на несколько часов завтра, в пятницу».

О той же «подмене» он говорит в стихах:

Мадонной была для меня ты когда-то:
Алмазною радугой лик твой горел,
Таинственно все в тебе было и свято,
Рыдал я у ног твоих тысячекрат и
Едва удавиться с тоски не успел,
Но скрылся куда-то твой образ крылатый,
А вместо него я Матрену узрел.

Разгадку этой трагической душевной раздвоенности мы находим в другом письме к Мартыновой. Переписав для нее стихотворение «Ветер с западной страны», Соловьев прибавляет: «Странное дело. Только что это выразилось и совершенно искренне в стихах, как *сейчас же перестало быть истинным в действительности*».

Соловьев верил, что преображение через любовь — не поэтическая греза, а реальное жизненное дело. Любовь здесь, на земле, должна преображать Альдонсу в Дульсинею. Но сам он свою возлюбленную мог преобразить только в зеркальных отображениях

искусства. У него была магия слова, но не было магии дела, и в реальном жизненном опыте магический круг его разомкнулся.

В стихах Она сияет звездной славой, а в жизни Софья Михайловна Мартынова получает шутливые, заискивающие записки, вымаливающие свидания и сетующие на ее холодность. Она видела перед собой стареющего, рассеянного, немного смешного, немного жалкого философа, потерявшего в любви самообладание и достоинство. Одно неизданное стихотворение, приложенное к письму Мартыновой, говорит о глубине унижения Соловьева:

О, как любовь все изменила!
Я жду во прахе недвижим,
Чтоб чья-то ножка раздавила
Меня с величием моим.

Брату Михаилу он пишет: «Я здоров, но претерпеваю сердечные огорчения и тоску немалую. Упоминаю об этом, чтобы ты не заключал напрасно из моих легкомысленных разговоров о характере моих жизненных отношений. Представь себе, что я имел дело с таким нравом, сравнительно с которым С. П. (Хитрово) есть сама простота и сама легкость... Кстати, я украл у одной дамы две порядочные фотографии моего Кит-Китыча (Мартыновой) и привезу показать тебе и Оле в знак братской любви».

Но, коснувшись самого дна унижения, Соловьев нашел в себе силы победить свою постыдную страсть. Гордость оказалась сильнее любви. Он рвет с Мартыновой и пишет ей последнее стихотворение, полное глубокого презрения. Это месть за все обиды. Соловьев несправедлив и невеликодушен: признавая свою неудачу, он винит не себя, а только ее; она была для него куском мрамора, и из него он мечтал высечь прекрасную статую, но принужден был отказаться от «странной затеи» не потому, что он плохой скульптор, а потому, что она — негодный материал. Последняя строфа должна была хлестнуть ее, как удар бича:

Теперь утешу Вас! Пигмалионы редки,
Но есть каменотес в примете у меня:
Из мрамора скамью он сделает в беседке
И будет отдыхать от трудового дня.

* * *

Пять статей Соловьева, объединенных под общим заглавием «Смысл любви» (1892—1894), принадлежат к величайшим творениям всей русской философской мысли. Пытаясь осмыслить и оправдать только что пережитый им опыт любви, он создает

свою поистине гениальную теорию Эроса. Мистические прозрения его всегда предварялись эротическими вихрями; он знал по опыту, что эти переживания одновременно и разноприродны, и нерасторжимо связаны. В «Смысле любви» ему удастся объяснить эту загадочную сращенность эротики и мистики и тем самым преодолеть их кажущуюся противоположность.

Смысл любви — не в размножении и в произведении наиболее пригодного потомства. Половая любовь есть расцвет индивидуальной жизни, ибо человеческая личность есть высшая форма развития, цель сама в себе, а совсем не средство для создания мифического сверхчеловека. Но отдельный человек не может осуществить заложенной в нем истины — положительного всеединства, этому мешает эгоизм. И только любовь выводит его из эгоизма. «Смысл человеческой любви есть оправдание и спасение индивидуальности через жертву эгоизма». Любовь заставляет человека признать наряду с собственным безусловным значением, безусловное значение другого. Но для этого она должна быть направлена на реальный, индивидуальный субъект; такой силой является только половая любовь, всякая другая любовь (материнское чувство, дружба, патриотизм, любовь к науке) эгоизма не побеждает. Чувство требует полного соединения, внутреннего и окончательного, но в действительности это соединение не достигается. Расцвет оказывается пустоцветом и низводится на случайное средство рождения детей. Но разве неосуществленность цели доказывает ее неосуществимость, разве любовь только мечта?

Соловьев определяет задачу любви: «Осуществить единство или создать истинного человека как свободное единство мужского и женского начала, сохраняющих свою формальную обособленность, но преодолевших свою рознь и распадение, это и есть собственная задача любви». При любви непременно бывает идеализация: любящий действительно видит не то, что другие. И эта идеализация совсем не субъективная иллюзия, а глубокое мистическое прозрение. Любовь открывает нам образ Божий в другом человеке, его подлинную сущность. Недостаточно любоваться прекрасным образом, нужно преобразовать по нему несоответствующую действительность, ибо духовно-физический процесс восстановления образа Божия в материальном человечестве не может совершиться помимо нас. Трубадуры и рыцари средних веков не умели этого сделать: Дон Кихот кончил безнадежным разочарованием в своем идеале. И ныне никто не верит в преобразующую силу любви. «Свет любви ни для кого не служит путеводным лучом к потерянному раю; на него смотрят как на фантастическое освещение краткого любовного “пролога на небе”,

которое затем природа весьма своевременно гасит как совершенно ненужное для последующего земного представления».

Соловьев возвеличивает половую любовь, но сурово осуждает всякое «внешнее соединение, житейское и, в особенности, физиологическое». В любви он *эротический аскет*: семья и деторождение отвергаются им как извращение подлинной любви. «Чувство любви само по себе есть только побуждение, внушающее нам, что мы можем и должны воссоздать целость человеческого существа. Каждый раз, когда в человеческом сердце зажигается эта священная искра, вся стенающая и мучающаяся тварь ждет первого откровения славы сынов Божиих».

Любовь должна победить смерть, более того, только любовь и нуждается в бессмертии; все остальное — гений, искусство, наука, политика — временны и конечны. Человечество призвано к тому, чтобы *отменить закон смерти*, и оно может это совершить только через любовь. «Самое разделение между мужским и женским элементом человеческого существа, — пишет Соловьев, — есть уже состояние дезинтеграции и начало смерти. Бессмертным может быть только целый человек». Как же мыслить это воссоединение? Оно не достигается ни неограниченным удовлетворением половой потребности животного человека, ни семейным союзом общественного — оба они оставляют человека в дезинтегрированном состоянии, ведущем к смерти. Но в человеке есть третье, высшее, начало — духовное, мистическое или божественное. Оно является его *естественным состоянием*, тогда как низшие элементы для него, в сущности, *противоестественны*.

И автор строит свою теорию андрогинизма, связывая ее с учением о Вечной Женственности. Образ Божий относится не к отдельной части человека, а к цельному человеку, мужу и жене вместе. Дело истинной любви прежде всего основано на вере: человек должен творить свою жену, как Бог творит мир. «Бог как единый, различая от себя свое другое, т. е. все, что не Он сам, полагает его как единство пассивное, женское». Но, различая, Он возводит его к себе, реализует высшее в низшем, ибо в Боге действительность принадлежит только всеединству. Любя реальную женщину, мы утверждаем ее идею в Боге. «Небесный предмет нашей любви только один, всегда и для всех один и тот же — Вечная Женственность Божия».

Мы знаем, что в нашей жизни такая любовь не реализуется. Но пусть факты нас не соблазняют: опыту внешних чувств противопоставим опыт веры, будем терпеть до конца. Любовь должна взять свой крест, любовь есть нравственный подвиг.

Тут Соловьев вспоминает учение об общем деле воскресения Н. Федорова. Индивидуальный подвиг любви еще не спасет мира. Если даже допустить невероятное, а именно что одна пара любящих нравственным подвигом достигла бессмертия и дала бессмертие человечеству, — этого бессмертия нельзя принять, «если миллиарды отцов будут тлеть в своих могилах». Можно спасти мир только вместе со всеми. Обособленная от жизни всемирной, наша любовь оказывается физически несостоятельной, бессильной против смерти и нравственно недостойной.

Вполне в духе Федорова Соловьев призывает человечество к *сизигическому* отношению к космосу как телу мистическому. Он заканчивает: «Можно утверждать, что всякая сознательная деятельность человека, определяемая идеей всемирной сизигии и имеющая целью воплотить всеединый идеал в той или другой сфере, тем самым действительно производит или освобождает реальные духовно-телесные токи, которые постепенно овладевают материальной средой, одухотворяют ее и воплощают в ней те или другие образы всеединства — живые и вечные подобию абсолютной человечности».

* * *

Основа работы Соловьева — платоновское учение об Эросе, крылатом боге, соединяющем мир идей с миром действительности. Автор как бы продолжает вдохновенную речь Диотимы в «Пире» Платона, раскрывая и развивая заложенные в ней гениальные прозрения. Высотой и чистотой мысли ученик Платона достоин своего учителя. Его рецепция платонизма необычайно своеобразна и смела: учение об Эросе сочетается с учением о Софии, Вечной Женственности Божией, и с федоровской космической теургией. Все это органически связано с общим мировоззрением автора и его личным жизненным опытом. Новым и несколько неожиданным в его теории любви может показаться учение об андрогине. Эту платоновскую идею, доселе не входившую в круг его мыслей, Соловьев, несомненно, воспринял в преломлении философии Франца Баадера. Немецкий философ определяет цель любви как реализацию божественной идеи человека, как восстановление его целостности; любовь есть религиозное действие, ведущее к реинтеграции разорванного мира, к примирению природы с человеком и человека с Богом. В «*Sätze aus der erotischen Philosophie*»¹⁴⁸ взгляд Баадера на идеализацию в любви поразительно совпадает с концепцией Соловьева. «С этой высшей (религиозной) точки зрения, — пишет немецкий теософ, —

раскрывается духовный смысл той естественной фантазмагии половой любви, благодаря которой любящие кажутся друг другу прекраснее, милее, совершеннее и лучше, чем они суть на самом деле. Это очарование или, вернее, эта зачарованность, как идеализация любви, должна быть воспринята любящими как вдохновляющий призыв или зов к реальному и внутреннему осуществлению той заложенной в них идеи, *которая* в волшебном зеркале показывает им эту пророческую фантазмагию; а между тем обычно влюбленные оказываются бессильными удержать мимолетную зарю: она прячется за серыми тучами, а волшебное зеркало, остающееся у них в руках, служит им только для того, чтобы разглядывать в нем свои отображения и тщеславно, бессмысленно и праздно любоваться друг другом».

Согласно с учением Якова Бёме, Баадер считает высшей целью любви восстановление, или инкарнацию, божественной Девы Софии, которая после грехопадения отлетела от человечества. Ее сияющий образ горит над нами как звезда, зовущая нас на потерянную родину. Для мужчины она принимает образ любимой женщины, для женщины — образ любимого мужчины. Любящие должны совместным творческим усилием воплотить Деву Софию, создать совершенного *андрогина*.

Соловьев перерабатывает идеи Бёме и Баадера, пытаясь согласить их учение об андрогинной Деве Софии со своим учением о Софии Вечной Женственности. Он не замечает, что эти два учения внутренне несовместимы и что в его софиологической теории любви «андрогинизм» лишен всякого обоснования.

Парадоксальность «Смысла любви» Соловьева — в соединении противоположностей, крайнего эротизма с крайним аскетизмом. Автор утверждает, что только половая любовь владеет преобразующей силой — никакая другая не побеждает смерти. Царство Божие создается только любящими парами, половая любовь — единый доступ к нему. Это противоречит словам Спасителя: «Больше сия любви никтоже имат, да кто душу свою положит за други своя». Соловьев требует, чтоб душу отдавали не за «други своя», а только за возлюбленную. Он даже не упоминает о христианской любви, которая, конечно, не совпадает с любовью половой. В связи с этим он отрицает христианскую семью и брезгливо отвергает рождение детей. Он всецело во власти эротической стихии, любви-страсти и не видит любви-жалости и любви-милости. А наряду с этим апофеозом половой любви — столь же крайнее утверждение аскетизма. Любовь должна быть половой, но одновременно бесплотной. Эротическая взволнованность не должна разрешаться в физическом соединении. У Соловьева,

несмотря на его учение о богоматерии и духовной телесности мира, скрытое недоверие и презрение к плоти. В процессе преобразования мира плоть не участвует: ее природа животна и враждебна духу, ее закон — дурная бесконечность размножения и смерти.

Очень характерен общий дух статей: говоря о преобразении, автор не упоминает не только о Церкви, но даже о христианстве. Он стоит на почве свободной теософии, родственной Сведенборгу. Не вера во Христа, а «идея всемирной сизигии» лежит в основе дела воскрешения. И наконец, учение о «реальных духовно-телесных токах» ближе к оккультизму, чем к христианской мистике.

Своей философией любви Соловьев хотел «заклясть» темную силу чувственной страсти, хотел творческим словом вызвать «свет из тьмы», хотел освобождения. Но освобождение не наступило. Пушкин знал аполлиническую светлую тишину вдохновения после дионисического кипения страстей. «Прошла любовь — явилась Муза»¹⁴⁹. У Соловьева любовь не прошла. Его вдохновенные речи о любви — не песнь освобожденного, а пифическое вещание влюбленного.

Теория любви Соловьева возбуждает множество возражений и сомнений, волнует и тревожит; ее внутренние противоречия, парадоксальные утверждения и необычайно смелые выводы требуют активности от читателя. Автор говорит о самом существенном, ставит проблему во всей ее сложности и глубине, решает ее с бесстрашным радикализмом. С этим решением можно спорить, но нельзя с ним не считаться. Вопросы, поставленные Соловьевым, обращены в упор к каждому *лично*.

14

ПОЛЕМИКА С РОЗАНОВЫМ. АКТ 18 ФЕВРАЛЯ 1896 г. СОЛОВЬЕВ В ДЕВЯНОСТЫЕ ГОДЫ (1893—1896)

После «эротической бури» наступает мертвое затишье, отлив творческих сил. 1893—1894 годы — период душевной усталости и физического изнеможения. Соловьев ищет исцеления от несчастной страсти в странствиях. Летом 1893 года он предпринимает большое путешествие: через Финляндию едет в Швецию, оттуда — в Шотландию, долго живет в Динаре во Франции, конец ноября и декабрь проводит в Париже. Суровая Финляндия, северное море, светлые ночи, проведенные на палубе парохода, про-

изводят на него «магическое» действие. Он пишет брату Михаилу о том, что финны издавна славились колдовством, «а потому и немудрено, что древняя финская столица получила свое название от магии, что вполне подтверждается магическим впечатлением, которое она производит...» «Я первую ночь сидел на палубе до восхода солнечного, в честь которого написал стихи, а вторую ночь даже спал на палубе, под вечными звездами, в честь чего получил изрядную простуду». «Одинокая пучина морская» отражает его собственное безграничное одиночество:

В одинокой душе тот же вольный простор,
Что вокруг предо мной и за мною.

(На палубе «Фритиофа»)

Безмолвие северной природы, холодный лунный свет, серые скалы, туманные очертания гор погружают его в какой-то гипнотический сон. В стихотворении «Лунная ночь в Шотландии» — острое ощущение мертвой красоты мира:

Точно светлый простерт балдахин
Над гробами минувших веков,
Точно в лунную ночь на земле я один
Средь незримой толпы мертвецов.

Лунный холод проникает до сердца, со всех сторон окружают призраки и тени, оживают немые скалы, слышатся голоса из невидимых стран, открывается вход «к царству духов». Мистический опыт Соловьева уже не тот, что был в юности. Тогда, в Египетской пустыне, ликующая земля просыпалась в золотом и пурпурном сиянии, с пламенеющего неба сыпались розы, под «корой вещества» горел божественный огонь. Тогда торжествовал свет и ночные тени пугливо от него бежали. Теперь вместо знойного юга — холодный север, вместо солнечного дня — печальная ночь, вместо пожара лучей — лунный холод. Видения стали бесплотней, призрачней; царство духов — это «незримая толпа мертвецов». Подруга Вечная больше не появляется; в сердце мира не сила воскресения, а оцепенение смерти.

Отчего ж этой ночи краса
Словно *призрак* безмолвный грустна?

* * *

Из Динара Соловьев пишет Стасюлевичу: «Динаром я очень доволен со стороны климата, красивых видов и спокойной жиз-

ни. Но все хвораю... Отсюда еду «прямо, прямо на Восток»: «Шартр, Париж, Берлин, Петербург».

В Париже он знакомится с «депутатом нового рода аббатом-социалистом Лемиром» и с большим сочувствием относится к движению «христианского социализма». Его статьи девяностых годов находятся под несомненным влиянием этого учения. Религиозность его все дальше уходит от «правоверия» *, от церковности и догматизма, становится более индивидуально-мистической. Появляются нотки иронии и «вольнодумства» по отношению к прежним святыням. По поводу трактата о свободе воли своего старого друга Л. Лопатина он пишет Стасюлевичу: «Автор сильно преувеличивает значение своего произведения (нечто подобное случилось даже с автором неба и земли, который по сотворении всемирной махины объявил ее тоб меод — весьма хорошей, тогда как для беспристрастного взгляда за нею можно признать только среднее достоинство)». В таком тоне проповедник софийности мира еще никогда не говорил о его Творце.

1893—1894 годы скудны творчеством: кроме нескольких статей о поэзии Соловьев ведет полемику с Львом Тихомировым и В. В. Розановым ** о свободе совести и веротерпимости. Он делает это без вдохновения, как скучную, но полезную черную работу. В начале статьи «Спор о справедливости» он так характеризует свою деятельность: «В хороших монастырях никто из монахов не гнушается самыми неприятными и нечистыми службами: всякая служба (вне богослужения) называется “послушанием” и исполняется с одинаковым усердием. Конечно, наша современная литература похожа на *хороший* монастырь разве только обилием черной работы, но тем более причин и здесь не быть особенно брезгливым. Я за последнее время взял на свою долю добровольное “послушание”: выметать тот печатный сор и мусор, которым наши лжеправославные лжепатриоты стараются завалить в общественном сознании великий и насущный вопрос религиозной свободы».

Соловьеву приходится подробно объяснять такие элементарные истины, как свобода совести, справедливость, веротерпи-

* В юмористическом стихотворении «Признание» Соловьев утверждает,

Что правоверие с безверием
Вспоило то же молоко.

** К этой полемике относятся статьи: «Вопрос о самочинном умствования» (1892), «Порфирий Головлев о свободе и вере» (1894), «Спор о справедливости» (1894), «Конец спора» (1894).

мость. Он скучает и раздражается; тон полемики становится мелочным, придирчивым, озлобленным. Спор его с Розановым переходит в грубую брань.

Столкновение их было бурным и кратковременным. Ничто, казалось, его не предвещало. В 1890 году Розанов выпустил брошюру «Место христианства в истории». Соловьев нашел ее «прекрасной» и прислал автору в Елец свой лестный отзыв. В 1892 году Розанов решил издать письма покойного К. Н. Леонтьева к нему, а так как в этих письмах часто шла речь о Соловьеве, то он обратился к последнему за разрешением. Соловьев не только разрешил, но и пообещал несколько писем Леонтьева к нему «всяма интересных» и прислал их в распоряжение Розанова. И вот, в 1894 году в «Русском вестнике» появляется статья Розанова «Свобода и вера», в которой автор дает парадоксальное отрицательное определение свободы и утверждает, что терпимость свойственна только неверию и что настоящая вера даже не допускает борьбы с собою. «Церковь, — пишет он, — не только не допускает какой-либо борьбы с собой, но и не знает того, что могло бы с нею бороться под иным углом, как только подлежащее исчезновению, рассеянию». Соловьев вознегодовал и написал в ответ заметку «Порфирий Головлев о свободе и вере»; он заявляет, что статья «Свобода и вера» сочинена известным героем Щедрина, Иудушкой. «Кому же, кроме Иудушки, может принадлежать это своеобразное, елейно-бесстыдное пустословие?» — спрашивает он и далее говорит о «зверообразно-дикой сущности веры» Головлева-Розанова, о его лживости и скотоподобии, о его готтентотовском субъективизме и т. д.

Эпитеты довольно решительные, но они совершенно тускнеют по сравнению с той виртуозной бранью, которой ответил ему Розанов. Он называет Соловьева танцором из кордебалета, тапелом на разбитых клавишах, слепцом, ушедшим в букву страницы, блудницей, бесстыдно потрясающей богословием, татем, прокравшимся в церковь, святотатцем, слепорожденным, палкой, бросаемой из рук в руки, и т. д. Сквозь плотный слой этой ругани с трудом можно различить идею, во имя которой Розанов борется с Соловьевым. Однако спор между ними шел не о терпимости, а о чем-то гораздо более значительном и глубоком — о самой сущности православия. Розанову, так же как и Леонтьеву, был ненавистен христианский гуманизм Соловьева: они считали его отступником, врагом православной Церкви, чувствовали в его деятельности антихристов дух. Соловьев проповедовал терпимость, а они прозорливо видели за этим уход от Церкви, охлаждение веры, «вольнодумство». И, несмотря на непристой-

ные выходки и чудовищные обвинения Розанова, в чем-то он был прав: он грубо касался тайной раны Соловьева, бил по самому больному месту — вот почему обычно корректный и сдержанный противник отвечал ему таким взрывом ярости. Розанов предчувствовал новую эру православия в России — суровый и строгий дух, византийски-аскетический чин, богослужение «в черных ризах».

О Соловьеве и его сторонниках Розанов пишет: «Их обманул двухвековой карнавал нашей истории; настал его последний день, а они требуют веселья нестерпимого, огней, вина, наконец, блуда, и, если возможно, в неслыханных формах... Между тем в запертой и еще пустой церкви все изменяется, светлые ризы заменяются черными, на место одних книг приготавливаются другие, главные... Ударит протяжный колокол, и народ необозримыми толпами потянется к храму, где все другое, и он сам в нем другой... Новая эпоха, новая эра нашей истории, о, если бы скорее она наступила!»

Сквозь обычное у Розанова кликушество и юродство пробивается пророческое предчувствие: наша эпоха кончается, начинается новая, трагическая и мрачная. Как ни противоположны по духу Соловьев и Розанов, в этом эсхатологическом предчувствии они близки друг другу. Только Розанов надеется еще, что «черное православие» спасет мир, а Соловьев в глубине души верит только в Страшный Суд и грядущего Антихриста. И гуманизм Соловьева, и стилизованная церковность Розанова были масками, которые они надевали для людей и под которыми иногда задыхались; соблюдая свое «социальное лицо», они должны были бороться как смертельные враги. Но, сбрасывая маски, узнавали друг в друге братьев. В 1892 году Соловьев писал Розанову: «Я так же далек от ограниченности латинской, как и от ограниченности византийской, или аугсбургской, или женеvской: *исповедуемая мною религия Св. Духа* шире и вместе с тем содержательнее всех отдельных религий: она не есть ни сумма, ни экстракт из них, как целый человек не есть ни сумма, ни экстракт своих отдельных органов».

И в этой религии Св. Духа они чувствовали себя «братьями». Журнальная схватка не затронула этой глубинной близости. Они знакомятся в 1895 году. «О полемике, — пишет Розанов, — мы никогда не вспоминали — просто как о том, что “прошло”... Я все время чувствовал и, думаю, не обманываюсь, постоянную его ласку к себе». В 1895 году Соловьев снова торжественно свидетельствует о своем «братстве» с Розановым. Вот это замечательное письмо:

«Дорогой мой Василий Васильевич! Не только я верю, что мы братья по духу, но и нахожу оправдание этой веры в словах Вашей надписи относительно *signum*¹⁵⁰ Царствия Божия. Кто одинаково знает по опыту и одинаково понимает и оценивает этот знак, залог или предварение Царствия Божия, те, конечно, братья по духу, и ничто не возможно разделить их».

В своих воспоминаниях о Соловьеве * Розанов утверждает, что православие, католичество, лютеранство казались Соловьеву не окончательными формами религиозного сознания, а стадиями, ступенями. «Душа его была предана, и притом всегда, “религии Св. Духа” и, быть может, с нею очень и очень новым религиозным исканием».

Все подтверждает это пронизательное суждение Розанова; после крушения теократии Соловьев приходит к новой вере. Религия его в девяностые годы есть «религия Св. Духа». Она свободна от всех внешних форм и учреждений, далека от *видимой* Церкви, догматов и авторитета и в основе своей эсхатологична. Предсмертные сочинения двух «братьев» — «Повесть об Антихристе» Соловьева и «Апокалипсис нашего времени» Розанова — закрепляют их духовную связь на пороге вечности.

* * *

За крушением теократии, а затем и «правоверия вообще» должна была исчезнуть как «ложная претензия» вера в мессианское призвание России.

Это последнее и, быть может, самое горькое *отречение* засвидетельствовано в стихотворении «Панмонголизм» 1894 года.

Уже с начала девяностых годов Соловьев начинает предчувствовать «врага с Востока» и говорит о надвигающейся опасности необуддизма; в сочинении «Китай и Европа» (1890) он предсказывает неизбежность столкновения «двух культурных миров — Европы и Китая»; в статье «Япония» (1890) спрашивает: «Не скрывается ли за нынешним англо-французским необуддизмом другое, более могучее и таинственное движение, не предваряет ли и не подготавливает ли оно последнюю мировую реакцию языческого Востока пред окончательным торжеством вселенского христианства?»

Это зловещее предчувствие находит свое выражение в «Панмонголизме»:

* Розанов В. Из старых писем. Письма Вл. С. Соловьева // Вопросы жизни. 1905. № 10—11.

Панмонголизм! Хоть слово дико,
Но мне ласкает слух оно,
Как бы предвестием великой
Судьбины Божией полно.

Автор говорит о падении «растленной» Византии и о возвышении Москвы, третьего Рима. Но Россию ждет Божья кара — на нее надвигается Восток.

Как саранча, неисчислимы
И ненасытны, как она,
Нездешней силою хранимы,
Идут на север племена.

О Русь! забудь былую славу:
Орел двуглавый сокрушен,
И желтым детям на забаву
Даны клочки твоих знамен.

Смирится в трепете и страхе,
Кто мог завет любви забыть...
И третий Рим лежит во прахе,
А уж четвертому не быть.

Соловьев, воплотивший в себе дух Русской империи, создавший величественный образ русского теократического императора, строящего земное царство Мессии, выразивший в предельной полноте имперский универсализм — мировой размах русской державы, — Соловьев первый почувствовал обреченность этой империи, смертельную болезнь, разъедающую ее сердце, первый прочел на гордом лице ее черты близкой смерти. «И третий Рим лежит во прахе» — следующему за ним поколению было суждено пережить исполнение этого страшного пророчества...

То, что в поэтической форме выражено в стихотворении «Панмонголизм», обосновывается исторически в статье «Византизм и Россия» (1896). Соловьев подвергает пересмотру вопрос о России, третьем Риме; он пользуется при этом материалом своих полемических статей 80-х годов, снова вспоминает о Св. Владимире, Иоанне Грозном, Никоне, Петре Великом и приходит к заключению, что Русское государство было «Востоком Ксеркса», а не «Востоком Христа» и что русская Церковь, отравленная византизмом, не имеет никаких прав на «претензию» вселенскости.

* * *

С 1894 года излюбленным местопребыванием Соловьева становится Финляндия. Спокойная жизнь у озера Сайма постепенно возвращает ему душевное равновесие и энергию; он присту-

пает к писанию «Оправдания добра» и задумывает ряд больших сочинений.

О новом приливе жизнерадостности и творческих сил свидетельствует его письмо к Стасюлевичу (1895 г.).

«Здесь был на Рождестве один очень милый и основательный врач, который после необыкновенно тщательного исследования моего брэнного естества и чрезвычайно убедительной диагностики решил, что я могу продлить свое временное существование лишь под условием жизни на чистом воздухе, без страстей и тревог. А так как я твердо намерен с помощью Божьей и Вашей типографии напечатать прежде кончины живота еще десятка полтора толстых книг, то продление дней моих на сей планете есть для меня настоящая необходимость... Торжественно объявляю о своем неотменном решении сложить с себя звание “анфан террибля”¹⁵¹ русской интеллигенции».

1895 годом заканчивается полемико-публицистическая деятельность Соловьева; он возвращается к «любви своей молодости» — занятиям теоретической философией. Как будто предчувствуя, что ему остается прожить недолго, он торопится привести в исполнение все свои старые замыслы. «Теократический» период кажется ему теперь досадным пробелом в жизни, потерянным временем. В шуточных стихах к М. Кавосу он пишет о жажде творчества и славы:

Не оставивши потомка,
Я хочу в потомстве славы,
Объявляю это громко,
Чуждый гордости лукавой...
Но стянула жизнь у славы
Десять лет по крайней мере,
Так теперь я должен, право,
Наверстать сию потерю.

Десять лет, которые «стянула жизнь», — и есть годы, посвященные теократической идее.

Еще более определенно говорит он об этом переломе в своей жизни за год до смерти — в предисловии к первому тому перевода Платона: «С нарастанием жизненного опыта, без всякой перемены в существе своих убеждений, я все более и более сомневался в полезности тех *внешних замыслов*, которым были отданы мои так называемые лучшие годы. *Разочароваться в этом* — значило вернуться к философским занятиям, которые за это время отодвинулись было на дальний план».

Признаваясь в «разочаровании и внешних замыслах», Соловьев настаивает на том, что сущность его убеждений не изменилась.

«О французских своих книгах, — пишет он Л. Никифорову, — не могу Вам ничего сообщить. Их судьба меня мало интересует. *Хотя в них нет ничего противного объективной истине*, но те субъективные настроения, те чувства и чаяния, с которыми я их писал, мною уже пережиты».

* * *

Однако теократия была для Соловьева не только теорией, но и программой деятельности. Разочаровавшись в осуществимости этого «внешнего замысла», он должен был перестроить весь план своей дальнейшей работы. «Существо» его убеждений остается неизменным: он верит, что Царствие Божие скоро наступит, что человечество призвано к подготовке его пришествия и что для этого все истинные христиане должны соединиться. Но это соединение он мыслит теперь не как унию, проведенную официальными представителями разделившихся церквей, а как свободный союз немногих верных. Только эта мистическая Церковь избранных устоит в последней борьбе с Антихристом. Теократическая программа действий сменяется *эсхатологической*.

Подробное изложение новой «христианской политики» Соловьева мы находим в его письме к Тавернье (май 1896 г.).

«Respicere finem»¹⁵². Относительно этого вопроса у нас есть только три несомненные истины, засвидетельствованные Словом Божиим:

1) Евангелие будет проповедано по всей земле, то есть Истина будет возведена всему человеческому роду;

2) Сын Человеческий почти не найдет веры на земле, другими словами, в последние времена истинно верные останутся в меньшинстве, численно незначительном, все же остальное человечество последует за Антихристом;

3) и тем не менее после короткой и ожесточенной борьбы зло будет побеждено и верные восторжествуют.

Из этих трех истин, столь же простых, сколь и несомненных для всякого верующего, я вывожу следующий план христианской политики. И прежде всего: проповедь Евангелия по всей земле только тогда может приобрести ту *эсхатологическую* значительность, которую признал за ней сам Господь, упомянув о ней особо, если она не ограничится внешним распространением Библии, молитвенников и сборников проповедей среди негров и папуасов. Все это только средства, ведущие к единой цели: поставить человечество перед дилеммой — принять или отвергнуть истину с полным знанием дела, то есть *истину ясно изложенную и хорошо понятую*. Ведь если истина принимается или отверга-

ется по недоразумению, от этого акта не может зависеть судьба никакого разумного существа».

Из этого Соловьев делает выводы:

1. Необходимо построить ясную и определенную систему христианской философии, без которой проповедь Евангелия невозможна.

2. «Если несомненно, что истина будет окончательно принята только гонимым меньшинством, то *следует решительно оставить идею о могуществе и внешнем величии теократии как прямой и непосредственной цели* христианской политики. Цель эта заключается в правде, а слава есть только ее следствие, которое придет само собой».

3. Все истинно верные должны принять активное участие в борьбе Христа с Антихристом. «А так как истинно верных меньшинство, то они тем более должны обладать качественными преимуществами и внутренней силой; и для этого первое условие — моральное и религиозное единство, которое должно строиться не произвольно, а на законном и традиционном основании: это — долг, диктуемый нам благочестием. В христианском мире существует один только законный и традиционный центр единения, поэтому все истинно верные должны объединиться вокруг него; это тем более исполнимо, что центр этот не обладает более внешней принудительной властью, и поэтому каждый может воссоединиться с ним в той мере, на какую указывает ему его совесть. Я знаю, что многие священники и монахи думают иначе и требуют полного подчинения церковной власти, как Богу. Это — заблуждение; когда оно будет точно сформулировано, его надобно будет назвать ересью. Можно ожидать, что девяносто девять процентов этих священников и монахов перейдут на сторону Антихриста... Это их право и их дело».

Письмо заканчивается следующими словами:

«Я думаю, что прежде всего необходимо проникнуться Духом Христовым, чтобы иметь возможность по совести сказать, что такое-то дело или предприятие является действительным сотрудничеством с Иисусом Христом (*«une collaboration positive avec Jésus Christ»*). В этом окончательный критерий».

Итак, Соловьев решительно отвергает теократическую идею и строит христианскую политику на эсхатологическом основании. Он возвращается к занятиям теоретической философией, так как без полной системы «христианской философии» проповедь Евангелия неосуществима. Соединятся не исторически разделенные церкви, а группы «истинно верных»; церковная иерархия почти вся (99 процентов) пойдет за Антихристом. Поэтому

«христианская политика» должна вести не к соединению церквей, а к «сотрудничеству» с Христом в Его борьбе с Антихристом.

Доселе, проповедуя соединение церквей, Соловьев протестовал против всякого личного присоединения к католицизму, считая, его не только бесплодным, но и вредным. Теперь все изменилось: о Вселенской Церкви, охватывающей все человечество, он больше не мечтает. Он заботится только о «гонимом меньшинстве». Каждый *лично для себя* должен решить вопрос — с кем он, с Христом или Антихристом? И если он решит пребыть верным до конца, то обязан противопоставить *количеству* врагов свое *духовное качество*, «гонимое меньшинство» должно проникнуться Духом Христовым, стать сильным и единым. Но единство возможно только при условии признания «законного и традиционного центра» — римского папы; в последнем Соловьев видит не главу католической Церкви, а духовный центр *вселенского христианства*.

Из своей новой теории философ сделал практический вывод *лично для себя*: он «воссоединился» с вселенским христианством. Письмо к Тавернье есть философское обоснование и оправдание того акта, который был им совершен 18 февраля 1896 года.

Приведем полностью документ, facsimile которого был напечатан в журнале «Китеж» (№ 8—12, декабрь 1927 г., Варшава).

«Акт о присоединении Вл. Соловьева к католицизму».

Ввиду непрекращающихся в нашей и иностранной печати сомнений в том, был ли покойный философ и религиозный мыслитель Владимир Сергеевич Соловьев канонически присоединен к католической Церкви, мы, нижеподписавшиеся, считаем своим долгом печатно заявить, что мы были свидетелями — очевидцами присоединения Владимира Сергеевича к католической Церкви, совершенного греко-католическим священником о. Николаем Алексеевичем Толстым 18 февраля (старого стиля) 1896 года в Москве, в домашней часовне, устроенной в частной квартире о. Толстого на Остоженке, в Всеволожском переулке, в доме Соболева. После исповеди перед о. Толстым Владимир Сергеевич в нашем присутствии прочел Исповедание веры Тридентского собора на церковнославянском языке, а затем за литургией, совершавшейся о. Толстым по греко-восточному обряду (с поминовением Святейшего Отца Папы), причастился Св. Тайн. Кроме нас при этом достопамятном событии присутствовала еще только одна русская девушка, находившаяся в услужении в семействе о. Толстого, имя и фамилию которой восстановить в настоящее время оказалось, к сожалению, невозможно.

Публично принося наше настоящее свидетельство, мы полагаем, что им должны раз навсегда прекратиться все сомнения по вышеозначенному поводу.

Священник Николай Алексеевич Толстой.

Княжна Ольга Васильевна Долгорукова.
Дмитрий Сергеевич Новский»¹⁵³.

М. д'Эрбиньи * излагает присоединение Соловьева несколько иначе. Соловьев прочитал не тридентское исповедание, а свою собственную формулу, помещенную в «La Russie et l'Eglise universelle»: «Как член истинной и досточтимой восточной православной, или греко-российской, Церкви, говорящей не голосом антикатолического Синода и не голосом чиновника, поставленного светской властью, а голосом своих великих отцов и учителей, я признаю высшим судьей в деле религии... ап. Петра, живущего в своих преемниках...» Д'Эрбиньи отмечает, что Соловьев не читал отречения от православной Церкви.

Противоречивость этих показаний не позволяет нам судить о том, насколько «присоединение» Соловьева было правильно с формальной канонической точки зрения. Думается, что философ, отрицавший в это время всякий «церковный догматизм», о канонах не очень заботился. Но нам важно вскрыть внутренний смысл его поступка, показать, как он сам его воспринимал, как связывал со своим учением о вселенском христианстве. Соловьев не признавал разделения церквей, считал его историческим недоразумением и потому «переходить» из православия в католичество не мог. Можно осуждать его полное игнорирование исторической действительности, но нельзя превращать его дерзновенный, небывалый и единственный в этом смысле поступок в простой факт «перехода в католичество».

О. Николай Толстой в письме в «L'Univers» от 9 сентября 1910 г. писал, что Соловьев «a fait l'adhésion complète à l'Eglise Romaine»¹⁵⁴. Такое истолкование было, несомненно, совершенно чуждо самому «новообращенному». От официального исторического католичества он был не менее далек, чем от официального православия. Он столь же решительно отрицал политику «папизма», как и политику Синода. В заметке о Ю. Самарине («Из вопросов культуры», 1893) он заявлял, что поставленная славянофильскими мыслителями дилемма — папизм или духовная свобода — не может быть серьезно оспариваема, и прибавлял, что

* D'Herbigny Michel. Un Newman russe: Vladimir Soloviev. Paris, 1911.

«принимает в принципе вместе с Самариным один из членов этой дилеммы, именно духовную свободу».

В 90-х годах Соловьев отвергает католическое учение о иерархии как о Церкви учащей и о папе как носителе непогрешимой истины; в статье «Вопрос о самочинном умствование» он отрицает исключительную привилегию духовенства «знать веру» и ссылается на заявление восточных патриархов 1848 года: «У нас, т. е. в православии, хранитель религии есть самое тело Церкви, т. е. церковный народ».

Он признает папу только «духовным центром» вселенского христианства, но не властью и авторитетом, «полное подчинение церковной власти» прямо называет ересью. Новое эсхатологическое мировоззрение его не только не совпадает, но во многом прямо противоположно официальному католическому учению. Он был единственным членом грядущей церкви, того «малого стада», которому суждено победить Антихриста. И православие и католичество представлялись ему только историческими этапами, и он ставил себя вне вероисповеданий. В этом и заключалась парадоксальность его положения.

Наконец, он сам всегда отрицал свое «католичество». «Был ли Соловьев католиком? — пишет друг его детства Л. Лопатин *. — Несомненно, он им не был. Он постоянно настойчиво отрицал свой переход в католическую Церковь, а он был человек правдивый и не лгал никогда... Он верно говорил о себе: “Меня считают католиком, а между тем я гораздо более протестант, чем католик”».

«Протестантским» было отношение Соловьева к историческим церквям, их догматам и обрядам, ко всей внешней стороне религиозной жизни. Его «вселенское христианство» носило спиритуалистический и мистический характер. Очень показательно в этом смысле его письмо к В. Величко от 20 марта 1895 года (меньше чем за год до «присоединения»). «Я прожил у Вас, — пишет Соловьев, — несколько недель великого поста, и мы с вами правил поста не соблюдали, и в церковь не ходили, и ничего в этом дурного не было, *так как все это не для нас писано*, и всякий это понимает».

Соловьев не считал, что акт, совершенный им 18 февраля 1896 г., исторгает его из православной Церкви; приблизительно через год после своего «присоединения», заболев, он приглашает к себе православного священника, своего бывшего учителя по Духовной академии, ученого-богослова А. М. Иванцова-Платоно-

* Лопатин Л. Памяти Вл. С. Соловьева // Вопросы философии и психологии. 1910. Кн. 195.

ва и исповедуется у него. К. Ельцова* пишет в своих воспоминаниях: «А. М. Иванцов-Платонов был у Владимира Сергеевича очень долго, и долго с ним говорил; тем не менее, выйдя от него, сказал, что не причастил его, что в его состоянии, по-видимому, нет ничего угрожающего, а так как Соловьев что-то ел утром, причастие они отложили. Александр Михайлович, человек большого ума и удивительной доброты, можно сказать даже святости, вышел от него как бы чем-то озабоченный и угнетенный. Так, по крайней мере, мне казалось. Мы тогда совершенно удовлетворились этим объяснением. Но после мне пришло на ум, не был ли в этом случае между ними тот спор по догматическому вопросу, о котором признавался и каялся Соловьев священнику в своей предсмертной исповеди?»

К. Ельцова ссылается на рассказ священника о. С. Беляева, исповедавшего Соловьева перед смертью**. Вот это место: «Исповедался Владимир Сергеевич с истинно христианским смирением (исповедь продолжалась не менее получаса) и, между прочим, сказал, что не был на исповеди уже года три, так как, исповедавшись последний раз (в Москве или Петербурге — не помню), поспорил с духовником по догматическому вопросу (по какому именно, Владимир Сергеевич не сказал) и не был допущен им до Св. Причастия».

На основании этих двух свидетельств можно предположить, что на исповеди Соловьев сообщил о. Иванцову-Платонову о своем присоединении к Вселенской Церкви. Тот объяснил ему, что с канонической точки зрения он является униатом, и не счел себя вправе его причастить. Соловьев, совершенно иначе воспринимавший свой поступок, настаивал на интеркоммунионе. Между ними завязалась переписка по «догматическому вопросу». Соловьев упорно защищал свою «вселенскую» точку зрения, но с тех пор больше *не причащался* ни в католической, ни в православной Церкви. Целых три года он прожил без принятия Св. Тайн и только перед смертью причастился у православного священника о. С. Беляева. Таким образом, «присоединение к католической Церкви» не только не сделало его «un catholique pratiquant»¹⁵⁵, но вообще увело от церковной жизни. Это окончательно подтверждает наш взгляд на поступок Соловьева: он был внецерковным и внедогматическим; полемика с о. Иванцовым-Платоновым за-

* Ельцова К. Сны нездешние (к 25-летию кончины В. С. Соловьева) // Современные записки. 1926. Кн. 28.

** Этот рассказ перепечатан из № 253 «Московских ведомостей» в 3-м томе «Писем» Соловьева, с. 214—217.

ставила его задуматься над законностью и допустимостью подобного «символического жеста». Перед смертью он сознал свою «неправоту». Отец С. Беляев так продолжает свой рассказ: «Священник был прав, — прибавил Владимир Сергеевич, — а поспорил я с ним единственно по горячности; после этого мы переписывались с ним по этому вопросу, но я не хотел уступить, хотя и хорошо сознавал свою неправоту; *теперь я вполне сознаю свое заблуждение и чистосердечно каюсь в нем*».

Соловьев понял, что своим актом 18 февраля 1896 года он к «вселенскому христианству» присоединиться не мог и что до соединения церквей никто не может быть одновременно и православным и католиком. Он покаялся в своем заблуждении, то есть в неканоничности своего действия; это, конечно, не значит, что он отрекся от своей заветной веры в единую вселенскую Церковь. Во всяком случае, умер он в православии.

* * *

В 90-х годах Соловьев живет то в Пустыньке, то в Финляндии в отеле Рауха, то в Москве у матери, то в Петербурге в гостинице «Англия»; подолгу гостит в Петербурге у В. Величко и у В. Д. Кузьмина-Караваева в казармах лейб-гвардейского полка. О своей бродяжнической жизни он шутливо пишет Стасюлевичу (1895 г.): «Я думаю, что в моем предстоящем некрологе, а также в посвященной мне книжке биографической библиотеки Павленкова, будет между прочим сказано: “Лучшие зрелые годы этого замечательного человека протекли под гостеприимной сенью казарм кадрового батальона лейб-гвардии резервного пехотного полка, а также в прохладном и тихом приюте вагонов царскосельской железной дороги”».

О жизни Соловьева в этот период сохранилось много рассказов и воспоминаний.

В его номере в «Hôtel d'Angleterre» близ Исаакиевского собора с утра до вечера толпились посетители. Подозрительные личности просили «на похороны матери» или на «свадьбу». Соловьев отдавал им последние деньги, а когда денег больше не было, посылал с записками к друзьям. В английской записке к Батюшкову он просит дать какому-то бывшему корректору из Саратова 10 рублей и прибавляет: «Я боюсь, что этот господин произведет на Вас такое же подозрительное впечатление, какое он произвел на меня. В таком случае замените десятку единицей». Другого просителя он отправляет к Величко с таким письмом: «Податель

этих строк просит у меня 5 рублей на свадьбу, а у меня денег нет. Боюсь согрешить, но мне почему-то кажется, что это не первая просьба такого рода и, стало быть, он женится далеко не в первый раз. Осуждать, впрочем, не смею... Пожалуйста, дай ему просимое; сочтемся, когда получу из «Словаря» за статью».

Начинающие писатели осаждали его просьбами; он без конца исправлял и редактировал чужие сочинения; «угнетенные насильем» искали заступничества — он ездил по «влиятельным лицам» и хлопотал о «сорока тысячах чужих дел». Чтобы поддержать какую-то старушку, сердитую и всегда пахнущую водкой, Соловьев несколько раз давал ей переписывать свою работу о «Магомете». Почерк ее был ужасен.

Куда бы он ни приезжал, весть об этом мгновенно распространилась, и толпы нищих осаждали подъезд дома. У него был один «свой собственный» нищий, бывший натурщик, «высокий, с седыми баками, ярко-красным носом и в дворянской фуражке». Он следовал за ним по пятам, выпаливал французские фразы и пользовался особым почетом.

Соловьеву случалось издалека возвращаться домой пешком, отдавши нищим не только все деньги, но и кошелек, бумажник и носовой платок. Подарив свое новое ватное пальто какому-то бедному студенту, он проходил одну зиму в легкой «разлетайке» и заболел сильным гриппом. Нередко случалось ему, раздав все свое платье, появляться в светских гостиных во фраке и бурых брюках, носить шубы своих приятелей и увозить в другой город их шляпы. Только в последние годы жизни у него появилось настоящее зимнее пальто — наследство Фета: память об умершем друге не позволила ему подарить его. Особенную расточительность проявлял он по отношению к извозчикам; у подъезда дома, где он поселялся, немедленно выстраивалась длинная вереница пролеток. Соловьев долго торговался с извозчиком, а потом давал ему на чай пятирублевку. Друзьям он объяснял: «Я не разорюсь, и извозчик не развратится, потому что это редко. А как он обрадуется: ведь так же, как если бы нашел по дороге. Знаете, как они бывают довольны, найдя подкову или кнут. Отчего же не создать ему этого удовольствия».

Работать приходилось ему по ночам: статьи для «Энциклопедического словаря», «Вестника Европы», «Книжек недели» должны успеть к последнему сроку: денег нет, все авансы забраны, гостиница не оплачена за несколько месяцев; просители, бывшие люди, жертвы несправедливости, литераторы-неудачники, пророки из народа, спившиеся гении осаждают все настойчивее.

За год до смерти Соловьев прибегнул к оригинальному способу отстоять свою свободу: он написал письмо в редакцию «Нового времени» о том, что болезнь глаз принуждает его «отказаться от всякой побочной работы, как-то: от чтения чужих рукописей и редактирования чужих переводов, от писания рецензий, заметок и критических статей, а также от переписки с посторонними лицами». Он перечисляет большие труды, над которыми работает, и прибавляет: «Если Бог и добрые люди дозволят мне кончить все это, то, конечно, вместе с досугом я приобрету и ту высокую степень старческой экспансивности, которая сделает меня приятнейшим почтовым собеседником для всех малознакомых или вовсе не знакомых лиц, пишущих мне о своих делах».

Розанов посетил однажды Соловьева в гостинице «Англия». «Ходил он дома в парусинной блузе, подпоясанной кожаным ремнем, и в этом костюме имел в себе что-то заносенное и старое, не имел вообще того изумительного эстетического выражения, какое у него бывало всегда, едва он надевал сюртук... Все время, когда я знал Вл. Серг., я видел его усталым; и эта усталость была главной физиологической и психологической особенностью, которая вам кидалась в глаза... Раз я его застал только что вернувшегося из поездки. На столе лежала коробка фиников. Он дал звонок и, передавая коробку мальчику, дал ему адрес, по которому он должен был снести ее. “Кто это?” — спросил я машинально. — “Старушка одна. Одинокая и бедная. Я давно ее знаю и вот уже сколько лет, когда приезжаю в Петербург, всякий раз посылаю ей фиников. Мне это ничего не стоит, а ей отраднa мысль, что она не забыта”».

К еде Соловьев был совершенно равнодушен, мяса никогда не ел, хотя и не был вегетарианцем. Он боялся, как бы строгий аскетизм его жизни не был кем-нибудь замечен, и потому иногда устраивал «пиры»: требовал к себе в номер бутылку шампанского, зернистой икры, фруктов и угощал ими случайных посетителей. Но обычно питался овощами, особенно любил сельдерей и приписывал ему таинственные свойства. Ел наспех, не отрываясь от работы: тарелка с едой стояла тут же на письменном столе среди груды книг и рукописей.

При вечных переездах он постоянно претерпевал бедствия: то терял недописанные рукописи (например, рукопись статей о «Пессимизме» и о «Непознаваемом Герберта Спенсера»), то оставлял нужную книгу у кого-нибудь из друзей и потом мучительно его разыскивал. Раз случилось даже, что за неуплату долга чемодан со всеми его книгами был арестован владельцами гостиницы «Англия».

«Незадолго, за два, за три года до своей смерти, — вспоминает В. Кузьмин-Караваев*, — Владимир Сергеевич задумал сделать опыт житья в собственной квартире. Опыт он сделал, но вышло из него нечто безобразное. Нашел он квартиру под самой крышей, за плату, раза в три больше ее действительной стоимости, и целую зиму прожил без мебели, спал не то на ящиках, не то на досках, сам таскал себе дрова и каждое утро ездил пить чай на Николаевский вокзал».

Жизненная беспомощность его была безгранична — и столь же безгранично презрение ко всякому быту, всякой «буржуазности». Он не только не умел, но и не хотел «устроиться». В этом была не столько слабость, сколько глубокое убеждение. Он на деле исполнял евангельскую заповедь о беззаботности.

Соловьев жил не только вне быта, но и вне закона. Он никак не мог привыкнуть к мысли, что у человека должен быть паспорт: свой он постоянно терял. Кузьмин-Караваев рассказывает, что, гостя у него, Соловьев долгое время отделялся от дворника щедрыми чаевыми. Наконец, увидя, что от прописки ему не уйти, сам себе написал паспорт следующего содержания:

«Владимир Сергеевич Соловьев, отставной коллежский советник, был профессором Петербургского университета, доктор философии, столько-то лет, вероисповедания православного, холост, знаков отличия не имеет, под судом не находился. А если не верите, спросите таких-то» — и тут он выписал полные титулы и фамилии двух своих высокопоставленных хороших знакомых.

Что-то детское было в характере Соловьева: среди самого серьезного разговора он выкидывал вдруг какую-нибудь «озорную штуку», начинал «бессовестно» каламбурить или беспричинно раздражался своим гроыхающим, икающим смехом. Он недолюбливал «взрослых», любил подурачиться с детьми «без старших». Однажды сын А. Пыпина, человек лет тридцати, сказал в его присутствии: «Когда я буду большой...» Все засмеялись, а Соловьев заметил: «А я так вас понимаю; я также часто про себя думаю: когда я буду большой». С детьми у него сразу же устанавливались особенные интимные отношения, как между равными. Когда дети слишком шалили, он делал свирепое лицо и поднимал стакан со словами: «Выпьем за доброго царя Ирода!»

Животные любили Соловьева. С собакой Величко Мартышкой у него были «приятельские отношения». Она не отходила от него

* *Кузьмин-Караваев В.* Из воспоминаний о Вл. С. Соловьеве // Вестник Европы. 1900. Т. VI.

и целыми часами просиживала в его комнате, прислушиваясь к скрипению его пера. В письмах к Величко Соловьев не забывает «пожать лапу Мартышке». «Что такое собаки? — говаривал он, — по-моему, это не собаки, а какие-то особенные существа».

Как только он водворялся в номере гостиницы «Англия», в оконные стекла начинали биться десятки голубей. Когда он поселялся у Величко — голуби прилетали туда вслед за ним.

В наружности Соловьева было что-то монашеское, иконописное. При всей своей безграничной доступности и простоте в общении он все же был человеком из другого мира: тонкая стеклянная стенка отделяла его и от светского общества, в котором он любил бывать, и от кружков либеральной интеллигенции, которые считали его «своим». Казалось, что он до конца отдается философии, публицистике, церковно-политической и общественной работе, и в то же время чувствовалось, что все это не самое настоящее, не «последнее» в нем. Во всей своей блестящей и разносторонней деятельности он был не дома. «Вот уж был странник в умственном, идейном и даже чисто бытовом, так сказать, жилищном отношении», — пишет Розанов *. «Он пробирался в щелочку, садился пугливым гостем, готовым вот-вот вспорхнуть и улететь со своим двусмысленным смехом».

Во всем облике Соловьева чувствовалась священническая наследственность. Прозорливый В. В. Розанов подметил эту особенность. «Дедовская священническая кровь, — пишет он, — отразилась в Соловьеве. Он был какой-то священник без посвящения, точно несший обязанности, и именно литургические обязанности, на себе. Точно он со всеми говорит-говорит, а вот придет домой, наденет епитрахиль и начнет готовиться к настоящему, должностному, к завтрашней службе».

Соловьева нередко принимали за духовную особу. Когда он жил в Финляндии, в отеле Рауха, кучер, возивший его на вокзал, питал к нему благоговейное почтение; слыша, что все называют Соловьева «Herr Professor», он переделал это название в «отец Парфенсон»; для него Соловьев был чем-то вроде старообрядческого архиерея.

В письме к матери (27 января 1887 года) Соловьев рассказывает следующие случаи. Когда он приходил к Крамскому, который в это время писал его портрет, к нему выбегали две маленькие девочки, дочери швейцара, и, хватая за полы шубы, восклицали: «Боженька, Боженька!» Они принимали его за священника. «А однажды на лестнице Европейской гостиницы незнакомый

* Розанов В. Около церковных стен. СПб., 1906.

почтенный господин с седой бородой бросился ко мне с радостным возгласом: “Как! Вы здесь, батюшка!” И когда я ему заметил, что он, вероятно, меня принимает за другого, то он возразил: “Ведь Вы отец Иоанн?”»

«Священник без посвящения» — вот психологический корень «теократии» Соловьева.

Как мог русский светский философ восьмидесятых годов на путях своей теоретической мысли встретиться с величайшей идеей средневековых римских пап Григория VII и Иннокентия III? Разве не «тайное священство» побудило молодого профессора Московского университета спуститься из туманов немецкого идеализма на почву «реальной политики» и броситься на борьбу за Церковь? И не оно ли лежит в основе его *теургического* понимания всего человеческого творчества?

* * *

Соловьев жил в двух мирах; потустороннее было для него не меньшей, а иногда и большей реальностью, чем эмпирическая действительность: оно вырывалось в житейское, врезывалось внезапно в обыденные дела, дружеские беседы, ежедневную суету. Резкие перебои настроения, неожиданные переходы от веселости к мрачности, необъяснимые припадки тоски и угрюмого безмолвия пугали и тревожили его друзей.

«Брат бывал мрачен и тоскливо угрюм», — вспоминает сестра Соловьева М. С. Безобразова *. «Отправится к каким-нибудь “добрым знакомым”, сядет куда-нибудь в сторонке, да и просидит несколько часов, не разжав губ, а затем встанет и уйдет... Меня пугала его мрачная тоска сама по себе, пугала и смущала жалость, охватывавшая при этом к нему».

«В резких переходах от веселости к мрачному безмолвию и наоборот, — пишет В. Величко, — как и во всем душевном складе Владимира Сергеевича, было, если можно так выразиться, нечто *медиумическое*: точно не все его слова и действия были вполне произвольны, точно какие-то невидимые силы вселялись в тайники его духа».

«Медиумические состояния» Соловьева были связаны с «вещами из того мира», походили на мгновенные трансы, соединялись с ясновидением и вещими предчувствиями. Об одном таком телепатическом явлении Соловьев писал Стасюлевичу (1894 г.):

* Безобразова М. С. Воспоминания о брате Владимире Соловьеве // Минувшие годы. 1908. Май—июнь.

«В четверг на страстной неделе, в восьмом часу вечера, за обедом у Вас я ощутил без видимой причины смертельную тоску, о чем сообщил вам обоим и выразил свою уверенность, что в это время случилось какое-нибудь несчастье с кем-нибудь из моих близких. Представьте себе, что действительно в это самое время, в восьмом часу вечера в великий четверг, один мой друг детства, Лопатин (брат московского профессора философии), подвергся паралитическому припадку».

Кн. С. Н. Трубецкой рассказывал Н. Давыдову * о другом странном случае. «Однажды они вдвоем с Вл. С. ужинали в общей зале какого-то ресторана. Вл. С. во время оживленного разговора внезапно побледнел, откинулся, замолчав, на спинку стула и так пробыл некоторое время с закрытыми глазами, как бы в бессознательном состоянии. С. Н. не нарушил его, а когда Соловьев раскрыл глаза и “ожил”, он сообщил, что ему представилось видение: кто-то несуществующий приходил к нему».

Мистическая одаренность Соловьева, творческое проникновение в божественную основу мира тесно сплетались с его оккультными способностями — медиумической пассивностью. В его мистическом опыте небесная лазурь часто заволакивалась астральными туманами и активная мужественность сменялась женственной восприимчивостью. У светлого Соловьева был темный двойник, который издевался над ним, цинично острил и раздражался демоническим смехом.

15

ПЕРЕСТРОЙКА ФИЛОСОФСКОЙ СИСТЕМЫ (1897—1899)

I

Оправдание добра

В 1894 году Соловьев задумал переиздать свою «Критику отвлеченных начал», но, перечитывая ее, убедился, что взгляд его на нравственность во многом изменился и что старая система не соответствует больше его убеждениям. Попытка переработки привела к полному пересмотру, и в три года он написал новую этику.

«Оправдание добра» вышло в 1897 году. В предисловии автор отвергает три ложные концепции нравственности: культ силы и

* Давыдов Н. Из воспоминаний о В. С. Соловьеве // Голос минувшего. 1916. Дек.

красоты (ницшеанство), моральный аморфизм (толстовство) и внешний авторитет (положительную религию). «Нравственный смысл жизни человека, — заключает он, — состоит в служении добру, но это служение должно быть добровольным, то есть пройти через человеческое сознание».

Прежнее деление этики на нравственность субъективную и объективную сохраняется («Добро в человеческой природе» и «Добро через историю человечества»), но теоретическое обоснование ее резко меняется. В «Критике отвлеченных начал» автономия этики отвергалась: она казалась автору ложным «отвлеченным морализмом», — и он выводил нравственность из положительной религии и мистического опыта: только веря в христианское откровение, можно утверждать божественное начало человека, а без веры в это начало всякая нравственность становится субъективной иллюзией. И Соловьев убедительно доказывал невозможность построить этику без метафизики.

В «Оправдании добра» он стоит на противоположной точке зрения: этика не гетерономна, а автономна, нравственная философия может быть построена, как наука, на эмпирических основах. Идея добра присуща человеческой природе и всеобща. Ап. Павел говорит, что и язычники творят добро по закону, написанному в их сердцах, значит, сознание добра может быть и помимо истинной религии; религий много, а нравственность одна; не нравственность должна искать оправдания у религии, а, наоборот, религия оправдывается нравственностью. Так, например, католики, протестанты и православные в своей полемике всегда пользуются нравственными аргументами. Бывают, наконец, и безнравственные религии. Автор приходит к выводу: «Независимо от каких бы то ни было положительных верований или *неверия*, всякий человек, как разумное существо, должен признавать, что жизнь мира имеет смысл, то есть должен верить в нравственный порядок. Эта вера логически первее всех положительных религий и метафизических учений и составляет то, что называется естественной религией».

Трудно себе представить более решительное отречение от прежних заветных верований. Раньше Соловьев выводил понятие добра из понятия Бога, теперь понятие Бога он пытается вывести из понятия добра. Естественная религия дана в опыте, а следовательно, этика может быть построена как наука, без всякой метафизики.

Эмпирическими началами этики автор считает стыд, жалость и благоговение. Вся нравственная жизнь вырастает из одного корня — полового стыда; факт стыда гласит: животная жизнь в

человеке должна быть подчинена духовной. Поэтому основным принципом нравственности является аскетизм: человек борется с животной жизнью, с материальной природой, он не желает быть закабаленным слугой бунтующей материи или хаоса. Плотское начало размножения есть зло и подлежит упразднению.

Столь же «природно» второе начало нравственности — жалость. «Естественная органическая связь всех существ как частей одного целого есть данное опыта», это есть «естественная солидарность всего существующего». Соловьев развивает учение Шопенгауэра о жалости как основе нравственности, но отказывается признать эту основу единственной: жалость существенно обусловлена чувством равенства; при неравенстве, например в отношении детей к родителям, младших к старшим, она переходит в благоговение. И здесь — зарождение религиозного чувства. Вместе со Спенсером он считает, что в образе родителей впервые для детей воплощается идея Божества и что первобытной формой религии является почитание умерших предков.

Из трех основ — стыда, жалости и благоговения — автор пытается вывести все нравственное сознание. Даже богословские добродетели — вера, надежда и любовь — не кажутся ему безусловными. Ему стоит немалого труда доказать, что четыре кардинальные добродетели — воздержанность, мужество, мудрость и справедливость — суть производные указанных им «эмпирических» начал. «Всякое проявление нашей воли, — пишет он, — может быть дурным *только* при нарушении одной из трех обязанностей, т. е. когда воля утверждает что-нибудь постыдное (в первом отношении), или что-нибудь обидное (во втором отношении), или что-нибудь нечестивое (в третьем)».

Задача построения автономной этики как науки явно неосуществима. Никакой опыт не может нас убедить, что идея добра присуща человеческой природе. Изучение разных культурных типов и первобытных народов показывает обратное. Идея добра в человеческом сознании и не абсолютна, и не всеобща. Эмпирическая этика Стюарта Милля строится на понятии счастья, а эмпирическая этика Спенсера — на идее эволюции и приспособления. Не менее произвольны «три начала» Соловьева. Чувство стыда столь же «природно» человеку, как и бесстыдство, жалости и альтруизму противостоит естественный эгоизм, благоговение связано не столько с «природой» человека, сколько с его социальным развитием. Соловьев постоянно путается в неразрешимых противоречиях, вместо реальных выводов делает формальные дедукции (например, выведение совести и храбрости из стыда!), вводит под видом «природных данных» метафизические поня-

тия. Желая во что бы то ни стало отстоять полную автономию этики, он приходит к таким невероятным утверждениям: этика не зависит от теоретической философии, и вопрос о реальном существовании мира и людей для нее не *важен*, она не зависит от того или другого решения вопроса о свободе воли и проблемы зла. Как ни парадоксально это звучит — этическая система Соловьева строится *вне понятий бытия, свободы и зла*.

Как объяснить причудливость этого построения? Кн. Е. Трубецкой справедливо замечает, что система Соловьева есть *этика половой любви*. Это ставит ее в непосредственную связь со «Смыслом любви» и раскрывает эротическую основу всего мировоззрения философа. Половая любовь стоит в центре, из полового стыда выводится все разнообразие нравственной жизни. Человек *стыдится* своей животной природы, и нравственный подвиг его заключается в ее преодолении. Как и в «Смысле любви», эротизм приводит к аскетизму, и жизненной задачей человека признаются воздержание и *целомудрие*, то есть восстановление целостности. Объявив стыд *единственным корнем*, из которого вырастает все нравственное сознание, автор не мог не извратить перспективу своего построения.

Эротический аскет не скрывает своего отвращения к полу. «Путь пола, — пишет он, — вначале постыдный, в конце оказывается безжалостным и нечестивым: он противен человеческой солидарности, ибо дети вытесняют отцов».

Во второй части («Добро от Бога») Соловьев стремится, не нарушая автономности этики, связать ее с положительной религией. Одновременно с работой над «Оправданием добра» он переводил Канта, и влияние «Критики практического разума» ясно чувствуется в его книге. Он вполне разделяет учение Канта о самозаконности чистой воли, определяемой одним уважением к нравственному долгу. Но пойти за Кантом до конца он не может: это значило бы признать, что душевные явления никакой реальности, кроме субъективной, не имеют и что бессмертие души и существование Бога суть только постулаты практического разума. При таком понимании весь его *религиозный натурализм* превратился бы в чистейший феноменализм. И вот он делает отважную попытку преодолеть Канта. Бог и бессмертие, утверждает Соловьев, *имманентны нравственному сознанию*. «В религиозном ощущении, — пишет он, — дана действительность ощущаемого, *реальное присутствие Бога...*» «Правильная теология, как и правильная астрономия (!), есть дело важное и необходимое, но это не есть дело *первой* необходимости... Действи-

тельность божества не есть *вывод* из религиозного ощущения, а *содержание* этого ощущения... Есть Бог в нас — значит Он есть».

Соловьев исходит из глубокого и верного чувства божественности человека. В человеке действительно есть образ Божий, частица Божества. Он прав в своем натурализме, поскольку «всякая душа *по природе* христианка». Но он заблуждается, отыскивая это божественное начало не в мистическом, а в разумно-нравственном сознании человека. Тут он рассуждает не как христианин, а как язычник-эллин, следует не Евангелию, а Платону. Он забывает, что образ Божий пребывает в *падшем* человеке, что грех преодолевается не естественной эволюцией, а действием благодати и что одного «закона, писанного в сердцах», недостаточно для воссоединения человека с Богом. Насколько резко изменилось отношение Соловьева к откровенной религии и Церкви, можно судить по следующим его словам: «Тот, кто вышел из школьного возраста и достиг вершин образованности, конечно, не имеет причин идти в школу (т. е. в церковь), но еще меньше имеет он причин отрицать ее и внушать школьникам, что все их учителя тунеядцы и обманщики». «В области религиозной безусловное нравственное начало внушает нам положительное отношение к учреждениям и преданиям церковным, в *смысле воспитательных средств*, ведущих человечество к цели высшего совершенства... Это подчинение Церкви и государству только условно... Мы никогда не поставим Церковь на место Божества и государство — на место человечества. Преходящие формы и орудия провиденциального дела в истории мы не примем за сущность и цель этого дела». И это пишет автор «Теократии», некогда считавший Церковь видимой формой Царства Божия на земле! Теперь он признает за ней лишь условное воспитательное значение и полагает, что духовно взрослым людям незачем ходить в это «учебное заведение». Соловьев настроен индивидуально-спиритуалистически: он почтительно равнодушен к «историческим формам религии» и признает только «внутреннее религиозное чувство».

Эллинская философия могла научить его дедуцировать понятие Бога из понятия добра, но была бессильна помочь ему вывести из этого понятия откровенные истины христианской религии. Может ли человек естественным путем прийти к вере в живую личность Богочеловека Христа? Вот *experimentum crucis*¹⁵⁶ всей нравственной системы Соловьева. При отрицательном ответе его автономная этика обрушивается, как карточный домик. Он принужден ответить утвердительно, и из всех его утверждений — это утверждение самое невероятное. «Христос говорил, — пишет

он, — “Я рожден и послан от Бога, и Я до создания мира был одно с Богом”. Верить этому свидетельству нас *заставляет разум*, ибо историческое явление Христа как Богочеловека неразрывно связано со всем мировым процессом, и с отрицанием этого явления падает смысл и целесообразность мироздания».

При религиозном натурализме истины веры неизбежно становятся истинами разума: натурализм логически превращается в рационализм. Исходя из «данных опыта», Соловьев пришел к сверхопытной истине Богочеловечества; после такого чуда диалектики все дальнейшее уже не представляло трудностей.

В «Объективной этике» автор прослеживает «добро через историю человечества» в уже знакомых нам формах богочеловеческого процесса. Учение об обществе представляет мало нового. Соловьев полемизирует с анархизмом Толстого и, отталкиваясь от непротивленчества, оправдывает войну и наказания преступников, признает необходимость капитала, банков, торговли, собственности. Социальная проблема Соловьевым даже не ставится: у него недостаточная чувствительность к социальному злу. Он считает социализм «крайним выражением буржуазной цивилизации», а труд — заповедью Божьей. Под влиянием критики Б. Чичерина автор изменяет свой взгляд на право и государство. В «Критике отвлеченных начал» право определялось чисто отрицательно, а государство — как формально-юридический союз. Теперь за ними признается положительное значение. «Право есть принудительное требование реализации определенного минимального добра или порядка, не допускающего известных проявлений зла». «Государство есть собирательно-организованная жалость». Между царством земным и Царством Божиим проведена резкая грань. «Задача права, — пишет он, — вовсе не в том, чтобы лежащий во зле мир обратить в Царство Божие, а только в том, чтобы он до времени не превратился в ад...» Закон принуждения отделяется от закона любви, и первый не отрицается во имя второго; исторические пути человечества не смешиваются с сверхисторической целью. В этом отрезвлении Соловьева от теократической утопии большая роль принадлежит Толстому: его анархическая утопия заставила автора «Оправдания добра» признать относительную ценность временного и условного. «Положительные стихии жизни должны быть поняты и приняты нами как условные данные для решения безусловной задачи». Отношения между Церковью и государством строятся теперь Соловьевым на основании полной взаимной независимости: государству принадлежит полнота власти. Церкви — высший духовный авторитет. Церковь есть не Царство Божие на земле, а всего лишь

«организованное благочестие». У нее не должно быть никакой принудительной власти, а принудительная власть государства не должна иметь никакого соприкосновения с областью религии. Над «первосвятителем» и «царем» стоит «пророк», которому принадлежит нравственный контроль этих властей. От прежней величавой троицы «Теократии» в «Оправдании добра» остались только бесплотные тени. В новом, до неузнаваемости изменившемся мире они производят впечатление выходцев с того света. Соловьев заканчивает свою книгу словами: «Нравственная задача может состоять лишь в совершенствовании данного... Совершенство добра окончательно определяется как нераздельная организация триединой любви».

Несмотря на все недостатки, книга Соловьева имеет непреходящую ценность: это — единственная в нашей философской литературе законченная этическая система. У автора есть громадный нравственный пафос, глубокая религиозность и личная пламенная любовь ко Христу. «Оправдание добра» и в наше время не утратило своего нравственно-воспитательного значения. Можно спорить с отдельными взглядами автора, но нельзя сопротивляться силе воздействия его личности.

Для многих знакомство с этой книгой было решительным поворотом в жизни, — для всех оно остается незабываемым событием.

II

Теоретическая философия

В конце «Оправдания добра» намечен переход к гносеологии. До сих пор философское мировоззрение Соловьева строилось независимо от решения проблемы зла: теперь его мироощущение изменилось, вера в торжество добра в исторической жизни человечества поколебалась, усилилось чувство «неудачи христианства в истории» — и вопрос о сущности зла предстал во всей своей трагической неотвратимости. В «Заключении» «Оправдания добра» он пишет: «Возникает вопрос: откуда зло? Если оно имеет начало помимо добра, то как может добро быть безусловным? Если же оно не безусловно, то есть ли ручательство в его победе над злом... Вопрос о происхождении зла может быть разрешен только метафизикой, которая в свою очередь предполагает вопрос: что есть истина, в чем ее достоверность?.. Оправдавши Добро как таковое в философии нравственной, мы должны оправдать Добро как Истину в теоретической философии».

Но Соловьеву не удалось закончить свою гносеологию. Три главы «Теоретической философии» (1897—1899) не позволяют судить о неосуществленном замысле во всем его объеме. Одно несомненно: прежнюю свою теорию познания он подвергнул еще более радикальному пересмотру, чем свою этическую систему; учение о познании, изложенное в «Философских началах цельного знания» и в «Критике отвлеченных начал», отвергается теперь целиком. От третьего мистического пути познания — интеллектуальной апперцепции, или интуиции, от тройного познавательного акта, состоящего из веры, воображения и творчества, не остается и следа. Отстояв или, вернее, попытавшись отстоять автономию этики, Соловьев стремится столь же решительно утвердить автономию философской мысли: философия должна иметь свою исходную точку в себе самой; философское мышление есть добросовестное искание достоверной истины «до конца».

Автор подвергает анализу «чистое сознание» и не находит в нем никакого различия между кажущимся и реальным. Полемизуя с Л. Лопатиным*, он утверждает, что из сознания нельзя заключать о подлинной реальности сознающего субъекта, нельзя из *мышления* выводить бытие. Субъекту сознания не принадлежит никакой другой реальности, кроме феноменальной: ведь никто не может быть уверен, что он не находится в гипнотическом сне и не принимает себя за пожарного или парижского архиепископа, не будучи ими. «Я» есть не субстанция, а феномен. Но кроме субъективной достоверности непосредственного сознания у нас имеется еще объективная достоверность разумного мышления; существует все мыслимое как логическая форма. В своем отвержении всякой субстанциальности Соловьев идет по следам Канта и отрекается от прежних своих убеждений. «Я и сам прежде так думал (т. е. что «я» есть субстанция) и с этой точки зрения возражал в своей магистерской диссертации («Кризис западной философии») против Гегелева панлогизма и Миллева панфеноменализма». Но теперь он думает иначе: его более не удовлетворяет ни *res cogitans* Декарта, ни монады Лейбница, ни активные элементы сознания Мэн де Бирана¹⁵⁷; он идет дальше Канта и отрицает даже кантовский «умопостигаемый характер». Итак, личность сама по себе есть *ничто*.

Где же выход из этого крайнего феноменализма, из этой пустоты?

* Диссертация Л. Лопатина «Положительные задачи философии» вышла в Москве в 1886 г.

Соловьев его только намечает; мы так и не знаем, к каким выводам пришел бы он, как бы закончил свою гносеологию. А может быть, он и не закончил ее потому, что задание было невыполнимо.

Итак, реально нам дана только пустая форма сознания и мышления. Но в самом понятии формы заключено требование содержания. Само искание есть несомненный факт: мы знаем, чего ищем, ибо *ignoti nulla cupido*¹⁵⁸.

В центре познания стоит *замысел*: знать саму истину; субъект философии являет себя как *становящийся разум истины*. Истинная философия начинается тогда, когда эмпирический субъект поднимается сверхличным вдохновением в область самой истины. И здесь имеет силу слово Истины: «Кто хочет сберечь душу свою, тот потеряет ее». «Между философами, подходившими к истине, нет большего, чем Гегель, но и наименьший между философами, исходящими из самой истины, больше его». Соловьев приводит изречение дельфийского оракула и заканчивает: «Познай самого себя — значит познай истину».

Л. Лопатин возражал Соловьеву в статье «Вопрос о реальном единстве сознания» *. Он не скрывает своего удивления по поводу того, что «в настоящее время Соловьев выступает самым решительным сторонником трансцендентного понимания субстанциальной действительности», и прибавляет: «Невольно приходит в голову, что Соловьев слишком много уступил принципиальным противникам своих душевных убеждений. При таких уступках чрезвычайно трудно дать последовательное и свободное от противоречий оправдание для того глубокого и оригинального мировоззрения, которое он проповедовал всю жизнь». Лопатин верно почувствовал, что новое учение Соловьева противоречит всей его прежней философской системе, всем его прежним «душевному убеждениям», но он упрощает дело и не чувствует трагизма отречения мыслителя «от дела всей его жизни». После крушения теократии и отхода от Церкви заветная вера Соловьева в посястороннее преображение мира рухнула. «Божественный» огонь погас под «грубой корой вещества». Мир стал мертвым призраком, зияющей пустотой. Ни природа, ни человек не реальны; нет ничего данного, есть только заданное.

В статье «Понятие о Боге» Соловьев защищает Спинозу от обвинения в атеизме, предъявленного ему А. И. Введенским. Он считает Бога началом не личным, а сверхличным, и повторяет евангельские слова: «Кто бережет душу свою, погубит ее». Вме-

* Вопросы философии и психологии. 1899. Кн. 50.

сто проповеди богочеловеческого дела, участия человека в созидании Царствия Божия — проповедь полного отречения. «Личность — только *подставка* (hypostasis) чего-то другого, высшего. Ее жизненное содержание, ее *ousia* — Бог. Человек должен отречься от «мнимого самоутверждения личности».

Таков результат душевной трагедии, пережитой Соловьевым. «Поразительная неудача дела Христова в истории» заставила его усомниться в софийности мира. Он думает теперь не об историческом процессе, а только о конце его — надвигающемся Страшном Суде.

В «Теоретической философии» вскрывается характерная особенность мировоззрения Соловьева — его имперсонализм. Она связана с тем, что истоки его философии были в эллинской мысли. У гениальнейшего из греческих мыслителей — духовного отца Соловьева Платона — «всеобщее» преобладает над индивидуальным.

У Соловьева была подлинная мистическая интуиция «всеединства», было чувство космоса, но не было чувства личности. Поэтому он отрицал свободу воли* и уклонялся от решения проблемы зла. В «Смысле любви» он пытался с помощью теории об андрогине построить свою антропологию, но запутался в противоречиях. Можно только гадать о том, к каким окончательным выводам привела бы его перестройка всей его философской системы, ибо новой «метафизики» он так и не написал.

16 ЭСТЕТИКА

В 1880 году в «Заключении» своей «Критики отвлеченных начал» Соловьев писал: «Если в нравственной области (для воли) всеединство есть абсолютное благо, если в области познавательной (для ума) оно есть абсолютная истина, то осуществление всеединства во внешней действительности, его реализация или воплощение в области чувствуемого материального бытия есть абсолютная красота. Так как эта реализация всеединства еще не дана в нашей действительности в мире человеческом и природном, а только совершается здесь, и притом посредством нас са-

* См. статью Соловьева «Свобода воли и причинность». (Мысль и слово. Ч. II. М., 1913—1921). Эта статья, написанная в 1893 г. по поводу второй части «Положительных задач философии» Л. Лопатина, при жизни автора не была напечатана.

мих, то она является задачей для человечества, и исполнение ее есть искусство. Общие основания и правила этого великого и таинственного искусства, вводящего все существующее в форму красоты, составят третий, и последний, вопрос нашего исследования».

Кн. Е. Трубецкой со слов К. Леонтьева сообщает: «На вопрос П. Е. Астафьева о содержании третьей части “Критики отвлеченных начал” Соловьев ответил: “Там будет о семи таинствах, под влиянием которых, после примирения церквей, весь мир переродится не только нравственно, но физически и эстетически”».

Итак, в начале 80-х годов Соловьев предполагал написать «Эстетику» в форме *свободной теургии*: искусство должно было быть связано с церковными таинствами и обосновано мистически. Эстетика как теургия составляла третью часть его религиозно-философской системы, увенчивая собой теократию и теософию.

Увлечение идеей соединения церквей отрывало его почти на десять лет от философских занятий, и только в 1889—1890 годах он вернулся к эстетическим вопросам (статьи «Красота в природе», 1889; «Общий смысл искусства», 1890).

В 1895 году Соловьев писал Ф. Гецу: «Вместо 2-го издания “Критики отвлеченных начал” я издаю три более зрелые и обстоятельные книги: во-первых, “Нравственную философию”, затем “Учение о познании и метафизику” и, наконец, “Эстетику”... “Эстетика” почти готова к печати».

После смерти философа рукопись этого «готового к печати» сочинения не была обнаружена. Можно предполагать, что оно не было написано и что автор собирался просто переработать и привести в систему уже ранее напечатанные им статьи по эстетическим вопросам. За десять лет церковно-общественной работы взгляды Соловьева значительно изменились, и от замысла 80-х годов осталось немного. Он отошел от Церкви и не связывал более искусство с таинствами. Его теургия носит не церковно-мистический, а свободно-спиритуалистический характер.

Эпиграфом к статье «Красота в природе» взяты слова Достоевского: «Красота спасет мир». Соловьев начинает с решительного отрицания теории чистого искусства: эстетически прекрасное должно *вести к реальному улучшению действительности*. Это не следует понимать в грубо утилитарном смысле; формальная красота всегда заявляет себя как чистая бесполезность, независимая от материальных нужд и потребностей. А между тем она всеми воспринимается как нечто безусловно ценное. Красота есть не средство, а цель в себе.

Но автор не собирается строить метафизику прекрасного; под влиянием Дарвина, которого он изучал в связи со своей полемикой с Данилевским, он предпочитает пользоваться естественно-научным методом. Юношеское увлечение природоведением не прошло для него бесследно: с нескрываемым удовлетворением погружается он снова в знакомый ему мир минералов, растений, животных и щеголяет латинскими терминами.

Есть что-то детски трогательное в этом возвращении метафизика к «строгой научности». После заоблачных полетов и головокружений абстракций — твердая «настоящая» земля с ее бабочками, личинками, гусеницами, червями и моллюсками...

В жизни природы Соловьев видит противоборство и взаимодействие двух сил — духа и материи. Красота алмаза зависит от просветления вещества, задерживающего и расчленяющего световой луч. Поэтому красоту вообще можно определить как преобразование материи через воплощение в ней другого сверхматериального начала. Только при взаимном проникновении идеального и материального рождается красота (сверкание алмаза). «Алмаз есть просветленный уголь и окаменевшая радуга». Материя сама по себе бесформенна и безобразна; этот хаос идея превращает в космос. «Идея есть полная свобода составных частей в совершенном единстве целого. В полноте своего воплощения в чувственном бытии идея становится красотой; только этой своей эстетической формой она отличается от истины и добра».

Итак, «красота в природе есть воплощение идеи».

Первичная реальность идеи, т. е. первое начало красоты в мире, есть свет. Дальнейшие ее явления обусловлены сочетанием света с материей: прекрасно озаренное небо, солнце, луна, звездный свод, облака, радуга; прекрасно море, соединяющее небо с землей, прекрасны благородные металлы и драгоценные камни.

Но в мире неорганическом воплощение духа в материи не полно: свет только отражается от вещества, но не преобразует его. В мире растений и животных, напротив, «зизждительное начало вселенной — Логос» — изнутри зажигает жизнь, в веществе создавая все более совершенные формы. Автор отвергает теорию красоты как видимости (Schein) или субъективной иллюзии. Нет, красота в природе *реальна*. Творец равнодушен к красоте своих творений. В растительном царстве светлое начало внутренне движет косное вещество; растение есть первое действительное и живое воплощение небесного начала на земле — «безмолвно преображенная и тихо приподнявшаяся к небу земля».

Поэт побеждает естествоиспытателя, и в «научнообразное» изложение врывается чистая лирика. Соловьев глубоко чувствовал «небесную» жизнь цветов. В детском видении образ Подруги Вечной предстал перед ним с «цветком нездешних стран». В Пустыньке он вел долгие тихие беседы со своими любимыми белыми колокольчиками и посвящал им стихи. В час смерти они окружали его, как белые ангелы.

После поэтического отступления автор возвращается к «реальностям», к зоологии и эволюции видов, цитирует Дарвина и Клауса.

В мире животных — большее развитие жизненности, большая способность к воплощению идей, но вместе с тем и большая способность сопротивления. В животных «безобразие мировой основы заявляет себя с активно-хаотической стороны»; так, например, форма червя есть обнаженное воплощение двух основных материальных инстинктов — полового и питательного; преобладание материального начала над формой и есть причина безобразия в животном царстве. Но мировой художник стремится победить это уродство: у позвоночных *основной червь* вбирается внутрь, становится *чревом*; поверхность тела облекается красивыми покровами (чешуя, перья, шерсть и мех). Красота в природе объективна: Дарвин доказал, что животные чувствительны к красоте, что для некоторых из них она дороже жизни. Но тогда надо идти дальше. «Допустивши, что павлиний хвост красив объективно, настаивать на том, что красота радуги или алмаза имеет лишь субъективно-человеческий характер, было бы верхом нелепости». Красота в природе имеет онтологическое основание, она есть чувственное воплощение одной абсолютно объективной всеединой идеи.

Статья заканчивается метафизическим выводом: «Космический ум в явном противоборстве с первобытным хаосом и в тайном соглашении с раздираемою этим хаосом мировую душу или природу творит в ней и чрез нее сложное и великолепное тело нашей вселенной».

К статье «Красота в природе» непосредственно примыкает, продолжая ее, статья «Общий смысл искусства». Между природой и искусством существует глубокая таинственная связь. Искусство продолжает то художественное дело, которое начато природой. Добро было бы неполным, если бы его осуществление ограничивалось только нравственным миром, и его торжество было бы непрочным, если бы оно не распространялось и на материальную основу бытия. Но здесь этическое действие превращается в эстетическое, ибо «вещественное бытие может быть введе-

но в нравственный порядок только чрез свое просветление, одухотворение, т. е. *только в форме красоты*». Итак, само добро нуждается в красоте. Но могут спросить, какой смысл человеческого искусства? «Не совершенно ли уже помимо нас это дело всемирного просветления? Природная красота уже облекла мир своим лучезарным покрывалом, безобразный хаос бессильно шевелится под стройным образом космоса и не может сбросить его с себя ни в беспредельном просторе небесных светил, ни в тесном круге земных организмов».

Нет, отвечает Соловьев, в природе темные силы только *побеждены*, но не убеждены мировым смыслом, красота природы есть только покров, брошенный на злую жизнь, а не преобразование этой жизни. Вот почему человек должен более глубоко и полно воздействовать на природу. В неорганическом мире дурное начало действует как тяжесть и косность, в мире органическом — как смерть и разложение, в человеке оно выражает свою глубочайшую сущность как нравственное зло. «Но тут же и возможность окончательного над ним торжества и совершенного воплощения этого торжества в красоте нетленной и вечной».

Достойное, идеальное бытие есть гармония, абсолютная солидарность всего существующего. Бог все во всех. Нарушение этой свободы в единстве есть нравственное зло, теоретическая ложь и эстетическое безобразие.

Для полного раскрытия красоты необходима непосредственная материализация духовной сущности и всецелое одухотворение материального явления. Материя, действительно ставшая прекрасной, т. е. воплотившая идею, должна достигнуть бессмертия.

И вот, обращаясь к природе, мы видим, что она бессильна создать совершенную и бессмертную красоту. «Задача, неисполнимая средствами физической жизни, должна быть исполнена средствами человеческого творчества... Ясно, что исполнение это должно совпасть с концом всего мирового процесса. Пока история еще продолжается, мы можем иметь только частные и отрывочные *предварения* совершенной красоты». Искусство есть «переход и связующее звено между красотой природы и красотой будущей жизни»; оно — не пустая забава, а вдохновенное пророчество.

В заключение Соловьев дает общее определение искусства: «Всякое осязательное изображение какого бы то ни было предмета и явления с точки зрения его окончательного состояния или в свете будущего мира есть художественное произведение».

До сих пор искусство одухотворяло действительность только в воображении; искусство будущего должно стать *реальным* ее

преображением. Соловьев пророчествует: «Я не нахожу особенно смелым утверждение, что новоевропейские народы уже исчерпали все известные нам роды искусства, и если последнее имеет будущность, то в совершенно новой сфере действия».

* * *

Философу не было надобности писать особую «Эстетику», так как учение о красоте уже заключалось *implicite* в его общей системе. Идея всеединства всегда определялась им как нераздельная троица истины, добра и красоты. Ему оставалось только подчеркнуть этот третий аспект идеи, и эстетика органически вырастала из метафизики. В статьях о красоте и искусстве он лишь излагает в эстетических терминах свое учение о Софии, мировой душе и космогоническом процессе.

Соловьев продолжает верить, что цель мирового процесса есть реальное преобразование мира и что в этом деле человечеству принадлежит творческая роль, но роль эта определяется им теперь иначе. В теократический период дело преобразования представлялось ему чисто религиозным и церковным: человечество преобразует мир через космическую силу церковных таинств; для светского искусства, таким образом, не оставалось места, и все человеческое творчество включалось в теургию. В эстетических статьях, напротив, он отстаивает автономию искусства, даже не упоминая о церкви и таинствах. Говоря о неразрывной связи, существовавшей некогда между искусством и религией, он делает следующую многозначительную оговорку: «Эту первоначальную нераздельность религиозного и художественного дела мы не считаем, *конечно*, за идеал».

И далее. Соловьев верил, что преобразование мира наступит здесь, на земле, что человечество вступит в земное Царствие Божие через «врата истории». Теперь он заявляет, что «исполнение этой задачи должно совпасть с концом всего мирового процесса». Его понимание истории уже более не утопично, а эсхатологично. Искусство преобразует мир не реально, а только в воображении: оно не теургия, а пророчество. Правда, он предвидит «совершенно новую сферу действия» искусства, но в этих словах звучит не убеждение, а лишь робкая надежда.

Самостоятельна ли эстетическая теория Соловьева? Э. Л. Радлов * находит «большое духовное родство» между эстетикой Соло-

* Радлов Э. Эстетика Вл. С. Соловьева // Вестник Европы. 1907. Янв.

вьева и теориями Плотина. На первый взгляд сходство это действительно бросается в глаза. В двух трактатах «О прекрасном» (1-я Эннеада, книга 6-я) и «Об умопостигаемой красоте» (5-я Эннеада, книга 8-я) Плотин определяет красоту как идею, а материю — как безобразный хаос. Подобно Соловьеву, он считает умопостигаемую красоту существующей, совершенной и вечной и называет искусство продолжением дела природы. «В произведениях искусства и природы, — пишет он, — действует одна и та же мудрость (София), которая есть источник всякого творчества. Истинная мудрость есть бытие, и истинное бытие есть мудрость... В искусстве пребывает более высокая красота, чем та, которая свойственна природе, ибо предмет становится прекрасным благодаря форме (идее), которую придает ему художник». Так же как и Соловьев, Плотин видит в идее «гармонию и всеединство». «Идея создает единство путем внутренней гармонии, ибо идея сама по себе едина, и то, что ее воспринимает, стремится к единству... В этом единстве заключается красота».

Но, несмотря на внешнее сходство, основные принципы двух философов прямо противоположны. Плотин гнушается материей, считает ее абсолютным злом и лживой видимостью (мэон); Соловьев далек от такого аскетического акосмизма. Для него хаос имеет онтологическую основу; *хаос есть потенциальный космос*: он не только противоборствует духу, но и подчиняется его воздействиям. Разорванная душа мира сама стремится к гармонии и свету. Плотин считает, что всякая плоть безобразна и всякая красота бесплотна. Соловьев, напротив, видит красоту во взаимном проникновении духа и плоти, в чувственном воплощении идеи. Для Плотина никакого преображения материи нет, есть только освобождение от нее, очищение. Соловьев же учит о реальном преображении мирового тела и о соединении неба с землей. Плотин говорит: чтобы быть прекрасным, человек должен выбраться из темницы плоти и воспарить в мир умопостигаемых сущностей. Соловьев утверждает: красота — не в бессилии бесплотного духа, а в соединении его с просветленной плотью. Пассивному созерцанию Плотина противостоит активное действие у Соловьева, мэонизму первого — космизм второго. Плотин и Соловьев не только не родственны, а прямо полярны. Сходство их эстетических взглядов следует отнести на счет их общего учителя Платона.



Несмотря на свою фрагментарность, эстетика Соловьева представляет большую ценность. В нашей литературе это первое и

единственное учение о прекрасном. Русская мысль всегда была чужда и нередко враждебна эстетической рефлексии. Романтики довольствовались немецкими теориями и жили идеями Шеллинга, Гегеля и Шиллера; единственное оригинальное сочинение в этой области принадлежит шестидесятнику Н. Чернышевскому. В своей диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» он отвергает «идеальное» в искусстве, сводит его к бесполезному подражанию действительности и ставит ниже жизни. До появления символистов в России был один только эстет — К. Н. Леонтьев, человек эпохи Возрождения, трагически расплатившийся за свое несвоевременное и неуместное рождение. Однако и он никакой эстетической системы не создал. Богатая гениальными художественными произведениями русская литература всегда стыдилась красоты и искала ей нравственного оправдания. Нигилизм в отношении к эстетике совсем не есть временное явление в русской культуре, связанное с шестидесятыми годами, это — типичная особенность нашего национального характера, своеобразный аскетизм русской души. Достаточно указать на убожество эстетических воззрений Толстого. Соловьев создал законченное и цельное эстетическое учение, оно легло в основание новой школы — символизма, и теории его, Андрей Белый, Вячеслав Иванов, Брюсов, Мережковский, были его учениками. Любопытно, что духовный отец символизма не признал своего потомства. Первые выступления молодых поэтов были встречены Соловьевым насмешками и шуточками; он поссорился с А. Волынским и ушел из «Северного вестника», вокруг которого группировались символисты; отказался вести «серьезный разговор» с Д. Философовым; издевался над Брюсовым и Минским, называя их «юными спортсмэнами», «оргиастами», и писал на них пародии:

Своей судьбы родила крокодила
Ты здесь сама,
Пусть в небесах горят паникадила,
В могиле — тьма.

Напрасно символисты указывали ему на то, что его собственная поэзия глубоко символична. Он упорно не хотел этого признать: родство с «декадентами» казалось ему компрометирующим.

* * *

Вооруженный своей эстетической теорией, Соловьев обращается к художественной критике. На протяжении девяностых го-

дов им был напечатан ряд статей и рецензий, посвященных эстетике, поэзии и поэтам *. Из них наиболее замечательны: «О лирической поэзии», «Поэзия Ф. И. Тютчева», «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина».

Художественная критика Соловьева способствовала пробуждению нового поэтического сознания в русском обществе и в большой мере подготовила художественное возрождение на рубеже XX века. Он равно боролся с натурализмом и утилитаризмом в литературе и с теорией «искусства для искусства»; учил о высоком призвании художника, требовал от него нравственного подвига и общественного служения, писал о пророческом значении поэзии и предсказывал, что новое искусство будет реальным преобразованием жизни. Соловьев утверждал, что смысл искусства не в идеях, а в чувственном выражении идей, и этим реабилитировал форму художественных произведений. Формальные искания символистов в его теории находили свое оправдание. Учением об одухотворенной материи он освобождал искусство от ложного спиритуализма и восстанавливал права «прекрасной плоти». Наконец, в своих стихах о Подруге Вечной он возвращал поэзии ее извечный символический смысл и прокладывал путь, по которому пошел молодой Блок.

Но художественной критике Соловьева недоставало широты и объективности. Личные вкусы его были ограничены. Он не любил ни эпоса, ни драмы; был вполне равнодушен к театру, музыке и пластическим искусствам; в поэзии признавал только чистую лирику и величайшими после Пушкина поэтами считал Альфреда Мюссе, Гейне, Фета и Алексея Толстого. По отношению к художественной прозе у него была своего рода эстетическая слепота: он «ценил» Достоевского, но не чувствовал его гения, не выносил Льва Толстого не только как мыслителя, но и как художника. Его любимым произведением во всей мировой литературе был «Золотой горшок» Гофмана, а из русских писа-

* В 1890 г.: «О лирической поэзии: По поводу последних стихотворений Фета и Полонского»; «Иллюзия поэтического творчества: (О гр. А. К. Толстом)». В 1894 г.: «Первый шаг к положительной эстетике»; «Буддийское настроение в поэзии». В 1895 г.: «Поэзия Ф. И. Тютчева»; «Поэзия гр. А. К. Толстого»; «Русские символисты». В 1896 г.: «Поэзия Я. П. Полонского». В 1897 г.: «Судьба Пушкина»; «Что значит слово “живописность”?»; «Импрессионизм мысли: (О К. Случевском)». В 1898 г.: «Мицкевич». В 1899 г.: «Особое чествование Пушкина»; «Против исполнительного листа»; «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина»; «Лермонтов»; «Предисловие к “Упырю” гр. А. К. Толстого».

телей он высоко ставил Гоголя, потому что он больше всего напоминал ему Гофмана. Соловьев-критик не интуитивен: ему не хватает способности изнутри понимать чужую личность. Однажды он писал Тавернье: «Мой недостаток — это полная неспособность находить слова, соответствующие моим чувствам. Для идей и фактов я еще иногда нахожу выражения, для движения сердца — никогда». Он был беспомощен перед частным случаем, конкретной особенностью, личным своеобразием; вот почему ему было трудно понять судьбу Пушкина, личность Лермонтова, значение Ницше и символистов. Провозвестник новых времен, Соловьев продолжал оставаться человеком своей эпохи и не мог вполне освободиться от жалкой поэтики 80-х годов. Он был воплощенным противоречием в жизни и творчестве.

Поэтический дар Соловьева невелик. У него есть отдельные пронзительные строки, прекрасные строфы, но в целом его поэзия производит впечатление мучительной неудачи. Лирике его недостает внутренней взволнованности, непосредственности, выразительности, того ритма души, который бьется в каждой строчке Блока. Соловьев — поэт в философии и философ в поэзии. Он «не находит выражения для движений сердца»; быть может, он не столько чувствует, сколько размышляет над чувством. В стихах он лишь смутно намекает на свою мистическую жизнь, пишет о самом священном в раздражающей юмористической форме; любовные стихи его бледны и расплывчаты, и только в описаниях северной природы он достигает строгого и благородного мастерства (цикл финляндских стихотворений; стихи, посвященные Пустыньке).

Но если смотреть на поэзию Соловьева как на особый жанр *философской лирики*, нельзя не признать ее ценности. У поэта-философа была идейная страстность, эротизм мысли и пророческое вдохновение. Это — поэзия философского Эроса в платоновском смысле, история мистической любви к Идее.

Подруга Вечная, Тебя не назову я,
Но Ты почувешь трепетный напев... *

* О поэзии Вл. Соловьева писали: Чулков Г. Поэзия Вл. Соловьева // Вопросы жизни. 1905. № 5; Брюсов В. Поэзия Вл. Соловьева // Далекие и близкие. 1912; Кудрявцев П. Рыцарь св. Софии // Христианское обозрение. 1914. П. Христианская мысль. 1917. Янв.—март—апр.; Соловьев С. М. Идея Церкви в поэзии Вл. Соловьева // Богословские и критические очерки. М., 1915; о. Сергей Булгаков. Стихотворения Владимира Соловьева // Тихие думы. М., 1918; Слонимский А. Блок и Вл. Соловьев. Сборник об А. Блоке, 1921; Саводник, Львов-Рогачевский, Мельшин, Протопопов и др.

17

ЭСХАТОЛОГИЯ: «ТРИ РАЗГОВОРА»
И «ПОВЕСТЬ ОБ АНТИХРИСТЕ»
(1899—1900)

Перед смертью воспоминания юности воскресают с таинственной силой, влекут к местам, где случилось «самое значительное в жизни». В 1898 году Соловьев едет в Египет, чтобы вновь увидеть ту пустыню, где некогда явилась ему Она. «В Египте, — пишет он Стасюлевичу, — мы нашли благодать: озимые поля, готовые к жатве (как у нас в конце июля), а яровые — великолепно зеленеющие. Перед нами начался было зной палящий, но мы принесли северный ветер и приятную прохладу. Благодаря англичанам Египет подобен вертограду благоустроенному. Даже поезда ходят по расписанию, а не по произволению, как было в мой первый приезд — 22 года тому назад!»

Из Египта он предполагал поехать в Палестину, но потом отказался от этого намерения «по соображениям столько же политическим, сколько экономическим». Была, конечно, другая, скрытая причина: как всегда в жизни мечтатель боялся встречи с действительностью.

Вернувшись из путешествия, Соловьев проводит лето в Пустыньке, пишет поэму «Три свидания» и несколько мистических стихотворений. Он в радостном, взволнованном состоянии: после долгой разлуки — Она к нему вернулась; испытания кончены, тяжелый путь пройден до конца. Подруга Вечная снова с ним, и уже навсегда.

Ушли двенадцать лет отважных увлечений,
И снов мучительных, и тягостных забот,
Осиливших на миг и павших искушений,
Похмелья горького и трезвенных работ.

.....

И призраки ушли, но вера неизменна...
А вот и солнце вдруг взглянуло из-за туч.
Владычица-земля! Твоя краса нетленна,
И светлый богатырь бессмертен и могуч.

После долгих лет оставленности и одиночества снова блаженное чувство: мы вдвоем; снова все расплывается в тумане, и везде, во всем только Она, только ее лучезарные очи.

Лишь забудешься днем иль проснешься в полночи —
Кто-то здесь... Мы вдвоем.—
Прямо в душу глядят лучезарные очи
Темной ночью и днем.

.....
Только свет да вода. И в прозрачном тумане
Блещут очи одни,
И слились давно, как роса в океане,
Все житейские дни,

Теперь не страшен надвигающийся конец, приближающаяся смерть. Жизнь прожита не даром, «пророческие сны» юности не обманули.

Душевным миром и просветленностью веет от «Воскресных писем», которые Соловьев печатал в газете Гайдебурова «Русь» в 1897—1898 годах. В одном из них («Два потока») автор рассказывает, как однажды, пользуясь остановкой поезда, он пошел в лес и стал думать о своей жизни. И вдруг он понял, что в его возрасте, когда жизнь нужно уже считать «прочим временем живота», человек должен остаток сил своих направить на одну цель — *обеспечение совершенного бессмертия*. А для этого нужно не умерщвлять страсти, а вбирать их внутрь, направлять к добру, чтобы они стали духовной силой, живой водой, текущей в вечность.

Вера в действительное воскресение Христа и бессмертие человека стоит в центре не только его полемики с Толстым, но и всей его духовной жизни. «Христос Воскресе!» — все сводится для него к этой великой истине. Боясь ложного пафоса, он шутливо пишет Стасюлевичу: «Христос Воскресе! дорогой и глубокоуважаемый Михаил Матвеевич, за достоверность факта ручаюсь честным словом», и матери: «Хотя сегодня только четверг, но смело могу Вас уверить, что Христос воскрес».

Последние годы Соловьева — эпоха «возвращений»: он возвращается не только к местам (Египет, Пустынька), но и к привязанностям и занятиям своей юности, снова погружается в «теоретическую философию» и приступает к переводу сочинений Платона. Получив от Солдатенкова заказ на полный перевод своего любимого философа, он делил эту работу с братом Михаилом. В 1899 г. выходит первый том «Творений Платона», в котором Владимиру Соловьеву принадлежит перевод четырех диалогов, комментарии к ним и рассуждение «о семи сократических диалогах». В предисловии автор рассказывает, что еще 17 лет тому назад Фет уговаривал его «дать русской литературе Платона», но «внешние замыслы» отняли от него лучшие годы. «И вот в 1897 году я стал ощущать неодолимое влечение окунуться снова и глубже в этот вечно свежий поток юной, впервые себя опознавшей философской мысли... Я как будто опять увидел перед собой светлую, редким пухом обрамленную голову (Фета), с грустным

и острым, как у большой птицы, взглядом и как будто слышал знакомый голос, зовущий к “предназначенному мне труду”».

Смерть прервала этот труд. Но плодом изучения Платона явилась одна из самых замечательных статей Соловьева: «Жизненная драма Платона» (1898). Между греческим философом и его русским учеником было духовное родство, почти конгениальность. Соловьев чувствовал Платона как свое второе «я» и, говоря о его судьбе, подводил итоги своей собственной жизни. Статья его не только блестящий опыт жизнеописания, но и горячая исповедь сердца. Жизнь эллинского мыслителя представляется Соловьеву трагедией, завязка которой лежала в его отношении к Сократу. Смерть праведника Сократа, когда ее переболел Платон, приобрела для него универсальный смысл: быть или не быть правде на земле. Чтобы спасти правду, Платон объявил, что этот мир не настоящий, что существует другой, «в котором правда живет». Таково *жизненное* происхождение платонического идеализма. Попытка соединить два мира через Эрос не удалась Платону: человек одною силою ума, гения и нравственной воли не может исполнить свое назначение — победить смерть не в умозрении только, но и в действительности. Это есть путь богочеловеческий, и для Платона он был закрыт. Все же, пережив Эрос, мудрец освободился от чистого идеализма и обратился к практической деятельности — если не к перерождению природы, то к преобразованию общества, и здесь ждало его новое и более страшное «падение». «Под предлогом исправления мирской неправды торжественное утверждение этой неправды в той самой форме, которою был осужден и убит Сократ, — я не знаю более значительной и глубокой трагедии в человеческой истории».

Вдумываясь в жизнь своего учителя, Соловьев находил в ней «свое». Он тоже всегда чувствовал, что эта жизнь не настоящая и что есть другая, идеальная жизнь; он тоже верил в преображение мира через Любовь и, потерпев неудачу, обратился к преобразованию общества. В осуждении «практической» деятельности Платона слышится приговор Соловьева себе самому, своей теократической утопии.

Столь же личным признанием является речь о Мицкевиче (1898). Польский поэт, говорит Соловьев, пережил три испытания: отречение от личного счастья, отказ от национального мессианизма и отход от внешнего авторитета Церкви во имя духовной свободы. Испытания Мицкевича — испытания самого Соловьева.



Весною 1899 г. Соловьев в последний раз едет за границу. Он живет на французской Ривьере в Канн; там начинает он писать «Три разговора», которые заканчивает в Петербурге в 1900 г. «Повесть об Антихристе» он читает в виде публичной лекции: она вызывает протест и насмешки.

Соловьев говорил кн. С. Трубецкому о «Трех разговорах»: «Это свое произведение я считаю гениальным». И он едва ли ошибался. Спор с Толстым и «Повесть об Антихристе» — величайшие создания русской религиозной мысли. Наша литература не имеет ничего равного им по силе пророческого вдохновения, за единственным исключением «Легенды о Великом инквизиторе» Достоевского.

В последнем, предсмертном сочинении Соловьева скрещиваются две линии, проходящие через всю его жизнь: линия борьбы с толстовским христианством и линия эсхатологических предчувствий. Их следует разделить и проследить в отдельности.

Отношения между Соловьевым и Львом Толстым всегда отличались мучительной сложностью. Эти два человека были полярно противоположны друг к другу, и каждая встреча их превращалась в столкновение: они почти физически не могли дышать одним воздухом. Проповедь Толстого оскорбляла самые заветные убеждения Соловьева. Учение Соловьева, его мистика, утопии, пророчества раздражали трезвого реалиста Толстого. И все же что-то притягивало их друг к другу: они сходились, чтобы угрюмо помолчать вдвоем или начать ожесточенный спор. Расходились, потом опять мирились и снова ссорились. В 1881 г. Соловьев пишет из Москвы Страхову, что он часто встречается с Толстым, в 1882 г. сообщает И. Аксакову: «С Толстым уже давно не выдаюсь, и он для меня “яко язычник и мытарь”». Появление в печати книжки Толстого «В чем моя вера?» вызывает следующий лаконический отзыв Соловьева: «На днях прочел Толстого “В чем моя вера?”. Ревет ли зверь в лесу глухом?»¹⁵⁹ (Страхову, 1884 г.). И все же Соловьев не теряет надежды «убедить» Толстого. Примирение происходит в 1887 году. «Я вполне примирился с Л. Н. Толстым, — пишет он Страхову, — он пришел ко мне объяснить некоторые свои странные поступки, а затем я у него провел целый вечер с большим удовольствием, и если он всегда будет такой, то буду посещать его». Но примирение было непрочным. В 1891 году Соловьев в статье «Идолы и идеалы» ополчается против «народопоклонничества» и проповеди опрощения и называет убеждения Толстого «феноменологией его

собственного духа». Отношения между ними снова портятся. Соловьев сообщает Гроту (1891 г.): «К Толстому не поеду: наши отношения заочно обострились вследствие моих “Идолов”, а я особенно теперь недоволен бессмысленною проповедью опрощения, когда от этой простоты мужики с голоду мрут». В том же году, пытаясь организовать помощь голодающим, он жалуется Стасюлевичу на то, что его никто не поддерживает. «Остался один Лев Толстой, да и тот полоумный. Уж так у нас в городе устроено, что как умный человек, так или пьет запоем, или рожи корчит, что святых вон неси».

И снова после отталкивания — притяжение. В 1894 году Соловьев делает последнюю попытку «обратить» Толстого. Он часто его навещает, сближается с его последователями, ведет бесконечные диспуты и беседы. «Здесь много виделся с Толстым и толстовцами, — сообщает он Стасюлевичу, — из которых более способные начинают от его полубуддизма переходить к христианству в моем смысле, не теряю надежды и относительно его самого». Но атмосфера толстовского дома нередко приводила его в «окаменение». В. Величко видел однажды весной 1894 г. Соловьева на «журфиксе» у Толстых в Хамовниках. «Общество как-то само собою разделилось тогда на три кружка: первый составляла группа лиц, беседовавших с хозяином дома и споривших по вопросу о непротивлении злу; второй состоял из светских дам и мужчин с графиней Софьей Андреевной во главе и третий — бойкая молодежь. Владимир Соловьев вошел вместе со мной и, невзирая на оказанный ему чрезвычайно милый и нежный прием, сразу впал в какое-то мрачное безмолвие, точно окаменел. Я уже близко знал его в ту пору и сразу почувствовал, что ему не по себе... Помолчав в первом кружке и обменявшись несколькими незначительными словами во втором, он примкнул к третьему, а затем потихоньку ушел».

Уехав в Петербург, Соловьев пишет Толстому письмо с изложением «главного пункта разномыслия» между ними. Этот пункт — воскресение Христа. Соловьев доказывает Толстому, что на основании его же собственного мировоззрения он должен признать истину Воскресения. Духовная жизнь, несомненно, подчиняет себе жизнь физическую. В человеке духовная сила *возрастает*. «Если борьба с хаосом и смертью есть сущность мирового процесса, причем светлая, духовная сторона, хоть медленно и постепенно, но все-таки *одолевает*, то воскресение есть необходимый момент этого процесса, который в принципе этим и оканчивается». Воскресение есть не чудо, а безусловно необходимый факт. В Христе духовная сила, достигнув полноты своего совер-

шенства, захватила и телесную жизнь, одухотворила ее. Нет основания считать образ евангельского Христа вымышленным, а если этот духовно совершенный человек действительно существовал, то он тем самым был первенец из мертвых. Весь мировой и исторический процесс ведет к *личному и реальному* явлению духовного начала и к полной победе духа над смертью; с другой стороны, свидетели-очевидцы, неграмотные евреи, с изумлением рассказывают о воскресении Христа; такое совпадение не позволяет нам обвинять этих свидетелей в том, что они выдумали факт, значение которого им самим было непонятно. Наконец, без факта воскресения нельзя объяснить необычайный энтузиазм апостольской общины и всей ранней истории христианства.

Но даже такое «натуралистическое» доказательство воскресения, при котором божественность Христа стыдливо замалчивается и чудо Его восстания из мертвых толкуется как «безусловно необходимый факт», не убедило Толстого.

Соловьев наконец понял, что «соглашение» с автором «В чем моя вера?» для него невозможно. В «Оправдании добра» он борется с толстовством как с вредным заблуждением. В «Трех разговорах» идет еще дальше: учение Толстого обличается им как антихристова ложь.

* * *

Об «эсхатологической интуиции», прирожденной Соловьеву и сопровождавшей его через всю жизнь, мы уже неоднократно упоминали. В последние годы мистическая встревоженность и предчувствие конца достигают страшного напряжения. В 1897 году он пишет Величко:

«Есть бестолковица,
Сон уж не тот,
Что-то готовится,
Кто-то идет.

Ты догадываешься, что под “кто-то” я разумею самого антихриста. Наступающий конец мира веет мне в лицо каким-то явственным, хоть неуловимым, дуновением, — как путник, приближающийся к морю, чувствует морской воздух прежде, чем увидит море. *Mais c'est une mer à boire*»¹⁶⁰.

В 1898 году с Соловьевым происходит загадочное событие, которое резко меняет его отношение к вопросу о зле. Об этой «перемене» он упоминает в предисловии к «Трем разговорам». «Есть ли зло только естественный *недостаток*, несовершенство, само собой исчезающее с ростом добра, или оно есть действительная сила, посредством соблазнов владеющая нашим миром, так что

для успешной борьбы с нею нужно иметь точку опоры в ином порядке бытия?.. Около двух лет тому назад особая перемена в душевном настроении, о которой здесь нет надобности распространяться, вызвала во мне сильное и устойчивое желание осветить наглядным, доступным образом вопрос о зле» (предисловие написано в 1900 году, следовательно, «перемена» произошла в 1898 г.).

До сих пор Соловьев склонялся к точке зрения бл. Августина: зло не имеет субстанции — это только «privatio» или «amissio boni»¹⁶¹. Теперь зло предстает перед ним во всей своей зловещей реальности. Раньше он «не верил в черта», теперь он в него поверил. Что же произошло с ним в 1898 году? Об этом сохранилось «предание»; как в бесхитростных повествованиях средневековой «Legenda aurea»¹⁶², мистическое содержание пережитого опыта символизируется в нем в конкретных образах. «Существует предание, — сообщает С. М. Соловьев, — что в первый день Пасхи, войдя в каюту парохода (во время путешествия в Египет), Владимир Сергеевич увидел на подушке сидящего черта в виде мохнатого зверя. В. С. обратился к черту со словами: “А ты знаешь, что Христос воскрес?” Тогда черт бросился на В. С., которого потом нашли распростертым на полу без сознания».

Н. Макшеева* со слов самого Соловьева передает об этом происшествии иначе. Соловьев рассказывал: «Ехал я на пароходе; вдруг почувствовал, как что-то сдавило мне плечи; я увидал белое туманное пятно и услышал голос: “А, попался, длинный, попался!” Я произнес самое сильное заклинание, какое существует: “Именем Иисуса Христа Распятого!” Дьявол исчез, но весь день я чувствовал себя разбитым».

Величко утверждает, что Соловьев «видел дьявола и пререкался с ним» и знал заклинания против бесов; вот одно из них: «Заклинаю вас именем Иисуса, Сына Бога Живого, перед Которым преклоняются все колена на небесах, на земле и под землею».

Таково «предание»: фактическая сторона его, быть может, малодостоверна, но внутренний смысл несомненен; в 1898 году Соловьев пережил реальный опыт темных сил. Он отразился в его поэзии. В стихотворении «В Архипелаге ночью» автор свидетельствует:

Видел я в морском тумане
Всю игру враждебных чар;
Мне на деле, не в обмане
Гибель нес зловещий пар.

* Макшеева Н. Воспоминания о В. С. Соловьеве // Вестник Европы. 1910. Авг.

Въявь слагались и вставали
 Сонмы адские духов,
 И пронзительно звучали
 Сочетанья злобных слов.

О встречах с Подругой Вечной Соловьев повествовал в «шутливых стихах». Мог ли он дерзнуть *серьезно* рассказать «просвещенным читателям» о своей встрече с чертом? И он снова прибегает к юмористической форме, чтобы защитить себя от единомышленников генерала Фадеева, который когда-то в Египте внушал ему, что

...прослыть обидно
 Помешанным иль просто дураком.

Стихотворение «Das Ewigweibliche» носит подзаголовок: «Слово утешительное к морским чертям». Оно начинается следующими строками:

Черти морские меня полюбили,
 Рыщут за мною они по следам:
 В Финском поморье недавно ловили,
 В Архипелаг я — они уже там!

Ясно, что черти хотят моей смерти,
 Как и по чину прилично чертям.
 Бог с вами, черти! Однако, поверьте,
 Вам я себя на съеденье не дам,

Первое поражение темные силы испытали, когда из пены родилась Афродита — первое явление Вечной Женственности. Но тогда борьба между светом и тьмой кончилась торжеством тьмы. Злые силы посеяли в «образе прекрасном» «адское семя растленья и смерти». Тон стихотворения внезапно меняется: шутливое утешение чертям переходит во вдохновенное пророчество. Торжественно и победно звучит гимн Афродите Небесной:

Знайте же: вечная женственность ныне
 В теле нетленном на землю идет.
 В свете немеркнущем новой богини
 Небо слилось с пучиною вод.

Все, чем красна Афродита мирская,
 Радость домов, и лесов, и морей, —
 Все совместит красота неземная
 Чище, сильнее, и живей, и полней.

И снова срыв в шутливость: вам не одолеть силы Новой богини, а потому, «милые черти, сдавайтесь скорей!»

Встреча с демоническими силами не только не омрачила души Соловьева, но, напротив, усилила в ней свет. От столкновения с

тьмой душа загорелась и просияла. Никогда еще он не говорил с такой победной уверенностью о грядущем откровении Софии, близком царстве добра. Нередко изображают последние годы жизни Соловьева как период мрачности, угнетенности, «крушения всех надежд». На самом деле было окончательное соединение с Подругой Вечной, просветленность и ликующее ожидание Второго Пришествия. «Крушения» и «разочарования» остались далеко позади. Все было уже выстрадано и пережито, а впереди ждали белые ангелы смерти и светлая весть о воскресении. Эсхатология Соловьева — не от отчаяния и уныния: она принимает трагедию мировой истории, пришествие Антихриста и Апокалипсис, но принимает не как всеобщую гибель, а как смысл мира и путь к спасению.

В. Розанов* заметил это предсмертное просветление Соловьева, «Перед самою смертью он быстро становился лучше, как будто именно приуговаривался к смерти. Разумею здесь его отречение от горячки неподготовленных попыток к церковному “синтезу” и вообще быструю его национализацию. Внук деда-священника вдруг стал быстро скидывать с себя мантию философа, арлекинаду публициста. “Схиму, скорее схиму!” — как будто только не успел договорить он, по примеру старорусских людей, московских людей».

«Лицо Соловьева резко изменилось в последние годы, — пишет С. М. Соловьев. — С поразительной точностью оно передано на портрете петербургского фотографа Здобнова, приложенном к X тому второго Полного собрания сочинений В. С. В лице В. С. появляется какая-то *призрачность, глубокая* грусть и светлая весть из иного мира — свет нездешний».

* * *

В предисловии к «Трем разговорам» автор открыто называет врага; он борется с Толстым и его последователями**. В России есть секта «вертидырников», или «дыромоляев»; проделав дыру в стене, они молятся ей: «Изба моя, дыра моя, спаси меня!» Толстовцы еще хуже: они называют себя христианами, но они без Христа и воскресения. «Истинная задача полемики здесь не опровержение мнимой религии, а обнаружение действительного обмана». Толстовцы не христиане, а буддисты.

* Розанов В. Около церковных стен. СПб., 1906.

** См.: Трубецкой Е. Н., кн. Спор Толстого и Соловьева о государстве // Сборник второй: О религии Льва Толстого. М.: Путь, 1912.

Три собеседника «Разговоров» представляют три точки зрения на зло: генерал — религиозно-бытовую, политик — культурно-прогрессивную, г. Z — безусловно-религиозную. Автор стоит на третьей точке зрения, хотя признает относительную правду двух первых. Он верит в близость панмонгольского нашествия на Европу, которая будет изнурена борьбой с исламом в Азии и Африке. В последнем столкновении Востока с Западом огромную роль сыграют тайные религиозно-политические братства: мусульманское — сенусси и буддийское — Келанов.

Предисловие заканчивается предчувствием близкой смерти. «Разнообразные недостатки и в этом исправленном изложении мне чувствительны, но ощутителен и не так уже далекий образ бледной смерти, тайно советующий не откладывать печатанье этой книжки на неопределенные и необеспеченные сроки».

Предисловие было написано в Светлое Воскресение 1900 года, а 31 июля того же года Соловьев умер.

В первом разговоре генерал защищает войну против толстовцев. Автор резюмирует в резких чертах и образах ту апологию войны, которую он уже излагал в «Оправдании добра». Бывает хорошая война и дурной мир: русские святые были или монахами, или воинами-князьями. Наш нравственный долг — помогать тому, кого обижают. Да, все люди — братья, но важно знать, кто Каин и кто Авель. «И если на моих глазах брат мой Каин дерет шкуру с брата моего Авеля, и я, именно по равнодушию к братьям, дам брату Каину такую затрещину, чтоб ему больше не до озорства было, — вы вдруг меня укоряете, что я про братство забыл».

Наивно полагать, что «нравственное воздействие» какого-нибудь толстовца удержит башибузуков от поджаривания на огне армян.

Во втором разговоре выступает политик и рассказывает об афонском страннике Варсонофии, который учил не думать о грехах, чтобы не быть злопамятным. «Грех один только и есть смертный — уныние, потому что из него рождается отчаянье, а отчаянье это уже собственно и не грех, а сама смерть духовная». В поучениях странника Варсонофия отражается последний, заключительный момент морального сознания Соловьева: беспредельная свобода духовной жизни, отрицание всякого законничества и принуждения, дерзновенный анархизм религиозного чувства. «В день 539 раз грехи, да главное — не кайся... Придут мысли о грехах, так ты в театр, что ли, сходи, или в компанию какую-нибудь веселую, или листы какие-нибудь скоморошеские почитай...»

«Будь в вере тверд: уж очень приятно умному человеку с Богом жить... ежедневно молись, постись для здоровья желудка... встречным бедным давай не считая». Варсонофий повествует о двух отшельниках, отправившихся в Александрию и проводших ночь «в блудилище». На обратном пути один каялся, а другой псалмы. Кончилось тем, что первый, поверив в свой грех, впал в еще горшие грехи и умер без покаяния, а второй прославился великими чудесами.

Как ни сомнительно учение странника и как ни соблазнительна его повесть, мысль, вложенная в них, глубока и чиста. В царстве благодати один закон — любовь к Богу и спасающая вера в Его милосердие. Перед лицом этой любви и этой веры бухгалтерия грехов и упражнения в покаянии кажутся жалкими человеческими домыслами. Недаром в конце жизни Соловьев говорил, что он «больше протестант, чем католик»; его дерзновенное утверждение: «Греши постоянно и не кайся никогда» — заставляет вспомнить слова Лютера: «*Pecca fortiter*»¹⁶³. У Соловьева ослабела вера в «богочеловеческий процесс», в смысл истории и человеческого творчества и параллельно с этим, как и у Лютера, укрепилось упование на Христа Воскресшего. Вера в воскресение стала в центре его религиозного сознания, вот почему он отдал свои последние силы на борьбу с Толстым, отрицавшим воскресение.

Политик определяет культуру как вежливость. «Это есть тот минимум рассудительности и нравственности, благодаря которому люди могут жить по-человечески». Существует единая культура — европейская, она должна распространиться на весь мир и совпасть с понятием человечества.

Россия — только великая окраина Европы, и все русские — «бесповоротные европейцы». Такова трезвая и ограниченная «философия» политика-гуманиста. В ней нетрудно узнать пройденный этап мысли Соловьева: это его «великая идея» вселенскости и все-человечества, но секуляризованная и упрощенная.

Решительный бой с толстовством начинается в третьем разговоре. Г. З заявляет, что ускоренный прогресс есть симптом конца. «Первое место Антихристу...» Князь (в котором нетрудно узнать *графа* Толстого) не выдерживает и удаляется. Генерал не думает, что князь сам Антихрист, но что он «все-таки на этой линии».

Толстой учит, что добро естественным путем победит зло. Но если смерть не может быть уничтожена, то всякая прогрессивная, культурная деятельность бесполезна и бессмысленна. Если зло можно победить непотворением, то почему сам Христос не мог победить зло в душе Иуды и первосвященников? Как объяс-

нить неудачу дела Христова в истории? Как можно после этого надеяться, что это дело удастся толстовцам? Князь толкует притчу о виноградарях: все зло оттого, что мы забыли о пославшем нас хозяине. Дипломат возражает: по какому праву вы думаете, что вы посланы? Г. Z упрекает князя в законничестве: для него Бог — расчетливый хозяин. «Я вам на это вот что скажу: пока ваш хозяин только налагает на вас обязанности и требует от вас исполнения своей воли, то я не вижу, как вы мне докажете, что это настоящий хозяин, а не самозванец... Хозяин, живущий где-то за границей инкогнито, — есть не иной кто, *как бог века сего*». Единственное добро в действиях самого Хозяина есть *воскресение*. И оно же единственная победа над смертью. В этом вся сила и все дело Христа, в этом Его действительная любовь к нам и наша к нему».

Почему князь просто не признает, что ему до христианской веры нет дела? «Мне трудно вам передать, — говорит г. Z, — с каким особым удовольствием я гляжу на явного врага христианства. Чуть не во всяком из них я готов видеть будущего апостола Павла, тогда как в иных ревнителях христианства поневоле мерещится Иуда-предатель». В полемике с Толстым выясняются основные линии новой эсхатологической историософии Соловьева. Мировой процесс не идет по восходящей линии накопления добра: зло не есть недостаток, исчезающий от непротивления. Естественными силами человечество не может его преодолеть. Если даже уничтожено зло нравственное — социальное, останется зло онтологическое — смерть. Натуралистическая теория прогресса противоречит Евангелию: Христос принес в мир не мир, но меч. Он пришел не уничтожить зло, а отделить его от добра. Окончательное преодоление зла — в Его воскресении. Царствие Божие наступит после мировой катастрофы; смысл истории в Апокалипсисе.

Обличая Толстого, Соловьев казнит и самого себя. В искривленном зеркале толстовства он увидел свое прежнее лицо: и в его философской мысли таились соблазны натурализма, эволюционизма и гуманизма, которые Толстой, со свойственной ему прямолинейностью, довел до крайнего выражения. Вот почему тон «Трех разговоров» возвышается до трагического пафоса: Соловьев не мог умереть, не написав их. Это — его покаяние.

* * *

В заключение г. Z предлагает прочесть «краткую повесть об Антихристе», сочиненную его бывшим товарищем по академии, покойным монахом Пансофием.

В конце XIX века в Японии развивается движение панмонголизма: японцы завоевывают сперва Китай, потом Россию, наконец всю Европу. Монгольское иго продолжается полвека, происходит революция, и всеевропейские армии изгоняют монголов. «Европа в XXI веке представляет союз более или менее демократических государств, европейские соединенные штаты, падает теоретический материализм, исчезает безотчетная вера». В это время появляется великий реформатор. Ему 33 года, он спиритуалист, аскет и филантроп; верит в Бога, но любит одного себя; хочет облагодетельствовать человечество и ждет знака свыше. Но знак не приходит. Мысль, что он не Мессия, что Христос «настоящий, первый и единственный», приводит его в отчаяние. Он собирается броситься в пропасть, но какая-то сила его удерживает; светящаяся фосфорическим туманным сиянием фигура говорит ему: «Зачем ты не взыскал меня? Зачем почитал того дурного и отца его? Я бог и отец твой. А тот нищий, распятый — мне и тебе чужой... Делай твое дело во имя *твое* и мое... Прими дух мой».

Восторг и ликование наполняют душу избранника. Он пишет гениальную книгу «Открытый путь к вселенскому миру и благоденствию». Образуется союз европейских государств под управлением франкмасонов. «Грядущий человек» выбран в президенты европейских соединенных штатов; основывается всемирная монархия, и его провозглашают римским императором. Его манифест: «Народы земли! Я обещал вам мир, и я дал вам его. Но мир красен только благоденствием. Кому при мире грозят бедствия нищеты, тому и мир не в радость. Придите же ко мне все голодные и холодные, чтобы я насытил и согрел вас». Устанавливается *равенство всеобщей сытости*. Но человечество жаждет не только хлеба, но и зрелищ. Чудодей Аполлоний низводит огонь с неба и морочит людей колдовскими проделками.

К этому времени христиан остается не более 45 миллионов. «Папство уже давно было изгнано из Рима и после многих скитаний нашло приют в Петербурге под условием воздерживаться от пропаганды. Англиканская церковь в значительной своей части соединилась с католичеством. В протестантстве остались лишь искренно верующие и ученые люди. Православие, потеряв миллионы своих мнимых членов, соединилось со староверами и сектантами».

На четвертый год император созывает вселенский собор в Иерусалиме. На нем присутствуют: представитель католичества папа Петр II, неофициальный вождь православия старец Иоанн и глава протестантства, ученейший немецкий теолог профессор

Эрнст Паули. Император желает осчастливить всех христиан. Католикам, ценящим авторитет, он восстановит на престоле папу, если тот признает его своим единственным покровителем; православным, любящим священное предание, построит всемирный музей христианской археологии; для протестантов создает мировой институт свободного исследования Священного писания. Большинство христиан принимают эти предложения и восходят на трибуну, на которой восседает император. На своих местах остаются папа Петр II, старец Иоанн и Эрнст Паули, окруженные небольшой группой верных. Встает старец Иоанн и говорит, что христиане готовы признать императора своим вождем, если он исповедует Иисуса Христа, Сына Божия. Император скрежещет зубами, а Аполлоний убивает старца молнией. Тогда папа обличает Антихриста и анафематствует его. Аполлоний его убивает. Эрнст Паули пишет протокол Собора и зовет христиан в пустыню — ждать пришествия Христа. Император велит выставить тела папы и старца у входа в Гроб Господень. Колдун Аполлоний, провозглашенный папой, соединяет Церкви. Христиане готовятся похоронить убитых, но те воскресают.

«И заговорил оживший старец Иоанн: “Ну вот, детушки, мы и не расстались. И вот, что я скажу вам теперь: пора исполнить последнюю молитву Христову об учениках Его, чтобы они были едино, как Он сам с Отцом — едино. Так для этого единства Христова почтим, детушки, возлюбленного брата нашего Петра. Пускай напоследях пасет овец Христовых. Так-то, брат!” И он обнял Петра. Тут подошел профессор Паули: «*Tu es Petrus!*»¹⁶⁴ — обратился он к папе, — *jetzt ist es ja gründlich erwiesen und ausser jedem Zweifel gesetzt*»¹⁶⁵. И он крепко сжал его руку своею правою, а левую отдал старцу Иоанну со словами: «*So also, Väterchen, nun sind wir ja Eins in Christo*»¹⁶⁶. В это время явилось знамение: жена, облеченная в солнце, и христиане пошли за ним...»

Отец Пансофий умер, не дописав своей повести. Но вот краткий конец ее: император объявил себя воплощением верховного божества. Евреи сначала поверили, что он Мессия, но, убедившись в обмане, восстали. «Все еврейство встало как один человек, и враги его увидели с изумлением, что душа Израиля в глубине своей живет не расчетами и вожделениями Маммона, а силою сердечного чувства — упованием и гневом своей вековой мессианской веры».

Антихрист и его полчища погибают в огненном озере. Евреи и христиане, подходя к Иерусалиму, видят «Христа, сходящего к ним в царском одеянии и с язвами от гвоздей на распростер-

тых руках». Все убитые оживают и воцаряются с Христом на тысячу лет.

Г. Z кончил. Политик спрашивает его: «И вы думаете, что эта развязка так близка?» Г. Z отвечает: «Ну, еще много будет болтовни и суетни на сцене, но драма-то уже давно написана вся до конца, и ни зрителям, ни актерам ничего в ней переменять не позволено...» *

* * *

Царство Антихриста есть диавольская пародия на вселенскую теократию. Это — теократия без Христа. Почему же Соловьев не противопоставляет ложной теократии теократию истинную, которую он когда-то проповедовал? Не потому ли, что всякая теократия, всякая мечта о земном царстве Христа раскрылась теперь перед ним как ложь? Не преемник апостола Петра, а Антихрист стоит во главе всемирной монархии; в его манифесте нетрудно узнать всю старую схему соловьевской христианской политики (союз власти первосвященнической и царской, разрешение религиозного вопроса, широкие и гуманные социальные реформы, вплоть до любовного попечения о животных). Но объединение человечества совершается *против Христа*, и церкви соединяет чародей Аполлоний; социальные реформы приводят к равенству всеобщей сытости, государство не входит в Христово царство, а все целиком предается Антихристу. Христиане не только не получают всемирного могущества: их маленькая горсточка гонима и преследуема. Немногие верные отрешаются от государства и мирской жизни, очищаются от соблазнов, таящихся в каждом вероисповедании (приверженность авторитету у католиков, «археологическая» традиционность православия, рациональный критицизм протестантства). Соединение церквей *свершается на грани истории*, перед самым Вторым Пришествием; в нем — не начало земного царства Христа, а преддверие царства хилиастического.

Теократическая троица, первосвященник, царь и пророк, представлена Антихристом и слугой его Апполлоном. Последний

* Г. Федотов в своей статье «Об Антихристовом добре» (Путь. 1926. № 5) подчеркивает модернизм соловьевской концепции Антихриста. Интересное толкование «Повести об Антихристе» в духе философии Льва Шестова дает Ф. Либ: *Lieb Fritz. Der Geist der Zeit als Antichrist: (Spekulation und Offenbarung bei Wl. Solovjev) // Orient und Occident. 16. Heft.*

папа Петр II изгнан из Рима, лишен власти и внешнего авторитета, живет в Петербурге «под условием воздерживаться от пропаганды». Папа в Петербурге, — вот все, что осталось от русского мессианства, «самодержавного царя, протягивающего руку гонимому первосвященнику».

«Теократия оказывается не преддверием рая, а широкими воротами ада, — пишет кн. Е. Трубецкой. — Антихристова теократия тонет в огненном озере, а вместе с ней проваливается ложная мечта о мирском владычестве Христа».

В «Повести об Антихристе» мысль Соловьева окончательно освобождается от романтики славянофильства и утопий гуманизма. Его историософия приближается к идеям Достоевского, выраженным в «Братьях Карамазовых» (учение старца Зосимы) и особенно в «Легенде о Великом инквизиторе».

Но неужели перед смертью Соловьев действительно почувствовал, что лучшие годы своей жизни он служил не делу Христа, а делу Антихриста? Неужели в образе «грядущего человека», гениального писателя, реформатора, аскета и филантропа он узнал свое собственное лицо? Правда, многие черты этого образа можно отнести к Толстому, Бог которого, по словам Соловьева, есть «бог века сего».

И тем и менее, читая «Повесть», невозможно отогнать от себя страшную мысль, что автор говорит о себе, разоблачает *свою ложь*. В облике Соловьева есть темная глубина: все в нем двоится, и яркий свет отбрасывает мрачные тени. Он унес с собой тайну, о которой смутно догадывались лишь немногие, самые проникательные его друзья. И отсюда — двойственное их отношение к нему: притягивание и отталкивание, любовь — ненависть. Особенно остро чувствовал «темный лик» Соловьева В. В. Розанов*, давший ему следующую беспощадную характеристику: «Соловьев был весь блестящий, холодный, стальной. Может быть, было в нем “Божественное”, как он претендовал, или, по моему определению, глубоко демоническое, именно преисподнее: но ничего или очень мало было в нем человеческого. “Сына человеческого” (по-житейскому) в нем даже не начиналось, — и казалось, сюда относится вечное оплакивание им себя, что я в нем непрерывно чувствовал во время личного знакомства. Соловьев был странный, многоодаренный и *страшный* человек. Несомненно, что он себя считал и *чувствовал* выше всех окружающих людей, выше России и Церкви, всех тех “странников” и “мудрецов Пан-софов”, которых выводил в “Антихристе” и которыми стучал как костяш-

* Розанов В. Литературные изгнанники. Т. 1. СПб., 1913.

ками на шахматной доске своей литературы... Он, собственно, не был “запамятовавший, где я живу”, философ, а был человек, которому не о чем было поговорить, который “говорил только с Богом”. Тут он невольно пошатнулся, т. е. натура пошатнула его в сторону “самосознания в себе пророка”, которое не было ни деланным, ни притворным».

Розанов смотрит в микроскоп, и черта, верно им подмеченная, разрастается чудовищно. Он видел в Соловьеве и другое: светлое лицо праведника и подвижника — и с умилением писал о нем. Но «черточка», схваченная необыкновенным глазом Розанова, действительно была в Соловьеве. Перед смертью, когда он, по выражению того же Розанова, «стал быстро сбрасывать все свои мантии», ему была нужна «всемирная» исповедь. Нет в русской литературе книги трагичнее «Трех разговоров».

Своему последнему произведению Соловьев придавал глубокий мистический смысл. Изобличая Антихриста, срывая с него «маску добра», он знал, что вступает в последний смертельный бой. Величко рассказывает, как однажды Соловьев, прочитавши приятелю свою «Повесть», внезапно его спросил:

- А как Вы думаете, что будет мне за это?
- От кого?
- Да от заинтересованного лица. *От самого!*
- Ну, это еще не так скоро.
- Скорее, чем Вы думаете!

Через несколько месяцев он умер. Андрей Белый * присутствовал на чтении Соловьева в доме его брата Михаила Сергеевича весной 1900 года. «Помню, я получил записку от покойной О. М. Соловьевой¹⁶⁷. Она извещала, что Владимир Сергеевич читает им свой “Третий разговор”, и просила меня прийти. Прихожу; Соловьев сидит грустный, усталый, с той печатью мертвенности и жуткого величия, которая почил на нем в последние месяцы: точно он увидел то, чего никто не видел, и не может найти слов, чтобы передать свое знание... Соловьев начал читать. При слове: “Иоанн поднялся, как белая свеча”, — он тоже поднялся, как бы вытянулся на кресле. Кажется, в окне мерцали зарницы. Лицо Соловьева трепетало в зарницах вдохновения». И Андрей Белый набрасывает предсмертный образ Соловьева: «Громадные очарованные глаза, серые, сутулая его спина, бессильные руки, длинные; со взбитыми серыми космами прекрасная его голова, большой, словно разорванный, рот с выпяченной губой, морщины, — сколько было в облике Соловьева неверного и двойствен-

* Белый Андрей. Арабески. М., 1911.

ного... Гигант и бессильные руки, длинные ноги, маленькое туловище, одухотворенные глаза и чувственный рот, глаголы пророческие... Бессильный ребенок, обросший львиными космами, лукавый черт, смущающий беседу своим убийственным смешком: “хе-хе” и — заря, заря!..»

18 СМЕРТЬ

В марте 1900 года Соловьев получил письмо от незнакомой ему женщины — Анны Николаевны Шмидт. Она жила в Нижнем Новгороде, учительствовала и сотрудничала в местной газете. Старая дева, скромная труженица, содержавшая на свои скудные заработки мать, провинциальная журналистка, на вид ничем не замечательная, она тайно от всех писала мистические трактаты о Церкви и Третьем Завете. Они еще недостаточно изучены и оценены, но всякий, кто их читал, не забудет потрясающей силы писаний. Явное безумие соединяется в них с мистическими созерцаниями такой глубины и дерзновенности, перед которыми откровения мадам Гийон или Катерины Эммерих¹⁶⁸ кажутся тусклыми и незначительными. О. Сергей Булгаков*, написавший предисловие к изданию книги «Из рукописей А. Н. Шмидт», признает сочинение ее «первостепенной важности мистическим трактатом, который смело выдержит сравнение с произведениями первоклассных европейских мистиков, каковы Я. Бёме, Пордэж, Сведенборг и другие».

Познакомившись с учением А. Шмидт о лично-соборной природе Церкви, Соловьев признал его «истиной величайшей важности» и писал автору: «Думаю, на основании многих данных, что широкое раскрытие этой истины в сознании и жизни христианства и всего человечества предстоит в ближайшем будущем, а Ваше появление кажется мне очень важным и знаменательным».

А. Шмидт настаивает на свидании с Соловьевым и посылает ему свою исповедь. Из нее он узнает, что она почитает себя воплощением Софии, а его — воплощением Христа. Испуганный «священным безумием» своей корреспондентки, он пишет ей жестокое письмо. «Исповедь Ваша возбуждает величайшую жалость и скорбно ходатайствует о Вас перед Всевышним. Хорошо,

* *Булгаков Сергей*. Владимир Соловьев и Анна Шмидт // Тихие думы. М., 1918.

что Вы раз это написали, но прошу Вас больше к этому предмету не возвращаться. Уезжая сегодня в Москву, я сожгу фактическую исповедь в обоих изложениях, не только ради предосторожностей, но в знак того, что все это только пепел... Пожалуйста, ни с кем обо мне не разговаривайте, а лучше все свободные минуты молитесь Богу».

И все же через несколько дней он едет на свидание с ней во Владимир. А. Шмидт, очевидно, почувствовала, что личная встреча горько разочаровала Соловьева, и написала ему о своей тревоге. Он ей ответил: «Никакого неблагоприятного впечатления свидание с Вами не оставило, одним словом, все по-прежнему».

За месяц до смерти философ пишет ей в последний раз. Продолжая, по-видимому, беседу, которую они вели при свидании, он советует ей не доверять своим «видениям». «Очень рад, что Вы сами сомневаетесь в объективном значении известных видений и внушений или сообщений, которых Вы не знаете. Настаивать еще на их сомнительности было бы с моей стороны невеликодушно». Соловьев не признал в Анне Шмидт воплощения своей Небесной подруги и видения ее счел «прелестью».

Но появление этой загадочной, полубезумной, полугениальной женщины, этой мистической возлюбленной, вдруг возникшей из небытия в последние дни его жизни, этого «ангела смерти», провожавшего его гроб до могилы, было не случайно. От Анны Шмидт Соловьев не мог отделаться выговорами и призывами к благоразумию: она была порождением его собственной «тайной жизни», его странного романа с Подругой Вечной.

Ни у одного мистика не было таких конкретных, *личных отношений* с Вечной Женственностью, как у Соловьева. «Подруга» назначала ему свидания, писала записки, гневалась на «неверного друга», покидала его и вновь возвращалась. Он не только почитал, но и любил ее и был уверен, что любим ею. В его природе благоговение неразрывно сплеталось с эросом, любовь земная всегда предшествовала любви небесной. Его мистический опыт таил в себе опасность срыва и искажения. Накануне смерти ждало его последнее и самое страшное искушение: он чаял откровения души мира, Афродиты Небесной, а перед ним предстал ее жуткий двойник — Анна Шмидт.

Андрей Белый * видел Анну Шмидт в 1901 году у брата покойного Соловьева, Михаила Сергеевича. Его описание, несомненно, пристрастно и враждебно, но какая-то доля правды за ним

* *Белый Андрей*. Начало века. М.; Л., 1933.

скрывается. Вот что он пишет: «Помню: раздался тихий звонок; скоро серо-орехового цвета дверная портьера раздвинулась, и в комнате оказалась — девочка не девочка, карлица не карлица; личико старенькое, как печеное яблоко, а явная ирония, даже шаловливый задор, выступавший на личике, превращал эту “существицу” в девочку: что-то от шаловливой институтки. Она была очень худа, мала ростом, быстра; и не вошла, а быстро-быстро просеменила навстречу к нам, окидывая меня не то шутилым, не то насмешливым взглядом, как бы говорящим: “Что, пришел позабавиться над душой мира? Ну, очень забавна я?” И стало неприятно: чем-то от бредовых детских кошмаров повеяло на меня, и я разглядывал ее во все глаза: да, да, что-то весьма неприятное в маленьком лобике, в сухеньких, очень маленьких губках, в сереньких глазках; у нее были серые от седины волосы и дырявое платьице: совсем сологубовская “недотыкомка серая”...»

Афродита Небесная — и «недотыкомка серая»; какой диавольской насмешкой отомстило Соловьеву «заинтересованное лицо», разоблаченное им в «Повести об Антихристе»!

«Учение А. Шмидт, — пишет о. Сергей Булгаков, — является острым реактивом, разлагающим пленку уклончивости и позволяющим читать между строк».

Мистический опыт Соловьева иногда подменялся оккультным, и в «злом пламени земного огня» его обманывали «лживые подобия».

В апреле 1900 года, т. е. в том месяце, когда он единственный раз видел Анну Шмидт во Владимире, он пишет предисловие к третьему изданию своих стихотворений. В нем мы читаем: «Но чем совершеннее и ближе откровение настоящей красоты, одевающей Божество и Его силою ведущей нас к избавлению от страдания и смерти, тем тоньше черта, отделяющая ее от лживого ее подобия, — от той обманчивой и бессильной красоты, которая только увековечивает царство страданий и смерти. Жена, облеченная в солнце, уже мучается родами, и вот древний змий собирает против нее свои последние силы и хочет потопить ее в ядовитых потоках благовидной лжи, правдоподобных обманов...» *

Встреча с Анной Шмидт была для Соловьева проверкой всего его мистического опыта. Перед смертью его почитание Вечной

* Судьба А. Блока таинственно связана с судьбой его учителя Соловьева. И Блок суждено было пережить «страшные» изменения образа Прекрасной Дамы, превращения ее в «Незнакомку» и «Снежную маску».

Женственности должно было освободиться от всякой двусмысленности, от всех эротических приражений. Он прошел через *очищение*, но вера его в «Жену, облеченную в солнце» не поколебалась. Это было его приурочивание к концу.

* * *

Последнее лето философ проводит в Пустыньке, прощается с берегами «дикой Тосны», видевшими его любовь; со «священным камнем», у которого посещали его видения, с любимыми белыми колокольчиками в саду. Он предчувствует смерть и посвящает свое последнее стихотворение белым цветам — ангелам смерти.

Вновь белые колокольчики

В грозные, знойные
Летние дни —
Белые, стройные
Те же они.

Призраки вешние
Пусть сожжены, —
Здесь вы, нездешние,
Верные сны.

Зло пережитое
Тонет в крови, —
Всходит омытое
Солнце любви.

Замыслы смелые
В сердце больном, —
Ангелы белые
Встали кругом.

Стройно-воздушные
Те же они —
В знойные, душевные,
Грозные дни.

«Еще недавно, — пишет Андрей Белый, — смотрел я на белые колокольчики, пересаженные из Пустыньки, о которых сказал он: “Сколько их расцвело недавно”. Еще недавно надевал я в дождливые дни его необъятную непроницаемую крылатку. И дорогой образ в крылатке, на заре, склоненный над белыми колокольчиками, так отчетливо возник — образ вечного странника, уходящего прочь от ветхой земли в *град новый*».

О предсмертных днях Соловьева сохранилось много воспоминаний. Л. Слонимский* рассказывает о последнем посещении Соловьевым редакции «Вестника Европы» 5 июля. «Ничего не предвещало скорого конца: он имел такой же вид, как всегда, — бодрый и светлый духом, хотя и утомленный и слабый телом. Он говорил о статьях, которые предполагал доставить для журнала к осени. Прочитал нам заметку о китайских делах, которую думал поместить в одной газете, и после краткого разговора решил дополнить и развить заключительную часть этой заметки, чтобы напечатать ее в «Вестнике Европы»; написанное им ранее стихотворение «Дракон», посвященное «Зигфриду» (т. е. Вильгельму II), он нашел уже несвоевременным ввиду несколько изменившихся обстоятельств».

14 июля Соловьев приезжает в Москву и внезапно заболевает. Узнав в редакции «Вопросов философии и психологии», что родственник Трубецких, председатель Московского окружного суда Н. Давыдов, собирается в имение кн. П. Н. Трубецкого «Узкое», он решает ехать с ним. «Вернувшись домой из окружного суда в третьем часу (15 июля), — пишет Н. Давыдов, — я заметил, что в передней на вешалке кроме моего пальто висит чья-то «разлетайка»».

Соловьев лежал в кабинете на диване, повернувшись лицом к стенке... Он очень изменился, что зависело главным образом от того, что он остриг обычно длинные свои волосы, а кроме того, был смертельно бледен. На вопрос, что с ним, он ответил, что сейчас чувствует морскую болезнь и что ему надо немного отлежаться». Давыдов пошел позвонить по телефону Трубецким, а когда вернулся, то увидел, что больной «пил глотками содовую воду, иногда словно забывался, но через мгновение уже болтал; сообщил между прочим, что получил в редакции «Вопросов» аванс, чему чрезвычайно рад, так как это компенсирует полученную в день именин болезнь; это он даже передал в форме четверостишия... Время шло, а Вл. С. просил дать ему еще полежать; уже было больше пяти часов, и я предложил ему, отложив поездку в «Узкое», остаться и переночевать у меня, а к Трубецкому отправиться завтра. Но он ни за что не соглашался и наконец объявил, что так как, по-видимому, я не хочу ехать, то он отправится один. При этом Вл. С. действительно встал и отправился, плохо стоя на ногах от слабости, в переднюю. Оставить его силой у себя я не решился и предпочел везти Вл. С. в «Узкое». Других вещей, кроме связки книг, с ним не было, и, остановил-

* Слонимский Л. Вл. С. Соловьев // Вестник Европы. 1900. Сент.

ся ли он где-либо в Москве, я от него добиться не мог; он повторял упорно только одно: “Я должен нынче быть у Трубецкого”. Я нанял лихача, и не без труда помог Вл. С. влезть в пролетку, которую пришлось закрыть, так как начинал накрапывать дождь. Когда мы вышли на крыльцо, к Вл. С. подбежал нищий и бросился целовать его руки, приговаривая: “Ангел, Владимир Сергеевич, именинник”. Соловьев вынул из кармана не глядя и подал нищему какой-то скомканный кредитный билет... В одном месте дороги Вл. С. попросил остановиться, чтобы немного отдохнуть, добавив: “А то, пожалуй, сейчас умру”. И это казалось, судя по его слабости, совершенно возможным. Но вскоре он попросил ехать дальше, сказав, что чувствует то самое, что должен ощущать воробей, когда его ощипывают, и прибавил: “С Вами этого, конечно, не могло случиться”. Вообще, несмотря на слабость и страдания, в промежутках поднимал самого себя на смех и извинялся, что так мучает меня своим нездоровьем. Приехали мы в “Узкое” поздно. Соловьев был так слаб, что его пришлось из пролетки вынести на руках. Его тотчас же положили в кабинете на диване, и он, очень довольный, что добрался все-таки до Трубецких, просил, чтобы ему дали покойно полежать... На следующее утро он сообщил Трубецкому, что ночью видел во сне, но совершенно явственно, Лихунчана¹⁶⁹, который на древнегреческом языке сказал ему, что он вскоре умрет. В это утро он не был в забытии, даже весело острил, но память ему уже изменяла, и он, например, не мог вспомнить, где он, приехав в Москву, оставил свои вещи, оказавшиеся потом в “Славянском Базаре”... Провожая меня, Прасковья Владимировна Трубецкая сказала, что она уверена, вопреки мнению Сергея Николаевича (Трубецкого), что Соловьев не поправится; при этом она вспомнила, что как-то, расставаясь с Вл. С., она сказала ему: “Прощайте”, но он поправил ее, сказав: “До свиданья, а не прощайте. Мы, наверно, еще увидимся, я перед смертью приеду к Вам”.

Кн. С. Н. Трубецкой, гостивший в это время в «Узком», присутствовал при кончине Соловьева*. Вызванные 16 июля врачи нашли у больного «полнейшее истощение, упадок питания, сильнейший склероз артерий, цирроз почек и уремию». Сначала были боли, потом утихли; Соловьев находился в полузабытии и часто бредил. «Первую неделю он еще разговаривал, — пишет С. Н. Трубецкой, — просил читать ему телеграммы в газетах, думал о китайском движении, говорил: “Мое отношение такое, что

* Трубецкой С. Н. Смерть В. С. Соловьева (31 июля 1900 г.) // Вестник Европы. 1900. Сент.

все кончено; та магистраль всеобщей истории, которая делилась на древнюю, среднюю и новую, пришла к концу. Профессора всеобщей истории упраздняются; их предмет теряет свое жизненное значение для настоящего; о войне алой и белой розы больше говорить нельзя будет. Кончено все”.

На второй же день он стал говорить о смерти, а 17-го объявил, что хочет исповедоваться и причаститься, “только не запасными дарами, как умирающий, а завтра после обедни”. Потом он долго молился и постоянно спрашивал, скоро ли наступит утро и когда придет священник».

Мы уже приводили раньше рассказ священника С. А. Беляева об исповеди Соловьева. «После исповеди, — вспоминает о. Беляев, — я спросил Вл. С., не припомнит ли он еще каких-нибудь грехов? “Я подумаю и постараюсь припомнить”, — отвечал он. Я предложил ему подумать, а сам стал было собираться идти служить литургию, но он остановил меня и попросил прочитать ему разрешительную молитву, так как боялся впасть в беспамятство. Я прочитал над ним разрешительную молитву и пошел в церковь служить обедню. Отслужив обедню, я с обеденными Св. Дарами пришел снова к Влад. Серг. и спросил его, не припомнил ли он за собой еще какого-либо греха? “Нет, батюшка, — ответил он. — Я молился о своих грехах и просил у Бога прощения в них, но нового ничего не припомнил”. Тогда я причастил его Св. Тайн. При этом присутствовали князь Сергей Николаевич и супруга его, Прасковья Владимировна».

Возвращаемся к рассказу кн. С. Трубецкого. После причастия силы Соловьева стали слабеть. «Он меньше говорил, да и окружающие старались говорить с ним возможно меньше; продолжал молиться то вслух, читая псалмы и церковные молитвы, то тихо, осеняя себя крестом. Молился он и в сознании, и в полузабытьи. Раз он сказал моей жене: “Мешайте мне засыпать, заставляйте меня молиться за еврейский народ, мне надо за него молиться”, — и стал громко читать псалом по-еврейски. Смерти он не боялся, он боялся, что ему придется “влачить существование”, и молился, чтобы Бог послал ему скорую смерть. 24 июля приехали мать и сестра. Он узнал их и обрадовался их приезду, но силы его падали с каждым днем. 27-го ему стало как бы легче, он меньше бредил, легче поворачивался, с меньшим трудом отвечал на вопросы; но температура начала быстро повышаться; 30-го появились отечные хрипы, а 31-го в 9 1/2 ч. вечера он тихо скончался... “Должно быть, я слишком много зараз работал”, — говорил он в последние дни... “Трудна работа Господня”, — произнес он на смертном одре.

Его похоронили в четверг 3 августа рядом с могилой его отца, Сергея Михайловича; он говорил мне во время болезни, что приехал в Москву главным образом “к своим покойникам”, чтобы навестить могилу отца и деда. Его отпевали в Университетской церкви, где еще в раннем детстве ему явилось первое его видение».

Над могилой краткое слово сказал профессор В. Н. Герье: «Радость и надежду ты всюду вносил с собой, дорогой Владимир Сергеевич... Светлое видение, которым ты жил и утешался, было не напрасно» *.

На могиле Соловьева в Новодевичьем монастыре неведомой рукой поставлены две иконы: одна — икона Воскресения из Старого Иерусалима с греческою надписью «Христос воскрес из мертвых», другая — икона Остробрамской Божьей Матери с латинской надписью: «In memoria aeterna erit iustus»¹⁷⁰.



* Сперанский В. Четверть века назад: Памяти Вл. Соловьева // Путь. 1926. № 2. Янв.

ПРИМЕЧАНИЯ

Антология посвящена жизни и личности Вл. С. Соловьева. Собранные тексты печатаются с учетом их последних републикаций. В примечаниях использованы комментарии Д. В. Базановой, Р. А. Гальцевой, Н. В. Котрелёва, С. М. Лукьянова, З. Г. Минц, А. Н. Николюкина, А. А. Носова, Е. Павловой, И. Б. Роднянской, В. Г. Сукача к соответствующим публикациям и републикациям.

I

Вл. СОЛОВЬЕВ О СЕБЕ И ПРОТИВ СЕБЯ

Вл. Соловьев ИЗ ПИСЕМ

Из письма к Е. В. Селевиной

Печатается по: Письма Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., 1911. Т. III. С. 73—75.

Селевина Екатерина Владимировна (1855—?) — урожденная Романова, двоюродная сестра Вл. С. Соловьева по матери. Вл. С. Соловьев в течение двух с лишком лет считал себя женихом Е. В. Селевиной. В 1875 г. Е. В. отказалась от мысли о браке с Соловьевым.

¹ *Бюхнер* Фридрих Карл Христиан Людвиг (1824—1899) — немецкий философ, один из главных представителей вульгарного материализма.

² *Фохт* Карл (1817—1895) — немецкий естествоиспытатель, один из главных представителей вульгарного материализма.

³ «Уже не по твоим речам веруем, но сами поняли и узнали, что он истинный спаситель мира, Христос». — Иоан. 4, 42.

Из писем к Е. В. Селевиной

Печатается по: Письма Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., 1911. Т. III. С. 81, 82, 87—88, 94.

Из письма к Е. М. Поливановой

Текст (ОРГБЛ. Ф. 700. К. 2. Л. 58) печатается по: *Лукьянов С. М.* О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы: Материалы к биографии. М., 1990. Кн. III. Вып. 2. Примеч. 28. С. 338.

Поливанова Елизавета Михайловна (1854—?) — дочь М. А. Поливанова и А. А. Поливановой (урожд. Протопоповой), слушательница Высших женских курсов В. И. Герье, в которую Вл. Соловьев был влюблен.

Из письма В. П. Федорову

Печатается по: Письма Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., 1911. Т. III. С. 5.

Федоров В. П. — народный учитель, автор сочинения «Проект общества апологии христианства в России» (Балашов, 1892).

Из писем И. С. Аксакову

Печатается по: Письма Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., 1923. Т. IV. С. 18, 25. Датировано: октябрь 1883 г.

Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886) — писатель-славянофил, издатель, общественный деятель.

¹ ...*вся статья...* — «Великий спор и христианская политика». Впервые напечатана в газете «Русь» (1883. № 1—3, 14, 15, 18, 23).

² *Катков* Михаил Никифорович (1818—1887) — издатель, публицист и журналист.

Из письма к о. архимандриту
Антонию Вадковскому

Печатается по: Письма Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., 1911. Т. III. С. 187—188. Датировано: 8 апреля 1886 г. Письма Вл. Соловьева к архимандриту Антонию Вадковскому были отпечатаны отдельной брошюрой в Санкт-Петербурге в 1901 г.

Архимандрит Антоний (в миру Александр Васильевич Вадковский; 1846—1912) — русский церковный деятель, редактировал академический журнал «Православный собеседник», был инспектором Казанской, Московской и Санкт-Петербургской духовных академий. С 1887 г. — ректор Санкт-Петербургской духовной академии. В 1887 г. был рукоположен во епископа Выборгского, викария Санкт-Петербургской епархии, управлял в сане архиепископа Финляндской епархией. В 1898 г. был возведен в митрополиты и назначен митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, избран постоянным членом Святейшего синода, а в 1906 г. — его первенствующим членом. Член Государственного совета. Доктор церковной истории.

Из письма в «Церковный вестник»

Печатается по: Письма Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., 1911. Т. III. С. 192—194. Впервые: Церковный вестник. 1886. № 49.

Из писем брату М. С. Соловьеву

Печатается по: Письма Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., 1923. Т. IV. С. 97, 118. Письмо № 14 датировано 1886 г., письмо № 34 — 16/28 декабря 1888 г. (г. Вена).

Соловьев Михаил Сергеевич (1862—1903) — брат Вл. С. Соловьева, третий сын С. М. Соловьева, педагог, переводчик, редактор сочинений Вл. Соловьева.

Краткая автобиография

Печатается по: Письма Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., 1909. Т. II. С. 185—186.

Краткая автобиография Вл. С. Соловьева написана им в мае 1887 г. и отправлена Ф. Б. Гецу письмом.

Из писем к Ф. Б. Гецу

Печатается по: Письма Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., 1909. Т. II. С. 142, 150—151, 157. Письмо № 9 датировано декабрем 1886 г., письмо № 16 — 1887 г., письмо № 21 — 16—28 июля 1888 г. (Paris).

Гец Файвель Бенцелович (1850—?) — русско-еврейский писатель и публицист.

¹ *Обер-прокурор П-в...* — К. П. Победоносцев.

² *Штроссмайер* (Штросмайер) Иосип Юрай (1815—1905) — хорватский политический деятель, епископ Римско-католической церкви.

Из письма к о. Мартынову

Печатается по: Собрание сочинений В. С. Соловьева: Письма и приложение. Bruxelles, 1970. С. 274. Письмо датировано 7—19 авг. 1887 г.

Отец Мартынов — католический священник.

Из письма к матери

Печатается по: Письма Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., 1909. Т. II. С. 54. Письмо датировано 1887 г.

Соловьева (урожденная Романова) Поликсена Владимировна (?—1909) — мать Вл. С. Соловьева.

Из письма к Н. Н. Страхову

Печатается по: Письма Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., 1908. Т. I. С. 33—34.

Страхов Николай Николаевич (1828—1896) — писатель, философ, публицист, литературный критик, с которым Вл. Соловьев находился в полемике, а также в переписке.

Из «Альбома признаний» Т. Л. Сухотиной

Печатается по: Письма Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., 1923. Т. IV. С. 238—239. Примеч. Э. Л. Радлова: «Сообщено Г. П. Блоком. Альбом хранится в Толстовском музее в Москве. Копия с записки В. Соловьева снята с разрешения хранителя музея В. Ф. Булгакова. Текст вопросов отпечатан в альбоме типографским способом, и имеется отметка: “Дозволено цензурой 29 ноября 1888 г.” Следующая записка датирована 10 июля 1890 г. Этим определяется приблизительно время, когда внес свою запись В. Соловьев».

Сухотина-Толстая Татьяна Львовна (1864—1950) — дочь Л. Н. Толстого.

¹ ...с-м Астафьевым. — Астафьев Петр Евгеньевич (1846—1893) — философ, психолог, публицист, служил в Москве цензором, профессор филологии Ярославского Демидовского лицея.

² *Abusus non tollit usum.* — Факт злоупотребления не является доводом против использования (лат.).

³ Ашинов Н. А. — русский путешественник, предпринявший экспедицию в Абиссинию в 1880-х годах.

⁴ *Ваш любимый писатель (в прозе)?* — О литературных вкусах Вл. С. Соловьева: «Вл. Соловьев говорил брату Михаилу, что вполне искренно он любит только чисто лирическую поэзию, оставаясь равнодушным к эпосу, драме и искусствам изобразительным и пластическим. Таким образом, ему оставался чужда большая часть литературы греческой. Из греков он интимно любил только Платона и еще Аристофана, за остроумие. Больше он знал и ценил поэзию римскую как более лирическую. Здесь на первом месте стоит Катулл, которого Вл. Соловьев знал наизусть.

Когда Катулл мне наизусть
Твоими говорил устами, —

обращается к нему Фет при посвящении переводов Катулла. Затем, кроме сатириков, Вл. Соловьев хорошо знал, любил и переводил Вергилия. Совершенно исключительная была его любовь к Библии и еврейской лирике. Из поэтов Нового времени он любил опять-таки тех, кто наиболее приближается к типу чистых лириков: Альфреда Мюссе, Гейне, Пушкина, Жуковского, Фета, Алексея Толстого, Мицкевича. <...> Любимым произведением

Вл. Соловьева в мировой литературе была сказка Гофмана “Золотой горшок”, переведенная им на русский язык. Натурализма в литературе он просто не выносил и потому отрицал Толстого не только как мыслителя, что часто бывает, но, что бывает весьма редко, и как художника. По поводу “Войны и мира” он говорил: “Действующие лица там говорят как люди нынешнего времени”. Достоевского он почитал более как религиозного мыслителя. <...> Но более всех русских прозаиков любил он Гоголя, соединившего в себе черты обоих любимцев Вл. Соловьева — Гофмана и Аристофана» (Соловьев С. М. Биография Владимира Сергеевича Соловьева // Соловьев Владимир. Стихотворения. 6-е изд. М., 1915. С. 52—53).

⁵ ...и «Руслан и Людмила». — В апреле 1916 г. кн. Е. Н. Трубецкой сообщил нам обширную выдержку из письма своего на имя кн. С. Н. Трубецкого от 1887 г. Здесь содержатся, между прочим, такие строки: “На другой день [дата в точности не указана] я повез Соловьева в «Руслана», узнав, что он никогда не был; с ним мы также потом поужинали в Московском трактире. Соловьеву «Руслан» очень понравился. Он говорит: не аллегория ли Людмила? Тут три типа национальностей: Руслан — русский, Ратмир и Черномор — Восток, а Фарлаф — Запад; причем отношение к немцу насмешливое и чисто национальное. Людмила — это София, которая сначала была похищена, пленена Востоком (восточным магом), затем вырвана из плена русским, но вновь пленена Западом; она оставалась в состоянии усыпления, содержалась в дремлющем состоянии в германской философии, чтобы пробудиться и заговорить в объятиях русского”» (Лукьянов С. М. О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы: Материалы к биографии. М., 1990. Кн. 3. Вып. II. Примеч. 2200. С. 248).

⁶ Соллогуб у меня его похитил. — Соллогуб Федор Львович (1848—1890), граф — русский театральный художник, поэт. «На одной из предыдущих страниц того же альбома есть запись гр. Соллогуба, который против 43-го вопроса выписал поговорку: “Бог не выдаст, свинья не съест”» (примеч. Э. Л. Радлова).

Из письма в редакцию «Нового времени»

Впервые: Новое время. 1890. № 5026. 25 февраля. Печатается по: Письма Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., 1911. Т. III. С. 178.

¹ ...иеромонах Антоний... — Антоний (в миру Алексей Павлович Храповицкий; 1863—1936) — митрополит Киевский и Галицкий, с 1912 г. член Святейшего синода, с 1920 г. в эмиграции, возглавлял Высшее церковное управление за границей, а после его запрещения патриархом Тихоном — Архиерейский синод Русской Православной Церкви за границей (т. н. «Карловацкий раскол»). См.: *Еп. Антоний (Храповицкий)*. Превосходство православия над учением папизма в его изложении Вл. Соловьевым // Церковный вестник. 1890. № 10. С. 172—174; № 11. С. 192—195; № 12. С. 209—210; № 13. С. 226—229.

Из письма В. В. Розанову

Печатается по: Письма Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., 1911. Т. III. С. 43—44. Письмо (в г. Елец) написано до личного знакомства

Вл. Соловьева с В. Розановым и датировано: 28 ноября 1892 г., Москва, Пречистенка, д. Лихутина.

Розанов Василий Васильевич (1856—1919) — русский религиозный философ, писатель и публицист. В. В. Розанов написал о Вл. С. Соловьеве более 20 статей, многократно высказывался о нем на страницах своих произведений.

Из письма М. М. Стасюлевичу

Впервые: М. М. Стасюлевич и его современники в переписке. СПб., 1913. Печатается по: Письма Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., 1923. Т. IV. С. 60—61.

Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826—1911) — историк, публицист, редактор-издатель «Вестника Европы».

¹ ...автор разбираемой книги вместе со своим старшим братом... — Лопатин Николай Михайлович — земский начальник, старший брат Лопатина Льва Михайловича. Речь идет о книге: *Лопатин Л.* Положительная задача философии. Ч. II. Закон причинной связи как основа умозрительного знания действительности. М., 1891. Рец.: *Соловьев Вл. С.* Свобода воли и причинность // Мысль и слово. М., 1921. № 2.

Из писем Э. Л. Радлову

Печатается по: Письма Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., 1908. Т. I. С. 254. Датировано 1895 г.

Радлов Эрнест Леопольдович (1854—1928) — философ, публицист, общественный деятель, директор Публичной библиотеки (1917—1924 гг.), вместе с С. М. Соловьевым редактор Собрания сочинений Вл. Соловьева, один из первых его биографов.

Из письма к В. Л. Величко

Печатается по: Письма Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., 1908. Т. I. С. 223—224.

Величко Василий Львович (1860—1903) — поэт, публицист, чиновник Министерства государственных имуществ и Министерства юстиции, друг и биограф Вл. С. Соловьева.

Из писем к Евгению Тавернье

Печатается по: Письма Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., 1923. Т. IV. С. 220—222, 227. Письмо № 13 датировано: май—июнь 1896 г., Царское Село, письмо № 15 — январь 1898 г., Санкт-Петербург.

Евгений Тавернье (Eugène Tavernier) — автор обширной статьи о Вл. Соловьеве, приложенной к его же переводу на французский язык «Трех разговоров» (Paris, 1916).

Из письма Л. П. Никифорову

Впервые: Вестник Европы. 1913. Ноябрь. Без даты. Печатается по: Письма Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., 1923. Т. IV. С. 5—6.

Никифоров Лев Павлович (1844—1917) — народник, в 1880—90-х годах разделял взгляды Л. Н. Толстого. Автор работы «Лев Николаевич Толстой о себе» (Ежемесячный журнал. 1903. № 3, 7—11).

¹ *О французских своих книгах...* — L'Idée russe (Русская идея). Paris, 1888; La Russie et l'Église universelle (Россия и Вселенская церковь). Paris, 1889.

<Из предисловия к третьему изданию стихотворений>

Печатается по: *Соловьев Владимир*. Стихотворения. 6-е изд. М., 1915. С. IX—X.

Вл. Соловьев ИЗ СТИХОВ

«В тумане утреннем неверными шагами...»

Впервые: Русский вестник. 1884. № 11. С. 308. Печатается по: *Соловьев В. С.* Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. С. 72.

Положено на музыку Г. Катмаром и В. Г. Каратыгиным.

Пророк будущего

Впервые: Новое время. 1886. 16 февраля; под заглавием «Пророк» и без подстрочного примечания, под псевд. «Князь Эспер Гелиотропов». Печатается по: *Соловьев В. С.* Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. С. 140.

¹ *Некромантия* — гадание на трупах.

² *Вид* — паспорт.

³ *Но так как в правильном развитии...* — ироническая характеристика гегелевской «триады».

«Люблю я дам сорокалетних...»

Впервые: Стихотворения Владимира Соловьева. 6-е изд. М., 1915. С. 273. Печатается по: *Соловьев В. С.* Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. С. 147.

Эпитафия

Впервые: Русское обозрение. 1901. № 1. С. 104. Печатается по: *Соловьев В. С.* Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. С. 153—154.

Датируется по копии альбома С. М. Мартыновой: 15 июня 1892 г. Посылая стихотворение А. А. Фету в июле 1892 г., Соловьев писал: «Строго говоря, я уже умер, на что имею даже доказательство. Вот эпитафия, высеченная (вопреки закону, избавляющему женский род от телесных наказаний) на моем могильном камне» (Письма Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., 1923. Т. IV. С. 228).

«Цвет лица геморройдный...»

Впервые: Письма Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., 1908. Т. 1. С. 112. В письме из Динара от 26 октября 1893 г. Печатается по: *Соловьев В. С.* Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. С. 156—157.

¹ *Пьер Бобб* — Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921) — прозаик, который после 1865 г. жил преимущественно во Франции и с которым в эти годы полемизировал Вл. Соловьев. Пьером Бобо его называли в эпиграммах и сатирах задолго до Соловьева.

«Скоро, скоро, друг мой милый...»
<Н. Я. Гроту>

Впервые: Письма Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., 1908. Т. 1. С. 80. В письме к Н. Я. Гроту (1893). Печатается по: *Соловьев В. С.* Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. С. 157.

Грот Николай Яковлевич (1852—1899) — профессор философии Одесского, затем Московского университета, редактор журнала «Вопросы философии и психологии», председатель Московского психологического общества, друг Вл. Соловьева.

¹ *...премного и беспутно я любил...* — Перифраза евангельского текста о блуднице, которая была прощена, ибо «возлюбила много» (Лк. 7, 37—47).

² *Не родил и не убил...* — Имеются в виду «четыре благородные истины» буддизма.

³ *Со святыми упокой!* — слова заупокойной молитвы.

«Вчера, идя ко сну, я вдруг взглянул в зеркало...»

Впервые: Стихотворения Владимира Соловьева. 7-е изд. М., 1921. С. 271. Датируется по содержанию: 1890-е годы. Печатается по: *Соловьев В. С.* Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. С. 172—173.

¹ *Под Кутузовым... нынешнего директора трех банков и певца смерти.* — Голенищев-Кутузов Арсений Аркадьевич (1848—1913) — поэт, в конце 1870-х — начале 1880-х годов служил в «Обществе взаимного поже-

мельного кредита» и был товарищем управляющего Дворянским и Крестьянским банками. На слова Голенищева-Кутузова Мусоргским написан цикл «Песни и пляски смерти».

² ...*Спасительных свиней?* — Имеется в виду евангельская притча о стаде свиней, в которых вошли бесы, изгнанные Христом из одержимого.

Признание

Посвящается гг. Страхову, Розанову, Тихомирову и К²

Впервые: М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке. СПб., 1913. Т. 5. С. 383. В письме от 6 октября 1894 г. Печатается по: *Соловьев В. С.* Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. С. 161—162.

¹ *Страхов Н. Н.* (1828—1896), *Розанов В. В.* (1856—1919), *Тихомиров Л. А.* (1850—1922) — публицисты охранительного толка, с которыми полемизирует Вл. Соловьев.

² *Я был ревнитель правоверия...* — Вл. Соловьев имеет в виду изменения в своем мировоззрении.

³ *И съела бы меня свинья...* — Образ из цикла Салтыкова-Щедрина «За рубежом» (торжествующая свинья — «разъевшееся животное», съедающее Правду, — образ, символизирующий у Салтыкова-Щедрина реакцию и цензуру).

«Нескладных виршей полк за полком...»

<Автопародия>

Впервые: *Величко В. Л.* Владимир Соловьев: Жизнь и творения. СПб., 1902. С. 185. В письме от 23 апреля 1895 г. Печатается по: *Соловьев В. С.* Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. С. 164.

¹ Написано после стихотворения «Воскресшему», которое пародируется. В письме к Стасюлевичу Вл. Соловьев пишет: «Прилагаю и еще стихотворение, но, чтобы вы видели объективное отношение к произведениям моей музыки, вот вам пародия, сейчас мною сочиненная на то первое... Ею открывается в истории литературы небывалый genre “самопародий”... Теперь, по крайней мере, я не боюсь никаких пародий и ругательств, — будьте свидетелем, что я первый себя обругал и пародировал» (М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке. СПб., 1913. Т. 5. С. 391—392).

«Одержим я страшным гриппом...»

<М. А. Кавосу>

Впервые: Письма Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., 1908. Т. I. С. 233. Датируется по содержанию: 1890-е годы. Печатается по: *Соловьев В. С.* Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. С. 174.

¹ *Кавос* Михаил Альбертович (?—1897) — сын известного русского архитектора А. К. Кавоса, приятель Соловьева.

² *Паражи (фр.)* — места, края.

³ *Ганимед* — юноша, пленивший Зевса красотой и взятый им на небо.

⁴ *Скрылись дни Аранхуэца...* — цитата из «Дон Карлоса» Шиллера.

⁵ *Консул Планк давно уж помер...* — В варианте копии письма, не вошедшего в издание «Писем», к этим словам имеется примечание, вероятно, воспроизводящее текст Вл. Соловьева: «Консул Планк правил, когда Горацию было 25 лет:

Волос белеющий душу смиряет,
Бодрость не та, и не та уж осанка...
Этого я не стерпел бы во время
Консула Планка!»

Планк был избран римским консулом в 42 г. до н. э., и Гораций пишет о его консульстве как о времени своей молодости (Оды, III, 14) (примеч. З. Г. Минц).

Надпись на книге «Оправдание добра»

Впервые: Стихотворения Владимира Соловьева. 7-е изд. М., 1921. С. 275. Датируется годом выхода «Оправдания добра» (1896). Дарственная надпись, сделанная на нескольких экземплярах книги. Печатается по: Соловьев В. С. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. С. 169.

¹ *Из камня истины выходит сей ручей.* — Восходит к ветхозаветному свидетельству о пророке Моисее, источившем воду из камня.

Три свидания (Москва—Лондон—Египет. 1862—75—76) *Поэма*

Впервые: Вестник Европы. 1898. № 11. С. 328. С. Соловьев сообщает, что поэма «очень не понравилась» мистически настроенным друзьям поэта, в частности С. П. Хитрово, которая советовала не печатать «Три свидания» (Стихотворения Владимира Соловьева. 6-е изд. М., 1915. С. 330). Печатается по: Соловьев В. С. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. С. 125—132.

¹ *«Был майский день в Москве»...* — Перифраза стихотворения А. Фета «Был чудный майский день в Москве...»

² *Дуэль, дуэль!* — Эпизод «дуэли» носит автобиографический характер.

³ *Вознесенье* — церковь в Москве.

⁴ *Житейское... отложим... попеченье...* — слова Херувимской песни Божественной литургии.

⁵ *Музей Британский...* — В библиотеке Британского музея (Лондон) Соловьев занимался изучением мистической литературы с конца июня до середины октября 1875 г.

⁶ *Cum grano salis* — с иронией (лат.).

⁷ ...два-три британских чудодеев... — В письме к матери от 17 (29) июля 1875 г. Соловьев упоминает о своем знакомстве с В. Рольстоном (1829—1889) — английским писателем, служившим в Британском музее и изучавшим русский фольклор, и «некоторыми другими англичанами» (см.: Письма Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., 1909. Т. II. С. 5). Позже Соловьев познакомился с известным зоологом Уоллесом (1822—1913) (см. письмо к отцу от 8 сентября 1875 г.: Письма Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., 1909. Т. II. С. 11).

⁸ Да два иль три доцента из Москвы. — В Лондоне Соловьев сблизился с двумя доцентами-правоведами: И. И. Янжулом (1846—1914) и М. М. Ковалевским (1851—1916).

⁹ ...Льон, Турин, Пьяченцу и Анкону, на Фермо, Бари, Бриндизи... — Лион (Франция) и далее — точно описанный маршрут по Италии первой поездки Соловьева в Египет.

¹⁰ Фаддеев (Фадеев) Ростислав Андреевич (1824—1883) — генерал русской армии (после 1868 г. — в отставке), военный писатель. Соловьев писал о нем матери из Каира: «Часто выдаюсь с генералом Фадеевым — тип русского медведя, впрочем, очень неглупый человек» (Письма Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., 1909. Т. II. С. 19).

¹¹ Как дядя Влас, что написал Некрасов... — Стихотворение Н. А. Некрасова «Влас».

¹² Смеялась, верно, ты, как средь пустыни... — Излагается реальное происшествие, случившееся с Соловьевым в Египте в 1875 г. (см. письмо к матери от 27 ноября 1875 г.: Письма Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., 1909. Т. II. С. 19).

¹³ Очами, полными лазурного огня... — Перифраза строки из стихотворения Лермонтова «Как часто, пестрою толпою окружен...»

II

СВИДЕТЕЛЬСТВА И ВОСПОМИНАНИЯ

Метрическое свидетельство о рождении и крещении
Вл. С. Соловьева

Печатается по: Лукьянов С. М. О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы: Материалы к биографии. М., 1990. Кн. I. С. 35.

Примечание к публикации этого документа С. М. Лукьянова: «Подлинное метрическое свидетельство включено в дело 1874 г., за № 300, Совета Импер. Московского университета о перемещении профессора Варшавского университета Троицкого в Московский университет на кафедру философии и об утверждении магистра Соловьева доцентом на ту же кафедру. Копия — в деле 1869 г., за № 262, Совета Импер. Московского университета о принятии в число студентов Владимира Соловьева. Оба дела были достав-

лены нам В. Т. Шевяковым. — Имя священника, крестившего его, Соловьев знал и держал в памяти» (*Лукьянов С. М.* Указ. соч. Примеч. 73. С. 35—36).

Крестили новорожденного младенца Владимира по месту жительства родителей в воскресенье, через семь с лишним недель после рождения.

Аттестат об окончании гимназического курса

Печатается по: *Лукьянов С. М.* О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы: Материалы к биографии. М., 1990. Кн. I. С. 66—67.

Примечание к публикации этого документа С. М. Лукьянова: «Подлинный аттестат содержится в деле за № 262 (1874 г.) Совета Импер. Московского университета о перемещении профессора Варшавского университета Троицкого в Московский университет на кафедру философии и об утверждении магистра Соловьева доцентом на ту же кафедру. В справке, доставленной через А. Н. Шварца, под аттестатом нет подписи В. П. Басова, зато есть подпись О. О. Шталя; самый порядок подписей несколько иной» (*Лукьянов С. М.* Указ. соч. Примеч. 143. С. 67).

С. М. Лукьянов

<Об интимных особенностях телесной организации
Вл. С. Соловьева>

Печатается по: *Лукьянов С. М.* О Вл. Соловьеве в его молодые годы: Материалы к биографии. М., 1990. Кн. III. Вып. 2. Примеч. 1871. С. 196—197.

Лукьянов Сергей Михайлович (1858—1935) — физиолог, профессор Варшавского университета; директор Института экспериментальной медицины. С 1902 г. — товарищ министра народного просвещения, в 1905—1906 гг. — временно управляющий Министерством народного просвещения, с 1906 г. — член Государственного совета, в 1909—1911 гг. — обер-прокурор Святейшего Синода. Биограф Вл. С. Соловьева.

¹ *Соловьева* Поликсена Сергеевна (псевд. Allegro; 1867—1924) — поэтесса и драматург, художница.

² *Шперк* Федор Эдуардович (ок. 1870—1897) — философ.

³ *Леонтьев* Константин Николаевич (1831—1891) — мыслитель, публицист, писатель.

⁴ *Ориген* Александрийский (ок. 185—253/54) — раннехристианский богослов, оскотивший себя в аскетических целях.

⁵ Е. И. Боратынская хорошо знала Вл. Соловьева и его дружеское окружение.

⁶ *Соллогуб* (урожд. Бодэ-Колычева; ?—1910) Наталья Михайловна — жена Ф. Л. Соллогуба, друга Вл. Соловьева.

⁷ *Phimosis* — фимоз (греч. — «стягивание», «сжатие»), узость крайней плоти с ограничением ее подвижности, не позволяющая полностью обна-

жить головку полового члена. Различают врожденный (до 2-3 лет считается физиологическим) и приобретенный фимоз. Лечение чаще оперативное — рассечение крайней плоти.

С. М. Соловьев

<О наружности Вл. Соловьева>

Печатается по первопубликации: *Соловьев С. М.* Биография Владимира Сергеевича Соловьева // Соловьев Владимир. Стихотворения. 6-е изд. М., 1915. С. 49—50.

Соловьев Сергей Михайлович («младший»; 1885—1942) — внук историка С. М. Соловьева и племянник Вл. С. Соловьева, поэт, католический священник восточного обряда, биограф Вл. С. Соловьева.

¹ ...к книге Величко «Вселенский христианин»... — *Величко В. Л.* Владимир Соловьев: Жизнь и творения. 2-е изд. СПб., 1903 (на обложке — 1904). Книга В. Л. Величко первоначально печаталась отдельными статьями в «Книжках недели» и в «Новом деле» (1900—1901 гг.) под названием «Вселенский христианин».

² ...к стихам Вл. С. ... — Стихи озаглавлены: «Вновь белые колокольчики». Написаны 8 июля 1900 г. в Пустыньке. Это одно из последних стихотворений Вл. Соловьева, в приведенном варианте 4-й строфы которого («Замыслы смелые...») он предчувствует свою скорую кончину.

М. Д. Муретов

<Воспоминания о Вл. Соловьеве
в Московской духовной академии>

Печатается по: *Лукьянов С. М.* О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы: Материалы к биографии. М., 1990. Кн. I. С. 327—328. Заметки М. Д. Муретова помечены 26 октября 1914 г. и 16 марта 1916 г.

Муретов Митрофан Дмитриевич (1851—1917) — богослов, библеист, специалист по Новому Завету.

¹ ...он ходил на лекции в нашу академию в 1874 г. — «Насколько удалось выяснить, в 1874/75 учебном году Соловьев лекций в академии не слушал» (*Лукьянов С. М.* Указ. соч. Примеч. 631. С. 328).

² *Потапов В. Н.* (1837—1890) — профессор Московской духовной академии, преподавал логику и историю философии.

³ *Архимандрит Михаил* (Лузин; 1830—1887) — профессор Московской духовной академии, преподавал Св. Писание Нового Завета; в 1876 г. был назначен ректором Академии.

⁴ *Кудрявцев-Платонов Виктор Дмитриевич* (1828—1891) — философ и богослов, профессор метафизики и логики богословского отделения Московской духовной академии, читал курсы по истории логики и об элементарных и систематических формах мышления, лекции о метафизических учениях.

⁵ Горский А. В. (1812—1875) — профессор Московской духовной академии, ректор, читал курс догматического богословия.

Архиепископ Николай (Зиоров)

<Воспоминания о Вл. С. Соловьеве
в Московской духовной академии>

Печатается по: *Лукьянов С. М.* О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы: Материалы к биографии. М., 1990. Кн. I. С. 326—327.

Архиепископ Николай (в миру Михаил Захарович Зиоров; 1851—1915) — церковный деятель, автор книги «Мои воспоминания о Московской духовной академии (к столетнему юбилею)» (Варшава, 1914).

¹ *Владимира Сергеевича Соловьева я видел и знал, можно сказать, мельком.* — Справка помечена 27 июля 1915 г. См.: *Лукьянов С. М.* Указ. соч. Примеч. 630. С. 327).

² ...на лекцию проф. Потапова... — Профессор В. Н. Потапов : на богословском отделении Московской духовной академии читал лекции по истории греческой и римской философии, по истории философии у христианских народов, у арабов и иудеев в средние века и по истории новой философии, оканчивая учением Шопенгауэра.

³ Возможно, что было несколько студентов, носящих фамилию Хитров, как в университете, так и в академии; возможно и то, что Александр Хитров был сначала студентом университета, а потом перешел в академию. См.: *Лукьянов С. М.* Указ. соч. С. 329. Примеч. 633).

Н. И. Кареев

<Воспоминания о Вл. С. Соловьеве
в Московской духовной академии>

Печатается по: *Лукьянов С. М.* О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы: Материалы к биографии. М., 1990. Кн. I. С. 328—329. Сообщено С. М. Лукьянову 19 января 1916 г.

Кареев Николай Иванович (1850—1931) — русский историк, сотоварищ Вл. Соловьева по гимназии, его биограф.

¹ *Соколов Александр Александрович* — друг юности Вл. Соловьева, которому вместе с Н. М. Лопатиным он посвятил одно из последних своих произведений «Три разговора».

Е. М. Поливанова

<Из воспоминаний о Вл. Соловьеве>

Печатается по: *Лукьянов С. М.* О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы: Материалы к биографии. М., 1990. Кн. III. Вып. 1. С. 42—63. Кн. III.

Вып. 2. С. 150—154. Рукопись Е. М. Поливановой была получена С. М. Лукьяновым 13 апреля 1917 г., дополнения в письме от 3 июля 1917 г.

¹ Герье Владимир Иванович (1837—1919) — историк, профессор всеобщей истории Московского университета (1868—1904 гг.), организатор Высших женских курсов в Москве (1872).

² ...необычайно длинным и необычайно тонким... — Этот же мотив был использован и в позднейшее время карикатуристом «Словца», выходявшего в свет очень недолго, в 1899—1900 гг. Соловьев изображен здесь каким-то чрезвычайно тощим и чрезмерно вытянутым в длину магом, возносящимся из горной расщелины над вопросительными знаками, образующими нечто вроде клубов пара или дыма. См.: Наши юмористы за 100 лет в карикатурах, прозе и стихах: Обзор русской юмористической литературы и журналистики. СПб., 1904. С. 114 (Примеч. С. М. Лукьянова).

Н. Н. Страхов

<Из письма к Л. Н. Толстому>

Печатается по: Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым (1870—1894 гг.). СПб., 1914. С. 56—57.

¹ ...[речь идет о магистерской диссертации]. — «Кризис западной философии (против позитивистов)» (1874).

А. Измайлов

Владимир Соловьев в переписке

Впервые: Биржевые ведомости. 1909. 11 сент. № 11306. Отрывок из этой статьи печатается по: Лукьянов С. М. О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы: Материалы к биографии. М., 1990. Кн. II. С. 96—97.

Измайлов Александр Александрович (1873—1921) — литературный критик, поэт, прозаик.

<Донесение историко-филологического факультета
в совет Московского университета>

Печатается по первопубликации: Лукьянов С. М. О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы: Материалы к биографии. М., 1990. Кн. III. Вып. 1. С. 64. «Донесение» датировано 8 марта 1875 г. за подписями декана и секретаря факультета. Выдержки из текста доставлены С. М. Лукьянову С. И. Соболевским.

¹ Троицкий Матвей Михайлович (1835—1899) — философ и психолог, 25 августа 1875 г. назначен профессором философии и психологии в Московском университете.

² *Комментарий С. М. Лукьянова*: «По-видимому, разумемый в донесении факультета § 228 университетских правил соответствует § 1 отд. XII уже цитированных нами “Правил Московского университета”, выраженному так: “Профессоры и вообще штатные преподаватели университета, не бывшие еще за границей на казенный счет, могут быть командированы за границу не более как на два года, с сохранением жалованья и с выдачею прибавочного денежного пособия” («Сборник распоряжений» и т. д. С. 864). В § 4 того же отд. XII читаем: “Командируемым профессорам и штатным доцентам как прибавочное денежное пособие полагается в год 1000 р., с расчетом по месяцам”. В последующих томах “Сборника” мы не нашли новой полной редакции правил: весьма возможно, что они постепенно пополнялись на основании тех или других циркулярных распоряжений Министерства, причем при последовательных перепечатках изменялась нумерация как параграфов, так и отделов. Нам удалось получить для просмотра “Правила Императорского Московского университета”, изданные в Москве в 1875 г. Здесь интересующие нас параграфы оказываются § 212 и § 215. Всего в этом издании 219 §§ и 17 отделов» (*Лукьянов С. М. Указ. соч. М., 1990. Кн. III. Вып. 1. Примеч. 1263. С. 64*).

В. Н. Горемыкина

<Из воспоминаний о Вл. С. Соловьеве>

Печатается по первопубликации: *Лукьянов С. М. О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы: Материалы к биографии. М., 1990. Кн. III. Вып. 1. С. 73. Примеч. 1279. Текст получен С. М. Лукьяновым через А. Н. Щербачева.*

Горемыкина В. Н. (урожд. Калачова) — сестра Н. Н. Калачова, приятеля Вл. С. Соловьева.

¹ *Одну из предметов своей любви он загнал на колокольню...* — Речь идет о Е. М. Поливановой.

И. И. Янжул

<Из воспоминаний о Вл. С. Соловьеве>

Фрагменты воспоминаний печатаются по: *Янжул И. И. Воспоминания о пережитом и виденном в 1864—1909 гг. СПб., 1910. Вып. 1. С. 125—135.*

Янжул Иван Иванович (1845 или 1846—1914) — юрист, профессор Московского университета, сторонник «государственного социализма». Встречался с Вл. Соловьевым во время его командировки в Англию в 1875 г.

¹ Сергей Михайлович Соловьев — известный историк, отец Вл. Соловьева, которого перед отъездом за границу в 1875 г. посетил И. И. Янжул.

² «*Против позитивистов*» — «Кризис западной философии (против позитивистов)» (1874).

³ *Любимов* Николай Алексеевич (1830—1897) — физик, публицист, профессор Московского университета.

⁴ *Вырубов* Григорий Николаевич (1843—1913) — русский философ-позитивист, профессор в Collège de France в Париже.

⁵ *Гаррисон* (Harrison) Фредерик (1831—?) — английский философ-позитивист, профессор международного права.

⁶ *Ноэс* (Noyes) Джон Гумфри (1811—1886) — американский религиозный деятель, основатель в 1831 г. в Нью-Йорке, у реки Онейда, общины перфекционистов, или библейских коммунистов, члены которой не признавали частной собственности и называли своим идеалом первую христианскую общину в Иерусалиме.

⁷ ...книгу *Нордгофа*... — *Nordhoff Charles*. The communistic societies of the United States. London, 1875.

⁸ *Шекеры* — религиозная секта в Северной Америке, получившая свое название от английского слова to shake — «трястись». Учение шекеров похоже на учение квакеров и провозглашает основными правилами безбрачие и общность имущества. Общины управлялись женщинами, которые считались преемницами первой пророчицы Анны Ли.

⁹ «*Онеида*» — община перфекционистов, или библейских коммунистов, основанная Д. Г. Ноэсом в 1831 г. в Нью-Йорке, у реки Онейда.

¹⁰ «*Новая гармония*» — колония в Индианском округе США, основанная Робертом Оуэном в 20-х годах на экономических и общегуманитарных началах.

¹¹ *Янжул* Е. Н. (урожд. Вельяшева) — жена И. И. Янжула.

¹² *Фон Штудниц* — жена экономиста Артура фон Штудница, лондонского корреспондента аугсбургской газеты «Allgemeine Zeitung».

¹³ *Каббала* — мистическое учение в иудаизме.

¹⁴ ...*расскажу одну русскую народную легенду*... — Легенда в собрании А. Н. Афанасьева под заглавием «Бедная вдова». См.: *Афанасьев А. Н.* Народные русские легенды. Казань, 1914. Т. 1. С. 33—43.

М. М. Ковалевский

<Из воспоминаний о Вл. С. Соловьеве>

Печатается по первопубликации: *Лукьянов С. М.* О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы: Материалы к биографии. М., 1990. Кн. III. Вып. 1. С. 135—142. Текст был передан М. М. Ковалевским С. М. Лукьянову 4 апреля 1915 г.

Ковалевский Максим Максимович (1851—1916) — социолог, историк, правовед, профессор Московского университета.

¹ ...*средство общения с загробным миром*. — Н. И. Кареев сообщал С. М. Лукьянову: «Соловьев серьезно был одно время убежден в возможности материализации духа единым актом собственной воли и доказывал мне, что в этом нет ничего невероятного. Тогда много говорили о некоей Кэти Кинг, материализованный дух которой долго жил в одной семье, а потом внезапно исчез» (*Лукьянов С. М.* Указ. соч. Примеч. 1412. С. 136).

² Аксаков А. Н. (1832—1903) — публицист, издатель.

³ ...разоблачен был Менделеевым на сеансе в Петрограде. — В 1875 г. по предложению Д. И. Менделеева была составлена комиссия под председательством Ф. Ф. Эвальда для рассмотрения медиумических явлений. На одно из первых заседаний был приглашен А. Н. Аксаков, который предложил в качестве медиумов двух братьев из семейства Петти в Ньюкэстле. Труды комиссии с неблагоприятным для спиритизма заключением были изданы Д. И. Менделеевым: Материалы для суждения о спиритизме. СПб., 1876.

⁴ ...неудачный второй брак и желание свидетелься с первой супругой. — А. Н. Аксаков состоял в браке лишь один раз, с Софьей Александровной Долговой, по первому мужу Манухиной, а по второму — Беккерс. С. А. Аксакова скончалась 14 октября 1880 г. После ее смерти у А. Н. Аксакова водворилась Надежда Михайловна Бутлерова, вдова А. М. Бутлерова, урожденная Глумилиная. В брак с ней А. Н. Аксаков не вступал. См.: Лукьянов С. М. Указ. соч. Примеч. 1414. С. 137.

⁵ Лавров Петр Лаврович (1823—1900) — известный русский философ и публицист.

⁶ Новикова (урожд. Киреева) Ольга Алексеевна (1840—1925) — писательница и общественная деятельница.

⁷ ...мыслью о сближении Православной и Англиканской церкви. — Начало попыток к сближению Англиканской церкви с Православной относится к первой четверти XVIII в. В XIX в. это сближение связано с именем архидиакона Пальмера, планы которого присоединиться к православию не осуществились, и он вместе с выдающимся богословом Ньюманом присоединился к Римской церкви.

⁸ Кинглек А.-В. (1810—1891) — английский политический деятель, писатель.

⁹ О. А. Новикова — автор ряда трудов по русскому и славянскому вопросу: *Is Russia wrong?* London, 1878; *Friends, or foes?* London, 1879; *Russia and England, a protest and an appeal.* London, 1880; *Skobelev and the Slavonic Cause.* London, 1884.

¹⁰ ...ее брат поступил на службу добровольцем и был убит. — Николай Алексеевич Киреев (1841—1876) организовал в 1876 г. отправку добровольцев в Сербию, куда затем отправился и сам, вступив в состав сербской армии. Убит 12 сентября 1876 г. под Раковицами.

¹¹ Гладстон В.-Ю. (1809—1898) — английский государственный деятель.

¹² Дизраэли Б. (1804—1881) — английский государственный деятель, писатель.

¹³ Карлейль Т. (1795—1881) — английский философ, историк и писатель. Вл. С. Соловьев получил прозвание «русский Карлейль».

¹⁴ Гаррисон Ф. (1831—?) — английский философ-позитивист, юрист, профессор международного права.

¹⁵ Рольстон В. (1829—1889) — английский писатель, изучал русские народные сказки и песни, между 1868 и 1875 гг. посетил Россию четыре раза.

П. С. Попов

<Л. П. Бельский и Л. М. Лопатин о Вл. С. Соловьеве
как лекторе Московского университета>

Печатается по: *Лукьянов С. М.* О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы: Материалы к биографии. М., 1990. Кн. III. Вып. 2. Примеч. 1922. С. 204. Заметка была получена С. М. Лукьяновым от П. С. Попова из Москвы в феврале 1920 г.

Попов П. С. (1843—?) — синолог.

¹ ...*был доцентом Московского университета...* — В выписке из протоколов историко-филологического факультета Московского университета от 5 мая 1876 г. значится: «Читано было заявление состоящего в заграничной командировке доцента философии Вл. С. Соловьева, коим просит о назначении ему, по усмотрению факультета, времени преподавания логики (диалектики) и истории греческой философии в будущем 1876/77 учебном году, прилагая и программы предполагаемых им к прочтению курсов» (*Лукьянов С. М.* Указ. соч. С. 36).

² ...*и другие курсы — по истории философии...* — «Соловьев читал лекции: по логике 1 час III курсу (среда, 11—12 ч) и по истории философии 2 часа IV курсу (понедельник, 10—11 ч, и пятница, 10—11 ч)» (*Лукьянов С. М.* Указ. соч. С. 36).

А. И. Соболевский

<О Вл. С. Соловьеве как лекторе Московского университета>

Печатается по: *Лукьянов С. М.* О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы: Материалы к биографии. М., 1990. Кн. III. Вып. 2. С. 37—38. Сообщено А. И. Соболевским С. М. Лукьянову.

Соболевский А. И. (1856—1929) — филолог, брат С. И. Соболевского (1864—1963).

¹ *Юркевич* Памфил Данилович (1827—1874) — философ, педагог, профессор Московского университета (с 1861 г.), учитель Вл. Соловьева и его предшественник по кафедре философии.

² *Цингер* В. Я. (1836—1907) — математик, профессор Московского университета.

³ *Бугаев* Николай Васильевич (1837—1903) — математик и философ, профессор Московского университета.

Н. Колосов

Об исповедании В. С. Соловьева:
(Письмо к издателю)

Впервые: Московские ведомости. 1910. № 253. 3 (10) нояб. Печатается по: Письма Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., 1911. Т. III. С. 215—217.

Колосов Николай Александрович — кандидат богословия Московской духовной академии, протоиерей в г. Москве.

¹ ...*рассказа бывшего священника Н. Толстого...* — Толстой Николай Алексеевич — русский католический священник восточного обряда, родственник поэта А. Толстого, окончил Московскую духовную академию в сане священника, принял католичество греческого обряда. См.: *Толстой Н. Вл. Соловьев — католик* // Русское слово. 1910. № 192.

² ...*не был допущен им до Св. Причастия.* — «Соловьев уже несколько лет не исповедовался и не причащался у православных священников, после того как протоиерей церкви Св. Троицы в Зубове, Орлов, отказался дать ему отпущение грехов, если он не отречется от своих католических взглядов. В котором году произошел этот эпизод? Католический священник Н. А. Толстой говорил мне, что эта исповедь у протоиерея Орлова была или во время, или после тяжелой болезни и когда Соловьев был расстроен травлей “Московских ведомостей”. Это как будто указывает на дифтерию в ноябре 1891 г., когда “Московские ведомости” действительно травили Соловьева за его лекцию “Об упадке средневекового мировоззрения”. Но в письме к брату Михаилу мы читаем: “Во время дифтерита я причащался и очень этому рад”. Что Соловьев написал брату неправду, нет оснований предполагать. Следующая тяжелая болезнь — холера, летом 1894 г., в Петербурге. Но исповедь у Орлова, настоятеля приходской церкви Соловьева в Зубове, могла быть только в Москве. По-видимому, указания Н. А. Толстого не совсем точны, хотя самый факт отказа со стороны прот. Орлова дать причастие автору “La Russie” — бесспорен» (*Соловьев С. М. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. Брюссель, 1977. С. 342*).

Э.-М. Вогюз

<О русском докторе Владимире Соловьеве>

Печатается по: *Никифораки А. Иностранец о русском* // Русское обозрение. 1901. Вып. 1. С. 117—119. В оригинале: *Vogüé de. Un docteur russe Vladimir Solovief* // *Soûs l’horizon. Hommes et choses d’hier*. Paris, 1905. P. 15—25.

Вогюз Эжен-Мельхиор (1848—1910) — французский писатель, историк литературы, автор путевых очерков и статей о русской литературе.

¹ *У этого Doctor’a mirabilis...* — *Doctor mirabilis* — учитель предивный (лат.); в XII и XIII веках к титулу доктора прибавляли эпитет: *d. angelicus* (Фома Аквинский), *seraphicus* (Бонавентура), *subtilis* (Дунс Скот), *universalis* (Альберт Великий), *christianissimus* (Жерсон) и т. д.

² ...*в доме Лессенпа.* — Виконт Фердинанд де Лессепс (*Lesseps*; 1805—1894) — французский предприниматель, член Французской академии, с деятельностью которого связано открытие в 1869 г. Суэцкого канала.

С. У.

<О личности Вл. Соловьева>

Печатается по: *С. У. Мозаика: (Из статьи записных книжек) // Исторический вестник. 1912. Дек. С. 1032—1033.*

С. У. — псевд. В. В. Каплуновского (1865—?) — писателя, журналиста.

¹ *Происходя сам, по матери, из еврейского племени...* — Иное мнение см.: *Лукьянов С. М.* Вл. С. Соловьев в его молодые годы. М., 1990. Кн. I. Примеч. 26. С. 10.

П. Г. Черкасов

<Из воспоминаний о Вл. Соловьеве>

Печатается по первопубликации: *Лукьянов С. М.* О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы: Материалы к биографии. М., 1990. Кн. III. Вып. 1. С. 364—365; Там же. Кн. III. Вып. 2. С. 15—18. Сообщение С. М. Лукьянову сделано бароном П. Г. Черкасовым в декабре 1914 г.

Черкасов Павел Гаврилович — барон, знакомый Вл. С. Соловьева.

¹ *Калачов Николай Васильевич* (1819—1885) — историк, юрист, сенатор, академик.

² «*Пастух, молоко и читатель*» — Козьме Пруткову Соловьев посвятил небольшую словарную статью, в которой он приводит басню «Пастух, молоко и читатель» «как удобный по краткости образчик прутковских басен».

³ «*Тихо над Альгамброй... Спит Эстремадура*». — Стихотворение Козьмы Пруткова «Желание быть испанцем». См.: Полное собрание сочинений Козьмы Пруткова. 12-е изд. Пг., 1916. С. 70—72.

⁴ ...*сначала они жили вместе на Капри, а затем в Италии...* — Вл. Соловьев встретился с А. Н. Калачовым сначала на Капри, а затем уже они пребывали в Италии.

П. Шереметев

<Из воспоминаний о Вл. Соловьеве>

Печатается по: *Шереметев П.* Отзвуки рассказов И. Ф. Горбунова. СПб., 1901. С. 102—103; 145.

Шереметев Павел — граф.

¹ *Горбунов Иван Федорович* (1831—1895) — писатель и актер.

Н. И. Шатилов

<Из воспоминаний о Вл. Соловьеве>

Печатается по: *Шатилов Н. И.* Из недавнего прошлого // Голос минувшего. 1916. № 10. С. 64.

Е. И. Боратынская

<Из воспоминаний о Вл. Соловьеве>

Печатается по первопубликации: Лукьянов С. М. О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы: Материалы к биографии. М., 1990. Кн. III. Вып. 2. С. 8—12; 20—29. Воспоминания Е. И. Боратынской записаны С. М. Лукьяновым в 1918 г.

Боратынская Екатерина Ивановна (урожд. Тимирязева; 1847—?) — родственница по линии отца ботаника К. А. Тимирязева, близкая знакомая Ф. Л. и Н. М. Соллогубов, Л. Н. Толстого и Вл. С. Соловьева.

¹ Федор Львович Соллогуб был близким другом Вл. С. Соловьева. Соловьев называл его самым своеобразным и привлекательным из всех людей, каких только знал.

² ...сама писала стихи, которыми восхищался Фет. — У А. Фета есть несколько стихотворений, посвященных Н. М. Соллогуб.

³ Смирнова-Россет Александра Осиповна (1810—1882) — фрейлина императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны, писательница.

⁴ «*Mysticisme et sensualité – deux fruits d'un même pommier*». — «Мистицизм и чувственность — два плода с одной и той же яблони» (фр.).

⁵ *Fils distingué*. — выдающийся сын (фр.).

⁶ «*Fils distingué dans un autre genre*». — «Сын, выдающийся в другом роде» (фр.).

⁷ «*Le latin créé... Et le germain pullule*»... — «Латинянин творит, а германец (кузен) размножается»... (фр.).

⁸ Бодэ Аделаида Климентьевна — вторая жена деда Е. И. Боратынской Аркадия Семеновича Тимирязева.

⁹ В Берсах есть, несомненно, еврейская кровь. — «Сообщение Е. И. Боратынской о еврейском происхождении Берсов остается под вопросом. Само собою разумеется также, что и ее попытка свести особенности образа действий граф. С. А. Толстой к ее еврейскому происхождению, по меньшей мере, произвольная. Полезно не упускать из виду и то, что за последние семь лет жизни Л. Н. Толстого Е. И. Боратынская самолично в Ясной Поляне не бывала и судила о всем, что там происходило, лишь по слухам и толкам» (Лукьянов С. М. О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы: Материалы к биографии. М., 1990. Кн. III. Вып. 2. Примеч. 1869. С. 195—196).

¹⁰ *Malicieux* — злобный, колкий, язвительный (фр.).

¹¹ *Charme* — очарование, прелесть (фр.).

¹² *Par excellence* — по преимуществу (фр.).

¹³ *Mysticisme et sensualité* — мистицизм и чувственность (фр.).

¹⁴ Петровский А. Г. (1854—1908) — врач, знакомый Вл. С. Соловьева, у которого Соловьев останавливался, приезжая в Москву.

¹⁵ ...евангельские слова, относящиеся до вина. — «И не упивайся вином, в нем же есть блуд; но паче исполняйтесь Духом» (Еф. 5, 18).

Э. Л. Радлов

<Вл. С. Соловьев и Н. А. Любимов>

Печатается по первопубликации: *Лукьянов С. М.* О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы: Материалы к биографии. М., 1990. Кн. III. Вып. 2. С. 65. Запись со слов Э. Л. Радлова сделана С. М. Лукьяновым в мае 1921 г.

¹ ...он покинул преподавательскую деятельность в Московском университете... — 14 февраля 1877 г. Вл. Соловьев вышел в отставку.

² Н. А. Любимов был сторонником изменения университетского устава, вызвавшего распрю среди профессоров Московского университета.

³ М. Н. Катков поддерживал идею пересмотра университетского устава 1863 г.

⁴ Кулаковский Ю. А. (1855—1919) — историк.

М. М. Ковалевский

<Вл. Соловьев и «любимовская история»>

Печатается по первопубликации: *Ковалевский М. М.* Московский университет в конце 70-х и начале 80-х годов прошлого века: личные воспоминания // Вестник Европы. 1910. Май. С. 185—187.

<Аттестат, выданный Вл. С. Соловьеву при окончательном увольнении его со службы в Министерстве народного просвещения>

Печатается по: *Лукьянов С. М.* О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы: Материалы к биографии. М., 1990. Кн. III. Вып. 2. С. 86—87.

Черновик «Аттестата» опубликован С. М. Лукьяновым из «Дела департамента народного просвещения бывшего доцента Московского университета, надворного советника Соловьева, с назначением членом ученого комитета», полученного и архива Министерства народного просвещения в сентябре 1914 г.: «начато» 5 марта 1877 г., «кончено» 18 августа 1884 г.

С. М. Лукьянов<Вл. С. Соловьев на службе в ученом комитете
Министерства народного просвещения>

Печатается по: *Лукьянов С. М.* О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы: Материалы к биографии. М., 1990. Кн. III. Вып. 2. С. 90—91; 97—98; 130—132.

¹ ...включенной в рассматриваемое дело... — См. выше (<Аттестат...>).

² *Unter Umständen* — при обстоятельствах (нем.).

³ *Un métier comme un autre* — занятие, как любое другое (фр.).

⁴ *Die göttliche Sophia* — Божественная София (нем.).

- ⁵ Письма Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., 1909. Т. II. С. 199.
⁶ *Con amore* — с любовью (лат.).
⁷ Письма Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., 1909. Т. II. С. 235.

Д. А. Скалон

<Вл. Соловьев — «военный корреспондент» на Дунае>

Печатается по: *Скалон Д. А.* Мои воспоминания 1877—1878 гг. СПб., 1913. Т. 1. С. 219—220. Речь идет об эпизоде 18 июля 1877 г. во время русско-турецкой войны на бивуаках у Тырнова, куда Вл. Соловьев прибыл в качестве корреспондента «Московских ведомостей» с рекомендацией М. Н. Каткова.

Скалон Д. А. — военный деятель, автор мемуаров о русско-турецкой войне 1877—1878 гг.

¹ *Крестовский* Всеволод Владимирович (1830—1895) — писатель, журналист.

С. М. Лукьянов

<Из воспоминаний И. И. Лапшина о Вл. Соловьеве>

Печатается по: *Лукьянов С. М.* О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы: Материалы к биографии. М., 1990. Кн. III. Вып. 2. С. 175—178. Текст воспоминаний И. И. Лапшина о Вл. Соловьеве составлен С. М. Лукьяновым на основе записей его с И. И. Лапшиным собеседований, состоявшихся в конце 1917 г., а также раньше и позже.

¹ ...к отцу И. И. Лапшина. — *Лапшин* Иван Иванович (1870—1952) — философ, его отец, *Лапшин* Иван Осипович (ок. 1825—1883) — известный востоковед, его жена — *Сусанна* Дионисовна (урожд. Друэн) — познакомилась с Вл. Соловьевым в конце 1871 г.

² ...упоминание в письмах Соловьева к Э. Л. Радлову. — «Ссылка эта не подтверждается справками по письмам к Э. Л. Радлову. Зато есть указание на “привычку делать маленькие денежные подарки N” в переписке Соловьева с А. Н. Аксаковым (Письма. Т. II. С. 216). Под “N” подразумевается, по-видимому, О. О., сестра И. О. Лапшина» (*Лукьянов С. М.* Указ. соч. Примеч. 2198. С. 248).

³ «*Юдифь*» — опера А. Н. Серова (1820—1871).

⁴ *Ламанский* В. И. (1833—1914) — историк-славист.

⁵ *Введенский* Александр Иванович (1856—1925) — философ, психолог, логик, зав. кафедрой философии Петербургского университета.

⁶ *Владиславлев* Михаил Иванович (1840—1890) — философ, с 1887 г. ректор Петербургского университета, официальный оппонент Соловьева на защите магистерской (в 1874 г.) и докторской (в 1880 г.) диссертаций, переводчик «Критики чистого разума» Канта (1867).

⁷ *Сев* Л. А. — переводчик книги Ф. Иодля «История этики в новой философии» (В 2 т. М., 1898). Книга эта вышла под редакцией Вл. Соловьева с его кратким предисловием.

⁸ *Протейкинский Виктор Петрович.* — «Любопытные сведения о Викторе Петровиче Протейкинском были сообщены нам Н. А. Макшеевой в октябре 1923 г., уже после его смерти. По словам Н. А. Макшеевой, В. П. Протейкинский, сам мистик и по природе, и по убеждениям, был восторженным почитателем Соловьева, которого он окружал своеобразным культом» (*Лукьянов С. М.* Указ. соч. Примеч. 2204. С. 249).

И. И. Щукин

Парижские поминки по Вл. С. Соловьеве

Впервые: *Щукин И. И.* Парижские акварели. СПб., 1901. С. 237—239. Печатается по: *Лукьянов С. М.* О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы: Материалы к биографии. М., 1990. Кн. III. Вып. 2. Примеч. 1857. С. 190.

Щукин И. И. — брат П. И. Щукина, известного коллекционера в Москве.

¹ ...лекции в великосветском салоне княг. Витгенштейн. — Княгиня Л. И. Сайн-Витгенштейн (1816—?), сестра кн. В. И. Бярятинского, была в дружеских отношениях с графом А. К. Толстым. Соловьев дважды выступал в салоне Л. И. Сайн-Витгенштейн в связи с работой над книгой «Россия и Вселенская церковь». 20 апреля 1888 года Соловьев завершает черновой французский текст этого сочинения и отправляется в Париж. Соловьев был намерен напечатать в Париже книгу «Россия и Вселенская церковь» («La Russie et l'Église universelle»), и чтобы предварительно познакомить с ней французское общество, прочел 13 (25) мая в салоне княгини Сайн-Витгенштейн доклад на французском языке «L'Idée russe» («Русская идея»), опубликованный отдельной брошюрой на французском языке в 1888 г. в Париже (L'Idée russe / Par Vladimir Soloviev. Paris: Perrin, 1888. 46 p.).

С. М. Соловьев

<О присоединении Вл. Соловьева к католической Церкви>

Печатается по: *Соловьев С. М.* Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. Брюссель, 1977. С. 346—348.

¹ ...Триденский символ веры. — «Триденское исповедание веры» было принято на Триденском соборе католической Церкви (1546—1563 гг.) и опубликовано в 1564 г.

² *Булгаков Сергей Николаевич* (1871—1944) — экономист, философ, богослов, православный священник.

К. П. Победоносцев

<О Вл. Соловьеве>

Печатается по: *Победоносцев К. П.* Письма к Александру III. М., 1926. Т. 2. С. 253. Письмо датировано: 1 ноября 1891 г.

Победоносцев Константин Петрович (1827—1907) — государственный деятель, с 1880 г. обер-прокурор Святейшего Синода.

¹ ...как было недавно в Москве. — Речь идет о выступлении Вл. Соловьева в Московском психологическом обществе с рефератом «О причинах упадка средневекового мировоззрения» (1891).

В. В. Розанов

<О Вл. Соловьеве>

Из «Уединенного»

Впервые: *Розанов В. В.* Уединенное. СПб., 1912. Печатается по: *Розанов В. В.* О себе и жизни своей. М., 1990. С. 111.

¹ ...«бесенок сидел у него на плече» (в Балтийском море). — Имеются в виду строки из стих. Вл. Соловьева «Das Ewigweibliche. Слово увещательное к морским чертям» (1898):

Черти морские меня полюбили,
Рыщут за мною они по следам:
В Финском поморье недавно ловили,
В Архипелаг я — они уже там!

Из «Опавших листьев»

Впервые: *Розанов В. В.* Опавшие листья. СПб., 1913. Печатается по: *Розанов В. В.* О себе и жизни своей. М., 1990. С. 174, 228—229, 360, 514.

¹ *Рачинский* Сергей Александрович (1833—1902) — профессор Московского университета, педагог и общественный деятель.

² ...о Леонтьеве (сборник в память его). — Памяти Константина Николаевича Леонтьева: Литературный сборник. Пб., 1911.

³ *Делянов* Иван Давыдович (1818—1897) — государственный деятель, министр народного просвещения.

Из «Мимолетного»

Печатается по: *Розанов В. В.* Мимолетное. 1915 год // Начала. М., 1992. № 3. С. 30—33. Первая публикация.

¹ *Sacer* — святыня (лат.).

² *Sapiens* — мудрость (лат.).

³ *Его полемика с Данилевским, со Страховым...* — Статьи Вл. С. Соловьева против концепции «культурно-исторических типов» Н. Я. Данилевского вызвали ответные статьи Н. Н. Страхова. См.: *Соловьев Вл. С.* Национальный вопрос в России (1884—1891).

⁴ *Гиляров-Платонов* Никита Петрович (1824—1887) — славянофил, публицист, экономист, издатель московской газеты «Современные известия» (1867—1887 гг.) и журнала «Радуга» (1883—1884 гг.).

⁵ *Рцы* — псевдоним писателя Ивана Федоровича Романова (1861—1913).

⁶ *Михайловский* Николай Константинович (1842—1904) — публицист, критик, один из теоретиков народничества.

Из книги «Литературные изгнанники»

Печатается по: *Розанов В. В.* Литературные изгнанники. СПб., 1913. Т. 1. С. 142—143.

А. Белый

<Вл. Соловьев. Из поэмы «Первое свидание»>

Впервые: Знамя. Берлин, 1921. Печатается по: *Белый А.* Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1966. С. 421—424. Поэма автобиографична. Ср. воспоминания о Вл. Соловьеве: *Белый А.* Котик Летаев. Крещеный китаец. Записки чудака. М., 1997. С. 320—326. О «салоне московском» Соловьевых см.: *Белый А.* На рубеже двух столетий. М., 1989. С. 339—368.

Белый Андрей (псевд.; наст. имя и фам. Борис Николаевич Бугаев; 1880—1934) — прозаик, поэт и теоретик символизма.

¹ *Ключевский* Василий Осипович (1841—1911) — русский историк, профессор Московского университета, впоследствии академик; бывал в доме Н. В. Бугаева.

² *Гольденвейзер* Александр Борисович (1875—1961) — известный московский пианист, с которым А. Белый встречался в доме Метнеров и состоял в переписке.

³ *Что над Россией — тайный враг...* — А. Белый имеет в виду идею панмонголизма Вл. Соловьева.

⁴ *Что земли портящий овраг грызет юго-восток Европы...* — См. статью Вл. Соловьева «Враг с Востока» — об эрозии почвы.

⁵ *И в «Новом времени»...* — газета, выходившая в Петербурге (1868—1917 гг.).

⁶ Демчинский Н. А. вел в газете «Новое время» календарь природы.

⁷ *Свечений зорь нельзя никак...* — В 1902 г. наблюдалось сильное извержение вулкана Мартиники: «...пепел, рассеявшись в атмосфере, окрашивал зори совершенно особенно...» (*Белый А.* На рубеже двух столетий. М.; Л., 1931. С. 17).

⁸ *Агни* — в ведийской мифологии бог огня.

⁹ Имеется в виду М. С. Соловьев, брат Вл. С. Соловьева.

¹⁰ Имеется в виду С. М. Соловьев, племянник Вл. С. Соловьева.

¹¹ *В Москве устроим Духов день!* — Православный праздник, следующий после праздника Св. Троицы. В 1921 г. Духов день был 20 июня. Поэма начата в этот день, особенно памятный для А. Белого тем, что двадцать лет назад, в 1901 г., он впервые осознал себя писателем: «Написав ночью 2/3 второй части “Симфонии”, я с утра принялся за продолжение; характер

но: эта часть написана в ночь с Троицына дня на Духов день; в Духов день она была закончена к 5 часам дня; едва я успел окончить — звонок: Сережа, приехавший из Дедова; я ему тотчас же прочел эту 2-ю часть, окончившуюся сценой в Девичьем монастыре; эта сцена поразила Сережу, и он высказал желание тотчас же отправиться в монастырь на могилу Владимира Соловьева; мы отправились; нас поражала Москва; мной описанный “золотой Духов день” еще длился; он был точно такой, каким я его описал; и монастырь — был таким же точно; мы... пошли к могиле Вл. Соловьева, перед которой долго стояли в молчанье; как бы испрашивая у него благословение на “подвиг нашего будущего служения”... Дни в Дедове — продолжение незабываемых московских “священных” дней; они полны разговорами огромной важности и овеваны тенью Владимира Соловьева...” (Белый А. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1966. Примеч. 264. С. 620).

Е. Трубецкой

Личность В. С. Соловьева

Печатается по первопубликации: О Вл. Соловьеве: Сб. первый. М., 1911.

Трубецкой Евгений Николаевич, князь (1863—1920) — философ, публицист, общественный деятель, профессор Московского университета, член Государственного совета, один из основателей Конституционно-демократической партии, друг Вл. С. Соловьева и автор двухтомного труда «Миросозерцание Вл. С. Соловьева» (М., 1913), в который настоящий очерк вошел в качестве 1-й главы.

¹ Величко В. Л. Владимир Соловьев: Жизнь и творения. 2-е изд. СПб., 1903.

² Стихотворение датировано 1886 г.

³ *Cum grano salis* — «с крупинкой соли», с иронией (*лат.*).

⁴ *The detetetus*, 174; *Gorgias*, 484; *Civitas*, I, IV — сочинения Платона «Теттет», «Горгий», «Государство».

⁵ Отрывок из поэмы «Три свидания» (1898).

⁶ Из стихотворения «В Альпах» (1886).

⁷ Из стихотворения «Посвящение к неизданной комедии» (1878).

⁸ Из поэмы «Три свидания» (1898).

⁹ Из шуточного стихотворения «Цвет лица геморроинный...» в письме к М. М. Стасюлевичу (1893).

¹⁰ Стихотворение посвящено Н. Е. Ауэр и датировано 1895 г.

¹¹ Стихотворение «Отшедшим» (1895).

¹² Стихотворение «Я озарен осеннею улыбкой...» датировано 1897 г.

¹³ Из стихотворения «Земля-владычица» (1886).

¹⁴ Из стихотворения «На том же месте» (1898).

¹⁵ Стихотворение «Нильская дельта» (1898).

¹⁶ Великий спор и христианская политика // Соловьев В. С. Собр. соч.: В 9 т. СПб., 1901—1907. Т. IV. С. 71.

¹⁷ Из стихотворения «В стране морозных вьюг...» (1882).

¹⁸ Из стихотворения «О, как в тебе лазури чистой много...» (1881).

¹⁹ Из стихотворения «Тебя полюбил, красавица нежная...». В рукописи озаглавлено «Последняя любовь» (1894).

²⁰ Из стихотворения «Милый друг, не верю я нисколько...» (1884).

²¹ Стихотворение «В тумане утреннем неверными шагами...» (1884).

²² «В доме Отца Моего обителей много». — Иоан. 14, 2.

В. В. Розанов

Памяти Вл. Соловьева

Печатается по первопубликации: Мир искусства. 1900. № 15—16.

¹ ...печальный сон фараона, где тощие коровы пожирают тучных. — Библия (Бытие. 41, 1—4): вещий сон фараона о семи тучных и семи тощих коровах, истолкованный Иосифом как возведение семи лет голода в Египте.

² *Ad publicum* — для публики (лат.).

³ «Тихо удаляются старческие тени...» — Из стих. Вл. Соловьева «На смерть А. Н. Майкова» (1897).

⁴ «Око вечности» — стих. Вл. Соловьева (1897).

⁵ «Отшедшим» — стих. Вл. Соловьева (1895).

В. Д. Кузьмин-Караваев

Из воспоминаний о Владимире Сергеевиче Соловьеве

Печатается по первопубликации: Вестник Европы. 1900. № 11.

Кузьмин-Караваев Владимир Дмитриевич (1859—1927) — публицист, юрист, общественный деятель, депутат Государственной думы.

¹ Э. М. Вогюэ познакомился с Соловьевым в Египте. В 1878 г. гостил в Красном Роге, имении А. К. Толстого, где бывал Вл. Соловьев. См.: *Лукьянов С. М.* Указ. соч. Кн. III. С. 229, 258, 259, 261; Кн. IV. С. 164, 166, 167, 169, 174.

² «...что скрылся он...» — из стих. А. М. Жемчужникова «Памяти Владимира Сергеевича Соловьева» (Вестник Европы. 1900. № 10).

³ «Какой великий ум угас...» — неточная цитата из стих. Н. А. Некрасова «Памяти Добролюбова» (1864).

С. Н. Трубецкой

Смерть В. С. Соловьева 31 июля 1900 г.

Печатается по первопубликации: Вестник Европы. 1900. № 9.

Трубецкой Сергей Николаевич, князь (1862—1905) — религиозный философ, общественный деятель, профессор и первый выборный ректор Московского университета, друг Вл. С. Соловьева.

¹ ...в редакции «Вопросов философии»... — «Вопросы философии и психологии» (1889—1918 гг.) — журнал, издававшийся Московским психологическим обществом (учрежденным в 1885 г. М. М. Троицким при Московском университете). С 1898 г. издание журнала велось при содействии Санкт-Петербургского философского общества. Журнал был основан по инициативе профессора кафедры философии Московского университета Н. Я. Грота (в 1889—1893 гг. — редактор). В 1894—1895 гг. соредактором стал Л. М. Лопатин, и в 1896 г. вторым соредактором — В. П. Преображенский. После смерти Грота и Преображенского журнал редактировал Л. М. Лопатин совместно с С. Н. Трубецким, а с 1906 по 1918 г. — один. В создании и деятельности журнала живейшее участие принимал Вл. С. Соловьев.

² См.: Петровский А. Г. Памяти Владимира Сергеевича Соловьева // Вопросы философии и психологии. 1901. № 56 (1).

³ ...последняя подписанная им статья. — См.: Соловьев Вл. С. По поводу последних событий: Письмо в редакцию // Вестник Европы. 1900. № 9.

⁴ Он пенял мне на мою заметку, помещенную в «Вопросах философии»... — См. рецензию С. Н. Трубецкого на книгу Вл. Соловьева «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории...» (СПб., 1900) в «Вопросах философии и психологии» [1900. № 53 (3)].

⁵ ...стихотворение, написанное по поводу речи императора Вильгельма... — Стих. Вл. Соловьева «Дракон» (1900).

⁶ ...в своей статье «Китай и Европа»... — См.: Соловьев Вл. С. Китай и Европа // Русское обозрение. 1890. № 2—4.

⁷ Запасные дары — хлеб и вино, освященные и пресуществленные в плоть и кровь Христовы во время совершения евхаристии и оставленные для совершения литургии Преждеосвященных Даров, а также для совершения причастия вне храма — больных, умирающих и т. д.

В. В. Розанов

На панихиде по Вл. С. Соловьеву

Впервые: Новое время. 1901. 1 авг. № 9126. Печатается по: Розанов В. В. Около церковных стен. СПб., 1906. Т. 1.

¹ ...посвятивший памяти деда «Оправдание добра». — «Посвящается моему отцу — историку Сергею Михайловичу Соловьеву и деду — священнику Михаилу Васильевичу Соловьеву с чувством живой признательности и вечной связи» (Соловьев Вл. Оправдание добра: Нравственная философия. СПб., 1897).

² Кажется, он чувствовал себя в родном гнезде только у Иматры... — В Финляндии Соловьев жил с осени 1894 до весны 1895 г. Иматре посвящено одноименное стихотворение Вл. Соловьева (январь 1895 г.).

³ Епитрахиль — принадлежность богослужебного облачения священника и архиерея: длинная лента, огибающая шею и обоими концами спускающаяся на грудь. Символизирует благодатные дарования священника как священнослужителя.

⁴ «Схиму, скорее схиму!» — совокупность одежд монаха. Схима соответственно степеням монашества бывает малая и великая.

А. В. Амфитеатров

В. С. Соловьев: (Встречи)

Печатается по первопубликации: *Амфитеатров А. В.* Литературный альбом. СПб., 1904.

Амфитеатров Александр Валентинович (1862—1938) — прозаик, публицист, поэт-сатирик, критик.

¹ *Ipse dixit* — сам сказал (лат.).

² *Загуляев М. А.* (1834—1900) — журналист, сотрудник журналов «Сын отечества», «Отечественные записки», «Голос».

³ *Шофруа из дичи* — особым способом зажаренная, а затем остуженная на льду дичь.

⁴ ...одно из них, несомненно ему принадлежащее: на «непротивление злу», он приписал Алексею Толстому. — Стих. «Вонзил кинжал убийца нечестивый...» принадлежит А. К. Толстому.

⁵ ...говорили о деле Скитских. Соловьеву очень нравилось «литературное дознание»... — Казначей Полтавской консистории С. Л. Скитский и его брат П. Л. Скитский были несправедливо обвинены в убийстве секретаря Полтавской духовной консистории Комарова. Фельетонист В. М. Дорошевич (1864—1922) поднял и провел кампанию в пользу пересмотра дела невиновно осужденных и добился отмены приговора. В 1900 г. братья Скитские были оправданы. См.: Россия. 1899. № 32, 34, 45, 47, 50, 52 (май—июнь).

⁶ ...Загуляев напомнил ходячий анекдот о давно уже умершем знаменитом русском писателе... — анекдот о покаянном визите Ф. М. Достоевского к И. С. Тургеневу.

⁷ В. С. Соловьев прочитал в Думе лекцию о конце мира, во время которой кто-то свалился со стула. — Речь идет о В. В. Розанове, который «задремал и упал со стула» (см.: Голлербах Э. Ф. В. В. Розанов: Жизнь и творчество. Пб., 1922. С. 35) во время чтения Вл. С. Соловьевым «Краткой повести об антихристе» в феврале 1900 г.

⁸ «Стул подломился, король покатился...» — строки из детской песни «Пастушок». См.: Бессонов П. В. Детские песни. М., 1868. С. 16.

⁹ «*In Lebensfluten im Tatensturm...*» —

Я в буре деяний, в житейских волнах,
В огне, в воде,
В извечной смене
Смертей и рождений,
Я океан,
И зыбь развития,
И ткацкий стан
С волшебной нитью,
Где, времени кинув сплошную канву,
Живую одежду я тку божеству.

(пер. Б. Пастернака).

¹⁰ *Millennium* — тысячелетнее царство (лат.).

¹¹ *Иринеи Лионский, Юстин Философ, Лактанций* — раннехристианские богословы.

¹² *Nero Caesar* — черный цезарь (лат.).

¹³ *Alias* — иными словами (лат.).

¹⁴ *Фельдман* О. И. (?—1912) — врач-гипнотизер.

¹⁵ «*Как ветер, песнь его свободна...*» — Из стих. А. С. Пушкина «Поэт и толпа» (1828).

¹⁶ *Чемберлен* Д. (1836—1914), *Родс* С. (1853—1902) — английские государственные деятели, сторонники колониальной политики Великобритании.

¹⁷ *...музей Cluny*. — Музей готического искусства в Париже (Клюни).

В. Л. Величко

Владимир Соловьев: Жизнь и творения

Печатается по: *Величко В. Л.* Владимир Соловьев. Жизнь и творения. СПб., 1904.

¹ *Соловьев* Сергей Михайлович (1820—1879) — историк, академик, ректор Московского университета (в 1871—1877 гг.), автор 29-томной «Истории России с древнейших времен».

² «*Ну, тащится, сивка!*» — Из стих. А. В. Кольцова «Песня пахаря» (1831).

³ *...сыновья А. Ф. Писемского...* — Алексей Феофилактович Писемский (1821—1881), писатель. Н. А. Писемский (1842—1874) — старший сын А. Ф. Писемского; П. А. Писемский (1850—1910) — его младший сын, школьный товарищ Всеволода Соловьева.

⁴ *...братьям Лопатиным...* — Лопатины Лев Михайлович и Николай Михайлович.

⁵ *... «предался иконоборству»...* — С. М. Лукьянов приурочил этот эпизод к 14-летнему возрасту, когда Соловьев был в пятом классе гимназии. См.: *Лукьянов С. М.* Указ. соч. Кн. I. С. 119.

⁶ *...не выдержал переходного экзамена по физике на третий курс...* — Л. М. Лопатин относит этот эпизод к концу третьего курса, к 1872 г.; С. М. Лукьянов предполагает, что, несмотря на плохой ответ, Вл. Соловьев был переведен на третий курс; по мнению С. М. Соловьева, Владимир пробыл два года на втором курсе.

⁷ П. Д. Юркевич был экстраординарным профессором Киевской духовной академии.

⁸ В. Д. Кудрявцев-Платонов учился в Московской духовной академии, был стипендиатом митрополита Платона. После смерти Ф. А. Голубинского возглавил в Академии кафедру философии.

⁹ *Сблизившись с семьей Лапшиных...* — Лапшин Иван Осипович (ок. 1825—1883) — востоковед. Его жена — Лапшина Сусанна Дионисовна (урожд. Друэн). Знакомство их с Соловьевым относится к 1871 году. По воспоминаниям С. Д. Лапшиной, Соловьев больше всего внимания уделял спиритизму в 1872 и 1873 гг.; позднее он стал уже уклоняться от участия в

спиритических сеансах и вообще охладел к спиритизму, «признавая соответствующую доктрину противорелигиозной» (Лукьянов С. М. Указ. соч. Кн. I. С. 252).

¹⁰ *Дадешкелиани* (урожд. Петкович) Е. М. — двоюродная сестра П. В. Соловьевой, матери философа.

¹¹ ...влюбился в простую крестьянскую девушку и собирался на ней жениться... — «Указание В. Л. Величко на романтическую историю с крестьянской девушкой решительно отвергается лицами, хорошо знавшими Соловьева в те годы...» (Лукьянов С. М. Указ. соч. Кн. I. С. 277).

¹² ...г-жами П. и Р. — В. М. Петкович, двоюродная тетка Соловьева, и Е. В. Романова, его кузина. «О браке Соловьева с г-жой П., по-видимому, серьезных разговоров вовсе не было, хотя со стороны Соловьева и было некоторое увлечение, брак же с г-жой Р. (Е. В. Романовой), действительно, предполагался, но расстроилось это предположение по причинам более сложным, чем “разочарование”» (Лукьянов С. М. Указ. соч. Кн. I. С. 277).

¹³ *Verba solemnna* — заветные слова (лат.).

¹⁴ *Бжеская* (или *Бржеская*) Е. Ф., в замужестве Романова, бабка Вл. Соловьева по матери, происходила из семьи обрусевших поляков, помещиков Харьковской и Херсонской губерний.

¹⁵ *Бестужев-Рюмин* Константин Николаевич (1829—1897) — историк, академик (с 1890 г.). В конце 1880 — начале 1881 г. Вл. С. Соловьев читал курс древней философии на Высших женских курсах профессора Бестужева-Рюмина в Петербурге.

¹⁶ ...приведены... А. Введенским в... статье «Призыв к самоуглублению». — См.: *Введенский А.* Призыв к самоуглублению: Памяти Владимира Сергеевича Соловьева. М., 1900.

¹⁷ *И вот он в Каире.* — В конце октября 1875 г. Соловьев уезжает из Англии. Проехав через Францию и Италию, 11 ноября прибывает в Каир.

¹⁸ Р. А. Фадеев был участником кавказской и русско-турецкой кампаний. Выступал против либеральных реформ в армии. В 1875 г. уехал в Египет для преобразования тамошней армии на случай войны с Турцией. В Каире жил в одной с Соловьевым гостинице «Аббат».

¹⁹ *Volente Deo* — с Божьей помощью (лат.).

²⁰ ...он принял сторону М. Н. Каткова в одной факультетской распре... — Речь идет о распре среди профессоров Московского университета из-за мнения Н. А. Любимова, поддержанного М. Н. Катковым, о необходимости изменения университетского устава. В отличие от большинства профессоров Вл. Соловьев был на стороне Каткова и Любимова, что послужило поводом для его выхода в отставку в феврале 1877 г. и переезда в Петербург. «Мы будем, кажется, всего ближе к истине, если признаем, что Соловьеву просто-таки претило оставаться в атмосфере взаимного недоверия, недоброжелательства, всяческих дразг и политиканства...» (Лукьянов С. М. Указ. соч. Кн. IV. С. 61).

²¹ ...центральные лекции «О Богочеловечестве»... — «Чтения о Богочеловечестве» печатались в «Православном обозрении» (1878. № 3—7, 9; 1879. № 10; 1880. № 11; 1881. № 2, 9). См.: *Флоровский Г.* Чтения по философии религии магистра философии В. С. Соловьева // *Orbis scriptus. Dmitrij Tschisewskij zum 70 Geburtstag.* München, 1966. S. 221—236.

²² *Coteries* — кругах (фр.).

²³ *Речь против смертной казни, произнесенная им в марте же 1881 года...* — 28 марта 1881 г. в зале Кредитного общества Соловьев прочел очередную публичную лекцию, которую завершил призывом помиловать убийц Александра II. См.: *Щеголев П.* События 1-го марта и Владимир Сергеевич Соловьев // *Былое.* 1906. № 3; *Его же.* 1 марта 1881 года и Владимир Соловьев. Новые документы // *Былое.* 1918. № 4—5.

²⁴ *Когда в память Пушкина было учреждено звание почетного академика, В. С. Соловьев был призван в число избранников...* — В декабре 1899 г. в ознаменование 100-й годовщины со дня рождения А. С. Пушкина при Отделении русского языка и словесности был учрежден Разряд изящной словесности. Наряду с действительными членами в его состав избирались почетными академиками писатели, художники и литературные критики. Они не входили в штат Академии, но могли присутствовать без права голоса на заседаниях этого Отделения (Академия наук СССР. Персональный состав. М., 1974. Кн. I. С. XIII). Вл. С. Соловьев был избран почетным академиком по Разряду изящной словесности 8 января 1900 г. вместе с Л. Н. Толстым, В. Г. Короленко, А. П. Чеховым, А. М. Жемчужниковым, А. А. Потехиным и А. А. Голенцевым-Кутузовым.

²⁵ *...известная картина Габриэля Макса...* — Картина немецкого живописца Г. К. Макса (1840—1915) «Голова Христа».

²⁶ *Herr Professor* — господин профессор (нем.).

²⁷ *...прочел я в «Вестнике Европы» зимою 1890/91 года интересную статью Владимира Соловьева...* — В декабре 1890 г. в «Вестнике Европы» была опубликована статья Вл. Соловьева «Немецкий подлинник и русский список (по поводу «России и Европы» Н. Данилевского)», где он, продолжая полемику с Н. Н. Страховым, доказывает зависимость идей Н. Л. Данилевского от идей Г. Риккерта.

²⁸ *...некоторые публицисты, как, например, г. Спасович...* — Спасович В. Д. (1829—1908) — юрист, критик, публицист. См. его статью: Владимир Соловьев как публицист // *Вестник Европы.* 1901. № 1.

²⁹ С семьей Мартыновых Соловьев познакомился в московском кружке Соллогубов, Трубецких, Сухотиных и влюбился в замужнюю женщину — Софью Михайловну Мартынову. Летом 1892 г. он нанимает дачу в селе Морщиха, около станции Сходня Николаевской железной дороги, неподалеку от имения Мартыновой «Знаменское».

³⁰ *«Спасибо за беспокойство...»* — см.: Письма Владимира Сергеевича Соловьева (далее: Письма). I. С. 219.

³¹ См.: Письма. I. С. 228.

³² *Казармы* — казенная квартира В. Д. Кузьмина-Караваева. В шуточном контексте этот петербургский адрес Соловьева (Вознесенский пр., 16) упоминается им в письме М. М. Стасюлевичу: «Я думаю, что в моем предстоящем некрологе, а также в посвященной мне книжке биографической библиотеки Павленкова будет, между прочим, сказано: “Лучшие зрелые годы этого замечательного человека протекли под гостеприимною сенью казарм кадрового батальона лейб-гвардии резервного пехотного полка”...» (Письма. IV. С. 7).

³³ *«Всякое действие...»* — из письма В. Л. Величко от 23 апреля 1895 г. (Письма. I. С. 226).

³⁴ Жуковский П. В. (1845—1912) — художник и архитектор, крестный сын Александра II, один из авторов памятника царю-освободителю в Московском Кремле, снесенного в 1918 г. по распоряжению В. И. Ленина.

³⁵ *Herein!* — Войдите! (нем.).

³⁶ *Sub specie aeternitatis* — с точки зрения вечности (лат.).

³⁷ *...sub specie svinitatis (species nova, non re scilicet, sed verbo, prius non audita, a me inventa et in latinitatem infiman introducta)* — *de quibus scribere non oportet*. — с точки зрения свинства (идея новая, не делом, конечно, но словом, прежде не слыханным, а найденным мной и приведенным в соответствие с чистой начальной ступени латынью) — о которых не должно писать (лат.).

³⁸ *Sub speciebus omnibus* — со всех точек зрения (лат.).

³⁹ «*Bouquet Solovieff*» — «букет Соловьева» (фр.).

⁴⁰ Кайгородов Д. Н. (1846—1924) — естествоиспытатель, популяризатор естествознания, фенолог. См.: Кайгородов Д. Н. Из царства пернатых: Популярные очерки из мира русских птиц. СПб., 1892.

⁴¹ ...стихотворением, в котором Владимир Соловьев читает мораль «морским чертям». — Стих. Вл. Соловьева «*Das Ewigweibliche*» («Слово увещательное к морским чертям») (1898).

⁴² Субботин А. П. (1852—1906) — издатель «Экономического журнала» (1885—1894), автор работ по экономике России.

⁴³ ...г. А. Введенский... находит и метафизическое объяснение упомянутому мистическому стихотворению Соловьева... — Введенский А. Призыв к самоуглублению. М., 1900. С. 19—20.

⁴⁴ Леонарди Д. (1798—1839) — итальянский поэт.

⁴⁵ *Je suis venu trop tard...* — неточная цитата из поэмы А. де Мюссе «Ролла» (1833).

⁴⁶ ...«Историю культуры» Генриха Риккерта... — Книга Генриха Рюккерта (1823—1875) «Учебник всемирной истории в органическом изложении» издана в 2 томах на немецком языке в Лейпциге в 1857 г. (*Rückert H. Lehrbuch der Weltgeschichte in organischer Darstellung. Leipzig, 1857*). В полемике с Н. Страховым Вл. Соловьев доказывал, что теория Н. Данилевского заимствована из книги немецкого историка Г. Риккерта. См.: Соловьев Вл. Немецкий подлинник и русский список // Соловьев Вл. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 561—591.

⁴⁷ *Где в рубашах Ганимеды...* — из стих. Вл. Соловьева «М. А. Кавосу» (1890-е гг.).

⁴⁸ ...Владиславлев в своей знаменитой «Философии о рангах»... — «Философией о рангах» Вл. Соловьев называет психологическую теорию М. И. Владиславлева (см.: Владиславлев М. И. Психология. Т. 2. СПб., 1881), в которой он выделяет две «гаммы» чувствований: положительную и отрицательную. К первой относятся различные степени уважения, удивления, величия, а ко второй — различные степени пренебрежения и презрения. Пропорционально богатству растут положительные чувствования субъекта, и наоборот.

⁴⁹ Розен В. Р., барон (1849—1908) — востоковед-арабист, академик (с 1879 г.).

⁵⁰ Баязитов А. (1846—?) — писатель. С 1871 г. имам столичной мечети, в 1880 г. возведен в сан ахуна. Переводчик с тюркских языков в Министерстве иностранных дел, составитель биографии Магомета на татарском языке: «Возникновение Ислама» (1881).

⁵¹ «Замечания ваши...» — См.: Письма. Т. I. С. 216.

⁵² «Чухонка родила двойню...» — См.: Письма. I. С. 225—226.

⁵³ «Христос Воскресе! Милый друг...» — См.: Письма. I. С. 222.

⁵⁴ «Во избежание всякой возможности недоразумений...» — см.: Письма. I. С. 217.

⁵⁵ Коялович Михаил Иосифович (1828—1891) — историк, публицист.

⁵⁶ «Не по воле судьбы...» — стих. Вл. Соловьева. См.: Стих. 1. С. 30.

⁵⁷ «Там, под липой...» — стих. Вл. Соловьева (1886).

⁵⁸ «Вы были для меня, прелестное создание...» — стих. Вл. С. Соловьева. См.: Стих. 1. С. 44.

⁵⁹ ...слова Писания об узких вратах в Царствие Небесное. — «Входите тесными вратами: потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф. 7, 13—14). «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо сказываю вам, многие поищут войти и не смогут» (Лк. 13, 24).

⁶⁰ «Мир меня ловил, но не поймал». — Надпись на надгробном камне на могиле Г. С. Сковороды. По свидетельству друга и биографа Г. С. Сковороды, М. И. Ковалинского, надпись была сделана по завещанию самого покойного. См.: Сковорода Г. С. Сочинения: В 2 т. М., 1973. Т. 2. С. 412.

А. Белый

Владимир Соловьев. Из воспоминаний

Впервые: РС. 1907. Печатается по: Белый А. Арабески. М., 1911.

¹ ...нечто вроде вагнеровского *Wanderer'a*... — *Wanderer* (Путник) — персонаж оперы Р. Вагнера «Зигфрид».

² Для меня был он одним из музыкантов... в «Драме жизни»... — «Драма жизни» — пьеса норвежского писателя К. Гамсуна (1896).

³ Стороженко Н. И. (1836—1906) — филолог, профессор Московского университета. Об отношении Н. И. Стороженко к Вл. Соловьеву см.: Лукьянов С. М. Указ. соч. Кн. II. С. 46; Кн. III. С. 310, 311.

⁴ «Il était bizarre» — «Он был странен» (фр.).

⁵ ...«Полемизируй со Страховым, ибо Страхов — эмблема смерти». — Длительная полемика Вл. Соловьева с Н. Н. Страховым завязалась из-за книги Н. Я. Данилевского «Россия и Европа», критику которой Вл. Соловьев изложил в статье «Россия и Европа» (1888). Н. Н. Страхов выступил с замечаниями: «Наша культура и всемирное единство: Замечания на статью г. Вл. Соловьева “Россия и Европа”» (Русский вестник. 1888. № 6). Последующие статьи Вл. Соловьева — «О грехах и болезнях» (1889), «Мнимая борьба с Западом» (1890), «Счастливые мысли Н. Н. Страхова» (1890) —

вызвали соответствующие отклики Н. Н. Страхова: «Последний ответ г. Соловьеву» (Русский вестник. 1889. № 2), «Спор из-за книг Данилевского» (Русский вестник. 1889. № 12), «Новая выходка против книги Данилевского» (Новое время. 1890. № 5231), «Борьба с Западом в нашей литературе» (1890).

М. С. Безобразова

Воспоминания о брате Владимире Соловьеве

Печатается по первопубликации: Минувшие годы. 1908. № 5—6.

Безобразова (урожд. Соловьева) *Мария Сергеевна* (1863—1918) — младшая сестра Вл. Соловьева, вышла замуж за известного византиниста П. В. Безобразова. У супругов Безобразовых было три дочери. В 1914 г. изданы в переводе М. С. Безобразовой «Византийские портреты» Ш. Диля под редакцией и с предисловием П. В. Безобразова. Замечания по поводу «Воспоминаний о брате Владимире Соловьеве» см.: *Мережковский Д. С.* В тихом омуте. СПб., 1908. С. 259.

¹ *Bon mots* — острот (фр.).

² *Séne, sortez!* — Сена, выйдите! (фр.).

³ *Séne, filez.* — Сена, уйдите (фр.).

⁴ «*Ah, bel ermite! tu ne les sauras donc jamais, les tentations de st. Antoine!*» — «О, прекрасный отшельник! Да не узнаешь ты никогда искушений св. Антония!» (фр.).

⁵ *Бернар Сара* (1844—1923) — французская драматическая актриса, трижды была на гастролях в России (в 1881, 1892 и 1908 гг.).

⁶ *Jours fix* — приемный день (фр.).

⁷ ...из «*Адриенны Лекуврер*» и «*Фру-Фру*»... — «Адриенна Лекуврер» — пьеса французских драматургов Э. Скриба и Э. Легуве (1849). «Фру-Фру» — водеvil французского драматурга А. Мельяка (1869).

⁸ ...*бывшего тогда в Москве кружка шекспиристов*... — Членами шекспировского кружка, организованного в 1875 г. и просуществовавшего около 10 лет, были ученики Поливановской гимназии. К кружку примыкали также С. М. Соловьев, И. С. Аксаков, Н. Х. Кетчер и др. Сам Вл. Соловьев Шекспиром не увлекался и особенной ревности к серьезным задачам кружка не проявлял. См.: *Лукьянов С. М.* Указ. соч. Кн. I. С. 391.

⁹ *Bonne chère* — хороший стол (фр.).

¹⁰ ...*та, которую он называл своей невестой*... — Хитрово (урожд. Бахметьева) Софья Петровна, племянница жены графа А. К. Толстого, Софьи Андреевны.

А. Ф. Кони

Из статьи «Вестник Европы»

Впервые: Московский еженедельник. 1908. № 48, 50. Печатается по: *Кони А. Ф.* Собр. соч.: В 8 т. М., 1969. Т. 7.

Кони Анатолий Федорович (1844—1927) — известный юрист, общественный и государственный деятель, писатель.

¹ ...публициста, которого печатно прозвал «Иудушкой Головлевым». — Имеется в виду В. В. Розанов. См. статью Вл. Соловьева «Порфирий Головлев о свободе и вере» (Вестник Европы. 1894. № 2).

² «*Sursum corda!*» — Горé имеем сердца! (лат.).

³ ...«отжившим и нежившим»... — из стих. Н. А. Некрасова «Я не люблю иронии твоей» (1850).

⁴ «*Quand celui qui écoute ne comprend pas et celui qui parle ne se comprend plus — c'est de la métaphysique*». — «Когда тот, кто слушает, не понимает, и тот, кто говорит, перестает себя понимать, — это называется метафизикой» (фр.).

⁵ «Горизонты вертикальные...», «На небесах горят паникадила...» — пародии Вл. Соловьева на стихи поэтов-символистов, впервые напечатанные в № 10 «Вестника Европы» за 1895 г.

⁶ ...полемика с Б. Н. Чичериным по поводу «Оправдания добра»... — см.: Вопросы философии и психологии. 1897. № 39 (4).

⁷ ...как колокол на башне вечевой... — из стих. М. Ю. Лермонтова «Поэт» (1839).

⁸ «Вы — «стадо баранов» — печально...» — см.: Соловьев Владимир. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. С. 166.

⁹ Будучи избран одним из девяти первых почетных академиков... — Вл. Соловьев был избран почетным академиком 8 января 1900 г. вместе с А. Ф. Кони, Л. Н. Толстым, К. К. Романовым, А. А. Потехиным, А. М. Жемчужниковым, А. А. Голенищевым-Кутузовым, А. П. Чеховым и В. Г. Короленко.

¹⁰ ...книги Подмора о телепатии... — Герней Э., Майерс Ф., Подмор Ф. Прижизненные призраки и другие телепатические явления. СПб., 1893.

¹¹ ...стал творить заклинание Петра Могилы... — Петр Могила — киевский митрополит XVII века, автор книги «Православное исповедание католической и апостольской Церкви восточной».

¹² ...в подмосковном имени князя Трубецкого... — село Узкое, где 31 июля 1900 г. умер Вл. Соловьев.

Д. Н. Цертелев

Из воспоминаний о Владимире Сергеевиче Соловьеве

Печатается по первопубликации: С.-Петербургские ведомости. 1910. № 211 (21 сент.).

Цертелев Дмитрий Николаевич, князь (1852—1911) — поэт, публицист, философ, автор книг «Философия Шопенгауэра» (СПб., 1880), «Эстетика Шопенгауэра» (СПб., 1888); переводчик «Фауста» Гете (1891), друг Вл. С. Соловьева с гимназических лет.

¹ ...в «Вестнике Европы» напечатано было несколько писем Вл. С. Соловьева... — См.: Вестник Европы. 1902. № 8.

² ...благодаря поспешности работ комиссии Д. Ф. Кобеко... — Д. Ф. Кобеко (1837—?) — писатель и государственный деятель, в 1904 г. был назначен председателем комиссии по составлению нового законопроекта о печати. Разработанные комиссией «Временные правила о печати» вступили в силу 24 ноября 1905 г.

³ «Два Рима пало, третий стоит, четвертому — не бывать». — Изречение, принадлежащее старцу Трехсвятительского псковского Елеазарова монастыря, писателю XVI в. Филофею. См.: *Малинин В.* Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания. Киев, 1901. С. 383.

⁴ «Мы не все умрем, а все изменимся...» — 1 Кор. 15, 51.

⁵ ...у Бога один день и целый век — как миг один... — См.: 2-е послание Петра, 3, 8 («...у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день»).

⁶ «Послал тебе телеграмму...» — См.: Письма. II. С. 230.

⁷ ...когда «нам были новы все впечатленья бытия». — Неточная цитата из стих. А. С. Пушкина «Демон» (1823).

⁸ «Помнишь ли, бывало...» — из стих. Вл. Соловьева «Другу молодости» (1896).

⁹ Виконт Ф. Лессепс был инициатором строительства Суэцкого канала в Египте.

¹⁰ В одном из своих стихотворений Соловьев подробно вспоминает о своем первом пребывании в Каире... — Имеется в виду поэма Вл. Соловьева «Три свидания» (1898).

¹¹ ...ген[ерала] Ф... — генерала Р. А. Фадеева.

¹² «Могу написать тебе несколько слов...» — См.: Письма. II. С. 231.

¹³ «Благодарю тебя за участие...» — См.: Письма. II. С. 232.

¹⁴ Лиупяги — Имение кн. Д. Н. Цертелева в Тамбовской губ., где часто гостил Вл. Соловьев.

¹⁵ Ормузд и Ариман — верховные божества добра и зла в зороастризме.

Н. А. Макшеева

Воспоминания о Вл. С. Соловьеве

Печатается по первопубликации: Вестник Европы. 1910. № 8.

Макшеева Наталья Алексеевна (1869— после 1933) — литературный критик и педагог, в 1900—1910 гг. преподавала в воскресных и частных школах, дочь генерала А. И. Макшеева.

¹ ...попадает в «Вестнике Европы» одна из статей Вл. Соловьева... — Введение и отдельные главы «Оправдания добра» печатались в «Вестнике Европы» за 1894 (№ 11, 12), 1895 (№ 1, 3, 11) и 1896 г. (№ 12).

² Вейнберг Петр Исаевич (1831—1908) — поэт, переводчик, литературовед, почетный академик (с 1905 г.); читал курсы всеобщей и русской литературы на Женских педагогических курсах в Петербургском университете.

³ *Idem* — то же самое (лат.).

⁴ Коснулись статьи Толстого об эмпирической нравственности. — Статья Л. Н. Толстого «Религия и нравственность» (1893) была опубликована в журнале «Северный вестник» (1894. № 1) с измененным редакцией заглавием: «Противоречия эмпирической нравственности».

⁵ Ренан Ж. Э. (1823—1893) — французский писатель, историк религии, филолог-востоковед.

⁶ «*Vie de Jésus*» — «Жизнь Иисуса» (фр.).

⁷ ...стихотворение, посвященное памяти Герцена (напечатанное... во «Всемирном вестнике» за 1906 г.). — См.: Макшеева Н. А. Памяти А. И. Герцена // Всемирный вестник. 1905. № 1.

⁸ Бирюков Павел Иванович (1860—1931) — писатель, общественный деятель, биограф Л. Н. Толстого.

⁹ ...диссертацию Карелина об итальянском гуманизме. — «Ранний итальянский гуманизм и его историография» (1890—1892).

¹⁰ Вагнер Н. П. (1829—1907) — профессор зоологии Казанского, а затем Петербургского университета, издатель журнала «Свет» (1876—1878 гг.). Литературный псевдоним «Кот Мурлыка».

¹¹ ...на открытии Философского общества в Петербурге. — Философское общество при императорском С.-Петербургском университете было открыто в конце 1897 г.

¹² «*Mea culpa, tea maxima culpa*». — «Моя вина, моя величайшая вина» (лат.).

¹³ ...дрейфусовской драмы... — Дело офицера французской армии еврея А. Дрейфуса, обвиненного в шпионаже и приговоренного в 1894 г. к пожизненному заключению. В 1906 г., после третьего следствия, А. Дрейфус был полностью оправдан.

Л. М. Лопатин

Памяти Вл. С. Соловьева

Печатается по первопубликации: Вопросы философии и психологии. 1910. № 105 (5).

Лопатин Лев Михайлович (1855—1920) — друг Вл. Соловьева с детских лет, философ и психолог, профессор Московского университета, редактор журнала «Вопросы философии и психологии», председатель Московского психологического общества (с 1899 г.).

А. А. Блок

Рыцарь-монах

Печатается по первопубликации: О Вл. Соловьеве. Сб. первый. М., 1911.

Блок Александр Александрович (1880—1921) — поэт, испытавший (с 1911 г.) влияние мистической поэзии Вл. Соловьева.

¹ ...я провожал гроб умершей. — О встрече с Вл. Соловьевым в феврале 1900 г. на похоронах родственницы Блока см. также: Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 8. С. 128.

² Когда... он пророчествовал о панмонголизме в зале городской Думы, один известный мистик счел остроумным упасть со стула. — Речь идет о чтении Вл. Соловьевым «Краткой повести об антихристе» 26 февраля 1900 г. и о В. В. Розанове, который «задремал и упал со стула». См.: Голлербах Э. Ф. В. В. Розанов: Жизнь и творчество. Пб., 1922. С. 35.

³ Ἀνάμνησις — воспоминание (греч.).

⁴ Он не заметил Ницше, он односторонне оценил Пушкина и Лермонтова. — Суждение о Ницше см. в статье Вл. Соловьева «Идея сверхчеловека» (1899). Характеристики Пушкина и Лермонтова даны в статьях «Судьба Пушкина» (1897), «Особое чествование Пушкина» (1899), «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина» (1899), «Лермонтов» (1899).

⁵ «Смерть и время царят на земле...» — из стих. Вл. Соловьева «Бедный друг, истомил тебя путь...» (1887).

⁶ «Я, Владимир Соловьев...» — Блок пересказывает и цитирует поэму Вл. Соловьева «Три свидания».

⁷ «Ave, gratie plena» — «Радуйся, благодатная» (лат.).

⁸ ...открыл истинное лицо... О. Конта... — См. статью Вл. Соловьева «Идея человечества у Августа Конта» (1898).

⁹ ...мифу о Персее и Андромеде... — Дочь царя Кефея Андромеда была предназначена в жертву морскому чудовищу и томила, прикованная к утесу, пока Персей не освободил ее.

¹⁰ «И в этот миг незримого свиданья...» — из стих. Вл. Соловьева «Зачем слова? В безбрежности лазурной...» (1892).

Н. К. Никифоров

Петербургское студенчество и Влад. Серг. Соловьев

Печатается по: Вестник Европы. 1912. № 11. В другой редакции: Н. Н.-в. Вл. Серг. Соловьев как профессор (отрывки из воспоминаний) // Варшавский дневник. 1900. № 227.

Никифоров Николай Константинович — выпускник Санкт-Петербургского университета, журналист, сотрудник газеты «Варшавский дневник».

¹ Вл. С. Соловьев начал читать лекции в С.-Петербургском университете, если не изменяет мне память, в 1880 году. — После защиты докторской диссертации (в апреле 1880 г.) Соловьев стал читать лекции в Санкт-Петербургском университете в качестве приват-доцента.

² Sine qua non — без чего нет (лат.).

³ «Минута» — ежедневная газета, выходившая в Петербурге с конца 1880 по 1890 г. под редакцией И. А. Баталина, С. Добродеева, А. Пороховщикова и др.

⁴ ...эпохи горячих споров между чернопеределцами и народовольцами. — В августе 1879 г. «Земля и воля» распалась на «Народную волю» и

«Черный передел» вследствие разногласий по отношению к заговору и террору.

⁵ «Ах, без жизни проносится жизнь вся моя!..» — из стих. П. Ф. Якубовича «Битва жизни» (1880).

⁶ «Угрозы и клики носились кругом...» — из стих. П. Ф. Якубовича «Спор» (1882).

⁷ ...печатно выступал «против позитивистов». — Имеется в виду магистерская диссертация Вл. Соловьева «Кризис западной философии (против позитивистов)» (1874).

⁸ «В незримой глубине сознания мирового...» — из стих. Вл. Соловьева «Ночь на Рождество» (1894).

⁹ Вместе с Паскалем он был убежден, что «каждая душа по природе христианка». — Впервые это утверждение встречается у раннехристианского апологета Тертуллиана (160—230). См.: Тертуллиан. Творения. Киев, 1910. Ч. 1. С. 130.

¹⁰ «Мыслитель, вдумчивый певец...» — из стих. А. М. Жемчужникова «Памяти Владимира Сергеевича Соловьева». См.: Вестник Европы. 1900. № 60.

¹¹ «Жизнь только подвиг, и правда живая...» — из стих. Вл. Соловьева «Если желанья бегут, словно тени...» (1893).

¹² «Стоит ли жить в этой тьме заблуждений...» — из стих. Вл. Соловьева «Если желанья бегут, словно тени...» (1893).

¹³ «Тот высший мир манил его...» — из стих. А. М. Жемчужникова «Памяти Владимира Сергеевича Соловьева».

¹⁴ Quos ego!.. — Я вас!.. (лат.).

¹⁵ ...чтобы быть апостолом Павлом, нужно пройти через «дышавшего угрозами и убийством» Савла. — Савл — первоначальное имя апостола Павла, жестокого гонителя христиан. См.: Деяния святых Апостолов, 9, 1.

¹⁶ ...знаменитой лекции. Я не помню, где именно она была прочитана... — Лекция 28 марта 1881 г. была прочитана Вл. С. Соловьевым в зале Кредитного общества, располагавшегося около Александринского театра.

¹⁷ «...я пишу письмо государю...» — Письмо Вл. Соловьева Александру III было опубликовано П. Щеголевым по списку, полученному от г-жи Хитрово (см.: Былое. 1906. № 3. С. 54—55), а затем по тексту подлинника (см.: Былое. 1918. № 4—5 (32—33). С. 336).

Л. П. Никифоров

Из воспоминаний о Владимире Сергеевиче Соловьеве

Печатается по первопубликации: Вестник Европы. 1913. № 11.

¹ ...знаменитые «памятки» — солдатскую и офицерскую. — «Солдатская памятка» (1901) и «Офицерская памятка» (1901) Л. Н. Толстого были напечатаны в 1902 г. в Англии, в издательстве В. Г. Черткова «Свободное слово». В России «Памятки» вышли в 1906 г. в петербургском издательстве «Обновление».

² ...*третью статью Соловьева о «Смысле любви», только что появившуюся тогда в журнале «Вопросы философии и психологии».* — См.: Вопросы философии и психологии. 1893. № 16 (1).

³ ...*А. В. Васильев... задумал издавать журнал «Русская беседа».* — Ежемесячный литературно-политический журнал, издававшийся в Петербурге в 1895—1896 гг. А. В. Васильевым и Е. А. Евдокимовым и продолжавший линию славянофильского издания того же названия, выходившего в Москве в 1856—1860 гг.

⁴ ...*только что вышедшую книгу Дрюммонда «Восхождение Человека» (The Ascent of man).* — Книга английского богослова и естествоиспытателя Г. Дрюммонда «Восхождение человека» вышла на английском языке в 1894 г.

⁵ *Мой перевод этой последней книги... был помещен в «Русской беседе»...* — Сокращенный перевод Л. П. Никифорова книги Г. Дрюммонда «Естественный закон в духовном мире» (1883) был опубликован в «Русской беседе» за 1895 (№ 6—12) и 1896 гг. (№ 3).

⁶ *Федоров Николай Федорович (1828—1903)* — известный религиозный философ, представитель русского космизма, библиотекарь Румянцевского музея (1874—1898 гг.), автор «Философии общего дела».

В. А. Пыпина-Ляцкая

Владимир Сергеевич Соловьев: Страничка из воспоминаний

Печатается по первопубликации: Годы минувшего. 1914. № 12.

Пыпина (в замужестве Ляцкая) *Вера Александровна* (1864—1930) — дочь А. Н. Пыпина, художница, автор книги «Любовь в жизни Чернышевского» (Пг., 1923).

¹ *Пыпин Александр Николаевич (1833—1904)* — профессор Петербургского университета (в 1860—1861 гг.), академик (с 1898 г.), историк литературы, с 1866 г. сотрудник «Вестника Европы».

² ...*перевод книжки о «телепатических явлениях»...* — *Герней Э., Майерс Ф., Подмор Ф.* Прижизненные призраки и другие телепатические явления / Сокращенный перевод под ред. и с предисловием Владимира Соловьева. СПб., 1893.

³ *Чернышевский Михаил Николаевич (1858—1924)* — младший сын писателя, издатель его сочинений, первый директор Дома-музея Н. Г. Чернышевского.

⁴ ...*знаменитой статьи Герцена в «Колоколе»...* — Речь идет о статье А. И. Герцена «Н. Г. Чернышевский» (Колокол. 1869. 15 июня).

⁵ ...*только что появившуюся пьесу Минского «Альма».* — «Альма» Н. Минского вышла в Петербурге в марте 1900 г.

Н. В. Давыдов

Из воспоминаний о В. С. Соловьеве

Печатается по первопубликации: Годы минувшего. 1916. № 12.

Давыдов Николай Васильевич (1848—1920) — председатель окружного суда в Москве (1909 г.), председатель московского театрально-литературного комитета и Гоголевской комиссии Общества любителей российской словесности (с 1907 г.), публицист, автор воспоминаний «Из прошлого» (Ч. 1—2. М., 1913, 1917), друг Л. Н. Толстого.

¹ ...он напоминал Иоанна Крестителя на картине Иванова... — Имеется в виду картина А. А. Иванова «Явление Христа народу» (1837—1857).

² Стихотворение Соллогуба «Чем люди живы» приведено мною в очерке, посвященном ему... — См.: Давыдов Н. В. Граф Федор Львович Соллогуб // Давыдов Н. В. Из прошлого. М., 1913. С. 163—202.

³ «Люди живы Божьей лаской...» — См.: Соловьев Владимир. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. С. 86.

⁴ «Пророк». — См.: Соловьев Владимир. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. С. 140.

⁵ Оболенский А. Д., князь (1855—?) — судебный деятель, в 80-е гг. XIX в. служил в Министерстве юстиции, с 1897 г. — товарищ министра внутренних дел.

⁶ Лихунчан — Дипломат и государственный деятель Китая Ли Хунчжан (1823—1901).

Е. Н. Трубецкой

Знакомство с Соловьевым

Печатается по: Трубецкой Е. Воспоминания. Прага, 1922.

К. М. Ельцова

Сны нездешние (К двадцатипятилетию кончины В. С. Соловьева)

Печатается по первопубликации: Современные записки. Париж, 1926. № 28.

Ельцова К. М. (псевд.; наст. имя и фам. Екатерина Михайловна Лопатина; 1865—1935) — писательница, младшая сестра философа Л. М. Лопатина.

¹ «Здесь вы, нездешние...» — из стих. Вл. Соловьева «Вновь белые колокольчики» (1900).

² ...старший сын... — Всеволод Сергеевич Соловьев (1849—1903) — старший брат философа, писатель, автор исторических романов.

³ ...третий... — Михаил Сергеевич Соловьев.

⁴ ...младшая дочь... — Поликсена Сергеевна Соловьева.

⁵ ...еще одна — ...автор воспоминаний о своем брате Владимире... — М. С. Безобразова.

⁶ «Vous l'avez trop connu, pour le bien connaître». — «Вы были с ним слишком близко знакомы, чтобы хорошо его знать» (фр.).

⁷ *Отец мой был из первых судей нового суда Александра II...* — Лопатин М. Н. (1823—1900) — юрист. Новые судебные уставы были утверждены 20 ноября 1864 г.

⁸ «*Вакант*» — отпуск (от фр. *vacant* — свободный, пустующий).

⁹ *Сергей Михайлович, который в моем представлении... всегда писал свою «Историю»...* — Первый том труда С. М. Соловьева «История России с древнейших времен» вышел в 1851 г., и с тех пор каждый год выходило по тому. Последний (29-й) был издан в 1879 г. после смерти автора.

¹⁰ *Любовь (Степановна)* — Л. С. Соловьева, жена доктора Д. В. Степанова.

¹¹ *Николай* — Н. М. Лопатин (1854—1897) — юрист, собиратель и исполнитель народных песен.

¹² *Тарлатановый* — сделанный из тарлатана, прозрачной ткани.

¹³ *...каракозовский выстрел...* — Д. В. Каракозов стрелял в Александра II 4 апреля 1866 г. у ворот Летнего сада.

¹⁴ *Он кончил гимназию что-то очень рано.* — Вл. Соловьев учился в Московской 1-й (5-й) гимназии (1864—1869 гг.), которую окончил с золотой медалью.

¹⁵ *Уже в двадцать лет он кончил университет...* — В Московском университете Вл. Соловьев учился в 1869—1873 гг.

¹⁶ *...прожил год в академии Троицкой лавры...* — Осенью 1873 г. Вл. Соловьев поступил в Московскую духовную академию и поселился в Сергиевом Посаде.

¹⁷ *Мучила его одно время «любимовская» университетская история — и особенно статьи «Московских ведомостей» по ее поводу...* — Профессор физики Московского университета Н. А. Любимов, сотрудник «Московских ведомостей», выступил в газете Каткова против действующего университетского устава, заявив, что развитию университетов мешает их автономность. В 1875 г. была организована комиссия по пересмотру устава университетов, куда вошел и Любимов. Профессора и студенты Московского университета выступили против Любимова, который в ответ на это опубликовал в «Московских ведомостях» статью с обвинениями в адрес либеральной профессуры, что было воспринято как политический донос. В результате «любимовской» истории С. М. Соловьев вынужден был в 1877 г. оставить ректорство.

¹⁸ *Корш* Е. Ф. (1810—1897) — историк литературы, журналист и переводчик.

¹⁹ *Кетчер* Н. Х. (1809—1886) — врач, литератор-переводчик.

²⁰ «*Succès de scandale*» — скандальный успех (фр.).

²¹ *Берс* А. Е. (1808—1868) — врач Московской дворцовой конторы, отец С. А. Толстой.

²² *Ce n'est rien, tamen, c'est pour les bêtises...* — Ничего, матушка, это для глупостей... (фр.).

²³ *...on peut faire des bêtises, encore ça passe. Mais faire quelque chose pour les bêtises... — je trouve que c'est trop...* — Можно делать глупости, это еще может пройти. Но делать что-либо для глупостей... — я нахожу, что это чересчур... (фр.).

²⁴ *Plein-pied* — непосредственно (фр.).

- ²⁵ *Шумахер П. В. (1817—1891)* — поэт, известен своими сатирами.
- ²⁶ «*Я странник на земле...*» — Псалтырь, 118, 19.
- ²⁷ *Макферлан* — мужское пальто особого покроя, крылатка.
- ²⁸ *Черняев М. Г. (1828—1898)* — известный генерал, главнокомандующий в сербско-турецкой войне 1875—1876 гг.
- ²⁹ *Юрьев С. А. (1821—1888)* — литературный деятель. Председатель Общества любителей российской словесности (с 1878 г.) и Общества русских драматических писателей (с 1886 г.), основатель журнала «Русская мысль».
- ³⁰ ...*когда он позировал Крамскому для известного портрета... «Боженька, боженька!»* — Портрет Вл. С. Соловьева работы И. Н. Крамского (1885) хранится в Гос. Русском музее.
- ³¹ *Письма к ней, напечатанные... в «Вестнике Европы»...* — Письма Вл. Соловьева к Е. В. Романовой были напечатаны в журнале «Русская мысль» (1910. № 5).
- ³² ...*повести «На заре туманной юности»...* — Повесть Вл. Соловьева «На заре туманной юности» впервые была опубликована в журнале «Русская мысль» (1892. № 5).
- ³³ «*Я не только верю во все сверхъестественное...*» — из письма Н. Н. Страхову от 12 апреля 1887 г. (Письма. I. С. 33).
- ³⁴ «*Пишу некролог Н. Н. Страхова...*» — из письма Э. Л. Радлову (Письма. I. С. 255).
- ³⁵ «*Видел Левона во сне в дурном виде...*» — из письма Н. Я. Гроту (1895) (Письма. I. С. 90, 91).
- ³⁶ *Иванцов-Платонов Александр Михайлович (1835—1894)* — протоиерей, писатель и проповедник.
- ³⁷ «*Милая мама...*» — из письма П. В. Соловьевой (1886) (Письма. II. С. 44).
- ³⁸ ...«*способны руководиться на деле началами евангельского учения...*» — Цитата из письма Ф. Б. Гецу от 5 марта 1891 г. (Письма. II. С. 163), которое было помещено в качестве предисловия к книге Ф. Б. Геца «Свобода подсудимому».
- ³⁹ ...«*в этом вопросе он находил поддержку у М. Н. Каткова и ссылался на статьи его в «Московских ведомостях».*» — В письме Ф. Б. Гецу от 5 марта 1891 г. Вл. Соловьев с сочувствием цитировал отрывки из статьи М. Н. Каткова (1882), посвященной еврейскому вопросу. См.: Письма. II. С. 164—165.
- ⁴⁰ *В 1885 году он писал епископу Штрессмайеру свое первое письмо...* — См.: Письма. I. С. 180.
- ⁴¹ «*Можно себе представить негодование московской славянофильской публики...*» — из письма К. О. Мартынову от 14 апреля 1887 г. См.: Письма. III. С. 23.
- ⁴² «*Не знаете, какого вы духа.*» — Лк. 9, 55.
- ⁴³ «*Я вернулся из-за границы...*» — из письма к о. архимандриту Антонию от 29 ноября 1886 г. (Письма. III. С. 189).
- ⁴⁴ ...*ad maiorem Dei, a ad maiorem Russiae gloriam...* — к величию Божьему, а во славу России (лат.).

⁴⁵ «...имеет теперь большую склонность пойти в монахи. Но пока это невозможно...» — из письма к о. архимандриту Антонию от 14 января 1887 г. См.: Письма. III. С. 191.

⁴⁶ Преображенский Василий Петрович (1864—1900) — писатель, член Московского психологического общества, с 1895 г. редактор журнала «Вопросы философии и психологии».

⁴⁷ Карелин Михаил Сергеевич (1855—1899) — историк, профессор Московского университета, читал историю на Высших женских курсах В. И. Герье.

⁴⁸ «...в Москве был особенный центр... дом графа Л. Н. Толстого в Хамовниках. — В 1882 г. семья Толстых купила дом в Домо-Хамовническом переулке в Москве. Теперь здесь Дом-музей Л. Н. Толстого (ул. Льва Толстого, д. 21).

⁴⁹ «...писал Толстому «изложение главного пункта разномыслия между мной и Вами». — Из письма Вл. С. Соловьева Л. Н. Толстому от 5 июля 1894 г. См.: Письма. III. С. 37.

⁵⁰ «А я, представьте себе, вчера ездил в Финляндию к Боткину...» — из письма П. В. Соловьевой от 26 июня 1889 г. См.: Письма. II. С. 64.

⁵¹ «...Фета, которого он называл в письмах «мой истинный антиутилитарный поэт»... — из письма А. А. Фету (1888). См.: Письма. III. С. 118.

⁵² «Тропинка» (1906—1912) — первый в России регулярный детский журнал, издававшийся в Петербурге П. С. Соловьевой и детской писательницей Н. И. Манасеиной.

⁵³ Книжка ее стихов удостоилась премии имени Пушкина. — Сборник стихов П. С. Соловьевой «Иней» (1905).

⁵⁴ «Об Левушке нет ни слуху ни духу...» — из письма П. В. Соловьевой (1887). См.: Письма. II. С. 53.

⁵⁵ «Я женщина без разума и воли...», «Он беззаконный отомстил супруге...» — Из стих. Вл. Соловьева «Таинственный пономарь» (1886).

⁵⁶ В письме этого священника, напечатанном в 1910 году в «Московских ведомостях»... — См.: Московские ведомости. 1910. № 253. Это письмо «Об исповедании В. С. Соловьева» было включено в III том Писем (С. 215—217).

⁵⁷ «...Соловьев присоединился к католицизму тайно и причащался у католического священника Н. Толстого. — Письмо Н. Толстого «Владимир Соловьев — католик» было напечатано в газете «Русское слово» в 1910 г. (№ 192 от 21 августа).

⁵⁸ «...по «униатскому обряду»... — Униатство — церковное течение, основанное на союзе (унии) различных христианских церковных организаций с католической Церковью на условии признания религиозного главенства папы римского и католической догматики при сохранении традиционного культа. С 1596 г. существует греко-католическая Церковь, возникавшая в результате Брестской унии (1596 г.).

И. И. Попов

Из книги «Минувшее и пережитое. Воспоминания»

Печатается по: Попов И. И. Минувшее и пережитое. Воспоминания. 2-е изд. М.; Л., 1933. Гл. X.

Попов Иван Иванович (1862—1942) — выпускник Петербургского педагогического института, один из организаторов и член центрального комитета «Молодой партии “Народной воли”».

¹ *Лекция была на философские темы...* — Лекция 28 марта: «Критика современного просвещения и кризис мирового процесса».

А. Л. Салтыков

Белые колокольчики: Воспоминания о Владимире Соловьеве

Печатается по первопубликации: Встречи. Париж, 1934. № 5.

Салтыков Александр Александрович, граф (1865—194?) — поэт, автор поэтического сборника «По старым следам» (Пг., 1915), эмигрант.

¹ *Concours hippique u concours érique* — состязания конные и состязания эпические (фр.).

А. М. Ремизов

Философская натура. Владимир Соловьев — жених

Печатается по первопубликации: Современные записки. Париж, 1938. № 66.

Ремизов Алексей Михайлович (1877—1957) — писатель, создатель «орнаментальной» прозы, с 1921 г. в эмиграции.

¹ *...в Знаменской коммуне...* — Организованная В. А. Слепцовым в Петербурге коммуна, в которой пытались осуществить социалистические идеи (свободный общественный труд, равноправие женщин). Просуществовала с 1 сентября 1863 г. по 1 июля 1864 г. и была распущена ее создателем ввиду угрозы репрессий.

² *...с Брешковской...* — Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская (1844—1934) — одна из главных деятельниц «Киевской коммуны», участница «хождения в народ», с 1879 по 1896 г. — на каторге и в ссылке.

³ *Katzenjammer* — похмелье (нем.).

⁴ *À propos des bottes* — ни к селу ни к городу (фр.).

⁵ *...по слову пророка Аввакума: «Не им было, а быть же было иным — если бы не они, то другие бы это сделали».* — Цитата из «Жития протопопа Аввакума» (ок. 1674).

⁶ *...«рубины уст ее, казалось, прикипали к самому сердцу».* — Цитата из повести Н. В. Гоголя «Вий». См.: Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 7 т. М., 1966. Т. 2. С. 186.

С. К. Маковский

Владимир Соловьев и Георг Брандес

Печатается по: Маковский С. К. Портреты современников. Нью-Йорк, 1955.

Маковский Сергей Константинович (1877—1962) — поэт и художественный критик, редактор-издатель журнала «Аполлон»; после революции в эмиграции.

¹ «*Entartung*» — «Вырождение» (нем.). Книга М. Нордау «Вырождение» вышла на русском языке в конце 1893 г.

² *À outrance* — до крайности (фр.).

³ ...из «Северного вестника», под редакцией Любови Гуревич, где царил Аким Львович Волынский (Флекснер). — «Северный вестник» — ежемесячный литературно-научный и политический журнал, издававшийся в Петербурге в 1885—1898 гг. С 1891 г. издательница его — Любовь Яковлевна Гуревич (1866—1940). Аким Львович Волынский (псевд.; наст. имя Хайм Лейбович Флекснер; 1861—1926) — литературный и балетный критик, историк и теоретик искусства. В 1889—1898 гг. — ведущий критик и идеолог «Северного вестника».

⁴ «Небеса унылы и пусты...» — из стих. З. Гиппиус «Посвящение». См.: Северный вестник. 1895. № 3.

⁵ ...Волынский поспешил издать своего «Леонардо да Винчи». Это обстоятельство навсегда поссорило его с Мережковскими. — Книга А. Л. Волынского «Леонардо да Винчи» вышла в 1900 г. Годом позже Д. С. Мережковский опубликовал 2-ю часть трилогии «Христос и Антихрист» — роман «Воскресшие боги: Леонардо да Винчи».

⁶ «Мир искусства» — литературно-художественный иллюстрированный журнал, издававшийся в Петербурге в 1899—1904 гг. Издатели в 1899 г. — кн. М. К. Тенишев и С. И. Мамонов, затем С. П. Дягилев (гл. ред.), с № 10 за 1903 г. редактором стал также А. Н. Бенуа.

⁷ «*Morgenröte*», «*Jenseits von Gut und Böse*» (нем.) — книги Ф. Ницше «Рассвет», «По ту сторону добра и зла».

⁸ ...появилась в «Вопросах философии и психологии» статья о Ницше Преображенского... — См.: Преображенский В. П. Фридрих Ницше: Критика морали альтруизма // Вопросы философии и психологии. 1892. № 15.

⁹ «*Intentions*» — «Замыслы» (англ.).

¹⁰ Бенуа А. Н. (1870—1960), Дягилев С. П. (1872—1929) — художники, организаторы и руководители объединения «Мир искусства».

¹¹ ...Бирдслея, о котором я написал несколько позже статью... — См.: Маковский С. К. Обри Бирдслей // Маковский С. К. Страницы художественной критики. Кн. I. СПб., 1909.

¹² ...вышел первый сборник Бальмонта «Под северным небом»... — Второй сборник стихов К. Бальмонта — «Под северным небом» — вышел в Петербурге в 1894 г., первый его «Сборник стихотворений» вышел в Ярославле в 1890 г.

¹³ ...«носились чайка, серая чайка...» — из стих. К. Бальмонта «Чайка», вошедшего в сборник «Под северным небом».

¹⁴ «Молодежь того времени слышала нечто подобное шуму...» — неточная цитата из первой главы «Воспоминаний об Александре Александровиче Блоке» Андрея Белого. См.: Александр Блок в воспоминаниях современников. М., 1980. Т. 1. С. 208.

¹⁵ ...Валерий Брюсов пролетел свой коротенький «*Chef d'Oeuvre*»... — Сборник стихов В. Брюсова «Шедевры» вышел в Москве в 1895 г. Статьи Вл. Соловьева «Русские символисты», «Еще о русских символистах» были напечатаны в «Вестнике Европы» за 1895 г. (№ 1, 10).

¹⁶ ...«слишком ранние предтечи...» — из стих. Д. С. Мережковского «Дети ночи» (1894).

¹⁷ ...благодаря Мамонтову и его опере... — Московская частная русская опера (1885—1904 гг.) — созданный С. И. Мамонтовым оперный театр в Москве.

¹⁸ С легкой руки Антона Рубинштейна... графа Шереметева и Зилоти создались отличные симфонические оркестры. — По инициативе А. И. Рубинштейна с 1887 г. в Петербурге возникли общедоступные концерты; 11 января 1898 г. графом А. Д. Шереметевым были учреждены народные концерты, переименованные позже в общедоступные симфонические; в 1903 г. пианист и дирижер А. И. Зилоти основал в Петербурге собственные симфонические концерты, знакомящие русскую публику с новейшими музыкальными сочинениями.

¹⁹ Ауэр Л. С. (1845—1930) — скрипач и дирижер. В 1868—1917 гг. руководил классами скрипки, квартета и камерного ансамбля в Петербургской консерватории.

²⁰ Урусов А. И., князь (1843—1900) — юрист, судебный оратор, под псевдонимом «Александр Иванов» печатал статьи о литературе.

²¹ *Pure sang* — типичный, настоящий (фр.).

²² «*Lisez Flaubert*» — «Читайте Флобера» (фр.).

²³ «*La Plume*» — «Перо» (1889—1913) — парижский журнал символистской ориентации.

²⁴ Георг Брандес умер... — в 1927 г.

²⁵ ...он уже приезжал в Россию и читал с успехом лекции о европейской литературе. — Впервые Г. Брандес посетил Россию в 1887 г., выступая с публичными лекциями по литературе в Москве и Петербурге.

²⁶ «*Les Grands courants du dix-neuvième siècle*» — «Великие течения мысли в девятнадцатом веке» (фр.).

²⁷ ...критического труда о Шекспире. — Речь идет о монографии Г. Брандеса «Вильям Шекспир» (1895—1896).

²⁸ ...князь Сергей Трубецкой (автор «Логоса») — С. Н. Трубецкой, автор исследования «Учение о логосе в его истории» (1900).

²⁹ Вейка — финн-извозчик с разукрашенной ленточками и бубенцами запряжкой.

³⁰ ...«Стране тысячи озер», по слову Рунеберга... — Цитата из стих. финско-шведского поэта И. Л. Рунеберга «Наш край», ставшего национальным гимном Финляндии.

³¹ «*Rien n'arrive*» — «все неизменно» (фр.).

³² ...книгу Милльса о «Философии бессознательного» Гамильтона. — Имеется в виду книга английского мыслителя и экономиста Д. С. Милля «Критика философии В. Гамильтона», которая вышла в русском переводе в 1869 г.

³³ «*Tu Marcellus eris!*» — «Ты будешь Марцелл!» (лат.).

³⁴ «Безмолвный край...» — из стих. С. Маковского «Безмолвный край, угрюмый край, холодный край». См.: *Маковский С.* Собрание стихов. СПб., 1905. Кн. первая. С. 89.

³⁵ ...мысль Ницше: «Цель культуры — создание великих людей»... — «Воспитывать великих людей — высшая задача человечества». См.: *Ницше Ф.* Полн. собр. соч. М., 1911. Т. 3. С. 339.

³⁶ ...на эту книгу проникновенно ответил Лев Шестов... — См.: *Шестов Л.* Шекспир и его критик Брандес // Шестов Л. Собр. соч.: В 6 т. СПб., 1911. Т. 1.

³⁷ *À livre ouvert* — без подготовки, с листа (фр.).

³⁸ ...еще Пушкин сказал: «Отелло от природы не ревнив...» — «Отелло от природы не ревнив — напротив: он доверчив», — писал А. С. Пушкин в заметках из «Table-Talk» (1834—1836).

³⁹ *Башикицева* Мария Константиновна (1860—1884) — русская художница, жила за границей; автор «Дневника», переведенного почти на все европейские языки.

С. К. Маковский

Последние годы Владимира Соловьева

Печатается по: *Маковский С. К.* На Парнасе Серебряного века. Мюнхен, 1961.

¹ ...«где самые звуки звучат тишиной...» — из стих. Вл. Соловьева «Этот матово-светлый жемчужный простор...» (1894).

² ...он и сам вспоминает об этом увлечении в письме к брату Михаилу... — См.: Письма. IV. С. 132—133.

³ Существует мнение у биографов Соловьева, что он был знаком с Н. Е. и раньше... — См.: *Лукьянов С. К.* Юношеский роман В. С. Соловьева в двойном освещении // Журн. Мин-ва нар. просвещения. 1914. № 9. С. 132—133.

⁴ «Что ж он пророчит мне...» — из стих. Вл. Соловьева «Лишь только тень живых, мелькнувши, исчезает...» (1895).

⁵ ...прочитав историю философии Льюиса... — Книга английского философа-позитивиста Д. Г. Льюиса «История философии от начала ее в Греции до настоящих времен» в русском переводе вышла в 1865 г.

⁶ *Le prophète* — пророк (фр.).

⁷ ...Э. Л. Радлов многозначительно замечает: «Признание реальности мистических явлений...» — См.: *Радлов Э. Л.* В. С. Соловьев. Биографический очерк // Соловьев В. С. Собр. соч.: В 10 т. СПб., 1914. Т. 10. С. XXIV.

⁸ ...в письме к С. Венгеру: «На вопрос ваш, как я поживаю...» — См.: Письма. II. С. 321.

⁹ «О, как любовь все изменила...» — из стих. Вл. Соловьева «Я был велик. Толпа земная...» (1892).

¹⁰ «Булгаков Сергей. «Тихие думы». Из статей 1913—1915 гг. М., 1912. С. 112... — На самом деле: *Булгаков С.* Тихие думы. Из статей 1911—15 гг. М., 1918. С. 112. Маковский цитирует статью С. Булгакова «Владимир Соловьев и Анна Шмидт» из этого сборника.

¹¹ *Poverello* — бедный, нищий (итал.).

¹² ...возмущение вызвала в юбилейный пушкинский, 1899, год статья Соловьева, посвященная роковой дуэли. — Речь идет о статье Вл. Соловьева «Судьба Пушкина», впервые опубликованной в 1897 г. См.: Вестник Европы. 1897. № 9.

¹³ Соловьев «весь был блестящий, холодный...» — Цитируется примечание В. В. Розанова (1913) к VII письму Н. Н. Страхова в его переписке с В. В. Розановым. См.: Розанов В. В. Литературные изгнанники. СПб., 1913. Т. 1. С. 142.

¹⁴ «*La Russie et l'église universelle*» — «Россия и Вселенская церковь» (фр.).

¹⁵ «Более серьезных оговорок требуют два других произведения...» — Цитата из предисловия Вл. Соловьева к 3-му изд. стихотворений. См.: Соловьев В. Стихотворения. СПб., 1900. С. XIII—XV.

¹⁶ ...помещал «Воскресные письма»... в «Неделе» Гайдебурова... — «Воскресные письма» (1897—1898) Вл. Соловьева печатались в газете В. П. Гайдебурова «Русь».

¹⁷ ...блестяще полемизировал с Введенским (о Спинозе)... — См. работу Вл. Соловьева «Понятие о Боге (В защиту философии Спинозы)» (1897).

¹⁸ ...с Львом Толстым (о непротивлении злу)... — См. работу Вл. Соловьева «Три разговора» (1899—1900).

¹⁹ ...С Розановым и Тихомировым (о свободе совести и веротерпимости)... — См. статьи Вл. Соловьева «Порфирий Головлев о свободе и вере» (1894), «Спор о справедливости» (1894), «Конец спора» (1894).

²⁰ ...Анна Николаевна Шмидт... — Биографический очерк об А. Н. Шмидт (1851—1905) см.: Из рукописей Анны Николаевны Шмидт. М., 1916. С. I—XV.

²¹ В журнале Мережковских «Новый путь» (1904) была помещена ее статья «О будущности»... — См.: Новый путь. 1904. № 6.

²² ...ее «ответ» Андрею Белому. — Имеется в виду статья А. Н. Шмидт «Замечание по поводу одной теософской статьи» (1903—1904), написанная в ответ на статью Андрея Белого «О теургии» (1903). См.: Из рукописей Анны Николаевны Шмидт. С. 71.

²³ Так говорил о ней и Максим Горький в своих «Воспоминаниях». — См.: Горький М. Заметки из дневника. Воспоминания // Горький М. Полн. собр. соч. Художественные произведения: В 25 т. М., 1973. Т. 17. С. 45—57.

²⁴ Тернавцев В. А. (1866—1940) — чиновник Синода, писал по церковным вопросам.

²⁵ «*Les Revenants*» — «Призраки» (фр.).

²⁶ Эллис (псевд.; наст. имя и фам. Лев Львович Кобылинский; 1879—1947) — поэт и критик, теоретик символизма, впоследствии антропософ и католический монах.

²⁷ Мочульский К. Там же С. 251—252. — См.: Мочульский К. Владимир Соловьев: Жизнь и учение. Париж, 1951. С. 251—252.

²⁸ ...в его знаменитых трех речах 1881 года в память Достоевского. — 1-я речь Вл. Соловьева о Достоевском была произнесена 30 января 1881 г. на Высших женских курсах, 2-я речь была напечатана в газете «Новое время» в 1882 г. (№ 2133), 3-я — в еженедельнике «Русь» в 1883 г. (№ 6).

К. В. Мочульский

Владимир Соловьев: Жизнь и учение

Впервые: *Мочульский К.* Владимир Соловьев: Жизнь и учение. Париж: YMCA-Press, 1936. Печатается по: *Мочульский К. В.* Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1995. С. 63—216. В примечаниях к данной публикации использованы комментарии К. А. Александровой.

Мочульский Константин Васильевич (1892—1948) — историк русской литературы, критик и философ русского зарубежья.

¹ ...заключенную в Халкидонском догмате. — Догмат о двух природах во Христе — божественной и человеческой.

² *Бухарев* Александр Матвеевич (в монашестве архимандрит Феодор; 1824—1871) — профессор Московской и Казанской духовных академий.

³ *Эри* Владимир Францевич (1877—1917) — религиозный философ, один из основателей Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева в Москве.

⁴ *Крепок «Левитский корень»*... — Левиты, потомки колена Левитова, призванные для священнического служения (Исх. 4, 14—16).

⁵ ... о «вельможном прадеде Коваленском»... — Русский дворянский род, происходящий от киевского ловчего Статилова Коваленского (1676); к этому роду принадлежал Г. С. Сковорода.

⁶ «Станным ребенком был я тогда, странные сны я видал...» — строки из стих. Вл. Соловьева «Близко, далеко, не здесь и не там...» (1875—1876).

⁷ «Грубая кора вещества» — из поэмы Вл. Соловьева «Три свидания» (1898).

⁸ *Пордэдж* Дж. (1607—1681) — английский философ.

⁹ *Старший Лопатин* — брат Льва Михайловича Лопатина, философа и друга детства Вл. Соловьева, Николай Михайлович Лопатин.

¹⁰ А. А. Венкстерн, В. Е. Гиацинтов — члены кружка шекспиристов в Москве, объединявшего бывших воспитанников Поливановской гимназии. Алексей Алексеевич Венкстерн (1856—1909) — поэт, переводчик; Владимир Егорович Гиацинтов (1858—1933) — профессор истории искусства в Московском университете (с 1900 г.), поэт и пародист.

¹¹ Иван Осипович Лапшин служил в Петербурге по ведомству государственного контроля; у Лапшиных, к которым был близок Соловьев, собирався кружок спиритов.

¹² *Клименко* Елизавета Николаевна — участница кружка шекспиристов.

¹³ *Modo geometrico* — математический способ мышления (в философии Спинозы).

¹⁴ *Deus sive natura* — Бог или природа (лат.).

¹⁵ *Natura naturans, Natura naturata* — Природа творящая, Природа сотворенная (лат.).

¹⁶ «Весь мир во зле лежит» — 1 Ин. 5, 19.

¹⁷ *Transcensus* — переход (лат.).

¹⁸ ...в течение которых буду жить у Троицы... — у Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде.

¹⁹ *Иванцов-Платонов* — вероятно, речь идет об Александре Михайловиче Иванцове-Платонове, экстраординарном профессоре по кафедре церковной истории Московского университета.

²⁰ *Смирнов-Платонов* Григорий Петрович (1825—1898) — духовный писатель, протоиерей.

²¹ *Ad oculos* — наглядно (лат.).

²² *Иоанн Скот Эриугена* (ок. 810—ок. 877) — средневековый философ, создатель пантеистической системы в сочинении «О разделении природы».

²³ *Esse равно percipi*. — Существовать — значит быть воспринимаемым (лат.).

²⁴ *Св. Киприан* (ок. 210—258) — епископ Карфагенский, христианский апологет.

²⁵ «*Krisis der Vernunftswissenschaft*» — «Кризис науки разума» (нем.).

²⁶ *Срезневский* И. И. (1812—1880) — филолог-славист, этнограф.

²⁷ *Curriculum vitae* — анкета-автобиография (лат.).

²⁸ *Risum teneatis, amici!* — Сдержите смех, друзья! (лат.).

²⁹ *Замысловский* Е. Е. — доцент историко-филологического факультета Петербургского университета, читал курс по новой истории России.

³⁰ ...примыкавшие к *Славянскому Комитету*... — Славянский Комитет (или Славянское благотворительное общество) был учрежден в начале 1858 г. кружком московских славянофилов во главе с М. П. Погодиным с целью оказания благотворительности славянам; в 1868 г. был образован его петербургский отдел, занимавшийся также и издательской деятельностью.

³¹ *Капустин* Михаил Николаевич (1827—1899) — профессор Московского университета по кафедре международного права, член редакции журнала «Русский вестник».

³² ...*Кэт Фокс*... — Дочь американского фермера, в доме которого в 1848 г. стали слышаться «таинственные» шумы (что положило начало спиритизму), была признана медиумом.

³³ *У. Крукс, А. Уоллас* — английские физик и зоолог, изучавшие явления спиритизма.

³⁴ *Heimweh* — тоска по родине (нем.).

³⁵ *Симеон Новый Богослов* (ум. 1021) — христианский православный мистик.

³⁶ *Св. Тереза Авильская или Иисусова* (1515—1582) — католическая святая, представительница западной мистики.

³⁷ *Св. Иоанн Крита* (1542—1591) — католический святой, богослов и поэт, духовник Терезы Авильской.

³⁸ ...«*Фаворский свет*» *исихастов*. — Исихазм — православное аскетическое учение, оформившееся в XIV в. на Афоне. Исихасты учили о возможности соединения с Божественной энергией через «умную молитву» и созерцание света, явившегося на горе Фавор апостолам в момент Преображения Христа.

³⁹ *Ave, gratiae plena*. — Радуйся, благодатная (лат.).

⁴⁰ «*Principes de la religion universelle*» — «Начала вселенской религии» (фр.).

⁴¹ *Офир* — упоминаемая в Ветхом Завете страна, которая славилась золотом и драгоценностями.

⁴² ...в долине Саронской. — Речь идет о равнине Шарон на восточном побережье Средиземного моря, которая славилась своим плодородием и цветами. См. стихотворение Вл. Соловьева «От пламени страстей, нечистых и жестоких...» (1884): «Саронских пышных роз не меркнет красота».

⁴³ *Ауэр* Надежда Евгеньевна — жена скрипача Ауэра.

⁴⁴ *Forestiere* — лесник (ит.).

⁴⁵ *Плэрома* — полнота, совокупность эонов в гностицизме.

⁴⁶ *Ван-Гельмонт* Я. Б. — фламандский ученый, развивавший в сочинении «Рождение медицины» (1648) виталистическую идею Парацельса о существовании в организмах «духа жизни».

⁴⁷ *Фильтр* — название магических напитков в средневековых текстах.

⁴⁸ *Элифас Леви* — псевдоним французского аббата А. Констана (1810—1875), автора книг по магии.

⁴⁹ *Georg Gichtel* (нем.) — Гиштель Иоган Георг (1638—1710), немецкий теософ и мистик, последователь Я. Беме.

⁵⁰ *Достоевская* Анна Григорьевна (урожд. Сниткина; 1846—1918) — вторая жена Достоевского.

⁵¹ *Гессен* Сергей Иосифович (1887—1950) — русский философ, неокантианец, правовед, теоретик педагогики.

⁵² *Кушитское религиозное начало* — основное понятие философии истории А. С. Хомякова. В отличие от «иранского начала» — принципа свободы и цельности — оно есть принцип необходимости и внешнего единства.

⁵³ *Avec des apparences de bonté j'ai un coeur très méchant. C'est mauvais, mais je n'y puis rien.* — При видимости доброты, у меня очень злое сердце. Это плохо, но я ничего не могу с этим поделать (фр.).

⁵⁴ «*I am a rogue — cannot help it*». — «Я мерзавец и ничего не могу с этим поделать» (англ.).

⁵⁵ *Sacrum om profanum* — священное от профанного (лат.).

⁵⁶ «*Natur ist Sünde, Geist ist Teufel*». — «Природа — грех, дух — дьявол» (нем.).

⁵⁷ *Prima materia* — первая материя (лат.).

⁵⁸ «*Я огонь поедающий*» — неточная цитата из Ветхого Завета (Втор. 4, 24).

⁵⁹ *Св. Иустин* — христианский апологет II в.

⁶⁰ *Кенозис* (греч.). — самоумаление Бога в Его воплощении, вочеловечении, страданиях и крестной смерти за мир.

⁶¹ «*Я есмь путь, истина и жизнь: верующий в Меня имеет жизнь вечную*» — соединение двух цитат из Евангелия (Ин. 3, 16; Ин. 5, 24).

⁶² *В Новом Завете ап. Павел применяет это понятие непосредственно ко Христу.* — См.: Колос. 2, 3; 1 Коринф. 1, 23—24.

⁶³ «*Народ жестоковыйный с каменным сердцем*»... — неточная цитата из Нового Завета (Деян. 7, 51).

- ⁶⁴ «Рцы да камене сие хлебы будут»... — Лк. 4, 3.
- ⁶⁵ «Аще Сын еси Божий, верзися низу»... — Лк. 4, 9.
- ⁶⁶ «Сил вся тебе дам, аще пад поклонишися»... — Лк. 4, 7.
- ⁶⁷ *Шехина* — в Каббале эманация божества, динамическое место его присутствия.
- ⁶⁸ У католических поэтов культ вечной женственности слился с почитанием Мадонны... — в частности, в провансальской лирике.
- ⁶⁹ *Das Ewigweibliche* — вечно женственное (нем.).
- ⁷⁰ См. с. 866 наст. сб., примеч. к статье М. С. Безобразовой.
- ⁷¹ *Ведров* — преподаватель полицейского права в Петербургском университете.
- ⁷² «...ибо в дому Отца Моего обителей много». — Ин. 14, 2.
- ⁷³ *Ad usum bestiarum* — для животных (лат.).
- ⁷⁴ *Sui generis* — своего рода (лат.).
- ⁷⁵ «*Omnes iuva*», «*neminem laede*» — «всем помогай», «никому не вреди» (лат.).
- ⁷⁶ ...«имеет область чадом Божиим быти». — Ин. 1, 12.
- ⁷⁷ *Anamnesis* — припоминание (греч.). По Платону, это есть способ познания, ибо всякое познание есть воспоминание души о мире идей, который она некогда созерцала.
- ⁷⁸ *De realibus ad realiora* — от реального к более реальному (лат.).
- ⁷⁹ *De realioribus ad realia* — от более реального к реальному (лат.).
- ⁸⁰ *Дионисий Ареопагит* — афинский епископ I в., считавшийся автором трактатов «Мистическое богословие», «О божественных именах», «О небесной иерархии», «О церковной иерархии».
- ⁸¹ *Экхарт Иоганн Майстер* (ок. 1260—1327) — немецкий философ-мистик.
- ⁸² *Ex nihilo* — из ничего (лат.).
- ⁸³ ...с учением Савеллия и Иоахима Флоре... — Савеллий — еретик III в. н. э. из Птолемаиды Ливийской в Пентаполисе. Учил о постепенном самораскрытии единого Бога в мире в трех лицах: Отца, Сына и Св. Духа. *Иоахим Флоре* (Джоаккино да Фьоре, 1132—1202) — итальянский мыслитель, аскет, монах Цистерцианского ордена, основатель монастыря Сан-Джованни ин Фьоре как центра нового Флорского ордена. Учил о трех мировых эрах, соответствующих трем лицам Св. Троицы: Отцу, Сыну и Св. Духу.
- ⁸⁴ ...старца Паусия Величковского... — В миру Петр Иванович Величковский (1722—1794) — схиархимандрит, православный подвижник, переводчик христианской аскетической литературы. Канонизирован в 1988 г.
- ⁸⁵ *Эн-Соф* — абсолютность Божества в Каббале.
- ⁸⁶ К. Н. Бестужев-Рюмин в 1878—1882 гг. возглавлял Высшие женские курсы в Санкт-Петербурге, где преподавал Вл. Соловьев.
- ⁸⁷ «Лето Господнее благоприятное»... — См.: Ис. 61, 2; Лк. 4, 19.
- ⁸⁸ Н. К. Никифоров, журналист, выпускник Петербургского университета; в 1900—1910 гг. жил в Польше.
- ⁸⁹ *Ухтомский Э. Э.* — редактор газеты «Санкт-Петербургские ведомости», председатель правления Русско-китайского банка.

⁹⁰ *Слонимский* Леопольд Зиновьевич (1850—1918) — публицист «Вестника Европы».

⁹¹ *Лорис-Меликов* Михаил Тариелович (1825—1888) — главный начальник Верховной распорядительной комиссии по охране государственного порядка и общественного спокойствия (1880 г.); затем министр внутренних дел (1880—1881 гг.).

⁹² *Делянов* Иван Давыдович (1818—1897) — граф, министр народного просвещения, член Государственного совета.

⁹³ *...первый рай тысячелетнего царства.* — Царствование воскресших святых со Христом (Откр. 20).

⁹⁴ *...Достоевский — в подпольях и мертвых домах...* — речь идет о произведениях Ф. М. Достоевского «Записки из подполья» и «Записки из мертвого дома».

⁹⁵ *...«да будет»... «воля Твоя».* — Слова из христианской молитвы «Отче Наш».

⁹⁶ *...мерзость запустения на месте святе...* — Мф. 24, 15.

⁹⁷ *Евтихий* — архимандрит-еретик V в., отрицавший человеческую природу в Иисусе Христе, основатель монофизитства.

⁹⁸ *Fiat logica et pereat mundus.* — Да будет логика, и да погибнет мир (лат.).

⁹⁹ *...«не от мира сего».* — Ин. 18, 36.

¹⁰⁰ *От духа лестча* — от сатаны.

¹⁰¹ *«Аще оставим Его так; вси уверуют в Него, и приидут Римляне и возьмут место и язык наш...»* — Ин. 11, 48.

¹⁰² Ф. Б. Гец в 1853 г. окончил курс по факультету восточных языков, преподавал истрию в Виленском еврейском учительском институте (с 1909 г.).

¹⁰³ *Трактаты «Абот», «Абод-зара», «Иома», «Сукку»...* — «Абот» («Почтение отцов») — древнееврейский сборник изречений религиозно-нравственного содержания; «Абод-зара» («Чужой культ») — еврейский трактат об отношении евреев к языческим культам; «Иома» — еврейский трактат о порядке богослужения, связанного с праздником Иом-Киппур («день прощения»); «Сукку» — трактат о празднике Кущей.

¹⁰⁴ *...и пытался подчинить «царство благодати» порядку «царства подзаконного».* — См.: Послание к Галатам ап. Павла.

¹⁰⁵ *«...идеже правда живет»* — 2 Пет. 3, 13.

¹⁰⁶ *...цензоров Майкова и Феоктистова.* — Е. М. Феоктистов был с 1883 г. начальником Главного управления по делам печати, А. Н. Майков — поэт и цензор.

¹⁰⁷ *Грегуар* Анри (1750—1831) — французский аббат, деятель Реставрации, сторонник полной эмансипации евреев.

¹⁰⁸ *Мирабо* Габриель Оноре Рикети (1749—1791) — французский политический деятель, сторонник равноправия евреев.

¹⁰⁹ *Маколей* Томас Бабингтон (1800—1859) — английский историк и политический деятель, сторонник эмансипации английских евреев.

¹¹⁰ *Фудель* Иосиф Иванович (1864—1918) — кончил курс юридического факультета Московского университета. Под влиянием К. Леонтьева перешел

в православие и стал священником. Автор работы о К. Леонтьеве и Вл. Соловьеве.

¹¹¹ ...к автору «Вечерних огней»... — к А. А. Фету.

¹¹² «*De monarchia*» — «О монархии» (лат.).

¹¹³ *Строци* Джованни Баттиста-старший (1505—1571) — флорентийский поэт.

¹¹⁴ ...«отблеск нездешнего виденья» — из стих. Вл. Соловьева «Бескрылый дух, землею полоненный...» (1883).

¹¹⁵ «Даром получили, даром и давайте...» — Мф. 10, 8.

¹¹⁶ «Мир во зле лежит». — 1 Ин. 5, 19.

¹¹⁷ «И Слово плоть бысть и вселися в ны». — Ин. 1, 14.

¹¹⁸ «...яко время близ есть». — Откр. 1, 3; 2, 10.

¹¹⁹ ...толстые фолианты Манзи... — 31 том сочинений итальянского священника Ж. Д. Манси (1692—1769).

¹²⁰ ...греческую и латинскую патрологию Миня... — сочинения отцов Церкви, изданные французским аббатом Ж. П. Минем (1800—1875).

¹²¹ *Perrone* — речь идет о Джованни Перроне (1794—1815), итальянском богослове, преподававшем догматическое богословие в Римском колледже; входил в комиссию по определению догмата о непорочном зачатии на Ватиканском соборе.

¹²² «*Praelectiones theologicae*» — «Богословские лекции» (лат.).

¹²³ *Filiogue* (лат.) — букв. «и от Сына»; католическое добавление к Никео-Константинопольскому символу веры о том, что Дух Святой исходит не только от Бога Отца, но и Бога Сына.

¹²⁴ См. с. 831 наст. сб.

¹²⁵ «Отраднo спать, отрадней камнем быть». — Строка из тютчевского перевода эпиграммы Дж. Б. Строци на статую «Ночь» Микеланджело.

¹²⁶ «*Monseigneur! La Providence, la volonté du Souverain Pontife et Vos propres mérites ont fait de Vous un vrai médiateur entre le St. Siègе qui de droit divin possède les clefs des destinées futures du monde et la race slave qui selon toutes les probabilités est appelée à réaliser ces destinées*». — «Монсенъор! Провидение, воля Римского папы и Ваши собственные заслуги сделали Вас подлинным посредником между Св. Престолом, у которого по праву ключ от будущих судеб мира, и славянской расой, которая, по всей вероятности, призвана воплотить их» (фр.).

¹²⁷ *De facto, no ne de jure* — фактически, но не юридически (лат.).

¹²⁸ Давид велит Цадуку-священнику и Натану-пророку помазать Соломона в цари над Израилем... — 3 Цар. 1, 34.

¹²⁹ «Дадеся мне всяка власть». — Мф. 28, 18.

¹³⁰ «Се Аз с вами есмь во вся дни до скончания века» — Мф. 28, 20.

¹³¹ «*Medulla Theologiae dogmaticae*» — «Сущность догматической теологии» (лат.).

¹³² Хуттер — имеется в виду протестантский теолог Хуттер, занимавшийся рационалистической систематизацией протестантской теологии, формализуя ее по образу католической схоластики.

¹³³ *Regimen monarchicum* — царское войско (лат.).

¹³⁴ «...ut ad liquidum deducatur... transit in explicitum intellectum et in manifestam praedicationem ecclesiasticam» — «...чтобы, приведенный к ясности... [догмат] стал удобопонимаемым и для всех очевидно утверждаемым церковно» (лат.).

¹³⁵ «Compelle intrare» — заставь войти (лат.).

¹³⁶ Alliance Israélite — Израильский союз (фр.).

¹³⁷ Толстой Дмитрий Андреевич (1823—1889) — граф, государственный деятель; кончил Царскосельский лицей; на протяжении 14 лет, до 1880 г., занимал одновременно посты министра народного просвещения и обер-прокурора Св. Синода; с 1882 г. — министр внутренних дел, шеф жандармов и президент Академии наук.

¹³⁸ Parentali — родственные связи (ит.).

¹³⁹ «Entre nous soit dit»... — «Между нами говоря» (фр.).

¹⁴⁰ «L'Empire des Tsars et les Russes» — «Империя царей и русские» (фр.).

¹⁴¹ «C'est un homme ascète et vraiment saint. Son idée-mère est qu'il n'y a pas un vrai schisme en Russie, mais seulement un grand malentendu». — «Это человек аскетической жизни и воистину святой. Его любимая идея заключается в том, что с Россией нет настоящего раскола, а есть большое недоразумение» (фр.).

¹⁴² «Philosophie de l'Eglise Universelle» — «Философия Вселенской Церкви» (фр.).

¹⁴³ «La théocratie dans l'histoire et la réunion des Eglises» — «Теократия в истории и объединении Церквей» (фр.).

¹⁴⁴ «L'Univers» (фр.) — «Вселенная» — католическая газета.

¹⁴⁵ Sub specie aeternitatis... sub specie antichristi venturi — под знаком вечности... под знаком грядущего антихриста (лат.).

¹⁴⁶ Гуревич Любовь Яковлевна (1866—1940) — писательница и критик.

¹⁴⁷ Пантелеев Лонгин Федорович (1840—1919) — издатель.

¹⁴⁸ «Sätze aus der erotischen Philosophie» — «Выдержки из эротической философии» (нем.).

¹⁴⁹ «Прошла любовь — явилась Муза» — цитата из «Евгения Онегина» (гл. I, строфа LIX).

¹⁵⁰ Signum — знак (лат.).

¹⁵¹ ...звание «анфан террибля»... — ужасного дитя (фр. — enfant terrible).

¹⁵² «Respice finem» — «Думай о конце» (лат.).

¹⁵³ Дмитрий Сергеевич Новский тайно принял католичество и получил в Галиции сан иподиакона; окончил жизнь учителем латинского языка в Ярославле.

¹⁵⁴ ...«a fait l'adhesion complète à l'Eglise Romaine»... — «полностью присоединился к Римской церкви» (фр.).

¹⁵⁵ «Un catholique pratiquant» (фр.) — букв. «практикующий католик», т. е. участвующий в таинствах католической Церкви.

¹⁵⁶ Experimentum crucis (лат.) — букв. испытание крестом; решающий эксперимент.

¹⁵⁷ Бюкан Мэн де (1766—1824) — французский философ-роялист, противник философии Просвещения и материализма.

¹⁵⁸ *Ignoti nulla cupido* — никакой страсти к неизвестному (лат.).

¹⁵⁹ «Ревел ли зверь в лесу глухом» — цитата из стихотворения Пушкина «Эхо» (1831).

¹⁶⁰ «*Mais c'est une mer à boire*» (фр.) — «Но это очень трудно» (букв. «нужно выпить море»).

¹⁶¹ «*Privatio*», «*amissio boni*» — «лишение», «утрата хорошего» (лат.).

¹⁶² «*Legenda aurea*» (лат.) — «Золотая легенда», собрание житий католических святых.

¹⁶³ «*Pecca fortiter*» — «греши смело» (лат.).

¹⁶⁴ «*Tu est Petrus!*» — «Ты Петр!» (лат.).

¹⁶⁵ «*...jetzt ist es ja gründlich erwiesen und ausser jedem Zweifel gesetzt*». — «теперь это полностью доказано и не подлежит никакому сомнению» (нем.).

¹⁶⁶ «*So also, Väterchen, nun sind wir ja Eins in Christo*». — «Итак, отцы, теперь мы едины во Христе» (нем.).

¹⁶⁷ Соловьева Ольга Михайловна (урожд. Коваленская; 1855—1903) — художница, переводчица, жена М. С. Соловьева.

¹⁶⁸ Эммерих Катерина — немецкая монахиня XIX в.; К. фон Брентано использовал образы ее видений во многих своих произведениях.

¹⁶⁹ См. с. 873, примеч. 6 к ст. Н. В. Давыдова.

¹⁷⁰ «*In memoria aeterna erit iustus*» — «Вечная память праведнику» (лат.).